

КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

вторая половина VII—XII в.

Ответственные редакторы член-корреспондент АН СССР З. В. УДАЛЬЦОВА

член-корреспондент АН СССР Г. Г. ЛИТАВРИН

Члены редколлегии

*член-корреспондент АН СССР С. С. АВЕРИНЦЕВ, доктор филологических наук
А. Д. АЛЕКСИДЗЕ, доктор исторических наук Г. Л. КУРБАТОВ, доктор исторических наук
Е. Э. ЛИПШИЦ, доктор исторических наук И. П. МЕДВЕДЕВ, кандидат исторических наук
Р. А. НАСЛЕДОВА, кандидат исторических наук К. А. ОСИПОВА, кандидат исторических наук
З. Г. САМОДУРОВА, доктор исторических наук В. И. УКОЛОВА, доктор исторических наук
К. В. ХВОСТОВА*



«НАУКА»

МОСКВА 1989

Содержание

Введение	5
1. Византийская империя во второй половине VII—XII в. <i>Г. Г. Литаврин</i>	11
2. Философия VIII—XII вв. <i>С. С. Аверинцев</i>	36
3. Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в. <i>Г. Г. Литаврин</i>	59
4. Развитие исторической мысли	89
<i>М. В. Бибииков</i>	
5. Литература VIII—X вв. <i>И. С. Чичуров</i>	129
6. Литература XI—XII вв. <i>А. Д. Алексидзе</i>	153
7. Развитие правовой науки	216
<i>И. П. Медведев</i>	
8. Дипломатия	241
<i>З. В. Удальцова</i>	
9. Военно-теоретическая мысль	276
<i>В. В. Кучма</i>	
10. Естественнонаучные знания	296
<i>З. Г. Самодурова</i>	
11. Географические знания	335
<i>О. Р. Бородин</i>	
12. Школы и образование	366
<i>З. Г. Самодурова</i>	
13. Эстетика	401
<i>В. В. Бычков</i>	
14. Изобразительное искусство	470
<i>В. Д. Лихачева</i>	
15. Архитектура	496
<i>А. Л. Якобсон</i>	
16. Прикладное искусство	520
<i>В. П. Даркевич</i>	
17. Развитие музыкальной культуры	557
<i>Е. В. Герцман</i>	
18. Быт и нравы	571
<i>А. А. Чекалова</i>	
Заключение. Особенности развития культуры Византии во второй половине VII—XII в.	617

Г. Г. Литаврин

Библиография	636
Список сокращений	659
Указатель имен	666

Введение

Данная книга представляет собой хронологически непосредственное продолжение изданного в 1984 г. труда «Культура Византии. IV—первая половина VII в.» Она посвящена развитию культуры Византийской империи в следующую историческую эпоху, охватывающую центральный период истории Византии, когда она достигла расцвета и играла особенно значительную роль на международной арене того времени.

Общее введение ко всем трем томам, в которых предполагается рассказать об истории культуры империи вплоть до ее падения в 1453 г., помещено в первом, названном выше томе. Поэтому в настоящем труде целесообразно лишь вкратце остановиться на некоторых особенностях рассматриваемого в нем периода и на стоящих перед авторами задачах в его освещении.

Изучаемая в предлагаемом вниманию читателя издании эпоха была ознаменована коренными переменами во всех сферах жизни империи. Глубокие изменения произошли в ее аграрном строе, в экономической и общественной организации города, в формах центрального и провинциального управления, в деле комплектования и содержания армии, в церковно-административной структуре, в этническом составе населения. По своей классовой и политической природе из позднеантичной, какой Византия была еще в VI в. (рабовладельческой и чиновно-бюрократической), она превратилась в средневековое феодальное государство. Затяжной процесс рождения этого государства приходится на VII—IX столетия, из которых первые два в научной литературе нередко определяют как «темные века». Новое рождалось в тяжелых муках, и, хотя обозначение VII и VIII вв. в качестве «темных» лишено необходимой конкретности и имеет в виду прежде всего крайнюю скудость уцелевших источников, ни в коей мере не отражая происходившего в это время утверждения прогрессивных тенденций к становлению нового общественного строя, на указанных столетиях действительно лежит густая тень пережитой империей драмы.

Глубокий экономический кризис, нашествие и расселение на землях империи варваров, разорение деревни, упадок городской жизни, дезорганизация управления провинциями, тяжелые войны с арабами, религиозные смуты — все это не могло не отразиться не только на материальных условиях жизни народа, но и на развитии его общественного сознания. Рушились одни традиционные и привычные формы общественной жизни, видоизменялись другие, возникали и утверждались новые — претерпевали перемены и прежние представления о действительности, ее идейное осмысление, эстетические критерии для былых и новых художественных ценностей.

На новой, феодальной основе постепенно рождалась новая Византия как могущественное централизованное государство. К началу XII в. феодальный строй восторжествовал на всей территории империи. При всей его специфике — он определял ее общественно-экономическую и политическую структуру.

Авторы предлагаемого вниманию читателя труда убеждены в том, что и в VII—XII вв. глубокие перемены в экономике, в социальной структуре общества, в системе государственного управления оказывали определяющее влияние на темпы и формы развития культуры, хотя конкретный механизм взаимодействия общественно-политического и культурного развития был чрезвычайно сложен, опосредован множеством иных, нередко ушедших в далекое прошлое этнических, нравственно-этических и социально-психологических факторов, которые ныне с большим трудом поддаются конкретизации.

Вряд ли, тем не менее, может вызывать сомнение тот факт, что развитие ряда отраслей культуры — таких, как естественнонаучные знания, искусство мореплавания, военная мысль, юриспруденция, светское и религиозное зодчество, прикладные искусства и т. п., находилось в

более тесной зависимости от экономического процветания империи, подъема ремесленного производства, усиления денежного обращения, расширения торговли и мореходства. Возрождение названных отраслей науки и искусства отнюдь не случайно началось в VIII—IX вв. прежде всего в столице империи, вслед за ее хозяйственным подъемом, укреплением императорской власти и резким усилением внешнеполитической активности империи.

Гораздо сложнее проследить какие-либо соответствия между этапами стабильности экономики и политической жизни, с одной стороны, и расцветом таких отраслей культуры, как философия и эстетика, политическая теория и историческая мысль, литература и музыка, — с другой. Сплошь и рядом подъем духовной культуры в этих ее сферах приходился не на периоды экономического процветания и политического усиления, а на время упадка и неудач. По всей вероятности, роль решающего фактора играли при этом такие крупные явления в общественной жизни, которые привлекали остро заинтересованное внимание широких кругов населения, требовали активного осмысления, напряженного поиска выхода, выбора и обоснования своей позиции. Иными словами, крупные новые идеи в общественно-политической жизни, новые идеалы и эстетические ценности в литературе и искусстве возникали в обстановке, для которой была характерна высокая степень нестабильности и тревоги в общественной и духовной атмосфере страны. А такая ситуация складывается обычно в кризисные периоды в жизни государства, к которым можно, по всей вероятности, отнести такие явления в истории империи в период с середины VII до конца XII в., как утверждение новых форм военно-административного управления провинциями и комплектования армии, иконоборчество, борьбу с дуалистическими ересями, соперничество гражданской и военной знати за трон империи, столкновения с крестоносцами, усиливающийся натиск турок-сельджуков. {6}

В историографии справедливо отмечают еще три фактора, влияние которых существенно отразилось на особенностях неповторимого облика византийской культуры в рассматриваемый период. Наиболее сильно их воздействие проявлялось именно в данную эпоху, особенно в конце VII—X в. Это, во-первых, превращение империи, после того как она потеряла северо-балканские и африканские провинции, часть ближневосточных и италийских, в греческое по преимуществу государство, в котором греки играли ведущую роль среди других народов, подвластных императору. После восстановления гегемонии империи в начале XI в. на Балканском полуострове славянский этнический элемент в европейских провинциях вряд ли по численности уступал здесь греческому, но общее направление развития византийской культуры не претерпело больших изменений. Хотя славяне и иные народы принимали активное участие в создании синкретичной культуры империи, доминирующую роль сохранил греческий элемент, пользовавшийся официальной поддержкой централизованного государства и церкви; культура империи оставалась по преимуществу грекоязычной культурой. Во-вторых, к X в. на всей территории Византии были утверждены единые формы власти во всех сферах управления, характерные для централизованной феодальной монархии. Не только церковь, но и весь аппарат государства с несомненно большим, чем ранее, постоянством и энергией стремились утвердить в умах подданных угодные правящему классу идейно-политические представления, правовые нормы, нравственные идеалы. В-третьих, на всех землях государства окончательно восторжествовало ортодоксальное христианство, соответствовавшее официальному «символу веры», принятому Вторым вселенским (Никейским) собором (381 г.), а затем подтвержденному Четвертым вселенским (Халкидонским) собором (451 г.). Все прочие течения христианства, как и богословские ереси, подверглись организованному преследованию и церковных и светских властей. Было достигнуто, таким образом, конфессиональное единство империи, еще более усилившееся после восстановления иконопочитания и разгрома павликиан, и одновременно упрочен союз церкви и государства при решающей роли светской власти в этом союзе¹.

Несмотря на вполне отчетливо выявляемые черты преемственности, связывающие культуру Византии изучаемой в данной книге эпохи с ее культурой предшествующего периода и с культурными традициями, восходящими к античности, наиболее характерные, устойчивые признаки византийской культуры как целостной системы духовных ценностей сложились

¹ Удальцова З. В. Некоторые нерешенные проблемы истории византийской культуры // ВВ. 1980. Т. 41. С. 54, Ср.: Она же. Заключение. Основные направления византийской культуры IV — первой половины VII в. // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 668—684.

именно в этот центральный период истории империи. Одну из своих важнейших задач авторы настоящего труда усматривали в постановке проблем типологизации, в выявлении общего и особенного в развитии культуры Византии сравнительно с культурными процессами в других странах Европы и Ближнего Востока. В связи с этим необходимо иметь в виду, что черты своеобразия византийской культуры проступали тем ярче, чем больше расходились пути ее политического и культурного развития с ее ближними и дальними соседями. {7}

Длительное культурное противостояние империи с персидской цивилизацией, с монофиситами и язычниками разного толка у восточных границ Византии сменилось в 30—40-х годах VII в. противоборством с арабским миром, с миром ислама как единой социокультурной системой. Культурное влияние Византии на потерянных ею здесь землях не исчезло полностью и после этого, но оно заметно ослабело; идеологический рубеж между христианским и мусульманским мирами обозначился шире и глубже.

Быстро менялась не в пользу Византии ситуация и у западных и северных границ империи в Европе. Крепли и разрастались государства Западной Европы, новые государственные образования одно за другим возникали в ее центре, на востоке и на самом Балканском полуострове, в непосредственной близости от столицы империи. Политическое влияние Византии на Западе стало неуклонно слабеть с конца VIII в. Сильный удар по ее авторитету нанесло образование в 800 г. Франкской империи Каролингов, а в 962 г.— Германской империи Оттонов. Стало падать здесь с конца XI в. вслед за политическим и культурное влияние Византии. Окрепшее папство все более упорно претендовало на духовное руководство христианским миром. Заложенные еще в IV—VI вв. острые противоречия в сфере экономики, политики и культуры между западной и восточной частями Позднеримской империи углубились в новых условиях. Эти противоречия, как в фокусе, нашли отражение, а затем и теоретическое обоснование в религиозно-догматических разногласиях между восточногреческой и западноримской церквями. Острая полемика, бескомпромиссные взаимные претензии высших иерархов привели в 1054 г. к окончательному разрыву двух христианских церквей, повлекшему с эпохи крестовых походов существенные политические и культурные последствия для отношений между православными и католическими странами на протяжении нескольких столетий.

Учитывая отмеченные обстоятельства, авторы данной книги отнюдь не склонны тем не менее рассматривать византийскую культуру как лишённую средств воздействия на окружающий империю мир и изолированную от внешних влияний. Именно в рассматриваемую в данном труде эпоху, в особенности в IX—XI вв., Византия стала в полном смысле «Золотым мостом» между Европой и Азией, перекрестком не только торгово-экономических и политических интересов, но и связующим звеном между культурами народов Азии и Европы, превратилась в огромную мастерскую, в которой синтезировались культурные течения всего Средиземноморья и Ближнего Востока.

Византийское культурное влияние, постепенно слабевшее на Западе, именно в изучаемую эпоху, в IX—XI вв., резко возросло на значительных пространствах Восточной и Юго-Восточной Европы: оно утверждалось, вместе с принятием христианства от Византии, в Болгарии, сербских княжествах и в Древней Руси. Сложилась обширная зона, в которой активно усваивалось, приспособлялось и перерабатывалось богатое культурное наследие Византии. В современном византиноведении широкое распространение получило обоснованное Д. Оболенским определение этой зоны в качестве «византийского сообщества государств»². Образовании указанного сообщества выразилось прежде всего в упрочении именно культурных связей между Византией и входящими в сообщество странами, как и между самими этими странами. Церковно-религиозное единство оказывало иногда заметное влияние и на политические отношения между государствами сообщества.

Отмечая факты, свидетельствующие об интенсивном и плодотворном влиянии византийской культуры на культурное развитие других народов, а также данные о воздействии культуры этих народов на византийскую, авторы настоящей книги не сочли возможным скольконнибудь подробно и систематически развивать эту тему. Вопрос о влиянии Византии и взаимодействии культур в рамках «византийского сообщества государств» составляет особую про-

² *Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500—1453. L., 1974. См. рец.: Лутаев Г. Г. // ВИ. 1972. № 2. С. 180—185.*

блему, нуждается в новом методологическом подходе и заслуживает специального рассмотрения³.

В новом издании авторы основываются на тех же общих принципах, из которых они исходили в первом труде, включая методологию, выделение проблемно-тематических разделов, соотношение рассматриваемых в книге аспектов, ее структуру в целом и т. п., вплоть до самой манеры изложения, особенностей подбора и оформления научного аппарата и воспроизведения иллюстративного материала.

Как и в первом томе, в данном труде не ставилась задача выработки критериев и — при опоре на них — создания периодизации развития византийской культуры в течение рассмотренной в работе эпохи. Выше уже было сказано о том, что различные отрасли культуры зависели нередко от разных факторов общественной жизни страны, периоды культурного подъема или упадка не всегда совпадали с соответствующими этапами в экономическом и политическом развитии империи. Аргументированная периодизация истории культуры Византии в целом, в том числе во второй половине VII—XII в., по всей вероятности, — дело будущего.

Тем не менее авторы сочли возможным при написании своих глав ориентироваться на принятую в советской науке общую периодизацию истории Византии: период с середины — конца VII до середины IX в. расценивается как раннефеодальный, а период с середины IX до конца XII в. — как время утверждения и расцвета феодального строя в империи, причем вторая половина XI столетия рассматривается как время, когда феодальные институты стали играть определяющую роль в жизни византийского общества⁴.

Такой подход к периодизации византийской культуры на данном этапе представляется вполне оправданным. Отнюдь не случайно, несмотря на ведущиеся споры на этот счет, в современном византиноведении в качестве особых периодов в истории культуры Византии в течение охваченной в данной книге эпохи выделяют время иконоборчества (вторая четверть VIII—40-е годы IX в.), правление императоров Македонской династии (так называемое «Македонское возрождение»: 867—1056 гг.) и время царствования Комнинов («Комниновское возрождение»: 1081—1185 гг.)⁵. Совершенно очевидно, что, за исключением начала первого периода и незначительных хронологических отклонений между последующими, данная периодизация вполне соответствует приведенной выше.

В заключение необходимо отметить, что авторская работа над данным томом была в основном завершена ко времени кончины его ответственного редактора — члена-корреспондента АН СССР З. В. Удальцовой. Авторы глав и члены редколлегии сочли поэтому своим долгом сохранить без существенных перемен структуру книги и те главные принципы, которые были положены в ее основу покойным инициатором написания трехтомного труда советских ученых по истории византийской культуры. {10}

1

Византийская империя во второй половине VII—XII в.

Пять с половиной столетий с середины VII до начала XIII в. составляют центральный период византийской истории, эпоху расцвета империи и последовавшего затем ее упадка. В это время

³ *Franklin S.* The Reception of Byzantine Culture by the Slavs//The 17th International Byzantine Congress. Major Papers. N. Y., 1986. P. 383—397; *Udal'cova. Z. V.* Kiev and Constantinople: Cultural Relations Before the Thirteenth Century//Ibid. P. 399—419; *Angelov D.* Preslav und Konstantinopel — Abhängigkeit und Unabhängigkeit im Kulturbereich // Ibid. S. 421—428; *Bozilov I.* Preslav et Constantinople: dépendance et indépendance culturelles // Ibid. P. 429—446; *Korać V.* Earchitecture dans les pays slaves: ses sources byzantines//Ibid. P. 455—482; *Miljković-Pepel P.* Earchitecture chrétienne chez les Slaves macédoniens à partir d'avant la moitié du IX^e siècle jusqu'à la fin du XII^e siècle // Ibid. P. 483—505.

⁴ См.: История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 5, 103.

⁵ *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. P., 1971. P. 301—305; *Ahrweiler H.* L'idéologie politique de l'Empire byzantin. P., 1975. P. 25—45, 67—74.

произошли коренные изменения в общественно-экономической и государственно-политической структуре Византии. Сущность перемен выразилась в том, что позднеабсолютистская Восточная Римская империя, какой она была к концу VI в., стала феодальной средневековой монархией.

В ходе VIII—XI вв. в византийской деревне сложились основные антагонистические классы феодального общества, конституировался средневековый город, резко отличавшийся от позднеантичного полиса. Несмотря на прочность позднеантичных государственных традиций, заключавшихся прежде всего во всемерном укреплении центральной власти с ее всеобъемлющим контролем над всеми сферами жизни общества, в XI—XII вв. постепенно в управлении государством утверждалась система, присущая феодальному строю и выразившаяся, в частности, в сочетании публично-правового и частноправового распорядка. В конце XII — начале XIII в., накануне Четвертого крестового похода, возобладали центробежные силы, и Византия развалилась на части, едва крестоносцы поразили в 1204 г. ее политический центр — Константинополь.

Глубокие преобразования в общественно-государственной структуре империи отразились, естественно, и на всех областях культурной жизни ее населения. Именно в эпоху развитого феодализма культура Византии обрела свои наиболее характерные, ярко выраженные черты, представляющие в совокупности как особая система духовных ценностей, феодальная по своей основе, но существенно отличавшаяся по форме и от христианской, западноевропейской, и от мусульманской, ближневосточной.

В соответствии с принятой в советском византиноведении периодизацией рассматриваемая в главе эпоха подразделяется на два периода: с середины VII до середины IX в., когда совершалось вызревание и развитие раннефеодальных производственных отношений (и соответствующих им государственных институтов), и с середины IX до конца XII в., когда оформились и достигли зрелости феодальный строй и феодальное Византийское государство.

Разумеется, в кратком обзоре можно остановиться лишь на самых общих особенностях развития Византии в течение полутысячелетия, акцентируя при этом внимание на тех явлениях общественной жизни империи, которые, как представляется, оказывали наиболее существенное воздействие на процессы ее культурной эволюции.

Несомненно, империя уже «порвала» с поздней античностью к концу VII в., но и в VII столетии, когда кризис достиг апогея, она еще «не перешла» в средневековье, не стала Византией в подлинном смысле слова. Скудость свидетельств источников этой эпохи, даже сравнительно с V—VI вв., — сама по себе является доказательством пережитой империей трагедии. В ученом мире до сих пор не умолкает спор: имел ли место в аграрном строе Византии и в экономике города в VII—IX вв. глубокий переворот по сравнению с V—VI вв. (дисконтинуитет), или же в развитии империи, преодолевшей к середине VIII в. тяжелый кризис, существовала непосредственная преемственность с эпохой Юстиниана I (континуитет)¹.

В марксистской историографии, хотя и не отрицаются факторы преемственности между Восточной Римской империей VI — начала VII в. и ранней Византией середины VII — середины IX в., в целом защищается идея коренных преобразований, ознаменовавших переход к эпохе становления феодальных производственных отношений². Крушение рабовладельческого мира, устои которого были подорваны глубоким кризисом, было ускорено ударом извне и сопровождалось жестокими потрясениями. Территория империи к середине VII в. сократилась втрое, множество городов лежало в развалинах или обезлюдело, запустели огромные площади ранее культивировавшихся земель, да и над сохранившимся под контролем империи

¹ Weiss G. Antike und Byzanz. Die Kontinuität der Gesellschafts-struktur // Historische Zeitschrift. 1977. Bd. 224. S. 520—560; Guillou, A. Transformation des structures socio-économiques dans le monde byzantin du VI^e au VIII^e siècle // ЗРВИ. 1980. Т. 18. Р. 71—80.

² Удальцова З. В. Проблемы типологии феодализма в Византии // Проблемы социально-экономических формаций: (Историко-типологические исследования). М., 1975. С. 124—128; Она же. Византия и Западная Европа: (Типологические наблюдения) // ВО. М., 1977. С. 4—8; Курбатов Г. Л. К проблеме перехода от античности к феодализму // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л., 1980. С. 3.—21; Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Византия: проблема перехода от античности к феодализму. Л., 1984; Курбатов Г. Л. История Византии. М., 1984. С. 68—89; Köpstein H. Zur Veränderung der Agrarverhältnisse in Byzanz vom 6. zum 8. Jh. // Ethnographisch-archäologische Zeitschrift. 1979. 2. Jg. H. 3. S. 515.

населением ее власть зачастую была эфемерной, остро не хватало рабочих рук и средств, резко уменьшилось число даже элементарно грамотных людей.

Важным фактором, определившим переход к качественным преобразованиям, было начавшееся во 2-й половине VI и достигшее кульминации в VII в. массовое расселение «варваров» на землях империи. Север Балканского полуострова империя в сущности потеряла на 4 столетия (до начала XI в.), а процесс восстановления ее власти на юге занял более века³. Большая часть владений в Италии была утрачена в результате вторжения лангобардов

Файл byz13.doc

КАРТА.

ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XI В. {13}

еще в последней трети VI в., а на рубеже VI—VII вв. империя понесла здесь новые потери и к началу второй трети VIII в. сохранила лишь Южную Италию и Сицилию. На востоке наступление арабов лишило Византию в 30—40-х годах VII в. Сирию, Палестины, Месопотамии, Египта, юго-восточных районов Малоазийского полуострова.

Особо крупными этнодемографические перемены были на Балканах. Даже на юге славяне по численности мало уступали автохтонам, зато и византийская реконкиста дала здесь наиболее благоприятные для Константинополя результаты. В демографическом отношении положение было гораздо более стабильным в Малой Азии.

В VII—VIII вв. империя упрочила свое господство в основном над тем же населением, которое и ранее подчинялось ее власти. Лишь в центре и отчасти на юго-востоке Малой Азии возросла плотность армянского населения и отчасти сирийцев и мардаитов, отхлынувших с востока под давлением сначала персов, а затем арабов. Их набеги достигали Босфора, но враг не устанавливал в зоне вторжения своей власти, хотя наносил серьезный ущерб экономике и ослаблял позиции имперской администрации⁴. И все-таки наиболее трудной проблемой для правителей Константинополя было подчинение славян, не знавших раньше ни регулярной эксплуатации, ни прочной власти.

Первым важнейшим следствием опустошительных войн и расселения варваров было разрушение старой общественной системы⁵. Подверглись массовой ликвидации сохранившиеся крупные имения, а вместе с ними — и колонатные формы крестьянской зависимости. Сокрушительные удары получил город, долго служивший оплотом рабовладельческой реакции, переживала кризис организация управления провинциями, была дезорганизована имперская налоговая система.

Вторым важнейшим следствием расселения варваров стало повсеместное к концу VII в. преобладание свободного крестьянского землевладения, организованного по деревням-общинам. Укрепилась и местная община (митрокомия) там, где она была в упадке в VI в. Это были соседские общины: пахотные земли в них находились в индивидуальной собственности общинников, не поделенные угодья использовались сообща. Периодические переделы уже не производились, но община в Византии оставалась гораздо более сплоченной, чем в Западной Европе V—VII вв.⁶ Постепенное превращение свободной общины в податную, привлечение к трудовым и воинским повинностям, вовлечение деревни в оживившиеся в VIII в. товарно-денежные отношения, распространение на общину традиционных норм римского права, трактованного надел общинника как его полную собственность, — все это обусловило рас-

³ Ditten H. Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen // Byzanz im 7. Jh. B., 1978. S. 160 f.; Malingoudis Ph. Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. Bd. 1. Slavische Flurnamen aus der messinischen Mani. Wiesbaden. 1981; Weithmann M. W. Strukturkontinuität und Diskontinuität auf der griechischen Halbinsel im Gefolge der slavischen Landsname // Münchener Zeitschrift für Balkankunde. 1979; Bd. 2. S. 141—176; Тьнкова-Заимова В. Нашествия и этнически промени на Балканите. С., 1966; Иванова О. В., Лутаврин Г. Г. Славяне и Византия//Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985. С. 34—98. См. также: Заключение. С. 314—334.

⁴ Ahrweiler H. Les ports byzantins (7^e—9^e siècles)//La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo. Spoleto, 1978. P. 259—297.

⁵ Об этом см.: Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984. С. 206.

⁶ Каждан А. П. Деревня и город в Византии IX—X вв. М., 1960. С. 21—56; Gorecki D. M. A Farmer Community of the Byzantine Middle Ages: Historiography and Legal Analysis of Sources//EB. 1982. Vol. 9. P. 189—198.

слоение общины. Так на одном полюсе формировался социально обездоленный, затем — и поземельно, и лично зависимый класс крестьянства, а на другом — вырастала мелковотчинная, а за нею и крупная землевладельческая знать. Но класс феодалов складывался не только через разложение общины: важную роль играли произвол и насилия богатых и сановных лиц, дары и льготы императоров в пользу церкви, монастырей, вельмож, создание самой центральной властью правительственных и императорских имений⁷. Кроме того, в VI—VII вв. имел место также частичный континуитет крупного землевладения, а следовательно, — континуитет и некоторых форм крестьянской зависимости. Крупные имения частично уцелели в мало затронутых вторжениями варваров районах Балканского полуострова и Малой Азии⁸.

Восстанавливая свою власть в провинциях, государство утвердило право своей собственности на все запустевшие и межобщинные земли. На них оно селило безземельных и варваров на условиях уплаты налога и несения военной службы, основывало императорские и правительственные имения, социальная структура которых была сходной с частными и которые в VII—IX вв. росли опережающими темпами.

Чрезвычайную устойчивость обнаружило церковно-монастырское землевладение: меры по его ограничению были эпизодическими, тогда как дарования льгот — правилом. Несмотря на жестокий удар по материальному положению духовенства на первом этапе иконоборчества, источники начала IX в. вновь свидетельствуют о богатых владениях церкви и монастырей.

Складывалось и светское крупное землевладение: могущество фемной знати опиралось не только на служебные полномочия, но и на значительные собственные доходы.

На рубеже IX—X вв. оформилась категория париков, поземельно, а затем и лично зависимых крестьян, держателей чужой земли — принципиально важное следствие аграрного переворота⁹. Генетически парикоподобная была отчасти связана со свободной арендой VI в., но особым и многочисленным социальным слоем парики стали только в X в. Размеры их платежей господам в 2—3 раза превышали обязанности свободных налогоплательщиков, собственников своих участков. Феодалы переложили на париков и подати в казну, причитавшиеся с их собственности.

Имелись в деревне и свободные арендаторы, и наемные работники. Рабы же уже не играли заметной роли в сельском хозяйстве, хотя их еще было много в имениях в качестве дворовых слуг и холопов.

Коренные сдвиги произошли в «переходную эпоху» и в городах империи. О степени упадка городской жизни в VII — середине IX в. на Балканах и в Восточном Средиземноморье также ведутся споры¹⁰. Множество городов лежало в развалинах, немало городов аграризировалось. Однако и в это время крупные и хорошо защищенные поселения сохранили значение не только административных и церковных, но и торгово-ремесленных центров. В них, в особенности в Константинополе, стекались массы лишившихся очагов горожан из других мест и разоренных крестьян. Возник широкий рынок дешевой рабочей силы, использованный госу-

⁷ *Литвиц Е. Э.* Очерки истории византийского общества и культуры. М., 1961. С. 18—48; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество и государство в X—XI вв.: Проблемы истории одного столетия. М., 1977. С. 7—41; *Patlagean E.* Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance. 4^e—7^e siècle. P., 1977; *Loos M.* Quelques remarques sur les communautés rurales et la grande propriété terrienne à Byzance (VII^e—XI^e siècles)//BS. 1978. Т. 39 (1). P. 3—18; *Haldon J. F.* On the Structuralist Approach to the Social History of Byzantium//BS. 1982. Т. 42 (2). P. 203—211; *Patlagean E.* Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance. 4^e—9^e siècles. L., 1981; *Kaplan M.* Les villageois aux premiers siècles byzantins (6^e—10^e s.): une société homogène?//BS. 1983. Т. 43 (2). P. 202—217.

⁸ *Сюзюмов М. Я.* Основные источники по истории Византии конца VII — середины IX в.//История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 14—15; *Lemerle P.* The agrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth century. Galway, 1979. P. 104—105. Cf.: *Kaplan M.* Les villageois... P. 214; *Литвиц Е. Э.* Право и суд в Византии в IV—VIII вв. М., 1976. С. 67—78; *Фихман И. Ф.* К развитию патрониев в византийском Египте // ВВ. 1968. Т. 29. С. 49—52; *Он же.* Оксиринх — город папирусов. М., 1976. С. 60—97; *Köpstein H.* Agrarverhältnisse Ende des 6. Jahrhunderts, besonders nach den Kaisernovellen // Byzanz im 7. Jh. S. 29.

⁹ *Удальцова З. В., Осипова К. А.* Формирование феодального крестьянства в Византии//История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1. С. 405—406.

¹⁰ *Удальцова З. В., Осипова К. А.* Отличительные черты феодальных отношений в Византии//ВВ. 1974. Т. 36. С. 20—21.

дарством, духовенством, богатыми людьми для налаживания производства товаров. Государство увеличивало число своих мастерских ¹¹.

Кризис позднеантичного полиса в V—VI вв., ликвидация сословия куриалов и рабовладения как системы и прикрепления к профессиям членов торговых и ремесленных корпораций, т. е. те перемены, которые были ускорены варварским нашествием, создали лишь возможность нового пути развития византийского города. Предпосылкой к его обновлению должны были стать укрепление власти государства над всем населением страны, обеспечение безопасности передвижения, подъем сельского хозяйства, возобновление правопорядка на рынке, гарантирующего торговую прибыль, систематическая чеканка монеты и т. п. Все это становилось реальностью с IX в., когда и начался постепенный подъем византийского города, в первую очередь столицы — Константинополя ¹².

Отчетливо обозначились две главные особенности города империи, отличавшего его вплоть до ее гибели. Первая была следствием наступления феодальной эпохи и состояла в абсолютном преобладании среди горожан свободных непосредственных производителей, владевших собственным инструментом и трудившихся в мастерской-лавке, либо также собственной, либо арендованной у частных лиц, государства, церкви. Вторая особенность генетически восходила к позднеримскому (а возможно — и к эллинистическому) городу и заключалась в неполном отделении ремесла от сельского хозяйства. Ремесленники и торговцы вели, как правило, небольшое хозяйство близ стен города, а крестьянин немало орудий изготовлял сам в своем подворье.

Но значительными были в городе слои населения, вынужденные покупать все необходимое для жизни на рынке. Это были как наиболее {16} зажиточные горожане (представители

Файл byz17g.jpg

Постройка Вавилонской башни.

Ок. 1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

знати, священнослужители, ювелиры, менялы, шелкоткачи, оружейники, чиновники), так и наиболее обездоленные (поденщики, грузчики, строители). Недаром основную массу товаров на городских рынках составляли продукты земледелия, скотоводства, рыболовства. Излишки продуктов из загородных имений сбывала здесь и городская знать, и церковь, и монастыри. Города империи повсюду сохраняли полуаграрный характер. Ремесленники и торговцы также уплачивали налоги в казну. В Константинополе и, видимо, в других крупных городах ремесленники — изготовители товаров широкого потребления и особо дорогих изделий, а также торговцы главными продуктами, ценным сырьем и специями были организованы (вероятно, уже в IX в.) при участии властей в особые объединения — ремесленные и торговые корпорации, пользовавшиеся защитой закона и рядом льгот, но находившиеся под строгим контролем властей. В столице империи и в ряде других крупных городов имелись ремесленники государственных мастерских, обслуживавших нужды императорского дворца и правительственных учреждений. Формы эксплуатации были здесь нередко архаичными: в монетном деле, в металлургии, в рудниках применялся труд и государственных рабов и осужденных за различные преступления. До середины IX в. население провинциальных городов мало отличалось от свободного {17} крестьянства. Но и здесь немало горожан оказывалось в зависимости от домовладельцев, ростовщиков, местной чиновной знати, от крупных торговцев, судовладельцев, от церкви и монастырей.

В процессе формирования находились в VII—IX вв. и социальные прослойки господствующих кругов империи. Особенно зыбкими были границы между теми социальными группами, которые играли наиболее активную роль в государственно-политической и общественной жизни. Совершалось интенсивное обновление правящего класса Византии.

В самом деле: уже к началу VII в. крупное сенаторское землевладение при активном содействии центральной власти сошло с арены, имения новой чиновной и превращавшейся в

¹¹ Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Город и государство в Византии в эпоху перехода от античности к феодализму // Город и государство в древних обществах. Л., 1982. С. 56—77.

¹² Каждан А. П. Деревня и город... С. 250—300.

чиновную бывшей куриальской знати в основном были разгромлены в эпоху варварских вторжений. Численность высшей военной и гражданской аристократии резко сократилась в пожарах непрерывных войн и жестоких междоусобий в правление Фоки (602—610), между тем как зарождавшаяся феодальная верхушка находилась лишь в стадии оформления, как и слой богатых горожан, владельцев проастиев.

Остро стояла задача укрепления социальной базы императорской власти. Огромную роль сыграло при этом государство, его сохранившийся в бурях VI—VII вв. аппарат, жизненный центр которого был надежно укрыт за могучими укреплениями столицы. О стены Константинополя разбились волны варварских нашествий. В конкретной ситуации того времени императорская власть обрела относительную независимость от формирующихся, нестабильных прослоек господствующего класса. Путь в его ряды пролегал через государственную службу, в особенности после террора Фоки, подвергнувшего массовым казням знатных представителей оппозиции. Ряды чиновничества пополнялись из всех социальных категорий; не богатство и знатность были средством получения власти, а предоставляемая императором власть — средством обретения богатства¹³. Так складывались: в центре — высшая чиновная бюрократия, а в провинциях — высшая военная знать, императорские наместники с огромными полномочиями.

Как бы ситуация ни обеспечивала императорам временную возможность лавировать между группировками господствующего класса, без социальной базы сама эта власть существовать не могла. И такая база у нее имелаась. Это были остатки старой землевладельческой аристократии, крупное чиновничество, высшее духовенство, командный состав воинских сил формирующихся фем (см. ниже), складывающаяся в деревне и городе знать нового, феодального типа.

И все-таки сказанного недостаточно для понимания причин живучести империи. Привилегированные прослойки были относительно немногочисленны, неоднородны, не едины в своих устремлениях. А между тем византийское государство вышло победителем в катастрофически тяжелой обстановке, выдержав в VII—VIII вв. интенсивный натиск аваров, славян, протоболгар, отразив атаки персидской, арабской и болгарской армий, а затем перейдя почти на всех фронтах в контрнаступление.

Есть все основания полагать, что решающее условие успеха определили два обстоятельства. Во-первых, внутренний кризис поразил Византию {18} менее глубоко, чем Запад, да и удар варваров был здесь менее концентрированным. Во-вторых, — и это главное: империя обрела новые силы потому, что сумела подчинить самый многочисленный и жизнедеятельный слой населения — свободное крестьянство, и пришлое, и автохтонное.

Решение этой важнейшей задачи, стоявшей перед императорами VII—VIII вв., было невозможно без укрепления или даже восстановления власти империи в провинциях. Прежняя организация управления, основанная на разделении функций между гражданскими и военными властями (при главенстве именно гражданского чиновничества), не отвечала указанным целям. На первое место в эту эпоху выдвигалась функция подавления, прямого вооруженного насилия¹⁴. В связи с этим осуществлялся переход к новой системе управления провинциями — военно-административным округам, к фемному строю. Как известно, строй этот зародился при Ираклии, но он не был результатом некоей единовременной административно-военной реформы. Фемный строй утверждался постепенно — первоначально в качестве локальных мер по упрочению власти столицы в провинциях. Полномочный глава воинского контингента из наемников или из пограничных военных поселенцев, стратиг отряда-фемы, был обязан обеспечить безопасность вверенной ему территории, функционирование на ней имперских властей и поступление налогов, наладить набор ополченцев из местных крестьян, составив списки (каталоги) стратиотов, обучать новобранцев и возглавлять их в воинских предприятиях. Стратиоты,

¹³ *Winkelman F.* Byzantinische Rang und Ämterstruktur im 8. und 9. Jh. B., 1985. S. 29—65.

¹⁴ Ср.: *Guilland R.* Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. L'Eparque de la Ville//BS. 1979. T. 41(2). P. 225.

рекрутируемые из свободных крестьян и варваров-поселенцев, получали от государства за несение воинской службы земельные участки (стратии), которые передавались по наследству¹⁵.

Прежние судебные и налоговые органы официально не ущемлялись в своих полномочиях, но очень скоро оказались подчиненными стратигу. Самый этот термин приобрел новое значение — не полководец или «военачальник», а верховный правитель провинции, подотчетный только императору. И термин «фема» стал означать не только отряд, но и самую провинцию. В середине VIII в., когда эмпирически найденный новый порядок обнаружил свои преимущества, он вводился и в других районах уже как всеобщая система управления¹⁶. С распространением системы фем восстановление власти империи в провинциях ускорило. Каждая новая фема становилась плацдармом для создания следующей. Первые фемы возникли в Малой Азии (Опсикий, Анатолик, Армениак). С конца VII до начала IX в. они образовались и на Балканах: Фракия, Эллада, Македония, Пелопоннес, а также, вероятно, Фессалоника и Диррахий.

Массы свободных крестьян, возвращаемые под скипетр императора {19} или впервые вовлекаемые в число подданных, превращались в налогоплательщиков казны, а также и воинов фемных ополчений. Поэтому не является парадоксом утверждение, что континуитету государственной власти и возрождению Византии на новой основе — как раннефеодальной монархии содействовали те же самые варвары, которые недавно своими ударами подорвали силы империи. Обеспечив государство материальными средствами и составив основу его воинских сил, свободное крестьянство содействовало упрочению центральной власти, подготовив тем самым условия для ее наступления на его же жизненные интересы. Быстро возросшие налоговые тяготы податная община испытала уже в VIII — начале IX в. Помимо налога на недвижимость, был введен подворный налог (капникон) со всего сельского населения. С IX в. и особенно в X в. снова стала под названием аллиленгий практиковаться круговая порука¹⁷. Даже разорившихся крестьян принуждали служить в ополчении, обязав односельчан обеспечивать в складчину их вооружение и снаряжение.

Процесс расслоения и налоговый гнет подорвали единство сельской общины. Обострение социальных противоречий в деревне нашло проявление в массовом участии крестьян в восстании Фомы Славянина в 821—825 гг., а также в антифеодальном еретическом движении павликиан, охватившем восточные провинции Малой Азии. В 843 г. здесь сложилось своеобразное политическое объединение павликиан с центром в г. Тефрика, не только совершенно независимое от Константинополя, но и враждебное империи¹⁸.

Таким образом, социальная структура византийского общества вслед за коренными переменами в сфере социально-экономических отношений претерпела также глубокую трансформацию. Тенденция к утверждению феодализма обозначилась в качестве господствующей, но преобладание еще оставалось за централизованными формами эксплуатации.

Наиболее консервативной стороной имперской системы оказались организационные формы государственной власти и само их идеологическое обоснование. Аппарат центральной власти уцелел, но существенно упростился уже в начале VII в. Сократился штат чиновничества. Менее помпезными стали самый быт и распорядок жизни и в столице, и в самом императорском дворце. Казалось, навсегда ушло в прошлое былое величие императора — «наместника божия на земле».

Процесс укрепления и развития государственной власти в VII—IX вв. представлял собой медленное восхождение от простого к сложному, как бы возрождение — в новых условиях и в новом облики — громоздкой бюрократической машины. Процесс этот был далеко не мир-

¹⁵ Ostrogorsky B. Die Entstehung der Themenverfassung. Korreferat zu A. Pertusi // Akten des XI. Inter. Byzantinisten Kongresses. München, 1958. S. 1—8.

¹⁶ Karayannopoulos J. Die Entstehung byzantinischen Themenordnung. München, 1959; Lilie R. J. Die zweihundertjährigen Reform. Zu den Anfängen der Themenorganisation im 7. und 8. Jh. // BS. 1984. T. 45 (1, 2). S. 27—39, 190—201; Haldon J. F. Recruitment and Conscription in the Byzantine Army (circa 550—850); A Study on the Origins of the Stratiotika Ktemata. Wien, 1979; Köpstein H. Stratioten und Stratiotengüter im Bahnen der Dorfgemeinde. Einige Bemerkungen // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.—11. Jh. Pr., 1978. S. 81—98.

¹⁷ Осипова К. А. Аллиленгий в Византии в X в. // ВВ. 1960. Т. 17. С. 28—38; Лутаврин Г. Г. Византийское общество... С. 206—211, 213, 215.

¹⁸ Удальцова З. В., Осипова К. А. Формирование... С. 419—425.

ным — он совершался в острой, кровавой борьбе за трон и ключевые посты управления между различными группировками господствующего класса, втягивавшими в свои междоусобия широкие народные массы.

Прежде всего императоры стремились утвердить неограниченный авторитет собственной власти. Опасность представляли: вновь непомерно возвысившиеся гражданские чиновники столичного аппарата, официально {20} наделенные широкими полномочиями, в том числе — властью над командным составом армии, усиливавшееся высшее белое и черное духовенство, связанное с силами сепаратизма, наконец, стратиги — военачальники формировавшихся воинских округов-фем, ставшие угрозой самому единству страны.

Первых успехов в укреплении центральной власти достиг Ираклий (610—641). Стремясь к упрочению своего авторитета и популярности, он принял древний греческий титул «василевс» ромеев вместо латинского «император», поскольку его власть простиралась преимущественно на территории с греческим или эллинизированным населением. Наименование подданных «ромеями» указывало на сохранение римских традиций¹⁹. Одновременно был совершен окончательный переход всего государственного делопроизводства и судопроизводства с латыни на греческий язык. Могущество ведомства префекта претория было ликвидировано уже при Ираклии: оно подверглось дроблению на ряд новых ведомств — логофисий, число которых постепенно росло. Во главе их стояли логофеты. Раскладка и сбор налогов оказались в ведении логофета геникона, на стратиотскую логофисию возлагались набор и оплата воинов, логофет стад отвечал за содержание императорской кавалерии и обеспечение войска снаряжением, логофисия идики ведала имуществом императора, в том числе — его именьями. В середине VIII в. была образована логофисия дрома, занятая организацией постоянных дворов и доставкой почты, а также осуществлявшая дипломатические сношения и разведывательную службу.

В целях усиления контроля над ведомствами в начале VIII в. была введена должность сакеллария — высшего чиновника с широкими контрольными функциями. Помимо этих центральных органов, появились разного рода дворцовые специальные службы. Повысилась роль градоначальника Константинополя — эпарха, контролировавшего хозяйственную жизнь столицы и отвечавшего за спокойствие и соблюдение правопорядка в городе²⁰. Осуществлялись, таким образом, разукрупнение и дифференциация столичного аппарата власти.

В городах, особенно — в столице, принимались меры, затруднявшие участие рядовых горожан в политической жизни, хотя одновременно императоры всячески добивались популярности у столичного населения, поскольку практика показала: кто сохраняет в своих руках Константинополь, тот обычно побеждает в междоусобной борьбе. Именно поэтому власти заботились — за счет крестьянства — о снабжении столицы всем необходимым, о стабильности цен на рынке, о водоснабжении города. Императоры поощряли ввоз, а не вывоз товаров из Константинополя. Одной из важнейших целей введенной в середине VIII в. принудительной продажи крестьянами зерна государству по низким ценам было создание изобилия хлеба на константинопольском рынке. Однако постепенно устанавливался все более жесткий контроль властей над трудовой деятельностью и общественным поведением горожан, над их досугом и {21} частной жизнью. Усиливалась тенденция к превращению димов в сугубо спортивные и церемониальные организации при ипподроме, выполнявшие декоративные и распорядительные функции по устройству празднеств, процессий, дипломатических приемов и цирковых представлений. В IX в. их основная роль свелась к прославлению правящего императора и членов его семьи в соответствии с тщательно разработанным ритуалом.

В упрочении императорской власти исключительное место принадлежит иконоборческим государям, которым удалось пресечь центробежные тенденции и превратить надолго церковь, монастыри и военно-административную систему фемного управления в верную опору своего трона²¹.

¹⁹ Chrysos E. K. The Title ΒΑΣΙΛΕΥΣ in Early Byzantine International Relations // DOP. 1978, N 32. P. 31—75; Shahid J. Heraclius πστο;`ς ε;`ν Χριστω;`, βασιλεύς // DOP. 1980—1981. N 34. P. 225—237; *Idem*. On the Titulature of the Emperor Heraclius//Byz. 1981. T. 41. P. 288—296.

²⁰ Cp.: Guillard R. Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. P. 225.

²¹ Лунин Е. Э. Очерки... С. 170—212 (Библиография: С. 424—453).

Усилившиеся церковь и монашество оказали центральной власти неоценимую помощь в борьбе с оппозицией, иноверцами, еретиками, в восстановлении имперского правопорядка в провинциях, в обращении в христианство масс расселившихся там варваров-язычников. С ростом политической роли духовенства возросли и его амбиции. В его среде упрочивалась идея превосходства духовной власти над светской. Возрождались также опасные для единства империи враждебные символу веры течения христианства, так как они являлись нередко идеологическим обоснованием сепаратистских устремлений.

Подчинение церкви власти императора облегчалось тем, что утратила значение сплошь и рядом осложнявшая ранее положение дел оппозиция Константинополю со стороны восточных патриархов Антиохии, Иерусалима и Александрии — их территории были завоеваны арабами в 630—640-х годах. Активное противодействие централизаторскому курсу императоров продолжало оказывать лишь папство.

Утверждая примат светской власти над духовной, императоры прежде всего подчинили константинопольскую церковь. Они присвоили себе право решающего голоса при выборах патриарха и при принятии на вселенских соборах важнейших церковных догматов. Непокорных патриархов низлагали, ссылали, избивали, даже уничтожали физически. Лишали трона также и римских пап, пока они не оказались с середины VIII столетия под протекторатом Франкского государства. Иконоборчество внесло свой вклад в разлад с Западом, послужило завязкой будущей драмы разделения церковью. Гонение на мощи святых не искоренили самих культов святых, весьма популярных у простых христиан, тем не менее именно государям-иконоборцам удалось возродить и упрочить культ императорской власти²².

В конечном итоге те же цели преследовала политика возобновления римского судопроизводства и возрождение пережившего глубокий упадок в VII в. римского права. В 726 г. была издана «Эклога», резко повышавшая ответственность чиновничества перед законом и государем и устанавливавшая смертную казнь за всякое выступление против императора и державы (Е. XVI. 4; XVII. 3, 5)²³.

К последней четверти VIII в. основные цели иконоборчества были решены: материальное положение оппозиционного духовенства было подорвано, его сокровища и часть земель конфискованы, иконы и мощи, служившие объектом поклонения, сопровождавшегося богатыми дарениями верующих, уничтожены, многие монастыри были закрыты, а главное — подверглись разгрому крупные центры сепаратизма. Решена была одновременно и вторая задача иконоборцев — фемная знать была всецело подчинена престолу.

Первые фемы в Малой Азии имели огромные размеры. Их стратиги, быстро осознав свое могущество, мечтали об овладении тронном или о полной независимости от Константинополя. Используя полноту власти в своих руках, фемная знать пошла по пути создания крупных имений. Завязался конфликт двух основных группировок господствующего класса, военной аристократии и гражданской знати, за политическое преобладание в государстве. По сути дела, это была борьба за два различных пути развития феодальных отношений: столичная бюрократия, распоряжавшаяся средствами казначейства, стремилась ограничить рост крупного землевладения, усилить податной гнет, тогда как фемная знать видела перспективы своего усиления во всемерном развитии частновладельческих форм эксплуатации. Соперничество «полководцев» и «бюрократов» станет на четыре столетия стержнем внутренней политической жизни империи. На данном этапе оно было еще лишь опасным эпизодом. Сравнительно легко победили «бюрократы», возглавляемые императорами, происходившими, кстати говоря, из фемной знати, т. е. до захвата престола являвшимися «полководцами».

Лев III (717—741), овладевший властью в результате вооруженного мятежа, сумел упрочить зависимость стратигов от своего престола и надолго лишил их возможности опереться на оппозиционные элементы в провинциях.

²² Сюзюмов М. Я. Основные направления историографии истории Византии иконоборческого периода // ВВ. 1963. Т. 22. С. 214—226; *Он же*. Первый и второй периоды иконоборчества // История Византии. Т. 2. С. 49—79; Winkelmann F. Kirche und Gesellschaft in Byzanz vom Ende des 6. bis zum Beginn des 8. Jh. // Klio. 1979. Bd. 59. S. 477—489; *Idem*. Die östlichen Kirchen in der Epoche der christologischen Auseinandersetzungen. В., 1980. S. 44—48; Brandes W. (unter Mitarb. Mileta Ch. u. Ridel S.). Der sozialökonomische Hintergrund des byzantinischen Bilderstreites. Fragen und Probleme//Der Byzantinische Bilderstreit. Leipzig, 1980. S. 41—57.

²³ Литвиц Е. Э. Очерки... С. 229—251; *Она же*. Право... С. 195—203.

Иконоборческая политика утрачивала свою остроту во второй четверти IX в. Дальнейшая борьба вокруг икон грозила ослаблением позиций господствующего класса. Отрезвляюще на правящие круги подействовало восстание Фомы Славянина в 821—825 гг. Когда войска Фомы переправились из Малой Азии во Фракию и осадили Константинополь, помощь составшим оказали и местные славяне. Восстание было подавлено, но на позицию знати, расколотой междоусобиями, оно оказало огромное влияние²⁴. Идейный вождь иконопочитателей Феодор Студит, не перестававший ранее защищать идею примата духовной власти над светской, во время осады столицы Фомой призывал к прекращению споров, поскольку они приводят к смутам (PG. T. 93. Col. 1412).

В 843 г. иконопочитание было торжественно восстановлено. «Бюрократы» и «полководцы» сплотились вокруг трона. Победил курс на централизацию власти. Церковь и монашество снова укрепили свои позиции, сея среди разочарованных политикой иконоборцев народных масс настроение уныния и смирения. Множились жития святых, нарочито простым слогом повествовалось о чудесах и явлениях, утверждалась вера в сверхъестественное. Древние идеалы гармонии духа и плоти были окончательно отброшены, прославлялось торжество духа над телом. Расцвел жанр дидактики: духовенство не только звало к «спасению» через покорность — «спасать» оно объявляло своей главной миссией, взимая снова как плату за это обильную дань с верующих. Откровенно и прямолинейно оно утверждало также культ «защитника православия» — «земного бога» (императора). Свойственная этой эпохе демократизация литературы (и культуры в целом), осуществляемая «сверху», представляла собою объективно тактический прием, маневр правящих кругов в обострившейся социальной ситуации. Павликиане с их дуалистическим учением о существующем строе как «мире зла», созданном сатаной, с их отрицанием церковной иерархии, воспринимались как грозная опасность, и светские и духовные власти расправились с ними с невиданной жестокостью²⁵. Сопротивление свободного крестьянства было сломлено. Начался период быстрого наступления на мелкое крестьянское землевладение со стороны как центральной власти, так и крупной светской и духовной знати.

Укрепление могущества императорской власти надолго предопределило пути развития феодальных отношений в Византии, а тем самым — и характер ее политической системы. Централизованная эксплуатация стала на три столетия основным источником материальных средств имперского фиска, а служба крестьян-стратиотов в фемном ополчении по крайней мере на два века оставалась фундаментом военного могущества Византийского государства.

Созданная в своих основных звеньях к середине IX в. громоздкая бюрократическая машина сдерживала прогрессивный для той эпохи процесс развития феодализма. Это направление в политике центральной власти, сохранявшееся почти до конца XI в. и не преодоленное полностью и позднее, в немалой степени обусловило постепенное замедление темпов социально-экономического развития в целом на территории империи.

Наступление эпохи зрелого феодализма исследователи датируют концом XI или даже рубежом XI—XII вв. Интенсивное формирование крупного частного землевладения пришлось на вторую половину IX—X в., в особенности на время после жестокого неурожая и голода 927/928 г.: ослабленное податным гнетом крестьянство разорялось, голодающие крестьяне за бесценок продавали «динатам» («сильным») свои участки, отдавали их за помощь господам в собственность, становясь их держателями — париками. Массовое сокращение числа налого- и военнообязанного населения резко уменьшило доходы фиска, ослабило фемные ополчения. С 920-х и до 1020-х годов обеспокоенные этим императоры издали серию указов-новелл в защиту крестьянского землевладения. Они известны как законодательство императоров Македонской династии (867—1056). Крестьянам предоставлялось предпочтительное право на покупку крестьянской, а затем — и динатской земли; продавшие и как-либо потерявшие землю крестьяне имели право выкупить ее в рассрочку. {24}

Конечно, эти законоположения имели в виду, собственно, интересы не крестьян, а казначейства. Наиболее ясно это выразилось в том, что государство обязывало общинников-

²⁴ Köpstein H. Zur Erhebung des Thomas//Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. В., 1983. S. 69—76; Липуниц Е. Э. Очерки... С. 212—228.

²⁵ Липуниц Е. Э. Очерки... С. 132—170.

односельчан уплачивать в порядке солидарной ответственности — круговой поруки — налоги за заброшенные крестьянами участки. Запустевшие земли (класмы) казна распродала, отмежевывая их у общин, раздаривала или сдавала в аренду. Препятствуя переходу крестьян на земли динатов в качестве их париков, власти поощряли, напротив, поселение разорившихся в пределах имений императора и правительственных учреждений. Шла, таким образом, борьба между государством и феодалами за рабочие руки, за право эксплуатации крестьян²⁶.

Под давлением видных сановников, стратигов, архиереев императоры делали все больше оговорок в своих новеллах, которые позволяли динатам — на вполне законных основаниях — обходить запреты. Со временем государство вообще почти перестало контролировать процесс поселения в имениях частных лиц неимущих, не плативших налоги, позволяя селить их столько, сколько «бог ни пошлет», как сказано в одной из грамот (Jus. III. P. 444). Единственно, что интересовало казну, это взимание с них налога, если господин не имел от императора для этих париков налоговой экскуссии и если он предпочитал эксплуатировать их не как дворовых холопов, а как полнонадельных держателей господской земли²⁷.

При эволюции парической зависимости в XI—XII вв. постепенно сглаживались различия между разными категориями частновладельческих крестьян и все более упрочивалась над ними власть их господ, приобретающих все более широкие иммунитетные права.

С середины XI в. стало расти также условное землевладение. Первоначально, еще в X в., императоры жаловали светской и духовной знати так называемые «невещные права», состоявшие в передаче права сбора в свою пользу с определенной территории на точно установленный или пожизненный срок государственных налогов. Эти пожалования называли солемениями и прониями. Прония, как правило, предусматривала в XI в. несение со стороны ее получателя чаще всего военной службы в пользу государства. В XII в. в пронии стали раздавать и земли со свободным налогообязанным населением — обычно на срок жизни дарителя или прониара. Однако в обстановке того времени получивший пронию утверждал владельческие права и на саму землю пронии и на живущее там крестьянство. Прония становилась, в сущности, условным феодальным владением и к концу XII в. обнаружила тенденцию к превращению в наследственную, а затем и в безусловную собственность. Развитие пронии означало распространение права государственной собственности на {25} земли свободного крестьянства: пожалование невещных прав оказалось лишь этапом на пути к этому²⁸.

В канун четвертого крестового похода, в обстановке прогрессирующего ослабления центральной власти, к северу от Фессалоники, на Пелопоннесе и в ряде районов Малой Азии сложились обширные комплексы владений, фактически независимых от Константинополя. Никто из магнатов провинций не пришел на помощь столице, осажденной крестоносцами.

Но и сама феодальная раздробленность в империи была существенно иной, чем в Западной Европе. Оформление вотчины, а затем и ее иммунитетных привилегий совершалось в Византии замедленными темпами. Государство сдерживало эти процессы. Налоговый иммунитет предоставлялся лишь как исключительная льгота; высшую юрисдикцию феодалам императоры не предоставляли вообще. В империи не сложилась иерархическая структура земельной собственности — она лишь зародилась. Поэтому не получила развития и система вассально-ленных отношений²⁹.

²⁶ *Литаврин Г. Г.* Византийское общество... С. 7 и след., 72—93; *Он же.* Еще раз о симпатиях и класмах налоговых уставов X—XI вв. // ВВ. 1978. Т. 5. С. 73—94; *Он же.* ΟΠΙΣΘΟΤΕΛΕΙΑ: К вопросу о наделении крестьян в Византии землей в X—XI вв. // ВВ. 1978. Т. 39. С. 46—53.

²⁷ *Weiss G.* Die Entscheidung des Kosmas Magistros uber das Parokenrecht // Byz. 1978. Т. 48. P. 491—500; *Kaplan M.* Remarques sur la place de l'exploitation paysanne dans l'économie rurale byzantine // JÖB. 1982. Bd. 32 (2). P. 105—114; *Litavrin G.* Zur Lage der byzantinischen Bauernschaft im 10.—11. Jahrh. // Beiträge... S. 47—70; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество. С. 72—93; *Καραγιαννοπούλου Ή.* Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, Θεσσαλονίκη, 1981. Т. В'. С. 374—385.

²⁸ *Литаврин Г. Г.* Проблема государственной собственности в Византии в X—XI вв. // ВВ. 1975. Т. 35. С. 55 и след.; *Он же.* Византийское общество... С. 103—108; *Он же.* Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960. С. 120—127. 152—159; Ср.: *Хвостова К. В.* Византийское крестьянство в XII—XV вв. // История крестьянства в Европе. М., 1986. Т. 2. С. 211—216; *Matschke K. P.* Socialschichten und Geisteshaltungen // XVI. Inter. Byzantinistenkongress. Akten. I/1. Wien. 1981. S. 189—212.

²⁹ *Ahrweiler H.* Recherches sur la société byzantine du XI^e siècle: nouvelle hiérarchie et nouvelle solidarité // ТМ. 1976. Т. 6. P. 99—124; *Литаврин Г. Г.* Относительные размеры и состав имущества провинциальной византийской ари-

Византийская деревня X—XII вв. даже внешне резко отличалась от западноевропейской: здесь не было господских замков в подлинном смысле слова. Вотчинники проживали постоянно в городах, где сосредоточивались их богатства, имелись склады для продукции земледелия и изделий вотчинного ремесла, поставляемых на городской рынок.

Новый подъем византийских городов, начавшийся в X в., достиг своего апогея в XI—XII вв., причем охватил не только столицу Константинополь, но и некоторые провинциальные городские центры — такие, как Никея, Смирна, Эфес, Трапезунд в азиатской части империи, Фессалоника, Афины, Коринф — в европейской³⁰. Упрочение товарно-денежных связей между городом и деревней привело к оживлению старых и появлению новых рынков. Когда в результате побед над арабами во 2-й половине X в. была обеспечена безопасность мореплавания, византийское купечество вновь развернуло широкую международную торговлю. Имперская золотая монета — номисма снова стала всеобщим средством обращения в Европе и отчасти в Азии. Константинополь опять превратился в мировое торжище, ярмарку великолепия, богатейший город европейского средневековья. Ремесла столицы, питаемые крупными заказами императорского дворца, высшего духовенства, чиновной знати, переживали бурный подъем. В X в. был составлен городской устав — «Книга эпарха», {26} регламентирующий деятельность основных ремесленных и торговых корпораций Константинополя. Главные цели устава состояли в бесперебойном снабжении города основными продовольственными товарами, производственным сырьем и предметами широкого обихода, а также — в обеспечении организованных форм налогообложения ремесленников и торговцев и их законопослушности городским властям (Кн. Эп. Введение. С. 5—42)³¹.

Положения «Книги эпарха» удовлетворяли успешной деятельности корпораций, пока не поднялось ремесло в городах провинций и в феодальных вотчинах, а в особенности — пока на средиземноморском рынке не проявилась с последней трети XI в. высокая конкурентоспособность ремесленных изделий итальянских городов-республик — Венеции, Генуи, Флоренции, Пизы и др. Вращенные в тепличных условиях, опутанные мелочным контролем властей, константинопольские корпорации стали хиреть.

Как профессиональные объединения они не могут быть уподоблены западноевропейским цехам — не только потому, что корпорации имелись только в столице, в Фессалонике, и, может быть, ряде других крупных центров, но главным образом потому, что сфера их правоспособности, сравнительно с цехами, была существенно ограничена. Члены корпораций не имели права самостоятельно регулировать свои отношения, характер и условия производства, избирать и сменять свою руководящую верхушку. По сути дела, ими руководили представители официальной власти, далекие от интересов как своих подчиненных, так и самих их производственных занятий. Все это надолго определило общественно-политическую слабость ремесленно-торгового люда византийских городов перед произволом властей.

Постоянное вмешательство государства в деятельность корпораций стало тормозом их дальнейшего развития. С конца XI в. стал сокращаться приток средств в ремесленное производство. Шел процесс тезаврации крупных денежных сумм. В силу искусственно поддерживаемого пассивного баланса столичной торговли происходил непрерывный отлив византийской монеты за пределы империи. Особенно жестокий удар по византийскому ремеслу и торговле нанесли непомерно высокие льготы, предоставляемые с конца XI до конца XII в. императорами из политических соображений — ради помощи военным флотом — торговцам итальян-

стократии во 2-й половине XI в. (по материалам завещаний)//ВО. М., 1971. С. 5—42; *Он же*. Византийское общество... С. 96—109; *Weiss G.* Vermögensbildung der Byzantiner in Privathand. Methodische Fragen einer quantitativen Analyse BYZANTINA. 1982. Т. 11. S. 77—92.

³⁰ *Ostrogorsky G.* Byzantine Cities in the Early Middle Ages//DOP. 1959. Vol. 13. P. 47—66; *Каждан А. П.* Деревня и город... С. 190—249.

³¹ *Сюзюмов М. Я.* Некоторые проблемы исторического развития Византии и Запада//ВВ. 1974. Т. 35. С. 3—18; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество... С. 125—152; *Соколова И. В.* Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. С. 107—118; *Malich B.* Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein — ein Grundsatz des byzantinischen Wirtschaftsleben im 8/9 Jahrh. // Studien zum 8. und 9. Jh. in Byzanz. В., 1983. S. 47—59; *Charanis P.* The Role of the People in the Political Life of the Byzantine Empire: The Period of the Comneni and the Palaeologi//EB. 1978. Vol. 5. P. 69—79; *Ahrweiler H.* Recherches... P. 120 sq.; *Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е.* Город и государство в Византии в эпоху перехода от античности к феодализму // Становление и развитие раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986. С. 100—197.

янских республик, прежде всего Венеции и Генуи. Со своих торговцев казна взимала вдвое-втрое более высокие пошлины, чем с итальянских. В столице, на берегу Золотого Рога, итальянцам принадлежали уже целые кварталы. Товары иноземцев оказались не только дешевле византийских — они стали скоро также выше и по качеству. Признаки упадка ранее всего обнаружили в Константинополе. Засилье в его экономике итальянцев росло. Корпорации сходили со сцены. К концу XII в. самоснабжение столицы империи продовольствием оказалось в основном в руках итальянского купечества.

В провинциальных городах, напротив, конкуренция иноземных товаров ощущалась слабо. Связи с прилегавшей округой и другими городами продолжали укрепляться. Но зато провинциальный город все более попадал под власть крупнейших местных магнатов.

Горожане поднимались на борьбу, направленную неизменно против государства. Особенно частыми были восстания в городах в XI в., и наиболее бурно они протекали в приморских городах-портах (эмпориях). Восставшие выступали против налогового гнета, высоких пошлин, социального и политического бесправия. Но все эти восстания были стихийными и скоротечными. Угнетенное крестьянство не приходило на помощь горожанам — у них не было в деревне союзника. В столице гнев народа в ходе восстаний все чаще обрушивался на итальянцев — в 1182 г. их кварталы были разгромлены. Но время уже было упущено безвозвратно. К концу XII столетия былая слава Византии как мастерской великолепия закатилась.

Византийское государство сложилось в своих важнейших чертах как феодальная монархия к началу X в., и этот факт нашел яркое отражение в правотворчестве и в пропагандистской деятельности императоров Льва VI Мудрого (886—912) и Константина VII Багрянородного (913—959).

В правление императоров Македонской династии (867—1056), при которых чрезвычайно укрепилась личная власть монарха, империя достигла необычайного могущества, которого она никогда не знала в последующем. В царствование Василия II Болгаробойцы (976—1025) границы империи на востоке подступали к Двину, а на юге достигали пределов Палестины; Балканский полуостров вплоть до Дуная был вновь во власти Византии.

В правление династии Комнинов (1081—1185) имел место новый временный подъем византийского государства. Комнины одержали крупные победы над турками-сельджуками в Малой Азии и вели активную политику на Западе. Упадок византийской государственности остро проявился лишь в конце XII в.

Организация государственной администрации и управления империей в X — середине XII в. претерпела серьезные изменения.

Активное приспособление норм юстинианова права к новым условиям, создание таких правовых уложений, как «Исагога», «Прохирон», «Василики», издание новых законов (новелл), официальных и полуофициальных руководств о порядке налогообложения, о воинской тактике, об организации управления, об основах внешней политики, о должностной иерархии и почетных титулах, об устройстве церемоний и празднеств — все было направлено на прославление империи и императора, высшего авторитета всей христианской ойкумены. Синклит, или совет высшей знати при василевсе, генетически связанный с позднеимперским сенатом, был в целом послушным орудием его власти (Jus. III. P. 139—140, 175, 191). Формирование персонала важнейших органов управления целиком {28} определялось волей правителя. В историографии этот порядок нередко называют, несколько преувеличивая его общественные последствия, «вертикальной социальной мобильностью»: по приказу монарха вчерашний вельможа мог сегодня оказаться простолюдином, а энергичный, сметливый и угодный василевсу простолюдин — вельможей.

Файл byz29g.jpg

Алексей Комнин.

1122. Собор св. Софии.

Константинополь.

Мозаика в южной галерее.

При Льве VI (886—912) была приведена в систему иерархия чинов и титулов. Не передававшиеся по наследству почетные титулы делились на 4 разряда, каждый из которых имел строго определенное число рангов (всего их было 18). Система титулов была своего рода деко-

ративным аналогом вассально-ленной феодальной иерархии в странах Западной Европы, но в отличие от нее не создавала реальных отношений сюзеренитета и вассальной верности, хотя и служила, несомненно, одним из важнейших рычагов усиления императорской власти.

Ряд крупных должностных лиц находился, однако, как бы вне иерархии чинов и титулов. Эти лица были обычно евнухами, не представлявшими опасности правящему монарху и получавшими от него чрезвычайные полномочия. Роль временщиков играли в X—XI вв. обычно спальничие (паракимонены)³².

Власть императора была отнюдь не беспредельной и зачастую весьма непрочной. Во-первых, она не была наследственной; обожествлялся императорский трон, место василевса в обществе, его ранг, а не самая его личность и не династия. Поэтому в Византии рано утвердился обычай соправительства: правящий василевс спешил при жизни короновать своего наследника, нередко — ребенка, чтобы повесить его права на трон. Во-вторых, засилье временщиков расстраивало управление и в центре (уменьшало значение ведомств) и на местах (временщик всюду ставил «своих людей»), насаждало произвол, дискредитировало императорскую власть, становилось причиной мятежей и переворотов.

Принятый на рубеже IX—X вв. закон, согласно которому служебные {29} преступления не признавались уголовными и не подлежали суровому преследованию, так и не был отменен, даже в случаях отъявленного казнокрадства. К середине XI в. коррупция и произвол в отношении к рядовому населению стали тяжким пороком византийской бюрократической системы. За фасадом официальных служебных отношений оформились неофициальные личностные связи в среде имущих и чиновничества. В источниках эти связи обозначаются термином «филия», т. е. «дружба», а точнее — благоволение. К концу XII в. «филия» пронизала высшую бюрократическую элиту, причем императоры нередко сами содействовали этому, прибегая все чаще к откупам налогов и пошлин и отдавая предпочтение тому откупщику, который вносил в казну больше причитающихся по закону сумм³³.

С середины XI в. вслед за упадком мелкого крестьянского землевладения приходила в упадок и основанная на нем фемная военно-административная система. Падали авторитет и власть стратига фемы. Снова происходило разделение военной и гражданской власти: главенство в провинции переходило к судье-претору, стратиги становились начальниками местных крепостей, а высшую военную власть представлял глава тагмы — отряда профессиональных наемников. Крупные военно-административные округа — катепанаты, или дукаты, сохранялись лишь в угрожаемых пограничных провинциях; их полномочными заместителями император назначал преданных себе людей, все чаще — представителей правящей семьи. Закладывались основы будущих апанажей. Как раз на землях катепанатов оформлялись крупные, почти независимые к концу XII в. имения магнатов³⁴.

Частновладельческая эксплуатация стала к началу XII в. широко распространенной формой. Но и в конце XII в. еще имелся значительный слой свободного крестьянства. Его централизованная эксплуатация, как и подати с париков, живших в имениях тех крупных собственников, которые не располагали налоговым иммунитетом, составляли по-прежнему основной источник доходов казначейства³⁵. Но в целом эти доходы сокращались. Крестьянство разорялось, круговая порука тяжело ложилась на его плечи — живые соседи, как тогда говорили, платили долги умерших. Постепенно происходили изменения в организации армии. Еще Никифор II Фока (963—969) резко выделил из массы стратиотов их состоятельную верхушку, из

³² *Oikonomidès N.* Les listes de préséance byzantines des IX^e et X^e siècles. P., 1972. P. 261—364; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество... С. 196—236; *Winkelmann F.* Byzantinische Bang- und Ämterstruktur... S. 43—65.

³³ *Guilland R.* Recherches sur l'administration byzantine. P., 1964. Т. 1—2; *Idem.* Titres et fonctions de l'Empire byzantin. L., 1976; *Oikonomidès N.* Op. cit. P. 282—373; *Jenkins R.* The Imperial Centuries. A. D. 610—1071. L., 1966; *Tinnefeld f.* Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Procop bis Nicetas Choniates. München, 1971. S. 36—40; *Weiss G.* Oströmische Beamte in Spiegel der Schriften des Michael Psellos. München, 1973. S. 25—60; *Matschke K. P.* Op. cit. S. 189—212; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество... С. 192, 261—266; *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 117—124; *Курбатов Г. Л.* История Византии: (Историография). Л., 1975. С. 116—126.

³⁴ *Ahrweiler H.* Recherches... P. 23—36.

³⁵ *Svoronos N.* Recherches sur le cadastre byzantin et le fiscalité au XI^e et XII^e s. Le cadastre de Thèbes//BCH. 1959. Т. 83. P. 141—145; *Литаврин Г. Г.* Византийское общество... С. 196—236; *Он же.* Еще раз о симпатиях и класмах налоговых уставов X—XI вв. С. 73—94.

которой сформировал тяжеловооруженную, закованную в латы кавалерию. Менее состоятельных обязывали служить в {30} пехоте, на флоте, в обозе. Однако с XI в. широкие масштабы получило так называемая «фискализация стратий», т. е. воинских участков: обязанность личной службы заменяли денежной компенсацией. На полученные средства содержалось наемное войско (тагмы) из воинов-профессионалов, среди которых было много иноземцев. Скучно оплачиваемые наемники поднимали бунты, усиливая нестабильность в государстве. В 1071 г. еще недавно победоносная, а теперь раздираемая противоречиями армия империи потерпела сокрушительное поражение от турок-сельджуков под Манцикертом в Малой Азии ³⁶.

Еще пагубнее упадок воинских сил империи отразился на ее военном флоте, еще столь могущественном в начале XI в. Энергичные меры к его возрождению приняли Комнины, но он так и не достиг своей прежней мощи. Именно поэтому империя стала зависеть от помощи флота итальянских республик. Алексей I Комнин, отражая натиск сицилийских норманнов, выдал венецианцам в 1084 г. за обещанную поддержку первый хрисовул, даровавший им чрезвычайные торговые привилегии ³⁷.

Положение дел в армии прямо отражало перипетии политической борьбы внутри господствующего класса империи. С конца X в. полководцы стремились вырвать власть у усилившейся бюрократии. Особенно острыми эти атаки стали в XI в. (столетии мятежей полководцев и семи государственных переворотов). В страхе перед военной аристократией императоры взяли сознательный курс на ослабление воинских сил. Крупных полководцев лишали постов и ссылали по малейшим подозрениям. На их место назначались сугубо гражданские сановники, зачастую евнухи, не обладавшие ни воинским опытом, ни талантами, но зато беспредельно преданные императору. Военная знать ответила на эти меры гражданской правящей верхушки ужесточением борьбы за трон. Эпизодически представители военной группировки захватывали власть в середине XI в., но окончательная победа пришла к ним только в 1081 г., когда мятежный полководец Алексей I Комнин (1081—1118) занял престол ³⁸.

Эпоха господства чиновной знати завершилась. Несмотря на тяжкие социальные недуги, переживавшиеся империей в конце этой эпохи, для нее был характерен подъем духовной жизни общества, отразившийся во всех областях культуры (так называемое «Македонское возрождение»). Упрочился интерес к культурному наследию античности, усилилось светское направление в искусстве и литературе, ярко проявилось сомнение в законности бесконтрольного всевластия василевса. Примечательно, что культурная активность образованных кругов имперского общества отнюдь не ослабела и в период кризиса 1040—1070-х годов. Вооруженный спор за престол между «полководцами» и «бюрократами» сопровождался столкновением идей и в литературе, в особенности в историографии той {31} эпохи. Как и в самой жизни, чаша весов здесь также все более склонялась в пользу военной аристократии.

С приходом к власти Комнинов тенденция к упрочению наследственных прав на престол, обозначавшаяся уже в правление императоров Македонской династии, получила дальнейшее развитие. Усилилось вместе с тем и влияние на управление государством членов правящей семьи, ближайших родственников императора ³⁹. В критических ситуациях причастными к высшей власти считали также братьев и даже сестер императора. Препрежнее деление высшей знати на военную и сановную гражданскую утрачивало значение. Провинциальные магнаты вели теперь борьбу не за трон империи, а за независимость от Константинополя, за отделение от государства. Соперничество за обладание престолом проникло теперь внутрь самой правящей династии. Так, например, Анна Комнина интриговала вместе с мужем Никифором Вриеннием против своего брата, императора Иоанна II. Андроник I сверг и уничтожил своего племянника Алексея II, Алексей III Ангел низложил и ослепил брата Исаака II Ангела.

Изменения в формах политической борьбы и в ситуации при императорском дворе вполне отвечали переменам, происшедшим в структуре господствующего класса. Ускорился

³⁶ Γρηγορίου-Ίωαννίδου Μ. Παρακμή, καί, πτώση τοῦ θεματικοῦ θεσμοῦ. Θεσσαλονίκη, 1985. Σ. 149—150.

³⁷ Литаврин Г. Г. Византийское общество... С. 236—259; Ahrweiler H. Recherches... P. 23 sq.; Cheynet J. C. Manzikert: un désastre militaire?//Byz. 1980. T. 50. P. 410—438; Tüma O. The Dating of Alexius's Chrysobull to the Venetians: 1082, 1084 or 1092?//BS. 1981. T. 42 (2), P. 171—185.

³⁸ Ostrogorsky G. Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963. S. 288—289; Hunger H. Reich der Neuen Mitte. Graz; Wien; Köln, 1965. S. 27—28.

³⁹ Lemerle P. Cinq études sur le XI^e siècle byzantin. P., 1977. P. 291—292, 309—312.

процесс оформления замкнутого сословия крупнейших феодалов. Принцип вертикальной социальной мобильности утрачивал значение: доступ чужакам в ряды высшей аристократии был перекрыт. Сложились крупные семейные роды (кланы) аристократов, объединенных фамильными узами и целой системой личностных и служебных связей, которые играли роль дополнительного фактора сплочения сил военной знати⁴⁰.

Главную социальную опору Комнинов составляла крупная провинциальная землевладельческая знать. Именно при Комнинах прония приобрела отчетливо выраженный характер военного держания от короны на срок жизни. Был сокращен штат чиновничества и в центре и в провинциях, куда Комнины на наиболее важные посты также назначали своих родственников. Система власти осталась, однако, в целом прежней; Комнины также усиливали гнет централизованной эксплуатации, ужесточали контроль за ростом и привилегиями крупного землевладения, отказывали горожанам в элементарных правах, гарантирующих им доход от занятия ремеслом и торговлей. Комнинам удалось лишь на время упрочить Византийское государство, но не удалось предотвратить дальнейший его упадок.

Церковь в Византии была значительно беднее западной. Деревенские священники мало отличались от простых крестьян, платили налоги, а порой оказывались и в положении париков. Целибат в империи стал обязательным для священнослужителей только начиная с ранга епископа и только с X в. В имущественном отношении даже высшее духовенство целиком зависело от благоволения императора и обычно послушно исполняло его волю. Втягиваясь в междоусобия знати, высшие иерархи с середины XI в. стали все чаще переходить на сторону военной аристократии. {32} Своей поддержкой, кстати говоря, они содействовали воцарению Алексея I.

Файл byz33g.jpg

Король Гийом II преподносит Богородице модель церкви, которую он ей посвятил. Ок. 1180—1194.

Монреале. Мозаика из кафедрального собора. {33}

Комнины не обманули надежд высшего духовенства: его богатства, в особенности земельные, в целом значительно возросли к 80-м годам XII в., однако политически церковь оказалась в еще большем подчинении у светской власти, чем столетием раньше.

Сходными были положение и позиция черного духовенства в XI—XII вв. Империя была поистине страной монастырей. Имелись даже беднейшие («крестьянские») монастыри. Основать монастыри или, по крайней мере, одарить их стремились почти все наиболее знатные лица. Во все периоды истории империи, исключая эпоху иконоборчества, монастырское землевладение даже превосходило церковное. Такие монастыри, как Олимпийские в Малой Азии, Афонские на полуострове Халкидика, константинопольские, пользовались широким влиянием на массы, активно вмешивались во внутривластную борьбу. Несмотря на оскудение казны и резкое уменьшение фонда государственных земель к концу XII в., императоры весьма робко и редко прибегали к политике секуляризации монастырских богатств.

В XI—XII вв. на внутривластную жизнь империи стал оказывать возрастающее воздействие еще один фактор, роль которого в многоплеменной Византии была ранее малозаметной. Его влияние проявлялось в том же направлении, в каком действовали процессы развития феодализма, т. е. в усилении центробежных тенденций. Этот фактор — постепенное оформление феодальных народностей в пределах империи: крупные этнические общности, консолидируясь в этносоциальные единства, стремились к выходу из состава Византии и образованию независимых государств. Мало того, ряд этносов представляли собою уже сложившиеся народности к тому времени, когда они были включены в пределы Византийской империи.

Такой феодальной народностью являлась, например, болгарская к моменту завоевания Василием II Болгаробойцей Первого Болгарского царства. Длительные государственные и культурные традиции, развившиеся в течение трех с половиной столетий независимого существования, стали неотъемлемым фактором болгарского этнического самосознания. Болгарский

⁴⁰ *Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв. М., 1974. С. 259—263.

народ в течение 170 лет вел борьбу за освобождение от иноземного ига, и в 1186—1187 гг. эта борьба увенчалась успехом⁴¹.

Социально крепнувшая иноэтничная знать империи все более явственно противопоставляла себя ее основному этническому ядру — знати греческой⁴². Так обстояло дело и в армянских и грузинских районах на северо-восточных границах, в области Трапезунда, в сербских и хорватских землях, сумевших полностью освободиться также в 1180-х годах. В конце XII в. этот процесс захватил и территории с албанским населением. {34}

В связи с нарастанием тенденций к феодальной раздробленности и к политическому обособлению территорий с компактным негреческим населением претерпел изменение в XI—XII вв. и характер классово-экономической борьбы. Ослабление слоя свободного крестьянства, а вместе с тем и общинных связей обусловило затухание широких антифеодальных движений. Восстания крестьян утрачивали общеимперские масштабы, приобретали локальный характер, хотя и вспыхивали гораздо чаще, чем в VIII—X вв. Краткотечными и неорганизованными, хотя и бурными и разрушительными по их последствиям, были восстания в провинциальных городах⁴³. Таким было положение вещей на коренных землях империи с преобладающим греческим населением. Иначе складывалась ситуация в окраинных провинциях. Здесь в течение XI—XII вв. восстания приобрели особенно широкий размах, причем антифеодальное движение переплеталось с народно-освободительной борьбой. Так обстояло дело и во время восстания во Фракии армянских колонистов в 1082—1083 гг. и в 1084—1086 гг. Но наиболее крупные движения, охватывавшие огромные территории, имели место в эту эпоху в Болгарии — восстания Петра Деляна в 1040—1041 и Георгия Войтеха в 1072 гг., как и восстание Петра и Асеня в 1186—1187 гг., завершившееся основанием Второго Болгарского царства.

Таким образом, Византийская феодальная монархия XI—XII вв. не вполне соответствовала ее социально-экономической структуре. Кризис имперской системы власти не был до конца преодолен к началу XIII в. Упадок государства не был, однако, непосредственным следствием упадка византийской экономики. Напротив, хозяйство Византии в эту эпоху и в деревне, и в большинстве провинциальных городов характеризовалось в целом подъемом производительных сил, ростом товарного производства, расширением торговых связей.

Трагедия империи состояла в том, что поступательный ход социально-экономического и общественного развития приходил во все более неразрешимое противоречие с косными, традиционными формами организации государственного управления, которые лишь частично были приспособлены к новым условиям. Ни по форме, ни по интенсивности имевшая место при Комнинах реконструкция структуры государства не отвечала объективным требованиям производственной деятельности и социальной жизни. Гипертрофированная бюрократическая машина имперского всевластия стала тормозом на пути дальнейшего прогресса феодальных производственных отношений и феодального строя в Византии в целом⁴⁴. {35}

2

Философия VIII—XII вв.

⁴¹ Ангелов Д. Образуване на българската народност. С., 1981; Литаврин Г. Г. Формирование этнического самосознания болгарской народности (VII — первая четверть X в.) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982. С. 49—82.

⁴² Jacoby D. La population byzantine // Byz. 1961. Т. 31; Vryonis Sp. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor. Berkeley; Los Angeles, 1971; Charanis P. Studies on the Demography of the Byzantine Empire. L., 1973; Speck P. Waren die Byzantiner mittelalterliche Altgriechen oder glaubten sie es nur? // Rechtshistorisches Journal. 1983. Bd. 2. P. 5—11.

⁴³ Литаврин Г. Г. Византийское общество... С. 274—287.

⁴⁴ Lemerle P. Cinq études... P. 250—312; Svoronos N. Remarques sur les structures économiques de l'empire byzantin au XI^e siècle//TM. 1976. Т. 6. P. 49—67; Zakythinos D. Byzantinische Geschichte. 324—1071. Wien; Köln; Graz, 1979. P. 244—273; Литаврин Г. Г. Das XI. Jh. in der Geschichte des byzantinischen Reiches. Faktoren des Fortschrittes und des Niedergangs // Berichte. Fortschritte und Stagnationserscheinungen im entwickelten Feudalismus. Humboldt-Universität. B., 1982. Bd. 23. S. 79—87.

Начало тысячелетней истории Византии — это импонирующее зрелище одновременного расцвета неоплатонических философских школ, то языческих, как в Афинах, то религиозно нейтральных, как в Александрии, и спорившей с ними, но и учившейся у них христианской патристики. Мы вправе усматривать и там черты упадка; но невозможно отрицать, что культура мысли была очень развитой, а напряжение умственной работы — высоким. Это не продлилось долго. Та хрупкая утонченность, которая дает себя ощущать в филигранной диалектике Прокла и Дамаския или в одухотворенном экстазе Псевдо-Дионисия Ареопагита, не смогла пережить крутой ломки форм жизни. Уже блестящая эпоха Юстиниана I не была благоприятна для философии. Император закрыл в 529 г. Афинскую школу и этим ускорил естественный процесс вымирания языческого неоплатонизма; он же подверг в 553 г. безоговорочному проклятию наследие Оригена и этим отрезал христианскую мысль от ее истоков, еще в IV в. питавших творчество каппадокийского кружка. Столетие спустя Византии, переживавшей острый общественный кризис и защищавшей свое существование от натиска арабов, было просто не до философии.

На фоне этого дичающего времени одиноко возвышается фигура Максима Исповедника, оригинального философа и богослова, в последний раз воплотившего в себе нечто от мыслительной смелости Оригена, тонкости Григория Нисского, системосозидательской широты Псевдо-Дионисия. В 662 г. Максим умер на пути в кавказскую ссылку, перед этим подвергшийся урезанию языка и правой руки за то, что вразрез с очередным поворотом императорской церковной политики учил о реальности человеческой воли Иисуса Христа, в личном выборе навсегда подчинившего себя божественной воле, но не растворившегося в ней¹. С его смертью окончательно завершилась эпоха патристики. Позднее его точка зрения в богословском споре восторжествовала, он был признан святым {36} византийской церкви, «исповедником» истины (отсюда прозвище)², но равных по величине последователей у него не было.

В центре философских интересов Максима стоит проблема человека и его высокого предназначения. Он перенимает учение Григория Нисского о «плироме душ» как некоей сверхличности, имплицитно заключенной в душе первочеловека Адама и раскрывающейся во всем множестве человеческих душ всех времен, которые вместе составляют органическое целое. Христос пришел, чтобы спасти все это целое, так что осуждение грешников не мыслится окончательным; правда, это тайна, которую должно «читать молчанием» (PG. T. 90. Col. 1172 D). История мира разделена на период подготовки вочеловечения бога, завершившийся с рождением Христа, и период подготовки «обожения» (θεώσις — обожествления³) человека. Когда человек осуществит свою задачу, переборет обусловленное грехопадением самоотчуждение, преодолет в самом себе расколотость на духовное и плотское, горнее и долнее, даже противоположность мужского и женского, — тогда весь космос будет спасен и творение воссоединится с творцом. Активность человека, выступающего спасителем всей твари, как Христос выступил спасителем самого человека, акцентирована с такой силой, какую очень редко можно встретить в истории средневековой мысли. Основные события жизни Христа поняты не только как фактические, моральные и мистические события в истории человечества, но одновременно как символы космических процессов (PG. T. 90. COL. 1108 AB).

¹ Официальной доктриной в это время было так называемое монофелитство — учение о единой воле и единой энергии богочеловека Христа, являвшееся попыткой религиозно-дипломатического компромисса между монофизитством и диофизитством, или православием. Отстаивая реальность человеческой воли Христа, Максим отстаивал нравственный смысл таких евангельских эпизодов, как «моление о чаше» в Гефсиманском саду. Для того, однако, чтобы концепция двух волей не вносила в образ Христа некоего раздвоения личности, Максим предложил отчетливо различать два аспекта воли: желание (θέλησις) и выбор (ἐπιλογὴ). Воля как желание принадлежит природе, воля как выбор — личности, «ипостаси». Две воли Христа — это воли на уровне желания; выбор остается единым. Напряженный интерес Максима к проблеме воли и единства личности выступает наиболее заметно по ходу антимонифелитской полемики, но проявляется и в иных сферах его мысли, например в его этике.

² В богословской терминологии это слово означает как бы низшую ступень мученичества, которой недостает лишь смертной казни.

³ Об этом понятии византийского богословия см.: *Понов И. В.* Идея обожения в древневосточной церкви // *Вопросы философии и психологии.* 1906. Т. 97. С. 165—213; *Lot-Borodine M.* La déification de l'Homme. P., 1959.

Эта доктрина Максима Исповедника оказала влияние на самого дерзновенного мыслителя раннего западного Средневековья — Иоанна Скота Эриугену⁴. В Византии Максима помнили как авторитетного богослова, своим учением о двух волях богочеловека завершившего христологические споры, как аскета и моралиста, автора афоризмов о духовной любви, наконец, как интерпретатора трудных мест из Григория Богослова и Псевдо-Дионисия и толкователя богослужебной символики, основавшего целое направление в религиозной литературе своей «Мистагогией». Его оригинальные философские концепции почти не находили отклика⁵. Когда-то христианские платоники так называемого каппадокийского кружка, {37} еще всецело укорененные в живой культуре своего времени, заботились об изящном словесном наряде своих произведений, занимались популяризацией результатов собственной интеллектуальной работы — достаточно вспомнить риторику «Богословских речей» Григория Назианзина. Напротив, Максим совершенно безразличен к слову, к литературной форме, он разговаривает как будто с самим собою, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы сделать свою мысль более понятной. Интонация живой беседы, обращенной к слушателям, которая так характерна для античной философии и еще живет в патристике, сменилась интонацией отшельника, которого, может быть, услышит другой отшельник.

И все же Максим, этот законный наследник Оригена, мыслитель с очень своеобразным обликом, еще принадлежит христианской античности едва ли не больше, чем средневековью. Чистое средневековье приносит с собой иной тип философа: тип кодификатора ученой традиции, ставящего ее под контроль стабилизовавшейся как раз к этому времени церковной доктрины, а в остальном выше всего ценящего школьную «правильность» понятий и тезисов, их обязательную четкость, их выверенность с оглядкой не только на логику, но и на авторитеты, их внешний порядок, — и при этом почти полностью элиминирующего свою собственную индивидуальность как мыслителя. Иначе говоря, это тип схоласта. К торжеству такого типа дело шло давно. Он был предвосхищен еще у языческих неоплатоников в постепенном повышении роли логической формализации и одновременно — веры в авторитет и магико-теургических мотивов: Ямвлих ближе к этому типу, чем Платон, Прокл — ближе, чем Ямвлих⁶. Он был предвосхищен еще очевиднее у некоторых эпигонов патристики, например у Леонтия Византийского, в первой половине VI в. отработывавшего аристотелевский инструментарий логических расчленений для нужд богословской полемики. Но с полной, образцовой определенностью средневековый тип мышления проявился в деятельности Иоанна Дамаскина⁷.

Иоанн родился во второй половине VII в. в Дамаске, тогда — столице халифата Омейядов; его отец был казначеем халифа, сын унаследовал положение при дворе, но затем оставил Дамаск, чтобы стать монахом в обители св. Саввы близ Иерусалима еще до конца VII в.; там он умер в середине следующего столетия. Таким образом, самый нормативный из учителей византийской церкви родился, прожил всю жизнь и окончил ее за пределами Византийской империи, на территории халифата. Источники сохранили арабское имя или прозвище Иоанна — Мансур; однако весьма сомнительно, знал ли Иоанн что-либо об арабской литературе⁸, помимо необходимых ему как христианскому полемисту сведений о Коране⁹. Его культура остается всецело эллинистической в своих основах. Бывший администратор халифа как систематизатор греческой логики и {38} византийской теологии — парадоксальное явление, характерное для

⁴ Ср.: *Бриллиантов А.* Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эриугены. СПб., 1898.

⁵ Философский масштаб Максима был заново открыт в XX в.; начиная с 1940-х годов он становится на Западе предметом научной и интеллектуальной моды, чему не приходится удивляться ввиду поразительных параллелей между его идеями и концепциями некоторых новейших мыслителей, прежде всего Н. Ф. Федорова, Вл. Соловьева (активная роль человека в исполнении божьего замысла), Т. де Шардена («космический Христос»). Как ни оценивать сами эти концепции, нет необходимости говорить, что в VII в. они требовали большей смелости мысли, чем в XIX или XX в.

⁶ См.: *Аверинцев С. С.* Эволюция философской мысли//Культура Византии. IV—первая половина VII в. М., 1984. С. 55—68.

⁷ Ср.: *Studer B.* Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskos. Ettal, 1956; *Richter G.* Die Dialektik des Johannes von Damaskos. Ettal, 1964.

⁸ См.: *Studer B.* Op. cit. S. 12, Anm. 27.

⁹ Впрочем, сведения эти не были очень точными. См.: *Merill J. E.* The Tractate of John of Damascus on Islam//The Muslim World. 1951. Vol. 41. P. 88—97.

той неповторимой ситуации, когда политическая карта Ближнего Востока в корне изменилась из-за стремительной экспансии ислама, но в сфере культуры соотношение сил еще было прежним.

Историческим фоном философско-богословской работы Иоанна явились иконоборческие споры. При этом важно иметь в виду, что иконоборцы перевели спор в плоскость философской абстракции, обосновывая свою попытку секуляризации византийской жизни и культуры на языке неоплатонически окрашенного спиритуализма: икона, а в логическом пределе — материальный культ как таковой¹⁰, есть с точки зрения этого спиритуализма оскорбление духовной святости «бесславленным и мертвенным веществом»¹¹. Нежелательность изображения Христа и святых обосновывалась в принципе так же, как Плотин в свое время, по рассказу Порфирия (*Porph. Vita Plot. I*), обосновывал нежелательность изображения себя самого: духовное все равно неизобразимо через материальное, а материальное не стоит того, чтобы его изображали¹². Защитники почитания икон на Востоке — в отличие от Запада, где вопрос был сведен к утилитарному аспекту педагогической, учительной функции икон как «Писания для неграмотных»¹³ и спущен с высот умозрения на землю, — приняли условия игры; им пришлось разрабатывать теологию материи и философию культа. Эта задача в большой мере легла на плечи Иоанна Дамаскина, интеллектуального вождя иконопочитателей, который из-за пределов Византийской империи имел тем большую возможность вдохновлять своих единомышленников и намечать для них стратегию аргументации.

Для своего времени Иоанн был прежде всего философом культа. Казалось бы, для истории философии он интересен не в таком качестве; но это неотъемлемая черта всего его умственного облика, ощутительная и тогда, когда он говорит отнюдь не об иконе, а о вещах совсем иного рода, — например о логике. Взаимодополнение, даже взаимопроникновение двух контрастирующих начал — аристотелианской культуры рассудочных дефиниций и культовой мистики — определяет его характерность как поворотной фигуры в истории мысли. Философы культа были и до Иоанна: достаточно вспомнить языческих неоплатоников типа Ямвлиха и христианских неоплатоников типа Псевдо-Дионисия. Но у Иоанна совершенно отсутствует не только привкус оккультной загадочности, без которого немислим Ямвлих, но и тон восторженной возбужденности, сопровождающий изложение мыслей Псевдо-Дионисия. В каждой фразе {39} Дамаскина есть суховатая трезвость и ясность, соединенная с истовостью, а порой и декоративностью обрядового жеста. Единство рассудочности и мистики могло бы заставить нас вспомнить о Прокле Диадохе, но Иоанн несравнимо проще, доступнее, понятнее Прокла. Его учительство — не для узкого кружка посвященных, а для книжных и попросту грамотных людей всего христианского средневековья. Действительно, прямое воздействие его текстов в оригинале и переводах, и тем более косвенное, опосредованное их влияние на умственную жизнь было уникальным по своей широте¹⁴.

Файл byz40g.jpg

Оплакивание.

1164. Церковь св. Пантелеймона.

Нерези. Фреска на северной стене.

Ни от школьного учителя, ни от школьного учебника не требуют оригинальности в обычном смысле слова. От него требуется иное: излагать материал, почерпнутый откуда угодно, в систематическом порядке, и притом именно в таком порядке, который максимально отве-

¹⁰ За исключением таинства евхаристии, которое иконоборцы не только не решались отрицать, но резко противопоставляли в своей полемике иконе и реликвии.

¹¹ Из догматических определений иконоборческого собора 754 г. см.: Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1873. Т. 7. С. 496.

¹² Ср.: *Florovsky G.* Origen, Eusebius and the Iconoclaste Controversy//Church History. 1950. Vol. 19. P. 9—21.

¹³ Классическое раннее выражение позиции по отношению к сакральному искусству — у папы Григория I в письмах к епископу массилийскому Серену, датированных июлем 599 г. и октябрём 600 г. (*Greg. I Reg. Ep. I (1)*). P. 195. IX. 208; 2(2). P. 269—272, XI. 10). Из текстов более поздних следует упомянуть так называемые *libri Carolini* и акты Франкфуртского собора 794 г. Ср. также: *Болотов В. В.* Лекции по истории древней церкви. Пг., 1918. Т. 4. С. 580—586.

¹⁴ Ср.: *Sadnik L.* Des hl. Johannes von Damaskus Ἐκθῆσις αὐτῆς κριτικῆς τῆς ἰκόνος ὡς ὁρθοῦ καὶ ἰσοπέδου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Wiesbaden, 1967.

чал бы реальным запросам и реальным возможностям его учеников. Сила, если угодно, оригинальность Иоанна Дамаскина лежит здесь. «Я не скажу ничего своего,— заявляет сам он не без смиренного преувеличения своей зависимостью от источников,— но по мере сил соберу воедино и представлю в сжатом изложении то, что было разработано испытанными наставниками» (*Jo. Dam. Schriften. I. S. 53*, прооет. 60—63; Тж. 55, 2.9—11). Цитаты, нормально не оговариваемые, следуют за цитатами, выписки — за выписками, но каким-то чудом их держит сквозное единство мыслительного стиля, твердое, даже жесткое, как иконописный канон. (Искусство иконы — не только предмет мысли Дамаскина, но и ее аналог.)

Еще позднеантичная культура, как бы готовясь к выживанию в новых условиях, создавала традицию компиляций и компендиев. К своему апогею традиция эта должна была закономерно прийти в исторический момент завершения перехода от античности к средневековью. Таким апогеем явился энциклопедический труд Иоанна Дамаскина, обнимающий три части: «Диалектику», т. е. разъяснение логических понятий, опи-^{40}рающееся на конспект «Исаоги» Порфирия и его комментаторов¹⁵, трактат «О ересях», а также венец труда в целом — «Точное изъяснение православной веры». Эту трилогию в целом принято по традиции называть «Источник знания», хотя сам Иоанн, по-видимому, озаглавил так только первую часть, т. е. «Диалектику»¹⁶. Трехчленное построение отвечает педагогическому замыслу Дамаскина: сначала надо дать в руки читателю инструментарий мышления, затем предупредить, какие пути мысли отвергнуты церковью, и, наконец, с очень равномерно дозированным смещением рассудочности и авторитарности сообщить, как следует мыслить о предметах веры и устройстве мироздания. «Точное изъяснение православной веры» несколько неожиданно включает такие, например, главы: «О свете, огне и светилах — солнце, луне и звездах», «О воздухе и ветрах», «О водах», «О способности воображения», «О способности памяти». И космология, и философская антропология не просто используются на потребу теологии, как это происходило, например, в «Шестодневе» Василия Великого, но безоговорочно включаются в состав корпуса теологических сведений.

Характерная для средневековой популярной учености в целом механическая рядоположность категориально-онтологического, мистико-аскетического и утилитарно-энциклопедического подхода к назначению философии сказывается в шести дефинициях философии, выстроенных в начале «Диалектики».

«Философия есть познание сущего в качестве сущего, то есть познание природы сущего. И еще: философия есть познание божеского и человеческого, то есть видимого и невидимого. Далее, философия есть попечение о смерти, как произвольной, так и естественной. Ибо ... смерть двояка: во-первых, естественная, то есть отделение души от тела, во-вторых, произвольная, когда мы презираем жизнь настоящую и устремляемся к будущей. Далее, философия есть уподобление богу. Уподобляемся же мы богу через мудрость, то есть истинное познание блага, и через справедливость которая есть нелицеприятное воздаяние каждому должного, и через кротость превыше справедливости, когда мы делаем добро обижающим нас. Философия есть также искусство искусств и наука наук, ибо философия есть начало всяческого искусства, и через нее бывают изобретаемы всяческое искусство и всяческая наука ... Далее, философия есть любовь к мудрости; но истинная Премудрость — это бог, и потому любовь к богу есть истинная философия» (*Jo. Dam. Schriften. I. S. 56*, 3.1—27).

Теологический рационализм Иоанна Дамаскина по существу отрицает дистанцию между знанием естественнонаучным и богословским. Иоанн вслед за Филоном и Климентом Александрийским пользуется известным уподоблением богословия — царице, а прочих наук во главе с философией — служанкам (PG. Т. 94. Col, 632 В), но даже эта метафора, пожалуй, не совсем передает суть дела: науки просто инкорпорируются в состав богословия. Последствия не так легко выразить одним словом. ^{41} Осуждение суеверий¹⁷, отвержение столь влиятель-

¹⁵ Ср.: *Busse A. Porphyrii Isagoge et in Aristotelis Categorias commentarium. Supplementum praefationis // Commentaria in Aristotelem Graeca. B., 1887. Vol. 4. Pars 1. P. XLV.*

¹⁶ Ср.: *Jo. Dam. Schriften. I/R. B. Kotter. Einleitung. S. 29. Studer B. Op. cit. S. 19, Anm. 62.* Сам Иоанн употребляет его (*Jo. Dam. Schriften. I. S. 55*, 2.8—9).

¹⁷ Особенно ярко — в маленьком трактате «О драконах и привидениях» (PG. Т. 94. Col. 1599—1604); см.: *Tatakis B. La philosophie byzantine. P., 1949. P. 109.*

ной на исходе античности астрологии (PG. Т. 94. Col. 892 D—896 A)¹⁸, требование объяснять естественные явления естественными причинами¹⁹, решительное отрицание одушевленности небесных тел (*Jo. Dam. Schriften. II, S. 53*) — все это возводилось в ранг вероучительных истин. Дамаскин продолжал работу древних христианских апологетов, стремившихся демистифицировать материальный космос в борьбе с языческой мифологией, магией и метафизикой; когда со временем тексты Иоанна стали переводить на потребу вчерашних язычников, например славян, этот просветительский пафос должен был оказывать на умы особое воздействие. Христиане, отрицающие пользу изучения природы, получают от Иоанна суровые укоры за леность и нерадение, поскольку естествознание, как он утверждает, обосновывает теологию²⁰. Однако именно поэтому для автономного интереса к научным проблемам, для теологии безразличным, остается очень мало места. Как усердный коллекционер сведений, он не забывает сообщить в «Точном изъяснении православной веры», что небо обычно считают сферой, объемлющей землю со всех сторон (в связи с чем разъясняется относительность понятий «верха» и «низа»), — однако некоторые учили о гемисферичности неба; изложив обе точки зрения, он заключает указанием на то, что в любом случае небо сотворено богом и устроено сообразно с его волей (*Jo. Dam. Schriften. II. S. 52*). Чисто богословски геометрическая форма неба безразлична — суждение, против которого возразить нечего. Дамаскин отказывается отождествить христианское вероучение с той или иной специфической космологией, и это очень благоразумно и даже толерантно — читателю разрешено думать и так, и так, не ставя под вопрос свое православие; но одновременно он, этот читатель, ощущает и нечто другое — может статься, вопрос о форме небес вообще не стоит того, чтобы думать о нем всерьез. Космология, превращенная в одну из дисциплин теологии, подвергается неизбежной редукции, и происходит это без всякого насилия, без борьбы — просто из старых теорий уходит жизнь, и то, что было объяснением мира, становится предметом любопытствующей учености. Одни говорили, что небо сферично, другие — что оно являет собою полусферу; одни утверждали, что земля круглая, другие — что она имеет вид конической горы. Сопоставление мнений интересует Дамаскина лишь как любителя, как знатока; как человека и мыслителя его волнуют другие вопросы. Когда в свое время Косьма Индикоплов полемически противопоставлял свою варварскую картину мира, якобы выведенную из библейских текстов, античной науке²¹, за этим еще стояла уверенность в том, что возможно, а потому необходимо знать, как же устроен мир на самом деле. Дамаскин тоньше и цивилизованнее Косьмы, его отношение к античной науке — куда бо-^{42}лее любовное, но сама эта наука силой вещей отошла за это время очень далеко, превратившись в предмет ностальгического интереса немногих ценителей. Жизненное значение имеют вероучительные вопросы, и только они одни: вспомним обсуждение ложности астрологии или утверждение неодушевленности стихий — обуздание астрологических страстей или дезавуирование языческого обожествления сил природы было для византийской церкви практическим делом, а потому на помощь вере призывался укрощенный рационализм. Все остальное, например форма неба или земли, — эрудиция ради эрудиции.

В этом отношении Дамаскин был человеком своего времени. Если что выделяло его среди современников, так это степень почтения, которое он все же сохранял к старой культуре ума. Но нужна ему была не «физика», а «диалектика», т. е. логика — инструмент теологических диспутов, наполнивших иконоборческую эпоху. Лишь с окончанием этих диспутов атмосфера умственной жизни заметно меняется.

Основателем нового умственного движения был патриарх Фотий (около 820 — около 897), этот исключительно разносторонний человек, имя которого упоминается при изложении судеб Византии и ее культуры в столь различной связи. Хитроумный политик, церковный деятель первого ранга, вдохновитель деятельности Кирилла-Константина и Мефодия, трезвый и оригинальный литературный критик, очень много сделавший для становления зрелого визан-

¹⁸ Аргументы в большой мере почерпнуты у Филопона (*Phlp. De aetern. mundi. P. 204, 3—7*).

¹⁹ В упомянутом выше трактате «О драконах и привидениях».

²⁰ 'ЕФ. XIII. Σ. 126.

²¹ *Wolska-Conus W. Introduction//Cosmas Indicopleustes. Topographie Chrétienne. P., 1968. P. 15—17; Eadem. La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustes. Théologie et science en VI^e siècle. P., 1962. О земле см.: Jo. Dam. Schriften. II. S. 69.*

тийского вкуса, Фотий имел прирожденное дарование педагога. Отсюда общекультурное значение его деятельности, намного превышающее его оригинальность как философа, но важное и для истории философии.

Одна черта объединяет Фотия с Иоанном Дамаскиным, создавая контраст и патристической эпохе, и временам, которые придут позже: это предпочтение, отдаваемое Аристотелю перед Платоном. Если бы мы задались целью выразить одним словом то, чего Фотий хотел и в искусстве речи, и в искусстве мышления, это слово было бы — трезвость. Именно по критерию трезвости производится отделение приемлемого от неприемлемого при ревизии наследия языческой древности: риторическая проза, подчиненная законам рассудка, предпочтительнее, чем поэзия, обращающаяся к неразумной части души, возбуждающая аффекты с вредоносными для христианина мифами; и как раз поэтому нехороша философия Платона, в которой столько поэзии. Фотию претит поэтическая стилистика Платона; платоновская теория идей вызывает его неодобрение как сомнительная в богословском аспекте, — что же это за Творец, который для творческого акта нуждается в предсуществовавшей «парадигме»?²² Вполне последовательно он отвергает гипостазирование родовых понятий, предвосхищавшее средневековый «реализм» схоластов (Photii Bibliotheca. Cod. 212). Кстати говоря, логическая проблематика, воспринятая от поздних неоплатонических комментаторов Аристотеля и от того же Дамаскина, занимает у Фотия значительное место (PG. T. 101. Col. 480 AB). Стоит отметить его интерес к логической ценности античного {43} скептицизма (пирронизма), побудивший его подробно конспектировать Энесидема (PG. T. 101. Col. 488 B). В конце концов, для Фотия существуют две вещи — и ничего помимо них или между ними: с одной стороны, церковное вероучение и сопряженная с ним идея непреложного авторитета, с другой — культура ума как таковая, в принципе подчиненная запросам теологии (например: PG. T. 101. Col. 760 A—881A), но фактически имеющая много простора для самоцельной игры. Для чего решительно не остается места, так это для философской мистики во вкусе неоплатоников. Аристотель благонадежнее Платона не в последнюю очередь потому, что не предлагает собственного религиозного творчества, которое состояло бы в неясных отношениях с библейским откровением и доктриной церкви.

Пора Фотия — это время, когда византийская культура, пройдя через кризис, делает некий необходимый и не отменяемый выбор, когда закладываются основы для подъема интеллектуальной жизни на несколько веков вперед. Господствует педагогический пафос, идеал здоровой школьной рассудительности и толковости, а в связи с этим — императив самоограничения. Никак не скажешь, что кругозор у Фотия узок, совсем напротив, — но идеи и книги, попадающие в этот кругозор, подвергаются решительной и жесткой оценке по утилитарным критериям: что именно нужно? В какой мере? для какой потребности? Это уверенный хозяйский взгляд, и перед нами хозяин дельный и деловой, но, так сказать, скопидомный; отлично знающий, чего он хочет, и вовсе не склонный предоставлять гостеприимство ценностям культуры из одного почтения к культуре, когда ценностям этим не сыскать применения в реализации его собственного культурного замысла. Таким был он сам, такими были — на более низком уровне — его ученики (о которых можно судить по личности Арефы Кесарийского), его сподвижники и ближайшие последователи.

Затем приходят иные времена. Византийская культура становится одухотвореннее и тоньше, что хорошо видно из произведений изобразительного искусства — достаточно вспомнить то новое, что отличает мозаики Дафни или Владимирскую Богоматерь от всего, что предшествовало XI в. На смену решительной силе и определенности в выборе возможностей творчества приходит богатство разработки этих возможностей. Подъем рационалистической мысли, наметившийся во времена Фотия, продолжается; но между рационализмом IX—X вв. и новым уровнем рационализма XI—XIII вв. лежит оживление мистических интересов, характерное для конца X в. и первой трети XI в. Различимы мотивы, которые будут занимать умы византийских исихастов в XV в.: аскеты Павел Латрийский (ум. 956) и Симеон Благоговейный (ум. 986) говорят о возможности для подвижников уже в земной жизни созерцать на вершине экстаза несотворенный (по традиционной церковнославянской терминологии — «нетварный»)

²² О Фотии см.: *Россейкин Ф. М.* Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915; *Hergenröther J.* Photius, Patriarch von Konstantinopel: sein Leben, seine Schriften und das griechische Schisma. Regensburg, 1867—1869. Bd. 1—3; *Dvornik F.* Le Schisme de Photius. Histoire et légende. P., 1950.

свет. Поскольку абсолютно все, кроме бога, является, с христианской точки зрения, сотворенным, «тварным», понятие «нетварного света» имплицитно парадокс имманентного самораскрытия самой божьей трансцендентности, противостоящий как пантеизму, так и утверждению не переступаемой пропасти между богом и миром — двум мыслительным вариантам, рядом с которыми в пределах идеалистического рационализма третьего не дано. Парадокс, представляющий как раз это третье за пределами идеалистического рационализма, усугубляется тем, что «нетвар-^{44}ный свет» явлен *зрению*, хотя и «духовному», и речь идет действительно о свете, отнюдь не об аллегории, как во всех бесчисленных выражениях типа «ученье — свет»; а это значит, что снята фундаментальная для идеалистического рационализма оппозиция «чувственное — интеллигибельное». Божественное, будучи трансцендентно по своей сущности, само приходит к человеку в своем световом явлении, явление это воспринимается одновременно чувственно и сверхчувственно — зрением «тела духовного» (ср. новозаветный текст: «Есть тело душевное, есть тело и духовное». — I. Кор. 15.44).

Самым значительным и оригинальным мыслителем среди византийских мистиков X—XI вв. был ученик Симеона Благоговейного, которого звали также Симеоном; прозвище «Новый Богослов» он получил, как кажется, сначала от врагов и в насмешку, и лишь позднее оно приобрело значение почетного титула, с которым Симеон (949—1022)²³ и вошел в историю восточнохристианской духовной традиции. Это его место никто не станет оспаривать; но имеет ли он право на место также и в истории византийской философии? Вопрос не прост, хотя бы потому, что сам Симеон отказался бы от всякого связывания своего имени и трудов с философией. В отличие от христианских мыслителей того типа, к которому принадлежали все виднейшие представители греческой патристики, включая мистиков вроде Григория Нисского и строгих богословов вроде Иоанна Дамаскина, Симеон демонстративно избегал контакта со школьной традицией античной метафизики (Vie de Sym. P. 186)²⁴. Как раз у него доводится до предела тот принцип, о котором мы только что говорили: божественное мыслится достижимым не на путях платонизирующей абстракции, но в конкретности опыта, а потому ни Платон, ни Аристотель ничем помочь не могут. Не случайно и у Симеона, как у суфийских поэтов ислама, во многом с ним сопоставимых, например у Джелаль-Эд-Дина Руми, язык религиозной лирики выступает как средство, по меньшей мере равноправное с языком богословской прозы:

*Возлегает быстро ум мой.
Пожелавши причаститься
Силы явленного света;
Но ведь цель ума — нетварна,
Он же путь свершить не в силах
За пределы всякой твари.
Так; и все же неустанно
Он стремится к прежней цели:
Он и воздух облетает,
И на небеса восходит,
И пронизывает бездны,
И пределы мирозданья
Ум своей проходит мыслью.
Тщетно! Все, что он находит,
Тварно; цель, как встарь, далеко...
Но, ценой трудов великих*

*Углубясь в себя, в себе же
Обретаю свет искомый.
В самом средоточьи сердца
Вижу светоч, как бы солнца
Круговидное подобье...
Вещи зримые покинув
И к незримым прилепляясь,
Я приемлю дар великий:
Созерцать, любить нетварность, {45}
Отрешиться совершенно
От всего, что возникает
И тотчас же исчезает,
И умом соединиться
С Безначальным, Бесконечным,
И Нетварным, и Незримым.*

(Sym. Hymnes. T. II. № 17. 351—368, 382—387, 397—406. P. 38 sq.)

(Пер. С. С. Аверинцева)

²³ См.: Holl K. Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum. Eine Studie zu Symeon dem Neuen Theologen. Leipzig, 1898; Stathopoulos D. L. Die Gottesliebe (θεός ε;'; ῥως) bei Symeon, dem Neuen Theologen. Bonn, 1964; Volker W. Praxis und Theoria bei Symeon dem Neuen Theologen. Ein Beitrag zur byzantinischen Mystik. Wiesbaden, 1974; Krivochéine B. Dans la lumière du Christ. S. Syméon le Nouveau Théologien. Chevetogne, 1980; Biedermann H. M. Symeon der Neue Theologe. Gedanken zu einer Mönchkatechese // Unser ganzes Leben Christus unserm Gott überantworten. Studien zu ostkirchlichen Spiritualität. Göttingen, 1982. S. 203—220.

²⁴ В конце гимна III Симеон называет себя «некнижным».

Самый способ выразиться сознательно противоречив; цель исканий — «вещи незримые», но эта же цель предстает как «солнца круговидное подобье». Тема стихов — зримость незримого. В другом случае мы смогли бы предположить оговорку, неотчетливость словесной формы, но Симеон знает, что говорит.

И все-таки — философия или не философия? По-видимому, ответ таков: история философии не должна отказываться от того, чтобы диалектически включать в себя наиболее сознательные и продуманные выражения протеста против того принципа рационалистической абстракции, без которого философия обойтись не может. Иначе как быть хотя бы с Кьеркегором? Исходя из этого, можно считать, что Симеону все же принадлежит место в истории философии, но не рядом со строителями религиозно-философских систем — Оригеном или Августином, или Фомой Аквинским, даже не с Псевдо-Ареопагитом или Максимом Исповедником, а ближе к тем же суфийским поэтам (которых, однако, ценил как мыслителей Гегель²⁵), может быть, к Якобу Беме. Право на такое место ему дает незаурядная дерзновенность его мысли, во всяком случае пристальной и очень последовательной. О его поучениях можно сказать все, что угодно, но они не тривиальны; скорее можно понять тех ревнителей византийского православия — во времена самого Симеона²⁶ и много позднее²⁷, — которые осуждали этого византийского мистика как еретика. Свое недоверие к рационалистической доктрине Симеон доводит до полного отрицания школьного богословия; только пережитый лично мистический опыт, и он один, дает право говорить о вещах божественных (*Sym. Ethica. IX, V*), как, впрочем, руководить совестью верующего (*Sym. Ep. I. 258—263*)²⁸, — здесь Симеон решительно предпочитает «духоносного старца», безотносительно к его сану, священнику и епископу, если они не прошли через внутреннее озарение. Институциональный порядок не внушает Новому Богослову почтительных чувств, даже если это порядок церковных установлений; единственная иерархия, которая полна для него значения, и значения абсолютного, — это иерархия духовного учительства и ученичества. Наставник в искусстве аскезы — верховный авторитет для своего питомца; так сам Симеон относился к своему тезке Симеону Благоговейному, вызывая скандал тем культом, который он воздавал памяти учителя. Позволительны типологические параллели с ис-

{46}

Файл byz47g.jpg

Богоматерь с младенцем. После 787 г.

Церковь Успения в Никеи. Мозаика в абсиде. {47}

конными восточными представлениями о «гуру»; глубоко интимное общение с учителем — это общение с богом, не допускающее вмешательства каких бы то ни было внешних инстанций и авторитетов, хотя бы церковных. Вернее же, учитель и есть с точки зрения Симеона истинная Церковь с большой буквы — полнота религиозного авторитета²⁹. Нечто подобное, пожалуй, видели мистики ислама в своих «имамах» и «пи;рах». И еще одна параллель, на сей раз не выходящая за пределы христианского круга: трудно не вспомнить калабрийского еретика Иоахима Флорского с его мечтой о церкви аскетов, грядущей на смену церкви клириков и мирян³⁰. Но у Симеона, в отличие от Иоахима, полностью отсутствуют утопизм и эсхатологический историзм, — то, что по убеждению калабрийца как раз должно явиться в ближайшем будущем, по

²⁵ См.: Гегель. Соч. Т. 3, ч. 3: Философия духа. М., 1956. С. 217.

²⁶ Оппозиция монашества обители св. Мамы Симеону как своему игумену не может сводиться к чисто бытовому раздражению против чрезмерно строгого настоятеля. См.: *Krivochéine B.* Introduction // *Sym. Cat. I. P. 47*. Сюда же относится конфликт Симеона со Стефаном Никомидийским.

²⁷ В XIII в. Неофит Кавсокаливит выступил с обвинениями Симеона Нового Богослова в мессалианизме. Ср.: *Darrouzès J.* Notes sur les homélies du Pseudo-Macaire // *Le Muséon.* 1954. Т. 67. P. 307.

²⁸ Ср.: *Van Rossum J.* The ecclesiastical problem in St. Symeon the New Theologian. N. Y., 1976.

²⁹ См.: *Krivochéine B.* The most Enthusiastic Zealot//*Ostkirchliche Studien.* 1955. Bd. 4. S. 108—128.

³⁰ См.: *Töpfer H.* Das kommende Reich des Friedens. Zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffungen im Hochmittelalter. В., 1964.

убеждению византийца, было всегда и остается навсегда³¹. Мир духовного учительства и духовного ученичества — вне исторического времени. В этом пункте различие между западнохристианским и восточнохристианским мыслителями — то же, что между философией истории у Августина и философией культа у Псевдо-Ареопагита³². Характерно и то, что учение Симеона, несмотря на все трения, не оказалось за пределами константинопольской ортодоксии; в Византии несравнимо слабее был пафос сакрального институционализма, диалектически порождавший на Западе пафос сакральной утопии. Пневматократии Симеона, в общем, нечего было делить с теократией византийских императоров и имперских идеологов; с теократией римских пап она бы так просто не поладила.

К середине обильного контрастами XI в. умственные силы Византии снова возвращаются в русло мирского культурного творчества, очень далекого от аскетических идеалов Симеона. Наступает новая пора увлечения античностью, на сей раз — Платоном. Ритор и поэт Иоанн Мавропод просит бога допустить Платона вместе с платоником Плутархом в христианский рай:

Коль ты решил бы из чужих кого-нибудь,
Христе, избавить от твоей немилости,
Платона и Плутарха ты б избавил мне:
Они ведь оба словом и обычаем
Твоих законов неизменно держатся...

(Памятники. С. 228).

Мы видим, что это не просто молитва о спасении душ языческих философов; это ручательство перед богом (и перед читателем эпиграммы) за *христианскую доброкачественность* доктрины, оставленной Платоном и усвоенной Плутархом, — ведь сказано, что они оба по существу «неиз- {48} менно держатся» Христовых законов не только «обычаем», то есть в жизни, но и «словом». Такое отношение к античной философии для средневековья хотя и не беспримерно³³, но все же очень примечательно и отчасти предвосхищает позицию гуманистов Ренессанса. Примечателен и проявившийся в эпиграмме поворот интересов константинопольской интеллектуальной элиты от аристотелизма к платонизму. Этот поворот подготавливался исподволь гораздо раньше, чем может показаться; еще Арефа, принимавший аристотелианскую культурную программу своего учителя Фотия, по-видимому, внес решающий вклад в дело исправления и распространения платоновских текстов³⁴. Но во времена Фотия и Арефы очень трудно представить себе эпиграмму Мавропода; о любви к Платону тогда вслух не говорили, напротив, Платоном можно было попрекнуть того, кого нужно было обвинить в неправомыслии, — «ваш мудрец Платон», бросает тот же Арефа Льву Хирсфакту (*Areth. Scr. min.* 21, 91. P. 212. v. 22). На таком фоне ощутимо значение стихов Мавропода как симптома.

Учеником Мавропода был Михаил Пселл (до пострижения в монахи — Константин), одна из центральных фигур культурной истории Византии (1018 — после 1096/1097)³⁵. Об этом риторе и великолепном стилисте, всезнающем ученом-полигисторе, хитроумном царедворце, вложившем свой богатый опыт в исторические мемуары, в этом томе придется говорить не раз. Что касается специально философии (конкретнее, философии платонического направления), Михаил Пселл, менее всего страдавший избытком скромности, притязал на роль ее

³¹ Для Симеона было особенно важно положение, согласно которому для человека его времени — и любого другого времени — вполне возможно все, что было возможно для аскетов древних времен. Тех, кто утверждал обратное, Симеон называет еретиками и даже «антихристами» (*Sym. Cat.* III. P. 176, 178, 180, 181—190).

³² Ср.: *Аверинцев С. С.* Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья: общие замечания // *Античность и Византия.* М., 1975. С. 266—285.

³³ Августин ставил вопрос, не вывел ли Христос из ада наряду с ветхозаветными праведниками также язычников, «кого я знаю и люблю за литературные их труды, кого мы чтим по причине их красноречия и мудрости» (*August. Ep.* CLXIV. 4).

³⁴ Ср.: *Bidez J.* Aréthas de Césarée éditeur et scholiaste // *Byz.* 1934. Т. 9. P. 391—408.

³⁵ Ср.: *Безобразов П. В.* Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890; *Вальденберг В.* Философские взгляды Михаила Пселла // *Византийский сборник.* М.; Л., 1945. С. 249—255; *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978; *Zerros Ch.* Un philosophe néoplatonicien du XI^e siècle: Michel Psellos. P., 1920; *Svoboda K.* La démonologie de Michel Psellos. Brno, 1927; *Joannou P.* Christliche Metaphysik in Byzanz. Eital, 1950. Bd. 1: Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Johannes Italos; *Karahalios G.* The philosophical trilogy of Michael Psellos. God-Cosmos-Man: Diss. Heidelberg, 1970.

восстановителя и воскресителя. «Читающие сегодня мое сочинение, — патетически восклицает он, — будьте свидетелями! Философию, если говорить о тех, кто причастен к ней, я застал уже умирающей и сам своими руками ее оживил, к тому же не имел никаких достойных учителей и при всех поисках не обнаружил семени мудрости ни в Элладе, ни у варваров» (*Мих. Пс.* С. 80). Если ему верить, он начал с нуля и сам дошел до вершины, которой для него является поздний неоплатонизм. «Прослышав многое об эллинской мудрости, я сначала изучил ее в простом изложении и основных положениях (это были, так сказать, столпы и контуры знания), но, познакомившись с пустяшными писаниями по этому предмету, постарался найти и нечто большее. Я принялся читать труды некоторых толкователей этой науки и от них получил представление о пути познания, при этом один отсылал меня к другому, худший к лучшему, этот к следующему {49}му, а тот к Аристотелю и Платону... После них я, как бы замыкая круг, подошел к Плотину, Порфирию и Ямвлиху, а затем продолжил путь и, как в великой гавани, бросил якорь у бесподобного Прокла» (Там же. С. 80—81).

Чем и в какой мере оправданы эти притязания? Оценка места Пселла в истории философии — это такая проблема, в связи с которой высказывались и продолжают высказываться разноречивые, тяготеющие к крайностям мнения. В нем видели смелого рационалиста, своего рода византийского Абельяра, крайнее выражение мирских тенденций так называемого Македонского возрождения³⁶, предшественника Спинозы³⁷ или, напротив, христианского метафизика, верного истолкователя церковной традиции³⁸, или, наконец, компилятора, хуже того — плагиатора, беззастенчиво разжившегося чужим добром³⁹. Но самое обескураживающее, что ни одно из этих столь несовместимых суждений нельзя признать вовсе уж неосновательным.

Начнем с последнего, самого обидного вердикта. Прежде чем обсуждать философскую позицию Пселла, нужно выяснить, была ли у него таковая, Можно ли признать его оригинальным мыслителем? Первое искушение — принять за чистую монету его собственные декларации и увидеть в нем прямо-таки титана, в полном одиночестве заново открывшего забытые заветы античного рационализма⁴⁰. Второе, противоположное искушение — слишком просто решить вопрос об оригинальности Пселла — приходит по мере идентификации присвоенных им рассуждений поздних неоплатоников. Конечно, античные и тем более византийские представления о границах оригинальности и о допустимости заимствований чувствительно отличались от современных⁴¹; но даже на их фоне склонность Пселла с исключительным размахом переписывать в своих философских трактатах чужие тексты, не изменяя почти ничего и не ссылаясь на источники, способна шокировать даже привычного ко многому византийца. Сочинение «О порождении души по Платону» оказывается на поверку слегка обработанными выписками из толкований Прокла на «Тимея» Платона⁴²; «Изъяснение сказанного в „Федре“ о колеснице душ и о воинском строе богов» — такие же выписки из толкований Гермия на «Федра»⁴³. Бывают случаи более сложные. В энциклопедическом трактате «Многоразличная наука» главы 21—30 заимствованы из «Основоположений теологии» Прокла, главы 31—36 — из комментария того же автора к первому трактату первой «Эннеады», главы 37—46 — из комментария Симпликия к трактату Аристотеля «О душе», главы 51—54 — снова из {50} Прокла, на сей раз из комментариев к «Тимею», главы 139—150 — из комментария Олимпиодора к «Метеорологикам» Аристотеля; и это еще не полный перечень.

Подводя итоги этих и подобных наблюдений, такой осмотрительный специалист, как Г. Хунгер, замечает: «В конце концов действительно встает вопрос, имеем ли мы еще возмож-

³⁶ Например: *Zervos Ch.* Op. cit; *Tatakis B.* Op. cit. P. 161—210.

³⁷ *Вальденберг В.* Указ. соч. С. 251; Ср.: *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 3 («Михаила Пселла сравнивают с Шекспиром, Вольтером, Лейбницем, Спинозой, Достоевским...»).

³⁸ Ср.: *Joannou P.* Op. cit. Bd. I.

³⁹ Ср.: *Безобразов В. П.* Указ. соч.

⁴⁰ В наиболее чистом виде эта точка зрения выступает у К. Сафы, инициатора научной работы над наследием византийского философа (МВ. IV. P. XVI—XVII).

⁴¹ Выхваченный наудачу пример — отношение Иосифа Ракендита к Гермогену.

⁴² *Bidez J.* Psellus et le commentaire du Timée de Proclus//*Revue philologique.* 1905. Т. 29. P. 321—327; *Westerink L. G.* Proclus, Procopius, Psellus//*Mnemosyne.* 1942. Vol. 3, N 10. S. 275—280.

⁴³ *Westerink L. G.* Op. cit. S. 275—280.

ность говорить о самостоятельных идеях Пселла как философа»⁴⁴. Правда, Я. Н. Любарский предложил программу и пример анализа, направленного, так сказать, на поиски оригинальности неоригинального, т. е. на выявление новых смысловых моментов, которые любое традиционное положение, хотя бы дословно перенятое у предшественников, могло получать у Пселла от ситуативного контекста своего употребления, идеологического или биографического⁴⁵; однако этот подход, будучи не только допустимым и здравым, но необходимым и очень плодотворным для политической истории, для общей истории культуры, истории литературы и т. п., малопригоден для истории философии как таковой, поскольку жизненные обстоятельства для собственно философского смысла являются все же посторонними. Тем не менее современное состояние вопроса, по-видимому, оставляет не больше места для огульного отрицания самостоятельности Пселла, как и для восторженного преувеличения этой самостоятельности. Стоит помнить, что еще не все философские труды Михаила изданы и вошли в научный оборот. Выяснилось, например, что даже при решении строго профессиональных задач комментирования Аристотеля, т. е. при выполнении дела, несколько докучного для артистической натуры Пселла, последний мог, когда хотел, быть достаточно добросовестным и оригинальным⁴⁶.

На упомянутый Хунгером вопрос мы должны — вместе с самим главой венской школы — ответить утвердительно: да, позволительно и необходимо говорить о Пселле как о философе, а не только красноречивом и предприимчивом популяризаторе готовых мыслей. Другое дело, что в характерность его облика входит — наряду с исключительной тонкостью, гибкостью, разносторонней подвижностью мысли и ее словесного выражения — немалая толика дилетантизма, даже, если угодно, интеллектуального авантюризма.

Претензий у Пселла немало, некоторые из них вполне оправданны, некоторые очевидным образом неоправданны, но те и другие заявлены одинаково решительно. В истории византийской философии мирского, антикизирующего направления Пселл является самым *блестящим* персонажем; за этим эпитетом надо сохранить весь его хвалебный смысл, но позволительно держать в уме пословицу, согласно которой не все то золото, что блестит... Что касается, однако, пселловских заимствований, {51} в защиту Пселла должно быть указано на его поглощенность страстью педагога и просветителя; «почти все его философские сочинения, — констатирует Б. Татакис, — это ответы на заданные ему вопросы, не плод его собственных проблем; преобладающей является озабоченность наставника»⁴⁷; а когда учитель отвечает ученикам, с него спрашивают не оригинальности, а умения справиться с любой темой, и он вправе пустить в ход свою эрудицию, не обязательно уточняя вопрос об ее источниках.

Как известно, Пселл исполнял должность «ипата философов», т. е. главы философской школы в Константинополе; энтузиазм, который у него неизменно вызывало общение с талантливой молодежью, — едва ли не самая светлая сторона его достаточно пестрой жизни. Он мог лицемерить в чем угодно, только не в этом; учиться и учить — лучшее, что он знал. Это неожиданно сближает его с другим вдохновителем культурной деятельности целого поколения — Фотием, при всем контрасте между строгой толковостью Фотия и завлекательным артистизмом Пселла. И еще одно замечание о заимствованиях: хотя приведенный выше пассаж, где философ расписывает всеобщее невежество, среди которого его усилия якобы были такими одинокими, явно представляет собой эффектную гиперболу, есть основания полагать, что пселловские плагиаты самым своим существованием свидетельствуют, насколько забыты ко временам Пселла были те неоплатонические памятники, идеи которых философ бесцеремонно, но деятельно и успешно возвращал в умственную жизнь. Трудно представить себе, что гордый Пселл принялся бы списывать текст, известный каждому образованному современнику. В Византии так бывало, но на Пселла это непохоже.

Что касается взаимоисключающих тенденций мысли Пселла — секуляризаторских и христианско-метафизических, рационалистических и антирационалистических, — будет, пожа-

⁴⁴ См.: *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 21.

⁴⁵ См.: *Любарский Я. Н.* Указ. соч. Особенно с. 16—21.

⁴⁶ Ср.: *Benakis L.* Studien zu den Aristoteles-Kommentaren des Michael Psellos. T. 1: Ein unedierter Kommentar zur «Physik» des Aristoteles // *Archiv für Geschichte der Philosophie.* 1961. Bd. 43. S. 215—238; T. 2: Die aristotelischen Begriffe Physis, Materie, Form nach Michael Psellos // *Ibid.* 1962. Bd. 44. S. 33—61; *Idem.* Michael Psellos' Kritik an Aristoteles und seine eigene Lehre zur «Physis»- und «Materie — Form»-Problematik // *BZ.* 1963. Bd. 56. S. 213—227.

⁴⁷ См.: *Tatakis B.* *Op. cit.* P. 163.

луй, вернее всего сказать, что они сосуществовали в его сознании, не вступая в открытый конфликт, но и не приходя к систематизированному компромиссу на основе однозначной иерархии ценностей (как это имеет место, например, в томизме, определившем права «естественного закона» и «естественного света», т. е. человеческого разума, под верховным суверенитетом откровения); не оспаривая друг друга в теории, они релятивизировали друг друга на практике. Это верно описал Я. Н. Любарский⁴⁸. Когда Пселл, возражая Ксифилину и отвечая на обвинения в чрезмерной любви к языческой философии и особенно к Платону, трижды повторяет с эмфазой, полной иронии и пафоса, «мой Платон!» (ε;’μο;`ς ο;` Πλάτων) и настаивает на том, что путь к познанию христианской истины, хотя она и выше разума, идет через упражнения разума в рациональном знании («силлогизмах»)⁴⁹ (*Mic. Ps.* Ep. 8; 31; 69; 77; 89; 109; 134—135),— нам кажется, что мы слышим собрата гуманистов Ренессанса.

Тот же Пселл, почитатель «силлогизмов», отдает дань и так называемым оккультным наукам; для целого ряда столетий он был одним {52} из виднейших авторитетов в области демонологии⁵⁰; он комментировал такой памятник позднеантичной языческой мистики, как «Халдейские оракулы» (*Or. Chald.* P. 161—201), писал о мантике, о магических свойствах драгоценных камней и об алхимии. В биографическом признании, отрывок из которого приведен выше, Пселл рассказывает: «Я узнал от людей, достигших совершенства в философии, что существует некая мудрость, недоступная логическим доводам, познать которую может только целомудренный и вдохновенный ум, и я не обошел ее, но прочел несколько тайных книг и, как мог, насколько хватило моей натуры, усвоил их содержание» (*Mix. Ps.* С. 81).

Характерна колеблющаяся, амбивалентная интонация относящегося к «мудрости халдеев» пассажа из сочинения «К спросившим, сколько есть родов философских рассуждений» (соч. см. в: Paris, Gr. 1182; интересующее нас место см. в: *Or. Chald.* P. 221—222): халдеи — «род чуждый и многобожный», однако на свой лад все же «усердный в благочестии», притом «преуспевший в астрологии превосходнее, нежели кто бы то ни было другой». Пселл называет то одну, то другую особенность «халдейской» доктрины, однако перебивает и как будто осаживает себя самого: «Зачем тратить на это много слов? Ибо я боюсь больше повредить вам, нежели быть полезным, поскольку предмет, о котором говорится,— неизреченный». Во-первых, у этого жеста умолчания двоящаяся мотивация — халдейская «мудрость» не то слишком «чуждая» и языческая, не то слишком святая, чтобы о ней можно было говорить без вреда для (души?) слушателя; во-вторых, сделав такое заявление, Пселл возобновляет свои обрывистые сообщения о таинственной доктрине, продолжает удовлетворять любопытство адресата, чтобы в конце еще раз рассказать, что вынужден молчать о тайнах.

Еще причудливее упоминание халдейской доктрины в труде Пселла, посвященном «Первой речи о Сыне» Григория Богослова. Ощущая легкое неудобство от введения такого материала в толкование на текст виднейшего представителя святоотеческой ортодоксии, Пселл выходит из положения при помощи жонглирования двумя цитатами из послания апостола Павла к коринфянам: «Вот каково многоначалие халдейское; и его-то — чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться (2 Кор. II. 16) — как единственный среди моих современников изучил я до точности. Это сказано не в Господе (2 Кор. II. 17), однако же сказано, и пусть недоверчивый меня укорит» (См.: *Or. Chald.* P. 223—224). Чтобы понять всю двусмысленность этого места, необходимо чувствовать одиозные смысловые обертоны, которые имело для Пселла и его читателей слово «многоначалие» (πολυαρχία), антагонистически противопоставленное не только библейскому, но даже философскому монотеизму, а заодно пафосу византийской «монархии» во всех смыслах — от метафизического до политического. «Многоначалие» не может быть ничем добрым.

В новозаветном источнике говорилось: «Примите меня, хотя бы как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии своем... Как многие {53} хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться»,— и после этого ав-

⁴⁸ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 16—18 и др.

⁴⁹ Пселл указывает на то, что бессмысленно противопоставлять философско-логическую культуру религиозной ортодоксии, коль скоро полемисты патристической эпохи защищали ортодоксию средствами «силлогизмов».

⁵⁰ Демонология Пселла, исходящая из неоплатонических предпосылок, указала путь аналогичному уклону мысли в западном Ренессансе; например, на него ссылается Агриппа Неттесгеймский.

тор послания говорил о своих трудах и муках за веру, а также о полученных откровениях. Вот к чему относятся формулы, которые Пселл с неоднозначной иронией переносит на свое эзотическое, экстравагантное, по его заверениям, уникальное знание такой сомнительной вещи, как «многоначалие халдейское»! Перефункционалирование слов апостола Павла граничит с пародией (хотя, вообще говоря, на фоне византийской практики выглядит менее необычно, чем выглядело бы в иную эпоху); в итоге остается ощущение одновременно гордости и неловкости в связи с возможностью дать информацию о халдейской доктрине. «Мудрость, недоступная логическим доводам», содержащаяся в «тайных книгах», — это «халдейская» мудрость. Положим, внимание к ней не противоречит рационалистическим чертам облика Пселла; во-первых, западные гуманисты, как известно, отнюдь не были чужды оккультистским занятиям⁵¹, во-вторых, отношение самого Пселла к такого рода материям все время колеблется между увлеченностью и критикой. При всей своей любви к Платону и при всем своем любопытстве к таинственному Пселл с неожиданной, очень византийской по своему характеру трезвостью усматривает предосудительное «безумие» в знаменитом «демонии» Сократа, как и в поэтическом неистовстве, составляющем предмет платоновского «Федра». Обсуждая процесс алхимического превращения веществ в золото, византийский философ пытается рационально объяснить этот процесс при помощи традиционного учения о четырех стихиях⁵². Характерна его акцентировка доказательно-понятийного аспекта рассуждений Платона в противопоставлении пифагорейской мистике: «Платон принял учения Пифагора, но он сделал нечто важное, а именно, придал этим учениям доказательство» (ВСН. Т. 1. Р. 128). Отдавая дань «халдейскому» тайноведению в духе Ямвлиха, Пселл не забывает соблюдать по отношению к нему некую дистанцию: «Доскональным знанием этой науки я и сам, пожалуй, не стану хвастаться и не поверю никому, кто себе его приписывает» (*Мих. Пс.* С. 81).

Причин вести себя так у Пселла было немало. С одной стороны, столь практичный человек ясно видел, что в православной Византии репутация мага и волшебника рано или поздно повредит; когда Пселлу-политику нужно было очернить то одного, то другого врага, он и сам умел извлечь на свет божий обвинение в тех самых занятиях, прикосновенностью к которым умел похвалиться при иной ситуации⁵³. С другой стороны, можно предполагать мотивы более тонкие: если не интеллектуальной совести, то интеллектуальному вкусу Пселла, как кажется, претили никоим образом не сами оккультные дисциплины, но эксцессы увлечения ими. Крайности в этом пункте он должен был воспринимать как дурной тон. И еще один момент: аналогии из истории все того же западного Ренессанса дают возможность усмотреть, что весьма основательная рационалистическая критика астрологических, алхимических, магических суеверий отлично уживалась у таких ярких представителей эпохи, как Пико делла Мирандола или Агриппа Неттесгеймский, с очень пристальным — куда более пристальным, чем у Пселла, — интересом к «философской», т. е. неоплатонически фундированной, магии. Одно другого не только не исключало, а скорее требовало. Адепт высокий теургии был заинтересован в том, чтобы скрывать или хотя бы прикрывать прозрачной завесой свою посвященность перед непосвященными и одновременно отмежеваться от магии вульгарной, только компрометирующей философскую; заодно можно было упражнять свои критические способности, которые и у Пселла, и у его поздних западных собратьев были незаурядными. Утверждение К. Прехтера, согласно которому Пселл даже об иррациональном мыслил рационалистически⁵⁴, в общем достаточно справедливо, но допускает логическое обращение — самый рационализм Пселла по природе своей был таков, что требовал дополнить его тщательно отмеренной дозой «халдейских» мотивов. Тщательно отмеренной — без этого Пселл не был бы Пселлом.

Итак, на одном полюсе мы имеем торжество «силлогизмов», на другом — «халдейскую» мудрость, «недоступную логическим доводам». Но оба эти принципа соотнесены с третьим — с началом церковной ортодоксии, лояльность по отношению к которой Пселл не

⁵¹ Ср., например: *Shumaker W.* The Occult Sciences in the Renaissance. Berkeley, 1972; *Wind E.* Pagan Mysteries in the Renaissance. Oxford, 1980.

⁵² *Bidez J.* Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. Bruxelles, 1928. Т. VI. Р. 25—26.

⁵³ О подобного рода обвинениях по адресу строгих ревнителей православия — патриархов Ксифилина и Михаила Кирулярия — см.: *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 55, 87.

⁵⁴ *Praechter K.* Michael von Ephesos und Psellos//BZ. 1931. Bd. 31. S. 1—12.

устает демонстрировать. Культура интеллекта? Но он способен заявить, что почтенного наименования «философов», т. е. «любомудров», заслуживают отнюдь не те, кто упражняет свой интеллект, «кто исследует сущность вещей», но монахи, предающиеся аскезе (*Мих. Пс.* С. 45). Если ему верить, его любопытство в отношении оккультных наук было ограничено отнюдь не критическим началом его ума, но почтительным вниманием к запретам церкви (Там же. С. 134). «Халдейская» мудрость? «Узнав учения халдеев,— говорит Пселл,— я покорил их нашей вере» (МВ. V. P. 449). И еще: «Ведь я, должен признаться, причастен ко всем областям знания, однако ни одной из отвергнутых богословами наук я не злоупотребил» (*Мих. Пс.* С. 133). В итоге: как «риторы» и «философы», т. е. эллинская рационалистическая культура слова и мысли, так и «халдеи», т. е. оккультизм вообще, в особенности астрологический, и «египтяне», т. е. оккультизм алхимический,— все это в сравнении с библейским откровением стоит не больше, чем бронза в сравнении с золотом (МВ. V. P. 444).

Конечно, во всем этом немало вынужденной дипломатии; как известно, «ипату философов» пришлось однажды составить и подписать формальное исповедание веры⁵⁵, чтобы оградиться от обвинений в отступничестве от православия. И все же христианско-теологические аспекты мысли Пселла никоим образом не сводятся к дипломатии, к тактическим уверткам,— хотя бы потому, что проявляются они отнюдь не только в декларациях. Как показывают новые исследования⁵⁶, предпосылки, заданные христианской догматикой, служили для Пселла желанным поводом переосмыслить языческие тезисы древних неоплатоников, по-новому повернуть их, ввести в чуждый им контекст и тем трансформировать; и это относится к античному наследию вообще. Например, «Физику» Аристотеля Пселл толковал таким образом, что концепции Стагирита были опосредованы христианским креационизмом⁵⁷ (в свою очередь, опосредуя его); продумывались импликации, заключенные для понятия природы в положении о ее сотворенности. Вопрос, чем являлось христианство для Пселла как человека, стоит вне компетенции истории философии; но для последней важно, что христианство было включено для Пселла как мыслителя в число правил трудной интеллектуальной игры, искренне занимавшей его ум.

Добавим, что роль Пселла весьма важна в истории логики: он работал над вопросом о так называемой равносильности предложений, над приемами отыскания «среднего термина» в связи с задачей нахождения посылок, над проблемами логической символики и мнемоники (его «логический квадрат» был усвоен европейской мыслью, начиная со схоластов)⁵⁸.

Учеником Михаила Пселла и его преемником в сане «ипата философов» был калабрийский выходец Иоанн Итал, то есть «Италиец» (вторая половина XI в.)⁵⁹. Куда более прямой и неуживчивый, чем его учитель, Итал вступил в открытый конфликт с церковной ортодоксией, отягощенный политическими обстоятельствами дела; его учение было предано анафеме на соборе 1082 г. В православном Синодике на первое воскресенье великого поста⁶⁰ этот философ обвиняется — трудно сказать, насколько справедливо,— в отрицании догмата воплощения Логоса; ему вменено также в вину приятие платоновской доктрины об идеях, отягощенное признанием предвечности идей и материи:

«... Пытающимся диалектическими словесами оспаривать естество и положение о естественном новом делении двух естеств: Бога и человека — анафема...

Учащим о безначальной материи и идеях или о бытии, собезначальном Содетелю всех и Богу, и что небо, земля и прочие творения — присносущны и безначальны и пребывают неизменными,— анафема...

При помощи иных мифических образов переделывающим от себя самих нашу образность и принимающим платонически идеи как истинные, и говорящим, что самосушная мате-

⁵⁵ Ср.: *Garzya A.* On Michael Psellus' Admission of Faith//*ΕΕΒΣ*. 1966/1967. Т. 35. Σ. 41—46.

⁵⁶ См. выше примеч. 46.

⁵⁷ Ср.: *Hunger H.* *Op. cit.* Bd. 1. S. 33. См. также указанную там библиографию.

⁵⁸ Ср.: *Асмус В. Ф.* Логика. М., 1947. С. 143—146; *Минто В.* Дедуктивная и индуктивная логика: Пер. с англ. 5-е изд. М., 1905. Кн. 1, ч. 3, гл. 2; *Философская энциклопедия*. М., 1964. Т. 3. С. 238, 467.

⁵⁹ *Stephanou P. E.* Jean Italos, philosophe et humaniste // *Orientalia christiana analecta*. Rome, 1949. Vol. 134: *Dujcev J.* *Lumanesimo di Giovanni Italo/Studi Bizantini e Neoellenici*. 1939. Vol. 5. P. 432—436.

⁶⁰ См.: Синодик в неделю Православия: Свободный текст с приложениями/Изд. Ф. Успенский. Одесса, 1893. С. 14—18.

рия отделяется от идей, и открыто отметающим самовластие Содетеля, приведшего все от несущего к бытию, и как Творца, господственно и владычески положившего всему начало и конец,— анафема...

Эллинским и инославным догматам и учениям, введенным вопреки христианской и православной вере Иоанном Италом и его учениками, {56} участниками его скверны, или противным кафолической и непорочной вере православных,— анафема»⁶¹.

Файл byz57g.jpg

*Богоматерь.
867. Собор св. Софии.
Константинополь.
Мозаика в абсиде.*

Это не вполне ясное свидетельство очень важно в общем историко-культурном плане. Подъем секуляризаторских тенденций византийской философской мысли характеризуется, во-первых, большей, чем в предыдущие столетия, заинтересованностью в платонизме⁶², во-вторых, обострившейся возможностью открытых столкновений с церковными и государственными авторитетами. «Дело» еретика Иоанна Итала открыло ряд конфликтов того же рода, которых в XII в. насчитывается не менее двадцати пяти⁶³. Византийское тысячелетие, начавшееся некогда борьбой христианства с неоплатонизмом, должно было завершиться явлением Гемиста Плифона, выступившего против христианства во имя того же Платона; а в промежутке такие неблагонадежные мыслители, как Иоанн Итал или как Сотирих Пантевген, критиковавший с рационалистических позиций ортодоксальную концепцию евхаристической жертвы⁶⁴, — тоже платоники. «Церковь усвоила себе аристотелевское направление и с конца XI до конца XIV в. поражала анафемой тех, кто осмеливался стоять за Платона» — эти слова виднейшего русского византиниста Ф. И. Успенского⁶⁵ все еще представляются более верными, чем противоположные утверждения⁶⁶. Не случайно тот самый митрополит Николай Мефонский (умер около 1165), который защищал православное понимание евхаристии против Сотириха⁶⁷, не только солидаризировался {57} с критикой платоновской теории идей у Аристотеля⁶⁸, но и написал специальное опровержение Прокла столь высоко ценимого Пселлом⁶⁹.

Любопытный памятник усилий инкорпорировать рассуждения Прокла в состав официальной церковной доктрины, хитроумно оградив их от подозрительности стражей последней,— переработка текстов Прокла, выполненная Исааком Севастократором, братом Алексея I⁷⁰: не только вместо «богов» всюду говорится о «боге», вместо «демонов» — об «ангелах», вместо «оракула» — о «пророке божьем», не только имена языческих богов тщательно устранены, но имена Сократа и Платона оставлены лишь в цитате из Пселла. Но имеются случаи, когда особенно осторожные византийцы избегают назвать по имени даже Аристотеля⁷¹.

И все же дело Михаила Пселла и его учеников не могло быть взято назад. В ходе интеллектуального подъема XI в. не только был еще раз оживлен интерес к философскому наследию античности, не только заново вошли в оборот забытые или полузабытые памятники языческой мысли; важнее другое — деятели этого периода открыли новый способ интеллектуаль-

⁶¹ Пер. А. Ф. Лосева. См.: *Лосев А. Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. С. 846—848.

⁶² Ср.: *Hunger H.* Op. cit. Bd. 1. S. 11—41.

⁶³ Ср.: *Browning R.* Enlightenment and repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries//Past and Present. 1975. Vol. 69. P. 117—118.

⁶⁴ См.: *Успенский Ф. И.* Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891. С. 223—225; *Каледин А. П.* Богословие // История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 366—367; *Pachali H.* Soterichos Panteugenos und Nikolaos von Methone // Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 1907. Jg. 50. H. 3. S. 347—374; *Tatakis B.* Op. cit. P. 219—221.

⁶⁵ *Успенский Ф.* Указ. соч. С. 346.

⁶⁶ *Лосев А. Ф.* Указ. соч. С. 852, примеч., 91.

⁶⁷ См. *Dräseke J.* Nikolaos von Methone //BZ. 1892. Bd. 1. S. 438—478.

⁶⁸ Δημητράκοπουλος Α. Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη. Λευ., 1886. Σ. 142—143.

⁶⁹ См.: *Podskalsky G.* Nikolaos von Methone und die Proklosrenaissance in Byzanz (11.—12. Jh) //ОСР. 1976. Vol. 42. P. 509—523.

⁷⁰ См.: *Dornseiff J.* Isaak Sebastokrator. Zehn Aporien über die Vorsehung. Meisenheim am Glan, 1966; *Rizzo J. J.* Isaak Sebastokrator's Περὶ τῆς τῶν κακῶν ὑποστάσεως (De malorum subsistentia). Meisenheim am Glan, 1971.

⁷¹ См.: *Hunger H.* Op. cit. Bd. 1. S. 51.

ного общения с древними текстами и друг с другом. Тот же Михаил Пселл произвел настоящий переворот не только тем, что думал, говорил и писал, но и тем, как он практиковал на глазах многочисленных партнеров умственного общения жизнь ученого и мыслителя. Фотий тоже был для своего времени мастером интеллектуальной коммуникации; но когда мы переходим от него к Пселлу и к Италу, бросается в глаза подъем куда более светского типа культуры. Это не значит, конечно, что новые мыслители безразличны к теологической проблематике; но для Пселла она все же отступает на задний план перед победоносным натиском совершенно иных интересов, а Итала, Евстратия Никейского, Сотириха Пантевгена приводит к рационалистским ересям, типологически родственным тому, что мы видим в эту же эпоху на Западе, у ранних схоластов вроде Абеяра. В состав византийской философской культуры входит нечто, прежде в ней отсутствовавшее. Светские, «гуманистические» интересы никак не были чужды тому же Фотию, которого враги не даром обвинили в неопаганизме; но модус, в котором осуществлялась связь этих интересов с богословскими и, шире, с мировоззрением и жизнью многоученого патриарха, был принципиально иным.

Расцвет секуляризаторской тенденции в византийской философии XI—XIII вв.— необходимое звено историко-философского процесса. Без этого звена невозможен переход к творчеству Феодора Метохита и Никифора Хумна, к выступлению Никифора Григоры и его союзников против паламизма, продолжившего мистическую линию Симеона Нового Богослова, вообще к идейным конфликтам Палеологовской эпохи, вплоть до Гемиста Плифона. {58}

3

Политическая теория в Византии с середины VII до начала XIII в.

Из всей совокупности проявлений общественной жизни Византийской империи наибольший традиционализм обнаружила система идеологических представлений, в том числе политическая теория, или теория государственной власти. Сознательная, целенаправленная деятельность правящей элиты империи, ее идеологов, политиков, аппарата светской власти и церкви проявилась в этой сфере особенно отчетливо. Рухнули позднеантичные рабовладельческие порядки, в муках, в условиях жесточайшего кризиса и варварских нашествий шел процесс формирования нового общественного строя, а между тем воззрения на происхождение, сущность и цели государственной власти — и прежде всего власти императора — оставались неизменными, какими они сложились и обрели официальный характер в эпоху Юстиниана I. Как никогда ранее, вплоть до середины VII в., застылые в своем величии идеалы божественного всемогущего императора, повелителя ойкумены, и священной, единственной империи, воплощавшей «царство божие» на земле, находились в разительном противоречии с реальной действительностью. Империя напрягала силы в борьбе за собственное существование — пропагандистский же аппарат продолжал утверждать доктрину, согласно которой император имел право на мировое господство¹.

Казалось бы, проследить развитие политической теории в Византии при таких обстоятельствах, особенно на протяжении первых двух столетий послеюстиниановой эпохи, невозможно. Однако неподвижность политической теории в византийском обществе оказалась иллюзорной. Современное византиноведение убедительно показало, во-первых, что политическая мысль как любая сфера общественного сознания не могла не отразить глубоких перемен, совершавшихся во всех областях жизни империи,— и отразила их вполне адекватно, во-вторых, консервативные термины и формулы, в которые были традиционно облечены представления о высшей компетенции, авторитете, власти, приобретали со временем новые оттенки, новое содержание.

Мало того, неизменные формулировки имперской доктрины и пышные титулы повелителей империи оказывались нередко мертвой буквой, не находя действенного проявления в

¹ Удальцова З. В., Котельникова Л. А. Власть и авторитет в средние века // ВВ. 1986. Т. 47. С. 3—16.

политической практике. На это обстоятельство около 70 лет назад обращал внимание П. В. Безобразов: {59} «При изучении византийского государственного строя необходимо отличать теорию от практики», — писал он в своем очерке культуры империи². Разумеется, в задачи данной главы не входит рассмотрение проблемы соответствия и несоответствия политической теории и политической практики в Византии в течение пяти с половиной столетий. Это — особая большая тема. Наша цель — сосредоточить внимание на самой теории, попытавшись при этом вскрыть, насколько это окажется возможным в небольшом очерке, те факторы, которые обусловили ее видоизменения, ее развитие.

Для последующего изложения целесообразно выделить пять периодов, в пределах которых развитие общественно-политической мысли обладало, как представляется, некоторыми общими чертами. Эти периоды: со второй половины правления Ираклия (610—641) до начала иконоборческой эпохи, от иконоборческой эпохи до середины IX в., с середины этого столетия до второй половины X в., с конца 50-х годов X в. до воцарения династии Комнинов и, наконец, от этого последнего рубежа до крушения империи в 1204 г. Предлагаемая периодизация не совсем совпадает с той, которую как этапы развития политической идеологии установила более десяти лет назад Э. Арвейлер³.

Самой неотложной и самой тяжелой задачей государства в течение первого из названных периодов была военная: остановить наступление традиционного врага, Персии, отразить натиск аваров, славян и протоболгар в Европе и новую опасность в Азии — со стороны арабов. Но решать эту задачу было невозможно, не мобилизуя все ресурсы сохранившихся у империи земель, а следовательно — не упрочив на них власть Константинополя, так как во множестве имперских провинций система власти была либо расстроена, либо парализована варварскими нашествиями. Ираклий — ценой резкого расширения полномочий правителей провинций — достиг двуединой цели: восстановления внутреннего управления и усиления военных сил. Авары были разгромлены, затем были разбиты персы, переставшие представлять опасность для империи (вскоре Персия была завоевана арабами). И в титулатуре повелителя империи вслед за этим появились два принципиальных новшества, свидетельствовавших о крупных изменениях в политической доктрине правящего класса империи. В документе от 629 г. Ираклий впервые обозначил себя не «императором ромеев» (римлян), а титулом «василевс». К имени же наследника Ираклия, также Ираклия, стал прилагаться эпитет «новый Константин», что, по всей вероятности, должно было указывать на воплощение в соправителе и сыне василевса добродетелей идеального государя (Константина Великого).

Так имперские идеологи и политики преследовали цель подчеркнуть континуитет и непреходящее величие империи, начиная от ее основателя вплоть до ее нового, достойного своей миссии повелителя. Впрочем, принятие Ираклием титула «василевс» по-разному расценивается в историографии. Согласно одному мнению, новый титул указывал на триумф Ираклия над Персией — ее мощь отныне перешла к империи (ибо титул «василевс» использовали персидские шахи), а также на признание {60} ведущей роли христианского востока⁴. Согласно другому, господствующему среди византинистов представлению, новый титул не находился ни в какой зависимости от победы Ираклия над персами⁵. Косвенно он означал, скорее всего, признание того факта, что в территориально сократившейся империи, потерявшей западные земли, ведущая роль и в политике, и в культуре окончательно перешла к греческому этносу и грецизированным подданным на Ближнем Востоке.

Восстановление Ираклием эллинистической (а возможно — еще более древней) местной для Балкан и Малой Азии традиции можно расценить как сознательную апелляцию к патриотическим чувствам населения (в основном — греческого) в ближайших к столице провинциях и в Европе и в Азии⁶. Подтверждением справедливости этой мысли является тот факт, что именно при Ираклии греческий язык вытеснил в качестве официального латинский во всех

² Безобразов П. В. Очерки византийской культуры. Пг., 1919. С. 55 и след.

³ Ahrweiler H. L'idéologie politique de l'Empire byzantin. P., 1975. P. 9—147.

⁴ Ibid. P. 22—23.

⁵ Ostrogorsky G. Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963. S. 89. Anm. 2; Zakythinos D. A. Byzantinische Geschichte. 324—1071. Wien; Köln; Graz, 1979. S. 80.

⁶ Rosch G. ONOMA ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel im spätantiker und frühbyzantinischer Zeit. Wien, 1978. S. 101—107.

(кроме языка воинских команд) сферах жизни, прежде всего — в государственном делопроизводстве. Правда, в новелле 629 г. титул «василевс» приведен еще не в той полной форме («василевс ромеев»), в какой он стал обычным с VIII столетия. Но вряд ли эта деталь может дать основания для догадок о каком-либо отказе Ираклия от позднеримской государственной традиции: такому допущению противоречили бы и упомянутое наименование сына Ираклия в качестве «нового Константина», и непрерывное, без какой-либо хронологической цезуры, обозначение василевса Ираклия его собственным секретарем Феофилактом Симокаттой (в его «Истории») и другими современниками как повелителя «ромеев», а его подданных — как «ромеев». Такого рода трактовка сущности императорской власти была, конечно, не лишена противоречий. Но исполненной противоречий была сама эпоха, как и деятельность самого Ираклия, тяготевшего к компромиссам, особенно в идеологической, религиозной сфере. Носителя нового титула, основателя фемного строя Э. Арвейлер считает возможным сравнивать с Юстинианом I как сторонника универсалистской идеи, организатора восточноримской реакции ⁷.

Полагают, что этот император сделал следующий шаг на пути подчинения церкви светской власти. В эпоху варварских нашествий и «неустройства» в провинциях чрезвычайно возросла власть епископов, являвшихся нередко носителями единственного авторитета в провинции. Но Ираклию удалось существенно повысить значение высшей светской власти в глазах духовенства и простых прихожан: он вернул в Иерусалим, на «гроб господень» плененный персами «священный крест», он сделал попытку, хотя и завершившуюся неудачей, подавить «монофиситскую ересь» путем компромиссной (монофелитской) реформы церковных догматов ⁸. Уже сохранение в его титулатуре указания на божественное {61} происхождение императорской власти (оно разумелось в словах «во Христе верный») предполагало, как полагают ⁹, право императора не только быть защитником и покровителем церкви, но и блюстителем «чистоты» веры (ортодоксии) ¹⁰. Акт коронации, при котором василевс получал венец из рук патриарха, должен был и связать государя тесными узами с церковью, и возвысить его власть в духовной сфере: василевс единственный из мирян получил право доступа в алтарь и в ряде случаев участвовал вместе со священниками в совершении литургии. Ираклий короновался и сам (вслед за своим предшественником Фокой, первым из императоров подвергнувшимся этому обряду) и короновал двух своих сыновей в качестве соправителей и наследников ¹¹. Это была первая четко выраженная попытка утвердить на престоле империи собственную династию, и попытка удалась на ближайшие восемьдесят лет. Мысль о василевсе как «божьем избраннике» оказалась амбивалентной: она могла служить обоснованию идеи ненаследственности высшей власти (бог избирает лучшего, достойного за проявленные им добродетели), могла она истолковываться и в пользу тезиса о законности наследственной власти (божья благодать лежит не только на отце, но и на сыне, тем более, что сын приобщен к ней — коронован — еще при жизни отца) ¹².

Усилия Ираклия утвердить свои новшества как находящиеся в согласии с теорией политические акты не увенчались успехом: автократией «освободителя святой земли» были недовольны и фемные стратиги, и церковь, и столичная бюрократия. Его сын Ираклон (от второго брака; Ираклий же «Новый Константин» умер в том же году, что и его отец) был свергнут через полгода после смерти отца, а внук Констант II (сын «Нового Константина») должен был публично одобрять действия синклита, сыгравшего при перевороте главную роль, как совер-

⁷ *Ahrweller H.* L'Idéologie... P. 19 et suiv.

⁸ *Olster D.* Priest and Emperor in the Seventh Century//The 17th International Byzantine Congress. 1986. Abstracts of short Papers. Wash., 1986. P. 243—244.

⁹ *Καραγιαννόπουλος Ί.* 'Η πολιτική, ἡ θεωρία τῶν Βυζαντινῶν//Βυζαντινά. 1970. Τ. 2. Σ. 37—61; *Harkianakis St.* Die Stellung des Kaisers in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen//BYZANTINA. 1971. Τ. 3. S. 44—50.

¹⁰ *Trojanos Sp.* Die Sonderstellung des Kaisers im früh- und mittelbyzantinischen kirchlichen Prozess // BYZANTINA. 1971. Τ. 3. S. 69—80; *Petritakis J. M.* Interventions dynamiques de l'empereur de Byzance dans les affaires ecclésiastiques // Ibid. P. 137—146.

¹¹ *Goshev I.* Zur Frage der Kröningszeremonien und die Zeremonielle Jewandung der byzantinischen und der bulgarischen Herrscher im Mittelalter//Bb. 1966. Τ. 2. S. 145—168; *Острогорский Г.* Эволюция византийского обряда коронования// Византия, южные славяне, Древняя Русь и Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973. С. 35—37, 40.

¹² *Μισίου Δ.* 'Η πολιτική, ἡ σημασία τῆς οὐνονοματοδοσίας τῶν βυζαντινῶν//Βυζαντινά. 1983. Τ. 3. Σ. 137—159.

шенные «с божьей помощью» против «беззакония», ради «благочестия», и просить синклитиков подавать ему советы и стоять на страже всеобщих интересов подданных¹³. Иначе говоря, принцип наследственного самодержавия не опровергался, но на практике осуществлялся с большим трудом.

Особенно острой при ближайших преемниках Ираклия была оппозиция главе империи со стороны церкви, стремившейся утвердить свою {62} независимость от светской власти. Внутриполитическая борьба достигла такого накала, что в 663 г. Констант II покинул Константинополь, намереваясь перенести столицу империи в Сиракузы, на Сицилию, что свидетельствовало о потере ориентации и растерянности.

Файл byz63g.jpg

*Христос между Константином IX Мономахом и императрицей Зоей.
Около середины XI в. Собор св. Софии. Константинополь.
Мозаика в южной галерее.*

Опираясь на подчиненные власти престола свободное крестьянство, Константин IV (668—685) и Юстиниан II (685—695; 705—711) добились крупных успехов в борьбе с арабами и славянами. Константина IV именовали «спасителем царства», «светильником ортодоксии». На VI Вселенском соборе, после торжественного подписания императором актов (681 г.), анафемствовавших монофелитство, «отцы церкви» возглашали здравицу Константину IV, называя его толкователем «сущности природы Христа», «новым Юстинианом», «сокрушителем еретиков». Значительного успеха достиг Константин IV и в утверждении идеи наследственности власти. Преодолев сопротивление синклитиков и армии, он низложил и изгнал двух своих братьев-соправителей, коронованных еще Константином, а затем короновал своего сына Юстиниана. Так был создан прецедент — в жизнь были проведены три новых принципа в вопросе о престолонаследии: во-первых, предпочтительным на наследование власти объявлялось право старшего из сыновей предшественника; во-вторых, соправитель, кто бы им ни оказался, не мог обладать реальной властью — вся ее полнота принадлежала автократу; в-третьих, в соправительстве братьев не было необходимости, если у правящего василевса уже имелся сын-наследник. Но это был лишь прецедент: вскоре после смерти Константина IV разразилась ожесточенная борьба за престол — он доставался и аристократам и выходцам из низов, в 711 г. сын Константина Юстиниан II был свергнут и убит вместе со своим малолетним наследником.

Подобно тому как постепенно воссоздавался в ходе VII столетия громоздкий бюрократический аппарат центральной власти, вновь в жестокой борьбе утверждалось и право императора быть подлинно самодержцем на практике, а не только в теории. К 20-м годам VIII в. на этом пути были достигнуты существенные успехи, но до полной победы было еще далеко. Мощной преградой служили три силы, влияние которых росло одновременно с упрочением власти василевсов: крупная военная аристократия фем, городская знать эмпориев (торговых портовых центров) и церковь, вытеснявшая всякое светское знание, владывавшая над умами, проповедовавшая аскетизм, сеявшая мистику и суеверия и претендовавшая на роль единственного наставника и руководителя светского повелителя как «сына церкви» и «раба Христа».

Все наиболее могущественные группировки императорам удалось подчинить с гораздо большей эффективностью в течение следующего из выделенных выше периодов, который совпадает в основном с эпохой иконоборчества. Хотя фонд сохранившихся источников от этого периода сравнительно с предшествующим значительно богаче, задачу осложняет почти исключительно богословский характер большинства памятников: обе враждующие стороны (иконаборцы и иконопочитатели), преследуя вполне определенные политические цели, вели борьбу друг с другом под религиозными лозунгами — политические идеи почти неразличимы в потоке богословских контроверз. И все-таки положение дел с источниками для VIII — середины IX в. неизмеримо лучше. Первостепенное значение для наших целей имеют «Эклога» Льва III, исторические сочинения Феофана Исповедника, патриарха Никифора, Георгия Монаха, Монеувасийская хроника, труды патриарха Фотия. Все они, кроме «Эклоги», написаны представителями одной из враждующих сторон — иконопочитателями. Сознательное искаже-

¹³ Diehl Ch. Le Sénat et le peuple byzantin aux VII^e siècle//Byz. 1924. Vol. 1. P. 201 et suiv.

ние образов императоров-иконоборцев — исходная позиция авторов. Более отчетливо также отразились в их взглядах различия, обусловленные принадлежностью к разным слоям современного им византийского общества¹⁴. Даже само умолчание о тех или иных событиях, поступках василевсов или их до-^{64}стоинствах приобретало социальный характер, становилось «социальным умолчанием»¹⁵.

Как упоминалось, теория власти в империи как законченная доктрина сложилась в V—VI вв. и в мало измененном виде жила тысячелетие. Ее важнейший атрибут — образ идеального государя, в основе которого лежало учение Евсевия Кесарийского о добродетелях правителя и так называемая «Речь Юстина», посвященная тому же сюжету¹⁶. При оценке деятельности того или иного императора византийские авторы соотносили с этим идеальным образом (это был, как правило, образ Константина Великого) конкретные черты и достоинства описываемых ими правителей¹⁷. «Набор» добродетелей при этом оставался почти неизменным, хотя и он то сужался, то расширялся; главное же состояло в изменении ценностного соотношения «добродетелей» — на первое место в качестве определяющей выступала то одна, то другая, в зависимости от чего делался главный вывод — «приговор» (обвинительный или оправдательный). Кроме того, постепенно в византийской историографии сложилось неписаное правило — при освещении политики государя хотя бы коротко сказать о его отношении к разным социальным группировкам (к синклитам, духовенству, военным, жителям столицы) и к тем или иным сторонам жизни империи (курс внешней политики, отношение к войне и миру, позиция в налоговом вопросе и в расходовании средств казначейства, порядок назначения на должности и присвоения почетных титулов и т. п.).

Этот (последний) способ выражения автором своих политических взглядов, конечно, более продуктивен своей конкретностью, но менее, чем первый, дает для суждения о теории власти, так как даже пристрастные, явно тенденциозные характеристики, состоящие из набора «антидобродетелей», позволяют лучше определить тот «политический идеал», которому принадлежат симпатии автора. Перед византийскими писателями стояла при оценке деятельности императоров-иконоборцев весьма трудная и деликатная задача: она состояла, с одной стороны, в безусловном изображении «осквернителей священных икон и мощей» и «гонителей ангельского чина» (монашества) как «богоненавистных тиранов», а с другой — в объяснении их успехов в борьбе с язычниками-болгарами и с мусульманами-арабами, их бесспорных достижений в упорядочении судопроизводства, в налаживании торговли, в организации военных сил и т. п. Ведь не подлежал сомнению тезис о том, что на престол вступают «по милости божией», и успехи или неудачи определяются в конечном итоге «предопределением свыше». Как эти успехи иконоборцев объяснить, избежав при этом отмеченное неразрешимое противоречие? Возникало сомнение: если император и империя состав-^{65}ляют нерасторжимое единство, установленное самим богом, то не достигнуто ли «благо» империи благодаря «благодати» василевса?¹⁸

Однако, прежде чем обратиться к позиции в этом вопросе Феофана, Никифора и Фотия, следует остановиться на том, как сами императоры-иконоборцы формулировали свои политические идеалы. В ходе занявшей более столетия иконоборческой эпохи была вновь — главным образом благодаря опоре на свободное налогообязанное и военнообязанное крестьянство — упрочена центральная власть, высоко поднят авторитет императора, возрожден культ «священной особы государя» (отныне он не только «раб Христа», но и «иерей»), разгромлена оппозиция городской знати в столице и эмпориях, обеспечена послушность фемной аристократии, окончательно подчинена церковь, в ее тесном союзе с государством главенство навсегда ут-

¹⁴ *Tinnefeld F. H. Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates. München, 1971. S. 19 f.*

¹⁵ *Досталова Р. Византийская историография (характер и формы) // ВВ. 1982. Т. 43. С. 28.*

¹⁶ *Курбатов Г. Л. Политическая теория в Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 98—118.*

¹⁷ *Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV—начало IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1981 год. М., 1983. С. 64—138.*

¹⁸ *Tinnefeld F. H. Op. cit. S. 59—66. См. также: Рец. на эту книгу И. С. Чичурова (ВВ. 1973. Т. 35. С. 256—259).*

вердилось за светской властью. Система внутривосточных мероприятий обеспечила внешнеполитические успехи, а победы над внешними врагами, в свою очередь, содействовали выполнению императорами-иконоборцами их изложенной выше политической программы¹⁹.

Издание «Эклоги» (726 г.) Львом III предшествовало официальному провозглашению иконоборческого курса правительства (730 г.) и, несомненно, способствовало росту популярности императора (Э. Введение. С. 5—38). На этот результат явно рассчитаны введение к этому законодательному памятнику, его основные положения, самый тон изложения норм права: император обращался к широким массам населения империи, к крестьянам, воинам фемных ополчений, трудовым слоям горожан — он считался даже с их невежеством и суевериями (а может быть, — и разделял их), предписывая казнить колдунов и знахарей, общающихся с «демонами» с коварными целями.

Главными мы считаем следующие политические идеи «Эклоги»: возбуждение и поощрение духа государственно-религиозного патриотизма: раб, причинивший врагам вред, находясь у них в плену, тотчас после бегства от них обретал свободу; воинам в случае победы гарантировалась доля добычи; и напротив: перебежчики к врагу подлежали казни, отрекшиеся в плену от христианства, передавались во власть церкви по их возвращении; обеспечивались интересы крестьян-ополченцев: суровыми карами наказывались крадущие их имущество во время похода, их храбрость в бою подлежала награде в первую очередь; устанавливалась справедливость и равенство перед судом между богатыми и бедными, малыми и большими — для соблюдения мира, совпадения слова и дела, ликвидации беззакония и взяточничества. Здесь же провозглашается осуществление принципа человеколюбия при управлении «вверенным императору богом» народом; беспощадное преследование злоумышляющих против василевса, предание их казни «как намеревающихся разрушить все».

Э. Арвейлер, оценивая эту программу, считает возможным расценивать ее как нацеленную на создание «национальной солидарности» (при решительном отказе от навязчивой универсалистской греко-римской {66} идеи, с которой еще носилась элита византийского общества) путем защиты бедных и угнетенных, милитаризации деревни и города, соединения патриотизма «национального» и христианского — ради спасения родины от сильного врага-иноверца, в первую очередь от арабов. Иконоборчество, по мнению французского ученого, — внешнее выражение глубинных перемен, но его существо — «национализм», порожденный арабской опасностью, — с ее отражением закончилось и иконоборчество²⁰. М. Я. Сюзюмов полагал, что иконоборчество родилось в народных массах, ненавидевших корыстолюбивое монашество и богатую церковь и самую столицу империи, откуда исходило угнетение и несправедливость²¹. Императоры-иконоборцы сумели лишь «организовать» эти настроения народа, направив их в нужное для себя русло. По нашему мнению, оба исследователя правы по-своему при оценке не лишённой демагогии (как мы думаем) тактики василевсов-иконоборцев в отношении народных масс. В кризисной ситуации, стремясь упрочить классовое господство феодализирующейся знати внутри империи и спасти государство от натиска внешнего врага, Лев III, а затем Константин V стояли перед необходимостью эффективной и полной мобилизации всех сил страны. Однако для этого был необходим идейно-политический и пропагандистский акт поистине всеимперского значения, понятный самым широким слоям населения. Он должен был послужить средством сплочения сил вокруг престола и средством выявления всех враждебных императору (а следовательно, — и «отечеству», находящемуся в опасности) группировок. Вопрос был поставлен кардинально: кто за императора и империю, тот против икон; кто за иконы — тот против императора и империи. Трудно указать для тех условий какую-либо иную идею, отвечавшую духу времени и одновременно не оставившую равнодушным решительно никого в этнически пестрой империи, чем иконоборчество. Оно стало всеобщим средством и размежевания и сплочения всех сил страны.

Вернемся к хронистам — современникам событий. Каким образом они решали упомянутую выше тяжелую альтернативу? Во-первых, как отметила Р. Досталова, ни Феофан, ни тем

¹⁹ Лутиниц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры: (VIII—первая половина IX в.). М.; Л., 1961. С. 170—212, 229—251.

²⁰ Ahrweiler H. *Idéologie...* P. 25—36.

²¹ Сюзюмов М. Я. Первый период иконоборчества // История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 52.

более отличавшийся большей «дипломатичностью» Никифор не придерживались в отношении иконоборцев однозначно-примитивной позиции полного очернительства: успехи Льва III и Константина V они излагают сравнительно объективно²². Что же касается причин совершения благих дел «нечестивыми василевсами», то упомянутые авторы прибегали здесь к арсеналу изощренной в догматических словопрениях христианской схоластики. «Рука божья» может, полагали они, вершить добро и посредством деяний безбожников. Император — безусловно, «помазанник божий», и в этом смысле василевсы-иконоборцы также «избранники бога», но сделал он это в наказание за грехи христиан — подданных империи. Правда, Лев III не сразу стал иконоборцем, а лишь через 10—12 лет после воцарения. Но все дело в том, что обряд коронации очищал василевса {67} от всех совершенных им ранее грехов, но не являлся препятствием к совершению грехов новых. К тому же по учению церкви человек обладал свободной волей, и при всей predeterminedности его судеб он мог усугублять и отягчать «свои грехи» либо же умалять и смягчать их тяжесть, проявляя свою волю.

Эти общие положения не избавляли Феофана от необходимости соотносить традиционные добродетели идеального государя с конкретными достоинствами императоров, о которых он ведет рассказ. Характерно, что в этот период крайнего упадка культуры, полного господства церкви в духовной сфере, широкого распространения мистики и суеверий из числа добродетелей государя исчезла такая, как образованность, знание законов и науки управления, — добродетель, которая в V—VI столетиях признавалась неременным качеством главы государства; в тени оказалась и такая его добродетель, как воинская доблесть, мужество. Главенствующая роль приписывалась теперь благочестию, религиозному рвению, любви к богу, сочетаемой, как сказано в «Эклоге», со «страхом Божиим»; Никифор I потому и потерпел поражение и погиб в Болгарии, полагает Феофан, что осмелился приписать предшествовавшую победу не «воле господней», а действиям своего сына Ставракия. Ортодоксия обрела ярко выраженный политический характер²³.

Подобного рода идеи развивали Иоанн Дамаскин и Феодор Студит, два главных идеолога иконопочитания. У последнего эта позиция нашла отражение в конкретно сформулированном политическом тезисе, который представлял собой, в сущности, возрождение церковных теорий IV—V вв.: от тезиса о благочестии и покорности «духовной матери-церкви» он прямо переходил к идее подчинения второстепенной власти (светской) — власти церковной как высшей, ибо в самом обществе стало общепризнанным постулатом «господство духа над телом»²⁴.

Усилился акцент и на миротворческой роли василевса как одной из его высших добродетелей — эта идея подчеркнута и во введении к «Эклоге»: пресечь беззакония и деяния грешников необходимо, «чтобы установилось у нас мирное царствование и прочное правление было благоустроенным» (E. s. 162). Для Феофана почти кощунственным казалось самонадеянное заявление Никифора I, что никто из императоров до него не заботился о благе империи и не умел по-настоящему управлять государственным кораблем. И Феофан развенчивает мероприятия василевса в сфере налогообложения и комплектования армии как серию «злодеяний» (κάκοσεις), противных и богу и людям (*Theoph.* P. 486—587).

Как известно, иконоборчество привело к разрыву империи с папством, обретшим как раз в эту эпоху (в 756 г.) покровительство Франкского королевства и превратившимся, помимо прочего, в светское государство. Эти события, а в особенности последовавшая в 800 г. коронация папой в {68} Риме Карла Великого в качестве императора поставили перед византийскими

Файлы byz69_1.jpg и byz69_2.jpg

*Император Никифор III Вотаниат и его жена Мария.
Ок. 1078. Константинополь. Деталь миниатюры
рукописи гомилии Иоанна Златоуста.*

²² Досталова Р. Указ. соч. С. 26.

²³ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана... С. 72 и след. Ср.: Литаврин Г. Г. Идея верховной государственной власти в Византии и Древней Руси домонгольского периода//Славянские культуры и Балканы. С., 1978. Т. 1: IX—XVII вв. С. 50—56.

²⁴ Hunger H. Reich der Heuen Mitte. Graz; Wien; Köln, 1965. S. 22 ff., 119 ff.; *Idem.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. I. S. 218—234.

идеологами и политиками ряд трудных вопросов в области теории о единственном «Римском царстве» и в сфере престижа. Константинопольский двор решительно отказался признать новый титул Карла как незаконный. Выдвинутый Карлом проект династического брака, который привел бы к восстановлению единой империи (правда, под эгидой франкского государя) был провален константинопольскими синклитиками. Некоторые историки полагают даже (впрочем, их мысль весьма спорна), что лишь в это время в качестве реакции на коронацию Карла — стало официально обязательным добавление к титулу «василевс» слова «ромеев» (т. е. если Карл и является императором, то все-таки не римского, а франкского царства)²⁵. Уступая настоянию Феодора Студита и рас- {69} считывая на поддержку Запада в борьбе с Болгарией, разгромившей византийское войско в 811 г., Михаил I признал императорский титул Карла (разумеется, как императора *франков*). Непримирымый иконопочитатель, тот же самый Феодор Студит выдвинул идею прекращения борьбы вокруг икон в 823 г., за двадцать лет до официального восстановления иконопочитания. Правда, в этот период иконоборчество уже шло на убыль. Его главные цели были достигнуты. Опасность грозила теперь с другой стороны: в Малой Азии ширилось движение павликиан, Константинополь был осажден армией мятежника Фомы Славянина, в которой было множество крестьян, недовольных социальной политикой двора. Феодор заявил в то время, что продолжение споров губительно (они порождают смуты), что «пришла пора единомыслия» (PG. T. 99. Col. 1412). Именно в этой, классовой оценке положения дел и заключались причины «миролюбия» фанатичного приверженца иконопочитания.

Оно было восстановлено в 843 г., но иконоборчество оставило, несомненно, глубокий след не только в общественной, но и в культурной жизни империи, в том числе — в области политической мысли. Критика императоров-иконоборцев, ставшая непрременной обязанностью каждого хрониста после 843 г., была постепенно перенесена и на прочих императоров: уже у Феофана получил четкое выражение метод противопоставления и сопоставления идеала и конкретного образа, «божьего избранника» и личности.

В эпоху иконоборчества сложились две главные группировки господствующего класса империи: провинциальная землевладельческая (по преимуществу военная) аристократия и чиновная (в первую очередь столичная) бюрократия, осознавшая угрозу своему безраздельному господству со стороны усиливавшейся фемной знати. При всем разнообразии политических идей 2-й половины IX—XII вв. большинство византийских авторов этого времени являлись в целом выразителями интересов одной из этих двух группировок. Именно в период иконоборчества представителям всех борющихся в империи за власть сил стала очевидной роль столицы как важнейшего, а зачастую решающего фактора победы²⁶. В конце VII — начале VIII в. такая неприступная твердыня, как Константинополь, многократно и относительно легко оказывалась в руках узурпаторов, поскольку влияние димов падало, а массы горожан столицы не проявляли острой заинтересованности в исходе борьбы претендентов за высшую власть. С середины VIII в. положение резко изменилось: был возрожден не только в теории, но и на практике статус столицы-наследницы привилегий древнего Рима. М. Я. Сюзюмов расценивал как ошибку указ Константина V, обязавшего крестьян продавать хлеб государству по сниженным ценам и обеспечившего его дешевизну на столичном рынке: по мнению советского ученого, эта политика подрывала социальный базис иконоборцев, так как озлобляла против них свободное крестьянство²⁷. Но ошибка ли это? Мы полагаем, что императору было крайне важно привлечь на свою сторону массы горожан столицы,— и он, идя на этот шаг, сознавал и его возможные отрицатель- {70} ные последствия. Доказательством того, что подобная политика объективно служила интересам самодержавия, является тот факт, что ее последовательно придерживались и ближайшие преемники Константина V и все императоры Македонской династии (центральная

²⁵ Rösch G. Op. cit. S. 107 f. Ср.: Tsirpanlis C. N. Byzantine Reactions to the Coronation of Charlemagne (780—813)//Byz. 1974. T. 6. P. 347—360; Beck H. G. Das Byzantinische Jahrtausend. München, 1978; Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500—1453. L., 1982. P. 113 f.; Winkelmann F. Staat und Ideologie beim Übergang von der Spätantike zum byzantinischen Feudalismus//Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten/Hrsg. H. Köpstein. B., 1983. S. 77—84.

²⁶ Dagron G. Naissance d'une capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451. P., 1974. P. 544.

²⁷ Сюзюмов М. Я. Указ. соч. С. 60.

власть неизменно благоволила горожанам столицы за счет крестьянства) (Кн. Эп. Введение. С. 5—42). Вполне закономерно поэтому, что случаи овладения узурпатором столицей были в IX—XI вв. исключительно редкими.

Наконец, именно иконоборчество, а также вспыхнувшая в середине IX в. ожесточенная борьба с павликианской ересью сделали очевидной для правящей элиты, к какой бы группировке ни принадлежали ее разные представители, острую необходимость в повышении уровня образованности и духовенства, и чиновничества, в систематизации христианского богословия и в овладении наукой управления. Подлинным выразителем и активным проводником этой тенденции стал патриарх Фотий (первое патриаршество: 858—867), один из наиболее образованных людей той эпохи. Ему, кстати говоря, принадлежит смелая политическая идея, высказанная им в сочинении «Амфилохий», — тип государственного устройства, утверждал патриарх, не предопределен богом, а устанавливается людьми в соответствии с их собственным опытом (PG. T. 101. Col. 625C-D).

Сколь ни важны были конфликты императоров Константинополя с папством в VI—VII вв., они несопоставимы по своим последствиям с тем духом откровенного соперничества (имевшего и политическую направленность), которое возникло в эпоху иконоборчества между восточной церковью, выступавшей, как правило, в согласии со светской властью империи, и папством, которое также обычно находило поддержку у крупнейших государей Европы. Византия утратила средства прямого давления на папство, пользовавшееся защитой франкского престола. Константинопольский патриарх обрел безусловное главенство среди восточных владык, но опора на них стала весьма зыбкой — они оказались вне зоны политического воздействия византийского двора, находясь «в плену», под властью арабов. В «римской ойкумене» василевса образовалась обширная брешь: с 800 г. началась история средневековой западной христианской империи — бесспорные ранее претензии императора Константинополя на приоритет в христианском мире таковыми более не являлись. Василевсы и церковь Византии втягивались в упорное соперничество с Западом, ставшее серьезным фактором внешнеполитической жизни империи вплоть до ее падения. Византия резко усилила свою дипломатическую активность: ее церковные миссии направляются в Хазарию, Аланию, Великую Моравию, Болгарию, сербские земли и, видимо, на Русь. Религия стала важнейшим инструментом политического воздействия. Постепенно, со второй половины IX в. стала оформляться восточнохристианская культурно-идеологическая зона, получившая в историографии не вполне адекватное определение — «Византийское сообщество государств»²⁸. Идеино-политическое обоснование «прав» императора в этом ареале стало с тех пор одним из неперенных атрибутов возрождаемой универсалистской имперской доктрины. {71}

Политическая теория и политические притязания Византии всегда находились в тесной зависимости от ее успехов на международной арене. Период правления императоров Македонской династии — эпоха могущества империи, ликвидировавшей сначала арабскую опасность, а затем перенесшей центр своей активности в Европу, постепенно усиливая свое давление прежде всего на славянские страны Балканского полуострова. Культ служения «божественной империи» развивался параллельно с возвеличиванием власти василевса и с восхвалением единственно «непогрешимого» византийского христианского правоверия. Эта идея в ее нерасторжимом триединстве была четко выражена патриархом Фотием (во время второго патриаршества: 877—886) в новом законодательном сборнике «Исагоге» (ранее она именовалась в науке «Эпанагогой»). Начиная с толкования титула императора, Фотий говорит, что его власть представляет «общее благо для всех подданных», ибо долг василевса — «удерживать и сохранять по доброй воле имеющиеся блага, возвращать благодаря своей неусыпной деятельности утраченные и рвением своим и усердием добывать отсутствующие», обязанность же патриарха — «вести к правоверию всех, насколько возможно» (Eis. Prooim).

Вновь выдвигалась идея мирового господства, разительно отличавшаяся от целей василевсов-иконоборцев («защитить и спасти»), снова империя присваивала себе право самой определять границы своих интересов и судить о «правоверии» других по собственному усмотрению.

²⁸ *Obolensky D.* Op. cit. P. 466—476. Ср. рецензию Г. Г. Литаврина на эту книгу (ВИ. 1972. № 2. С. 180—185).

Кратко сформулированы в «Исагоге» и важнейшие добродетели государя: он не подвержен гневу, умерен, одинаково милостив, беспристрастен и ровен со всеми и «никого не преследует, руководствуясь враждой, но раздает награды в соответствии с добродетелью каждого».

Наиболее определенные сведения относительно идеального образа государя в этот период содержатся в «Поучительных главах», обращенных к Льву VI и приписываемых рукописной традицией его собственному отцу — Василию I Македонянину. С интересующей нас точки зрения этот памятник был проанализирован в последнее время И. С. Чичуровым, наблюдения которого мы и приведем ниже²⁹. В отличие от авторов предшествующего периода здесь в качестве важнейшей добродетели наставник выдвигает образование, без которого, по мысли Василия I, василевс не может заслужить расположения своих подданных; в поучении содержится прямой призыв изучать сочинения «древних», т. е. авторов-язычников. Также в остром противоречии с идеями VII—VIII вв., когда физическое совершенство, здоровье плоти не имели никакой ценности сравнительно с состоянием «духа», теперь рекомендуется сочетать духовные добродетели с гимнастическими упражнениями и заботой о «телесной красоте». «Силу тела чти и признавай,— говорит Василий,— если она украшена разумом... сила в сочетании с безрассудством — это дерзость, в сочетании с разумом — мужество»³⁰. Специальные акценты в этом памятнике поставлены также на тезисе о необходимости миротворческой социальной политики, дабы не роптали подвластные должностным лицам люди, а на руководящие должности назначались те, кто не только не допускают сами, но и искореняют всяческую несправедливость. Преданность друзей при этом, по мысли автора, более надежна для василевса, чем родственные узы.

Своеобразной иллюстрацией этих положений «Поучительных глав» могут служить два факта: когда потребовалось сместить неугодного императору патриарха Трифона (правда, это произошло уже при Романе I Лакапине в 931 г.), то оказалось достаточно широко распустить слух о его малограмотности, чтобы скомпрометированный владыка отрекся от престола³¹; навлекший на себя гнев отца, Лев VI провел три года в заточении (Псамаф. хр. С. 99).

Льва VI, прозванного Мудрым, часто в литературе называют василевсом, который завершил строительство средневековой византийской монархии, имея при этом в виду, прежде всего, его законодательную деятельность. Собственные взгляды императора на место империи в современном ему мире, на назначение своей власти нашли достаточно полное отражение в таких его сочинениях, как «Тактика», эпитафия на смерть Василия I и указы-новеллы. Весь стиль венценосного писателя, как и стиль правительственных канцелярий во время его правления, пронизан идеей величия, исключительности «дарованной ему богом» державы и его собственной в ней роли. С этого времени церемониальная торжественность правительственных распоряжений, глубокое убеждение в превосходстве самих ромеев над всеми иными народами, в идеальности их общественного устройства, в могуществе их армии, в чистоте и в величии культуры стали неотъемлемой чертой всей государственной пропаганды и всей официальной историографии.

Уничтожая остатки городского самоуправления, Лев VI предельно четко сформулировал в своей 120-й новелле монархический принцип, заявив, что ни в куриях, ни в мнении синклита он теперь не нуждается, поскольку отныне «обо всем печется сам император».

Трудно назвать имя какого-либо другого византийского императора, который испытал бы больше личных унижений и обид, которые наносились ему либо прямо публично, либо же предавались широкой гласности: отец неоднократно избивал его в кровь, три года продержал в тюрьме, в церкви нищий фанатик избил его палкой, патриархи отказывались одобрить его третий и четвертый браки, не желали признавать законнорожденным его единственного сына, допускать в алтарь, и «всемогущий» василевс валялся в ногах у владыки, жалуясь на судьбу и моля о снисхождении. Тем интереснее собственное суждение Льва VI об императорском дос-

²⁹ Чичуров И. С. Традиция и новаторство в политической мысли Византии конца IX в.: место «Поучительных глав» Василия I в истории жанра // ВВ. 1986 Т. 47 С. 95—100.

³⁰ Чичуров И. С. Традиция... С. 97—98.

³¹ Шангин М. А. Письма Арефы — новый источник о политических событиях в Византии 931—934 гг. // ВВ. 1947. Т. 1. С. 237.

тоинстве и о важнейших добродетелях василевса. Сознание собственного величия у него бесспорно: желая низложить упорствующего его матримониальным планам патриарха Николая Мистика, Лев VI — через доверенных людей — дал понять владыке, что он может быть обвинен в оскорблении императорского величия (не было страшнее обвинения в империи), — и Николай отступился, оставив престол (Псамаф. хр. С. 60—61).

И в то же самое время, в представлении Льва VI, он — верный и смиренный «сын матери-церкви», которую чтит более, чем собственных {73} родителей (как положено и всем прочим истинным христианам), которая, помимо всего остального, венчает и на царство (с Феофила обряд коронования василевса патриархом, а также соправителя — с участием автократора, стал нормой)³². Но и самую эту важнейшую добродетель — благочестие — Лев VI умел использовать для давления на церковь. Когда Евфимий отказался принять патриарший сан, Лев VI заявил ему, что в таком случае он (василевс) забудет «страх божий» и в результате этого начнет творить «злые дела», впадёт в ересь, будет оставлен господом, погубит себя и своих близких (Там же. С. 63). Трудно сомневаться в том, что преданность ортодоксии выступает у Льва VI, как и у идеологов VII—VIII вв., в качестве основы всех прочих достоинств государя, и эта добродетель в его сознании не умаляет, а, напротив, служит повышению его авторитета. Лев VI убежден в том, что связи императора и его державы нерасторжимы и являются единственной гарантией общего блага. Что же касается отношений с церковью (и в частности — с патриархом), то император избегает точных формулировок о пределах компетенции высшей духовной власти (не столько разграничивая власть василевса и власть патриарха, сколько сближая их). Во всяком случае, Лев VI не проявил желания развивать те идеи, которые были заложены в «Исагоге» Фотия и в «Поучительных главах» Василия I и которые означали расширение полномочий церковного владыки империи. И. С. Чичуров справедливо замечает, что реверансы василевса в сторону церкви (от которой он немало претерпел) не лишены демагогии и лицемерия: как и его отец, Лев VI начал с детронизации старого патриарха, да и позже не останавливался перед грубым насилием над патриархами и перед их смещением³³. Именно в связи с этими фактами и со своими конфликтами с церковью Лев VI усиленно подчеркивает «миротворческую» миссию василевса в церкви, восхваляя за это и Василия I, трижды сменявшего патриархов.

Новое в идеях Льва VI о царских добродетелях — черты «феодализации» сознания самодержца, выразившиеся в утверждении типично средневековых «рыцарских» идеалов. Сын вышедшего из низов Василия I, Лев VI, хотя и с оговоркой о примате личных качеств над происхождением и о предпочтительности основать «славный род», чем с рождения принадлежать к нему, счел необходимым утверждать фикцию о благородном корне своего рода: будто бы этот род восходит к армянской династии Аршакидов, а через них — к Артаксерксу (к персидской династии Ахеменидов), т. е. насчитывает около полутора тысячелетий. Подобные идеи еще отсутствуют в «Поучительных главах» Василия (в главе о благородстве он имел в виду совсем иное: телесную красоту и внешний вид царственной персоны). К сугубо «феодалному» кругу достоинств принадлежит и возрождаемая через много столетий идея (она была чужда политической мысли империи с конца VI в.) воинских {74} доблестей государя — идея императора-полководца (любопытно, что, пропагандируя ее, сам Лев VI ни разу не бывал на поле боя, хотя усиленно занимался теорией военного дела как сугубо «кабинетный стратег»). Милитаризация общественной и социальной структуры империи выразилась и в том, что Лев VI делит все общество, исходя из критерия отношения подданных к военной или к иной государственной службе (на «стратиотов» и «управителей»), явно отдавая при этом предпочтение военным, благородным и состоятельным из которых он рекомендует выдвигать в полководцы.

Возрождает Лев VI значение и таких качеств императора, как искусство законодателя (в этом деле василевс проявил особую активность) и строителя. С еще большей настойчивостью подчеркивает император важность интеллектуальных качеств государя, его активности,

³² *Острогорский Г.* Автократор и самодержца. Прилог за историју владалачке титулатуре у Византији и у јужних Словена // Глас Српске краљевске академије наука. 1935. Т. 164. С. 144—160.

³³ *Чичуров И. С.* Теория и практика византийской императорской пропаганды: поучение Василия I и эпитафия Льва VI // ВВ. 1989. Т. 50 (в печати); *Vogt A., Hausherr J.* Oraison funebre de Basil I par son fils Léon VI le Sage // OC. 1932. Т. 26.

неустанных забот и трудов «на благо империи», а также готовности творить справедливость, проявлять человеколюбие, защищать бедных³⁴. При этом император в одной из новелл откровенно указал на социальные причины своей «заботы» о бедных: злоупотребления властью со стороны династов, писал он, увеличивают бедствия бедных и влекут за собой их восстания (PG. T. 107, Col. 680 D, 684C, 688A—C, 689C, 845C, 848D, 876 etc.).

Представления Льва VI о своей державе нашли ясное отражение в его военном трактате — «Тактика». Империя изображается им как идеально организованное общество, воплощенное единство христианского благочестия и основанной на справедливости императорской власти. Василевс — «отец подданных», награждающий преданных и праведных и карающий виновных. В число начальствующих, исполнителей его воли он назначает лиц «благородных» — но не по происхождению, а по их собственным делам, обладающих разумом, мужеством, справедливостью и скромностью (т. е. подражающих в этом василевсу, как он сам, в свою очередь, подражает богу) и доказавших свою праведность и преданность императору и отечеству. Тема патриотизма и пропаганда патриотических идей — одна из главных тем «Тактики». Лев VI призывает стратигов неустанно внушать воинам мысль о величии империи, о счастье для них как «воинов Христа» пролить кровь за родину и веру, за память павших, за братьев, томящихся под игом неверных. Ромеи — угодный богу, избранный народ, призванный либо привести «к богу» (цивилизовать) язычников и иноверцев, либо отогнать их от границ империи. Война с ними — священный долг ромеев, исполнять который они идут, молясь перед битвой о прощении грехов и испрашивая у бога победу³⁵. {75} Таким образом, возникшие и укрепившиеся в VII—VIII вв., в особенности в эпоху иконоборчества, политические идеи получили у Льва VI дальнейшее развитие. Он обращался не просто к армии, к воинам, а к вооруженному народу, своим подданным и согражданам, проводя мысль об исконном единстве интересов государства, веры, василевса и избранного богом народа («ромеев»). Вместе с тем во внешнеполитическом плане система взглядов Льва VI — это программа наступления на окружающие империю народы, апология защиты «законных» прав империи и их восстановления на путях «священной войны», идея которой окрепла, несомненно, как ответ «ромеев» на «священную войну» против них мусульманского мира.

Постепенно, однако, военная опасность со стороны арабов слабела. Центр тяжести внешнеполитической активности империи перемещался в Европу, на Балканы и в Западное Средиземноморье. Здесь ситуация была не столь однозначной: помимо врагов-мусульман (сицилийских и африканских арабов), империи противостояли единоверные болгары, принявшие христианство от самой Византии и официально признанные ромеями в качестве своих духовных (младших) «родственников». Справедливость войны с ними, пролития «христианской крови» требовала убедительного идеологического оправдания. И это оправдание было найдено: идеи Льва VI были развиты патриархом Николаем Мистиком в эпоху войн Византии с Болгарией в конце IX — первой четверти X в. (после смерти Льва VI в 912 г. и Александра, его брата, в 913 г. Николай стал одним из главных регентов при малолетнем наследнике Льва Константине VII Багрянородном). Мысль Мистика, неоднократно высказанная им в письмах к болгарскому государю Симеону, состояла в том, что «западные» (т. е. прежде всего балканские) земли принадлежат «державе ромеев», что болгары узурпировали их, вопреки закону и справедливости временно отняли у империи; ныне же Симеон осмелился на еще более неслыханную дерзость — он поднял руку на божьего избранника и на божье царство, а поэтому он — тиран и бунтовщик, который заслуживает самой суровой кары и может быть уничтожен, хотя и является единоверцем; патриарх много писал при этом о благах мира, о необходимости прекращения «братоубийственной войны», однако самый этот мир он мыслил как такое состояние

³⁴ По этой проблеме см.: *Вернадский Г. В.* Византийские учения о власти царя и патриарха//Recueil d'études dédiées à la mémoire de N. P. Kondakov. Pr.. 1926; *Ahrweiler H.* *Idéologie...* P. 33—34, 44, 116; *Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв. М., 1974. С. 30 и след.; *Литаврин Г. Г.* Идея верховной государственной власти. С. 52—53; *Чичуров И. С.* «Хронография» Феофана (IX в.) и ранневизантийская историографическая традиция (IV—VIII вв.). М., 1976: *Он же.* Теория...

³⁵ *Кучма В. В.* Методы морально-политического воздействия на византийское войско по «Тактике» Льва//АДСВ. 1965. Вып. 3. С. 101—118; *Он же.* Командный состав и рядовые стратиоты в фемном войске Византии в конце IX—X вв. ВО. 1971. С. 86—97; *Он же.* «Тактика» Льва как исторический источник//ВВ. 1972. Т. 33. С. 75—87; *Он же.* Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1981.

отношений империи и Болгарии, при котором верховенство и приоритет власти василевса не понесут ущерба (PG. T. 111. Col. 48, 176).

Несомненно, вершиной официальной политической мысли в империи в X в. является система воззрений, изложенная Константином VII Багрянородным в своих трудах (или написанных под его редакцией). Это не только политическая доктрина и учение об императорской власти — это также теория нравственных ценностей верноподданного византийца того времени и катехизис его поведения. Из всех приписанных этому василевсу историографической традицией сочинений наиболее содержательным с указанной точки зрения является труд «О народах» (или «Об управлении империей»). Отметим ниже, однако, лишь то новое, что отличает воззрения Константина от изложенных выше взглядов его отца. В целом, как нам представляется, у Константина более ясно и развернуто трактуются вопросы о происхождении императорской власти, о долге василевса и о месте империи в современном автору мире. Как и {76} отец, не раз отчаявшийся в своих надеждах и сверх чаяния обретший высшую власть, Константин тем не менее утверждает тезис о наследственности власти в своем роду уже как порядок, санкционированный богом. Конечно, бог «возводит на трон василевсов и вручает им власть надо всем», он же источник и самих добродетелей (совершенств) человека, но истинно достоин власти тот, кто происходит из царского рода и с детства воспитан в царском дворце. Даже самого наследника Константина — Романа — сам бог «исторг из материнского чрева» и предназначил царствовать, вручив власть «как лучшему из всех». Под защитой десницы бога император правит «ради истины», «в согласии с законом и справедливостью», «как раб и слуга божий», имеющий «страх божий», который гарантирует от совершения недостойных дел. Если же василевс забудет «страх божий», он неизбежно впадет в грехи, превратится в деспота, не будет держаться установленных отцами обычаев — по проискам дьявола, совершит недостойное и противное «божьим заповедям», станет ненавистным народу, синклиту и церкви, будет недостойн называться христианином, лишен своего поста, подвергнут анафеме, и, в конце концов, убит как «общий враг» любым ромеем из «повелевающих» или «подчиненных».

Священный долг василевса — забота о всеобщем благе. Для этого, помимо названного выше, ему более, чем любому другому в его царстве, необходимо знание, чтобы достойно «править и руководить мировым кораблем», ибо невежество (как и небрежение и неопытность василевсов) — причина многих бедствий и потерь империи, «умаления» и упадка ее дел. Неуч не имеет перед глазами образцов для подражания, творит неподобающее, отменяет хорошо установленное его предшественниками, обнаруживает неподготовленность и неспособность противодействовать внезапной смене обстоятельств, вводит новшества. «Добру не ученый», не изучивший с детства ромейских порядков и того, как они сложились, не достигает успехов, знающий же василевс будет более желанным для своих подданных, почитаемым как мудрый среди разумных и разумный среди мудрых. Нельзя ни на мгновение забывать, что император среди своих приближенных — как «Христос среди апостолов» (De ser. I. P. 638). В особенности, если он — «порфирородный», т. е. царственный ребенок с рождения.

Оговоримся вкратце, что убежденность, с которой Константин излагает теорию легитимности наследственной власти (ею — этой идеей — пронизано и написанное им жизнеописание его деда Василия I, предназначенное для широких кругов подданных, а не только для сына-наследника, как труд «Об управлении империей») ³⁶, не избавляет его от сознания необходимости жестокой борьбы за утверждение этой теории на практике. В этой связи заслуживали бы рассмотрения вопросы о взглядах ученых византийцев на такие институты имперской государственности, как обряд коронования, церемония признания императора народом, войском и синклитом, соправительство детей и соправительство опекунов, роль временщиков-паракимоменов и др., о чем, к сожалению, здесь сказать невозможно. {77}

Что касается места империи среди прочих стран и народов, то доктрина Константина является выражением крайнего имперского эгоизма и сознания непререкаемого превосходства всего «ромейского» над всем чужеземным. Представляется справедливой мысль Э. Арвейлер, что амбиции и претензии Константина находили себе ограничение лишь в физическом, вооруженном отпоре, который они встречали у соседних народов, что Константин, возрождая уни-

³⁶ Об этом см.: Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного//ВВ. 1981. Т. 42. С. 171—172.

версалистскую греко-римскую идею о праве «избранного народа» повелевать ойкуменой, вступает в роли *sui generis* апологета «ромейского расизма»³⁷. Любопытно при этом, что единомыслие и твердый порядок внутри империи Константин связывает с единопольем, т. е. культура империи представляется ему прежде всего как грекоязычная — мысль, как будто ранее в столь ясной форме не высказывавшаяся. «Ромейское устройство» он рассматривает как естественное, божье, а потому — идеальное. Сам бог хранит империю, а ее столица находится под особым покровительством богородицы. Империя не ведаёт раздробления власти, а потому не знает и внутренних раздоров и кровавой анархии. Невежественным и презренным варварам можно откровенно лгать, утверждая, что и сами инсигнии власти (короны и мантии), и греческий огонь непосредственно переданы Константину богом через ангела, что этот император решительно запретил вступать в родство с представителями правящих домов других стран (нехристианских и христианских), сделав исключение лишь для франков как происходящих из одного с ним рода. Преклонение и покорность иноплеменников перед империей изображаются Константином как норма в международных отношениях: заключивший с нею мир обретает безопасность и может не страшиться; все варварские народы, когда-либо получившие землю для поселения (так же тракуются и те, кто поселился самовольно), платившие империи «пакт», а тем более — все те, кто принял от империи крещение («был цивилизован»), обязаны ей повиноваться, быть ее «рабами».

Внешнеполитическая доктрина Константина VII послужила в качестве идеологического обоснования того наступления, в которое вскоре после смерти императора перешла империя и на востоке, и на западе. Едва за 10—12 лет были возвращены Крит, Месопотамия, Сирия, Северная Палестина, захвачена значительная часть Болгарии. Вторжения германского короля в Италию, а затем (в 962 г.) коронация Оттона I в Риме папой в качестве императора «Римской империи» возродили острые споры между Византией и Западом за гегемонию в Европе, за право на «римское наследство». Сущность этих споров изложил Лиутпранд, епископ Кремоны, бывший послом Оттона I к Никифору II Фоке в 968 г. и прибывший в Константинополь с предложением брака между сыном Оттона Оттоном II и одной из византийских принцесс. Никифор II отказал примерно из тех же (официально) соображений, из которых исходил Константин, не говоря уже о его неостывшем гневе в связи с коронацией Оттона I. Насколько можно судить по описанию Лиутпранда, Никифор II и его приближенные вновь проводили идею «благородства» власти и самой империи как достояния лишь василевса {78} Константинополя, так как Константин Великий перевел туда не только столицу, но и самих «благородных римлян», воинов и сенаторов (перенес, как говорил Константин VII, самую власть, т. е. империю), оставив в Риме за ненадобностью лишь рабов, незаконнорожденных и людей низкого состояния (*Liut. S.* 167, 260—273). Средневековый принцип «благородства крови» как врожденного преимущества при получении и употреблении власти постепенно пробивал себе дорогу и в Византии, где долгое время господствовал принцип личных заслуг, определивший такое явление в высших слоях общества, как «вертикальную социальную подвижность»³⁸.

Вплоть до конца царствования Василия II Болгаробойцы византийская политическая теория власти, сравнительно с временем Константина VII, не претерпела существенных изменений, в особенности — в ее внешнеполитическом аспекте. Более того: именно Василий II был наиболее последовательным ревнителем и проводником на деле той политической позиции универсализма и законности прав империи на господство в христианской ойкумене, которая была обоснована Константином Багрянородным. Завершив завоевание и подчинение славянских земель на Балканах, расширив владения империи на Востоке, Болгаробойца намеревался перенести военные действия в Европу (в Италию), но не успел этого сделать. Но и во внутренней политике этот император проявил себя, по нашему мнению, как приверженец традиционной политики. Устранив в 985 г. временщика паракимомена Василия Нофа, Василий II открыто признался, что начиная с 976 г. фактически не имел власти, что все, чего хотел временщик, он творил произвольно именем василевса, и Василий II отменил действия всех хрисовулов, вы-

³⁷ *Ahrweiler H.* *Idéologie...* P. 35—36; *Eadem.* *Un discours inédit de Constantin VII Porphyrogénète // TM.* 1967. T. 2. P. 393 et suiv.

³⁸ *Литаврин Г. Г.* *Византийское общество и государство в X—XI вв.: Проблемы истории одного столетия, 976—1081 гг. М., 1977. С. 162—175.* См. также указанную здесь литературу.

данных до 985 г., законными из них признавались лишь заново утвержденные василевсом (*Scyl.* P. 314; *Jus.* III. P. 315—316). Столь разительное расхождение теории и практики засвидетельствовано самим Василием II еще раз. Если до 985 г. император был еще молод и доверчив и своеволие Нофа легко объяснимо, то обстановка была совершенно иной в 996 г.: власть грозного императора окрепла, мятежники были разгромлены, внешнеполитические успехи нарастали, а Василий II тем не менее снова пишет в своей новелле о произволе магнатов и официальных властей на местах (*Jus.* III. P. 310—314). Василий II обвинял своих чиновников в нарушении законности, они, по-видимому, видели его вину в том же: младший современник императора Михаил Пселл писал, что Василий II поступал деспотично и самовольно, не по писанным законам (*Mich. Ps.* I. P. 19). И это было серьезное обвинение — вскоре оно станет одним из важнейших политических аргументов в борьбе за престол.

Концепцию Константина VII о восстановлении «прав» империи на господство над народами, некогда подвластными Римской державе, воспринял уже Никифор II Фока, заявивший Лиутпранду: «Владычество на морях — мое». Иоанн I Цимисхий в 971 г. подчинил Северо-Восточную Болгарию, населенную христианами (правда, это господство рухнуло в 976 г.). Но наиболее упорно, как упоминалось, проводил в жизнь эту {79} теорию Василий II. Подчиняя Болгарию, он демонстрировал и невиданную жестокость и неожиданное милосердие и снисходительность. Император исходил при этом из имперского, освященного церковью тезиса: жестокость необходима и оправдана в отношении бунтовщиков (так и смотрел Василий II на болгар), а милость — естественна в отношении покорившихся, ставших его подданными. Самостоятельное («идиоритмное», как говорил Константин VII) существование Болгарии противоречило «нормальному» положению дел, и вот теперь, заявлял Василий II, «не без крови, не без трудов и пота, а благодаря многолетнему терпению и с божьей помощью эта страна дарована нам от бога, чья благодать сопутствовала нам, дабы соединить под одним ярмом разделенное»³⁹. Не успевая продолжить выполнение этой программы, василевс не пренебрегал ее идейным предварительным обоснованием: даже выдав всего лишь сестру (отнюдь не родственную правящему дому) Романа Аргири (будущего Романа III) за венецианского дожа, Василий II объявил население Венеции себе подвластным («народ, таким образом подчиненный» (*Scyl.* P. 343)).

Но уже при Василии II структура власти перестала отвечать новым общественным отношениям, и это противоречие не находило решения: государственный аппарат, подвергавшийся лишь незначительным преобразованиям, был поражен коррупцией, служил скорее интересам всемогущей бюрократии, чем государства. Внутренний кризис выразился в ожесточенной борьбе за власть между гражданской знатью и военной аристократией. Она началась еще при Василии II и не утихла в течение столетия. XI век стал столетием переворотов. На престоле сменилось 14 императоров. Такого не бывало в Византии ни до, ни после: даже в кризисном VII в. трон занимали 10 государей. Разразилась «аномалия», как говорил историк Михаил Атталиат, очевидная для всех. Проблема власти стала одним из самых острых вопросов жизни общества. Ее обсуждали всюду в поисках причин катастрофы и выхода из нее. Положение усугублялось жестокими поражениями от внешних врагов, опрокидывающими уже ставшие привычными в X—начале XI в. представления о превосходстве и «богоизбранности» империи, столь наглядно, казалось бы, подкрепленные победоносными императорами — Никифором II Фокой, Иоанном I Цимисхием и Василием II Болгаробойцей.

Соперничество двух главных политических сил в империи породило разнообразие (небывалое для общественной мысли Византии более ранней эпохи) политических идей, также остро противопоставленных друг другу. Разумеется, корни этих противоречий уходят в более ранний период, но борьба за власть в XI в. обнажила глубину разногласий, заставила их четко сформулировать.

Прежде всего изменилась трактовка сущности императорской власти и представления о роли самого самодержца. Резко возросло внимание к самой личности василевса. Он — «помазанник божий», он — сам закон, но он также человек, и как таковой несовершенен. Его образ в глазах современников все более «раздваивался» на идеал, который воплощает в себе высшие добродетели и неограничен в своем волеизъявлении, и на конкретную личность, которая либо

³⁹ Иванов Й. Български старини из Македония. С., 1970. С. 556.

соответствует идеалу и потому за-^{80}служивает обожествления и преклонения, либо ему не соответствует и поэтому неспособна достойно исполнять возложенную на нее миссию. Уже митрополит Никеи Феодор писал Константину VII, что закон выше, чем воля василевса, что василевс, не восстанавливающий справедливость, есть тиран (Ер. Byz. P. 273). Изъяны в добродетелях, хотя и по-разному толкуемых враждующими группировками, в нравственном облике императора, в его поведении даже в быту использовались оппозицией для диффамации венценосца как недостойного власти. Василевс, писал Кекавмен, — «земной бог», но, если он не стремится к совершенству, забывает «страх божий», нарушая обязательные и для него нормы нравственности, он вызывает ненависть и способен «погубить и разорить царство ромеев» (Кекавм. Введение. С. 65—74). Совершивший «смертный грех», т. е. умертвивший Романа III, Михаил IV должен был, по мнению Скилицы, не обелять себя перед богом благочестивыми дарениями церкви за счет государственной казны, а оставить трон (Scyl P. 397—398). Цель императора — общее благо, заявлял Атталиат, каков государь — таковы и подданные, недостойный государь не угоден богу, и мятеж против него законен: бог возвел на престол Никифора III Вотаниата, избрав его орудием против Михаила VII Дуки, который и сам, и его потомки были лишены власти «за предательство интересов ромеев» (Att. P. 52—53, 197, 275, 280 etc.).

Пселл в своих рассуждениях особенно последовательно возрождает идею о poste главы государства как магистрате, должности, служении государственному благу, для чего необходимы и ученость, и знание законов, и помощь компетентных приближенных, и «узда» (такой, по Пселлу, должна быть роль синклита), так как василевсы — не только люди, но люди с особо неустойчивой психикой (уж слишком много треволений обрушивается на них), а потому нередко неоправданно жестоки, безрассудны, растерянны, расточительны либо жалки в своих низких страстях (Кекавм. Введение. С. 78—83). Философ осмелился даже на сопоставление монархии и демократии как классических образцов управления государством и на вывод о несомненных преимуществах демократии; но, поскольку демократия ныне невозможна, заявляет Пселл, следует всемерно крепить монархию, направляя деятельность государя в должную сторону (Mich. Ps. I. P. 59, 98—102, 110, 117; II. P. 35, 73, 84, 122). О демократии и аристократии размышлял и Атталиат, безусловно, в отличие от Пселла, осудивший демократию как «раздробление власти среди многих» — источник беспорядка и смятения (Att. P. 53).

От автора к автору, вслед за успехами и упрочением позиций военной аристократии менялось и представление о главных добродетелях государя. Помимо благочестия, все больше восторга вызывают два качества монарха: щедрость и мужество, причем мужество личное, в бою, не только талант полководца, но искусство владения оружием, крепость и ловкость тела. Образ государя обретал черты средневекового рыцаря.

По-прежнему не отвергалось «благородство, обретаемое в делах», в силу личных качеств, но одновременно все более отчетливо звучала нота восхваления «знатного рода», благородства по рождению, по крови, которое является залогом благородных дел, ибо наследуется детьми. Мысль о благородстве как монополюющей добродетели знати развивалась еще до крестовых походов (т. е. отнюдь не под западным влиянием) ^{81} в среде именно военной аристократии. Широкое хождение в Малой Азии она получила, по-видимому, уже в начале XI в.; именно она, по нашему мнению, а не идея демократизма рядовых воинов, как иногда полагают, пронизывает и героический эпос о Дигенисе Акрите: во встрече с императором герой проявляет себя не просто как дерзкий и смелый воин, а как равный в обращении к «первому среди равных».

Аристократизация господствующего класса находила исподволь проявление во всех сферах жизни, обретала характер социальной психологии верхов, вела к изживанию «вертикальной социальной подвижности», обретала значение идейного постулата и закреплялась в политической доктрине. С середины X в. ушел в прошлое обычай «выбора невест» для наследника, с середины XI в. ни один выходец из низов уже не посягал на императорский трон — незнатный уже не мог стать центром сплочения сил оппозиции. Законовед Евстафий Ромей заявил о недопустимости выдачи замуж дочери чиновного лица за познавшего некогда рабскую участь, «ибо тогда была бы оскорблена знатность» (Jus. I. P. 236). Уже Иоанн I сформировал корпус привилегированных воинов — отряд «бессмертных», а при Алексее I Комнине он стал комплектоваться исключительно из «архонтопулов» — детей погибших знатных военных. Атталиат потратил немало сил и выдумки, чтобы возвести генеалогию Никифора III Вотаниата к

роду Фок, а от них — к Константину Великому. Видный военный Константин Дука воспринял как оскорбление воцарение происходящего из менял Михаила IV, «трехгрошового мужика» (*Scyl.* P. 393). Оформлялись сословия, переставшие допускать в свою среду «чужаков». Для судеб императорской власти это имело двоякое значение: с одной стороны, правящая элита, сравнительно однородная теперь по своей социальной структуре, гарантировала сохранение власти за своим избранником и передачу этой власти по наследству, с другой стороны, эта сословная группировка, овладевшая (в лице своего представителя) тронном, более жестоко, чем это было возможно раньше, стесняла инициативу василевса, направляла его политику только по удобному ей руслу. Более богатый опыт в этом приобрела сначала чиновная бюрократия (она посадила на трон Михаила VI Стратиотика не потому, что он обладал талантами, пишет Атталиат, а потому, что был ей во всем послушен.— *Att.* P. 52). Еще более последовательно проводила этот курс победившая в 1081 г. военная аристократия.

Церковь составляла часть структуры власти и сколь ни стремилась сохранить и даже увеличить свою независимость как самостоятельной сплоченной корпорации, должна была неизбежно склоняться на сторону той группировки господствующего класса, которая на длительное время захватывала власть. Ход политического развития Византии обуславливал упрочение союза государства и церкви при все более возрастающем преобладании светской власти. Василевсы сделали ответственным духовенство за сохранение социального спокойствия в империи. Константин VIII ослепил епископа Навпакта, население которого восстало против налогового гнета (*Scyl.* P. 372). Во время кризиса центральной власти, во второй трети XI в., церковь пыталась упрочить свои позиции: амбиции патриарха Михаила Кирулария, несомненно, ускорили официальный разрыв с западноримской церковью в 1054 г. Крупную роль сыграл этот патриарх и при переменах на троне в 1057 и 1059 гг. {82} Ему приписывают слова в адрес Исаака I Комнина «Я тебя создал, печка, я тебя и разрушу»⁴⁰. Однако с конца XI в. церковь была, как правило, послушным исполнителем воли светского главы государства. Недаром от эпохи Комнинов вплоть до XIII в. патриарший трон не занимал ни один крупный политический и общественный деятель.

Файл byz83g.jpg

*Император Иоанн Комнин и его сын Алексей.
1118—1143. Миниатюра из рукописи.
Рим. Ватиканская библиотека, гр. Урбино 2.*

В общественной атмосфере империи еще до воцарения Комнинов все более отчетливый характер приобретала идея этнокультурного единства греческих подданных императора, получившая постепенно политический оттенок. Возникшее в недрах церкви, распространявшееся ею в пейоративном смысле с 1054 г. среди прихожан и широко утвердившееся в эпоху крестовых походов понятие «латинянин» как представитель западноримской, «ущербной» ветви христианства, религии чужого языка предполагало принадлежность подданных империи к «истинной», православной и именно — грекоязычной церкви. Под термином «ромей» теперь понимали чаще всего «грека». В связи с этим и определения «эллин» и «эллинский» утрачивали уничижительный, присущий им ранее смысл («язычник» и «языческий») ⁴¹. Характерно, что с конца X в. на престол империи не всходил ни один император не греческого или смешанного этнического происхождения. Владеть рабом-греком в XI в. было запрещено законом, рабом-болгаринном — можно (хотя и он был подданным императора ромеев). Гражданам империи — армянам сами императоры свидетельствовали недоверие в своих {83} новеллах. Сами ромеи стали различать, кто из них грек, а кто им не является, и при случае притесняли «иноплеменников», даже монахов-грузин Ивирского монастыря. В ответ грузины Бачковского монастыря закрепили уставом запрет допускать в состав братии ромеев-греков. Стремилась избавиться от господства «ромеев» и болгары, и сербы, и грузины. Этнический фактор становился осознан-

⁴⁰ Τσολάκη Ευ., Θ. Ἡ Συνέχεια τῆς χρονολογίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση. Θεσσαλονίκη, 1968. Σ. 104—105.

⁴¹ Podskalsky D. Byzantinische Reichsideologie. Die Periodisierung der Weltgeschichte in den vier Grossreichen und dem Tausendjährigen Friedensreiche. Eine motivgeschichtliche Untersuchung. München, 1972; Ahrweiler H. L'Idéologie... P. 60—64.

ным, политическим фактором, значение которого, однако, раскрылось в полной мере лишь к концу XII в., как и значение схизмы 1054 г.

Политическая теория времени с конца XI до начала XIII в. (т. е. в основном эпохи правления династии Комнинов) — это принимающая все более отчетливое выражение доктрина феодальной монархии, обнаруживающая все большее сходство с политическими концепциями средневековых стран Запада, хотя именно в отношении «латинян» внешнеполитические аспекты этой доктрины никогда не были столь остро враждебны, как за столетие с четвертью перед нападением крестоносных рыцарей на Константинополь.

Внешне, в формулах титулов, славословий, приветствий концепция императорской власти не претерпела крупных перемен. Мало того, никогда, казалось бы, в честь василевсов не слагалось и не произносилось публично столько льстивых речей и панегириков. Никогда императоры столь смело не вторгались в компетенцию духовенства, выступая в роли теологов и канонистов, конфискуя церковные сокровища, распоряжаясь имениями иерархов — «ради блага государства» и укрепления войска. Никогда василевс столь произвольно не посягал на собственность и свободу мелкого нечастновладельческого крестьянства. Канонист Феодор Вальсамон в своем раболепии зашел так далеко, что утверждал: власть василевса простирается и на тело и на душу подданного, тогда как власть патриарха — только на душу. Хронист Иоанн Зонара писал об Алексее I Комнине: «Обязанности свои он исполнял не как общественные или государственные и себя рассматривал не как правителя, а господина, считая и именуя державу собственным подворьем» (*Zonar.* III. P. 766).

Но никогда, в то же время, критика в адрес императоров не была столь резкой; никогда настолько основательно не была скомпрометирована имперская теория гегемонии империи в христианском мире и не падал так низко престиж «наместника божия» — василевса.

Комнины опирались на военную аристократию, на семейные связи, свой родственник клан, наемное войско, императорский домен. Панегиристы, как и при императорах Македонской династии, славил их благочестие, благородство, мужество. Но все чаще — в конкретных описаниях хронисты изображали их не в ореоле величия, а как «первых среди равных», рассудительных государей, способных и на смелый план, и совсем не царственную хитрость, и как стратегов, и как искусных и ловких воинов, не только выслушивающих советы, но и вступающих в дискуссию (даже публичную — с самим патриархом) и умеющих признаться в ошибке и заблуждении... Идеалы античных добродетелей (а литературой и философией древних никогда образованная имперская элита не увлекалась столь жадно и открыто, как при Комнинах) снова обрели ценность и стали критерием в оценке царственных персон. {84}

Файл byz85g.jpg

Алексей Комнин перед Христом.

XII в. Библиотека Ватикана. Рим.

Миниатюра из Догматической Паноплии Евфимия Зигавена, гр. 666.

Оппозиция Комнинам исходила чаще всего не из среды их сословия — военной землевладельческой аристократии, а со стороны оттесненной ими от власти, но привлекаемой — по необходимости — к управлению гражданской знати, поскольку и Комнины не нашли принципиально новых принципов организации власти, подвергнув ее аппарат лишь частичной перестройке, и поэтому нуждались в опыте «бюрократов». Критика представителей чиновной знати в адрес Комнинов была в целом ретроградной — эта знать тосковала по былому своему всевластию. Но пороки и недостатки правления василевсов эти критики подмечали порой весьма зорко и точно. В частности, именно гражданские столичные авторы, занимавшие в центральном аппарате видные должности, по достоинству оценили чреватую серьезной опасностью политику василевсов в отношении итальянского купечества: непомерные торговые льготы в их пользу, их экстерриториальность в столице империи, где им принадлежали целые кварталы, причалы, склады, их фактическая неподсудность суду империи, их разрушительное воздействие на экономику Константинополя и других крупных городов — все это вызывало всеобщий ропот, недовольство и в низах, и в среде искушенного в проблемах ремесла и торговли чиновничества. Но Комнины были глухи к этим предосторожностям: свои главные задачи они видели в военной сфере, основную опасность усматривали со стороны внешних врагов.

Пренебрежение к интересам других сословий и социальных групп, кроме военных, ассоциировалось с пренебрежением интересами империи. Зонара был возмущен, что Алексей I распоряжался достоянием империи, как домохозяин своим имуществом. Никита Хониат негодовал, что Мануил I раздавал под власть военных деревни свободных налогоплательщиков, обращая подданных «в рабов», что огромные территории в провинциях оказались фактически в полной власти многочисленных родственников императора. Василевсы-иконоборцы и императоры Македонской династии еще имели возможность опереться на массы свободного крестьянства, мобилизовать силы народа во время грозной внешней опасности. Социальная база Комнинов была несравненно уже. При столкновении с врагом-иноверцем народ демонстрировал верность православию, но он не выражал уже верности имперской идее и династии. Перевозивший императора через Дунай простой лодочник (болгарин?) бросил ему в лицо обвинение в забвении своего долга в отношении подвластного ему здесь (в долине Дуная) населения (*Cinn.* P. 93). В широких массах народа ширилась ненависть к Константинополю как средоточию власти, источнику угнетения, бесправия, несправедливости. Эта ненависть открыто прорвалась во время осады Константинополя крестоносцами и после взятия ими столицы Византии.

Ненависть простого люда провинций к столице использовали в конце XII — начале XIII в. местные магнаты для основания своих не зависимых от центра княжеств. Ненависть к политике двора, благоволящего «латинскому» купечеству в столице, использовал Андроник I Комнин в своей попытке утвердить неограниченную ни «снизу», ни «сверху» (своим классом) деспотическую власть.

Отнюдь не в официальной теории, но зримо и четко на практике стало едва ли не «хорошим тоном» в аристократической среде, и светской и духовной, выражать открытое презрение, недоброжелательство, {86} враждебность к иноплеменным подданным императора (армянам, болгарам, сербам и др.). В теории — и они «ромеи», но на практике к ним это определение уже перестало применяться. Образчик лексики видного византийского иерарха в отношении болгар дает переписка Феофилакта Болгарского. Образчики выражений светских авторов — в избобии содержатся и у Киннама, и у Зонары, и у Никиты Хониата, и у Анны Комниной.

Если оппозиционные настроения и проявляли представители той социальной среды, к которой принадлежали Комнины, то эта оппозиция была своеобразной: она выражалась не в политических тезисах, а в политических актах. Уже первые Комнины помышляли о разделе империи на уделы между своими наследниками — и не случайно давно забытые конфликты и междоусобия внутри правящей династии возродились именно во время их правления. Оппозиционные же аристократы провинций поднимались против столицы все чаще и упорней не для борьбы за престол, а с целью отделения от империи, ради полной независимости своих владений. Имперская теория утратила для них всякое обаяние. Мало того — она стала для них помехой. И в своих стремлениях многие из них преуспели накануне IV крестового похода.

Никита Хониат, переживший трагедию империи в 1204 г., понимал, что причины кризиса не в ошибках и пороках того или иного императора, а в самой системе организации власти. Размышляя над тем, насколько действительны советы или порицания в адрес императоров, он приходил к выводу, что и добрые пожелания и откровенное неодобрение их политики со стороны любых лиц абсолютно бесполезны: обличая царей, писал он, с детства воспитанных в самомнении, беззаботности и праздности, можно лишь обозлить их и вызвать их ненависть (*Nic. Chon.* P. 584—585).

Официально империя отнюдь не отрекалась от идеи господства над ойкуменой. Более того: в этой доктрине в XII в. обозначились два новых элемента. Во-первых, претензии простирались теперь не только на территории бывшей Римской империи, но и на все прочие народы. Во-вторых, в число «варварских», не знающих «истинной веры» и «истинной власти», отнесены были теперь и все земли «латинян», «схизматиков», недостойных именоваться христианами. «Империя ромеев,— писала царственная дочь Алексея I Комнина Анна,— по самой своей природе владычица народов» (*Ann. Comn.* I. P. 173). Естественно, говорит далее Анна, что «рабы» ненавидят свою владычицу-империю (писательница имеет в виду при этом норманнов, вторгнувшихся на побережье Адриатики) и при удобном случае нападают на нее (*Ibid.* P. 129, 183). И эта высокомерная теория не оставалась «мертвой буквой». В длительных войнах 1150—1167 гг. Мануил I поставил в вассальную зависимость Королевство Венгрия; его войска

вели войны с норманнами в 1154—1158 гг. в Италии. Впервые через 150 лет Мануил I (как некогда Василий II) пытался снова реализовать имперскую идею универсализма, но потерпел неудачу, лишь истощив и подорвав последние силы империи. Разгром византийских войск при Мириокефале в 1176 г. турками-сельджуками был закономерным итогом этой политики.

Ненависть к «латинянам», неустанная и жаркая полемика с ними стали с конца XI в. характерной чертой идеологической жизни Византии. Политика и религия здесь слились воедино. Византийцы считали {87} (и нередко — не без оснований), что действия итальянских норманнов против империи инспирированы папством. И ход событий в XII в. вплоть до 1204 г., убеждал даже широкие народные массы в справедливости этой догадки. Анна не жалеет самых негативных эпитетов в адрес папы («мерзкий»), «свирепый», «бесчеловечный», «варвар» и т. д.). Константин Великий, заверяет она, развивая идеи Константина Багрянородного, перенес в Константинополь не только высшую власть, синклит и все управление, но и «высшую епископскую власть», а Халкидонский собор подчинил патриарху Константинополя «диоцезы всего мира» (Ibid. P. 48).

Какие-либо права Германской империи отвергались с порога. Мало того: «Немцы,— пишет Анна,— это варварский народ, издавна подвластный Ромейской империи» (Ibid. P. 92).

В публичном диспуте Мануила I с патриархом шел разговор об отношении к Западу: император стоял за сближение с ним, даже ценою подчинения церкви папе. Патриарх дышал ненавистью к латинянам и возможную помощь Запада против сельджуков считал призрачной либо же нечестивой. Он впервые заявил (впоследствии эта идея найдет себе немало адептов), что лучше турецкое владычество, чем уния с папством. Любопытно, что аудитория столь дружно поддержала патриарха, что император признался в своем поражении и в правоте церковного владыки. Латиняне в глазах византийцев к началу XIII столетия — это не только грабители, сребролюбцы, захватчики, варвары, не ведающие ни истинной веры, ни подлинной культуры,— они «враги Христа», предатели христианства; они отступники, посягающие на священные права «Римской империи», святотатцы, получающие отпущение грехов, еще не искупив их и не обретя прав на «божье милосердие» (крестоносцы получали индульгенции еще до отправления в поход); называющие себя «служителями бога», духовные лица участвуют в боях, облагая священнические одежды человеческой кровью. Ненависть к «латинству» стала второй натурой византийца именно в XII столетии. Грубая агрессивность Запада и высокомерная нетерпимость Византии завели их отношения в тупик, из которого так и не было найдено выхода вплоть до 1453 г.

Никита Хониат, оценивая внутреннее и внешнеполитическое положение империи на рубеже XII—XIII вв., с горечью заметил: «Недаром мы прокляты всеми народами». Это был суровый приговор — и приговор лишь одной стороне, своей собственной. Сделан он был не потому, что историк считал другую сторону невиновной (ее вину он также показал в полный рост), а потому, что, по мнению Никиты, выход из положения имелся, но василевсы в своем ослеплении не воспользовались им.

Итак, византийская политическая теория в VII—XII вв. не коснела в неподвижности — она претерпела сложную эволюцию, имела свои взлеты и периоды стагнации. Но так же, как в своем государственном устройстве Византия не поспевала за ходом общественного развития, обнаруживая приверженность традиционным, изжившим себя формам правления, так же и в сфере политической мысли она цепко держалась за устаревшие идейные ценности, не выработав доктрины, которая адекватно отражала бы реалии ее собственной общественной жизни и международной действительности того времени. {88}

4

Развитие исторической мысли

1. ХРОНОГРАФИЯ: ФЕОФАН И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Во второй половине VII—VIII в.— в период складывания, по сути, нового, феодализирующегося общества Византии, после спада культурной жизни империи в период так называемых «темных веков» развитие средневековой историографической традиции протекало в условиях острой идеологической борьбы, иконоборческих споров. Наиболее крупным хронистом этого времени, отразившим основные противоречия эпохи, был Феофан (около 760—818), «Хронография» которого охватывает события от начала правления Диоклетиана (284 г.) до конца царствования Михаила I (813 г.). Творчество Феофана представляет собой значительный этап в развитии исторической литературы Византии¹. Феофаном и его современниками (например, Иоанном Дамаскиным и Феодором Студитом) был сделан значительный шаг по пути разрыва с античными традициями, сохранявшими еще решающее значение в ранневизантийский период.

Об отходе от античных и ранневизантийских историографических канонов² свидетельствуют в «Хронографии» практически уже первые ее строки, начиная со вступления (прооимона). Если раньше историк, будь то Прокопий, Феофилакт Симокатта или Агафий, начинал свой труд с традиционного утверждения о важности своего произведения, о собственной особо подчеркиваемой авторской исключительности, то Феофан нарочито отказывается от каких бы то ни было претензий на авторскую инициативу и самостоятельность. Напротив, декларируется отсутствие необходимых писательских способностей (Феофан заявляет, что он следует своим источникам, «не добавив ничего от себя»), случайность побудительных причин: умирая, хронист Георгий Синкелл просил Феофана продолжить его хронику (*Theoph.* I. 3. 23—42). Самоуничижение, характерная для средневековья анонимность творчества пронизывают выдвигаемые Феофаном в предисловии принципы историографии. Эти декларации воплощаются и в форме всего последующего повествования: в «Хронографии» авторские ремарки редки, их личностная авторская окрашенность сведена к минимуму, они абстрактны и, как правило, {89} фактологичны, лишены оценок, безлики («из сказанного выше», «упомянутый», «как это было сказано ранее»).

Во всей византийской историографии Феофан представляет собой редкий (особенно, если сравнивать с западноевропейской анналистикой) случай введения погодного принципа повествования: в «Хронографии» указывается год, затем следует перечисление (с описанием) происшедших в этот год событий, сцепление которых носит случайный, за единичными исключениями, характер: в один раздел попадают войны, свержения императоров, землетрясения, появление комет и другие астрономические явления, рождение уродцев, церковная борьба, засуха, свадьбы, притчи об изменчивости человеческой судьбы, строительство дворцов, церквей, бань, смерти, посольства, варварские набеги и т. д. События предстают в описании равнозначными; «Хронография» в целом лишена какой бы то ни было сюжетной структуры и композиции.

В противоположность цикличности времени в античной историографии у Феофана время линейно-незамкнуто, как это было в ряде новых историографических жанров ранней Византии³. Начало движения времени — в дрящемся от сотворения мира прошлом, описанном ранее Георгием Синкеллом, к которому апеллирует Феофан. Сам он ведет повествование с произвольного — в историческом смысле — места, а именно с момента, где обрывается рассказ Георгия. Окончание «Хронографии» также незамкнуто, она как бы случайно прервана, ее можно продолжить дальше (и ее продолжали в византийской историографии последующих веков, — см. ниже). Приурочивание тех или иных событий к датам становится внешним, формальным моментом. Время у Феофана оказывается не только незамкнутым, но и разорванным на изолированные отрезки-годы. Тем самым история воспринимается автором не как процесс, а как сумма внутренне мало между собой связанных фрагментов-событий. Движущие силы истории тракуются как проявление божественной воли, воплощенной в исторических событиях.

¹ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV—нач. IX в.)//Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1981 год. М., 1983. С. 5—146; Любарский Я. Н. Феофан Исповедник и источники его «Хронографии»: К вопросу о методах их освоения//ВВ. 1984. Т. 45. С. 72—86.

² Чичуров И. С. Указ. соч. С. 39—40.

³ См.: Удальцова З. В. Развитие исторической мысли//Культура Византии. IV— первая половина VII в. М., 1984. С. 245—246, 268—269.

Неоднозначны и пространственные характеристики хрониста. С одной стороны, имеющиеся описания и арабского мира, и запада, и столицы, и провинции, и ромеев, и варварского мира свидетельствуют, казалось бы, об универсализме и индифферентности к конкретно-пространственным характеристикам. Однако это ведет у Феофана к деконкретизации пространства, порождает пренебрежение к географической точности. С другой стороны, очевидным исключением в формализованном пространственном мире Феофана становится Константинополь. Описаниям столицы присуща большая топографическая детализация, например: «в Юлиановской гавани, Софийской, поблизости от Черного моря, на выходе из города...» (*Theoph.* I. 368. 22—25). Константинополь является словно единственным городом империи, городом по преимуществу. Нередка сознательная подмена империи городом: в тексте, сопоставимом с «Хронографией» («Бревиарий» Никифора, — см. ниже), «персы наносили ущерб государству ромеев извне...» (*Niceph. Brev.* 3, 9—11), у Феофана в аналогичном месте — «персы тиранили ромеев вне города...» (*Theoph.* I. 296, 10—11). Феофану присуще усиление символики пространственных пред- $\{90\}$ ставлений: столица, ни с чем не сравнимая в пространстве, оказывается олицетворением империи, ее символом, и этот символ формализуется, приобретает гипертрофированное значение.

Герои «Хронографии» также наделяются чертами средневековой символики. Таким героем становится император Константин I, утвердивший христианство. По сравнению с ним другие императоры, особенно иконоборцы, выступают практически в роли отягощенных пороками антигероев. Недостатки, компрометирующие моменты биографии Константина, замалчиваются, тогда как с той же последовательностью дается готовая отрицательная характеристика других персонажей. Добро бело, зло черно. Однозначность и символизм в оценках личности знаменуют утверждение средневековых эстетических и идеологических норм в историографии. Творчество на грани анонимности, самоуничижительные ремарки о своих способностях обосновываются представлением о божественном провидении (*πρόνοια*), руководящем как автором, так и его героями и событиями. Авторская индивидуальность проявляется в методе работы хрониста с источниками: это отражается в том, что выбирает историк, что изменяет и замалчивает. Именно здесь можно выявить и оригинальность и даже новаторские черты творчества Феофана, под пером которого завершилось в византийской историографии формирование идеального образа «христианнейшего» императора. Вышедший из среды провинциального богатого чиновничества, монах Феофан создает последовательно ортодоксальный труд. Однако в условиях возрождения в 815 г. при Льве V иконоборчества он оказался выражением оппозиции официальной политической идеологии. Образ идеального правителя (Константина) столь же далек от современного Феофану мира, сколь и нереален. Герой Феофана стал символом, идеалом, легендой.

Оригинальность и авторская активность Феофана отчетливо проступают при сравнении его «Хронографии» с сочинениями патриарха Никифора (около 758—828) — современника Феофана. Никифор — автор ряда богословских полемических трактатов, писем и двух исторических трудов. Его хорошо известные антииконоборческие трактаты были созданы в период, когда Никифор стал в 806 г. константинопольским патриархом (с новой переменной в 815 г. власти последовали ссылка и затем смерть в изгнании), а основное историческое произведение — «Бревиарий» («Краткая история») — написано между 775 и 787 гг., когда Никифор, выходец из семьи сосланного за иконопочитание бывшего императорского нотариуса, служил в императорской канцелярии, являясь также царским секретарем.

Сходство «Бревиария» с «Хронографией» Феофана обычно объясняется опорой на общий источник — сохранившийся во фрагментах «Большой хронограф» конца VIII в. (*μεγας χρονογραφος*) или на хронику Траяна Патрикия (или на другой, неизвестный источник VII—VIII вв.)⁴. Однако внешнее сходство скрывает глубокие различия между хронистами в методах и принципах исторического описания мира. При программной беспристрастности изложения у Феофана его тенденция к идеализации образа Константина очевидна, как и осуществляемая «правка» своих источников, имеющая также идеологическую подоплеку. Никифор в этом $\{91\}$ не столь избирателен. В еще большей степени, чем Феофан, он не руководствуется значимостью выделяемых им в описании событий политической истории: о правлении Фоки сказано в

⁴ *Tusculum-Lexikon*. München; Zürich, 1982. S. 558—560.

нескольких предложениях, в то время как Ираклию посвящена добрая треть хроники. Даже на церковных и богословских проблемах будущий патриарх не акцентирует внимания. «Бревиарий», примыкающий к хронике Феофилакта Симокатты (изложение начинается с 602 г.), хотя и более ограничен тематически и сюжетно, чем «Хронография» Феофана, но не столь тенденциозно сосредоточен на Константинополе (термин *πόλις* не имеет у Никифора того почти монопольного характера, как это наблюдается у Феофана), не столь ограничены и его географические рамки, включающие и (выпущенные Феофаном) экскурсы о болгарях, аварах и других иноземных народах. Отсутствуют у Никифора и временные вехи: его сочинение не разделено на какие-либо «главки», не обозначено годами. Но вместе с тем хронист стремится представить факты в их взаимосвязи, хотя часто она определяется лишь чисто временной близостью. История у Никифора предстает не как распадающаяся на фрагменты мозаика фактов, но, словно книжная миниатюра, картина, на которой соседствуют начало и конец действия, одна сцена переходит в последующую.

Интересно, однако, что наибольшее распространение в обществе получил не «Бревиарий», а другое сочинение Никифора — «Летописец вкратце» (*Χρονογραφικὸν ἢ σύντομον*), представляющий собой лишь сводную хронологическую таблицу, начинающуюся от Адама и перечисляющую ветхозаветных царей, восточных, римских императоров, патриархов, пап. Доведенный до 829 г. «Летописец» сохранился в очень большом количестве списков⁵, неоднократно перерабатывался и дополнялся (до 944, 976 гг.), был переведен, как и «Хронография» Феофана, на латынь уже в начале IX в., а славянский перевод во многом определил хронологические системы древнеславянских летописей.

Жанр так называемых «малых хроник» был одним из самых распространенных в византийской историографии. Эти хронологические перечни, каталоги императоров и патриархов составлялись в Византии в самые разные периоды ее культурного развития.

Чуть ли не самым популярным памятником византийской исторической традиции — как по количеству переработок и продолжений, так и по числу сохранившихся списков, стала хроника (*Χρονικὸν ἢ σύντομον*) Георгия Монаха, или Амартола, т. е. «грешника»: встречающийся в ряде списков монашеский эпитет хрониста стал традиционен восприниматься как элемент его имени. Хроника была завершена около 866/867 гг. или после 871 г., она охватывает события всемирной истории от Адама до 843 г. С этим произведением обычно связывается представление об определенном типе сочинений — «монашеской хронике», как непритязательной и ограниченной, заурядной компиляции. Неопределенность столь ригористичного обобщения и неконкретность самого указанного понятия теперь доказаны⁶. Действительно, в центре внимания автора стоят цер-^{92}ковные и богословские проблемы: чем и объясняется внимание к правлению Августа, эпоха которого знаменательна для хрониста началом христианской истории, или Тиберия, когда христианство распространилось по всей ойкумене (и напротив,— деятельность Юлия Цезаря, например, описана в десятке строк). Рассказы об апостолах, отцах церкви, вселенских соборах, ересях (в частности, павликиан) оказываются в центре повествования, составленного простым, ясным языком.

Файл byz93g.jpg

*Св. Димитрий с епископом Иоанном
и эпархом Леонтием. Середина VII в.
Базилика св. Димитрия. Салоники.
Мозаика на южном столбе
при входе в алтарь.*

В композиционном отношении хроника представляет собой последовательное изложение событий по царствованиям императоров, хотя хронологические границы их оказываются лишь внешним формальным разграничителем; анализ структуры произведения еще не позволяет говорить о «монографических» описаниях деяний того или иного василевса, сюжетно и композиционно законченных и замкнутых. Напротив, исторические события разворачиваются поступательно, подчас однообразно, их развитие (подобно движению фигур на средневековой

⁵ Пиотровская Е. К. Краткий археографический обзор рукописей, в состав которых входит текст «Летописца вскоре» константинопольского патриарха Никифора // ВВ. 1976. Т. 37. С. 247—254.

⁶ Beck H. G. Zur byzantinischen «Mönchschronik» // Speculum historiae. Freiburg; München, 1965. S. 188—197.

шахматной доске) прямолинейно, хоть и направлено в разные стороны (как и события у хрониста — в разные концы ойкумены), рационально (занимает лишь столько времени, сколько нужно для шахматного хода): у хрониста нет времени и места для лирических отступлений, развернутых экфраз, драматических сцен и пространственных диалогов. Он использует сочинения Иоанна Малалы, Феофана, Никифора, а также ранневизантийские историко-церковные и богословские произведения.

Особый интерес представляет последняя часть хроники, освещающая события периода иконоборчества (813—843 гг.). Георгий предстает фанатичным иконопочитателем, политически вполне благонамеренным и ортодоксальным. В большинстве списков хроника Георгия Монаха оканчивается 843 г., хотя можно предположить, что автор намеревался довести повествование до своего времени — правления Михаила III. {93}

События этого времени нашли свое отражение в другой хронике, написанной приблизительно сто лет спустя, при императоре Никифоре II Фоке (963—969 гг.), в иных условиях. Потому неудивительно, что новый памятник обнаруживает совершенно другие тенденции. Примыкающая к хронике Георгия так называемая хроника «Продолжателя Георгия», или хроника Логофета, охватывавшая события вплоть до 948 г. (до смерти императора Романа Лакапина), в различных вариантах была затем доведена до 1071, 1081 и даже до 1143 гг.

Хроника Логофета дошла до нас в различных версиях. Первая идентична заключительной части хроники, приписываемой в разных списках Симеону Магистру, Феодосию Мелитинскому (псевдоавтор, имя которого появилось в истории византийской литературы из-за ошибки в XVI в. Симеона Кавасилы⁷) или Льву Грамматнику (под именем которого она была продолжена до 1013 г.).

Круг интересов Логофета (или Симеона Метафраста⁸) совершенно иной, чем у монаха Георгия. В центре его повествования — императорский двор, интриги, взлеты и падения вельмож. Претендуя на объективность, автор на деле далек от бесстрастия. Он явный приверженец императоров Македонской династии. Отсюда и наблюдавшиеся уже у Феофана приемы замалчивания пороков героев (например, в рассказах об основателе династии — Василии I, убийце кесаря Варды и Михаила III). Герой хрониста — Роман I Лакапин. Весьма вероятно, хронист был не только приверженцем Романа, но и близким ему в жизни человеком⁹. Первую версию продолжения хроники Георгия отличает критическое отношение к знати — к родам Фок, Дук, Куркуасов.

Напротив, восхваление рода Фок присуще другой версии — так называемому «Ватиканскому Георгию» (текст известен по Cod. Vat. gr. 153)¹⁰. Хроника составлена, видимо, после воцарения Никифора II Фоки в 963 г. и содержит своего рода генеалогию рода Фок¹¹.

Наконец, третья версия описывает события всемирной истории до 963 г. Это так называемая хроника Псевдо-Симеона, являющаяся компиляцией различных памятников — трудов Феофана, Георгия Монаха, анонимной хроники IX в. о Льве Армянине («*Scriptor incertus de Leone Armenio*»), сохранившейся в двух вариантах¹², первой «редакции» Продолжателя Георгия и др.

Стиль хроники Логофета во многом отличен от скупости и простоты изложения монаха Георгия. Повествование строится как цепь сценок, часто занимательных, подчас сказочных или авантюрных, как бы иллюстрирующих исторический процесс. Историкографический метод хрониста можно назвать иллюстративно-сценическим. Вот история сватовства императора Феофила: «Мать Феофила, Евфросина, задумав женить сына, призывает к себе разных девушек, красоты несравненной; среди них самыми прелестными были одна, по имени Икасия,

⁷ *Kresten O. Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1976. Bd. 25. S. 208—212.*

⁸ Вопрос об идентичности его с известным агиографом Симеоном Метафрастом, родившимся в знатной семье, по-видимому, еще при Льве VI, т. е. до 912 г., и бывшим патриархом и протасикритом, а затем магистром и логофетом дрома, следует считать открытым. Подробнее см.: *Каждан А. П. Из истории византийской хронографии X в. // ВВ. 1961/1962. Т. 19—21; особенно: Он же. Хроника Симеона Логофета // ВВ. 1959. Т. 15. С. 125—143.*

⁹ *Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. B., 1958. Bd. 1. S. 270.*

¹⁰ *Истрин В. М. Книги временныя и образныя Георгия Мниха. Пг., 1922. Т. 2.*

¹¹ В кн.: *Theophanes Continuatus... S. 603—760.*

¹² *Grégoire H. Un nouveau fragment du «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Bvz. 1936. Т. 11. P. 417—427; Browning R. Notes on the «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Byz. 1965. Т. 35. P. 406—411.*

другая, по имени Феодора. Дав сыну золотое яблоко, мать повелела отдать его той, которая ему понравится. Император Феофил, очарованный красотой Икасии, воскликнул: „Зло произошло от женщины!“ Икасия, немного смутившись, ответила: „Но и все наилучшее исходит от женщины“. Эти слова поразили Феофила в самое сердце, и он отпустил Икасию, яблоко же отдал Феодоре...» (*Sym. Mag.* 624. 17—625. 4/*Georg. Cont.* 789. 18—790. 10; См. пер.: Памятники. С. 68).

Подобные живые сценки, наполняющие историческое пространство хроники, представляют собой диалоги, споры, часто эмоционально окрашенные речи или восклицания, в которых отражаются и существенные черты мировоззрения автора: «Как-то раз, когда какой-то корабль проходил мимо Вуколеона, император (Феофил) спросил, чей это корабль, и услышав, что он принадлежит императрице, воскликнул: „О, горе мне, я становлюсь жалким купцом, если это корабль моей супруги!“ Отослав корабль, он повелел сжечь его вместе со всеми товарами» (*Sym. Mag.* 628. 3—7). Показательна негативная оценка торговой деятельности, предствление о несовместимости с ней аристократического образа жизни и поведения.

Хронист не боится сопоставления противоположных версий и оценок описываемых событий. Ему не чуждо и понимание противоречивости человеческого поведения, неоднозначности поступка и замысла: «Притворяясь внешне справедливым, Феофил оскорблял веру и благочестие больше, нежели его предшественники на троне» (*Sym. Mag.* 627. 17— 19; *Georg. Cont.* 793. 15—16). Художественно-избирательная ткань хроники несомненно ярче лаконичной информации Георгия Монаха.

Особо следует сказать о значении хроники Логофета для древнеславянского летописания, так как славянские переводы хроники получили широкое распространение в славянской книжности и пользовались большой популярностью в Болгарии, Сербии, Древней Руси¹³.

2. ИСТОРИОГРАФИЯ ЭПОХИ «ВИЗАНТИЙСКОГО ЭНЦИКЛОПЕДИЗМА»

Вторая половина IX—X вв. — особая веха в историко-культурном развитии Византии. Эта эпоха, не случайно в научной литературе получившая название периода «византийского энциклопедизма», была отмечена новым подъемом образования, культуры, литературного творчества, духовной жизни.

Большинство памятников исторической мысли X в. так или иначе связано с именем Константина VII Багрянородного (905—959), вен- {95} чанного на царство в 907 г., номинально ставшего государем в 913 г., но подлинно самостоятельным правителем ставшего лишь в 945 г. В одних случаях император был вдохновителем и инициатором исторических сочинений, в других, вероятно, редактором, наконец, в третьих Константин выступает как автор. Фигура просвещенного монарха, каким традиционно представляется Константин, во многом определила характер и особенности «македонской эпохи». Василевс покровительствовал Магнаврской школе (университету), задумал и осуществил ряд проектов энциклопедического характера, систематизирующих знания в области права («Василики»), лексики языка («Суда»), сельскохозяйственного опыта («Геопоники»), военных знаний (различные «Тактики»), житийной литературы («Менологий» Симеона Метафраста).

Файл byz96g.jpg

Император Александр, 912.

Собор св. Софии. Константинополь.

Мозаика в северной галерее.

Наиболее объемным трудом историографического характера, связанным с именем Константина, стали сборники эксцерптов из античных и ранневизантийских памятников, объединенные тематически в 53 раздела и представляющие собой не только литературно-антикварный интерес, но и практическую значимость. До нас дошли лишь немногие эксцерпты — «О посольствах», «О добродетели и пороке», «О заговорах против василевсов», «О полководческом искусстве». В них использован богатый историографический материал, причем ряд

¹³ *Sreznevskij V. I. Slavjanskij perevod chroniki Simeona Logofeta // Intr. by G. Ostrogorsky; pref. by I. Dujčev. L., 1971; Sorlin I. La diffusion et la transmission de la littérature chronographique byzantine en Russie pré-mongole du XI^e au XIII^e siècle//ТМ. 1973. Т. 5. P. 385—408.*

исторических текстов (сочинения Евнапия, Приска, Малха, Петра Патрикия, Менандра Протиктора) известны лишь благодаря компендиуму Константина Багрянородного. Не только историко-военные или историко-дипломатические проблемы, но и вопросы идеологии и морали решаются с помощью текстов памятников исторической мысли («История» Диона Кассия занимает значительную часть сборника «О добродетели и пороке»).

Такой же характер — отчасти справочно-энциклопедический, отчасти познавательно-дидактический — носят и три основных сочинения Константина Багрянородного, известные под условными названиями «Об управлении государством», «О церемониях византийского двора» и «О фемах». Каждый из этих трактатов, не являясь непосредственно ни хроникой, ни исторической монографией, основан на историческом материале, отчасти почерпнутом из древних источников, отчасти отражавшем результаты политической практики времени Константина и его предшественников.

Файл byz97g.jpg

Император Юстиниан.

Вторая половина X в.

Собор св. Софии. Константинополь.

Мозаика в южном вестибюле.

Первое произведение, написанное в 948—952 гг. и адресованное сыну императора — Роману, дает практические наставления по внешнеполитическим вопросам, приводит сведения о «варварских» народах, с которыми Византия имела те или иные контакты, — о печенегах, хазарах, русских, болгарях, венграх и др.; трактат содержит ряд историко-географических и этнографических экскурсов — об арабах, об Испании, Италии, Далмации, о хорватах и сербах, о Северном Причерноморье и Кавказе. «Об управлении государством» не было произведением для широкой публики: политические рекомендации будущему императору не предназначены для публичного оглашения. Трактат и дошел в единственном списке, изготовленном, вероятно, с оригинала в 1059—1081 гг. по заказу кесаря Иоанна Дуки (брата императора Константина X Дуки), т. е. в тот период произведение не покидало придворных кругов. На него нет ссылок ни у современников, ни у более поздних авторов.

В произведении, обычно называемом «О церемониях византийского двора», досконально расписана режиссура праздничных церемоний и приемов, в частности иностранных посольств, — в соответствии с рангом приезжающих. Исторический материал касается в основном правления Льва I, Анастасия I, Юстина I и Юстиниана I.

В прооймионе автор пишет об историографической значимости своего произведения (De ser. I. 4, 2—7). Весь рассказ основан на собственных авторских наблюдениях, а события прошлого описываются по литературным произведениям и, возможно, архивным документам. Сам Константин так формулирует принципы своей работы: «... мы решили все то, что самими нами видено и в наши дни принято, тщательно выбрать из множества источников и представить для удобного обозрения в этом труде тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших отцов, и, подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской пышности для ее чистого благолепия» (Ibid. I. 4. 15—21; См. пер.: Памятники. С. 76—77). В произведении встречаются, однако, и вставки более позднего времени: подробный рассказ о государственном перевороте 963 г., выдержанный в благоприятных для Никифора Фоки тонах, мог быть составлен уже после убийства Никифора в 969 г. на основе реконструируемого памятника X в. — так называемой «Истории Фок», послужившей источником для целого ряда исторических сочинений (Продолжатель Феофана, Лев Диакон, Иоанн Скилица и др., — см. ниже).

В большей степени архаически-классификаторскими чертами отмечен трактат «О фемах», где на основании более древних памятников рассматривается происхождение византийских административно-территориальных округов. Наряду с данными, уходящими в далекое прошлое и лишенными актуального значения, в произведении встречаются и сведения, современные эпохе его составления.

Для всех памятников этого периода характерно перечисление, каталог как форма повествования. В частности, даже портрет исторического героя складывается из отдельных черт, а

экфразы создается инвентарным набором перечисляемых деталей. Эмоциональный образ, одухотворение природы — это будет уже завоевание следующего, XI в.

Если в рассмотренных энциклопедических компендиумах лишь привлекаются исторические материалы, то так называемая хроника Продолжателя Феофана — уже собственно памятник исторической мысли, связанный с именем Константина Багрянородного. В начале текста говорится о подготовке этого труда во время правления этого императора, по его повелению и даже при его непосредственном участии; временем создания хроники считается период самостоятельного правления Константина (945—959), возможно, около 950 г.¹⁴ Это произведение формировалось в иных, по сравнению с IX в., условиях, и, хотя непосредственно примыкает к «Хронографии» Феофана (охватывает в целом период с 813 до 961 г., обрываясь на середине фразы), отличается от предшествующих ему сочинений как по идейной направленности, так и по методам освоения исторического материала и по уровню историзма. Можно говорить и об элементах исторической критики в этом труде, — это редкость даже для современной Продолжателю литературы: приводятся противоречивые версии одного и того же события, различные оценки поведения того или иного героя (сражение при Версиникии 22 июня 813 г., рассказы о Фоме Славянине). Автор пытается раскрыть причинно-следственную связь событий: например, нападение испанских арабов на Крит связывается с перенаселением в самой беднеющей Испании, с недостатком жизненных средств. Он сам заявляет о намерении «вскрыть причины деяний» (*Theoph. Cont.* 167. 17—19).

В прооймионе хронист определяет и композиционно-тематическую структуру труда, намереваясь следовать монографическому принципу описания «по правлениям» того или иного монарха. Все это заметно отличается от полумеханического нанизывания разнородных источников, свойственного хронике Логофета. Историческое время у Продолжателя Феофана не представляет собой хаотического потока, но организовано по {98} каузальному принципу, хотя и подвержено воздействию случайных факторов (предсказания, божественная воля). Политические симпатии и антипатии автора определены его социальным положением — его принадлежностью к придворному кругу; непосредственной близостью к Константину VII.

Файл byz99g.jpg

Император Константин.

Вторая половина X в.

Собор св. Софии. Константинополь.

Мозаика в южном вестибюле.

Общей целью историографии круга Константина Багрянородного было прославление Македонской династии, и прежде всего ее основателя — Василия I, что отразилось и на рассматриваемых первых четырех книгах хроники, охватывающих период, предшествующий правлению Василия. В соответствии с общей идеологической тенденцией его предшественники выведены в маловыгодном свете с тем, чтобы на таком фоне ярче выглядела фигура Василия I. Ему посвящен следующий раздел хроники (*Vita Bas.* 83. 15; 174. 14), составленный, очевидно, ранее других частей продолжения Феофана. Принадлежностью автора к придворным кругам Константина VII объясняется и выдвижение на первый план в концепции государственного правления принципа легитимности императорской власти (*Ibid.* 110.11—12). Придворный аристократизм хрониста сказывается в его социальных антипатиях: несовместимость принадлежности к царскому кругу с занятием торговлей (воспроизведен эпизод с сожжением корабля августы Феодоры), осуждение императора за грубость и невежество (Михаил II) или за связь с низами общества и интерес к вульгарным развлечениям (Михаил III).

Подобные социальные воззрения хрониста с еще большей силой развиты в «Жизнеописании императора Василия I», составляющего целиком 5-ю книгу хроники Продолжателя Феофана. Если относительно предыдущих книг можно предполагать участие Константина Багрянородного в создании памятника, то здесь его авторство (или авторское руководство) вполне очевидно. «Жизнеописание Василия» представляет собой дальнейший этап развития византийской историографии, отходящей от принципов Феофана. Эта часть хроники является светским житием, сочетающим черты античной биографии с агиографической энкомиастикой. «Житие

¹⁴ *Bury J. B. The Treatise De admimstrando imperio//BZ. 1906. Bd. 15. S. 572.*

Василия» датируется временем после 949—950 гг., {99} т. е. оно писалось почти одновременно с предыдущими книгами продолжения Феофана. В отличие от хроники Псевдо-Симеона, оспаривающей родовитость Василия, «Житие», в котором благородство происхождения оказывается важнейшим критерием добродетели, поддерживает возникшую в IX в. легенду о происхождении Василия от парфянских царей. Автор «Жизнеописания» отрицательно характеризует чиновников, прежде всего фиска, за взяточничество и стяжательство, осуждает евнухов, временщиков и защищает принцип знатности. Эта часть хроники Продолжателя Феофана в целом отражает интересы придворной знати круга Константина VII Багрянородного. Автор подчеркивает и свое право на то или иное распределение материала, сокращая один и детализируя другой рассказ (Vita Bas. 279. 14—280. 2); при этом пространность изложения обуславливается особым пониманием развития исторического времени, которое как бы воссоздается словом в самом произведении. Историческому герою — Василию противопоставлен антигерой — Михаил, осуждаемый прежде всего с этических позиций: подчеркивается низменность его страстей и привязанностей.

Следующая, третья часть хроники Продолжателя Феофана, охватывающая период от правления Льва VI до смерти Романа Лакапина (948 г.), близка ко второй редакции хроники Логофета («Ватиканский Георгий») и, таким образом, представляет собой переработку хроники Логофета с позиций аристократа. Происхождение этой части относится ко времени правления Никифора Фоки. Автор, видимо, приверженец аристократических родов Фок, Аргиров, Куркуасов, стоит в оппозиции к Роману I в отличие от Логофета.

Наконец, четвертая часть продолжения Феофана описывает самостоятельное царствование Константина VII и начало правления его сына Романа II (повествование обрывается на 961 г.). Ее автор, по-видимому, современник происходящего¹⁵, также испытывает симпатию к аристократическим кланам, прежде всего к роду Фок. Герой этой части — Константин VII — наделяется качествами и философа и праведника, ценящего добродетель и деятельный ум, — образ, весьма отличающийся от созданного Феофаном идеала василевса — смиренного христианина. Знать представлена как опора императора и государства. Идеализация образа временщика Иосифа Вринги заставляет предположить, что на автора сочинения оказали влияние близкие к нему аристократические круги — сторонники провинциальной феодальной знати, недовольные политикой Романа Лакапина.

Подобно хронике Продолжателя Феофана (в ее первой части), четыре «Книги царств», приписанные в лемме единственного списка XII в. константинопольцу Иосифу Генесию, посвящены каждая последовательно четверем византийским императорам — Льву V, Михаилу II, Фео- {100} филу и Михаилу III (в последней книге говорится и о Василии I), т. е. периоду с 813 по 886 г. В прооимиионе говорится о покровительстве автору со стороны Константина VII Багрянородного, что ставит этот труд также в круг промакедонских произведений. Общими с первыми четырьмя книгами Продолжателя Феофана оказываются и источники Генесия.

Особенностью памятника является повышенное внимание автора к различного рода мифологическим сюжетам, этимологиям, что отражало интересы «широкой публики» того времени. Такого рода занимательный материал распределен по четырем биографическим очеркам, создающим характеры главных героев¹⁶. Генесию свойственны и риторическое построение фразы, и языковые украшения, однако в целом его язык — обыденный, общеупотребительный, лишь с элементами аттицизмов.

«История» Льва Диакона — своего рода связующее звено между «книгами царствований» — монографической историографией X в. и созданными в XI—XII вв. памятниками мемуарного типа, в которых проглядывают черты сложной авторской индивидуальности, представлена внутренняя противоречивость характеров, неоднозначность поступков исторических персонажей, воспроизводятся исторические судьбы как результат взаимодействия различных

¹⁵ Можно предполагать о его близости к монахам Олимпа (*Каждан А. П.* Из истории... Т. 19. С. 91). Вместе с тем подчеркнутый интерес автора заключительной части к городским эпархам, их ведомству, позволяет думать, что этот раздел написал Феодор Дафнопат, императорский секретарь, патрикий, который в 960—963 гг. сам был эпархом города (*Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. I. S. 343). Ему приписывается и возможное редактирование всей хроники Продолжения Феофана (работа над последней частью хроники датируется временем между 961 и 963 гг.).

¹⁶ *Jenkins R.* The Classical Background of the Scriptores post Theophanem // DOP. 1954. Vol. 8. P. 15.

сил. Она была написана, вероятно, после 992 г. в пору правления Василия II и охватывала царствование трех его предшественников — Романа II, Никифора II Фоки и Иоанна Цимисхия, т. е. 959—976 гг. (в повествование вставлены и эпизоды из первых лет правления Василия II). Родившийся около 950 г. в малоазийском селении Калоя, Лев приехал учиться в столицу империи, там стал диаконом и в правление Василия II состоял в придворном клире. В этом качестве он сопровождал василевса в окончившемся неудачей болгарском походе 986 г. Участие в политических событиях последней трети X в., видимо, и дало историку право говорить в своем историческом труде об описаниях на основе личного опыта, а не литературных источников. Впрочем, убедительно доказано, что Лев Диакон, подобно другим современникам, воспользовался и так называемой «Историей Фок» (особенно в начальных частях повествования), и, возможно, документальными материалами; в манере изложения он ориентировался в целом на Агафия Миринейского¹⁷. Именно подражанию Агафию обязаны и идеи прооимиона о пользе истории и характер описания отдельных исторических эпизодов.

Впрочем, не опора на историков прошлого и не механическое следование тому или иному письменному источнику формировали идейно-художественную структуру «Истории» Льва Диакона. Сама современность и отношение к ней историка предопределили его политические симпатии и антипатии, как и общефилософские взгляды. В свое время Льва Диакона представляли придворным историографом, поводом для чего служили идеализация образов Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия в «Истории» и дифирамб в честь Василия II, сочиненный «диаконом {101} Львом», отождествлявшимся обычно с историографом¹⁸. Однако позиции автора в «Истории» и в энкомии диаметрально противоположны: если в первом случае осуждается Василий при восхвалении Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, то во втором не только превозносится Василий, но и очерняется правление узурпаторов престола, т. е. его предшественников. Таким образом, если даже признать тождество обоих авторов, что само по себе безусловно, то следует учесть, что оба памятника создавались в разных условиях: энкомий сочинялся как памятник официальной политической пропаганды в угоду окружению Василия II, а «История» — произведение неофициальное, даже оппозиционное, полемически направленное против политики Василия II и идеализирующее историю недавнего прошлого (не случайно «История» сохранилась в единственном списке). Изображение Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия в «Истории» Льва Диакона не совпадает с официальными пропагандистскими канонами, порочащими правление предшественников Василия II и созданными в кругу его приспешников¹⁹. Идеологическая обстановка, оказавшая влияние на мировоззренческий настрой Льва Диакона, формировалась в условиях борьбы Василия II с феодализирующейся провинциальной знатью, лидерами которой и были малоазийские полководцы — императоры Никифор Фока и Иоанн Цимисхий. Отсюда — оппозиционный к официальной пропаганде характер «Истории», а с другой стороны, — и общий исторический пессимизм ее автора. Вряд ли, однако, можно оценить эти воззрения как критику современности с позиций человека государственного ума, мечтавшего о восстановлении сильной власти, и противника феодальных смут.

Лев Диакон не предлагает, подобно другим авторам X в., абсолютно идеального героя, которому бы противостоял антигерой (или антигерои). Осуждая Василия II и даже его отца — Романа II и мать — Феофано, историк не делает их символами порока: их недостатки суть результат влияния дурных людей. С другой стороны, недостатками отмечены даже любимые герои — Никифор Фока и Иоанн Цимисхий. Отношение к Фокам вообще претерпевает изменение по ходу повествования — от идеализации к критике.

Исторический герой у Льва Диакона предстает не трафаретным: портрет Иоанна Цимисхия рисуется по контрасту к портрету Никифора Фоки — белолицый со светлыми волосами, рыжей бородой и голубыми глазами, он отличался от Никифора — смуглолицего, черновоголового и темноглазого, с густой бородой. Портрет становится средством психологической характеристики: статность Никифора противопоставлена низкорослости Цимисхия. Помимо описания физической силы последнего, его воинских доблестей, большое место уделено и его гражданским мероприятиям — заботам о больных, облегчению фискального гнета в Армении,

¹⁷ *Hunger H.* Op. cit. Bd. I. S. 370.

¹⁸ Συκοῦτρης Ἰ. Λέοντος τοῦ Διακόνου α; ἡέκδοτον ε; ἡκόμιον ε; ἡς Βασιλείου το; ἡν Β'//ΕΕΒΣ, 1933, т. 10.

¹⁹ *Иванов С. А.* Полемическая направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ. 1982. Т. 43. С. 74—80.

раздаче имуществ. Вместе с тем Цимисхий взошел на престол, убив Никифора Фоку: это обстоятельство оправдывается историком, однако не замалчивается. Не менее своеобразен и яркий портрет русского {102} князя Святослава: среднего роста, с мохнатыми бровями, голубыми глазами, плоским носом; густые усы и наголо обритая голова с одной длинной прядью волос, серьга в одном ухе. Пусть перечисление черт не создает сложного духовного образа героя, однако это не агиографические штампы дидактически-символических ликов, какие встречаются в большинстве хроник IX—X вв. Изобразительность портретов у Льва Диакона уже далека от нормативных схем Феофана. Однако описание внешности героя — это все еще перечень внешних черт, пусть выразительных и ярких.

Традиционным мыслителем остается Лев Диакон и в трактовке основных категорий историзма — времени и пространства, хотя и здесь можно отметить некоторые новые, по сравнению с хрониками IX в., акценты. Время у Льва организовано: это не стихийный поток, формально отмечаемый внешними мерками (год, индикт), но поэтапное, в соответствии с правлением того или иного василевса, движение, и ход повествования, прерываясь экскурсами в прошлое или предвосхищая будущее, все время возвращается автором к своему основному руслу (*Leon. Diac.* 31.13; 70.3). Главной пружиной временного развития событий у Льва Диакона является принцип изменчивости судьбы (например, взлет и падение Иосифа Вринги): нестабильность в «Истории» граничит с эсхатологическим трагизмом восприятия действительности, когда война, гибель, разрушения становятся средоточием мироощущения автора. В центре внимания оказывается судьба (Тиха), известное еще в античности божество, управляющее миром наряду с божественным промыслом (το, ἡ θεῶν — *Leon. Diac.* 72.16; 128.5; 129.9; и το, ἡ κρείττων — *Ibid.* 82.25). Но мировоззрение Льва Диакона в целом не выходит за рамки средневековых категорий, как и символизм природных знамений и катастроф (землетрясений, комет, ливней), известных и в античной историографии, оказывается у него сродни агиографическим чудесам. Лев отрицает естественные причины землетрясений, которые выдвигались «эллинскими», т. е. античными, математиками.

Таким образом, роль античного «субстрата» у Льва Диакона также сложна. С одной стороны,— тяготение к Агафию Миринейскому, античная этническая терминология, сопоставления исторических героев современности с античными мифологическими (Никифор Фока сравнивается с Гераклом, Иоанн Цимисхий — с Тидеем), изобилие речей от имени главных действующих лиц в подражание Фукидиду. С другой стороны,— полемическая апелляция к современности, подчеркивание авторской автопсии, средневековые принципы портретных характеристик, символизм и этическая окрашенность пространства (горы и леса как символ опасности), восхваление христианского аскетизма. Эти антиномии не случайны. Они не являются результатом механического соединения разнородных по идейной направленности источников. У историографов следующего столетия ощущение противоречивости событий, идея первенства человеческой личности в истории, понимание живой притягательной силы эллинского наследия станут в центр их мировоззренческих позиций. {103}

3. МИХАИЛ ПСЕЛЛ И ЕГО СОВРЕМЕННОСТИ

«Переходной эпохой» предстает в истории византийской культуры XI в.— от периода «сильной» Македонской династии к Византии комниновского времени. В атмосфере постоянного политического и морального напряжения, взлетов и падений, внешнего блеска и внутренней нестабильности формировалось творчество целой плеяды виднейших византийских историографов.

Первым здесь следует назвать Михаила Пселла (1018—после 1096/97) — одного из самых выдающихся византийских историков, философа, автора риторических произведений, превосходящих по объему все сочинения в этом жанре в X—XI вв., составителя естественнонаучных и филологических трактатов, полемиста и политика — современника четырнадцати императоров и советника многих из них, увлекательного корреспондента, оставившего после себя большое и интересное эпистолярное наследие (примерно 500 писем). Им создана и «Хронография», ставшая одной из вершин византийской (и средневековой в целом) историографии.

Сам Пселл оценивал свои занятия историей как нечто второстепенное и побочное, отдавая предпочтение риторике, философии, преподавательской деятельности, политической

теории и практике, филологическим, юридическим и природоведческим штудиям, хотя именно в историографии творческая личность писателя нашла наиболее яркое воплощение. «Хронография» — не единственное его историческое сочинение. Совсем недавно в византистике было обращено внимание на сохранившуюся в списке XIV в. хронику Пселла, имеющую лемму «Краткая история царей старшего Рима, а также младшего с опущением тех царей, которые не совершили ничего достопамятного, начинающаяся с Ромула» (*Мих. Пс.* С. 232). Новооткрытый памятник еще ждет своего внимательного изучения, однако уже сейчас можно говорить об общем с «Хронографией» методе Пселла, не столько излагавшего события, сколько создававшего образы героев, их характеры²⁰.

«Хронография» охватывает столетний период византийской истории (976—1075 гг.), как бы продолжая «Историю» Льва Диакона и завершаясь правлением Михаила VII. Композиционно и по внутренней структуре произведение распадается на две части, первая из которых, делящаяся в свою очередь на семь разделов, оканчивается историей Исаака I Комнина, вторая, не имеющая подобного внутреннего членения, начинается с Константина X Дуки. Начальную часть Пселл стал, по-видимому, писать уже осенью 1057 г., завершив где-то в 1059—1063 гг., над заключительной же работал в 1071—1075 гг. Рассказ о правлении Василия II (976—1025) и Константина VIII (1025—1028) основан на письменных источниках, возможно, общих со Скилицей, далее идет повествование о событиях, непосредственным участником и свидетелем которых был сам Пселл.

И не случайно образ самого автора занимает в «Хронографии», можно сказать, центральное место. Пселл создает своего рода автобио-графию, вплетенную в повествование об исторических событиях. Родившись в Константинополе в семье чиновника, Пселл с пяти лет стал посещать школу, прошел необходимый курс наук вплоть до занятий риторикой. Затем перед Пселлом открывается путь самостоятельной ученой и литературной деятельности и государственной службы. При Михаиле V (1041—1042) он уже при дворе (императорский секретарь), а при Константине IX Мономахе (1042—1055) кривая его карьеры резко взметнулась ввысь: он становится приближенным ученым — советником императора, — эту роль Пселл отводит себе в «Хронографии» при описании правления почти всех последующих василевсов. Вскоре он уже глава философской школы. Важную роль в ученых занятиях Пселла играл своеобразный научный кружок духовных единомышленников, группировавшийся вокруг будущего константинопольского патриарха Константина Лихуда, в который входили ритор и поэт Иоанн Мавропод и видный юрист и литератор Иоанн Ксифилин. Описывая перипетии своей жизни, Пселл прежде всего подчеркивает значение своей деятельности в качестве императорского советника и философа. Ученая и государственная деятельность в этом образе сливаются воедино. Подобный автопортрет историка — новое явление в византийской культуре. Дело не в том, что, возможно, Пселл преувеличивал свою роль политического деятеля и руководителя императоров. Важно, что авторское самосознание достигает у Пселла, пожалуй, максимальной — для средневековых норм — высоты.

Сообразно с учеными устремлениями Пселла сформировались и особенности его историзма. Признавая, как и полагалось бы средневековому автору, определяющую в мировых событиях роль провидения, божественного предопределения, византийский интеллеktуал стремится в самом ходе исторического повествования вскрыть причинно-следственные связи происходящего, выявить внутренние, подспудные, еще не проявившиеся на поверхности течения, которые приведут к тому или иному повороту событий. «Многим кажется, — рассуждает Пселл, — что окружающие нас народы только теперь впервые вдруг двинулись на нас и неожиданно вторглись в ромейские пределы, но, как мне представляется, дом рушится уже тогда, когда гниют крепящие его балки. Хотя большинство людей и распознало начало зла, оно коренится в событиях того времени: из туч, которые тогда собрались, ныне хлынул проливной дождь» (*Мих. Пс.* С. 71). Пристрастие к естественным причинно-следственным критериям в объяснении хода истории проявляется у Пселла не столько в декларациях, сколько в структуре, в организации материала («Возвращаясь к истокам событий, я устанавливаю причины и делаю вывод о следствиях»).

²⁰ Любарский Я. Н. Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 175 и след.

Автор отчетливо осознает свою определяющую роль в повествовании; принцип субъективной организации материала им даже декларируется: «...я умолчал о многих значительных событиях, не распределил материал своей истории по олимпиадам и не разделил, подобно Историку, по временам года, но без затей сообщил о самом важном и о том, что всплыло в моей памяти, когда я писал» (Там же. С. 90). Поэтому и повествование Пселла отличается мемуарный характер; композиционное оформление исторического материала не формально, а содержательно: эпизоды сцеплены по ассоциативной связи вокруг определенной автор-^{105}ской мысли (например, болезнь Михаила IV сопоставляется с болезнью государства). В центре движения истории у византийского эрудита оказывается не столько религиозная идея, сколько личность исторического героя. Исторический процесс и личность героя в «Хронографии» развиваются в единстве: так, взаимосвязаны и взаимообусловлены прогрессирующая болезнь государства и болезнь императора Исаака I Комнина. Само движение времени сопряжено с эволюцией характера действующего героя.

В связи с такой универсальной функцией героя в «Хронографии» встает вопрос и о практически впервые встречаемой в византийской историографии психологической обрисовке образа. Человек и его поступки для Пселла не детерминированы простым набором «качеств», каталогом которых исчерпывается портрет у предшественников (да и не только предшественников) Пселла. Выявление скрытого в человеке — неременное условие для постижения сущности героя (например, о Михаиле V: «Этот человек скрывал, как никто другой, огонь под золой — я имею в виду дурной нрав под маской благомыслия,— питал злые намерения и желания, пренебрегал своими благодетелями... Однако все это он умел прятать под притворной маской» (Там же. С. 43). Отсюда — признание неоднозначности, противоречивости, постоянной подвижности и изменчивости человеческого характера. «Слегка прервав течение рассказа, остановлюсь сначала на характере и душе этого императора, чтобы, слушая о его поступках, вы не удивлялись и не думали, будто совершал он их случайно и ни с того ни с сего. В жизни этот человек был существом пестрым, с душой многообразной и непостоянной, его речь была не в ладах с сердцем, на уме он имел одно, а на устах другое и ко многим, ему ненавистным, обращался с дружелюбными речами и клялся торжественно, что сердечно любит их и наслаждается их обществом. Часто вечером сажал он за свой стол и пил из одного кубка с теми, кого уже наутро собирался подвергнуть жестоким наказаниям» (Там же. С. 54). Поэтому и характеристики Пселла двучленны, а свойства героя непостоянны, но ограничены во времени и пространстве, определены событиями. Таким образом, историографический метод Пселла сформирован в синтезе исторического познания и художественного отражения действительности. В лице Пселла историограф является и ритором, и театральным режиссером, и психологом. При этом ему не чужд и натурализм.

Декларации Пселла неоднозначны: в них можно найти как традиционную средневековую топику, идеи нормативности, этикетности, так и индивидуальные характеристики, утверждение принципов самостоятельности творчества художника. Пселловская эстетика совмещает христианский спиритуализм с эстетизмом, театральностью, игрой. Неоднозначен и сам характер произведений: средневековые жанровые каноны сосуществуют в творчестве Пселла с оригинальными художественными открытиями. Так, «Хронография» представляет собой не столько стандартные для византийской историографической традиции той поры фактологические описания, сколько сопоставление образов, выявление характеров вершителей и жертв исторических судеб.

Творчество Пселла не случайно связывается исследователями с понятием «предгуманизма». Действительно, многие стороны его жизнедеятельности напоминают стиль жизни, творчества, общения, мысли гуманистов треченто и кватроченто. Различия в отношениях Пселла со своими корреспондентами, которые определялись не официальным положением человека, а кругом его духовных запросов, заставляют нас вспомнить, что итальянские мыслители-гуманисты представляли собой также неформальную группу единомышленников (или — в других случаях — антагонистов), объединенных прежде всего общей тягой к «трудам в досуге» независимо от должностных обязанностей. Свойственный Пселлу пафос защиты науки, знания был развит в литературном наследии эпохи Возрождения.

Отказ от аскетических принципов (ставших во многих исследованиях банальным атрибутом описания средневековой культуры), активность жизненной позиции — тоже черты че-

ловека новой эпохи. Само представление о времени, измеряемом у Пселла прогрессом в изучении наук или изменением отношения к ним, столь же далеко от «времени монахов», сколь и от «времени купцов», и предвосхищает восприятие времени у итальянских гуманистов. Наконец, утверждение византийским философом и историком индивидуального чувства и индивидуального представления о прекрасном и дурном, принципиальная установка на свободу от стереотипа, несмотря на строгую этикетность в отдельных побуждениях и оценках, также далеки от бытующего представления о косности, всеобщей «клишированности» жизни и мышления средневековья. В центре интересов, устремлений, даже художественных принципов Пселла стоит человек, а не отчужденные от него абстрактные нормы.

Внешне много общего с Пселлом имеет Михаил Атталиат (1030/35—1085/1100): жизнь, проведенная в столице, судейская деятельность, принадлежность к кругам, близким ко двору, связи с синклитом; и Пселл и Атталиат были «*homines novi*». Творчество Атталиата также обнимало и юридическую литературу, и церковную канонистику, и историографию. Как историографы оба в основном описывали события, очевидцами которых были сами: «История» Михаила Атталиата охватывает период с 1034 по 1079/80 г., обрываясь на втором году царствования Никифора III Вотаниата. Атталиат, как и Пселл, стремится, по собственным словам, исследовать «причины» описываемых событий (*Att.* 8. 13—15; 103.1 sq.; 5.9 sq.; 194. 1—9; 198. 1—8); свой труд он также делит на отдельные «книги» — своеобразные «монографии» о том или ином правителе. Однако внешние моменты сходства только сильнее подчеркивают различия в содержании их творчества, характере историзма обоих. Пселл сосредоточен на Константинополе, дворцовых интригах, переменчивости судеб правителей и подчиненных; Атталиату интереснее внешнеполитические события на окраинах империи и за ее пределами, особенно в восточных областях — Каппадокии, Киликии, Армении. Видимо, это не случайно, ибо с Атталией в Малой Азии связан патроним историка. Создавая парадигму идеального императора, каковым Атталиату видится Никифор Вотаниат, историк, в отличие от своих предшественников, большое место уделяет знатности и воинской доблести — категориям, индифферентным для Пселла, но показательным для развития общественной мысли XI в., связанного с утверждением социальной идеологии военной аристократии. Вообще же воинским вопросам — стратегии, тактике, полководческому искусству и т. п. в «Истории» уделено много {107} внимания — обстоятельство тем более интересное, что сам историк не принадлежал к воинскому сословию и не был его идеологом.

Для социальных воззрений Атталиата характерно негативное отношение к чиновникам фиска, к земельным конфискациям; историк прочно стоит на позициях охраны частной собственности, личного имущества, однако его воззрения нельзя оценивать как последовательную продинатскую программу феодальной знати (что скорее будет свойственно Продолжателю Скилицы). Вместе с тем историк с вниманием относится к представителям константинопольской знати, связанной с армией, а также к военной знати иноземного происхождения, хотя он нередко и сдержан в оценках отдельных представителей военной знати, что особенно ярко проявляется при сравнении этих оценок со взглядами Никифора Вриенния. Выделяя различные категории византийского общества, Атталиат первое место отдает синклитикам, так как предпочитает их «людям рынка» — горожанам и духовенству, среди которого выделяет монашество (*Att.* 270. 5—9). Атталиат в духе традиций византийской историографии с пиететом относится к науке, античному культурному наследию, однако в отличие от Пселла, глубоко постигавшего этот мир, Атталиату более свойствен «наивный натурализм»²¹, проявляющийся в интересе к занятым, небывалым, неожиданным явлениям природы и животного мира. К ним он относится не столько с суеверным страхом, свойственным Льву Диакону, сколько с любопытством наблюдателя.

Наряду с восхвалением знатности и знати Атталиат, как никто из его предшественников и современников, уделяет немалое внимание народным массам, прежде всего городским слоям, которым в «Истории» отводится важная функция своего рода коллективного героя. Однако они не выглядят некоей единой политической силой — воззрение, находившее опору в самой социально-экономической реальности XI в. Атталиат в целом следует традиционному этикету в описании героев: их достоинства и недостатки раскрываются в изложении хроноло-

²¹ *Каждан А. П.* Социальные воззрения Михаила Атталиата//ЗРВИ. 1976. Кн. 17. С. 45.

гически сменяющих друг друга исторических событий, завершающихся «характеристикой» — элогием. Историк довольно свободно пользуется общераспространенной в его время лексикой и терминологией, хотя принципы «мимесиса» — подражания античным историографическим канонам — обусловили его тяготение к языковому пуризму.

Другим современником Пселла был Иоанн Скилица, родившийся вскоре после 1040 г. и умерший, вероятно, в первом десятилетии XII в. Выходец из Малой Азии, Скилица был магистром, проедром, епархом, имел титулы куропалата и друнгария виглы. Его основное произведение «Обзрение историй» примыкает по времени к «Хронографии» Феофана, охватывая события с 811 до 1057 г.²² Разделяя подобно своим современникам историческое повествование на отдельные книги по «царствам», Скилица однако не создает серии «монографий»: членение у него условно и номинально, монарх выполняет функции своеобразного эпонима раздела {108}ла, связь эпизодов чисто хронологическая, а не причинно-следственная. Скилица как бы продолжает анналистическую традицию, формально не следуя ей. Отличие от современников сказывается у хрониста и в роли, отведенной автору: и Атталиат, и Пселл, хотя и в неизмеримо большей степени, подчеркивали свое участие в исторических событиях; Скилица же как герой сочинения, напротив, отсутствует в рассказе, но зато он подробно говорит о своих источниках, прежде всего Георгии Синкелле и Феофане.

Перечисляя историков предшествующих периодов, Скилица упрекает их за необъективность или ограниченность в изложении материала. Из этой «источниковедческой» критики вытекают собственные авторские задачи — составить обзорную историю, свободную от наслоений «комментаторов», противоречивых суждений. Она преследовала при этом дидактическую цель — создание руководства по историографии. Действительно, Скилица воспользовался различными источниками для описания разных исторических периодов. Видимо, изменением состава источников объясняется и изменение отношения к клиру по ходу повествования Скилицы: если в рассказе о событиях конца X в. историку свойственны процерковные воззрения²³, то после пассажей о Василии II или Романе III наблюдается уже антиклерикальная направленность оценок в «Обзрении истории».

В ряде рукописей хроника Скилицы доведена до 1079 г. Эту часть (возможно, изначально доходившую до царствования Алексея I Комнина) принято называть хроникой Продолжателя Скилицы. Она представляет собой парафразу соответствующего хронологически повествования в «Истории» Атталиата (с использованием также и «Хронографии» Пселла) и была завершена, видимо, после 1101 г. Не исключено, что ее составил сам же Иоанн Скилица (или эпиноматор этой части)²⁴. Однако сочинения Атталиата и Продолжателя Скилицы отмечены и некоторыми различиями. Продолжатель восхваляет монашество, в чем Атталиат более сдержан; эпиноматор, напротив, далек от восторга перед светской образованностью (прямая противоположность Пселлу!), чего, пусть в форме общих мест, не лишен Атталиат.

Хроника Иоанна Скилицы пользовалась популярностью как у его современников, так и у последующего поколения византийских историков: об этом свидетельствует и большое количество списков сочинения, и использование его в хрониках компиляторов XII в.— Иоанна Зонары, Константина Манасси, Михаила Глики, и существование, видимо, некогда народноязычной парафразы произведения, дошедшей в виде эксцерпта в одном из списков XVII в. (Paris, Suppl. gr. 467).

Другим свидетельством авторитета Скилицы среди современников и последователей является всемирная хроника, названная, как и у Скилицы, «Обзрением историй» и составленная на рубеже XI—XII вв. известным лишь по этому сочинению Георгием Кедрином. Его компиляция, охватывающая исторический материал от сотворения мира до правления Исаака Комнина (1057 г.), представляет собой соединение соответствующих частей различных известных хроник. Основываясь в начальной {109} части на хрониках Псевдо-Симеона, Феофана, а также Гергия Монаха, Кедрин, начиная с событий 811 г., почти дословно воспроизводит текст

²² Скилицей составлено еще адресованное Алексею I Комнину юридическое сочинение по брачному праву: Zepi J. et P. Jus graeco-romanum. Aahen, 1962. T. 1. P. 319—321.

²³ Каждан А. П. Социальные воззрения... С. 41—42.

²⁴ Hunger H. Op. cit. Bd. 1. S. 392.

Скилицы. Впрочем, современниками сочинение Кедрина обойдено вниманием не было: к нему обращался при составлении своей компиляции в XII в. Михаил Глика.

Однако ведущей тенденцией рассматриваемой переходной эпохи было постепенное угасание жанра монументальной всемирно-исторической хроники и становление мемуарных, лично окрашенных произведений с творческим утверждением основных принципов средневекового историзма.

4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЭПОХИ КОМНИНОВ

В период правления династии Комнинов Византия вновь пережила подъем культуры, образования, искусства и литературы. Возрождается живой, глубокий интерес к античному наследию, отличный от систематизаторско-энциклопедического описания памятников древности во времена Фотия и Константина Багрянородного; теперь языковой и образный классицизм становится нормой литературного творчества, языческая античность и христианское средневековье соединяются в мозаике литературных образов, речевых оборотов, сюжетных аллюзий, стиховых пентонов, цитат. Это не мешает развитию и народноязычной литературы: именно в XII в., часто в той же среде пуристов, создаются литературные памятники на народном разговорном языке (см. ниже. Гл. 5).

В этот период очагами образованности становятся как крупные центры науки и образования, например патриаршая школа или школа при церкви Св. Апостола в Константинополе, так и своеобразные литературно-философские кружки, получившие в этот период распространение и объединявшие крупнейших византийских историков, философов, литераторов. Хорошо известны кружки Анны Комниной и севастократориссы Ирины Дукены, где свобода общения, тематика бесед-дискуссий, характер личных отношений собеседников во многом напоминает форму общения итальянских гуманистов эпохи Возрождения.

Видным произведением этой эпохи считается исторический труд активного участника политической жизни Византии конца XI — начала XII в. Никифора Вриенния (около 1080 — около 1138). Выходец из аристократической семьи Вриенниев, игравшей начиная с середины XI в. активную роль в политической жизни Византии, внук (или сын?) узурпатора Никифора Вриенния старшего, муж багрянородной принцессы Анны Комниной, побуждаемый ею и ее матерью — Ириной Дукеной к захвату трона после смерти тестя (императора Алексея I Комнина) в обход наследника — Иоанна II, он предпочел остаться в стороне от этой авантюры и описал события одного десятилетия (с 1070 по 1079), назвав свой труд «Историческим материалом». Вриенний не претендует на составление какого бы то ни было монументального историографического опуса; говоря о задаче написать историю правления Алексея Комнина, он подчеркивает: «Я же взялся за это описание из желания лишь положить начало для тех, кто захочет описать его деяния. Поэтому пусть сочинение мое будет только материалом для исторического повествования» (*Вру.* 73.8—11). Его исторические записки были окончены, {110} видимо, уже при Иоанне II Комнине, т. е. после 1118 г.; имеющийся текст был опубликован по единственной известной, но ныне утраченной рукописи.

В центре интересов историка-аристократа — судьба выдвинувшихся в тот период на исторической арене и связанных между собой родов — Комнинов, Дук, Вриенниев. Сами исторические записки, судя по словам автора, составлены по побуждению Ирины Дукены, мечтавшей оставить литературный памятник своему мужу — императору Алексею I Комнину. Рассказ о деде Алексея — Мануиле Комнине, о правлении Исаака I Комнина и Константина X Дуки оказывается своего рода предысторией к семейной хронике Комнинов—Дук—Вриенниев. Тенденциозность, связанная с основной стержневой линией произведения, сказывается в переработке историком материала, почерпнутого из сочинений Пселла, Скилицы и Атталиата. Значительное место в известиях Вриенния занимают семейные предания, устные рассказы очевидцев, собственные воспоминания и наблюдения.

Особенностью структуры исторических записок является их построение не столько по хронологическому (временная последовательность событий не всегда выдержана четко), сколько по географо-топографическому принципу: сначала действие разворачивается на востоке империи, затем повествование переносится на запад, наконец, возвращается в Анатолию. Подобный принцип охвата материала связан с преобладанием истории военных походов, опи-

санных детально и живо. Социальная позиция автора хорошо проявляется в характеристиках главных персонажей, в которых в первую очередь восхваляются аристократические добродетели — благородство происхождения, энергия, ум, достоинство, героизм. Характерны в этом отношении два эпизода из рассказа о юных годах Алексея Комнина. В первом случае, оставшись один после неудачного боя и спасаясь бегством, юноша Алексей, тем не менее, не снимает доспехов, что было бы проявлением неблагородного малодушия: «Ведь он сам рассказывал, что слышал, как отец его смеялся над кем-то, бросившим оружие; вот потому-то Алексей и шел в доспехах» (*Вгу.* 153.23—25). В другом случае, уже добравшись до убежища и попав в заботливые руки хозяев, Алексей отказывается от принесенного ему зеркала: «Они принесли ему одежды, подобающие такому мужу, и старательно заботились о теле юноши, так что даже согласно своему обычаю принесли ему зеркало, чтобы он взглянул на себя. Увидев зеркало, Алексей усмехнулся, а принеший недоумевал почему. Алексей же сказал, что негоже мужчинам, да еще воинам, смотреться в зеркало. „Этим пристало заниматься только женщинам, у которых одна забота — нравиться своим мужьям. А мужчину-воина красит оружие и простой, суровый образ жизни“» (*Ibid.* 155.6—13). Аристократическая строгость, своего рода классицистическая сдержанность составляет этический идеал Вриенния.

Известная феодально-аристократическая кастовость отразилась и в этических категориях, характеризующих героев («...хорошего воина отличают не высокий рост, не телесная сила, не суровый и сильный голос, но душевное благородство и стойкость в перенесении трудностей») (*Ibid.* 163.25—27). Все эти аристократические атрибуты сконцентрированы в созданном героическом образе Алексея Комнина — красивого, знатного, славного, блестящего. Историк охотно использует традиционные в византийском императорском церемониале словесия: «Так, пока стоял день, воины были тверды и, дивясь храбрости юноши (т. е. Алексея), восхваляли его, простирая к нему с мольбой руки, называли своим спасителем и благодетелем: „Да здравствует юноша! — восклицали они, — наш защитник, кормчий, избавитель, спасший ромейское войско! Да здравствует он, как бы бесплотный, хотя и облеченный в плоть! Да насладимся мы твоими подвигами, и да пребудешь ты на общее благо нам на многие лета!“» (*Ibid.* 151.15—20). Героизация и идеализация фамильной политики сказывается и в рассказе о другом герое — Никифоре Вриеннии старшем.

Характерным для сюжета исторических записок является сосредоточенность автора на военно-политических событиях при практически полном игнорировании (в отличие от Пселла или Анны Комнины) вопросов духовной жизни, истории культуры. Писательскую манеру историка отличает драматизм повествования: исторический процесс представляется своеобразной «драмой» — слово, часто повторяемое Вриеннием (*Ibid.* 235.21; 215.30; 245.11; 277.5). Аристократизму социальной позиции историка не противоречит и отточенный классицизм стиля его изложения, в целом ясного и четкого.

Хотя Анна Комнина в предисловии к своему сочинению называет и другие, ныне утраченные, произведения своего мужа, Вриенний остается для нас автором одного исторического труда. Этот труд был продолжен самой Анной Комниной (1083 — около 1153) — старшей дочерью императора Алексея I Комнина и Ирины Дукены. Она посвятила свои мемуары одному герою — своему отцу и назвала их в соответствии с этим «Алексиадой». Анна начинает свой рассказ со времени службы четырнадцатилетнего Алексея при Романе IV и завершает его смертью отца в 1118 г. «Алексиада» писалась уже после этого события, когда багрянородная принцесса, потерпев неудачу в попытках возвести на престол Никифора Вриенния, была вынуждена удалиться от политических дел в монастырь, где и провела оставшуюся часть своей жизни. Оппозиционность к правившим после Алексея Иоанну II и Мануилу I с очевидностью прослеживается в сочинении византийской писательницы: создавая литературный памятник отцу, она недвусмысленно противопоставляет его героический образ недостойным потомкам.

Структура «Алексиады», характер организации пространства и времени в ней определены ролью главного героя. Уже портрет Алексея в произведении наделяется чертами внутреннего могущества и героизма: «Алексей был не слишком высок, и размах его плеч вполне соответствовал росту. Стоя, он не производил сильного впечатления на окружающих, но когда он, грозно сверкая глазами, сидел на императорском троне, то был подобен молнии: такое всеподобающее сияние исходило от его лица и от всего тела. Дугой изгибались его черные брови, из-под которых глаза глядели грозно и вместе с тем кротко. Блеск его глаз, сияние лица, благо-

родная линия щек, на которые набегал румянец, одновременно пугали и ободряли людей. Широкие плечи, крепкие руки, выпуклая грудь — весь его героический облик вселял в большинство людей восторг и изумление. В этом муже сочетались красота, изящество, достоинство и непревзойденное величие. Если же он вступал в беседу, то казалось, что его устами говорит пламенный оратор Демосфен. Поток доводов он {112} увлекал слух и душу, был великолепен и необорим в речах, так же как и в бою, одинаково умел метать копье и очаровывать слушателей» (*Анна Комн.* С. 121). Здесь хорошо видны особенности писательской манеры Анны. С одной стороны, создаваемые ею портреты далеки от агиографических шаблонов монументальной историографии IX—X вв. с каталогами добродетелей или пороков, неизменной заданностью и однозначностью черт героев; напротив, Анна отталкивается от обманчивости первого поверхностного впечатления от внешности императора, переходя затем к раскрытию внутренней силы героического характера, не соответствовавшей ординарной наружности Алексея. С другой стороны, в отличие от Пселла или Никиты Хониата (см. ниже), портрет у Анны статуарен, он не подвержен неувимой изменчивости, переливам страстей и противоречивых порывов — тому, что отличает образы Пселла и Хониата.

И вместе с тем в обрисовке героя в «Алексиаде» ощущался небывалый пафос движения и эмоционального напряжения. Только это движение перенесено с объекта описания — героя (как у Пселла) на его субъект — рассказчика и, тем самым, читателя или слушателя (ведь византийские авторы ориентировались на громкое чтение, чем и объясняется их тяга к передаче звуковых эффектов, к риторической лексике). Анна не столько дает описание героя, сколько передает впечатление, производимое его образом на других; «Приятно было смотреть на Ирину и слушать ее речи, и поистине нельзя было насытить слух звучанием ее голоса, а взор ее видом» (*Анна Комн.* С. 121).

Героико-эпический образ Алексея Комнина противопоставлен другим персонажам исторической драмы — норманнским полководцам Роберту Гвискару, Боэмунду, Танкреду. Герой Анны наделен умом, смелостью, доблестью, он характеризуется в эпических словесных формулах гомеровской лексики. Идеализация его не мешает Анне подчеркивать, что она сочиняет не энкомий, но излагает правдивую историю, — впрочем, это традиционное заверение византийских историографов всех поколений и направлений. Сдержанная умеренность Алексея отличает его от бахвалов и стремящихся к крайностям противников. История правления Алексея I как бы вычленяется Анной из временного потока: историческое время в «Алексиаде» субъективно организовано вокруг героя повествования.

Сама писательница выражает себя прежде всего в глубоко эмоциональном отношении к передаваемым сообщениям, — она плачет, изнемогает от усталости, сочувствует: «Дойдя до этого места, я почувствовала, как черная ночь обволакивает мою душу, а мои глаза наполняются потоками слез» (*Анна Комн.* С. 55). Заинтересованное, личностно окрашенное отношение автора к своему труду подчеркивается вплетаемыми в ткань произведения лирическими отступлениями, служа как более полному раскрытию сюжета, так и автохарактеристике самой писательницы, ее интересов и помыслов: «Ныне... изучение возвышенных предметов — сочинений поэтов, историков и той мудрости, которую из этих сочинений можно извлечь, — люди не считают даже второстепенным занятием. Главным занятием стали теперь шашки и другие нечестивые игры. Я говорю об этом, ибо огорчена полным пренебрежением к общему образованию. Это терзает мою душу, потому что я сама провела много времени в по- {113} добного рода занятиях. Завершив свое начальное образование, я перешла к риторике, занялась философией, обратилась наряду с этими науками к поэтам и историкам и благодаря им сгладила шероховатости своего стиля; затем, овладев риторикой, я осудила сложные сплетения запутанной схедеографии. Этот рассказ — не отступление, он нужен для связности повествования» (Там же. С. 418—419). В свое время Пселл писал об утилитаризации, прагматическом упрощении гуманитарной образованности; Анна через несколько десятилетий подхватывает и развивает эту мысль.

Во многих смыслах Анна Комнина — явление уникальное в византийской историографии и истории литературы. Классическое образование, проявляющееся в стиле и языке (аттицизм) писательницы, в следовании традициям древней историографии, в умелом и частом цитировании классических авторов, активная позиция женщины-политика, черпавшей свои сведения «из первых рук», находясь в центре придворной жизни, редкое писательское мастерство

автора ставят произведение Анны в число выдающихся памятников византийской исторической мысли.

Как и за Анной, за Иоанном Киннамом (после 1143 — начало XIII в.) в византиноведении прочно укрепилась слава надежного достоверного историографа XII в., описавшего в своем историческом труде современные его жизни события. Социально окрашенные оценки Киннама, с некоторым пренебрежительным оттенком характеризующего персонажей низкого происхождения (*Cinn.* 19.14; 228.17; 296.24—297.1; 221.9 sq.) и, наоборот, восхваляющего людей благородных родов (*Ibid.* 274.9 sq.), позволяют видеть в нем выходца из знатной семьи²⁵. В леммах «Истории» и его другого, риторического сочинения²⁶ Киннам именуется «императорским грамматиком» (*Ibid.* 3.7), т. е. он исполнял секретарские обязанности при императорском дворе. Вероятно, в этой должности историк и сопровождал василевса Мануила I Комнина в ряде известных военных походов на Балканах в 60-е годы. Основываясь на многочисленных военных сюжетах у Киннама, исследователи считали, что историк получил военное образование, состоял в военной администрации или просто был военным²⁷. Действительно, военная тематика занимает большое место в тексте сочинения, однако обилие военных сюжетов в «Истории» само по себе не обязательно должно свидетельствовать о социальной принадлежности писателя к воинскому сословию. Фигура гражданского чиновника, даже монаха, дающего советы императору в вопросах военного искусства, характерна для византийской культуры. Семья Киннамов больше связана с социальными кругами столичной бюрократии.

Помимо вопросов боевой тактики, вооружения, хода различных кампаний, Киннама интересовали, как это он и сам подчеркивает и как свидетельствуют современники (см., например: *Nic. Chon.* S. 331), и фило-{114}софские диспуты. С императором Мануилом писатель многократно беседовал об Аристотеле (*Cinn.* 290.21—291.7); в «Истории» (*Ibid.* 251.7—256.14) отражены и теологические споры 1166 г.²⁸

Киннам работал над историческим сочинением, по-видимому, в период между сентябрем 1180 и апрелем 1182 г. Этим вызван, возможно, и довольно нейтральный тон рассказа об императоре Андронике Комнине, который хоть и представлен соперником Мануила, но не отверженным тираном, как впоследствии у Никиты Хониата.

Открывает исторический труд Киннама «краткий обзор» царствования Иоанна II Комнина, занимающий менее одной десятой от объема всего произведения. Основное же его содержание уже в леммах обозначено как «рассказ», «повествование» — α; φήγησις — о свершениях Мануила I Комнина (текст, дошедший в рукописи XIII в., обрывается на изложении событий накануне битвы при Мириокефале в 1176 г.). Цель и объем своего труда Киннам определяет в прооймионе, утверждая свое исключительное право на предмет описания: «О делах Иоанна я расскажу кратко, только в главных чертах, потому что в его время, повторяю, я еще не родился. Что же касается деяний (царствовавшего) после него Мануила, то не знаю, может ли кто лучше меня исследовать их; потому что мне, даже прежде, чем достиг я юношеского возраста, довелось участвовать во многих его походах на обоих материках» (*Cinn.* 5.4—9). Итак, историк предпочитает собственный опыт книжному знанию; при этом в историографии видит он цель «исследовать» жизнь героя, т. е. задачу рационального постижения человеческих поступков.

Повествование Киннама в целом далеко от совершенно четкой и однозначной системы. Как правило, оно развивается в последовательной хронологической череде эпизодов; отсюда — стремительная смена географических областей и неуместные на первый взгляд вкрапления в общий сюжет фрагментов, например церковной истории. Нередко при этом потребность в характеристике предпосылок тех или иных событий, склонность Киннама развивать сюжет по ассоциативной связи приводят к калейдоскопической смене ситуаций. Киннам не боится вставных экскурсов. Переходы от эпизода к эпизоду строятся либо на принципе хронологической последовательности, либо на формальной связи (*Ibid.* 124.8—14; 141.1; 151.19—21).

²⁵ *Ibid.* S. 409.

²⁶ *Banhégyi G.* Kinnamos ethopoiája // Magyar görög tanulmányok. Budapest, 1943. Vol. 23. P. 6.

²⁷ *Chalandon F.* Les Comnène. P., 1912. Vol. 2. Pars 1. P. XV; *Neumann C.* Griechische Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jh. Leipzig, 1888. S. 94; *Jorga N.* Médaillons byzantins//Byz. 1925 (1926). T. 2. P. 283—284.

²⁸ *Beck H. G.* Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1962. S. 627 f.

Императорский секретарь Иоанн Киннам выступает прежде всего как апологет Мануила I Комнина, образ которого стоит в центре всего повествования. Он — фигура исключительная, для которой нет даже равного антигероя.

Повествование Киннама изобилует славословиями по адресу Мануила Комнина. Любое из качеств василевса — его лихая доблесть в битвах, его проникновение в замыслы противника, его умение ездить верхом, его врачебное искусство и интеллектуальные способности — все приводит Киннама в состояние удивления и восторга. Даже его недостатки оборачиваются своеобразными достоинствами. Во многое из рассказов о доблестях Мануила поверить невозможно (подобно эпическим героям, император вступает в единоборство с целыми ратями, неизменно побеждая); {115} но историк, ссылаясь на собственный опыт очевидца, настаивает на истинности описываемых событий.

Социально-политическим воззрениям Киннама свойствен имперский универсализм. Взгляды придворного секретаря проникнуты уверенностью в том, что Римская империя — единственное образцовое государство. Отсюда и резко отрицательное отношение к крестоносцам (чуждое Никите Хониату), как к «варварам», и одобрение экспансионизма василевсов, в частности итальянской политики Мануила.

Киннама можно считать идеологом политики Мануила Комнина. Не только общеполитическая ситуация, но даже социально-психологическая атмосфера двора Мануила отражена Киннамом: важную роль в исторических прогнозах, судьбах и перипетиях историк отводит снам, чудесным предзнаменованиям, предсказаниям — и это при рационалистической суховатости автора-аналитика. Киннам здесь разделяет увлечения и пристрастия к оккультизму самого Мануила и его непосредственного окружения. Однако нельзя сказать, что утверждение комниновской идеологии проводится историком с феодальных позиций: у него мы не найдем ни прославления родовитости клана, ни культа феодальной чести. Правда, Киннам охотно пишет о рыцарственных ритуалах, заимствованных с Запада, — дань атмосфере двора Мануила: «А император, подстрекаемый юношеским жаром, по случаю недавнего вступления в брак, желал, как это принято, ознаменовать это каким-нибудь боевым подвигом; ведь для латинянина, недавно введшего в дом жену, не показать своего мужества считалось немалым стыдом» (*Cinn.* 47.6—10). Западная рыцарственность оказывается важным элементом поведенческого этикета героев у Киннама, даже при общей латинофобии историка. Киннам возвращается мыслью к величию империи времен Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия.

Пселл и Атталиат, Никифор Вриенний и Анна — все это представители высшей знати, однако, как было показано, различных ее кругов. И каждый из них, прямо или косвенно, подвергается в XII в. критике со стороны другого представителя светской столичной аристократии, выдающегося канониста, агиографа, комментатора и, наконец, историка — Иоанна Зонары (конец XI в. — после 1160). Чиновник императорской канцелярии, протасикрит, друнгарий виглы, Зонара с воцарением Алексея Комнина удалился в монастырь и там «по побуждению друзей» составил всемирную «Краткую историю», начинающуюся с сотворения мира и доведенную до правления Иоанна II Комнина (1118). Исходя из своих историографических принципов, Зонара критикует авторов, сочиняющих для своих героев пространственные речи, диалоги, письма, что не приносит никакой пользы читателю: под критикуемыми авторами можно понимать Вриенния и Анну.

Исторический труд Зонары — памятник компилятивный, основанный на переработке большого количества источников и лишь в заключительных страницах (об Алексее I) являющийся самостоятельным сочинением. Однако использование текстов предшественников у Зонары — не результат механической адаптации, но носит активный, даже тенденциозный характер: дополнения, вставки, смещение акцентов характерны для историографической манеры хрониста. Изложение событий XI в. восходит преимущественно к Скилице, Пселлу, Атталиату. Однако в отличие от Атталиата Зонара не завершает свой труд энкомием Алексею I {116} Комнину: напротив, император критикуется за введение новшеств, за самоуправство, за раздачу средств родственникам и близким, за расточительство. Критика по адресу Алексея Комнина распространяется ретроспективно и на предшественников Алексея (Михаила IV, Константина VIII), осуждаемых за покровительство «варварам», за засилие императорской родни. Будучи выходцем из среды гражданских сановников, Зонара сдержан в отношении к военной знати, выступает против ее произвола. Следуя в целом за Скилицей в изображении Василия II, хро-

нист XII в. усиливает негативную характеристику василевса, осуждаемого также за самоуправство, за пренебрежение советниками, наделенными благородством происхождения и образованностью,— чертами, важнейшими для Зонары в системе человеческих ценностей. С этих позиций Зонарой развенчивается распространенная в X в. версия о происхождении Василия I от Аршакидов: историк настаивает на незнатном происхождении василевса. Критикуя того или иного правителя, он выступает идеологом столичных синклитиков, резко осуждая те или иные формы притеснения синклита — процесса, усилившегося в конце XI в. с выдвижением на передовые позиции политиков комниновского клана. С другой стороны, Зонара с презрением относится к массам, городской толпе, «черни».

Файл byz117g.jpg

*Императрица Ирина. 1118.
Собор св. Софии. Константинополь.
Мозаика в южной галерее.*

В целом мировоззрение Зонары вполне ортодоксально, в своих характеристиках он избегает крайних оценок; повторяя вслед за Продолжателем Скилицы критику Пселла, скрыто отрицая историографические принципы Вриенния и Анны, расходясь в оценках и исходных позициях с Атталиатом, Зонара сам стремился учесть интересы «читателя». Во всяком случае «История» Зонары стала чуть ли не самым популярным историческим памятником XII в.: до нас дошло более четырех десятков списков сочинения, известны ранние славянские переводы хроники. Наконец, ее использовали уже младшие современники канониста и историка — Константин Манасси и Михаил Глика.

В ряду рассмотренных исторических произведений всемирная хроника родившегося около 1130 г. в Константинополе и умершего в 1187 г. митрополитом Навпакта Константина Манасси является по-своему уникальным памятником. Это — историческое повествование от Адама до 1081 г., составленное в стихах по заказу севастократориссы Ирины — жены Андроника Комнина (брата императора Мануила I). 6733 стиха пятнадцатисложника были сочинены, очевидно, в середине XII в. (в 1153 г. Ирина умерла), получили широкое распространение, дойдя до нас в большом количестве списков; затем появилась и прозаическая версия хроники, а в XIV в.— ее известная славянская версия. Характер памятника во многом определен многогранностью писательского творчества Константина Манасси: помимо хроники, им написаны многочисленные риторические сочинения — речи, монодии, экфразы, стихотворная биография Оппиана, письма, стихотворное астрономическое сочинение, наконец, известный византийский роман в стихах «Об Аристандре и Каллифее». Топика византийского романа — животный мир, растения, стилистика романа — с поговорками и морализирующими сентенциями, мифологические примеры — все это находит свое место и в историографическом произведении. Соответствует этому и витиеватая стилистика хроники-поэмы, в которой царствование Комнинов сравнивается с «океаном великих дел, переплыть который не под силу даже силачу Гераклу». Тематика же хроники традиционна, даже тривиальна для сочинений этого жанра, что особенно наглядно проявляется в прозаической версии памятника.

Подобными традиционными мотивами отмечена и «Хроника» Михаила Глики (первая треть XII в.— около 1204). Императорский секретарь при дворе Мануила I, он был известен и рядом других сочинений — риторических и теологических. Наибольший интерес представляет его стихотворное обращение к василевсу из тюрьмы, куда Михаил Глика попал в 1159 г. за участие в заговоре Феодора Стиппиота; это стихотворение написано на «народном» языке и может рассматриваться как один из первых памятников демотической литературы. Историческое сочинение Михаила Глики, начинающееся с сотворения мира и доходящее до смерти Алексея I Комнина (1118), пользовалось, подобно другим памятникам такого рода, большой популярностью, о чем свидетельствует немалое число сохранившихся списков. Повествованию свойственно описание природных явлений, примеры из зоологии, естественноисторические экскурсы.

События византийской истории излагаются на основе исторических сочинений Скилицы, Пселла, Зонары, Манасси. Наряду с дословным повторением источников хронику Михаила Глики отличают и некоторые своеобразные черты: меньше места, по сравнению с Зонарой, отведено военным кампаниям, чисто промакедонским предстает изложение истории Михаила III

и Василия I. Значительное внимание уделяется церковно-историческим событиям, сенсациям, природным катастрофам. Влияние демотических интересов хрониста сказывается в его тенденции актуализировать традиционную этнонимистику и терминологию: он указывает современные ему названия народов, городов и государств, а не только античные, принятые для данного историографического жанра.

Судьба памятников византийской исторической мысли уже в саму византийскую эпоху имела определенную особенность: компилятивные хроники с печатью традиционности, тривиальности получали наибольшее распространение, являясь излюбленным чтением, и дошли в очень большом количестве списков, как, например, хроники Логофета, Зонары, {118} Глики; напротив, исторические сочинения, отличающиеся оригинальностью авторской мысли, несущие черты духовной незаурядности их создателя с присущим ему непосредственным, то критическим, то живым, эмоциональным восприятием истории прошлого и настоящего,— эти произведения не снискали, видимо, широкой популярности, дойдя до нас, как правило, в единственном списке или в небольшом их числе.

5. МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НИКИТА ХОНИАТ

Среди многочисленных монументальных византийских хроник, исторических монографий, «книг царствований» немного найдем мы исторических сочинений, посвященных какому-нибудь одному историческому событию и выделяющихся как в историческом, так и литературном отношении на фоне основных историографических жанров.

Таков волнующий рассказ о взятии Солуни критскими рабами 31 июля 904 г., написанный клириком Иоанном Каминиатом. Это повествование посвящено одному конкретному событию; в центре рассказа стоит сам автор и его семья. Описание предельно лично и субъективно.

Распространенная экфразея в начале сочинения создает редкий в византийской историографии пластически и одновременно эмоционально окрашенный образ Солуни и ее окрестностей: «Та часть Фессалоники, что лежит к югу от горы, поистине прекрасна и сладостна. Она изобилует тенистыми деревьями, всевозможными садами, щедрыми водами рек и источников, которыми горные чаши дарят равнину и отделяют также и самое море. Виноградные лозы густо покрывают землю и обилием своих гроздьев радуют жадный до прекрасного взор... Озера словно состязаются с морем и соревнуются в том, кто из них даст более обильные дары» (*I. Cam. 7.36—7.56*).

Традиционными элементами произведения Каминиата являются прооймион с указанием на некоего Григория Каппадокийца, по настоятельному совету которого автор, не будучи писателем-профессионалом, и взялся за описание событий, а также представление о главной причине несчастий — божественном гневе, покаравшем горожан за их грехи. Традиционен и общий стиль изложения, опирающийся на библейскую и литургическую лексику и систему образов. Однако традиционные на первый взгляд элементы функционируют по-новому. Вступительная часть — не просто этикетный зачин, но своего рода обрамление произведения: в конце Каминиат вновь возвращается к Григорию, указав на выполнение его просьбы. Таким образом, сочинение композиционно закончено, оно лишено типичной для рассматривавшейся выше историографии X в. открытости повествования, начинавшегося в произвольный момент исторического развития (как правило, на месте окончания хроники предшественника) и завершавшегося так, что его можно было без ущерба для композиции продолжить. Каминиату присуща композиционная четкость, организованная временная последовательность развития сюжета: за экфразой о Солуни следует повествование об осаде города арабским флотом Льва Триполитанина, включающее как описание военных действий с подробностями технической стороны дела — инженерии фортификационных сооружений и осадных машин и т. п., так и рассказы о судьбе {119} самого автора и его семьи; затем прослеживается путь пленных, увезенных завоевателями через Патмос, Крит и Кипр в Триполи. Отличие повествовательной манеры Каминиата в сочетании с другими моментами породило сомнение в правильности атрибуции памятника X в. и полемику по поводу передатировки его XV веком ²⁹.

²⁹ Kazhdan A. P. Some questions addressed to the scholars who believe in the authenticity of Kaminiates' «Capture of Thessalonica»//BZ. 1978. Bd. 71. Fasc. 2. S. 301—314.

Подлинным шедевром византийской мемуарной литературы стало повествование Евстафия Солунского, посвященное предыстории и событиям завоевания Солуни в 1185 г. норманнами, написанное по горячим следам событий — в феврале следующего года. Родившийся около 1115 г., возможно, в Константинополе, где прошли и годы его учебы, Евстафий начал свой нелегкий жизненный путь «снизу» — был писцом патриаршей канцелярии, затем судебским писцом; во второй половине 70-х годов Евстафий становится солунским митрополитом; в 1185 г. он оказывается в центре событий во время нападения на Солунь норманнов. После некоторого перерыва, в середине 90-х годов он вновь в Солуни, где, по-видимому, и умер около 1196/97 г. Прожив нелегкую жизнь, полную борьбы за существование, Евстафий никогда не имел ни достаточно высокого положения, ни стабильного достатка, даже став в 70-х годах солунским митрополитом, он тревожится за свое будущее, нуждается в поддержке покровителей.

Евстафий Солунский отнюдь не был историографом по преимуществу. Подобно многим другим писателям XII в. (например, Иоанну Цецу), он прославился объемными комментариями к античным произведениям — к «Илиаде» и «Одиссее», к комедиям Аристофана, к географическому сочинению Дионисия Периегета, к Пиндару; замечательны памятники риторического искусства Евстафия — его речи — к императору Мануилу I, патриарху, монодии и письма. Оригинальностью и остротой отличаются его памфлеты — «Об исправлении монашеской жизни», «О лицемерии». Евстафий был автором и ряда канонических сочинений, филологических трактатов, схолий. Если при анализе творчества Пселла исследователи отмечают известные несоответствия, даже противоречия, между мировоззренческими, этическими и эстетическими взглядами Пселла-историографа и Пселла-ритора и эпистолографа, то характеристики Евстафия отличаются значительно большей цельностью. Его социальные воззрения, исторические взгляды, моральные принципы, изложенные им в многочисленных памятниках различных жанров, отражены и в его историческом произведении.

Полемически заостренным против традиционной историографии является предисловие к сочинению Евстафия «Взятия Солуни», где определяются жанр произведения, методы повествования, композиционная структура изложения. Отличие этого труда от других византийских исторических памятников обусловлено глубоким эмоциональным человеческим чувством автора — участника разыгравшейся трагедии, не позволившим ему рационалистически подойти к рассказу (*Eust. Esp.* 3.14—23).

Мемуары Евстафия — новая ступень в развитии византийского историзма. Тогда как авторы монументальных хроник почитали за достоинство анонимность, собственную авторскую безучастность, теперь сострадание и гуманизм становятся чуть ли ни главными категориями историка-мемуариста. Заставить читателя сопереживать, вовлечь его в происходящую жизненную драму — вот какую задачу ставит теперь автор вместо аккуратной погодной регистрации фактов.

Сильное трепетное чувство противопоставляет Евстафий скепсису и иронии некоего воображаемого историографа-оппонента: истинный мемуарист «... не предастся витиевато-шутливым жалобам как бы с целью сделать из воспроизведения чудовищных страданий украшения-побрякушки. Также и другие средства он будет применять умеренно и на свой собственный лад, не прикрашивая невероятные слухи, словно бесталанный летописец, не пользуясь и другим, что заставляет бездаря в его вполне понятном честолюбии поставить на первый план собственную ученость» (*Ibid.* 3.26—4.2. См. пер.: Памятники. С. 238—242).

Драматизм исторического мировидения (черта, свойственная не одному Евстафию, но и другим историкам как его поколения, так и непосредственно ему предшествующего) заставляет автора сосредоточиться на современности: «... тот, кто, как говорится, попал в сети и, подобно нам, запутался в обстоятельствах, тому, видимо, трудно подыскать столь точные названия для несчастий. К тому же пестрая цепь ударов судьбы, грозившая поглотить каждого несчастного в отдельности, и множество различных знамений отвлекают мысль от этой области» (*Ibid.* 4.26—31).

История, сфокусированная в трагических эпизодах разорения цветущей Солуни, предстает в мемуарах как «пестрая цепь ударов судьбы, грозившая поглотить каждого в отдельности»: «Город был так разрушен, что от былой его красоты и следа не осталось. Его стены были сметены с лица земли, святыни были полностью запятнаны, больше, чем отхожие места, городские здания были повреждены, имущество граждан частью расхищено, частью разбросано,

одним словом, уничтожено, — как это надо будет назвать, если кто-нибудь вздумает и сможет перечислить все это по порядку?» (Ibid. 6.7—12).

Картина убийств и насилия иносказательно рисуется Евстафием в образе кровожадного зверя, истребляющего все живое на своем пути: «Это злое животное часто нападало на полураздетых людей, что избавляло его от труда вонзать свои зубы в одежды. Если же он нападал на солдат или на молодых людей в расцвете сил, его острые когти вонзались в них и их разрывали. Это было обычным: ведь он по-своему радуется таким телам, которые готовятся к нему и его ждут» (Ibid. 6.27—32). Будничность, обыденность творящегося зла, изображенная писателем, только усиливает трагизм повествования, построенного на вкраплениях эпизодов пережитого ужаса: «Самым горестным зрелищем было, когда рядом с погибшими от разных причин взрослыми людьми повсюду лежали распростертые трупы малых детей. Некоторых из них пронзили одновременно с теми же руками, которые их держали» (Ibid. 8.5—8).

Время в таком изображении также становится «пестрой цепью ударов судьбы», а не равномерным чередованием хронологических отрезков. Образ вихря, смуты, калейдоскопа несчастий становится стержнем временного развития событий. Этой образной системе соответствует и кол-лективный образ героя — солунян, ставших жертвами несчастий: «Так, валящая толпа в стремительном беге превращалась в гору мертвецов, где все находилось в пестром и нелепом смешении: люди, лошади, мулы, ослы, на которых многие поместили поклажу с самым необходимым» (Ibid. 8.20—24).

Однако Евстафию не свойственна апокалиптическая безысходность в понимании истории. Ему чуждо и морализаторство историков-монументалистов: «Автор не будет исходить из того, что грехи следует выставлять как причины несчастья, хотя историки разумно считают это своей задачей», — полемизирует Евстафий в предисловии (Ibid. 4.14—16).

Евстафий четок в изложении принципов построения своего рассказа — сюжетное развитие подчиняется законам писательского творчества, авторски организовано и субъективно окрашено: «Исходным моментом в построении этого сочинения послужит самое несчастье. Ведь было бы невероятным, чтобы кто-нибудь, попав в самую гущу бедствий, не придавал им значения с самого начала. Затем повествование обратится к сетованиям, к вескому порицанию и обличению прямого и побочного виновников несчастья, и перейдет к понятному, ясному, а местами возвышенному изложению» (Ibid. 4.4—8).

«Взятие Солуни» до описания собственно осады и разорения города содержит историю прихода к власти императора Андроника I Комнина и его правления. Сочинение писалось уже после низвержения этого василевса и содержит его резкую критику как тирана, виновника поражения сограждан. Андроник — один из самых ярких антигероев сочинения; эта отрицательная характеристика последнего императора — Комнина доведена до еще большей остроты младшим современником Евстафием — Никитой Хониатом, на которого «Взятие Солуни» оказало очевидное влияние.

Впрочем, Евстафий не был склонен к критике императоров вообще; скорее наоборот — он выступал в защиту стабильности миропорядка. Его героем является Мануил I, изображенный (прежде всего в речах) рыцарственным, благородным воином, в тонах, близких к Иоанну Киннаму. Родовитость прославляется Евстафием, и с этих позиций в мемуарах с почтением говорится об Алексее II (Ibid. 36.28—29). Высоко оцениваются солунским митрополитом и воинские достоинства: «добрым» полководцем, мудрым воином предстает Лапард. Напротив, воинская несостоятельность, беспомощность составляют портретные черты почти карикатурного образа другого антигероя — солунского наместника Давида Комнина: плохой наездник, не знавший коня и развезжавший по городу на ишаке, чуждый оружия, нелепо одетый в костюм, далекий от воинского облачения (Ibid. 82.6—12), этот чиновник, прятавшийся в момент боя от стрел и жары, позорно бежал, даже не прикоснувшись к мечу (Ibid. 102.3—10). Гражданские чиновники бюрократического аппарата, трусливые и алчные, подобные Давиду или Стефану Айохристофориту, вызывают резкое осуждение Евстафия. И в этом тоже его оценки совпадают с присущими Никите Хониату.

С презрением относится Евстафий и к городской «толпе», к черни. Евстафий выделяет три категории общества — воинов, духовенство и простолюдинов (народ) (Ibid. 6.13—14). Одним из пунктов осуждения Андроника I Комнина являются как раз его уступки столичному плеб-су, его вожакам (Ibid. 42.2—21), и, напротив, расправы со знатью (Ibid. 54.28;

56.14—16; 70.11—13). Резко осуждается солунским мемуаристом и столичная толпа, учинившая расправу с латинянами (Ibid. 34.21—30); ярко обрисованы грабежи, пожары, убийства, насилия над женщинами и детьми. Симпатии ратора здесь — на стороне жертв-иноземцев (Ibid. 36.3—5).

Евстафий вообще, в отличие от многих историков первой половины XII в. (Анна Комнина, Киннам), отличается пролатинскими симпатиями. Да и в действительности после захвата норманнами Солуни он постоянно связан с пришельцами, общается с ними (Ibid. 128.20—21; 150.9), снискав даже покровительство со стороны графа Алдуина (Ibid. 126.26—128.2). Пролатинские настроения — примета времени, характерная для правления Мануила I; и в этом мемуарист был близок «рыцарственному» монарху. По своим социальным воззрениям Евстафий может быть отнесен к тем слоям византийской интеллигенции, которые были привержены Комнину, прежде всего императору-воину Мануилу I, опиравшемуся на землевладельческую знать³⁰; напротив, в числе его противников оказываются гражданская чиновная бюрократия, черное духовенство (критике которого посвящен памфлет Евстафия (*Eust. Opusc. P. 214—267*)), простонародье города. Близость к идеологии феодального окружения Мануила сказывается и в общефилософских и исторических суждениях Евстафия: он превозносит власть божественного промысла, проявляющегося и в небесных явлениях, а, как известно, Мануил был страстным приверженцем астрологии. Впрочем, Евстафию не чужды и элементы рационализма: он допускает независимость общеисторического развития от божественной воли. Люди здесь — сами творцы своей судьбы.

История для Евстафия Солунского — не столько далекое прошлое, сколько материал для изучения современности и даже прогнозов на будущее, отсюда — известный дидактизм его мемуаров; отсюда и сам жанр — мемуарный — его исторического труда. «Взятие Солуни» не исчерпывается чисто фактологической информативной исторической ценностью. Образные характеристики, эмоционально-чувственное восприятие действительности, изображение реальности в ее изменчивой подвижности, яркая передача накала страстей — все это делает Евстафия Солунского одним из замечательных авторов в истории византийской культуры.

Нередкие сравнения Евстафия с Никитой Хониатом (около 1155—1217) не случайны³¹. Хониат знал Евстафия, писал о нем, пользовался его мемуарами при сочинении собственного исторического произведения. Взгляды обоих, нередко разнясь между собой, касаются многих общих моментов эпохи, а их художественный метод и система видения мира позволяют относить творчество обоих писателей к вершинам византийской культуры вообще.

Родившийся в малоазийском городе Хоны, Никита довольно рано вместе со своим старшим братом — будущим известным ритором Михаилом Хониатом оказывается в Константинополе, где и получает образование, а затем начинает постепенно продвигаться вверх по лестнице государственной службы. Как и Евстафий, он начал путь снизу. Впрочем, происходя из знатной семьи и занимая в дальнейшем высокие посты, Никита Хониат не принадлежал, по-видимому, к вершителям судеб страны, не был и доверенным советником василевсов, вроде Пселла. События, связанные с захватом Константинополя крестоносцами в 1204 г., имели для писателя губительные последствия: потеряв все имущество, он вынужден был спасать себя и свою семью в Селимврии, чтобы затем, ненадолго вернувшись в столицу, искать покровительства при дворе Феодора I Ласкаря, переселившись в Никею, где он и умер.

Как и Евстафию, прижизненный успех ратору принесло красноречие: его речи и письма, адресованные императорам, описывающие политические события современности и одновременно отличающиеся высоким искусством стиля и языка. Но подлинной вершиной творчества Никиты Хониата стало его историческое произведение (*Χρονικὴ δὴ ἡγεσις*), рукопись которого он спасал, бросив все остальное имущество при бегстве из Константинополя в 1204 г.

«История» Никиты Хониата совмещает в себе обобщающие повествования о правлении Иоанна II, Мануила и Андроника Комнинов и императоров из династии Ангелов с рассказом о собственных переживаниях, злоключениях, взлетах и падениях. В судьбе автора как бы отражается судьба государства. Падение Константинополя в 1204 г. стало и крахом личной судьбы Никиты и его близких: пешком, подвергаясь насмешкам черни, с малыми детьми на руках, се-

³⁰ *Каждан А. П.* Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский//ВВ. 1968. Т. 28. С. 63—77.

³¹ *Hunger H.* Op. cit. Bd. I. S. 429 ff.

мья историка уходила из столицы: «Излив подобным образом свои жалобы из переполненной скорбями души, мы отправились далее, с рыданием рассеивая по дороге слезы, как семена, и радостно хватаясь за соломинки надежды на изменение нашего положения к лучшему в том случае, если дойдем до цели своего пути...» (*Ник. Хон.* II. С. 347).

В произведении индивидуализировано не только время, общий ход исторических событий, но и пространство, на котором они разворачиваются. С подчеркнутым вниманием автор относится к родным местам — Хонам, долине Меандра, к городу, где он служил — Филиппополю.

Записки Хониата о пережитом, обобщенные в историческом труде о судьбах империи его поры,— плод многолетнего труда, начатого еще молодым наблюдательным писателем и завершеного зрелым государственным мужем. Описав события византийской истории после смерти Алексея I Комнина вплоть до латинского завоевания столицы, Никита Хониат затем, узнав о поражении латинян в Болгарии через год после их триумфа в Константинополе, продолжил повествование: в существующем тексте рассказ доведен до 1206 г. (до похода Генриха против болгар), за ним следует приложение о памятниках искусства Константинополя, пострадавших от крестоносцев. Если начальные книги «Хроники» писались с использованием сочинений предшественников — Иоанна Киннама, Евстафия, то исторический материал начиная с 80-х годов — времени, когда Никита Хониат приступил к работе историографа, передан на страницах сочинения «из первых рук».

Хотя в центре событий — правление монархов из династии Комнинов и Ангелов, их внутри- и внешнеполитические свершения, смысл истории {124} у Никиты Хониата не сводится к результатам поступков хорошего или плохого правителя. Историк далек от однозначных личностных характеристик. Признавая в целом воинские доблести Мануила I, он критически относится к этому василевсу, самоуправному, безрассудно дерзкому, надменному, фактически поощрявшему злоупотребления, внутренняя политика которого привела в конечном счете к ослаблению государства. Напротив, отрицательный в своих основных чертах образ Андроника I Комнина не заслоняет, однако, положительных качеств этого императора, признаваемых историком: «Кратко сказать, если бы Андроник несколько сдерживал свою жестокость и не тотчас прибегал к раскаленному железу и мечу, если бы не осквернял постоянно свою царскую одежду каплями крови и не был неумолим в казнях,— чем он заразился у народов, среди которых жил во время своего долгого скитальчества, он был бы не последним среди царей из рода Комнинов, чтобы не сказать — не уступил бы им и сравнялся бы с ними. И от него можно было получить величайшие человеческие блага, потому что он не совсем перестал быть человеком, но, подобно вымышленным созданиям с двумя природами, будучи отчасти зверем, украшен был лицом человеческим» (*Nic. Chon.* 353.24—33). В целом фигура императора лишается под пером Хониата божественного ореола. Такие пороки, как своенравие, жестокость, зависть и алчность,— неизменные спутники правящей персоны. Историк далек от критики самого принципа монархического строя; напротив, ему привлекательна стройность западной иерархической структуры правящего слоя общества. Но сам образ василевса оказывается у него «сниженным», развенчанным.

Пружинной исторического движения у Никиты Хониата оказывается переменчивая судьба — Тиха, которой подвластны и василевсы, и простые люди, и воины, и монахи³². Представление о принципиальной вертикальной подвижности, взлетах и падениях при поворотах судьбы — основа исторического мировосприятия писателя. Еще плавно развиваются события, ничто не предвещает беды, а судьба уже занесла свой меч над протагонистами разворачивающейся драмы,— подобного рода ремарки характерны для историка. Трагическая ирония исторического процесса — наиболее остро ощущаемый нерв повествования Никиты Хониата. Военные сцены, битвы и осады, занимающие свое место в произведении, интересны не столько сами по себе, как у Вриенния или Киннама, но главным образом как проявление поворотных моментов судьбы. Еще идут мирные переговоры с крестоносцами, а корабли их уже готовы к осаде Константинополя: «Но в то время как речь шла о мире, вдруг на возвышении показались латинские всадники, несшиеся во весь опор на императора (Алексея Мурчурфла.— *М. Б.*), так что он, быстро поворачив коня назад, едва избежал опасности...» (*Ibid.* 568.70—73). Коловра-

³² Ср.: *Досталова Р.* Византийская историография: характер и формы//ВВ. 1982. Т. 43. С. 31—33.

шение событий, когда каждое последующее вырастает из предыдущего — в продолжение или в отрицание его,— черта, свойственная композиционному развитию «Хроники» Хониата. Причинно-следственное сцепление эпизодов дополняется эффектом обратного действия, когда результат поступков героев оказывается противоположным по отношению к их замыслам. {125}

Исследователями отмечались черты религиозного скепсиса у Никиты Хониата: в минуты спасения уповать приходится не столько на бога, сколько на стены крепости; библейские образы, святыни помещаются в подчеркнуто сниженный бытовой контекст (сравнение священных хоругвей с молоком, притягивающим мух); осуждение вызывают гадания, знамения, астрологические суеверия, любые проявления оккультизма — в виде ли гороскопов, или в облике пророчествующих юродивых.

Сродни религиозному и политический скепсис Никиты Хониата, являющийся наиболее характерной чертой его мировоззрения. Десакрализация идеи императорской власти, переосмысление значения цветочных символов царя, когда золото становится цветом желчи, а пурпур — цветом крови исторических трагедий³³. Политическим скепсисом окрашено отношение историка и к ведущим общественным группам его современности — от фаворитов царя, карьеристов-чиновников, бездарных полководцев — провинциальных наместников, обжор и стяжателей — церковных иерархов, до непостоянной, продажной, развращенной и одновременно морально задавленной городской толпы, со страстью свергающей своих вчерашних кумиров.

Показательным для эволюции византийской исторической мысли является повышенный интерес Никиты Хониата к аксессуарам повседневной обывательской жизни, детализация описания обстановки, ритуала, даже натуралистических сцен народных возмущений, мятежей. Отношение к стихии народных движений у выходцев из знатной семьи в целом негативное: Хониат подчеркивает деструктивный характер этих волнений, являющихся, по мысли историка, неизменным атрибутом жизнедеятельности масс. Таковы в «Хронике» проявления стихии народных волнений и при мятеже Иоанна Толстого (*Nic. Chon.* 526.34—527.56), и при низвержении Андроника Комнина: «Бог явил свой гнев, и не нашлось у Андроника средства к спасению. Его заключили в тюрьму, называемую Анема, наложили на его гордую шею две тяжелых цепи, на которых в тюрьме держат в железных ошейниках львов, и заковали ноги его в кандалы. Когда в таком виде его привели и представили царю Исааку, его осыпают ругательствами, бьют по щекам, толкают пинками, ему щиплют бороду, вырывают зубы, рвут на голове волосы. Затем отдают его на общее всем поругание, причем над ним издеваются и бьют его кулаками по лицу даже женщины, и особенно те, чьих мужей он умертвил или ослепил. Наконец, ему отрубили секирою правую руку и снова бросили его в ту же тюрьму, где он оставался без пищи и без питья, и ни от кого не видел ни малейшего попечения. А спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади. Нагая, как у старого дерева, и гладкая, как яйцо, голова его была непокрыта, а тело прикрыто коротким рубищем. Жалкое то было зрелище, исторгавшее ручьи слез из кротких глаз. Но глупые и наглые жители Константинополя, и особенно колбасники и кожевники и все те, которые проводят целый день в мастерских, кое-как живут починкою сапог и с трудом добывают себе хлеб иголкой, сбежавшись на это зрелище, как слетаются весною мухи к подою и к {126} салным сосудам, нисколько не подумали о том, что это человек, который так недавно был царем и украшался царскою диадемою, что его все прославляли как спасителя, приветствовали благожеланиями и поклонами и что они дали страшную клятву на верность и преданность ему» (*Ник. Хон.* I. С. 440).

Для характеристики широты кругозора Никиты Хониата показательны его отношение к латинскому Западу. С одной стороны, мы встречаемся с традиционными идеями византийского «ромеоцентризма». С другой стороны, именно к Западу апеллирует Хониат, говоря об упадке, внутренней коррозии византийского общества и государства. Ему импонирует западная иерархическая структура общества, рыцарственная верность, неведомая в бурлящей мятежами и переворотами Византии.

Выдающееся место в истории византийской исторической мысли принесло Никите Хониату искусство создания портретных образов исторических героев. Пожалуй, только Пселл

³³ *Каждан А. П.* Цвет в художественной системе Никиты Хониата//Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа. М., 1973. С. 132—135.

является в этой области соизмеримым с Хониатом мастером. Герои Хониата — не статичные, со стандартными свойствами, символы пороков или добродетелей, а характеристики историка — не перечень внешних черт. Прежде всего, образ персонажа часто многопланов, сложен, даже противоречив. Таковы Мануил и Андроник: «Так раздражителен, суров и жесток был Андроник; неумолимый в наказаниях, он забавлялся несчастиями и страданиями ближних и, думая погибелью других утвердить свою власть и упрочить царство за своими детьми, находил в том особенное удовольствие. Тем не менее, однако ж, он немало сделал и хорошего, и, при всех своих пагубных свойствах, не был чужд и добрых качеств. Как из тела змеи можно достать драгоценное средство против всех болезней и спасительное противоядие, как среди колючих шипов можно сорвать благоухающую розу, из чемерицы и лютика — добыть приятную пищу для скворцов и перепелов» (Там же. С. 408—409). Не случайно лейтмотивом обрисовки Андроника становится образ Одиссея. При этом главные герои представлены историком в развитии их характеров — они изменяются с изменениями их судьбы.

Взгляды Хониата-историка проникнуты человечностью — человечностью неоднозначных оценок, человечностью сострадания и иронии, умещающихся в едином сознании эпохи рационализма и скепсиса. Воплем души поруганного человека предстает описание разграбления Константинополя: «... всякий должен был опасаться за свою жизнь: на улицах плач, вопли и сетования, на перекрестках рыдания, во храмах жалобные стоны; мужья изнывают от горя, жены кричат, — их тащат, порабащают, отрывают от тех, с кем они прежде были соединены телесно, и насилуют! Знатные родом бродили опозоренными, почтенные старцы плачущими, богатые нищими. Так — на площадях, так — в закоулках, так — в открытых общественных местах, так — и в тайных убежищах! Не было места, которого бы не отыскивали или которое могло бы доставить защиту старавшимся как-нибудь спастись; но везде и все было исполнено всякого рода зол» (Там же. II. С. 323—324). Однако не раз в изображении Никиты Хониата смирение духа — традиционная христианская добродетель — уступает место личной отваге, решительности поступка героя: сам автор во время бегства из столицы вступает за дочь судьи, уведенную завоевателями, и спасает ее, рискуя собственной жизнью. {127} Этические принципы историка воплощались им в творчестве и утверждались в самой жизни.

*

Историки (в целом различных социальных позиций, различного происхождения — таких, как Пселл, Евстафий Солунский или Никита Хониат) роднит то, что их мастерство историка и писателя намного превосходит обычные «стандарты» тривиальных хроник современной им исторической литературы.

И все-таки Пселл и Анна Комнина, Евстафий и Никита Хониат — средневековые писатели и историки, средневековые как по методу исторического и философского видения, так и по своим социально-политическим и художественным принципам. В чем же дело? Думается, ответ может быть двояким. Конечно, тот тип культуры, который представляли византийские историки рассмотренного периода, не идентичен ренессансному. Отмечаемая исследователями и свойственная их произведениям сложность, равнозначность утверждения и отрицания (Пселл, Никита Хониат), не носит, по-видимому, того диалогического характера, который отличает тип культуры итальянского гуманизма. Обязательная дихотомичность картины мира у византийца не «снимается» — как в возрожденческом диалоге — даже имеющей место и в византийской литературе своеобразной игрой антиномий. Античность и христианство — исходный «материал» Ренессанса — не имели в средневековой Византии той исторической дистанции, которая позволила бы включить их в диалог (а для всякого диалога дистанция необходима): оба элемента непосредственно входили в византийскую культуру, как бы современники ни оценивали в ней место каждого из них. Отмечаемые в некоторых случаях черты кризиса средневековой религиозности у отдельных византийских авторов никак не отменяют христианского характера византийской культуры.

Но, вероятно, у проблемы есть и другая сторона. Не слишком ли мы ограничиваем возможности культуры средних веков? Считая ее основными свойствами стереотипность, традиционализм, внеличностную абстрактность и нормативность, не становимся ли сами жертвами стереотипа ее восприятия? Не случайно более пристальное изучение творчества отдельных ви-

зантийских историков — тех же Пселла, Евстафия или Никиты Хониата — нет-нет да и заставляет говорить о «несредневековом», «невизантийском», нетипичном и т. д. в их творчестве. Конечно, эти вершинные достижения средневековой культуры, каковыми является творчество перечисленных авторов, возвышаются над ее общим уровнем. Но ведь и они составляют ее непосредственное содержание. А приняв во внимание тенденции исторического развития средневековья, вряд ли можно настаивать и на маргинальном характере тех элементов культуры, которые не укладываются в ее упрощенную схему, а имеют выход в будущее. С учетом этого средневековая историография, литература, культура в целом оказываются значительно богаче, содержательнее и глубже того явления, по контрасту с которым определяют характерные черты Возрождения. Дальнейшим развитием этих тенденций, пусть не без потерь, стала историческая литература палеологовской эпохи, нередко характеризующейся как «поздневизантийский гуманизм». {128}

5

Литература VIII—X вв.

Изучение литературы может идти в двух направлениях: через описание ее поэтики как совокупности общих принципов художественного отображения действительности, с одной стороны, и через прослеживание ее истории как эволюции содержания и литературных форм — с другой. Вопрос о том, какой из двух названных подходов плодотворнее применительно к византийской литературе VIII—X вв., принципиален постольку, поскольку связан и с историческим, и с историографическим существом проблемы. Поясним нашу мысль. О середине VII—X столетиях правомерно говорится как о времени глубоких перемен в политической, социально-экономической, идеологической жизни империи. Естественно спросить, отразился ли этот общественный перелом на литературе, в первую очередь на ее основополагающих, глубинных характеристиках. Тем самым как бы задается проблематика поэтики. Но выявление черт нового в литературе, возможное лишь в хронологическом контексте традиции, само по себе придает наблюдениям над литературой историческое измерение. Историко-литературный подход и поэтика оказываются, таким образом, тесно переплетенными. Невозможность четко разграничить в рассказе о византийской литературе VIII—X вв. поэтику и историю литературы носит также историографически вынужденный характер. Если о писателях V—VII или XI—XII столетий немало написано как о литераторах, то об авторах VIII—X вв. так не скажешь. Даже самые известные из византийских сочинителей изучаемого периода (например, Иоанн Дамаскин, патриарх Фотий, венценосные литераторы Лев VI и Константин VII Багрянородный) литературоведчески, по сути, не изучены. Столь неутешительный вывод может быть распространен не только на отдельные имена, но и на целые жанры, например на наиболее продуктивные в это время агиографию и историческую литературу. Систематический анализ литературного процесса оказывается в итоге делом будущего. То, что современный исследователь в состоянии предложить читателю,— скорее некоторые ориентиры в изучении византийской литературы, нежели конечная цель, на которую эти ориентиры направлены.

Что же принципиально отличает литературу средневизантийского периода, особенно в его начальной фазе (середина VII — середина IX вв.), от предшествующей? Обратимся прежде к некоторым общим характеристикам литературной ситуации. Хорошо известно, что на протяжении первой половины VII в. Византия лишилась в результате арабских завоеваний ряда древних культурных центров: Александрии, Антио- {129} хии, Бейрута, Нисибиса. Эти утраты рассматриваются обычно как общекультурные, что, разумеется, справедливо. Но конкретный масштаб утраченного вырисовывается определеннее, если учитывать понесенные империей потери в отдельных сферах культуры, в частности в литературе. Действительно, с выходом Александрии и Антиохии за политические рубежи империи существенно обедняется литературный ландшафт собственно Византии, ибо от нее отпадают древние литературные и философские школы. Центр литературной жизни перемещается в Константинополь, который древностью своей литературной традиции, естественно, не мог соперничать ни с Александрией, ни с Анти-

охией. Выдвижение Константинополя на первый план имело к тому же и внутривизантийские причины: упадок городской жизни в империи повлек за собой угасание и на ее территории древних очагов культуры (например, Афин). Метрополия усваивала себе монополию на культуру, причем в условиях кризиса: нестабильности политической власти со второй половины VII в. и до начала VIII в., экономического спада, идеологических противоборств на протяжении периода иконоборчества.

Территориальные утраты сказались и на существенной для литературы языковой ситуации: основным, если не единственным, литературным языком становится греческий. Уходят в прошлое давние связи грекоязычной литературы с литературой сирийской и коптской. При императорском дворе в Константинополе не пишут более, как во времена Кориппа (VI в.), латинских стихов. Гомогенизация литературного языка Византии с середины VII в. — факт общеизвестный. Впрочем, от внимания исследователей ускользало, как правило, другое, связанное с вышеназванным, обстоятельство: замыкание византийской литературы в греко-язычной традиции сформировало одну из специфических характеристик средневековой греческой литературы — отсутствие, по крайней мере до XIII в., литературы переводной. Если литературное многоязычие ранне-византийского периода, именно в силу многоязычия, не делало проблему перевода злободневной, то в последующую эпоху проблема, по всей вероятности, вообще не осознавалась как существующая. Эта черта отличает византийскую литературу от других средневековых литератур, например армянской, славянских, да и латиноязычной также. Приписываемая Иоанну Дамаскину (ок. 650—750) «Повесть о Варлааме и Иоасафе» (в ее основе христианская переработка жития Будды, пропагандирующая идеалы монашеской жизни) едва ли противоречит высказанной оценке. Периферийность творчества Иоанна Дамаскина для империи вызвала в недавнее время вполне понятное сомнение в его безусловной принадлежности византийской литературе VIII в.¹, во-первых, а во-вторых, атрибуция греческой версии «Повести» Иоанну Дамаскину или Евфимию Ивиру (начало XI в.) продолжает обсуждаться специалистами². Как бы {130} то ни было, возобладать даже традиционная точка зрения на авторство Иоанна Дамаскина, переложение «Повести» на греческий язык сделано, таким образом, в Дамаске, т. е. все же в иной, нехарактерной для Византии VIII в., языковой и культурной среде.

Самодостаточность византийской литературной традиции тем более поражает, что со второй половины IX в. начинается эпоха «радиации» византийской литературы за пределы империи, стоит только вспомнить о латинских переводах Анастасия Библиотекаря в 60-е годы этого столетия или о приходящемся на это же десятилетие начале длительной и плодотворной славянской переводческой деятельности. Разумеется, сказанное имеет отношение, в первую очередь, к характеристике литератур, воспринимавших византийское наследие, но подумать о значении этого процесса для оценки собственно византийской литературы нелишне.

Изменения, обозначившиеся в византийской литературе анализируемого периода, коснулись и облика писателя. Имена византийских авторов VI — начала VII в. недвусмысленно указывают на их неконстантинопольское происхождение: Иоанн Малала, Прокопий Кесарийский, Феофилакт Симокатта, Георгий Писиды — не составят труда продолжить перечень в этом же направлении. Если Агафий Миринейский и попал в столицу ребенком, то право он изучал все же в Александрии, что не могло не сказаться на его кругозоре. Напротив, литераторы VIII—IX вв. по преимуществу родом из столицы: константинопольцами были Феофан Исповедник, Феодор Студит, патриархи Никифор и Фотий, Касия, Иоанн Геометр, вероятно, Лев Философ, не говоря уже об императорах Льве VI и Константине VII Багрянородном. Естественные исключения (например, Арефа Кесарийский, родиной которого были Патры) едва ли изменяют и картину в целом, и тенденцию развития. Территориальное сужение империи и возвышение Константинополя ограничили пространственный опыт византийского писателя и его географический горизонт. Феофан Исповедник (ок. 760—818) в своей всемирной (не только в смысле хронологии, но и по географическому охвату событий) хронике обнаруживает локаль-

¹ Эти сомнения высказывались А. П. Кажданом. См.: *Kazhdan A. Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte//JÖB. 1979. Bd. 28. S. 7.* Впрочем, в современной литературе присутствует и другая, традиционная, точка зрения, отстаивающая формальный (по языку) критерий в определении границ византийской словесности. См.: *Schreiner P. Byzanz. München, 1986. S. 82 f.*

² *Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971. S. 35—41.* Ср.: *Повесть о Варлааме и Иоасафе/Подгот. текста, исслед. и коммент. И. Н. Лебедевой. Л., 1985. С. 11, 20—27.*

ный константинопольский партикуляризм³. Обширная географическая литература VI в., представленная разнородными сочинениями (описание мира в «Христианской топографии» Космы Индикоплова, политическая география в «Синекдемесе» Иерокла, прославление строительной деятельности Юстиниана I на территории империи в трактате «О постройках» Прокопия Кесарийского), не получила своего продолжения в последующие три века. Ее возрождение произойдет позже в трактатах Константина Багрянородного (905—959) «О фемах» и «Об управлении империей», но и в них кабинетная ученость преобладает над живыми наблюдениями.

Существенна эволюция социального облика византийского писателя. Среди видных византийских литераторов V — начала VII столетий мы часто встречаем светских лиц — юристов, чиновников на гражданской и военной службе: Прокопия Кесарийского, Агафия, Феофилакты Симокату. Сирийское прозвище Иоанна — Малала — допускает понимание и {131} проповедник, и адвокат⁴. Даже церковная историография V—VI вв. создается в значительной степени силами юристов (судей и адвокатов): Сократа Схоластика, Созомена, Евагрия. Конечно же, сказанным мы не отрицаем роли писателей духовного звания в этот период. И все же светские сочинители выступали с ними, по крайней мере, «на равных». Перемены, произошедшие в течение VIII в., принципиальны. Ведущие писатели рубежа VIII—IX вв. и IX в., как это уже отмечалось в византиноведении⁵, — монахи: Георгий Синкелл, Феофан Исповедник, Феодор Студит, его брат, панегирист и проповедник Иосиф Солунский, автор жития Филарета Милостивого Никита Амнийский, поэтесса Касия, наконец, хронист Георгий Монах. Да и Иоанн Дамаскин, причислять или не причислять его к византийским авторам VIII в., тоже был монахом, начинавшим, правда, свою деятельность службой при дворе калифа в Дамаске. Биографические данные о Георгии Синкелле и Георгии Монахе практически отсутствуют, но то, что мы знаем о других (Феофане, Феодоре, Иосифе, Никите и Касии), уточняет характеристику их общественного положения: речь идет о людях, связавших свою жизнь с монастырем в молодости, а не о тех, кто принял монашеский постриг в зрелые годы или, тем более, перед смертью. Монашеское состояние для них было, таким образом, не просто хронологически длительным, но, по сути, единственным жизненным статусом.

Преобладание монашества в византийской литературе рассматриваемого периода имело для ее развития неформальное значение. Идеология и психология монашества предполагают, в теории, растворение индивидуального в общем. Это принижало роль личностного начала, в том числе и начала творческого. Едва ли приходится удивляться тому, что формула самоуничтожения у таких авторов, как Иоанн Дамаскин, Феофан Исповедник, перерастает в позицию сознательного отказа от индивидуального творчества. Проследим, как такое самоощущение формируется у Иоанна Дамаскина. В преамбуле к своей «Диалектике» он начинает с признания собственной ничтожности: «Зная скудость ума моего и бессилие речи... я посмел взяться за то, что выше сил моих, и дерзнуть невозможное...» (*Jo. Dam. Schriften. Dail. Prooem.* 5—8). Настроение нагнетается далее пространно выраженным приумножением собственных возможностей в сопоставлении с масштабом замысла: «...как я, отмеченный нечестью всяческого греха, заключающий в себе бурное смятение мыслей, не чистый ни разумом, ни помыслами... не обладающий умом, способным соответствовать задуманному, скажу о божественном и неизреченном» (*Ibid.* 21—25). И, наконец, вывод, завершающий размышления Иоанна Дамаскина, сводится к отрицанию личного авторства: «Я не скажу... ничего своего, но, сведя воедино сделанное избранными из учителей, как могу, напишу краткое сочинение» (*Ibid.* 60—63).

Аналогична писательская позиция Феофана, открещивающегося от каких бы то ни было притязаний на индивидуальное авторство. При этом Феофан перестает видеть автора не только в самом себе, но и в {132} своих братьях-литераторах: его «Хронография», построенная в значительной степени на трудах предшествовавших ему историков, практически лишена упоминаний о них⁶. И дело здесь не в нечистоплотности честолюбивого компилятора, замал-

³ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV—начало IX в.) // Древнейшие государства на территории СССР, 1981 год. М., 1983. С. 58—59.

⁴ Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. S. 319.

⁵ Kazhdan A. Der Mensch... S. 12; *Idem.* People and Power in Byzantium. Washington, 1982. P. 101—102.

⁶ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана... С. 38—39.

чивающего свои источники. В конце концов, Феофан честно признается в том, что опирается на литературу прошлого: «И мы, разыскав, насколько это было нам возможно, много книг и изучив их, написали... эту хронографию, ничего не прибавив от себя, но собрав [материал] у древних историографов и логографов» (*Theoph.* 4.8—14). Самостоятельное литературное творчество ко времени Феофана утратило социокультурную значимость, личность автора скрывается за анонимностью изложения, литература словно перестает быть литературой, создаваемой конкретными людьми. Не случайно агиографы того же Феофана (да и не только Феофана) оставляют незамеченной литературную деятельность своего героя⁷.

Ослабление авторского самосознания проявилось не только в изменившейся литературной позиции конкретных писателей. Оно имело следствием и перемены в жанровой структуре византийской словесности. Напомним, литературе протовизантийской поры не был чужд жанр автобиографии (Ливаний, Юлиан Отступник, Григорий Назианзин), не говоря уже о распространённости автобиографических сюжетов вообще⁸. Но именно автобиография не преодолевает хронологического рубежа ранней Византии. Конечно, исчезновение автобиографии из византийской литературы приходится на более раннее, чем VII столетие, время: по видимому, V—VI вв. Однако автобиографические мотивы нередки в литературе VI в. — например, у историков Прокопия и Агафия, чего не скажешь о продолжателях Прокопия и Агафия в историографическом жанре — патриархе Никифоре, Феофане, Георгии Монахе. В истории византийской автобиографии имеется продолжительная лакуна (с V по XIII в.), вызванная, как справедливо отметил современный исследователь, не одним только состоянием рукописной традиции⁹.

На первом этапе средневизантийского периода (середина VII — середина IX в.) изменился удельный вес и других жанров: скромнее, чем прежде, выглядят поэтические жанры, представленные по преимуществу духовной гимнографией таких авторов, как Иоанн Дамаскин и Андрей Критский (ок. 660—740). Последний, подобно Иоанну, также родом из Дамаска. Сохранились ямбические каноны Дамаскина, в которых ветхозаветная образность (спасение при переходе через Красное море, Ева) тесно переплетается с новозаветной (спасение через Рождество Христово, Богородица):

*Ты свой народ избавил древле, господи,
Рукою чудотворною смиряя хлябь:
Но так и ныне к раю путь спасительный
Ты открываешь, девой в мир рождаемый,
Хоть человек всецело, но всецело бог.
Тебя приемлет чрево благодатное,
Неопалимой купины подобие,
И древнее проклятие снимается
С печальной Евы, ибо ныне с образом
И плотью человека сочетался бог.*

(Памятники. IV—IX вв. С. 278.

Пер. С. С. Аверинцева)

Впрочем, объем поэтического наследия Иоанна Дамаскина еще не определен с достоверностью, и даже широко известный (благодаря стихотворному переложению А. К. Толстого) идиомелон на последование отпевания —

*Какая сладость в жизни сей
Земной печали не причастна? —*

фигурирует как приписываемый ему.

Андрей Критский знаменит как автор состоящего из 250 строф «Великого канона», для которого характерен отход от символического толкования конкретных событий «священной истории» в сторону иносказания. Андрей Критский повлиял на дальнейшее развитие церков-

⁷ Чичуров И. С. Феофан Исповедник — публикатор, редактор, автор? (В связи со статьей К. Манго) // ВВ. 1981. Т. 42. С. 80. То же самое можно сказать и об агиографе патриарха Никифора Игнатии.

⁸ Аверинцев С. С. Литература//Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 280, 291, 304.

⁹ Hunger H. Op. cit. Bd. 1. S. 166.

ной поэзии¹⁰, но в целом и литургическую гимнографию VIII в. не миновали утраты: кондак, классиком которого в VI в. стал Роман Сладкопевец, исчезает на протяжении VII—VIII вв.¹¹

В литургическом стихосложении работал и Феодор Студит (759—826) — до нас дошли его идиомелоны, каноны; он возможный редактор Триоди, хотя большую известность принесли Феодору все же написанные ямбами эпиграммы. Им трудно отказать в жизненной наблюдательности:

*О чадо, как не удостоить повара
Венца за прилежанье целодневное?
Смиранный труд — и слава в нем небесная,
Грязна рука у повара — душа чиста.
Огонь ли жжет — гееннский огонь не будет жечь,
Спеша на кухню, бодрый и послушливый,
Чуть свет огонь раздуешь, перемоешь все,
Накормишь братий, а послужишь господу.*

(Памятники. С. 282. Пер. С. С. Аверинцева)

И тем не менее поэтическое наследие Иоанна Дамаскина, Феодора Студита (кстати сказать, поэтический труд не был для них основным литературным занятием) не выдвигает их в ряд таких поэтов по преимуществу, как Григорий Назианзин, Паллад, Нонн Панополитанский, Роман Сладкопевец. Новый этап в истории византийской поэзии открывается, по всей вероятности, деятельностью поэтессы Касии (см. о ней ниже) в середине IX в. Но и это время еще не дает коренного перелома в отношении к поэзии. Чтобы продемонстрировать это, обратимся к творчеству Фотия.

Известно, сам Фотий не был чужд версификаторства: ему принадлежит стихотворное похвальное слово императору Василию I (867—886). Однако о периферийности поэзии для византийского эрудита свидетельствует материал его «Библиотеки». Из 280 описанных в ней книг лишь {134} 5 содержали поэтические произведения (*Photii Bibl. Cod. 167, 175, 183, 184, 279*)¹². При этом упоминание Фотием поэзии в трех из них (*Ibid. Cod. 167, 175, 279*) носит формальный характер, поскольку объясняется только содержанием рассматриваемых Фотием антологий (по преимуществу прозаических) и не выражает его отношения к поэтическому творчеству. По сути дела, поэтическое наследие одной лишь Евдокии, жены императора Феодосия II (408—450), привлекает к себе внимание Фотия: стихотворные переложения ею Октоиха, книг пророков Захария и Даниила, трех книг о мученике Киприане (*Ibid. Cod. 183, 184*) заслуживают благосклонную оценку Фотия. Впрочем, и здесь литературная похвала следует как бы «в обозе» за выдвинутой Фотием на первый план внелитературной характеристикой: сочинения Евдокии, согласно Фотию, «достойны удивления», ибо автор — женщина и царственная особа.

На этом фоне пренебрежительные высказывания о поэтах в анонимном диалоге «Филопатрис» (Патриот), составленном по образцу Лукиановых, вероятно, во второй половине X в.¹³, производят впечатление не столько литературного стереотипа, сколько отзвука реальных представлений того времени о роли поэзии. Действующие лица диалога (Критий и Трифон), обмениваются репликами, не оставляющими места для сомнений; «...если верить поэтам, в жизни на каждом шагу одни чудеса»; «...все, что рассказывают поэты, — вздор, чепуха, сказки»; «...необдуманно, двусмысленно и беспочвенно все, что говорят поэты» (*Филопат. С. 7, 11, 15*). Разумеется, насмешки над поэтами не мешают неизвестному автору обильно цитировать Гомера, Аристофана, Еврипида, но контекст стихотворных цитаций в «Патриоте» все же остается контекстом сатирического диалога. Кстати сказать, позднеантичный сатирик, которому рукописная традиция приписывала авторство «Патриота», не отличался столь нетерпимым отношением к поэзии: рассуждая о различиях между ораторской, исторической, философской и поэтической речью, Лукиан возражал против смешения поэтических и прозаических

¹⁰ Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 103.

¹¹ Аверинцев С. С. Литература. С. 319.

¹² Распределение прочитанных Фотием рукописных книг по хронологии, жанрам, авторам, конфессиональной принадлежности наглядно представлено в кн.: *Treadgold W. T. The Nature of the Bibliotheca of Photius. Wash., 1980. P. 117—184.*

¹³ *Hunger H. Op. cit. München, 1978. Bd. 2. S. 149—151.*

способов выражения, против риторики в историческом изложении, отнюдь не отрицая общности поэтического и исторического вдохновения (*Luc. Hist. Conscr. Cap. 8; 22; 7, 43; 45*).

Изменение взгляда на поэзию в VIII—X вв. еще отчетливее проявляется при сопоставлении с позицией авторов VI—VII вв. Лакоична, но лишена предвзятости оценка Прокопия Кесарийского, классифицировавшего виды литературы по их специфическим признакам: «Риторике подобает красноречие, поэзии — вымысел, а историку — истина» (*Procop. V. P. I. 1.4*). Младший современник Прокопия, поэт и историк Агафий, идет дальше, подчеркивая родство поэзии и истории (*Agath. Praef. 6.1—3*). В начале VII в. Феофилакт Симокатта помещает на страницах своего труда не чуждую экзальтации, лестную характеристику поэтов: историк считает их первыми, кто прославился в воспитании людей, овладевал их душами, жаждущими чудесных сказаний; в руководств-^{135}ве душами Симокатта, сравнивает поэтов с богословами; согласно Феофилакту, боги нисходят к поэтам и их устами обращаются к людям (*Theoph. Sim. Hist., Praef. 11—12*). То, что было естественно в VI—VII вв., утратило силу в последующие столетия.

Сходным образом и отношение к риторической прозе стало в VIII—IX вв., по всей видимости, прохладным. Если Феофан лишь бесхитростно признавался в «затрудненности (собственной.— *И. Ч.*) речи» (*Theoph. 4. 3*), то Фотий уже строго порицал Симокатту за излишнее украшательство стиля: «Слог Феофилакта не лишен приятности, хотя чрезмерное употребление образных выражений и иносказаний доходит у него до высокопарности и безвкусицы. Да и неуместное употребление изречений есть признак избыточного и неумеренного честолюбия» (*Photii Bibl. cod. 65*). Современник Фотия, Георгий Монах, вторит ему, решительно декларируя в преамбуле к своей «Хронографии»: «Лучше в истине быть гугнивым, чем во лжи Платоном красноречивым» (*Georg. Mon. 2.9—10*). Нельзя, однако, не отметить труднопередаваемую игру глагольными окончаниями (*ψελλιζειν — πλατωνίζειν*), рождающую сомнения в искренности сказанного хронистом. Между прочим, и проникновение норм разговорной речи в литературный язык приходится на средневизантийский период: например, в сочинениях Феофана и Константина Багрянородного.

Небогата историческая литература VIII—IX вв., которая исчерпывается, если не считать «Бревиария» патриарха Никифора, хронистикой — трудами Георгия Синкелла, Феофана Исповедника и Георгия Монаха, причем хронографии первых двух авторов, по замыслу Георгия Синкелла, должны были составить одно сочинение. Лучше обстоит дело с эпистолографией, хотя и она представлена немногими именами: прежде всего Феодора Студита (более 550 писем) и патриарха Фотия. Постулировавшийся ранее расцвет агиографии в первый (730—787) и второй (815—843) периоды иконоборчества, очевидно, приходится на более позднее время¹⁴. Развитие церковно-полемической литературы (трактаты Никифора и Феодора Студита) стимулировалось спорами иконоборцев и иконопочитателей, а также разногласиями между константинопольским и римским престолом. Вообще конфессиональная поляризация на протяжении первого и второго периодов иконоборчества привнесла в литературу VIII—IX вв. черту, отличающую ее от литературы ранневизантийской, для которой был характерен вероисповедально индифферентный тип образованного человека¹⁵. Вспомним, что даже в VI в. отношение, например, Прокопия к христианству было настолько не выраженным в его сочинениях, что давало порой повод исследователю прошлого сомневаться в христианстве Прокопия, а современного византиниста заставляло обосновывать его специальными доводами¹⁶. Иначе в литературе VIII—IX вв.: полемика с иконоборцами способствовала кристаллизации ортодоксальной точки зрения и размежеванию позиций между отдельными группировками в литературе той эпохи. Полемичность времени обоб-^{136}рачивалась нетерпимостью оценок даже в кругу единомышленников: иконопочитатель Феофан Исповедник мог резко осуждать иконопочитателя Феодора Студита (см. об этом ниже), а последний не обошел стороной в похвальном слове

¹⁴ Ševčenko I. *Hagiography of the iconoclast period/Iconoclasm*/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977. P. 116, 119.

¹⁵ Аверинцев С. С. *Литература*. С. 273.

¹⁶ Veh O. *Prokops Verhältnis zum Christentum //Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur*. B., 1981. Bd. 125. S. 579—591.

Феофану неискушенность святого «в утонченной мудрости» и ошибочность его позиции в церковных спорах о браке императора Константина VI (780—797) ¹⁷.

Файл byz137g.jpg

Архангел Гавриил, 867.

Собор св. Софии. Константинополь.

Мозаика на южной галерее свода вимы.

Имея в виду развитие византийской литературы в VIII—IX вв., мы говорили до сих пор преимущественно о внешних факторах, характеризующих ее: утрате империей старых культурных центров, изменении языковой ситуации, социального облика писателя, наконец, о соотношении жанров. Элементы нового прослеживаются, однако, и в содержании, если коснуться, к примеру, вполне академичной для литературоведения проблемы — проблемы положительного героя. В целом становлению византийской литературы присущ постепенный отказ от изображения сложности и противоречивости природы человека в пользу парадигматического идеала, определяемого набором отвлеченных от конкретности достоинств и недостатков ¹⁸. Собственно эволюция литературного героя заключается при таком подходе не в создании нового литературного образа неповторимой индивидуальности, но в изменяемости самого каталога добродетелей и пороков, с одной стороны, и конкретных носителей этих качеств — с другой. Было бы досадным упрощением видеть, как это иногда случается в византиноведении ¹⁹, идеального героя Византии только в святом. Такому взгляду противоречит, по крайней мере, официальная императорская идеология, предназначенная во всех ее литературных и внелитературных проявлениях внедрять в сознание подданных представления об идеальном императоре, совсем необязатель-но причисляемом к лику святых. Разумеется, идеальность того или иного императора зачастую оказывалась в предании хронологически ограниченной годами его правления. И все же византийские историки и риторы из столетия в столетие трудились над созданием идеализированного императорского портрета в литературе. Что за беда, если литературный портрет порой весьма отдалялся от оригинала. Идеализация образа императора так или иначе осознавалась как необходимость — и литературная, и идеологическая. Известно, сколь негладкими были, например, отношения между Василием I и Львом VI (886—912), но это не помешало последнему создать идеальный образ своего отца в монодии на его смерть — образ, получивший дальнейшее развитие в сторону идеализации у Константина VII в «Жизнеописании Василия I».

Вместе с тем фигура собственно византийского святого как идеального героя не оставалась неизменной константой на протяжении веков, и агиография IX—X вв. — тому пример. Уже отмечалось, что многие византийские святые происходили из богатых семей либо располагали важными связями ²⁰. VIII—X столетия выдвинули в герои житий ряд крупных церковных иерархов (константинопольских патриархов Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия, Игнатия, Евфимия), известных исповедников веры (Феофана, Феодора Студита). Это уже не агиографический герой в духе св. Антония, борющегося с искушением вдали от мирской суеты. Напротив, святые VIII—X вв. совсем нередко в гуще столичных событий и противостоят вполне конкретным историческим персонажам с иными, чуждыми святым, взглядами и убеждениями ²¹. Агиография не исчерпывается более идеалом личного спасения святого, но прославляет и отстаивание им правой веры. Сказанное, впрочем, не означает полного исчезновения из житийной литературы традиционного героя — провидца, чудотворца, многотерпеливого столпника (Василий Новый, Илья Новый, Лука Стилит). И все же житие щедрого богача, раздающего свое имение бедным и, подобно Иову, безропотно переносящего выпавшие на его

¹⁷ *Van de Vorst Ch.* Un panégyrique de S. Théophane le Chronographe par S. Théodore Studite//AB. 1912. T. 31. P. 22.30—31; 23.16—22.

¹⁸ *Kazhdan A.* People... P. 106.

¹⁹ К этому склоняется, например, И. И. Шевченко: «Идеальный человек Византии не был ни государем, ни полководцем, ни придворным, ни ученым, ни купцом, но — святым...» См.: *Ševčenko I.* Storia letteraria // La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Bari, 1977. P. 115.

²⁰ *Ibid.* P. 116.

²¹ Представление о том, что «агиографический герой был полным отрицанием... всяческой человеческой активности» (*Kazhdan A.* People... P. 108), видимо, нуждается в коррекции.

долю испытания (Филарет Милостивый), рассматривается современным исследователем как анахронизм для своего времени (20-е годы IX в.), хотя и на основании лишь стилистических критериев²².

Эволюция литературного героя проходила в VIII—X вв. не только по линии изменения его социального облика и общественной позиции. Изменялся набор черт, выдвигавшихся в качестве идеальных. Показательна в этом смысле трансформация образа идеального императора. Анализ «княжеских зерцал» («княжеских», конечно же, условно, поскольку речь в них идет об идеале императора) показывает, что на протяжении VII — первой половины IX в. они утрачивают вполне традиционные для идеализированного облика императора черты: воинские доблести, образованность; преодолевается представление о двойственной природе императора (божий избранник и одновременно человек, равный перед лицом бога своим подданным); исчезают портретные характеристики; {138} определяющим в парадигме монарха становится его благочестие. Предельное развитие эти тенденции получили в «Хронографии» Феофана²³. С конца IX в. (в «Учительных главах» Василия I) и на протяжении X в. происходит дальнейшее преобразование литературного героя. В каталог императорских добродетелей возвращается образованность; хотя и осторожно, но затрагивается тема знатности по происхождению²⁴; выдвигается на передний план функция императора — блюстителя закона²⁵. Древность знатного происхождения, подкрепляемая ложной генеалогией, становится легитимным элементом литературного портрета в монодии Льва VI на смерть Василия I, а позже и в «Жизнеописании Василия I», принадлежащем Константину VII Багрянородному. По ходу X столетия в литературные герои выдвигаются полководец (например, Никифор Фока (963—969) у историка Льва Диакона) и аристократ²⁶. Как видим, в VII—X вв. имела место существенная для истории византийской литературы эволюция литературного героя, будь то агиографический герой или идеальный император.

Проблема положительного героя решалась византийской литературой не только в плане изменчивости его нравственных и социальных характеристик. Она имела и конкретно-историческое измерение, отразившееся в исторической прозе IX—X вв. Если в начале IX в. идеалы хрониста Феофана лежали в далеком прошлом и его безусловным героем был император Константин Великий (324—337)²⁷, то с течением времени ситуация эволюционировала. В 60-е годы IX в., судя по «Хронографии» Георгия Монаха, интерес к Константину I ослабевает: в повествовании Георгия о правлении равноапостольного императора последний заметно потеснен рассказом о папе римском Сильвестре I (314—335) и других, не связанных с Константином I, сюжетах (*Georg. Mon.* 481.21—533.20). Более того, хронист создает парадигму, как бы уравнивающую идеализированный Феофаном образ. В изложении Георгия император Феодосий I (379—395), вполне сопоставимый по интенсивности положительных эпитетов с Константином I, уподобляется ему и символически: при вступлении на престол Феодосию, который был очень высок ростом, не подходили императорские одеяния его предшественников, и лишь облачение Константина Великого было ему впору (*Ibid.* 563.21—25).

В этой же связи отметим и роль Александра Македонского, отведенную ему Георгием. Хронист избирает его правление как композиционный рубеж своего сочинения: «Начав от Адама и дойдя до кончины Александра, вкратце начнем снова от Адама...» (*Ibid.* 4.3—5). Дважды возвращается к рассказу о нем (*Ibid.* 25.13—39.20; 284.16—285.22). Наконец, периодизация всемирной истории, завершающая труд Георгия, использует как одну из хронологических вех царствование Александра Македонского наряду с царствованием Константина (*Ibid.* 804.12—17). {139} Подчеркнем: среди источников Георгия — «Хронография» Феофана, отмеченная иной ценностной ориентацией. Тем примечательнее перемещение акцентов в хронике Георгия Монаха.

²² Ševčenko I. *Storia letteraria*... P. 163.

²³ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана... С. 64—79.

²⁴ Чичуров И. С. Традиция и новаторство в политической мысли Византии конца IX в. // ВВ. 1986. Т. 47. С. 96—97, 99.

²⁵ Čičurov I. *Gesetz und Gerechtigkeit in den byzantinischen Fürstenspiegeln des 6.—9. Jahrhunderts* // *Cupido legum*/Hrsg. von L. Burginann u. a. Frankfurt a. Main, 1985. S. 44—45.

²⁶ Kazhdan A. *People*... P. 110—111.

²⁷ Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана... С. 113—114, 134.

Картина, по всей вероятности, не оставалась неподвижной и столетие спустя. Как бы то ни было, во второй половине X в. так называемый Лев Грамматик во всемирной хронике не упускает возможность, несмотря на позитивную в целом оценку Константина I, указать на половинчатость его мероприятий в сравнении с деятельностью Феодосия I: «Сей Феодосий до основания разрушил все те храмы эллинов, которые Константин Великий не разрушил, но приказал лишь закрыть» (*Leon. Gramm.* 102.8—10). Да и характеристика едва ли сопоставимого с ним императора Маркиана (450—457) Львом Грамматиком едва ли уступит у него совокупным эпитетам Константина I (*Ibid.* 111.6—10).

Говоря о конкретном воплощении парадигмы в X в., нельзя забывать и о следующем: инспирированная Константином Багрянородным историческая литература («Генесий», Продолжатель Феофана) настойчиво выдвигала вперед фигуру Василия I как идеального василевса. Разумеется, ни «Генесий», ни Продолжатель Феофана не являлись составителями всемирных хроник, и исторический фон их сочинений не простирался до эпохи Константина I, но начинали они свое изложение все же с того, чем кончил Феофан Исповедник (события 813 г.), продлевая во времени созданную именно им галерею императорских портретов. То, что «Генесий» и Продолжатель Феофана хронологически примыкают к «Хронографии» Феофана, имеет, очевидно, неформальное значение, поскольку и тот, и другой могли избрать отправным пунктом 843 г., на котором остановился Георгий Монах (с его хроникой, как известно, был знаком, по крайней мере, «Генесий»). Кстати, и инициатор этих, дошедших до нас анонимно, трудов (Константин Багрянородный) сам весьма почитал Феофана, считая необходимым причислять себя к его родственникам. Тем самым Константин I в изображении Феофана едва ли был величиной неизвестной для творцов образа Василия I, а значит, правомерно и соотнесение первого христианского императора с основателем Македонской династии в едином контексте размышлений об изменчивости конкретно-исторического репертуара положительных героев в византийской литературе.

И еще одна тема, помогающая определить водораздел между двумя периодами в истории византийской литературы (ранневизантийским и средневизантийским), а также известную динамику в рамках последнего из них. Как это ни странно, но тема «войны и мира», вопреки ее непреходящей злободневности, едва ли пользуется популярностью в византиноведении. Между тем отношение византийцев к этому извечному сюжету не оставалось неизменным. Свидетельством могут служить расхождения в позициях авторов VII и начала IX в. Вспомним, что писал о войне, например, Георгий Писиды во второй поэме «Персидская экспедиция» (*Georg. Pisid. Exp. Pers.* II, 122—124):

*Но вот овладевает мной желание
Узреть усладу изготровки битвенной
И ужасы воспеть, не зная ужаса...*
(Пер. М. Л. Гаспарова)²⁸ {140}

В «Шестодневе» Писиды, обращаясь к богу, призывает его дать Ираклию «властвовать над всей землей под солнцем», сделать императора «всемирным властителем» (*PG.* T. 92. Col. 1845—1852). Не составит труда найти схожие с этими строки в поэмах Писиды, где автор дает волю своей радости в связи с победами ромейского оружия. Впрочем, приведенного, должно быть, достаточно, чтобы понять: поэтический апофеоз войны не претил византийскому автору VII в. Аналогичные настроения можно наблюдать и у современника Писиды Феофилакта Симокатты.

Не так было в начале IX в. Хронист Феофан не склонен рассматривать военные успехи первых императоров-иконоборцев Льва III (717—741) и Константина V (741—775) как их положительную характеристику²⁹. Воинские доблести императора, о чем уже говорилось, не входят у Феофана в набор идеальных качеств василевса. Хронист, когда речь заходит о мире, не останавливается перед осуждением даже тех, кто, подобно ему, был иконопочитателем. В 813 г. император Михаил I (811—813) перед лицом болгарской опасности держит совет о мире с ханом Крумом. Феофан сообщает о неблагоприятном исходе совета: «Патриарх и митропо-

²⁸ Цит. по: *Аверинцев С. С.* Литература. С. 329, где ошибочно дана ссылка на «Аварскую войну» Георгия Писиды.

²⁹ *Чичуров И. С.* Место «Хронографии» Феофана... С. 120—123.

литы вместе с императором приветствовали мир, но злые советчики вместе с Феодором, игуменом Студийского монастыря, отвергли его... не ведая, что говорят и что утверждают» (*Theoph.* 498. 18—24).

Позиция, как видим, изменилась. Ее теоретическим выражением на исходе IX столетия были «Учительные главы» Василия I, наставлявшего будущего императора Льва VI в том, как следует крепить мир в духе евангельской заповеди «блаженны миротворцы», и посвятившего этому сюжету отдельную главу, а о полководческих обязанностях монарха не упоминая совсем (PG. Т. 107. Р. XLV В—С). В конце IX в. идеологический контекст становится, очевидно, противоречивее, и созданный в 885—886 гг. юридический памятник «Исагога» вменяет императору в обязанность не только хранить безопасность принадлежащего империи, но также возвращать утраченное ею и приобретать отсутствующее (Eis. II. Cap. 2).

Литературное возрождение военной тематики находим во второй половине X в., прежде всего в составленной из 1039 двенадцатисложников поэме Феодосия Диакона на захват Крита (961 г.) в правление Никифора Фоки. Традиционная и небезболезненная для византийской общественной, политической и юридической мысли проблема соотношения древнего и нового Рима (Константинополя) решается Феодосием в пользу столицы империи именно в военном ключе:

*О древний Рим! Кичиться полководцами
Не смей пред Римом Новым, их не сравнивай
С владыкой нашим: даже Сципиона блеск
Померк и славу потерял извечную.*

(Пер. Л. А. Фрайберг) ³⁰ {141}

Известно, что на Феодосия нередко смотрят как на подражателя Георгия Писиды ³¹. Сам автор сравнивал себя с Гомером, и, конечно, возвращение в литературу позитивного отношения к теме войны можно было бы отнести на счет литературных образцов того же Феодосия Диакона.

Однако, помимо того, что показателен и самый выбор определенных образцов в определенное время, в пользу актуализации военной тематики на протяжении IX—X вв. говорит и другое наблюдение — над памятниками, по содержанию и жанру не связанными с уже упоминавшимися конкретными сочинениями.

В византийской агиографии особое место занимает житийная традиция, имеющая героем апостола Андрея Первозванного. Важность этой традиции для Константинополя объясняется причинами, лежащими за пределами литературы (апостол Андрей считался основателем константинопольской епископской кафедры), но сами жития Андрея, естественно, принадлежат жанру агиографии. Христианская миссия апостола Андрея заключалась, согласно житийному преданию, в распространении «евангелия мира». И действительно, «Деяния апостола Андрея» конца VII — начала VIII в. повествуют о том, как он нес народам «евангелие мира», возвещал «народу благочестивым законом мир» и т. д. (Acta Andreae. 4.6—7; 12, 30; 19.18.24.2—7). От первой половины IX в. сохранилось житие Андрея, составленное монахом константинопольского Каллистратова монастыря Епифанием, который, в свою очередь, продолжил рассказ о христианской миссии мира Андрея (PG. Т. 120. Col. 221, 228, 233, 241). Но вот в начале X в. один, из плодовитейших проповедников и агиографов своего времени, Никита Давид, опускает в панегирике Андрею (PG. Т. 105. Col. 53—80) эту традиционную для повествований об апостоле тематику. Тем самым и в рамках анализируемого периода происходили тематические сдвиги. Разумеется, мы не пытаемся упрощать ситуацию: пунктиром нами лишь намечена тенденция в развитии одной из тем.

Современником Никиты был, к примеру, патриарх Николай I Мистик (901—907, 912—925), в обширном эпистолографическом наследии которого самый крупный цикл писем (послания болгарскому царю Симеону) содержит идею мира как лейтмотив ³².

До сих пор мы говорили о литературе средневизантийского периода (середины VII—X в.) по преимуществу как о целостном этапе в ее развитии. Однако три с половиной столетия

³⁰ Цит. по: Фрайберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета, IX—XV вв. М., 1978. С. 77.

³¹ Kazhdan A. People... P. 107.

³² Любарский Я. Н. Замечания о Николае Мистике в связи с изданием его сочинений//ВВ. 1986. Т. 47. С. 104.

не лишены и внутренней динамики, кстати сказать, не укладывающейся в узкие рамки условного понятия «Македонский ренессанс». В самом деле, существо изменений, имевших место с середины IX и на протяжении X в., не исчерпывается обращением к грекоязычному наследию, как языческому, так и христианскому. Внутренний рубеж средневизантийского периода по традиции принято проводить в середине IX в. Впрочем, последние полтора десятилетия отмечены в византиноведении попытками переместить эту границу к началу IX в. на основании стилистического (в узком, лингвистическом, смысле) критерия и в связи с двумя византийскими авторами — патриархом Никифором³³ и агиографом Игнатием³⁴.

Файлы byz143_1g.jpg

Христос из Сошествия во ад.

1042—1056. Неа Мони, Хиос.

Мозаика в нише нартекса.

byz143_2g.jpg

Адам и Ева из Сошествия во ад.

1042—1056. Неа Мони, Хиос.

Мозаика в нише нартекса.

Эти попытки не убеждают. Во-первых, одного стилистического критерия (тем более понятого узко) явно недостаточно для описания сложного, не только литературного, но и общекультурного явления. Во-вторых, классификация византинистом стиля Никифора как ориентированного на Ксенофонта (точнее, ее культурно-историческое значение) должна быть уравновешена весьма сдержанной оценкой «Бревиария» современником константинопольского патриарха. Придирчивый стилист Фотий дает в «Библиотеке» оценку «Бревиарию», пожалуй, недостаточную для представления о переломном моменте в истории византийской культуры. Фотий признает риторические достоинства за трудом Никифора; ему, очевидно, симпатично в Никифоре то, что тот — сторонник «испытанной {143} старомодности» и «избегает новшеств». Но обрамляют характеристику Никифора в «Библиотеке» вводные слова Фотия («слог прост и ясен») и заключительный вывод: «В целом он, возможно, и затмил бы этим историческим сочинением многих из своих (предшественников.— *И. Ч.*), если бы ни казалось, что из-за чрезмерной краткости он не достигает совершенной красоты» (*Photii Bibl. Cod. 66*). Наконец, жития, созданные агиографом Игнатием (он, вероятно, был еще жив в 846 г.), датируются временем после 842 г.³⁵, т. е. серединой IX в. Еще и еще раз сошлемся на мнение самих византийцев, видевших именно в 40-х годах IX в. определенный культурно-исторический рубеж. Считающийся легендарным рассказ Георгия Монаха о том, как император Лев III сжег в Константинополе школу «вселенского учителя», завершается отнюдь не легендарной констатацией: «И вот с тех пор (с правления Льва III.— *И. Ч.*) знание наук в Романии стало редкостью... вплоть до дней честных и благочестивых императоров Михаила и Феодоры» (*Georg. Mon. 742.19—22*).

О каких же переменах в византийской литературе середины IX—X в. можно говорить, имея в виду принципиальные. Прежде всего, с середины IX в. возрастает совокупная творческая активность, проявившаяся не только в количестве написанного, хотя даже объем созданного со второй половины IX и на протяжении X в. не идет ни в какое сравнение с тем, что нам известно о литературе середины VII — начала IX в. Важнее, впрочем, другое — гораздо полнее жанровая обеспеченность литературы: в ней присутствуют поэзия, в том числе и эпос, обширная агиография и эпистолография, риторика; широко представлена энциклопедическая литература самых разных образцов; историческая литература этого времени дает и хронистику (Георгий Монах), и историографию («Генесий», Продолжатель Феофана, Лев Диакон). В литературе задает тон писатель-«полигистор», работавший одновременно в разных жанрах. Преподававший логику, диалектику, философию и математику, Фотий в своем литературном наследии — богослов (направленный против латинян трактат «Мистагогия»), церковный полемист (напри-

³³ *Speck P. Versuch einer Charakterisierung der sogenannten Makedonischen Renaissance//Les pays du Nord et Byzance (Scandinavie et Byzance)/Red. par R. Zeitler. Uppsala, 1981. S. 239—241.*

³⁴ *Ševčenko I. Storia letteraria... P. 162—163.*

³⁵ *Ševčenko I. Hagiography... P. 122—123, 125.*

мер, полемика с павликианами), экзегет («Амфилохии» — сборник вопросов и ответов, в большинстве случаев на богословские темы), панегирист, эпистолограф, собрание писем которого обширно, собиратель пословиц, лексикограф и, наконец, автор монументального энциклопедического труда «Библиотека», объединившего описание более чем трехсот сочинений греческой древности и средневековья.

Не с такой степенью полноты, как у Фотия, но все же различные направления литературной деятельности представлены в творчестве его младшего современника Арефы Кесарийского: наряду с богословскими сочинениями (комментарии к отцам церкви, трактаты по догматике, полемика, комментарий к «Откровению»), многочисленные речи и письма, эпиграммы. Размах предпринятого лично Константином VII Багрянородным и его соратниками ошеломляет: энциклопедические труды в 53 областях знаний, где, помимо хорошо известных трактатов «Об управлении империей», «О фемах», «О церемониях византийского двора», фигурируют сборники «О посольствах», «О добродетелях и пороках», {144} «О засадах», «О полководческом искусстве», «О публичных речах»; собрания материалов по медицине, зоологии и сельскому хозяйству; собственно литературные произведения — «Жизнеописание Василия I», письма и речи, литургическая поэзия. Мы упоминаем все это, отнюдь не причисляя каждую из составляющих обширного перечня к литературе в строгом смысле слова, но лишь для того, чтобы показать, насколько даже внешне изменилась и ситуация сама по себе, и люди, ее создававшие.

Конечно, выделяя отличительные признаки в литературе середины IX—X в., нельзя обойти стороной возрождение активного интереса к древности. Естественным свидетельством такого интереса считают обычно «Библиотеку» Фотия, вобравшую в себя немало памятников античной литературы: из 280 кодексов, описанных Фотием, 87 приходятся на авторов V в. до н. э.— II в. н. э.³⁶. Но не только формально-количественные показатели говорят о возвращении античного пласта в литературу. Лев Философ, например, обращается в эпиграммах как к философам-неоплатоникам (Порфирию и Проклу), так и к Эпикуру, причем к последнему не в духе упрощенного гедонистического стереотипа:

*Ты благосклонна, судьба, Эпикурову мне безмятежность
В дар уделяя сладчайший и душу спокойствием теша...*

(Памятники. С. 284. Пер. Ф. А. Петровского)

Если в начале IX в. прообразом и параллелью к современности для Феофана служили события ветхо- и новозаветной истории, а парадигмой нечестивого императора для хрониста был библейский Фараон, то в конце X в. Лев Диакон создает портрет своего героя (Никифора Фоки), прибегая к сопоставлению с Гераклом, а повествование о второй половине X в. связывает с древними временами (эпохой Ахилла, Менелая, Александра Македонского) (*Лев. Диак.* С. 29, 45, 78, 79, 89). И все же обращение к античности в IX—X вв. не означало воспроизведения в византийской литературе античного мироощущения, систем ценностей, образности и т. д. Оно носило собирательно-антикварный характер³⁷. Определяющее для византийского политического мышления понятие *τάξις*, активным приверженцем которого был, между прочим, и Фотий³⁸, как нельзя более отвечает смыслу поворота к античности в IX—X вв.: наведение большого порядка в собственном культурном багаже.

Заметны и различия в социальном облике византийского писателя середины IX—X вв. по сравнению с предшествующим периодом. Фигура «профессионального» монаха перестает быть преобладающей в литературе. Применительно к середине IX—X вв., безусловно, сохраняет силу наблюдение над тем, что «в Византии несущий и потребляющий литературу слой... во многих отношениях тождествен политически ведущему слою»³⁹. Действительно, не говоря уже об императорах Льве VI и {145} Константине VII, судьбы ряда ведущих литераторов этого времени были переплетены с жизнью императорского двора. Фотий возглавлял до своего патриаршества императорскую канцелярию, а при Василии I становится и воспитателем будущего

³⁶ *Treadgold W. T.* Op. cit. P. 177—178.

³⁷ *Kazhdan A.* People... P. 113.

³⁸ См., например, в послании Фотия Михаилу Болгарскому: *Photii ep. et amph.* Vol. 1. 23.674—24.705.

³⁹ *Beck H. G.* Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis // *Sitzungsberichte der Österr. Akademie der Wiss. Phil.-hist. Kl.* 1974. Bd. 294. 4. Abhandlung. S. 14.

василевса Льва VI; патриарх Николай I Мистик служил императорским секретарем. Арефа являлся митрополитом Кесарии, а агиограф Игнатий — Nikei. Поэт Иоанн Геометр был высоким военным чином при императоре Никифоре II.

Перемены намечались, видимо, и в авторской позиции. Лев Диакон, принадлежавший дворцовому клиру и сопровождавший Василия II в болгарском походе 986 г. как императорский дьякон, отдает дань историографической традиции, повторяя в начале своей «Истории» рассуждения Агафия и Прокопия о важности и необходимой правдивости исторического повествования, его отличиях от риторики и поэзии. И вместе с тем Лев внедряет в ткань стереотипного изложения элемент автобиографизма: «Я... Лев, сын Василия, родина моя — Калоз, прекраснейшее селение Азии, расположенное у холмов Тмола, близ истоков реки Каистра, которая, протекая мимо Кельвиана, доставляет своим видом усладу зрению и, разлившись, впадает в залив знаменитого и славного Эфеса» (Там же. С. 7—8. Ср.: С. 166). Хотя Лев Диакон и не обходится в описании своей родины без слов Гомера (Илиада, II, 461), он все же считает нужным упомянуть о своем, и именно своем, происхождении.

За несколько десятилетий до Льва Диакона — в самостоятельное правление Константина Багрянородного (945—959) — еще была возможна писательская установка, граничащая с анонимностью. Скупая преамбула к «Царствам» «Генесия» содержит лишь общие места б пользе истории для потомства да обращение к венценосному заказчику сочинения — Константину VII (*Genes.* 1978. P. 3.3—21). Черты авторской индивидуальности, как уже отмечалось в византиноведении⁴⁰, проникают на протяжении X в. и в другие литературные жанры: агиограф Василия Нового и ученик святого Григорий вкрапляет в житие своего героя автобиографические детали.

Судьба отдельных жанров и видов литературы в середине IX—X в. также обнаруживает известное движение. Расцвет житийной прозы заключался не только в обилии, но и в разнообразии созданного за этот период. Наряду со святыми-иконопочитателями, крупными иерархами, о которых было сказано выше, в агиографии появляются светские персонажи, конфессионально ничем не выделяющиеся, — женщина, умершая от побоев своего мужа, заподозрившего ее в измене («Житие Марии Новой»). Созданию отдельных житий сопутствует унификация всего агиографического жанра, и что примечательно, светским лицом. Симеон Метафраст, достигший чиновных высот (он был логофетом дрома уже при Никифоре Фоке и лишь в конце жизни, вероятно, принял монашеский постриг), составил на все праздники святых в течение года сборник из 148 текстов, подвергнув отобранные жития такой стилистической обработке, которая у современного исследователя получила наименование «стандартизации»⁴¹. Сборник получил широкое распростра- {146} нение в империи, о чем свидетельствует большое (около 700) количество дошедших до нас списков.

Со второй половиной IX в. связывается возрождение в византийской литературе эпоса, если иметь в виду составленную византийским пятнадцатисложником эпическую «Песню об Армурисе»⁴². Исторический прообраз событий, прославляемых «Песней», усматривают в победе 863 г., одержанной Византией над арабами в Малой Азии. Отец и братья Армуриса отправляются в поход, оставив его, по малолетству, дома. Армурис, продемонстрировав матери свою силу, спешит вслед за ними. При переправе через Евфрат он вступает в сражение с сарацинами, одерживает верх, но один из сарацинов похищает коня и палицу Армуриса. Пеший Армурис настигает конного похитителя и мечом отсекает ему руку. Далее изложение переносит читателя ко двору арабского эмира, где в плену содержится отец Армуриса. Эпическое действие повторяется, но теперь уже в рассказе раненого Армурисом сарацина эмиру о поражении арабов. Устрашенный эмир отпускает отца Армуриса, предлагая герою в жены свою дочь. Используемые в греческом тексте «Песни» аллитерации едва ли переводимы:

‘Ο Ἄρμουρης, ο; Ἄρμουρόπουλος, ο; ἄ; ῥέστης ο; ἄ; ἄνδρειωμένος
(v. 74)⁴³

⁴⁰ Каждан А. П. Литература // История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 372.

⁴¹ Ševčenko I. Storia letteraria... P. 165.

⁴² Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur... S. 53—57.

⁴³ Zaras G. Th. Βυζαντινῆ; ποιήσις. Βασικῆ; Βιβλιοθήκη. Ἄθ η; ἄ, 1956. Τ. 1. Σ 30—34.

В середине IX в. открывается новый этап и в истории византийской поэзии. Она перестает быть второстепенным делом немногих литераторов. Мы, разумеется, не забываем, что на первую половину IX в. приходится деятельность, например, не чуждого версификации Льва Математика. Но его стихосложение производит впечатление «умственного»: эпиграммы Льва (на ученые книги Феона и Прокла, «Механику» Квирина, «Астрологию» Павла, «Элементы конических сечений» Аполлония) говорят скорее о читательских интересах и составе библиотеки их автора, чем о живом поэтическом чувстве. Последнее проявилось в творчестве родившейся около 800—805 гг. в Константинополе поэтессы Касии⁴⁴.

Творчество поэтессы Касии пользовалось у византийцев популярностью, но еще большую известность приобрел красивый и грустный рассказ о Касии как о несостоявшейся императрице.

Согласно этому рассказу, сохранившемуся в византийских хрониках, мать императора Феофила, желая выбрать сыну достойную супругу, собрала со всех концов империи лучших красавиц. Избраннице Феофил должен был вручить золотое яблоко. Остановив взор на несравненной красоте Касии, Феофил подходит к девушке и, желая испытать ее ум и нрав, задает такой вопрос: «Ведь зло в мире произошло от женщины?» Избранница осмеливается возразить: «Но через женщину произошло и высшее благо». Неожиданная смелость и сообразительность девушки как бы отталкивают от нее Феофила, протягивающего яблоко другой красавице — Феодоре. «Они были обвенчаны патриархом Антонием в храме св. Стефана, — пишет, завершая рассказ об императорских смотринах, Симеон Магистр. — Касия же, потеряв корону, основывает монастырь, {147} в котором проводит иноческую жизнь и, преисполненная мудрости и боголюбия, сочиняет множество произведений» (PG. T. 109. Col. 675)⁴⁵.

Файл byz148g.jpg

*Христос из Евхаристии. Ок. 1108.
Церковь архангела Михаила. Киев.
Мозаика из апсиды (Ныне в музее
при соборе св. Софии в Киеве).*

В немалом поэтическом наследии, дошедшем под именем Касии, не все принадлежит перу поэтессы IX в. К ее популярному имени приобщали иногда произведения других авторов. Случалось, однако, и обратное: когда, отказывая женщине в праве на сочинение литургических поэм, лучшие произведения Касии приписывали другим или они представлялись как анонимные (например, один из лучших ее идиомелонов — полное глубокого драматизма обращение к Христу прозревшей блудницы).

О фактах подобной несправедливости к превосходной византийской поэтессе пишет в XII в. Феодор Продром, относящий к достоинствам ее творчества также способность сочинять музыку к своим литургическим поэмам.

Интерес к незаурядной личности поэтессы, сочинительницы песнопений — явлению не столь частому в греческом как христианском, так и дохристианском мире — не может не вызвать ассоциаций с интересом, питаемым греческим обществом на протяжении веков к загадочной личности Сапфо. Казалось бы, что может быть общего между озаренной лесбосским солнцем поэзией эолийской певицы и обращенными к Христу поэтическими молитвами уединенной в монастырской келье византийской инокини? И все-таки сопоставление столь отдаленных друг от друга явлений единого потока греческой музыкально-поэтической лирики кажется правомерным. Общее между ними — цельность, нерасчлененность человеческого и поэтического, поэзия как непосредственное выражение чистоты и ясности души, чуждая манерности женственность, сочетающаяся с глубокой нравственной силой.

Эта глубина и сила души Касии наиболее ярко выражена в «Каноне на усопших» (Κανὼν ἅ α; ἑναλαύσιμος εἰς τὸ κοίμησιν), произведении, не-{148}сомненно, принадлежащем Касии (имя поэтессы дано в акrostихе). Главный пафос канона, состоящего в соответствии с традицией из девяти од, — волнение за участь тех, кто должен предстать перед богом в день Страшного суда, призыв к проявлению к ним доброты и милости. Рисуя сильными, короткими

⁴⁴ Раздел о Касии написан А. Д. Алексидзе.

⁴⁵ *Литвиц Е. Э.* Очерки истории византийского общества и культуры. VIII—первая половина IX века. М.; Л., 1961. С. 309—338.

строками величие бога, высоты и несоизмеримости силы и мудрости «владыки жизни и смерти», она молит его в день Страшного суда под трубный звон явиться людям в облике не грозного судьи, а доброго спасителя, призывающего их сладостным голосом к вечному блаженству. Глубокое человеколюбие звучит в призыве поэтессы не вершить суд праведным судом, воздавая каждому по заслугам, а прощать прегрешения, «совершенные вольно и невольно», дать восторжествовать своей доброте, разбавив неразбавленный напиток своей чаши добродетелью («ибо на весах тяжесть зла может перевесить добро»).

В сильных и ярких словах и образах канона, в описании паствы, предстающей вместе со зверями и пресмыкающимися перед высшим судьей, в заступничестве поэтессы за них всех, живых и мертвых, робко и смиренно ожидающих приговора, проявляется редкая для византийской литературы этой эпохи высота гуманизма и терпимости. Как далека поэтесса от характерной для других представителей «монастырской» поэзии противопоставления отшельничества (как единственной гарантии высшего блаженства) образу жизни других — мирян, обреченных в будущем лишь на вечные муки.

Любовь к людям, интерес к их жизни, желание помочь им добрым и разумным советом проявляется в другой, «светской» части творчества Касии — в серии гном и эпиграмм. Мысли поэтессы выражаются коротко, емко, образно. Главные мотивы — противопоставление добра и зла, разума и невежества, щедрости и скупости, апология дружбы:

*Когда невежда умствует — о боже мой,
Куда глядеть? Куда, бежать? Как вынести?..
Насколько предпочтительней с разумными
Нужду терпеть, чем богатеть с невеждами!
Так дай же мне, о боже правый, бедствовать
С мужами просвещенными и мудрыми;
Все лучше, чем довольство посреди глупцов!
Доверься в дружбе другу дружелюбному,
Но берегись невежду выбирать в друзья.*

(Памятники. IV—IX вв. С. 319.

Пер. С. С. Аверинцева)

Некоторые мысли по поводу тех или иных человеческих пороков поэтесса вмещает в одностишия, начинающиеся словом «μίσω;» (ненавижу):

*Мне мерзостен доносчик на своих друзей.
Мне мерзостен речистый не ко времени.
Мне мерзостен, кто всем готов поддакивать...*

(Там же)

Короткие и емкие фразы Касии вполне согласуются с рассказом о Касии, парирующей незамедлительным ответом бестактность юного императора. И может, следует думать, что именно эта особенность ее поэзии — острота и лаконизм — послужила основой рассказа об обмене репликами между Касией и Феофилом? {149}

Один из человеческих пороков, гневно осуждаемых поэтессой,— зависть:

«Подобно змее, растерзывающей своего детеныша, зависть уничтожает завистника».

«Пусть каждый изгонит из себя зависть, ибо зависть — это смерть. Смерть от зависти — участь многих».

«Зависть ужасная, скажи, кто тебя породил, кто одолеет и уничтожит?»

«Избавь меня, Христос, от зависти моей до смерти. Пусть лучше завидуют мне самой, моей богоугодной жизни».

Но почему и когда возникают столь бурно в душе поэтессы-инокини всплески возмущения против зависти — этого самого ужасного, по ее мнению, человеческого порока? Не в минуты ли душевного смятения под гнетом воспоминаний, сомнений, горестных раздумий над своей участью?

Поэзию иного рода дает X век. Константин Родосский составил в правление Константина Багрянородного из 981 двенадцатисложника стихотворный экфрасис столичной церкви св. Апостолов, искусно обрамленный описанием семи чудес Константинополя и мозаичных

изображений этих же чудес в интерьере храма⁴⁶. С помощью эпиграмм, в манере, сближаемой с аристофановской⁴⁷, Константин Родосский язвительно полемизировал со своими противниками — Феодором Пафлагонским и Львом Хиросфактом. Последний также пробовал себя в стихосложении: ему принадлежат версифицированный очерк теологии («Тысячестишное богословие»), эпиграммы, анакреонтические стихи (в том числе описание термальных источников в Пифии), литургическая поэзия, авторство которой (еще не установленное окончательно) он иногда делит со Львом VI.

Одним из наиболее значительных поэтов X в. был Иоанн Геометр. Обширно его собрание эпиграмм на исторические, литературные, мифологические, культурно-исторические, географические темы и эпитафий. Ему приписываются 99 эпиграмм монашеско-моралистического содержания. Известны четыре богородичные гимна Иоанна, похвала св. Пантелеймону и парафраза «Песни песней». Наряду с двенадцатисложником Иоанн использует и другие размеры — гекзаметр, элегический дистих. Он не скупится на похвалы древнегреческим философам (в эпиграммах, посвященных, например, Аристотелю и Платону), но делает это подчас с чувством константинопольского превосходства:

*Хвалитесь вашей древностью, афиняне,
Сократами, Платонами, Пирронами
И славьте с Эпикуром Аристотеля;
А нынче вам остался лишь гиметтский мед,
Да тени предков, да могилы славные,
А мудрость — та живет в Константинополе.*

(Памятники. С. 286. Пер. С. С. Аверинцева)

Поэзия Иоанна Геометра отразила упоминавшиеся выше перемены в облике идеального героя (акцентировка полководческой доблести в {150} эпитафии Никифору Фоке):

*Благочестиво я властвовал целых шесть лет над народом —
Столько же лет просидел скованным скифский Арес.
Я подчинил города ассирийцев и всех финикиян,
Я неприступнейший Тарс Риму склонил под ярмо,
Освободил острова, их избавив от варварской власти,
И захватил я большой, славный красой своей Кипр.
Запад, а также Восток бежали пред нашей угрозой,
Высохшей Ливии степь, счастье дарующий Нил.*

(Лев Диак. С. 133. Пер. С. А. Иванова)

О поэтическом вкусе Иоанна говорит прославление им одного из крупнейших, но забытых к тому времени византийских поэтов, Романа Сладкопевца:

*Он соучастник в хоре горнем, ангельском,
Он на земле напевам вторит неземным.*

(Пер. Л. А. Фрейберг)⁴⁸

Изменение статуса поэзии в византийской литературе X в. засвидетельствовано и составлением больших стихотворных сборников. На рубеже IX—X вв. Константин Кефала подготовил распределенный по жанрам сборник как античных, так и византийских эпиграмм. Собрание Кефалы дошло до нас лишь в составе так называемой «Палатинской антологии», созданной ок. 980 г. Состоящая из XV книг, «Палатинская антология» содержит приблизительно 3700 эпиграмм: христианские надписи, эпитафии, посвятельные надписи, стихотворные преамбулы к поэтическим сборникам, любовные эпиграммы, загадки и т. п. Среди памятников, сохраненных «Антологией», сочинения Григория Назианзина, Павла Силенциария, Агафия, Арефы Кесарийского, Игнатия Дякона, Константина Родосского, а также многих других поэтов древности и средневековья⁴⁹.

Подведем итоги. Систематизированное изложение истории византийской литературы по проблемам и периодам, по авторам и литературным направлениям остается, по-видимому, делом будущего. Но для того чтобы приблизить это будущее, необходимы какие-то ориентиры,

⁴⁶ Издано Э. Леграном: REG. 1896. Т. 9. P. 31—102. Ср.: Hunger H. Op. cit. Bd. 2. S. 111.

⁴⁷ Ibid. S. 169.

⁴⁸ Фрейберг Л. А., Попова Т. В. Указ. соч. С. 81.

⁴⁹ Hunger H. Op. cit. Bd. 2. S. 56—57.

важно выявить тенденции, говорящие о движении в рамках литературного процесса, связывающие отдельные явления и факты в единое целое, что только и позволяет говорить именно о процессе. Даже в предварительном порядке не обойтись без ответа на вопрос, когда тот или иной феномен появляется в литературе и когда он сходит на нет.

Разумеется, мы далеки от поисков «календарной даты» в утрате византийской литературой старого и обретения ею нового. И все же, рассуждая в хронологических пределах трех с половиной веков (середина VII—X в.), можно, как кажется, уже сейчас сказать, что эти столетия отличались от предшествующего периода, связанного с позднеантичным, индивидуалистическим, конфессионально индифферентным мироощущением. Не говоря уже о том, что предшествующий период был попросту и богаче последующего. Обеднение литературного ландшафта в середине VII—VIII в. шло в разных направлениях: в политической утрате ста- {151} рых центров, а вместе с ними и культурных взаимовлияний, в упрощении языковой стихии литературы, в замыкании византийской литературы на себе. Изменился социальный облик писателя, с чем, вероятно, была связана и эволюция авторского самосознания, приближающегося к анонимности. На протяжении VIII—X вв. изменялся литературный герой по своим социальным параметрам, каталогу добродетелей, наконец, по воплощению в конкретно-исторической парадигме. Последнее позволяет говорить о том, что, хотя VIII—X вв. сведены в отдельный период, они тем не менее отмечены внутренней динамикой. Неодинаковой была жанровая широта литературного спектра и соотношение жанров до и после рубежа в середине IX в. По всей вероятности, не было лишено динамики и отношение к теме «войны и мира». Несомненно, возросла с середины IX в. творческая активность в целом. Заинтересованное обращение к литературному наследию (древнему и средневековому) носило характер антикварно-подготовительного.

Естественно, выражая через себя и по-своему современность, византийская литература середины IX—X в. была вместе с тем как бы литературой, «вспоминающей» собственное прошлое, пробующей себя сызнова в том, что было существом литературы ранневизантийской. Этому устремлению еще не суждено было вылиться в предвозрожденческие тенденции XI—XII вв., но и без него такие тенденции едва ли могли оформиться. {152}

6

Литература XI—XII вв.

Литературы рождаются по-разному. Есть литературы, вышедшие из недр народной жизни, из глубин народного гения. Византийская литература рождена из литературы, поэтому она наследует весь арсенал образов, мотивов, художественных приемов, входящих в нее раз и навсегда. Она наследует язык, который все больше отдаляется от находящегося в движении живого разговорного языка. Многие произведения византийской литературы вызывают ассоциацию с византийской живописью, которая, существуя в веках, также воспроизводится из самой себя, не из жизни, а из моделей, не выходя из круга традиционных тем, почти не изменяющихся традиционных изобразительных средств.

При наличии подобного герметизма византийская литература, тем не менее, не чужда внутреннему движению, эволюции, выявляемой в сложном взаимоотношении традиций и отдельных идейно-художественных инноваций¹. Новые явления в византийской литературе возникают, однако, в результате не только медленной, «медиевальной» эволюции, но и — иногда — заметных качественных сдвигов, что особенно характерно именно для XI—XII вв.

С культурно-исторической точки зрения XI—XII вв. можно рассматривать как эпоху, объединенную рядом общих черт, тенденций, направлений развития. Многие явления, харак-

¹ Итальянский византист А. Гарция характеризует это явление как взаимодействие топосов и тенденций (*Garzia A. Topik und Tendenz in der byzantinischen Literatur//Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Öst. Akademie der Wissenschaften. 1977. Jg. 183. (1976). N 15. S. 301—319*). Исследуя эти процессы в среднегреческом романе и апеллируя к понятиям структурного анализа, мы назвали их соотношением констант и модификаций. См.: *Алексидзе А. Д. Мир греческого рыцарского романа (XIII—XIV вв.)*. Тбилиси, 1979.

терные для культуры XII в., подготовлены процессами, происходившими в XI в. Однако, с другой стороны, некоторые явления культурной действительности XI в. уже не наблюдаются в духовной и интеллектуальной жизни XII в. В этом отношении эпоха как бы делится на два отрезка: до прихода к власти Комнинов в 80-е годы XI в. и после. Докомниновский период отмечен интенсивным развитием мысли, прогрессивными тенденциями в духовной жизни, что создает новую культурную атмосферу. Начало второго отрезка ознаменовано судебным процессом 1082 г. над Иоанном Италом — процессом показательным, политическим: Комнины декларировали свою позицию и программу защитников ортодоксии, нетерпимых к отклонениям от официальной идеологии.

Последовательное проведение в жизнь этой программы во многом затормозило прогрессивное развитие мысли, однако в целом не могло остановить процесса, который в XII в. продолжал углубляться, находя выражение в других формах и сферах духовной культуры, главным образом в литературе. Если XI век в Византии — это по преимуществу *aetas philosophica*, то XII век можно назвать *aetas rhetorica*². Древняя, восходящая к Исократу, дилемма «философия или риторика» занимает умы византийцев этой эпохи и разрешается в основном в пользу риторики (например, в сочинениях видного представителя риторики XII в. Михаила Италика). Но это уже риторика, литература, во многом изменившие содержание, обретшие политическую остроту и актуальность.

Интерес к античности — одна из наиболее характерных черт византийской литературы XI—XII вв., хотя говорить о возрождении этого интереса было бы неправомерно, так как связь с античностью в Византии, по существу, не прекращалась никогда, хотя и бывала разной по степени и характеру ее восприятия и понимания. Важно учитывать другое: как бы ни приближалась византийская культура к античной, адекватного воссоздания форм и идей античной древности здесь быть не могло. Средневековая христианская Византия представляла собой иной исторический, социально-культурный комплекс, иную структуру. Античность в ней, даже при наибольшем к ней приближении, могла выполнять лишь функцию компонента. Своеобразная диалектика проявлялась здесь в том, что античность оборачивалась то силой, то слабостью византийской культуры, в зависимости от того, как она использовалась — творчески или как предмет слепого подражания. Поэтому степень прогресса византийской литературы, как и культуры в целом, должна оцениваться отнюдь не мерой приближения к античности, а лишь функциональной целенаправленностью в этих явлениях античного компонента, его значимостью в фактах живого, реального исторического и культурного процесса, соотношением в культурных явлениях той или иной эпохи элементов античности, христианства и современной реальной исторической проблематики.

Антиклерикальная, антиортодоксальная направленность античного потока усиливается в XI в. по мере расширения масштаба и социально-общественной значимости византийской культуры и литературы.

Общественная и социально-культурная значимость литературы XI—XII вв. — вопрос особый, привлекающий в последнее время все большее внимание византинистов. Можно ли серьезно говорить о ее общественной роли, об идейно-художественной преобразующей функции?

Современные исследования делают все более очевидным, что византийская литература была достаточно глубоко интегрирована в общество, являлась литературой не аполитичной и асоциальной, а литературой классовой, выражавшей интересы и идеи этого общества³. Те немногие {154} литераторы, которые не принадлежали к аристократии, также интегрируются в это общество, выражая в основном интересы представителей высших слоев.

Однако сам факт появления такой категории литераторов требует особой интерпретации как с точки зрения новых явлений, обусловивших на рубеже XI—XII вв. приобщение к

² Garzya A. Literarische und rhetorische Polemiken in der Komnenenzeit//BS. 1973. T. 34. S. 12.

³ В этой связи, помимо работ советских ученых, следует отметить работы Г. Хунгера, Г. Бека, статьи А. Гарция: Hunger H. Die byzantinische Literatur der Komnenenzeit. Versuch einer Neubewertung//Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Ost. Akademie der Wissenschaften. 1968. Bd. 105. S. 59—76; Idem. Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz // Sitzungsberichte. Öst. Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. 1972. Bd. 277/3; Beck H. G. Das litterarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständnis//Ibid. 1974. Bd. 294/4.

образованию более широких слоев, так и с точки зрения привнесения ими в литературу новых идейно-художественных красок и тенденций.

Быстрое расширение жанров литературы в XI—XII вв. свидетельствует о ее важности для общества. Возросло число частных библиотек, интересным примером которых является коллекция феодала XI в. Евстафия Воилы⁴. Благоприятствовало расширению масштаба литературы широкое употребление с XI в. нового писчего материала — бумаги⁵.

Главное же заключалось в углублении и обогащении идейного и художественного содержания литературы, появлении ярких творческих личностей, в существенных изменениях в структуре жанров, в сочетании и взаимодействии духовного и светского потоков, зарождении новых явлений, среди которых наиболее значительным было усиление влияния народной литературы, вплоть до появления с XII в. рядом с литературой на традиционном ученом языке народноязычного поэтического направления.

На рубеже X—XI вв. в византийской литературе сложились условия для возникновения созревшего в недрах народной поэзии героического эпоса — поэмы о богатыре Дигенисе Акрите.

В основе этого эпоса лежат исторические впечатления столетней давности, воспоминания о конфликтах и контактах византийцев с арабским миром в IX—X вв. Поэма (в дошедшем до нас виде⁶) состоит как бы из двух частей, в первой из которых рассказана удивительная история подвигов и любви арабского эмира Мусура.

Во время набега на византийские земли отважный эмир Мусур вторгается во владения каппадокийского стратига Андроника Дуки и, пользуясь отсутствием хозяина, находившегося в ссылке, и его сыновей, отправившихся на защиту границ, похищает дочь стратига — красавицу Ирину. Мать девушки сообщает сыновьям о беде и заклинает их защитить честь сестры и дома. Прибывшим в лагерь эмира братьям эмир предлагает решить спор единоборством с одним из них. Младший из братьев, Константин, на которого падает жребий, одерживает верх над {155} эмиром. Эмир, однако, не сразу выполняет условия поединка. Он разрешает братьям искать сестру в палатках и окрестностях лагеря, XI они оказываются зрителями потрясающей картины — перебитых в овраге греческих девушек, отказавшихся покориться похитителям.

*В отчаяньи рыдали все, стенанья шли из сердца:
Какую взять из этих рук и из голов оплакать?
Какой обрубок нам узнать и матери доставить?*

(Диг. Акр. С. 16)

Настойчивость, мужество и благородство братьев заставляют эмира признаться, что их сестра, невредимая, находится в его палатке. Любовь к ней овладела эмиром с такой силой, что он готов жениться на Ирине и, приняв христианство, ехать вместе с ними в Романию. После крещения и свадьбы в Каппадокии эмир получает из Сирии письма матери, порицавшей его за измену родине и вере и призывавшей вернуться к близким и к тоскующему по хозяину гарему. Эмир вынужден отправиться домой, однако вскоре возвращается вместе с матерью, убедив ее в преимуществах христианства и необходимости уверовать в Христа.

Мальчика, родившегося от брака гречанки и араба, нарекли не только Василием, но также и Дигенисом (двоерожденным). Необычные способности Дигениса проявляются с малых лет: он овладевает множеством знаний, проявляет невиданную ловкость и силу — на охоте 12-летний Дигенис голыми руками душит медведицу, легко расправляется с медведем и львом.

Стремясь к свершению подвигов, Дигенис ищет встречи с апелатами — грозными разбойниками, которых удивляет своей мощью и выносливостью и, одолевая всех подряд, преподносит их дубинки вожаку разбойников Филопаппу. Между тем наступает пора любви, и Дигенис, наслышавшийся о необыкновенной красоте дочери стратига Дуки, стремится увидеть ее; увидев же — воспламеняется любовью. Дигенис похищает девушку, загоревшуюся взаимным чувством, уничтожает все войско стратига, посланное вдогонку за беглецами, а затем, встретившись с отцом девушки, получает его благословение.

⁴ Lemerle P. Le testament d'Eustathios Boïlas // Lemerle P. Cinq études sur le XI^e s. byzantin. P., 1977. P. 15.

⁵ Irigoin I. Les conditions matérielles de la production du livre à Byzance de 1071 à 1261//XV^e Congrès international d'Etudes byzantines. Athènes, 1976. P. 1.

⁶ Поэма сохранилась в шести списках, наиболее ранний из которых датируется XIV в.

После пышной свадьбы, длящейся три месяца в доме жениха, а затем в доме невесты, Дигенис поселяется с любимой женой вдаль от людей, на границе Романии. Даже слуг Дигенис держит вдаль от своей палатки, когда же сам император Василий приглашает его во дворец, Дигенис предлагает василевсу встречу на своей территории, на берегу Евфрата.

Восхищенный удачей и силой Дигениса, не только совершившего новые подвиги, но и высказывавшего мудрые мысли об управлении государством, государь назначает его правителем на границах империи. Далее идет рассказ в первом лице о грехопадениях героя. Первое происходит с прекрасной арабкой, покинутой на дороге ее возлюбленным. За порывом страсти мгновенно следуют угрызения совести, Дигенис находит юношу, покинувшего девушку, и заставляет его поклясться, что он женится на ней. Второе грехопадение совершается с прекрасной девой-воительницей Максимо из рода амазонок, после того как он одолевает ее в поединке. Второе нарушение супружеской верности настоль-ко потрясает героя, что, вернувшись к Максимо, он безжалостно убивает ее. После каждого грехопадения герой не только раскаивается, но и меняет жилища, последнее и лучшее из которых — дивный дворец, построенный Дигенисом на берегу Евфрата (Там же. С. 108—114).

Последние песни поэмы овеяны грустью, вызванной вначале смертью отца и матери, горько оплакиваемых сыном, а затем приближением кончины самого героя. Непобедимого Дигениса в 33 года (в возрасте Христа) одолевает внезапная болезнь после купания. Чувствуя приближение смерти, герой нежно прощается с супругой и просит ее не оставаться вдовой, взять себе в мужа достойного человека. Однако не в силах выдержать душевной боли, жена испускает дух на груди умирающего мужа. Поэма завершается описанием погребения супругов и молитвой, содержащей и такие строки:

*Но почему скажи, господь, ты воину такому,
Столь юному, прекрасному, велел расстаться с жизнью,
Скажи, зачем не даровал бессмертия герою?*

(Там же. С. 123)

Поэма, несомненно, возникла из песен, в которых прославлялись деяния Акриты и других народных героев. Подобные песни имел, по-видимому, в виду епископ Арефа Кесарийский (IX—X вв.), говоря о том, как «попрошайки и шарлатаны, и проклятые пафлагонцы» сочиняют и распевают за обол у каждого дома песни о подвигах знаменитых мужей⁷. Ни одна из этих песен не была записана в свое время, и представление о них можно получить лишь по записям нового времени (только песня «О сыне Армуриса», созданная, по-видимому, в IX—X вв., дошла в рукописи XIV в.)⁸. Эпическое произведение о Дигенисе возникло, по всей вероятности, под пером поэта, создававшего на основе отдельных песен о подвигах и приключениях героя поэму о его жизни. Содержание произведения составляет, таким образом, не определенная тема, выбранная из цикла сказаний и переработанная во внутренне ограниченную сюжетно-композиционную структуру, а более или менее стройный ряд песен и мотивов, представляемых поэтом как течение жизни героя, внешне очерченное ее физическими границами⁹.

В отличие от песен, существовавших и распространявшихся преимущественно в устной форме, поэма о Дигенисе с ее внешним, а не внутренним сюжетно-композиционным единством могла распространяться лишь как произведение письменное. При этом она, как и другие произведения средневековой литературы, с момента возникновения была, естественно, открыта для дальнейших доработок. Довольно значительная переработка текста имела место на рубеже XII—XIII вв. под влиянием новой литературной моды — увлечения жанром любовно-приключенческого романа.

⁷ Κουγέας Σ. Β. Αι: ε: ἔ: ἂν τοῖς σχολίοις τοῦ Ἀρέθα λαογραφικῆς εἰ: ῥήσεις//Λαογραφία. 1913. Τ. 4. Σ. 239.

⁸ Устная традиция, конечно, иногда могла доносить и довольно древнюю информацию, которая в ряде случаев представляется первичной в отдельных пассажах поэмы (Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971. S. 88).

⁹ Трудно разделить предположение, что эпизод смерти героя, возможно, не входил в первоначальные рамки романа. Тема обреченности героя на раннюю смерть может быть довольно древней, генетически, возможно, восходящей к мотиву предначертанности короткой, но славной жизни героя (Ахиллеса). В этой связи заслуживает внимания одна из версий славянского «Девгениева деяния» (сохранившая немало древних слоев), в которой Девгений смотрит в книгу «О житии своем и о смерти» и узнает, что, если он женится на Максимиане, будет жить 16 лет, если же возьмет в жены Стратиговну, проживет до 36 лет (см.: Сыркин А. Я. Версии Дигениса Акриты//Диг. Акр. С. 175).

Далеко не все в акритских песнях было сказкой и вымыслом. В них звучали и отголоски исторических событий и имена реальных героев, которые ученые стараются выявить в тексте поэмы и идентифицировать с измененными, порой до неузнаваемости, именами ее персонажей. Так, имена отца и дяди эмира, Хрисоверга и Кароеаса, воюющих с византийцами, идентифицируют с именами известных вождей павликианского движения Хрисохира и Карвеаса¹⁰.

Походы эмира против Романии напоминают о походах арабов в VIII—IX вв., а принятие им христианства находит параллель с событиями 20—30-х годов X в., когда эмир Мелитины Абу Хафс перешел к византийцам, приняв христианство. Рассказанное в поэме об Андронике и Константине Дуках (деде и дяде Дигениса по материнской линии) вызывает ассоциации с перипетиями судеб исторических Дук, отца и сына, носивших те же имена. Именно благодаря историческим моментам удается датировать поэму временем между 70-ми годами X в. и 20-ми годами XI в.¹¹

Исследователи пытались найти исторический прообраз и главного героя поэмы (А. Грегуар видел прототип Дигениса в турмархе Анатолика Диогене, погибшем в битве с арабами в 788 г.¹², и др.), однако народная поэтическая фантазия столь щедро наделила любимого героя сказочными чертами, что все попытки рассмотреть за ними реальную историческую фигуру оказывались безуспешными¹³.

Образ героя, кажущийся порой лишенным внутренней художественной органичности и убедительности (в силу сочетания в нем разных и разнородных культурно-исторических наслоений), благодаря главным чертам характера предстает как яркое олицетворение народно-эпических {158} идеалов: неборимой силы и мужества, мудрости, благородства и патриотизма, верности законам добра и справедливости. Очень важно отметить веротерпимость героя (и произведения в целом), чуждого религиозного фанатизма. Эмоционально описываются возвышенная любовь араба и гречанки и сама личность «двоерожденного» витязя как выражение гармонии и любви между людьми различного вероисповедания и народности.

В разработке темы любви в поэме совмещены, по-видимому, два типологически различных концептуальных уровня: героический эпос (с культом силы, военно-феодальным характером функций героя и второстепенной, подчиненной ролью любви и женщины) и романтический (с любовью как центральной идеей, равноправием в любви мужчины и женщины, невозможностью измены)¹⁴.

Любовью озарены лучшие картины поэмы: описание пути эмира, устремившегося по зову матери в Сирию, но думающего лишь о возвращении и мечтающего о крыльях, которые бы вмиг перенесли его к любимой; Дигенис с кифарой в руках, поющий серенаду под окнами любимой, или похищающий девушку и мужественно отражающий погоню; Евдокия, умирающая на груди угасающего Дигениса¹⁵.

¹⁰ Сыркин А. Я. Поэма о Дигенисе Акрите. М., 1964. С. 102—108.

¹¹ Подробнее о датировке и исторических реалиях поэмы см.: Там же. С. 67—130.

¹² Grégoire P. Le tombeau et la date de Digenis Akritas (Samosate. vers 940 après J. C.) // Byz. 1931. T. 6. P. 483.

¹³ Другой вопрос: кем представляли себе Дигениса византийцы — личностью исторической или легендарной. Поэт Феодор Продром сравнивал императора Мануила Комнина с Акритом. Малоубедительна мысль о том, что он не посмел бы сделать это, если бы для него Дигенис был не легендарным героем, а историческим лицом, подданным императора (см.: Дестунис Г. Разыскания о греческих богатырских былинах средневекового периода. СПб. 1883. С. 62—63). Напротив, византийцы вряд ли могли представить героя, изображаемого участником исторических событий и связанного с историческими личностями, в том числе с императором (кстати говоря, поклонником героя), сплошной литературной фикцией.

Этому противоречит и торжественно-декларативный пассаж IV песни, в котором отец героя подчеркнуто причисляется к категории исторических лиц (в одном ряду с Александром Македонским), противопоставленных сказочным героям Гомера: «Пора Гомера позабыть и басни об Ахилле, сказания о Гекторе — пустые измышленья».

¹⁴ Неромантическими элементами представляются случаи супружеской измены, совершенно несвойственной концепции эллинистическо-византийского романа, где верность мыслится как органическая невозможность измены. В отличие от данной концепции в раскаяниях героя, неизменно наступающих после грехопадения, звучит христианский мотив страха перед божественным возмездием.

¹⁵ Данная сцена является, по-видимому, трансформацией зафиксированного в одной из песен раннего варианта смерти Евдокии — ее удушения умирающим Дигенисом (см.: Πολίτης Ν. 'Ακρίτικα,' α'; 'σματα. 'Ο θάνατος τοῦ Διγένη; // Λαογραφία. 1909. Τ. 1. Σ. 169—275; Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. S. 90). Очевидно различие двух концепций: ранней — эпической, с подчиненной ролью женщины, следующей за супругом даже в

Жизнь, от которой бежит Симеон, но воздействие которой постоянно ощущает, находит отклик в музыке, ритмике его поэзии. Стремясь выразить свои искренние и бурные духовные порывы в наиболее ясной и естественной форме, Симеон обращается к пятнадцатисложному «политическому» размеру, впервые вводя его в духовную поэзию. Стихи Симеона основаны на тоническом ударении с тенденцией совпадения метрического и естественного ударений слова¹⁷. Помимо пятнадцатисложного размера, Симеон обращается и к более четкому восьмисложному стиху, и к варьированию в рамках одного гимна разных размеров. Интерес к чисто стихотворным, формально-техническим задачам проявляется и в различных сочетаниях ассонансов, анафор, рифмоидов, в обращении к восходящему к библейской поэтической традиции алфавитному принципу построения строк и т. д.

В лирических строках Симеона иногда появляются философские оттенки, возникает чувство причастности к величию и красоте космоса, удивление перед тайной мироздания, ощущение скоротечности человеческой жизни перед лицом беспредельной Вселенной, сопоставление ее величия с низменностью мелких человеческих страстей в водовороте повседневной жизни.

Безнравственности, жестокости современной ему действительности, обесцениванию жизни и личности Симеон противопоставляет идею божественности человеческой природы, души и тела, их гармонии с величием и красотой мироздания. Эта линия в сложном, неоднозначном, противоречивом творчестве поэта-мистика неожиданно оказывается созвучной созревающим в духовной культуре XI в. гуманистическим тенденциям.

Если «Божественные гимны» Симеона являлись в основном поэтическим самовыражением, не имеющим определенного адресата — конкретно предполагаемого читателя, то «Стратегикон» Кекавмена, при не менее субъективном характере этого сочинения, создавался с единственной целью — быть прочитанным, понятым, воспринятым. Являясь византийским образцом распространенного в средневековой литературе жанра «зерцал», «Стратегикон» в то же время относится к традиционному морально-дидактическому потоку греческой литературы, начинающемуся с одного из первых памятников — «Трудов и дней» Гесиода (VIII в. до н. э.). С Гесиодом, которого Кекавмен, очевидно, не читал, он оказывается удивительно схож во многом: в предельном практицизме по отношению к людям и окружающему миру, строгости и приземленности взглядов и чувств, недобром, предубежденном отношении к женщине и недоверии к друзьям...

Несмотря на то что в последнее время много сделано для исследования историко-филологической проблематики данного памятника¹⁸, остается немало вопросов, требующих большей ясности: и в отношении происхождения единственной дошедшей до нас рукописи памятника {161} XIII—XIV вв., хранившейся некогда в Иверском монастыре на Афоне, куда она попала, предположительно, из Трапезунда¹⁹, и в отношении автора, которым должен быть не известный полководец Катакалон Кекавмен, как считалось ранее, а другой человек, личность которого пока не установлена. Перу этого автора, безусловно знатного византийца, принадлежат, по-видимому, все части данного произведения (и собственно «Стратегикон», и «Домострой», и «Советы василевсу»), сочиненного им около 70-х годов XI в. Тем не менее требует уяснения вопрос происхождения и соотношения других элементов рукописи: пролога, общего заглавия и подзаголовков, которые, по мнению Г. Г. Литаврина, принадлежат другому лицу, неизвестному редактору (Кекавм. С. 18).

Нет сомнения в том, что адресатом этого дидактического сочинения являлись дети Кекавмена; нет, однако, согласия относительно того, кому адресованы «Советы императору», помещенные в конце сочинения, — Михаилу VII Дуке, считающемуся наиболее вероятным адресатом, или кому-то другому. Вопрос о предназначении «Советов императору» должен, по-видимому, решаться в другом ключе. Во-первых, «Советы», скорее всего, не являлись обраще-

¹⁷ В этом отношении в гимнах Симеона можно, по-видимому, проследить определенную эволюцию (от сосуществования силлабической и тонической систем до их слияния), естественно, при условии восстановления более или менее достоверной хронологической последовательности гимнов.

¹⁸ В изучении данного памятника значительна роль представителей русской византистики: В. Г. Васильевского, обнаружившего памятник и издавшего его совместно с В. К. Ернштедтом в 1896 г., Г. Г. Литаврина, подготовившего новое издание текста с обстоятельным исследованием, переводом и комментариями (см.: Кекавм.).

¹⁹ Фонкич В. Л. О рукописи «Стратегикона» Кекавмена//ВВ. 1971. Т. 31. С. 118.

нием к кому-то из конкретных, живых императоров (вряд ли, предполагая, что текст будет прочитан, автор осмелился бы на советы типа: «Не вздумай наживаться за счет своей столицы...»), или на довольно резкую критику современного состояния дел в государстве). Вторых, «Советы» вряд ли можно считать гетерогенными всему остальному тексту, с которым их объединяет общий характер и структура. Не имея под собой четкого плана, сочинение Кекавмена имеет, однако, общую внутреннюю структуру, естественное членение, определяемое будущими, возможными сферами деятельности тех, кому адресованы те или иные увещания, выделяемые формулами типа: «если ты служишь василевсу...», «если ты служишь архонту...», «если ты фемный судья...», «если ты грамматик или философ...», «если ты стратиг...», «если ты ведешь частную жизнь...», «если ты топарх...», «если ты нотариий...», «если тебе придется нести службу в качестве стратига или частную, или исполнять должности писца...» и т. д. Следующие за данными формулами советы не выходят в основном за сферу данного рода деятельности, хотя иногда перемежаются элементами из других областей жизнедеятельности или общими рассуждениями²⁰.

Так или иначе, совокупность советов, даваемых детям заботливым отцом, отражает всю гамму возможностей, с которыми они могут столкнуться в бурном водовороте жизни, то возвышающей людей, то неумолимо их низвергающей. Это различие ступеней и степеней, иерархия социальной, государственной жизни — от самых низких («если ты — из самых низких, чего я тебе не желаю...» (Там же. С. 121)) до самых высоких, на которых Кекавмен вполне реально представляет {162} своих детей митрополитами, епископами, патриархами, архонтами, вершителями судеб империи («если же ты — первый человек василевса...» (Там же. С. 123)), чего, кстати, Кекавмен тоже не желает своим детям: «...если ты... окажешься на большой высоте, чего я страшусь» (Там же. С. 125). В сочинении Кекавмена нет фразы: «если ты василевс», которую он вряд ли осмелился бы вписать в текст, предназначенный в основном для собственных отпрысков, тем не менее он, будучи отлично знаком с византийским механизмом воцарений и низложений, перевидавший за пятьдесят лет своей жизни одиннадцать василевсов, вполне мог представить себе и такую возможность. Это тоже одна из вероятных сфер будущей деятельности вступающего в жизнь византийца, относительно которой предусмотрительный отец считает нужным дать соответствующие предписания. Это не исключает, однако, и того, что «Советы» адресованы и всем другим будущим императорам, о чем автор говорит определенно: «Итак, именно потому мы составляем это сочинение для будущих благочестивых и христолюбивых василевсов». Весь текст Кекавмена в таком случае оказывается обращенным к одному, а не к разным адресатам, и литературным приемом в нем оказывается не часто встречающееся во всех других частях текста обращение «дети мои», а обращение к собственным детям в «Советах императору» в форме «мой государь»²¹.

Файл byz163g.jpg

Архангел Михаил.

Последняя четверть XII в.

Сант Анджела ин формис. Капуя.

Фреска атрея.

Из того, что можно обнаружить в «Стратегиконе» искреннего и светлого, в первую очередь следует отметить настоящую любовь к детям, ради которых и берет Кекавмен на себя труд составления «Советов и рассказов». В словах, прямо обращенных к детям, ощущается непосредственность и неподдельность родительского чувства: «Ведь я хотел бы, чтобы ты был таким, чтобы все удивлялись». Откровенность и непосредственность Кекавмена, пишущего не по законам риторики и не ради славы, не приукрашивающего свой нравственный авторитет, делают «Стратегикон» чрезвычайно интересным и важным документом эпохи.

²⁰ Отклонения в основном возникают под влиянием ассоциаций, а повторы нередко определяются желанием еще раз вернуться к мыслям, особо ценным для Кекавмена. Частично эта особенность текста объясняется средневековой практикой составления рукописи — без черновиков, без сносок и комментариев, вносимых, как правило, в основной текст.

²¹ В этой связи нам представляется, что место «Советов императору» следует предполагать не в лакуне между параграфами 192—218, содержащей такое же число параграфов, что и «Советы императору» (как предполагает П. Лемерль), а там, где «Советы» помещены в единственной сохранившейся рукописи и где им в общем и полагается быть — в заключительной части сочинения.

Кекавмен, для которого, так же как и для любого византийца, мир существует в двух измерениях — божественном и земном, безоговорочно признает первенство мира божественного, глубоко веруя во всеисилие и всеведение бога. «...Один господь всеведущ,— говорит он,— человек же, кем бы он ни был, имеет недостатки» (Там же. С. 223). Если все земное зависит от бога, то естествен призывает Кекавмена к сыновьям «уповать на бога».

Однако для нашего автора, человека многоопытного и практичного, «упование на бога» не имеет прямого и однозначного смысла, ибо призывать сыновей к инертности значило бы обречь их на гибель в лабиринтах сложной и суровой византийской действительности. Напротив, вера в бога всегда сочетается у Кекавмена с активным началом, с самостоятельными действиями человека, как бы обеспечивающими, гарантирующими помощь свыше, предполагающими своеобразную диалектику взаимосвязи, сотрудничества божественного и человеческого. «Думай о спасении войска — а господь поможет»; «Нет блага без труда, без шипов розы, а без пота успеха»; «Не покидай бога, и бог не покинет тебя»; «Пусть думы твои будут обращены к добру, и бог будет творить его вместе с тобой» и др. Бог Кекавмена как бы подключается к богоугодным мыслям и деяниям человека, активизируя их, поддерживая, интегрируясь в реальные, жизненные процессы²².

Если Симеон Богослов ощущает близость к богу как духовное возвышение, как приобщение к всевышнему, у Кекавмена бог как бы смешивается, сливается с земной жизнью, постоянно присутствуя в ней в качестве высшей инстанции и ступени единой божественно-земной иерархии. «И если ты изготочишь его (незаконный документ.— А. А.), будешь осужден и богом, и василевсом, и столичными судьями»; «...если ты накажешь его (ближайшего родственника.— А. А.), все будут осуждать тебя, даже сам Господь». Бог не только выступает в едином ряду — в качестве направляющей и карающей силы — с архонтами и василевсами, но и становится активным соучастником всех бытовых, материально-хозяйственных процессов и явлений. «Деньги ведь возведут дом, да кроме них — Господь».

Действуя в единой иерархии и согласии с земными властителями, бог Кекавмена в то же время берет на вооружение их формы и методы управления, воздействия на людей, вознаграждения за добрые и кары за их злые деяния. Советуя земным властителям не замечать {164} иногда мелких прегрешений, Кекавмен поучает: «На сотню поступков наказывай один; чтобы прегрешающие пред тобою испытали страх. А в отношении других разыгрывай неведение. Если же ты захочешь воздавать всем в соответствии с их поступками, то не сможешь этого сделать ни ты, ни другой кто-либо, ни сам василевс. Да что я говорю: „василевс“ — и сам Господь не станет этого делать» (Там же. С. 235). Таким образом, и бог, по Кекавмену, своеобразно толкующему в этой связи пассажи из «Псалмов» и Ветхого завета (Псал. 129. 3—4; 102. 10; 3 Цар. 18. 40 и след.; 4 Цар. 1. 9 и след.), будет воздавать каждому не соразмерно его поступкам, а выборочно!

Необходимость получения при принятии духовного сана божьего знамения, которое и Симеон считал обязательным условием вступления в духовное сословие, у Кекавмена превращается в элемент процедуры, рутины и достигается упорством — постом и бдениями («если медлит божье знамение, мужайся, жди и уничтожай себя перед лицом Господа и узришь»). Даже молитва у него как бы приравнивается к каждодневным, текущим делам и обязанностям и требует при выполнении такой же регулярности и аккуратности, как и предписания по ведению хозяйства. «Точно так, как я призываю тебя быть решительным во всем, относящемся к брэнной жизни, так я желаю, чтобы ты был заботлив и в отношении духовного, дабы благодаря тому и другому ты исполнился надежд». Молиться надо в определенные, отведенные для молитвы часы и не обязательно в церкви; очень желательно творить и полуночную молитву, так как в этот час можно, оказывается, беседовать с богом «без помех».

²² Кекавменовскую концепцию соотношения небесного и земного интересно сопоставить с идеями, изложенными в средневековых западных памятниках данного жанра, в частности в «Поучениях сыну Вильгельму» Дуоды (IX в.): «...сын мой... чтобы ты оказался в обоих случаях — насколько ты сможешь — полезным и в миру, и для бога, которому всегда и во всем имей способность нравиться». «Уже здесь,— пишет исследователь данного памятника Ю. Л. Бессмертный,— бог и божье выступают не как единственный нравственный императив, определяющий весь смысл и стиль жизни, но как один из двух не столь уж несоизмеримых между собой этических ориентиров» (*Бессмертный Ю. Л.* Мир глазами знатной женщины IX века//Художественный язык средневековья. М., 1982, С. 89).

Мораль, которую внушает сыновьям Кекавмен,— это в общем традиционная христианская мораль, призывающая к добру и справедливости, состраданию к бедным, запрещающая воровать, лгать, убивать («не слушайся совета убить хотя бы и того, кто замыслил убить тебя») (Там же. С. 219). В основных советах и предписаниях Кекавмена выдержана позитивная нравственная линия, в них нет ничего такого, что само по себе могло бы вызвать принципиальное возражение. Если Кекавмен допускает обман и коварство, то только по отношению к врагам, т. е. как элемент военного искусства. Однако эта высокая христианская мораль Кекавмена при более близком рассмотрении часто оказывается не столько внутренним нравственным убеждением, сколько продуманной системой правил поведения, регулируемых предполагаемыми, ожидаемыми последствиями — возмездием или вознаграждением, как в земном мире, так и от бога; причем бог действует в едином механизме с обществом как высшая вознаграждающая или карающая инстанция. Стратегу надо быть справедливым к воинам в основном для того, чтобы не вызвать у них возмущения; надо сохранять, как зеницу ока, честь дочерей, в основном чтобы не опозориться перед обществом; обманывать не следует в основном потому, что, «если это обнаружится, будешь, у всех в полном пренебрежении»; заметив ошибку хозяина, следует умолчать о ней, иначе «все убегут от тебя, как от змеи»; высокомерие имеет врагом самого бога, в то время как скромность, угодная богу, становится гарантией возвышения. Принимать дары и получать взятки плохо не по существу. Плохо — принимать их сверх меры, это может стать причиной гибели: «Ведь достаточно тебе и того, что дают добро-¹⁶⁵вольно». «Я ничуть не хую богатство, но предпочитаю благоразумие». Более того: «Если брать не все, что дают, а лишь половину,— от бога получишь во сто крат» (Там же. С. 147). Если кто-то попросит в долг, надо дать, но только не ради процентов, советует Кекавмен, ибо господь вернет этот долг вдвойне (Там же. С. 213). Таким образом, «проценты», к которым Кекавмен, как истинный византиец, проявляет неприязнь, он все-таки рассчитывает получить, но в иной форме — от бога, отказываясь тем самым от малой прибыли ради более высокой!

В образе мыслей автора «Стратегикона», как ни в одном другом произведении византийской литературы, как бы изнутри раскрывается подлинная суть христианской нравственности, обнажается истинное лицо общества, гордящегося своим православием и благочестием и в то же время глубоко погрязшего во лжи и лицемерии, общества, в котором дети Кекавмена должны жить по законам христианской морали, приспособленным к законам этого общества. В отдельных советах и иллюстрирующих их своеобразных коротеньких рассказах перед читателем проходят характерные картины и образы из управляемой этими законами византийской действительности: архонтов и судей, посылающих на смерть ни в чем не повинных людей («многих я видел осужденных подкупом даже на смертную казнь»), и «виновных — оправданных благодаря денежной взятке»; священнослужителей, «помышляющих лишь о золоте и серебре и роскошных трапезах» и обманывающих паству «притворным благочестием»; хозяек, заигрывающих с рабами, и «верных рабов», которым, не дай бог, доверить собственную дочь; врачей, намеренно ухудшающих состояние больных, дабы продлить срок лечения и получить большую плату; прихожан, не устремляющих взора на алтарь, а плящих на женщин; друзей, не только не помогающих в беде, но и способных без колебаний погубить честь твоей семьи, твою жизнь; общество, в котором даже приглашение в гости воспринимается как повинность, так как оброненное случайно слово или даже присутствие при неосторожном разговоре может в результате доноса стоить жизни.

В недрах этого общества как его естественный продукт формируется жизненная философия Кекавмена, впечатляющая своей суровой откровенностью, объективной обусловленностью и неизбежностью, обрекающая человека, живущего под постоянным страхом наказаний и смерти, на подавление в себе лучших человеческих чувств и порывов. Полное недоверие оказывает Кекавмен женщине, с которой опасно «и ссориться и миловаться», с которой опасно даже беседовать, ибо «можно незаметно попасть в ее сети». Это недоверие распространяется даже на самых близких женщин — на жену, за которой надо постоянно следить и которой не следует доверять (Там же. С. 243), на дочерей, к которым надо относиться как к осужденным, способным на все (Там же. С. 221). Кекавмен придает большое значение наличию положительных качеств у супруги, считая, что «хорошая жена — половина жизни» (Там же. С. 202), однако любовь как высокое чувство, как великая облагораживающая сила в мире Кекавмена отсутствует. Любви Кекавмен попросту не знает и поэтому не учитывает.

В мире, где человека подстерегает столько опасностей, самое разумное — сохранять умеренность, во всем придерживаться середины, избе- {166} гать крайностей. Кекавмен, конечно, не первый проповедник этой идеи, имеющей далекие истоки в греческой философской и народной традиции, однако в «Стратегиконе» и она обретает характер универсальной концепции. Умеренность, по Кекавмену, следует соблюдать в выражении и горя и радости (ибо человек «уже постоянно должен быть в состоянии худшего, как будто оно уже свершилось» (Там же. С. 219)); умеренность следует соблюдать в чувствах по отношению к женщине (ибо «люди, обуреваемые сильными чувствами, заслуживают серьезного порицания» (Там же. С. 229)); чувство умеренности необходимо и в политической карьере, где не следует забираться слишком высоко (страх «тягчайшего падения» (Там же. С. 125)); не следует быть ни чересчур смелым, ни чересчур робким, ни чрезмерно скупым, ни чрезмерно расточительным, не следует строить слишком смелые планы. Философия ограничения, подавления человеческих способностей, духовных сил и порывов, конечно, никак не могла быть созвучной созревающим в то время в духовной жизни предгуманистическим тенденциям.

В то же время в ходе мыслей Кекавмена улавливается и нечто совершенно иное, как бы идущее в русле положительных тенденций, могущее способствовать интеллектуальному прогрессу грядущих поколений. Это прежде всего уважение к книге, призыв к чтению, к проявлению и удовлетворению любознательности. «Читай много — и узнаешь много» (Там же. С. 213).

Своеобразным призывом к творчеству и инновации, ограниченным, правда, лишь сферой стратегического искусства, звучит призыв Кекавмена: «Изобретай и ты, что нужно, причем не только то, что ты узнал от древних и слышал, но придумывай и другое, новое, что способна изобрести человеческая природа» (Там же. С. 143).

Очень важным моментом в мировоззрении Кекавмена следует считать наличие в нем определенного демократизма, оценку людей не по происхождению и социальному статусу, а по человеческим достоинствам. Нет у него также пренебрежительного отношения к иноплеменникам, «ибо они разумны, как и ты» (Там же. С. 141). «Все люди происходят от великого корня» (Там же. С. 287). Все зависит от самого человека, ибо он как существо разумное, «если хочет, милостью божией сам становится богом» (Там же. С. 287).

Рационализм Кекавмена интересно проявляется в резко отрицательном отношении к снам (Там же. С. 218), к гадателям (Там же. С. 233) и юродивым, т. е. ко всему тому, что являлось неотъемлемой частью веры и суеверия, предметом пиетета византийцев.

Несмотря на признание полной зависимости земного от божественного, в жизни, сознании и содержании сочинения Кекавмена земное, мирское, светское значительно преобладает над божественным. Симптоматично, что в книге нет упоминания Христа, Богородицы, святых, христианских догматов, церковных обрядов и реалий. Упоминается монашество с требованием уважительного отношения к нему, но с оговоркой относительно его невежества.

Важно отметить, что светская струя в сочинении Кекавмена не зависит от античной традиции, а идет из недр византийской жизни. Античные реалии в «Стратегиконе» носят случайный характер и не создают в нем сколько-либо значительного компонента. {167}

Сочинение Кекавмена, содержащее уникальные сведения по истории Византии X—XI вв., считается важным историческим памятником. Говоря же о нем как о памятнике литературном, прежде всего следует поставить вопрос, насколько правомерно относить к литературе то, что создавалось не как литература, а прежде всего как частное завещание. При этом следует вспомнить, что Кекавмен не предполагал возможности выхода своего сочинения за круг семейного чтения, сам факт его дальнейшего распространения, переписывания, широкого чтения свидетельствует о его реальном превращении в явление византийской литературы (в отличие от других случаев, когда произведения, создаваемые как литературные, реально таковыми не становились). Из собственно литературных элементов можно отметить некоторые сравнения: например, плывущих медленно из-за недостатка весел военных кораблей со спуском орла, потерявшего крыло (Там же, С. 293); людей, ведущих неосторожные разговоры, с человеком, «который путешествует по незнакомому месту зимой, блуждает по оврагам и внезапно, не успев моргнуть глазом, срывается в пустоту» (Там же. С. 241); метафорические характеристики (например, воинов как «продающих кровь» (Там же. С. 141)).

Обращают на себя внимание такие живые, колоритные картины византийской жизни, иллюстрирующие отдельные увещания, с бытовыми штрихами, интонациями живой речи, например, в сцене, где требуют возвращения долга (Там же. С. 193), в описании атмосферы, возникшей в доме после второго брака (Там же. С. 233), и др.

Проповедник воздержанности и умеренности, Кекавмен, однако, сам не всегда умеет сдерживать свои чувства, бурно выражает свое эмоциональное отношение к тем или иным событиям: «И сокрушалось сердце мое, не вынося несправедливости» (Там же. С. 277).

И как бы страстно ни призывал и ни желал Кекавмен, чтобы дети его не проявляли душевной слабости и противостояли любым искушениям, сам он, знающий жизнь и предусматривающий, теоретически и практически, все возможные ситуации, вынужден допустить в жизни сыновей и такое: «Молись, дабы не впасть в искушение, а впад в него, держись без дрожи. Мужайся: никто не избегает испытаний, ибо как человек ты и подвергаешься человеческим бедам. Но всякая буря кончается тишиной» (Там же. С. 237).

Если высшие идеалы и устремления Симеона Богослова концентрируются в боге, а Кекавмена — в интересах семьи и потомства, то для Михаила Пселла высшей сферой самовыражения является мышление в сочетании с активной многосторонней деятельностью. Сравнить Пселла с кем-либо из современников вряд ли возможно, ибо по многогранности Пселл — личность исключительная не только для XI в., но и для всей истории византийской культуры. В то же время в этой истории трудно найти личность более противоречивую, более загадочную по несовместимости своих интеллектуальных, духовных, нравственных качеств, чем Михаил Пселл: яркий, незаурядный писатель и льстивый царедворец, мудрый наставник молодежи и подбострастный панегирист, автор патетических надгробных стихов в честь людей, в смерти которых был повинен, и циничный утешитель свергнутых василевсов, к гибели которых был причастен. Задача науки, естественно, состоит не в том, чтобы обвинять или оправдывать Пселла, а в том, чтобы понять его, насколько это позволяет современное, далеко еще не удовлетворительное, знание его жизни и творчества.

Самым обширным в творчестве Пселла является его риторическое наследие, включающее почти все жанры и виды греческой риторики. Наиболее обильно представлено красноречие эпидектическое. Это речи и энкомии (многочисленные обращения к императорам или речи от имени императоров, энкомии к материи, к Иоанну Мавроподу и др.), эпитафии, монодии.

Во многих речах Пселла отражены его связи с обществом, контакты и конфликты, симпатии и антипатии, характер которых выражен в заглавиях: «В защиту низложенного мирополита Филиппополя Лазаря», «Речь в защиту номофилака от Офриды», «К полагающим, что философ стремится к занятиям государственными делами, и по этой причине завидующим ему», «Слово против исподтишка его оклеветавшего», «Завистникам», «Речь против Кирулария» и т. д. Некоторые речи представляют своеобразные риторические упражнения — экфрасисы («О медной статуе коня на ипподроме», «Описание статуи спящего Эрота»), иные — пародии на энкомии («Энкомий блохе», «Энкомий вину», «О клопе») и др.

В научных оценках риторического наследия Пселла до последнего времени проявлялся типичный для отношения к византийской литературе антиисторический подход, когда оценка достоинств и недостатков происходит в основном при соотношении с античными нормами и критериями: в одних случаях Пселл критикуется за свою «античность» — беспрекословную приверженность классическим образцам и нормам, в других, напротив, порицается за самостоятельность, за отдаление от античных норм и идеалов. Так же, как и в отношении философского наследия Пселла, объективная оценка его риторики возможна лишь с учетом особенностей исторического развития и общего процесса развития культуры в соответствии не с принципом расчленения на «античные» и «неантичные» компоненты, а с принципом выявления в их соотношении и взаимосвязи новых, своеобразных «византийских» тенденций — как в риторических произведениях Пселла, так и в его теоретических сочинениях по вопросам риторики.

Теоретические воззрения Пселла по данным вопросам излагаются в целом ряде трактатов, таких, как «Обзор риторических идей», «О сочетании частей речи», «Стиль Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста и Григория Нисского», «Ипертима Пселла слово, составленное для вестарха Пофоса, попросившего написать о богословском стиле». От этих сочинений невозможно отделить литературные трактаты Пселла «Об Ахилле Татии и Гелиодо-

ре», «Спросившему, кто лучше писал стихи, Еврипид или Писида» и «Энкомий Симеону Метафрасту», как нельзя принципиально разграничить глубоко взаимосвязанные в античной и в еще большей степени в средневековой византийской литературе теорию литературы и теорию красноречия. Взгляды Пселла представляют интерес с точки зрения как его понимания задач риторики и литературы, так и его восприятия греческого литературного наследия.

Рассуждения Пселла о теоретических аспектах ораторского искусства свидетельствуют о том, что известный византийский ритор был хорошо {169} знаком с тем, что создано античностью в области теории красноречия. Из сочинений Пселла явствует также, что эти теории восприняты им в основном на уровне их позднеантичных разработок (Дионисий Галикарнаский, Гермоген), переродившихся в значительной степени в систему формальных канонов. В интерпретации Пселла они в ряде случаев еще более формализуются в результате недостаточно глубокого и точного прочтения и понимания текстов. В своих рассуждениях о видах речи и их компонентах Пселл предстает как верный ученик древних наставников, подражание которым объявляется гарантией достижения совершенства. И все это так бы и шло в русле эллинистическо-византийской традиции, если бы не некоторые высказанные в трактате «Слово... о богословском стиле» и повторяющиеся в некоторых других сочинениях мысли Пселла, вносящие новую, неожиданную ноту: идею творческого освоения риторической науки и творческого отношения к искусству слова, понятие творческой индивидуальности, становящееся у Пселла преимущественным критерием оценки ораторского мастерства.

В трактате «О соединении», разъясняя способы соединения, сочетания в речи различных компонентов, автор обращается за примером к строительству, искусству кладки камней, бревен, кирпичей. Принцип подгона, прилаживания Пселл развивает в идею слияния, рождающего новое качество, апеллируя при этом не к бревнам и кирпичам, а к столь органичной для византийца стихии сочетания многоцветных камней. Слова уподобляются драгоценным камням: одни из них «можно сравнить с зелеными камнями, другие — с огненными, третьи — со светящимися: а иные — с едва зримыми» (*Мих. Пс. Слово. С. 162*). «Не все жемчужины,— пишет Пселл, обращаясь к Григорию Богослову,— думаю, брал ты крупные и круглые, а из камней брал не только сверкающие и зеленые. Пусть одни из них были прозрачны, другие же — мутные или словно изъеденные морской водой, с трещинами, иные же были расколоты до глубины, некоторые же малы, не придающие особого блеска произведению искусства... делал непохожее похожим и при несходстве материалов добивался наилучшей гармонии» (*Там же. С. 164*)²³.

Под «наилучшей гармонией» Пселл разумеет качественно новое художественное явление, возникающее благодаря способности Григория «делать многое единым», что является не чем иным, как силой таланта, творчества, творческого вдохновения (*Там же*)²⁴. Вобрав в себя все лучшее, что было достигнуто предшественниками, творчески переработав их опыт, проведя его через свой ум и душу, Григорий сам становится источником яркого искусства. «Мне во всяком случае кажется, {170} что он, однажды выпив сразу весь поток искусства, частью оттуда напоил свой разум, частью из своей души вывел источник воды живой и отделявал свои речи не глядя на образец, но был сам для себя первообразом стиля» (*Там же. С. 166*), «объединил в своих речах достоинство каждого из упомянутых лиц, что кажется, будто он не у них отыскал и собрал все это, а сам собой стал первообразом словесной прелести» (*Там же. С. 161*).

Для Пселла несомненно право одаренного художника творить по-своему, по диктуемому его собственной творческой интуицией законам; в этом он далеко уходит от рекомендаций Дионисия Галикарнаского относительно применения «хорошо проверенных им канонов

²³ Интересна тенденция Пселла описывать явления риторики элементами оптическими, использовать образ «слова-камня» для характеристики фонетических и акустических особенностей речи: «...одни из них крупны, застревают в челюсти, сильно бьют они окружающий воздух, скопом проталкиваются в уши слушателей. Шумят в лабиринтовых проходах и потрясают душу» (*Там же. С. 162*). «...Округлые и отточенные снаружи, его слова внутри полые, а если часто давить их губами, они провалятся» (*Там же. С. 165*).

²⁴ «При смешивании красок,— поясняет Пселл в другом трактате («Стиль Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста и Григория Нисского»),— создается цвет, на эти краски непохожий и более красивый, чем любой из составивших его цветов. Так и цвет Григориевой речи вобрал в себя тысячи цветов, но отличен от них и гораздо красивее их» (*Там же. С. 154*).

для тех, кто стремится хорошо писать и говорить»²⁵. В творчестве Григория он особенно подчеркивает «приемы, открытые им самим», «изобретенное им самим искусство», «смещение фигур по-своему», «свои собственные сочетания».

Постулирование Пселлом идеи *самостоятельности, самобытности* творчества особенно ценно тем, что идея эта, наиболее четко высказанная в связи с творчеством Григория Назианзина, отнюдь не замыкается на этом высшем для византийцев литературном и церковном авторитете, а представляется столь же актуальной в отношении молодого Иоанна Итала, Константина Лихуда, сравниваемого им по яркости и силе красноречия с Периклом («в большинстве случаев не подчинился канонам, а вводил каноны, лучшие, чем оно»)²⁶, а главным образом в отношении самого Михаила Пселла, усматривавшего в своем творчестве ту же способность, которой наделен Григорий,— «делать многое единым» («Я один впитал в себя многих» (Памятники. С. 149)).

Эта идея, довольно четко проявившаяся в литературных воззрениях Пселла, важна для лучшего понимания представлений византийцев данной эпохи об их месте в непрерывном процессе развития культуры, соотношения их творчества с наследием великих предков. Теория самостоятельного творческого поиска (правда, не так уж широко выполняющаяся на практике), претензия на соизмеримость собственного творчества с творчеством древних, принципиально отличается от других, культивируемых в средние века концепций, в частности от идеи «*Translatio studii*» (преемственности знаний), усматривающей залог собственных достижений в величии предков, в богатстве оставленного ими культурного наследия (известное сравнение св. Бернара с карликами, стоящими на плечах великанов).

Пселл и его современники, сознавая свою глубокую и прямую связь с греческим прошлым, которым они не перестают восхищаться, тем не менее ощущают себя не карликами, а фигурами, соизмеримыми с великими предшественниками, что представляет интерес как выражение активного творческого самосознания.

В идее сопоставимости византийской культуры с культурным наследием античности, в сравнении Лихуда с Периклом или Георгия Писиды {171} с Еврипидом («Спросившему, кто лучше писал стихи. Еврипид или Писида» (*Мих. Пс.* Слово. С. 166)) с очевидностью проявляется антиисторизм Пселла, естественный для данной эпохи. Однако, с другой стороны, здесь важно отметить и *глубокую историчность* Пселла по сравнению со многими филологами более позднего времени, заключающуюся в чувстве глубокого и органичного *единства* греческой литературы, цельности и непрерывности греческого литературного процесса. Если в сфере науки термин «наша» наука означает у Пселла богословие, в отличие от античных светских наук, то в области художественного творчества эта грань бывает почти незаметной.

«Ты спрашиваешь,— пишет он в своем „письме-трактате“, условно называемом „Стиль Григория Богослова, Василия Великого, Златоуста и Григория Нисского“,— сколько и кто из христианских авторов создавал свои речи по правилам искусства и могут ли они соперничать с Демосфеном и Лисием по построению, убедительности, выбору и сочетанию слов, внешним украшениям и эффективным фигурам?» (*Mich. Ps. De oper. daem.* P. 124).

На этот вопрос дается положительный ответ, составляющий содержание данного трактата. Однако сама постановка такого вопроса перед Пселлом предполагала неуверенность в возможности сравнения, в сопоставимости явлений. В трактате, посвященном «богословскому стилю Григория Назианзина», преимущество Григория перед его античными предшественниками аргументируется в свете общелитературных и общериторических критериев, но не мотивируется преимуществом Григория как христианина перед язычниками. В другом своем литературно-риторическом сочинении (Памятники. С. 148), перечисляя предпочитаемых им писателей: Демосфена, Сократа, Аристида и Фукидида, Пселл причисляет к ним и Григория, который для него стоит выше всех, при этом он, как всегда, руководствуется нерелигиозным критерием — «по уму и красоте».

Оценка греческой литературы как единой сокровищницы с единых, общелитературных позиций — линия, идущая от Фотия, от «более спокойного», нерелигиозного подхода к антич-

²⁵ Цит. по: *Миллер Т. А.* Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский // Античность и Византия. М., 1975. С. 146.

²⁶ Цит. по: *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 135.

ности. В смысле преодоления в отношении к литературе внелитературных критериев Пселл представляет, несомненно, более высокий, более современный ему этап. Это видно хотя бы по оценке Фотием и Пселлом одних и тех же литературных произведений. К примеру, роман Ахилла Татия, который после признания в нем некоторых стилистических достоинств оценивается Фотием в основном с христианских морально-этических позиций, «делающих невозможным его чтение», Пселл воспринимает иначе: противопоставив роман другому, более серьезному чтению, Пселл определяет его место в ряду услаждающих, развлекательных книг, которым не отказывает в праве участвовать в формировании вкуса и знаний, что свидетельствует о глубоком проникновении Пселла в литературное мастерство романиста, структуру произведения, построение его сложной, многоплановой композиции.

Говоря о «литературоведении» Пселла, не следует, однако, преувеличивать: у Пселла нет сколько-нибудь четкой концепции истории литературы, четких критериев оценки идейно-художественного содержания произведения. Это видно хотя бы из сопоставления Пселлом творчества Эсхила и Писиды, где критерием оценки своеобразных идейных и художественных явлений оказываются риторические и метрические аспекты. Помимо расплывчатости критериев оценки, сказывается и очевидная ограниченность знания древнегреческой литературы, представлений о реальном объеме и истинной глубине ее содержания (в данном случае подлинного Эсхила), однако и удивляться следует не тому, что еще не было прочитано и познано Пселлом, а тому, что было уже понято и осознано. Развитие византийской культуры не было прямо пропорциональным, тождественным темпу и степени углубления в античную культуру.

Прогресс средневековых культур (в том числе, очевидно, и греческой), обусловленный многими факторами, не шел непременно через познание и освоение античной культуры. Неглубокое знание Эсхила (и многих других древнегреческих писателей) не сдерживает стремления Пселла познать глубины бытия, вникнуть в смысл человеческой жизни, чувствовать себя полноценным участником многовековой греческой духовной истории и нового культурного прогресса.

Наиболее ярким явлением в литературном творчестве Пселла справедливо считается «Хронография». Нисколько не принижая ее значения как первостепенного исторического источника, во многом, несомненно, достоверно отражающего реальную действительность, следует сказать об исключительной ценности «Хронографии», ее насыщенности другой, художественной правдой, силой и яркостью изображения событий и характеров, страстей и психологии, сливающихся в единую картину эпохи — драму людей и драму империи.

Своеобразие «Хронографии» во многом обусловлено воплощением в ней, в определенной мере, одного из творческих идеалов Пселла — стремления к синтезу риторики и философии. Рассказывая о событиях истории и деяниях людей, Пселл всегда пытается вникнуть в их общечеловеческий смысл, уловить «философию» истории, раскрываемую им обычно в заключающих отдельные эпизоды рассказа обобщающих сентенциях. Никогда не переходящие в философские рассуждения, остающиеся в рамках жанровой стилистики произведения, они раскрываются параллельно и посредством литературных приемов, самим ходом повествования, мастерским построением рассказа, подчеркивающим причинно-следственную связь явлений. Одно из главных достоинств «Хронографии» — произведения, не относящегося определенно ни к одному из жанров, как ни странно, — именно жанровое единство, не изменяющее писателю чувство стиля складывающегося под его пером сочинения.

Особый характер придает сочинению Пселла участие в нем самого автора как одной из активных политических фигур данной эпохи. Он вступает в действие незаметно, постепенно, по мере активизации его роли ближайшего советника императоров начиная с царствования Константина IX Мономаха. Именно к этой части рассказа относится представление Пселлом самого себя с изложением своих исторических и других концепций, помещаемых обычно в предисловии. Здесь это своеобразная форма характеристики вступающего в рассказ исторического персонажа и в то же время — прием, позволяющий Пселлу показать глубину и широту своего мышления и знаний.

Эта тенденция Пселла, и в дальнейшем выражающаяся либо в непомерном преувеличении своих заслуг и достоинств (влияния на императоров и на судьбы империи, на возрождение науки, даже обогащение стратегического искусства, в котором разбирался слабо),

либо в приглушении, умалчивании своих просчетов и недостатков, вступает в противоречие с художественной целеустановкой Пселла на достижение максимальной достоверности и правдоподобия. Пселлу-писателю не всегда удается игнорировать законы правдоподобия в угоду Пселлу-политику, и в этих случаях в произведении проступают теневые черты его характера, отголоски неблагоприятных действий. Не способствуя, естественно, усилению читательских симпатий к Пселлу-герою, такие моменты вызывают углубление доверия к Пселлу-писателю, к достоверности излагаемых им событий. Иллюзию объективности повествования Пселл создает и сознательным использованием ряда приемов: отсутствием категоричности в оценке событий («Я не могу сказать, прав ли я» (*Мих Пс.* С. 32)), указанием на источники информации, прямыми обращениями к усопшим императорам, призываемым в свидетели тех или иных событий (к Константину Мономаху и Константину Дуке), критикой мелких, незначительных недостатков здравствующих императоров (критика юного Михаила VII за неспособность складывать ямбы в сочетании с безмерным восхвалением его других достоинств), сравнительно редким обращением к прямой речи: Пселл вкладывает в уста исторических персонажей импровизированные тексты (если они и встречаются в «Хронографии», то, как правило, сравнительно коротки и произнесены в присутствии Пселла). Расположению к рассказу способствует и доверительный интимный тон рассказчика, вводящего читателя даже в технологию повествования («Однако мой рассказ, не миновав еще и введения, уже поспешно стремится к концу — вернемся же к истокам правления Романа» (Там же. С. 23)) и делающего его как бы соавтором, более того — иногда даже соучастником событий («Доводя до этого места повествование о царице, снова вернемся к севасте и самодержцу и, если угодно, разбудим их, разъединим и Константина прибережем для дальнейшего рассказа, а жизнь Склирины завершим уже здесь» (Там же. С. 89)).

В подобных пассажах раскрывается, конечно, не все — и не главное — в искусстве Пселла как рассказчика, умеющего держать в напряжении читателя, высвечивать основные идейные и эмоциональные акценты. Умением прервать рассказ вовремя, на интересном месте и обещанием вернуться к нему позже автор создает соответствующий эмоциональный фон для дальнейшего повествования; например, когда прерывает рассказ, закончившийся драмой романтической любви Константина Мономаха («О всех страданиях Константина я умолчу — расскажу только о главном, какие дела он творил на могиле севасты, но сделаю это не сейчас, а в свое время, после того, как изложу события, которые этому предшествовали» (Там же. С. 89)). Пселл не всегда выполняет обещание о возобновлении прерванного рассказа, иногда считая, по-видимому, задачу литературного приема выполненной, а иной раз, быть может, и попросту забыв об обещании. Подобные просчеты и признания в них Пселла тоже превращаются в литературный прием. Так, описание внешности Василия II, помещенное, как говорит Пселл, по забывчивости и оплошности лишь в конец рассказа об этом императоре, в действительности становится своеобразным, необычайно ярким и четким психофизи-^{174}ческим резюме рассказа о сильном и грозном Василии Болгаробойце (Там же. С. 17).

Образом Василия открывается галерея персонажей «Хронографии», потрясающих своей яркостью, полнокровностью, богатством красок духовного мира и внешнего облика. И если мы можем представить себе данную эпоху в истории Византии как историю жизни реальных, во плоти и крови встающих перед нашими глазами людей, то это главным образом благодаря удивительным портретам, созданным талантом Пселла.

Пселл понимал задачи писателя в сфере изображения лиц и характеров, осознавал свою способность проникновения в души людей: «Я проник в твою душу, — пишет он одному из своих адресатов, — и понимаю тебя лучше, чем ты самого себя; хочешь я коротко представлю, каков ты душой?» (Виз. лит. С. 246). «Как никто другой, — говорит он, — способен я распознавать людей посредством ощущений, как сквозь двери, проникать в душу, постигать ее, отраженную в бровях и глазах» (Там же).

В основе изображения Пселлом лиц и характеров лежит также его четкая концепция человека, который представляется ему совмещением противоположностей, «смешением разумного и неразумного» (с преобладанием неразумного), для которого характерно непостоянство и изменчивость. Это тем более касается тех, кто преимущественно является предметом изображения в «Хронографии», — правителей, души которых, «как море, успокаивающееся и затихающее лишь на мгновение, а в остальное время волнующееся и вздымающееся волнами и бурлящее то от борея, то от апарктя, то от другого, несущего бурю ветра» (*Мих. Пс.* С. 78).

При изображении людей Пселл основывается на новых для византийской и в целом для средневековой литературы принципах. Это раскрытие образа в действии и движении, в его внутренней сложности и противоречивости, в глубоком взаимодействии с историей, во взаимосвязи нравственных и духовных качеств и их соотношении с внешними, физическими чертами. Тонкость и точность психологических наблюдений усиливается и образной, метафорической формой их выражения, остро контрастным характером их сочетаний и противопоставлений. Данные приемы в значительной мере используются в характеристике Зои: «В остальном же была она то мягкой и расслабленной, то жесткой и строгой, причем оба состояния сочетались в одном человеке и сменяли друг друга в мгновение ока и без всякой причины. Если кто-нибудь при неожиданном появлении бросался на землю, притворяясь, будто, как ударом молнии, поражен ее видом (такую комедию перед ней разыгрывали многие), то она сразу одаривала его золотой повязкой, но если он при этом начинал пространно выражать свою благодарность, тут же приказывала заковать его в железные цепи. Зная, что ее отец не скупился на наказания, лишал осужденных глаз, она подвергала такой же каре за малейший проступок, и если бы не вмешивался самодержец, многим людям вырывали бы глаза без всякого повода...» (Там же. С. 118).

Контрасты с наибольшим эффектом используются Пселлом при сравнительных, парных характеристиках (синкрисисах), позволяющих более четко высвечивать специфические черты характера. Так намечаются черты первых же героев «Хронографии» — Василия II и Константина-175 на VIII: «Василий — старший из них — производил всегда впечатление человека деятельного и озабоченного, а Константин, напротив, всем казался безвольным прожигателем жизни, будучи человеком легкомысленным и склонным к развлечению» (Там же. С. 6). Эти черты затем развиваются в повествовании интересно и многогранно: Василий, проводя жизнь в походах, «выносил зимнюю стужу и летний зной, томясь жаждой, не сразу бросался к источнику и был воистину тверд, как камень»; Константин «при сильном теле был труслив душой. Уже старик, не способный вести войну, он раздражался от любого дурного известия, и когда наши соседи-варвары поднялись против нас, успокаивал их титулами и дарами... злоумышленников он не подвергал опале, не изгонял и не заключал под стражу, а немедленно выжигал им глаза железом. Такое наказание он определял всем, за проступки тяжелые и легкие, независимо от того, действительно человек виновен или только дал пищу для слухов,— ведь царь не заботился, чтобы наказание соответствовало преступлению, а хотел лишь избавить себя от беспокойства» (Там же. С. 18).

Пселл умеет давать четкую, принципиальную характеристику несколькими штрихами, короткой фразой, вмещающей максимальную информацию: «Иоанн, муж не только храбрый, но деятельный и решительный, умевший красно говорить, а еще лучше молчать» (Там же. С. 144); «Они не ошиблись в своем выборе, разве только что этот муж умел скорее подчиняться и повиноваться, нежели повелевать» (Там же. С. 1); «казаться значило для него больше, чем быть» (Там же. С. 27). «Какую он вел жизнь, такого и заслужил погребения, и от своих трудов и трат на монастырь воспользовался только тем, что его похоронили в укромном уголке храма Романа III» (Там же. С. 35).

Наиболее яркие из образов Пселла — те, которые он рисовал «с природы», образы людей, с которыми ему довелось жить в непосредственном общении, испытать на себя их милость и гнев, изменчивость нрава. Главный из них — Константин IX Мономах, которому в «Хронографии» отводится наибольшее место. Сложность оценки Константина усугубляется осознанием Пселлом того, сколь многим он обязан милости монарха, личности и правлению которого он как историк, желающий писать «по законам правды», не может дать положительной оценки. Оценка, данная им Константину, сурова: «Этот самодержец не постиг природы царства, ни того, что оно род полезного служения подданным и нуждается в душе, постоянно бдящей о благом правлении, но счел свою власть отдыхом от трудов, исполнением желаемого, ослаблением напряжения, будто он приплыл в гавань, чтобы уже не братья больше за рулевое весло, но наслаждаться благами покоя; он передал другим попечение о казне, право суда и заботы о войске, лишь малую толику дел взял на себя, а своим законным жребием счел жизнь, полную удовольствия и радостей...» (Там же. С. 83).

Легкомыслие императора иллюстрируется описанием его чудачеств — увлечения бессмысленным строительством, привязанности к шутам и шарлатанам, любовных походов.

Однако, зная, что «деяния царственных особ неоднозначны и добрые поступки переплетаются с дурными», Пселл рисует образ «отрицательного» императора не одними только черными красками, а высвечивая привлекательные черты, в частности дар завоевывать сердца подданных, умение найти подход к каждому, {176} действуя с искусством, не мороча людей, искренне стараясь делать им приятное. Но мягкость императора, склонность к легкой и беззаботной жизни, распространяющаяся и на стиль управления империей, обретает в повествовании Пселла масштаб преступного небрежения, губительной безответственности перед людьми и государством. «Как первые приступы развивающейся болезни не меняют здоровый и полный сил организм, так и тогда небрежение императора едва только ощущалось, ибо царство при смерти еще не было и доставало ему и дыхания и силы. И продолжалось это до тех пор, пока все увеличивающееся и дошедшее до предела зло не разрушило и не привело все в смешение» (Там же. С. 83).

Хотя инерция риторики проявляется и в «Хронографии», однако риторический поток под пером Пселла сливается с иным — образно-метафорическим стилем, перекрываясь им, вписываясь в него в качестве подчиненного элемента. Так происходит с риторическими элементами в описании портретов, когда они растворяются в описаниях черт, обретающих функциональное, физиогномическое звучание, раскрывающих внутренний мир героев. В некоторых портретах, выполненных двумя-тремя штрихами, они отсутствуют вовсе («Девушка была украшена только двумя прелестями: белоснежной кожей и прекрасными, лучистыми глазами» (Там же. С. 116); «...без украшений она прекрасней, чем когда по необходимости их надевает» (Там же. С. 192).

Это наблюдается и в описаниях природы, которые часто приобретают функциональный характер, становясь либо созвучным, либо контрастным фоном описываемых явлений, активно включаясь в динамику событий. «Тут вдруг солнце притянуло к себе снизу туман и, когда горизонт очистился, переместило воздух, который возбудил сильный восточный ветер, взбороздил волнами море и нагнал водяные валы на варваров... казалось, будто излившийся из рек поток крови окрасил море» (Там же. С. 97). «Полуденное солнце еще не дошло до зенита, когда царица, тихо вздохнув, казалось, приготовилась умереть» (Там же. С. 136).

Образно-метафорический стиль описаний распространяется и на характеристику исторических и социальных процессов, сравниваемых с явлениями природы, с действием живого организма. Кроме приведенного выше описания постепенного разрушения государства, уподобляемого развитию болезни в человеческом организме, можно вспомнить рассказ о грандиозном мятеже против Михаила V как «великом и всенародном таинстве», когда «весь город... будто распалась гармония его тела, уже приходил по частям в брожение» и когда вдруг «людей словно обуяла какая-то высшая сила, никто не остался в прежнем состоянии: все носились как бешеные, их руки налились силой, глаза метали молнии и светились неистовством, мышцы тела окрепли, ни один человек не желал, да и не мог настроить себя на благочинный вид и отказать от своих намерений» (Там же. С. 60, 62).

В числе акцентов «Хронографии», важных для понимания идейных общественных процессов эпохи, следует обратить внимание на особенность пселловского «гуманизма». В произведении, в котором столь значительное место отведено описанию ослеплений, кровопролитий и других проявлений жесткости как обычных явлений византийской действительности подмечаются и акцентируются иные, непривычные для средневековья нравственные позиции. Это касается, в частности, оценки правления {177} Константина X Дуки, поклявшегося при восшествии на престол не подвергать никого телесным наказаниям и, как утверждает писатель, сумевшего выполнить свое слово, ибо «воздерживался не только от пыток, но и от грубых слов», «ни одной души не загубил даже за самые тяжкие преступления, никому не обрубил ни рук, ни ног...» (Там же. С. 169, 172).

Файл byz178g.jpg

Отправление Иакова в Харран.

Ок. 1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

Значительное место уделено Пселлом описанию любви и характеру этого описания. Акцент на любовные увлечения в жизни почти всех императоров, начиная с Василия II, отра-

жает объективно все большую значимость любовных связей в жизни византийского общества и соответственно интерес к ним, проявляемый литературой. С увлечением и подробностями описывает Пселл любовную страсть Зои к юному Михаилу, пространно повествует о скандальном романе Константина Мономаха с прекрасной Склириной, интересный с точки зрения представлений византийцев о любви, семье и браке в сопоставлении с представлениями о них в Европе и других странах²⁷. Роман Мономаха со Склириной, который, несмотря на формальное осуждение, описывается Пселлом с {178} симпатией, в стиле романтической любви: возникает он не как адюльтер, поскольку завязывается еще до бракосочетания Константина с императрицей Зоей; став императором, Константин сохраняет в отношении Склирины возвышенные чувства (в этой связи представляет интерес нравственная оценка общества, возмущающегося именно тем, что «царь являлся к Склирине не как к наложнице, а как к истинной супруге»). В рассказе Пселла об этой любви есть оттенок протеста, вызова традиционной церковной и общественной нравственности. Однако если, с одной стороны, Пселл как бы приближается к высокому идеалу любви, который в будущем столетии будет культивироваться византийским романом (возвышенная любовь, осуществленная в супружестве, основанная на равноправии), то с другой — в отношении к женщине он остается на традиционных консервативных позициях, на уровне Кекавмена («она избегала и того, что свойственно презренной женской натуре» (Там же. С. 39)).

В богатом творчестве Михаила Пселла есть немало и поэтических произведений, которые настолько разбросаны по разным изданиям и не систематизированы, что в настоящее время оценка реального масштаба и значимости поэтического наследия Пселла затруднительна. В одной из анонимных эпиграмм²⁸ его имя упоминается в ряду известных поэтов: «Ты ипертим Пселл, Писида, Христофор и Леон, и Феофилакт...».

В этом перечне фигурируют два современника Пселла: Феофилакт Охридский — известный писатель (с 1078 г. архиепископ Болгарии), и Христофор Митиленский — несомненно, наиболее яркая фигура в поэзии XI в.

Рукописи именуют поэта либо Христофором Митиленским, либо просто Митиленским, что, по мнению издателя Э. Курца²⁹, является намеком на родину его предков, так как сам Христофор, по его же собственному заявлению, рожден в Константинополе, где и провел большую часть жизни. О жизни Христофора в первой половине XI в. известно мало, пожалуй, лишь то, что можно извлечь из перечня его должностей и титулов, предпосланного сборнику стихов, где он именуется патриkiem, анфипатом, судьей Пафлагонии, и из стихотворения самого Христофора, в котором он называет себя императорским секретарем. Нет больше никаких других следов личности и деятельности Христофора, хотя он, по-видимому, вел весьма активную жизнь и был тесно связан с современниками, свидетельством чего является само его творчество.

Ту поэтическую форму, к которой в основном обращается Христофор, принято называть эпиграммой, хотя некоторые произведения Христофора, содержащие 125 или 231 строк, назвать эпиграммами можно лишь весьма условно. И дело здесь не только в объеме, но и в их особой жанровой природе, специфической литературной форме, не поддающейся определению с помощью античных критериев. Объем этих произведений Христофора — своеобразных поэм-картинок — не результат утраты чувства жанра и чувства меры, а естественное воплощение определенной поэтической и эстетической идеи. {179}

Одно из таких произведений Христофора описывает праздничное шествие в честь св. великомученика Маркиана — веселые, шумливые мальчишки в ярких карнавальных костюмах изображают царей и вельмож. Этих же мальчишек поэт видит на следующий день, но уже не в блеске праздника, а в унылой школе, одетых в лохмотья, исполосованных плетью. «И я сказал,— заключает он,— что день вчерашний был сном». Несмотря на сильные повреждения, в рукописи улавливается целый ряд интересных, реалистических штрихов: украшенные царскими тиарами мальчишки, с аппетитом уплетающие лепешки, старик-педагог, плетущийся за ни-

²⁷ Из новейших исследований см.: *Daby G. Le chevalier, la femme et le prêtre*. P., 1981.

²⁸ *Krambacher K. Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches* (527—1453). München, 1897. 2. Aufl. S. 441.

²⁹ *Kurtz E. Einleitung // Die Gedichte des Christophoros Mitilenaioi/Hrsg. E. Kurtz. Leipzig, 1903. S. 111.*

ми на кляче. В тексте намечаются и философские оттенки — противопоставление воображаемого и действительного, вчерашнего и сегодняшнего, «верха» и «низа» в типично средневековой стихии карнавного травестирования.

Тема изменчивости, зыбкости и эфемерности всего сущего не менее интересно представлена в стихотворении, написанном на смерть императора Романа III Аргира. Вначале торжественно-патетический гексаметр стиха звучит как плач по усопшему императору, напоминая оплакивание героев героического эпоса:

*Где же твой скипетр, Роман, завидный и громкая слава?
Где твой трон, где сидел ты, великий властитель народов?
Где твой венец, златокованный твой, который носил ты?
Где твой порфирный сапог, проворный, дивный для взора?
Горе! Внезапная, черная смерть все мраком укрыла.*

(Памятники. С. 286)

В дальнейшем, однако, высокий пафос поэта оказывается литературным приемом, подчеркивающим контраст между внешним, патетически-театральным восприятием смерти государя и подлинными чувствами оплакивавших его людей: супруги, которая «тотчас кругом обошла... дворцовые двери, тщательно их замыкала, ключи все от них уносила», других плакальщиков, которые, предав тело государя земле, тотчас «к молодому пошли государю, забывши Романа»³⁰ (Там же. С. 287—288).

Тема «жизнь-игра» звучит в одной из «философских» эпиграмм Христофора:

*Игра, где мечут кости, представляет нам
В наглядном виде и в наглядных образах
Житейскую превратность коловратную:
Так не сказать ли нам, живописуя жизнь, что это
лишь игра, ничуть не более.*

(Виз. лит. С. 75)

Философская медитация не является, однако, подлинной стихией Христофора, который тему контраста, противоречия между видимым и реальным с большой силой и естественностью выявляет в описании подмеченных зорким взглядом реальных фактов византийской действительности, в их остро сатирической оценке. Это несоответствие между назначением религиозного праздника в честь св. Фомы и его реальной картины — беспорядочной скучающей толпы, которой нет никакого дела до бога и благочестия, между положением и убогими умственными способностями высокого византийского чиновника, достаиваемого едкой эпиграммы, в которой искусно обыгрываются библейские образы:

*«Когда вы все не станете, как дети,
Не обретете жребия горе»,—
Сказал Христос евангельскою речью.
Не бойся, Соломон, того суда:
Ты меньше смыслишь малого ребенка,
Хоть мудреца прозваньем щеголяешь.*

(Христоф. С. 7)

Другие герои эпиграмм Христофора — это самоуверенный врач, вовсе не умеющий лечить («Тщеславному врачу»), учителя, «знатоки» литературы, не умеющие писать, «ослы с лирой Орфея» («Невежда, или Вообразивший себя грамматиком»), «Поклонник Платона, или Кожевник»); священнослужители, полностью лишённые духовности и благочестия, среди них — бывший матрос, призывающий паству к молитве возгласом «поплыли!», и бывший трактирщик, расхваливающий вино, налитое в чашу для причастия (Там же. С. 14—16). Особой остротой отличаются эпиграммы, обличающие монахов, их чревоугодие, пристрастие к мирским благам. Например, любовь монахов к светским головным уборам дает повод для остроты:

³⁰ По свидетельству историков, Роман был убит в результате заговора при участии царицы Зои и ее молодого любовника, будущего императора Михаила IV. Описание смерти Романа в данном стихотворении интересно сопоставить с описанием смерти Романа в «Хронографии» Пселла, где об отношении Зои к убийству говорится не прямо, а посредством описания ее реакции: «На поднявшийся тут крик сбежались люди, среди них императрица без свиты, с выражением глубокой печали на лице. Едва взглянув на мужа — она тотчас ушла, удостоверившись по его виду в близкой кончине» (Мих. Пс. С. 33).

ческой характеристики этих монахов, святых «во всем, кроме головы», а пристрастие к парфюмерии — для не менее хлесткой оценки «вечно благоухающей добродетели». Уничтожающей силы пафоса, полностью обнажающего невежество и лицемерие монахов, сатира Христофора достигает в эпиграмме «На собирателя реликвий», в которой описывается столь распространенный и чтимый в Византии обычай коллекционирования святых мощей:

*Молва идет (болтают люди всякое,
А все-таки, сдается, правда есть в молве),
Святой отец, что будто бы до крайности
Ты рад, когда предложит продавец тебе
Святителя останки досточтимые;
Что будто ты наполнил все лари свои
И часто открываешь — показать друзьям
Прокопия святого руки (дюжину),
Феодора лодыжки... посчитать, так семь,
И Нестеровых челюстей десятка два,
И ровно восемь черепов Георгия!*

(Памятники, С. 287)

Любопытно, что отсутствие почтения проявляется не только по отношению к священнослужителям, но и к самим святым. Так, делая героем эпиграммы такого почитаемого в византийском мире святого, как Лазарь, Христофор ставит неожиданный по дерзости вопрос — что же видел, что же узнал Лазарь, находясь во гробе, а молчанию Лазаря в ответ на поставленный вопрос дает юмористическое толкование: «Воистину ты верный друг Христов, о тайнах друга строго промолчавший» (Христоф. С. 32). {181}

У Христофора Митиленского — одного из известных схедеографов своего времени — чувствуется повышенный интерес к слову, высвечиванию, обыгрыванию его различных смысловых и звуковых оттенков. Например, в эпиграмме, в которой некий Василий Ксирос (что означает «сухой»), верша суд в Греции, как в море благ, отпускает подсудимых «сухими» и др.

У Христофора встречается и другой вид распространенной литературной «игры», так называемый центон — составление стихотворного текста путем соединения элементов разных, в основном античных, литературных произведений. Одно из таких стихотворений представляет собой обращение юноши к отцу, которого он утешает после смерти матери. Утешение — это звучащие как эхо ответы матери на вопросы сына о загробном мире.

Смелость, отход от традиций наблюдается у Христофора и в такой, в общем консервативной, области византийской литературы, как метрика: наряду с использованием в основном ямбического trimetra, реже — гексаметра Христофор прибегает и к неожиданному, оригинальному сочетанию размеров.

В отличие от Христофора Митиленского другой представитель поэзии XI в., Иоанн Мавропод, является хорошо известной исторической личностью. Он представитель интеллектуальных кругов Константинополя, учитель Михаила Пселла и его друг. Свою глубокую признательность учителю Пселл выразил в энкомии Иоанну Мавроподу следующими словами: «Знай, что ты один — отец моей учености и воспитатель, если есть во мне сколько-нибудь добродетели, и наставник в божественном. Никогда не забуду я этого»³¹.

Сущность мировоззрения Иоанна Мавропода отражена в одной из эпиграмм, в которой он просит Христа принять в сонм праведников Платона и Плутарха, выражая тем самым восходящую к Юстину идею о возможности приобщения к христианству тех, кто в дохристианском прошлом жил в согласии с духом христианства:

*Коль ты решил бы из чужих кого-нибудь,
Христе, избавить от своей немилости,
Платона и Плутарха ты б избавил мне:
Они ведь оба словом и обычаем
Твоих законов неизменно держатся.
А коль неведом был ты им как бог-творец,
Ты должен оказать им милосердие,
Раз ты желаешь всех спасти от гибели.*

³¹ Цит. по: Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 42.

Эта идея интеграции античности в христианство, расширения горизонтов византийской культуры — одна из основных в жизнедеятельности Иоанна Мавропода, принимавшего участие в основании Константинопольской высшей школы. Этому во многом способствовала его деятельность в качестве руководителя частной школы, помещавшейся в его собственном доме. В трогательных поэтических строках вспоминает Иоанн свой отчий дом, в котором он провел столько лет в ученых занятиях и в общении с учениками. Этот образ наполненного светом знаний и теплом человеческого общения дома возникает в строках не только {182} Мавропода, но и других признательных ему людей, в частности в стихах племянника Иоанна — Феодора Китонита, который называет дом дяди всеобщей школой тех, кто жаждал познать науки.

Сочетание светского и духовного, античного и христианского четко проявляется и в его сборнике, содержащем 99 стихотворных сочинений, посвященных самым различным темам: описанию икон, гробниц, произведений искусства, стихов «по случаю», в основном на смерть современников, обращению к святым, к царствующим особам с характерной для эпохи просьбой о поддержке и покровительстве, восхвалением достоинств венценосцев. Последнее, однако, не является типичным для творчества Мавропода, насколько это явствует из письма к нему Михаила Пселла, в котором тот учит своего бывшего учителя искусству придерживаться при представлении императору постигнутых им законов лицедейства.

Неспособность к игре и притворству становится в ряде случаев причиной напряженности, возникающей в отношениях Мавропода с окружающим его миром, и источником разочарования в людях, пессимистических настроений, выраженных в его поэзии: «Зло еще не отвержено в мире». Эта тональность усиливается в стихах Иоанна, связанных с его назначением митрополитом в далекую Евхаиту, в которых вместе с благодарностью Христу он высказывает глубокие сомнения в своей способности нести подобное бремя. Подобные мотивы в творчестве Иоанна, имеющие совершенно определенную автобиографическую основу, созвучны вызванным аналогичными обстоятельствами мотивам Григория Назианзина и Синесия Киренского. Со словами жалобы Синесия перекликаются и строки, где Иоанн выражает свои опасения, что новые обязанности могут оказаться несовместимыми с его любовью к науке и книгам. Подобные литературные и эмоциональные реминисценции привносят в литературу XI в. некоторые краски ранневизантийского гуманизма.

Научную поэзию в творчестве Мавропода представляет содержащая 470 ямбических строк этимологическая поэма, объясняющая значение самых различных слов — богословских терминов, названий растений, животных и т. д.

Для Мавропода так же, как для Христофора Митиленского, характерна тенденция к освобождению от риторических излишеств, стремление к большей искренности и ясности, чего, конечно, нельзя сказать обо всей византийской поэзии XI в., обремененной грузом риторических и поэтических штампов.

Среди других поэтов того времени и рубежа XI—XII столетий можно отметить Анфима (автора поэмы о скончании века), Филиппа Монотропа (автора поэм «Диоптра» и «Плачи»), Василия Кекамена, Мануила Страворомана, Феофилакта Охридского и др. Общей чертой поэтов XI в., составляющих как бы единый круг связанных между собой интеллектуалов, является их высокое социальное положение³².

В XI в. еще нет литераторов низкого социального статуса, живущих за счет литературной деятельности и меценатства, хотя этот тип поэта, выступающий на сцену в XII в., является, по сути дела, продуктом XI в., результатом большого распространения образования, ставшего доступным не только для высших сословий. Любопытно отметить, что литература XI в. была меньше связана с двором, с императорской семьей, нежели XII в., когда в результате активной культурной политики Комнинов эта связь оказалась более тесной. Активная заинтересованность предполагала, в свою очередь, и больший контроль со стороны властей, повлекший за собой значительные ограничения либо даже исчезновение некоторых жанров, характерных для поэзии XI в., в частности так называемых некрологиев, посвященных официально осужденным, низложенным лицам, выражающих им сочувствие, восхваляющих их достоинства и

³² Анализ социального состава авторов см.: *Hörandner W. La poésie profane au XI^e s. et la connaissance des auteurs anciens*//ТМ. 1976. Т. 6. P. 245—263.

тем самым содержащих скрытую критику виновников их гибели. Создание подобных произведений, возникавших в XI в. (как, например, эпиграмма Христофора Митиленского в адрес несчастного Романа IV Диогена или пространный некрологий неизвестного автора в честь мятежного полководца Георгия Маниака), в новой ситуации XII в. стало немыслимо.

Активное отношение Комнинов к культурной жизни проявилось и в другой форме, вплоть до непосредственного приобщения к литературной деятельности. Самому Алексею приписывается сочинение, называемое «Музами», — политическое завещание, наставление сыну, написанное ямбическим триметром. Если это произведение в самом деле принадлежит Алексею Комнину, то и в нем проявляется его крайне консервативная целеустановка, стремление в условиях полного расстройств античного квантитета, вопреки новым тенденциям стихосложения создавать стихи, скрупулезно учитывающие тончайшие нюансы классической метрики³³.

Следует отметить и ортодоксально-церковную ориентацию брата Алексея, севастократора Исаака, взявшего на себя труд отретушировать в христианском духе сочинение неоплатоника Прокла: он переводит слово «боги» в единственное число, заменяет «демонов» «ангелами», оракула Аполлона — «пророчеством Бога», избегает называть по имени Сократа и Платона даже в том случае, когда они упоминаются в цитируемом им тексте Михаила Пселла. Консервативностью отмечены и суждения дочери Алексея Анны, отрицательно относящейся к новым тенденциям в духовной и интеллектуальной жизни, к отклонениям от традиционных обычаев и взглядов, недвусмысленно выражающей свою нетерпимость по отношению к незаурядной, яркой личности Иоанна Итала.

Консерватизм отдельных представителей дома Комнинов нельзя считать, однако, определяющим фактором отношения Комнинов к духовным, культурным процессам XII в., поскольку в их деятельности проявляются и другие, важные и положительные для развития культуры аспекты. Это прежде всего творчество самой Анны Комнины и ее супруга Никифора Вриенния как авторов исторических сочинений, отразивших важнейшие явления эпохи.

Новым явлением византийской действительности становится меценатство, возникновение литературных кружков и салонов под покровом представителей дома Комнинов, среди которых наиболее значительным был кружок, которому покровительствовала севастократорисса Ирина. В него входили такие известные литераторы того периода, как Феодор Продром, Иоанн Цец, Константин Манасси. Существование подобных кружков, несомненно, стимулировало литературное творчество. Однако, с другой стороны, оно не могло не наложить своеобразного отпечатка на политическую, идейную целенаправленность связанной с Комнинами литературы, становящейся в определенной мере средством императорской пропаганды, идеологического обоснования внутренней и внешней политики Комнинов. Это обусловило также значительное развитие по сравнению с XI в. литературы, выполняющей роль своеобразного художественного компонента придворных торжеств, церемоний и зрелищ или их красочного описания (поэмы Феодора Продрома, Михаила Айотеодорита и др.).

В XII в. очевидно расширение круга людей, занятых литературной деятельностью. Пишут больше, чем в XI в. Увеличивается и объем произведений. Но, пожалуй, важнее изменения качественные, касающиеся структуры жанров, соотношения светского и духовного направлений: в результате значительного сдвига в сторону светской литературы сокращается количество произведений религиозного содержания, (гомилии, комментарии Священного писания, канонические и догматические сборники). Теперь они составляют не более 30% всей литературной продукции, причем доля агиографического жанра снижается до 3,8% с тем, чтобы почти полностью исчезнуть к концу XII в.³⁴ Столь резкому снижению роли житийной литературы в какой-то мере, видимо, способствовала огромная работа, проделанная в X в. Симеоном Метафрастом по основательной переработке и систематизации всего византийского агиографического наследия. Однако главным фактором здесь являются, несомненно, изменение вкусов и взгля-

³³ «Музы», по оценке А. Мааса, известного специалиста в области византийской метрики, являются образцом самого искусственного употребления ямбического триметра во всей византийской поэзии. См.: *Maas P. Die Musen des Kaisers Alexios I/BZ. 1913. Bd. 22. S. 364.*

³⁴ Данные подсчеты представлены в докладе А. Гийу на XV конгрессе византистов (*Gouillou A. Le poids des conditions matérielles, sociales et économiques sur la production culturelle à Byzance de 1071 à 1261//XV^e Congrès international d'Etudes byzantines. P. 9).*

дов, очевидное усиление интереса к светским жанрам — эпиграмме, «поэзии по случаю», различным видам риторики, историческим сочинениям.

Продолжается развитие дидактической литературы, которая обогащается новым жанром — астрологической поэмой. Возрождается эллинистический любовно-приключенческий роман. Значительно увеличивается объем эпистолографии, обретающей более повествовательный характер, становящейся как бы формой массового литературного творчества. Появляется больше аллегорических рассказов, сатиры, имеющих персональную направленность. Новые вкусы и интересы общества находят отражение в таких своеобразных произведениях, как диетический календарь врача Иерофила, путеводитель по Сирии и Палестине Иоанна Фоки и др. Особо следует отметить развитие филологии, справедливо оцениваемой как «величайший вклад Византии в европейскую литературу»³⁵.

Одной из отличительных черт литературы XII в. можно считать и примат поэзии, тенденцию к поэтизации прозаических жанров, проявляющуюся, в частности, в любовно-приключенском романе. Поэтическую форму избирает для своей исторической хроники Константин Манасси, для этических дискуссий — патриарх Лука Хрисоверг, а Иоанн Цец пишет в стихах даже письма. Это не означает, однако, утраты интереса к прозе, которая, продолжая традиции Пселла, достигает значительных высот (Анна Комнина, Никита Хониат, Киннам, Евстафий), культивируя вкус к конкретному, к описанию характеров и портретов, человеческих и политических драм недавнего прошлого и современности.

Усиление светского направления — явление, тесно связанное с активизацией роли античного наследия, что, в свою очередь, во многом было обусловлено развитием образования, т. е. расширением круга людей, соприкоснувшихся с античностью.

Вместе с тем появление и усиление интереса к тем или иным жанрам, мотивам и темам античности происходит по мере созревания в обществе тех или иных потребностей и тенденций. Так, возрождение античного романа происходит в соответствии с усилением в обществе интереса к проблеме любви, преодолением патриархально-церковных норм нравственности, что требовало соответствующего выражения и в художественной литературе, своего места среди интересующих литературу ценностей. Заимствованный из позднеантичной эпохи роман, естественно, интегрируется в средневековую греческую литературу, вписываясь одновременно и в общесредневековую эволюцию литературных жанров (становясь закономерным, «романтическим» этапом, пришедшим на смену героическому эпосу, в данном случае «Дигенису Акриту»), аналогично процессам, происходившим в литературе Европы, Востока, Кавказа)³⁶.

Возрождение античных жанров, образов и мотивов уже необязательно предполагает их интеграцию в христианство³⁷. Часто, напротив, следует говорить о дезинтеграции, о сознательном отмежевании ряда течений — явлений духовной жизни — от официальной христианской культуры.

Среди явлений в области культуры, в частности образования XI в., имевших непосредственное значение для литературы XII в., следует выделить школьную дисциплину, называемую схедаграфией. Мнемотехнический метод обучения языку, получивший распространение в основном в XI в., на раннем этапе основывается на классических текстах, используемых в целях грамматического анализа, рассечения слов, «археологии {186} языка». Однако в дальнейшем схедаграфия отказывается от классических текстов, следуя принципу, «что классическому языку легче обучать посредством текстов, составленных специально, нежели посредством текстов самих авторов. Это дает возможность более систематического изучения книжного

³⁵ Dölger F. 'Η ι'σορία τη'ς βυζαντινῆ'ς αὐ'τοκρατορίας. Παβελιστήριο τοῦ Καίμπριτζ; Ἀθήνα, 1979. Τ. Π. Σ. 794.

³⁶ См.: Алексидзе А. Д. Мир греческого рыцарского романа. С. 43; Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. М., 1983. С. 270.

³⁷ В свое время в отличие от нашего понимания романа XII в. как возрождения античной модели с реальным восприятием его любовно-приключенческого содержания (см.: Алексидзе А. Д. Византийский роман XII века: Автореф. дис. Тбилиси, 1965), была высказана точка зрения, представляющая возрожденный роман как явление символическо-аллегорическое, делающее возможным его интеграцию в христианскую культуру (см.: Виз. люб. проза). Дальнейшее исследование пошло в русле акцентирования и выявления реального и светского характера византийского романа XII в. вплоть до характеристики его как «areligios», «achristlich» в работах А. Гарциа (*Garzya A. Topik und Tendenz in der byzantinischen Literatur. S. 313*), Г. Бека, считающего, что роман XII в. приходит на смену агиографии (*Beck H.-G. Marginalia on the Byzantine Novel//Erotica Antiqua: Acts of the International Conference on the Ancient Novel. Bangor, 1977. S. 59*).

языка»³⁸. Отрыв от античных классиков, сама идея свободного обращения с лексическим материалом, принцип импровизации становятся, по-видимому, одними из путей литературного творчества. Сохранив в определенной мере учебные аспекты, «Схеды» преобразуются в литературный жанр, об идейно-художественных особенностях которого можно судить хотя бы по такому интересному образцу византийской литературы XII в., как «Схеда мыши», с его остроактуальным общественно-социальным содержанием³⁹.

Новое, современное содержание старых, воспринятых посредством школы жанров и форм, это и «звериная» литература, оживленная в «Войне кошек и мышей» как политической сатире, и лукиановский диалог, талантливо и смело использованный автором антиклерикального «Тимариона», и т. д. Органично возникая из идейно-культурных процессов византийской истории, сатирическая литература имеет очевидные типологические параллели в западной литературе XII в. Литература наполняется гуманистическим пафосом, приобретает политическую направленность, выражая наиболее прогрессивные тенденции духовной и общественной жизни, принимая на себя центр тяжести, который в XI в. ложился на философию. Однако реакция, церковные круги и в данном случае не обманываются насчет реального содержания того, что иногда могло бы показаться безобидным риторическим упражнением, литературной игрой. Если в XI в. репрессии были направлены против философов, то в XII в. они обрушиваются на литераторов (Михаил Глика, Феодор Продром, Максим Оловол и др.). Заявление Феодора Продрома — в духе Василия Каппадокийского — о том, что из античности он берет лишь полезное для веры, вряд ли кого-нибудь вводили в заблуждение.

Из заслуживающих внимания тенденций литературы XII в. следовало бы отметить также повышение интереса к народной творческой стихии, в частности к поговоркам и пословицам, сборник которых составляет Михаил Глика. У Евстафия Солунского и Михаила Хонията употребление поговорок и пословиц удваивается по сравнению с их употреблением у более ранних писателей.

В этой связи следует отметить и более широкое распространение имеющего народные истоки пятнадцатисложного «политического» стихотворного размера, который, как известно, впервые был активно использован в XI в. в поэзии Симеона Богослова. В XII в. «политический стих» становится стихотворным метром обоих направлений византийской {187} поэзии — народноязычного и классического. Пятнадцатисложный стих — явление византийское, не имеющее квантитетной традиции; на его глубокую, безусловно генетическую, связь с народной поэзией, которая иногда ставится под сомнение, указывает хотя бы тот факт, что начиная с XII в., т. е. с момента появления народноязычной поэзии, она основана почти без исключения на «политическом» стихе. Другой вопрос, что первые зафиксированные его образцы не относятся к народной литературе (в X в. стихи на смерть Льва VI и Константина VII Багрянородного, когда и должен был произойти переход пятнадцатисложника в непесенную поэзию). Связь пятнадцатисложного размера с придворной поэзией — один из труднообъяснимых моментов его истории, привлекающий внимание исследователей. Во всяком случае, в XII в. путь пятнадцатисложника к императорскому двору пролегает главным образом через торжественную поэзию димов, их восклицания и восхваления, и эта связь с массовыми церемониями передана, по-видимому, в данную эпоху в термине *πολιτικός*, предполагающим наряду со значением «обиходный, обычный» и значение «государственный», «публичный», «политический»⁴⁰.

Своеобразная связь с императорским двором ясно видна и в другом, еще более важном явлении литературной жизни XII в. — в возникновении народноязычной литературы и ее утверждении. Первые произведения всех народноязычных литератур — это обычно обращения к широкому читателю. Первые же образцы народноязычной литературы в Византии обращены к

³⁸ *Browning R.* Courants intellectuels et organisation scolaire à Byzance au XI s. // ТМ. 1976. Т. 6. Р. 219. Господство до конца XI в. метода, основанного на использовании классиков, явствует из «Алексиады» Анны Комнины, где она говорит о схедографии как о новом явлении (имея в виду, вероятно, новые течения в схедографии), резко критикуя его как метод, допускающий отрыв от классиков.

³⁹ По-видимому, не случайно, что трое из наиболее видных схедографов XII в. — Феодор Продром, Никита Евгениан и Константин Манасси — являются в то же время авторами возникших на античных традициях византийских любовно-приключенческих романов.

⁴⁰ *Hörandner W.* Traditionelle und populäre Züge in der Profandichtung der Komnenenzeit // XV^e Congrès international d'Études byzantines. У. 9, См. также: *Jeffreys E. M., Jeffreys M. J.* Popular Literature in Late Byzantium. L., 1983.

императору, являясь на свет как бы «порфирородными»⁴¹. Тем не менее в данном случае речь идет о первых образцах народноязычной поэзии, возникших вдруг на поверхности официальной литературной жизни, о произведениях литературы, имевшей к этому времени, по видимому, уже многовековую, хотя и не зафиксированную, не сохранившуюся историю существования и развития⁴².

Самое значительное явление в народноязычной литературной продукции представляет собой, несомненно, «Продромика» — поэтические произведения, связываемые с именем поэта Продрома, или Птохопродрома (Нищего Продрома). Это четыре поэмы, написанные народным языком, с определенным количеством строк на языке классическом.

Первая из этих поэм, которую можно было бы назвать «О сварливой жене» (174 строки), адресована Иоанну II Комнину. Поэт жалуется на «зло, и какое зло!», на ворчливую и драчливую жену, с которой ему нет жизни и покоя.

Вторая поэма (117 строк), близкая по содержанию к первой, обращена к севастократору Андронику Комнину и является жалобой на бедность.

Третья поэма, которую можно назвать «Против игуменов» (447 строк), {188} вводит читателя в иной мир — в монастырскую жизнь, воспринимаемую глазами молодого инок, с царящим здесь лицемерием и несправедливостью.

Монастырские нравы, живо описываемые иноком, представляют собой типичную картину, выхваченную из византийской действительности, что подчеркивает сам поэт, поясняя, что рассказывает он не небылицы, а обычные вещи, известные всем. Главная тема поэмы — оскорбления, несправедливость, которые приходится наблюдать и терпеть юноше, исполненному христианского благочестия и сострадания. И как полная противоположность, молодому монаху предстает протопоп, которому дозволено все и о котором, не дай бог, сказать что-либо дурное:

*Затем, что это — протопоп, а ты — пономаренок,
Он счет деньгам у нас ведет, а ты таскаешь воду;
Он деньги в сундуке хранит, а ты — головки лука;...
Ты взад-вперед по улицам сандалями топчешь,
А он на славном скакуне повсюду разъезжает,
И на ногах его торчат воинственные шпоры...
Он ходит в шерстяном плаще, а ты одет в рогожку,
И на постели у него четыре покрывала,
А ты в соломе спишь всю ночь, и вши тебя кусают.
Четыре раза в месяц он бывает в бане, ты же
От рождества до рождества не видишь и лохани...
Он десять фунтов золота хранит в своем закладе,
А ты и медного гроша не сыщешь за душою,
Чтобы хоть свечечку купить, хоть постриженья ради!*

(Памятники. С. 220)

Молодому иноку советуют не глазеть и в сторону игуменской трапезы, не глотать слюнки при виде изысканных и обильных блюд, а довольствоваться критским сыром и кусочком рыбы. Когда в монастыре заболевают, то для игумена приглашают известных врачей, тогда как монаху предписывают соблюдать пост и довольствоваться одной водой.

Четвертая поэма (292 строки), адресованная императору, описывает положение людей «интеллектуального» труда. Поэма представляет собой жалобу писателя на его бесчисленные бедствия. Сколько труда было положено на изучение словесных наук, и что же, став, так сказать, искусным литератором, он мечтает о нескольких крошках хлеба. Он бранит литературу, восклицая со слезами: будь прокляты, Христос, словесность и те, кто к ней стремится, будь проклят день, когда меня послали в школу, чтобы я обучился грамоте и сделал ее источником существования.

⁴¹ *Grosdidier de Matons J.* Courants archaïsants et populaires dans la langue et la littérature // XV^e Congrès international d'études byzantine?. Athènes, 1976. P. 9.

⁴² Первые образцы народного языка зафиксированы, как известно, в VI в. См.: *Beck H. G.* Die griechische Volkstümliche Literatur des 14. Jahrhunderts // Actes du XIV^e Congrès international des Études byzantines. Bucarest, 6—12 septembre 1971. București, 1974. T. 1. S. 125—138.

Поэт горько жалеет, что не овладел презренным ремеслом вышивальщика, тогда бы он наверняка имел хлеб и вино, сейчас же, открывая свой сундук в надежде найти кусочек хлеба, он находит в нем лишь бумаги; опуская руку в кошелек с надеждой найти в нем монеты, обнаруживает все те же бумаги. «Обшарив все уголки дома, я, озабоченный и потрясенный, падая в обморок от голода, я говорю в отчаянии, что словесности и грамматике предпочитаю ремесло вышивальщика».

Первые издатели поэм, основываясь на атрибуциях рукописей и текстов самих произведений, считали, что поэмы принадлежат известному и плодовитому литератору XII в. Феодору Продрому. Однако совмещение в творчестве одного писателя высокого, классического языка и стиля и народноязычного стихотворчества было явлением слишком необычным, {189} чтобы не вызвать вопросов, возражений, попыток различного истолкования продромовского феномена. Одно из предположений заключалось в том, что, обращаясь к народному языку, поэт преследовал цель позабавить своих высоких покровителей, дабы сделать их более благосклонными к его просьбам. Этому, в частности, должно было способствовать изображение в сатирическом плане семейной жизни и быта писателя, называющего себя «Нищим Продромом». Но подобная точка зрения не давала объяснения, почему поэт выступает в разных обликах: предстает то монахом, то отцом семейства. Предположение о возможности пострига Продрома к концу жизни было исключено, поскольку в поэмах монах изображен не старцем, а юношей. В результате было высказано сомнение в автобиографичности поэм: облики меняются потому, что они вымышлены; поэмы Продрома являются литературной игрой в духе новой придворной моды — увлечения народным языком и стилем.

Другие исследователи, соглашаясь с тем, что поэмы не автобиографичны, допускают, однако, что герои их могут быть реальными людьми, заказывавшими Продрому поэмы-прошения (что представляется как бы возрождением в Византии древнегреческого жанра логографии⁴³). Мнение, согласно которому Феодор Продром и автор «Птохопродромики», скорее всего, являлись разными лицами, в последнее время подкрепляется наблюдениями над особенностями стихосложения, в частности различием между метрикой Феодора Продрома и «Птохопродромики», ее не только народноязычных стихов, но и частей, написанных классическим языком⁴⁴. Правда, были сделаны попытки объяснить различные метрики отнесением тех или иных произведений Продрома к разным периодам его жизни. Высказана и такая гипотеза: четыре поэмы «Птохопродромики» являются, возможно, если не пародированием, то переложением на народный язык неизвестным стихотворцем произведений Феодора Продрома с целью привлечь внимание и расположение адресатов, что положило начало целой школе подражателей⁴⁵.

При всей сложности проблем «Птохопродромики» очевидно одно: корпус, включающий четыре народноязычные поэмы, единый в идейно-художественном, языковом, стилистическом отношении, представляет собой самобытное, интереснейшее явление византийской литературы. Несомненно также существенное сходство его с творчеством Феодора Продрома — с такими же непосредственными обращениями к императору, с жалобами и просьбами, описанием трудностей и невзгод, с сильным элементом самоуничтожения. {190}

Подобные созвучия не могут быть случайными. Считать, что «Птохопродромика» внесит в византийскую литературу только новую языковую и стилистическую струю — значит сильно приуменьшать ее значение. «Птохопродромика», независимо от того, кого она изображает — реальных или вымышленных героев, — открывает в византийской литературе новый мир, привнося в него не существующий ранее образ человека, обремененного социальными, житейскими и бытовыми проблемами, задыхающегося, нравственно переродившегося под гру-

⁴³ *Grosdidier de Matons J.* Op. cit. P. 8.

⁴⁴ *Hörandner W.* Zur Frage der Metrik früher volkssprachlicher Texte. Kann Theodoros Prodromos der Verfasser volkssprachlicher Gedichte sein?//JÖB. 1982. Bd. 32/3. XVI Internationaler Byzantinisten Kongress. Akten. Teil II (3). Wien, 1982. S. 375—281; *Jeffreys M.* Besprechungen von Hörandner W. Theodoros Prodromos, Historische Gedichte//BZ. 1977. Bd. 70. H. 1. S. 105—107; *Eideneier H.* und N. Zum Fünfzehnsilber der Ptochoprodromika//Ἀφιέρωμα στὸν καθηγητὴ Λίβο Πολίτη. Θεσσ., 1979. Σ. 1—7.

⁴⁵ *Beck H. G.* Geschichte der byzantinische Volksliteratur. S. 104. Среди подражателей определенного интереса заслуживает так называемый Манганский Продром (писатель, упорно просящий императора пристроить его в Манганский монастырь, чего в конце концов добивается), пять поэм которого сохранили три рукописи XIII—XV вв.

зом постоянных лишений и невзгод, потерявшего мужское самолюбие и человеческое достоинство. Комизм ситуаций не смягчает, а усиливает главную тему, проходящую через всю «Птохопродромику», — тему несправедливости, царящей в описываемом поэтом мире, где знания не приносят счастья и где достоинство человека, даже в монастырских стенах, измеряется богатством.

Феодор Продром родился в Константинополе между 1070 и 1075 г. В своих стихотворениях он упоминает деда и отца, которые так же, как и он, звались Продромами, и дядю — Христа, который в 1077 — 1088 гг. был митрополитом Киевским под именем Иоанна II. Об отце Продром говорит как о человеке начитанном, побывавшем в дальних краях, много видевшем и знающем. Тема гордости своими знаниями, встречающаяся в стихах Продрома с самого раннего периода, часто сочетается, однако, с мотивом разочарования, вызванного тем, что в Византии знания и ученые люди ценятся весьма низко. «У нас больше ценятся люди несведующие, а глупость ставится выше разума», — заявляет он в стихотворном прощании с Константинополем, который собирается покинуть навсегда, следуя в Трапезунд за своим другом Стефаном Скилицей (PG. T. 133. Col. 1328). Однако отъезд Стефана Скилицы в Трапезунд, куда он был назначен митрополитом, временно откладывается, а когда он все же отправляется туда спустя два года, Продром уже не едет с ним, остается в Константинополе, продолжая плодотворную и многогранную литературную деятельность, сочиняя славословия в честь императоров и членов их семей по поводу их военных успехов, свадеб и похорон, вставляя в патетические строки своих произведений жалобы на нужду, выпрашивая подаяния.

С некоторыми членами императорской семьи Продром, очевидно, был связан непосредственно: он либо обучал их словесности (как, например, Ирину, жену Андроника, младшего сына Иоанна II), либо выполнял их литературные заказы (той же Ирины и других). До самих императоров Продром доносил свой голос через посредников — поклонников и покровителей его таланта, каковыми в разное время были орфанотроф Алексей Аристин, логофет Стефан Мелес, императорский секретарь, бывший ученик Продрома Феодор Стипиот. Иногда, воодушевленный рассказами друзей о благоприятном впечатлении, которое произвели на императора его стихи, Продром дает волю фантазии, воображает себя счастливецом, утопающим в безмерном богатстве. Но эти восторженные взлеты в поэзии Продрома угасают вместе с периодами отсутствия внимания и сочувствия к его творчеству. Эти периоды, длившиеся иногда довольно долго, не всегда бывали, по-видимому, вызваны лишь недооценкой его таланта, но имели и другие причины — например его связи с кругом Анны Комниной, бывшей в оппозиции императору Иоанну. В других случаях причиной недоброжелательного отношения к Продрому было творчество поэта, причудливо сочетавшее в себе тенденции угодничества и подобострастия с вдохновенной Лукианом и другими античными писателями остросатирической струей, направленной против конкретных лиц. Раздражение против Продрома оборачивалось серьезными обвинениями, вплоть до обвинения его в ереси.

От обвинений в безбожии, ошибочном толковании ипостасей святой Троицы, в увлечении язычеством Продром отрешивается посредством поэмы-исповеди, в которой объясняет, что заимствует у античных авторов только то, что согласно с верой, выбрасывает то, что противно вере, и в свою очередь обрушивается на обвинителя, некоего Вариса, характеризуя его как человека хищного, безнравственного, нечестивого, необразованного. Варис как будто даже извиняется перед Продромом, признаваясь, что обвинение было лишь шуткой, однако за «шуткой под влиянием хиосского вина», могущей обернуться трагедией, хорошо просматривается неизменно враждебный и настороженный взгляд ортодоксально-консервативных кругов на чрезмерное увлечение их современников античной культурой.

Существуют сведения о педагогической деятельности Феодора Продрома, его плодотворном творчестве в области схедаграфии. Об авторитете и популярности Продрома свидетельствуют современники: ученик Продрома, поэт Никита Евгениан, высоко и всесторонне оценивал риторическое мастерство учителя; выдающийся литератор XII в. Евстафий Солунский называл Продрома «славным среди мудрых»; Михаил Италик, известный оратор, с которым Продрома связывала тесная дружба, считал его мудрейшим, а в одном письме из Филиппополя рассказывает ему о монахе, знавшем наизусть все произведения Продрома и часто декламировавшем их Италику.

Характер взаимоотношений Продрома и Италика запечатлен в их переписке, отмеченной остроумием и взаимной симпатией. Италик, желая образно выразить мысль об их теснейшей дружеской связи, говорит, что им, составляющим одно, даже излишне писать друг другу, это то же, что писать самому себе. В ответе Италику Продром подхватывает и развивает образ: «Мне кажется, когда я здесь ем пулярок и диких гусей, старых зайцев, откормленных куропадок и тучных фазанов, то я жую, а ты проглатываешь, ибо ты Италик, а когда ты хлебнешь хиосское ароматное вино, то я чувствую вкус, ибо я Продром».

Конец жизни Феодор Продром провел в монастыре, где и умер, по всей вероятности, в 1153 г.

Необыкновенно обширное творчество Феодора Продрома охватывает почти все жанры литературы его времени.

Из области религиозно-богословской можно отметить комментарии к церковным канонам Козьмы и Иоанна Дамаскина, эпиграммы, посвященные святым, иконам, церковным реликвиям и т. д. В философском и научном наследии Продрома — комментарии ко второй Аналитике Аристотеля.

Особую струю в творчестве Феодора Продрома создает поэзия, связанная с торжествами и церемониями, в центре которых находится фигура императора. Это славословия императору, исполняемые на религиозных праздниках рождества и крещения, во время игр при появлении василевса в возвышающейся над трибунами ипподрома императорской ложе, {192} наконец, во время триумфов императора при возвращении в столицу из победоносных походов. В этой панегирической поэзии, пронизанной идеей сверхчеловеческого величия, богоравности императора, восходящей к эллинистическо-римской и восточной поэзии, наиболее наглядно проявляется идеологическая целенаправленность поэзии на службе у Комнинов. Ее назначение как идейно-художественного средства воздействия на умы в еще большей степени подчеркивается тем, что значительная часть этих стихов написана по заказу димов (они обозначены пометкой: «для димов») и предназначена, таким образом, для произношения устами «народа» и от его имени. Не будучи народноязычными, стихи для димов, все без исключения, как Продрома, так и других поэтов, написаны пятнадцатисложником, делающим их доступными для массового исполнения, носящего, по всей вероятности, характер хорового пения⁴⁶.

(В этой обязательности употребления политического стиха в поэзии для массового исполнения наиболее наглядно проявляется принципиальная для византийской поэзии разница между естественным для нее политическим стихом, в котором метрическое ударение совпадает с тоническим и всеми другими, «квантитетными» по происхождению, размерами, трудными для декламации ввиду отсутствия подобного совпадения.) Странным и неожиданным в текстах этих хоровых стихов представляется упоминание самого поэта с его персональным обращением к императору⁴⁷: в ряде случаев оно может быть лишь элементом предназначенного императору рукописного варианта, в других, возможно, элементом престижности для дима, обращающегося к императору стихами известного поэта⁴⁸. Очень трудно при отсутствии сведений представить себе характер исполнения этих стихов, однако в этом хоровом творчестве, возглавляемом поэтом, чувствуется далекий отзвук греческих музыкально-поэтических традиций, восходящих к хоровой лирике Алкмана, Стесихора...

Образ императора, проходящий через эту перегруженную эпитетами и символами поэзию, — это образ богоподобного земного властителя, деяния которого созвучны, сродни божественным явлениям. «Вновь рождество Христово и вновь победа василевса», — поет хор в рождественской песне, приветствуя возвращение императора с поля сражения. «Двойной праздник, двойная радость ромеев, — поется в песнопении на праздник крещения, — крещение Христа и победа василевса. Христос крещен в потоке воды, василевс же ради нас крещен в потоке пота». Появление василевса в императорской ложе ипподрома, уподобляемое восходу солнца,

⁴⁶ Музыкальный способ исполнения пятнадцатисложника засвидетельствован указанием тонов и римосов в стихотворении на смерть Льва VI (*Ševčenko I. Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes // DOP. 1969—1970. № 23—24. P. 185—223*).

⁴⁷ В одном из таких обращений поэт говорит, играя на идентичности своего имени с именем Иоанна Продрома (Предтечи), что если Христос был крещен Продромом в потоке Иордана, то император крестит Продрома в потоке подарков.

⁴⁸ *Hörandner W. Theodoros Prodromos. Historische Gedichte. Wien, 1974. S. 79.*

дает повод для импровизации на тему «солнце-василевс», непосредственно перекликающуюся с образом «солнце-Христос».

Уподобление василевса Христу подчеркивается и употреблением термина «сотир» (спаситель), также восходящего к эллинистическо-римской {193} царской титулатуре. Василевс — спаситель мира, исполненный любви к человеку (филантропии), несет людям счастье и свет. Но солнце-василевс — носитель не только света, но и огня, обрушивающегося на врагов, на неверных (ты, несущий свет подданным и несущий огонь варварам). Здесь филантропия оборачивается грозой и ненавистью по отношению ко всем, объединяемым у Продрома коллективным названием «персы». Их, восточных врагов империи, олицетворяющих собой все худшее и низменное, поэт призывает убивать, хлестать, грабить без пощады, похищать их жен и детей, дабы знали народы, что «бог с нами и с василевсом». Призывы поэта к безжалостному истреблению врагов империи усугубляются характерным для придворной поэзии мотивом охоты как любимого занятия василевсов, перерастающим в жестокую картину охоты на людей, безжалостного преследования «варварских стай».

Наиболее интересным в творчестве Продрома является, однако, не то, что относится к официальному, императорскому фасаду византийской жизни, а то, что исходит изнутри, приоткрывая некоторые грани нравственного мира современников. Эти черты открываются читателю в ряде небольших стихотворных или прозаических рассказов-картинок Продрома. Это поэмы «Против похотливой старухи», изображающая неугасающую страсть пожилой женщины к любовным приключениям; «Против бородатого лжемудреца» и «Невежда, или Считающий себя грамматиком», высмеивающие лжеученых; «Амарант, или Любовь старика», посвященная теме неравного брака. В этой юмореске, начинающейся как бы издалека, с философской беседы, ведущейся на фоне древних Афин, возникает близкий и реальный образ девушки Мириллы, дочери садовника, вынужденной выйти замуж за богатого старика. Юмореска обретает социальную окраску, противопоставляя подлинные и мнимые ценности.

Маленькой трагедией, окрашенной юмором, представляется и рассказ «Палач или Врач», повествующий от лица автора о страданиях, которые пришлось испытать человеку в руках лжеврача, который взялся вырвать ему зуб. «Взяв большой инструмент, которым можно было легко вырвать зуб даже у слона или кабана, крепко ухватил больной зуб, тащил его туда и сюда, но вырвать все-таки не смог, а только отломал часть зуба». Врач, человек, маленького роста, вырастает в глазах его жертвы в ужасного великана.

«Война кошки и мышей» («Катамиомахия»), имеющая, с одной стороны, древнейший образец в виде античной «Войны лягушек и мышей» («Батрахомиомахия»), с другой стороны, представляет собой пародию на греческую трагедию. Главный герой произведения — царь мышей Креилл, мясолоб, решивший покончить с позорной, проходящей в темноте и страхе подземной жизнью мышей и ведущий войско мышей на бой против их главного, исконного врага — кошки⁴⁹.

«Катамиомахия» — трагедия в миниатюре, состоящая из пяти эпизодов, учитывающая и пародирующая все элементы классической трагедии, художественные приемы великих трагических поэтов. Это и пролог в форме диалога решительного Креилла и менее решительного Тироклепта (Сырохвата) с противопоставлением в духе Софокла; это и эсхилловский пафос героев, соизмеряющих свои силы с силой олимпийских богов; {194} и софокловская, окрашенная внезапно возникшей надеждой ретардация, просветление перед катастрофой; это и пародирование «Персов» в диалоге вестника и царицы мышей, которой сообщают о гибели на поле боя ее сына; это и еврипидовский «бог из машины» в финале трагедии, где сообщается о смерти кошки в результате падения ей на голову гнилой балки, и многое другое. Пародия на трагедию является в то же время и политической сатирой, в которой современники Продрома, несомненно, усматривали намеки на византийскую действительность — и в мотиве «подземного существования», жизни в страхе и темноте, на которую были обречены преследуемые властями сограждане, и в образе хвастливого вождя, расписывающего свои военные успехи (в третьем лице, как было принято в Византии), призывающего к свершению подвигов, но неспособного сдержать собственную дрожь, и др. (Памятники. С. 212— 214).

⁴⁹ *Hunger H. Byzantinische Katz-Mäuser-Krieg. Wien, 1968.*

Очеловеченная мышь предстает и в другом произведении Продрома, где объектом сатиры становится монашество, а материалом для пародирования служат Псалмы («Схеда о мышши») ⁵⁰. Псалмы и отдельные библейские цитаты обыгрываются в диалоге кошки и попавшего в ее когти «мышшиного игумена», который старается вызвать жалость к себе и избежать смерти: «Сердце мое трепещет, и страх смерти напал на меня, ибо беззакония мои превысили голову мою. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и боль моя наполняет все во мне, и ужасы сокрушили меня». На эту парафразу Псалмов следует ответ кошки, также пародирующий Священное писание: «А почему же ты не поешь вот что: хочу я жратвы, а не жертвы, коровьего масла и овечьего молока, а еще мяса агнцев; и желаннее это для меня, чем мед; помазала я жирным елеем и умастила голову мою». Кошка неумолима, она выносит смертный приговор «мышшиному игумену» за то, что тот наказывает и пожирает бедных монахов, опустошает лампы: «И я, пожалуй, если надену твою монашескую одежду, стану такой же и удостоюсь твоей схизмы» (Памятники. С. 214—216). Так античные формы, или школьные упражнения, оказываются у Продрома созвучными византийской жизни. Черты византийской реальности усматриваются и в таком далеком по своему характеру от реальности жанре, как любовно-приключенческий роман, увлечению которым в Византии XII в. Продром отдал дань сочинением романа в стихах «Повесть о Роданфе и Досикле».

Феодор Продром считается одним из возможных авторов диалога «Тимарион», близкого к рассмотренным выше произведениям Продрома сочетанием литературной пародии с сатирой и особенностями лексики ⁵¹. Значительное внимание, уделяемое в диалоге медицине, дает основание предположить в качестве другого возможного автора «Тимариона» известного врача и литератора Николая Каликла. Единственное, что можно сказать с определенностью, это то, что «Тимарион» написан в первой половине XII в., несомненно, образованным и одаренным литератором, рассказавшим о путешествии в загробный мир, «создавшим свою „Божественную комедию“ за 200 лет до великого флорентийца» ⁵². Такое путешествие приходится невольно совершать главному герою диалога Тимариону, который, возвращаясь домой из Фессалоники, куда ездил на ярмарку, тяжело заболел в дороге и оказался увлеченным в Аид двумя демонами — проводниками душ. В подземном царстве Тимарион встречает своего учителя, ритора Феодора из Смирны (историческая личность, ритор, занимавший должность «ипата философов» в Константинополе), который берется защитить его перед подземными судьями, доказав поспешность и обоснованность действий демонов, перенесших в Аид человека (еще не исполнившего своего земного срока) и насильственно разъединивших его душу и тело.

Суд в составе Миноса, Эака и византийского императора Феофила (присоединенного, как выясняется, к древним языческим судьям ввиду распространения по всей земле христианской веры), выслушав доводы обвинителя, а также приглашенных в качестве медицинских экспертов Асклепия и Гиппократы, разрешает Тимариону вернуться на землю, проводников же душ, Никтиона и Оксибанта, осуждают и отстраняют от должности (Тим. С. 24—71).

Тема путешествия в загробный мир известна греческой литературе еще с гомеровской «Одиссеи». Многие в «Тимарионе», безусловно, навеяно «Путешествием в загробное царство» Лукиана (кстати, в рукописной традиции произведение было приобщено к диалогам Лукиана). Автор диалога, несомненно, знаком и с христианскими апокрифическими сошествиями в преисподнюю, в частности с «Видением монаха Косьмы» (X в.), с его мотивами увлечения героя в Аид как следствия тяжелого недуга, его скорого возвращения на землю в результате признания божественной ошибки и его замены другим, «созревшим» для переселения в потусторонний мир человеком (тема, использованная еще Плутархом в «Сошествии Антиллы») ⁵³.

Однако «Тимарион» ни в коей мере не является ни имитацией какого-либо античного или христианского сошествия, ни компиляцией их мотивов. Это произведение оригинальное, в нем с большей ясностью, чем где-либо, выражена дезинтеграция византийской христианской культуры, предренессансная зрелость и раскованность мысли, способной рассматривать как бы

⁵⁰ Papademetriou J.-Th. *Σχέδη τοῦ Μύου*. Sources and Text//Class. stud. В. Е. Perry. Urbana, 1969.

⁵¹ См.: Соколова, Т. М. Византийская сатира (Три византийские «путешествия в загробное царство») // Виз. лит. С. 122.

⁵² Dieterich K. *Byzantinische Charakterköpfe*. Leipzig, 1919. S. 109.

⁵³ Λαμπάκης Σ. *Οι καταβάσεις στον κάτω κόσμο στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία*. Αθήνα, 1983, Σ. 53.

на равном удалении явления языческой и христианской культуры и религии, превращая их в предмет яркой сатиры и пародии. «Сожество» в данном случае не повод для изображения назидательных картин божественного возмездия или вознаграждения, а литературный прием, позволяющий автору изобразить причудливый вневременной мир, в котором недавно ушедших из земной жизни современников можно увидеть в обществе их далеких эллинских предков.

В создаваемой автором фантазмагории смешано и перемешано все: научные и религиозные представления (проводники душ в Аид принимают свои решения в соответствии с предписаниями медицинской науки), исторические эпохи (к началу судебного разбирательства по делу Тимариона «как раз завершается рассмотрение дела о несправедливом умерщвлении Цезаря Кассием и Брутом»), потустороннее и посюстороннее (именитые и богатые покойники пользуются лампами, бедные же — лучинками), сон и реальность (путешествие Тимариона начинается после его погружения в сон, и все поведенное им можно было бы оценить как видение, пригрезившееся в предсмертной агонии⁵⁴, если бы не последние строки диалога). В них сообщается, что, вспомнив о заказанных им яствах, Тимарион просит собеседника найти на земле еще непогребенных покойников, с которыми можно было бы переправить в Аид свинину и прочие продукты. Эта последняя нота вносит окончательную ясность в жанр «Тимариона» — литературной игры, сатиры-пародии, позволяющей с легкостью пренебрегать христианским пиететом и авторитетом античных литературных традиций. За внешней легкостью «Тимариона» скрываются серьезные намерения автора, его отношение к предкам и современникам.

Это почтительно-положительное отношение к Пармениду, Пифагору, Мелесу, Анаксегору, Фалесу и пренебрежительное — к Диогену, отталкиваемому, отгоняемому философами. В положительной, в общем, оценке Пселла есть иронический нюанс: древние философы, радушно приветствуя Пселла, не приглашают его, однако, сесть, в то время как в кругу софистов ему оказываются высшие почести. Автор имеет в виду государственную службу Пселла, отводя ему должность составителя служебных протоколов, исполняемую им отменно. В сочувствии к лежащему в шатре страдальцу с выколотыми глазами слышатся отзвуки потрясения, вызванного в византийском обществе трагическим концом Романа Диогена.

Настроения и оценки определенных кругов угадываются в отношении к Иоанну Италу, самому передовому мыслителю своего времени. Критическая оценка Итала, отталкиваемого Пифагором, осмеиваемого другими философами и, наконец, вцепляющегося зубами в Диогена, перекликается с недоброжелательной оценкой, данной Италу Анной Комниной. Трудно сказать, в какой степени антипатия к Италу автора «Тимариона» обуславливалась принципиальным неприятием его мыслей, тем не менее ясно, что здесь многое шло от раздражения, вызываемого его своеобразным темпераментом. Как часто бывает в истории, наиболее яркое и значительное в личности Иоанна, столь хорошо понятое и оцененное его учителем Михаилом Пселлом, оставалось недоступным, заслоненным внешними, экстравагантными чертами для других современников, в том числе и таких незаурядных, как автор «Тимариона».

«Тимарион» поражает остроумием, тонкостью реалистических и юмористических деталей: Кербер, встречающий проводников душ у ворот Аида приветливым визгом и вилянием хвоста, и обитатели Аида из бедняков, выходящие им навстречу и почтительно вытягивающиеся перед проводниками душ, «словно дети перед учителем»; присутствующие на суде покойники, превозносящие оратора до небес за удачную концовку речи, ее построение и расположение частей; ангел-евнух, стоящий подле императора и шепотом подающий ему советы (двойная карикатура — на бесполох ангелов и влиятельных царских евнухов), и др.

Мастерское владение литературной техникой позволяет автору передавать, при описании реального и фантастического, тончайшие нюансы, как, например, «состояние невесомости» во время полета в сопровождении демонов («несясь по воздуху, легко, без усилий, лишенный тяжести, не делая движений ногами, как бегущие с попутным ветром корабли, не зная

⁵⁴ Так считает, в частности, С. Лампакис: «Мы имеем дело с онирическим сожеством. Поскольку писатель не мог писать о реальном сожестве (связанном исключительно лишь с Христом), он предпочел следовать Клеодему в «Любителях лжи» Лукиана, чтобы оправдать сожество героя как следствие слабости, приведенной в афазии (Λαμπάκης Σ. Οι καταβάσεις... Σ. 83).

помехи, устремляясь вперед, так что можно было слышать легкий свист нашего полета, подобный звуку пущенной из лука стрелы»).

Тонкость и изысканность литературного стиля сочетается с типично средневековым грубо натуралистическим характером изображения, особенно в описании Аида, тамошних овощей, имеющих ту особенность, что обладают приятным запахом «и до того, как попадут в желудок, и впоследствии»; жирные, толстые, лоснящиеся мышцы, похожие на поросят, лижущие сало и подбирающие крошки с подбородка спящего старика, напоминающие босховские видения, и др. Неожиданная встреча с мышами в Аиде (с этой, по-видимому, большой бытовой проблемой средневековья) настолько потрясает героя, что он выражает желание умереть снова и вторично сойти, неизвестно уже в какое царство.

Продромовский принцип сочетания в литературном творчестве и — более того — в одном и том же произведении двух языков — ученого и народного наблюдается и у поэта Михаила Глики в поэме, адресованной императору Мануилу Комнину. Поэма Глики — это изложенное в стихах прошение о помиловании, письмо из тюрьмы, в которую, по словам поэта, он был заключен по доносу злобного клеветника, врага-соседа. Что было действительной причиной заточения Глики, сказать трудно, возможно, как думают одни, обвинение в ереси, в занятиях магией, возможно же, как считают другие, его письмо к неизвестному монаху, в котором он имел неосторожность неодобрительно отозваться об астрологическом опусе императора. Известно лишь то, что государь, раздраженный, как видно, не на шутку, получив стихотворное прошение Глики во время Киликийского похода, распорядился немедленно ослепить поэта.

Что представляет собой поэма, родившаяся в роковой для византийского поэта час, на грани жизни и смерти, каково сочетание в ней условно-литературного и реального, сколь ощутимо биение сердца, трепет души перед надвигающейся катастрофой? Поэма-прошение, в которой автор хочет предстать перед государем во всем блеске своих творческих и интеллектуальных способностей, не может быть поэтической исповедью. Поэма Глики — это прежде всего поэтический монолог, без прямого обращения к императору, с использованием определенного набора византийских литературных приемов и мотивов, с различными темами и их вариациями.

Первая тема, смысл которой сводится к поговорке: «До самой старости учись и становись смиренным» — дает повод поэту порассуждать о том, как много он познал, читая книги и слушая старых мудрецов, ринувшись «в необозримый круг науки», собирая знания, как собирают золото и жемчуг. Однако знал он, оказывается, не все, ибо ему предстояло еще убедиться в достоверности того, что ему казалось чепухой, а именно — в истинности народного поверья: «Коль ворон сядет близ тебя и станет громко каркать, то это означает смерть и горькую разлуку». {198}

Файл byz199g.jpg

*Слева — бегство ап. Петра из Дамаска,
справа — встреча его с Силой и Тимофеем.
Ок. 1180—1194. Монреале.
Мозаика из кафедрального собора.*

Образ каркающего над головой ворона — предвестника смертельной беды — сменяется образом злого демона, персонифицирующегося затем в образ злобного соседа, роющего тайно подкоп, вьющего исподтишка петлю. Познание того, какие беды можно претерпеть из-за козней врага-соседа, Глика тоже расценивает как урок, обогативший его знания. Грустно-иронический тон подобных рассуждений сменяется напряженно-взволнованным ритмом стиха, возникающим вместе с мрачным образом константинопольской тюрьмы. Не давая сколько-нибудь конкретной информации об условиях заключения, поэт старается посредством зрительно-слуховых, эмоционально-психологических ощущений передать гнетущую атмосферу этого подземного мира. Если в Аиде, как говорит молва, можно видеть друг друга, то в непроглядной тьме тюрьмы

*Не светит ни единый луч, ни слова не услышишь;
Лишь мгла и дым клубится здесь, все мрак густой объемлет,
Друг друга видеть не дает, узнать не позволяет.*

(Памятники. С. 247)

Здесь умираешь каждый час, тонешь без воды, тело режут на мелкие куски без ножа, здесь боишься малейшего шороха или стука, боишься {199} дня, с которым может прийти не-добрая весть, боишься ночи, которая может принести неизвестно что, ходишь взад и вперед в глубоком волнении, пока не падаешь в обморок и не остаешься лежать бездыханным подобно мертвецу. Придя же в себя, начинаешь грызть землю и взывать в отчаянии к богу, моля об избавлении от боли, о покое, о сне. И если в надежде увидеть утешительные картины удастся смежить веки, то и сон несет с собой те же кошмары, заставляющие вскакивать в паническом страхе.

Эти автобиографические детали, передающие физическое ощущение страха, почти ни на минуту не отпускающего человека,— одни из лучших в мировой «тюремной» поэзии. Страх и отчаяние, определяющие основную тональность поэмы, сочетаются с некоторыми другими интонационными оттенками. Это и краткие приливы бодрости в духе философского оптимизма, осознания переменчивости человеческой жизни, необходимости сохранить человеческое достоинство в надежде на иной поворот судьбы:

*Будь смел и горд, схвати его и покори, как сможешь,
Не поколеблись, не хвались, не трусь и не сдавайся,
Ни перед кем не гни колен и не терпи насмешек,
Удачный миг не упусти, часы не трать напрасно.*

(Там же. С. 247)

Это и робкие попытки улыбнуться, пошутить над своей горькой судьбой с помощью поговорок и пословиц: «Согрешила попадья, а разжаловали попа», «Лягался осел, а избивают седло, чтобы впредь не лягалось». Звучит и продромовская тема проклятия литературного ремесла, от которого, по словам поэта, следует всячески ограждать сына — лучше задушить его собственными руками, нежели приобщить к словесности. «В наши дни,— говорит поэт,— грамотеи, несмотря на внешний почет, обречены быть попрошайками».

Недовольство Глики другими явлениями современной ему общественной и социальной действительности косвенно выражается в напоминании о грядущем страшном суде, на котором богачи и сановники, льстецы и паразиты будут держать ответ за жизнь, проведенную в неге, без труда и пользы, за презрение к обездоленным и неимущим:

*Мы все предстанем пред судом, и бедный, и богатый;
И будем все держать ответ за то, что совершили.*

(Там же. С. 248)

В поэме, как отмечалось выше, использованы оба языка — ученый и народный. Однако здесь можно говорить не о наличии четко разграниченных по языку частей, а скорее о частях с преобладанием одной или другой языковой стихии. Вряд ли здесь можно говорить и о какой-то закономерности их чередования — использовании ученого языка в описательных пассажах, а народного — в авторской речи⁵⁵. Отсутствие четко выраженного языкового принципа сказывается и в другом произведении Глики — сборнике народноязычных поговорок, который предваряется стихотворным обращением автора к императору, написанным ученым языком. Что касается содержания данного обращения (энкомия в честь {200} военной победы императора Мануила), то этот гимн поэта своему палачу свидетельствует о полном угасании в нем прежних проблесков гражданского достоинства и нравственного порыва, о степени деградации в византийской действительности XII в. человеческой личности.

Глика, активно использующий народный язык, собирающий и комментирующий пословицы и поговорки, говорящий в своей тюремной поэме от имени бедных и обездоленных,— поэт, близкий к народной среде и во многом питающийся ее культурно-художественными традициями. Непричастность поэта к пуристскому, антикизирующему потоку византийской литературы выявляется и в поэтической «Хронике» Глики, охватывающей всемирную историю от сотворения мира до смерти Алексея Комнина (1118). «Хроника» состоит из четырех частей: Сотворение мира; Иудейско-восточная история; Римская история от Цезаря до Константина Великого; Византийская история. Следуя традициям византийских хронистов, Глика начинает историю разнообразными рассказами из «Физиолога» или Элиана, перемешивая историю с ботаникой и зоологией, апеллируя к астральным аргументам в нравственных поучениях или про-

⁵⁵ Beck H. G. Geschichte der byzantinische Volksliteratur. S. 199.

ещируя зоологию на богословие (пытаясь дать, например, естественнонаучное объяснение «Воскресению» или «Партеногенезу»). Наглядно-развлекательный характер «Хроники», возможно, обусловлен и тем, что она обращена к сыну, которого как главного адресата своего дидактического сочинения поэт не теряет из виду на протяжении всего повествования; он любовно обращается к нему в начале каждой главы или требует особого внимания к тем или иным событиям истории.

Обращение к сыну представляет собой небольшую народноязычную поэму, известную под названием «Спанеас», авторство которой рукописная традиция приписывает представителю дома Комнинов. Все попытки определить автора поэмы малоубедительны, что же касается ее содержания, в нем недостаточно элементов, указывающих на принадлежность к императорской семье. Напротив, здесь подчеркивается, что деды и прадеды автора были стратиотами, что же касается наставлений на случай овладения высшей властью, то подобные наставления, имеющиеся, как мы видели, и в «Стратегиконе» Кекавмена, по-видимому, вполне соответствуют традициям византийской паренетической литературы. Впрочем, «Стратегикон» — один из главных источников поэмы (наряду с популярной в Византии псевдосократовской «Речью к Демонику»). «Стратегикону» созвучны советы соблюдать верность богу и василевсу, молиться не формально, а «с сердцем»; оказывать помощь нищим тоже «с сердцем», ибо «лучше делать малое с охотой, чем большое без расположения, умеренно радоваться и умеренно горевать, соблюдать справедливость неизменно, ценить дружбу, но остерегаться неверных друзей, жить достойно — предпочитать славную смерть бесславной жизни (впрочем, данное наставление, как и ряд других, могло быть заимствовано из популярной «Пчелы») и т. д. Нельзя не отметить, что главный пафос советов — это призыв к благородству, к предпочтению духовных и интеллектуальных ценностей материальным, к глубокому человеческому состраданию (одень голого, накорми голодного, утешь горюющего и т. д.). Эта высокая нравственность увещеваний и определила популярность поэмы в Византии (о чем свидетельствует большое число рукописей) и в послевизантийскую эпоху благодаря изданию в XVI в. {201}

Пробуждение в XII в. интереса к древним, давно забытым греческой литературой жанрам реализуется по-разному, выливаясь подчас в своеобразные, причудливые литературные явления. Так, обращение к греческой трагедии, давшее в случае продромовской «Катамиоматии» пародии с аллюзиями на современную военно-политическую действительность, в другом произведении — христианской драме «Христос страждущий» — являет собой образец цента, построенного на материале еврипидовских трагедий. Драма, посвященная теме распятия и воскресения Христа, развивается в соответствии с основными принципами построения греческой трагедии. Драма начинается с пролога — монолога Богородицы, вслед за которым в действие вступает хор галилейских женщин, разделенный на два полухория, после чего разворачиваются основные события драмы — смерть Иисуса, положение во гроб и воскресение, представляемые подобно трем эпизодам классической трагедии⁵⁶. С другой стороны, довольно очевидно и то, что отличает византийскую драму от классических образцов — ее несценический характер, предназначение не для театра, не существовавшего в Византии, а для литературного чтения. Это проявляется и в отсутствии различия между метрической основой монологическо-диалогических и хоровых партий, соответствующих их музыкально-пластическому исполнению партий в античной драме (все строки, за исключением трех, заимствованных из эсхиловского «Прометея», — двенадцатисложники), и в отсутствии стихомифии — расчленения стиха, разделяемого между персонажами, усиливающего напряжение сценических ситуаций, и в числе персонажей, участвующих в одной сцене, превышающем здесь норму греческого театра, и др.⁵⁷

Протагонистом драмы является не Христос, а Богородица, которая с первых же строк драмы выражает в монологах и диалогах тревогу и скорбь по поводу страшной участи сына,

⁵⁶ Именно эпизодам, а не частям трилогии, как отмечает последний издатели драмы А. Тюилер (*Grégoire de Nazianze. La passion du Christ. P., 1969*), ибо при значительном объеме драмы, превышающем любую античную трагедию, она и по размеру, и по структуре ближе к отдельно взятой трагедии, нежели к трилогии.

⁵⁷ Такой представляется одна из последних сцен с участием Богородицы, вестника, Пилата, стражей, иудейских архиереев, хотя не следует исключать, что в более ранней рукописной традиции весь эпизод мог выглядеть составной частью рассказа вестника, что не только резко уменьшило бы число участников сцены, но и исключило бы интенсивную смену места действия, тоже мало характерную для античной драмы.

откликаясь на известия, сообщаемые хором женщин, вестником, Марией Магдалиной и другими персонажами. Человеческая боль сочетается здесь с осознанием величия своей судьбы, причастности таинству воплощения и искупления с верой в бессмертие и высшее предназначение сына. Этот дуализм образа, в котором теологическое часто перекрывает человеческое и материнское, ослабляет эмоционально-художественное звучание сцен встречи с распятым сыном, диалога с хором, сообщающим ей о смерти Христа. Рядом с Марией — Иоанн Богослов, как бы заменяющий ей умершего сына и предсказывающий его скорое воскресение. Патетические монологи и диалоги с хором, соучастниками погребения Иосифом Аримафейским и Никодимом, бурная реакция на позорный конец Иуды сопровождают сцены снятия с креста и погребения. После ночи, проведенной близкими {202} Иисуса в доме Иоанна Богослова, когда он раскрывает суть христианских таинств, начинаются наиболее динамичные сцены, связанные с выяснением обстоятельств исчезновения тела, с живыми диалогами между римской стражей, Пилатом, иудейскими архиереями. За финальной сценой явления Христа апостолам в доме Марии, где Иисус велит ученикам приступить к евангелической деятельности, следует заменяющая эксод античной трагедии молитва, обращенная к Христу и Богородице.

Необычность данного произведения заключается не столько в попытке изображения страстей Христа в форме греческой трагедии, сколько в том, что основным материалом, из которого строится текст драмы, являются трагедии Еврипида («Гекуба», «Орест», «Ипполит», «Медея», «Вакханки», «Рес», «Троянки»), отчасти Эсхила («Аргамемнон», «Прикованный Прометей») и Ликофрона. Подобную адаптацию антично-языческого материала к христианской теме, необычайно искусно составленную поэтическую мозаику можно было бы оценить как литературную игру, если бы не серьезность намерений автора в религиозно-теологической части. Ведь именно догматическая скрупулезность, полемическая настойчивость в изложении и толковании теологического смысла происходящего в трагедии явились основанием для атрибуции драмы столь высокоавторитетному христианскому автору, как Григорий Назианзин (в ней видели конкретную антиаполлинаристскую направленность).

Следует согласиться и с тем, что образцы, подобные Марии-Медее, были приемлемыми для византийского сознания, вписываясь в явления восточнохристианского гуманизма⁵⁸. И все же не так-то просто понять и объяснить религиозно-эстетические ощущения византийского читателя, узнававшего в строках, адресованных Деве Марии, слова, с которыми в трагедии Еврипида Ипполит обращался к богине Артемиде, или в слова Богоматери, обращенных к распятому Христу, — слова Медеи, готовящейся к закланию собственных детей. Так или иначе, в «Христе-страстотерпце» еще не происходит того идейно-художественного переосмысления христианского мифа, которое под влиянием гуманистического духа возрожденной античной культуры наполнит высоким общечеловеческим звучанием живописанные и музыкальные воплощения мотивов «Пьеты» или «Stabat mater».

Из других трансформаций античной драмы обращает на себя внимание так называемый «Драматий» поэта Михаила Аплухира. Определенная связь с драматическим жанром обнаруживается лишь в диалогической форме произведения и в участии в нем хора, в остальном же не чувствуется никакого стремления к имитации античного жанра. «Драматий» — одно из многих свидетельств большей, чем принято считать, степени независимости византийской литературы от античных жанровых традиций, свободы поиска форм, наиболее соответствующих их конкретным идейно-художественным задачам.

Задача автора «Драматия» — поведать о бедственном положении в византийском обществе мудреца-грамотея, но сделать это не так, как Продром и Глика. Здесь противопоставляются друг другу мужик, живущий {203} в достатке и восхваляющий Судьбу, поселившуюся в его доме, и мудрец, доведенный до отчаяния голодом и нищетой, зло поносящий Судьбу и Муз. В то время как Музы в возвышенно-отвлеченных выражениях говорят о высоких преимуществах духовного и интеллектуального, замечая при этом, что питаться ведь можно, в конце концов, и травой, мудрец рисует реальную картину действительности, в которой господствуют невежество, воздается почет глупцам и превыше всего ценится золото. Мудрец решительно отказывается от того, чтобы, подобно свиньям, искать еду под дубом, заявляя о своей

⁵⁸ *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 2. S. 104; *Idem.* On the Imitation (Μίμησις) of Antiquity in Byzantine Literature//DOP. 1969—1970. № 23—24. P. 15—38, esp. 34—36.

готовности заняться любым ремеслом — торговца, сапожника и другими, лишь бы выбиться из нужды. Однако, не веря уже ни во что, он заканчивает диалог на пессимистической ноте:

*Пусть будет так! Грядущий день неведом нам,
Боюсь лишь я, что будет все наоборот!*

(Там же. С. 233)

Таково содержание этого небольшого, написанного ученым языком и двенадцатисложными ямбическими стихами (312 строк) произведения, в котором если и есть что от античной комедии, то, скорее всего, попытка обостренно-гротесковой трактовки общественно-социальных явлений, их изображение в виде аллегорических фигур («Плутос», «Мир» Аристофана) в общении с реалистическими, бытовыми персонажами. Проблемы взаимоотношения литератора и общества; существования ученого-художника как человеческой личности ставятся Аплухиром острее, чем кем бы то ни было в литературе XII в.

Ассоциацию с драмой, как ни странно, вызывал в Византии и такой жанр греческой литературы, как эллинистический любовно-приключенческий роман. Однако связь романа с драмой была давней, восходящей еще ко времени возникновения жанра, который, формируясь на исходе античности, вбирал в себя элементы классических форм греческой культуры, в том числе и угасающей драмы (некоторые художественные приемы, театральные термины, напряженный ритм перипетий). В общем же романы Харитона, Ахилла Татия, Гелиодора, Лонга, Ксенофонта с их своеобразной топикой и атмосферой имеют, конечно, мало общего с трагедией или комедией.

Византийский роман XII в. возникает как попытка возрождения этого жанра, однако вопреки тому, как было принято считать до недавнего времени, он не представляет собой лишь бледную имитацию античных прототипов. Возрождение и дальнейшая судьба романа в Византии — явление живое, естественно связанное с внутренними тенденциями развития византийской литературы и мирового литературного процесса⁵⁹.

Отклонение от античного прототипа очевидно уже в первом из византийских романов — в прозаическом сочинении Евматия Макремволита {204} «Исминий и Исмина». Представляя собой как бы контаминацию мотивов и образов Ахилла Татия и Гелиодора, роман отмечен при этом особым колоритом, создаваемым прежде всего лирическим характером, эмоциональной возвышенностью, ритмической, почти поэтической формой.

Юноша по имени Исминий направляется в качестве посланника, представителя своего города на праздник Зевса в город Авликомис, где вместе с сопровождающим его другом останавливается в доме Сосфена. Здесь и происходит его встреча с прекрасной Исминой, дочерью хозяина, влюбляющейся в Исминию и всячески старающейся привлечь его внимание, пока, наконец, под влиянием Эрота юноша не начинает пылать неведомым ему доселе чувством. В том, что в отличие от античных романов любовь долго остается односторонней, неразделенной, выражается основная концепция романиста, которого увлекает не столько авантюрный элемент, похождения и скитания героев, сколько динамика страстей, любовных переживаний⁶⁰.

Автор углубляет лирическую, романтическую линию эллинистического романа, значительно упрощая сюжет в части приключений. Из одиннадцати глав романа I—VII посвящены описанию любовных взаимоотношений героев до побега, начала скитаний, что в эллинистиче-

⁵⁹ *Алексидзе А. Д.* Византийский роман XII века; *Он же.* Византийский роман XII в. и любовная повесть Никиты Евгениана//Ник. Евг. С. 121—145; *Полякова С. В.* Из истории византийской любовной прозы//Виз. люб. проза; *Она же.* Из истории византийского романа. М., 1979. В последнее время вопросов византийского романа касаются такие византинисты, как Г. Хунгер (*Hunger H.* Antiker und byzantinischer Foman. Heidelberg, 1980), Г. Бек (*Beck H. G.* Marginalia on the Byzantine Novel; *Idem.* Byzantinisches Erotikon. München, 1984). Отдельные аспекты рассмотрены в серии интересных работ К. Купанэ (см., например: *Cupane C.* Un caso di giudizio Die nel romanzo di Teodore Prodromo // RSBN. 1973—1974. Vol. 11—12).

⁶⁰ Источником глубоких переживаний для главного героя становится не только любовь, но и совершенная из-за вспыхнувшей вдруг любви измена священным обязанностям посланника. В аналогичной ситуации античный прототип Исминия Феаген в «Эфиопике» Гелиодора не испытывает ни малейших угрызений совести (см.: *Алексидзе А. А.* Византийский роман XII в. С. 11). В этом акцентировании конфликта «долг — любовь» Е. М. Мелетинский усматривает новый момент, принципиально важный для формирования средневекового романа как жанра (*Мелетинский Е. М.* Средневековый роман. С. 27; *Он же.* Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. С. 152—153).

ских романах представляло лишь небольшую экспозиционную часть. Описание же скитаний и походов героев, являющееся основным содержанием старого романа, у Евматия сведено к минимуму — здесь разлука героев длится лишь на протяжении одной — VIII — главы. По времени эта глава охватывает целый год, в то время как в предыдущих семи главах описаны события всего нескольких дней. Причиной побега героев, начала скитаний у Евматия становится объявленное отцом Исмины решение о помолвке дочери с другим человеком. Влюбленные оказываются на корабле, направляющемся в Сирию и попадающем в бурю. Желая умиловать Посейдона, моряки бросают Исмину в море, а обезумевшего от горя Исминия высаживают на пустынный берег. Попав сначала в плен к пиратам, затем к дафнипольским воинам, юноша оказывается рабом в доме богатой дафнипольской четы, где хозяйка тщетно домогается его любви. Однажды, сопровождая хозяина, который в качестве посланника своего города направляется на празднество в город Артикомис (контрастная параллель эпизоду счастливой поры в жизни героя), Исминий вдруг встречается с Исминой, которая, как выясняется, чудом спаслась в бушующем море. Последние сцены романа — встреча героев с их родителями в храме Аполлона, куда те пришли вопросить оракула о судьбе их детей, и, наконец, свадьба по возвращении героев на родину.

Созданию своеобразной, поэтической тональности романа, помимо возвышенной ритмизированной речи, способствуют и ясность композиции, {205} совпадающей здесь с сюжетом (полная противоположность сложной, многоплановой композиции романа Гелиодора); склонность к деконкретизации — игнорированию конкретных деталей в описании действий и ситуаций; ирреальность эпохи и географии — некоей абстрактной античности в условном географическом пространстве, что усугубляется сходным звучанием названий городов и имен героев (Еврикомис, Авликомис, Исминий, Исмина и др.)⁶¹; аллегорические фигуры, изображенные на стенах сада, которые являются героям во сне, давая импульс их чувствам и размышлениям или становясь персонификацией их душевных состояний, внутренних конфликтов (средневековые психоматии).

Эти элементы средневекового «аллегоризма» и некоторые сюжетные детали в романе Евматия дали основание для его сближения с французским аллегорическим романом XIII в. «Roman de la Rose»⁶², что заставляет задуматься о существовании далеко еще не ясных путей взаимоотношения и взаимодействия западной и византийской литературы данной эпохи. С другой стороны, аллегорические описания в «Исмине и Исминий» вряд ли можно считать ключом к пониманию всего романа как символическо-аллегорического, подобного «Роману о Розе» Гийома де Лорриса⁶³. Любовные взаимоотношения героев, отмеченные повышенной чувственностью, здесь вполне реальны, вполне созвучны духу времени, размаху светских настроений византийского общества XII в., особенно усилившихся в период царствования Мануила Комнина. Одним из свидетельств ощутимого воздействия романов на современников именно их реальным, светским содержанием являются предпринимаемые несколько позже попытки ортодоксальной реакции (так же, как и на Западе) ослабить влияние этих любовных историй на умы и души читателей посредством их искусственных, аллегорических толкований.

Дальнейшую, закономерную ступень в лирической ориентации романа XII в. являет собой сочинение Феодора Продрома «Роданфа и Досикл», написанное уже не в прозаической (подобно античным романам), а в поэтической форме (ямбическим триметром).

Основным образцом для Продрома служит «Эфиопика» Гелиодора, в случаях же отступления от Гелиодора он обращается за ситуациями и мотивами к Ахиллу Татию и Евматию. Помимо сюжетных заимствований из романов, произведение Продрома чрезвычайно перегружено реминисценциями из многих памятников античной и византийской литературы. В том, насколько их здесь больше, чем в романе Евматия, можно убедиться, сравнив, в какой мере представлены у обоих романистов такие популярные в Византии писатели, как Еврипид и Лукиан: если у Евматия встречаются реминисценции из четырех трагедий Лукиана, то у Продро-

⁶¹ Полякова С. В. Из истории византийского романа. С. 93 и след.

⁶² Warren F. N. A Byzantine Source for Guillaume de Lorris Roman de la Rose // Publications of the Modern Language Association of America. 1916. N 31; Полякова С. В. Из истории византийского романа. С. 127.

⁶³ Полякова С. В. Из истории византийского романа. С. 89.

ма привлечен материал из одиннадцати трагедий Еврипида и двадцати пяти сочинений Лукиана (что превращает некоторые продромовские пассажи в подобие центонов).

Ориентация писателя на столь разнообразные в стилистическом, жанровом отношении произведения (трагедия, комедия, эпистолография, {206} лексикография, Библия, византийская поэзия) не может не отразиться на художественных достоинствах романа, не породить пестроты и эклектизма в стиле произведения. И все-таки главное противоречие в романе Продрома — это противоречие между новой поэтической формой и прозаической, риторической традицией. Продрому не удастся отказаться от специфических для прозаического жанра художественных приемов, не соответствующих новой поэтической форме романа.

Противоречие преодолевается в романе «Дросилла и Харикл» Никиты Евгениана, в котором происходит гармонизация лирического пафоса романа с поэтической формой. Основным образцом для Евгениана служит роман Феодора Продрома (в одной из рукописей роман даже озаглавлен как «Подражание покойному философу Продрому»). Эту зависимость от «Роданфы и Досикла» не следует, однако, преувеличивать, как это делали многие критики Евгениана, называвшие его подражателем Продрома. Оригинальность Евгениана очевидна даже в тех эпизодах, которые заимствованы, но что еще более знаменательно — так это отдаление от античных и византийских прототипов в самом ходе повествования, по мере развития событий, настолько, что последние, лучшие главы романа не имеют уже, по сути дела, ничего общего не только с Продромом, но и с топижкой, сюжетно-тематической традицией греческого романа.

После побега влюбленных, вызванного помолвкой девушки с другим человеком, после многочисленных скитаний, пленений героев и посягательств на их красоту, Дросилла, разлученная с Хариклом, попадает в деревню. Здесь на ее пути встречаются непривычные для греческого романа реалистические, бытовые персонажи: добрая старушка Мариллида, которая по-матерински обласкивает ее и дает приют в своем скромном жилище; сын сельского трактирщика, грубый и туповатый Каллидем, объясняющийся Дросилле в любви. Здесь же завершается история злоключений героев — счастливо для Дросиллы и Харикла и неожиданно, трагически для другой пары влюбленных — Клеандра и Каллигоны (Ник. Евг. С. 110—118).

Примечательно, что в отличие от своих античных и византийских предшественников Клеандр не просто вспомогательный персонаж, спутник и помощник героев. В романе много места отведено и его судьбе, его собственной трагедии. Клеандр — носитель традиционной для греческого романа идеи образцовой дружеской преданности, однако смерть Клеандра — это кульминация темы идеальной, беззаветной любви. В романе Продрома друг героев Кратандр со временем забывает свою погибшую возлюбленную, и уже ничего не омрачает его счастья. Клеандр не только не способен забыть, но не способен жить без Каллигоны.

Не забывают и самого Клеандра. В романе Евматия друг героев Кратисфен, исчерпав свои функции, бесследно исчезает, и никто из героев и не вспоминает о нем. У Евгениана последняя, девятая глава начинается всеобщим плачем по Клеандру. Плач продолжает Дросилла — в городе Барзе на могиле Каллигоны:

*Тебя увидеть, говорить с тобой, обнять
И полюбить мне не пришлось в дни радости.
.....
Прими, однако, песнь мою унылую
И слезы вместо возлиянья скорбного.*

(Там же. С. 117) {207}

Таким образом, последние сцены романа построены на смене горя и радости, беды и счастья со своеобразной философской окраской, которая содержится в словах купца Гнафона:

*Но если с мукой и удача смешана,
То надо бодрость предпочесть унынию.*

(Там же. С. 113)

Реминисценций у Евгениана меньше, чем у Продрома, но главное — у него иной принцип их использования. Если Продром обращался к произведениям самых различных авторов, заимствуя у них определенные сентенции, выражения, а то и просто сочетания слов, Никита выбирает авторов, соответствующих характеру, стилю, лирическому пафосу его романа, используя при этом сравнительно большие отрывки, порой же и целые лирические произведения.

Значительное число реминисценций приходится на Феокрита, Анакреонта, из византийцев — на эпиграмматистов, в основном Павла Силенциария.

Используя большой отрывок или целое произведение другого автора, Евгениан подчас полностью сохраняет его содержание, композицию, меняя лишь окраску с помощью нового ритма и рефрена. Так, 22-я ода Анакреонта превращается во вдохновенную серенаду Клеандра («Луны сиянье, озари дорогу мне...») (Там же. С. 27—28)), рассказы о Родопе и Сиринге — в прекрасные песни Барбитона («Дева Мирто, полюби ты, красавица, Барбитона», «Кто видел ту, что люблю я? Скажи ты мне, друг мой любезный») (Там же. С. 37—39)).

Простая фраза из Феокрита в устах Дросиллы рисует живой образ красавицы, с надменностью отстраняющей надоедливую поклонника:

*Но у меня сегодня голова болит,
И я не в силах, Каллидем, болтать с тобой.*

(Там же. С. 78)

Когда же после долгих и высокопарных объяснений в любви Каллидем вдруг предлагает Дросилле обнажиться и разделить с ним ложе, реминисценция из Павла Силенциария оказывается соответствующей образу деревенщины, самонадеянного сына трактирщика.

Традиционного, стандартного больше в образах главных героев. Однако нередко божественный лик героев озаряется простой человеческой улыбкой, в речах же их звучит страсть и искреннее душевное волнение. Так, Дросилла, убитая горем, отчаявшаяся в надежде увидеть возлюбленного, вдруг, слушая хвастливую речь Каллидема, не может сдержать усмешки и возвращает ему с улыбкой сквозь слезы:

*Как можешь, Каллидем, ты, Ксенократа сын,
Подумать, что в деревне вашей юноши
Красивее рожденных в нашем городе?*

(Там же)

Более колоритны, более индивидуализированы образы, не связанные с традицией. При этом если в образах главных персонажей значителен элемент внешней характеристики, то в обрисовке нетрадиционных героев она совершенно отсутствует — дается лишь внутренняя характеристика посредством их речей и поступков. {208}

Особый интерес представляет образ доброй старушки Мариллиды. Искренне желая Дросилле добра и в то же время не зная никого, краше Каллидема, она уговаривает ее оценить его достоинства и глубоко сожалеет, что бездомная чужеземка отказывает видному и богатому юноше, первому парню на селе. Однако, ближе познакомившись с героями, их чувствами, ей удается понять и оценить эту большую любовь, какой она, старуха, «и радостью и горем умудренная», и знать не знала.

Такая оценка идеальной любви героев греческого романа, оценка не риторическим восклицанием или возгласом толпы, наблюдающей за испытанием девственности в источнике Артемиды, а простым словом, искренним восторгом реалистического, бытового персонажа придает этой любви большее правдоподобие, реальную, земную привлекательность.

Роман Никиты Евгениана утверждает лирический характер греческого романа, обогащая его при этом реалистическими, демократическими элементами, народным колоритом.

Действенность этой тенденции — уклонение от архаической формы, сближение с народной поэзией подтверждают фрагменты и четвертого романа XII в. — «Аристандра и Каллитеи» Константина Манасси⁶⁴, использующего уже не ямбический триметр, а характерный для народной поэзии пятнадцатисложный стих. Всем этим процессом подготовлен переход к новому типу греческого романа — народноязычному рыцарскому поэтическому роману XIII—XV вв.⁶⁵

Процесс развития византийского романа представляет интерес не только в истории византийской литературы, но и для типологического сопоставления его с развитием средневекового эпоса и романа как двух фаз эволюции: первой, включающей произведения такого типа, как «Дигенис Акрит», французская «chanson de geste» XI в. («Песнь о Роланде»), грузинский

⁶⁴ Mazal O. Der Roman des Konstantinos Manasses. Wien, 1967.

⁶⁵ Во всех случаях, даже независимо от хронологии, четыре романа XII в. можно рассматривать и как синхронный ряд, выражающий все вышеуказанные тенденции.

«Амиран Дареджаниани» (культ силы и мужества, преимущественно общественный, военно-феодалный характер функций героя, роль женщины подчиненная, второстепенная), и второй — византийский роман XII в., французский куртуазный роман — Кретьен де Труа (XII—XIII вв.), «Вепхисткаосани» Шота Руставели и др. (XII—XIII вв.) (женщина становится центром, любовь — главной темой произведения и основной функцией героя)⁶⁶. Новые исследования выявляют не замечаемые ранее связи и аспекты⁶⁷, расширяется круг типологических сопоставлений⁶⁸. {209}

Усиление в XII в. связей с античностью ни в чем не проявлялось, пожалуй, в большей степени, как в широком развитии филологии — области исследований и знаний, главным назначением которой в Византии стала забота о сохранении и изучении языкового и культурного наследия древности⁶⁹. Если половину того, что написано византийцами, составляют филологические тексты, то значительнейшая их часть относится именно к XII в. Расширение филологических занятий не всегда, однако, означает более глубокое проникновение в идейно-художественное содержание античного литературного наследия. Часто, напротив, объем филологической продукции растет за счет отдаления от античных текстов, самоцельного комментирования, превращающего древние тексты лишь в своеобразный повод, импульс для ученого сочинительства, в котором подчас стирается грань между литературой и филологией.

Наиболее типичным образом подобного «филологизирования» представляется творчество «полиистора» Иоанна Цеца.

Родившийся около 1110 г.⁷⁰ в Константинополе, в семье, в которой, как видно, почитались книги и знания, Цец был с детства приобщен к эллинской словесности, ставшей главным делом его жизни. Служа канцелярским секретарем или учительствуя в школе и в монастыре, Цец не прекращал в течение всей своей жизни литературно-филологической деятельности, выполняя заказы богатых и знатных покровителей. Среди них были и Исаак Комнин (брат Иоанна II), и сам император Мануил, и обе Ирины — императрица, жена Мануила, и севастократорисса, супруга Андроника, брата императора Иоанна, представители знатных семейств Каматиров и Котердзисов. Не получив как-то раз от императрицы Ирины гонорара, причитающегося ему за комментарий к «Илиаде», Цец прекращает работу на XV песне поэмы, возобновив ее лишь после того, как комментарий вызвался оплатить другой меценат — Константин Котердзис.

Подобные перебои в вознаграждении ученых занятий возникали, по-видимому, нередко, посему жалобы на недостаток средств для нормальной жизни, столь обычные для византийских литераторов, звучат у Цеца с неменьшей силой. Однажды, рассказывает Цец, положение оказалось столь безвыходным, что он был вынужден продать всю свою библиотеку, сохранив лишь одного Плутарха. Из-за нехватки книг библиотекой поэту нередко должна служить собственная голова (Комментарий к «Илиаде». 15. 87). Однако чрезмерное доверие к своей памяти (подобной которой бог, по словам Цеца, не сотворил ничего) не раз становится источником курьезных неточностей.

Образцом многоэтажного, прямо-таки безудержного комментирования представляется комплекс текстов Цеца, в основе которого лежат его {210} 107 писем, адресованных подлинным и вымышленным лицам. Хотя сами письма вдоволь начинены историко-мифологическим материалом, Цец сочиняет в качестве приложения к данному собранию специальный стихотворный историко-филологический комментарий, вырастающий в поэму в 12 674 строки

⁶⁶ Алексидзе А. Д. Мир греческого рыцарского романа.

⁶⁷ *Jeffreys E. M. The Comnenian Background to the Romans d'antiquité // Byz. 1980. T. 50. Fasc. 2. P. 455.*

⁶⁸ Особенно благодаря работе Е. М. Мелетинского «Средневековый роман», раскрывшей горизонт связей и типологических соответствий средневековой западноевропейской романтической литературы вплоть до Японии. Ср.: Алексидзе А. Д. Литературные параллели и взаимосвязи Восток—Запад (на материале романтической литературы) // *The 17th International Byzantine Congress. Major papers. N. Y., 1986. P. 723.*

⁶⁹ Изучение классического языка и созданной на нем литературы, как отмечает Г. Хунгер, поднимает значимость филологии в многоязычном и многоплеменном византийском мире на уровень национально-политических задач. Традиция чрезмерного культивирования древнего языка в тяжелые годы турецкого владычества становится одним из элементов национального самосохранения (*Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 2. S. 3.*)

⁷⁰ В одном из пассажей обширной книги истории он с гордостью пишет о своем знатном происхождении по материнской линии, восходящей к знатной грузинке из свиты Марии Аланской (*Gautier P. La curieuse ascendance de Jean Tzetzes // REB. 1970. T. 28. P. 207.*)

(«Книгу историй» — согласно авторскому заглавию, «Хилиады» — по издательской традиции). Этого, однако, оказывается недостаточно, так как и сами «Хилиады» обрастают обильными комментариями, облакаемыми зачастую в стихотворную форму.

Автор, с которым связано наибольшее число литературно-филологических сочинений Цеца,— Гомер. Прежде всего это «Аллегории к „Илиаде“ и „Одиссее“ Гомера» и «Экзегеса к „Илиаде“ Гомера», свидетельствующие о хорошей осведомленности Цеца относительно существовавшей до него аллегорической литературы, а также о знании различных направлений и методов иносказательного толкования мифов. Все эти методы используются им подряд в со вмещении и смешении: прагматическо-исторический метод, ориентирующийся для объяснения мифологии на реальную действительность (боги — бывшие цари, Эол — астрономия, сирены — блудницы); психологический метод, представляющий богов персонификациями духовно-психических сил (Зевс — разум, Арес — гнев, Гермес — речение); физический метод, усматривающий в богах персонификации природных и космических явлений (Зевс — воздух и эфир, Афродита — хорошая погода, свадьба Пелея и Фетиды — космогония)⁷¹.

Подобную направленность мысли, тенденцию к аллегорическому осмыслению мифологических явлений Цец в определенной мере привносит и в собственное литературное творчество, в частности в выполненную дактилическим гексаметром поэму «События догомеровского, гомеровского и послегомеровского времени». Аллегоризм, однако, не довлеет над пафосом поэмы, увлеченностью автора непосредственным содержанием событий, их драматизмом, остротой человеческих страстей, для описания которых он старается использовать весь арсенал эпических художественных средств.

Основным материалом Цецу служат поэмы Квинта Смирнского и Трифиодора в сочетании с рассказами Иоанна Малалы, главным же авторитетом остается, конечно, Гомер. С ним тем не менее Цец иногда осмеливается соперничать, давая параллельные редакции известных гомеровских пассажей, в том числе, например, и таких гениальных сцен, как встреча Приама с Ахиллесом. Впрочем, для Цеца это тоже прежде всего еще одна возможность показать свою осведомленность, в данном случае — знание различных мифологических вариаций. В результате среди строк, описывающих страсти и страдания героев, могут возникнуть вдруг и такие «филологические» гексаметры:

*Есть и другие рассказы, аргивянам труп не давали
Жители Трои, пока не вернули, за Гектора выкуп.*

(Памятники. С. 259) {211}

Подобные сведения, почерпнутые им в ряде случаев из утерянных, не существующих ныне источников, имеют большое историко-филологическое значение. В этом смысле немало ценного содержится и в схолиях к Гесиоду, Аристофану, Ликофрону, а также в таких, не совсем обычных, сочинениях, как изложенные в поэтической форме трактаты Цеца «О различиях между поэтами», «О комедии», «О трагической поэзии», «О стихотворных размерах».

Иные измерения византийской филологии открываются в творчестве Евстафия Солунского, писателя и ученого комментатора древних авторов, воспринимающего в основном не букву, а дух античного литературного наследия, в сложной и противоречивой обстановке XII в. оказывающегося на магистральной линии развития греческой культуры.

Общественный и гражданский пафос, ощущаемый уже в ранних произведениях Евстафия, усиливается с момента назначения его архиепископом Солуни. С расширением тем самым поприща для политической и гражданской активности литературное и общественное в жизни Евстафия сближаются, как бы устремляясь в единое русло. На смену комментированию античных авторов приходит создание произведений социально-нравственной направленности, обличающих общественные пороки, морально переродившееся духовенство, преступное небрежение властью имущих по отношению к судьбам народа и государства («Об исправлении монашеской жизни», «Взятие Солуни» и др.).

В риторических сочинениях Евстафия много характерного для жанра многословия и высокопарности. Но вот Евстафий произносит речь, адресованную императору Мануилу, и по-

⁷¹ Hunger H. Allegorisch-Mythendeutung in der Antike und bei Johannes Tzetzes// JÖBG. 1954. Bd. 3. S. 35—54.

степенно, сквозь толщу панегирической лексики, проступает жизненная тема: жители Константинополя испытывают острую нехватку воды, и положение можно изменить лишь сооружением нового акведука («Город кричит моими устами...»)

Религиозные чувства и концепции во многом обуславливают образ мышления и деятельность солунского митрополита, но вот Евстафий пытается осмыслить историю человеческого рода, строя логическую модель постепенного, поэтапного развития общества, в котором участие бога по существу элиминируется.

В соответствии с византийской литературной традицией свои сочинения Евстафий пишет искусственным, архаическим языком, но слух его, в отличие от большинства современников, чувствителен к народной языковой стихии, находящей отзвук в его литературных, историографических сочинениях и в переписке (говоря, например, о том, что письмо друга в середине зимы, подобно ласточке, открыло его душу радостям весны, он предполагает эффект, производимый игрой слов «открывать» — υ; *ῥανοῦτο* и новогреческого α; *ῥοιζη* «весна»).

Обращаясь к традиционным, классическим жанрам с установившимся кругом тем и художественных приемов, Евстафий часто оживляет их неожиданным выбором и трактовкой темы. Так, героем одной его эпопеи становится митрополит Неофит, который на следующий день после смерти своего благодетеля патриарха Михаила III позволил себе долго нежиться в бане, за что был наказан великим экономом Пантехной: по его повелению у митрополита были украдены роскошные предметы туалета. Изображение нагого митрополита, оплакивающего под смех городских зевак потерянное добро, с подлинной сатирической силой об- {212} нажает сущность византийского священнослужителя, не имеющего ничего общего с истинной духовностью.

Способность живого восприятия явлений, характерная для Евстафия-писателя, остается его главным качеством и как филолога-комментатора и исследователя древней литературы.

В обширном комментарии к «Илиаде» и «Одиссее» (превышающем по объему даже «Хилиады» Цеца), при составлении которого Евстафием привлечен огромный филологический материал античной и позднеантичной эпох, ему удается четко выразить личное отношение к Гомеру, свежесть его поэтического мира. Он старается вникнуть в его глубины, в секреты гомеровского искусства.

«Следует заметить,— пишет он в комментарии к „Одиссее“,— что содержание в этой книге очень скудно, незатейливо и построено на небольшом материале. И если бы поэт не ввел — что он и сделал — в разные места поэмы замысловатые эпизоды, растягивающие действие, как, например, плавание Телемаха, долгую беседу у феакийцев, блестящую маскировку у Эвмея и другое, казалось бы, что у него события поэмы словно вытянулись вдоль узкого ущелья» (Памятники. С. 237).

В комментарии, написанном не по заказу, а по личной инициативе автора для круга друзей и учеников, подобные образные, наглядные сравнения преследуют дидактические цели. Евстафий, конечно, остро ощущает необходимость повышения литературной культуры, вкуса читающего общества, которому не всегда доступны понимание элементарных законов поэзии, литературная специфика поэтической интерпретации мифологического материала. Евстафий вспоминает некоего Тимолая, поэта эллинистической эпохи, который изъясил из гомеровских поэм все поэтические строки, казавшиеся ему ненужными.

Подобная критика могла быть адресована и современному Евстафию редакторам гомеровских текстов, таким, как Исаак Комнин, автор сочинения «О пропущенном у Гомера»⁷². «А что касается Гомера,— пишет Евстафий,— он — поэт. И поэт, изобилующий словами. Лучше него сказать никто не может... Словно из некоего океана, вытекают из него источники разнообразных способов сочетания слов, хотя и сам он не избежал черновой работы при сочинении поэм» (Там же. С. 238). Последнее замечание примечательно, ибо свидетельствует о глубоком понимании Евстафием художественного процесса как сочетания поэтического вдохновения и напряженного, кропотливого труда. В полемике по вопросу возникновения гомеровских поэм Евстафий вряд ли разделил бы точку зрения их устного формирования.

⁷² Этим «порфирородным Исааком Комнином», по убедительному соображению Г. Хунгера, должен быть младший сын императора Алексея I (*Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur... Bd. 2. S. 58*).

Чутко улавливая разницу в характере и атмосфере двух гомеровских поэм, Евстафий пишет: «Одиссея», как гласит древняя истина, в большей степени поэма нравов, чем «Илиада», т. е. она приятнее и проще. В то же время она и остроумнее из-за глубины мыслей, содержащихся в незатейливой выдумке, как полагают исследователи. Именно в этой бесхитростной простоте и кроется отточенное остроумие и глубина мысли. {213}

Подчеркивая достоинства «Одиссеи», Евстафий хочет доказать неправомочность преимущественного внимания филологов к «Илиаде» и небрежения по отношению к «Одиссее», вызванного, по его мнению, обилием в поэме сказочной стихии (Там же. С. 235—238). Евстафий размышляет о соотношении в поэзии сказки и правды, которая, впрочем понимается им не в смысле жизненной правды или художественного правдоподобия, а в ограниченном смысле правды исторической. Аргументом в пользу правдивости лежащих в основе «Одиссеи» событий становятся некоторые географические названия в ареале Средиземноморья, сохранившие якобы след гомеровских событий и героев. «И к рассказам, соответствующим истине, он прибавляет какие-то небывлицы, сам для себя устанавливая пределы невероятного» (Там же. С. 236).

В комментариях Евстафия гомеровские тексты толкуются в самых различных аспектах: историческом, аллегорическом, лексическом, литературно-стилистическом и др. Для этого привлечен обширный историко-филологический материал, преимущественно позднеантичный: эксерпты из гомеровских схолий, из сборника грамматиков Апиона и Геродора, из Страбона и Стефана Византийского, из Афиней и Элия Дионисия. Из древних историков на первом месте — Геродот, из византийцев учитывается «Суда» и аллегорический комментарий писательницы VI в. Димо. Это обилие авторов, читавших и комментировавших Гомера на протяжении веков, придает большую убедительность оценке Евстафием культурно-исторической роли Гомера: «Все нашли у него убежище, одни, чтобы провести с ним жизнь до конца и питаться от его трапез, другие — чтобы набраться от него некоторой пользы и привнести нечто полезное в [свои] слова».

Талант Евстафия как писателя и публициста с наибольшей яркостью раскрывается в сочинениях, посвященных современной, актуальной, глубоко волнующей его тематике. Одной из таких тем становится для Евстафия деградация византийского монашества (в специальном трактате «Об исправлении монашеской жизни» и в ряде риторических сочинений).

Евстафий — человек, далекий от аскетического идеала. Благочестивую, но проводимую вдали от людей, не приносящую им пользы жизнь он сравнивает с драгоценным, скрытым под землей металлом, не реализовавшимся в золотой монете. Не возражая в принципе против монашества как общественной группы, претендующей на посредничество между землей и небесами, Евстафий, однако, сокрушается о том, во что превратились эти земные ангелы в действительности. Нарисованные с натуры картинки быта и нравов византийских монахов продолжают галерею образов, запечатленных Пселлом, Христофором Митиленским, Продромом. Это монахи, проводящие на улице больше времени, чем в монастыре, толкающиеся в уличной толпе, толкующие с мирянами и распивающие в кабаках вино, вступающие в связь с женщинами, седлающие коней и увлекающиеся охотой, держащие «вместо псалтыри и всякого Священного писания в руках весы, чтобы обвешивать, и счеты, чтобы обсчитывать» (*Евстаф.* С. 408—412, 438). Стоит монаху заметить что-либо непристойное, как черная повязка, скрывающая обычно его лицо в знак скромности и благочестия, вмиг взлетает вверх. Невежество их вопиюще. Евстафий рассказывает, как в одном из монастырей продали со спо- {214} койным сердцем автограф Григория Назианзина, говоря о совершившемся как о факте незначительном. Если в монастырь пожелает поступить сколько-нибудь образованный человек, его немедленно выгоняют с бранью, невежд же принимают с распростертыми объятиями. Кто же более всего им по душе — так это люди богатые, которых они стараются завлечь в свою обитель самыми разными способами. Евстафий описывает эти способы, которыми монахам удается завлекать простаков в свои сети: начиная с угощений, они переходят на духовную приманку, описывая богоявления и чудотворения, к которым человек будет приобщен, приняв постриг. Если же новобранец колеблется в страхе перед суровостью монашеской жизни, они начинают петь другую песню, обещая легкодоступную святость, спасение души без труда и пота. Подобным образом завлекают они не только богатых, но и бедных, прибирая к рукам их жалкое достояние (Там же. С. 434—438).

Уничтожающий пафос антимонашеского трактата, написанного талантливым пером высокого духовного сановника XII в., делает его уникальным памятником мировой литературы. {215}

7

Развитие правовой науки

В период «темных веков» право и законодательство разделили судьбы византийской культуры: после грандиозных кодификационных работ, осуществленных правоведами юстиниановской эпохи, после хорошо налаженной государственной системы юридического образования, которая имела место прежде, правовая жизнь империи в конце VII — первой половине IX в. выглядит как время упадка. В упадок приходит не только императорское правотворчество, но и юриспруденция. С исчезновением в середине VI в. профессоров-антецессоров преподавание права и юридическая наука переходят в руки схоластиков-адвокатов. И если в конце VI—начале VII в. правоведческая мысль еще продолжала теплиться, если главным объектом внимания юристов по-прежнему был Юстинианов *Corpus Juris Civilis* и до нас дошли некоторые их сочинения, то от второй половины и конца VII в. мы, в сущности, не можем назвать ничего достойного внимания.

Единственным, пожалуй, заметным событием правовой жизни империи конца VII в. было торжественное провозглашение Вселенским Трулльским собором (691/692 гг.) официального корпуса источников канонического права (*Joannou*. P. I—II)¹. Собор запретил всякие попытки «подделывать каноны», включать в состав этого корпуса «какие-то другие, ложно составленные людьми, стремящимися торговать истиной». По-видимому, речь идет о запрете не санкционированного каким-либо Вселенским собором расширения состава корпуса².

Такова была в общих чертах историко-правовая ситуация накануне издания в 726 или в 741 г. (вопрос о датировке спорен) первого после Юстинианова Корпуса официального законодательного свода — Эклоги, призванной сыграть выдающуюся роль в истории византийского права. Возможно, именно плачевное состояние правоведческих знаний подтолкнуло Льва III к идее создания законодательного сборника и обусловило его особенности: чрезмерную лапидарность и явную неполноту юридического материала; оригинальность и самостоятельность структуры памятника, вызванные отсутствием подходящего образца; простоту и лаконичность стиля и языка. По всем этим «параметрам» Эклога знаменует собой радикальный отход от правовых воззрений юристов Юсти- {216} ниана и их непосредственных последователей. Эклога, основными составителями которой были, конечно же, не императоры, от имени которых она издана, и даже не те высокопоставленные официальные лица из числа членов учрежденной комиссии, которые были перечислены в преамбуле (квестор, патрикии, ипаты), но именно безымянные юристы-схоластики, скрывавшиеся за безличным «и другие богобоязненные люди», — эта Эклога мыслилась ее создателями как «сокращенная выборка законов из Институций, Дигест, Кодекса и Новелл — конституций великого Юстиниана с внесенными в них исправлениями в духе большего человеколюбия».

Файл byz217g.jpg

Царь Соломон. 1108.

Собор св. Софии.

Новгород. Фрески в куполе.

Не только в заглавии, но и в преамбуле специально обращено внимание на реформаторский характер сборника. Указано, что реформа коснулась прежде всего процессуального права. Была введена система выдачи жалования из казны квестору, антиграфевсам и всему судебному персоналу; установлена безвозмездность суда для лиц, участвующих в судебных тяж-

¹ *Schwartz E. Die Kanonessammlungen der alten Reichskirche//Schwartz E. Gesammelte Schriften. B., 1960. Bd. 4. S. 159—275.*

² *Beck H. G. Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz. Wien, 1981. S. 5, 7.*

бах; провозглашался принцип равенства всех перед судом, независимо от степени имущественной обеспеченности.

По своей структуре труд делился на 18 небольших титулов, охватывающих вопросы семейного и брачного права, дарений, наследственного права, опеки и попечительства, положения рабов, купли-продажи, займа, эмфитевсиса, найма, свидетелей, имущественных отношений стратиотов и других должностных лиц, наказаний за преступления, наконец, вопросы военного права, впервые вводимого здесь в официальное византийское законодательство. Уже в этом расположении материала усматривается отход от классификации частного права согласно прежнему формальному принципу (право личное, вещное, раздел об исках) и его замена другим, более конкретным и упрощенным принципом, согласно которому факты располагаются так, как они представлены в жизнедеятельности человека, начиная с обручения и вступления в брак, где можно найти элементы всех перечисленных прав (личного, вещного, искового).

Совершенно новым и наиболее оригинальным разделом явился знаменитый «пенальный» титул Эклоги. Будучи лишь одним из восемнадцати, из которых состоит сборник, этот титул тем не менее занимает 1/5 часть всего объема и 1/3 часть общего количества глав. Предложенная Эклогой система наказаний во многом отлична от той, которая действовала в прежнем законодательстве. Она предусматривает для различных категорий уголовных преступлений, например нарушения святости алтаря и права церковного убежища, клятвопреступления, вероотступничества, разграбления и осквернения могил, подделки монет, похищения и обесчещения, прелюбодеяния и т. д., телесные и членовредительские наказания: битье палками или плетью, отрезание носа, вырывание языка, отсечение рук, ослепление, бритье головы, выжигание волос и др. И хотя сами по себе такого рода наказания не были, по-видимому, новшеством (ведь еще в 13-й главе 134-й новеллы Юстиниана упоминается такая жестокая форма увечья, как отсечение у преступника всех четырех конечностей), масштабы и широта спектра их применимости — это характерная черта именно Эклоги.

Скорее всего, в уголовном праве императоров Исаврийской династии отразилось обычное народное право, согласно которому преступник должен наказываться потерей той части тела, при помощи которой он совершил преступление³. Несмотря на всю свою варварскую жестокость, подобные наказания вполне могли рассматриваться законодателями в качестве провозглашенных «исправлений в духе большего человеколюбия»: ведь они, как правило, были заменой смертной казни. В некоторых случаях, правда, они были введены вместо денежных штрафов, предусмотренных в соответствующих казусах законодательством Юстиниана. И даже в тех случаях, когда за те или иные правонарушения в Эклоге сохраняется смертная казнь, например за кровосмешение между близкими родственниками, гомосексуализм, умышленный поджог, отравление с летальным исходом, колдовство, убийство, разбой, а также за некоторые ереси, мы наблюдаем тенденцию к отказу от особо жестоких способов казни, а именно: распятия, сожжения и т. д. Лишь при умышленном поджоге внутри города и разбое сохранялась казнь через сожжение или, соответственно, повешение, с тем, вероятно, чтобы повысить устрашающее воздействие наказания. В целом же Эклога представляет собой первый законодательный памятник, пенитенциарная система которого ясно и недвусмысленно предусматривала обе основные цели наказания — служить средством возмездия за причиненный вред, или искупления вины, и средством устрашения (превентивная функция наказания).

Этот новый дух имперского законодательства, проявившийся в попытках унифицировать право, приспособить римское право к нуждам эпохи, отойти от юридического формализма, а также в тенденции к «криминализации» частноправовых деликтов⁴, коснулся и трактуемых в сборнике вопросов гражданского права, хотя, может быть, и не столь явно, как это мы наблюдаем в отношении права уголовного. Так, следуя в целом при рассмотрении вопросов семейно-имущественного права Юстинианову законодательству, Эклога тем не менее в деталях развивает и модифицирует старые законы: обручение, например, которое как обещание {218}

Файл byz219g.jpg

³ Troianos S. Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga // *Ἀφιέρωμα στὸν Νίκο Σβόροβο*. Ρεθύμνο, 1986. Τ. 1. S. 106.

⁴ Pieler P. E. Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen in Byzanz // Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen / Hrsg. von W. Fikentscher, H. Franke, O. Köhler. München, 1980. S. 702.

*Христос и грешница.
Книжники и фарисеи вопрошают,
следует ли побить камнями женщину,
совершившую прелюбодеяние. Ок. 1180—1194.
Монреале. Мозаика из кафедрального собора. {219}*

будущего вступления в брак раньше не облакалось в какие-либо торжественные формы и не создавало каких-либо юридических обязательств, вытекающих из него, становится, согласно Эклоге, соглашением, являющимся законной подготовительной стадией к браку, и расторжение его допускалось только по серьезным мотивам с уплатой неустойки нарушавшей соглашение стороной; брак, по Эклоге, представляет собой союз мужа и жены, пользующихся равными имущественными правами; в Эклоге впервые было детально разработано брачное христианское право, гораздо дальше, чем законодательство Юстиниана и каноны Трулльского собора, идет Эклога по пути запрета браков между близкими родственниками; в ней значительно сужены законные поводы к разводу.

Изменения могут быть констатированы и в других разделах гражданского права, например в установлении формы, требуемой Эклогой при дарениях, в изложении правил привлечения наследников при наследовании по закону, в трактовке вопросов опеки и попечительства. Оба эти института приобретают еще в большей степени, чем раньше, характер учреждений, контролируемых государством.

Результаты работы юристов («ученейших схоластиков»), подготовивших издание Эклоги, по всей вероятности, отвечали потребностям того времени, но они вряд ли отражали все стороны правовой жизни Византии. Так, Эклога вообще не касается вопросов аграрного законодательства, правового статуса крестьян и ремесленников, которым уделено большое внимание в Своде Юстиниана; в ней ничего не говорится о формах и способах защиты прав, о путях приобретения и потери собственности, об институте давности и т. д. Трудно представить себе, что эти стороны правовой жизни на практике утратили свое значение в Византии VIII в. В науке высказывается поэтому предположение, что наличие Эклоги не исключало возможности использования судьями законодательства Юстиниана и его преемников для решения и разъяснения дел⁵. Думается, однако, что доступ судей к последнему был затруднен, в связи с чем сразу же после промульгации Эклоги перед юристами-схоластиком встала задача составления специального дополнения к Эклоге с целью заполнить выявившиеся в ней лакуны, собрать тексты, регулирующие те группы правоотношений, которые по соображениям краткости не были охвачены Эклогой.

К середине VIII в. такое приложение было составлено. Условно названный первым издателем Приложением к Эклоге, памятник не имеет собственного заглавия, представляет собой частную компиляцию или собрание около ста правовых норм, делящихся на 14 более или менее устойчивых и компактных по тематике и рукописной традиции групп. По-видимому, Приложение не было создано как единое произведение одним автором, но складывалось постепенно на базе эксцерпирования юристами-схоластиком из различных источников, восходящих к Юстинианову законодательству. По своему содержанию большая часть норм относится к сфере уголовного права и касается главным образом двух тем: преступлений, связанных с покушением на жизнь человека, и преступлений против веры. Если учесть уже отмеченную роль Аппендикса как чисто дополнительную по отношению к Эклоге, то такого рода тематический отбор норм станет вполне понятным.

Правда, в статьях 45—49 титула 17 Эклоги рассматриваются различные формы преступлений, связанных с убийством человека. Иногда Эклога в этих вопросах следует за Юстиниановым законодательством, карая, например, преступника, виновного в убийстве, смертной казнью мечом (Е. 17.42, 45). Но вместе с тем в явном стремлении дать более точную оценку объективной и субъективной природы преступления, дифференцировать наказания в соответствии с вводимыми различиями степени виновности и тем самым ограничить свободу судьи в оценке доказательств и в определении меры наказания она существенно отклоняется от соответствующих норм Юстинианова законодательства, содержащихся, в частности, в Дигестах и Ко-

⁵ *Лунинц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. Л., 1976. С. 197. Ср.: Svoronos N. Storia del diritto e delle istituzioni // La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Bari, 1977. P. 181.*

дексе. К тому же относительно небольшое число норм Эклоги, направленных на предотвращение убийств и телесных повреждений, не могло исчерпать всего разнообразия частных проблем, встающих в ходе расследований подобного рода преступлений, например степени виновности, соучастия.

Еще более ощутимой была нехватка в Эклоге норм, карающих за преступления против веры (вероотступничество, ересь, магия и т. д.), которым она посвятила всего-навсего четыре статьи «пенального» титула (Ibid. 17.6, 43, 44, 52). Правда, еретики (монтанисты и манихеи) караются, по Эклоге, даже строже, чем по Юстинианову законодательству, — «смертной казнью мечом» (Ibid. 17.52). А в Кодексе Юстиниана для монтанистов предусматривались лишь имущественные санкции и ссылка (С. 1, 5, 11—12). Принимая во внимание конкретную историческую обстановку в Византии VIII в., это вполне объяснимо: ведь еретики, являвшие собой в это время активную и мощную оппозиционную по отношению к правительству силу, представляли реальную опасность для византийского государства. Поэтому Эклога имела основания привлекать их к ответственности, причем не только к церковному суду, но и к светскому. Но если даже видеть под «монтанистами и манихеями» Эклоги всю совокупность еретических учений, имевших распространение в то время в Византии⁶, то и тогда придется признать, что византийским судьям было в высшей степени затруднительно вести на основе Эклоги процессы, вызванные преступлениями против веры и вообще религии. Поэтому составители Приложения к Эклоге включили в него большую часть предписаний Юстинианова Кодекса о еретиках, позаимствовав их из первой книги сборника VI в., известного под названием *Collectio Tripartita*, где эти предписания препарированы и изложены уже на греческом языке (Ap. E. III. 1—4, 6—7, 9—11, 13). Характерно, что среди них отсутствуют отрывки из Кодекса (С. 1, 5, 11—12), т. е. тексты, на основе которых было составлено предписание Эклоги о манихеях и монтанистах (E. 17.52), что лишний раз и весьма наглядно свидетельствует о дополняющей роли Приложения.

Говоря о Приложении к Эклоге, следует остановиться еще на одном обстоятельстве: помимо уже отмеченных 100 статей, разбитых на {221} 14 групп, в его состав, как правило, включались четыре относительно крупных и достаточно самостоятельных (поэтому издатели Аппендикса и исключили их из своего издания) памятника, четыре «закона» — Земледельческий, Военный, Морской и Моисеев. Независимо от чрезвычайно сложного и дискуссионного вопроса о времени возникновения этих памятников, мы вправе предположить, что они мыслились юристами того времени как дополнение к Эклоге, учитывались ее составителями, а при включении их в состав Приложения претерпели, возможно, какие-то редакционные модификации в духе приспособления к Эклоге. Во всяком случае, вышеназванные «законы», как и сама Эклога, являются новым, уже не собственно научным типом правовой литературы, но творением того поколения юристов, которое ориентируется не на классические примеры, а на удовлетворение острой потребности населения в упрощенных, кратких и понятных каждому специалисту правовых сборниках⁷.

Сказанное особенно относится к Земледельческому закону, который представлял собой свод юридических норм, регулирующих жизнь сельской общины, и являлся, очевидно, частной, но признаваемой государством компиляцией, основанной на сочетании обычного эллинистического и варварского права с нормами действовавшего римско-византийского (то есть Юстинианова) законодательства. Адекватно отражая социально-экономические отношения в крестьянской общине, закон давал ответ на наиболее типичные конфликтные ситуации, возникавшие в этой среде, и таким образом заполнял лакуну, которая была оставлена более ранними законодательными памятниками, в том числе и Эклогой, которая вообще не касается вопросов аграрного строя, деревни. Близость обоих памятников видна не только при сопоставлении языковых форм и синтаксических оборотов, не только из разительного стилистического сходства и сходства в системе наказаний, на что обращали внимание уже ученые XIX столетия, но и тем, что Эклога и Земледельческий закон воспринимались как нечто единое еще в средние века. Так, редактор одной из переработок Эклоги, известной под названием Эклоги, измененной по

⁶ Ср. точку зрения Сп. Трояноса: Τροϊανός, ὁ Σ. Ν. Τα; ἡ περὶ τῆς ἠθρησκείας ἐγκλήματα εἰς τὰ νομοθετικά κείμενα τοῦ μέσων βυζαντινῶν χρόνων// Δίπτυχα. 1979. Τ. 1. Σ. 172.

⁷ Pieler P. E. Entstehung und Wandel... S. 702—703.

Прохируну (*Ecloga ad Prochiron mutata*), сделал попытку добиться полного слияния с нею Земледельческого закона. Он исключил вообще из текста целый ряд глав, рассеял некоторые другие по разным титулам Эклоги, измененной по Прохируну, а в оставшуюся от первоначального текста Земледельческого закона часть ввел целый ряд интерполяций различного происхождения, разбил весь этот юридический материал на две группы, образовав из них титулы 25-й и 26-й Эклоги, измененной по Прохируну.

Менее оригинальны два других закона — Морской и Военный, из которых первый (*N. v*)⁸ представляет собой, по-видимому, частную запись обычного морского права, признаваемую, однако, государством, несмотря на некоторые отличия от Юстинианова законодательства. Возникновение особого Морского закона как плода деятельности какого-то юриста могло быть связано с потребностями возросшей в те времена морской торговли и товариществ, связанных с нею. {222}

Сводом норм права, регулирующих наказания военнослужащих, совершивших уголовные преступления или дисциплинарные проступки, является Военный закон⁹, который состоит из 41 статьи и распадается по источникам заимствованного материала на три части; первая содержит статьи, аналогичные 6—8-й главам книги I «Стратегикона» Маврикия, в то время как вторая и третья части содержат переработанные нормы Дигест и Кодекса, а также нормы, которые соответствуют некоторым статьям Эклоги и таким позднейшим законодательным сводам, как Прохирун и Василики.

И, наконец,— несколько отличающийся от предыдущих законов так называемый Моисеев закон (подлинное заглавие в переводе звучит так: «Выборка из данного богом израильтянам через Моисея закона» (*N. M.*))¹⁰. Он представляет собой не что иное, как собрание 70 экцерптов из Септуагинты (Пятикнижия) и включает сформулированные в Ветхом завете морально-религиозные предписания и нормы социального поведения, включая и знаменитые 10 заповедей, якобы собственноручно начертанные богом Яхве на каменных скрижалях и врученных им Моисею на горе Синай. Все эти отрывки являются почти дословными извлечениями из текста Септуагинты, лишь слегка подвергнутого купюрам, перефразировке или стилистическому редактированию. Они сгруппированы в 50 глав, которые состоят из одного или нескольких тематически связанных текстов и снабжены рубриками, дающими сведения о содержании и происходящими, очевидно, от самого компилятора. Компилятор, а также современные ему и более поздние составители юридических сборников явно рассматривали эти заповеди и предписания в качестве юридических норм, а сам закон в качестве юридического памятника, о чем свидетельствует и тот факт, что он встречается исключительно в юридических и канонических рукописях, а в титуле 39 уже упоминавшейся Эклоги, измененной по Прохируну, содержится большое количество статей, заимствованных из этого памятника.

Таким образом, взаимно дополняя друг друга, все рассмотренные нами памятники — Эклога, Приложение к Эклоге, законы Земледельческий, Морской, Военный и Моисеев — образуют некий единый и своеобразный Корпус светского права, которое действовало на протяжении VIII—IX вв., вплоть до появления законодательства македонских императоров, будучи более или менее компактно представленным и в рукописной традиции. Впрочем, единство этого Корпуса было весьма относительным: во-первых, его части очень слабо связаны между собой, весьма различны по уровню нормативности (в сущности, по-настоящему нормативным актом была лишь Эклога, а все прочие дополнения к ней были порождены частной инициативой, хотя и признаваемой государством); во-вторых, они были плохо согласованы между собой и поэтому содержали иногда нормы, идущие вразрез с аналогичными предписаниями других частей. Так, например, два правовых института, нашедших отражение в Земледельческом законе, а именно: α ; ν τιτολία (владение поверхностью) и δ ενδροκτησία (владение деревьями), будучи издавна {223} приняты греческим правом, не были никогда признаны римским (и, стало быть, Юстиниановым) правом, так как обе эти правовые системы имели совершенно различные концепции в отношении земли: согласно «горизонтальной» концепции греческого (и вообще восточного) права, могло существовать два различных права на один и тот же участок

⁸ См. комментированный пер.: *Сюзюмов М. Я.* Морской закон // АДСВ. 1969. Т. 6. С. 3—54.

⁹ *Кучма В. В.* Νόμος Στρατιωτικός // ВВ. 1971. Т. 32. С. 276—284.

¹⁰ *Медведев И. П.* По поводу нового издания так называемого Моисеева закона // ВВ. 1982. Т. 43. С. 257—259.

земли, независимых один от другого,— право собственника земли и право собственника того, что находится на поверхности земли (например, дома или дерева); напротив, согласно римскому принципу *superficies solo cedit*, все то, что находится на поверхности земли (постройки, деревья, насаждения), принадлежит не тому, кто строил или насаждал их, но собственнику земли (D. 43, 17, 3, 7; I. 2, 1, 30).

С одной стороны, Земледельческий закон упразднил римский принцип *superficies solo cedit*¹¹, с другой же — один из основных источников, в котором сформулирован римский принцип *superficies solo cedit* (а именно: отрывок I. 2, 1, 30), тоже был еще жив, не отменен, более того,— включен в состав Приложения к Эклоге (Ар. Е. Р. 99 (II, 6)), а позднее и вообще интерполирован в состав Земледельческого закона (Зем. зак. С. 131 (интерполяция II, 7)), создавая, очевидно, большие трудности для любого судьи,— на какой же текст тот должен был ориентироваться в спорных случаях?

Разношерстность, гетерогенность, противоречивость и неполнота вышеобозначенного Корпуса, безусловно, осознавалась византийскими юристами. Отсюда постоянные попытки писцов (а ими могли быть и сами юристы-практики) при переписывании привнести что-то новое, что-то изменить, «подогнать» тексты друг к другу, причем не путем приспособления дополняющих текстов к главному нормативному памятнику — Эклоге, а, наоборот, путем переработки именно этого последнего памятника в духе большего соответствия Юстинианову праву, иногда же — путем прямого возврата к нормам последнего. Видимо, допущенный авторами Эклоги отход от принципов Юстинианова законодательства обеспокоил византийских идеологов и правоведов, в связи с чем и стали предприниматься попытки корректировки законов. О характере этой корректировки мы можем судить по дошедшим до нас многочисленным переработкам Эклоги.

Первым из этих сборников (датируется предположительно самым началом IX в., временем правления императора Никифора I (802—811)) является так называемый Эклогадий. Памятник представляет собой выполненный каким-то опытным юристом, прекрасным знатоком Юстинианова права, единый систематический труд, который не обнаруживает черт, свойственных частным, составленным для сугубо практических целей компиляциям, но, напротив, по своей внешней форме и по последовательности проведенных в нем принципов производит впечатление официального законодательного свода, рассчитанного на нормативное действие.

Из всех 43 статей «пенального» титула Эклогадия 18 дают санкции, совершенно идентичные или сходные с теми, которые содержатся в соответствующих статьях 17-го титула Эклоги¹². Речь при этом идет о {224} преступлениях, связанных с посягательством на собственность граждан (разбой, воровство, поджог, фальшивомонетничество), о преступлениях против веры (вынужденное отступничество, ересь) и против нравственности (сводничество, педерастия, скотоложество, двоеженство, прелюбодеяния в различных формах, клевета, осквернение могил). 5 других статей вообще не находят соответствующих предписаний в Эклоге и являются, стало быть, новыми (шпионаж, оскорбление действием, добровольное отступничество, оскорбление величества посредством издания какого-либо анонимного пасквиля, соращение своей же невесты). Однако наибольший интерес вызывают те статьи «пенального» титула Эклогадия (а их большинство), которые имеют соответствующие статьи в Эклоге, от них исходят, но дают иное регулирование рассматриваемым в них вопросам. Сопоставление способа регулирования их в Эклоге и Эклогадии в контексте римско-византийского права в целом позволяет сделать выводы относительно общей идейной направленности Эклогадия, которую можно было бы выразить в двух словах: «назад — к Юстиниану».

Так, общей чертой уголовного кодекса, по Эклогадию, является отказ от введенной в Эклоге системы членовредительских наказаний и восстановление смертной казни (например, за такие преступления, как нарушение права убежища, похищение, государственная измена, угон скота, кровосмешение, святотатство и др.), правда, с ограничением свободы судьи в выборе способа совершения казни: предписывается исключительно «смерть от меча», т. е. обезглавливание. Но даже и в тех случаях, когда Эклогадий сохраняет введенную Эклогой санкцию (например, при рассмотрении таких деликтов, как вытравление плода, отравление), он не сле-

¹¹ *Pantazopoulos N. J.* Peculiar institutions of byzantine law in the Georgikos Nomos// RESEE. 1971. Т. 9. P. 547.

¹² *Troianos S. N.* О «Ποινάλιος» τοῦ λογαδίου. Frankfurt a. Main, 1980.

дует буквально тексту Эклоги, всякий раз смещая акценты в трактовке объективной и субъективной сущности правонарушения в сторону ужесточения санкции.

Показательна в этом отношении трактовка такого преступления, как убийство. В Эклогадии число норм об убийстве сокращено до двух (Eclogad. 17,2; 17,3) против тех пяти, что содержатся в Эклоге (Е. 17, 45—49), причем акцент в нем ставится на дихотомии понятий «предумышленного» и «непредумышленного» убийства. Эта дихотомия, не имеющая терминологической опоры в Юстиниановом законодательстве, сближает текст Эклогадии с текстом Эклоги, которая также различает предумышленные и непредумышленные убийства, но в то же время и отдаляет от нее, так как упраздняет промежуточные ступени, наличествующие в Эклоге. Поэтому не следует отождествлять по содержанию понятие предумышленного убийства Эклогадии с одноименным понятием Эклоги. Наказания за убийство человека в Эклогадии суровее, чем в Эклоге, так как, введя неизвестное Юстинианову праву деление убийств на предумышленные и непредумышленные, он в то же время отверг примененный Эклогой принцип более снисходительного отношения к убийствам, совершаемым в состоянии аффекта, и фактически включил в понятие убийства, совершаемого из явного или потенциального умысла, покушение на убийство.

Судя по состоянию рукописной традиции, Эклогадий сам по себе не имел большого распространения. Но зато в соединении с Эклогой он послужил основой для создания нового юридического сборника — Част-^{225}ной Распространенной Эклоги¹³, возникшей, возможно, в период с 829 по 870 г. в Южной Италии. Анализ содержания компиляции и сопоставление ее норм с соответствующими нормами Эклоги позволяют составить о ней впечатление как о новом типе частного юридического руководства, автор которого пытался согласовать Эклогу и Эклогадий, но с явным предпочтением последнего, его общей идейной направленности. Во всяком случае, мы вправе констатировать, что автор Частной Распространенной Эклоги создал свой собственный труд. Особый интерес представляют те ее нормы, которые отсутствуют в собственно Эклоге. Так, новыми по отношению к Эклоге являются: статья о браках, заключаемых посредством письменного договора (ЕРА 2. 10), которая, по-видимому, является фрагментом какой-то утраченной новеллы Льва III; статья, носящая название «О наследстве сирот» (Ibid. 2, 13) и содержащая законоположение, по которому предписывается, что наследство детей-сирот, умерших в малолетнем возрасте, не переходило к их матери, ибо доля, причитающаяся на ребенка, переходит к братьям умершего по отцу. Новшеством по отношению к Экло-

Файл byz226g.jpg

Убийство Авеля Каином. Ок. 1180—1194.

Монреале. Мозаика из кафедрального собора

ге являются и две статьи об уходе в монастырь как причине расторжения брака, заключенного по устному соглашению (Ibid. 2. 16) или по письменному (Ibid. 2. 19), и об имущественных последствиях этого акта для супругов, наследников и монастыря. Явное и благожелательное внимание автора компиляции к вступлению в монастырь как причине расторжения обручения и брака обнаруживает в нем скорее иконопочитателя, чем иконоборца, и служит доказательством того, что автор создавал свое произведение после восстановления иконопочитания¹⁴. Важны статьи о даче денег под проценты с определением максимально допустимого процента (Ibid. 3. 14), фактически легализовавшая ростовщичество, о «морской ссуде» под процент, о запрете займодавцу брать землю в ипотеку при займе крестьянами денег. {226}

В большинстве случаев Частная Распространенная Эклога опирается на нормы Юстинианова права и иногда расходится с Земледельческим законом. Вместе с тем черты нового проявляются и в этом юридическом памятнике.

С восшествием на византийский престол императоров Македонской династии начинается новый период истории византийского права, получивший в историографии название

¹³ *Goria F.* Tradizione romana e innovazioni bizantine nel diritto privato dell'Ecloga privata aucta: Diritto matrimoniale. Frankfurt a. Main, 1980; *Troianos S. N.* 'Ο "Ποινάλοϛ"...; *Литвиц Е. Э.* Законодательство и юриспруденция в IX—XI вв.: Историко-юридические этюды. Л., 1981. С. 7—42.

¹⁴ *Goria F.* Op. cit. P. 92—93.

«классицистического»¹⁵, эпоха подлинной акмэ в его развитии, время широкомасштабных законодательных реформ и кодификационных мероприятий, расцвета юридической мысли, своеобразного «правового бума», ознаменовавшегося появлением целого ряда законодательных сводов, юридических сборников, справочников и пособий, педагогических трактатов. Есть, правда, основания полагать, что идея подобного рода реформ зародилась задолго до 867 г. и подготовительные работы для их осуществления уже были проведены, скорее всего, в кругах юристов, тяготевших к Фотию, и в стенах основанного Феоктистом и Вардой «университета», ректором и профессором которого Фотий был. Заслуга императоров Македонской династии лишь в том, что они поняли насущность задачи, восприняли идею правовой реформы и освятили все это авторитетом императорской власти, удостоившись ореола императоров-законодателей, равных Юстиниану.

Юристами была задумана и разработана грандиозная программа «очищения древних законов», суть которой отнюдь не сводилась к «очищению» права от наслоений эпохи Исаврийской династии, как иногда полагают. Она была значительно шире и заключалась в пересмотре и классификации всего писаного правового наследия, прежде всего содержащегося в *Corpus Iuris Civilis* с точки зрения его применимости в новых исторических условиях, отмены устаревших законов и устранения противоречий в тех, которые оставались в силе, «эллинизации» Юстиниановых законов, т. е. их перевода в греческую языковую систему и окончательного упразднения всех остатков латинской юридической терминологии. Речь фактически шла о замене латинского Юстинианового корпуса греческим корпусом законов, о создании «греческого Юстиниана».

Обобщенная картина хода реализации этой программы рисуется следующим образом: предусматривались своего рода программа-максимум и программа-минимум. Первая из них была рассчитана на создание универсального свода действующих законов, своеобразной энциклопедии права,— план, который в конце концов привел к созданию Василик, шести- или восьмитомного собрания законов в 60 книгах, полностью завершено только при Льве VI Мудром, а еще позднее обогащенного несколькими томами старых и новых схолий. Именно поэтапным складыванием этого «платоса» объясняется тот факт, что уже в ходе работы над ним о нем сообщалось (например, в предисловии к Исагоге) как о завершеном и состоящем не из 60, а из 40 книг. Далее всякий раз оказывалось, что работа нуждалась в продолжении.

За основу свода Василик взят юстинианов *Corpus Iuris Civilis*, но не непосредственно, а через использование существовавших уже гре-^{227}ческих обработок и комментариев. Так, Институции были использованы через посредство Парафразы Феофила; Дигесты — через посредство Эпитомы Анонима, которого отождествляют с Энантиофаном, автором схолий к Василикам и первой редакции Номоканона в XIV титулах; Кодекс — через посредство главным образом комментария Фалалея и отчасти Анатолия; греческие же конституции Кодекса вошли в Василики в их подлинном виде, хотя и не полностью. Опущены многие конституции по церковному, семейному и наследственному праву как измененные и отмененные позднейшими новеллами Юстиниана, а также все конституции, относившиеся к отдельным провинциям, уже не принадлежавшим Византийской империи во времена императоров Македонской династии. Так же обстояло дело с греческими новеллами, которые заимствовались из сборника 168 Новелл; что же касается латинских новелл, то они включались в Василики в сокращениях Феодора или Афанасия¹⁶.

Налицо, таким образом, сознательный и продуманный отбор и обработка материала, в результате чего из книг Юстинианова законодательства возникло новое, составленное по единому плану, самостоятельное произведение. Оригинальность и своеобразие нового свода состояло в особом способе эксцерпирования старого законодательства, изменяемого путем всякого рода интерполяций, сокращений и дополнений, в упразднении всех остатков латинской юридической терминологии, которой были испещрены использованные редакторами Василик сочинения антецессоров, и в ее замене греческими эквивалентами — дело совсем не столь уж

¹⁵ Pieler P. E. Byzantinische Rechtsliteratur//H. Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Munchen, 1978. Bd. 2. S. 445—472.

¹⁶ Wal van der N. Der Basilikentext und die griechische Kommentare des VI. Jahrhunderts // Synteleia: Vincenzo Arangio-Ruiz/A cura di A. Guarino, L. Labruna. Napoli, 1964. S. 1158—1165.

легкое, как может показаться на первый взгляд, к тому же совсем еще не изученное и не оцененное в должной мере.

Что же касается тематического распределения материала в этом обширном «платосе», то вначале (после первой книги, посвященной св. Троице и православию) идут общие теоретические принципы права; затем — каноническое право, касающееся организации церкви и устройства церковных дел; право, регулирующее функционирование государственных институтов, организацию и деятельность судов, право процессуальное и исковое. Далее следует наиболее крупный раздел — частное право, трактуемое в духе Эклоги и удаления от юридического формализма (обручение, браки и т. д.); военное право, после которого составители снова возвращаются к праву гражданскому, уделив внимание правовому регулированию сервитутов, смерти и захоронений. Завершается свод разделом уголовного права, аналогичным соответствующему разделу Эклоги.

Старый и явно затянувшийся спор ученых о том, для каких целей предназначен свод Василик (для школьного образования и научной интерпретации законов или для использования в текущей юридической практике), представляется нам не лишенным известной схоластичности. Как универсальный свод действующего права, как энциклопедия права Василики могли и должны были отвечать и той и другой цели. Конечно, «платос» давал прекрасные возможности для юридической экзегезы, {228} предоставляя в распоряжение юристов всю совокупность унифицированного права. Как и всякая кодификация такого масштаба, Василики, несмотря на произведенный отбор материала, имели свою «историческую» часть, содержащую древние законы, аналогичную Дигестам. Разобраться в том, какие аспекты того или иного закона выходят из употребления и какие остаются в силе, по возможности снять те мнимые и реальные противоречия, которые все же в достаточном количестве имелись в Василиках, — все это входило в компетенцию юриспруденции. Доказывается эта функция Василик еще и тем фактом, что уже вскоре после своего обнародования они обросли катенами — старыми и новыми схолиями. И если старые, представляя собой извлечения из творений юристов эпохи Юстиниана, вообще, пожалуй, не могут считаться схолиями в собственном смысле слова, ибо были составлены совсем не к тому тексту, при котором находятся и к которому присоединены (возможно, по указанию Константина VII Порфирородного или по крайней мере во время его правления) спустя почти 300 лет после их возникновения в VI в.¹⁷, то новые действительно являются продуктом осмысления текста Василик юристами XI—XII вв. Среди составителей новых схолий встречаются имена таких известных юристов, как Иоанн Номофилак-Ксифилин, Константин Никейский, Гарида, Евстафий, Калокир Секст, Патцис, Григорий Доксопатр, Агиофеодорит.

Но в то же время Василики содержали позитивное право, включающее в себя законы, бесспорно, действующие и имеющие императивный характер. Анализ данных, содержащихся в описании судебной практики члена Высшего суда Константинополя магистра Евстафия Ромея, убеждает в том, что Василики наряду с Прохионом и новеллами IX—XI вв. были основным авторитетным законодательным источником¹⁸. Впрочем, в сборнике описаний его судебных процессов и постановлений, известном под названием Пира (Опыт), этот юрист прямо и недвусмысленно утверждает, что все законы, содержащиеся в Василиках, действительны и применимы на практике, даже те, которые кажутся противоречащими друг другу, и «ничто из того, что содержится в текстах Василик, не было отменено» (Peira. P. 244 (51, 16)).

Конечно, необъятность «платоса» была серьезным препятствием на пути использования этих норм в широкой юридической практике, поиска в них нужного материала. Именно с целью преодолеть эту трудность и облегчить практическое применение кодекса стали создаваться справочные пособия типа синопсисов, т. е. обзоры его содержания, построенные в алфавитном порядке по предметному принципу (известны два таких синопсиса — Большой X в. и Малый XIII в.), а также указатели к Василикам, в частности составленный в конце XI в. судьей Патцисом указатель под заглавием «Типукейтос» («Типукит»), т. е. «что где находится».

И все же более радикально и более естественно эта проблема решалась в ходе осуществления программы-минимум, а именно создания (параллельно с реализацией растянувшейся на

¹⁷ Pieler P. E. Byzantinische Rechtsliteratur, S. 463, Anm. 186.

¹⁸ Лунин Е. Э. Законодательство... С. 121—171, 193.

десятилетия программы-максимум) в срочном порядке компактного и общедоступного {229} законодательного сборника, в котором было бы сосредоточено все самое необходимое для отправления правосудия.

В результате предпринятого в последнее время пересмотра ранее господствовавших в историографии весьма противоречивых и ошибочных представлений о проведении в жизнь этого плана ¹⁹ картина рисуется следующей. В 885 или даже, скорее всего, в 886 г. комиссией, возглавляемой патриархом Фотием, был разработан сборник, названный Исагогой (Εἰς τὴν σαυωγήν), т. е., собственно говоря, Введением (в историю науки он, впрочем, вошел по недоразумению под названием Эпанагоги), и опубликованный от лица царствовавших «всеблагих и миротворящих василевсов» Василия, Льва и Александра (Εἰς.). Материал в сборнике подразделяется на 40 титулов (в соответствии с числом книг «платоса», как подчеркнуто в предисловии) и имеет следующий порядок расположения: сначала речь идет об основных правах и правосудии; затем излагается учение об императоре, патриархе и высших чинах административной иерархии (эпархе города, квесторе и др.); о назначении и рукоположении епископов и других чинов церковной иерархии; о судах, свидетелях и документах; о помолвке и браке; о приданом и дарениях между мужем и женой; о типах юридических сделок; о завещаниях; о строительстве и соседском праве; о преступлениях и наказаниях.

Таким образом, содержание сборника в общем и целом традиционно, включая процессуальное, частное (имущественное, брачно-семейное, наследственное) и уголовное право, но за одним фундаментальным исключением: сборник содержит единственный в своем роде и не находящий соответствия ни в древних источниках, ни в византийской правовой традиции публично-правовой раздел, касающийся власти светской и духовной и ее представителей — императора и патриарха. Так, титул II «О василевсе» открывается определением василевса как «законной власти», общего для всех подданных блага, власти, которая не наказывает из личной антипатии и не благодетельствует из чувства симпатии, но, подобно какому-нибудь агонотету (судье на состязаниях), распределяет заслуженные награды. Назначением императорской власти провозглашаются обеспечение защиты и безопасности существующих (у государства?) сил, неусыпное бдение по восстановлению уже утраченных, мудрость и справедливость в приобретении тех, которых еще нет; целью — творить добро, ибо с ослаблением стремления к благодеянию печать царственности кажется, согласно древним, фальшивой. Василевс обязан защищать и охранять прежде всего все записанное в Священном писании, затем — все установленное в качестве догматов на семи святых соборах, наконец, — установленные римские законы; он должен отличаться православием, набожностью, другими христианскими добродетелями.

Далее следует раздел с перечислением полномочий василевса в области законодательства, целиком заимствованный из Дигест, а именно: его долг толковать узаконения древних и исключать из них то, что вышло из употребления; при толковании законов принимать во внимание обычай города и не допускать введения того, что противоречит ка- {230} нонам; василевс обязан разъяснять законы благожелательно, а в сомнительных случаях предпочитать толкование, отличающееся тонкостью вкуса; в делах, в отношении которых нет писаного закона, следует руководствоваться привычкой и обычаем, а если нет и этого, — следовать нормам, регулирующим сходные казусы; в зависимости от того, установлен ли закон письменно или без письменного оформления, и отмена его также осуществляется письменно или без, т. е. путем неупотребления; обычаем какого-либо города или провинции можно воспользоваться тогда, когда он, будучи подвергнут сомнению, может быть подтвержден в суде, причем установления, проверенные долгим обычаем и сохраняющиеся на протяжении многих лет, действуют не хуже писаных законов.

Аналогичным образом титул II Исагоги «О патриархе» открывается определением патриарха как живой и одушевленной иконы Христа, своими делами и словами возвещающей истину; характеризуются его назначение и цель, его полномочия в области церковного законодательства («только патриарх имеет право интерпретировать установленные древними канонами, определения отцов церкви и постановления св. соборов»), другие прономии патриаршей власти; подчеркивается, что более древние каноны, как, впрочем, и другие акты и распоряжения,

¹⁹ Schminck A. Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern. Frankfurt a. Main, 1986.

растворяются в последующих и таким образом сохраняют силу, что государство, подобно человеку, состоит из частей и членов, величайшими и необходимейшими из которых являются василевс и патриарх, и если миром и благополучием в их душе и теле подданные обязаны царской власти, то единомыслием и согласием во всем — власти первосвященника.

Уже давно было замечено, что все эти представления о строгом разграничении полномочий императорской власти и власти патриарха отдают нонконформизмом. Особенно это относится к ясно выраженному стремлению Фотия ограничить власть императора рамками βασιλεία с ее задачей способствовать миру и счастью подданных, оградить от ее посягательств церковную сферу, находящуюся в компетенции патриарха, возвысить и эмансипировать власть последнего, придать ему своего рода папский статус. Здесь нет и следа доктрины об уподоблении императора богу, о божественном происхождении императорской власти, или, вернее, она переносится на более высокий уровень — на уровень закона²⁰. Уже в предисловии к Исагоге, которое воспринимается как своеобразный гимн закону, провозглашается, что закон — от бога, это истинный василевс, он выше самих василевсов, причем василевсов не каких-нибудь, но весьма почитаемых и воспеваемых из-за их православия и справедливости. Но в то же время в первом титуле (Eis. I, 1) дается следующее определение закона: «Закон — это общезначимое распоряжение, плод размышления мудрых мужей, общее соглашение граждан государства». «Демократический» характер этого определения, в котором нельзя не услышать отголосков идеи общественного договора, еще больше подчеркивается тем, что оно целиком заимствовано (по-видимому, через Дигесты, ср.: D. 1, 3, 2) из высказывания Демосфена (из его речи «Против Аристогитона»), т. е. идеолога радикальной демократии²¹. И здесь, в сущности, нет противоречия: да, закон имеет в одно и то же время и божественное, и народное происхождение, ибо народ — это инструмент бога (vox populi — vox dei); политическая власть опосредованно исходит от бога, но непосредственно от общины — таков топос политического мышления средневекового человека, именно в этом смысл идеи переноса суверенитета — *translatio imperii*. Самым интересным в вышеприведенном определении закона является то, что составитель Исагоги умышленно изъясил другие содержащиеся в Дигестах определения закона, и прежде всего, казалось бы, обязательный тезис Ульпиана *Quod principi placuit, legis habet vigorem*, т. е. «То, что угодно государю, имеет силу закона». Император, таким образом, не рассматривается здесь в качестве источника права, в качестве «живого закона».

Ясно теперь, что у Исагоги с самого начала не было шансов получить прочный статус официального законодательного сборника, пользующегося поддержкой государственной власти, а в лице императора Льва VI Исагога вообще обрела своего безжалостного ревизора и цензора. Последней каплей, переполнившей чашу терпения императора, оказалась оппозиция церковников его намерению вступить в четвертый брак, причем они не только воспротивились этому, но и вынудили императора издать закон, запрещающий четвертый брак и как бы осуждающий его собственное поведение. Решив использовать случай, Лев VI, однако, не стал издавать отдельной новеллы, которая неизбежно заострила бы внимание общественности на проблеме и воочию показала бы всем, что своим вступлением в четвертый брак император продемонстрировал свое пренебрежение как церковными канонами, так и им самим введенными светскими законами. Он поручил (вероятнее всего, в феврале 907 г.) какому-то своему сподвижнику-юристу (возможно, будущему компилятору «Эпитомы») подготовить проект нового законодательного сборника, в котором можно было бы «утопить» новый закон с запретом четвертого брака, удовлетворив тем самым церковников, в то же время путем коренной переработки Исагоги (а именно элиминации всех принадлежащих Фотию и ущемляющих права императора предписаний) ограничить влияние церкви на светское право. У опытного юриста такого рода работа не потребовала много времени и могла быть легко выполнена за несколько месяцев в течение 907 г. А вскоре после составления 40 титулов нового сборника (самое позднее в начале 908 г.) самим Львом VI было написано (несомненно, под влиянием преамбулы к

²⁰ Pertusi A. Il pensiero politico e sociale bizantino dalla fine del secolo VI al secolo XIII // Storia delle idee politiche, economiche e sociali / Diretta da L. Firpo. Torino, 1983. P. 695—697.

²¹ Beck H. G. Res Publica Romana: Vom Staatsdenken der Byzantiner // Das byzantinische Herrscherbild. Darmstadt, 1975. S. 401. Интересные соображения о путях проникновения домосфеновского высказывания в Исагогу см.: Simon D. Princeps legibus solitus: Die Stellung des byzantinischen Kaisers zur Gesetz // Gedachtnisschrift für Wolfgang Kunkel. Frankfurt a. Main, 1984. S. 467—469.

Эклоге) предисловие к нему, причем в титуляцию ее с упоминанием имен императоров, от лица которых сборник был опубликован, наряду с царствовавшими тогда Константином и самим Львом был для придания большего авторитета включен и уже покойный император Василий I.

Так, согласно новейшей интерпретации²², появился знаменитый в истории всей византийской правовой литературы Прохирон — фактически творение Льва VI, в котором церковное влияние сведено до минимума, — компиляция, свободная от всех тех недостатков (с точки зрения императорского суверенитета), которыми изобиловала Исагога.

В своем предисловии Лев VI, воздав должное законности («великой для людей пользе от законов») и отметив накопленное к его времени бесконечное множество писанных законов («а отсюда и труд по их изучению внушает многим страх») и необходимость всеобщего правового образования, так формулирует свою задачу: искоренить из сознания людей страх перед законами, сделать усвоение законов более доступным, для чего рассмотреть всю совокупность писанных законов и «из каждой книги выбрать самое необходимое, наиболее полезное и чаще отыскиваемое и все это по главам письменно изложить в данной ручной книге законов, почти ничего не опустив из того, что должно быть закреплено в знании многих». Следует краткое, но точное изложение объема и характера проделанной с этой целью работы: «Мы привели свод законов к соразмерности, переложили сочетания латинских терминов на язык Эллады, учинили восстановление нарушенных законов, а некоторые из нуждающихся в исправлении с пользой исправили, а также позаботились сделать новые узаконения о том, о чем не было издано закона, чтобы, кроме ясного, краткого и правильного плана (в расположении материала), не ускользнуло от нас и пропущенное в законах. Собравши этот материал в целом в 40 титулах, мы осуществили санкцию этого законодательства. Если же написанное нами все же содержит какой-либо пропуск (ибо невозможно в таком сокращенном издании охватить все содержание множества книг), то лицам особенно прилежным следует черпать знание искомого в своде законов, только что подвергнутом нами очищению»²³.

Интересны те строки предисловия, в которых затронут вопрос об отношении к Исагоге, разумеется, в духе ее резкого осуждения. «Так как нечто подобное было уже предпринято неким (т. е. Фотием? — *И. М.*) и для наших предшественников, — говорится в предисловии, — могут, пожалуй, сказать, зачем, мол, мы, не довольствуясь тем сокращенным изданием (т. е. Исагогой. — *И. М.*), приступаем к данной второй выборке. Должно, однако, знать, что этот так называемый энхиридий (т. е. учебник) по воле его составителя оказался скорее не выборкой, а извращением прекрасно установленных законов, каковой для государства бесполезно и неразумно сохранять... Поэтому прежний энхиридий был отменен уже нашими предшественниками, хотя и не весь целиком, но насколько то было нужно». Налицо принципиальный отказ от Исагоги, означавший и ее официальную отмену. Парадокс, однако, в том, что как сама Исагога (правда, обросшая схолиями, содержащими ее резкую критику и добавленными позднее, с учетом нововведений Прохирина, которые рассматривались схолиастом как предписания «нашего императора», т. е. Льва VI), так и ее многочисленные частные переработки получили широкое распространение и послужили правовым источником для позднейших юридических компиляций.

Что касается Прохирина, то его составителю при пересмотре Исагоги пришлось постоянно соотноситься с текстом всех 60 книг Василия I, а также с текстом Эклоги. В сборник вошли новые законоположения Василия I, некоторые другие материалы. Общее же содержание, заключавшее в себе не только светское право (законы гражданские, уголовные, отчасти процессуальные), но и церковное, распределялось по 40 титулам в следующем порядке: о браке и приданом, об обязательствах, о наследственном праве по преимуществу, о частных и публичных постройках, о преступлениях и наказаниях, о военной добыче. По полноте и всесторонности юридического материала Прохирон, таким образом, явно превосходит Эклогу, хотя в трактовке некоторых вопросов брачного имущественного права (отмечается, например, вновь введенное Прохирином различие между опекой и попечительством, бывшее уже анахронизмом

²² *Schminck A.* Op. cit. S. 100—103.

²³ См. критическое издание предисл. к Прохируну: *Ibid.* S. 56—60.

в VI в., а также другие изменения, связанные с отменой более прогрессивных норм, установленных Эклогой) он сделал «большой шаг назад» по сравнению с ней.

Сборник из 113 новелл Льва VI, представляя собой своего рода дополнение к Василикам, охватывает широкий круг вопросов, касающихся церковного и брачного права, семейно-имущественных отношений, наследственного, обязательственного, процессуального и уголовного права, регламентации городского строительства. Широкую известность снискали новеллы, содержащие «рабское законодательство», с их общей тенденцией уменьшения замкнутости рабского состояния, расширения путей выхода из рабства, смягчения различий в статусе между рабами и близкими к ним по своему положению угнетенными, но юридически свободными людьми, хотя рабство как институт оставалось для Льва VI нерушимым²⁴.

Характерной чертой сборника новелл Льва VI является господство в них критического отношения к старому и вообще писаному официальному праву, мысль о постоянно меняющихся условиях жизни и необходимости приближения старого законодательства к новым условиям, акцентирование внимания законодателя на расхождении официального императорского законодательства с обычным правом и столь необычное для консервативной Византии (особенно в устах императора) признание за обычаем его преобладающей в сравнении с писанным законодательством роли в общественной и частной сферах жизни византийского гражданина, признание, особенно отчетливо сформулированное Львом VI в предисловии к сборнику, в новелле 18, и подкрепленное в ходе рассмотрения конкретных правовых вопросов (из 21 случая расхождения писаного закона с обычаем в 16 отдано предпочтение обычаю и только в 5 или 6 — закону)²⁵, — словом, все то, что делало законодателя «не консерватором, а новатором»²⁶.

Законодательство императоров Македонской династии означало последнюю широко-масштабную правительственную инициативу в области права, а Василики — последнюю официально обнародованную кодификацию византийцев. В дальнейшем правовая мысль развивалась главным образом в русле частной инициативы, систематизации материала и его эпитомирования, схолирования и глоссирования. Именно так в изучаемый период возникло большинство частных правовых сборников типа *Epitome legum* (выборки из более древней эпитомы, которую автор скомбинировал с Прохионом), *Leges fiscales* (компиляции норм фискального и соседского права, заимствованных из сочинений антецессоров), старых и новых схолий к Василикам, выборки из Василик и синопсисов к ним, бесчисленных переработок Эклоги, Прохиона и Исагоги, анонимных трактатов («о голых договорах», «о пекулиях», «о кредитах»), «Синопсиса законов» и других юридических сочинений Михаила Пселла, основательного юридического труда Михаила Атталиата, составленного по поручению Михаила VII и обнаруживающего солидные познания автора о праве «Василик» и «Новелл», а также об историческом развитии права и государства со времен римской республики и вплоть до Василик. Это были плоды расцветшей пышным цветом юриспруденции, но все это создавалось хотя и на уровне более или менее широкой эрудиции, но все же без достаточно глубокой и самостоятельной научной обработки правового материала.

Таким образом, византийское право VII—XII вв. не стояло на месте, оно развивалось, но тенденции этого развития были крайне противоречивыми. Дальнейшая вульгаризация права и приспособление его к практическим повседневным нуждам, криминализация частноправовых отношений и дальнейшая христианизация права — вот те наиболее типичные черты, которые отличают первый этап изучаемого периода в истории византийского права (конец VII — первая половина IX в.), за которым последовал второй (вторая половина IX—XII в.), отмеченный усилением внимания к пересмотру и классификации правового материала, к отбору того, что могло быть наиболее естественным образом адаптировано и включено в общую правовую систему Византии.

²⁴ Лунинц Е. Э. Законодательство... С. 104.

²⁵ *Michaelidès-Nouaros G.* Les idées philosophiques de Léon le Sage et son attitude envers les coutumes//Mnemosynon P. Bizoukides. Athènes, 1960. P. 33, 43, 45 et suiv.: *Idem.* Quelques remarques sur le pluralisme juridique en Byzance//BYZANTINA. 1977. T. 9. P. 427, 429.

²⁶ Сюзюмов М. Я. Экономические воззрения Льва VI//ВВ. 1958. Т. 14. С. 67—75.

Зададимся напоследок вопросом о том, откуда брались кадры юристов, какой была система их образования в изучаемый период и существовала ли она вообще? ²⁷ Наиболее спорным при этом является вопрос о преподавании права в государственных высших школах этого времени. Ранее было высказано предположение о том, что программу анакафарсиса, т. е. «очищения», осуществили юристы из окружения Фотия в стенах основанного кесарем Вардой «университета». О последнем, правда, известно только то, что в нем преподавались философия, геометрия, астрономия и грамматика, но ничего не говорится о преподавании права ²⁸. Может быть, как и в открытой (или восстановленной) в X в. императором Константином VII Багрянородным высшей школе ²⁹, и здесь отделение риторики выпускало юристов, тем более что тесная связь правового образования с риторическим засвидетельствована и другими источниками ³⁰. И все-таки предположение остается предположением. Если даже {235} какая-то часть государственных служащих получала правовое образование в государственном учебном заведении, то основная масса подвизавшихся на юридическом поприще или просто интересовавшихся правом приобретала знания иными путями — в частных школах или, того проще в форме «автодидаскалии», т. е. самостоятельного освоения юридического материала и его практического применения и материальной передачи путем переписывания юридических текстов.

Это подтверждается данными источников, хотя и не столь богатыми, но красноречивыми ³¹. У Михаила Атталиата вызывает гнев тот факт, что широкие слои населения занимаются тонкостями юридической экзегезы; в небольшом сатирическом памфлете Пселл также высмеивает одного трактирщика за то, что тот имеет дерзость заниматься законами, причем с целью предоставлять свои скудные познания в праве за определенное вознаграждение другим людям; сам Пселл в молодые годы приобщился к праву весьма случайно, находясь на службе в канцелярии одного судьи фемы Месопотамия, причем это обучение носило далеко не идилический характер: «...многие вводили меня в италийскую премудрость не только словами, но и кулаками», — говорит он; автодидактом был, по-видимому, Константин Лихуд, о котором Пселл говорит, что «он не обрушился на законы аки лев, не обхватил их алчно и не терзал их, не кромсал зубами, не рвал ногтями, но к теории присоединил практику, ибо чем для риторики являются жанры речи и заданные темы, тем для парадигм являются процессы, и как всякую риторическую тему можно возвести к одному из жанров публичной речи, так и любой из заданных правовых случаев можно возвести к одному из процессов» (МВ. IV. P. 395, 11—19).

О «демократизации» правовых знаний говорит и состояние адвокатуры, которая перестает быть делом юристов-профессионалов. В этом отношении ценные сведения дает документ о конфликте патриарха Луки Хрисоверга (1157—1169/70) с одним диаконом, которому запретили защищать дело в императорском суде, очевидно, со ссылкой на каноны (такой запрет действительно существовал со времени патриаршества Ксифилина). Диякон стал оправдываться, утверждая, что теперь каноны уже не запрещают представителям клира выступать в суде, поскольку адвокаты исполняют свое дело как некую свободную профессию и не подлежат правилам того времени, когда адвокатура была государственной должностью, получавшей содержание, и когда адвокаты подчинялись примикирию. При этом диякон ссылаясь на последние главы титула I восьмой книги Василика, а также на распоряжения Книги Эпарха касательно адвокатов, в которых якобы объясняется, что адвокаты образуют корпорацию и утверждаются эпархом в своей должности ³².

Действительно, весь первый титул — «Об адвокатах» — восьмой книги в Василиках и их схолиях, воспроизводящих, правда, древние римские законы, посвящен тому, что в принципе любой свободный и совершеннолетний гражданин (в том числе и должностное лицо), не

²⁷ *Медведев И. П.* Правовое образование в Византии как компонент городской культуры // *Городская культура: Средневековые и начало нового времени.* Л., 1986. С. 8—26.

²⁸ *Speck P.* Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. München, 1974. S. 24, Anm. 9.

²⁹ *Wolska-Conus W.* École de droit et l'enseignement du droit à Byzance au XI^e siècle: Xiphilin et Psellos//TM. 1979. T. 7. P. 9.

³⁰ *Wolska-Conus W.* Les termes nomè et paidodiscalos nomikos du «Livre de l'Eparque»//TM. 1981. T. 8. P. 540.

³¹ *Weiss G.* Öströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos. München. 1973. S. 22, 25—26.

³² *Wolska-Conus W.* École de droit... P. 7, N 28.

имеющий каких-либо телесных недостатков, может выступать перед судом в качестве {236} присяжного поверенного (Bas. Ser. A. I. P. 403—413; Ser. B. I. N 7. P. 54).

О том, что частное преподавание права и мелкие частные школы права, организованные по принципу «одна школа — один учитель», существовали в Византии и в постюстиниановский период, свидетельствуют упоминаемые у Христофора Митиленского процессии учеников-нотариев, проходившие 25 октября, в день праздника святых нотариев Маркиана и Мартирия, а также постоянные запреты церковными властями всевозможных игр, сценических представлений и демонстраций, устраиваемых студентами-юристами³³. Об этом же свидетельствует и упоминание в Книге Эпарха специальных учителей по праву, занимавшихся подготовкой будущих табуляриев (нотариев) и входивших в корпорацию этих последних: согласно § 13 Книги Эпарха учитель права (очевидно, желавший открыть свою школу) должен был быть сначала принят в корпорацию голосованием на общем собрании членов корпорации (табуляриев, примикирия, учителей права и учителей по общеобразовательным дисциплинам), сделать соответствующий взнос, и только тогда он приказом эпарха назначался на вакантную должность; § 15 угрожает педодискалуномику битьем и лишением должности за намерение без разрешения эпарха и соответствующих испытаний нотариев писать документы; наконец, § 16 также стремится предупредить конкуренцию среди учителей права и учителей вообще, запрещая им принимать детей, приходящих из «другой школы», т. е., очевидно, из школ друг друга (Кн. Эп. С. 72).

Конечно, объединение в одной корпорации учителей права и учителей общеобразовательных предметов с нотариями выглядит несколько странным, но, может быть, это станет более понятным, если принять во внимание требования, предъявлявшиеся к табуляриям, к этим представителям самого массового отряда юристов-практиков, из которого черпались кадры и в другие звенья административно-государственного аппарата: они должны были обладать необходимыми познаниями в законах, в частности знать досконально 40 титулов Прохирона и 60 книг «Василик», а также «пройти курс энциклопедического образования», т. е. собственно получить общее начальное образование, чтобы не делать ошибок при составлении документов и не допускать при произнесении речей не принятых выражений (Кн. Эп. С. 73 (§ 2)). Не следует ли предположить, что в корпорацию табуляриев входили не все учителя права и общеобразовательных предметов, но только те, которые обслуживали цех нотариев?

Ценные сведения в этом отношении содержатся в некоторых сочинениях Пселла, от которого мы узнаем о положении с преподаванием права накануне главного события в правовой жизни Византии в XI в.— основания Константином IX Мономахом в 1043 г. юридического училища, а также об обстоятельствах, которые этому предшествовали. Правда, из некоторых его слов можно сделать вывод о полном упадке школьного образования в первой половине XI в. Так, в панегирике Иоанну Ксифилину он говорит: «Некогда в нашем городе (т. е. Константинополе) были училища и школы наук и искусств, существовали почтенные кафедры не только пиитики, но и риторики, и философии; что же касается юриспруденции, то о ней толпа заботилась мало. Но времена и обстоятель- {237} ства изменились к худшему и светочи наук почти погасли. Общественные зрелища, правда, еще процветают, судья игр председательствует на них, искусные существуют борцы, а арены наук не оправдывают своего названия и лишь тайком некоторые нашептывают свои речи; танцоров много, но нет корифея» (МВ. IV. P. 433, 2—10). Не исключено, однако, что тут Пселл сгустил краски, допустил риторическое преувеличение, желая возвеличить затем свои собственные заслуги и заслуги своего друга как подвижников науки.

Но другие его сведения представляют интерес. Из них явствует, что был период, когда Михаил Пселл и Иоанн Ксифилин определяли интеллектуальный климат в столице, причем если первый считался главным авторитетом в области риторики и философии, то второй — в области юридических штудий. Весь цвет столичной молодежи («фаланги интеллектуалов», по терминологии Пселла) разделился надвое: «...те, которые избрали своим поприщем общественную службу, желая слиться с толпой, выдвинули в качестве своего стратига Иоанна, тогда как любители более благородных наук, образуя раскол, повернулись ко мне» (Ibid. IV. P. 433, 11—24). Обращающее на себя внимание принижение юриспруденции по отношению к другим

³³ Ibid. P. 6—7.

наукам проявляется у Пселла и в других местах. Например, он пишет, что вопреки Ксифилину, начавшему свое обучение с изучения права и прибавившему затем к нему риторику и философию, он (Пселл) начал с риторики и философии, а уж затем погрузился в юридическую науку, «идя, таким образом, от лучшего к худшему» (Ibid. P. 427, 26). Ему, видимо, важно было отметить демократический и «прикладной» характер этой науки, благодаря которой выходцы из городского сословия устраивали себе карьеру на поприще государственных служащих, судей, нотариусов и т. д. Тем не менее среди учеников Ксифилина фигурирует и сам император, которого тот «посвящал в юридические науки, как в тайны Элевсина» (Ibid. P. 434, 24).

Действительно, Константин IX Мономах обратил внимание на двух молодых людей и, желая использовать их для осуществления своей программы «демократизации» государственного аппарата, для начала привлек одного из них (Пселла) к работе в императорской канцелярии, а другого (Ксифилина) — к работе в суде, а позднее создал для них специальные учебные заведения по праву и по философии, поставив во главе первого Ксифилина с титулом номофилака (хранителя законов) и во главе второго — Пселла с титулом ипата философов. Мыслились ли эти отдельные учебные заведения, расположенные в разных местах, в качестве подразделений-кафедр некоего единого организма университетского типа, остается спорным. Нас в данном случае больше всего интересует основанное Константином IX Мономахом юридическое училище, которое в источниках называлось также и школой, а у Михаила Атталиата риторически «музеем законоведения».

Назначение новой юридической высшей школы и ее характер достаточно четко прослеживаются благодаря тому, что, к счастью, до нас дошел текст специальной новеллы Константина IX Мономаха (составил ее, однако, Иоанн Мавропод) об учреждении училища и должности номофилака (Nov. Const.). В ней подводятся итоги работе, проделанной в области законодательства предшественниками, причем современного исследователя не может не поразить степень осознанности объема и характера этой {238} работы, заключавшейся, по мнению автора новеллы, в сокращении и прояснении огромной массы древнего законодательства, в переводе его с латинского языка на греческий, наконец, в «очищении» его. В то же время отмечается, что предшествующие императоры, которые «заботились о законах не меньше, чем об оружии», необъяснимым образом пренебрегали их преподаванием, не занимались вопросом о назначении лица, в ведении которого находилось бы преподавание и передача знания законов, не выделяли для этого помещения и соответствующих выплат, словом, не делали всего того, что обычно является необходимым для нормального функционирования школы (Ibid. § 4). В результате молодежь, желавшая изучить юридическую науку, за неимением компетентного учителя, назначаемого по указу императора, обращается к первому встречному дидаскалу, даже если тот и обладает лишь весьма несовершенной практикой преподавания, доверчиво усваивает то, что он сказал, а затем вносит в судебные дела и решения путаницу и замешательство (Ibid. § 5). Для устранения этого недостатка открывается в красивом здании Георгиевского монастыря кафедра, которая будет именоваться юридическим училищем, а учитель на этой кафедре — номофилаком, который будет также хранителем библиотеки, и библиотекарь беспрепятственно должен выдавать ему книги по праву с тем, чтобы ему не приходилось раздобывать их в других местах (Ibid. § 10). По своему статусу номофилак причислялся к сановным сенаторам, на торжественных царских выходах ему предписывалось занимать место вслед за «министром» юстиции, иметь доступ к императору, как и «министр» юстиции, и в те же самые дни; ежегодно он имеет право получать жалованье (ругу) в четыре литры, шелковую одежду, пасхальный подарок и «хлебные» (Ibid. § 11). Номофилак должен посвятить свою жизнь обнаружению смысла законов, проводя ночи в поисках его, а дни — в преподнесении его молодежи (Ibid. § 13), от него требуется знание двух языков — латинского и греческого, основательные теоретические и практические познания в праве (Ibid. § 16). Он будет занимать должность свою пожизненно, преподавать законы безвозмездно (Ibid. § 14), читать лекции ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней. Все желающие заниматься практической юриспруденцией, быть адвокатами и ходатаями по делам, должны, прежде чем вписаться в соответствующую корпорацию (синигоров, табуляриев), изучить у номофилака законы, выдер-

жать у него экзамен и получить удостоверение (*Ibid.* § 20)²³⁴, если же кто-нибудь в обход этого правила вступит в синигоры или табулярии — будет исключен, «дабы он знал, что теперь уже не недавнее небрежение, но старинная точность законов царствует в общественных делах» (*Ibid.* § 21). В этой же новелле сказано, что (первым) номофилаком, «экзегетом и дидаскалом законов» назначается муж испытанного ума, доказавший свои юридические познания, судья на ипподроме и экзактор Иоанн Ксифилин (*Ibid.* § 8).

Представляется весьма интересным наблюдение П. Лемерля о том, что § 22 новеллы «звучит почти как заключение», а все, что за ним следует {239} (т. е. § 23—27), воспринимается как обращение императора к студентам училища³⁵. Действительно это так, и нет ничего невероятного в том, что эта речь была произнесена императором на открытии училища и добавлена позднее к тексту новеллы. Обращаясь к учителям и ученикам, император пожелал им успехов в овладении юридической наукой, отметил, что если некогда с этой целью нужно было ехать в Рим или Бейрут, то теперь молодые люди могут это сделать в собственном городе (*Ibid.* § 24), что их прилежание будет щедро вознаграждено, ибо императоры будут отдавать им предпочтение при назначении на государственные должности (*Ibid.* § 25), и что сама задача овладения правом сейчас облегчается: «Вы не попадете больше,— говорит он,— как ваши предшественники, в сети загадок, лишенных всякого объяснения (я имею в виду юридические термины); вы не услышите больше лекций по праву, подобных оракулам с двойным смыслом, для понимания которых требуется еще один прорицатель; вы не будете больше теряться в догадках, вызванных их двусмысленностью, не доверяя самим себе, не то что другим, даже в вопросах, которые вам кажутся понятными; напротив, благодаря совершенно ясному, точному и надежному объяснению, изложенному на открытом языке, вы научитесь понимать логику законов; более того, вы не станете придерживаться только мертвой буквы книг, но и услышите живой голос законов, которому наша светлость позволила раздаться среди вас, закрыв, с одной стороны, все боковые двери и, с другой — широко распахнув одну-единственную дверь — имперскую; входите и выходите через нее беспрепятственно, по вашей воле, и находите приют, который вы желали,— в законах, у почтенного и святого монастыря Георгия Победоносца» (*Ibid.* § 23).

Оптимизм императора, однако, оказался не совсем оправданным. Изучение деятельности Иоанна Ксифилина на посту номофилака показало, что метод интерпретации права, которым он пользовался,— это метод теоретика, отягощенный школьной традицией и мало приспособленный к проблемам повседневной практики, метод возврата к латинской терминологии, к букве древнего законодательства, пафос ложной эрудиции, обнаруживающийся в стремлении выйти за пределы чересчур лапидарного текста «Василик» за счет обращения непосредственно к латинскому тексту римских законов и к буквальным (подстрочным) переводам Юстиниана «Кодекса», а также в стремлении постичь «точный смысл» законов с помощью некоторых понятий аристотелевской логики, разработанных еще в древности в школах Бейрута и Константинополя³⁶. Тем не менее основание юридической школы в середине XI в. вписало яркую страницу в историю византийской культуры этого времени. {240}

8

Дипломатия

Дипломатия занимала выдающееся место в политической, идейной и даже культурной жизни византийского общества. В предшествующем томе «Культуры Византии» уже было показано, каких высот достигло дипломатическое искусство в ранней Византии, особенно в правление Юстиниана I. В последующие столетия масштабы деятельности византийской дипломатии не-

²³⁴ П. Лемерль считает, что мы здесь узнаем о существовании в Византии практики выдачи диплома об окончании учебного заведения, в данном случае выдаваемого номофилаком и являющегося, следовательно, «государственным дипломом» (*Lemerle P. Cinq études sur le XV^e siècle byzantin. P., 1977. P. 210*).

³⁵ *Ibid.* P. 211.

³⁶ *Wolska-Conus W. École de droit... P. 18—22, 101.*

прерывно росли, усложнялись и совершенствовались ее методы. Разумеется, она знала и успехи и неудачи, находившиеся зачастую в прямой зависимости от внутреннего и внешнеполитического положения империи, но даже в самые трудные периоды истории Византии, теснимой со всех сторон врагами, дипломатия оставалась важнейшим средством укрепления ее влияния в средневековом мире.

Дипломатические связи в эпоху средневековья концентрировались вокруг крупных политических центров международной жизни. Главными из таких центров в VII—XII вв. были Византия, страны Западной Европы, Киевская Русь, арабские халифаты, Китай и Индия. Происходило взаимное усвоение дипломатических обычаев, процедуры приемов, этикета. Однако дипломатические связи (а следовательно, и обмен опытом) не имели регулярного характера. В каждом из международных центров складывались собственные формы и методы дипломатии, обусловленные особенностями социально-экономических условий, местными политическими и культурными традициями.

Самой влиятельной, высокоорганизованной и изоцированной дипломатической системой в Европе и на Ближнем Востоке оставалась вплоть до XIII в. византийская дипломатия. Характерной ее особенностью являлась тесная связь с политической доктриной исключительности «Христианской империи», с тезисом о ее провиденциалистской миссии в истории человечества¹.

Византийская политическая мысль унаследовала от Римской империи концепцию своей государственной уникальности. Окружающий мир отчетливо делился на ойкумену — «населенное» (в сущности, цивилизованное) пространство и варварские земли. Мир варваров в глазах византийцев долгое время представлял скорее как легенда и своеобразная {241} мифология, чем географическая реальность. Земли варваров в изображении византийцев были населены дикими существами, всевозможными страшилищами, птицами с человеческими лицами и псоглавыми людьми и при всей своей подвижности оставались в сознании византийцев извечно неизменными. Это проявлялось прежде всего в неизменности этнографической номенклатуры. Византийские писатели мыслили окружающий их мир в категориях Страбона, которого они почитали и активно переписывали и комментировали. Периферию ойкумены на севере считали по-прежнему населенной скифами, сарматами, пеонами, кельтами, на юге — эфиопами и прочими известными от античности племенами. Так, тюркские народы именовались персами, венгры — турками, норманны — франками. Общее название «скифы» переносилось сплошь и рядом также на болгар, печенегов, половцев, русских и т. д. Обозначение русских тавроскифами было вообще характерно для византийской литературы X—XIII вв.

Другая характерная особенность отношения византийцев к иноземцам — глубокое презрение и пренебрежение к ним. Все они — варвары, чуждые высокой ромейской цивилизации; каждый народ к тому же византийцы наделяли каким-либо одним, якобы свойственным ему по преимуществу пороком: скифы — жестоки, латиняне — надменны, армяне — коварны, арабы — склонны к предательству и т. п.

Ареал распространения акций византийской дипломатии был весьма значительным, но главные ее направления менялись с течением веков, в зависимости от изменений международной обстановки.

На протяжении всей истории большое значение для империи и ее дипломатии имели отношения с ее северными соседями. Во избежание ведения войн на два фронта (с востока — с персами, арабами, турками-сельджуками; с севера — с различными кочевыми народами, венграми и балканскими славянами) Византия по отношению к северным соседям старалась максимально использовать свое искусство дипломатии.

В центре внимания византийских политиков находились три основных региона, лежавшие к северу от границ империи: Кавказ, Северное Причерноморье, Подунавье. Значимость этих регионов для Византии объяснялась прежде всего их географическим, а отсюда — и стратегическим положением. Кавказский регион часто становился с его северной стороны ареной столкновений Византии с кочевниками Евразии, а с южной — с политическими образова-

¹ *Obolensky D. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy//Actes du XII^e Congrès International d'Études byzantines. Beograd, 1963. T. 1. P. 45—61; Guillou A. La civilisation byzantine. P., 1974. P. 157—164; Schreiner P. Byzanz. München, 1986. S. 65—67, 133—139.*

ниями Ближнего и Среднего Востока. Усилия византийской дипломатии здесь были направлены на создание в предгорьях Кавказа своеобразного заслона против возможных нашествий персов, арабов и турок на византийские владения в Малой Азии. Таким заслоном должны были служить союзные или вассальные государства, располагавшиеся в пространстве от Нижней Волги и Азовского моря до озера Ван в Армении. Эту роль Кавказский регион, имевший для Византии также немаловажное экономическое значение, выполнял вплоть до первой четверти XI столетия, когда империя перешла к политике прямой экспансии².

В целях безопасности своих северных границ Византия пыталась {242} установить дипломатические контакты также с народами, населявшими области, расположенные между нижней Волгой и Азовским морем, в так называемом «степном коридоре», по которому кочевники устремлялись к Черному морю, Дунаю и Кавказу.

Второй важный регион, где активно действовала византийская дипломатия, располагался между нижней Волгой и нижним Дунаем. Речь идет о Северном Причерноморье, включая Крым, сохранявший вплоть до начала XIII в. для Византии серьезное экономическое и политическое значение. Византийские политики придерживались здесь древнего принципа «разделяй и властвуй». В частности, Крымский регион использовался как плацдарм для отражения набегов кочевников. Безопасность балканских провинций Византии во многом зависела от готовности подданных империи в ее крымских владениях прийти на помощь и от позиции союзников Византии в соседних с Крымом районах. В качестве одного из методов византийской политики в этом регионе было вынужденное признание древнего принципа греческой полисной автономии, которой пользовались, например, жители Херсона (Херсонеса), довольно долго и успешно игравшего роль форпоста империи в Крымском регионе. Новая расстановка сил сложилась в указанном районе в первой половине IX в.: угроза крымским владениям со стороны хазар и рост независимости Херсона обусловили создание здесь при Феофиле (829—841) фемы Климаты с центром в Херсоне³. С конца IX в., опасаясь набегов на Крым печенегов, византийская дипломатия сумела привлечь их к союзу с империей. Этот союз и становится краеугольным камнем византийской политики в отношении северных соседей. Опираясь на печенегов, Византия добивалась установления мирных отношений и с Русью, а также препятствовала нападениям на свои балканские провинции венгров и болгар.

Третий сектор сферы действия византийской дипломатии на севере охватывал территорию нижнего и среднего Подунавья. Именно здесь дипломатия империи столкнулась с наиболее сильным и стойким сопротивлением, в особенности со стороны Болгарии, отношения с которой развивались для Византии с переменным успехом⁴.

Основными целями внешней политики Византии были защита границ империи и расширение своего экономического и политического влияния в глубь указанных трех регионов путем натравливания проживавших здесь народов друг на друга, а также заключения с некоторыми из них союзных или вассальных договоров.

Чрезвычайно неустойчивыми (то дружественными, то враждебными) были отношения Византии с христианскими княжествами Кавказа. Даже самые границы с ними то исчезали, то устанавливались заново; правители этих княжеств то сами признавали суверенитет империи, платили ей дань и помогали войском, то, напротив, разрывали с ней отношения, {243} сами требовали от нее уплаты дани, оказывали поддержку мятежникам против императора и иным его врагам. Действия византийской дипломатии на Кавказе осложнялись, кроме того, постоянными раздорами между самими грузинскими, как и между армянскими, князьями.

С Древней Русью, которая с 860 по 988 г. совершила шесть походов против Византии, постепенно установились регулярные торговые и политические связи, зафиксированные в серии специальных договоров. Русские купцы, представлявшие интересы верхушки правящего слоя Руси, получили исключительные торговые льготы в самом Константинополе. За великого

² Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX—XI вв. М., 1988. С. 93—116.

³ Соколов И. В. Монеты и печати византийского Херсона, Л., 1983. С. 107—118.

⁴ История на България. Т. 2: Първа Българска държава. Т., 1981. С. 120—161; 213—228, 278—296, 389—422; Литаврин Г. Г. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII — начало XI в.)//Раннефеодальные государства на Балканах. М., 1985. С. 132—183. Библиогр. С. 183—188; Ducellier A. Byzance et le Monde orthodoxe. P., 1986. P. 223—295. Библиогр. P. 474—483; Ангелов П. Българската средновековна дипломатия. С., 1988. С. 82—140.

князя Владимира была выдана «порфирородная» царевна Анна, сестра Василия II Болгаробойцы. Русь приняла христианство от Византии, но приняла его добровольно, не под военным или политическим давлением империи. Русско-варяжские наемники, в силу условий упомянутых договоров, поступали на службу в армию Византии и в течение почти столетия составляли ее наиболее боеспособные части⁵.

Гораздо более часто состояние мира и войны чередовалось в отношениях Византии со славянскими народами Балканского полуострова. Болгары дважды — в X и XI вв. — угрожали лишить империю ее европейских владений. Царь Болгарии Симеон (893—927), ведший с Византией ожесточенные войны, стремился даже к овладению константинопольским престолом. В 1018 г. Византии в результате почти сорокалетней борьбы удалось на 170 лет (до 1186 г.) завоевать Болгарию и подчинить своему господству почти всех славян на Балканах⁶.

Неоднократно в ходе VIII—XII вв. основное внимание византийской дипломатии было приковано к восточным границам. Именно отсюда империи грозила главная опасность. Отразив арабский натиск, Византия во второй половине X в. перешла здесь к дипломатической борьбе как к основному средству обороны. Учитывая раздробленность арабского халифата и используя противоречия между отдельными эмиратами, империя привлекала на свою сторону одни из них, заставляя их воевать против других⁷. Только с середины XI в., когда на смену арабам явился гораздо более грозный и сплоченный враг — турки-сельджуки, главную роль в политических акциях империи на востоке вновь стали играть не дипломаты, а полководцы.

Что касается стран европейского Запада, то постоянные связи с ними империя налаживала нередко с большими трудностями, чем с народами Востока, Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. С усилением {244} власти Каролингской династии и потерей империей

Файл byz245g.jpg

*Константин IX Мономах отправляет посольство
к князю Владимиру Ярославичу (1043 г.).
Национальная библиотека. Мадрид. Миниатюра.*

Равеннского экзархата в Италии между Византией и Западом устанавливается — впервые со времени падения Западной Римской империи — относительное (не без потерь для Византии) равновесие сил. В конце VIII — первой половине IX в. Византия стремилась заключить с Западом союзные отношения. Однако с ходом времени обострялось политическое соперничество Византии и Запада, подогреваемое с обеих сторон высшими прелатами и иерархами западно-римской и восточновизантийской церкви. Тесные экономические, политические и культурные связи Византия имела, тем не менее, с Венецией и Южной Италией: на Аппенинском полуострове у нее сохранялись владения вплоть до 70-х годов XI в. Однако в постоянный непосредственный контакт жители коренных греческих земель вступили с представителями европейского Запада лишь с последних десятилетий XI в., когда италийские норманны перенесли свои военные действия против империи на Балканы, а в византийской армии появилось множество наемных западных рыцарей⁸.

Византийская дипломатическая система была органически связана с {245} политической доктриной государственной власти в Византии, согласно которой варварская языческая периферия противостояла «Христианской империи» ромеев, средоточию цивилизованности.

⁵ *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe. 500—1453. L., 1974. P. 225—263; *Литаврин Г. Г., Каждан, А. П., Удальцова З. В.* Отношения Древней Руси и Византии в XI — первой половине XIII в. // Proceedings of the XIIIth Intern. Congress of Byzantine Studies. L., 1967; *Литаврин Г. Г.* Как жили византийцы. М., 1974. С. 163—164; *Пауцто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 73—76; *Vodoff V.* Naissance de la chrétienté russe. Condé-sur-l'Escaut, 1988. P. 63—107; *Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я.* Христианство: античность, Византия и Древняя Русь. Л., 1988. С. 172—177, 219 сл.

⁶ *Литаврин Г. Г.* Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960. С. 254—255, 377; *Ангелов П.* Указ. соч. С. 82—140.

⁷ *Васильев А. А.* Византия и арабы. СПб., 1900—1902. Т. 1—2; *Canard M.* Byzance et les musulmans du Proch Orient. L., 1973; *Masset L.* Les invasions: Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VII—XI siècles). P., 1965; *Savvidis A. G. C.* Byzantium in the Near East: Its Relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols. Thessaloniki, 1981.

⁸ *Falkenhausen V.* Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jh. Wiesbaden, 1967; *Niederer K.* Veneto-byzantinische Analecten zum byzantinisch-normannischen Krieg, 1147—1158. Aachen, 1982; *Fugagnollo U.* Bisanzio e l'Oriente a Venezia. Trieste, 1974; *Loungis T. C.* Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états barbares jusqu'aux Croisades (407—1096). Athènes, 1980. P. 141—237.

Ромеи — «избранный народ», находящийся под особым покровительством бога. Как преемники Рима они считали себя обладателями всей блистательной культуры греко-римского мира. В теории ойкумена принадлежит василевсу ромеев, «господину всей земли», преемнику римских августов. Все правители цивилизованного, или христианского, мира рассматривались в соответствии с этим как подчиненные василевсу ромеев, что выражалось в размещении их на определенных ступенях «семейственной» иерархии в качестве «сыновей», «внуков», «братьев», «друзей» императора, в наделении их элитарными византийскими титулами, а подчас и должностями византийского государственного аппарата⁹.

Византия свято оберегала свое исключительное политическое и религиозное положение в мире. Согласно византийской концепции власти, император являлся наместником бога на земле и защитником всей христианской церкви. Никто из иностранных правителей не мог встать вровень с ним, однако степень этого неравенства была различной и зависела от многих факторов. Все это находило традиционное выражение в титулах, почетных должностях, инсигниях и прочих знаках достоинства. Политической символикой был пронизан не только весь византийский придворный церемониал, но и порядок общения с иностранными государствами, приема иностранных правителей и послов. Г. Острогорский метко назвал эту концепцию власти и связанный с нею церемониал «своеобразной византийской политической религией». И главная цель любой встречи византийского императора с иностранными представителями, считает Г. Острогорский, заключалась в том, чтобы четко установить расстояние, которое отделяло бы гостя от императора¹⁰.

Ставя своей главной задачей поддержание могущества империи, византийская дипломатия, при всем своем высокомерии в отношении даже к христианским народам, не говоря о язычниках-«варварах», всегда проявляла особый интерес к окружающему миру, руководствуясь правилом — чтобы управлять народами, надо их знать. И поскольку дипломатия для империи была главным инструментом ее отношений с окружающими странами и народами, постольку она предполагала возможно более точное знакомство с друзьями и врагами византийского государства. Константин VII Багрянородный (913—959) усиленно развивает в предисловии, а затем широко иллюстрирует этот принцип в своем трактате «Об управлении империей», адресованном его сыну, будущему императору Роману II: «...послушай меня, сын, и, восприняв наставление, станешь мудрым среди разумных и разумным будешь почитаться среди мудрых. Благословят тебя народы и восславят тебя сонм иноплеменников... Учти, для тебя я пишу поучение, чтобы в нем соединились опыт и знание для {246} выбора лучших решений и чтобы ты не погрешил против общего блага. Сначала — о том, какой иноплеменный народ и в чем может быть полезен ромеям, а в чем — вреден: (какой) и каким образом каждый из них и с каким иноплеменным народом может успешно воевать и может быть подчинен. Затем — о хищном и ненасытном их нраве и чего они в своем безумии домогаются получить, потом — также и о различиях меж иными народами, об (их) происхождении, обычаях и образе жизни, о расположении и климате населенной ими земли, о внешнем виде ее и протяженности, а к сему — и о том, что случилось когда-либо между ромеями и разными иноплеменниками» (*Конст. Багр. С. 269*).

Каждый из варварских народов империя старалась заставить служить своим интересам. С этой целью на протяжении значительного времени тщательно собирались сведения об этих народах, внимательно изучались их история, быт, нравы, обычаи, материальные ресурсы, организация власти, военное дело, характер их отношений с соседями. Острая подозрительность, недоверие к союзникам, чрезмерная осторожность были постоянной характерной чертой византийской дипломатии. Дипломатия содействовала развитию торговых связей, а их расширение, в свою очередь, использовалось Византией как одно из сильнейших орудий своей дипломатии. Торговые города, расположенные на окраинах империи, были форпостами ее политического и культурного влияния. Византийские купцы, торговавшие с отдаленными странами,

⁹ *Ostrogorsky G. The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order // Slavonic and East European Review. 1956. Vol. 35, N 84. P. 1—14; Elze R. Päpste-Kaiser-Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik. L., 1982.*

¹⁰ *Ostrogorsky G. Die byzantinische Staatenhierarchie // SK. 1936. T. 8. S. 43—44; Idem. Zur byzantinischen Geschichte. Ausgewählte kleine Schriften. Darmstadt, 1973.*

доставляли в Византию ценные сведения о них. С византийскими товарами, привозившимися к варварам, проникало и политическое влияние империи.

За купцом обычно следовал миссионер. Распространение христианства также было одним из важнейших дипломатических средств императоров Византии на протяжении многих столетий. Византийские миссионеры проникали в горы Кавказа, в степи Причерноморья, в Эфиопию, в оазисы Сахары. В IX—X вв. христианство усиленно распространялось среди славянских народов (Моравия, Болгария, Сербия, Русь). Миссионеры были в то же время и дипломатами, трудившимися над укреплением византийского влияния. Они умело подлаживались к князьям, к влиятельным лицам, в особенности — к знатным женщинам. Нередко у варварских князей жены были христианками, которые под влиянием «духовных отцов» становились сознательными или бессознательными проводниками интересов Византии. В противоположность папскому Риму, который не допускал церковной службы на местных языках, Византия облегчала своим миссионерам дело распространения христианства, разрешая службу на любых языках и переводя Священное писание на языки новообращенных народов. Евангелие было переведено на готский, коптский, эфиопский, старославянский и другие языки. Эта гибкая политика дала свои плоды. В странах, принявших христианство, утверждалось византийское влияние. Духовенство, зависимое от Византии, играло огромную роль в варварских государствах, нередко как единственный носитель грамотности и образованности. Епископы — греки или ставленники греков — заседали в княжеских советах. Школа и образование новообращенных народов чаще всего зависели именно от духовенства¹¹. {247}

Христианизация языческих народов означала для империи их включение в большую «вселенскую» семью, находившуюся под высшим покровительством императора, который нередко сам становился патроном и духовным «отцом» крещенного правителя. В 864 г. болгарский хан Борис, поддерживавший германского короля Людовика Немецкого в войне против союзницы Византии Моравии, предпочел заключить мир с империей, войска которой вступили в Болгарию, и крестился, приняв имя византийского императора Михаила, «сыном» которого он отныне признавался по церемониально-политическим нормам Византии¹².

Византийское правительство охотно прибегало и к другому средству: оно привлекало ко двору родственников соседних правителей, принцев и знатных иностранцев. В Константинополе их приобщали к высотам греко-римской культуры в надежде на изменение их мировоззрения, на сближение с византийской знатью, на восприятие ими быта, нравов, обычаев византийского общества. Их воспитывали в духе преданности интересам империи: одновременно они служили заложниками на случай обострения отношений или войны с той страной, откуда они прибыли. Примером подобного рода могут служить болгарский хан Телериг в VIII в., сын болгарского князя Бориса Симеон в IX в., сын мятежного итальянца Мелеса Аргир в XI в. Не все они, однако, оставались верными Византии, некоторые из них, вернувшись на родину, нередко становились ее злейшими врагами¹³.

В то же время в Константинополе зорко следили за раздорами, обычными в княжеских родах варваров или в правящих домах соседних стран. Неудачливым претендентам, изгнанным князьям, давали приют и держали их «про запас», на всякий случай, чтобы выдвинуть опасного соперника против «зазнавшегося» варварского князя. Династические смуты и распри на родине постоянно приводили таких отщепенцев в империю, и она содержала их как всегда готовых ставленников императора на трон чужой страны (например, венгерских королевичей). Арабских эмиров — перебежчиков в империю — крестили. Знатных пленников василевс — в зависимости от степени выгоды — мог выдать их врагам или вернуть их родичам и друзьям¹⁴.

Дипломатия ромеев не менее часто пускала в ход такие испытанные меры, как подкуп правителей иностранных государств, натравливание их друг на друга, вмешательство во внутренние дела различных стран, интриги при иноземных дворах. Дипломаты и их агенты следили

¹¹ *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth... P. 291—308; *Prédication et propagande au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident.* P., 1983; *Dujčev I.* Religiosi come ambasciatori nell'Alto Medioevo: Contributo allo studio della spiritualità bizantinoslava // *Bisanzio e l'Italia: Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi.* Milano, 1982. P. 42—55.

¹² История на България. Т. 2. С. 213—234; *Лутаеврин Г. Г.* Введение христианства в Болгарии // *Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Древней Руси.* М., 1988. С. 42—44.

¹³ *Guillou A.* Op. cit. P. 161.

¹⁴ *Лутаеврин Г. Г.* Как жили византийцы... С. 161—162; *Guillou A.* Op. cit. P. 160—161.

за тем, чтобы соседи империи не заключали против нее союзы, умелыми интригами разрушали уже возникшие объединения врагов империи, всячески препятствовали усилению противников византийского государства. Если сильного врага нельзя было ни купить, ни одолеть своим или чужим оружием, византийское правительство прибегало к политическому и экономическому нажиму, стремясь изолировать своих врагов, лишиться их поддержки союзников, ослабить экономически, перерезать важные для неприятеля торговые пути.

Главной задачей византийской дипломатии было заставить варваров служить империи, вместо того чтобы угрожать ей. Наиболее простым способом был наем их в качестве военной силы. Вождей варварских племен и правителей государств заставляли вести войны в интересах Византии. Ежегодно Византия выплачивала пограничным племенам большие суммы, обязывая их защищать границы империи. Их вождям раздавали пышные византийские титулы, знаки отличия, золотые или серебряные диадемы, мантии, жезлы.

По понятиям византийских государственных деятелей, Византийская империя должна была определять развитие государственных отношений на международной арене. Наследница Рима на протяжении длительного исторического периода старалась убедить в своем превосходстве христианские народы, причем она зачастую достигала успеха, даже несмотря на относительную или абсолютную политическую самостоятельность этих народов, а порой несмотря на далеко не мирные, а скорее враждебные настроения, царящие среди них в отношении к авторитарной политике империи¹⁵.

Таким образом, представление о единой христианской империи надолго укрепилось во временном континууме средневековья. Идея создания мифа о всемогущей цивилизации, некоей ойкумене, объединяющей многие племена и народы, несомненно, легла в основу упомянутой иерархии государств, которую создала византийская дипломатия¹⁶.

Вопрос о титуле главы государства в том или ином дипломатическом соглашении средневековья имел принципиальное значение. Этот вопрос был связан с престижем государства, нередко с его территориальными притязаниями, экономическим и политическим влиянием. До XIII в. универсалистская идея оставалась краеугольным камнем не только государственной доктрины, но и дипломатии. В официальной лексике императора по-прежнему именовали владыкой всей ойкумены. Константинополь все также мыслился «царствующим городом». Четко выраженная мысль о народе ромеев как об «избранном богом» усваивалась византийцами с детства, подобно одному из символов православия. Сознание безусловного превосходства над жителями других стран стало второй их натурой. В своих отношениях с любым государством Византия никогда не хотела выступать в качестве равной стороны. Даже побежденная и униженная, она не отступала, а снисходила, заключая мир. И это не был сознательно и лицемерно разыгрываемый ее дипломатами и политиками спектакль — это была их глубоко искренняя позиция¹⁷.

В Византии, которая поддерживала дипломатические отношения со многими государствами тогдашнего мира, были точно определены значимость и в соответствии с этим — титулатура правителей этих государств. Константин VII Багрянородный в своем труде «*De cerimoniis...*» писал, что в документах, адресуемых правителям Древней Руси, императоры {249} Византии обращались к ним следующим образом: «Грамота Константина и Романа, христоролюбивых императоров ромейских, к архонту Руси». Определенный титул был таким образом закреплен за правителем древнерусского государства. Точно так же рекомендовал обращаться Константин VII и к болгарскому царю, но там в добавление к титулу архонта фигурировал эпитет «возлюбленный сын». К франкскому владыке Константин VII советовал обращаться как к «его светлости царю франков» (*De ser. II. 48*). Полагают, что понятие «светлости» соответствовало месту, отводимому византийской дипломатией франкским и русским правителям. В 944 г. употребление титула «его светлость» в отношении русского князя исчезает. Согласно древнерусским источникам, утвердился официально принятый на Руси титул «великий князь русский» или просто «великий князь». Эта эволюция в титулатуре отражала, по всей ве-

¹⁵ *Geanakoplos D. J. Byzantium. Church, Society and Civilization seen through Contemporary Eyes. Chicago, 1984.*

¹⁶ *Haussig H. W. Byzantine Civilization. L., 1971. P. 206, 268.*

¹⁷ *Ostrogorsky G. Die byzantinische Staatenhierarchie. S. 42—48.*

роятности, изменение отношений между Древней Русью и Византией свидетельствуя об усилении Древнерусского государства¹⁸.

Отношения Византии со странами Западной Европы распадаются на два периода. Первый период начинается с падения Западной Римской империи в 476 г. и длится до образования франкской державы Каролингов, другой — с этого момента и до эпохи крестовых походов.

Поскольку Константинополь — наследник Рима — считался центром христианского мира, постольку все остальные христианские державы должны были рассматриваться, по крайней мере *de jure*, как подчиненные ему территории. Так трактовали этот вопрос в Константинополе на протяжении первого периода, как показывает анализ обращений византийских императоров к западным, в первую очередь меровингским, государям. К новым варварским государствам, образовавшимся на территории прежних римских провинций, восточные императоры, независимо от реального положения вещей, обращались в своих посланиях как к своим подданным. Лишь с усилением франкской державы в середине VIII в. и особенно с образованием империи Карла Великого (800 г.) положение стало меняться¹⁹.

С ослаблением Византии все труднее становилось поддерживать миф о величии царства ромеев. В 812 г. Византия признала императорский титул Карла, правда, не как римского василевса, а как василевса франков. В 927 г. византийцы заключили мир с Болгарией, признав ее царя василевсом болгар. Царство «Великая Армения» входило в состав известной средневековому миру византийской «семьи правителей и народов». Представители правящей династии Багратуни были «духовными сыновьями» византийского императора. За правителем Армении был признан титул «архонта архонтов», генетически восходящий к персидскому шах-ин-шах и к «князю князей» эпохи арабского владычества. Титул «архонт архонтов» носили Ашот I, Смбат I, Ашот II Багратуни, затем Гагик I Арцруни. Впоследствии титулом правителей Армении становится *πρωτοβασίλευς*. Греческая титулатура армянских правителей — одно из свидетельств вассальных отношений между Арменией и Византией в IX—XI вв.²⁰ {250}

В Грузии положение правителей и официальные обращения к ним изменялись по мере усиления Грузинского государства. Держава ромеев, заинтересованная в союзе с Грузией для борьбы против натиска турок-сельджуков в XI в., пожаловала грузинскому царю Георгию II (1072—1089) титул куропалата, а затем новеллссима, севаста и кесаря, занимавшего второе место после императорского в византийской светской иерархии²¹. И позднее Византия даровала иноземным правителям почетные звания одновременно с правом передавать их своим детям. Венецианский дож получил титул протосеваста после победы над норманнами в 1082 г.; Боэмунд, латинский принц Антиохии, — севаста в 1096 г.; Стефан Первовенчаный, сын Стефана Немани, великого жупана Рашки, стал севастократором и женился на племяннице императора Исаака II Ангела Евдокии, дочери будущего императора Алексея III (1190). Титулы присваивались также знатным иностранцам из свиты принцев.

Чрезвычайно действенным дипломатическим приемом было одаривание иноземных правителей драгоценными коронами, посылаемыми византийским императором. Эти короны — чудо ювелирного искусства византийских мастеров, украшаемые художественными эмальями и драгоценными камнями, — были знаком величайшей милости византийского императора, который стремился этим даром укрепить союзные отношения с иноземными государями. Василий I отправил корону Ашоту Багратуни, князю Великой Армении (885), Константин IX Мономах — венгерскому королю Эндре I (1047—1061); через 30 лет Михаил VII Дука подарил диадему жене венгерского короля Гезы I (1074—1077), византийской принцессе Синадине²². Деление союзных и вассальных племен и народов на ряд категорий имело целью для византийской дипломатии не только привлечение их на свою сторону, но и разобщение их и порождение между ними вражды, постоянной борьбы за титулы и богатые дары императора.

¹⁸ Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980. С. 310.

¹⁹ Loungis T. C. Op. cit. P. 143—254.

²⁰ Laurent J. L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886. Lisbonne, 1980.

²¹ Лордкипанидзе М. Д. Из истории византийско-грузинских взаимоотношений (70-е годы XI в.) // ВВ. 1979. Т. 40. С. 93—95.

²² Guillou A. Op. cit. P. 162. Академик Венгерской Академии наук Дьордь Секей реставрировал эту корону и написал о ней статью (в печати).

В течение веков претерпела значительную эволюцию политика Византии в отношении заключения брачных союзов с иноземными правителями. Византия, бывшая, согласно ее политической доктрине, воплощенным на земле царством справедливости, горделиво стремилась в то время к «блестящей» изоляции. Однако жизнь вносила свои коррективы. Даже в VII—IX вв. византийским императорам нередко приходилось отступать от этих принципов. Так, в 20-х годах VII в., испытывая сильное давление со стороны персов и аваров, император Ираклий направил посольство к хазарскому кагану с просьбой о помощи и предложил ему в жены свою дочь Евдокию, а также направил богатые подарки. В 733 г., стремясь сохранить союз с Хазарией, император Лев III женил на хазарской принцессе своего сына Константина, будущего Константина V. Этот брак резко осуждал впоследствии Константин VII Багрянородный, который считал, что тем самым был нанесен ущерб престижу императорской власти.

В 20-х годах X в. болгарский царь Петр скрепил мирные отношения с Византией своим браком с внучкой Романа I Марией (Ириной), что {251} также встретило порицание Константина VII. Он решительно возбранял выдавать впредь византийских принцесс замуж за каких бы то ни было иноземных государей, кроме франкских, а также жаловать чужеземцам какие-либо элементы царских регалий. В свою очередь, стремясь заручиться поддержкой мощной державы франков, а позднее Германского королевства в борьбе с арабами, византийские императоры настойчиво добивались укрепления династических связей с домом Карла Великого. В 802 г. ему было направлено письмо с предложением заключить договор о «мире и любви» и скрепить его династическим браком. В 842 г. император Феофил направил посольство в Трир к Лотарю I для переговоров о взаимных действиях против арабов и предложил руку своей дочери сыну Лотаря Людовику. С той же целью в 869 г. император Василий I Македонянин стремился оформить брак своего старшего сына Константина и дочери немецкого короля Людовика II ²³.

Времена менялись, и Византийская империя постепенно теряла свое бывшее влияние на международной арене и свой ореол миродержавного величия. С конца X в. и особенно в XI в. империя отказалась от строгого соблюдения старого принципа не выдавать за правителей иных христианских держав порфирородных родственниц императора. Правда, сначала императоры предпочитали отдавать в жены иноземным государям своих дальних родственниц или даже просто знатных девушек, прибегая иногда к сознательному обману, но неизменно пытаясь толковать брачный договор с правящим двором чужой страны как свидетельство ее зависимости от империи. Обычным орудием в дипломатической игре становились также побочные дети василевсов и членов его семьи.

Однако международная обстановка требовала от византийских императоров более решительных действий. Военные неудачи и усиление соседних государств заставили империю идти на компромиссы и отдавать замуж за иноземных правителей под давлением обстоятельств уже порфирородных принцесс. В 989 г. византийцы вынуждены были отдать сестру Василия II Анну за русского князя Владимира (именно под этим условием князь согласился вернуть империи взятый им Херсон, принять крещение и оказывать империи военную помощь).

Византийское правительство все активнее стремилось поддерживать семейные связи с иностранными правителями. Сын Константина VII Роман II был помолвлен с дочерью Гуго Арльского Бертой-Евдокией. Феофано, непорфирородная племянница Иоанна I Цимисхия, вышла замуж за Оттона II, сына германского императора Оттона I; Роман III Аргир (1028—1034) выдал замуж двух племянниц за кавказских принцев. Но и в XI в. василевсы искали себе жен по преимуществу в греческой среде: необычайная красавица Мария Аланка, грузинская царица — единственная чужеземка на византийском престоле XI столетия. Она была супругой двух императоров, Михаила VII Дуки (1071—1078) и Никифора III Вотанианата (1078—1081). Но браки лиц царского дома с иноземными становятся все более обыденным явлением в XII в. С этого времени, вопреки наставлениям Константина VII, брачные союзы превращаются в привычное и зачастую чрезвычайно действенное средство византийской дипломатии ²⁴. {252}

²³ *Lounghis T. C. Op. cit. P. 163—176, 179—211.*

²⁴ *Guillou A. Op. cit. P. 162—163; Lounghis T. C. Op. cit. P. 215—237.*

Значительно возросло влияние династических браков на международную политику в правление Комнинов. Сын Алексея I Комнина император Иоанн II Комнин (1118—1143) женился на Ирине Венгерской; Мануил I (1143—1180) первым браком был женат на Берте Зульцбахской, свояченице императора Конрада III Гогенштауфена, вторым браком — на Марии Антиохийской, сестре принца Боэмунда III. Император Алексей II Комнин (1180—1183) был женат на Агнессе, дочери французского короля. В середине и второй половине XII в. ряд родственников царствовавшего дома Комнинов выходит замуж за государей Западной Европы²⁵. Однако вплоть до середины XIV в. василевсы решительно отказывались от брачных союзов с иноверцами, в частности — с персами, арабскими эмирами и, наконец, с сельджукскими султанами, страшась нарушить церковные каноны и опасаясь возможных впоследствии претензий иноземных государей-родственников на императорский престол. Алексей I Комнин отверг предложенный иконийским султаном проект брака между его сыном и Анной Комниной, несмотря на очень выгодные условия и на большую опасность ссоры с Иконийским султанатом. Анна по поводу этого проекта замечает, что участие в управлении царством мусульман было бы для нее тягчайшим бедствием (*Анна Комн.* С. 197—198).

Брачные союзы византийских императоров с иноземными принцессами достигались нередко с большим трудом, в результате долгих и дорогостоящих интриг, подкупа знатных вельмож при иностранных дворах, содействовавших заключению брака. Далеко не всегда они приносили империи политические выгоды и истинных друзей. С появлением чужеземок на византийском престоле росло влияние при императорском дворе иностранцев, которые действовали нередко против правящей династии, плели тайные заговоры и были склонны к измене. Вместе с тем брачные союзы с иностранками были важным средством обмена культурными и духовными ценностями между Византией и другими странами.

В течение столетий система дипломатии Византии развивалась и совершенствовалась, хотя ей всегда были свойственны дипломатические стереотипы, известная консервативность и застылость дипломатического ритуала. Огромное внимание византийское правительство уделяло посольскому делу. Отправление послов в иноземные государства, выбор их и сопровождающих лиц считалось государственной задачей первостепенной важности. В соответствии с международной дипломатической практикой посольскую службу несли люди, искушенные в области международных дел. Достоинство послов определялось не только их дипломатической подготовкой, но и их местом в системе чиновной иерархии²⁶.

Ранг византийского посла определялся статусом страны, куда отправлялось посольство. В независимое государство отправлялся сановник, имевший одно из высших званий — патрикия, стратига, сакеллария, примикирия, протоспафария. К зависимым и полузависимым правителям ехал посол более скромного ранга — силенциарий, скривон, стратор, вестиярий или спафарий. В зависимости от места правителя государства в византийской дипломатической иерархии менялся и характер послания, которое вез к нему представитель византийского василевса. В независимое государство направляли «письмо к брату», в государство более низкого ранга — императорский указ²⁷.

Важные обязанности посла выполнялись обычно как однократное поручение самими разными чиновниками центральных ведомств. Примечательно, однако, дипломатическая карьера силенциария Иоанна (VIII в.), не раз исполнявшего роль посла, и магистра Льва Хиросфакта (конец IX — начало X в.), который трижды совершал поездки в Болгарию и Багдад. Посольство состояло из одного или многих лиц. Так, например, силенциарий Иоанн один отправлялся с письмом к папе и лангобардскому королю, а спустя некоторое время к Пипину Короткому он ехал в сопровождении протоасикрита Георгия; императрица Ирина (797—802) послала двух очень высоких чиновников, сакеллария Константина и примикирия Ставракия, вести переговоры о свадьбе Константина VI с дочерью Карла Великого. Логофет дрома магистр Петр и доместик Антоний посылались вместе к Гарун аль-Рашиду (781). Наконец, два высокого ранга дея-

²⁵ Библиографию о правлении первых Комнинов см. в кн.: *Анна Комн.* С. 633—649; *Каждан А. П.* Загадка Комнинов: Опыт историографии//ВВ. 1964. Т. 25. С. 53—98

²⁶ *Guillou A.* Op. cit. P. 158—159.

²⁷ *Loungis T. C.* Op. cit. P. 347—356.

теля, игумен Дорофей и хартофилакс св. Софии Константин, были послами к Абу-аль-Мелику, эмиру Манцикерта.

Для истории византийской дипломатии характерны случаи, когда видные государственные и военные деятели, духовные особы, включая патриархов (как это было в X в. во время переговоров с болгарским царем Симеоном), регулярно подвизались на дипломатическом поприще, выступая в качестве наставников посольских миссий в различные страны. Такая практика стала со временем международной. Нередко послам специально присваивали высокие титулы, если они не имели их раньше. Дипломатические поручения открывали путь к самым высоким постам²⁸. Считалось неперемнным условием, чтобы посол был человеком честным, благочестивым, неподкупным, чтобы он неукоснительно отстаивал интересы своего государства. Прежде чем отправляться с посольством к чужеземным правителям, посол должен был держать своего рода экзамен, обнаружив при этом знание природы, населения и обычаев страны, куда он ехал, изучив предварительно политическую обстановку при дворе ее государя, всесторонне ознакомившись с целями и задачами своей миссии.

С послом отправлялись переводчики и слуги, иногда уроженцы области или страны, куда он выезжал. Посол всегда вез с собой многочисленные подарки: золотые и серебряные ювелирные изделия, шелк, драгоценности, произведения искусства, парчовые одежды, благовония и другие ценные товары. Ценность подарков зависела от значимости дипломатической миссии и ранга правителя чужеземной страны, его места в византийской иерархии государства. В прямой зависимости от могущества иностранной державы, куда отправлялось посольство, находились, как мы видели, и ранг самого посла и состав его посольства. Централизованное управление империи способствовало упорядочению дипломатической службы, четкому ритуалу отправки византийских послов и приему иноземных дипломатических миссий. {254}

Файл byz255g.jpg

*Изображение обмена посольствами
между византийским императором и халифом.
Миниатюра. Британская библиотека. Лондон.*

При константинопольском дворе вырабатывались определенные правила посольского дела, которые охотно усваивались всеми державами, имевшими дела с Византией. Византийский посол являлся представителем государя и мог вести переговоры лишь в пределах предоставленных ему полномочий. В тех случаях, когда возникали чрезвычайные обстоятельства, не предусмотренные в инструкциях, он должен был запросить дополнительные указания. За превышение полномочий послу грозило тяжелое наказание. Лишь в очень редких случаях представителям императора давалось разрешение вести переговоры самостоятельно, определяя свою позицию в зависимости от хода дела. По приезде на место посол должен был представлять правителю государства верительную грамоту. Сохранились тексты таких грамот. Обычно они были переполнены велеречивыми, цветистыми и льстивыми формулами, сообщали имя посла и очень кратко говорили о целях посольства, со ссылкой на то, что у посла на этот счет имеются особые указания от василевса. Верительная грамота передавалась во время первого торжественного приема; о делах шла речь уже потом, во время частной аудиенции. Помимо письменной инструкции, послы получали также устную, которая давалась обычно в секретном порядке. Иногда посольству, помимо официальных поручений, давалось задание разузнать о политической ситуации и настроениях при иностранном дворе. Так дипломатия сочеталась с политической и военной разведкой.

Французский хронист XII в. Одо Дейльский, приближенный короля Людовика VII (1137—1180), с иронией и даже насмешкой рассказывает о велеречивости и неискренности византийских послов. Он пишет, что, явившись к Людовику VII в Регенсбург летом 1147 г. для переговоров, послы Мануила I Комнина, «приветствовав короля и вручив ему грамоты, оставались стоять на ногах в ожидании ответа, в то время как франкский король сидел в своем шатре; они сели, лишь получив на это {255} приглашение, и тогда они расположились на скамеечках, которые принесли с собой» (*Odo de Diogilo*. II). Одо впервые узнал об этом обычае греков — стоять в присутствии главы государства. Поразила королевского капеллана и многословность

²⁸ Ibid. P. 357—369.

византийских послов, прибывших к Людовику VII, когда его войско приближалось к Константинополю. Переговоры начались с долгих возгласов греками «многие лета» королю и с бесчисленных поклонов. Столь же многословны и витиеваты были и грамоты самого императора. «Чересчур чувствительный язык грамот,— пишет хронист, который не вытекал из чувства привязанности, не подобал бы не только императору, но даже комедианту» (Ibid.). Сравнивая стиль византийских и французских дипломатических грамот, Одо, разумеется, выносит приговор в пользу французов. «Я не могу, однако, не заметить,— добавляет он,— что французы, какими бы они ни были льстецами, даже если бы захотели, не могли бы сравняться с греками» (Ibid.). Французский король с трудом переносил велеречивость византийцев, а враг империи епископ Годфруа Лангрский однажды, прервав послов, сказал: «Братья, не говорите столь часто о славе, величии, мудрости, благочестии короля. Он сам себя знает, да и мы его хорошо знаем. Выкладывайте прямо и поскорее, что вы хотите!» (Ibid.).

Принцип неприкосновенности послов, возникший в ранней Византии, был усвоен всеми средневековыми государствами. На этой почве появилось даже нечто вроде права убежища в посольствах. Люди, находившиеся в опасности, прибегали к защите послов. Неприкосновенность посла давала известную защиту и его свите, к которой нередко присоединялись купцы, становясь под его покровительство. Византийским послам предписывались определенные правила поведения в чужих странах. Посол должен был проявлять приветливость, щедрость, хвалить все, что увидит при чужом дворе. Формально ему предписывалось не вмешиваться во внутренние дела государств. Византийские послы не всегда соблюдали эту норму. Они вели тайные интриги при чужих дворах, обычно с ведома своего правительства.

Заключенный послами договор считался действительным лишь после его ратификации императором. Согласно политической теории византийцев, договор был своего рода привилегией, предоставляемой иностранному правителю византийским императором. Именно поэтому василевсы в качестве договорных документов использовали формуляр грамоты-привилегии, такой, например, как хрисовул²⁹. Однако постепенно формуляры договоров менялись. Так, после 1187 г. договоры между Византией и Венецией обрели вид грамот-соглашений с двусторонними обязательствами. Наиболее известным примером являются договоры Византии с древними русами, внимательно изучавшиеся в советской исторической литературе³⁰.

Имперская почта, являвшаяся монополией государства, во многом была поставлена на службу внешней политике и дипломатии. Ею ведали сначала магистр официий, потом логофет дрома. Он заботился об условиях безопасности и скорости передвижения византийских и иноземных послов и других дипломатов. Дипломаты и чиновники могли в первую очередь пользоваться лошадьми и повозками на почтовых станциях, находить там приют и обеспечение провиантом. Содержание имперских дорог было возложено на население той территории, через которую они проходили.

При византийском дворе всегда можно было видеть пеструю толпу послов с разных концов Европы, Азии, Африки в разнообразных национальных костюмах, слышать все языки мира. Ведомство логофета дрома располагало огромным штатом, держало переводчиков со множества чужих языков, выработало сложный порядок приема иноземных послов, рассчитанный на то, чтобы поразить их воображение, выставить перед ними в самом выгодном свете мощь Византии. В то же время прием обставлялся так, чтобы не дать послам возможности видеть или слышать слишком много, узнать слабые стороны империи.

Иностранцев встречали на границе. Под видом почетной стражи к ним представляли зорких соглядатаев. Далеко не всегда послам позволяли брать с собой большую вооруженную свиту, так как бывали случаи, когда они захватывали врасплох какую-нибудь византийскую крепость. Иногда послов везли в Константинополь самой длинной и неудобной дорогой, уверяя, что это единственный путь. Цель этого состояла в том, чтобы внушить «варварам», как трудно добраться до столицы, и отбить у них охоту к попыткам ее завоевать. В дороге послы должны были получать пищу и помещение для жилья от специально назначенных для это-

²⁹ Dögler P., Karayannopoulos J. Byzantinische Urkundenlehre. München, 1968. S. 95.

³⁰ Паушто В. Т. Указ. соч. С. 62 и след.; Капитанов С. М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 209—215; Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. С. 104—260; Ducellier A. Op. cit. P. 157—165.

го лиц, которым нередко должно было оказывать содействие окрестное население. Имелись и специальные дома для приема послов в пути. По прибытии в Константинополь им отводился особый дворец, который, в сущности, превращался в тюрьму, так как к послам не допускали никого и сами они не могли выходить без конвоя. Послам всячески мешали вступать в общение с местным населением. Они не могли сделать и шага без надзора.

В Константинополе специальный штат чиновников занимался приемом послов вместе с их свитой. Внешне с послами, как правило, обращались с исключительной вежливостью, предлагали посмотреть представления на ипподроме, торжественные службы в св. Софии. Самым важным моментом программы пребывания посла в Константинополе был церемониальный прием у императора. В X в. эти приемы происходили в Магнаврском дворце. Во время первого торжественного приема послы лишь передавали императору верительную грамоту и подарки, состоявшие чаще всего из изделий и товаров их страны. Это были драгоценные камни, оружие, ткани, благовония, сосуды, редкие животные. Папы посылали византийскому двору мощи святых. Халиф аль-Муттаваккиль (847—861) прислал бурдюк мускуса, шелковые одежды, драгоценности. Василевс отвечал тем же: передавал дары послам для их правителей — дорогие ткани, серебряную посуду, произведения искусства, иконы, богато иллюстрированные рукописи. Принцы и знатные иностранцы очень ценили пышные приемы при императорском дворе.

За торжественным приемом послов следовали всевозможные деловые встречи и переговоры с византийскими вельможами и дипломатами. Окончательный ответ послы получали во время последней аудиенции, не {257} менее парадной, чем первая. В промежутке между ними при дворе обсуждались связанные с посольством вопросы, а послы делали визиты императрице и важнейшим сановникам в известном иерархическом порядке. Во время этих приемов, нередко за пирами, происходило и обсуждение важных дел. Случалось, император надолго задерживал послов в Константинополе, не давая им заключительной аудиенции. Такая миссия превращалась иногда в настоящий плен. Вообще пребывание послов в Константинополе, как правило, бывало довольно длительным, занимая несколько месяцев.

Часто послов старались очаровать и обласкать, чтобы тем легче обмануть. Их водили по Константинополю, показывали великолепные церкви, дворцы, общественные здания, предлагали посетить бани, приглашали на церковные и иные праздники или даже специально устраивали их в их честь. Им демонстрировали военное могущество Константинополя, обращали внимание на толщину городских стен, на неприступность его укреплений. Перед послами проводили войска, причем для большего эффекта их пропускали по нескольку раз, меняя одежду и вооружение. Слепленные и подавленные, послы уезжали, наконец, из Константинополя. Их провожали с трубными звуками, с распущенными знаменами. Иногда мелким князьям оказывался необыкновенный почет, если нужно было их покрепче привязать к Византии. Но когда интересы внешней политики и сохранение престижа империи того требовали, с иноземными послами могли обращаться очень сурово, даже враждебно. При этом применялись самые изощренные способы давления на них.

Сохранились чрезвычайно ценные сообщения иностранных послов об их миссиях в Константинополе. Одно из первых мест среди них принадлежит епископу Кремоны Лиутпранду. Особый интерес его рассказа состоит в том, что в сложной международной обстановке Лиутпранд, дважды возглавлявший посольства в Византию, испытал на самом себе коварство и изощренность византийской дипломатии: милостивый прием во время первого посольства и крайне недружелюбный — во время второго.

Лиутпранд Кремонский (920—972) — знатный лангобард, получил блестящее образование, владел латинским и греческим языками и в молодые годы был приближенным лангобардского короля Беренгария. По его поручению он возглавил посольство лангобардов в Константинополь, позднее описав это путешествие в своих мемуарах. 1 августа 949 г. Лиутпранд оставил Павию и, спустившись вниз по реке Эридану (По), прибыл в Венецию. Там он встретил греческого посла евнуха Соломона, который был направлен византийским правительством в Испанию и Саксонию и теперь возвращался в Константинополь. Его сопровождал посол Оттона I, тогда еще германского короля, Лиутфрид, один из самых богатых жителей Майнца. Они выехали вместе из Венеции 25 августа и 17 сентября прибыли в Константинополь. Красота великого города и его богатства поразили Лиутпранда, привыкшего к скромному образу жизни у себя на родине. Прием, оказанный иноземным послам Константином VII Багрянородным, был

вполне благожелательным. На первую торжественную аудиенцию у императора в Магнавре, зале необычайной красоты, были приглашены, помимо Лиутпранда, еще два посла — испанского халифа и германского короля (*Liut. S. 178 sq.*). {258}

Перед тронном царя стояло бронзовое, позолоченное дерево, на котором щебетали, порхали механические золотые птицы. По сторонам трона находились золотые или (сомневается Лиутпранд), может быть, тоже только позолоченные львы, которые били хвостами и рычали. Когда, простершись по этикету ниц перед императором, Лиутпранд снова поднял голову, он, к своему изумлению, увидел, что трон с сидящим на нем василевсом поднялся до потолка и что на императоре была надета уже другая богатая одежда. Сам император не произнес ни слова, но через логофета осведомился о здоровье короля Беренгария. На этом первая торжественная аудиенция была закончена. Она должна была показать послам блеск и величие империи, подчеркнуть, сколь большое расстояние отделяет василевса от чужеземцев. В связи с тем, что Беренгарий послал императору только письмо и не позаботился о дарах, Лиутпранд утверждает, что он передал императору свои собственные подарки от имени короля. Они, по рассказу Лиутпранда, включали 9 превосходных панцирей, 7 великолепных щитов с позолоченными булавами, 2 серебряных с позолотой бокала, мечи, копья, дротики и четырех совсем юных рабов-евнухов, высоко ценимых при византийском дворце. В свою очередь император щедро наградил богатыми дарами как самого Лиутпранда, так и его свиту.

Спустя некоторое время Лиутпранд был приглашен на роскошный пир к василевсу в особую залу, называемую «Декаеннеаакувита» — по числу 19 пиршественных лож. На праздник Рождества в этом зале пировали, возлежа за столом по древнему обычаю. На золотой посуде подавали изысканные яства, а разнообразные плоды лежали в столь огромных вазах, что их подвозили на тележках, покрытых пурпуром, и при помощи особых сложных приспособлений подавали на стол. Во время пира в зале давали представление жонглеры и акробаты. Неискушенного в театральных зрелищах лангобарда особенно поразило мастерство акробатов. Он так рассказывает об этом представлении: «...вышел один человек, который нес на лбу шест, не поддерживая его руками, в 24 или даже более фута, а на нем локтем ниже верхнего конца была перекаладина — длиной в два локтя. Затем привели двух нагих мальчиков — на них были только набедренные повязки. Они вскарабкались вверх по шесту и выполняли там трюки... после того, как один мальчик спустился, другой, оставшись один, продолжал выступление» (*Liut. S. 157*). Лиутпранд был изумлен тем, как этот мальчик сохранял на такой высоте равновесие и невредимым спустился на землю. Удивление посла было замечено императором и вызвало расспросы присутствовавших. Его наивное восхищение перед всем, что ему довелось увидеть, вызвало смех василевса и придворных.

Цели первого посольства Лиутпранда нам неизвестны, и, по-видимому, переговоры не принесли желаемых результатов. Возвратившись домой, Лиутпранд впал в немилость у короля Беренгария и принужден был эмигрировать в Германию, где он был благосклонно принят при дворе германского короля Оттона I и в 968 г. уже в сане епископа Кремоны возглавил новое посольство в Константинополь. На этот раз мы осведомлены о содержании переговоров между правителями двух империй. Со стороны Германии целью посольства было установление дружественных отношений с Византией и закрепление их браком сына Оттона I (будущего Оттона II) с византийской принцессой Феофано. {259} Однако император Никифор II Фока (963—969), раздраженный принятием Оттоном I императорского титула в Риме и знавший о посягательствах Оттона на южные владения греков в Италии и о претензиях его на господство в Риме, недружелюбно встретил посла. Он не оказал Лиутпранду должного приема и даже держал его под домашним арестом. Гегемонистские притязания Византийской империи на исключительное положение в цивилизованном мире, думается, послужили главной причиной провала союза двух империй, предложенного Оттоном I. Коронация Оттона I в качестве императора противоречила политической доктрине византийцев, признававших законным императором лишь одного василевса ромеев.

Рассказ епископа Кремоны о втором путешествии в Константинополь — один из самых впечатляющих документов, проливающих яркий свет на историю дипломатии раннего средневековья. Талантливый рассказчик, умный и тонкий, хотя и далеко не беспристрастный наблюдатель, он живо воскресил методы и приемы византийской дипломатии. На этот раз перед нами предстает, однако, не добродушный варвар из далекой окраины, наивно восхищающийся

блеском Нового Рима, а умудренный жизненным опытом хитрый дипломат, зорко подмечавший все слабости своих противников. Оскорбленный холодным приемом, он в своих мемуарах желчно и раздраженно излил свое негодование на заносчивых и коварных ромеев.

Уже начало второго посольства Лиутпранда не предвещало ничего доброго. Прибыв к Константинополю, епископ Кремонский простоял немало времени под дождем у запертых Золотых ворот города. Ему не позволили ехать верхом до дворца и следовать в торжественном облачении, подобающем его рангу. Помещение Лиутпранду и его 25 спутникам, холодное и душное, отвели вдали от дворца, а к дверям приставили стражу. Во дворец посол ходил пешком. Содержание было скудным, обращение грубым. Часто их оставляли без воды. С 20 по 24 июля 968 г. ему вообще не давали продуктов. В городе все стоило страшно дорого. Лиутпранду едва хватало трех золотых в день на прокормление свиты и четырех стражников-ромеев. Нескончаемые унижения посла продолжались и тогда, когда он, наконец, был приглашен во дворец. Верительные грамоты он вручал не императору, а его брату и логофету. Уже при первой встрече завязался спор о титуле германского императора; Лиутпранд требовал, чтобы Оттона I именовали императором (василевсом), а представители византийского правительства называли его королем (ρ;̑;̑;̑;̑) (*Liut.* S. 176). Таким образом они отвергли равенство правителей двух империй. На праздник Троицы Лиутпранда привели в большой зал дворца, где происходило обычно венчание на царство византийских императоров. Здесь произошла первая встреча посла с василевсом и начались переговоры, которые все время затягивались принимающей стороной. Во время переговоров византийцы высказывали недовольство политикой Оттона I в Южной Италии, которая превратилась в яблоко раздора между двумя империями.

При встрече Никифор II Фока произвел на германского посла ужасающее впечатление. Трудно вообразить более отталкивающий образ, чем тот, в котором представил Лиутпранд византийского василевса. Никифор Фока, по его словам, был низкого роста, подобен пигмеем с тяжелой голо-²⁶⁰вой и крошечными, как у крота, глазками. Широкая с проседью борода, длинные и густые волосы придавали ему вид кабана; цветом кожи он был подобен эфиопу. «Дерзкий на язык, с повадками лисы, по вероломству и лжи он — Улисс», — заключает свой мрачный портрет злоречивый лангобард (*Ibid.* S. 177).

Согласно установленному этике *, Лиутпранд был позже приглашен императором принять участие в торжественной церковной процессии, совершавшейся по большим праздникам. Раздраженный неудачным ходом переговоров и дурным приемом Лиутпранд описал и это празднество в самых мрачных тонах. При торжественном выходе в город василевса он заметил, что улицы украшены дешевыми щитами и копьями, согнанные простолюдины — в большинстве босы, торжественные одеяния сановников — заношены и явно унаследованы еще от дедов. Даже на императоре было одеяние, взятое с плеча предшественника. Славословия в честь василевса, возглашения «многие лета!» при входе в храм св. Софии показались Лиутпранду лицемерными, пропитанными низкой лезтью (*Ibid.* S. 180, 181). В тот же день император пригласил представителя Оттона во дворец на прощальный пир. Однако именно здесь разыгрались особенно оскорбительные для посла события. Ему было отведено за столом лишь 15-е место, что он воспринял как неслыханное оскорбление германского императора. Никифор Фока вел себя заносчиво и надменно, похвалялся мощью своей державы, ее армией и флотом, с насмешкой глумился над слабостью германцев, неспособных биться как в конном, так и пешем строю, над отсутствием у них военного флота. «Мешает им, — добавил он насмешливо, — к тому же ненасытность желудков, их бог — чрево, их отвага — хмель, хитрость — пьянство; их трезвость — слабость, воздержанность — страх». «Вы не римляне, а лангобардцы», — закончил он свою речь. В ответ Лиутпранд стал бранить ромеев (римлян), от которых, по его мнению, произошло все зло в мире. Разгневанный василевс приказал движением руки ему замолчать и удалиться из зала (*Ibid.* S. 181—183).

Еще целых 120 дней пробыли германский посол и его свита в Константинополе, пережив болезни, лишения и всяческие издевательства. Переговоры завершились полным провалом. Византийские вельможи держались с послом заносчиво, называли его страну бедной овчинной Саксонией, угрожали ей разгромом, хвастали и грубили, а при расставании вдруг стали лицемерно-любезны и льстивы, расточая Лиутпранду поцелуи. Лиутпранд в раздражении до-

* Так напечатано. — Ю. Ш.

бавляет, что в первый свой приезд при Константине VII, двадцать лет назад, он без досмотра вывез из Константинополя много дорогих тканей, а теперь у него отняли даже те, которые ему подарил сам император. По словам Лиутпранда, недавно цветущий Константинополь стал нищим, а его жители — вероломными, лукавыми, хищными, тщеславными (Ibid. S. 183, 199—200).

Досаду на полную неудачу своей миссии кремонский епископ выместил в подробных описаниях византийской столицы и ее государя, составленных в сатирическом и даже карикатурном стиле. Насколько все его раньше восхищало в Константинополе, настолько теперь все в нем возбуждало насмешку. Сочинение Лиутпранда «Посольство», написанное спустя некоторое время после возвращения автора из Константинополя, формально было отчетом Оттону I о посольстве, но фактически злым памфлетом, направленным против византийского двора. Все оно пропитано желчью и ненавистью к византийскому правительству, его дипломатическим интригам, нравам придворной знати, этикету и церемониям дворца. Рассказ Лиутпранда полон глубокой враждебности, которая уже разделяла мир западный и мир византийский, несмотря на попытки их сближения. Для греков соотечественники Лиутпранда оставались варварами, невежественными и прожорливыми. Лиутпранду же византийцы представлялись лживыми и изнеженными. Трудно сказать, что в его инвективах против Византии правда, а что ложь; какие картины жизни византийского общества навеяны реальной действительностью, а какие — плод его оскорбленного самолюбия. Не исключено, что в столь мрачном «образе врага», нарисованном германским послом, известную роль сыграло его желание оправдать неудачу своей дипломатической миссии в глазах Оттона I.

Вместе с тем из описаний Лиутпранда видно, что византийцы, если это им было нужно, могли ошеломить иноземных послов роскошью приема, но умели и унижить их и отравить им пребывание в Константинополе.

Не менее важные сведения о методах византийской дипломатии и церемониале приема иностранных послов в Константинополе дают рассказы Константина Багрянородного, русской летописи, хрониста Иоанна Скилицы и других источников о посольстве русской княгини Ольги, которая в 957 г. посетила столицу Византийской империи³¹. Эти переговоры велись в сложной международной обстановке. Отношения Византии и Древней Руси к этому времени уже прошли длинный и трудный путь. Возникновение и укрепление нового Древнерусского государства в Восточной Европе, естественно, не могло не привлечь пристального внимания византийского правительства. Византийская дипломатия сосредоточила свои усилия на том, чтобы помешать распространению русского влияния на Причерноморье, отрезать Русь от Черного моря.

В борьбе, затянувшейся на несколько веков, Русь оставалась наступающей стороной. Она обладала тем преимуществом, что могла время от времени наносить чувствительные удары по важнейшим византийским центрам. Византия в ответ действовала чужими руками, травливая на Русь соседние народы. Кроме того, важнейшим средством византийской политики становится христианизация Руси. После походов русов на Константинополь в 860 и 907 гг. и заключения русско-византийских договоров 867 и 911 гг. отношения между Русью и Византией временно стабилизировались. Однако поход князя Игоря на Константинополь в 941 г. вновь осложнил обстановку. После заключения нового договора 944 г. и затем гибели Игоря отношения Византии и Руси были мирными. Несмотря на это, византийское правительство было весьма обеспокоено состоянием своих отношений с Русью, опасаясь новых нападений с ее стороны. Оно стремилось иметь против нее в качестве своего постоянного союзника печенегов. В то же время и союз с Русью был нужен Византии как условие притока с Руси профессиональных воинов для противоборства с арабами. Русь же остро нуждалась в льготных торго-

³¹ О дате посольства княгини Ольги в Константинополь в последнее время в науке ведется спор. Г. Г. Литаврин предложил датировать описываемый приезд Ольги в Константинополь не 957, а 946 г.; он допускает также вероятность вторичного посещения Ольгой Константинополя в 954 или 955 г. (*Литаврин Г. Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1985 год. М., 1986. С. 49—57; Он же. Русско-византийские связи в середине X в. // ВИ. 1986. № 6. С. 41—52*). Вполне вероятной датировку Г. Г. Литаврина считают Л. Мюллер и В. Водов (*Müller L. Die Taufe Russlands. München, 1987. S. 78; Vodoff V. Op. cit. P. 52*). Здесь пока приведена традиционная датировка.

вых связях с империей и в развитии с ней всесторонних отношений, поднимающих престиж Древнерусского государства на международной арене.

Файл byz263g.jpg

*Константин IX Мономах.
Деталь мозаики:
Христос между
Константином IX Мономахом
и императрицей Зоей.
Ок. середины XI в.
Собор св. Софии.
Константинополь.
Мозаика в южной галерее.*

Учитывая эти обстоятельства, оба государства пошли на сближение. В 957 г. русская княгиня Ольга со свитой совершила путешествие в Константинополь и была принята Константином Багрянородным. По-видимому, в Константинополе она крестилась под христианским именем Елены³². Крещение Ольги, получение ею титула «дочери» императора — важные свидетельства того, что намерения княгини были тесно связаны с надеждами на установление более выгодных для Руси торговых и политических отношений с империей, получение для ее правителей более почетного титула, повышающего политический престиж Русского государства, и отражали общую внешнеполитическую линию Руси на совершенствование договорных отношений с Византией. {263}

Начало дипломатической миссии Ольги, однако, было не очень удачным для русских. Ольга очень долго простояла «в Суду» (т. е. в порту столицы). Это замечание летописи согласуется со сведениями Константина Багрянородного о том, что она была впервые принята во дворце лишь 9 сентября, между тем как русские караваны отправлялись в империю, как правило, летом. В состав свиты Ольги входили ее родичи, как близкие, так и более отдаленные, 6 родственников, 20 послов русских князей, 43 (44) купца, священник Григорий, 3 переводчика и много слуг и служанок. Всего более ста человек³³. Они получали приличное содержание (месячину) от византийского правительства. Столь представительного посольства Русь в Византию еще не направляла³⁴.

Княгиня Ольга имела, по данным труда Константина Багрянородного «О церемониях», титул «игемона и архонтиссы русов» (De ser. P. 511). Каков был уровень приема посольства Ольги во дворце? Первый прием Ольги императором проходил 9 сентября так же, как обычно проводились приемы иностранных правителей или послов крупных государств. По рассказу самого Константина Багрянородного, «архонтисса вошла с ее близкими, архонтиссами-родственницами и наиболее видными из служанок. Она шествовала впереди всех прочих женщин, они же по порядку, одна за другой, следовали за ней. Остановилась она на месте, где логофет обычно задает вопросы» (De ser. II. 15)³⁵. Это были официальные вопросы о титулатуре, обычные пожелания и вопросы о здоровье семьи. «За ней вошли послы и купцы архонтов России и остановились позади, у занавесей». Прием отличался той же пышностью, какую описал Лиутпранд во время своего первого посольства, и в том же роскошном зале Магнавры. Играл орган.

³² Споры о месте (как и времени) крещения княгини см. также: *Оболенский Д.* К вопросу о путешествии русской княгини Ольги в Константинополь в 957 г. // Проблемы изучения культурного наследия М., 1985. С. 36-46; *Сахаров А. Н.* Дипломатия княгини Ольги // ВИ. 1979. № 10. С. 25-51; *Он же* Дипломатия Древней Руси. С. 259—298; *Ариньон Ж. П.* Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги // ВВ. 1980. Т. 41. С. 113—124.

³³ Г. Г. Литаврин считает общую численность каравана Ольги превышающей тысячу человек. См.: *Литаврин Г. Г.* Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары» императора // ВО. 1982. С. 71—92.

³⁴ *Паиуто В. Т.* Указ. соч. С. 67. Ср.: *Острогорский Г.* Византия и киевская княгиня Ольга // То Ноног Roman Jakobson. The Hague; P., 1967. Vol. 2. P. 1458—1473; *Ариньон Ж. Р.* Указ. соч. С. 113—124; *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. М., 1973. С. 64—72.

³⁵ Здесь и далее перевод Г. Г. Литаврина. См.: *Литаврин Г. Г.* Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: Проблема источников // ВВ. 1981. Т. 42. С. 35—48.

Однако Константин VII Багрянородный описал и такие детали приема русской княгини, которые не имели аналогий во время встреч с другими иностранными послами. Имел, по-видимому, значение тот факт, что Ольга являлась не послом, а правительницей могущественного государства. Поэтому император сделал для Ольги ряд отступлений от предусмотренных церемониалом традиций. После того как придворные встали на свои места, а василевс воссел на «троне Соломона», завеса, отделявшая русскую княгиню от зала, была отодвинута, и Ольга впереди своей свиты двинулась к императору. Обычно иностранного посла подводили к трону два евнуха, поддерживавшие его под руки, а затем тот совершал проскинезу — падал ниц к императорским стопам. Именно об этом рассказывает Лиутпранд. Ничего подобного не происходило с Ольгой. Она без сопровождения евнухов подошла к трону и беседовала с императором через логофета стоя. На приеме присутствовал весь двор и обстанов- {264} ка была торжественной. После обмена приветствиями в зал внесли привезенные русской княгиней богатые дары, и музыка стихла. Торжественный прием на этом был закончен, и под звуки возобновившегося игру органа княгиня Ольга удалилась.

В тот же день состоялось еще одно традиционное для приемов высоких послов торжество, подобное описанному Лиутпрандом,— обед, во время которого присутствующих развлекали пением лучших церковных хоров Константинополя и различными сценическими представлениями. Его давала императрица, жена Константина VII Елена.

На парадный обед Ольга опять вошла в зал, где на троне восседала императрица, и приветствовала ее поклоном. За обедом Ольгу усадили за «усеченный стол» вместе с императрицей, ее невесткой, помолвленной с юным Романом II, и с несколькими придворными дамами высшего ранга, которые пользовались правом сидеть за одним столом с членами императорской семьи. Эта почесть была оказана и русской княгине. Мужская часть посольства пировала в это время с императором и его наследником в другом зале — в Золотой палате. Родственники Ольги, послы, купцы получили здесь от императора в подарок различные суммы в серебряной монете. За десертом Ольга оказалась за одним столом с императором Константином, его сыном Романом и другими членами императорской семьи. Император подарил здесь Ольге золотое блюдо ценной работы, украшенное драгоценными камнями и наполненное серебряными монетами, одарены были также ее родственницы и служанки.

После небольшого перерыва, который княгиня провела в одном из залов дворца, состоялась ее интимная встреча с императорской семьей, что, как отметил Г. Острогорский, не имело аналогий в ходе приемов обычных послов. «Далее, когда василевс с августой и его багрянородными детьми уселись, из Триклина Кенургия была позвана архонтисса. Сев по повелению василевса, она беседовала с ним, сколько пожелала» (De ser. II. 15). Здесь в узком кругу и состоялся разговор, ради которого Ольга явилась в Константинополь. Такую церемониальную практику также не предусматривал установленный этикет приема послов³⁶.

И во время прощального парадного обеда 18 октября княгиня сидела за одним столом с императрицей и ее детьми. Ни одно обычное посольство, ни один обыкновенный посол такими привилегиями в Константинополе не пользовались. Прощальный прием проходил снова в Золотом зале: на пир Ольга с женской частью ее свиты была снова приглашена императрицей, а мужская часть посольства обедала с императором. По сообщению же русской летописи, император сидел за одним столом с русской правительницей. Он удивлялся ее разуму и беседовал с ней. В конце пира Ольге и членам ее свиты снова были вручены денежные суммы, правда, более скромные, чем в первый раз (De ser. P. 598). И еще одна характерная деталь отличает прием именно русского посольства и 9 сентября и 18 октября — при описании этих встреч не упоминается ни об одном другом иностранном посольстве. Между тем в практике византийского двора существовал обычай давать торжественный {265} прием в один и тот же день поочередно нескольким иностранным миссиям, а на пир приглашать их всех вместе, о чем рассказывает и Лиутпранд³⁷.

Странные на первый взгляд перемены к худшему в отношении к княгине Ольге, происшедшие ко времени окончания ее пребывания в Константинополе, свидетельствуют, по-

³⁶ Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. С. 287—288; Острогорский Г. Указ. соч. С. 1462—1463, 1469—1473.

³⁷ Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. С. 228 и след.

видимому, о напряженной закулисной дипломатической борьбе, имевшей место в ходе переговоров³⁸. Дипломатический торг по вопросам уровня приема княгини во дворце и всего ритуала ее пребывания в византийской столице начался, вероятно, еще до отправления в путь и продолжался на месте, с момента появления на константинопольском рейде русской флотилии. Он длился в течение многих дней. В результате русы добились в церемониале приема великой княгини ряда отступлений от привычных обычаев встречи высоких иностранных послов. Для византийской дипломатической рутины исключения такого рода были политическими уступками весьма серьезного свойства.

Но совершенно очевидно, что одновременно велись секретные переговоры по важнейшим вопросам политических отношений Византии и Руси. Византия преследовала цель закрепить и конкретизировать союзные условия договора 944 г. В то же время Русь необходима была империи как противовес против Хазарского каганата, как традиционный союзник в борьбе с арабами в Закавказье, на сирийской границе и в районе Средиземного моря³⁹.

Кроме того, Византия стремилась использовать начавшуюся христианизацию Руси в своих политических целях. Как показала миссия Ольги в Константинополь, русы, в свою очередь, старались использовать затруднения византийцев в интересах дальнейшего возвышения собственного политического престижа, добиться от империи признания за Русью новой политической титулатуры и, быть может, даже заключить династический брак между правящими домами. Принятием христианства в Византии Ольга добилась определенных результатов в решении первой задачи: за ней был закреплен титул «дочери» императора, русская княгиня поднялась в византийской дипломатической иерархии выше тех владетелей, которым был пожалован титул «светлость», как когда-то Олегу.

Крещение Ольги, однако, явилось индивидуальным политическим актом и не предусматривало учреждения церковной организации на Руси. Русь того времени еще не была готова к принятию христианства: языческая партия в Киеве была достаточно сильна, большинство знати было привержено языческой вере. Хотя христианизация русского общества уже совершалась и в договоре 944 г. это нашло официальное отражение, тем не менее и к середине 50-х годов X в. Византия не преуспела {266} в использовании христианских поданных Руси в своих политических целях⁴⁰.

Файл byz267g.jpg

Императрица Зоя. Деталь мозаики:

Христос между

Константином IX Мономахом

и императрицей Зоей.

Ок. середины XI в.

Собор св. Софии.

Константинополь. Мозаика в южной галерее.

Быть может, этим можно объяснить то обстоятельство, что приезд княгини Ольги не привел, скорее всего, к заключению какого-либо официально оформленного соглашения, и правительница русского государства осталась недовольной результатами своей миссии, хотя договор 944 г. был, по всей вероятности, подтвержден и сохранил силу. Однако рассказ о пребывании княгини Ольги как у Константина Багрянородного, так и в русской летописи проливает яркий свет на методы византийской дипломатии и на жизнь Константинополя в X в.

Еще более сложными были взаимоотношения Древней Руси и Византии при Святославе. Поглощенная трудными войнами с арабами на Востоке, Византия должна была обезопасить свои северные границы. По словам В. Т. Пашуто, империя «решила прибегнуть к тройной иг-

³⁸ *Литаверин Г. Г.* Состав посольства Ольги... С. 86—92; *Он же.* К вопросу об обстоятельствах... С. 56.

³⁹ Ср.: *Arrignon J. P.* Les relations diplomatiques entre Byzance et la Russie de 860 à 1043//*Révue des études slaves.* 1983. N 55. P. 129—137; *Shepard J.* Some Problems of Russo-Byzantine Relations. С. 860—1050//*The Slavonic and East European Review.* 1974. Vol. 52, N 126. P. 10—33; *Левченко М. В.* Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956. С. 340—428.

⁴⁰ *Obolensky D.* The Baptism of Princesse Olga of Kiev: The Problem of the Sources // *Philadelphie et autres études/ Ed. H. Ahrweiler.* (Byzantina sorbonensis, 4.) P., 1984. P. 159—176; *Оболенский Д.* Указ. соч. С. 36—47; *Arrignon J. P.* Les relations internationales de la Russie Kievienne au milieu du X siècle et le baptême de la princesse Olga // *Occident et Orient au X siècle.* Dijon, 1979; *Сахаров А. Н.* Дипломатия княгини Ольги. С. 25—51.

ре: толкнуть Русь на Болгарию, а печенегов на Русь»⁴¹. Широко используя излюбленные методы византийской дипломатии: подкуп «варваров», идейные посулы, натравливание одних народов на другие,— опираясь, конечно, и на договор 944 г., Византия добилась похода Святослава на Дунай и разгрома его руками Болгарии. Одержав ряд блестящих побед, русский князь, однако, стал строить далеко идущие планы перенесения своей столицы на Дунай. Летом 970 г. дружины Святослава перешли через Балканский хребет, вторглись во Фракию и начали продвижение к Константинополю. Святославу удалось создать антивизантийскую коалицию, в которую вошли болгары, венгры и на какое-то время печенеги. Угроза столице крайне обеспокоила византийское правительство и заставила его мобилизовать крупные силы против опасного врага. Император Иоанн I Цимисхий (969—976), пустив в ход все ухищрения византийской дипломатии в сочетании с военными ударами, расколол антивизантийскую коалицию, вторгся в Болгарию и одержал в июле 971 г. победу над войсками Святослава под Доростолом (Силистрией) на Дунае. Святослав принужден был начать мирные переговоры. Оценка русско-византийского Доростольского договора 971 г. вызвала в науке споры⁴². Мирные предложения Святослава были благосклонно приняты победителем, потому что Цимисхий считал более выгодным не продолжать тяжелую войну, а восстановить союзные отношения с северным варваром. Прежде всего было заключено предварительное соглашение о прекращении военных действий. По этому соглашению русы освобождали пленных и возвращались на родину. Греки, со своей стороны, обязывались обеспечить русам безопасное отступление, снабдить их провиантом и добиться нейтралитета печенегов. Через несколько дней был заключен официальный договор, в своих главных статьях повторявший русско-византийские договоры 907 и 944 гг. Византия возобновляла торговые отношения с Русью, а Русь — военную помощь империи. Соглашение было увенчано личной встречей Святослава и Иоанна Цимисхия, описанной Львом Диаконом. Втайне же, следуя вероломному кодексу византийской дипломатии, Византия натравила на Святослава печенегов и подготовила тем самым его гибель в днепровских порогах весной 972 г.

Взаимоотношения империи со славянскими странами вообще, в частности с болгарами, всегда были весьма сложными, и мирные соглашения постоянно чередовались в IX — начале XI в. с кровавыми длительными войнами⁴³.

Необычайно возросла активность византийской дипломатии при Комнинах. При Алексее I Комнине, умном и осторожном дипломате, империя зачастую дипломатическим путем находила выход из чрезвычайно острых международных ситуаций. На Западе грозным врагом Византии в XI в. были норманны. По вступлении Алексея Комнина на престол Роберт Гвискар переправился через Адриатическое море и осадил Дир-^{268}рахий. Славяне Дубровника и других далматинских городов оказали ему поддержку. Битва при Диррахии 18 октября 1081 г. принесла победу норманнам. После этого Северная Греция на несколько лет оказалась под их властью. Они пересекли Эпир и Фессалию, осадили Ларису. Византийцы терпели поражения. Алексей настойчиво искал союзников, вел переговоры с германским императором. Наиболее надежным союзником ромеев на Западе оказалась Венеция, не желавшая видеть оба берега Адриатики под властью норманнского герцога. В мае 1082 г. был заключен договор с республикой св. Марка. Василевс обещал венецианцам щедрые дары и торговые привилегии в обмен на помощь военного флота. Спешно нанимал к себе на военную службу Алексей I и сельджукские войска, одновременно поддерживал заговоры норманнской знати против герцога.

Умелая политика Алексея принесла свои плоды: Роберту пришлось удалиться в Италию, раздираемую междоусобицами. Венецианцы разбили норманнскую эскадру, а Алексей принудил к сдаче норманнский гарнизон в Кастории. Сын Роберта Боэмунд был разбит у Ла-

⁴¹ Пауцто В. Т. Указ. соч. С. 69.

⁴² Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. С. 183—203.

⁴³ Zakythinos D. Byzance et les peuples de l'Europe du sud-est//Actes du I Congr. Intern. des études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, 1966. Vol. 3. P. 9—26; Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960; Obolensky D. Byzantium and the Slavs: Collected Studies. L. (VR). 1971; Browning R. Byzantium and Bulgaria. L., 1975; Литаврин Г. Г. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII—начало XI в.). С. 132—188; Наумов Е. П. Становление и развитие сербской раннефеодальной государственности//Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. С. 189—218; Литаврин Г. Г., Наумов Е. П. Межэтнические связи и межгосударственные отношения на Балканах в VI—XII вв.//Там же. С. 285—313.

рисы. В 1085 г. явившийся на Балканы Роберт пал жертвой чумы, а византийцы тогда же вернули себе Диррахий. Битва за Балканы норманнами была проиграна.

На Востоке Алексей избегал больших походов против сельджуков⁴⁴. Вражда эмиров и страх султана перед наиболее влиятельными из них оставляли византийцам широкое поле для дипломатической игры. Алексей старался привлечь на свою сторону сельджукских вельмож, которые после смерти в 1086 г. султана Сулеймана I (1077/78—1086) добились раздела завоеванных областей на множество эмиратов, лишь формально подчиненных иконийскому султану. Алексей вступал во временные союзы то с тем, то с другим эмиром и пытался заключить соглашение с султаном. В 1092 г. султан предлагал Алексею союз, скрепленный династическим браком его старшего сына с дочерью императора, обещая за это очистить Малую Азию и оказывать империи военную помощь. Но посольство василевса вернулось с полпути, получив известие о кончине султана.

Наибольшее беспокойство доставил империи эмир Смирны Чакан (Чаха византийских источников). Он разбил византийский флот и занял Клазомены, Фокою, Митилену и о-в Хиос. Готовился напасть Чакан и на Константинополь, хотя силы его были незначительны. Полководец Алексея Иоанн Дука разбил его; остальное довершила дипломатия: Алексей восстановил против смирнского эмира его родственника, иконийского султана Кылич-Арслана I (1092—1107). Не в силах вести войну на два фронта, Чакан вступил в переговоры, но был убит во время пира в султанском дворце. На севере Алексей Комнин умело натравил половцев на печенегов и тем самым спас империю от этих опасных кочевников, разгромив их в союзе с половцами в 1091 г. во Фракии⁴⁵. {269}

Временная стабилизация Византийской империи при первых Комнинах способствовала успехам ее дипломатии⁴⁶. Анна Комнина живо и интересно рассказала о деятельности своего отца, разумеется, всячески восхваляя его мудрость и дипломатический опыт.

Большие трудности Византии принесли крестовые походы⁴⁷. С крестоносцами Первого крестового похода у Алексея Комнина с самого начала сложились отношения взаимного недоверия и тайной враждебности, скрытой под маской внешнего благожелательства. Алексей Комнин, правда, добился от большинства их вождей вассальной присяги, но он все время боялся крестоносцев, ожидая, что они могут напасть на владения самой империи.

По словам Анны Комнины, особенно враждебные отношения у ее отца сложились с Боэмундом Тарентским, сыном его заклятого врага Роберта Гвискара⁴⁸. Анна рисует Боэмунда человеком глубоко лживым и коварным, способным на любое злодеяние, грубым варваром, но бесстрашным воителем. Византийский император, распознав в Боэмунде серьезного противника, решил привлечь его льстивыми речами и щедрыми подарками. Но «надменный варвар» повел себя крайне неприязненно и осторожно. Помня старую вражду с греками, Боэмунд настолько не доверял им, что, опасаясь яда, не притронулся к роскошным яствам, которые прислал ему император. Тогда Алексей попытался поразить грубого латинянина блеском богатств своей империи. Пол в одной из комнат дворца был устлан драгоценными одеждами, покрыт золотыми и серебряными монетами и ювелирными изделиями. Дверь в эту комнату внезапно открыли перед Боэмундом. Пораженный этим зрелищем, Боэмунд воскликнул: «Если бы у меня было столько богатств, я бы давно овладел многими странами!» Тогда посланец Алексея ему ответил: «Это все пожаловал тебе сегодня император» (*Анна Комн.* С. 291—292). Самонадеянный вождь крестоносного ополчения сперва гордо отверг столь щедрый дар, но, одумавшись, принял его, принес василевсу вассальную присягу и двинулся в Малую Азию. Последующие события развертывались весьма драматично: после побед Боэмунда и захвата им Антиохии Алексей пустил в ход против него и военную силу и тайную дипломатию.

⁴⁴ Cahen Cl. *Turcobyzantina et Oriens christianus*. L., 1974; Felix W. *Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. Jh.* Wien, 1981. См. рец. на эту кн.: Forsyth J. H. // *Speculum*. 1983. Vol. 58, N 2. P. 458—460.

⁴⁵ Васильевский В. Г. Византия и печенеги (1048—1094) // Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1909. Т. 1. С. 1—175.

⁴⁶ Chalandon F. *Les Comnène*. P., 1900—1912. Т. 1—2; Hohlweg A. *Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des Oströmischen Reiches unter den Komnenen*. München, 1965.

⁴⁷ Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980; Runciman S. *A History of the Crusades*. L., 1954. Vol. 1—2; *Idem*. *The first Crusade*. Cambridge, 1980; Erbssoler M. *Die Kreuzzüge. Eine Kulturgeschichte*. Leipzig, 1980.

⁴⁸ Rowe J. G. *Paschal II. Bohemund of Antioch and the Byzantine Empire* // *Bulletin of the John Ryland's Library*. 1966. Vol. 49. P. 165—202.

Он привлек на сторону Византии сельджукского правителя Кылич-Арслана I, содействовал поражению Боэмунда в Малой Азии и отъезду его на Запад; он окружил норманнов у Диррахия и заставил Боэмунда пойти на примирение. В 1108 г. был заключен известный Девольский договор между Византией и норманнами на выгодных для империи условиях — Боэмунд признал Антиохию леном византийского императора, отказался от своих владений в Киликии и обещал Алексею {270} Комнину военную помощь (*Анна Комн.* С. 364—372). Дипломатия Алексея одержала серьезную победу⁴⁹.

До конца жизни Алексей Комнин боролся за укрепление позиций империи на Западе и Востоке. Он вмешивался в сербские дела, разжигая вражду между Зетой и Рашкой, стремился добиться союза с Венгрией, чье влияние на Балканах становилось все более заметным, и с этой целью женил своего сына Иоанна на венгерской принцессе. Он продолжал теснить сельджуков, то заключая с ними договоры, то ведя войну. Преемники Алексея продолжали его наступательную политику. Они постоянно играли на противоречиях мусульманских правителей, натравливая одних на других. При императоре Мануиле (1143—1180) Второй крестовый поход скорее ослабил, чем укрепил позиции Византии в борьбе против мусульман. В 1147 г. в Константинополь прибыли две большие армии крестоносцев, одну из которых возглавлял король Германии Конрад III (1138—1152), а другой — французский король Людовик VII (1137—1180). Немецкие рыцари вели себя в империи не как союзники, а скорее как завоеватели. Мануилу не удалось сблизиться с Конрадом III, хотя василевс был женат на его родственнице Берте Зульцбахской. Мануил стремился всячески задобрить французского короля, но и с ним отношения были достаточно напряженными, а в свите Людовика VII строились планы захвата Константинополя. О переговорах Мануила Комнина с Людовиком VII сохранился подробный рассказ очевидца событий, приближенного французского короля, его капеллана Одо Дейльского. Сочинения Одо Дейльского «О странствовании Людовика VII, франкского короля, на Восток» — уникальный источник по истории византийской дипломатии в XII в. В Константинополе короля, по словам его летописца, ожидал радушный, поистине «братский» прием (*Odo de Diogilo*. III. P. 60). По прибытии крестоносцев под Константинополь знатные и богатые жители города вышли навстречу французскому королю и просили его посетить императора. Примечательно, однако, что король вошел в столицу Византии по просьбе Мануила лишь с небольшой свитой, так как знал опасения императора, вызванные бесчинствами германского войска в городе, и тоже не хотел столкновения своих воинов с горожанами. Он был принят императором вполне по-королевски в портике дворца. «...Оба государя были почти одного возраста и роста, различались они только одеждой и манерами. После взаимных объятий и поцелуев они вошли во дворец, где сели на приготовленные им одинаковые кресла» (*Ibid.* P. 58). Здесь они беседовали через переводчика. После беседы они расстались друг с другом, как братья, и вельможи отвели Людовика в предоставленную ему резиденцию. Однако Одо Дейльский, быть может бросая на события ретроспективный взгляд и зная уже о последующем разрыве византийцев с Людовиком, говорит, что уже тогда Мануил был неискренним и его ласковое обращение с королем было лишь маской. Во время же описанных событий вряд ли это было замечено⁵⁰.

Рассказ Одо Дейльского о Константинополе во многом отражает представления западных крестоносцев о Византии. Это смешение восторга и преклонения с недоброжелательной критикой византийской жизни с позиций католической морали. Ода подробно рассказывает об удобном местоположении города и его богатстве. С восхищением он пишет о Влахернском дворце Мануила: «...его внешняя красота почти несравненна, но красота внутренняя превосходит все, что я только мог бы сказать о ней. Со всех сторон он расписан золотом и разноцветными красками, двор выстлан мрамором с изысканным мастерством, и я не знаю, что придает двору большую ценность и красоту — совершенство ли искусства или богатство материала»

⁴⁹ Любарский Я. Н., Фрейденберг М. М. Девольский договор 1108 г. между Алексеем Комнином и Боэмундом//ВВ. 1962. Т. 21. С. 260—274; Cahen Cl. Orient et Occident au temps des Croisades. P., 1983; Richard J. Orient et Occident au Moyen âge: Contacts et relations (XII^e—XV^e s.). L., 1976; Lilie R. J. Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten. Studien zur Politik des byzantinischen Reiches gegenüber den Staaten der Kreuzfahrer Syrien und Palästina bis zum vierten Kreuzzug (1096—1204). München, 1981.

⁵⁰ Иоанн Киннам (*Cinn.* II. 17. P. 82—83) дает иные сведения об этом приеме. Он рассказывает, что император сидел на своем троне, а Людовик — на маленькой скамеечке, подчеркивая тем самым более низкое положение французского короля.

(Ibid. IV. P. 62—66). Западный наблюдатель говорит о хорошем снабжении города питьевой водой и съестными припасами, однако замечает, что внешняя стена со стороны суши недостаточно укреплена и ее башни невысоки. Он, думается, правдиво, но не без известного злорадства рассказывает о трущобах города, где царят нищета, мрак и преступления. «Этот город,— пишет он,— во всем превышает меру — ведь он превосходит другие города как богатством, так и пороком» (Ibid. V. P. 86). Французский король посетил святыни города, где (и кроме св. Софии) было много храмов, замечательных не только красотой, но и священными реликвиями. Особой религиозности, характерной для католического Запада, Одо в Константинополе не заметил, что видно из его замечания: «Все, кто может, приходят в церкви: одни из любопытства, другие по набожности» (Ibid. IV. P. 66).

Император Мануил дал в честь французского короля обед. «Это пиршество,— пишет Одо,— на котором присутствовали знатные гости, удивительное по своей пышности и по изысканности яств и по приятным развлечениям, услаждало одновременно и слух, и уста, и глаза» (Ibid.). Однако многие из свиты короля, боясь вероломства греков, опасались за его жизнь; их особые подозрения вызвала чрезмерная услужливость хозяев. Тем более что основания, и весьма серьезные, для недовольства со стороны греков были налицо: толпы разбушевавшихся крестоносцев, с которыми король не мог справиться даже при помощи самых строгих мер, опустошали и грабили пригороды города. Людовик, ожидая подкреплений, надолго задержался в Константинополе, что усиливало взаимную подозрительность и неприязнь между греками и крестоносцами. Император Мануил, однако, считал еще несвоевременным порвать с непрощенными гостями и по-прежнему оказывал Людовику знаки внимания. Он послал на празднество франков в честь почитаемого на Западе св. Дионисия православных священников и церковный хор. Эти священники поразили «варваров» своей изящной манерой держаться, скромными рукоплесканиями и гибкостью движений, а пение греков очаровало крестоносцев сладкой мелодичностью, гармоничным слиянием низких и высоких голосов. Но вражда крестоносцев к грекам росла. Епископ Лангра Годфрца, особенно непримиримый враг византийцев, призывал {272} к захвату города. В таких условиях Мануил поспешил переправить войска латинян в Малую Азию, где, как известно, их ждало поражение и пленение короля Людовика VII⁵¹. После ухода крестоносцев в Малую Азию Мануилу пришлось вернуться к прежней тактике — медленного и постепенного отвоевания территорий и заигрывания с турками-сельджуками. Новый иконийский султан Кылич-Арслан II (1156—1192) в 1161 г. был торжественно принят в Константинополе, где с ним заключили договор, санкционировавший установление мира на византийско-сельджукской границе⁵². На Балканах византийское правительство в общем сохраняло контроль над сербской территорией, играя на противоречиях в среде сербской знати и поддерживая одни группировки против других. В 1172 г. войска Мануила вторглись в Сербию, и Стефан Неманя стал вассалом императора, отказавшись в пользу империи от двух стратегически важных областей. Сербский жупан оставался верен империи до конца жизни Мануила.

Венгерское королевство представляло огромную опасность для Византии. Оно подчинило Хорватию, имело тесные династические и политические связи с сербскими жупанами, постоянные связи с русскими землями. Все это превращало Венгрию в важнейший политический фактор на северо-западных границах Византии. Византийцы вмешивались во внутренние распри венгерской знати, поддерживали претендентов на королевский престол, надеясь ослабить ее силы и влияние на Балканах⁵³.

Особенно активно вмешивался в венгерские дела Мануил Комнин, мать которого была венгеркой; борьба за гегемонию шла с переменным успехом. В середине XII в. вновь активизировались норманны. Они начали военные действия против Византии при Рожере II, который привлек на свою сторону сербов и венгров и стремился заключить союз с французским королем Людовиком VII. Мануил, в свою очередь, искал поддержки Венеции и Германии. Анти-норманнский союз с Конрадом III был закреплен династическим браком. Но этот союз двух

⁵¹ Заборов М. А. Указ. соч. С. 158—163.

⁵² *Vryonis Sp.* Byzantium: its internal history and relations with the Muslim world. L. 1971: *Idem.* The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the XIth through the XVth century. Berkeley; Los Angeles, 1971; *Kedar B. Z.* Crusade and mission: European approaches towards the Muslims. Princeton, 1984.

⁵³ *Moravčsik Gy.* Byzantium and the Magyars. Budapest, 1970; *Makk F.* Relations hungaro-byzantines entre 1156 et 1162//*Homonoia.* 1983. T. 5. P. 161—217.

империй не имел последствий. Рожеру удалось поднять против Конрада баварских феодалов, и германскому королю пришлось улаживать внутренние дела, пока его союзник воевал с норманнами. В венгеро-византийские войны оказались временно втянутыми и княжества Древней Руси: Киевская Русь была союзницей Венгрии, а Галицкая и Ростово-Суздальская поддерживали Византию.

Победа над норманнами открыла Мануилу дорогу в Италию, об отвоевании которой он давно мечтал. Мануил энергично ищет союза с итальянскими городами Генуей, Пизой, Анкной, Кремоной, Павией. Милан в конце 60-х годов присягает на верность византийскому императору. Одновременно ромейские дипломаты добиваются упрочения норманно-византийского союза. Они хлопочут о том, чтобы создать личную унию обоих государств, и предлагают Вильгельму II, новому королю обеих Сицилий, стать наследником Мануила (позднее этот почетный титул был передан венгерскому принцу Беле-Алексею, который, как и Иштван IV до него, хранил вассальную верность императору до его смерти в 1180 г.)⁵⁴.

Внешняя политика Византии к началу 70-х годов XII в. достигла в итоге серьезных успехов: печенеги были разгромлены, половцы устранены; Венгрия и Сербия превратились в вассальные государства, сельджуки отошли в глубь Малой Азии; в Италии Византия имела сильных союзников. Империя больше не придерживается гордой политики «блестящей изоляции», так отличавшей ее в предшествующие столетия, когда она позволяла себе покупать наемников, но не вступать в союзы, когда византийцы не признавали ни одно государство достойным партнером в политической игре и сознательно унижали иноземных послов на дворцовых приемах. В XII в. византийцы постоянно создают коалиции: то вместе с Конрадом III и венецианцами против сицилийских норманнов и французского короля, то вместе с Генуей, Миланом, а затем французами и англичанами против Венеции и Фридриха Барбароссы. Но трезвость военной тактики и дипломатической игры переплетаются у Комнинов с фантастическими замыслами универсалистского характера. Комнины сделали много, чтобы укрепить Византию, которая в XII в. снова стала одним из сильнейших государств Средиземноморья. Но времена универсалистских монархий прошли. Европа стояла накануне рождения национальных государств. Политика Мануила, мечтавшего о единой мировой империи, единой церкви и едином монархе, была так же чужда реальности, как и политика его деятельного соперника — Фридриха Барбароссы⁵⁵. Впереди Византию ожидали тяжелые испытания⁵⁶ и катастрофа 1204 г.

В заключение можно отметить, что в период классического средневековья (X—XII вв.) византийская дипломатия достигла своего расцвета. Она не только впитала все достижения греко-римской дипломатии, унаследованные от ранней Византии, но и приумножила их. Это нашло выражение в дальнейшем совершенствовании посольского дела, выработке дипломатического ритуала отправления и приема послов, в оформлении договоров и императорских грамот. Дипломатическая система империи в этот период все время развивалась, находилась в постоянной динамике, в изменении, неустанно приспособляясь к меняющейся, порою крайне напряженной международной обстановке. Выше было показано, сколь широк был ареал действия византийской дипломатии: это и северные границы империи, Кавказ, Юго-Восточная и Восточная Европа, Балканы, Ближний Восток (арабы, турки-сельджуки) и, наконец, государства Западной Европы.

Примечательно, что Византия, сохраняя общие методы и приемы своей дипломатии, все же изменяла их применительно к условиям отдельных регионов и стран, учитывая особенности идеологии, политики, религии, быта и нравов различных народов. Она как бы адаптировалась к ним. Незыблемой, однако, оставалась теснейшая связь дипломатической системы с имперской идеологией Византии, со строго установленной в ее официальной доктрине международной иерархией государств. Политические деятели империи, по мере ослабления сил Ви-

⁵⁴ Ohnsorge W. *Abendland und Byzanz*. Darmstadt, 1979; Lamma P. *Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'Occidente nel sec. XII*. Roma. 1955—1957. Vol. 1—2; Angold M. *The Byzantine Empire, 1025—1204*. L.; N. Y., 1984. Bibliogr. P. 297—310.

⁵⁵ Dölger F. *Byzanz und die europäische Staatenwelt*. Darmstadt, 1964; Eickhoff E. *Macht und Sendung: Byzantinische Weltpolitik*. Stuttgart, 1981.

⁵⁶ Hecht W. *Die byzantinische Außenpolitik zur Zeit der letzten Komnenenkaiser (1180—1185)*. Würzburg, 1967; Brand Ch. M. *Byzantium Confronts the West, 1180—1204*. Cambridge (Mass.), 1968; Richard J. *Op. cit.*

зантии и, напротив, возрастания могущества соперничающих с нею держав, не могли не видеть зияющих брешей, возникших в созданной византийцами умозрительной картине цивилизованного мира, будто бы возглавляемого василевсом. Возникали новые империи, стремившиеся встать вровень с Византией, менялось место других государств на международной арене. Благодаря разветвленной сети своей дипломатии византийское правительство, как правило, было хорошо осведомлено о положении дел в соседних государствах. Это давало ему возможность маневра, сосредоточения всех сил, военных и дипломатических, «на направлении главного удара», как и возможность перевода наиболее знающих, искусных и опытных дипломатов по мере необходимости из одной страны в другую.

Политики и дипломаты империи, как видно из сказанного, были вынуждены считаться с происходившими переменами, но прочность традиционных представлений была слишком велика: в неизменном стремлении сохранить прежнее величие империи ромеев им не хватало чувства реальности.

Византийская дипломатическая система имела свои как позитивные, так и негативные черты. Строгая организация всего посольского дела, отработанная на основе многолетнего опыта, давала в VII—XI вв. значительные преимущества по сравнению с еще не развитой дипломатией большинства средневековых государств. Вместе с тем все возрастающее господство пышного ритуала, парадности, традиционных церемоний и риторических клише сковывало инициативу византийских послов и политиков, зачастую лишая их свободы действий. Все это вызывало острую критику государственных деятелей иных стран, которые к началу XII в. сделали уже крупный шаг по пути выработки собственной дипломатической системы. И тем не менее есть основания для заключения, что по крайней мере до латинского завоевания в начале XIII в. византийская дипломатия оставалась в течение истекших с IV в. столетий самой развитой, разветвленной и упорядоченной в средневековой Европе и на Ближнем Востоке. {275}

9

Военно-теоретическая мысль

Важнейшим показателем уровня развития того или иного общества служит состояние его военной организации. Практика военного дела находит свое выражение в достижениях военно-теоретической науки. Составной частью последней является военное искусство, подразделяющееся на искусство ведения военных действий (тактика) и войны в целом (стратегия). Способ ведения военных действий можно рассматривать в качестве одного из критериев уровня общественного развития, уровня материальной и духовной культуры.

В эпоху античности и средневековья связь между состоянием военного дела и общим уровнем развития цивилизации была особенно наглядной. Поэтому не случайно греческие, римские и византийские военные писатели усматривали прямую логическую зависимость военной тактики того или иного варварского народа от степени его цивилизованности. В последнее понятие, помимо культуры, обычно включалось еще и политическое развитие¹. В более поздние периоды человеческой истории такая связь становится все более опосредованной — она корректировалась воздействием все большего количества факторов.

Военные трактаты позволяют проследить развитие военной организации Византийской империи как отражение эволюции ее материальной и духовной культуры. Военные писатели предстают со страниц этих сочинений как выразители своей эпохи, личность которых сформировалась под влиянием соответствующих социально-культурных факторов. Если античная эпоха в военной литературе представлена широким тематическим разнообразием, значительным спектром форм, приемов, методов военно-научных исследований, яркими творческими индивидуальностями авторов, то с течением времени в военно-теоретических трактатах усиливается организующий, императивный элемент — прежде всего в плане тематической определенности. Тенденция к универсализации тематики военно-теоретических руководств сочетает-

¹ Zástěrová B. Les Avars et les Slaves dans la Tactique de Maurice. Pr., 1971.

ся с усиливающимися тенденциями к канонизации античного наследия, с возрастающим влиянием традиционализма. Основой сочинений все более становится не современный боевой опыт, а достижения военной науки древних. Обезличенность, свойственная вообще писательской манере византийца, находила все более яркое воплощение в военных сочинениях — в данном случае это было вызвано стремлением придать содержащимся здесь рекомендациям {276} всеобъемлющий, универсальный, а потому и сугубо обязывающий, императивный характер. Ссылка на авторитет древних — самый весомый логический аргумент; собственный боевой опыт безоговорочно приносится в жертву, если он противоречит их высказываниям. От VI к X в. в военной литературе нарастает стремление к самым простейшим методам заимствования (адаптация, парафраза, компиляция, извлечение) ².

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на эти нивелирующие тенденции, даже вопреки им, авторы военных сочинений все же сохраняют свою творческую и человеческую индивидуальность. Они отличаются друг от друга уровнем своей теоретической и профессиональной подготовки, они демонстрируют различный подход к проблемам военной науки, они неординарны как писатели. В результате многие военно-теоретические сочинения, со свойственными им чертами самобытности и оригинальности, являются подлинными шедеврами византийской эрудиции, образованности, культуры. После периода активизации военно-теоретической мысли византийцев, в VI — начале VII века, наблюдается длительный, почти трехвековой перерыв в ее развитии. Лишь на рубеже IX/X вв. вновь появляются заслуживающие внимания труды по данным вопросам. Затем их количество интенсивно нарастает, и X в. оказывается наиболее насыщенным произведениями подобного рода. Огромное количество извлечений, самых различных по тематике и объему, дополняет общую картину. С конца X в. военно-научное творчество византийцев практически полностью прекращается.

Серию памятников военной литературы конца IX — начала X в. открывает «Тактика Льва». К настоящему времени установлена принадлежность этого трактата перу византийского императора Льва VI Мудрого; поскольку автор неоднократно именуется императором (TL. XIV. 116; XV. 41; XVIII. 42 и др.), время создания трактата ограничивается годами его царствования (886—912 гг.). Предложенные различными исследователями более точные датировки не являются бесспорными; впрочем, для литературы подобного жанра, отражающей целые эпохи в военной организации империи, более точная локализация во времени не представляется необходимой.

Автор «Тактики» является образцом византийского эрудита X в., преклоняющегося перед авторитетом письменной традиции, испытывающего пиетет перед военно-научной мыслью предшествующих эпох. Он хорошо знаком с трудами своих предшественников в области военной теории; некоторые из них названы по именам, таковы — Элиан, Арриан, Онасандр (TL. VI. 30; VII, 86; XIV. 112), других можно идентифицировать по характеру использованного Львом материала ³. Кроме того, Лев располагал и некоторыми другими источниками, определить которые не представляется возможным; на их основе написаны полностью главы V и XIX, а также отдельные пассажи III и IV ⁴. Основная часть сочинения Льва имеет своим источником знаменитый «Стратегикон Маврикия», хотя ни название трактата, ни имя его автора ни разу не упомянуты на страницах «Тактики». {277}

Факт тесной зависимости «Тактики Льва» от «Стратегикона Маврикия» совершенно бесспорен. Дискуссионным вплоть до настоящего времени остается другой вопрос: является ли сочинение Льва только копией трактата его предшественника, продуктом чистого теоретизирования «кабинетного стратига», или же мы имеем дело с сознательной переработкой рекомендаций «Стратегикона» с целью приспособления их к потребностям современной Льву боевой практики? В ряде своих предшествующих работ мы отстаивали вторую точку зрения, одновременно раскрывая конкретный механизм переработки Львом сведений своего предшественника ⁵.

² Dain A. *Les stratégistes byzantins*//TM. 1967. Т. 2. P. 353.

³ Vari R. *Die «Praecepta Nicephori»*//BZ. 1929—1930. Bd. 30. S. 52.

⁴ Dain A. *La «Tactique» de Nicéphore Ouranos*. P., 1937. P. 42; *Idem. Les stratégistes...* P. 356—357.

⁵ См., например: Кучма В. В. «Тактика Льва» как исторический источник // ВВ. 1972. Т. 33. С. 75—87.

Обращение Льва именно к «Стратегикону Маврикия» как к основному источнику имело серьезные основания. «Стратегикон Маврикия» заложил основы той военной организации империи, которая утвердилась позднее, в период фемного строя. С военной точки зрения квалифицирующим признаком фемного строя является преобладание в армии контингентов воинов-стратигов, обязанных исполнять воинскую службу в соответствии с правом владения земельным наделом определенной ценности. Важнейший принцип фемной военной организации — возложение воинской повинности на плечи свободного крестьянства. К моменту создания «Тактики Льва» основные принципы этой военной организации сохраняли свою жизнеспособность, и Лев осознавал созвучие идей «Стратегикона» теории и практике военного дела на рубеже IX и X столетий. Поскольку главной целью Льва было создание военного руководства, рассчитанного на практическое применение, он и создал его на той основе, на которой базировался «Стратегикон».

В этой связи представляются беспочвенными попытки ряда исследователей как-то заполнить лакуну в традиции военных трактатов, отделяющую «Тактику» от «Стратегикона». Высказывалось предположение о том, что военно-научное творчество византийцев не прекращалось и в этот трехвековой период, однако его результаты не дошли до нас вследствие бурных событий времени иконоборчества. Такое предположение в принципе допустимо, но при нынешнем состоянии рукописной традиции недоказуемо; расчет же на возможные находки новых, неизвестных современной науке военно-теоретических сочинений, датируемых VII—IX вв., представляется нереальным. При наличии значительного хронологического разрыва между «Стратегикон» и «Тактикой» между ними практически не существует логического перерыва.

Итак, и «Стратегикон Маврикия», и «Тактика Льва» отразили сущность одного и того же исторически длительного периода в развитии военной организации империи — периода зарождения и утверждения фемного строя; отсюда то общее, что объединяет эти два сочинения. Однако существенная разница между ними состояла в том, что два наших автора являлись современниками полярно противоположных этапов в развитии этого строя: Маврикий стоял у его истоков, а Лев был свидетелем его полного и окончательного завершения.

Армия, с которой имел дело Маврикий, практически уже ничем не отличалась от фемных ополчений более позднего времени. Однако теоретическое обоснование новых организационных форм фемной военной системы, естественно, было заторможено вплоть до периода их окончательного развития. Ко времени Льва фемный строй выкристаллизовался с достаточной четкостью, и отдельные его элементы уже могли стать объектом теоретического осмысления. Задачу воссоздания идеальной модели армии, основанной на фемном распорядке, и поставил перед собой автор «Тактики».

Лев стремился дать широкое теоретическое обоснование сообщаемым им практическим рекомендациям. Описывая тот или иной конкретный элемент военной науки, Лев одновременно вскрывает причины именно такого, а не иного его состояния. Он увлечен разработкой рекомендаций, опирающихся на всю совокупность достижений современной ему военной науки: конечная цель этих рекомендаций состоит в обеспечении идеальных условий для идеального поведения солдата и военачальника в бою. Вместе с тем установки Льва не имеют императивного характера — он предоставляет военачальнику широкую инициативу в выборе средств и способов достижения этого идеала в зависимости от требований времени, места и «природы вещей».

В целом компилятивный характер «Тактики Льва» отнюдь не умаляет ее значительной ценности как исторического источника, как одного из выдающихся произведений византийской военно-теоретической мысли и как памятника византийской культуры в целом. Богатство содержания, четкость структуры, композиционные и стилистические достоинства «Тактики Льва» выдвигают ее на одно из первых мест среди произведений подобного жанра. Если к тому же учесть, что трактат Льва являлся официальным военным руководством, становятся понятными причины его продолжительного использования в армейской практике. Фактически на протяжении всего X в. строительство византийских вооруженных сил шло под знаком рекомендаций «Тактики Льва», а сформулированные в ней стратегические принципы и тактические указания составляли существо господствовавшей в империи военной доктрины.

Трактат Льва начинается с введения, где автор формулирует свою главную задачу — на основании предшествующих военно-научных и исторических трудов собрать воедино все то, что в его время применимо и практически необходимо. Следовательно, Лев стремился создать такое военное руководство официального характера, какое, по сообщению Константина Багрянородного, византийские императоры имели бы в своих походных библиотеках во время военных кампаний (De ser. I. P. 467).

Порядок изложения материала в «Тактике Льва» отличается последовательностью. Подражая лучшим образцам военно-теоретической литературы, Лев начинает трактат с изложения некоторых общих принципов, давая определение и раскрывая содержание понятий стратегии, тактики и т. д. В конце гл. I он переходит к характеристике стратига, продолжая ее на протяжении всей последующей главы. В гл. III речь идет о военном совете при полководце. Далее следует ряд глав (IV—XI), раскрывающих структуру, состав, вооружение воинских подразделений, способы их обучения, порядок совершения маршей; отдельно рассказывается об обозе и лагерьном устройстве. Покончив с этим, Лев рассматривает серию сюжетов, посвященных непосредственно военным действиям — {279} — подготовке к войне, ведению ее, использованию ее последствий (гл. XII—XVII). Сюда же примыкают гл. XVIII, рассказывающая о военных обычаях соседних с Византией народов, а также гл. XIX, посвященная войне на море. Гл. XX является итоговой, суммирующей основные мысли автора. Трактат заканчивается развернутым эпилогом.

Заслуживают внимания взгляды Льва на общие принципы военной науки. Он проводит существенное различие между понятиями тактики и стратегии. В его понимании тактика есть наука о боевом построении, вооружении и военных передвижениях; ее цель состоит в том, чтобы в соответствии со сложившимися обстоятельствами удачно расположить войско и войти в соприкосновение с противником в условиях, максимально для себя благоприятных (TL. I. 1—2; 5—6). Стратегия же есть наука о планировании военных кампаний и о принципах победоносного военного руководства (TL. I. 3).

Возвращаясь к этим принципам в эпилоге своего сочинения, Лев подробно раскрывает содержание сформулированных ранее понятий. Занимаясь решением стратегических проблем, следует прежде всего организовать сбор сведений о силах, о способах ведения военных действий и обычаях неприятеля. После этого надлежит определить в принципе способ собственных действий — будет ли он наступательным или оборонительным, а затем детализировать его: надлежит ли стремиться к овладению укрепленными местами, или же решить дело в полевом сражении; следует ли, затягивая войну, утомлять неприятеля продолжительными маршами и наносить ему поражение путем мелких стычек или же опустошать его страну, захватывая в плен его подданных и т. д. Что же касается тактики, то ее предмет — организация боевого порядка собственной армии в соответствии с намеченной целью военной кампании и непосредственное управление войсками на марше и в сражении.

Характерно при этом, что Лев не ограничивается только формулированием понятий и раскрытием содержания стратегии и тактики — он определяет также, на кого именно возлагается выполнение вытекающих из этого требования задач. Так, стратегия — это сфера деятельности самого главнокомандующего и его главного штаба; вытекающая из определения тактики главнейшая, первоочередная ее задача — организация регулярных воинских упражнений — возлагается на всех архонтов византийского войска.

Свойственный Льву теоретический подход к рассматриваемым проблемам проявляется, в частности, и в том, что он перечисляет и раскрывает содержание целого ряда вспомогательных дисциплин, имеющих отношение к теории и практике военного дела. Таковы: гопплика, трактующая о вооружении войска, логистика, рассказывающая о делении войска, его снабжении, нормах продолжительности движения и отдыха и т. д., т. е. своего рода военная статистика, архитектоника, изучающая строительство лагерей и других защитных сооружений, военная астрономия и военная медицина и т. д. (TL. Эпилог).

Как видим, понимание Львом главнейших принципов военного дела является значительным шагом вперед в развитии военной науки. Анализ глав трактата, посвященных характеристике материально-технической основы византийской военной организации, свидетельствует и о ее значительном консерватизме на всем протяжении периода феодального строя. {280}

Вместе с тем открывается возможность выявить и определенные отличия, проявившиеся в этой области по сравнению со временами «Стратегикона Маврикия».

В IX—X вв. византийское сухопутное войско делилось на две основные части. Первая была представлена регулярными гвардейскими подразделениями, имевшими особую организационную структуру и централизованное руководство. Местопребыванием их являлись либо столица империи, либо специально определенные местности Фракии и Македонии. Указанные части представляли собой наиболее консервативные элементы византийской военной организации, менее других испытывавшие на себе эволюцию общественно-экономических процессов. Авторы военных трактатов, в том числе и «Тактики Льва», оставляют эти соединения практически без всякого внимания. Из других источников мы знаем, что они составляли так называемые тагмы — отряды регулярного наемного войска.

Вторая, основная часть армии была представлена фемными контингентами, которые включали в себя два рода войск — пехоту и кавалерию. Главную роль со времен «Стратегикона» играла кавалерия: пехота служила для ее защиты. Автор «Тактики» имеет в виду войско, состоящее как из конных, так и пехотных подразделений. Исключительно кавалерийское войско находило весьма редкое применение в боевой практике, если речь шла не о временных пограничных стычках и стремительных, но непродолжительных рейдах на вражескую территорию, а о крупных военных действиях, т. е. о войне в подлинном смысле слова. Еще более редки упоминания о войске, состоящем только из пехоты (TL. IX. 58; VII. 78; XI. 15).

Общая численность кавалерии в войске одной фемы исчисляется Львом в 4 тыс. человек; кавалерийскую армию в 5—12 тыс. человек он считает достаточной для ведения значительных операций (TL. XII. 32; XVIII. 143; XVIII. 150). Максимум пехотного войска Лев определяет в 24 тыс. человек (TL. IV. 67).

Верховный военачальник фемной армии именовался стратигом. Под его руководством находились командиры разных рангов: высших (мерархи, турмархи), средних (друнгари, комиты, кентархи) и низших (декархи, пентархи, тетрархи). Общее число архонтов в фемном войске средней численности (4 тыс. человек) составляло 1346 человек (TL. XVIII. 149). Командный состав фемного войска был непостоянным; назначение на должность производилось лишь на время данной кампании и автоматически прекращалось с ее завершением.

Кроме командных должностей, «Тактика Льва» перечисляет целый ряд должностных лиц, имеющих определенные обязанности. Таковы бандофоры (знаменосцы), букинаторы (трубачи), мандатора (адъютанты или вестовые) и т. д. Сохраняются и известные по «Стратегикону Маврикия» иные военные должности. Большой штат обслуживающего персонала имелся в обозе. Ценным является отрывок (TL. IV. 30—31), где перечисляются основные должностные лица фемной канцелярии (комит когорты, domestik фемы, протонотарий, хартуларий, претор). Лев считает необходимым подчеркнуть широкие судебные полномочия претора и его право непосредственной апелляции к самому императору.

Сложная внутренняя структура армии, наличие в ней дифференцированных воинских подразделений, призванных решать различные задачи, определяли необходимость снабжения армии разнообразным вооружением. Последнее, по мнению автора «Тактики», должно подбираться в соответствии с качествами и предназначением воинов, с учетом их собственного желания и по усмотрению командиров (TL. VI. 1). Все элементы вооружения, известные автору «Стратегикона», были знакомы и Льву. Сверх того он называет среди доспехов всадников металлические шейные щитки, поножи и наголенники, а также надеваемые на ноги железные педилы. Подробно описываются разнообразные накидки и плащи, надеваемые поверх доспехов и изготавливаемые из шерсти, льна и войлока. Лошади всадников также снабжались железными или войлочными нагрудниками, шейными щитками, налобниками, особыми подвесками для прикрытия живота (TL. V. 4; VI. 4; VI. 8—10).

Из защитного и наступательного оружия по сравнению со «Стратегиконом» добавлена двухсторонняя секира, причем ее стороны могли иметь различную конфигурацию: лезвие типа меча, наконечник типа копья, массивный шар и т. д. Кроме того, легковооруженные воины — псилы — снабжались так называемыми соленариями — деревянными механизмами типа самострелов (TL. VI. 11, 25—26).

Как можно заметить, прогресс в области вооружения шел в трех основных направлениях: по пути совершенствования доспехов, по пути создания универсальных видов вооружения

типа секир, сочетающих в себе одновременно элементы наступательного и оборонительного оружия, и по пути конструирования приспособлений, увеличивающих скорость и дальность стрельбы. О качестве оружия можно составить представление по сообщениям нарративных источников. Так, любопытные эпизоды, свидетельствующие об эффекте применения византийского оружия по сравнению с иностранным, содержатся в «Истории» Льва Диакона — источнике, хронологически наиболее близком к «Тактике» и в достаточной степени достоверном (*Leon. Diac.* I. 5; VI. 11—12; VII. 8; IX. 2.8).

Интересно упоминание в «Тактике Льва» о так называемом «греческом огне»⁶. Изобретенный при Константине IV Погонате (668—685) неким Каллиником, архитектором из Гелиополя, и примененный как будто впервые (по сообщению Феофана) в 673 г., «греческий огонь», естественно, еще не был известен автору «Стратегикона». Характерно, что Лев упоминает его в V и XIX главах своего трактата, которые, как было отмечено выше, не связаны со «Стратегиконом». Помимо чисто военного снаряжения, в обозах армии находилось также большое количество других инструментов — пил, молотов, заступов, ручных мельниц, осадного снаряжения и средств переправы через водные препятствия (TL. V. 6—9). Предметом особой заботы стратига должно быть снабжение войска продовольствием, питьевой водой, фуражом с запасом не менее чем на 8—10 дней (TL. VI. 29). Многочисленные и разнообразные виды вооружения и снаряжения армии находились в тесном взаимодействии с ее тактикой. Эти две стороны военного дела всегда неразрывно связаны между собой и взаимно обуславливают развитие друг друга. {282}

Файл byz283g.jpg

Триптих из Арбавиля.

Слоновая кость X в.

Париж. Национальная библиотека.

Как уже отмечалось ранее, в представлении Льва один из важнейших элементов тактики заключался в искусстве правильного построения войска. Отсюда то большое внимание, которое уделяется в трактате боевому и походному построению армии. Говоря о первом из них, Лев полностью разделяет главную идею «Стратегикона» о недопустимости выстраивания войска в одну линию. Это допускается лишь в исключительных обстоятельствах, диктуемых боевой обстановкой (TL. XII. 13—14). Во всех остальных случаях войско должно быть эшелонировано в глубину на две или даже три линии. Различные варианты боевого построения зависят от количества и соотношения в войске конных и пехотных подразделений. Максимальная глубина пехотной фаланги определяется в 16 человек (TL. IV. 69); обычно же она не превышает 8 или даже 4 человек (TL. VII. 69). Плотность построения конных частей колеблется в пределах 5—10 всадников (TL. XIV. 70).

В отличие от «Стратегикона», основная часть которого посвящена видам построения кавалерии, «Тактика Льва» ведет речь о строе смешанного (конного и пешего) войска. Основой такого построения является фаланга тяжеловооруженной пехоты (скутатов); легкая пехота (псилы) группируется вокруг скутатов и служит для их поддержки. Кавалеристы, как правило, разделяются на две части и располагаются по краям пехотного строя.

Тяжеловооруженная пехота призвана принять на себя основной удар противника, сковать силы врага и дать возможность коннице совершать маневры обхода, охвата или окружения. Колонны скутатов играют роль живой крепости, за которой могут укрыться в случае неудачи и конница, и легкая пехота. И хотя победа в сражении достигается за счет стремительных кавалерийских атак с применением разнообразных хитростей, условия этой победы обеспечиваются непоколебимостью живых подвижных крепостей — колонн тяжеловооруженной пехоты.

Второстепенная роль пехоты в византийской армии X в. не вызывает сомнений; общая перспектива развития вооруженных сил заключалась во все большем ее умалении. Однако было бы неправильно вообще ее отвергать, а тем более отрицать само наличие пехоты в армии X в., как это делал, например, Г. Дельбрюк⁷, считавший описания вооружения и тактики пехо-

⁶ Zenghelis C. La Feu Gregeois et les arms a feu des Byzantins//Byz., 1932. Т. 7, fasc. 1. P. 265—286: Κορ; ῥ; ἄζ Φ. Κ. «Υὔρι; ἂ πῆρ». Ἐνα ο; ῑ; ἴπλο τη; ῑς βυζαντινη; ῑς. Θεσσαλονίκη, 1985.

⁷ Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. М., 1938. Т. 3. С. 142—149.

ты в трактатах X в. чистым теоретизированием. Подобное мнение находится в противоречии с указаниями нарративных источников, в частности того же Льва Диакона. Пехота постоянно фигурирует в его описаниях военных сражений, проявляя иногда себя как наиболее жизнеспособный род войск. Так, в результате поражения от болгар византийцы потеряли почти всю конницу и обоз, и только пехотные части смогли вернуться к «римским пределам» (*Leon. Diac. X. 8*). Значительной также была роль пехоты в организации лагеря, в несении караульной и разведывательной службы. Длительное сохранение пехоты в составе действующей армии являлось одной из отличительных особенностей византийской военной организации по сравнению с Западом.

Что касается рекомендаций «Тактики» относительно порядка совершения маршей и обеспечения безопасности движения (гл. IX), то они {284} практически не отличаются от аналогичных указаний Маврикия. На основании старых военных трактатов составлены гл. X, рассказывающая об обозе, и гл. XI, посвященная вопросам лагерного устройства. Также из «Стратегикона» почерпнуты основные идеи, касающиеся руководства боем, организации взаимодействия различных родов войск и элементов боевого порядка, использования результатов боя, в зависимости от его благоприятного или неблагоприятного исхода.

В гл. XV, посвященной осаде и обороне крепостей, фактически полностью обойден вопрос об осадной технике. Отдельные механизмы и приспособления лишь упомянуты по ходу изложения (TL. XV. 19) — относительно деталей этого вопроса читатель отсылается к трактатам древних. Рассматривая различные варианты взятия крепостей штурмом и блокадой, автор отдает явное предпочтение второму способу. Главная цель осаждавших — не давать противнику ни минуты покоя, постоянно тревожить его, поддерживая в состоянии максимального напряжения (TL. XV. 16).

Важные сведения содержатся в гл. XVII, обобщающей опыт ведения пограничных войн против грабительских нападений конных кочевников. В литературе уже давно было отмечено, что эта глава — одна из лучших в трактате как по содержанию, так и по форме, и к тому же она отличается значительной самостоятельностью⁸. Здесь Лев касается общих проблем подготовки к войне не только армии, но всего государства в целом или по крайней мере той его области, которой угрожает вражеское нашествие (TL. XVII. 79—86). Среди первоочередных мероприятий перечисляются укрепления крепостей, эвакуация людей и скота, организация непрерывного наблюдения за врагом. Однако главная забота полководца должна заключаться в подготовке боеспособной армии, постоянно угрожающей вторгнувшимся врагам. Лучшее же средство, с помощью которого можно добиться ухода врага из пределов страны, состоит, по мнению Льва, в осуществлении вторжения на вражескую территорию. Если же неприятель, узнав о вторжении, устремится против этой армии, ее нужно спешно вывести с территории врага другим путем, не ввязываясь в бой (TL. XVII. 81—82). Тем самым будет достигнуто освобождение захваченной врагом территории без ущерба для собственной армии — идеал, к которому всегда стремится обороняющаяся сторона.

Материал гл. XVII «Тактики» знакомит нас с внешнеполитической ситуацией, в которой находилась империя во времена Льва, — ситуацией постоянной напряженности на границах, непрерывных пограничных стычек, особого промежуточного состояния между войной и миром, когда, говоря словами автора трактата, уже «не господствует мир, но война еще не проявилась с очевидностью» (TL. XVII. 1). Естественно, что империи приходилось напрягать все силы, чтобы поддерживать свой военный потенциал на уровне постоянной мобилизационной готовности.

Военно-политическая доктрина, пронизывающая «Тактику Льва», имеет ярко выраженный оборонительный характер. Подчеркивая необходимость быть всегда готовым к войне, обеспечить перевес сил над врагом, сохранять постоянную бдительность. Лев не рекомендует нападать {285} на врага первым. Он говорит о себе как о решительном стороннике мира, добрососедских отношений с другими странами, справедливости во внешней политике. К военным действиям следует прибегать лишь тогда, когда столкновение спровоцировано неприятелем. Тогда появляются законные основания для применения силы, война приобретает справед-

⁸ *Jähns M. Geschichte der Kriegswissenschaften. München; Leipzig, 1889. Abt. 1, S. 167.*

ливый характер, и вести ее нужно с уверенностью в помощи божественного провидения (ТЛ. II. 48—50).

Особая приверженность Льва миру, его призыв «не обагрять землю кровью ни соплеменников, ни варваров» (ТЛ. II. 49) приобретает специфическое звучание. Объяснение этому не следует выводить из религиозно-этических доктрин, исповедуемых Львом,— оно вытекает из общего кризисного состояния военной организации империи на рубеже IX и X столетий.

Материал трактата Льва свидетельствует, что империя проводила в это время политику обороны на всех фронтах. Военный потенциал государства поддерживался чрезвычайно дорогой ценой. Громадные средства тратились на подготовку к войне, но от ее ведения Византия обычно стремилась уклониться. Значительная масса производительных профессий отвлекалась на обеспечение военных нужд государства; их труд в этих условиях не приносил непосредственного хозяйственного эффекта. Складывалось парадоксальное положение: чем больше экономических усилий и финансовых средств тратилось империей на обеспечение и поддержание военного потенциала, тем слабее он использовался.

В свете вышеизложенного заслуживает внимания этнографическая информация, содержащаяся в гл. XVIII «Тактики». Следуя традиции, заложенной «Стратегикомом», Лев посвятил ряд страниц своего сочинения характеристике военных обычаев соседних народов, с которыми империя вступала в военное соприкосновение. Подобно своему предшественнику в военном деле, Лев разделял традиционные этнографические воззрения византийцев. Но, разумеется, внешнеполитическая ситуация в IX—X вв. была иной, чем во времена Маврикия, и Лев не мог не отразить ее в своем труде.

Главными противниками империи в это время были арабы, которым Лев уделил наибольшее внимание, посвятив им заключительные разделы главы (ТЛ. XVIII. 109—142)⁹. Материал о персах (ТЛ. XVIII. 21—39) в основном заимствован из трактата Маврикия, но изложен в общем плане и преимущественно в прошедшем времени. Примерно в этом же духе рассмотрен материал о франках и лангобардах (ТЛ. XVIII. 78, 80—98), но при этом подчеркнуто, что они приняли христианство, стали союзниками империи и война с ними практически исключена.

Показательна и разница в подходе к славянам и антам. Последние Львом вообще не упоминаются, как и в остальных византийских источниках после 602 г., а о славянах сказано, что они покорены ромеями и перестали быть источником постоянной опасности для империи (ТЛ. XVIII. 79). Что же считает Лев необходимым сообщить о них своим военачальникам? С военной точки зрения его сведения содержат незначительную по ценности информацию — неизмеримо меньшую, чем в {286} «Стратегиконе Маврикия». По существу они представляют собою набор традиционных этнографических клише, которыми в свое время, несомненно, располагал и автор «Стратегикона». Но если последнему все же удалось вложить в готовые схемы реальное, соответствующее современной ему действительности содержание, то автор «Тактики» оказался полностью в плену книжной традиции.

Своеобразно решается Львом вопрос о новых противниках империи, не охарактеризованных в «Стратегиконе». В одном месте, сохранив текст Маврикия, он просто заменил авар болгарскими, подведя их под общее наименование скифов (ТЛ. XVIII. 43.). О болгарях, которых, архаизируя, Лев относит к кочевникам, сказано, что они уже дорого заплатили за свое вероломство и ныне полностью подчинены империи, но поскольку их тактика не отличается от тактики так называемых «турок», то она заслуживает внимания (ТЛ. XVIII. 44—45). Как установлено Д. Моравчиком¹⁰, под «турками» Лев понимал венгров.

Разумеется, в своих этнографических описаниях Лев не мог избежать ошибок, поскольку тактика тюркских народов VI в. не могла быть тождественной тактике венгров и болгар IX в. Тем не менее сведения «Тактики» в большинстве случаев подтверждаются сообщениями западных и восточных источников, и потому нарисованная Львом картина может быть признана в достаточной степени аутентичной. Это дает основание венгерским исследователям рассматривать соответствующие пассажи гл. XVIII «Тактики Льва» в качестве ценного источника по истории их народа. Что касается болгар, то данные «Тактики», видимо, достоверны в отноше-

⁹ Ср.: *Kolias T. G. The Tactica of Leo VI the Wise and the Arabs / Greco-Arabica. 1984. Vol. 3. P. 125—135.*

¹⁰ *Moravčsik Gy. La tactique de Léon le Sage comme source historique hongroise// ANASH. 1951—1952. T. 1, fasc. 1. P. 178.*

нии лишь конных соединений болгарского войска, включавшего в это время и пехотные части, комплектовавшиеся в соответствии со славянскими военными традициями. В отличие от «Стратегикона» трактат Льва фактически не содержит рекомендаций по ведению наступательных действий против варварских народов — материал XVIII главы либо вообще нейтрален с военной точки зрения, либо лежит в русле оборонительных концепций.

Важным инструментом повышения боеспособности войска византийские авторы считали воздействие на моральное состояние командного и рядового состава: в свою очередь, существенным составным компонентом идеологической подготовки воинов являлось их религиозное воспитание. Лев активно воспринял и развил все рекомендации на этот счет, содержащиеся в трактате его предшественника. Армия рассматривается Львом как христолюбивое воинство, которое сражается не только за интересы империи, но и во славу всего христианского мира (TL. XVIII. 19); характерно, что эта сентенция Льва предваряет раздел, посвященный военным обычаям варварских народов. Следует, однако, подчеркнуть, что, уделяя значительное внимание религиозному воспитанию воинов, авторы военных трактатов не проявляют стремления насаждать в армии религиозный фанатизм, ненависть к иноверцам. Учитывая полиэтничный характер населения империи и, следовательно, состав армии, военные писатели не делают акцента на противопоставлении одного народа, проживающего в империи, другому — отсюда относительная веротерпимость, {287} особенно заметная в сопоставлении с религиозной политикой соседей и позднейших противников Византии.

Такова в основных чертах характеристика трактата «Тактика Льва». Явившись организационной составной частью византийской военной традиции, он обобщил достижения военно-теоретической мысли предшествующих поколений. Кодификаторская деятельность Льва в области военной науки заслужила высокой оценки у большинства исследователей. Можно согласиться с высказыванием М. Иенса: поскольку ни византийское, ни западное, ни восточное средневековье не дали другого военного руководства, равного «Тактике» по теоретической основательности и богатству содержания, трактат Льва можно рассматривать как высшее достижение в развитии военной науки X столетия¹¹.

Достоинства трактата были в полной мере оценены как современниками, так и потомками. Свидетельство этому — факт распространения трактата в громадном количестве рукописей, содержащих как трактат в целом, так и многочисленные извлечения из него. Интерес к «Тактике Льва» проявлялся на протяжении многих столетий. Значительное влияние воззрения Льва оказали уже в XVII в. на концепцию австрийского полководца и военного теоретика Р. Монтекукколи (1609—1680). Большое внимание уделял «Тактике Льва» прусский король Фридрих II, специально для которого этот трактат был переведен на немецкий язык.

Известно, что с текстом «Тактики» лично ознакомился Петр I в тот период, когда закладывались основы русской регулярной армии. Для этих целей трактат был в 1700 г. переведен на церковнославянский язык. Именно через этот канал произошел любопытный феномен возрождения некоторых принципов византийского военно-уголовного законодательства на русской почве, подготовленной к этому предшествовавшей многовековой традицией, ведущей начало с эпохи христианизации Руси. В результате оказывается возможным проследить явное влияние норм византийского военно-дисциплинарного кодекса, содержащегося в «Тактике Льва» (TL. VIII. 1—27)¹², на первый русский военно-уголовный кодекс, который под наименованием «Артикул воинский с кратким толкованием» составил вторую часть «Воинского Устава», утвержденного Петром I в 1716 г.

Сравнительный анализ показывает, что все сюжеты военно-дисциплинарного кодекса «Тактики», за небольшим исключением, имеют соответствия в «Артикуле воинском». Византийское влияние на русский кодекс прослеживается по следующим основным направлениям: круг правоотношений, подлежащих урегулированию, в «Артикуле» очерчен в близком соответствии с проблематикой византийского военно-уголовного законодательства; оно же явилось исходной базой для определения в «Артикуле» конкретных составов воинских преступлений; решая вопрос о соотношении различных составов преступлений по степени их тяжести, «Артикул» черпает основополагающие идеи для таких построений именно в нормах византийского

¹¹ Jähns M. Op. cit. S. 168.

¹² Подробнее см.: Кучма В. В. Νόμος στρατιωτικός // ВВ. 1971. Т. 32. С. 276—284.

права, которые определяют также общий подход «Артикула» к проблеме военно-уголовной ответственности; воспринимая общее содержание конкретной византийской нормы, «Артикул» {288} зачастую заимствует и соответствующие санкции, которые она устанавливает.

Файл byz289g.jpg

Чаша, найденная в с. Вильгорт (Приуралье).

Серебро, чеканка, позолота,

гравировка, чернь. XII в.

Ленинград. Гос. Эрмитаж.

Если учесть, что созданный при Петре I «Артикул воинский» применялся в России в военное время до издания «Полевого уголовного уложения» 1812 года в мирное время — до выхода в свет «Военно-уголовного устава» 1839 г., следует признать, что мы имеем дело с фактом весьма неординарным и потому заслуживающим самого пристального внимания. Ибо перед нами уникальный образец культурно-исторической традиции, перерастающей национальные и хронологические рамки и в итоге рождающей феномен, поражающий воображение: принципы, освещенные ореолом славной старины в Византийской империи времен Велизария и Маврикия, будучи заимствованными на русской почве через посредство «Тактики Льва», еще сохраняли свою жизнеспособность во времена Кутузова и декабристов.

Византийская военная литература X в. представлена еще целым рядом трактатов. Многие из них посвящены отдельным вопросам военной науки и не имеют столь универсального, энциклопедического характера, который свойствен «Тактике Льва».

Активизация военно-теоретической мысли византийцев вызвана стремлением найти выход из кризисного положения империи, в котором она {289} оказалась на рубеже IX и X вв. На границах появился новый потенциальный противник — венгры; болгары превратились из друзей во врагов; в конце царствования Льва Константинополь подвергся нападению русов. Западные арабы, захватившие Сицилию и Крит, постоянными нападениями опустошали острова Эгейского моря и его побережье, ставя под угрозу не только торговые коммуникации Византии в Восточном Средиземноморье, но и самую безопасность этих частей империи. Угроза арабских вторжений сохранялась и с востока. Но, пожалуй, еще более напряженная обстановка складывалась в районе Балкан, где Византия столкнулась с крепнущей болгарской державой.

Борьба на этих фронтах составляла главное содержание военной истории империи при Льве VI, а общий баланс этой борьбы был не в пользу византийского оружия. Империя была втянута в длительные войны, носившие с ее стороны преимущественно оборонительный характер. Лев пытался избежать войны даже путем уступок противнику, который почти всегда выступал инициатором развязывания войны. Так, он в течение длительного времени (886—900) уклонялся от войны с арабами, избегая наступательных действий и всецело передав в их руки стратегическую инициативу.

Положение бывало особенно напряженным, когда империи приходилось вести войну одновременно на двух или нескольких фронтах. Противники Византии стремились использовать именно такие моменты. Так, первая война болгарского царя Симеона против Византии была начата им в 894 г., когда лучшие армии империи во главе с Никифором Фокой (Старшим) находились в итальянской экспедиции.

Поражения византийских армий сопровождалось сокращением территории империи. Византии приходилось напрягать все силы в борьбе с внешним врагом. Огромная заслуга в том, что империи удавалось не только стабилизировать положение, но временами даже переходить в наступление, принадлежит искусству византийской дипломатии, которая достигала успехов даже тогда, когда Византия отнюдь не обладала военным преимуществом ни на суше, ни на море (см. выше гл. 7).

Неудачи Византии на внешних фронтах были тревожным симптомом начинающегося кризиса фемной военной организации. Когда фемный строй переживал период расцвета, он обеспечивал эффективное функционирование военного аппарата, высокие мобилизационные возможности государства. Воин, в случае войны полностью экипированный за собственный счет; производитель и налогоплательщик в мирное время — таков был «классический» стратигот VII—VIII вв. Категория, относящаяся к такому социальному разряду, составляла большинство населения империи. Следовательно, как с точки зрения материального положения, так и

социального статуса стратиотское сословие являлось прочной основой византийской военной организации фемного типа. Отражая интересы определенной части господствующего класса — городском чиновной знати, фемный строй стоял на защите государственной централизации. В этом плане он открывал возможности государственного регулирования экономической деятельности. И в первую очередь эта возможность должна и могла быть реализована, в военно-экономической области. Стабилизация экономики Византии, достигнутая в VII—VIII вв. в результате укрепления мелкого и среднего свободного землевладения, оздоровилась военную организацию, обеспечила ее устойчивость, прочность и динамичность. В свою очередь, фемный строй создавал возможность быстрой и сравнительно безболезненной перестройки мирной экономики на военный лад и обратно.

Впрочем, такая перестройка обычно не приобретала кардинального характера. Вся история Византии — это история непрерывных войн. Промежутки между ними были кратковременными; собственно, это были не столько периоды мира в полном смысле слова, сколько периоды кратковременных перемирий, заполненных новыми военными приготовлениями. В каждый конкретный момент своей истории Византия либо воевала, либо готовилась к войне, либо переживала последствия войны. Поэтому ее обычное состояние может быть определено как состояние перманентной войны. В соответствии с этим экономика государства неизбежна должна была приобрести и сохранять перманентный военный характер, чутко реагировать на малейшие изменения во внешнеполитическом положении империи. Как уже было отмечено ранее, фемный строй в период расцвета наиболее полно соответствовал этим требованиям.

С конца IX в. фемная военная организация стала клониться к упадку. В первую очередь это проявлялось в размывании социальной основы фемного войска. Все большая часть стратиотского сословия, разоряясь, оказывалась не в состоянии исполнять воинскую службу. Кризис фемной военной организации повлек за собой постоянное увеличение государственных расходов, хотя бы потому, что стал расти удельный вес наемного элемента армии, а приток военной добычи все время уменьшался. Возникающая вследствие этого диспропорция неблагоприятно отражалась на финансовом и общем экономическом состоянии империи.

Военно-теоретическая мысль Византии искала выход из кризисного состояния военной организации в двух основных направлениях. Первый путь представлялся наиболее простым, максимально безболезненным и, как казалось, обещающим быстрый практический эффект. Он заключался в непосредственном учете боевой практики, разумеется, той, которая являлась позитивной для византийского оружия, и в выработке конкретных рекомендаций, рассчитанных на немедленное применение. Отказавшись от конструирования обобщающих руководств с энциклопедическим охватом проблем военной науки, какими были «Стратегикон Маврикия» и «Тактика Льва», ряд авторов обратился к разработке отдельных сюжетов военной практики, намереваясь вооружить стратига или архонта меньшего ранга совокупностью определенных, уже апробированных и оправдавших себя приемов и методов решения конкретных боевых задач, правильного осуществления отдельных боевых действий в отношении конкретного, строго персонифицированного противника.

Образцами именно этой тенденции в военной литературе X в. являются два анонимных трактата, вошедшие в письменную традицию под условными (явно неавторскими) наименованиями «*De velitatione bellica*» и «*De castrametatione*»¹³.

Трактат «*De velitatione bellica*», составленный во времена императора Никифора II Фоки (963—969 гг.), а по некоторым предположениям, и принадлежавший его перу, — это тактическое руководство по ведению {291} военных действий против конкретного неприятеля — арабов — на конкретном театре военных действий, на восточных границах империи. По описанию автора, стычки здесь ведутся сравнительно небольшими силами: контингент в 5—6 тыс. человек считается достаточным для успешных действий. Характер стычек стремительный и непродолжительный, с применением многочисленных и разнообразных хитростей, засад, ночных нападений; нет и речи об осадах, длительных маневрах, стратегии измора или выжидания. Много говорится об организации шпионской и разведывательной служб.

Все исследователи «*De velitatione bellica*» единодушны в высокой оценке его стилистических и композиционных достоинств. Написанный ярким языком, этот трактат с литератур-

¹³ Сведения об изданиях трактата см.: *Dain A. Les stratégistes...* P. 369.

ной точки зрения занимает первое место среди аналогичных памятников за всю многовековую историю византийской военной науки. Прямые обращения автора к военачальнику придают излагаемому материалу еще большую живость и непосредственность. Материал в трактате великолепно скомпонован, изложение ведется последовательно и логично, все части сочинения гармонично уравновешены. При этом писательское мастерство автора находится в счастливом сочетании с его профессиональными достоинствами полководца. Автор сочинения — человек опытный, в совершенстве владеющий своим предметом. В целом за трактатом обоснованно закрепилась репутация солидного источника, содержащего сведения столь же яркие по форме, сколь и надежные по достоверности.

Содержание трактата «De castrametatione» шире, чем это можно предполагать по его названию: кроме вопросов лагерного устройства, в его 32 главах рассмотрены и другие военные сюжеты. В отличие от «De velitatione bellica», где охарактеризовано положение на арабской границе, автор «De castrametatione» ведет речь преимущественно о положении на западных рубежах империи, где армия рассматривается, вероятнее всего, в состоянии войны с печенегами, тюркскими кочевниками, русскими, но в первую очередь — с болгарами. Автор обращается непосредственно к императору, стоящему во главе армии. Не вызывает сомнений предметное и непосредственное знакомство автора с практикой военного дела; его зависимость от книжной традиции практически ничтожна. Но стилистические и композиционные характеристики сочинения заслуживают более скромной оценки, чем в трактате «De velitatione bellica», автор которого избрал для рассмотрения сравнительно ограниченный круг вопросов и потому смог блеснуть яркой и красочной их разработкой. Автор же «De castrametatione», задавшийся целью осветить более широкий круг военных проблем, заранее обрек себя на более сухое, строгое, иногда тезисное изложение, существенно отличающееся от блестящего эссе своего коллеги.

Военные сочинения типа «De velitatione bellica» и «De castrametatione», при всей практической значимости их рекомендаций, не содержали сколько-нибудь радикальной программы преодоления кризиса военной организации империи. Его первопричины коренились в социальной базе византийской армии, а эти проблемы авторы названных трактатов оставляли без внимания. Предлагаемые ими меры имели половинчатый, паллиативный характер; углубленное внимание к частностям не только не облегчало, но еще более затрудняло решение проблемы в целом. {292} Характерно, что доктринальные воззрения обоих авторов по-прежнему сохраняют отчетливо оборонительный характер. Автор «De velitatione bellica» озабочен исключительно тем, чтобы отразить постоянные нападения арабов на восточные фемы империи; основное внимание автора «De castrametatione», хотя он и мыслит свою армию в ситуации наступательного похода, привлечено к обеспечению собственной безопасности в ходе пребывания на вражеской территории.

Более радикальный выход из кризиса мог быть найден на путях реформ, направленных на преобразование социальной базы византийской армии. Здесь практика шла впереди теории. Поскольку в армии уже проявились и набирали силу процессы социальной дифференциации внутри стратиотского сословия, возвышения архонтского состава над массой рядовых стратиотов, правительство Никифора II Фоки взяло на себя задачу правового регулирования этих процессов. Была повышена втрое — до 12 литр — стоимость солдатского имущества, что привело к резкому сокращению численности стратиотского сословия. Сокращение произошло за счет отстранения от воинской службы малоимущих подданных империи, ущемленных в социальном отношении и малоквалифицированных в военном деле. Оставшиеся на службе контингенты представляли собой кавалерийские подразделения тяжеловооруженных всадников (так называемых катафрактов), аналогичных западноевропейским феодальным рыцарям. Самая детальная, подробная характеристика этой категории вооруженных сил содержится в «Стратегике императора Никифора» — трактате, связанном с именем инициатора упомянутой реформы¹⁴.

Исключительное внимание автора «Стратегики» к катафрактарным кавалерийским подразделениям не мешает ему высказать ряд соображений и о подготовке пехотной фаланги;

¹⁴ О датировке и авторстве трактата см.: *Кучма В. В.* Византийские военные трактаты VI—X вв. как исторический источник//ВВ. 1979. Т. 40. С. 56—57.

последнее обстоятельство позволяет еще раз подвергнуть сомнению гиперкритические концепции Г. Дельбрюка относительно византийской пехоты, о чем было сказано ранее.

В целом «Стратегика императора Никифора» представляет собой практическое военное руководство по ведению войны на восточных границах империи против арабов. «Ученость» автора исчерпывается немногими замечаниями по истории македонской фаланги и единичными толкованиями терминологии древних. Что касается чисто литературных характеристик трактата, то его достоинства в этом плане чрезвычайно низки: стиль автора типичен для военачальника, профессионально владеющего своим предметом, но не обладающего навыками литератора. Часты нарушения логики изложения материала; нет равномерности в его распределении между затронутыми вопросами: единственное, что заслуживает одобрения,— это «достаточная современность языка», отличающая его от исключительно книжного стиля «Тактики Льва»¹⁵.

Серию военных трактатов X в. (этого, по выражению А. Дэна, «золотого века» византийской военной литературы) завершает огромный компилятивный труд, известный под названием «Тактика Никифора {293} Урана». Детальное изучение трактата чрезвычайно затруднено, поскольку до сих пор отсутствует полное его издание; в рукописях он также не встречается в полном виде, но разбросан по частям в различных списках.

Трактат представляет собой самый яркий образец компилятивной литературы на военную тему. Сочинение целиком построено на предшествующей ему письменной традиции. Способ передачи Никифором сведений своих источников максимально прост — чаще всего это текстуальное воспроизведение, без изменения порядка слов и способа выражения. Лишь в двух случаях, в главах 76 и 122, Никифор решился поправить фразы предшественника, и лишь единственный сюжет в этой громадной энциклопедии А. Дэн склонен рассматривать как проявление авторской самостоятельности — речь идет о способах преодоления водных преград¹⁶. В целом же «Тактика Никифора Урана» — это образец компиляции практически в чистом виде, почти лишенной самостоятельности, полностью обезличенной, в которой попытка обнаружения собственных мыслей автора встречает неодолимые препятствия.

Несмотря на громадные размеры сочинения и разнообразие его тематики, оно характеризуется внутренним единством. Автор всюду сохраняет собственный стиль, максимально соответствующий его парафрастическим приемам и методам. Синтаксическое построение фраз довольно однообразно, а лексика отличается бедностью.

Говоря о значении «Тактики Никифора Урана» в истории военной литературы, нужно иметь в виду, что это последний по времени, самый полный свод сведений военного характера, по существу военная энциклопедия, завершающая многовековое развитие византийской военной науки. В этом плане, казалось бы, самые отрицательные черты данного сочинения — крайняя несамостоятельность, слепое следование оригиналу — оборачиваются своеобразными достоинствами: трактат воспроизводит содержание многих военных сочинений, ныне полностью утраченных или дошедших до нас во фрагментах. Можно предположить, что весьма плодотворной явилась бы работа по сличению полного текста источников Никифора и тех частей из них, которые он счел необходимым включить в свое сочинение,— совершенно очевидно, что выявление закономерностей этого отбора дало бы ценные результаты в плане выяснения общих тенденций развития военно-теоретической мысли византийцев как в X в., так и в последующие периоды, от которых практически не сохранилось памятников военной литературы.

Анализ памятников военно-теоретической мысли конца X в. свидетельствует, что военная организация империи переживала в это время период сложного внутреннего перерождения. Обрисованные в трактатах отдельные ее стороны и элементы складываются в картину, столь пеструю и противоречивую, что возникают сомнения в ее целостности: создается впечатление, что в империи в одно и то же время сосуществуют несколько систем организации вооруженных сил, построенных на различных основополагающих принципах.

Вторая половина X в.— эпоха кризиса фемной военной системы, время ее разложения; но это одновременно и эпоха зарождения новых {294} элементов в организации вооруженных сил. Успехи византийского оружия в период царствования Никифора II Фоки, Иоанна Цимис-

¹⁵ Dain A. La «Tactique...» P. 48—49.

¹⁶ Dain A. Les stratégistes... P. 373.

хия и Василия Болгаробойцы принадлежали именно этой армии переходного периода, когда, с одной стороны, в ней появились новые, прогрессивные элементы вооружения и тактики, улучшился качественный состав войск в профессиональном смысле, а с другой стороны, армия еще не оторвалась окончательно от питающих ее жизнедеятельность слоев населения.

Разумеется, такое переходное состояние имело определенные хронологические пределы. Возврата к прошлому, естественно, быть не могло; весь объективный ход исторического развития предопределял дальнейшую эволюцию византийского войска в армию феодального типа. Однако характерный для всех сфер внутривизантийской жизни империи острейший конфликт между прогрессивными тенденциями общественного развития и традиционными началами идеологии, государственности и правопорядка проявлялся и в области военного дела.

Результатом этого конфликта явилось то, что в империи так и не сложилась военная система, основанная на феодальных началах в их классической форме. Все чаще и все более последовательно правительство становилось на путь содержания наемного профессионального войска. Со времени окончательного крушения фемного строя вплоть до трагедии 1453 г. военная организация Византийской империи не имела жизнеспособной социальной основы в самом византийском обществе. {295}

10

Естественнонаучные знания

Характер и содержание научных задач, выдвигавшихся и решавшихся в различные исторические эпохи, тесно связаны с состоянием производительных сил общества. На каждом историческом этапе под влиянием запросов производства и жизненных, свойственных данному периоду, потребностей людей ставились лишь такие научные проблемы, которые можно было решить при наличии материальных условий и на основе накопленного объема знаний и практического опыта. В предисловии «К критике политической экономии» К. Маркс писал, что «человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления»¹.

Процесс накопления естественнонаучных знаний совершался неравномерно в разные эпохи. Особенно замедленными темпами он происходил в средние века, когда основой развития их было ремесло, техника которого базировалась на ручном труде и использовании примитивных орудий, а совершенствование шло путем приобретения и накопления трудовых навыков.

Унаследованные от античности естественнонаучные знания продолжали усиленно изучаться и старательно усваиваться в византийском обществе и в VII—XII вв.²

В соответствии с этим византийские ученые старались охватить все области тогдашнего знания. Круг их интересов был весьма широк. Их перу принадлежат сочинения по математике, механике, физике, астрономии, медицине. Энциклопедичность и универсальность знания были идеалом византийцев. Необычайно разносторонним ученым был Лев Математик. Он занимался разработкой проблем физики, практической механики, математики, акустики, астрономии и прикладного естествознания³. Исключительно широкими интересами обладал Иоанн Дамаскин, стремящийся овладеть всей суммой знаний, завещанных античностью. Одним из самых выдающихся ученых Византии являлся Михаил Пселл. Он был автором многочис-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 7.

² Литвиц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры (VIII — первая половина IX века). М.: Л., 1961. С. 365; Lemerle P. Le premier humanisme byzantin. P., 1971. P. 304. 306—307; Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1974. С. 150.

³ Литвиц Е. Э. Византийский ученый Лев Математик: Из истории византийской культуры в IX в. // ВВ. 1949. Т. 2. С. 137, 147; Она же. Очерки... С. 356.

ленных трактатов по математике, медицине, физике, астрономии, агрикультуре, оккультным наукам. Его считали сведущим во всех областях светского и «божественного» знания⁴.

Стараясь овладеть сокровищами античной науки, византийские ученые многое сделали для сохранения трудов, дошедших из древности. Много внимания они уделяли переписке сочинений греко-римских мыслителей и их комментированию. Подготовленные ими новые списки творений классических и эллинистических мыслителей и составленные к ним толкования сделали возможным их современные критические издания. В IX—XII вв. были созданы лучшие греческие кодексы, содержащие сочинения древнегреческих авторов. Именно данные списки и были использованы учеными нового времени при подготовке публикаций трудов античных писателей⁵.

Благоговейное отношение к классическому наследию требовало, с одной стороны, его сохранения, с другой — приведения в порядок накопленных в прошлом знаний. От рассматриваемых столетий до нас дошли многочисленные попытки классификации материала, полученного от античности. На заре, анализируемой эпохи один из крупнейших ученых своего времени Иоанн Дамаскин дал образец систематизации знаний, приобретенных человечеством в предшествующие исторические периоды, охарактеризовав в своем сочинении «Источник знания» сумму научных сведений, необходимых образованному христианину. Его главная цель заключалась в усвоении «высшей мудрости», уже открытой, по его мнению, человечеству, и в ознакомлении с ней христиан (PG. T. 94. Col. 524—525). Следуя авторитетным суждениям Иоанна Дамаскина, византийские ученые проделали огромную работу по систематизации античной и патристической традиции. Ими было составлено бесчисленное количество «сводов», разнообразных энциклопедий, справочников, лексиконов, компендиев, обычно представляющих собой собрание эксцерптов из сочинений древних авторов⁶.

Систематизация античного наследия, проведенная виднейшими авторитетами, помогала византийцам осваивать колоссальный материал, собранный в трудах древнегреческих мыслителей, в которых они могли найти ответы на волновавшие их вопросы. Вера в превосходство книжного знания над опытным, над экспериментом заставляла их отдавать предпочтение работе с книгой⁷.

Однако при всей приверженности к традиции византийская наука не была оторвана от реальной действительности, от повседневных потребностей. Применение научных знаний в реальной жизни продолжало оставаться характерной ее особенностью и в рассматриваемую эпоху. В работах отдельных ученых этого периода можно обнаружить интерес к исследованию и познанию окружающего мира, явлений природы⁸. {297} Иоанн Грамматик, которого иконопочитатели называли Леканомантом, предтечей дьявола, чародеем и магом, по сообщению Продолжателя Феофана, устроил в имении своего брата Арсавира на берегу Босфора своего рода подземную лабораторию, где он производил какие-то опыты, вероятно, весьма примитивные (*Theoph. Cont.* P. 156—157).

При безраздельном господстве теологической концепции, когда окружающий мир представлялся творением бога, вопрос о соотношении бога и природы византийские ученые решали, тем не менее, по-разному. Большинство придерживалось взгляда о непрерывном вмешательстве его в жизнь природы и людей, деятельность которых он направляет. Однако отдельные мыслители, такие, как Михаил Пселл, считали, что природа, созданная богом, развивается самостоятельно в соответствии с данными ей при сотворении законами, которые могут быть восприняты и поняты человеком (*Mich. Ps.* I. P. 152)⁹.

Особое внимание в Византии в указанный период уделяли рассмотрению морально-этических, религиозно-нравственных и богословских вопросов, однако традиция изучения естественных и математических дисциплин не прерывалась.

⁴ Гранстрем Е. Э. *Наука // История Византии*. М., 1967. Т. 2. С. 361; Любарский Я. Н. Михаил Пселл: Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 113—114.

⁵ Hunger H. *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*. München, 1978. Bd. 2. S. 224.

⁶ Гранстрем Е. Э. Указ. соч. С. 357, 360.

⁷ Там же С. 357; Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973. С. 72—73.

⁸ Hunger H. *Op. cit.* S. 221.

⁹ Каждан А. П. Книга... С. 74.

Во второй половине VII—XII вв. в Византии продолжали усиленно заниматься математикой, знания которой были необходимы и в повседневной жизни, и при изучении философии в качестве предварительного курса обучения. В течение рассматриваемых столетий не наблюдалось никакого перерыва в преподавании элементарной арифметики и геометрии¹⁰. Патриарх Никифор, родившийся в Константинополе в царствование Константина V Копронима (741—775), приобрел, по словам его биографа Игнатия, солидные познания не только по грамматике и риторике, но и по математике, музыке и философии¹¹.

В IX в. Лев Математик изучал математические науки на острове Андросе. Вернувшись в Константинополь, он занялся преподаванием математических дисциплин. Впоследствии в Магнаврской высшей школе он вместе со своими помощниками Феодором и Феодигием преподавал не только философию, но и предметы квадривиума, читал лекции о трудах Евклида. При этом он старался раскрыть своим слушателям смысл математических теорем, требуя от них понимания математики, а не простого ее зазубривания (*Theoph. Cont.* P. 185—188, 191—192).

Многое было сделано для расцвета математических штудий в царствование императоров Константина VII (913—959) и Константина IX (1042—1055).

В этот период было составлено значительное число учебных руководств по предметам квадривиума, в которых излагались математические знания, унаследованные от античности. Один из ранних и самых популярных учебников появился около 1008 г. Его автор, асикрит и судья Селевкии Роман, при написании этого руководства использовал труды Евклида, Архимеда, Никомаха, Птолемея, Паппа, Феона, Прокла, Феодосия, Клеонида, Вакхия, Гауденция¹². В ряде манускриптов IX—XII вв. встречаются собрания геометрических и стереометрических задач¹³.

О занятиях математикой в Византии в рассматриваемую эпоху свидетельствует большое число дошедших до нас рукописей, содержащих труды античных ученых. Особая роль в сохранении древнегреческого наследия в области математики принадлежит Льву Математику. Именно в годы его жизни были переписаны кодексы с произведениями мыслителей прошлого, некоторые из них находились в его библиотеке. В 888 г. был написан манускрипт, включавший сочинения Евклида, позже приобретенный Арефой Кесарийским¹⁴. Имеющая огромное значение для традиции трудов Диофанта рукопись, с которой был скопирован самый древний в настоящее время кодекс XIII в., также была создана в IX в.¹⁵ К пропавшей рукописи IX в. восходят Ватиканские кодексы XII—XIII вв., содержащие трактат Аполлония Пергского «О конических сечениях»¹⁶. Лев Математик составил коллекцию работ Архимеда¹⁷.

В X в. математические работы великих мыслителей древности продолжали разыскивать и изучать. От X в. происходят ватиканские рукописи с трудами Евклида и с комментарием Евтокия к «Коническим сечениям» Аполлония Пергского, Никомаха и др. В XI—XII вв. изучение математических трактатов древних авторов не прекращалось. От этого периода до нас дошли манускрипты, содержащие труды Евклида («Начала», «Данные» и «Явления»), Прокла, Аполлония Пергского, Герона Александрийского¹⁸. Подготовленные византийцами издания произведений античных мыслителей образовали важное звено в научной традиции. Именно у них западные ученые заимствовали тексты математических сочинений, которые стали основой возрождения занятий математикой на Западе¹⁹.

¹⁰ *Browning R.* Byzantinische Schulen und Schulmeister//Das Altertum. 1963. Bd. 9, H. 2. S. 116—117; *Vogel K.* Byzantine science//The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire, pt 2: Government, Church and Civilization/Ed. J. M. Hussey. Cambridge. 1967. p. 264, 268.

¹¹ *Лунин Е. Э.* Очерки... С. 271.

¹² *Anonymi* Logica et quadrivium cum scholiis antiquis/Ed. I. L. Heiberg. Copenhagen, 1929.

¹³ *Vogel K.* Op. cit. P. 264; *Hunger H.* Op. cit. S. 231.

¹⁴ *Enclidis Elementa // Opera omnia*/Ed. J. L. Heiberg. Lipsiae, 1888. Vol. 5. P. XXVIII.

¹⁵ *Diophanti Alexandrini Opera omnia, cum graecis commentariis*/Ed. P. Tannery. Lipsiae. 1895. Vol. 2. P. XVIII.

¹⁶ *Apollonii Pergaei, quae graece exstant*/Ed. J. L. Heiberg. Lipsiae, 1893. Vol. 2. P. LXVIII.

¹⁷ *Lemerle P.* Op. cit. P. 169—171.

¹⁸ *Vogel K.* Op. cit. P. 271, 273.

¹⁹ *Hunger H.* Op. cit. 5. 237.

Как уже говорилось, большую работу провели византийские ученые не только по разысканию манускриптов с трудами античных математиков, но и по их комментированию. Их толкования сделали доступными для понимания трактаты великих математиков древности: Евклида, Архимеда, Аполлония Пергского, Диофанта и др. До нас дошел комментарий Льва Математика к шестой книге «Начал» Евклида²⁰. Схолии к трудам Евклида были составлены и Арефой Кесарийским. Исправляя ошибки, допущенные писцом при копировании купленного им кодекса с сочинениями Евклида, он сопроводил текст своими толкованиями²¹. {299} Михаил Пселл написал объяснения к «Введению в арифметику» Никомаха Герасского²². Большинство же сохранившихся комментариев, помещенных в рукописях, анонимные. Они сопровождают тексты учебников по арифметике Никомаха Герасского и по геометрии — первые книги «Начал» Евклида²³.

Файл byz300g.jpg

Сотворение мира.

Создание рыб и птиц.

Ок. 1180—1194.

Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

Хотя византийцы мало занимались теоретическими исследованиями, тем не менее ими были сделаны открытия, которые способствовали дальнейшему развитию математики в новое время.

Лев Математик в своей лекции об Евклиде для выражения арифметических отношений впервые применил буквы вместо чисел. Правда, уже в III в. Диофант ввел в алгебру буквенную символику и обращал внимание на правила алгебраических операций, а в IV в. Папп Александрийский во второй книге своего «Математического собрания» употреблял буквы для обозначения дробей и смешанных чисел. Лев Математик сделал дальнейший шаг в развитии алгебраического направления в математике. Он значительно упростил сложную символику Диофанта. В его задачах числа представлены буквами α' , β' , γ' , δ' и т. д. Это создавало предпосылки для развития современной математики, которая и была разработана в конце XVI — начале XVII в. в трудах Ф. Виета, П. Ферма и Р. Декарта²⁴.

Наряду с этим Лев Математик уделял большое внимание рассмотрению внутреннего мистического смысла числа. В единственной сохранившейся до нас гомилии, произнесенной им 25 марта в праздник Благовещения, он выясняет значение некоторых чисел у пифагорейцев, сектантов Симеона и Маркиона и главным образом числа 7 у евреев²⁵.

Еще более значительный интерес к мистическому смыслу чисел проявлял Михаил Пселл, который, следуя за неоплатониками Плотиним и Проклом, считал математические науки связующим звеном между бес-{300}телесными идеями и материальными объектами и замечательным средством воспитания абстрактного мышления. Изучение математики, по его мнению, приводит учащихся к пониманию абстрактного знания. В своем трактате «О числах» он, ссылаясь на Ямвлиха, привлекает числовые спекуляции для объяснения явлений природы и человеческих отношений.

Файл byz301g.jpg

Сотворение мира. Создание человека:

наделение его жизнью.

Ок. 1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

²⁰ Lemerle P. Op. cit. P. 170—171.

²¹ Euclidis Elementa. P. 361—362, 708, 719, 722, XXVII—XXIX.

²² Hunger H. Op. cit. S. 241.

²³ Browning R. Op. cit. S. 116.

²⁴ История математики с древнейших времен до начала XIX столетия/Под ред. А. П. Юшкевича. М, 1970. Т. 1. С. 144—151; Hunger H. Op. cit. S. 237—238.

²⁵ Lemerte P. Op. cit. P. 157.

К пифагорейской мистике чисел Михаил Пселл снова возвращается в сочинении «На возникновение души у Платона» в главе о семи- и девятидесятилетних новорожденных²⁶.

Кроме того, от Михаила Пселла сохранились два послания, в одном идет речь о природе геометрии, в другом — об алгебраических терминах, используемых Диофантом²⁷.

Арифметические и геометрические вопросы рассматриваются в приписываемом Михаилу Пселлу сочинении, в котором дана классификация чисел и отношений и характеристика способа нахождения площади круга. Наиболее распространенным автор считает метод, при котором берется среднее геометрическое между площадями вписанного и описанного квадратов²⁸. Начиная с XII в. византийцы стали употреблять индийские (арабские) цифры. В первый раз они появились в схолиях к 10-й книге «Начал» Евклида в манускрипте XII в.²⁹

Однако основные успехи были достигнуты византийцами не в теоретических изысканиях, а в практическом применении данных математики в повседневной жизни.

Потребности налогового обложения заставляли византийцев уделять особое внимание разработке способов измерения площадей. Сохранились, например, метрологические фрагменты, в которых рассмотрены сложные {301} методы измерения земли различного качества³⁰. При Константине VII Багрянородном около 938 г. появилась анонимная работа, приписанная Герону Александрийскому, об искусстве измерения земли: «Об измерении». Она знакомила византийцев с успехами римской геодезии. Математика использована в ней чисто практически³¹.

Большой интерес проявляли византийцы к изучению астрономии и астрономических трактатов древности. Астрономия была одним из предметов квадривиума, которые преподавали в школах. В IX в. в Константинопольском училище в Магнаврах курс астрономии вел помощник Льва Математика Феодегий (*Theoph. Cont.* P. 191—192). Константин VII, проявлявший большой интерес к наукам, поощрял и тех, кто занимался астрономией. При Константине IX ее преподавал Михаил Пселл, считавший себя знатоком в этой области (*Mich. Ps.* II. P. 76—77). Одним из его учеников был младший племянник патриарха Михаила Кирулария, усвоивший данную дисциплину и рассуждавший о неподвижных звездах, планетах, эклиптических соединениях, причинах затмений³². Заниматься астрономией продолжали в конце XI—XII вв. Правда, мы располагаем сравнительно незначительными сведениями об этом. Никита Хониат упоминает только о занятиях астрономией Сикидита и Симеона Сифа (*Nic. Chon.* P. 147—150)³³. Новый расцвет астрономических штудий наблюдается в царствование Мануила I Комнина, который весьма интересовался астрономией и астрологией³⁴.

О преподавании астрономии свидетельствуют и сохранившиеся до наших дней школьные руководства, подготовленные виднейшими византийскими учеными для облегчения понимания сложных вопросов устройства мироздания.

От конца XI—XII вв. до нас дошел анонимный трактат, названный его первым исследователем и издателем А. Делаттом «Учебником по космологии и географии»³⁵. В нем наряду с другими вопросами много места отведено обсуждению кардинальных проблем средневековой астрономии — таких, как формы и размеры Вселенной, природа небесных тел, количество сфер неба, форма, размеры и местоположение Земли. Автор учебника придерживается геоцентрической системы мира. Он отверг теорию ионийского происхождения о существовании

²⁶ Tannery P. Psellus sur les nombres // Mémoires scientifiques. 1920. T. 4. P. 269—274.

²⁷ Tannery P. Psellus sur Diophante // Ibid. P. 275—282.

²⁸ История математики... С. 249—250.

²⁹ *Euclidis Elementa.* P. XIX; Tannery P. Les chiffres arabes dans les manuscrits grecs // Mémoires scientifiques. 1920. T. 4. P. 199—205.

³⁰ Dain A. Métrologie byzantine. Calcul de la superficie des terres // Mémorial L. Petit. Bucarest, 1948. P. 56—63.

³¹ Schilbach E. Byzantinische Metrologie. München, 1970. S. 7; Hunger H. Op. cit. S. 239.

³² Скабаланович Н. Византийская наука и школы в XI в. // Христианское чтение. 1884. № 4. С. 747.

³³ Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891. С. 214, 243—244.

³⁴ Vogel K. Op. cit. P. 265, 269, 271, 273.

³⁵ Delatte A. Un manuel byzantin de cosmologie et de géographie // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Bruxelles, 1932. 5 série. T 18. P. 189—222.

множества миров. Учебник был весьма популярен в Византии, он сохранился и в большом числе манускриптов, написанных в основном в XV в.³⁶

Непрерывность традиции занятия астрономией в рассматриваемую эпоху подтверждают и рукописи этого периода, содержащие труд Клавдия Птолемея «Альмагест», который считался самой удобной для обучения книгой. От IX в. сохранились три его копии. Одна из них (ватиканская) считалась собственностью Льва Математика, поскольку на л. 263 об. несли маргинальную заметку: «книга самого сведущего в астрономии Льва»³⁷. В другом ватиканском кодексе, также происходящем из окружения Льва, помимо сочинения Птолемея, были помещены небольшие астрономические и астрологические тексты, в том числе основывающаяся на геоцентрической теории Птолемея статья-таблица о вступлении солнца в зодиакальный круг. В состав библиотеки Льва Математика П. Лемерль включил и трактат по астрономии Феона Александрийского³⁸. В рукописях X—XII вв. также встречается «Альмагест» Птолемея. Один из этих кодексов при Мануиле I был отослан в Сицилию и использован в работе по переводу данного произведения на латинский язык³⁹.

Взгляды византийцев на строение Вселенной формировались под воздействием, с одной стороны, древнегреческих теорий, а с другой — библейских воззрений. При этом образованная элита, как правило, придерживалась античных концепций о форме Земли, признавая ее шарообразной, а народные массы разделяли взгляды Священного писания, согласно которым Земля имела форму диска, а небо — полусферы. Виднейший византийский ученый, патриарх Фотий, называл «нелепостями» утверждения Косьмы Индикоплова (PG. Т. 103. Col. 69), который рассматривал Землю как прямоугольный параллелепипед, на краях которой покоится небесный купол (PG. Т. 88. Col. 65 A, 80 D). Сам Фотий отстаивал точку зрения античных мыслителей, которые разработали учение о сферичности Земли и неба⁴⁰. Эта доктрина была воспринята и Иоанном Дамаскином, который считал Землю шаром, окруженным небесными сферами⁴¹. Михаил Пселл и Симеон Сиф также были сторонниками античных концепций устройства мироздания. По их мнению, небо, звезды, Луна, Земля имели сферическую форму, ее они рассматривали как наиболее совершенную (*Delatte. Anecd. II. P. 18*)⁴².

Иоанн Дамаскин, систематизируя знания, приобретенные человечеством в предшествующие столетия, в своем «Источнике знаний» коснулся и отдельных проблем астрономии. Используя сочинения своих предшественников, опиравшихся на труды Аристотеля, Иоанн Дамаскин рассказал о неподвижной небесной сфере, о зодиакальных созвездиях, о семи планетах, вращающихся в противоположную движению Земли сторону (PG. Т. 94. Col. 862—979).

Огромную роль в развитии астрономических штудий в Византии сыграл Михаил Пселл, который в своей «Хронографии» указывал, что занимающиеся астрономией обязаны знать о восходах, наклоне зодиака, затмениях, полнолуниях, эпициклах и т. п. (*Mich. Ps. II. P. 76—77*). {303} Перечисленные вопросы нашли отражение в других его сочинениях, многие из которых до сих пор еще не изданы. Проблемам астрономии посвящены им как специально написанный трактат, в котором идет речь о движении времени, о циклах Солнца и Луны, их затмениях и методах вычисления дня пасхи, так и работа общего характера «Всеобщее наставление». Этот труд, предназначенный для обучения, содержал все известные в то время сведения о физическом мире (PG. Т. 122. Col. 687—784). Материал для составления его Михаил Пселл заимствовал из сочинений Клавдия Птолемея, Аристотеля и их ранневизантийских комментаторов: Олимпиодора, Прокла и др. Хотя он является компиляцией, но в нем нередко встречаются и оригинальные мысли.

Михаил Пселл — убежденный сторонник геоцентрической системы мира великого александрийского астронома. В своих произведениях он выступает с критикой теории существ-

³⁶ Ibid. P. 189—190.

³⁷ Giannelli C. Codices Vaticani graeci. Codices, 1485—1683. Vatican. 1950. P. 225.

³⁸ Lemerle P. Op. cit. P. 169.

³⁹ Vogel K. Op. cit. P. 270—271, 273; Hunger H. Op. cit. S. 238.

⁴⁰ Гаврюшин Н. К. Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. М., 1983. Вып. 16. С. 328; Удальцова З. В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топография» // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 470.

⁴¹ Delatte A. Op. cit. P. 202; Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 328.

⁴² Ср.: PG. Т. 122. Col. 785; Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 334—335.

ования множества миров и отстаивает существование одного единственного мира, состоящего из различных частей (PG. Т. 122. Col. 757). Уделяет он внимание и структуре мироздания. Характеристику ее он начинает с рассказа о небе, затем переходит к неподвижным звездам и зодиакальным созвездиям, к сферам планет, Луны, затем к областям огня, воздуха, воды и земли (PG. Т. 122. Col. 761, 764). Описывает Михаил Пселл и природу небесных тел. Следуя за Аристотелем, он излагает учение об эфире, считая, что в небесных сферах преобладает воздушное начало, а в звездах — огненное (PG. Т. 122. Col. 700, 745). Свой свет звезды, по мнению Михаила Пселла, не заимствуют от Солнца (PG. Т. 122. Col. 748). Тепловое излучение последнего он объясняет не тем, что оно является раскаленным, а огненными испарениями, которые возникают вокруг него при движении (PG. Т. 122. Col. 745). Из этих испарений образуются кометы, материя которых аналогична материи Млечного Пути. Количественное соотношение кометы со звездой равно у него соотношению Млечного Пути с целым кругом Вселенной, который он определяет расстоянием между созвездиями Стрельца и Близнецов, находящимися на противоположных концах диаметра Вселенной (PG. Т. 122. Col. 741).

Указывает Михаил Пселл и приближенные периоды обращения планет, которые в соответствии с пифагорейской теорией музыкально-математической гармонии космоса соотносятся как октавы, квинты и кварты (PG. Т. 122. Col. 749). Определяет он и окружность Солнца, Луны и Земли и приводит их соотношение. Эти данные, по его словам, он приводит «согласно опытнейшему в астрономии Аристарху» (PG. Т. 122. Col. 744).

В трудах Михаила Пселла изложена теория «великого года», т. е. мирового периода, по истечении которого все планеты возвращаются в исходное положение в 30° созвездия Рака или в 1° созвездия Льва и происходит всемирный потоп. Число лет данного «великого года» у Михаила Пселла равно 1 753 200 годам (PG. Т. 122. Col. 764). Для вычисления этого мирового периода Михаил Пселл, по мнению П. Таннери, использовал наряду со стоической традицией и египетские источники. Останавливается Михаил Пселл и на вопросе смены времен года. Он указывает, что «великая зима» наступает, когда солнце и планеты оказываются в «зимних созвездиях (Рыбы, Водолей)», а «великое лето», когда они появляются в «летних созвездиях (Льва)». {304} При этом он отмечает, что наступление «зимы» приводит к потопу, «лета» — к засухе (PG. Т. 122. Col. 764)⁴³.

Близка к естественнонаучным трудам Михаила Пселла по взглядам на устройство Вселенной работа Симеона Сифа «Общий обзор начал естествознания» (PG. Т. 122. Col. 783—810). Впервые содержание названного сочинения Симеона Сифа было описано Ф. И. Успенским, нашедшим его в составе манускрипта, хранившегося в библиотеке Святоградского подворья в Стамбуле⁴⁴. Научное издание работы Симеона Сифа было осуществлено в 1939 г. А. Делаттом (*Delatte. Anecd. II. P. 17—87*).

Проникнутый теологической направленностью, «Общий обзор начал естествознания» представляет собой обширное произведение, в котором рассматриваются различные вопросы строения Вселенной. В нем сообщаются сведения о небесных светилах и Земле, их природе и форме, размерах Солнца и Луны, движении звезд, о вечности космоса и т. п.

Знания по астрономии Симеон Сиф, как правило, черпал из книг, главным образом из естественнонаучных трудов Аристотеля, сочинения Птолемея и комментария к ним Прокла.

Свою работу Симеон Сиф начинает с описания сферической формы Земли. Он, как и Михаил Пселл, приверженец геоцентрической системы мира. Затем он рассказывает о водах, воздухе, огне, облаках, дождях, молнии, громах. После этого он переходит к изложению материала о сферах Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, о неподвижных звездах, о беззвездной области, которая приводит в движение все остальные сферы в направлении с востока на запад. Рассматривая проблему движения небесных тел, он отвергает тезис о вращении звезд вокруг своей собственной оси и принимает положение, что они движутся за Солнцем, которое является как бы их небесным вождем по велению бога (*Delatte. Anecd. P. 46; PG, 122 Col. 801*). Особо Симеон Сиф подчеркивает, что при движении солнца вокруг него возникают испарения, которые являются источником зарождения комет (*Delatte. Anecd. II*

⁴³ *Tannery P. Psellus sur la grande année/Mémoires scientifiques. 1920. Т. 4. P. 261—268; Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 330—336.*

⁴⁴ *Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 243—244.*

Р. 33; PG, 122. Col. 793). Останавливаясь на вопросе движения небесных светил, Симеон Сиф отмечает его физический, а не психический характер. Основываясь на этом заключении, он, как и Иоанн Дамаскин, отрицает теорию древнегреческих мыслителей об одушевленности небесных светил (*Delatte. Anecd. II P. 36—37; PG. 122. Col. 796*). Вопрос о природе неба и звезд разрабатывается на основании концепций Платона и Аристотеля. Используя их теории и комментарий Прокла, Симеон Сиф приходит к выводу, что небо образовано из четырех элементов, в их наиболее утонченных и совершенных формах, так называемых «цветов элементов». Как и Михаил Пселл, он склоняется к мысли, что в небесных сферах наблюдается преобладание воздушного начала, а в звездах — огненного (*Delatte. Anecd. II P. 42—43; PG. 122. Col. 800*). При изложении вопроса о свете звезд Симеон Сиф не высказывается определенно, он приводит две точки зрения: согласно одной, они заимствуют свой свет от солнца, согласно другой — звезды имеют {305} свой свет (*Delatte. Anecd. II P. 48; PG. 122. Col. 804*). Прибегая к авторитету Платона и Аристотеля, на основании логических аргументов он решает и вопрос о вечности (неуничтожаемости) или конечности мира во времени. По его представлению, мир, как и всякое тело, обладает ограниченной крепостью (*Delatte. Anecd. II p. 34; PG. 122. Col. 796*). В трактате Симеона Сифа приведены сведения о небесном экваторе, небесном меридиане и горизонте, о видимом наклоне оси мира к горизонту (*Delatte. Anecd. II P. 42. 39; PG. 122. Col. 800, 797*). Наклон плоскости эклиптики к плоскости небесного экватора приблизительно на 24° вызывает, по его мнению, смену времен года (*Delatte. Anecd. II P. 49; PG. 122. Col. 804*). «Согласно мудрейшему Птолемею» объясняет Симеон Сиф лунные и солнечные затмения (*Delatte. Anecd. II P. 52—59; PG. 122. Col. 804—809*).

Размер Земли по окружности, полученный, как он говорит, геометрическим способом, равен у него 250 000 стадий (*Delatte. Anecd. II P. 22; PG, 122. Col. 788*).

Особо следует отметить, что материал трактата Симеона Сифа свидетельствует о знании им прецессии⁴⁵ движения точки равноденствия на эклиптике, правда, в неточном масштабе одного градуса в течение 60 лет.

Таким образом, в работе Симеона Сифа нашли отражение наиболее волновавшие его современников вопросы по астрономии, некоторым из них он дал оригинальное решение⁴⁶.

Интересные, отличающиеся оригинальностью сведения по астрономии содержатся в космографическом трактате Евстратия Никейского, который родился около 1050 г. и умер в 1120 г.⁴⁷ Он был учеником Иоанна Итала, автором ряда богословских произведений, приближенным советником Алексея I Комнина и даже официальным теологом при императоре. Анна Комнина с большой похвалой отзывается о нем, называя его «мужем, умудренным в божественных и светских науках, превосходящим в искусстве диалектики стоиков и академиков» (*Анна Комм. С. 397*).

По своему содержанию и кругу разбираемых проблем работа Евстратия Никейского обнаруживает поразительное сходство с анонимным «учебником по космологии и географии», изданным А. Делаттом.

Основными источниками сведений Евстратия Никейского по астрономии были труды античных мыслителей Эмпедокла, Аристотеля, Клавдия Птолемея, а также стоическая традиция.

В труде Евстратия Никейского идет речь о движении небесных светил, о числе небесных сводов (их, как и в учебнике, насчитывается 9), {306} о планетах и зодиакальных созвездиях. Освещены в трактате и различные атмосферные явления, даны объяснения происхождения дождя, снега, града, грома, молнии и т. д.⁴⁸

⁴⁵ Прецессия — медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса равен $23^\circ 27'$. Период прецессии равен приблизительно 26 тыс. лет. Вследствие прецессии точка весеннего равноденствия движется по эклиптике навстречу кажущемуся движению Солнца (предварение равноденствия), проходя $50^\circ 24'$ в год, полюс мира перемещается между звездами, экваториальные координаты звезд непрерывно изменяются. Одновременно с прецессионным движением земная ось испытывает нутационные колебания.

⁴⁶ *Hunger H. Op. cit. S. 241; Гаверюшин Н. К. Указ. соч. С. 329—336.*

⁴⁷ *Dräseke I. Zu Eustratios von Nicäa // BZ. 1896. Bd. 5. S. 336.*

⁴⁸ Подробнее см.: *Гукова С. Н. Космографический трактат Евстратия Никейского // ВВ. 1986. Т. 47. С. 145—156.*

О положении Земли Евстратий Никейский высказывает точку зрения, аналогичную утверждению, приведенному в учебнике. Он говорит, что Земля расположена в центре Вселенной в подвешенном состоянии. Ее поддерживают божественный промысел и образуемые вращательными движениями звезд потоки ветра, которые сжимают Землю и препятствуют разединению ее частей.

Расстояние от Земли до неба в обоих произведениях определено одинаково, оно равно 27 375 000 стадий. Земля и вся Вселенная представлена в них в форме яйца.

Евстратий Никейский, как и названные выше византийские ученые, является сторонником геоцентрической системы мира⁴⁹.

Однако в Византии были знакомы не только с геоцентрической системой Клавдия Птолемея, но и гелиоцентрической — Аристарха Самосского, отстаивавшего точку зрения о вращении Земли вокруг Солнца. Доказательством этому служит речь, произнесенная Михаилом Италиком в 1143 г. при коронации Мануила I Комнина. В ней Михаил Италик сравнивает императора с Солнцем, расположенным, по его мнению, в центре Вселенной⁵⁰.

Важное место в системе естественнонаучных знаний византийцев занимала астрология, которая изучала положение небесных светил (неподвижных звезд, зодиакальных созвездий, комет, Солнца, Луны, планет) и их влияние на судьбы народов, государств, отдельных людей, их поступки и исход предпринимаемых дел. Подметив бесспорный факт воздействия Солнца на органический мир, а Луны — на течение таких болезней, как сомнамбулизм и эпилепсия, на морские приливы и отливы, астрологи стали признавать зависимость всех земных событий и дел от того или иного расположения небесных тел. Они считали, что существует нерасторжимая связь между человеком и окружающей его Вселенной, которая представлялась им как единое целое⁵¹.

Астрологи полагали, что по положению светил можно предугадать будущее, определить благоприятный момент для выполнения того или иного предприятия. Как и прежде, основным способом предсказания будущего было составление гороскопов. Для этого на эклиптике выбирали точку, которая поднималась над горизонтом во время рождения, смерти, начала какого-то события или дела. Она была исходным пунктом, от которого все небо делили на 12 «домов»: «счастья», «богатства», «родства», «карьеры», «долголетия» и т. д. После этого определяли положение главных планет к «домам», соотношение планет между собой, их место в зодиаке и на горизонте и измеряли расстояние между ними. {307} Каждая планета была хозяином какого-то одного «дома». Близость ее к своему «дому» увеличивала степень воздействия на земные дела в данный момент. Влияние «домов» в разные периоды было неодинаковым. Наибольшей силой обладали те «дома», которые были расположены в так называемых центрах — четырех главных пунктах эклиптики. Местоположению указанных точек на небе придавали решающее значение (*Анна Комн.* Комментарий. С. 520—521; *Мих. Пс.* Комментарий. С. 274).

Чтобы определить место небесных светил на эклиптике, в зодиакальном круге и на горизонте и измерить расстояние между ними, астрологам приходилось вести непрерывные наблюдения за ними и производить довольно сложные вычисления. Для этого им необходим был определенный минимум знаний по математике и астрономии, а также умение пользоваться астрономическими приборами, и прежде всего астролябией. Постоянно изучая расположение планет и звезд, астрологи тем самым объективно увеличивали объем знаний человечества по астрономии и этим содействовали ее дальнейшему развитию. Высокий авторитет и непрекращаемое влияние астрологии в течение всего средневековья объясняются тем, что в своем лице она объединяла одновременно науку и мистику. Именно последняя гарантировала астрологии успех и широкое распространение во всех слоях средневекового общества⁵².

Отношение к астрологии в византийском обществе было двойственным. Церковь была враждебно настроена к астрологии, поскольку доктрина астрологов, ставившая поступки лю-

⁴⁹ Delatte A. Op. cit. P. 190—206; *Гукова С. Н.* Космография в системе византийской науки и образования в XI—XII вв. // *Городская культура. Средневековье и начало нового времени.* Л., 1986. С. 38—39.

⁵⁰ *Wirth P.* Zur Kenntnis heliosatellitischer Planetentheorien im griechischen Mittelalter // *Historische Zeitschrift.* 1971. Bd. 212. S. 363—366.

⁵¹ *Скабаланович Н.* Указ. соч. С. 765—766; *Гукова С. И.* Космография... С. 39—40.

⁵² *Самодурова З. Г.* Естественнонаучные знания // *Культура Византии.* С. 412—413; *Гукова С. Н.* Космография... С. 39.

дей в зависимость от положения и движения небесных светил, противоречила христианскому вероучению о самоопределении души, о свободе воли и воздаяния за добродетели и пороки после смерти⁵³.

Иным было отношение к астрологии византийских монархов. При их дворах бывали астрологи, к которым во всех важных случаях обращались императоры за советом и которые должны были определять исход того или иного предприятия по положению звезд на небе. Михаил V Калафат, задумав удалить из дворца усыновившую его императрицу Зою, обратился к астрологам, чтобы выяснить, благоприятствует ли время задуманному мероприятию (*Mich. Ps.* I. P. 96—98). Глубокий пиетет питал к астрологам Константин IX Мономах. Он и сам следил за движением звезд и пытался определять по ним свою судьбу. К астрологам в критических обстоятельствах обращался Михаил VII для выяснения исхода событий и внимательно выслушивал их предсказания (*Att.* P. 257). Алексей I Комнин, мало внимания обращавший на небесные предзнаменования, объяснявший их естественными причинами, относился враждебно к астрологам и даже изгнал их из столицы. Однако, когда на небе появилась огромная комета, которую в народе считали вестником каких-то новых, необычайных событий, он был вынужден обратиться за разъяснениями подобного явления к сведущим людям, а именно к епарху города Василию, довольно хорошо разбиравшемуся в учении астрологов (*Ann. Conn.* III. P. 64—65). Внук Алексея I Мануил I Комнин слепо доверял предсказаниям астрологов и не предпринимал никогда никаких {308} действий, не выяснив предварительно: благоприятствует ли положение звезд задуманному предприятию. В своей «Истории» Никита Хониат пишет, что Мануил I все важнейшие и величайшие дела ставил в зависимость от взаимного расположения и движения небесных светил и слова астрологов принимал за изречения оракулов (*Nic. Chon.* P. 95—96, 146, 153—154, 169). В послании, направленном монаху монастыря Пантократора, Мануил Комнин упрекает его в ограниченности и необразованности и воздает хвалу верующему в звезды, стараясь в то же время согласовать астрологию с христианским вероучением. Для подтверждения истинности доктрины астрологов он приводит цитаты из Священного Писания и трудов отцов церкви, а также ссылается на авторитет ученых прошлого, которые придавали большое значение астрологии, и прежде всего на Льва Математика⁵⁴. Осуждал Мануила I за это Михаил Глика, заключенный в темницу, а впоследствии ослепленный по приказу императора (*Анна Комн.* Комментарий. С. 521). С огромным доверием относились к астрологии и василевсы из династии Ангелов. По рассказу Никиты Хониата, Алексей III Ангел при неблагоприятном положении звезд даже отказывался от переезда из Большого дворца во Влахернский. Как подчеркивает историк, византийские императоры и шага не делали, не посоветовавшись с астрологами о положении звезд (*Nic. Chon.* P. 530).

Широко была распространена вера в зависимость человеческих судеб от небесных светил в народных массах. Появление комет на небосклоне вызывало у них суеверный ужас. Византийские хроники полны рассказов об этих страшных явлениях. Так, Кекавмен говорит о появлении «хвостатой звезды», приносящей несчастье (*Кекавм.* С. 254—255).

Отношение образованных византийцев к астрологии было противоречивым. Опасаясь церковных наказаний, они на словах отказывались верить в зависимость земных событий и дел от расположения небесных светил. Однако нередко они прилежно изучали астрологию и допускали возможность воздействия планет и звезд на судьбы государств, народов и отдельных лиц.

Михаил Пселл считал астрологию суетной наукой и порицал тех, кто был ею увлечен. Сам он не признавал влияния местоположения и сочетания светил на ход дел в подлунном мире. Однако он полагал, что они воздействуют на погоду на Земле (*Mich. Ps.* II. P. 77—78)⁵⁵. Его современник Михаил Атталиат называл астрологов обманщиками (*Att.* P. 257). Как суетное учение и новейшее изобретение определяет астрологию и Анна Комнина, изучавшая ее, чтобы со знанием дела обличать тех, кто ею занимается (*Ann. Conn.* II. P. 57—59). Свою судьбу она не хотела связывать с движением звезд (*Ann. Conn.* III. P. 172).

⁵³ Lemerle P. Op. cit. P. 194; Гукова С. Н. Космография... С. 39.

⁵⁴ Hunger H. Op. cit. S. 242.

⁵⁵ Ibid. S. 241.

Представители ученой элиты, отвергая астрологию в принципе, нередко в конкретных случаях верили в небесные предзнаменования и в их влияние на жизнь людей.

С большим увлечением занимался астрологией выдающийся византийский ученый Лев Математик. Он вел постоянные наблюдения за движением небесных светил, стараясь по ним предугадать будущее. В состав его библиотеки наряду с научными трактатами, указанными выше, была {309} включена и книга Павла Александрийского «Введение в астрологию» которую с VII в. начали использовать в качестве учебного пособия⁵⁶. В двух написанных им гекзаметрах Лев Математик восхваляет Павла Александрийского как знатока звезд и указывает, что именно он помог ему овладеть тайнами искусства предсказания (AP IX. 201)⁵⁷. По сообщению хронистов, с помощью своих знаний в этой области Лев Математик сумел предотвратить голод в Фессалонике, посоветовав его жителям произвести посев в определенный строго указанный им момент, что позволило вырастить обильный урожай (*Geoph. Cont.* P. 191). Предупреждал он и кесаря Варду об угрожавшей ему смерти, предостерегая его от участия в походе на Крит вместе с Михаилом III и Василием, так как роковые, зловещие знамения, наблюдаемые накануне, будто бы предрекают ему кончину (*Theoph. Cont.* P. 197). Стремился Лев Математик спасти от гибели и прихожан, находящихся в церкви Богородицы, называемой Сигмой, предупреждая их об опасности погибнуть при землетрясении, происшедшем в столице на третьем году царствования Василия I⁵⁸.

О работах Льва Математика, посвященных астрологическим проблемам, известно очень мало. Его считают автором фрагмента небольшого, содержащегося в Венецианской рукописи, астрологического трактата о значении затмений для предсказания войн и других бедствий. Исследовавший это сочинение Ф. Болл пришел к заключению, что участие Льва Математика в его составлении минимальное, лишь незначительная часть принадлежит ему. Основной же текст был написан намного раньше (CCAG. VII. 1. P. 150—151)⁵⁹.

С большей определенностью можно говорить о его авторстве схолий к Порфирию, в которых была исправлена якобы допущенная последним ошибка в расчете места восхода точки на горизонте в момент рождения, что имело существенное значение при составлении гороскопа.

В некоторых манускриптах Лев Математик назван автором ряда астрологических работ о движении Луны, бронтология и сейсмология⁶⁰.

В XII в. Иоанном Каматиром были составлены две астрологические поэмы: «О круге зодиака» и «Введение в астрономию», которые были посвящены императору Мануилу I. В них идет речь о 12 знаках зодиака, планетах, неподвижных звездах, методах составления гороскопов, основных положениях астрологии. Материал свой Иоанн Каматир заимствовал главным образом из произведений Клавдия Птолемея, которого он называет «премудрым и прекрасным» (*Joh. Kam.* S. 75). Наряду с этим Иоанн Каматир использовал сочинения Гефестиона Фиванского, Ритория, Иоанна Лида⁶¹.

От этого же столетия дошла до нас посвященная севастократориссе Ирине астрологическая поэма, опубликованная в XIX в. под именем {310} Феодора Продрома. В настоящее время в историографии утвердилось мнение, что автором этого сочинения является Константин Манасси. По своему содержанию оно близко к работам Иоанна Каматира. В нем также рассказывается о знаках зодиака, о положении звезд, о свойствах и отношениях планет⁶².

Файл byz311g.jpg

*Поливная тарелка,
найденная при раскопках
на афинской агоре. XII в.*

⁵⁶ Lemerle P. Op. cit. P. 171; Самодурова З. Г. Указ. соч. С. 493.

⁵⁷ Hunger H. Op. cit. S. 239.

⁵⁸ Лупишци Е. Э. Очерки... С. 341, 348—349; Lemerle P. Op. cit. P. 156, 158—159.

⁵⁹ Lemerle P. Op. cit. P. 171.

⁶⁰ Lemerle P. Op. cit. P. 171—172; Hunger H. Op. cit. S. 239.

⁶¹ Шангин М. А. Ямбическая поэма Иоанна Каматира «О круге Зодиака» по академической рукописи // Известия АН СССР. 1927. 6-я сер. Т. 21. С. 425—432; Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 336.

⁶² Hunger H. Op. cit. S. 242—243.

Большой интерес проявляли византийцы к проблемам физики, которую они называли физиологией. Она охватывала всю совокупность средневековых наук о природе: собственно физику, механику, оптику, географию, зоологию, ботанику, минералогию, медицину. Ее значение в системе естественнонаучных знаний византийцев претерпело существенные изменения. Если раньше ее наряду с первой философией и математикой считали теоретической дисциплиной, исследовавшей материальные, существующие самостоятельно и пребывающие в движении предметы, то теперь ее стали рассматривать как вспомогательную науку, находящуюся на службе религиозной метафизики. Коренным образом изменился и взгляд на природу. Если для человека поздней античности природа — реальная действительность, то для византийцев изучаемого периода она — творение бога, его символ, воплощение его идей. Во всех явлениях природы они видели действие божественного промысла, иллюстрацию религиозных и моральных истин⁶³.

Однако наряду с традиционными воззрениями на природу как на аллегорическо-дидактическое отражение религиозной идеи в Византии в XI в. зародилось новое представление о ней, которое нашло отражение в труде Михаила Пселла «Всеобщее наставление» (RG. T. 122. Col. 687—794) и в монодии, написанной для утешения пострадавших от землетрясения в сентябре 1063 г.⁶⁴ В них выражено отличное от господствующего в византийском обществе понимание природы. В них Михаил Пселл попытался по-новому осмыслить проблему соотношения божества и природы. Хотя он также считал бога творцом видимого мира, природа выступает у него в ином качестве. Он отделяет ее от создавшего {311} ее творца и представляет ей право существовать самостоятельно, независимо от него. Она у него живет и действует, подчиняясь лишь закономерностям, которые были ей даны при сотворении и которые могут быть познаны человеком. Природа у него является объектом самостоятельного рассмотрения. Он стремится дать рациональное объяснение природным явлениям окружающего мира. Хотя Пселл исходит не из чувственного опыта, а из сверхъестественной идеи, тем не менее его взгляд на природу и физические явления позволяют выявить и проанализировать причинную связь между ними. Рассказывая о различных природных явлениях, он указывает на первопричину и непосредственную причину, вызвавшие их. Оставаясь человеком своего времени, Михаил Пселл придавал решающее значение первопричине, под которой он подразумевал бога. В своем объяснении причинной связи явлений Михаил Пселл пытался совместить законы «Физики» Аристотеля с действиями божественного промысла⁶⁵.

Византийцы проявляли огромный интерес к самым разнообразным явлениям природы. Описание их довольно часто встречается как в специальных научных трактатах, так и в нарративных памятниках, причем не только ученые, но и историки, и агиографы, и авторы богословских трудов считают своим долгом рассказать об атмосферных явлениях, землетрясениях и других стихийных бедствиях, вскрыть их сущность и причины.

Биограф Андрея Юродивого заставляет его отвечать ученику на непонятные для него вопросы о дожде, радуге, граде, громах и молнии и объяснять ему строение космоса⁶⁶.

О грозных атмосферных явлениях, падающих звездах, блуждающих огнях, кометах писал в третьем «Антирретике» патриарх Никифор, рассматривая их как наказание творца за оскорбления, которые наносили ему своими действиями иконоборцы. Одновременно он критиковал, называя искусниками, тех людей, которые пытались дать этому естественнонаучные объяснения, считая происходящее следствием того, что земной воздух, насыщаясь густыми облакообразными испарениями, поднимается ввысь собственным течением и, изливаясь в эфирное пространство под влиянием нагревания, производит все подобные явления (RG. T. 100. Col. 497)⁶⁷.

Анна Комнина использует сравнения с физическими явлениями при описании тех или иных событий царствования своего отца. Так, повествуя о прибытии Алексея I в Фессалонику,

⁶³ История биологии с древнейших времен до начала XX века/Под ред. С. Р. Микулинского. М., 1972. С. 36: *Самодурова З. Г.* Указ. соч. С. 415.

⁶⁴ *Gautier P.* Monodies inédites de Michel Psellus//BEB 1978. Т. 36. P. 145—151.

⁶⁵ *Гранстрем Е. Э.* Указ. соч. С. 362; *Gautier P.* Op. cit. P. 147—150.

⁶⁶ *Рудаков А. П.* Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917. С. 228.

⁶⁷ См.: *Литвиц Е. Э.* Очерки... С. 182, 295—296.

она сравнивает направившихся к нему навстречу жителей окрестных регионов с тяжелыми телами, которые стремятся к центру (*Ann. Conn.* III. P. 64). Иоанн Дамаскин в «Источнике знаний» рассуждает о происхождении термальных вод (PG. T. 94. Col. 904—908). Патриарх Фотий в «Библиотеке» также касается физических вопросов и прежде всего фиксирует свое внимание на природе землетрясений. Михаил Пселл в труде «Всеобщее наставление», трактате по метеорологии, комментарии к «Физике» Аристотеля и других работах много внимания уделял разработке физических проблем. {312} Он собрал и обработал сведения о материи, движении, цвете, эхо, дожде, громе, молнии и т. п. Симеон Сиф в «Общем обзоре начал естествознания» поместил данные о субстанции неба и земли, материи и форме, месте и времени, душе и духе и пяти чувствах. Евстратий Никейский в своих сочинениях также останавливается на вопросах происхождения дождя, снега, града, грома, молнии, землетрясений, термальных вод.

Файл byz313g.jpg

Сотворение Евы из ребра Адама.

Ок. 1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

Рассказывая о природных явлениях окружающего мира, византийцы большое внимание уделяли их описанию, а не изучению их закономерностей. Главным критерием истинного знания по-прежнему оставался не опыт, а абстрактные метафизические представления. Понятие об эксперименте и физическом законе было им чуждо. Все спорные вопросы решались умозрительно. Физика носила книжный характер⁶⁸.

Основным источником их знаний об окружающем мире были ни сама природа, ни наблюдения за ее явлениями, а книги, главным образом естественнонаучные труды Аристотеля и его позднеантичных и ранневизантийских комментаторов: Олимпиодора, Прокла, Иоанна Филопона и других.

Опираясь именно на книжное знание, а не на опыт и эксперимент, византийские ученые решали различные физические проблемы. Долгое время обсуждался вопрос о причинах землетрясений. Ортодоксы считали их божьей карой за грехи человечества. Ученые же, заимствуя материал из работ Аристотеля, разработавшего теорию, согласно которой землетрясения вызываются воздухом, скапливающимся в трещинах земли, пытались объяснить это грозное явление естественными причинами. Так, патриарх Фотий полагал, что они порождены избытком воды в недрах земли, а не обилием грехов (*Theoph. Cont.* P. 673). Вместе с тем в других сочинениях он трактует землетрясение как чудо⁶⁹.

Сходное объяснение этой стихии дает и Михаил Пселл. По его мнению, конечной причиной землетрясений был бог, однако непосредственной причиной их является исходящий из недр земли воздух, который из-за большой ее твердости уплотняется и под большим давлением устремляется наружу, что и вызывает сильное сотрясение земли (PG. T. 122. Col. 765 A—B).

Симеон Сиф так же, как и Михаил Пселл, первоначально указывает сверхъестественную причину землетрясений, утверждая, что без божественного позволения в природе ничего не происходит. Однако непосредственной причиной он считает причину физического порядка. Аналогичное мнение высказывает и Евстратий Никейский. В учебнике по космологии и географии, автором которого его признают⁷⁰, говорится, что они вызываются накоплением больших масс воздуха в широких протоках, существующих в недрах земли. Сжатый воздух, наполняя эти протоки, сужающиеся по направлению к поверхности земли, с неистовой силой ищет выхода, что и порождает колебание почвы⁷¹.

Естественными причинами объясняет Евстратий Никейский и происхождение термальных вод. Он категорически отвергает мнение Ефрема Сирина, считавшего их источником ад, на том основании, что если бы вода вытекала из ада, то она была бы вредоносной и несла бы смерть и разрушение. В действительности же она обладает терапевтическими и даже целебны-

⁶⁸ Vogel K. Op. cit. P. 279—280; Каждан А. П. Книга... С. 76, 79; Самодурова З. Г. Указ. соч. С. 415; Гукова С. Н. Космография... С. 42.

⁶⁹ Гранстрем Е. Э. Указ. соч. С. 358, 460.

⁷⁰ Гукова С. Н. Развитие космографических идей в Византии: проблемы источниковедения. Дис. ... канд. ист. наук. Л., 1985. С. 79—81, 92—94, 98—101, 107.

⁷¹ Delatte A. Op. cit. P. 219—221.

ми свойствами. Отбросил Евстратий Никейский и утверждения Иоанна Дамаскина, объяснявшего нагревание воды воздействием на нее высокого давления, выталкивающего ее на поверхность через узкие щели. Ссылаясь на собственные наблюдения, Евстратий указывал, что источники, вытекающие из узких расселин скал холодны, а иногда даже покрыты льдом. Сам Евстратий Никейский придерживался концепции, во многом совпадающей со стоической традицией и приписанной в период поздней античности Аристотелю. Согласно этой теории, тело Земли пронизывают воздушные, огненные и водяные жилы, по которым соответственно струятся воздух, огонь и вода. Огненные протоки, расположенные поблизости от водяных, нагревают иногда до кипения текущую в них воду, которая в таком состоянии появляется на поверхности земли. Воздушные жилы, прилегающие к водоносным, наоборот, охлаждают в {314} них воду, и она, становясь холодной, изливается из источников на землю⁷².

Используя собственные наблюдения и теоретические положения, высказанные Аристотелем и интерпретированные его позднеантичными комментаторами, решают византийские ученые вопросы солёности морской воды. Так, Симеон Сиф в полном согласии с концепцией Стагирита объясняет причины этой солёности постоянными, происходящими с поверхности моря испарениями, которые делают ее более плотной. В результате этого вода приобретает солёный вкус. Данное явление он сравнивает с выделением солёного пота организмом человека, несмотря на то что он потребляет только пресную воду. Наряду с объяснением, заимствованным у Аристотеля, Симеон Сиф ссылается и на вмешательство божественного промысла, якобы по воле которого вода, становясь солёной, не подвергается гниению и не издает зловония (*Delatte. Anecd. II. P. 27: PG. T. 122. Col. 789 C—D*).

Михаил Пселл в сочинении «Всеобщее наставление» также останавливается на проблеме солёности морской воды. На основании собственных наблюдений он констатирует большую плотность и насыщенность морской воды по сравнению с речной, которая не может держать на своей поверхности корабли с тяжелыми грузами, в то время как по морю они легко плывут (*PG. T. 122, Col. 765, 768—769*).

Интересное решение предлагают византийские мыслители по вопросу о том, почему при грозах человек сначала видит свет и только спустя некоторое время слышит звук. Михаил Пселл отказывался рассматривать удары грома и вспышки молний как наказание, ниспосланное богом за грехи людей. Он пытался объяснить данное явление естественными причинами. Глаз, по его мнению, улавливает свет раньше, чем ухо — звук, потому, что глаз имеет выпуклую форму, а ухо — полую. Симеон Сиф дал более рациональное объяснение. По его утверждению, звуку для его распространения требуется время, а свет в нем не нуждается (*Delatte. Anecd. II. P. 31*)⁷³.

Много внимания Михаил Пселл, Симеон Сиф и Евстратий Никейский уделяют рассмотрению теории физического строения окружающего мира. Представленная в их работах концепция во многом отличается от библейских представлений об устройстве мироздания и в своих существенных чертах совпадает с учением Аристотеля, изложенным им в работе «О возникновении и уничтожении».

Пытаются установить византийские ученые и последовательность сотворения Вселенной. Михаил Пселл доказывал, что вначале было создано небо, как наилучшее из тел, содержащее в себе все остальное. Евстратий Никейский первоначальным элементом считал воздух. По его представлению, вначале существовало только пространство, заполненное воздухом, застывшим и неподвижным. Затем образовалась вода, после нее земля и последним появился огонь. В качестве подтверждения высказанному взгляду он приводит примеры появления влаги при конденсации пара на холодном предмете, образования сталактитов и возникновения искр, сыплющихся от железа, извлеченного из земли⁷⁴. {315}

Византийские мыслители не только использовали концепции античных физиков для объяснения явлений природы, но и готовили издания их трудов, составляли комментарии к ним. В X в. был переписан кодекс, в которой было включено переиздание «Оптики» Евклида,

⁷² Ibid. P. 217—219.

⁷³ Vogel K. Op. cit. P. 284.

⁷⁴ Delatte A. Op. cit. P. 190. 193—194.

осуществленное в IV в. Феоном Александрийским, а также манускрипт с его псевдоевклидовой «Катоптрикой». Оба сочинения были снабжены схолиями.

Михаилом Пселлом был составлен комментарий к «Физике» Аристотеля, отличающийся самобытностью, самостоятельностью подхода к решению отдельных вопросов и независимостью от суждений позднеантичных толкователей (*Мих. Пс.* Комментарий. С. 205)⁷⁵.

Работы византийских ученых, посвященные рассмотрению физических явлений окружающего мира, свидетельствуют о хорошем знании ими трудов древнегреческих авторов по естествоведению, данные которых они старались осмыслить в духе христианского вероучения. В их сочинениях представлен своеобразный и довольно причудливый синтез христианской доктрины с принципами античного мирозерцания.

Опираясь на труды древнегреческих философов, византийские ученые пытались по-новому осмыслить окружающий их мир и рационально истолковать физические явления. В их работах впервые нашло отчетливое выражение новое понимание причинности явлений. Критикуя невежество и суеверие монахов, Михаил Пселл доказывал, что каждое явление вызывается естественными причинами. Вера же в сверхъестественное, по его словам, возникла от незнания законов, по которым живет и функционирует природа. Только изучение физических явлений позволяет познать ее закономерности⁷⁶.

Однако византийские ученые не были последовательны в объяснении явлений природы естественными причинами. Их рационализм, зародившийся в науке во второй половине XI в., был ограничен. Представления языческих философов о природе византийцы использовали только в определенных пределах, восприняв от них лишь то, что не противоречило догмам христианского вероучения, и выдвигая на передний план действия божественного промысла. Хотя их концепции, объясняющие окружающий мир, были ложны, их попытка выявить естественные причины физических явлений способствовала более углубленному рассмотрению этих явлений и тем самым содействовала дальнейшему развитию физики.

Значительных успехов византийцы достигли в области прикладных наук, и прежде всего в механике, под которой в Византии, как и в других странах средневековья, понимали науку о механизмах и машинах, используемых в строительстве и технике. Хорошее знание основ механики, умелое применение на практике законов физики позволяли им воздвигать великолепные храмовые, крепостные и дворцовые сооружения, создавать различные метательные орудия, используемые в военных сражениях, при осаде городов и крепостей, а также автоматы, размещенные в приемном зале Магнавского дворца (см. ниже). Все это требовало совершенного владения навыками в области механики и акустики, большого опыта и творческого усвоения теоретических знаний прошлого.

Большой интерес к проблемам механики проявлял Лев Математик, в библиотеке которого наряду с другими научными трудами находился трактат по механике Кирина и Маркелла⁷⁷. Ему историческая традиция приписывает изобретение светового телеграфа, с помощью которого сообщения о событиях, происходящих на границе Византии с халифатом, быстро становились известны в столице. Подробное описание системы сигнализации приведено у Псевдо-Симеона. По его словам, философ Лев, поставленный архиепископом Фессалоники, посоветовал императору Феофилу сконструировать две пары синхронно двигающихся часов, одни из них установить в крепости Лулон на севере Тарса, другие — во дворце. Эти часы были разделены на 12 часов. На них под каждым часом были записаны различные события, которые могли произойти в приграничной с арабами области: под первым часом — набег сарацин, под вторым — сражение, под третьим — пожар, распространяющийся на территории империи. О содержании других записей, к сожалению, ничего в источниках не говорится. Когда происходило одно из указанных событий на киликийской границе, зажигали первый огонь в цепи сигналов, под которым этот случай был записан. Расстояние между столицей и крепостью Лулон было разбито на 7 отрезков. Возле каждого из 9 пунктов, включая начальный и конечный, расположенных на расстоянии приблизительно 100 км друг от друга, была поставлена стража, ко-

⁷⁵ Benakis L. Studien zu den Aristoteles Kommentaren des Michael Psellos // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1961. Bd. 43. S. 215—238.

⁷⁶ Hussey J. Church and Learning in the Byzantine Empire, 867—1185. Oxford: L., 1937, P. 81—83.

⁷⁷ Lemerle P. Op. cit P. 169.

торая неослабно наблюдала за сигналами. Как только поступал в определенный час сигнал, его сразу же передавали дальше по цепи. В течение одного часа, не больше, как пишет в книге «О церемониях византийского двора» Константин Багрянородный, сообщение достигало Константинополя, дворца василевса, где сразу же начинались приготовления для отражения надвигающейся опасности (Ср.: De ser. I. P. 492; *Pseudo-Sym.* P. 681—682; *Theoph. Cont.* P. 197; *Cedr.* II. P. 175).

Во времена императора Феофила были изготовлены автоматы: два больших органа из чистого золота, украшенные разноцветными камнями и завитками, золотой платан с поющими птичками, два льва и два грифона. Они были установлены в большом приемном зале (Хрисотриклине) Магнаврского дворца и окружали императорский трон. Описание этих «чудес» византийской техники встречается во многих памятниках. И Георгий Монах (*Georg. Mon.* P. 793), и Продолжатель Феофана (*Theoph. Cont.* P. 172—173), и Кедрин (*Cedr.* II. P. 202—203), и Константин Багрянородный (De ser. P. 567—569), и Константин Манасси (*Manass.* P. 205) очень подробно и красочно рассказывают об этих «диковинках». Золотой платан, львы, грифоны и птицы демонстрировались иноземным послам, чтобы поразить их воображение и вызвать у них изумление перед величием империи (см. выше: Гл. 7). О диковинных механизмах сообщается и в иностранных источниках. О них рассказывает и Лиутпранд Кремонский, посол Оттона I, и русский летописец, повествуя о посещении Константинополя княгиней Ольгой. Ни в одном из перечисленных выше памятников не упомянуто имя создателя этих чудес. Только Михаил Глика считал, что им был ученейший муж, фило-соф Лев (*Glyc.* P. 543). Не имея достоверных свидетельств, трудно решить, кто в действительности был их создателем. Ясно одно, он прекрасно разбирался в законах механики, что позволило ему изготовить столь сложные механизмы⁷⁸.

О знакомстве византийцев с основами механики свидетельствует высокий уровень развития техники, используемой в военном деле. В византийской армии при обороне и осаде крепостей применяли всевозможные, довольно сложные, отличавшиеся совершенством механизмы. В источниках постоянно говорится о таранах, достигавших иногда гигантских размеров, подвижных башнях с перекидными мостиками, катапультах и баллистах, служивших для метания стрел и камней. Об употреблении византийцами осадных машин сообщает в своем труде Анна Комнина (*Ann. Comn.* III. P. 98—99). Скилица описывает навесы, сплетенные из прутьев, покрытые бычьими шкурами и поставленные на колеса, применяемые осаждающими крепость в качестве прикрытия (*Cedr.* II. P. 591—592). Для измерения расстояния и высоты отдаленных предметов византийцы использовали специальные приспособления и приборы. Так, по словам Анны Комнины, защитники Диррахия при осаде города Боэмундом употребляли диоптры, с помощью которых они смогла определить высоту осадных машин, применяемых против них норманнами (*Ann. Comn.* III. P. 98). Византийцы скрывали свои военные и строительные секреты не только от врагов, но и от своих союзников. Михаил II, действуя в союзе с болгарам против восставших во главе с Фомой Славянином, запретил использовать в борьбе с ним сложные осадные орудия, так как боялся познакомить с ними болгар (*Жекавм.* С. 442)⁷⁹.

В области архитектуры византийцы также достигли значительных успехов. Ими в рассматриваемую эпоху были созданы великолепные дворцовые и храмовые постройки, в которых применялись последние достижения инженерного искусства. Так, Феофилом на территории между дворцом, построенным Константином I, и Хрисотриклином, воздвигнутым по приказу Юстиниана II, был сооружен обширный комплекс зданий. В глубине одного из них был построен Мистерийон, обладавший необыкновенным акустическим эффектом: слово, тихо сказанное в одном углу, было отчетливо слышно в другом (*Theoph. Cont.* P. 139—140; *Pseudo-Sym.* P. 640—641; *Georg. Mon.* P. 806).

В области зоологии и ботаники работа византийцев ограничивалась описанием отдельных представителей фауны и флоры, комментированием естественнонаучных сочинений античных ученых, главным образом биологических трудов Аристотеля, сбором и обработкой данных, найденных ими у своих предшественников, и перепиской их произведений. Лишь из-

⁷⁸ Литвиц Е. Э. Византийский ученый Лев Математик. С. 133—135, 147—148; Она же. Очерки... С. 352—353. 356, 365—366. 384: *Lemerle P.* Op. cit. P. 154.

⁷⁹ Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 90.

редка они дополняли их своими наблюдениями и советами о необходимости применения отдельных новшеств в хозяйстве. По-прежнему внимание византийцев привлекали лишь те сочинения, в которых были помещены либо сведения, нужные для жизнедеятельности человека и ведения хозяйства, либо сообщения о некоторых, видах животных и растений, их {318} отличительных особенностях, либо занимательные рассказы о флоре и фауне, о монстрах, обитающих в экзотических странах. Византийцев прежде всего интересовало, какую пользу они могут получить от применения достижений биологических наук в домашнем и сельском хозяйстве⁸⁰.

Описание отдельных видов животных и растений довольно часто встречается в нарративных памятниках. Михаил Атталиат сообщает о жирафе и слоне, привезенных в Константинополь при Константине IX Мономахе и показанных населению столицы (*Att.* P. 48—50). Михаил Глика включил в свою хронику баснословные рассказы о происхождении и жизни растений и животных. Основным источником, из которого он заимствовал свои сведения, был «Физиолог»⁸¹. Евстафий Солунский в «Похвале св. Димитрию» описывает городские сады Фессалоники и растения, в них произрастающие (PG. T. 136. Col. 213).

Об интересе византийцев к биологическим сочинениям Аристотеля свидетельствуют большое число рукописей, содержащих их, и толкования к ним. В XII в. Михаил Эфесский наряду с другими произведениями комментировал и труды Аристотеля по зоологии⁸². От XII в. сохранился также комментарий, приписываемый Иоанну Цецу, к сочинению Аристотеля «О частях животных»⁸³.

Однако византийцы не ограничивались только комментированием произведений Стагирита, они старались использовать их, как и труды других античных авторов, при составлении своих работ, посвященных рассмотрению вопросов биологии. Патриарх Фотий проаннотировал ряд ныне потерянных естественнонаучных сочинений Феофраста, а также не дошедший до нас трактат по агрокультуре анонимного автора. При Константине VII Багрянородном в рамках его энциклопедических мероприятий появилась компиляция по зоологии «Собрание историй о сухопутных животных, птицах и морских (рыбах)» в четырех книгах, из которых до нас сохранились только две первые. Анонимный составитель включил в подготовленное им руководство эксцерпты из естественнонаучных трудов Аристотеля, и прежде всего из его «Истории животных» в изложении александрийского ученого Аристофана Византийского, а также из произведения Элиана о животных, из работ Агафархида Книдского, известного ему, по-видимому, по «Библиотеке» Фотия, сочинениям Диодора, Филосторгия, Тимофея Газского, «Шестоднева» Василия Великого и др. В первой книге рассматриваемой работы собраны заметки о разных системах классификации животных и способах их размножения. Во второй книге помещены извлечения о человеке (причем много места здесь занимают выдержки с описанием экзотических рас и племен), о различных видах млекопитающих или живородящих, как они названы в компиляции. Большинство эксцерптов посвящено рассказам о слонах. В заметках еще не найденных третьей и четвертой книг речь идет о рыбах и птицах.

От XI в. сохранилась небольшая работа, состоящая в основном из извлечений из сочинения Тимофея Газского, описывающего фауну Индии, Аравии, Египта, Ливии. Анонимный автор также сообщает о показе {319} жителям Константинополя при Константине IX Мономахе жирафа и слона⁸⁴. Много внимания посвящает разработке проблем зоологии и ботаники и Михаил Пселл в своем «Всеобщем наставлении». Определенная информация о растениях встречается в Лексиконе Суда. О неослабевающем интересе византийцев изучаемого периода к Диоскориду, ученому энциклопедисту I в. н. э., описавшему около 600 видов растений, свидетельствует довольно значительное число рукописей, содержащих его труды⁸⁵. Не меньше интересовались византийцы и сочинениями Никандра из Колофона (II в. до н. э.), который собрал и описал средства против укусов ядовитых животных и лекарства, помогающие при отравле-

⁸⁰ *Hunger H.* Op. cit. S. 263.

⁸¹ *Vogel K.* Op. cit. P. 286.

⁸² *Hunger H.* Op. cit. S. 267.

⁸³ *Vogel K.* Op. cit. P. 285.

⁸⁴ *Hunger H.* Op. cit. S. 265—266.

⁸⁵ *Vogel K.* Op. cit. P. 286.

нии пищевыми продуктами. От рассматриваемой эпохи дошел ряд иллюминированных манускриптов с его работами⁸⁶.

Необходимые для ведения хозяйства сведения практического характера о злаках, овощах, винограде, фруктовых деревьях, об уходе за ними, а также о домашней птице, пчелах, лошадях, ослах, верблюдах, мелком и крупном рогатом скоте, собаках, дичи, рыбах, вредных и ядовитых насекомых и пресмыкающихся находятся в своеобразном памятнике, чрезвычайно ценном для изучения агрономических знаний и сельскохозяйственной практики в Византии, в «Геопониках», представляющих собой собрание эссе с указанием авторов, из трудов которых они заимствованы. Материал в них распределен по тематическому признаку по двадцати книгам. В начале каждой из них помещено краткое введение составителя, суммарно излагающее ее содержание, и дан перечень глав, на которые она распадается (Геопоники. С. 5, 9—10, 13, 17, 32).

В «Геопониках» дана всесторонняя картина сельскохозяйственного производства и описаны разнообразные его отрасли: хлебопашество, виноградарство, оливководство, садоводство, огородничество, птицеводство, пчеловодство, коневодство, животноводство, рыболовство. В них охарактеризованы важнейшие земледельческие работы, свидетельствующие о сложной системе полеводства, о сравнительно интенсивной обработке почвы, об использовании различных приемов повышения урожайности. Перечислены в них и те культурные растения, которые выращивались в Византии: овощи (капуста, лук, чеснок, салат и др.), пшеница, сезам, конопля, полба, просо, ячмень, люцерна, кормовые травы, маслины, виноград, плодовые и вечнозеленые деревья. Значительное внимание в «Геопониках» уделено характеристике довольно многочисленных домашних животных. В них помещены советы по уходу за ними.

«Геопоники» были созданы по поручению Константина VII Багрянородного, что вытекает из предисловия. В нем он восхваляется как за мероприятия в области науки и искусств, которые были обновлены его старанием, так и за мероприятия по написанию различных энциклопедий, в том числе и «Геопоник», сельскохозяйственной энциклопедии (Геопоники. С. 37).

Автором «Геопоник» был человек, который обладал большим личным опытом в ведении хозяйства и был хорошо знаком с сельскохозяйственным производством. Им были добросовестно изучены труды его предшественников, греческих и римских писателей: Арата из Сол, Феофраста, Варрона, Катона, Колумеллы, Полладия, Диоскорида, а также приписываемые Аристотелю естественнонаучные трактаты «О растениях» и «Об удивительных звуках». С их сочинениями он познакомился не непосредственно, а благодаря позднейшим компилятивным сборникам, таким, как «Собрание земледельческих занятий» Виндания Анатолия и «Эклога по сельскому хозяйству» Кассиана Басса⁸⁷. Составитель «Геопоник» довольно свободно обращался со своими источниками, вольно излагал их содержание и даже изменял их текст. Он не только подобрал и организовал по-своему извлеченный из них материал, но и внес в него много нового, в первую очередь, собственные наблюдения и поправки. Все это свидетельствует о самостоятельности составителя «Геопоник» в выборе данных из указанных памятников. В историографии отмечается и стремление автора «Геопоник» к научному объяснению явлений природы, его склонность к трезвому взгляду на вещи. В то же время нельзя не отметить, что он был типичным человеком средневековья, разделявшим все заблуждения своего времени, верящим в сверхъестественное, в силу магических заклинаний и надписей, в воздействие расположения светил и движения звезд на земные дела и дававшим нередко фантастические толкования описываемым им фактам.

В ремарках, которых так много в «Геопониках», отразился личный опыт автора и практические достижения сельскохозяйственной науки X в. На основании своего собственного опыта автор «Геопоник» говорит о способах посадки деревьев в зависимости от их типа. Он советует сажать побеги, а затем делать им прививки. По его словам, такие деревья начинают быстрее плодоносить и дают большой урожай. Издатель «Геопоник» производил эксперименты по улучшению существовавшей ранее практики посадок винограда и изменению их срока и по усовершенствованию принятых в его время приемов агротехники. Широко используя ука-

⁸⁶ *Hunger H. Op. cit. S. 271.*

⁸⁷ *Lemerle P. Op. cit. P. 288—291; Hunger H. Op. cit. S. 273—274.*

зания древних авторитетов и проверяя их на практике, он нередко полемизировал с ними, возражал им, высказывал собственное мнение, а иногда критиковал даваемые ими рекомендации, называя их «совершенно нелепыми и заслуживающими полного пренебрежения». Ссылаясь на свой собственный опыт, он, в частности, отдает предпочтение посадкам фруктовых деревьев осенью. При этом он приводит убедительные аргументы в пользу своей точки зрения. Сообщает он и о придуманных им способах защиты голубей от нападений пресмыкающихся (Геопоники. С. 11—14, 17, 19, 24, 26—28, 313).

«Геопоники» оказали огромное воздействие не только на своих современников, но и на последующие поколения жителей империи. Они пользовались широкой популярностью. До нас дошло большое число рукописей, содержащих их текст. Древнейшие из них относятся к XI в. (Там же. С. 5)⁸⁸. Материал, включенный в них, свидетельствует не только о хорошем знании византийцами античной земледельческой науки и применении ее достижений на практике, но и об изысканиях, производимых ими по улучшению системы сельского хозяйства. В них нашли отражение те новшества, которые стали использоваться в сельскохозяйственном производстве Византии в X в. и которые способствовали его дальнейшему прогрессу.

Как и в предыдущие столетия, византийцы уделяли особое внимание медицине. Правда, их прежде всего интересовала практическая сторона дела. Хотя в большинстве случаев на болезни смотрели как на наказание божье, как на ниспосланные богом за грехи испытания, которые надо стойко переносить и бороться с которыми следует только молитвами и заклинаниями, тем не менее они были убеждены, что заболевания поддаются лечению (*Mich. Ps.* II. P. 33—34; *Ann. Comn.* III. P. 234).

Признавая ценность медицины, византийцы возлагали большие надежды на врачей, которые, по их мнению, могли помочь заболевшим выздороветь. В византийских источниках постоянно встречаются сведения о врачах. В написанном Симеоном Метафрастом добавлении к «Житию Сампсона Ксенодоха», покровителя медиков, рассказывается о праздновании ими дня его памяти, который падает на 27 июня, и о шествии, которое они устраивали для поклонения его останкам, покоившимся в храме св. Мокия (PG. T. 115. Col. 304). О враче, которого обычно приглашали к больным, говорится в «Житии Василия Нового» (X в.)⁸⁹. Врачей, лечивших Исаака I Комнина и поставивших ему неправильный диагноз, упоминает Михаил Пселл в своей «Хронографии» (*Mich. Ps.* II. P. 129—131). Высокую оценку медицинским познаниям Николая Калликла, Михаила Пантехни и евнуха Михаила, придворных медиков, находившихся у постели больного Алексея I Комнина и оказывавших ему помощь, дает Анна Комнина (*Ann. Comn.* III. P. 230—234, 236). О враче Соломоне, к которому Мануил I Комнин проявлял необычайную благосклонность, пишет Вениамин Тудельский⁹⁰.

Таким образом, данные источников показывают, что в Константинополе было довольно много врачей, которые обслуживали определенный круг пациентов, живущих в той или иной части города. Столичные медики пользовались высоким авторитетом как в самом Константинополе, так и в других регионах империи. Нередко жители провинций в поисках исцеления обращались за помощью к константинопольским врачам. «Житие Мелетия Нового» (XI—XII вв.) рассказывает об одном неизлечимо больном, проживающем в Элладе, который растратил все свое состояние, посещая столичных медиков. Однако опытных врачей можно было встретить не только в Константинополе, но и в провинциальных городах. В уже упомянутом «Житии Мелетия Нового» говорится о весьма знаменитом враче, жившем в Афинах при Комнинах, Феодосии, которого для лечения больных приглашали даже в Фивы⁹¹.

Вместе с тем среди врачей нередко можно было встретить и разного рода шарлатанов и мошенников, недобросовестно относящихся к своим обязанностям. О лекаре-шарлатане идет речь в небольшом юмористическом произведении «Палач, или Врач» Феодора Продрома, где он рассказывает о своем неудачном визите к эскулапу, пытавшемуся удалить у него зуб. Феодор Продром детально описывает процесс лечения: сначала врач разрезал ему десну, затем ух-

⁸⁸ Lemerle P. Op. cit. P. 291.

⁸⁹ Рудаков А. П. Указ. соч. С. 93.

⁹⁰ Там же. С. 94.

⁹¹ Там же. С. 93—94.

ватил больной зуб инструментом, {322} с помощью которого можно было вырвать клык у слона, а не только удалить зуб у человека. В результате всех манипуляций горе-лекарь сумел лишь отломить часть зуба пациента ⁹².

Файл byz323g.jpg

Рождество Богородицы. 1164.

Церковь св. Пантелеймона.

Нерези. Фреска на западной стене.

Предостерегает своих детей от обращения к медикам и Кекавмен, который рекомендует не доверять врачам, а лечиться самостоятельно, так как приглашенный к больному эскулап нередко использует свои знания для собственного обогащения, а не для лечения заболевшего (Кекавм. С. 224—226).

В вопросах медицины хорошо разбирались не только врачи-профессионалы, но и образованная элита византийского общества. Михаил Пселл считал себя сведущим медиком, во многом превосходящим профессионалов. Он точно определил заболевание Исаака I Комнина, предсказал его течение; обстоятельно описал подагру Константина IX Мономаха. В «Хронографии» он неоднократно употребляет медицинскую терминологию, приводит высказывание Гиппократов, показывая этим свои познания в данной области (*Mich. Ps.* II. P. 31—33, 129—131). Прекрасно осведомлен был в симптомах различных заболеваний патриарх Фотий. Он мог поставить диагноз и даже назначить курс лечения. В свою «Библиотеку» он включил шесть медицинских трактатов, принадлежавших более ранним авторам ⁹³. Евстратий Никейский был знаком с популярной в его время теорией о наличии в организме человека двух протоков, через которые пища и жидкость попадают внутрь в желудок и в слизистое место, т. е. в холодную флегму. Эти знания он использует для подтверждения своего объяснения происхождения термальных вод ⁹⁴. Определенным минимумом знаний по медицине обладал Феодор Продром, который в своих произведениях описал заболевание оспой и дал рекомендации о приеме пищи, необходимой организму в различные месяцы года ⁹⁵. Анна Комнина приобрела столь глубокие познания в медицине, что могла разобраться в предложениях врачей, окружавших ее тяжело заболевшего отца Алексея I Комнина, и выразить свое {323} согласие или несогласие с методами их лечения (*Ann. Comn.* III. P. 230—239).

Дает наставления о способах лечения различных болезней: простуды, желудка, печени и других — и Кекавмен. Однако, прежде чем приступить к лечению, он советует выяснить причины заболевания и только затем принимать те или иные меры для его устранения: употреблять ли микстуру, или отвары, или противоядие, или же делать кровопускание (Кекавм. С. 224—226).

Вопросами медицины в Византии живо интересовались многие аристократки, которые проявляли большую заботу о своей внешности. Их привлекали помещенные в медицинских трактатах рецепты, в которых давались советы по уходу за кожей лица и описывались препараты, помогающие бороться с морщинами, выпадением волос, дурным запахом изо рта. Используя данные наставления, женщины занимались приготовлением дорогих косметических средств. По свидетельству Михаила Пселла, много внимания изобретению и составлению всевозможных благовонных мазей и смесей, дающих возможность сохранить молодость и красоту, уделяла императрица Зоя. Один из составленных ею косметических рецептов получил широкое распространение и под именем «Мазь госпожи Зои-царицы» был включен в медицинский трактат (Трактат. С. 251, 256).

Свои знания по медицине византийцы приобретали в ходе обучения. Известно, что медицина входила в число предметов, преподаваемых в отдельных учебных заведениях. После завоевания арабами Александрии, где функционировала знаменитая медицинская школа, центром медицинского образования стал Константинополь. Именно в столице в царствование Филиппа (711—713) лекции по медицине читал некий Николай, считавшийся знатоком в этой об-

⁹² *Каждан А. П.* Литература // История Византии. Т. 2. С. 381.

⁹³ *Vogel K.* Op. cit. P. 290.

⁹⁴ *Delatte A.* Op. cit. P. 217—219.

⁹⁵ *Vogel K.* Op. cit. P. 290, 293.

ласти⁹⁶. «Наставником врачей» называли современники уже упомянутого Николая Калликла, образованнейшего человека своего времени (*Ann. Comn.* III. P. 230—234, 236). Его перу принадлежит множество стихотворных произведений, которые, по словам Иосифа Ракендита, были «образцом ямбического стихосложения»⁹⁷.

В XII в. была создана медицинская школа при больнице, построенной императрицей Ириной в 1136 г. при монастыре Пантократора, где занятия по медицине вел Михаил Италик. Основное внимание было сосредоточено на изложении теорий Гиппократов и Галена. Описывая слушателям различные болезни, он для наглядности своих объяснений показывал им пациентов, находившихся в больнице. В школе при больнице обучались и дети врачебного персонала, желавшие унаследовать профессию своих родителей⁹⁸. Не только на больных изучали византийские медики симптомы различных заболеваний и строение человеческого организма. Иногда врачам передавали преступников, которые для них служили объектом наблюдения за деятельностью внутренних органов (*Theoph.* P. 436).

При лечении той или иной болезни византийские медики, следуя советам Гиппократов, рекомендовавшего принимать во внимание прежде {324} всего времени года и сезонность определенных заболеваний, учитывали месяц, местность, климат, возраст, условия и образ жизни пациентов. Делая особое ударение на значении правильного питания как во время болезни, так и в здоровом состоянии, они старались прописать обращающимся к ним больным диету, исходя из заболеваний, характерных для того или иного сезона года, и советовали употреблять такие продукты, которые помогали бы им легче переносить перемены при переходе от одного месяца к другому. Эту постепенность в диете они считали одним из непреходящих условий здоровья человека. Диетические предписания, очень детально описывающие особенности и свойства пищи и устанавливаемые для различных месяцев года, были широко распространены в Византии и часто применялись в медицинской практике. До нас дошло множество стихотворных произведений под общим названием «О двенадцати месяцах», в которых помещены как указания, какую пищу следует употреблять в каждом месяце года, а от какой следует воздерживаться, так и советы по ее приготовлению. Большинство этих произведений анонимные. Они далеко уступают по богатству содержания аналогичным сочинениям, принадлежащим видным византийским ученым (*Delatte. Anecd.* II. P. 466—499)⁹⁹. Наиболее значительным среди подобных трудов является трактат Иерофила (XII в.), озаглавленный «О различной пище для каждого месяца и ее употреблении». Материал для его написания Иерофил заимствовал из сочинения Гиппократов «О диете». В текст трактата включено большое число таблиц с рекомендованными продуктами питания (*Phys. et med.* I. P. 409—417; *Delatte. Anecd.* II. P. 456—466). Диетические рекомендации находим в стихотворном произведении Николая Калликла. В нем он дает описание характерных особенностей каждого из 12 месяцев, сопровождая их медицинскими советами. Аналогично содержание поэмы Феодора Продрома, посвященной характеристике двенадцати месяцев (*Phys. et med.* I. P. 418—420)¹⁰⁰.

Много внимания уделено проблемам питания в анонимном медицинском трактате, дошедшем до нас в списке XIV в. (см. ниже). Его составитель рекомендует своим пациентам соблюдать умеренность в еде и питье, советуем придерживаться определенного порядка приема пищи, характеризует различные продукты питания и их терапевтические свойства (Трактат. С. 257—258, 260—264, 276).

Большое значение для здоровья человека, по мнению византийских врачей, имел и его образ жизни. Благоразумный образ жизни был залогом здоровья. Следствием неумеренного образа жизни было появление в организме дурных соков, губительно действующих на здоровье человека (*Ann. Comn.* III. P. 232).

Важным лечебным средством считали византийские врачи и мытье в банях. Они нередко предписывали эту процедуру заболевшим, которые сами иногда без указания медиков при первых признаках недомогания отправлялись в бани. О целебных свойствах бани с восторгом

⁹⁶ Рудаков А. П. Указ. соч. С. 93; Vogel K. Op. cit. P. 289.

⁹⁷ Книга античности и Возрождения о временах года и здоровье. М., 1971. С. 36.

⁹⁸ Fuchs F. Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig; B., 1926. S. 61.

⁹⁹ Книга античности... С. 9. 12. 36; Hunger B. Op. cit. S. 309.

¹⁰⁰ Книга античности... С. 37—48.

отзывается в одном из писем Михаил Хониат. Некоторые монастырские типики содержат наставления, которые рекомендуют монахам, чувствующим себя нездоровыми, посещать бани. {325}

О пользе мытья в бане говорится в анонимном медицинском трактате XI—XIV вв. По словам его составителя, «она весьма оберегает здоровье и укрепляет тело». При этом он не только советует ходить туда всем людям, но и определяет для каждого человека режим мытья в соответствии с его темпераментом (Трактат. С. 258—259).

Основными способами лечения больных, применяемыми византийскими медиками, были выведение «излишков» из организма заболевшего с помощью слабительного и кровопускание (*Ann. Comn.* III. P. 230—231, 233). Составитель анонимного медицинского трактата неоднократно возвращается к обсуждению вопроса, в какое время года и при каких обстоятельствах необходимо прибегать к очищению «тела от накапливающихся излишков с помощью кровопускания и прочих средств» (Трактат. С. 257, 261, 268, 274, 279).

Редко византийские врачи для лечения отдельных видов болезней прибегали к хирургическому вмешательству, о чем свидетельствуют дошедшие до нас перечни хирургических инструментов, находившихся в их распоряжении.

При этом византийские врачи применяли различные обезболивающие средства. Так, в названном выше медицинском трактате упоминаются усыпляющие препараты, которые употребляли во время операции, чтобы пациент не чувствовал боли. Наряду, так сказать, с общим наркозом, использовали «местный наркоз» для избавления больного от страданий в момент прижигания или операции. Анонимный автор описывает способ приготовления усыпляющих и обезболивающих средств, их состав и метод применения. Если первые он рекомендовал давать нюхать, то последние советовал разводить водой, доводить до нужной консистенции и наносить на то место тела, которое необходимо было прооперировать или прижечь (Трактат. С. 283).

Византийские медики применяли также и лекарственную терапию, используя целебные свойства различных растений, таких, как виноград, сандал, яблоки, айва, груши, гранаты, сливы, майоран, ромашка, лилия, миндаль, сезам, нарцисс, мирт, сельдерей, петрушка, хрен, тыква, укроп, свекла, чечевица, полынь, ревен, чеснок, лук, капуста и т. д., и составляли из них различные настойки, отвары, лекарства, мази (Трактат. С. 262—292; *Ann. Comn.* III. P. 233, 236). В большинстве случаев они отдавали предпочтение медикаментозному лечению. В рукописях встречается бесчисленное множество рецептов¹⁰¹. Фармакологии как независимой отрасли в Византии не существовало. Византийские врачи сами были своего рода аптекарями и фармацевтами, сами собирали лекарственные травы и изготавливали из них лечебные препараты. В сочинениях, написанных ими по терапии, помещались наставления относительно лекарств, которые необходимо было принимать при том или ином заболевании. Объем знаний по фармакологии, полученных от античности, они постоянно пополняли лечебными средствами, употребляемыми в Аравии, Иране, Галлии, Италии, Иллирике, Армении, Сирии, Финикии, Ливане, Эфиопии, Египте, Индии (Трактат. С. 256, 262—292).

Повседневную заботу о здоровье населения империи проявляли правительство и церковь, которые учреждали для его лечения больницы- {326} носокомии. Организуя больницы, правительство старалось обеспечить их опытными специалистами, следило за подготовкой врачей и гарантировало им средства существования¹⁰². Одной из известных клиник в Константинополе была лечебница Евбула, о которой рассказывается в «Житии Луки Столпника». В ней могли получить помощь жители не только столицы, но и окрестных городов. Для бедных и бездомных женщин в столице был основан родильный дом. Лечебные учреждения чаще всего создавались при больших церквах. Так, Феофилакт Никомидийский, по данным его жития, построил больницу при главном храме Никомидии, привлек для работы в ней врачей и обслуживающий персонал, предоставив в их распоряжение кровати и постельные принадлежности для больных¹⁰³.

¹⁰¹ *Hunger H.* Op. cit S. 309.

¹⁰² *Vogel K.* Op. cit. P. 288, 293.

¹⁰³ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 97; *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 72.

В Константинополе существовали специальные больницы, где лечили психически ненормальных людей. Одна из них помещалась при церкви Св. Анастасии, считавшейся целебницей умалишенных. В нее для излечения был приведен хозяином Андрей Юродивый (PG. T. 111. Col. 640, 648). Другая находилась при церкви во Влахернах.

Особенно много внимания организации больниц уделяли Иоанн II Комнин и его супруга Ирина. Они не только строили лечебницы, но и выработали точные правила по их управлению. Ими была создана, как уже говорилось выше, клиника при монастыре Пантократора на 50 коек с несколькими отделениями: хирургическим, гинекологическим, для больных с обычными заболеваниями и для страдающих различными острыми болезнями (желудочными, глазными и т. п.) — с постоянным штатом врачей и ассистентов — хирургов и акушерок. В каждом отделении работали два врача, в их распоряжении находились три штатных и два сверхштатных помощника и два служителя. Больница обслуживала как стационарных больных, так и приходящих. Для этого были назначены четыре сверхштатных врача: два хирурга и два специалиста по внутренним болезням. Врачи были разделены на две смены, каждая из которых работала в течение месяца. Их труд оплачивался деньгами и хлебом. Кроме того, они пользовались определенными льготами: им полагалась бесплатная квартира с освещением и предоставлялись монастырские лошади. Одновременно им категорически запрещалась частная практика. Больница также была укомплектована специальным штатом аптекарей¹⁰⁴.

Большую заботу о здоровье воинов проявляли их командиры, византийские военачальники, старавшиеся соблюдать определенные правила санитарии и гигиены в подчиненном им войске. Следуя этим рекомендациям, они стремились устроить лагерные стоянки вдали от болотистых мест и полей недавних сражений, опасаясь вспышек эпидемий, избегать длительного пребывания на одном месте. Хорошие полководцы обычно строго следили за тем, чтобы их солдаты имели при себе необходимый запас лекарственных и целебных средств (бальзама и разнообразных мазей) и перевязочного материала¹⁰⁵. {327}

Таким образом, в деле распространения медицинских знаний в обществе, подготовки врачей и устройства больниц византийцы достигли определенных успехов. Преклоняясь перед авторитетом Гиппократов и Галена, византийские медики старались придерживаться в своей практике разработанных античными мыслителями теорий о наличии в живых организмах четырех элементов (сухого, влажного, холодного и горячего) и четырех жидкостей (крови, слизи, черной и желтой желчи). Следуя гуморальному учению Гиппократов, они, как и их великий предшественник, считали, что причиной болезней является ненормальное смешение жидких сред в организме, а утрата одной из них ведет к смерти (Тим. С. 35—39, 57—58, 61, 64). Их медицинские трактаты, посвященные вопросам кровопускания, диагностики по крови и моче, диетическим наставлениям, представляют собой соединение античной традиции с личным опытом, а иногда и грубым шарлатанством и суеверием. Иногда в них встречаются сведения о полезных и вредных насекомых, червях, пиявках, а также данные о стоимости животных продуктов, из которых готовят медикаменты. Чаще всего эти произведения анонимные. Однако некоторые из них приписаны видным византийским врачам¹⁰⁶.

Фригийскому монаху Мелетию, жившему при императорах-иконоборцах, принадлежит работа по анатомии, называемая в одних рукописях «О строении человека», в других — «О природе человека». При ее написании Мелетий имел в своем распоряжении труды Григория Нисского «О природе человека» и «Шестоднев» Василия Великого. Следуя за своими источниками, Мелетий уделяет больше внимания антропологическим и богословским вопросам, нежели медицинским. В отдельных кодексах Мелетию приписаны схолии к «Афоризмам» Гиппократов и трактаты «О душе» и «О началах» (PG. T. 64. Col. 1075—1310)¹⁰⁷.

Современником императора Феофила Львом иатрософистом, т. е. врачом-мудрецом, было написано компилятивное сочинение «Общий обзор медицины», состоящее из семи книг, в которых идет речь о различного рода заболеваниях: лихорадке, болезнях головы, глаз, уха,

¹⁰⁴ Гранстрем Е. Э. Указ. соч. С. 363; Каждан А. П. Книга... С. 78.

¹⁰⁵ Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 94.

¹⁰⁶ Hunger H. Op. cit. S. 274, 304.

¹⁰⁷ Anecdota graeca e codicum manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium/Ed. J. A. Cramer. Oxford, 1837. Vol. 3. P. 1—157; Diels H. A. Die Handschriften der antiken Ärzte. B., 1907. Bd. 2. S. 63.

горла, носа, пищевода, мочевых и половых органов. Трактат представляет собой довольно скудное по содержанию эпитоме, в котором только иногда упоминаются Гиппократ и Гален. Хотя в предисловии основную цель своей работы Лев определяет как описание причин, симптомов и терапии каждой болезни, в действительности он очень кратко говорит об этом. Львом был подготовлен также «Общий обзор о природе людей», являющийся извлечением из труда Мелетия¹⁰⁸.

При Константине VII Багрянородном по его приказу была создана Феофаном Нонном краткая медицинская энциклопедия, базирующаяся на «Синописе» Оливасия и эксерптах из произведений ранневизантийских врачей Аэция из Амиды, Александра из Тралл и Павла Эгинского. Задачу, поставленную им при написании своего труда, озаглавленного {328} «Синописис вкратце обо всем врачебном искусстве», он видел в ознакомлении византийцев с самыми существенными сведениями по медицине. Работа распадается на 297 глав, в которых речь идет преимущественно о лекарствах, изготовленных как в домашних условиях, так и профессионалами. К описанию самих болезней и их лечения, особенно к хирургии, Феофан Нонн не проявляет особого интереса. Им же по поручению Константина VII было составлено сочинение «О диете», одним из источников которого является работа по медицине, посвященная Константину IV Погонату. Оба трактата Феофана Нонна снабжены предисловиями, которые не оставляют никакого сомнения, что они были написаны по заказу Константина VII¹⁰⁹.

Крупнейшему византийскому ученому Михаилу Пселлу принадлежит и ряд произведений по медицине: компендий, носящий название «Лучший врачебный труд, написанный ямбами» и предназначенный для учебных целей; перечень заболеваний под заглавием «О новых названиях болезней», где помещено множество специальных медицинских терминов; трактат «О бане», в котором он отмечает значение водных процедур для здоровья человека и предостерегает от чрезмерного увлечения купанием. Много внимания он уделял проблемам питания. В его сочинении «О диете» дана характеристика растительных и животных продуктов и их воздействия на природу и здоровье человека. Главы по медицине и физиологии включены в его огромный труд «Всеобщее наставление». Описание чесотки мы находим в ряде его юмористических стихотворений. Значительное число медицинских работ Михаила Пселла до сих пор не издано (*Phys. et med.* Т. Р. 193, 203—243; II. Р. 257—281)¹¹⁰.

Несколько медицинских сочинений дошло до нас от младшего современника Михаила Пселла Симеона Сифа, проявлявшего исключительный интерес к естественной истории. Наиболее значительным произведением, написанным им, была посвященная Михаилу VII Дуке «Синтагма о свойствах различных видов пищи», где говорится о целебных свойствах пищи. Материал в Синтагме располагается в алфавитном порядке. В работе впервые в византийской медицинской литературе упоминаются лекарства восточного происхождения, такие, как камфара, гвоздика, мускатный орех, амбра, гашиш и другие, что свидетельствует о хорошем знании Сифом арабской и индийской традиции. Кроме того, им был составлен ботанический лексикон и небольшие трактаты о чувствах обоняния, вкуса и осязания (*Phys. et med.* II. Р. 283—285; *Delatte. Anecd.* II Р. 339—361)¹¹¹.

При создании своих работ Симеон Сиф, возможно, опирался не только на античную традицию, но и на личный опыт и восточную медицинскую литературу. При всеобщем преклонении перед авторитетом греко-римских мыслителей Симеон Сиф выступил с критикой некоторых теоретических положений Галена в своем «Антирретике Галену». Он упрекает древнеримского ученого за его многословие, за противоречия, {329} которые в ряде случаев наблюдаются, по мнению византийского писателя, между словом и смыслом¹¹².

¹⁰⁸ *Leonis Medici De natura hominum synopsis*/Ed. R. Renehan. B., 1969; *Hunger H.* Op. cit. S. 305.

¹⁰⁹ *Cohn L.* Bemerkungen zu den Konstantinischen Sammelwerken // *BZ.* 1900. Bd. 9. S. 154—158; *Lemerle P.* Op. cit. P. 296; *Hunger H.* Op. cit. S. 305.

¹¹⁰ *Vogel K.* Op. cit. P. 290; *Hunger H.* Op. cit. S. 307—308.

¹¹¹ *Harig G.* Von den arabischen Quellen des Symeon Seth // *Medizinhistorical Journal.* 1967. Bd. 2. S. 248—268.

¹¹² *Brunet M.* Siméon Seth, médecin de l'empereur Michel Doukas. Sa vie — son oeuvre. Bordeaux, 1939; *Schmid M.* Eine Galen-Kontroverse des Simeon Seth//*Communications au XVII Congrès International d'Histoire de la Médecine.* Athen, 1960. Vol. 1. P. 491—495; *Hunger H.* Op. cit. S. 308—309.

От рассматриваемых столетий дошел до нас весьма интересный труд по медицине, принадлежащий, по мнению его первого исследователя и издателя Г. Г. Литаврина, перу практикующего врача. Отсутствие в изучаемом сочинении надежных хронологических указаний затруднило его датировку. Были определены только хронологические пределы его появления. В качестве *terminus post quem* Г. Г. Литаврин принял упоминание об императрице Зое, умершей в 1050 г., в качестве *terminus ante quem* — время написания манускрипта, содержащего данный труд и созданного, по мнению большинства исследователей, во второй половине XIV в.

Трактат, являющийся, по словам Г. Г. Литаврина, своеобразной медицинской энциклопедией, распадается на несколько разделов, в которых речь идет об общей гигиене, о гигиене беременной женщины и новорожденного, о гигиене питания, о различных видах внутренних и наружных болезней и о методах их лечения, о приготовлении лекарственных препаратов. При этом фармакологический отдел занимает в лечебнике преобладающее место.

Изданный Г. Г. Литавриным медицинский трактат имел, по-видимому, практическое значение, служил руководством для лечащего врача. Его автор, весьма сведущий в своей области человек, при его составлении опирался как на сочинения своих предшественников, так и на личный опыт. В работе нередко встречаются описания способов лечения отдельных видов заболеваний, которые применял сам автор и которые давали не меньший эффект, чем методы его коллег (Трактат. С. 249—301).

Изложенный выше материал показывает, что византийцы достигли определенных успехов в области медицины, уровень развития которой был для своего времени довольно высоким.

В области химии, остававшейся в Византии оккультной наукой о тайных свойствах веществ, об «искусственном», по определению в «Суде», «приготовлении золота и серебра», продолжалось количественное и качественное накопление химико-технологических сведений практического характера. Главная заслуга в этом процессе принадлежала ремесленникам. Именно они в ходе работы значительно расширяли и обогащали объем знаний, приобретенных предшествующими поколениями мастеров и подмастерьев, в металлургии, красильном и керамическом производстве, стеклоделании и т. п. и передавали их своим наследникам. Ими чаще всего были их дети, которые, помогая родителям, овладевали трудовыми навыками.

Правда, мы плохо осведомлены о ремесленном производстве рассматриваемого периода. Имеющиеся сведения носят случайный характер. Известно, например, что скрипторы при копировании трактатов, описывающих технологию обработки различных материалов, для обозначения химических элементов использовали специальные значки, которые были {330} понятны как переписчикам, так и читателям этих произведений¹¹³. Однако многие подобные руководства до сих пор еще не изданы и не введены в научный оборот. Тем не менее сохранившийся материал, особенно археологический, и его сопоставление с данными нарративных памятников дают возможность говорить об определенном подъеме ремесла в Византии в IX—XII вв., особенно в отраслях, связанных с удовлетворением потребностей армии, двора, монастырей, знати и купечества¹¹⁴.

В столице империи, в Константинополе, были расположены многочисленные мастерские. В них выплавляли металл, изготавливали оружие и разнообразное воинское снаряжение, ювелирные украшения, драгоценную утварь, благовония, высококачественные красители, лучшие сорта шелковых пурпурных тканей, изделия из стекла, глиняную полихромную посуду¹¹⁵.

Ремесленные мастерские находились и в других городах Византии. Мастерская по окраске тканей была обнаружена в городе Стоби при раскопке жилого дома. В Коринфе была найдена функционировавшая в XI—XII вв. стеклоделательная мастерская. Об обработке стекла в мастерских Фессалоники пишет Иоанн Камениата (*Theoph. Cont.* P. 501). Вообще о стекольщиках рассказывается во многих агиографических памятниках. В них нередко идет речь о лю-

¹¹³ Гранстрем Е. Э. Указ. соч. С. 358.

¹¹⁴ Сюзюмов М. Я. Город // История Византии. Т. 2. С. 24, 28.

¹¹⁵ Наследова Р. А. Город второй половины IX—X вв. // История Византии. Т. 2. С. 137—138; Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 19.

дах, у которых брызги расплавленного стекла выжгли глаза¹¹⁶. Мастерские по производству керамических изделий, отличавшихся высоким качеством, существовали в Коринфе, Афинах, Спарте. Здесь изготавливали не только кухонную посуду, используемую в повседневной жизни, но и первосортную продукцию, украшенную росписью или штрихами. Мастерские по обработке металлов были сосредоточены в Фессалонике. Это была одна из наиболее высоко развитых отраслей ремесленного производства города. Иоанн Камениата, описывая завоевание Фессалоники арабами в 904 г., говорит о производстве в ней в огромных количествах изделий из меди, железа, олова, свинца (*Theoph. Cont.* P. 501). Арабы за несколько дней пребывания в захваченном городе награбили неимоверно много медной и железной утвари. Их предводители даже запрещали им грузить ее на корабли, оставляя место для более ценной добычи. Особенно хорошо было налажено в Фессалонике производство самого разнообразного вооружения. По данным Константина Багрянородного, стратиг Фессалоники, несмотря на страшный разгром, учиненный арабами в 904 г. в городе, должен был уже в 908 г. поставить 200 000 стрел, 3000 дротиков, большое число щитов для снабжения экспедиции, снаряженной византийским правительством против арабов (*De ser.* P. 657).

Ремесленные мастерские существовали и в монастырях. В Студийском монастыре в Константинополе трудились красильщики, кожевники, ювелиры, кузнецы, мастера по изготовлению ножей, ключей, цепей, рыболовных крючков и т. п. В поместьях византийских магнатов также ра- {331} ботали ремесленники-профессионалы, которые занимались производством разнообразных керамических изделий и тканей¹¹⁷.

В византийском ремесле продолжали сохраняться унаследованные от древности технические приемы и секреты изготовления ряда изделий, а в отдельных отраслях его, как, например, в стеклоделии, даже античная технология. Однако византийские мастера не только освоили их, но и продвинулись далеко вперед. Особенно это заметно на наиболее массовом и показательном материале, каким является керамика, где была значительно усовершенствована система обжига и приготовления теста, используемого для производства гончарной продукции¹¹⁸.

Успешное развитие ремесленного производства, тесно связанного с насущными потребностями византийцев, способствовало дальнейшему увеличению объема информации о химических процессах, происходящих в природных веществах и их соединениях. Стремление полнее удовлетворить запросы повседневной жизни, особенно в военной сфере, нередко приводило к открытиям в области химии. Так, необходимость обеспечения безопасности пределов Византии от нападений врагов, теснивших империю в начале рассматриваемого периода на всех границах, стимулировала создание грозного для того времени оружия, так называемого «жидкого», или «греческого огня». Его применение было залогом успеха византийцев в борьбе с неприятелем (*Mich. Ps.* II. P. 10; *Ann. Comn.* III P. 96—99).

«Греческий огонь» был изобретен около 673 г. Каллиником, архитектором из Гелиополя в Сирии, перебежавшим к византийцам при Константине IV Погонате (668—685) (*DAI.* P. 228; *Конст. Багр.* С. 312) и представлял собой горючую смесь, состоящую из смолы, нефти, селитры и серы. Это вещество легко воспламенялось и горело даже на воде (*PG.* T. 107. Col. 1008 C—D). Его выбрасывали из устанавливаемых на носу кораблей сифонов-огнеметов, которые для устрашения неприятеля устраивали в виде бронзовых или железных чудищ с разинутыми пастьми и направляли в сторону вражеских судов (*Ann. Comn.* III. P. 42). Хотя «греческий огонь» использовали главным образом в морских сражениях, однако не менее успешно его применяли и при обороне и осаде крепостей и городов. Наполненные горючим веществом глиняные сосуды бросали либо в осаждаемые укрепленные населенные пункты, чтобы вызвать в них пожары, либо на осадные орудия врага, чтобы сжечь их. Технология производства «жидкого огня» хранилась в глубокой тайне. Ее разглашение каралось смертной казнью (*DAI.*

¹¹⁶ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 21.

¹¹⁷ *Литшиц Е. Э.* Очерки... С. 85—86, 104—105; *Сюзюмов М. Я.* Указ. соч. С. 26—27; *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 14.

¹¹⁸ *Сюзюмов М. Я.* Указ. соч. С. 28, 33; *Каждан А. П.* Экономическое развитие империи в XI—XII вв. // *История Византии.* Т. 2. С. 249—250, 253—254.

Р. 68—70; *Конст. Багр.* С. 274—275). Однако секрет приготовления «греческого огня» стал со временем известен и арабам, и болгарам (*Кекавл.* Комментарий С. 446)¹¹⁹.

Особый интерес византийцы продолжали проявлять к алхимии, которую ее адепты рассматривали как «великое и святое искусство»¹²⁰. По их представлениям, занятия алхимией помогали созданию неисчисли-^{332}мых богатств и избавлению человечества от нищеты и болезней, поскольку они верили, что при соответствующей обработке можно было превратить неблагородные металлы в благородные и приготовить универсальное средство, эликсир долголетия. Не понимая сущности химических процессов, при которых удавалось порой получить в результате соединения отдельных металлов сплавы, напоминающие золото либо серебро, или выделить настоящее серебро из сырого свинца, а из амальгамы — золото, алхимики принимали это за действительные превращения веществ. Естественно, у них возникала мысль о возможности превращения всего сырья в благородные металлы.

Занятия алхимией в Византии носили чисто спекулятивный характер, ее последователи занимались не постановкой опытов, а изучением дошедших к ним из глубокой древности работ, в которых были помещены сведения о результатах экспериментов по изготовлению различных предметов из металла и стекла, украшений и красителей. Приведенные в них правила по обработке металлов давали в руки ремесленникам и ювелирам рекомендации по паянию, закаливанию, очищению и обогащению металлов, по производству сплавов, листового материала из свинца и золота, металлических нитей и т. п. Много места в указанных сочинениях занимают рецепты по приготовлению красителей, прежде всего пурпура и киновари, используемых ткачами-ремесленниками и художниками-живописцами. В лексиконе «Суда» помещено сообщение о практике смешивания красок, которым обычно занимались ремесленники. В алхимических произведениях идет речь и о производстве и обработке стекла.

Среди них встречаются руководства по изготовлению ваз и кубков, по их росписи, а также по окраске стекла, жемчуга и драгоценных камней. Для декоративной отделки их мастерам советовали использовать не только драгоценные металлы и камни, но и янтарь, алебастр и т. п. Кроме того, в трактатах по алхимии были описаны отдельные, используемые ее приверженцами приборы, прежде всего фиалы, реторты, дистилляционные аппараты, печи и др.¹²¹

Впервые труды по алхимии, созданные авторами более раннего времени, и комментарии к ним были собраны в единый корпус в VII — VIII вв., который был дополнен при Константине VII Багрянородном. Большинство дошедших до нас трактатов по алхимии либо анонимные сочинения, либо работы, приписанные выдающимся деятелям истории, культуры и науки прошлого. Среди них нередко встречаются имена императоров Юстиниана I и Ираклия, а также Стефана Александрийского, Демокрита из Абдеры и др. Алхимические произведения были широко распространены в Византии. В рукописных коллекциях сохранилось значительное число древних манускриптов, содержащих работы по алхимии. Критическое издание этих текстов до сих пор еще не осуществлено. Большие затруднения вызывает понимание их содержания. Они полны символики, туманных и непонятных рассуждений и ложных выводов и отличаются религиозно-мистическим характером изложения и использованием труднопонимаемых выражений, аллегорий и заклинаний ^{333} Их авторы употребляли для обозначения одних и тех же металлов, камней, приборов множество различных наименований¹²².

Несмотря на широкое распространение алхимических произведений и повсеместный интерес, проявляемый к этой оккультной науке в византийском обществе, увлечение ею было небезопасным. Так, константинопольскому патриарху Михаилу Кируларию (1043—1058) наряду с другими было предъявлено обвинение в приверженности волшебству и алхимии. В обвинительной речи, составленной Михаилом Пселлом, занятие алхимией объявлялось тяжким преступлением. По словам Михаила Пселла, патриарх не знал законов превращения металлов, он занимался только изготовлением тинктур, поисками веществ, которые могли бы очистить медь и лишить свинец плавкости. Однако на этом пути, как отмечает Пселл, он не добился ни-

¹¹⁹ Сюзюмов М. Я. Указ. соч. С. 28.

¹²⁰ Vogel K. Op. cit. P. 296.

¹²¹ Vogel K. Op. cit. P. 301; *Каждан А. П.* Книга... С. 77; *Hunger H.* Op. cit. .S. 281.

¹²² Vogel K. Op. cit P. 297; *Hunger H.* Op. cit. S. 279—281.

каких успехов: железо оставалось железом, а олово — оловом и лишь по цвету напоминало золото¹²³.

Михаил Пселл в юношеские годы также увлекался алхимией. Им была написана работа — послание «О том, как делать золото», которая была посвящена тому же Михаилу Кирулярию. В ней Михаил Пселл ведет речь о перераспределении материи, об изменениях, происходящих благодаря смешиванию элементов. Отказываясь видеть в этом нечто таинственное и магическое, он пытается объяснить процессы превращения металлов естественными причинами, исходя из учения Аристотеля о четырех элементах. Михаил Пселл предложил и описал общую технологию окраски камней и металлов. Здесь же он перечисляет различные способы получения золота: 1) из золотиносной россыпи, встречающейся на морском берегу; 2) согласно рецепту, предложенному в труде Псевдо-Демокрита «Физика и мистика»; 3) используя традиционные рецепты по изготовлению золота. При этом он отдает предпочтение старым, пришедшим из глубокой древности рецептам производства золота. Однако ничего нового и определенного Михаил Пселл по данному вопросу не привел (*Mich. Ps. Epître. P. 1—47*)¹²⁴. Его изложение весьма туманно и неясно, а аргументы и выводы весьма шатки.

Как видно, дошедшие до нас памятники химической и алхимической литературы наряду с фантастическими данными и выводами содержат немало интересных и полезных сведений об обработке металлов, об изготовлении красителей, керамики, стекла, мела, о процессах брожения, свертывания, разложения, знание которых было необходимо при приготовлении продуктов питания, и свидетельствуют о практической направленности этих наук в Византии.

Хотя во второй половине VII—XII вв. в Византии уделяли довольно мало внимания естественным и математическим наукам, тем не менее в этот период многое было сделано для развития науки и техники, особенно тех отраслей их, которые были тесно связаны с практическими потребностями общества. Было накоплено множество положительных знаний, без которых был бы немислим прогресс. Но главная заслуга Византии рассматриваемой эпохи состоит в сохранении и развитии высших достижений древнегреческой науки и в передаче их последующим поколениям. {334}

11

Географические знания¹

Географическая мысль в средневизантийскую эпоху развивалась на основе античных и ранне-византийских достижений. Процесс этот не был вполне равномерным. Как по количеству, так и по качеству сохранившихся памятников, период VII—VIII вв. был сравнительно менее плодотворным, македонский и комнинский периоды — более продуктивными. Географическая литература оставалась одним из компонентов большого византийского культурного комплекса и следовала присущим ему общим закономерностям. Находили, однако, в ней выражение и новые веяния, намечались качественные сдвиги. Они проявлялись во всех основных сферах землеведения: теоретической космографии, практической географии и картографии.

Представление о мироустройстве развивалось в Византии в тесной связи с философией и богословием. Византийская космография располагала богатой традицией патристической экзегезы², многочисленные Шестодневы не потеряли своей популярности и в последующие столетия существования империи. Традицию толкования Священного писания, из которого черпались основы христианских представлений о мироустройстве, продолжил в VIII в. Иоанн Дамаскин. Вопросы космологии рассмотрены им в последней части догматического сочинения «Источник знания» (PG. T. 94. Col. 862—976). Представленные здесь сюжеты традиционны для Шестодневов, и автор выступает скорее как компилятор, чем как оригинальный мысли-

¹²³ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 87; Гукова С. Н. Космография... С. 41—42.

¹²⁴ Hunger H. Op. cit S. 281.

¹ С. 345—365 написаны О. Р. Бородиным; с. 335—345 — С. Н. Гуковой.

² См.: Бородин О. Р. Развитие географической мысли//Культура Византии. IV— первая половина VII в. М., 1984. С. 432—466.

тель, заимствуя свои познания в космографии из трудов Василия Великого, Севериана Габальского, Немесия, Диодора Тарского, Феодорита Кирского.

Фрагменты аристотелевских космологических представлений вошли в сочинение Дамаскина через посредников, главным образом через Василия Великого. Земля представлена Дамаскином в виде шара, окруженного сферами небес (автор, следуя за Василием, насчитывает 3 сферы). Рассматривая вопрос о влиянии, оказываемом Солнцем и Луной на природу, автор дает объяснение солнечным и лунным затмениям. Согласно аристотелевской традиции он поясняет и некоторые метеорологические {335} явления, связанные с небесными светилами, а также решительно выступает против одушевления неба и звезд, как это делали платоники. Рассуждая о знаменьях, он говорит, что звезды указывают лишь на погоду, но не определяют человеческие поступки, ибо люди одарены свободной волей и являются господами своих дел (PG. T. 94. Col. 893).

Файл byz336g.jpg

Сотворение мира.

Создание солнца, луны, звезд.

Ок. 1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

В главе «О водах» автор дает очерк распределения их на земле. Он выделяет прежде всего реку Океан, которая обходит всю землю и дает воду для образования облаков и дождей благодаря парообразующему действию солнца. Из Океана черпают воду моря и реки, обозначенные частью библейскими, частью античными именами. Морская вода, проходя сквозь скважины и жилы в земле, теряет свою соль — так образуются источники (Ibid. Col. 904).

Географические представления Дамаскина весьма примитивны, главное для него — гармоничное обоснование христианского мироздания, согласие его с буквой Священного писания. Четкое построение, ясность языка и образность немало способствовали популярности сочинения Дамаскина как в Византии, так и в славянском и западноевропейском средневековом мире, о чем свидетельствуют многочисленные рукописи с его трудами. Уже в X в. оно было переведено на славянский, а с XII в. стало переводиться на латинский язык.

Эпоха иконоборчества, помимо труда Иоанна Дамаскина, не оставила других сколь-нибудь значительных памятников космографии. Лишь в XI в. на фоне общего культурного подъема появляются первые космографические сочинения, отличающиеся от традиции патристической экзегезы и иным назначением, и попыткой по-новому осмыслить окружающий мир. Если на заре существования империи обоснование христианской картины мира входило в задачи патристики, которая не могла обойти вопрос о соотношении библейских космологических представлений с достижениями античной науки; а поэтому первые христианские космографии принадлежали крупнейшим деятелям церкви и предназначались широкой массе христиан, то в XI в. наблюдается другая картина. Космографические сочинения этого периода возникают как плод учительной деятельности, связанной с занятиями в высшей школе в Константинополе, которая продолжила традиции школы эллинистической. Познания в {336} космологии рассматривались здесь как необходимая ступень в постижении философии³.

Файл byz337g.jpg

Сотворение мира.

День седьмой.

1180—1194. Монреале.

Мозаика, из кафедрального собора.

Космографические трактаты имели целью объяснить устройство Вселенной, рассказать о форме Земли, вращении небесных тел, природе землетрясений, града, снега, дождя, грома и молнии, т. е. представить систему теоретического знания. Такой широкий охват проблем — свидетельство недифференцированности и универсальности научного знания, свойственных мышлению средневековых ученых. Их занимали сразу все проблемы окружающего мира, и уровень развития науки позволял охватить их в едином труде.

³ См.: *Гукова С. Н.* Космография в системе византийской науки и образования в XI—XII вв. // *Городская культура. Средние века и начало нового времени.* Л., 1986. С. 27—42.

Михаил Пселл положил начало этой новой традиции в истории византийской космографии. Он впервые попытался представить рациональную картину мира, в основе которой лежали не столько библейская космология, сколько позитивные достижения эллинистической науки. Космография изложена у него в большом сочинении «Всеобщее наставление» (*De omnifaria doctrina*), которое было, вероятно, плодом его преподавательской деятельности и имело назначение учебного пособия, компендия, где можно найти все необходимые сведения о физическом мире. Как и многие сочинения энциклопедического характера, труд Пселла представляет собой компиляцию, где наряду с Псевдо-Плутархом автор использует сочинения древнегреческих мыслителей и ранневизантийских комментаторов к ним.

В главах, посвященных космографии (§ 120—178), Пселл кратко представляет геоцентрическую картину мира по Птолемею, который был источником его сведений и относительно определения небесного экватора, и видимого наклона оси мира к горизонту, и смены времен года и многих других явлений, которые были почерпнуты им скорее из комментариев, чем из сочинений самого александрийского астронома.

В вопросах космогонии Пселл не следует слепо за ветхозаветным преданием, но занимает позицию достаточно независимую. Сославшись на моисеево Пятикнижие, он переходит к изложению теории античных {337} философов, выделяя учение о 4 первоэлементах и эфире. Элементы, по мнению Пселла, расположены в космосе по концентрическим окружностям: в центре — земля, как самая тяжелая, выше — вода, еще выше — воздух и огонь, как более легкие (*Mich. Ps. De omn. doc. P. 78—79*).

Проблемы метеорологии автор излагает согласно Аристотелю. Некоторые из них более детально рассмотрены в ряде трактатов о происхождении атмосферных явлений, представляющих собой по большей части компиляции из комментариев Олимпиодора к «Метеорологике» Аристотеля (*Mich. Ps. Epître. P. 55—68*), а также в небольшой монодии, написанной по поводу землетрясения⁴. «Природа — сила невидимая для глаз, но понимаемая разумом. Она является двигателем физических тел. Ведь все тела, если и получают движение и покой от бога, движимы прежде всего природой. ...Человека и живые существа движет природа и душа. Тела же, простые и сложные, движет только природа», — пишет Пселл (*Mich. Ps. De omn. doc. P. 40*). Таким образом, природа в его понимании является ближайшим посредником реализации трансцендентной идеи. Бог создал природу и дал ей свои законы, в соответствии с которыми она и функционирует. Следовательно, закономерность природных явлений доступна человеческому разумению. Такая концепция позволяет рационально переосмыслить сакральную картину мира, традиционную для патристического периода, картину, которая на протяжении столетий господствовала в христианских представлениях. Природа приобретает у Пселла относительно самостоятельный статус, несмотря на то, что первопричина сохраняет решающее значение, поскольку ничто в мире не происходит вне божественной воли.

Эта концепция Пселла находит любопытную аналогию в Западной Европе, где столетием позже представители Шартрской школы также попытаются переосмыслить соотношение причинных сил в природе. Гийом Коншский выступил с критикой буквальной интерпретации Священного писания и разработал космологию, где компетенция бога ограничивалась созданием первоэлементов и души человека, тогда как устройство остальной части космоса подчинялось действию причин вторичных, и прежде всего звезд⁵. Как видим, и здесь западноевропейские мыслители в поисках определенных закономерностей объяснения природы прежде всего отделяют ее от бога. Если Пселл, предоставив природе право самостоятельного существования, ищет законы в ней самой, то Гийом Коншский передает *legitima causa et ratio* в ведение звезд. В обоих случаях *ratio* рассматривается как основополагающий принцип формирования мира, а природа становится объектом самостоятельного изучения.

С Пселла начинается и эпоха широкого распространения в Византии естественнонаучных сочинений Аристотеля. В своих комментариях к его трудам Пселл выступает порой как

⁴ *Gautier P. Monodies inédites de Michel Psellos//REG. 1978. T. 36. P. 145—151.*

⁵ *Gregory T. La nouvelle idée de nature et de savoir scientifique au XII siècle // The cultural Context of Medieval Learning/Ed. J. F. Murdoch and E. D. Sylla. Boston, 1975. P. 145 f.*

самостоятельный мыслитель, занимая позицию, независимую от позднеантичных комментаторов⁶. {338}

Вся византийская космографическая литература в значительной степени испытала на себе влияние Аристотеля. Авторитет его был санкционирован систематическим применением его логики в христианской догматике. Ранние комментаторы Аристотеля — Олимпиодор, Александр Афродисийский, Филопон — заложили основу толкования его учения в Византии, внося в аристотелевскую экзегезу элементы платонических идей⁷. Благодаря Пселлу с конца XI в. влияние аристотелизма становится особенно значительным. С этого времени аристотелевское направление широко распространяется в школе, где изучаются его идеи о сухих и влажных испарениях земли, которые объясняли причины не только атмосферных явлений, но и землетрясений. Метеорология как специальная наука ведет свое начало от Аристотеля, хотя наблюдательный опыт древних греков позволил им еще задолго до него строить свои теории⁸. Разделение подлунного и небесного мира впервые произвели пифагорейцы. Аристотель же охватил понятием «метеорология» не только все атмосферные явления, но и гидрологию, сейсмологию, кометы, метеориты — т. е. все, что он связывал с воздействием «сухих испарений» земли и относил, таким образом, к атмосфере⁹. Заслуга Аристотеля в том, что он раз и навсегда отделил метеорологию от астрономии, четко очертил ее рамки и содержание, сохранявшие значение вплоть до нового времени. Пселл немало способствовал распространению аристотелевской метеорологии в Византии. Его труды принесли свои плоды — некоторое время спустя расцвела комментаторская деятельность Иоанна Итала, Михаила Эфесского, Евстратия Никейского¹⁰. Теории Аристотеля, широко распространенные в школе, имели свое применение и за ее пределами, о чем свидетельствуют многочисленные реминисценции в византийской историографии. Сообщения о непогоде и стихийных бедствиях часто сопровождались экскурсом о сущности и причинах этих явлений.

Долгое время Михаилу Пселлу приписывалось авторство и другого памятника космографии *Σύνοψις τῶν φυσικῶν* принадлежащего на деле его современнику Симеону Сифу (*Delatte*. *Anecd.* P. 17—87; *PG*. T. 122. Col. 783—810). Круг интересов этого византийского ученого был достаточно широк. Интересно, что в справочниках по истории науки он фигурирует главным образом в разделах о византийской медицине¹¹. Работы его обнаруживают прекрасное знание восточной традиции. В историю византийской литературы Сиф вошел как переводчик «Калилы и Димны» — индийского памятника, вошедшего в арабскую литературу и известного в Византии под названием «Стефанит и Ихнилат».

Космографическое сочинение Сифа по кругу источников и строгости изложения близко труду Пселла «Всеобщее наставление»¹². В небольшом предисловии коротко изложены все сюжеты, интересующие автора: он намерен показать, что Земля сферична и расположена в центре вселенной, рассказать, сколько стадий имеет ее периметр, какую часть населяют люди, как делятся 7 климатов. Автор затрагивает метеорологические и астрономические проблемы: происхождение природных явлений, небесные тела, величину Солнца и Луны, движение звезд. В заключении говорится о материи, природе, душе и разуме. Завершается сочинение рассмотрением первопричины всех явлений. Такой порядок изложения свидетельствует о системном подходе по всему комплексу человеческих знаний, необходимому для изучения метафизики: всякое знание должно найти свое место в продвижении мысли к «первой философии»¹³.

⁶ См., например, его комментарии к «Физике» Аристотеля: *Benakis L.* Studien zn den Aristoteleskommentaren des M. Psellos // *Archiv für Geschichte der Philosophie*. 1961. Bd. 43, H. 3. S. 215—238.

⁷ *Oehler K.* Aristotel in Byzantium // *Greek-Roman and Byzantine Studies*. 1964. Vol. 5. P. 135—138.

⁸ *Heiberg I. L.* Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im Altertum. München, 1925. S. 65—66.

⁹ *Capelle W.* Zur Geschichte der meteorologischen Literatur // *Hermes*. 1913. Bd. 48. S. 322.

¹⁰ *Lackner W.* Die aristotelische Meteorologie in Byzanz // *Actes du XVI Congrès international des Etudes byzantines*. Bucarest, 1976. T. 3. P. 640.

¹¹ См., например: *Sarton G.* Introduction to the History of Science. Baltimor, 1927. T. 1. P. 771 f.

¹² *Гаврюшин Н. К.* Византийская космология в XI в. // *Историко-астрономические исследования*. М., 1983. Вып. 16. С. 327—338.

¹³ *Tatakis B.* La philosophie byzantine. P., 1949. P. 191.

Сиф каждый раз пытается осмыслить античное наследие в духе христианской доктрины. Прежде чем изложить учение о первоэлементах, он обращается к Пятикнижию Моисея, в котором утверждается, что первыми были созданы земля и небо. Сиф ссылается на бога, чтобы отвергнуть идею множественности миров. «Некоторые философы,— пишет он в главе „О космосе“,— полагают, что существует множество миров, и в каждом — земля, подобная этой, и люди, и живые создания. Не ведают они, что божественной силе свойственно не разделять сотворенное и расчленять его на многие части, а объединять и составлять воедино» (*Delatte. Anecd. P. 35*). Подобным же образом Сиф решает вопрос о существовании пустоты вне космоса: Аристотель ясно показал в «Физике», что ни внутри, ни вне космоса пустоты нет, так как она является свободным местом, которое могло бы занять тело. Если бы вне мира была пустота, то она была бы создана богом напрасно, ведь там нет никаких тел. Однако ни бог, ни природа, ни человек ничего не делают напрасно, поэтому вне неба нет ни заполненности, ни пустоты или какого-либо места, но лишь космос, постигаемый разумом (*Delatte. Anecd. P. 34*). Как видим, и здесь автор согласует учение Аристотеля с целенаправленным действием божественного промысла и природы, где ничего не происходит бесцельно.

Говоря о сферичной форме Земли, Сиф приводит ряд доказательств в пользу своего утверждения: Солнце освещает восточную часть Земли раньше западной, поэтому день начинается сначала у синов и в Персии — отсюда и разные часовые пояса. Во время плавания по мере приближения к берегу нам видны сначала вершины гор, а лишь затем их подножие. Этого не происходило бы, если бы поверхность воды не была круглой. Жители северного полушария могут наблюдать лишь северные звезды, звезды южного полушария им не видны. Все эти рассуждения заимствованы из сочинения Аристотеля «О небе».

К традиции античной географической литературы восходит описание Сифом рубежей ойкумены. Восточные пределы ее достигают Сиры — города синов (Китай), западные простираются до Испании. На севере она достигает легендарного острова Фуле, на юге — экватора. Здесь же перечисляются 7 традиционных климатов Земли, «согласно древним мудрецам», с указанием продолжительности дня в каждом климате. Учение о климатах, как правило, не обходилось вниманием ни один космограф. Сам термин κλίμα, как и многие другие понятия, переняты византийцами у древних греков, имеет мало общего с современной климатологией. Античная наука различала географические и астрономические климаты. Мы остановимся только на первых. Словом κλίμα обозначалась полоса земли внутри ойкумены, простирающаяся с запада на восток¹⁴. Ширина и расположение климата зависели от продолжительности самого длинного дня в году. В каждом климате, по мере продвижения с севера на юг, продолжительность дня уменьшалась на 0,5 часа. Самый южный климат помещался на параллели Мерое в Африке — день там длился 13 ч. Самый северный — у устья Борисфена (Днепра), где продолжительность дня не превышала 16 ч. В таком виде учение о климатах было перенято византийцами. Небольшие статьи о климатах сохранились во многих сборниках византийского периода.

О морях Сиф сообщает самые краткие сведения, не приводя даже известных их названий. Самое большое море у него занимает бассейн, включающий Аравийское и Красное моря. Второе — «наше море, впадающее в области Испании в западный океан» — имеется в виду Средиземное море. Третье — большое море, соединяющееся через узкий пролив с «нашим», — это Черное море (*Delatte. Anecd. P. 27*).

Сочинение Симеона Сифа демонстрирует большой интерес к космографии, хорошее знание эллинистической традиции, которая определяла и круг проблем, и систему аргументации автора. Несмотря на то что Сиф, как христианин, постоянно пытается согласовать античную науку с буквой Священного писания, это не определяет основной направленности сочинения — оно построено на основах языческой науки, апеллирующей к рациональным доводам и здравому суждению. В космографии Сифа нет религиозно-мистических фантазий, которые в обилии мы можем найти у Косьмы Индикоплова. Все это сближает Сифа с творчеством Михаила Пселла и позволяет говорить о появлении в Византии XI в. рационального направления в естественнонаучных штудиях. Столь значительное совпадение во взглядах двух византийских ученых дает основание считать, что на фоне современной им образованности появление значи-

¹⁴ Подробнее о климатах в греческой, сирийской и арабской традиции см.: *Honigmann E. Die sieben Klimata und die ΠΟΛΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ. Heidelberg. 1929.*

тельных по кругу источников и строгости изложения космологических сводов было не случайным событием, и они могут рассматриваться как свидетельство общей научной атмосферы эпохи ¹⁵.

Одним из популярнейших сочинений по космографии стал трактат Евстратия Никейского. Сравнение этого трактата ¹⁶, посвященного Марии Аланской, жене императора Михаила VII Дуки, с памятником, известным под названием «Учебник по космологии и географии» ¹⁷, показало, что мы имеем дело с двумя разными редакциями одного сочинения, которое, по всей вероятности, принадлежит перу Евстратия Никейского ¹⁸. Первый представляет собой краткую версию памятника, второй — {341} пространную. Это интересное сочинение состоит из ряда небольших глав (в разных списках количество и состав их варьируется), где рассмотрены обычные для космографии сюжеты. Однако автор предлагает несколько необычное решение многих вопросов, и это отличает его труд от аналогичных сочинений XI в.

Первые главы посвящены космологии. Мир состоит из четырех элементов, расположенных в соответствии со своим весом: земля, вода, воздух, огонь. Все они имеют по два свойства — огонь сух и горяч, воздух — тепл и влажен, вода — влажна и холодна, земля — горяча и влажна. Каждое из свойств, общее для двух элементов, служит основой превращения простых тел. Эта теория заимствована у Аристотеля и принята большинством христианских мыслителей — Василием Великим, Григорием Нисским, Филопоном. Расположение элементов по концентрическим пластам в соответствии со своим весом — популярная теория стоиков заимствованная в византийскую эпоху и Иоанном Дамаскиным, и Пселлом.

Одно из центральных мест среди космологических проблем занимает вопрос о форме и положении Земли. Она не четырехугольна, не треугольна, не совершенно кругла — скорее овальная. Ее можно сравнить с яйцом причем это сравнение относится не только к внешнему виду. Устройство мира аналогично и содержимому яйца: Земля соответствует желтку, небесная субстанция — белку, а последовательность небесных сфер (в количестве 9) напоминает оболочки и скорлупу. Подобного сравнения мы не встречали в рассмотренных памятниках. Оно, очевидно, перекликается с орфическим учением о «мировом яйце». С формой Земли связана и проблема ее устойчивости, важная для христианских авторов. Евстратий приводит две распространенные версии, основанные на высказываниях Библии: согласно одной, со ссылкой на Давида утверждается, что Земля покоится на водах; согласно другой, которая опирается на высказывание Соломона, она стоит на 7 столпах. Обе эти версии автор считает неверными и приводит развернутую аргументацию против них. Стабильность и равновесие Земли он объясняет двумя причинами: Земля парит в воздухе, подобно перу, и ничто не поддерживает ее, кроме божественного промысла; вращательные движения неба, планет и самой Земли препятствуют разъединению ее частей и удерживают ее в центре Вселенной. Последний аргумент заимствован из ионийских теорий, к нему прибегает в своем сочинении «Источник знаний» и Иоанн Дамаскин. Примечательно, что наряду со своим толкованием Библии автор привлекает для своих доказательств античные космологические теории.

Евстратий описывает океан (изображая его в виде огромной реки, берущей истоки в раю и окружающей землю двумя своими рукавами), природу рая, острова Блаженных, расположенные в южной части океана, недалеко от Индии.

Дискуссия о существовании антиподов занимает важное место в сочинении Евстратия (она отсутствует и у Пселла, и у Симеона Сифа). Древние философы, говорит автор, утверждают, что те же элементы существуют и по другую сторону Земли, за океаном, следовательно, там должна быть та же жизнь и люди. Но эти люди находились бы в ситуации, в которой им пришлось бы прогуливаться по потолку комнаты вниз головой. Другой аргумент религиозного порядка: сторонники идеи анти-{342}подов — безбожники, которые не принимают ни бога, ни идеи о сотворении человека, ведь если бы там были люди, то следует предположить и

¹⁵ Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 330.

¹⁶ *Polessio-Schiavon P.* Un trattato inedito di meteorologia di Eustrazio di Nicea//RSBN. 1965—1966. Vol. 2—3. P. 290—304.

¹⁷ *Delatte A.* Un manuel byzantin de cosmologie et géographie//Bulletin de la classe des lettres et des sciences Morales et politiques. Bruxelles, 1932. 5 série. T. 18. P. 189—222.

¹⁸ См. об этом: *Гукова С. Н.* Космографический трактат Евстратия Никейского // ВВ. 1986. Т. 47. С. 145—156.

акт сотворения там человека, и все ветхозаветные события, что противоречило бы Библии. Последний довод был главной причиной, по которой христианские авторы первых веков вынесли приговор теории антиподов. Евстратий предлагает поэтому компромиссный вариант: существование антиподов отвергается, но здравый смысл заставляет согласиться с наличием там тех же элементов и возможности живой жизни. На антихтоне¹⁹ предполагается поэтому существование лишь рептилий и птиц.

Любопытно и описание четырех самых больших морей — изложенная традиция морской географии не встречается ни в античной, ни в византийской географической литературе. Первое море простирается от Кинокефалии²⁰, Египта и Эдема²¹, разделяет Индию посередине и достигает реки Океан. Из-за красного цвета дна это море получило название Эритрейского. Рассказ об Эритрейском море сопровождается легенда о чудесном рождении жемчуга из глаз устриц, когда в них попадает во время бури молния и глаза их затвердевают, превращаясь в жемчуг. Второе море — это море Александрии, которое простирается к Киликии, достигает Сицилии и соединяется там с третьим морем. Автор имеет в виду юго-восточный бассейн Средиземного моря, упомянув и расположенные в нем острова. Третье море тянется от Византия до Гадеса, где соединяется с океаном — оно соответствует северо-западному Средиземному-рю. Четвертое море — Черное.

Последняя часть трактата описывает и поясняет причины атмосферных явлений. Как и его предшественники, автор опирается здесь главным образом на «Метеорологику» Аристотеля (см. выше, гл. 9).

Завершается сочинение краткими сообщениями о движении небесных светил, количестве небесных сводов, планет и созвездий зодиака. В целом позиция Евстратия представляется достаточно независимой и смелой для христианского космографа. В поисках здравого смысла он постоянно обращается к языческой науке, иногда даже в ущерб авторитету отцов церкви (как в вопросе с горячими источниками). В этом отношении труд Евстратия продолжает тенденцию к рационализации научного мышления в Византии, которую мы можем проследить с середины XI в. Сочинение это примечательно и тем, что в отличие от Пселла и Сифа здесь не господствует безраздельно аристотелевская метеорология и физика. У Евстратия имеются отголоски теорий, традицию которых не сохранили сочинения Аристотеля. В то же время манера изложения Евстратия не отличает большая строгость. Фантастические истории с описанием рая, плаванием на острова Блаженных, рассказ о чудесном возникновении жемчуга из глаз устриц — все это придает его космографии живость популярной литературы.

Взгляды на вселенную, сложившиеся в византийской литературе, интересны не только как явление византийской науки и культуры — они вышли далеко за ее пределы и стали существенным элементом в формировании представлений об окружающем мире у народов, оказавшихся в ареале культурного влияния Византии. И хотя те систематизированные знания, которые славянская книжность получила через византийское посредничество, не могли еще быть усвоены в полной мере, они значительно расширили научный кругозор, обогатили язык новыми понятиями и сыграли важную роль в формировании славяно-русской образованности. Уже в IX в. в Охриде и Преславе существовали свои школы переводов, а с XI в. эта литература проникает на Русь²².

Космографический материал чаще всего представлен в переводных памятниках не как самостоятельное целое, но включен в систему богословско-символического толкования природы, которая рассматривается как прелюдия к человеческой истории, изложенной в Священном писании, как иллюстрация к ее темам. Подобный контекст не нов — он перенят из литературы Шестодневов, которая в славяно-русской книжности получила не меньшую популярность, чем у себя на родине. Представления об устройстве мира черпались не только из переводных Шестодневов, принадлежащих перу Василия Великого, Севериана Габальского, Иоанна Златоуста, но и из компилятивных сочинений, возникших на славянской почве. Примером такого труда,

¹⁹ Антихтон — земля, расположенная в южном полушарии и противоположащая ойкумене.

²⁰ Кинокефалы — псоглавцы — мифическое племя в Эфиопии.

²¹ Под Эдемом имеется в виду Аден, но не библейский Эдем, который помещался на востоке.

²² Grmek M. Les sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen age//Conference faite au Palais de la Decouverte. Universite de Paris, 1959. P. 7—8.

созданного на основе византийской учености, может служить Шестоднев Иоанна, экзарха болгарского, философа и просветителя X в., получившего образование в Константинополе²³. Иоанн не просто переводил для своей компиляции фрагменты из сочинений Аристотеля, Василия Великого, Севериана, Косьмы Индикоплова и др., но вводил и много своих суждений и толкований, написав своеобразную энциклопедию знаний своего времени. Его считают создателем болгарской терминологии в области естественных наук²⁴.

Большое внимание Иоанн уделяет вопросу о целесообразности устройства мира, заимствуя элементы своей телеологической концепции у Аристотеля через посредничество Василия Великого. Растворяя вопросы научного естествознания в библейской истории, Иоанн тем не менее щедро черпает из сокровищницы античной науки. Он знакомит своих читателей с учением о 4 элементах, составляющих основу мира, вслед за Василием отвергая возможность существования 5-го элемента для неба; он знает о существовании климатов и различает пять климатических поясов; подобно Василию и Иоанну Дамаскину, он высказывается против влияния небесных светил на человеческую жизнь, но готов согласиться с воздействием их на земные физические процессы, прежде всего на метеорологические, природу которых, вслед за Василием, он объясняет в духе аристотелевской традиции. К античной науке восходят и его познания в географии.

В XII в. на Руси появилось «Слово о правой вере» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха Болгарского, которое представляет собой третью часть его сочинения «Источник знания». Однако космографиче- {344} ская концепция Дамаскина, изложенная в «Слове», не снискала себе большой популярности. Следы использования византийских космографических сочинений можно обнаружить и в таких памятниках, как «Толковая палея», где изложена схема расселения потомков Ноя на Земле, а в перечне стран использованы данные античной географии²⁵. В примитивном виде элементы византийских космографических представлений перешли в славяно-русскую книжность и через перевод хроники Георгия Амартола. Переводная космографическая литература была для славянорусской книжности проводником, благодаря которому достижения античной науки, адаптированные византийскими учеными, стали достоянием культуры славянского средневекового мира.

Изучение конкретной, описательной географии средневизантийского периода затрудняется тем, что значительная часть ее памятников не поддается точной атрибуции. Неизвестны их авторы, время и место написания, и историкам географии приходится делать гипотетические заключения на основе косвенных данных рукописной традиции и содержания текстов. К тому же, большинство источников еще очень слабо изучено. И все-таки наличный материал позволяет проследить магистральные направления эволюции византийской географии.

Характерной чертой византийской географической литературы VII в. является особое внимание к текстам Страбона. Оно может быть объяснено теми свойствами его знаменитой «Географии», которые соответствовали интеллектуальным вкусам средневизантийской эпохи: энциклопедическим охватом всего доступного античным классикам комплекса географических фактов, хорошим литературным стилем, занимательностью изложения и в то же время доступностью, свободой от теоретической усложненности, от громоздкого математического аппарата (в противовес трудам Эратосфена и Птолемея). География Страбона переписывалась в Восточной Римской империи и в V, и в VII вв. Как показал итальянский исследователь Ф. Збордоне, с VII в. в Византии существовали две разные редакции сочинения античного географа²⁶. Именно византийские переписчики разделили труд Страбона на две части (кн. I—IX и кн. X—XVII). В период «македонского Ренессанса» «География» Страбона становится необходимым источником для большинства историков. Ее хорошо знают и цитируют Арефа Кесарийский, Константин Багрянородный, Михаил Пселл, Иоанн Цец. Хронисты Генесий, Продолжатель Феофана, Псевдо-Симеон Логофет знакомы с Страбоном и многие географические названия приводят в

²³ Кочев Н. Шестодневът на Йоан Екзарх Български // Проблеми на културата. 1980. Т. 1. С. 78—95.

²⁴ Кристианов Ц., Дуйчев И. Естествознанието в средновековна България. С., 1974. С. 602.

²⁵ См.: Райнов Т. Наука в России XI—XVII вв. М.; Л., 1940. С. 100—103.

²⁶ Sbordone F. Excerpta ed epitomi della Geografia di Strabone // Atti dello VII Congresso internazionale di studi bizantini. Roma, 1953. Т. 1. P. 202.

страбоновской транслитерации. С конца VIII в. составляются компиляции, целиком опирающиеся на «Географию», пишутся географические сочинения более самостоятельные, но в информационном отношении полностью зависящие от Страбона.

Особым интересом византийцев к Страбону продиктовано создание обширной компиляции из его труда, известной под названием «Хрестоматия из «Географии» Страбона» (GGM. II. P. 529—636). Она сохранилась в рукописи X в. в составе кодекса, содержащего 10 других географических текстов (Cod. Vatoped. 655), и, вероятно, была составлена в учебных целях. Несмотря на отсутствие точной датировки, специалисты сходятся в том, что перед нами памятник второй половины IX—X в. Хрестоматия содержит выдержки из страбоновской «Географии», причем равномерно охватывает все 17 книг своего источника. Следовательно, ее автор имел возможность пользоваться не дошедшим до нас полным текстом «Географии» Страбона. Византийский географ достаточно вольно обращается со своим протографом: во многих случаях он произвольно сокращает или меняет местами отдельные фразы Страбона, иногда делает добавления к тексту, используя при этом труды Птолемея, Арриана, Ксенофонта и др., т. е. демонстрирует определенную эрудицию в области античной географической литературы²⁷. «Хрестоматия из «Географии» Страбона», как видно, считалась полезным учебно-географическим пособием: она использовалась вплоть до XV столетия, о чем свидетельствуют экскерпты из нее, сохранившиеся в одном из манускриптов XV в., хранящемся в Парижской национальной библиотеке (Paris. gr. 571).

Примерно в это же время написано другое крупное географическое сочинение учебного характера — «Географическое описание в сокращении» (GGM. II. P. 494—509). Оно вышло из круга Фотия и принадлежит кому-то из его учеников²⁸. Автор выказал некоторую самостоятельность при построении композиции своего труда, но фактический географический материал по большей части заимствован им у Страбона, а начало памятника буквально воспроизводит текст страбоновской «Географии» (в редакции Cod. Vatoped. 655). В ряде случаев, особенно, когда речь идет о величине географических объектов, используются данные Птолемея, причем компилятор не проявляет здесь должной аккуратности, и потому в его измерениях немало ошибок, у Птолемея отсутствующих²⁹.

К средневизантийскому периоду относится также небольшое недатированное произведение «Общее измерение всей ойкумены» (GGM. I. P. 424—426). В нем сообщается о размерах ойкумены (традиционная эратосфеновская версия, видимо известная автору через посредство Страбона), а затем приводятся расстояния между портами Черного моря по Псевдо-Арриану.

Замечательному эрудиту Михаилу Пселлу принадлежат два «страбоновских» произведения. Вероятно, в учебных целях им было написано небольшое сочинение «Об афинских местностях и названиях»³⁰. Здесь, на основе IX книги страбоновской «Географии», приводятся элементарные сведения о географии античной Эллады и наименования упоминаемых в сочинениях древних классиков городов, областей, рек и других географических объектов. Внимание к античной географической номенклатуре роднит Пселла с автором анонимной равеннской «Космографии», но определяется в данном случае увлечением классической древностью, характерным как лично для Пселла, так и вообще для создателей культуры «македонского ренессанса». Так же зависима от Страбона и пселлова компиляция «о географической карте» (см. ниже). {346}

Выдающимся знатоком Страбона был Евстафий Фессалоникийский. Около 1170 г. он написал обширный комментарий к «Описанию мира» Псевдо-Дионисия Периегета (GGM. II. P. 201—407), посвященный Иоанну Дуке, сыну Андроника Дуки — великого друнгария и двоюродного брата императора Мануила I. Во введении Евстафий сообщает, что цель его труда — облегчить школьникам понимание текста Псевдо-Дионисия. Он рассуждает о месте трактата «Описание мира» в истории географической мысли, о его литературно-поэтическом стиле, приводит биографические сведения об авторе (последние носят легендарный характер). На редкость тщательно составленный комментарий содержит 1181 статью. Некоторые из них по-

²⁷ Diller A. The Textual Tradition of Strabo's Geography. Amsterdam, 1975. P. 38.

²⁸ Ibid. P. 49.

²⁹ Polaschek F. Ptolemaios als Geograph // RE. Suppl. X. Col. 800—805

³⁰ Mich. Ps. De oper. daem. P. 44—48.

священы филологическим вопросам, но подавляющее большинство раскрывает содержание упоминаемых у Псевдо-Дионисия географических понятий, уточняет или развивает характеристики географических объектов. Комментарий Евстафия является наиболее крупным византийским литературным памятником, созданным под влиянием Страбона³¹. Евстафию принадлежат и комментарии к Пиндару и Гомеру, и там, где речь идет о географии, он столь же часто обращается к Страбону. Вместе с тем Евстафия Фессалоникийского уже трудно назвать простым компилятором. Его труды принадлежат к числу лучших образцов искусства византийских комментаторов античных текстов. Конечно, Евстафий не осуществляет критического анализа источников, и его объяснения древних текстов нельзя сопоставлять с научными комментариями нового времени. Но он свободно и широко комбинирует сведения, полученные как у Страбона, так и у десятков других авторов, и многие статьи его комментариев представляют собой небольшие самостоятельные географические очерки. Можно сказать, что Евстафий Фессалоникийский составил комментарии не компиляторского, а более высокого, «эрудитского» типа.

«Страбоновская линия» в развитии византийской географической мысли сохраняет значение на протяжении всей средневизантийской эпохи и продолжается далее, в эпоху Палеологов. Увлечение греческим географом сослужило хорошую службу его византийским последователям: оно позволило аккумулировать и сохранить обширный компендиум географических знаний, собранных учеными древности, учило высокой культуре географического описания, способствовало появлению новых учебно-дидактических произведений и комментариев. Однако, в то же время, оно в ряде случаев подменяло у византийских землеописателей научные интересы антикварными, создавало парадоксальную ситуацию, когда давно устаревшие факты античной географии пользовались большей авторитетностью, чем добытые эмпирическим путем новые данные.

Преодоление этого парадокса наметилось в знаменитых трактатах Константина Багрянородного «О фемах» и «Об управлении империей». В трактате «О фемах» автор описывает эти крупнейшие военно-административные единицы в последовательности, характерной для официальных византийских списков фем (как, например, в «Клиторологии» Филофея, {347} распорядке выдачи жалованья стратигам, составленном Львом VI, и т. д.)³². Общая структура описания фемы, которая, как правило, выдерживается Константином VII в первой, «азиатской» части его труда и, несмотря на многочисленные отклонения, ощущается и во второй, «европейской» части, такова:

- 1) этимология названия фемы;
- 2) статус и наименование ее главы;
- 3) населяющие ее народы и племена;
- 4) границы фемы;
- 5) составляющие ее исторические области;
- 6) иногда (Фракия, Македония) ее административное деление (на «епархии» с их наименованиями);
- 7) важнейшие населенные пункты.

Как видим, большая часть пунктов данной схемы непосредственно принадлежит к различным сферам географической науки (топонимике, демографии, политической, исторической географии). Не случайно в числе основных источников Константина VII — географические труды Иерокла, Стефана Византийского, а из древних авторов он активно использует Страбона (возможно, не непосредственно, а через поздние компиляции). Хотя Константин часто основывается на известиях античных писателей и вследствие этого архаизирует описываемую им географическую ситуацию, хотя порой он расцветивает рассказ малодостоверными легендами³³, в

³¹ Pritchard J. P. Fragments of the Geography of Strabo in the Commentaries of Eustathius//Classical Philology. 1934. Vol. 29. P. 63—65; Diller A. The Manuscripts of Eustathius Commentary on Dionysius Periegetes//Diller A. The Textual Tradition... P. 181—207.

³² См. сопоставительную таблицу этих и иных списков византийских фем в: Constantinus VII Porphyrogenitus. De thematibus/A cura di A. Pertusi. Citta del Vaticano, 1952. Tav. 1.

³³ Например, он объясняет происхождение названия фракийской фемы мифическим переселением сюда фракийцев по приглашению лидийского царя Алиатта (1.3). В действительности, название объясняется расквартирова-

целом трактат «О фемах» представляет собой детальное, точное и квалифицированно составленное собрание сведений по административной исторической географии Византии.

Еще более важным географическим памятником является трактат «Об управлении империей». Как показал английский византинист Р. Дженкинс, этот труд готовился на протяжении 4 лет (948—952) и был сперва задуман как историко-этнографическое произведение, содержащее информацию о народах, граничащих с империей ромеев (DAI. II. P. 3—6). В процессе работы Константин VII решил несколько изменить общую задачу труда, превратив его в наставление по внешней и внутренней политике для наследника престола, своего сына Романа. Последние два года, затраченные на подготовку трактата, были в основном посвящены сбору сведений о политических взаимоотношениях различных народов с Византией и между собой и выработке связанных с этим рекомендаций правителю империи. Однако, придав труду утилитарное назначение, Константин VII полностью сохранил его основное фактическое содержание. Как отмечают авторы современного критического издания трактата, император видел главную задачу в том, чтобы дать исчерпывающую историческую и географическую характеристику большинству народов, окружавших империю (DAI. I. P. 10). Выделяя в трактате четыре раздела, Д. Моравчик и Дж. Дженкинс отмечают, что 3-й, самый обширный раздел (гл. 14—42) целиком посвящен этим сюжетам (Ibid. I. P. 10; II. P. 3). В книге Константина VII рассказывается о печенегах, русах и восточных славянах, хазарах, арабах, населении Италии, южных (иллирийских) славянах, венграх (в тексте они называются турками), моравянах, армянах и грузинах, жителях Пелопоннеса и Херсона (Херсонеса Таврического). Для изучения истории нашей страны исключительное значение имеют известия Константина VII о функционировании «Пути из варяг в греки», о системе полюдя у восточных славян, их контактах с кочевниками, о хазарах и аланах, их отношениях с византийским Херсоном и т. д.

Константин Багрянородный пользовался широчайшим кругом источников, среди которых не только традиционные исторические хроники и сочинения античных классиков, но и дипломатическая переписка, донесения и отчеты дипломатов, чиновников и военных, впечатления от личных встреч и переговоров с иноземцами. Исключительные возможности в деле сбора материалов для книги автору, разумеется, обеспечивало положение главы империи: император имел неограниченный доступ к любой информации и опирался на помощь многочисленных и умелых сотрудников. В результате Константину VII удалось подготовить географический труд нового качества. Трактат «Об управлении империей», конечно, — компиляция, чем объясняются, в частности, разительные различия в композиции и стилистике отдельных его глав. Но в то же время, это — компиляция не традиционного для византийской литературы типа. Устами ее автора здесь часто говорят не литературные памятники, а документы. Их многочисленность и разнообразие превращают трактат в самостоятельный свод ценнейших географических, этнографических, исторических данных и вместе со строго выдержанной целевой обусловленностью и продуманным планом изложения придают ему черты синтетического историко-географического исследования. Это явно возвышает трактат «Об управлении империей» над уровнем распространенных в Византии аморфно-энциклопедических компендиумов по различным научным дисциплинам. Он является высшим достижением византийской описательной географии, что сделало его одним из важнейших, а в ряде случаев основным источником по географии и этнографии народов Европы в раннее средневековье.

Обусловленность практическими целями — универсальное свойство византийской географической литературы. Почти никогда византиец не исследовал географические проблемы академически, ради них самих, — он задавался конкретной специальной задачей: создать учебник, справочник, руководство, перипл и т. п. Поэтому сами жанры византийской географии — не всегда жанры научные. Но произведения этих жанров, сводя воедино разнообразные географические факты, являлись источниками знаний о странах и народах, реках и морях, провинциях и городах, расширяли географический кругозор византийцев.

Особый раздел географической литературы представляет церковная география, известная по таким памятникам, как епископские нотиции — списки церковных диоцезов, подчиненных тому или иному патриарху. Такие нотиции являлись официальными церковно-

административным документами. Они были необходимы, так как в восточных церквях положение епископа в иерархии определялось рангом его епархии. Таким образом, задача авторов нотиций состояла в том, чтобы перечислить диоцезы в этом традиционно-правильном порядке. Но для того, кто пользовался этими списками, они также играли роль источников сведений по церковной географии. Сохранились (полностью или частично) десятки византийских нотиций. Большинство из них — константинопольского происхождения и характеризует епархии константинопольского патриархата; известны также александрийские, антиохийские³⁴, наконец, универсальные, сводные нотиции. Последние всегда компилятивны и зависят в основном от источников времени правлений Юстиниана I или Ираклия хотя составлены не ранее IX в. Наиболее интересным памятником, с этой точки зрения, является константинопольская «Нотиция I»³⁵. В ее состав включены перечень епархий константинопольского патриархата а также обширный список епархий и городов Западного Средиземноморья и Востока, структурно совпадающий с константинопольским, однако явно более раннего происхождения. Этот интерполированный текст, таким образом, в свою очередь, делится на два раздела: восточный и западный.

В настоящее время можно считать установленным, что сохранившийся вариант «Нотиции I» возник в IX в. Автором составляющей ее основу константинопольской петиции являлся армянин Василий из Ялимбаны. Видимо, он же дополнил собственное произведение рядом текстов более раннего происхождения. Восточный раздел интерполированного текста восходит к «Синекдему» Иерокла или имеет общий с ним источник. Он и отражает в основном географические реалии середины VI в., хотя и с некоторыми дополнениями и изменениями. Западный раздел нотиции — это самостоятельный географический памятник, возникший на рубеже VI—VII вв. (между 591 и 603 годами). Вероятнее всего, в нотицию был целиком включен географический справочник, который состоял из зависимого от Иерокла восточного раздела и самостоятельного западного. Автором этого справочника, иногда именуемого «*Descriptio orbis Romani*» («Описание Римского мира»), признается Георгий, уроженец деревни Лапиф на Кипре³⁶. Таким образом, константинопольская «Нотиция I» — сложная географическая компиляция IX в. Ее значение, во-первых, состоит в том, что она знакомит нас с неизвестным до сих пор географическим памятником рубежа VI—VII вв. — «Описанием Римского {350} мира» Георгия Кипрского. Во-вторых, она показывает, каким образом церковные компиляторы видоизменяли и трансформировали чисто светские географические произведения («Синекдем» Иерокла) для составления утилитарных церковно-географических сочинений. На примере константинопольской «Нотиции I» можно видеть, как три наложившихся один на другой источника: «Синекдем» Иерокла, «Описание Римского мира» Георгия Кипрского и нотиция Василия из Ялимбаны — составляют три последовательных этапа преобразования географического памятника из светского в церковный.

Файл byz351g.jpg

Хождение Христа, по водам

и спасение ап. Петра.

1180—1194. Монреале.

Мозаика из кафедрального собора.

В связи с византийскими нотициями необходимо упомянуть другое крупное произведение церковной географии — «Устройство пяти патриархатов». Его автор Нил Доксапатр жил в XII в. на юге Италии и принадлежал к многочисленному и влиятельному местному греческому монашеству. Ко времени завершения своей книги он имел сан архимандрита и проживал в Палермо — столице норманского Королевства обеих Сицилий. По заказу Рожера II (1101—1154) — короля-мецената, покровительствовавшего находившимся в Италии греческим уче-

³⁴ См. издания александрийских и антиохийских нотиций: *Pococke R. A Description of the East and some other Countries. L., 1743. P. 279 sq.*; *Recueil des historiens des croisades: Documents arméniens. P., 1869. T. 1. P. 673 sq.*

³⁵ По установившейся историографической традиции каждая нотиция имеет порядковый номер в соответствии с порядком публикации в основном сводном научном издании: *Hieroclis synecdemus et notitiae graecae episcopatum/Exec. G. Parthey. B., 1866. P. 55—261.*

³⁶ *Honigmann E. Le Synecdémus d'Hiéroclès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre. Bruxelles, 1939. P. 49.*

ным, литераторам и художникам, Нил Доксапатр в 1143 г. подготовил книгу «Устройство пяти патриархатов» и представил ее королю³⁷.

Сочинение Нила Доксапатра трудно отнести к определенному жанру. В нем совмещаются черты церковно-исторической хроники, политического трактата и географической нотации. Нил начинает изложение с рассказа об основании трех первых патриархий (в Риме, Александрии и Антиохии), о решающей роли, которую якобы сыграл в их организации апостол Петр. Он указывает, что эти три зоны распространения христианства соответствуют трем частям света: Европе, Ливии и Азии. Затем перечисляются отдельные области и провинции, подчиненные в церковном отношении трем первым патриархам, называются митрополии, архиепископии и епархии.

Далее рассказывается об основании патриархий в Константинополе и Иерусалиме, следуются относящиеся к этим сюжетам каноны Никей- (325), Константинопольского (381) и Халкедонского (451) Вселенских соборов. Автор приходит к важнейшему выводу, который затем рефреном повторяется многократно: Константинопольская кафедра по рангу не ниже римской, так как этот ранг зависит от статуса города — центра патриархии. Константинополь — «Царский град», следовательно, патриарх константинопольский как минимум равен римскому папе. Но при этом Константинополь и в настоящее время остается императорской столицей, Рим же подчинен варварам, а значит, глава константинопольского патриархата — наивысший, первенствующий христианский иерарх.

Снова следует географическая «перебивка» — перечень митрополий и архиепископий, подчиненных Константинополю, с указанием количества, а иногда и названий (для митрополий Коринфа, Афин и Сиракуз) входящих в них епархий. Эта часть труда Нила Доксапатра базируется на использовании константинопольских епископских нотаций, особенно II и III, на что непосредственно указывает и сам автор. Но в руках Нила Доксапатра обычный каталог диоцезов превращается в политический памфлет. Нил подробно перечисляет епархии юга Италии и Сицилии, подчеркивая, что они законно подчинялись Константинополю «вплоть до прихода франков», что римский папа прибрал их к рукам только потому, что «франки уничтожили наш дукат»³⁸. Для доказательства он описывает историю взаимоотношений франкских властителей Пипина Короткого и Карла Великого с римскими папами, оценивая полученные папами от франков земельные пожалования как откровенную узурпацию.

«Устройство пяти патриархатов» Нила Доксапатра — произведение с ярко выраженной политической тенденцией. Будучи адресовано норманскому королю Рожеру II, оно, безусловно, написано с конкретной целью: убедить его вывести диоцезы юга Италии из-под юрисдикции пап и подчинить их Константинополю. Этого фантастического результата Нилу Доксапатру, конечно, не удалось добиться. Но не исключено, что сочинение Нила стимулировало в целом благоприятную для греческого духовенства направленность религиозной политики Рожера II. С географической точки зрения, эта книга интересна как важный источник по церковной географии (особенно Южной Италии), кроме того, и это главное, как образец использования в политических целях такого, казалось бы, беспристрастного исходного материала, как епископские нотации. Ее появление — один из показателей того, сколь велико было культурное и политическое влияние Византии в отдельных регионах Западной Европы, даже безвозвратно утраченных империей, в данном случае в Королевстве обеих Сицилий.

Особое значение Константинополя в жизни Византии, широкий интерес к его истории и достопримечательностям, нужды многочисленных путешественников, посещавших главный город империи, вызвали появление произведений, специально посвященных этим сюжетам, т. е. написанных с той же целью, что и позднеантичный путеводитель «Град Константинополь — Новый Рим». В большинстве своем это — аморфные по композиции компилятивные хроники,

³⁷ Опул.: Des Nilos Dohapatres *Táξις τῶν πατριαρχικῶν θρόνων* /Ed. F. N. Fink. Wagarschapat. 1902. О жизни Нила Доксапатра см.: *Laurent V. L'oeuvre géographique du moine sicilien Nil Dohapatris*//Echos d'Orient. P., 1937. Т. 36. Р. 5—30. По предположению В. Лорана, Нил идентичен с Николаем Доксапатром — номофилаком и патриаршим нотарием из Константинополя, постригшимся в монахи в Сицилии.

³⁸ Речь идет о дукате Апулия и феме Лонгивардия.

сообщающие разрозненные сведения по истории и топографии столицы³⁹. Одна из них — «Краткий исторический обзор» — относится к середине VIII в. Она была использована на рубеже X—XI вв. составителем второго в византийской литературе крупного городского справочника-трактата «Отечество Константинополь» (см.: Cod. Ex.). В некоторых рукописях XV—XVI вв. он приписывается поздневизантийскому автору Георгию Кодину, но в действительности был создан раньше — в X—XI вв.

В сочинении суммируются сведения об истории, топографии, достопримечательностях столицы империи. Первая его часть повествует об основании Константинополя и возникновении отдельных городских районов, во второй характеризуется топографическая структура города, в третьей — рассказывается о городских статуях и других памятниках искусства, в четвертой — о замечательных зданиях (дворцах императоров и частных лиц, банях, больницах, монастырях, церквях и часовнях), наконец, пятая часть содержит легендарный рассказ о постройке и освящении храма св. Софии. Если оставить в стороне последний раздел, органически слабо связанный с предшествующим изложением, то можно сказать, что по структуре книга напоминает современные путеводители. От упомянутого позднеантичного *vademecum*, разумеется, сильно устаревшего в X в. (и к тому же написанного на мало кому известной латыни), она выгодно отличается в двух отношениях. Во-первых, трактат «Отечество Константинополь» содержит весьма подробный и точный очерк топографии города, возможно составленный самим автором. Во-вторых, труд основан на использовании очень широкого круга источников: произведений Прокопия Кесарийского, Гесихия из Милета, Павла Силенциария, Иоанна Лида, патриарха Фотия, хронистов VIII—IX вв., ряда не дошедших до нас памятников⁴⁰.

Книга «Отечество Константинополь» пользовалась популярностью и дополнялась на протяжении столетий. Этим объясняется наличие в некоторых списках заимствований из трудов Никиты Хониата и Георгия Пахимера — плод усилий компиляторов палеологовской эпохи. Но сам трактат «Отечество Константинополь» явился одним из проявлений расцвета географии в македонский и комниновский периоды истории Византии. Он достойно продолжил античную практику составления городских путеводителей. Здесь, как и во многих иных жанрах, византийцы далеко опередили своих западных собратьев: лишь в 1140 г. появился первый римский путеводитель, и лишь около 1160 г. Гвидо де Базош подготовил первый путеводитель по Парижу⁴¹.

На протяжении VII—XII вв. Византийская империя оставалась крупнейшей морской державой. Потребности мореплавания диктовали создание специальных пособий для моряков, периплов, лоций. Периплы древние не были забыты, о чем свидетельствует наличие их византийских {353} копий. Иногда на их основе составлялись компиляции и эпитомы. Такой переработке подвергся, к примеру, «Перипл Эвксинского Понта» Псевдо-Арриана. Однако изменения политической ситуации в Средиземноморье, маршрутов морских путей в значительной степени обесценивали античные периплы, заставляли составлять новые. Небольшой перипл был включен Константином Багрянородным в трактат «О церемониях византийского двора» (De cer. P. 2, 45). Это — так называемый «Стадиодромикон». Он описывает путь от Константинополя до Крита вдоль малоазийского побережья мимо Самоса, Наксоса и т. д. Приводятся расстояния между отдельными портами на этом пути. Перипл не отличается точностью. Например, общее расстояние между начальным и конечным пунктами, по словам автора, равняется 792 милям, а сумма всех промежуточных расстояний составляет 782 мили. Имеются и другие погрешности. Впрочем, по мнению специалистов, это — ошибки переписчиков⁴². Император, конечно, включил в трактат наиболее надежный из существовавших периплов. Также по инициативе Константина VII был подготовлен для моряков небольшой метеорологический справочник, известный по единственной рукописи — Marc. Graec. 335⁴³.

³⁹ Сохранявшиеся памятники такого назначения собраны в издании: *Scriptores originum Constantinopolitanum*. Lipsiae, 1901—1907. Т. I—II.

⁴⁰ Подробнее об источниках и композиции произведения см.: Preger Th. *Beiträge zur Textgeschichte der Πατρία Κωνσταντινιπόλεως*. München, 1895; Mango C. *Byzantium and its Image*. L., 1984. P. 60.

⁴¹ *Kleiler P.* Die Gestaltung des geographischen Weltbildes unter dem Einfluss der Kreuzzüge // *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*. Graz, Köln, 1962. Bd. 70, H. 3—4. S. 318—320.

⁴² *Huxley G.* A Porphyrogenitan Portulan // *Greek-Roman and Byzantine Studies*. 1976. Vol. 17, N 3. P. 295—300.

⁴³ Опул. С. Лампросом: *Νέος Ἑλληνομνήμων*. 1912. Т. 9. P. 162—172.

В состав другого трактата Константина VII — «Об управлении империей» — входит глава «О росах, отправляющихся с моносилами из Росии в Константинополь» (DAI. I. P. 9). Это описание «Пути из варяг в греки» в сущности — довольно обстоятельный перипл, сильно отличающийся, однако, от периплов классического типа. Здесь не указываются расстояния между пунктами, изложение не схематично, встречаются развернутые описания местности (особенно полезные для путешественника при характеристике движения через днепровские пороги). Возможно, автор трактата использовал более обширный перипл, сократив то, что казалось ему излишним. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что путешествие по Днепру излагается в главе особенно подробно; начиная же от устья Дуная до Месемврии (области, хорошо знакомые ромеям), следует сухой перечень географических названий.

Дошедшие до нас периплы — наверняка не единственные, существовавшие в Византии в VII—XII вв. Сохранились и сухопутные итинерарии, хотя сокращение территории империи, упадок торговли в VII—IX вв., наконец, перманентные военные действия как в Европе, так и в Азии, сильно ограничивали возможность путешествий. И, видимо, не случайно мы располагаем сейчас лишь одним светским итинерарием этого времени, а точнее даже — относящимся к рубежу ранневизантийской и средневизантийской эпох. В Египте, на территории древнего Панополиса, был обнаружен при раскопках папирус, содержащий 62 топонима⁴⁴. Э. Хенигманн датировал его первой половиной VII в. — кануном арабского завоевания Египта⁴⁵. Топонимы с 1-го по 55-й образуют итинерарий от Гелиополя в Египте до Константинополя. Шесть оставшихся имен очерчивают (хотя и с небольшим нарушением порядка) другой возможный путь из Египта в столицу (по южному побережью Малой Азии). Местные итинерарии, подобные египетскому, должны были существовать и в других областях империи, но лишь в Египте специфика писчего материала (папирус) позволила сохраниться до наших дней небольшому памятнику такого типа. На использовании итинерариев построена гл. 42 трактата «Об управлении империей» Константина VII, предлагающая землеописание от Фессалоники до Авагии. Если первая часть главы представляет собой нарративный рассказ о Пачинакии (стране печенегов), то далее идет обширный итинерарий классического типа (с указанием всех расстояний и названий) от Дуная до крепости Сотиируполь в Авагии, вероятнее всего, скомпилированный из нескольких памятников этого жанра (DAI. I. P. 182—188). Ясно, однако, что в целом итинерарии в средневизантийский период не были многочисленны.

И все же были путешествия, которые осуществлялись в средневековье несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, а их описания сохранялись с особой тщательностью. Это — паломничества, путешествия пилигримов. Именно в средневизантийскую эпоху появляются первые итинерарии паломников, написанные на греческом языке. Самый ранний из них — «Повесть Епифания Агиополита о Сирии и Св. Граде»⁴⁶. Об авторе ее нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что он был монахом и не являлся «жителем Св. Града» («агиополитом») в прямом смысле слова, а прибыл в Иерусалим как паломник. Время написания «Повести...» — вторая половина VIII в.⁴⁷

В своем труде Епифаний предельно кратко и сжато описывает, а чаще просто упоминает достопримечательности Иерусалима, Палестины и ряда других областей Ближнего Востока. Стиль его предельно лаконичен. Как правило, указывается точное местоположение того или иного памятника, иногда автор напоминает о связанных с ним библейских легендах или исторических событиях. Епифания интересуют исключительно христианские реликвии, и он достаточно редко выходит за пределы библейско-евангельской или церковно-исторической тематики (например, когда свидетельствует о добыче нефти в районе Аравийского залива). На всем протяжении своего труда Епифаний следует определенной целевой установке — дать в руки других паломников предельно краткий и информативный путеводитель «по святым местам». Указания Епифания отличаются большой точностью, и следует думать, что во время путешествия он вел специальные записи, рассчитывая в будущем объединить их в целостное произведе-

⁴⁴ Опубл.: Nordengraaf C. A Geographical Papyrus/Mnemosyne. III^e série. 1938. Vol. 6. P. 273—310.

⁴⁵ Honigmann E. Un itinéraire à travers l'Empire Byzantin // Byz. 1939. T. 14. P. 645—649.

⁴⁶ Публ.: ИПС. СПб. 1888. Вып. 11 (Т. 4, вып. 2). С. 16—31.

⁴⁷ Schneider A. M. Das Itenerarium des Epiphanius Hagiopolita // Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Leipzig, 1940. Bd. 63, H. 1—2. S. 143—155.

дение. В своем нынешнем виде «Повесть...» Епифания, известная по двум греческим спискам XIV и XV вв., является довольно поздней компиляцией.

Между тем, как показал русский ученый В. Г. Васильевский, перевод с первоначально-го авторского оригинала «Повести...» содержит одна из русских рукописей XV—XVI вв. Этот текст посвящен только описанию Иерусалима и его ближайшей округи. Сведения о других областях Сирии и Палестины были позаимствованы поздневизантийскими интерполяторами из «Церковной истории» Никифора Каллиста (XIV в.) и восходят к описанию паломничества в Иерусалим матери Константина I Елены (по «Житию Константина и Елены», составленному в XI в.). Таким образом, подлинник «Повести Епифания Агиополита» являлся путеводителем по христианским святыням Иерусалима и его окрестностей.

Следующий по времени итинерарий византийского пилигрима, сохранившийся до нашего времени, относится к концу 70-х годов XII в., т. е. датируется последними годами господства латинян в Иерусалиме. Он озаглавлен «Краткое сказание о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, а также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины»⁴⁸. Его автора звали Иоанн Фока. На основе текста сказания и двух рукописных глосс, сделанных на единственном известном манускрипте конца XII в. (одна — рукой самого автора, другая — его родного сына), можно заключить, что Иоанн Фока в молодости был воином, участвовал в походах Мануила I Комнина (1143—1180), затем сделался священником и предпринял путешествие «по святым местам». Постоянно проживал он в это время на о-в Крит. По возвращении домой Иоанн Фока решил описать свои впечатления от путешествия, при этом не предполагая, что его сочинение будет практически использоваться как путеводитель. Напротив, он предназначал свой труд «тем, которые сами не видели этих прекрасных мест, а случайно от кого-либо слышали о них, так как мое изложение дает, я думаю, более ясное о них представление ... да и видевшим доставит кое-какое удовольствие; ибо на что с удовольствием смотрелось, о том приятно и послушать» (Сар. 1.).

Иоанн Фока начинает описание своего паломничества с Антиохии, затем последовательно через Лаодикию, Бейрут, Сидон, Тир, Птолемаиду, Назарет, Севастию и т. д. «приближается» к Иерусалиму, рассказывает (довольно кратко) о «Святом Граде» (Сар. 14.) и, напротив, очень подробно описывает христианские святыни — храмы, монастыри, жилища отшельников — в его окрестностях, в долине р. Иордан и вблизи Мертвого моря, далее повествует о Вифлееме, Армафеме и Кесарии Палестинской, откуда, как видно, он и отплыл к себе на Крит.

В ряду многочисленных повестей о паломничествах в Иерусалим — византийских, западных и славянских — труд Иоанна Фоки представляет собой незаурядное явление, что определяется, прежде всего, незаурядностью самого автора. Его творение наделено значительными художественными достоинствами. Оно отличается логичной, продуманной композицией. Литературный стиль автора отмечен чистотой, выразительностью и даже своеобразной изысканностью. Особенно удаются ему описания памятников искусства и пейзажей. Причем, в отличие от большинства своих «коллег» по жанру, Иоанн Фока не отказывает себе в удовольствии описать интересный и привлекательный ландшафт, даже если он не содержит в себе никаких сакральных достопримечательностей. Вот, например, отрывок главы о городе Антиохия на Оронте: «... время и рука варваров уничтожили его благосостояние, хотя и теперь еще он блистает крепкими башнями, сильными бойницами, цветущими лугами и струями разливающихся вокруг него вод, благодаря тому, что у самого города тихо течет река, опоясывает его и окружает {356} его укрепления влажными кольцами. Кроме того, он изрядно орошается водами Кастальского источника, волны которого струятся вокруг него наподобие ключей и частыми протоками каналов омывают весь город и наполняют его струями, так как благодаря щедрости и великодушию основателя города воды из этого источника проведены в город через горы. Здесь пресловутое предместье Дафны украшается, как венком, богатой и разнообразной растительностью» (Сар. 2). Вместе с тем, упоминая о явлениях, с его точки зрения, малозначительных, Иоанн Фока выражается до конспективности лаконично. Там же, где требуется одновременно и подробность, и строгая четкость, Фоке удаются характеристики, каких следовало бы скорее ждать от ученого, чем от писателя. Таково, например, великолепное с инженерной точки зрения описание «неиссякающего (якобы «божественного») источника недалеко от города

⁴⁸ Опул.: ППС. СПб., 1889. Выш. 23 (Т. 8. вып. 2). С. 1—59.

Тира: «Его устройство и вид таковы. Первые, потрудившиеся, над источником, окруживши его восьмигранною башнею, вывели эту башню на значительную высоту и краям ее по углам придали форму фиалов на высоте, равной площади луга, на высоте же сводов, устроивши стоки в форме желобов, сделали так, что вода, стесненная со всех сторон, льется каскадами и, журча и шумя, орошает прилегающие к источнику луга многочисленными ручьями» (Сар. 8). Вообще весьма часто на протяжении «Сказания...» Иоанн Фока демонстрирует умение менять манеру изображения предмета в зависимости от конкретной авторской задачи. Его литературное мастерство, как и художественная значительность «Сказания...», не подлежит сомнению.

Необходимо отметить, что Иоанн Фока — человек весьма широких взглядов и критического ума. Без сомнения, он — ортодоксальный православный христианин, совершающий паломничество с благочестивыми целями. Но в то же время он начисто лишен религиозного фанатизма. Без малейшей неприязни говорит он о представителях других исповеданий — самаритянах, армянах-монофиситах, католиках. О католическом епископе Иерусалима он отзывался с одобрением и уважением в связи с тем, что последний приказал установить в Вифлеемском храме, построенном на средства Мануила I Комнина, портреты этого византийского императора (Сар. 27). С симпатией пишет Иоанн Фока о существовании на горе Фавор латинского и греческого монастырей. Иоанн Фока, несомненно, сторонник взаимной религиозной терпимости, по крайней мере между христианами разных толков. Широта его взглядов проявляется и в литературных пристрастиях. Конечно, чаще всего, в «Сказании» Иоанна Фоки цитируется Библия. Несомненно, его знакомство с сочинениями отцов церкви. Но Фока знает и античную литературу, например Иосифа Флавия, и, что может показаться совсем удивительным, в описании благочестивого паломничества однажды прямо ссылается на Ахилла Татия — автора популярного в древности любовного романа «Левкиппа и Клитофонт»! (Сар. 6). Наконец, Иоанн Фока с большой осторожностью и даже скепсисом относится к распространенным христианским легендам. В этом плане показательным его вполне логичное рассуждение о так называемой «башне Давида» в Иерусалиме: «Это огромнейшая башня, и хотя все в Иерусалиме признают ее Давидовой, но мне думается, что можно сомневаться в этом с достаточным основанием. Иосиф повествует, что Давидова башня была из белого тесаного {357} камня; храм же и другие две башни были построены после Иродом во имя Фасаила и Мариамны; а эта построена из обыкновенного камня. И может быть ныне видимая возведена на фундаменте древнейшей башни» (Сар. 14). Рационализм, свойственный Иоанну Фоке и не изменяющий ему даже тогда, когда речь заходит о христианских святынях, — редкостное качество для христианина-пилигрима.

Благодаря широте своего кругозора, Иоанн Фока зафиксировал в «Сказании...» целый ряд фактов исторического, географического, этнографического характера, не имеющих церковно-аитикварного значения, но представляющих большой интерес для современной науки. Это — данные о монастырском хозяйстве обитателей по берегам р. Иордан (Сар. 20), о периодических эпидемиях, происходящих из-за скученности населения в г. Птолемаиде (Сар. 9), о секте ассасинов (Фока именует их «хасиссиями», Сар. 3) и т. д. Великолепны описания некоторых памятников искусства, особенно фресковой живописи «дома Иосифа» в Назарете (Сар. 10) и «пещеры Рождества Христова» в Вифлееме (Сар. 27). Отличаясь подробностью и четкостью, они способны по художественным достоинствам соперничать с экфрасисами профессиональных византийских писателей.

Таким образом, «Сказание» Иоанна Фоки представляет собой заметное явление византийской литературы и крупное достижение жанра «итинерарий пилигрима». Как мы видим, от средневизантийской эпохи до нас дошли лишь два его образца (не считая компилятивного «Жития Константина и Елены»). На основе всего двух источников невозможно, конечно, определенно говорить о прогрессе или регрессе в эволюции жанра. Ясно лишь, что сочинение Иоанна Фоки по всем параметрам превосходит записки Епифания. Следует отметить и другое: «Сказание» Иоанна Фоки по своей структуре и содержанию ближе к ранним латиноязычным запискам пилигримов, в которых, действительно, описывается путь до Иерусалима и далее к Мертвому морю и возвращение назад. Иногда (хотя и не часто) Иоанн Фока даже указывает расстояния между отдельными упоминаемыми пунктами (в стадиях, в днях пути). В этом плане его «Сказание», как будто определенно не предназначенное быть руководством для паломников в Святую землю, с большим успехом может быть использовано как итинерарий, чем

«Повесть...» Епифания, которая, в очищенном от позднейших напластований виде, является иерусалимским городским справочником и занимает в жанровом отношении промежуточную позицию между «итинерарием пилигрима» и путеводителем по городу вроде охарактеризованного выше константинопольского *vademecum*. В целом же необходимо заключить, что в средневизантийский период записки паломников как жанр географической литературы утвердились в грекоязычной, собственно византийской книжности. Характеризуя этот жанр, нужно указать, что он весьма далеко отстоит от жанра обычных светских итинерариев. Паломники редко указывают расстояния между географическими объектами, для них не характерна строгая и лаконичная четкость итинерариев, утилитарные функции путеводителей сочетаются в них с учительными, благочестиво-пропагандистскими, наконец, художественными. Эти памятники — произведения синтетического типа: и итинерарии, и путевые заметки, и проповеди, и экфрасисы. И потому интерес к ним могли проявлять и {358} проявляли не только путешественники, но и самые широкие круги христианских читателей и слушателей.

Итак, мы видим, что в VII—XII вв. византийская описательная география породила целый ряд заметных произведений. Некоторый застой VII—VIII вв. сменился активизацией в македонское и комнинское время. В развитии данной области культуры можно выявить несколько основных тенденций. Во-первых, тенденция антикизирующая: в эти годы возрождается интерес к античной географии — к Арриану, Псевдо-Дионисию Периегету, в некоторой степени к Птолемию, а особенно — к Страбону. Во-вторых, используется собственное, ранневизантийское наследие: Псевдо-Арриан, Иерокл, Стефан Византийский, труды историков и хронистов. В-третьих, на этой основе получают продолжение и развитие некоторые основные жанры ранневизантийской географической литературы: эксцерпты и учебные пособия, географические описания — компендиумы энциклопедического характера, городские путеводители, периплы, notiции. В-четвертых, возникают собственно византийские итинерарии пилигримов. И, в-пятых, в рамках этих жанров появляются крупные произведения синтетического, эрудитского типа, основанные на широком круге источников, самостоятельно подобранных и обобщенных авторами. К их числу можно отнести трактат «Об управлении империей» Константина Багрянородного, «Отечество Константинополь» Псевдо-Кодина, комментарий к Псевдо-Дионисию Периегету Евстафия из Фессалоники.

Картография средневизантийской эпохи почти не исследована. Однако в распоряжении историков все же имеется ряд свидетельств, показывающих, что и в этот период картографическая традиция в Восточной империи не прерывалась.

Два типа карт сохранилось в рукописях «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова. Это карты мира, причем первый вариант известен в трех экземплярах (по рукописям: Ватиканской IX в., Лаврентианской и Синайской X—XI вв.), второй — в двух (по Лаврентианскому и Синайскому спискам). Вопрос о принадлежности их прототипов самому Косьме или более поздним иллюстраторам его манускриптов до сих пор не разрешен, хотя есть серьезные основания полагать, что они восходят к авторскому архетипу⁴⁹. Проблема осложняется взаимными отличиями обеих карт. Но во всяком случае дошедшие до нас экземпляры карт скопированы в IX—XI вв.

Первый вариант карты вселенной в «Христианской топографии» представляет землю в виде прямоугольника⁵⁰. Таким же прямоугольником обозначен окружающий ее со всех сторон океан. (На его голубом фоне имеется надпись: «ω; ’κεανός».) Наконец, и сам океан заключен в новый прямоугольник, имеющий надпись: «Земля за океаном, на которой жили люди до потопа». В крайней правой части карты в виде цветущего сада изображен рай, отделенный от обитаемой Земли частью «внешней» суши и океаном. {359}

Прямоугольник обитаемой земли — не просто символическое изображение, но карта, хотя и крайне схематичная и примитивная. Так, в верхней части прямоугольника имеется небольшая полукруглая выемка, в нижней — две такие же. Это — Каспийское море, Персидский и Аравийский заливы (на карте сделаны соответствующие надписи). Надписями же обозначены

⁴⁹ См.: *Редин Е. К.* Христианская топография Косьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916. Ч. 1. С. 114—121; *Wolska W.* La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustes. Théologie et Science au VI^e siècle. P., 1962. P. 245—271; *Kiessling M.* 'Ρττανα ο;'; 'ρη //RE. 1920. Bd. 1. Col. 869.

⁵⁰ *Гукова С. Н.* Карта мира Козьмы Индикоплова//ВИД. 1986. Т. 17. С. 308—321.

ны и горы, причем использована своеобразная формула «δυτικά; ἰ (βόρεια)μέρη υ; ἠηλά» — «западные (северные) высокие части». Низменности обозначены как «южные (восточные) низкие части». Как известно, Косьма Индикоплов полагал, что «северная и западная части населенной земли — самые высокие, восточная и южная — самые низкие». Это мнение — отголосок ионийской теории покатоности земного диска по отношению к небесному экватору. На карте довольно тщательно прорисовано Средиземное море (названное «Римский залив») с двумя ответвлениями: вероятно, имеются в виду Адриатика и Понт Эвксинский. С каждой стороны ойкумены в медальонах даны антропоморфные изображения ветров, дующих в трубы. В двух рукописях (Ватиканской и Лаврентианской) показаны также и райские реки: Гион, впадающий в «Римский залив», и Фисон, Тигр, Евфрат, текущие в залив Персидский.

В Лаврентианском и Синайском манускриптах сохранилась еще более грубая и примитивная карта земли. В середине ее — ойкумена в виде небрежно очерченной половины овала. Ее окружает полоса океана, за ней следует полоса внешней земли. В левом верхнем углу карты помещено восходящее солнце, справа сбоку — заходящее. Как обычно, все части изображения обозначены надписями.

Обе карты действительно могут в самом общем виде служить иллюстрациями к космографической системе Косьмы, хотя первая лучше подходит для этой цели: она изображает горы, райские реки, наконец, указывает само местоположение рая, что чрезвычайно важно для концепции мироздания Косьмы Индикоплова. По своей прямоугольной форме она ближе всего стоит к некоторым западноевропейским картам (особенно к карте VIII в. из монастыря Альби во Франции). Для второй карты известны восточные (даже древнеегипетские) параллели⁵¹. Однако необходимо иметь в виду, что до сих пор не обнаружены ни европейские, ни восточные карты, вполне однотипные византийским картам «Христианской топографии»⁵². В то же время в псалтири из библиотеки Барберини (XI в.) имеется византийская карта, также изображающая четырехугольную землю, окруженную четырехугольным океаном. По краям карты нарисованы четыре ветра, дующие в трубы, а внутри земного прямоугольника, выкрашенного в зеленый цвет, — два ряда деревьев. По форме эта примитивная схема явно напоминает первую карту из «Христианской топографии». Вторая же карта из рукописи Косьмы-360 находится себе параллель в Ватиканском Октатевах № 746. Земля здесь изображена как полукруглый остров, омываемый океаном. На острове растут деревья и цветы. Похожая карта сохранилась и в Серальском Октатевах. Показательно, что карты кодекса Барберини и Октатевах продолжают традицию знаменитой мозаичной карты из Мадабы: наряду с абстрагированными географическими контурами здесь также помещаются разнообразные живописные картины. В этом смысле особенно выразительно изображение рая из того же Ватиканского Октатева № 746. Тут художник рисует целый пейзаж, в центре — «древо познания добра и зла», вокруг — деревья, кусты и цветы, рядом — голубое озеро, и вместе с тем это — именно карта, хотя и фантастическая: тут четко обозначены границы рая, показаны четыре райских реки⁵³. Еще один эскиз прямоугольной Земли, окруженной океаном, как и карта из Мадабы, сохранился в виде мозаики в церкви св. Дмитрия в Никополе (597 г.). Это — схематичная картина, где земля — квадрат с изображениями животных и птиц, вокруг нее — воды, символизирующие океан и полные многочисленных рыб⁵⁴.

Рассмотренные карты (особенно последние) дают лишь примитивный абрис земного мира. Но надо признать, что они являются достаточно четкими и понятными иллюстрациями картины мироздания, созданной воображением христианских космографов. В этом плане они

⁵¹ Nordlin A. Landet på andra sidan Okeanos, Ett kort kapitel om källorna till Kosmas Indikopleustes' bok om världsbyggnaden // Ymer tidskrift utgifven af Svenska Sällskapet för Antropologioch Geografi. 1925. 45. P. 253—260.

⁵² В латинской рукописи Пентатева из Парижской Национальной библиотеки (№ 2334, л. 50) имеется изображение ирреальной мифической земли Фаран в виде продолговатого зеленого четырехугольника. Возможно, эта карта создавалась под византийским влиянием. См.: Gehrhardt O. von. The Miniatures of the Ashburnham Pentateuca. L., 1883. Pl. II, XIII.

⁵³ О картах Октатевах и кодекса Барберини см.: Айналов Д. Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 216—218. Здесь же — их изображения.

⁵⁴ См.: Kitzinger E. Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor Mosaics // DOP. 1951. N 6. Pl. 18—19. P. 82—122.

ничуть не уступают распространенным в Европе картам Т—О-типа. Впрочем, в библиотеке Оксфордского университета хранится экземпляр карты Т—О-типа⁵⁵, имеющий непосредственное отношение к Византии. Эта карта выполнена около 1100 г. Центром ее, согласно известному правилу средневековых космографов, является Иерусалим. Обозначены места расселения 12 «племен израилевых», ряд городов Леванта. В написании их названий присутствует путаница, характерная для представлений о Востоке жителей Западной Европы. Имена частей света даны одновременно по-латыни и по-гречески. Считается, что данная карта представляет собой не вполне удачную копию византийского оригинала, вывезенного с Востока кем-то из участников 1-го крестового похода⁵⁶. Можно привести еще один пример, когда западноевропейские картографы работали под византийским влиянием. Небольшой латинский трактат конца X в. «Как расположен град Иерусалим» был снабжен планом города, не вполне соответствующим тексту книги и, видимо, построенным на основе не дошедшего до нас византийского описания Иерусалима (имеется в виду краткий период, когда город был отвоеван у арабов Иоанном Цимисхием)⁵⁷.

Византийцы пользовались специальными военными картами и планами. Известно, что император Алексей I Комнин лично готовил для себя такие планы перед боем. Мог он также по памяти изобразить карту побережий Иллирика и Лонгивардии (подобную карту он направил {361} в письме талассократору Иоанну Контостефану, обозначив на ней места, где следовало устраивать стоянки кораблей) (*Анна Комн.* С. 356). На основании этого факта К. Крумбахер полагал, что византийцы располагали в XI в. морскими картами, использовавшимися в стратегических целях⁵⁸.

Показателем уровня развития византийского картографического искусства является его бесспорное влияние на картографию арабского Востока. Для прогресса арабской географической мысли решающее значение имело знакомство арабов с трудами античных географов, в первую очередь Птолемея. Нет сомнений в том, что многие византийские рукописи Птолемея, оказавшиеся в руках арабов, были снабжены картами. Выдающийся арабский географ VIII — начала IX в. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми составил книгу-землеописание «Китаб Сура аль-Ард» («Книга образа Земли»), основанную на географии Птолемея. Этот труд долгое время являлся наиболее авторитетным на арабском Востоке руководством по составлению карт. Сам же аль-Хорезми использовал при работе над ним карту Птолемея, известную ему по византийской рукописи сирийского происхождения⁵⁹. По некоторым его замечаниям можно судить, что горные хребты на этой византийской карте были рельефно выделены⁶⁰. В X в. историк аль-Масуди видел другой византийский манускрипт «Географии» Птолемея с картами, где горы и моря были выписаны разными цветами⁶¹. Видимо, и в этих изображениях византийские картографы продолжали следовать позднеантичной традиции «пиктографической» картографии, совмещая в одном памятнике и географическую схему, и рисунок. Рукопись упомянутой книги аль-Хорезми сохранилась в единственном экземпляре XI в. (хранится в библиотеке Страсбургского университета). В ней имеются четыре региональные карты: Цейлона, Яванского моря, Меотидского озера (Азовского моря) и долины Нила. Две последние составлены на основе птолемеевой «Географии» и, видимо, являются копиями соответствующих византийских карт⁶².

Благодаря византийцам арабам стали известны не только карты, иллюстрирующие труды Птолемея. В 947 г. аль-Масуди отмечал, что лучшими из известных ему карт он считает карты Птолемея, Марина Тирского и Мамуна (последняя была изготовлена по приказанию этого халифа также на базе рекомендаций Птолемея). Таким образом, и труды Марина Тирского

⁵⁵ *Бородин О. П.* Указ. соч. С. 462.

⁵⁶ *Beazley C. R.* *The Dawn of Modern Geography.* N. Y., 1949. Vol. 2. P. 578.

⁵⁷ *Ibid.* P. 636—638. Здесь же воспроизведение карты (P. 582).

⁵⁸ *Krumbacher K.* *Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches* (527—1453). 2. Aufl. München, 1897.

⁵⁹ *Nafis Ahmad.* *Muslim Contribution to Geography.* Lahor, 1965. P. 128.

⁶⁰ *Mzik H. von.* *Ptolemaeus und die Karten der arabischen Geografien//Mitteilungen der Königl. Geographischen Gesellschaft in Wien.* Wien, 1915. Bd. 58. S. 171.

⁶¹ *Crone G. R.* *Maps and their Makers: An Introduction to the History of Cartography* Folkestone, 1978. P. 7.

⁶² *Bagrow L.* *History of Cartography.* Cambridge; Harvard, 1966. P. 54.

(разумеется, в византийских рукописях) попадали на арабский Восток, снабженные картами. Наконец, в «Шестоднев» епископа Бар-Кефы из Моссула (IX в.) присутствует небольшая карта Т—О-типа. Сохранились и развивающие позднеантичные традиции зонные карты: сирийская Эллаф кул-Эллана (конец XI в.), арабская аль-Хараки (1138 г.). Все они, безусловно, созданы под влиянием византийских образцов. {362}

Византийские ученые предпринимали попытки подвести под картографию теоретический базис, используя античную географическую традицию. Михаил Пселл написал с этой целью специальную работу «О географической карте»⁶³. Это руководство по составлению карты ойкумены, конечно, не самостоятельное, а представляющее собой выборку соответствующих эскизов из «Географии» Страбона. Однако Пселл, хорошо зная этот источник, весьма свободно комбинирует нужные ему фрагменты из разных книг (II, V, VII) с целью создания предельно сжатого и сугубо картографического пособия.

Как и в ранневизантийский период⁶⁴, географы использовали в работе глобусы («сphaerae»). От средневизантийской эпохи до нас дошел уникальный трактат о принципах изготовления глобуса, изображающего небесную сферу. Его автор Леонтий жил в Константинополе, вероятно, в начале VIII в. и был профессиональным мастером-изготовителем глобусов. Толчком к написанию трактата послужил заказ некоего Ельпидия Схоластика сделать для него глобус, поясняющий положения поэмы «Небесные явления» древнегреческого поэта-астронома Арата (около 315—240 гг. до н. э.). Леонтий выполнил заказ, а затем решил обобщить свой опыт в специальном руководстве, которое так и назвал: «Об изготовлении Арата глобуса»⁶⁵. Работа Леонтия свидетельствует о значительных астрономических познаниях ее автора. Его сфера изображает все созвездия Зодиака и способна свободно вращаться вокруг своей оси. На глобусе обозначены небесный горизонт и меридиан. Следовательно, пользуясь глобусом Леонтия, можно не только составить себе представление о карте звездного неба, но и наглядно представить себе порядок суточного вращения небесной сферы. Леонтий, однако, замечает, что его глобус скорее является не моделью небесной сферы как таковой, а иллюстрацией к поэме Арата, так как, во-первых, Арат в своих астрономических воззрениях зависел от Евдокса Книдского, а Евдокс далеко не всегда был точен в своих выводах и заключениях; во-вторых, Арат, по словам его комментаторов, предназначал свою поэму морякам в качестве практического руководства, моряки же обычно ориентируются по звездам на глазок, не прибегая к помощи приборов. Трактат Леонтия содержит множество конкретных практических советов по производству глобусов: относительно необходимых материалов, инструментария, технологии и т. д.⁶⁶ Книга Арата представляла для европейских астрономов не только антикварный, но и чисто практический интерес вплоть до конца XVI в.⁶⁷

Трактат Леонтия о небесной сфере, сам факт существования в столице империи мастерской, производившей глобусы, — несомненные доказательства их широкого распространения в Византии. В данном случае речь шла о глобусе звездного неба, но наверняка продолжали существовать и глобусы Земли (вроде того, о котором в V в. писал Юлий Гонорий). Конечно, использовать их могли только сторонники концепции сферичности Земли и небес.

Византийцы наряду с глобусом изготавливали и другие инструменты, применение которых требовало специальных географических познаний. В Музее Христианской Эры в Брешии находится византийская астролябия, сделанная в 1062 г. протоспафарием и консулом Сергием. На ней выгравирована надпись, указывающая, что прибор можно использовать лишь в трех «климатах» — на широте Родоса, Византия и Геллеспонта. Перед нами еще одно свидетельство популярности зонной теории среди византийских ученых⁶⁸.

⁶³ Оубл.: Περὶ τοῦ γεωγραφικοῦ πίνακος // *Lasser F.* Étude sur les extraits médiévaux de Strabon suivie d'un traité inédite de Michel Psellus // *Antiquité Classique*. 1924. A. 28. Fasc. 1. P. 76—79.

⁶⁴ См.: *Бородин О. Р.* Указ. соч.

⁶⁵ *Leontii De Preparatione sphaerae Aratae // Astronomica veterum scripta isagogica graeca et latina*. Heidelbergae, 1589.

⁶⁶ Подробнее см.: *Stewenson E. L.* *Terrestrial and Celestial Globes. Their History and Construction, including a Consideration of Their Value as Aids in the Study of Geography and Astronomy*. New Haven, 1921. Vol. 1. P. 21—23.

⁶⁷ *Fiorini M.* *Erd- und Himmelsgloben, ihre Geschichte und Konstruktion*. Leipzig, 1895. S. 11—12.

⁶⁸ *Honigmann E.* *Die sieben Klimata...* S. 102.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в VII—XII вв. картография продолжала оставаться органической частью византийской географической науки. Распространены были карты-иллюстрации к географическим трудам: классическим античным (Птолема, Марина Тирского), византийским (Косьмы Индикоплова), к текстам Священного писания. Видимо, бытовали и более подробные региональные карты (Святой земли, предназначенные для паломников; морские и т. д.). Наконец, использовались глобусы. Мы вправе говорить о сохранении в Византии определенной части античного картографического наследия. Об этом свидетельствуют как сами имена географов, труды которых были снабжены картами, так и отдельные, к сожалению, крайне скудные сведения о внешнем виде этих карт (например, о сочетании предельной схематизации географических очертаний с живописными изображениями и пояснительными надписями). Недостаток материалов не позволяет сделать четкое заключение о прогрессе византийской картографии в изучаемое время, но ясно, что она в основном сохранила свои прежние достижения и готова была передать их картографам будущих поколений.

Итак, средневизантийская эпоха стала весьма важным периодом в эволюции византийской географической мысли. В области теоретической космографии она ознаменовалась переменой основного ракурса рассмотрения географических реалий. В предшествующую эпоху проблемы теории землеустройства излагались почти исключительно в Шестодневах, в связи со стремлением их авторов к созданию общехристианской модели мироустройства согласно канонам Библии. Здесь, как и в других областях науки и идеологии, патристика решила свою задачу, и потому в VII—XII вв. география в основном уходит со страниц византийских «Гексамеронов» — все более аллегорических и даже мистических, все менее занятых проблемами реального мира, хотя бы и в ирреальной богословской интерпретации. Реминисценции «гексамеральной» географии систематически встречаются в эту эпоху, пожалуй, лишь у хронистов — Симеона Логофета, Михаила Глики, Иоанна Зонары — и восходят к наиболее значительным византийским «Шестодневам»: Василия Великого, Григория Нисского, Севериана из Габалы. В средневизантийский период начинают создаваться крупные специальные космографические труды — трактаты Симеона Сифа и Евстратия из Никеи, соответствующие {364} разделы «Всеобщего наставления» Михаила Пселла. Это — произведения скорее дидактические, чем научные, скорее энциклопедические, чем исследовательские, но они уже суть памятники светской космографической мысли. Кроме того, важно, что некоторые из них посвящены космографии как таковой, а не только как одной из многих сфер «божественного творения». В этом можно видеть зачатки превращения космографии в особую область знания или во всяком случае в особую учебную дисциплину.

В мировоззренческом плане показательным, что именно в VII—XII вв. в сознании образованных византийцев окончательно утвердилась геоцентрическая концепция мироздания, идущая от Аристотеля и «освященная» авторитетом «великих каппадокийцев». Византийцы этого времени, конечно, знали Севериана из Габалы и сирийских экзегетов, продолжали читать Косьму Индикоплова. Но теорию плоской земли ни один заметный византийский мыслитель уже не принимал всерьез. Прозвище «мифотворца» (PG. T. 103. Col. 69), с легкой руки патриарха Фотия, стало сопутствовать Косьме Индикоплову в устах византийских интеллектуалов, и его «Христианская топография» осталась источником космографических сведений только для тех, кто не прошел курса обучения в византийских школах.

VII—XII века знаменательны и тем, что именно в данный период византийские космогония и география начинают оказывать непосредственное влияние на мирозерцание славянских народов: памятники «шестодневной» и дидактической космографии, труды Василия переводятся на их языки и, в первую очередь, способствуют созданию собственных славянских литературно-научных сочинений и сборников.

Унаследованная от греко-римской древности в предшествующие столетия система воспитания и обучения в Византии середины VII—XII вв. в своих общих чертах не претерпела значительных изменений. Античные традиции, игравшие огромную роль в культуре византийского общества, были особенно устойчивы в области просвещения. Здесь не было создано нового типа преподавания. В VII—XII вв. продолжали изучать грамматику, риторику, философию, т. е. те предметы, которые проходили в школах поздней античности и ранней Византии¹.

Именно изучение этих дисциплин считали необходимым для воспитания образованного члена общества. Знание и понимание классической литературы и античных трудов по философии, математике, астрономии, медицине, умение говорить и писать по-аттически высоко ценились византийцами. К человеку, овладевшему сокровищами наук, по-прежнему относились с глубоким уважением, и он пользовался у современников огромным авторитетом². Источники полны восторженных отзывов о людях, получивших образование. Лица, принадлежащие к разным социальным группам, высказывают подлинное восхищение науками и образованием и подчеркивают необходимость его приобретения³.

Даже авторы агиографических памятников непременно отмечают образованность своих героев, считая ее одним из их достоинств. В Житии Феодора Студита говорится о значимости светской науки и полезности ее изучения, поскольку она не только знакомит ортодоксальных христиан с аргументами и оружием их идейных противников, но и вооружает их на борьбу с ними. Настаивает на изучении светских дисциплин и биограф патриархов Тарасия и Никифора диакона Игнатий. {366} Он старается убедить своих братьев-монахов в том, что овладение науками помогает лучшему пониманию богословских трудов. Правда, он сразу же оговаривается, что «внешнюю», т. е. светскую мудрость, нельзя сравнивать со священной наукой, так как последняя является госпожой, а первая — ее служанкой⁴.

Высоко ценил образованность, познания в светских и божественных науках Кекавмен. Давая наставления своему сыну, он советует ему обучать детей, убеждает его усердно читать книги, которые приносят большую пользу, обогащая читающего знаниями, улучшают стиль речи и повышают профессиональное мастерство стратига. Все это, по мнению Кекавмена, может сделать человека счастливым (*Кекавм.* С. 132—133, 154—157, 210—213, 240—241). Подлинный гимн наукам содержится в трактате Михаила Пселла «О дружбе», адресованном племянникам патриарха Михаила Кирулария. «Науки,— пишет он,— смывают грязь с душ и делают их природу чистой и воздушной. Если кто начинает одинаково мыслить о вещах значительных, то скоро и в малом уничтожается различие их мнений. Вместе избрав науку, сделайте ее нерушимым залогом единомыслия» (*МВ.* V. P. 514)⁵.

Во многих речах, обращенных к ученикам, Михаил Пселл призывает их к изучению эллинской мудрости, которая помогает познавать тайны природы, очищает язык и знакомит с философией, из которой он советует извлекать только наиболее важное и полезное⁶. Михаил Глика в произведении, написанном в тюрьме, куда он был заключен по приказу Мануила I Комнина (1143—1180), настаивает на необходимости получения образования, «чтобы никогда не утонуть в невежества пучине» (*Памятники.* С. 245). Осведомленность в светских и христианских науках Анна Комнина считает непременным условием для императоров, полководцев,

¹ *Fuchs F.* Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig; B., 1926. S. 19; *Hassey J. M.* Church and Learning in the Byzantine Empire, 867—1185. Oxtord; L., 1937. P. 13; *Литвиц Е. Э.* Очерки истории византийского общества и культуры (VIII—первая половина IX века). М.; Л., 1961. С. 357; *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. P., 1971. P. 102, 105; *Browning R.* Byzantinische Schulen und Schulmeister // *Das Altertum.* 1963. Bd. 9, H. 2. S. 106; *Idem.* Byzantine Scholarship // *Past and Present.* 1964. N 28. July. P. 5; *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 2. S. 231; *Самодурова З. Г.* Школы и образование//*Культура Византии.* IV— первая половина VII в. М., 1984. С. 478—503.

² *Treu M.* Ein byzantinisches Schulgespräch // *BZ.* 1893. Bd. 2. S. 100; *Гранстрем Е. Э.* Наука и образование // *История Византии.* М., 1967. Т. 2. С. 80.

³ *Литаврин Г. Г.* Как жили византийцы. М., 1974. С. 145.

⁴ *Dvornik F.* Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. Pr., 1933. P. 29; *Da Costa-Louillet G.* Saints de Constantinople aux VIII^e, IX^e, X^e siècles // *Byz.* 1955. T. 24. fasc. 1. P. 247; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 101.

⁵ *Любарский Я. Н.* Михаил Пселл: Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978. С. 65.

⁶ *Lemerle P.* «Le gouvernement des philosophes»: notes et remarques sur l'enseignement, les écoles, la culture // *Lemerle P.* Cinq études sur le XI^e siècle byzantin. P., 1977. P. 217.

придворных и государственных деятелей, которым требуются обширные познания в разных областях, главным образом в военном деле и юриспруденции. Особенно большое значение, полагает она, имеет образование для монархов, которые должны разумно управлять государством, что возможно лишь с помощью знаний (*Анна Комн.* Предисл. С. 42—43). Эта мысль неоднократно высказывается в сочинениях, появившихся в рассматриваемый период.

Василий I (867—886) считал образование весьма полезным как для василевсов, так и для подданных. В своих наставлениях сыну и наследнику престола Льву он, хотя сам был неграмотным, признавал «воспитание жизненной необходимостью и самым желанным и для частных лиц, и для императоров», ибо «те, кто его приобрел, получили великую награду и для тела, и для души» (PG. T. 107. Col. 21). Не менее восторженно отзывается о роли и значении знания в жизни народа и монархов его внук Константин VII Багрянородный (913—959), обращаясь к своему сыну, будущему императору Роману II (959—963). Он называет знание благом, овладение которым способствует лучшему управлению государством. Знание, по его словам, нужно простым людям, а особенно василевсам, которые обязаны думать о спасении подданных и разумно управлять мировым кораблем (DAI. I. P. 48) ⁷.

По мнению императрицы Ирины, супруги Алексея I Комнина (1081—1118), «свободные науки улучшают нравы людей» и знакомство с ними «подготавливает к беспорочному царствованию тех, кто собирается наследовать власть» (*Nic. Chop.* P. 5; *Анна Комн.* Комментар. С. 627—628).

Образованные византийцы не только преклонялись перед науками, но и воздавали хвалу людям, получившим обширные познания. Анна Комнина превозносит своего многосторонне эрудированного мужа, кесаря Никифора Вриенния, восхищаясь его познаниями в христианских и светских науках (*Ann. Comn. Préface.* I. P. 7). Она пишет, что «он читал все книги, погружаясь в изучение всех областей знания и почерпнул оттуда немало мудрости как нашей, так и не нашей» (*Анна Комн.* С. 206). Восторгается Анна Комнина и образованностью ослепленного по приказу Алексея I за попытку организовать мятеж сына Романа IV Диогена (1068—1071), полководца Никифора, проводившего все свое время за изучением древних авторов, которых ему читали вслух. Особенно старательно Никифор занимался геометрией с помощью специально изготовленных для него из твердого металла геометрических фигур и достиг в этой области значительных успехов (*Анна Комн.* С. 263). С глубоким уважением отзывается Анна Комнина об Евстратии Никейском, «умудренном в божественных и светских науках» и «превосходящем в искусстве диалектики стоиков и академиков» (*Анна. Комн.* С. 36, 397). Гордится своими знаниями и затворница Касия, удалившаяся в основанный ею монастырь после неудачи на смотринах при выборе невесты императором Феофилом ⁸.

С упоением прославляет Михаил Пселл ум и знания своих друзей Константина Лихуда, Иоанна Мавропода, Иоанна Ксифилина, прочно усвоивших тайны грамматики, риторики, философии, права (MB. IV. P. 388—462; V. P. 142—196; *Mich. Ps.* II. P. 58—59, 65—66). Не менее гордится Михаил Пселл и своей образованностью и разносторонней эрудицией. Он заявляет, что постиг всю совокупность тогдашних искусств и наук и возродил их изучение в Византии (*Mich. Ps.* I. P. 134—138). Восторгается он и воспитанностью и образованностью Склирены, фаворитки Константина IX Мономаха (1042—1055 гг.) (*Ibid.* I. P. 145—146). Следует отметить, что женщины, получившие образование, пользовались большим почетом у византийцев ⁹.

К неграмотным в Византии относились без всякого уважения, их необразованность постоянно вызвала насмешки. Отсутствие образования рассматривалось как существенный недостаток, как несчастье и даже как отсталость и неполноценность. Византийские тексты полны порицаний невеждам, которые не могли правильно выразить свою мысль и говорили по-деревенски. Гордившиеся своими знаниями византийцы {368} осуждали даже незаурядные личности, если они не получили должного воспитания и обучения. Образованные, принадлежащие в силу этого по своим интеллектуальным и моральным качествам к элите общества,

⁷ Русский перевод см.: *Конст. Багр.* С. 270.

⁸ *Липшиц Е. Э.* Очерки... С. 331.

⁹ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 135.

беспреданно противопоставляются необразованным, или скорее некультурным, которые должны были довольствоваться скромным положением¹⁰.

С презрением и ненавистью клеймит в своих эпиграммах невежество Касия, которая относит незнание к числу пороков, достойных самого большого осуждения:

«Ненавижу глупца, когда он мнит, что философствует».

«Ненавижу обучающего и ничего не знающего».

«Ненавижу невежду, как Иуду»¹¹.

Михаил Пселл в энкомии Иоанну Мавроподу порицает тех, «кто не изучил египетскую, халдейскую и иудейскую мудрость, кто не познал эллинские науки и не использовал всего, что есть в них полезного» (МВ. V. P. 151). С неодобрением относится он к тем, кто «презирает образование и делает наше учение предлогом небрежения и легкомыслия» (Ibid.)¹². Серьезным недостатком считает Анна Комнина отсутствие образования у халкидонского митрополита Льва. Отрицательно характеризует она и еретика Нила, который «был совершенно незнаком с эллинским воспитанием», что привело его к извращению смысла Священного писания (*Анна Комн.* С. 36, 159, 264). С насмешкой и презрением отзывается Скилица о назначенном по протекции епископом Никомидии евнухе Пахисе, который был необразованным и «быков немоты носил на языке»¹³.

Порицают византийские писатели и неграмотных императоров, которые в силу этого не могли поступать в соответствии с ромейскими законами и обычаями. Их правление они рисуют черными красками. Константин VII Багрянородный характеризует как деспотичное и самовластное царствование Романа I Лакапина (920—944), который «был простым и неграмотным человеком... и не повиновался запретам церкви и не следовал заповедям и повелениям великого Константина» (DAI. I. 13. P. 72, 74; *Конст. Багр.* С. 276).

Идеалом византийских писателей был император, увлеченный науками, покровитель знания, любитель книг. В обществе, в котором многое зависело от личной инициативы правящего василевса, его отношение к грамотности и образованности прежде всего отражалось на положении ученых и судьбах просвещения. Покровительство и помощь монархов давали возможность вести научные занятия, открывать школы и обучать желающих. В трудах византийских авторов много места отводится описанию образованности императоров и их отношения к ученым. Писатели либо порицали невежество правителя, либо восхваляли его красноречие и образование, имевшие с их точки зрения исключительное значение как непременные качества василевса наряду с другими традиционными добродетелями христианских государей. В обязанности государя вменяли заботу не только об управлении, законах, религии, но и об обучении¹⁴.

Но, как мы уже видели, не все византийские императоры соответствовали идеалу «просвещенного монарха». Уровень их образованности и отношение к просвещению и ученым были разными в разные эпохи. Императоры-иконоборцы, которых иконопочитатели обвиняли в невежестве и бескультурье, не были грубыми варварами, закрывавшими учебные учреждения. Перед ними стояли другие, более неотложные задачи борьбы с арабской опасностью. В хронографических трудах Феофана, Никифора, в агиографических памятниках этого времени отсутствуют сведения о ликвидации иконоборцами школ, напротив, в них говорится о повсеместном распространении их и в столице, и в провинции и о занятиях, проводимых частными учителями. Преподаваемые ими дисциплины аналогичны предметам, которые проходили в учебных заведениях предшествующего периода. Не наблюдается никакого перерыва ни на одной ступени обучения. Античные традиции образования не только не были уничтожены, но сохранились и даже еще более окрепли. Эпоху, породившую таких выдающихся, блестяще образованных деятелей, как патриархи Иоанн Грамматик, Тарасий, Никифор и Фотий, Феодор Студит, Лев Математик и другие, никоим образом нельзя характеризовать как разрушительную. Не были

¹⁰ *Guilland R.* La vie scolaire à Byzance // Bulletin de l'association G. Budé. 1953. 3 sér. N 1. Mars. P. 63.

¹¹ *Литвиц Е. Э.* Очерки... С. 323—324, 331.

¹² *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 58.

¹³ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 150.

¹⁴ *Hussey J. M.* Op. cit. P. 16. 23. 28; *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 81, 145; *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 112. 209—210.

иконоборцы и противниками науки. Подготовка и издание законодательных сборников VIII в. свидетельствуют о наличии образованных юристов, которые смогли отобрать и обработать законодательный материал предшествующего времени, внести в него изменения, соответствующие нуждам и требованиям эпохи. Императоры не только поощряли юристов, помогали им и вдохновляли их, но и активно включались в эту работу. Известно, что Лев III (717—741) сам исправлял законы. В иконоборческий период происходило развитие не только права, но и других отраслей знания¹⁵.

Весьма заметным стало оживление научных исследований при императорах аморийской династии (820—867). Стараясь не отстать от багдадских халифов, они оказывали покровительство науке и просвещению, поддерживали морально и материально ученых. Основатель династии Михаил II Травл (820—829) хотя и был неграмотным (о нем говорили, что другой успеет прочитать целую книгу, прежде чем он разберет буквы собственного имени)¹⁶, понимал, тем не менее, роль знания и постарался дать своему сыну, будущему императору Феофилу (829—842), надлежащее образование. В качестве его воспитателя Михаил II пригласил крупного ученого своего времени, видного идеолога иконоборческого движения Иоанна Грамматика. В историографии о Феофиле сложилось представление не только как о справедливом правителе, но и как об образованном человеке, который изучил до тонкостей греческий и латинский языки, астрономию, естественную историю, занимался рисованием и перепиской манускриптов. Обладая познаниями в теологии, он вступал в споры с богословами. Феофил заботился о распространении грамотности, покровительствовал выдающемуся византийскому ученому Льву Математику, назначив его профессором с выплатой из казны вознаграждения за работу¹⁷.

Особенно много внимания уделял делу просвещения кесарь Варда, дядя императора Михаила III (842—867). Варда завершил работу, начатую Феофилом и продолженную после его смерти регентом Феоктистом, по организации учебного заведения в Константинополе (см. ниже, с. 394—395).

Особую заботу о просвещении проявляли первые императоры Македонской династии (867—1056). Ее основатель Василий I (867—886), будучи сам малограмотным, придавал большое значение наукам. Он сделал Фотия, одного из образованнейших людей эпохи, воспитателем своих сыновей: Константина, Льва, Александра, Стефана. Лев VI (886—912), «наибольший философ из императоров», как и его отец, хорошо понимал роль знаний в жизни общества. Под руководством Фотия он приобрел обширные познания в грамматике, риторике, философии, богословии, математических дисциплинах. Особенно он интересовался античной литературой. В историографии Лев VI известен как ученый и писатель (*Theoph. Cont.* P. 276—277). Его перу принадлежит большое число светских и богословских сочинений. За свою многостороннюю эрудицию он получил прозвище «Мудрого». По его инициативе и при его участии было принято издание «Василик», свода законов, представляющего собой изложение основных положений Юстинианова права. Немало усилий прилагал Лев VI к совершенствованию системы обучения в империи (*Кекавм.* Комментар. С. 577)¹⁸.

После смерти Льва VI в 912 г. и Александра в 913 г., в малолетство Константина VII Багрянородного регентский совет во главе с патриархом Николаем Мистиком, а затем соимператор Роман I Лакапин (920—944), занятые решением других задач, уделяли мало внимания вопросам обучения. Константин VII, отстраненный Романом I от управления государством, всецело посвятил себя изучению самых разнообразных научных дисциплин. Он много читал, в его распоряжении находилась богатая библиотека дворца, которую он пополнял покупкой рукописей. Он не только сам стремился приобрести разносторонние знания, но и заботился о широком распространении их, стараясь приобщить к ним как можно больше людей. По его распоряжению и при его непосредственном участии были составлены труды энциклопедического

¹⁵ Литвиц Е. Э. Византийский ученый Лев Математик: Из истории византийской культуры в IX в. // ВВ. 1949. Т. 2. С. 106; 143, 147; Она же. Очерки... С. 260, 338—339; 362—364; Lemerle P. Le premier humanisme... P. 75, 94. 103—109, 146—147, 302—303.

¹⁶ Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973. С. 44.

¹⁷ Buckler G. Byzantine Education // Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization/Ed. N. H. Baynes. H. St. L. V. Moss. Oxford, 1948. P. 208.

¹⁸ Fuchs F. Op. cit. S. 20; Hussey J. M. Op. cit. P. 16, 24.

характера по самым различным отраслям знаний. В предисловии к одному из них, «Геопоникам», анонимный автор обращается к Константину VII со словами благодарности за его заботу об образовании и за возрождение занятий философией и риторикой, «пришедших в упадок и погруженных в немую глубину Леты» (Геопоники. С. 37)¹⁹. Продолжатель {371} Феофана пишет о восстановлении при Константине преподавания арифметики, музыки, астрономии, геометрии, стереометрии и философии. По его словам, он собрал вокруг себя всех выдающихся и знаменитейших ученых, назначил их профессорами и поручил им обучать тех, кто желал получить образование. Он оказывал покровительство учителям и ученикам и интересовался их успехами (*Theoph. Cont.* P. 446).

Преемники Константина VII Багрянородного, напротив, уделяли мало внимания делу просвещения. В сочинениях писателей-современников эта эпоха представлена как царство невежества. «Все изгнано, — пишет поэт Иоанн Геометр, — отвага, разум, знание, — невежество царит у нас и пьянство»²⁰. Столь же критически оценивает данный период и Михаил Пселл, как в надгробном слове Иоанну Ксифилину (МВ. IV. P. 433)²¹, так и в «Похвале Иоанну Италу», где он с особой силой подчеркивает упадок науки и образования в правление преемников Константина VII. «... Хотя наследовать словесные богатства, — замечает он, — должны потомки, сокровище мудрости воспринято теми, кому оно не принадлежит по праву, — варварами, иноземцами, а Эллада между тем, вместе с ионийскими поселенцами, отстранилась от отцовского наследия, и оно перешло к ассирийцам, мидянам, египтянам. Все настолько переменялось, что эллины ведут себя по-варварски, а варвары — по-эллински. Ныне, если случится эллину попасть в Сузы или Экбатаны, древнее владение Дария, то он услышит от вавилонян вещи, которых не слышал на собственном языке, и станет там восхищаться любым человеком, впервые, пожалуй, узнавая, что мудрость была устроительницей всего. А если среди нас окажется кичливый варвар и вступит в разговор с жителями Эллады и всего нашего материка, то почти всякий раз собеседниками его будут не только полуослы, но даже полные ослы» (Памятники. С. 146). Аналогичным образом Михаил Пселл характеризует это время и в своем историческом труде. «Ныне, — пишет он в „Хронографии“, — ни Афины, ни Никомидия, ни Александрия в Египте, ни Финикия, ни оба Рима (первый — худший и второй — лучший) и никакой другой город не могут похвастаться ни одной из наук, а золотые россыпи, рудоносные и среброносные жилы, да и не такие дорогие залежи лежат, спрятанные от глаз» (*Mich. Ps.* С. 82).

Резко отрицательно характеризует Михаил Пселл и уровень образованности самих василевсов, правивших в описываемый им период. Он говорит о презрительном отношении к ученым Василия II (976—1025), о его неумении говорить, о недостаточном знакомстве с науками Константина VIII (1025—1028) и элементарном характере его грамотности, о поверхностных и неглубоких знаниях Романа III Аргира (1028—1034), о непричастности к эллинской культуре Михаила IV Пафлагона (1034—1041) (*Mich. Ps.* I. P. 18, 23, 28—29, 32—33, 56). Хотя императоры, правившие после Константина VII, вынуждены были заботиться больше о неприкосновенности границ государства, чем о школах и обучении, все же в жалобах Пселла на низкий уровень образования в империи в этот период много преувеличений. Сам же Пселл {372} в другом месте своей «Хронографии» замечает, что, несмотря на презрение Василия II к научным занятиям, «в те времена появилось немало философов и раторов», которые интересовались науками ради них самих (*Ibid.* I. P. 18).

Анна Комнина также отмечает пренебрежение науками, которое наблюдалось у большинства людей в период, охватывающий время правления Василия II и его преемников до Константина IX Мономаха (1042—1055), однако она не говорит о полном исчезновении знаний (*Ann. Comn.* II. P. 33). Все это свидетельствует скорее о некотором снижении уровня образованности во второй половине X — первой половине XI в., но ни в коем случае не об упадке научных занятий в империи в указанный период.

При Константине IX Мономахе наступает новое оживление научной деятельности. Этот василевс, по характеристике Михаила Пселла, хотя и «не слишком преуспел в науках и не

¹⁹ Hussey J. M. Op. cit. P. 24.

²⁰ Пер. С. С. Аверинцева. Цит. по: Каждан. А. П. Литература // История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 375.

²¹ Скабаланович Н. Византийская наука в школы в XI веке // Христианское чтение. 1884. № 3/4. С. 345.

обладал даром красноречия», тем не менее весьма благожелательно относился к ученым, оказывал им покровительство и питал слабость к науке. В своем дворце он собрал образованнейших людей эпохи (*Mich. Ps.* I. P. 134). Среди них наиболее выдающимися были Константин Лихуд, Михаил Пселл, Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин, к которым император нередко обращался за советами по вопросам управления государством. При их содействии в Константинополе было открыто высшее учебное заведение с двумя отделениями права и философии. Сам Константин IX посещал занятия, слушал и записывал лекции его профессоров²².

Благоприятным было положение ученых и при Исааке I Комнине (1057—1059), питавшем глубокое уважение к науке. По словам Продолжателя Скилицы, Исаак I Комнин был «нрава твердого, души доброй, характера горячего, на руку скор, умом быстр, на войне полководец искусный, для врагов страшный, к своим добрый, наукам приверженный» (*Мих. Пс. Комментарий.* С. 291—292). Он был малообразованным, не обладал достаточными познаниями ни в грамматике, ни в юриспруденции. Однако к ученым он относился благосклонно и охотно принимал их при своем дворе (*Mich. Ps.* II. P. 113—122).

Время правления императоров из династии Дук (1059—1078), пришедших к власти после отречения Исаака I Комнина, Михаил Пселл характеризует как наиболее благоприятное, для расцвета научных занятий. По его словам, Константин X Дука (1059—1067), заявивший при вступлении на престол, что он предпочитает славу ученого славе василевса, и проводивший все свое свободное от государственных забот время за чтением книг, был беспредельно предан наукам. И хотя он не получил основательных познаний ни по риторике, ни по философии, тем не менее благодаря своим природным талантам ни в чем не уступал ни философам, ни риторам (МВ. IV. P. 270; *Mich. Ps.* II. P. 139, 150, 152). Страстным любителем наук и поэзии был его сын Михаил VII Паррапинак (1071—1078), который почти не занимался государственными делами, а проводил время в научных беседах, сочинял стихи и писал истории (*Zonar.* III. P. 708, 710, 714). Он отличался разносторонней образованностью, знанием грамматики, риторики, философии, математических наук, физики. Ему доставляли радость «книги по всем наукам, разные мудрые речи, краткие высказывания, сборники изречений, красота сочетания, разнообразное убранство речей, чередование стилей, новоречие, поэтический строй речи, а еще больше страсть к философии, постижение принципов, аллегорические толкования» (*Мих. Пс.* С. 190). При его дворе можно было встретить и философов, и риториков, и астрологов, и математиков, и физиков, и оптиков, и музыкантов. Все они находили благосклонный прием у императора (*Mich. Ps.* II. P. 174—175). Именно такое отношение к наукам и ученым Михаил Пселл ставит в заслугу Михаилу VII, в котором, по его выражению, «воплотилась сама мудрость, призывающая к себе во дворец своих питомцев»²³.

Не уступали Дукам в заботе о просвещении и Комнины (1081—1185), которые придавали большое значение воспитанию и обучению. Алексей I Комнин (1081—1118) старался привлечь к двору образованных людей и поддерживал тех, кто имел склонность к занятиям науками. По свидетельству Анны Комнины, все причастные к науке люди были допущены во дворец. Сам император отдавал предпочтение богословию, ставя его выше всех других отраслей знания. Вместе с супругой Ириной он проводил дни и ночи за чтением Священного писания и сочинений отцов церкви. Особое внимание Алексей I уделял изучению догматических вопросов, побуждая всех заниматься больше теологией, нежели светскими науками (*Ann. Comn.* II. P. 37—39; III. P. 181; *Zonar.* III. P. 754). Большой интерес к знанию и особенно к теологии проявлял его внук Мануил I (1143—1180). Он считал себя авторитетом в области догматики и нередко предлагал столичным ученым и духовным лицам для обсуждения различные богословские вопросы, высказывал собственное мнение по этим предметам (*Nic. Chon.* P. 209—219). Довольно образованным был и его двоюродный брат, Андроник I Комнин (1183—1185), запретивший под страхом смерти проводить диспуты по религиозным вопросам. Он с большим уважением относился к знанию и ученым, которых стремился собрать вокруг себя, в своем дворце, оказывая им, по словам Никиты Хониата, величайшие почести и награждая их всяческими подарками (*Ibid.* P. 229, 331).

²² Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 214.

²³ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 114—117; Ср.: Кекавм. Комментар. С. 555—556.

Новой характерной для данного периода чертой было появление в эпоху Комнинов литературных и философских кружков, в которых объединялись почитатели и любители науки и литературы. Известны три кружка. Одним из них руководила и направляла его деятельность дочь Алексея I Анна Комнина. Во главе второго стоял ритор и философ Михаил Италик. Третий группировался вокруг севастократориссы Ирины, вдовы Андроника, старшего брата Мануила I. Членами этих кружков были литераторы, риторы, философы, ученые. Так, в состав последнего кружка входили Иоанн Цец и Феодор Продром. Из второго вышли виднейшие писатели XII в. Евстафий Солунский и Михаил Хониат. К первому принадлежал Михаил Эфесский, один из комментаторов трудов Аристотеля. Участники кружков не только вели научные беседы, но и обсуждали трактаты, подготовленные ими для своих покровителей по различным отраслям знаний (*Анна Комн. Предисл. С. 17, 33*)²⁴.

Правящие василевсы, за редким исключением, с большим уважением относились к ученым людям, поддерживали их материально и награждали их высокими титулами. Придавая решающее значение образованию, они старались предстать в глазах своих подданных просвещенными людьми, заботящимися о возрождении занятий и распространении грамотности, покровителями наук и литературы. По словам Никиты Хониата, многие из ромейских монархов считали себя незаслуженно обиженными, если их не признавали мудрыми (*Nic. Chon. P. 209*).

Знание в Византии относили к разряду ценностей, приобретение которых было необходимо как императорам, так и подданным. Его рассматривали как средство, которое подкрепляло религиозные догмы, способствовало достижению истины, познанию божества и моральному самоусовершенствованию христиан. Знание вооружало их для борьбы с еретиками и со всеми инакомыслящими, ибо только оно помогало выявить сущность ересей, избегать и опровергать их, выявлять у языческих авторов ошибки, которые были подвергнуты анафеме церковью, и то полезное, что не было чуждо христианскому учению (МВ. V. P. 444—450).

Покровительственное отношение монархов к образованию объяснялось не столько их любовью к знанию, сколько чисто практическими соображениями. Византийская империя была централизованным государством. Во главе его стояло правительство, которое, по образному выражению, было «правительством писцов». Круг вопросов, которые находились в его ведении, был чрезвычайно широким. Оно осуществляло правосудие, распоряжалось финансами, занималось дипломатией и многими другими видами деятельности. Огромный бюрократический аппарат нуждался в хорошо обученных чиновниках, которые легко бы справлялись с возложенными на них довольно обширными и разнообразными обязанностями. Они должны были орфографически безукоризненно записывать то, что им диктовали их начальники, правильно, без ошибок, переписывать бумаги, составлять доклады, речи, послания, предписания, постановления, законы, хрисовулы, инструкции, тексты договоров и т. д. Документы полагалось излагать изысканно-литературным стилем, т. е. от чиновников требовали не только профессиональных знаний, но и общей культуры. Данные навыки и знания возможно было приобрести лишь после соответствующей подготовки. Наличие образования, таким образом, было одним из основных условий для получения должности в государственных и церковных учреждениях²⁵. Правда, оно не было специальным и не готовило чиновников к выполнению их функций. Это было общее образование, которое мог приобрести в школе каждый желающий²⁶. Однако от него во многом зависело не только получение места в канцелярии, но и сама карьера чиновников. Нередко образованные люди достигали высоких чинов и постов, большой власти и благосостояния²⁷. {375}

Императоры старались набирать кадры светской и духовной администрации из числа образованных лиц. Константин VII Багрянородный привлекал на службу в государственные канцелярии выпускников основанного им учебного заведения, назначая их секретарями, судьями, сборщиками податей, даже порой митрополитами (*Theoph. Cont. P. 446*).

²⁴ Hussey J. M. Op. cit. P. 104.

²⁵ Browning R. Byzantinische Schulen... S. 108; Lemerle P. Le premier humanisme... P. 50—51, 105—106; Mango C. Byzantium. The Empire of New Rome. L., 1980. P. 147—148.

²⁶ Speck P. Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. Präziesierungen zur Frages des höheren Schulwesens in Byzanz in 9. und 10. Jg. München, 1974. S. 23.

²⁷ Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917. С. 203.

Карьера большинства выдающихся политических деятелей Византии, многие из которых были незнатного происхождения, показывает, что именно образование открывало им доступ в высшие слои общества и помогало им удержаться там. Благодаря знаниям Лев Математик был назначен митрополитом Фессалоники, а затем главой Магнаврской школы; Иоанн Ксифилин возглавил правовую школу, а впоследствии был избран константинопольским патриархом; Михаил Пселл был приближенным советником ряда императоров, и ему было поручено руководство философской школой; Евстафий был преподавателем патриаршей школы в Константинополе до того, как стал митрополитом Фессалоники (Солуни).

Образование не только позволяло подняться вверх по служебной лестнице и занять более почетное положение в обществе, но и гарантировало более сносные условия существования. Даже дети простых и бедных жителей империи, получив образование, могли улучшить свой социальный статус: стать духовными лицами, военачальниками, чиновниками, нотариями, писцами, библиотекарями, учителями и т. п.²⁸ В одной из поэм, приписываемых Феодору Продрому, отец, наставляя сына, призывает его прилежно учиться, чтобы по окончании школы достичь более завидной участи, и приводит в качестве примера человека, который в годы учебы был очень беден, а начав работать учителем, приобрел довольно значительное состояние²⁹.

Желая для своих детей лучшего будущего, родители стремились послать их в школу для обучения, так как надеялись, что «наука и письмо» помогут им сделать блестящую служебную карьеру. Иногда успешное завершение обучения оправдывало ожидания. Один из аморийских мучеников Каллист, отправившийся в Константинополь для продолжения своего образования, после окончания занятий был зачислен на военную службу и назначен комитом схол. Мефодий, получивший у себя на родине в Сиракузах весьма солидное образование и прибывший в столицу для поступления на службу при дворе, спустя некоторое время был избран патриархом. Никифор, будущий патриарх, после окончания школы был принят в штат императорской канцелярии³⁰. Биограф милетского епископа Никифора, рассказывая о своем герое, пишет, что многие родители стремились послать своих детей в школы для получения образования, которое они рассматривали как источник богатства и служебной карьеры³¹. О пользе, которую старались извлечь из образования, говорит и Михаил Пселл, замечая, что только «ради нее {376} одной науками и интересуются, причем сразу же от них отворачиваются, если не достигают цели» (*Мих. Пс.* С. 14—15).

Чтобы получить образование, способное изменить их судьбу, люди были готовы принести большие жертвы. Один юноша, чтобы платить за свое обучение, вынужден был работать истопником в бане. Родители не щадили себя и не жалели никаких средств, нередко они распродавали свое имущество, лишь бы иметь возможность внести плату за обучение своих сыновей³².

При таком отношении к знанию неудивительно, что образование в Византии получали многие, если, конечно, они имели возможность заплатить за свое обучение³³.

Правящие василевсы стремились дать своим детям надлежащее воспитание. В качестве наставников они, как правило, приглашали наиболее выдающихся ученых своего времени. Естественно, что, занимаясь под руководством столь знаменитых деятелей науки, наследники престола приобретали разносторонние познания.

Не менее образованы были и дети знатных сановников, которые старались обучить своих отпрысков различным наукам. Вышедшие из среды светской знати будущие патриархи Тарасий и Никифор были чрезвычайно эрудированными людьми³⁴. Обширными познаниями по философии и риторике обладал происходивший из богатой и знатной константинопольской

²⁸ Там же. С. 203—205, 216.

²⁹ Hesselting D. C., Pernot H. Poèmes prodromiques en grec vulgaire. Amsterdam, 1910. P. 72—74; Hussey J. M. Op. cit. P. 114.

³⁰ Рудаков А. П. Указ. соч. С. 66, 202, 205.

³¹ Delehaye E. Vita Sancti Nicephori episcopi Milesii saeculo X//AB. 1895. Vol. 14. P. 129—166; Lemerle P. Élèves et professeurs à Constantinople au X^e siècle. P., 1969. P. 4—5.

³² Browning R. Byzantinische Schulen... S. 117—118.

³³ Рудаков А. П. Указ. соч. с. 38; Moffatt A. Schooling in the iconoclast centuries //Iconoclasm/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977. P. 88, 92.

³⁴ Dvornik F. Les légendes... P. 28—29; Лунин Е. Э. Очерки... С. 77, 182, 271, 296.

семьи великий логофет Симеон Метафраст. «Отменной учености» был и «первый министр» Константина IX Мономаха Константин Лихуд, один из самых просвещенных людей своего времени, в совершенстве владевший риторикой, знаток права и философии (*Mich. Ps.* P. 58—60, 124). Полководец XI в. Кекавмен хотя и говорит о своем невежестве, об отсутствии у него «эллинского воспитания», тем не менее был весьма начитанным человеком, хорошо знавшим военно-стратегические трактаты древних авторов, осведомленным в вопросах истории и религии (*Кекавм.* Коммент. С. 272—273, 480, 565—566).

Дети менее состоятельных граждан империи также довольно часто проходили полный курс обучения и добивались больших успехов на литературном и научном поприще. Это — Лев Математик, Иоанн Мавропод, Михаил Пселл, Иоанн Ксифилин, Иоанн Итал, Иоанн Цец, Феодор Продром и многие другие, перечисление которых заняло бы немало места. Они далеко превосходили современников по уровню образованности и эрудиции. Об этом свидетельствуют их труды по разным отраслям знания.

Довольно образованными были и чиновники многочисленных правительственных канцелярий, о чем нередко говорится в источниках. Весьма ученым называет Продолжатель Феофана логофета дрома Иоанна Агиополита (*Theoph. Cont.* P. 353). Похвально отзывается Михаил Атталиат об образованности и опытности в государственных делах Василия Малеси, первого министра при Романе IV Диогене, а чиновника по делам прошений Льва он характеризует как человека замечательного ума и познаний (*Att.* P. 167). Высокую оценку знаниям судий Анатолика и Другувита дает Михаил Пселл, называя их «умнейшими из людей» и обращаясь к ним как «философ к философу» (*MB.* V. P. 273—274). Обширными познаниями выделялись среди своих коллег судьи Армениака, Македонии (*MB.* V. P. 269, 439), являвшиеся учениками Михаила Пселла. Прекрасно образованным был и соученик Михаила Пселла Эгейский судья Николай Склир³⁵. Судья Селевкии, асикрит Роман был автором чрезвычайно популярного в Византии учебника по логике и предметам квадривиума³⁶.

В школы, которые существовали как в городах, так и в сельских поселениях, могли ходить не только сыновья привилегированных жителей империи. Они были доступны и открыты для всех слоев византийского общества. Их посещали даже выходцы из семей ремесленников, земледельцев и воинов. Солидное образование получил Антоний I Кассимат, иконоборческий патриарх, которого традиция считает сыном сапожника (*Scip. incert.* P. 350). Оно дало ему возможность на равных вести полемику с иконопочитателями и отстаивать учение иконоборцев по вопросу о культе икон.

Для детей воинов, павших на полях сражений, Алексеем I Комниным была организована грамматическая школа (*Ann. Comn.* III. P. 214—215). Порой даже рабов учили грамоте. Так, был отдан в обучение хозяином раб-«скиф» Андрей Юродивый, который быстро овладел греческим языком, а также чтением и письмом. После окончания занятий патрон сделал его своим нотарием³⁷. Среди домашних рабов, находившихся в собственности богатых византийцев, имелись рабы-писцы, врачи, воспитатели детей³⁸.

Читать и писать в Византии умели не только мужчины, но и женщины. Среди византийских аристократок встречалось немало просвещенных женщин. Дочь Константина VII Багрянородного Агата выполняла обязанности личного секретаря своего отца. Супруга Константина X Дуки Евдокия была образованнейшей женщиной, покровительницей наук. Жена Алексея I Комнина Ирина Дукиня увлекалась чтением трудов отцов церкви и особенно Максима Исповедника (*Ann. Comn.* II. P. 37—38; III. P. 60). Их дочь Анна Комнина была одной из самых выдающихся женщин Византии. Вообще в XI—XII вв. в Константинополе жило много знатных женщин, которые оказывали покровительство ученым, писателям, медикам, вели с ними беседы по различным научным вопросам, увлекались чтением и даже сами пытались писать³⁹. Немало грамотных женщин было и в предшествующие столетия. Феоктиста, мать Феодора Сту-

³⁵ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 109.

³⁶ См. главу З. Г. Самодуровой в настоящем издании.

³⁷ Рудаков А. П. Указ. соч. С. 214.

³⁸ Лутаврин Г. Г. Указ. соч. С. 22—23.

³⁹ Brehier L. La femme dans la famille à Byzance // *Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves*. 1949. Т. IX. P. 105—108; Guillard R. Op. cit. P. 72.

дита, не получившая в детстве образования, выучилась читать и писать только после того, как вышла замуж, но при этом достигла таких успехов, что смогла руководить занятиями своих детей: трех сыновей и дочери. Феодора Солунская (IX в.) была обучена основам знаний своим отцом-священником. Грамотной была и ее современница Афанасия Эгинская, которая в праздничные и воскрес-^{378}ные дни собирала вокруг себя соседей и читала им Священное писание. Мать Михаила Пселла Феодота была настолько знающей, что, заметив незаурядные способности своего сына, настояла на дальнейшем обучении его наукам (*Анна Комн.* Комментарий. С. 510)⁴⁰.

Грамотными в Византии были не только светские лица, но и духовенство⁴¹. При посвящении в духовные звания от кандидатов требовали определенного минимума знаний: они должны были уметь читать, быть знакомыми со Священным писанием, особенно с Псалтирью, знать на память символ веры и решения соборов, касающиеся в основном дисциплинарных вопросов⁴². Более строгие требования предъявлялись к митрополитам и епископам. Согласно новелле Алексея I Комнина, обязательным для них считалось не только примерное поведение, но и основательное образование.

Естественно поэтому, что среди высших церковных иерархов было немало высокообразованных людей. Как правило, они по своему происхождению принадлежали к светской знати и в детстве имели возможность пройти полный курс обучения. Так, упомянутые выше константинопольские патриархи Тарасий, Никифор, Мефодий, Фотий, Константин Лихуд, Иоанн Ксифилин далеко превосходили своих современников по уровню и объему знаний⁴³. Довольно просвещенными были и митрополиты, и епископы. Стефан Сурожский усвоил весь курс наук того времени и превзошел как своих сверстников, так и наставников⁴⁴. Весьма сведущими в науках и искусствах были Амфилохий Кизический, Захарий Халкидонский, Григорий Асвеста Сиракузский, друзья и ученики Фотия, объединявшего вокруг себя самых образованных людей, относившихся с большим пиететом к знаниям и просвещению⁴⁵. Весьма основательными познаниями отличались Феодор Эдесский и Никифор Милетский. Наиболее выдающимися среди церковных деятелей были: видный ученый Арефа Кесарийский, составивший толкования как к библейским текстам, так и к античным памятникам; один из образованнейших людей своего времени Евстафий Солунский; его ученик, афинский митрополит Михаил Хониат, и многие другие⁴⁶.

Среди византийского монашества также встречались весьма образованные люди. Главная цель обучения монахов — подготовка из них каллиграфов, певчих, составителей церковных песнопений и чтецов. Чтобы привить им навыки чтения и письма, их обучали грамматике (PG. T. 99. Col. 168 A—B, 273B—C). Известно, что в праздничные дни в студийском монастыре выдавали книги монахам, они обязаны были их читать до вечера (*Ibid.* Col. 1713 A—B). Некоторые из них отличались незаурядной образованностью. Таким был Феодор Студит, который прошел полный курс светского обучения, усвоив грамматику, поэтику, ^{379}риторику и философию (*Ibid.* Col. 117. C—D, 237 A—B). Николай Студит, знаменитый каллиграф, великолепными манускриптами которого восхищаются и в наши дни, также изучал светские науки, и прежде всего грамматику (*Ibid.* T. 105. Col. 872). Многие монахи были авторами трудов по богословию, поучений, жизнеописаний знаменитых духовных лиц. Один из самых прославленных из них — Симеон Новый Богослов, родоначальник византийского мистицизма, перу которого принадлежит ряд сочинений по данному вопросу. Игнатий, диакон церкви св. Софии, составил жития патриархов Тарасия и Никифора. Стефан диакон той же церкви, написал житие Стефана Нового, монах Никита — житие Филарета Милостивого.

Захватившие в 1204 г. Константинополь участники Четвертого крестового похода с презрением смотрели на византийцев, считая их грамотеями, а не воинами, насмехаясь и поте-

⁴⁰ *Лутаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 143—144; *Moffatt A.* Op. cit. P. 89—90.

⁴¹ *Browning R.* Byzantinische Schulen... S. 109.

⁴² *Beck H. G.* Bildung und Theologie im frühmitterlichen Byzanz // Polychronion. Festschrift Fr. Dölger zum 75. Geburtstag/Hrsg. P. Wirth. Heidelberg, 1966. S. 71—72.

⁴³ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 205.

⁴⁴ *Васильевский В. Г.* Житие Стефана Сурожского // Труды. Пг., 1915. Т. 3. С. 72—73.

⁴⁵ *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1, S. 31—32, 201.

⁴⁶ *Hussey J. M.* Op. cit. P. 34, 107, 108; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 207—241.

шаясь над их привычкой носить с собой тростниковые перья, чернильницы и книги (*Nic. Chon.* P. 594).

Однако, несмотря на возможность посещения школ выходцами из всех социальных слоев, грамотность тем не менее не была всеобщей. В стране оставалось много (по подсчету П. Лемерля, почти 9/10 населения империи) неграмотных⁴⁷. Подавляющая часть жителей сельской округи не обладала даже минимумом знаний. Сыновья крестьян фактически не получали никакого образования. Известный монах VIII—IX вв. Иоанникий Великий, родившийся в деревне в Вифинии, в детстве пас свиней, а не занимался в школе. Грамоте он выучился только в монастыре, куда удалился в возрасте 47 лет после 24 лет военной службы. Его современник Евфимий Новый, происходивший из Галатии, из деревни в окрестностях Анкиры, до своего пострижения в монахи также не умел ни читать, ни писать. Он был сыном стратиота и начал служить в армии Феофила, не успев выучиться грамоте. Лишь в монастыре он приобрел начатки знаний⁴⁸. Феодор Вальсамон, правовед XII в., с горечью замечает, что за стенами столицы было мало образованных людей. Монастырские уставы нередко упоминают неграмотных монахов⁴⁹. Об их невежестве говорит и Кекавмен (*Кекавм.* С. 216—217). Даже среди священников, влиятельных чиновников, сановников и императоров встречались необразованные люди. Как правило, эти лица в детстве не ходили в школы. Один из высших государственных чиновников, логофет Иоанн, назначенный Константином IX Мономахом на должность «первого министра» вместо Константина Лихуда, удаленного со своего поста по проискам врагов, был малоспособным и совершенно необразованным человеком (*Cedr.* II. P. 610; *Zonar.* IV. P. 180; *Glyc.* P. 599). Христофор Митиленский в своих сатирических произведениях высмеивает неграмотных священников: один из них в прошлом был моряком, другой трактирщиком; во время службы они употребляли жаргонные словечки, которыми пользовались раньше⁵⁰. Учитывая, что в стране не все были образованными, императоры при отсутствии грамотных разрешали брать в качестве свидетелей (особенно при составлении завещаний) даже людей, не умеющих ни читать, ни писать. Они удостоверяли подлинность документов тем, что ставили кресты вместо подписи.

При всей своей глубокой религиозности византийское общество продолжало хранить в области просвещения верность античным традициям. В учебных учреждениях империи изучали классические науки, а преподавание вели по учебникам, созданным в эллинистическую эпоху. Это образование имело светский характер и придерживалось античных принципов и методов обучения⁵¹.

Светским наукам обучал юношей и Лев Математик, за что был подвергнут злобным нападкам со стороны одного из своих учеников, Константина Сицилийского, в памфлете, озаглавленном «Героические и элегические стихи на Льва Философа Константина, ученика его». Воспитанник обвинял своего наставника в эллинизме, в страстной преданности эллинским наукам, в отступничестве от почитания св. Троицы, в поклонении Зевсу и неисчислимому сонму богов (*PG.* T. 107. Col. LXI—LXIV). На эллинских науках был воспитан и Роман III Аргир (*Mich. Ps.* I. P. 32—33).

Идеальным типом образованного человека в Византии оставался человек, получивший классическое воспитание, хорошо знавший античную литературу. В своих сочинениях византийские писатели постоянно приводят отрывки из произведений классических авторов и дают ссылки на них. При этом они не просто восхищались античными творениями, но и старались подражать и следовать им⁵². Образами античной мифологии и классическими реминисценциями насыщены стихотворения Христофора Митиленского. Полны ссылок на Гомера, Софокла, Эсхила, Еврипида, Ксенофонта поэмы Иоанна Геометра, выражавшего подлинное преклонение перед античной литературой.

⁴⁷ *Lemerle P. Élèves...* P. 3.

⁴⁸ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 197; *Moffatt A.* Op. cit. P. 85—86.

⁴⁹ *Каждан А. П.* Книга... С. 44.

⁵⁰ *Каждан А. П.* Литература. С. 378.

⁵¹ *Hussey J. M.* Op. cit. P. 13, 22—23; *Browning R.* Byzantinische Schulen... S. 105—106; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 147, 302.

⁵² *Hussey J. M.* Op. cit. P. 28; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 142—143.

Весьма ценил древнегреческую литературу и Иоанн Мавропод, ехваитский митрополит, начинающий одну из своих, религиозных поэм явной реминисценцией из «Ипполиты» Еврипида⁵³. Идеалом византийцев был не только человек, хорошо знавший античную литературу, но и человек, обладавший энциклопедическими, универсальными знаниями. Многие византийские писатели обнаруживают хорошее знакомство с грамматикой, риторикой, философией, правом, медициной, богословием и даже с оккультными науками.

Основная цель, которую преследовали византийцы, изучая труды древнегреческих мыслителей, состояла в усвоении и запоминании знаний, накопленных в предшествующие эпохи, главным образом, в античности⁵⁴.

Византийцы, гордившиеся своими знаниями античной литературы и проявлявшие большую любовь к классическому образованию, с еще большей почтительностью и благоговением относились к занятиям теологией. По их представлениям, образованным человеком можно было считать лишь того, кто обладал знанием как светских, так и священных {381} наук.

Файл byz382g.jpg

Ставротика (деталь). Золото.

Перегородчатая эмаль. X в.

Сокровищница собора Лимбурга-на-Лане. {382}

При этом первые рассматривали как подготовительный этап на пути познания истин, заключенных в Священном писании и творениях отцов церкви, изучению которых они уделяли огромное внимание. Светская наука даже для тех, кто старательно штудировал труды греко-римских мыслителей, была лишь служанкой божественной мудрости. Они разделяли античное наследие на «приемлемое» и «неприемлемое» для христианина. По образному выражению Михаила Пселла, первое они «принимали как пищу», а последнее «выплевывали как яд» (МВ. IV. P. 456; *Mich. Ps. Scr. Min. I. P. 441*)⁵⁵.

Авторы агиографических памятников, рассказывая о жизни своих героев, получивших как светское, так и религиозное образование, непременно подчеркивали, что из первого они извлекали только полезное⁵⁶.

Тонкий ценитель классической литературы, патриарх Фотий, несмотря на свое увлечение античными произведениями и «внешней», т. е. светской наукой, считал языческие знания обманом, а священные науки характеризовал как истинные и восхвалял занятия ими (PG. T. 101, Col. 641 C). Прекрасный знаток античной литературы Иоанн Мавропод критикует ее создателей за высокомерие, надменность, поэтическую велеречивость, за рассказы, недостойные целомудренных ушей, за чрезмерную изощренность, ложь, за стремление «обмануть и очаровать слух». Он старается предостеречь их читателей от восхищения мифами, переданными в памятниках древнегреческой словесности⁵⁷. Восторженный поклонник античных философов, получивший блестящее светское образование, Михаил Пселл, по его словам, занимался только теми эллинскими науками, которые не были отвергнуты церковными авторитетами (*Mich. Ps. II. P. 77*), и заимствовал из них только то, что не противоречило религиозным догмам (МВ. V. P. 445). Наибольшее же внимание он уделял чтению и изучению Библии и патристической литературы (*Mich. Ps. I. P. 138*). Своему воспитаннику, будущему императору Михаилу VII, Михаил Пселл преподавал светские и «божественные» дисциплины, делая упор прежде всего на усвоение его питомцем последних, поскольку хотел сформировать из него правителя-христианина. Он составил для своего царственного ученика наряду с комментариями к трактатам Платона, Аристотеля и других древних мыслителей толкования к псалмам, где осуждал «превозносящих эллинскую мудрость и пренебрегающих христианской» (*Mich. Ps. Scr. min. I. P. 372—373, 411—412*)⁵⁸.

Курс обучения, позволяющий, по мнению византийцев, получить всестороннее и законченное образование, следовал плану, выработанному в поздней античности и принятому в

⁵³ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 151; *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 173.

⁵⁴ *Hussey J. M.* Op. cit. P. 35; *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 150.

⁵⁵ *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 16.

⁵⁶ *Лопарев Х.* Греческие жития святых VIII—IX вв. Пг., 1914. Ч. I: Современные жития. С. 240.

⁵⁷ *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 149.

⁵⁸ Там же. С. 16, 114.

школах ранней Византии. Он слагался из дисциплин тривиума и квадриума. В состав первого входили грамматика, риторика, диалектика, в состав последнего были включены арифметика, геометрия, музыка или гармония, астрономия, а также физика. Преподавание грамматики, риторики, диалектики преследовало цель воспитания культурного человека, хорошо знающего и понимающего- {383} го классическую литературу- Обучение математическим наукам должно было способствовать развитию познавательных способностей и логического мышления, т. е. содействовать усовершенствованию разума. Отношение византийцев к указанным циклам было неадекватным. Преподавание литературных дисциплин было довольно широко распространено. Они составляли основу занятий в школах Византии. Изучение предметов квадриума было уделом единиц, и лишь немногие из византийцев овладевали ими. После усвоения арифметики, геометрии, музыки, астрономии и физики приступали к ознакомлению с так называемым чистым знанием или метафизикой с целью исследования природы сущего и познания высшего бытия, высшего единства, высшего блага и т. п. Завершали курс обучения занятия первой философией, под которой в Византии подразумевали богословие. Они были необходимы для воспитания истинного христианина, подготавливая его к восприятию догматов верования и усвоению божественной истины ⁵⁹.

Указанного плана обучения твердо придерживались в Византии, и в течение рассматриваемых столетий в него не было внесено никаких кардинальных изменений.

В VIII в. предметы тривиума и квадриума изучал Феодор Студит (PG. T. 99. Col. 117 C—D, 237 A—B). О глубоком усвоении духовных и светских наук — грамматики, поэтики, астрономии, геометрии и дисциплин полного круга образования — Стефаном Сурожским говорится в его житии ⁶⁰. Обширные познания по грамматике, поэтике, риторике, философии, математическим и естественным наукам получил, по свидетельствам современников, и патриарх Фотий (*Theoph. Cont.* P. 276—277).

Аналогичные дисциплины проходил и Михаил Пселл, о курсе обучения которого содержатся довольно обстоятельные сведения в его произведениях. В посланиях, направленных им патриарху Михаилу Кируларию (MB. V. P. 506—507) и друнгарии виглы Махитарии (Ibid. P. 352), кратко перечислены предметы, которые он штудировал. Это риторика, геометрия, музыка, ритмика, арифметика, астрономия, право, философия, богословие. Более подробная характеристика курса его образования дана в Хронографии (*Mich. Ps.* I. P. 134—138). Эти же дисциплины Михаил Пселл преподавал и своим ученикам, ибо главной целью своей педагогической деятельности он считал обучение их «искусству» и «знанию», т. е. риторике и философии. Описывая предметы, которым Михаил Пселл обучал Михаила VII, Иоанн Зонара называет те же самые науки. Ко всему этому, по словам хрониста, царственный воспитанник не имел никаких способностей (*Zonar.* III. P. 708, 714).

В XII в. Иоанн Цец, описывая в «Хилиадах» современный ему курс обучения, отмечает, что в него входят грамматика, риторика, философия, арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Эти же предметы изучала и Анна Комнина, образованностью которой восхищались современники (*Zonar.* XVIII, 24), называвшие ее «тринадцатой музой», «обиталищем харит» ⁶¹, говорившие о ее увлечении философией и науками (*Nic. Chon.* {384} P. 15) и сравнивавшие ее со знаменитыми женщинами-философами античности: Феано, Гиппархией, Ипатией, поэтессой Сапфо (*Анна Комн.* Предисл. С. 18—19) ⁶². Сама Анна Комнина в «Алексиаде» неоднократно упоминает о своих учебных занятиях. Она говорит, что не только не была «чужда грамоте, но досконально изучила эллинскую речь, не пренебрегла риторикой, внимательно прочла труды Аристотеля и диалоги Платона и укрепила свой ум знанием математической четверицы» (*Анна Комн.* С. 53). Наряду с этими науками Анна штудировала поэтов и историков с тем, чтобы на их примерах исправить шероховатости своего стиля, над которым она упорно работала (*Ann. Comn.* III. P. 218).

⁵⁹ Lemerle P. Le premier humanisme... P. 101—102, 302—303; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 2. S. 231.

⁶⁰ Васильевский В. Г. Указ. соч. С. 72—73.

⁶¹ Пападимитриу С. Феодор Продром: Историко-литературное исследование. Одесса, 1905. С. 119—120.

⁶² Курц Э. Евстафия Фессалонийского и Константина Манасси монодии на кончину Никифора Комнина // ВВ. 1910. Т. 17. С. 306—307.

Как и в ранней Византии, в рассматриваемый период курс обучения состоял из трех этапов: подготовительного, обозначаемого в источниках как *προπαιδεία* (PG. Т. 100. Col. 1081; Т. 105. Col. 869); среднего, называемого нередко как *παιδεία* — «воспитание» или *εὐκύκλιος*; *παιδεία* — *παιδεία* «всеохватывающее, всеобщее воспитание»⁶³; и высшего⁶⁴. В VII—XII вв., как и в античности, и в ранней Византии, дети посещали школы грамматиста, где их учили чтению и письму, затем грамматике, и заканчивали образование в школах ритора и философа⁶⁵.

Под руководством грамматиста изучал вступительные науки будущий патриарх Константинополя Никифор (VIII—IX вв.) (*Niceph. Brev.* P. 144). В Иерусалиме элементарную школу посещал Михаил Синкелл (761—846), сын знатных родителей. Занимаясь в ней, он добился значительных успехов⁶⁶. В учебном заведении, расположенном в местности около Амастриды, получил начальное образование Георгий Амастридский (VIII—IX вв.). Принадлежавший к хорошо обеспеченной семье житель Галатии Еварист Студит (IX в.) также прошел курс предварительного обучения⁶⁷. Довольно обширные познания по основам наук приобрел у себя дома, на Крите, знаменитый каллиграф Николай Студит (PG. Т. 105. Col. 869). Будущий просветитель славян Константин, принявший после пострижения в монахи имя Кирилл, окончил элементарную школу в своем родном городе, в Фессалонике⁶⁸, а Афанасий Афонский — у себя на родине, в Трапезунде⁶⁹. Христодул Патмосский (XI в.) учился грамоте в сельской школе близ Nikei⁷⁰.

Начальное образование получали не только мальчики, но и девочки. Так, Афанасия Эгинская (IX в.) и Феодора Солунская (IX в.) приобрели навыки чтения и письма у себя дома⁷¹. Дочь Михаила Пселла Стилиана {385} на седьмом году жизни стала заниматься вступительными дисциплинами с тем, чтобы, усвоив их, приступить к чтению священных текстов (MB. V. P. 65). Анна Комнина сообщает, что свой курс образования она начинала с изучения предварительных наук (*Ann. Comn.* III. P. 218). Элементарные школы были чаще всего частными учреждениями, иногда их организовывали при церквях и монастырях. Так, юный Михаил Пселл посещал начальную школу, которая функционировала при Нарсийском монастыре. Известно, что она продолжала существовать и в XII в., когда о ней упоминает монах Иерофей⁷².

В источниках начальные учебные заведения называют либо школой грамоты, либо просто школой, а преподавателей — либо дидаскалами, либо педотривами, либо педагогами, либо грамматистами⁷³. Социально-экономическое положение их было очень скромным, а порой даже бедственным. По своему статусу они принадлежали к низшему общественному слою. Уровень образованности их довольно часто был весьма незначителен.

К занятиям в элементарной школе дети приступали, когда им исполнялось 6—9 лет. Так, Феодор Студит (PG. Т. 99. Col. 237) и Афанасия Эгинская начали изучать первоначальную грамоту в 7 лет, Андрей Критский, Григорий Декаполит — в 8 лет, Давид Митиленский — в 9 лет. Были и исключения: Михаил Пселл стал заниматься с педагогами в пятилетнем возрасте, а Стефан Новый — в шестилетнем. Очень рано пошел в школу и Христодул Патмосский⁷⁴.

В начальной школе дети проходили так называемые вступительные науки: их учили читать, писать и считать, а также основам грамматики. Так, под руководством наставников и

⁶³ Помяловский И. В. Житие иже во святых отца нашего Феодора, архиепископа Одесского. СПб., 1892. С. 5—6; *Moffatt A.* Op. cit. P. 86, 91.

⁶⁴ *Dvornik F.* La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les slaves Macédoniens au IX^e siècle. P., 1926. P. 47; *Mango C.* Op. cit. P. 125.

⁶⁵ *Alexander P. J.* The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire. Oxford, 1958. P. 58; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 105—106.

⁶⁶ *Beck H. G.* Op. cit. S. 80.

⁶⁷ *Van de Vorst C.* La vie de S. Évariste higoumene à Constantinople//AB. 1923. Т. 41. P. 299; *Moffatt A.* Op. cit. P. 87.

⁶⁸ *Dronnik F.* Les légendes... P. 25; *Beck H.-G.* Op. cit. S. 69.

⁶⁹ *Lemerle P.* Élèves... P. 11; *Idem.* Le premier humanisme... P. 257.

⁷⁰ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 99, 258—259.

⁷¹ *Лопарев Х.* Указ. соч. С. 451, 458.

⁷² *Joannou. P.* Psellos et le monastère Ia; * *Ναρσοῦ*//BZ. 1951. Bd. 44. P. 283—290; *Lemerle P.* «Le gouvernement des philosophes»... P. 213.

⁷³ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 99; *Moffatt A.* Op. cit. P. 86.

⁷⁴ *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 99—100.

Михаил Синкелл, и Феодор Студит, и Николай Студит, как и многие другие юные жители империи, овладевали навыками чтения и письма⁷⁵.

Методы преподавания оставались прежними. В обучении соблюдался принцип постепенного усвоения материала, оно шло от более простого к более сложному⁷⁶. Кроме чтения и письма и счета, школьников учили петь, а также сообщали самые общие сведения по светской и библейской истории⁷⁷.

Содержание элементарного образования в рассматриваемый период претерпело существенные изменения. Если в ранней Византии в основу преподавания были положены произведения Гомера и других античных писателей и лишь со временем учителя стали обращаться к христианским текстам, то теперь на первый план выдвигаются книги Священного писания, и прежде всего Псалтирь, из которой заучивали наизусть псалмы, а также подборки из агиографических памятников и трудов отцов церкви⁷⁸. Во многих житиях сообщается, что их герои в школьном {386} возрасте овладевали «божественной и священной грамотой». Антоний Кавлей, Никита Мидикийский, Христодул Патмосский начинали свой учебный курс с чтения религиозных сочинений. Биографы Феодора Студита (PG. Т. 99. Col. 237) и Стефана Нового (Ibid. Т. 100. Col. 1081) также свидетельствуют, что в детстве оба подвижника учились читать и писать по Псалтири и житиям мучеников и святых. Библия и Псалтирь были основными учебными книгами Афанасии Эгинской и Феодоры Солунской.

Таким образом, в рассматриваемое время в византийских школах самой популярной и широко распространенной учебной книгой становится Псалтирь. Знание ее считалось обязательным и необходимым для всех. Хотя поэмы Гомера и басни Эзопа продолжали читать и изучать, в качестве учебного материала они были отодвинуты на второй план.

Начальное обучение продолжалось около трех лет. Большинство жителей империи на этом и оканчивало свое образование. Для тех, кто хотел учиться дальше, элементарная школа, снабжавшая своих воспитанников знаниями основ наук, была лишь ступенью для последующего обучения.

В отличие от элементарных школ, которые были повсеместно распространены в Византии, учебные заведения повышенного типа, т. е. школы грамматика, ритора и философа были сосредоточены в основном в Константинополе, который становится в рассматриваемый период центром самого разнообразного обучения, науки и культуры. Именно здесь готовились кадры гражданской и церковной администрации, государственного центрального и провинциального аппарата. Именно сюда, покидая родные места, устремлялись молодые люди, жаждущие получить образование и сделать карьеру⁷⁹. Уроженец небольшого поселения в Галатии будущий епископ Милета Никифор (X в.) прибыл в столицу для усовершенствования своего образования, ибо в его родном городе не было ни школы, ни преподавателя, который смог бы дать ему знания по грамматике и риторике⁸⁰.

Константин (Кирилл), страстно стремившийся продолжить свое образование, не нашел у себя дома, в Фессалонике, учителя, способного приобщить его к возвышенной науке и научить его понимать творения отцов церкви, и прежде всего Григория Богослова. И только в Константинополе, куда он прибыл по приглашению логофета Феоктиста, он смог осуществить свою мечту приобрести солидные познания по разным наукам⁸¹. Основатель афонского монастыря Афанасий, родившийся около 925 г. в Трапезунде, после окончания начальной школы, несмотря на горячее желание, не смог продолжить свое образование у себя на родине. Только поступив в школу в Константинополе, он получил возможность завершить его⁸². В Константинополе же учились Иоанн Мавропод, Константин Лихуд, Михаил Пселл и многие другие выдающиеся деятели Византии. {387}

⁷⁵ *Guilland R.* Op. cit. P. 64; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 99—100, 123.

⁷⁶ *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 2. S. 10.

⁷⁷ *Guilland R.* Op. cit. P. 66; *Browning R.* Byzantinische Schulen... S. 109; *Mango C.* Op. cit. P. 125.

⁷⁸ *Beck H. G.* Op. cit. S. 74; *Mango C.* Op. cit. P. 148.

⁷⁹ *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 196; *Hunger H.* Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1. S. 18.

⁸⁰ *Delehaye H.* Op. cit. P. 129—166.

⁸¹ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 66; *Beck H. G.* Op. cit. S. 69.

⁸² *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 257; *Speck P.* Op. cit. S. 36.

Хотя в нашем распоряжении мало данных об учебных заведениях, функционировавших в других крупных городах Византии, тем не менее в ряде источников мы находим сведения о провинциальных школах грамматиков. В агиографических памятниках упоминаются лица, которые приобрели свои познания по грамматике у себя на родине, а затем отправлялись в Константинополь для завершения своего образования. Известно, что будущий патриарх Мефодий грамматику, орфографию и скоропись изучал в Сиракузах в Сицилии; Иоанн Ксифилин — в Трапезунде; Николай, игумен монастыря Красивого Источника на Олимпе — на Родосе⁸³.

На основании сказанного можно прийти к выводу о функционировании в отдельных провинциальных центрах только школ грамматиков. Школы же риторов, а тем более философов имелись только в столице. За ее пределами редко удавалось найти опытного преподавателя риторики и философии. При этом следует отметить, что в источниках речь идет о столичных учебных учреждениях более позднего времени, IX—XII вв. О школах второй половины VII—VIII в. практически не имеется никаких данных. Агиографические памятники этого периода в очень общих и стереотипных выражениях рассказывают нам о воспитании и образовании своих героев и ничего не говорят, как и где оно было получено. Однако наличие высокообразованных для своего времени людей позволяет предположить, что в столице в указанный период действовали школы, организованные частными лицами. Занятия в них проходили постоянно и непрерывно, именно благодаря их деятельности интеллектуальный потенциал страны был довольно высоким. Даже в правление Константина V, в самый разгар иконоборческого движения, в Константинополе существовали частные учебные заведения и частные преподаватели, у которых проходили курс наук Тарасий и Никифор, Платон и Феодор Студиты, Антоний Кассимат и Иоанн Грамматик. Их обучение было проникнуто классической традицией, оставалось верным античным программам и имело по существу литературно-риторический, светский характер. Главными предметами их школьного цикла были грамматика, поэтика, риторика и философия⁸⁴.

Как правило, обучение в частных школах было платным и доступным только определенному социальному слою, а именно сыновьям состоятельных людей, т. е. чиновников столичной и провинциальной бюрократии и родственников церковных деятелей⁸⁵.

Начиная с IX в. и в последующие столетия в Константинополе появляется все большее число школ различного направления и часто весьма высокого уровня преподавания. Их роль в культурной жизни империи становится все значительнее. Школьное воспитание и обучение начинает все больше соответствовать тем высоким требованиям, которые ставит византийское общество перед образованными людьми. Оно все шире распространяется, число учеников увеличивается. Их педагоги стремятся {388} дать своим воспитанникам знание по самым разным научным дисциплинам⁸⁶.

Крупнейший ученый своего времени Лев Математик после возвращения в Константинополь в 20—30-х годах IX в. с острова Андрос, где он изучал риторику и точные науки, занялся частным преподаванием школьных дисциплин, уделяя преимущественное внимание математике, и прежде всего геометрии Евклида. Впоследствии он по инициативе логофета Феохиста был назначен императором Феофилом профессором с выплатой жалованья в школу при церкви 40 мучеников севастийских (*Cedr.* II. P. 168), расположенной на Месе между Августейоном и форумом Константина⁸⁷. По мнению П. Шпека, это школьное учреждение было связано только с личностью Льва Математика. После возведения его в сан архиепископа Фессалоники оно прекратило свое существование⁸⁸. Однако сведения об этой школе неожиданно вновь появляются в источниках XI в. Иоанн Мавропод в одной из своих эпиграмм говорит об участии ее питомцев в состязаниях по схеодографии с воспитанниками других школ. Об этих соревнованиях идет речь также в 5 небольших анонимных стихотворениях, помещенных в вати-

⁸³ *Browning R.* Byzantinische Schulen... S. 110; *Lemerle P.* «Le gouvernement des philosophes»... P. 241—242.

⁸⁴ *Литвиц Е. Э.* Очерки... С. 364; *Browning R.* Byzantinische Schulen S. 111; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 123, 147, 303.

⁸⁵ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 146; *Lemerle P.* Élèves... P. 4; *Idem.* «Le gouvernement des philosophes»... P. 196.

⁸⁶ *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 260; *Speck P.* Op. cit. S. 34, 54—55.

⁸⁷ *Dvornik F.* Les légendes... P. 81; *Литвиц Е. Э.* Византийский ученый Лев Математик. С. 108, 113—114, 131, 135; *Она же.* Очерки... С. 354; *Lemerle P.* Le premier humanisme... P. 151.

⁸⁸ *Speck P.* Op. cit. S. 4.

канском кодексе XIV в. (Cod. Vat. gr. 1587)⁸⁹. Нельзя, конечно, быть полностью уверенным, что это было то же учреждение, в котором преподавал Лев Математик, хотя вполне возможно, что школа при церкви 40 севастиийских мучеников продолжала функционировать в течение трех столетий, а может быть, и дальше. Теперь основным предметом преподавания в ней была грамматика, которая изучалась с помощью сxedографии, представляющей собой чисто практический метод обучения данной дисциплине⁹⁰.

После восстановления иконопочитания в 843 г. и низложения Льва Математика с кафедры фессалоникийского митрополита он вновь вернулся к частному преподаванию. Правда, Продолжатель Феофана, сообщивший об этом факте, не указал, где именно Лев Математик проводил занятия (*Theoph. Cont.* P. 192).

От эпохи Льва Математика имеются сведения еще об одном учебном заведении, расположенном при церкви св. Апостолов. Именно в нем, по мнению Ф. Дворника, преподавал просветитель славян Константин (Кирилл) после своего возвращения из миссии к хазарам. Эта школа также функционировала в течение длительного времени. При патриархе Иоанне X Каматире (1198—1206) она приобрела громкую славу. В ней обучали грамматике, риторике, философии, математическим дисциплинам и физике, здесь же происходили постоянные диспуты по различным проблемам между студентами. Школа была разделена на два отделения: одно было предназначено для изучающих предметы тривиума, другое для {389} тех, кто занимался арифметикой, геометрией, музыкой, физикой и медициной. Особенностью этого учреждения являлось то, что студенты обучали самих себя, обсуждая каждый вопрос школьного курса. Главным арбитром для них был патриарх Иоанн X Каматир. Богословие в школе при церкви св. Апостолов не преподавали. Это было учебное заведение, в котором главное внимание было обращено на занятия свободными искусствами⁹¹.

В правление Василия I при Новой церкви, им построенной, была открыта школа, руководителем которой был маистр Григорий, названный в лемме «Палатинской антологии» (AP. VII. 327) дидаскалом. Ее существование подтверждается также леммой к эпиграмме Константина Кефалы (*Ibid.* VII. 429), в которой говорится об учебном заведении при этом храме. Основным предметом преподавания в нем была, по всей вероятности, грамматика, так как и педагоги, и обучающиеся основное внимание уделяли объяснению эпиграмм⁹².

В X в. в Константинополе существовало несколько школ. Сведения о них мы получаем из корреспонденции анонимного профессора, состоящей из 122 писем, и Жития Афанасия Афонского.

Анонимный профессор, уроженец Фракии, жил в Константинополе в 20—30-х годах X в. при Романе Лакапине. Это был довольно образованный человек. Он преподавал грамматику и риторику. Основными учебными пособиями, используемыми им в процессе обучения грамматике, были произведения Дионисия Фракийского (II в. до н. э.), Каноны Феоdosия Александрийского (V в.), работа по грамматике византийского автора IX в. Феогноста и «Эпимерисмы» Георгия Хировоска (VI в.), представляющие собой изложение грамматики на материалах Псалтири. Риторику его воспитанники изучали по трудам Гермогена из Тарса (II—III вв. н. э.) и Аффония (IV в.). Наш профессор был не только педагогом, но и скриптором, и издателем, и писателем. Правда, его собственные литературные сочинения, часто упоминаемые им в письмах, представляют собой образцы стиля, составляемые школьными преподавателями для обучения своих питомцев. По просьбе патриарха, предположительно Николая I Мистика (901—907, 912—925), он устанавливает текст некоторых сочинений отдельных отцов церкви, сопоставляя чтения, предлагаемые в разных рукописях, и выбирая из них лучшее, таким образом подготавливает их к публикации. Копированием книг он занимается по необходимости ради дополнительного заработка, так как денег, получаемых им с учеников, не хватало на содержание семьи, да и выплачивались они крайне нерегулярно⁹³.

⁸⁹ Schirò G. La schedografia a Bisanzio nei secoli XI—XII^e la scuola dei SS XL— Martiri//Bollettino della Badia greca di Grottaferrata. 1949. NS. T. 3. P. 11—29; Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 229.

⁹⁰ Browning R. The Patriarchal School at Constantinople in the twelfth century //Byz. 1962. T. 32. P. 173—174.

⁹¹ Guiland R. Op. cit. P. 80—81

⁹² Speck P. Op. cit. S. 59—63.

⁹³ Browning R. The correspondence of a tenth-century byzantine scholar // Byz. 1956. T. 24. P. 433—435.

Кроме школы анонимного профессора, в Константинополе в это время существовали еще три других учебных заведения, которыми руководили три маистра: асикрит Петр, Михаил и человек церкви, вероятно, священник Филарет. Они часто упоминаются в письмах нашего корреспондента. Это также были учреждения грамматико-риторического направления, равные по уровню преподавания, поскольку обучающиеся в них студенты {390} переходили от одного профессора к другому, выбирая наиболее подходящие условия для занятий. Все четыре школы были частными и платными⁹⁴.

О двух других школах, действовавших в Константинополе в эту же эпоху, т. е. в первой половине X в., известно из Жития Афанасия Афонского, носившего до пострижения в монахи имя Авраамия. Прибыв в Константинополь из Трапезунда в правление Романа I Лакапина, Авраамий поступил в школу опытного педагога Афанасия Старшего, который носил титул «главы (руководителя) школ». Под его контролем, вероятно, находились и другие учебные учреждения этого периода.

После окончания курса Авраамий был избран преподавателями и учениками и утвержден императором сначала помощником учителя в своей родной школе, а затем самостоятельным педагогом в другом учебном заведении, расположенном вдали от прежней школы. Главная цель, которую преследовал Авраамий, поступая в школу, было усвоение «внешней мудрости», т. е. изучение материала светских наук, которые впоследствии он преподавал своим студентам⁹⁵.

В начале XI в., в правление сурового Василия II Болгаробойцы, в столице у лучших дидаскалов учился известный ритор и поэт Иоанн Мавропод, как об этом сообщается в посвященном ему энкомии Михаила Пселла. Последний превозносит образованность своего учителя и друга, который не только достиг вершин искусства грамматики, но и приобрел полное понимание высших наук (МВ. V. P. 147).

После завершения своего обучения Иоанн Мавропод открыл в Константинополе школу, которая стала пользоваться широкой известностью. Свою главную цель Иоанн Мавропод видел в подготовке будущих чиновников для центрального и провинциального государственного аппарата. Он воспитал и обучил немало высокопоставленных государственных деятелей. Иоанн Мавропод вел курсы по риторике, философии и праву. В упомянутом выше энкомии Михаил Пселл описывает методы его обучения. Свои занятия он обычно начинал с преподавания риторики, затем переходил к объяснению философии и оканчивал их изучением права. Студентов он учил говорить и писать кратко и в то же время содержательно. Он знакомил их с произведениями Демосфена, Демада, Лисия, Исократы и Григория Богослова, отдавая при этом предпочтение сочинениям двух последних. Много времени Иоанн Мавропод уделял рассмотрению и объяснению философии, ее различных разделов: силлогистики, диалектики, аподиктики, логики. Софистику он оставлял вне поля зрения. После усвоения этого материала студентами он переходил к изучению с ними науки о природе, рассказывая им о земле, небе, о существах, одаренных душой, животных, растениях, затем подводил их к познанию бестелесных сущностей и метафизики (МВ. V. P. 146—151). Именно в школе Иоанна Мавропода продолжил свое образование после возвращения в Константинополь юный Михаил Пселл. Здесь он получил основательную подготовку для занятий впоследствии науками. В это же учебное заведение, чтобы овладеть основами риторики и юриспруденции, поступил по приезду в Константинополь из Трапезунда Иоанн Ксифилин. {391} Обучение в школе Иоанна Мавропода было бесплатным, ибо он считал предосудительным брать деньги за столь благородное дело, как воспитание юношества, и торговать наукой⁹⁶.

После окончания курса обучения у Иоанна Мавропода и до открытия высшей школы Константином IX Мономахом Иоанн Ксифилин и Михаил Пселл занимались частным преподаванием. Особенно бурную деятельность развил последний. Он работал не в одной, а, вероятно, в нескольких школах. Его воспитанники различались между собой и возрастом, и уровнем развития. Он преподавал почти все предметы тогдашнего круга образования: и орфографию, и схедеографию, и грамматику, и риторику, и философию, и предметы квадривиума, и физику, и

⁹⁴ Ibid. P. 405, 409, 412, 415, 436; *Speck P.* Op. cit. S. 20. 45—46.

⁹⁵ *Lemerle P.* *Le premier humanisme...* P. 257—260; *Mango C.* Op. cit. P. 141—142.

⁹⁶ *Lemerle P.* «Le gouvernement des philosophes»... P. 198—201; *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 24, 40, 42.

право. При восшествии на престол Константина IX Мономаха его считали главным и лучшим профессором, хорошо знавшим риторику и философию. В основу обучения философии им были положены труды Платона, Аристотеля и неоплатоников: Порфирия, Ямвлиха, Прокла. Для ведения занятий по риторике им было составлено в качестве образцов стиля большое количество речей. Кроме того, им были созданы сочинения, являющиеся по сути дела учебными пособиями по этой дисциплине. В своих произведениях Михаил Пселл старался иллюстрировать положения, заимствованные у античных раторов, материалом, почерпнутым из творений христианских авторов⁹⁷.

Наличие в Константинополе в XI в. других педагогов по риторике подтверждает письмо, отправленное Михаилом Пселлом своему бывшему ученику протоасикриту Аристину. В нем сообщается, что сын Аристина вместе с некоторыми другими воспитанниками Михаила Пселла ушел от него и стал заниматься с другим профессором этой дисциплины⁹⁸.

Кроме охарактеризованных учебных учреждений, в Константинополе в XI в. существовали школы при отдельных церквях, в которых преподавались светские дисциплины.

При церкви Богородицы в Халкопатрии существовала грамматическая школа. Она была известна еще во времена Константина VII Багрянородного, который упоминает о ней в своем труде «О церемониях византийского двора» (De ser. P. 167). Михаил Пселл одно из своих писем адресует маистру школы Халкопатрии, ругая его за алчность (MB. V. P. 428—430). Вероятно, этого же дидаскала, являвшегося руководителем данного учебного заведения, продававшего за деньги своим воспитанникам схеды (грамматические упражнения), его жадность, его скупость высмеивает в своей сатирической поэме Христофор Митиленский. Другим наставником названного учреждения был Петр Грамматик. Им был скопирован парижский кодекс (Cod. Paris. Suppl. gr. 1096). В записи, оставленной на л. 329, он говорит о занимаемой им должности грамматика в этой школе и о завершении в 1070 г. своей работы по переписке манускрипта, содержащего Евангелие. Основным предметом преподавания была грамматика, а сама школа имела светскую направленность⁹⁹. {392}

При церкви св. Феодора в Сфоракиях также была открыта школа, которой Христофор Митиленский посвятил два стихотворения. В одном из них он описывает ее как учреждение общеобразовательной мудрости. В ней преподавали грамматику, а, возможно, и риторику, маистр Лев и его помощник (πρώξιος) Стилиан. Их ученики, овладевшие схедеографией, принимали участие в состязаниях, которые устраивались по этому предмету. Будущий митрополит Никеи Евстратий в протоколах судебных заседаний по обвинению в ереси Иоанна Итала назван помощником школы св. Феодора в Сфоракиях¹⁰⁰.

Элементарная школа светского характера существовала при церкви Богородицы Диакониссы, расположенной в центре города, в многолюдном квартале Константинополя (MB. V. P. 420—421).

Школа светского характера функционировала при церкви св. Петра. В «Эпитафии Никите, учителю школы св. Петра» (MB. V. P. 87—96) Михаил Пселл сообщает, что в его время в этом учебном заведении было два дидаскала. Один преподавал грамматику, другой — философию. Учителем грамматики был Никита, а профессором философии — сам Михаил Пселл. Он детально описал занятия, проводимые Никитой, который достиг самых вершин в обучении грамматике, превратив ее в «искусство искусств», «науку наук». Его преподавание было основано на изучении и комментировании произведений античных поэтов Архилоха, Эпихарма, Никандра, Пиндара и др. После завершения курса грамматики студенты под руководством Михаила Пселла приступали к занятиям философией. Будущий патриарх Николай III Грамматик (1084—1111) был сначала учеником, а затем профессором данной школы. В ней проходил курс наук и ритор Музалон, возглавивший ее после 1084 г. по распоряжению патриарха Николая III¹⁰¹.

⁹⁷ Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 216—221; Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 132—133 260—262.

⁹⁸ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 66. 146—147.

⁹⁹ Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios/Hrsg. Ed. Kurtz. Leipzig 1903. S. 7; Browning R. The Patriarchal school... P. 171—172.

¹⁰⁰ Успенский Ф. И. Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси // ИРАИК. 1897. Т. 2. С. 64; Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios. S. 5—6; Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 228—229.

¹⁰¹ Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 201—202, 231—232, 243.

На рубеже XI—XII вв. при орфанотрофии св. Павла Алексеем I была создана грамматическая школа. В ней обучались дети, потерявшие родителей, и сыновья неимущих. Среди них, по словам Анны Комнины, было немало иноземцев: «латинян» и «скифов». В школе преподавали грамматику и схедеографию. Ее основатель Алексей I заботился о получении ее воспитанниками общего гуманитарного образования. Педагоги и ученики ее находились на полном государственном содержании (*Ann. Comn.* III. P. 214, 217—218; *Zonar.* III. P. 745).

Приведенные примеры показывают, что преподавание наук в Константинополе никогда не прекращалось. Во все столетия рассматриваемой эпохи существовали профессора и школы. Учебные учреждения, как правило, имели светский характер. Уровень преподавания в них зависел от образованности педагогов, от их научной и общественной квалификации и колебался от школы к школе. В одних изучали только грамматику, в других — риторику и философию, а в некоторых — даже предметы квадривиума. Учебные заведения обычно были частными. Чтобы посещать их, надо было вносить определенную сумму денег. Культурный подъем, начавшийся в Византии с середины IX в., оказал благотворное {393} влияние и на развитие образования: увеличилось число школ, действовавших в столице, и количество обучающихся в них.

Наряду с частными учебными заведениями в Константинополе функционировали называемые иногда «университетами» высшие школы, организуемые либо императорами, либо от их имени регентами. Это были государственные учреждения, возникавшие благодаря покровительству просвещенного правителя, увлеченного науками и стремящегося возродить их изучение. На содержание профессоров, занимавших весьма видное место в столичной иерархии, и студентов выделялись довольно значительные средства. Обучение в них было бесплатным и теоретически было доступным представителям всех социальных слоев в империи. В действительности же здесь получала образование византийская элита, так как поступающие в них должны были обладать определенным минимумом знаний, приобретаемых на более низких ступенях обучения, большей частью платных. Число студентов в государственных школах было невелико. Главной задачей, стоящей перед ними, была подготовка чиновников государственного аппарата. Основное внимание уделялось преподаванию семи свободных искусств, являющихся базой обучения. Богословие среди них отсутствовало. Высшие государственные школы имели светский характер на протяжении всей истории своего существования. В штат «университетов» были включены профессора по отдельным дисциплинам, обеспечивающие высокий уровень их преподавания, это отличало их от частных школ, где почти всегда занятия вел один педагог.

Во второй половине IX в. в Константинополе подобное высшее государственное училище было создано правительством, которое возглавлял дядя малолетнего императора Михаила III (842—867), кесарь Варда, находившийся у власти с 855 по 866 г. По словам Продолжателя Феофана, он был «увлечен «внешней мудростью» и поэтому основал в Магнаврах «школы математических наук» (*Theoph. Cont.* P. 185). Руководителем этого учреждения он сделал Льва Математика (*Theoph. Cont.* P. 191—192; *Cedr.* II. P. 159). Школа находилась в Магнаврском зале дворца. В ней обучали четырем предметам: философии, грамматике, геометрии и астрономии. Сам Лев Математик вел занятия по философии, включая все дисциплины этой науки. Его ученик Феодор преподавал геометрию, Феодегий — астрономию, Комитас — грамматику. Традиция не сохранила никаких сведений о первых двух. О последнем, грамматике Комитасе, известно, что он был автором ряда эпиграмм и комментатором и издателем поэм Гомера. Вопрос о преподавании Фотия в Магнаврской школе Варды при современном состоянии источников невозможно решить положительно. Ряд ученых отрицает его участие в ее работе.

Кесарь Варда оказывал материальную и моральную поддержку профессорам и студентам. Он проявлял заботу об их нуждах и часто посещал их (*Theoph. Cont.* P. 185, 191—192; *Genes.* P. 98; *Zonar.* III. P. 399). Точная дата открытия школы остается до сих пор неустановленной. Считают возможным отнести ее к 855/856 гг., т. е. к моменту прихода к власти кесаря Варды. Магнаврское учебное заведение имело светскую направленность, ни один из византийских историков не называет среди предметов, преподаваемых в нем, богословие¹⁰². {394}

¹⁰² Луниниц Е. Э. Византийский ученый Лев Математик. С. 115, 125—126; Она же. Очерки... С. 344—345; Lemerle P. Le premier humanisme... P. 159—160, 163.

По словам Генесия (Genes. 98), созданная Вардой школа продолжала функционировать и в эпоху Константина VII Багрянородного (913—959), возродившего ее блеск, несколько угасший в правление его предшественников. Понимая важность образования для дел государства, император проявлял большую заботу и интерес к преподаванию наук. Для занятий со студентами он пригласил самых лучших и опытных педагогов, которым выплачивал жалованье. Профессором философии был назначен протоспафарий Константин, который до этого был мистиком (секретарем), а затем стал епархом Константинополя, учителем риторики — Никейский митрополит Александр, геометрии — патрикий Никифор, астрономии — асикрит Григорий (*Theoph. Cont. P. 446*). Из них наиболее известен Никейский митрополит Александр. Им была проделана работа по исправлению и комментированию сочинений Лукиана, содержащихся в Ватиканской рукописи (Cod. Vatic. gr. 90). Остальные были высокопоставленными сановниками, обладавшими определенными познаниями в преподаваемых ими дисциплинах, но ни один из них не был ученым, оставившим после себя труды в указанных областях. Константин VII проявлял заботу не только о профессорах, но и о студентах. Он оказывал им материальную поддержку, убеждал их прилежно заниматься. По данным источников, студенты, поощряемые императором, за короткое время достигли больших успехов. Из их числа василевс смог пополнить штат чиновников своих многочисленных канцелярий и церковной администрации¹⁰³.

Программы обоих учебных учреждений: Магнаврской школы Варды и школы Константина VII — почти полностью совпадают, в них преподавались одни и те же предметы. В них обучали светским наукам. Задачи, стоящие перед ними, были также идентичны, и та, и другая готовили кадры бюрократического аппарата¹⁰⁴.

В середине XI в. в столице Константином IX Мономахом была создана высшая школа с двумя отделениями (права и философии). Сведения об ее основании содержатся в сочинении Михаила Атталиата, который описывает политическую обстановку накануне ее открытия. Сообщения об этом он помещает между рассказом о подавлении мятежа Георгия Маниака и о поражении русского флота, напавшего на Константинополь, в 1043 г., и известием о восстании Льва Торника в 1047 г. Пользуясь покоем, пишет историк, император с радостью принялся за государственные дела: он учредил «мусей» права, позаботился о преподавании философии, поставив во главе его проэдром человека, отличающегося своим званием и побуждающего молодежь к обучению, и принял постановления о судах (*Att. P. 21*). Таким образом, организацию школ права и философии Константином IX Мономахом следует датировать временем между 1043 г. и 1047 г. Как говорит Михаил Атталиат, проэдром философии был назначен блестящий знаток и преподаватель этой науки. Им был Михаил Пселл, который ко времени восшествия на престол Константина IX Мономаха был уже известным в столице профессором риторики и философии. Заслуги и успехи, достигнутые им в обучении молодежи, признает и Иоанн Мавропод. В письме, направленном Михаилу Пселлу, он подчеркивает, что именно ему надо отдать предпочтение при назначении профессора «главной кафедры» и обещает ему свою поддержку и содействие в получении им «трона дидакала»¹⁰⁵.

Подтверждение данных Михаила Атталиата мы находим в «Надгробном слове Иоанну Ксифилину» Михаила Пселла. В нем идет речь о борьбе, развернувшейся между учениками двух педагогов: Иоанна Ксифилина и Михаила Пселла, т. е. «юристами» и «философами». Первые хотели, чтобы была учреждена школа права во главе с Иоанном Ксифилином, вторые настаивали на открытии школы философии во главе с Михаилом Пселлом. Император пошел навстречу пожеланиям обеих враждующих сторон и решил создать два разных учебных учреждения. Он основал школу права под руководством номофилака Иоанна Ксифилина¹⁰⁶ и школу философии, которую поручил заботам ипата философов Михаила Пселла (MB. IV. P. 433—434). Михаил Хониат (XII в.), описывая упадок философских штудий в свое время, называет

¹⁰³ *Lemerle P. Le premier humanisme...* P. 167, 243, 263—269.

¹⁰⁴ *Speck P. Op. cit. S. 22—27, 64; Mango C. Op. cit. P. 141.*

¹⁰⁵ *Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»...* P. 221—223.

¹⁰⁶ *Медведев И. П. Правовое образование в Византии как компонент городской культуры // Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 1986. С. 22; Ср. выше.: С. 237—238.*

должность ипата философов государственной. Михаил Атталиат указывает, что как номофилак, так и ипат философов получали содержание от императора.

Слава о преподавании Михаила Пселла распространилась далеко за пределы империи, и среди его учеников можно было встретить не только жителей Византии, но и из западных стран, а также из Багдада, Египта и других арабских областей. Были среди них и «кельты», и арабы, «египтяне», и персы, и эфиопы (МВ. V. P. 508). Своих студентов Михаил Пселл обучал и риторике, и философии, и естественным и математическим наукам, и физике, и даже праву. Он стремился дать им глубокие познания по философии и по всем тем научным дисциплинам (арифметике, геометрии, музыке, астрономии, физике, метафизике), которые рассматривались им как подчиненные, но которые он считал необходимыми и обязательными для подлинного усвоения высших истин философии. Занятия по философии Михаил Пселл начинал с изучения «Логики» Аристотеля, а затем переходил к объяснению его «Метафизики». Завершал он свой курс преподавания толкованием трудов Платона, которого считал величайшим в мире мыслителем и ставил на один уровень с Григорием Богословом. Михаил Пселл тщательно готовился к своим урокам, просиживая над книгами до глубокой ночи и вставая рано утром, чтобы снова взяться за чтение сочинений древних ¹⁰⁷.

Неизвестно, сколько времени продолжалась преподавательская деятельность Михаила Пселла как ипата философов. В июле 1054 г. он еще был ипатом философов, но незадолго перед смертью Константина IX Мономаха он принял пострижение и удалился в монастырь. После прихода к власти Феодоры (1055—1056) Михаил Пселл возвратился в Константинополь. В качестве ипата философов он принимал участие в посольстве, которое Михаил VI Стратиотик (1056—1057) направил к Исааку I Комнину (1057—1059) (Cedr. II. P. 632). В правление Константина X Дуки (1059—1067) Михаил Пселл был не только воспитателем наследника престола, будущего императора Михаила VII, но и препо-^{396}давателем философии. Именно в этот период им был написан ряд произведений, обращенных к ученикам. Ипатом философов называет его Зонара при описании царствования Михаила VII (*Zonar.* III. P. 708) ¹⁰⁸.

Неизвестно, продолжала ли все это время функционировать школа философии. Источники не дают об этом никаких конкретных данных. Они только свидетельствуют о неослабевающем интересе к философским штудиям во второй половине XI в. и о влиянии самого Михаила Пселла и его трудов на всех занимающихся философией. С глубоким почтением и благоговением спустя более чем 100 лет вспоминает о нем как профессоре философии Иоанн Апокавк ¹⁰⁹.

Учеником Михаила Пселла был Иоанн Итал, происходивший из южной Италии. В царствование Константина IX Мономаха около 1050 г. он прибыл в Константинополь, где стал заниматься науками и в том числе философией. Ее он изучал под руководством Михаила Пселла, объяснявшего ему труды античных мыслителей, которые когда-то штудировал сам. Особое внимание Иоанн Итал обращал на познание диалектики, стараясь проникнуть в ее глубины (*Ann. Comn.* II. P. 33—34).

Завершив курс обучения, Иоанн Итал стал сам преподавать. После удаления от дел Михаила Пселла Михаил VII назначил его ипатом философов, главой, по выражению Анны Комнины, всей философии (*Ibid.* P. 35). Когда это произошло, трудно установить; большинство современных исследователей творчества Михаила Пселла полагают, что он попал в опалу вскоре после восшествия на престол его царственного воспитанника ¹¹⁰.

Основным направлением профессорской деятельности Иоанна Итала было изучение со студентами сочинений Платона, Порфирия, Ямвлиха, Прокла, и в особенности трудов Аристотеля. Он объяснял, комментировал и пытался раскрыть сущность их учений. Предпочтение при этом он отдавал толкованию и изучению «Органона» Аристотеля (*Ibid.* P. 37). Никита Хониат отмечал его особое пристрастие к логике Стагирита. По словам Анны Комнины, усвоив ее, он

¹⁰⁷ Fuchs F. Op. cit. S. 31—32; Hussey J. M. Op. cit. P. 63, 73; Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 216, 218—219.

¹⁰⁸ Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 224—225; Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 32.

¹⁰⁹ Fuchs F. Op. cit. S. 33. Hussey J. M. Op. cit. P. 72.

¹¹⁰ Fuchs F. Op. cit. S. 33—34; Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 32.

стал настолько опытен в диалектике, что никто не мог победить его в диспутах (Ibid. P. 35—36).

Как преподаватель философии Иоанн Итал пользовался необыкновенным успехом и популярностью. Молодежь стекалась на его занятия со всей империи (Ibid. II. P. 37). Его учеником был Евстратий Никейский, известный ученый, составивший трактат по космографии и географии¹¹¹.

В своих сочинениях и лекциях, основываясь на трудах Аристотеля и Платона, Иоанн Итал высказывал мнения, не согласные с церковными догматами. Он ставил под сомнение ортодоксальное учение о воплощении Христа и доказывал вечность материи и существование от века идей, придающих ей форму. Он даже отказывался поклоняться иконам. Отрицая христианскую концепцию о посмертной судьбе души, Иоанн Итал допускал две возможности: либо переселение душ, либо полное исчезновение человеческой души после смерти (Ibid. P. 37). Попытка рациона-^{397}листического объяснения строения мироздания повлекла за собой обвинение его в ереси. На возбужденном против него процессе в 1082 г. Иоанн Итал был обвинен в ереси и отлучен от церкви (Ibid. P. 39—40). Дальнейшая судьба его неизвестна¹¹².

Преемником Иоанна Итала был Феодор Смирнский. В сатирическом диалоге «Тимарион» он назван его учителем (Тим. С. 46, 53, 56). В актах собора, состоявшегося при патриархе Николае III Грамматике, среди подписей участников имеется подпись Феодора Смирнского, протопродра и ипата философов. В одном из посланий Феофилакт Охридский упоминает ипата философов из Смирны, по всей вероятности, Феодора, которому он рекомендует одного молодого человека для обучения (PG. T. 126. Col. 441, 476, 477, 535).

В 60-х годах XII в. Мануил I Комнин (1143—1180) назначил ипатом философов диакона и протэктика великой церкви Михаила Анхиала, позднее ставшего патриархом (1170—1178). В речи, произнесенной им при вступлении на эту должность, он прославляет императора за возрождение занятий философией, которую после долгого забвения василевс вывел на свет из темного угла. Свою главную цель новый ипат видел в обучении юношества философским теориям, не противоречащим христианскому вероучению. Он считал необходимым отбросить все, что не согласуется с ортодоксальными догматами, и прежде всего платонизм Михаила Пселла. Михаил Анхиал заявил, что в основу своего преподавания он положит изучение трудов Аристотеля, объясняя студентам его логику, диалектику, физику, метафизику, астрономию и метеорологику. Современники смотрели на учебное заведение, в котором трудился Михаил Анхиал, как на школу мудрости, которая вновь была основана Мануилом, оказывавшим ей материальную поддержку. Преемником Михаила Анхиала на посту ипата философов был снова церковный деятель, а именно диакон и хартофилак великой церкви Феодор Ириник (PG. T. 147. Col. 465), занявший в 1214 г. патриарший престол в Константинополе¹¹³.

Таким образом, с конца XI—XII в. церковь усиливает контроль за деятельностью ипата философов и за школой философии, постепенно подчиняя их своему авторитету и влиянию.

Глубокая религиозность византийцев, знание ими догматов христианского вероучения, библейских книг, творений отцов церкви и других религиозных текстов заставляли думать многих исследователей о существовании специального духовного училища, в котором преподавали богословие. Однако изучение источников П. Лемерлем, Г. Г. Беком, П. Шпеком и др. показало гипотетичность воссоздания истории этого учебного заведения в VII—X вв. и опровергло общепринятую точку зрения. Анализ сочинений (Хроники Георгия Монаха, Жития патриарха Германа, «Отечества Константинополь»), в которых содержались данные о функционировании Патриаршей Академии в VII—VIII вв., якобы уничтоженной Львом I Исавром (717—741) вместе с ее преподавателями, и сопоставление их с памятниками, написанными авторами-современниками, ^{398} яростными противниками императоров-иконоборцев («Хронографией» Феофана, «Бревиарием» патриарха Никифора, Житием Стефана Нового), в которых не встречались аналогичные известия, привели к выводу о легендарности сообщений первых, появившихся после восстановления иконопочитания в среде торжествующих победителей. Этот вы-

¹¹¹ См. главу О. Р. Бородина и С. Н. Гуковой в настоящем издании.

¹¹² Успенский Ф. И. Указ. соч. С. 1—66; Гранстрем Е. Э. Указ. соч. С. 363; Mango C. Op. cit. P. 144; Fuchs F. Op. cit. S. 34.

¹¹³ Fuchs F. Op. cit. S. 50—51; Lemerle P. «Le gouvernement des philosophes»... P. 225.

вод подтверждается и отсутствием в источниках достоверных сведений о посещении Патриаршей школы диаконами, священниками, епископами, патриархами, богословами и другими религиозными деятелями IX—X вв., а также пропуском имен якобы сожженных профессоров в перечне мучеников, пострадавших за иконы.

Одним из главных доводов в пользу существования духовной академии было наличие в памятниках рассматриваемой эпохи титула «вселенский учитель», будто бы принадлежавшего ее руководителю. Однако комплексное изучение всех свидетельств показало, что действительно это был титул профессора, но профессора высшего светского учебного заведения, совершенно не связанного с патриархией. Его носили в предшествующий период педагоги школы права в Бейруте (V в.), преподаватель-язычник из Александрии Олимпиодор (VI в.), медик Феофил протоспафарий, Стефан Александрийский, приглашенный Ираклием в Константинополь для чтения лекций по философии. Связь «вселенского учителя» с Великой церковью может быть обнаружена только у Никиты Стифата, т. е. в середине XI в.¹¹⁴

О «вселенском учителе» и о Патриаршей Академии с большей или меньшей долей вероятности можно говорить только с конца XI в., когда в Константинополе при патриархии Алексеем I Комнином была организована духовная школа. В изданной им новелле среди других высших чиновников церкви указаны три неизвестные до этого должности: учитель псалтири, учитель апостола и учитель евангелия, называвшийся вселенским учителем¹¹⁵.

Программа обучения во вновь созданном учебном заведении была сосредоточена на библейской экзегезе, т. е. на толковании псалмов, посланий апостола Павла и евангелий. Наряду с этим его слушатели получали риторическую подготовку под руководством «магистра риториков», впервые упомянутого в источниках от 1082 г. Обучали их и другим светским наукам. Так, Михаил Италик, учитель евангелия, вел занятия по предметам квадривиума (арифметике, геометрии, музыке, астрономии), а также механике, оптике, медицине и философии¹¹⁶.

В стенах Патриаршей Академии преподавали самые видные деятели византийской культуры конца XI—XII в., авторы многих дошедших до нас литературных и педагогических произведений. Наиболее выдающимися среди них были Евстафий Солунский, Никифор Василак, составивший учебное пособие по истории, мифологии, риторике и богословию; уже упомянутый Михаил Италик, написавший многочисленные трактаты по разным отраслям знания. Многие из них после завершения профес-сорской карьеры заняли высшие церковные должности, стали епископами, митрополитами, а некоторые и патриархами.

Патриаршая школа находилась в тесной зависимости как от главы церкви, так и от императора. Магистр риториков, назначаемый последним, обязан был произносить ежегодно в день богоявления (6 января) похвальную речь в честь василевса, а в так называемую субботу Лазаря (перед вербным воскресеньем) — панегирик патриарху. В них он воздавал хвалу византийскому правительству, прославляя божественность, мудрость, могущество императорской власти. Основное назначение данного учебного заведения состояло в подготовке кадров гражданской и церковной бюрократии¹¹⁷.

Итак, церковь постепенно поставила под свой контроль деятельность школьных учреждений. Однако, несмотря на это, светское направление обучения продолжало оставаться характерной чертой византийской системы просвещения. Даже в училищах, существовавших при церквях, преподавали светские дисциплины, без знания которых в Византии не могли представить образованного человека. {400}

13

Эстетика

¹¹⁴ Lemerle P. *Le premier humanisme...* P. 85—96, 184—185; Speck P. *Op. cit.* S. 1, 77—89; Beck H. G. *Op. cit.* S. 70—77; Darrouzès J. *Recherches sur les ОФФІКІА de l'Église byzantine.* P.. 1970. P. 67—72.

¹¹⁵ Чичуров И. С. Новые рукописные сведения о византийском образовании//ВВ. 1971. Т. 31. С. 238—242.

¹¹⁶ Fuchs F. *Op. cit.* S. 36—38.

¹¹⁷ Browning R. *The Patriarchal School...* Т. 32. P. 167—202; Т. 33. P. 11—40; *Каждан А. П.* Книга... С. 62, 67—69; Mango C. *Op. cit.* P. 145—146.

ПЕРИОД ИКОНОБОРЧЕСТВА (VIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА IX В.)

История византийской культуры богата парадоксами. Многие из них связаны и со сферой эстетики. Более чем столетний период иконоборчества привел к относительному упадку некоторых отраслей культуры. В частности, практически приостановилось развитие религиозного изобразительного искусства. Но именно этому периоду обязана византийская (а шире — и вся восточнохристианская) культура интересной эстетической (специфически византийской) теорией, интенсивно разрабатывавшейся в течение всего столетия. Лучшие умы того времени были вовлечены в полемику вокруг проблем изобразительного искусства, его места в культуре, его функций в системе византийского мировосприятия. В этот период в империи сформировалась глубокая, всеобъемлющая теория образа, изображения, иконы, которая, будучи важнейшим звеном в византийской философско-религиозной системе, явилась прочным теоретическим фундаментом всего византийского, а вслед за ним и старославянского, и древнегрузинского, а отчасти даже и западноевропейского средневекового искусства.

Византийская теория образа (символа, знака), как и в ранний период, объединяла основные сферы духовной культуры византийцев — онтологию, гносеологию, религию, искусство, литературу, этику. И объединение это осуществлялось на основе эстетической значимости образа. Выполняя самые разнообразные функции, он в конечном счете был обращен к глубинам человеческого духа. Самим этим проникновением в сокровенный мир человека образ возбуждал духовное наслаждение, свидетельствовало о со-звучии, со-гласии, со-единении, духовном контакте на сущностном уровне человека с объектом, выраженным в образе, эстетический эффект которого хорошо ощущали византийцы и умело использовали в своей культуре, хотя и объясняли его по-своему, в традициях средневекового миропонимания. Именно поэтому теория образа принадлежит в целом византийской эстетике, хотя отдельные ее аспекты вполне правомерно рассматриваются и историками философии, и религиоведами, и искусствоведами.

Проблема образа была осознана в качестве важнейшей уже многими раннехристианскими и первыми византийскими мыслителями (здесь достаточно лишь напомнить имена Иринея Лионского, Климента Александрийского, Оригена, Василия Великого, Григория Нисского, автора «Ареопагитик»), однако в центре внимания всей христианской ойкумены она оказалась лишь в период официального запрета религиозных антропоморфных изображений. Сторонники этих изображений вынуждены были для их защиты вспомнить, разыскать и подытожить все, что было сказано их предшественниками позитивного по поводу образов, и на основе этой традиции представить убедительные аргументы в защиту религиозных изображений.

В борьбе «за» или «против» икон проявился сложный комплекс противоречий социально-экономического, политического, религиозного, философского и лишь, пожалуй, в последнюю очередь, эстетического характера. Здесь, однако, следует остановиться только на философско-эстетических аспектах полемики.

Противники икон¹ опирались в основном на библейские идеи о том, что Бог есть дух и его никто не видел (Ин. 4,24; 1,18; 5,37), и на указание: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» (Втор. 5, 8). Иконоборцы отвергали прежде всего антропоморфные изображения Христа. Истоки почитания изображений они возводили к античному изобретению пластических искусств и к языческому идолопоклонству (Mansi. XIII. Col. 273C). Объект «сердечной веры» живописец изображает, по их мнению, ради «своего жалкого удовольствия» (Ibid. Col. 248E), т. е. гедонистическая сторона образа оценивалась иконоборцами негативно, тогда как в древности именно она активно стимулировала идолопоклонство. Впрочем, иконоборцы не отрицали полностью эстетической сферы; их неприязнь была направлена только на изоморфные религиозные изображения, к которым они подходили не с эстетической, а с догматической меркой. Для «украшения» храмов и «для услаждения очей» они допускали только светское искусство: растительный орнамент, изображения животных, птиц, сцен охоты, скачек, рыбной ловли, театральных пред-

¹ Об иконоборчестве и искусстве этой эпохи см.: *Ostrogorsky G. Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites*. Breslau. 1929 (repr. Amsterdam, 1964); *Alexander P. J. The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) and its Definition // DOP. 1953. N 7. P. 35—66*; *Der byzantinische Bilderstreit*. Gütersloh, 1968; *Textus byzantinos ad iconomachiam pertinentes*/Ed. H. Hennepf. Leiden, 1969.

ставлений². Самым же главным украшением для церкви противники изображений считали «изливающие свет догматы», представляющие церковь «как бы одетой в разнообразные золотые одежды» (Ibid. 217A). Иконопочитатели же, по их мнению, принижали и искажали грубыми материальными изображениями именно это «духовное украшение», отвлекали ум человеческий от высокого духовного служения и ориентировали его на почитание «вещественной твари» (Ibid. Col. 229DE). На утверждение иконопочитателей, что они изображают Христа в его человеческом облике, иконоборцы отвечали словами Евсевия Памфила из его письма к Констанции³ (PG. T. 20. Col. 1545): «Итак, кто же в состоянии изобразить мертвыми и бездушными красками и тенями сверкающий сияющими лучами блеск славы и достоинства Его,— изобразить {402} Его таким, каков Он есть?» (Mansi. XIII. 313BC). По словам В. Н. Лазарева, «в основе деятельности иконоборцев лежали самые благородные намерения. Они хотели очистить культ от грубого фетишизма, хотели сохранить за божеством его возвышенную духовность. Изображение божества казалось им профанацией лучших религиозных чувств»⁴.

Более того, иконоборцы полагали, что живописное искусство богохульствует против главного христианского догмата о воплощении Логоса (Ibid. 240C), ведет к нарушению «парадоксии» христологического догмата. Формально они отстаивали позиции характерного для византийского христианства антиномического мышления⁵, хотя фактически в своей аргументации утверждали незыблемость принципов формальной логики, отчего и доводы их звучали часто убедительнее парадоксальных аргументов защитников изображений. Сторонники живописи уличались сразу в двух противоположных ересьях: в несторианстве — за то, что, изображая только человека Христа, будто бы разделяли в нем две природы, и в монофиситстве — за то, что «описывая неопишемое», живописец «сливает неслитное соединение» (Ibid. 241E; 244D; 252A). Логика этого парадоксального обвинения сама антиномична, ибо основана на стремлении уличить противника в отрицании как тезиса, так и антитезиса исходной догматической антиномии. В результате возникает как бы обратная антиномия, подтверждающая как раз то, что с ее помощью пытаются опровергнуть: иконопочитатели, одновременно сливая и разделяя в изображении две природы, стоят на позиции «неслитного соединения». Таким образом, с философско-религиозной точки зрения иконоборцы, сами того не подозревая, доказывали ортодоксальность позиции своих противников, и даже более убедительно, чем сами иконопочитатели. Видимо, слишком высокий интеллектуализм и спиритуализм приверженцев иконоборчества обусловил непонимание ими простой, но аналогичной, покоящейся на чуде и парадоксе сущности христианства.

Более ярко разногласие между спорящими сторонами проявилось в толковании соотношения образа и прообраза. Так, влиятельный приверженец иконоборчества император Константин V⁶ полагал, что образ должен быть «единосущен изображаемому» (PG. T. 100. Col. 225A), т. е. практически тождествен ему во всем. Иконоборческий собор провозгласил единственным образом Христа евхаристические хлеб и вино (Mansi. XIII. Col. 264C)⁷, призвал изображать добродетели не на картинах, а «в самих себе как некие одушевленные образы» (Ibid. Col. 345CD). Это специфическое понимание образа, опиравшееся, видимо, на древнееврейское отождествление имени и сущности объекта, равно далеко и от миметической, и от символической теорий образа. Вполне понятно и резко отрицательное отношение к нему теоретиков иконопочитания.

Переходя к анализу концепций сторонников изображений, следует подчеркнуть, что они не были единными и лишены противоречий. Далеко не во всех пунктах они были убедительными. Несмотря на то, что спорящие стороны почти физически противостояли, обвиняя друг друга {403} во всех смертных грехах, по главной проблеме диалога у них, как правило, не

² См.: Mansi. XIII. 36C; Vita Stephani // PG. T. 100. Col. 445D — 446A. 454D; Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1947. Т. 1. С. 66—67; Cormack R. The Arts during the Age of Iconoclasm // Iconoclasm. Birmingham, 1977. P. 35—44; Epstein A. W. The «Iconoclast» Churches of Cappadocia // Ibid. P. 103—111. В храмах допускалась даже светская развлекательная музыка. См.: Mansi. XII. 978B.

³ Подробнее о нем см.: Thümmel H. G. Eusebios' Brief an Kaiserin Konstantia // Klio. 1984. N 1. S. 210—222.

⁴ Лазарев В. Н. Указ. соч. С. 64.

⁵ Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977. С. 14—64.

⁶ Ostrogorsky G. Op. cit. S. 29.

⁷ Gero S. The eucharistic doctrine of the Byzantine Iconoclasts and its sources // BZ. 1975. Bd. 68. P. 4—22.

получалось. Спорящие как бы не слышали друг друга, одержимые одной идеей: опровергнуть противника во что бы то ни стало. Даже приводя для профформы доводы своих оппонентов, спорящие стороны не вдумываются в них, не понимают их, и контраргумент, как правило, является не прямым ответом на только что прозвучавший аргумент, а лишь одним из доводов защищаемой концепции. Порой один и тот же словесный стереотип дискутирующие перекидывают друг другу, как мяч, например обвинение в том, что противник «сливает два естества» (ср.: Ibid. 337D, 340C). Полемика ведется как бы на разных языках и под различными углами зрения к предмету. Иконоборцы стремятся доказать, *почему нельзя изображать*, а иконопочитатели показывают, *для чего нужно изображать*.

В первых рядах защитников икон находился Иоанн Дамаскин. Именно им была написана первая в тот период развернутая апология религиозных изображений, содержащая подробную теорию образа.

Опираясь на предшествующую традицию, Иоанн дает свое определение образа: «Итак, образ (εἰκόν) есть подобие и парадигма, и изображение (εἰκτύωμα) чего-нибудь, показывающее то, что на нем изображено. Не во всем же совершенно образ подобен первообразу, т. е. изображаемому, но одно есть образ, а другое — изображенное, и различие их совершенно ясно, хотя и то и другое представляют одно и то же» (PG. Т. 94. Io. Dam. De imag. III. 16). Так, изображение человека подобно его телу, но не имеет душевных сил, а сын, будучи «естественным» образом отца, не является его копией, но чем-то отличается от него, ибо он все-таки сын, а не отец. Итак, сущностной характеристикой образа выступает *подобие* прототипу по основным его параметрам при обязательном наличии некоторых несовпадений с ним, т. е. образ близок к оригиналу, но не является его точной копией.

Для чего нужен образ,— задает вопрос Иоанн и отвечает в традициях христианского платонизма: «Всякий образ есть выявление и показание скрытого». Он есть важное средство познания человеком мира. Познательные способности человеческой души существенно ограничены, по мнению Дамаскина, его материальной природой. Он не может иметь ясного представления ни о чем невидимом, т. е. отдаленном от него временем или пространством. Поэтому-то «для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования скрытого и выдуман образ» (Ibid. III. 17), т. е. главная функция образа — *гносеологическая*. Вывод этот вполне понятен в контексте всей христианской философии, с первых своих шагов поставившей под сомнение эффективность дискурсивных путей познания⁸. По единому убеждению представителей патристики, знание, особенно высшее, открывается человеку не в понятиях, но в образах и символах. Понятийному же мышлению доступна лишь очень ограниченная сфера знания. Именно эту линию и развивает в своей теории Иоанн Дамаскин, имея в виду в частности и образы искусства. Систематизаторский ум византийского философа, положившего себе в качестве методологической парадигмы философию Аристотеля, различает шесть видов образов: *естественный* образ, каким, например, сын выступает по отношению к отцу; *божественный замысел* универсума, мысль в Боге о мире; *человек* как образ Бога; *символический* образ, подробно разработанный автором «Ареопагитик»; *знаковый* — предвещательные, пророческие знаки и знамения; *дидактический*, или напоминательный⁹. О последнем Иоанн писал: «Шестой вид образа — тот, который служит для воспоминания о прошедшем; или о чуде и добродетели — к прославлению, почитанию и обозначению победивших и отличившихся в добродетели; или — о зле — к позору и стыду порочнейших мужей и, наконец, к пользе смотрящих — чтобы мы избегали зла, стремились же к добродетели» (Ibid. III. 23). Эти образы бывают словесные и зрительные («через чувственное созерцание»), как предметные, так и специально изображенные. К ним Дамаскин относит и все религиозные изображения, то есть этот вид образов прежде всего состоит из миметических изображений, против которых выступала партия иконоборцев.

Файл byz405g.jpg

Иоанн Предтеча.
Вторая четверть XII в.

⁸ См.: Бычков В. В. Из истории византийской эстетики//ВВ. 1976. Т. 37. С. 160—173.

⁹ Подробнее о них см.: Бычков В. В. Теория образа в византийской культуре VIII— IX веков // Старобългарска литература. С., 1986. Кн. 19. С. 61—62.

*Собор св. Софии.
Константинополь.
Мозаика в южной галерее.*

Из указанных шести видов первые три относятся к христианской онтологии и восходят к подробно разработанным теориям образной структуры универсума Филона, Климента Александрийского, Дионисия Ареопагита. Три последних вида имеют прямое отношение к гносеологии, ибо с их помощью осуществляется познание (постижение) мира и его первопричины. Часть из этих образов, обозначающих прежде всего духовные сущности и само неопишное божество, дано нам «гуманно (φιλανθρώπως) божественным промыслом» (Ibid. I. 1261 A), остальные же в большом количестве создаются людьми для получения, сохранения и передачи знания о первообразах.

Что же может быть познано с помощью образов, или, что собственно может быть изображено? Практически — весь универсум, и, в первую очередь, все видимое глазом. «Естественно изображаются тела и фигуры, имеющие телесное очертание и окраску» (Ibid. III. 24). Могут быть изображены также и такие бестелесные «духовные существа», как ангелы, демоны, душа. Они запечатлеваются «сообразно их природе», в традиционнo свойственных им формах («как их видели достойные люди») и именно так, «что телесный образ показывает некоторое бестелесное и мысленное созерцание», т. е. возводит ум зрителя к созерцанию духовных сущностей. Одна лишь «божественная природа неопишима» и неизобразима.

К VIII в. в империи существовало, однако, уже множество живописных изображений Христа (икон, росписей, мозаик). Именно вокруг них и разгорелась иконоборческая полемика. Точка зрения Иоанна, как и других иконопочитателей, однозначна: невидимого и неопишмого Бога изобразить невозможно, но воплотившегося Бога, реально принявшего человеческую плоть, жившего в «зраке раба» среди людей, изображать не только можно, но и необходимо. Именно это и делают христиане. И Иоанн призывает живописцев изображать все основные события из земной жизни Христа, развертывая целую иконографическую программу религиозных изображений: «начертай неизреченное его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преобразование на Фаворе, страдания, доставляющие бесстрашие, смерть, чудеса — символы его божественной природы, совершаемые божественным действием чрез действие плоти; спасительный крест, гроб, воскресение, восшествие на небеса — все пиши — и словом и красками. Не бойся, не страшись» (Ibid. I. 8).

Сохранившиеся до наших дней описания храмовых изображений, (например, экфрасис Хорикия Газского церкви св. Сергия¹⁰) и некоторые из уцелевших икон и росписей показывают, что ко времени Иоанна уже сложилась достаточно устойчивая иконографическая традиция, включавшая все перечисленные им сюжеты. Именно на эту традицию и опирается он в своей защите изображений.

Да, он согласен с иконоборцами в том, что в Писании нигде нет прямых указаний на необходимость создания антропоморфных религиозных изображений. Однако древние отцы, по мнению Иоанна, передали нам многие законы в форме неписаного церковного предания, и оно имеет силу закона. Это относится и к религиозным образам (Ibid. I.23; 25; II.16). В подтверждение он приводит подборки свидетельств известных церковных авторитетов прошлого о древних христианских изображениях, об их значимости для церкви, о чудесах, творимых ими, и т. п. Сложившиеся христианские традиции, церковное предание приобретают в византийской культуре VIII—IX вв. уже силу неоспоримого авторитета, если и не равного, то приближающегося к авторитету Писания. *Традиционализм* становится с этого времени одной из главных черт византийской культуры.

Какие же особенности, свойства, функции изображений, по мнению Иоанна, опиравшегося на предание, обосновывают их необходимость в религиозном обиходе?

Прежде всего, они выполняют *дидактически-информативную* функцию и в этом плане оказываются адекватными словесному тексту. Вслед за Василием Великим он повторяет, что «изображения заменяют неграмотным книги» (Ibid. I. 1265 D; I. 17).

Так же, как и словесный текст, картина выполняет *коммеморативную* функцию. «Образ же есть напоминание» — пишет Иоанн (Ibid. I. 17). {406} Рассматривая на картине события

¹⁰ *Mango C. The Art of the Byzantine Empire, 312—1453. New Jersey, 1972. P. 60—68.*

священной истории, подвиги ранних христиан, мы вспоминаем славные страницы прошлого и стремимся в своей жизни по мере возможности подражать этим персонажам (Ibid. I. 21).

Изображения выполняют и чисто *декоративную* функцию в храме — они украшают его. При этом, по мнению Дамаскина, «гораздо почтеннее украсить все стены дома Господня фигурами и изображениями святых, чем бессловесных и деревьев» (Ibid. I. 20), т. е. он отдает предпочтение антропоморфным образам даже с чисто эстетической точки зрения.

Специфическая красота, доступность и наглядность живописных картин выгодно отличают их от словесных образов, выдвигая их часто на первое место. Дамаскин, вслед за Василием Великим, признает, что красота живописного изображения доставляет зрителю особое духовное наслаждение: «У меня нет множества книг. Я не имею досуга для чтения. Вхожу в общую целительницу душ — церковь, терзаемый заботами, как терниями. Цвет живописи влечет меня к созерцанию и, как луг услаждая зрение, незаметно вливает в душу славу Божию» (Ibid. I. 1268 АВ). Здесь собственно эстетическая функция живописи, оказывающая сильное воздействие на человека, неразрывно соединяется отцами церкви с религиозной, и изображение наряду с перечисленными общекультурными утилитарно-эстетическими функциями наделяется специфическими — религиозно-сакральными, игравшими немаловажную роль как в культовой практике византийцев, так и в деле защиты икон. И Иоанн обращает внимание на ряд таких функций. Во-первых, изображение (как и всякий религиозный образ по Дионисию Ареопажиту) не замыкает внимание зрителя в самом себе, но *возводит* ум его «чрез телесное созерцание к созерцанию духовному» (Ibid. III. 12), т. е. выполняет *анагогическую* функцию.

Во-вторых, изображения Христа не только возводят ум к духовным сущностям, но и сами являются носителями возвышенного (ο;´ υ;´ ψηλός), ибо, как полагал Иоанн, «снизойдя» своим воплощением к «смиренному мудрованию» людей, «Возвышенный» сохранил свою «возвышенность» (Ibid. I. 1264С). Печать возвышенного несут на себе и иконы с изображениями Христа. Отсюда понятны и многие специфические особенности художественного языка византийской живописи, ибо с их помощью древние мастера пытались выразить именно *возвышенность* объекта изображения¹¹.

В-третьих, Иоанн полагал, что иконы, как и остальные предметы культа, содержат «божественную благодать», которая дается им «ради имени [на них] изображенных» (Ibid. I. 1264В). На вере в это основаны многочисленные легенды о чудотворных иконах.

Именно благодаря *харизматической* (от χάρις — благодать) функции икон верующие, по мнению Дамаскина, приобщались к святым и священным событиям, «освящались» (Ibid. I. 21)»

Наконец, икона является *поклонным* образом — ей поклоняются. «Поклонение есть знак благоговения, то есть умаления и смирения» (Ibid. III. 27). Поклоняются в иконе не ее матери, а образу, запечатленному в ней (Ibid. II. 19), и адресовано это поклонение самому архетипу (Ibid. III. 41).¹¹ {407}

Итак, развернутая теория образа складывается у Дамаскина как бы из трех разделов. Первый — *общая теория образа* в ее онтологическом и гносеологическом аспектах; второй — *теория изображения*, в первую очередь визуального, но также, отчасти, и вербального, и третий — *теория иконы* — антропоморфного изображения, выполняющего сакрально-культовые функции. Икона, таким образом, является частным случаем изображения, а изображение — частным случаем образа. На икону, соответственно, распространяется практически все то, что сказано у Дамаскина об образе и изображении.

Ни один из пунктов этой теории не является изобретением самого Иоанна Дамаскина. Все их по отдельности можно найти у его предшественников, однако ни у одного из них она не представлена в столь полном и систематизированном виде. Апологетические и схоластические задачи заставили крупнейшего византийского систематизатора свести в некую целостную концепцию все то, что до него было разбросано по бесчисленным трактатам, речам и посланиям отцов церкви.

Теория образа Иоанна Дамаскина и собранные им высказывания предшествующих мыслителей об изображениях были активно использованы последующими иконопочитателями.

¹¹ Подробнее см.: *Michelis P. A. An Aesthetic Approach to Byzantine Art. L., 1955.*

Как известно, VII Вселенский собор, проходивший в Никее в 787 г., практически целиком был посвящен вопросам иконопочитания. В связи с этим общая теория образа здесь практически не затрагивалась. Речь шла о религиозных антропоморфных изображениях, то есть прежде всего об иконах. На Соборе были подтверждены и узаконены основные положения теории иконы, сформулированные Иоанном, а также разработан ряд новых положений, основывающихся на церковном предании и художественной практике. Участники Собора подтвердили, что с точки зрения информативной живописное изображение адекватно со словесным текстом: «...что повествование выражает письмом, то же самое живопись выражает красками» (Mansi. XIII. Col. 232 B). Собор подчеркивает важнейшее дидактическое значение живописи. Если книги доступны очень немногим, а чтение далеко не всегда звучит в храме, то «живописные изображения и вечером, и утром, и в полдень постоянно повествуют и проповедают нам об истинных событиях» (Ibid. Col. 361 A).

Отцы Собора проводят полное равенство между словесными текстами и соответствующими живописными изображениями, называя и то и другое «чувственными символами» (Ibid. Col. 482 E). Если вспомнить, что под словесными текстами имеются в виду прежде всего тексты Священного писания, считавшиеся богооткровенными, то можно представить, насколько возросла значимость изобразительного искусства (прежде всего живописи) в византийской культуре по сравнению с античной, считавшей изображение, по словам Платона, «тенью тени». В Заключении Собор констатировал: «Познаваемое тем и другим способом не имеет между собою никакого противоречия, взаимно объясняется и заслуживает одинаковой чести» (Ibid. Col. 482 E). Более того, живописное изображение, по мнению иконопочитателей, дополняет и разъясняет евангельский текст.

Столь высоко оценив роль религиозных образов, участники Собора утверждали, что их «изобретение» — дело отцов церкви, а не живописцев. Последним «принадлежит только техническая сторона дела, а самое учреждение зависело от святых отцов» (Ibid. Col. 232 C). Вся сфера религиозного искусства (а светское, как известно, не поощрялось церковью), таким образом, полностью относилась к церковной компетенции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним из главных критериев признания искусства выступала его нравственно-религиозная направленность. «Если оно для благочестия, то оно должно быть принято, если же для чего-нибудь позорного, то оно ненавистно и должно быть отвергнуто» (Ibid. Col. 241 D).

Защищая антропоморфные образы, прежде всего Христа, имеющего в себе наряду с человеческой божественную (неизобразимую) природу, иконопочитатели отстаивают в первую очередь чисто миметические изображения, т. е. имеющие лишь внешнее сходство с прототипом, а общность только «по имени», но «не по сущности» (Ibid. Col. 252D).

Отвергая обвинение в отождествлении иконы с Богом, т. е. в идолопоклонстве (что имело место в народной религиозности), иконопочитатели особо подчеркивали различие иконы и первообраза. Одно дело, полагали они, икона и совсем иное — первообраз, «и свойств первообраза никогда никто из благоразумных людей не будет искать на иконе. Истинный ум не признает на иконе ничего более, кроме сходства ее по наименованию, а не по самой сущности, с тем, кто на ней изображен» (Ibid. Col. 257D). Это, однако, не означает, что икона лишена святости. Собор утверждает, что церковь, изображая на иконах Христа в человеческом образе, не отделяет (как утверждали иконоборцы) «его плоти от соединившегося с нею божества; напротив, она верует, что плоть обоготворена, и исповедует ее единою с божеством» (Ibid. Col. 344A), т. е. самое видимое и изображаемое тело Христа иконопочитатели считали обоготворенным. И далее они пытаются доказать своим противникам, что живописный образ, не имея онтологически ничего от сущности первообраза, но передавая лишь его внешний вид, выражает его духовную сущность. В этом иконописец подобен портретисту, который, «живописно изображая человека, не делает его чрез это бездушным, а напротив, человек этот остается одухотворенным, и картина называется его портретом из-за ее сходства» (Ibid. Col. 344B). Именно благодаря «подобию» иконы первообразу она и получает его имя, а чрез это «находится в общении с ним; поэтому же она достойна почитания и свята» (Ibidem). Вследствие этого, утверждают иконопочитатели, мы любим иконы, целуем их (как объект любви) и поклоняемся им (Ibid. 404E). Сам факт создания изображения является знаком выражения *любви* к изображенному. И любовь, и целование, и поклонение, по глубокому убеждению иконопочитателей, че-

рез посредство иконы переходят к первообразу, т. е. осуществляется акт общения, хотя и не непосредственного, с изображенным персонажем. В этом — одна из главных функций иконы как «поклонного образа».

В качестве важных аргументов в защиту икон на Соборе были выдвинуты еще две функции религиозных изображений — *психологическая* и *догматическая*. На заседаниях были оглашены свидетельства отцов и учителей церкви о том, что изображения мучеников и их страданий, жертвоприношения Авраама, страстей и распятия Христа вызывали у зрителей «сердечное сокрушение» и слезы сострадания и умиления¹². {409} А без слез и «сердечного сокрушения», по мнению христианских идеологов, немислима жизнь истинного христианина.

На Соборе было подчеркнuto, что словесное описание (например, «Жертвоприношения Авраама») не дает столь сильного эмоционального эффекта, как живописное изображение (Ibid. Col. 9DE). Отдавая приоритет живописи перед словом в вопросе эмоционально-психологического воздействия, отцы Собора имели в виду иллюзорно-натуралистические религиозные изображения, выполненные в манере эллинистической живописи. К сожалению, они, видимо, почти полностью были уничтожены в период иконоборчества. До наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты, однако дошедшие описания некоторых из этих произведений дают возможность составить о них более или менее ясное представление. В частности, на Соборе было зачитано известное описание Астерия Амасийского серии картин с изображением мучений девы Евфимии (Ibid. Col. 16D—17D). Из этого экфрасиса можно понять, что именно натуралистический характер живописи способствовал возбуждению сильной эмоциональной реакции византийского зрителя. «Живописец,— разъясняет Астерий,— так хорошо написал капли крови, что можно подумать, будто они в самом деле капают изо рта девушки, и невозможно без слез смотреть на них» (Ibid. Col. 17B). Именно такой тип изображений представлялся отцам Собора наиболее подходящим для культовой живописи. Однако византийская художественная практика послеиконоборческого периода не пошла по этому пути. Был выработан особый образительный язык, далекий от иллюзорно-натуралистических приемов передачи действительности. Ближе к пути, предписанному отцами VII Вселенского собора, развивалось западноевропейское средневековое искусство. Бесчисленные экспрессивно-натуралистические изображения пыток христианских мучеников и страданий Христа, наполнявшие храмы средневековой Европы (и в большом количестве сохранившиеся до наших дней), явно получили бы высокую оценку иконопочитателей VIII в.

Здесь не место заниматься рассмотрением интересной проблемы расхождения теории и практики византийского религиозного искусства, но следует подчеркнуть, что ориентация иконопочитателей VIII в. на миметически-натуралистические изображения не была случайной прихотью дилетантов от искусства или ностальгией по эллинистической живописи (о которой они, как известно, не желали слышать). И определялась она не столько психологической функцией натуралистических образов, сколько *догматической*.

Главным аргументом в защиту антропоморфных икон Христа служила убежденность иконопочитателей в том, что такие изображения служат доказательством *истинности божественного воплощения*. В определении Собора записано, что он утверждает древнюю традицию «делать живописные изображения, ибо это согласно с историей евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово истинно, а не призрачно вочеловечился, и служит на пользу нам; потому что объясняющие друг друга вещи без сомнения и доказывают взаимно друг друга» (Ibid. 377C).

Изображение в данном случае выступало для иконопочитателей в той роли, которую сейчас в культуре играет документальная фотография, т. е. понималось как механический отпечаток оригинала. Если есть от-{410}печаток, то, следовательно, был и материальный оригинал, запечатленный на нем. Не случайно христианская традиция начинает бесчисленный ряд икон Христа с «нерукотворных образов», сделанных по легенде самим Иисусом путем прикладывания к своему лицу матерчатого плата, на котором и запечатлевалось его точное изображение. Последующая живописная традиция только размножила этот «документальный» образ Христа. Поэтому-то иконы и служат в глазах иконопочитателей важным доказательством воплощения Сына Божия, т. е. доказательством истинности христологического догмата. Не слу-

¹² См.: Mansi. XII. Col. 266 A. 967 B; XIII, 9 DE, 12 A; 17 A.

чайно окончательная победа иконопочитания в Византии празднуется церковью как «триумф православия».

Дальнейшее углубление теории образа мы находим у крупнейшего мыслителя VIII—IX вв. Феодора Студита. Он развивает многие из положений Дамаскина и отцов VII Вселенского собора, приводя дополнительную аргументацию, делает акцент на ряде новых положений. При этом его рассуждения касаются и теории образа в целом, и живописных изображений, и теории иконы в частности.

Феодор, неоднократно ссылаясь на Псевдо-Дионисия, с одной стороны, и приравнивая иконы к разнообразным предметам культа — с другой, тем самым свидетельствует, что им безоговорочно принимается и общая теория символического образа автора «Ареопагитик», и теория литургического образа, разработанная в процессе культовой практики. Однако не они привлекают его внимание и не их использует он в качестве главного аргумента в защиту икон. Свою апологию антропоморфных религиозных изображений, а следовательно, и обоснование важнейшего христианского догмата божественного «домостроительства» он строит, как это ни парадоксально, опираясь на идеи неоплатонизма именно на платоновском учении о «внутреннем эйдосе» (τοῦ εἶδός; ἴδιον εἶδος) хотя не употребляет этого термина и, по вполне понятным причинам, не упоминает имени Плотина. Применительно к предметам видимого мира и произведениям искусства под «внутренним эйдосом» у Плотина имеется в виду идеальный визуальный прообраз предмета. «Внешний вид здания,— пишет он,— если удалить камни, и есть его внутренний эйдос» (En. I. 6, 3). Эта идея лежит и в основе всех рассуждений Феодора о соотношении образа (изобразительного) и первообраза.

Для более доступного объяснения ее он прибегает к упрощенной аналогии. Первообраз и образ находятся, по его мнению, как бы в соотношении двойного и половинного. «Первообраз, конечно, включает в себе самом образ, по отношению к которому он и является первообразом». Точно так же, как и двойное состоит из двух половин, по отношению к каждой из которых оно и является двойным. И так же, как не могло бы существовать двойного, если что-нибудь не мыслилось бы половинным, так и «первообраз, конечно, не существовал бы, если бы не было образа» (Antir. III. 4, 4)¹³. «Первообраз и образ как бы имеют бытие друг в друге и с уничтожением одного из них соуничтожается и другое, подобно тому, как с уничтожением двойного соуничтожается и половинное» (Ibid. III. 4, 5).

О чем собственно идет речь у Феодора? Под первообразом у него имеется в виду «то самое, о чем говорится, что оно описуемо» (Ibid. {411} II. 9), а образ — это некое «описание» первообраза, его отпечаток, отражение в чем-либо, которое «должно во всем соответствовать первообразу» (Ibid. III. 1, 40), т. е. это нечто вторичное, производное. Тогда как же следует понимать, что с уничтожением образа уничтожается и оригинал? Речь здесь идет, конечно, не о физическом уничтожении какого-то конкретного материального изображения, но о принципиальной *возможности бытия образа*, или фактически о «внутреннем эйдосе», который, собственно, и объединяет образ с первообразом и при отсутствии которого и тот, и другой утрачивают свой онтологический статус, т. е. перестают существовать как таковые. В терминологии Феодора внутренний эйдос получил наименование некоего «подобия» (παράγωγον), которое является визуальной производной первообраза, или, если так можно выразиться, визуализированной идеей архетипа. «Внешний вид, насколько он имеет место в первообразе, называется его подобием, и вследствие этого одно не отделяется от другого, за исключением только различия сущности» (Ibid. III. 3, 10). Подобие это не материально, оно является как бы идеальным образом внешнего вида архетипа и может быть воплощено в различных материалах. Однако в любых материальных воплощениях оно остается одним и тем же и получает наименование *характер* (отпечаток, клеймо). «Без сомнения,— пишет Феодор,— образ, начертанный по подобию на различных веществах, везде остается одним и тем же. Он не мог бы, однако, оставаться неизменным на различных веществах, как только при условии, что не имеет с ними ничего общего, но лишь мысленно соединяется теми [веществами], на которых он находится» (Ibid. III. 3, 14). Если прибегнуть к искусствоведческой терминологии, то под этим *характер* Феодора имеется в виду не что иное, как иконографический тип изображения, а изложенная концепция является по сути дела философско-эстетическим обоснованием *каноничности*, ре-

¹³ Тракаты Феодора в защиту иконопочитания цитируются по: PG. Т. 99.

лигиозного искусства. Действительно, если «внутренний эйдос» вещи, или ее «подобие», и, соответственно, ее характер — величины неизменные, то и все многочисленные изображения этой вещи в различных материалах должны быть каноничны, то есть должны предельно сохранять один и тот же иконографический тип. Отсюда и распространенная в поздневизантийский период работа живописцев по образцам и иконографическим подлинникам.

Переходя к конкретным образам, Феодор подчеркивает, что «первообраз находится в изображении не по существу», но «по подобию» (Ibid. III. 3, 1). Изображение и архетип имеют «одно подобие» (Ibid. III. 4, 1), но различные сущности. При этом под «сущностью изображения» Феодор имеет в виду вещество, из которого оно изготовлено (см.: Ibid. III. 3, 6 и др.), под сущностью человека — его человеческую природу, а под «сущностью» Христа — его богочеловеческое начало. «Природа изображения,— пишет он,— в том и заключается, что оно тождественно с первообразом в отношении подобия, а различается по значению сущности» (Ibid. III. 4, 6).

Таким образом, переходит Феодор к главному вопросу иконоборческой полемики, *одно* «подобие», или один мысленно существующий визуальный образ, содержится в самом Христе и в его изображении, т. е. «можно видеть: в Христе пребывающее в нем его изображение, а в изображении — Христа, созерцаемого как первообраз» (III. 4, 2). Поэтому, {412} когда Христос был доступен зрению, в нем по мере возможности созерцался и его образ, так как он «по природе» присутствовал в Христе. Потом этот «видимый образ» был перенесен на любое подходящее для этой цели вещество (Ibid. III. 4, 2), т. е. был воссоздан с помощью искусства.

Файл byz413g.jpg

Христос. Вторая четверть XII в.

Собор св. Софии.

Константинополь.

Мозаика в южной галерее.

До сих пор, как мы видели, рассуждения Феодора практически лежали в русле неоплатонизма. Однако при переходе к произведениям искусства он начинает расходиться с платониками. Конкретное живописное изображение приобретает у него существенно более высокую значимость, чем во всей неоплатонической традиции. По его мнению, в изображении видимый образ (или «внутренний эйдос») выявляется для зрителей лучше, чем в самом первообразе. Так, видимый образ Христа находился в нем и до того, как он был запечатлен на веществе, но примерно так же, «как и тень всегда находится при теле, даже если она и не получила формы от светового луча» (Ibid. III. 4, 3). Изображение же выявляет «видимый образ» архетипа, делает его явным для всех. «Как тень,— пишет Феодор,— от действия солнечного луча становится ясно видимою, так и образ Христа становится явным для всех тогда, когда он является запечатленным на [различных] веществах» (Ibid. III. 4, 12). Здесь, очевидно, существенно углубляется выдвинутая на VII Соборе мысль о запечатлевающей функции изображения. И у Феодора икона мыслится как механический отпечаток, но не какого-то конкретного состояния внешнего вида оригинала, а его идеального «видимого образа», т. е. это не слабая тень оригинала, как у платоников, а *особая форма выражения оригинала*, специально ориентированная на выявление его «видимого образа». Именно поэтому изображение и приобретает высокую значимость в византийской религиозной культуре вообще, и у Феодора Студита в частности.

Логика его рассуждений такова. Если Христос истинно вочеловечился, то он вместе с плотью приобрел и «видимый образ», который может и должен быть изображен на иконе. Если же Христос не имеет такого изображения, то, следовательно, он не имеет и «видимого образа», а значит, он и не был истинным человеком. Поэтому-то наличие изображений и является для Феодора доказательством истинности божественной «икономии» (Ibid. III. 4, 8). «Одно — печать и другое — отпечатанное изоб- {413} ражение. Однако и до отпечатывания отпечаток [находился] на печати. Печать, однако, была бы недействительной, если бы не имела отпечатка на каком-либо веществе. Соответственно и Христа пришлось бы признать недействительным и недействительным, если бы он не был видим в изображении искусства» (Ibid. III. 4, 9).

Таким образом, догматический аспект занимает в теории образа Феодора, как и у отцов VII Вселенского собора, важное место и базируется, в первую очередь, на идеях неоплатониче-

ской эстетики. В этом состоит, пожалуй, главный вклад Студита в теорию иконы, активно формировавшуюся в период VIII—IX вв.

Подводя итог иконоборческой полемике, учитывая аргументы не только иконопочитателей, но и иконоборцев, Феодор приходит к антиномическому заключению относительно образности Христа, которое вытекает из антиномичности христологического догмата. Когда одна ипостась Троицы, именно Сын, снизошла в человеческую природу, «то совершилось соединение несоединимого, смешение того, что не смешивается: неопишуемого с описуемым, бесконечного с конечным, неограниченного с ограниченным, не имеющего образа с имеющим видимый образ, что и удивительно» (Ibid. I. 2). В Иисусе «неслитно соединились» две природы — божественная (по Отцу) и человеческая (по Матери) (Ibid. Refut. poem. 30). Свойством божественной сущности является неопишуемость, свойством человеческой — описуемость. Следовательно, делает вывод Феодор и многократно его повторяет, — Христос и описуем и неопишуем (Antir. III, 1. 3)¹⁴. Тело свое он получил от матери, имевшей только человеческую природу, т. е. описуемую и изображаемую. Поэтому по материнской природе Иисус описуем и имеет «изображение телесного вида» (Refut. poem. 4; Antir. III. 2, 3), а по отцовской — неопишуем и не подлежит изображению. Обладая одновременно двумя природами, приходит к выводу Феодор, Христос предстает нам «описуемо-неопишуемым» (υραλτοάυραλτος) (Quest. 1) и соответственно «остаётся неопишуемым и в то время, когда изображается [на иконах]» (Ibid. Antir. I. 3)¹⁵. Эти лаконичные, но емкие формулы по сути дела снимали многие доводы иконоборцев и должны были примирить враждующие партии, ибо в них, если можно так выразиться, был зафиксирован эстетический аспект христологического догмата, т. е. с их помощью узаконивалось место изобразительного искусства, или точнее иконы, не только в системе религиозного культа, но и в системе православной догматики, что было не менее важно для византийской культуры. Догмат об иконопочитании занял свое место среди главных догматов православия.

Интересно отметить, что обоснование этого догмата иконопочитатели строили, как мы видели, в основном на философско-эстетических принципах, а не на богословских. Мысли о культовом и сакрально-мистическом значении иконы встречаются у них не часто и практически не играют роли в их полемике с иконоборцами.

Иоанн Дамаскин лишь вскользь упоминает о харизматической функции иконы. На VII Соборе приводились свидетельства о чудотворных {414} иконах, но и они занимали скромное место в полемике. Феодор Студит, пожалуй, только в одном месте прямо говорит о сакральной функции иконы. В послании к своему духовному отцу Платону он призывает его поклоняться иконе и «веровать, что в ней является божественная благодать и что приступающим к ней с верой она сообщает освящение» (Ibid. Ep. Plat. 505B). Несмотря на столь редкие упоминания о сакральной значимости иконы, все иконопочитатели много и всесторонне говорят о поклонении иконе. Однако поклоняться ей следует, по их мнению, не как автономному носителю благодати, а, в первую очередь, как *изображению* первообраза. Он в изображении созерцается; к нему переходит поклонение, от него икона получает благодатную силу и энергию.

Широкие массы верующих, живших еще где-то в глубинах подсознания архетипами языческих верований, часто почитали христианские изображения за самостоятельные носители благодати и чаяли в них свое спасение. Иконоборцы усматривали в этом дремучее невежество и с презрением обвиняли всех иконопочитателей в идолопоклонстве. Думается, что именно поэтому защитники икон не акцентировали внимание на сакрально-литургическом значении изображений (чтобы отвести обвинение в идолопоклонстве), хотя постоянно помнили о нем. На первый же план они выдвинули философско-эстетические функции образа и изображения. Особой значимостью при этом был наделен миметический (подражательный) образ, ибо именно в изображении внешнего вида первообраза, как мы уже убедились, усматривали иконопочитатели основную ценность иконы, Феодор Студит, как было показано, существенно дополнил теорию миметического изображения и углубил ее, на новый лад интерпретируя идеи неоплатонической эстетики.

Рассуждая об антропоморфных изображениях, Феодор показывает, что в них представлена не некая абстрактная природа предмета изображения, но он сам в своих конкретных, при-

¹⁴ См. также: PG. Т. 99. Antir. III.1. 13; 22; 34; 38; 39; 43; 58; III 2, 3; 3—7; 11.

¹⁵ μεμνηκέναι καὶ ἄ᾽ περίυραλτων εἰν τῷ; , περὶυγράψθαι.

сущих только ему чертах. «Да и как может быть изображена природа,— спрашивает он,— которая невидима в отдельном предмете? Например, Петр изображается не в том отношении, что он есть существо разумное, смертное, способное к мышлению и познанию: ибо это определяет не только Петра, но и Павла, и Иоанна, и всех остальных того же вида. [Петр] изображается лишь постольку, поскольку он наряду с общими для всех людей свойствами имеет и некоторые частные особенности, как то: орлиный или вздернутый нос, курчавые волосы, хороший цвет лица, красивые глаза или что-либо иное, характеризующее присущий ему внешний вид, которым он отличается от подобных ему особей. Затем, хотя он состоит из души и тела, но ни одно свойство души не отражается во внешности изображения». Именно в таком плане предстает на иконах Христос (Ibid. Antir. III. 1, 34). Кажется, яснее уже и нельзя изложить суть миметического (подражательного) изображения. Интересна, однако, последняя фраза этого рассуждения. Представляется, что в контексте всей теории образа Феодора она должна означать не утверждение невыразимости душевных движений и состояний во внешнем виде человека, а на его лице прежде всего, а специальное требование к живописи не передавать такие движения и состояния. По теории Феодора, в религиозной живописи должен быть воплощен во всех своих конкретных деталях изначально заданный, как бы онтологический «портрет» человека, а не сиюминутное состояние {415} его внешности, отражающее, в частности, и душевные движения. В этом плане Феодор существенно расходится в понимании миметического образа с теми отцами VII Вселенского собора, которые высоко оценивали психологизм раннехристианских изображений¹⁶. Для него важен, говоря словами Плотина, «внутренний эйдос» изображаемой вещи, являющийся производной (παράγωγον) сущности вещи и запечатленный в ее внешнем виде.

Таким образом, «миметическое изображение» в понимании Феодора — это не натуралистическая копия вещи, но как бы отпечаток ее конкретного онтологического облика, имеющего свои индивидуальные черты (орлиный нос, курчавые волосы и т. п.) и практически не подверженного никаким изменениям, ни внешним, ни внутренним¹⁷. Именно в направлении создания таких изображений и развивалось византийское искусство уже с первых веков своего существования, но особенно активно и (результативно в послеиконоборческий период.

Существенный вклад в защиту религиозного изобразительного искусства и разработку теории образа внес известный единомышленник Феодора Студита историк и богослов, константинопольский патриарх (806—815) Никифор (ум. в 829). Его полемика с иконоборцами носила чисто риторический характер, малоубедительна и не представляет для нас особого интереса. Однако в процессе этой полемики он затронул ряд интересных эстетических и искусствоведческих проблем, которые существенно дополняют картину византийской эстетики иконоборческого периода.

Размышляя о сущности живописного образа, Никифор поднимает проблему *описуемости* и *изобразимости* и показывает, что эти понятия неадекватны, неравнозначны и ими описываются разнопорядковые явления, не имеющие практически точек соприкосновения. Это разграничение, проводимое достаточно последовательно Никифором, дает возможность более конкретно представить, как понимали иконопочитатели суть живописного образа.

По мнению Никифора, между описанием (=ограничением) (περίγραφή) и изображением (ὑγραφή) имеется существенное различие. Описуемость — это одно из сущностных свойств сотворенного мира, необходимый признак любого предмета и явления, получившего бытие¹⁸, главная гарантия существования тела (PG. T. 100. Antir. I. 22, 252B), более того — «самоопределение, сущность тела» (Ibid. III. 39, 444B). Если тело неопишимо, то оно, по мнению Никифора, и не существует. Описание — это способ отграничения вещи от всего, что ею не является, то есть способ существования вещи. Никифор различает четыре основных вида описания (=ограничения): «Описуемое описывается или пространством, или временем, или началом, или познанием» (Ibid. II. 12, 356C).

¹⁶ В описании сцен мучений девы Евфимии Астерий Амасийский с восхищением отмечает мастерство живописца, сумевшего выразить в лице и фигуре Евфимии девичью стыдливость и удивительное мужество. Отцы Собора поддерживали именно такие изображения. См.: Mansi. XIII. Col. 16D.

¹⁷ В свое время Августин считал, что именно в таком облике воскреснут люди для будущей вечной жизни. См.: De civ. Dei. XXII. 20.

¹⁸ См.: PG. T. 100. Antir. I. 20, 241A; III. 39, 444B.

Описание, или описуемость, по Никифору, одна из главных онтологических характеристик бытия. Изображение же и изобразимость он от-^{416}носит исключительно к сфере деятельности художника. Он различает изображения двух видов — словесные (из букв и слов, составляемые писателями) и изобразительные, начертываемые художниками «ради подобия путем подражания образцу» (Ibid. II. 12, 356A). Писателями обычно называют создающих и те, и другие изображения, и глагол *γραφο*, по мнению Никифора, хорошо подходит для обозначения искусства и писателя, и живописца. Художнику, однако, подвластно только создание изображений, но не «описаний». Когда он изображает человека, это не означает, что он его описывает, т. е. ограничивает пространством, в котором ему надлежит быть. Для бытия описания необходимо наличие самого описываемого, а для бытия изображения присутствие оригинала совершенно необязательно.

В общем случае, резюмирует Никифор, ни живопись не описывает человека, хотя он описуем, ни описание не изображает его, хотя он изобразим, ибо это характеристики разных уровней. Кроме того, всякое изображение описуемо, но не все описуемое и не всякое описание изобразимо. Понятие описуемости шире изобразимости и не имеет с ним каузальной связи (Ibid. II. 13, 360B). Например, годичный цикл времен года описуем, но неизобразим; человеческая жизнь описуема, но не поддается изображению, благоухание цветов описуемо, но неизобразимо и т. п. То есть «изображается по большей части то, что вмещается пространством и воспринимается нашими чувствами, что имеет тело, эйдос и [внешний] вид. А то, что существует иным способом, или не изображается вовсе, или изредка изображается символически (*εἰς ἃ καταχρήσει*), или иными способами» (Ibid. II. 15, 364AB).

Уличив иконоборцев в том, что они смешивали понятия описуемости и изобразимости, Никифор стремится глубже выявить природу живописного образа, его функции и возможности. К изображениям он относит только творения рук человеческих, созданные специально *по подражанию* некоторому образцу, и в *сходстве* с этим образцом усматривают их цель, то есть под изображениями он имеет в виду, прежде всего, произведения *изобразительного искусства*. Описания же — это продукт деятельности божественного творца, земной мастер к их созданию не имеет никакого отношения, но они составляют класс тех образцов или архетипов, по подобию которых художник создает свои изображения. При этом далеко не все описуемое, как показал Никифор, может быть изображено. Однако изображается уже обязательно только то, что описуемо, т. е. другими словами, имеет онтологический статус или реальное бытие в сотворенном мире. Изображение (= произведение изобразительного искусства) — это всегда подобие чего-то реально существующего. В этом — *эстетический реализм*, присущий всей концепции образа иконопочитателей.

В центре теории Никифора стоит проблема соотношения образа и архетипа. «Изображение, — определяет он, — есть подобие первообраза, через сходство запечатлевающее в себе [внешний вид] изображаемого, и отличающееся от него только материей при различии сущностей; или: оно есть подражание и отображение первообраза, отличающееся от него по сущности и по материалу; или: оно есть произведение искусства (*τέχνης αἰσθητότελεσμα*), созданное в подражание первообразу, и отличающееся от него по сущности и по материалу. Если бы изображение ничем ^{417} не отличалось от первообраза, то оно было бы уже не изображением, а [самим] первообразом. Итак, изображение, подобие, рельеф возможны только в отношении к действительно существующему» (Ibid. I. 28, 277A)

К разряду таких изображений Никифор относит все религиозные христианские изображения и иконы, которые использовали в культовой практике иконопочитатели. Этим изображениям, обязательно имевшим, по мнению Никифора, реальный первообраз и запечатлевшим его внешний облик, он противопоставляет другой класс изображений — языческих идолов, которые являются воспроизведениями того, «что не имеет действительного существования». К ним Никифор относил изображения всевозможных тритонов, кентавров и других несуществовавших чудовищ. Именно наличием или отсутствием реального первообраза отличаются, по мнению Никифора, иконы (религиозные изображения христиан) от идолов (культурных изображений язычников) (Ibid. I. 29, 277B)

Рассматривая характер соотношения изображения с архетипом, Никифор отмечает прежде всего их существенное различие — они отличны друг от друга по главным онтологиче-

ским характеристикам, т. е. с точки зрения сущности изображение не имеет ничего общего с архетипом.

В чем же видит Никифор общность, или, вернее, связь между изображением и оригиналом? Он усматривает ее прежде всего в том, что определяется известной философской категорией *отношения* (σχέσις). Изображение (и образ) принадлежит, по его мнению, к разряду предметов «соотносительных», т. е. таких, главной чертой которых является соотнесенность с другим предметом, а не самодовлеющее бытие. «Соотносительным называется то, что в своем бытии определяется относительно другого» (Ibid. I. 30, 277C). Так, понятие «отец» имеет смысл только в отношении к сыну и обратно. Соответственно и понятие «изображение», «образ» подразумевает, что речь идет об изображении какого-либо архетипа. Никто не назовет образом предмет, если он не изображает никакой первообраз. Также и о первообразе не идет речи, если не имеется в виду, что есть изображение этого первообраза. Каждое из этих понятий мыслится в отношении к другому. При этом отношение изображения сохраняется и тогда, когда одна из сторон (а в крайнем случае, и обе) перестает реально существовать. Например, умирает человек, но остается его портрет, а следовательно, остается и отношение изображения, как сохраняется отношение отчества или сыновства, когда умирает отец или сын (Ibid. I. 30, 280A).

Итак, Никифор, развивая теорию изобразительного образа, дополняет эстетику новой категорией, до этого применявшейся только в философских сочинениях. Введение категории отношения в качестве *отношения изображения* для выявления сущности образа, создаваемого художником, с новой силой подтвердило специфически реалистическую тенденцию эстетики иконопочитателей. Для них произведение искусства (изобразительного, прежде всего) имело значимость и ценность только в том случае, если оно являлось *отображением* реально существующего (или существовавшего) оригинала. Если же первообраз не подразумевается, то нет и ситуации отношения, нет, следовательно, и изображения, т. е. для византийского теоретика искусства VIII—IX вв. просто немислимо изображение того, чего не существовало. Изображение, коль скоро оно {418} есть и сделано серьезным человеком, обязательно свидетельство бытия первообраза. В этом видели византийские теоретики и практики искусства главную ценность изобразительного искусства. Даже чисто символические образы, к которым иконопочитатели относились с большой осторожностью, но принимали, как учрежденные самим Богом, воспринимались ими только как соотносительные, т. е. имеющие реально существующий, хотя и недоступный чувственному восприятию, первообраз.

Сущность изобразительного отношения составляет *подобие* образа архетипу. При этом речь идет о подобии внешнему облику предмета, а не его сущности. Так, если, говоря об образе Бога в человеке. Никифор имеет в виду духовное начало человека (Ibid. III. 58, 484C), то в случае с живописным образом он говорит исключительно о внешнем облике архетипа. «Живопись передает только внешний вид и не имеет никакого отношения к описанию сущности» (Ibid. I. 30, 280C); изображение имеет дело только с обликом (ὄψις, σχήματι) предмета (Ibid. 20, 241C); образ и первообраз «подобны по виду, но различны по сущности» (Ibid. 30, 280C), не устает повторять Никифор.

Как и у других иконопочитателей, сходство по внешнему виду особо важно для доказательства истинности воплощения Христа. В более широком культурно-историческом и эстетическом контекстах идеи «подобия по внешнему виду» складываются в теорию миметического образа, на которую во многом опиралась средневековая художественная практика¹⁹.

У Никифора эта теория принимает следующий вид. Искусство обязательно предполагает наличие некоей *описуемой* реальности, природы архетипа, которые существуют независимо от искусства и являются главной причиной искусства. Произведения искусства (изображение, образ) творится художником путем подражания первообразу, создания некоторого подобия его внешнего вида, но не сущности. «Искусство подражает природе,— пишет Никифор,— но не одно и то же с нею; оно берет природные формы как образцы и первообразы и создает нечто подобное и похожее, как это можно видеть на многих произведениях» (Ibid. I. 16, 225D). Ис-

¹⁹ Бычков В. В. Три тенденции понимания образа в ранней средневековой эстетике// Eikon und Logos. Halle, 1981. Bd. 1; см. также: Бычков В. В. За разбиранием на образа в ранната средневековна култура//Философска мисъл. С., 1983. Кн. 8.

куство может отображать и хорошие, и дурные первообразы, но только изображения хороших предметов достойны поощрения и почитания, образы же дурных вещей должны быть отвергнуты (Ibid. I.29, 277B).

Идеальное изображение подобно оттиску от печати, то есть приближается к точной копии внешнего вида первообраза. Соответственно, все изображения одного и того же оригинала, например, иконы Христа, должны быть одинаковы, как многие оттиски одной печати. Однако реально все они чем-то немного отличаются друг от друга и для этого есть свои причины (PG. T. 100. Apolog. 31, 612D). Главная состоит в том, что эти изображения делаются различными людьми, по-разному владеющими искусством, из различных материалов, с помощью разных видов искусства, в разных местах. {419}

Степень сходства или подобия в искусстве во многом зависит, по мнению Никифора, от таланта живописца, его навыков, технических возможностей соответствующего вида искусства. Изображение имеет подобие внешнему виду первообраза в той мере, пишет он, «насколько рука живописца управляется его способностями и [владеет] средствами изобразительного искусства» (Ibid. 71, 784B). Сами изобразительные средства накладывают ограничения на отдельные виды искусства. Так, многоцветная живопись обладает, по мнению Никифора, значительными преимуществами в передаче сходства перед монохромным рисунком (Ibid. 71, 784CD). А все изобразительные искусства превосходят словесные и по степени подобия, и по глубине передачи истины.

Рассматривая иллюминированные евангельские кодексы, Никифор отмечает, что предмет изображения и содержание в словесном тексте и в иллюстрациях одни и те же, и в этом плане словесное и живописное повествования «ничем не отличаются друг от друга» (Ibid. Antir. III. 6, 385A). Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что изображение имеет ряд преимуществ перед текстом. Живопись доступна и неграмотным; познание быстрее осуществляется с помощью зрения, чем через словесно-слуховые образы; зрительные образы убедительнее словесных и дольше сохраняются в памяти (Ibid. Apolog. 62, 748D). И вообще, «то, чего ум часто не может постичь слушанием слов, зрение, воспринимая неложно, истолковывает яснее» (Ibid. Antir. III. 3, 380D).

В обоих случаях мы имеем дело с образами. Слова тоже «суть образы вещей», однако они следуют за живописными на втором месте, «как за главными» (Ibid. III. 5, 381C). Слова имеют своими посредниками звуки, которые сначала достигают ушей и только затем после некоего преобразования в уме направляют человека на восприятие самих вещей. Живопись же непосредственно приводит ум зрителя к самим предметам. «Насколько дело превосходит слово, настолько изображение и подобие дела превосходит звуки речи при образовании представлений о предметах» (Ibid. 381D). Изображения делают словесный текст более наглядным и ясным. Слова часто возбуждают споры и недоразумения, при созерцании же образов предметов, по мнению Никифора, никаких сомнений не возникает. Конкретность живописного образа убедительнее любых слов (Ibid. 384A). Именно поэтому существует древняя традиция сопровождать евангельские тексты соответствующими изображениями. Эти картины, чередуясь с текстом, равнозначны ему, сами удостоверяют себя и не нуждаются в дополнительных доказательствах (Ibid. III. 9, 384B). Живопись, давая зрителю ту же информацию, что и евангельский текст, «или превосходит его по скорости обучения, ибо зрение более, чем слух, пригодно для убеждения, или во всяком случае не занимает второго места. И таким образом она равна Евангелию» (Ibidem).

Такого высокого признания, как уже отмечалось, изобразительные искусства достигли впервые у византийских иконопочитателей. Но если приравнивание изображения к евангельскому тексту было нормой практически для всех иконопочитателей, то Никифор идет еще дальше. Он ставит миметическое изображение даже выше изображения креста, которое с древности почиталось христианами в качестве главного сакрально-символического образа их религии. {420}

Хотя Никифор иногда и называл христианские иконы символами и знаками²⁰, знал и принимал как должное символические религиозные изображения, считая, что они созданы по божественному повелению, тем не менее все его симпатии и как религиозного деятеля, и как

²⁰ См.: PG. T. 100. Apolog. 20, 588A; Antir. III. 61. 485D.

человека были на стороне миметических образов. В них он видел оплот православия и силу, способную спасти человечество от нечестия. Сравнивая эти изображения с изображением креста, он стремится показать преимущества миметического образа перед символическим, используя в качестве примера самый священный христианский символ. Никифор насчитывает по меньшей мере десять аргументов в пользу миметических изображений. Остановимся на некоторых из них ²¹.

«Икона Христа,— начинает свой анализ Никифор,— есть его подобие, подобна его телу, дает нам образ его тела, представляет [его] вид, показывает путем подражания многое из того, как он действовал, учил и страдал». Изображение же креста не содержит подобия тела Христа и не показывает ничего из упомянутого. «Подобие чему-либо ближе и родственнее неподобия, ибо делает его вследствие подобия с ним более очевидным, а потому и более чтимым». Следовательно икона досточтимее изображения креста, хотя и крест достоин почитания.

Икона прямо и непосредственно при первом взгляде на нее представляет нам облик изображаемого и вызывает его в памяти, ибо изображение на ней подобно изображению в зеркале. С символическим образом (крестом) все обстоит сложнее. Здесь сначала надо вспомнить, как и кем был освящен этот символ, и уже затем ум может от него перейти к тому, что им символизируется. Совершенно ясно, что «переходящее к чему-либо прямо и делающее это что-то сразу очевидным более заслуживает почитания, чем то, что делает то же самое не сразу».

Тело Христа, конечно, более чтимо, чем крест, к которому оно было пригвождено. Поэтому и изображение тела более чтимо, чем образ креста. Крест — лишь общая схема распятого тела. Насколько тело выше своей схемы, настолько и изображение тела выше подобия его схемы.

Символический образ прочитывается далеко не всеми, но лишь людьми знающими и подготовленными для этого, и он несет значительно меньше информации, чем миметическое изображение того же прообраза. «Крест представляет нам просто и однообразно страдание Христа. Но людьми необразованными он едва ли может быть понят как символ страдания. Между тем священные изображения не только представляют различные моменты страдания и передают их подробнейшим образом, но и запечатлевают перед нами также подробнее и яснее чудеса и знамения, совершенные Христом».

Наглядность и *ясность* для Никифора, как и для многих теоретиков искусства того времени, выступают главными критериями изобразительного искусства. А так как им мало отвечали символические изображения, то они, естественно, уступали в теориях иконопочитателей пальму первенства миметическим образам.

Крест есть «символ страдания и обозначает способ, которым страдавший перенес страдания». Икона же — «отображение и подобие самого {421} страдавшего», которые представляют его более приличным и достойным образом, чем изображение креста, имеющее к распятому «внешнее» и косвенное отношение. Поэтому икона, изображающая самого Христа, достойна большей чести, чем образ креста, показывающий способ его мученической смерти.

Не все положения Никифора одинаково убедительны. Однако в целом они складываются в единую концепцию, крайне актуальную для того периода византийской культуры,— всеми возможными (и даже невозможными) способами обосновать приоритет миметических религиозных изображений и перед символическими изображениями, и перед словесными описаниями. Такова главная тенденция духовной культуры того времени. Ее жизненность была подтверждена развитием художественной культуры послеиконоборческого периода, однако практика внесла свои достаточно существенные коррективы в теорию иконопочитателей.

Никифор Константинопольский обращает свое внимание и на основные функции изображения, которые, по его мнению, определяют высокую значимость религиозного искусства. Здесь он, как правило, повторяет идеи своих предшественников, но придает им несколько иной поворот. В частности, он обращает внимание на своеобразное психологическое воздействие изображения на зрителя. «Созерцая как бы сами [изображенные] предметы, каждый увлекается ими, оказывается благодаря образам как бы в присутствии [самых предметов], охватывается стремлением к добру, воодушевляется, возбуждает душу и ощущает себя находящимся в лучшем, чем прежде, настроении и состоянии» (Ibid. Apolog. 62, 749B). Никифор, таким образом,

²¹ Далее идет изложение по: PG. Т. 100. Antir. III. 35, 428С—433А.

подошел здесь вплотную к тем проблемам воздействия искусства на зрителя (или восприятия искусства), которые новейшая эстетика дефинирует как вчувствование, сопричастность, сопереживание, эмоциональный настрой и т. п. Понятно, что тогда еще не пришло время для специальных разысканий в этом направлении, однако важно отметить, что в византийской эстетике этого и последующего периодов вопрос о психологической функции искусства возникал достаточно регулярно, находя опору в постановке этой проблемы еще патристикой IV—V вв.

Вскрывая психологическую функцию изображения, Никифор приходит к выводу, что миметическое изображение, подражая лишь внешнему виду архетипа, каким-то образом (Никифор еще не знает каким) передает зрителю информацию обо всем первообразе в целом, включая и его неопишущую и неизобразимую природу. Никифор улавливает важную тенденцию творчества художника: передавая внешний вид оригинала выразить в нем его невидимую глазом сущность. Художник, отмечает Никифор, изображая, не разделяет внешний вид и внутреннее содержание первообраза, но стремится показать их в единстве. Живописец, пишет он, скорее соединяет, чем разделяет внешнее и внутреннее. В результате из-за «сходства с первообразом и благодаря воспоминанию в нашей памяти одновременно возникает не только видимый человеческий образ Христа, но даже, вследствие ипостасного единства и неделимости,— и [сам] Логос, хотя он неопишущ и неизобразим по природе, невидим и совершенно непостижим» (Ibid. Antir. I. 23, 256AB). Собственно именно эта идея, хотя долгое время и не имевшая такой четкой формулировки, внутренне вдохновляла иконопочитателей. В какой-то мере ее, видимо, {422} пытался на неоплатонической основе понять и сформулировать и Феодор Студит в своей концепции «внутреннего эйдоса».

Файл byz423g.jpg

*Богоматерь.
Вторая четверть XII в.
Собор св. Софии.
Константинополь.
Мозаика, в южной галерее.*

Рассматривая живопись, наполнявшую византийские храмы, Никифор разделяет ее на две группы: *декоративную* (для украшения) и *сакральную*, или «священную». К первой он относит в основном зооморфные и растительные изображения на тканях и других предметах, используемых в культовом обиходе; сакральными считает изображения лиц и событий «священной истории». Все они выполняли различные функции в храме и соответственно им воспринимались верующими византийцами. «Изображения животных находятся в алтаре не для прославления и поклонения, а для украшения тканей, на которых они вышиты... Относя честь к святыне, он (верующий.— В. Б.) не уделяет этим изображениям ничего, кроме рассматривания». По-иному обстоит дело со «священными изображениями». Никифор считает, что «они святы сами по себе и приводят на память святыне первообразы» и поэтому достойны поклонения наряду с другими святынями (Ibid. III.45, 464D—465A). Одно из главных назначений их — служить объектом поклонения. Именно с этой целью помещали изображения на алтарных преградах (прообраз иконостаса), на колоннах и над воротами и дверями храмов. «Ради ли только красоты и украшения устраивали это христиане,— риторически вопрошает Никифор,— или же видели в этом необходимую принадлежность своего обихода? Зная, что эти места суть места поклонения, они ради поклонения устраивали там изображения» (Ibid. 465AB). Поклонные образы (иконы) занимали еще с доиконоборческих времен главное и почетное место в византийских храмах, что нашло отражение и в суждениях отцов церкви.

Никифор уделит внимание и *литургическим образам*. Проблема *литургического образа*, или символа, ибо этот «образ» имеет своеобразный символический характер, занимает важное место в византийской эстетике. На его основе строился синтез искусств храмового действия. Сакральное ядро этого синтеза составляет таинство евхаристии, совершающееся во время Литургии, динамической основой синтеза выступает молитва, а гносеологически-семантической основой является литургический образ. {423}

Другими словами, таинство Евхаристии — это цель всего богослужебного цикла²², молитва — динамическое содержание храмового действия, организованного путем соединения целого ряда искусств (архитектуры, живописи, декоративных искусств, музыки, поэзии, декламации, своеобразной хореографии, организации световой среды и др.), а литургический образ — семантический ключ к пониманию внутренней сущности богослужебного действия в целом, а также — значения всех его элементов в отдельности, как и семантики их связей. Литургическая символика выступала главным систематизирующим принципом культового синтеза искусства. Без учета этого факта не могут быть правильно поняты и до конца осмыслены произведения всех видов византийского искусства, входивших в храмовый синтез.

Перенеся центр тяжести познания первопричины в сферу литургического гносиса, византийские мыслители разработали сложную систему символического восприятия литургии и всех ее элементов, которая формировалась по двум направлениям. Первое, наиболее распространенное и ориентированное на коллективный субъект восприятия — народ, — развивало «реальную» символику, а второе, более узкое, связанное с индивидуальным восприятием, — «умозрительную» символику.

С первым направлением связаны имена прежде всего «практиков» «литургического гносиса»: Кирилла Иерусалимского (IV—V вв.), Германа Константинопольского (VIII в.), архиепископа Симеона Солунского (XV в.). Главным теоретиком второго был Максим Исповедник.

Первое направление понимает литургию со всеми ее элементами как систему особых «образов», символов — «реальных символов», которые одновременно и обозначают, и «реально» являют обозначаемое. Наиболее ясно эту мысль сформулировал Симеон Солунский, однако и в период иконоборчества у константинопольских патриархов Германа и Никифора она звучала достаточно отчетливо. Литургический образ — это такой «образ» архетипа, который «обладает его силой». Именно в этом смысле и воспринималась «реальная символика» богослужения византийцами, так как только «образ», не «являющийся» «по сущности» архетипом (ибо это невозможно даже при византийском антиномизме), но обладающий его энергией, мог стать достойным посредником на пути постижения этого архетипа.

«Реальная» литургическая символика определяла и так называемый «топографический символизм» внутреннего пространства храма — существенный фактор для осмысления системы росписей²³.

Изображения в храме на уровне восприятия также включались в общее литургическое действие, способствуя своей эстетической значимостью созданию эффекта мистического единения неба и земли. Так, по мнению Симеона Солунского, «священные изображения» Спасителя, Богородицы, Иоанна Крестителя, ангелов, апостолов и других святых на алтарной преграде (прообразе иконостаса) означают «и пребывание Христа на небе со своими святыми, и присутствие его здесь среди нас» (PG. T. 155. Col. 345CD). Эта мысль лежит в основе всей византийской церковной эстетики, ее понимания живописного образа. {424}

Максим Исповедник в своем «Тайноводстве» разработал иной аспект литургической символики. Его интересовал «философско-умозрительный» смысл как всего литургического действия, так и его элементов. При этом он различал *общее*, более широкое значение каждого элемента и его *частные* смыслы. Так, церковь в общем плане является «образом и изображением Бога», а в частности, так как она состоит из святилища и собственно храма — наоса, — образом мысленного и чувственного мира, а также — образом человека и образом души, как состоящих из духовной и чувственной частей (PG. T. 91. Mystag. 24. 705A—C)²⁴.

Частные смыслы основных элементов литургии Максим дифференцирует в соответствии с тремя категориями субъектов восприятия. Одно значение имеет тот или иной элемент богослужения для «уверовавших», другое для «практиков» и третье для «гностиков». Идеи

²² Бычков В. В. Из истории византийской эстетики. С. 180 и след.

²³ См. подробнее: Demus O. Byzantine Mosaic Decoration. L., 1947. P. 87—88.

²⁴ О некоторых других аспектах образа у Максима Исповедника см. интересную, но дискуссионную в ряде пунктов ст.: Живо В. М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 108—127.

Максима не подвергались дальнейшей разработке в иконоборческий период, но составляли наряду с теорией Псевдо-Дионисия как бы фундамент теории образа иконопочитателей.

Проблемы образа, изображения, иконы занимали главное место в византийской культуре и эстетической теории VIII—IX вв.

В истории культуры столь глубокая, всеобъемлющая, многоаспектная разработка этих проблем — явление беспрецедентное и уникальное. Ни до периода иконоборчества, ни после в течение многих столетий теоретические аспекты изобразительного образа, а в связи с этим и образа художественного вообще, не привлекали такого широкого внимания теоретиков и практиков духовной культуры. Трудно переоценить значение византийской теории образа VIII—IX вв. для последующего развития византийской художественной культуры и культур стран восточнохристианского региона. На протяжении всего средневековья она ориентировалась на эту теорию. Ясно, что далеко (и, как правило) не каждый византийский или старославянский мастер знал теорию образа во всех ее нюансах и, работая над каждой иконой, держал ее в уме. Такие умудренные мастера (типа Феофана Грека) скорее исключение, чем правило, для византийского мира. Теория образа одухотворяла византийское художественное творчество опосредствованно и как бы изнутри. С XI в. она вошла в самую суть православного богословия и, шире, всего византийского миропонимания. Под ее влиянием сформировались каноны всех видов византийского искусства, начиная с общего богослужебного канона, включавшего в себя многие виды искусства. Наконец, сам творческий метод византийских мастеров, передававшийся из поколения в поколение, сложился на основе этой теории. Короче, даже те византийские мастера, которые не знали вообще никаких теорий, а только умели писать иконы да молиться, жили в духовной атмосфере, насыщенной идеями этой теории, и внесознательно руководствовались ими в своем творчестве.

Византийская теория образа имеет большое значение и как важный этап в истории эстетической мысли. Теоретики изобразительного-искусства VIII—IX вв. поставили и попытались решить, отнюдь небезуспешно {425} для своего времени, многие из тех проблем, которые до сих пор являются актуальными в современном искусствознании, эстетике, герменевтике.

*

Уделив основное внимание проблемам образа, византийцы VIII—IX вв. не забывали и о других эстетических проблемах. Традиционная эстетическая категория «прекрасное» занимает скромное место в трактатах иконопочитателей. Здесь они во многом опираются на соответствующие идеи патристики и скорее уточняют отдельные положения своих предшественников, чем вносят в них что-либо новое.

К материальной красоте они относятся холодно, хотя и не отрицают ее. Иоанн Дамаскин, защищая живописные изображения, призывает иконоборцев не хулить материю, ибо «нет ничего презренного в том, что произошло от Бога» (PG. Т. 94. *Io. Dam. De imag.* I. 16). Ссылаясь на библейский авторитет (Быт. 1.31), он утверждает, что материя прекрасна (*Ibid.* II.13) и недостойна порицания сама по себе. Материальную красоту Иоанн понимает в чисто античных традициях как некое абсолютное совершенство видимого облика. Даже небольшое клеймо на прекрасном лице «уничтожает всю красоту» (*Ibid.* 1.2). Однако красота человеческого тела совершенно не волнует византийских религиозных мыслителей этого времени. Иоанн Дамаскин, в отличие, например, от Немесия Эмесского, трактат которого он переписывает во многом почти дословно, практически не замечает красоты человеческого тела. Ему чужды восторги Немесия по ее поводу, он обращает внимание только на утилитарную целесообразность всех органов человеческого тела. Даже в парности и симметричности органов чувств он не видит, в отличие от Немесия, ничего эстетического, но рассматривает второй орган (ухо, глаз) лишь как резервный на случай повреждения первого (*Ibid. De fide orth.* II.18).

Не материальная, но духовная, божественная красота привлекает все внимание религиозных мыслителей того времени. Иоанн Дамаскин, приведя большую цитату из Григория Нисского о божественной красоте, разъясняет, что «божественная красота блистает не какою-нибудь фигурой, или благодаря какой-то прелести красок, и поэтому ее нельзя изобразить» (*Ibid. De imag.* I.25, 1269B).

Никифор Константинопольский, передавая легенду о нерукотворном образе правителя Авгара, утверждал, что лицо Христа даже в период его земной жизни имело такую «необычную красоту и блеск», что живописец не смог изобразить его и Христу пришлось самому запечатлеть свой образ на плате, приложив его к лицу (PG. T. 100 Antir III 42 461AB).

По мнению того же Никифора, духовные красоты наполняют небо (Ibid. Apolog. 41, 660B), а душа украшается «дивной красотой» добродетелей, благочестия и праведности (Ibid. 43, 672D).

В византийской, как и в любой другом религиозной эстетике, прекрасное как один из предметов духовного наслаждения во многом перемещается с уровня конкретно-чувственных вещей и явлений в духовно-этическую сферу, которая, по словам Феодора Студита, освящена духовной «красотой Христа». Здесь в качестве идеала почитается не прекрасный телом человек, но тот, «кто украшен духовно, даже если по внешнему {426} виду он был бы нищим, слепым, хромым, увечным и имел бы какие-либо другие недостатки, которые считаются позорными у людей» (Ibid. T. 99. Serm. catech. 43). Эта эстетика, активно развивавшаяся монахами и сторонниками подвижнической жизни, утверждала идеал духовной красоты в качестве основного и практически единственного идеала человеческой жизни и подходила к оценке всего комплекса жизненных явлений с меркой этого идеала, часто формулируемого в ригористической форме.

Для монастырской эстетики аскетизма характерно утверждение духовной красоты в резком противопоставлении красоте материального мира. Феодор Студит, уделивший много внимания духовной красоте, считал, что те, кто увлекается красотой материальной, пребывают «в ослеплении относительно того, что прекрасно», и призывал своих коллег «не желать прекрасного настоящей жизни» (Ibid. 18).

Предел духовной красоты для христиан заключен в божественной красоте, к которой они стремятся, но описать которую не в состоянии человеческое слово. По античной и ранневизантийской традиции истинно прекрасное постигается только прекрасным, поэтому для постижения божественной красоты необходимо иметь прекрасную душу. На обретение душевной красоты и направлены были старания византийских подвижников. Сохранению и обретению ее активно способствует духовное созерцание прекрасного, притом не только в форме духовной красоты, хотя она и занимает первое место, но и красоты видимой, особенно природной. По мнению Феодора Студита, необходимо стремиться созерцать «ангельские и небесные силы, тамошние неизреченные и неизъяснимые красоты, световидные обители апостолов, пророков, мучеников и всех праведных, самый небесный свод, солнечный луч, лунный блеск, хоры созвездий и все другие, воспринимаемые чувствами предметы,— не для того, чтобы на них останавливаться, но чтобы, созерцая при их посредстве творца всего существующего, мы сохранили свою красоту неповрежденной» (Ibid. 100).

По мнению Феодора, Бог вложил в человека чистую и прекрасную душу. А так как она создана по образу и подобию Божию, то, «будучи отображением божественной красоты, она и сама причастна ей» (Ibid. 20). Под воздействием грехов душа утрачивает изначальную красоту и делается безобразной. Цель человеческой жизни, по мнению Феодора, сохранить или вернуть, если она утрачена, душевную красоту.

Ориентация на духовный абсолют заставляет его видеть за материальной красотой лишь тленную и преходящую материю. Если «красивый и цветущий сегодня завтра полагается во гроб издающим зловоние и безобразным», то что же может быть привлекательного в такой красоте,— риторически вопрошает Феодор. Истинную и непреходящую красоту и привлекательность видит он лишь в «одной достойной удивления добродетели». Только на пути добродетельной жизни можно достичь высших ступеней духовного совершенства, которые и являются высшими ступенями красоты (Ibid. 20).

Отсюда весь комплекс нравственно-этических норм и религиозных идеалов христианства, составляющий основу добродетельной жизни, относится византийскими мыслителями к сфере прекрасного. По Феодору Студиту прекрасны пост, бдение, молитва, трудолюбие, нестяжание и другие добродетели, которыми украшается душа (Ibid. 4). А украшается она «по образцу первозданной красоты. Украшаясь же, любовно привле- {427} кает к себе» Бога (Ibid. 54), который обещает душе грядущие «красоты рая» (Ibid. 56), царство небесное, где «красота горнего Иерусалима, где радости и веселие» (Ibid. 34), где все праведники узнают друг друга

«в красотах бессмертия» (Ibid. 22). В этом для христиан смысл и цель духовного украшения, возвращения душе первоизданной чистоты и красоты. Прекрасен, по Феодору, весь строй и порядок христианской жизни, если он неукоснительно соблюдается, и особенно жизни монашеской.

На основе только что изложенного может показаться, что понятие прекрасного употребляется здесь Феодором не в эстетическом смысле, но лишь как характеристика, обозначающая высокую степень ценности, ибо речь в целом идет об оценке и пропаганде византийским идеологом христианского образа жизни. Однако это не так. Здесь мы сталкиваемся с характерной особенностью византийской эстетики, когда утилитарная оценка перерастает в характеристику собственно эстетической ценности. Рассмотренные явления (в частности, образ жизни) не только оцениваются с позиции каких-либо (нравственных, бытовых, политических и т. п.) норм, но и как предметы *неутилитарного духовного наслаждения*, т. е. как эстетические феномены.

Эстетическую окраску у византийских мыслителей приобретают многие из тех явлений, которые не обладают таковой в других культурах. Духовным наслаждением, радостью, весельем наполнены для них многие феномены религиозной жизни и сама она в целом. «Ведь наша жизнь,— пишет Феодор,— есть не что иное, как подготовка к празднику. Ибо посмотри, что делается [у нас]. Псалмопение следует за псалмопением, чтение за чтением, поучение за поучением, молитва за молитвой, как некий цикл, ведущий нас к Богу и сочетающий с ним. Как поистине прекрасен, чрезвычайно прекрасен такой образ жизни! Как блаженна и преблаженна такая жизнь!» — писал Феодор (Ibid. 67).

Подвижническая жизнь, которая представляется Феодору «искусством искусств» и «наукой наук», доставляет ведущим ее настоящее блаженство (Ibid. 7; 39). Истинно радуются, по мнению Студита, только монахи, так как они лишены каких-либо житейских забот, ведут образ жизни, приближающийся к ангельскому (Ibid. 110), и трудятся не ради денег, золота и других земных ценностей, но исключительно «для наслаждения вечными благами» (Ibid. 58).

Жизнь человека, проводящего ее правильно, наполнена духовной радостью, которая и составляет ее главное содержание. В отличие от кратковременной «телесной радости» духовная — непреходяща (Ibid. 33). Человек, размышляющий о первопричине и созерцающий ее, «радуется истинно великой радостью и наслаждается неисчерпаемым наслаждением» (Ibid. 47). Все способствующее утверждению человека на путях духовной жизни приводит его в состояние радости и веселья. Прежде всего, борьба с чувственными наслаждениями сама по себе доставляет борющемуся наслаждение (Ibid. 10; 85). Любой добродетельный поступок, «правильно» прожитый день и вся здешняя жизнь, понятая как путь к жизни вечной, сопряжены с духовной радостью. Именно поэтому жизнь человека осмысливается Феодором в конечном счете как непрерывный духовный праздник. «Много общенародных праздников,— пишет он,— божественных и человеческих, празднуется в этой жизни, но один есть праздник великий и трудный — это сама жизнь человека» (Ibid. 21. {428} Ср.: 23). Жизнь, как праздник, наполненный трудами и духовной радостью,— важный мотив всей византийской эстетики, чуждый эстетической культуре греко-римской античности, но отвечавший социально-религиозным идеалам средневековья.

Таким образом, византийская патристическая эстетика, поставив главным идеалом человеческой жизни «неизреченное и бесконечное наслаждение» в «будущем веке», по сути дела перенесла эстетический объект из материального, чувственно воспринимаемого мира в сферу духовной жизни человека со всеми многочисленными вытекающими отсюда последствиями. И эстетическая культура, и практически все виды искусства Византии формировались с ориентацией на этот, по-новому понятый по сравнению с античностью эстетический объект.

Основное внимание византийских мыслителей VIII—IX вв. было привлечено, как мы уже видели, к вопросам изобразительного искусства. Однако в связи с ним они иногда затрагивали и другие виды искусства, а также некоторые общие теоретические проблемы художественной деятельности, представляющие для нас несомненный интерес.

Так, главным принципом искусства и в этот период, на что уже указывалось, считалось «подражание», понимаемое в самом широком семантическом диапазоне античного термина *μίμησις*. «Художественное [создается] по подражанию естественному»,— кратко резюмирует свою теорию искусства Феодор Студит (PG. Т. 99. Antir. III. 2.1. 417A). «Искусство подражает

природе»,— вторит ему Никифор Константинопольский (Ibid. Т. 100. Antir. I. 16, 225D), и эти идеи были общим местом у теоретиков иконопочитания, опиравшихся здесь на античную концепцию мимесиса, переосмысленную в свете новой мировоззренческой ситуации.

В трактате «Refutatio et eversio»²⁵ Никифор развивает аристотелевские идеи о «причинах», приложенные еще Климентом Александрийским (Strom. VIII. 28. 2—3) к искусству²⁶. В отличие от Аристотеля и Климента, рассуждавших о четырех «причинах», Никифор усматривает пять таких «причин»: помимо созидательной, формальной, материальной и целевой, он вводит еще «органическую причину» (ὀργανικόν). Под ней, как отмечал Дж. Мэтью²⁷, имеется в виду мастер, непосредственно создающий произведение, а под «созидательной» — заказчик, которого средневековая эстетика уже с этого времени считала главным творцом произведения искусства, а истинного художника — просто инструментом в руках заказчика. «Формальной причиной» является объект изображения, определяющий во многом весь процесс творчества, внутреннюю значимость произведения и влияющий на материальную и целевую «причины». Основу «материальной» составляет материал, из которого изготавливается изображение. Чем почетнее объект изображения, тем более драгоценными должны быть материалы для его изображения. «Целевая причина» понимается Никифором в аристотелевском смысле (само произведение искусства — «то, ради чего»,— Met. III. 2,996,7—8), хотя, как мы знаем {429} из его теории образа, и Климентово понимание «целевой причины» (ради должного почтения к изображенному) не было чуждым константинопольскому патриарху. «Целевая причина» в этом смысле была общим местом для всех иконопочитателей.

Если *мимесис* и основные «причины» творческого акта были активно восприняты византийцами из античной эстетики, хотя и во многом переосмыслены в соответствии с новой духовной культурой, то такая важная категория античной эстетики, как *трагическое*, напротив, практически утрачивает свое значение в византийский период. Идея христианского человеколюбия, божественной любви и благодати, воскресения мертвых и ожидаемого райского блаженства снизили высокую в античности значимость этой категории и вывели ее на время из ряда актуальных проблем эстетики.

Добровольная смерть и последующее воскресение Иисуса Христа, пропагандируемые патристикой, привели к снижению роли трагического и в человеческом обществе и, соответственно, в искусстве. Собственно трагические события, происходящие в жизни людей, и основанные на них трагические коллизии в античной драматургии не воспринимаются таковыми христианским миром, устремленным к «вечному духовному бытию».

Если же трагические события возникали в результате столкновения защитников христианства с представителями «земного града», то самими христианами они не воспринимались как трагические, но служили источником дополнительной радости²⁸. Изображение же в искусстве страданий мучеников или страстей и смерти самого Иисуса Христа вызывало у византийцев не чувство трагического, но приводило их в *умиление*. Как писал Феодор Студит, «вспоминание о страданиях Господа нашего Иисуса Христа имеет свойство всегда приводить душу в умиление» (PG. Т. 99. Serm. catech. 73). В эмоциональной жизни византийца умиление занимало необычайно важное место.

Существенным аргументом в защиту религиозных изображений становится в VIII—IX вв. *традиция*, неписаное *предание*. Иконопочитатели хорошо знали, что прямых указаний на создание культовых христианских изображений в Новом завете нет. Но логика культурно-исторического развития, многовековая культовая практика христиан показали, что такие изображения даже вопреки воле многих религиозных теоретиков первых веков христианства органично вошли в самую плоть византийской культуры, заняли в ней важнейшее место, стали одним из ее определяющих элементов. Даже более чем столетний период официальных гонений на сторонников этих изображений, сопровождавшийся отстранением их от должностей,

²⁵ Alexander P. J. The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Oxford. 1958. P. 242—262.

²⁶ Подробнее см.: Бушков В. Aristoteles und einige Probleme der frühbyzantinischen Ästhetik // Proceedings of the World Congress on Aristotle. Athenai, 1981. Vol. 2. P. 31—34.

²⁷ Mathew G. Byzantine Aesthetics. L., 1963. P. 120.

²⁸ Подробнее в связи с проблемой «мученичества» см. в работе: Бушков В. В. Эстетика поздней античности II—III вв. М., 1981. С. 143—146.

пытками, тюремными заключениями, ссылками и даже казнями, не смог остановить эту важную, обусловленную многими имманентными причинами развития византийской культуры тенденцию. Изобразительное искусство неуклонно развивалось и укрепляло свои позиции в византийской культуре и с IX в. заняло, пожалуй, господствующее положение среди других видов искусства.

Почти весь комплекс причин, приведших к такой ситуации, хорошо почувствовали и во многом осознали сами византийские защитники изобразительных искусств и привели их, как мы видели, в своих многочисленных апологиях. Однако главным и практически непререкаемым аргументом в пользу изображений в этот период становятся для иконопочитателей не хитроумные логические, богословские и социально-бытовые доказательства, а простые ссылки на установившуюся традицию использования религиозных изображений. Незыблемый культуuroохраняющий принцип древних цивилизаций, противостоявший всем еще не проверенным логикой культурного развития новациям: *так делали наши предки* (ср. у Никифора: PG. Т. 100. Antir. I. 37) — к IX в. стал занимать ведущее место и в византийской культуре, свидетельствуя о том, что близился к завершению этап активного формирования этой культуры и она вступала в пору своей зрелости.

Патриарх Никифор постоянно напоминает своим противникам, что христианские изображения употребляются с апостольских времен, что они освящены многовековым преданием. На возражения иконоборцев, ссылающихся только на тексты Писания, он отвечает, опираясь на авторитет апостола Павла (1 Кор. 11, 23; 2 Thes. 2, 15) и ранних отцов церкви (PG. Т. 100. Antir. III. 8, 388 CD), что «неписаное предание ($\alpha\prime\gamma\gamma\rho\alpha\phi\omicron\varsigma\ \lambda\alpha\rho\acute{\alpha}\delta\omicron\varsigma\iota\varsigma$) тверже всего, что оно есть основание и опора в жизненном обиходе; после длительного использования оно делается установившимся обычаем, а обычай, укрепленный временем, приобретает силу природы. А что может быть сильнее природы?» (Ibid. III. 7, 385 C). В христианских обрядах и культовой практике далеко не все учреждено «писаными законами», освященными божественным авторитетом. Бесчисленные элементы и детали жизни средневекового человека складывались в процессе повседневной практики и закреплялись традицией. В частности, по преданию, полагает Никифор, используются в богослужении и песнопения (Ibid. 388A).

Размышляя о предании и законе, Никифор отмечает важную закономерность культурно-исторического развития. Писанные законы не абсолютны. Они тоже устаревают и заменяются новыми, прошедшими, сказали бы мы, проверку временем, а в терминологии Никифора — утвердившимися по преданию. «Мы видим,— пишет он,— что даже писанные законы теряют значение вследствие того, что получают силу отличные от них предания и обычаи. Обычай все укрепляет, ибо дело сильнее слова. Что такое закон, как не записанный обычай? Равно как и обычай опять же есть неписанный закон» (Ibid. III. 8,388C). Традиция, предание, таким образом, осмысливается Никифором как некий регулятор между древними законами, закрепленными в словах, и приходящей в несоответствие им новой общественной практикой, которую предание, освящая своим авторитетом, ставит выше древних, но устаревших законов.

Далеко не все мыслители средневековья, да и последующих времен, так тонко и глубоко ощущали и понимали диалектическую сущность традиции в истории культуры. Сочетая в себе способности историка, теолога, философа и практического руководителя религиозной жизни Империи, Никифор был в этом плане скорее исключением среди византийских мыслителей. Для нас тем более важны его суждения о традиции, что византийская культура, как и многие другие культуры древности и средневековья, относится к типу культур, в которых традиционализм, каноничность играли роль важнейшего культуросозидательного принципа. Историческая заслуга Никифора в том и состоит, что он одним из немногих мыслителей в истории культуры правильно ощутил и попытался выразить словесно истинное значение традиции в культуре своего времени.

Суждения Никифора о традиции имеют особое значение для истории эстетики, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, потому, что высказать их Никифора побудили размышления о месте и значении живописи в византийской культуре. И, во-вторых, потому, что традиционность в форме *каноничности* с IX в. становится определяющей характеристикой византийского, и шире — всего восточнохристианского искусства и эстетического сознания. Именно традиционность (применительно к живописи — каноничность) в ее диалектической сущности, хорошо почувствованной Никифором, в противоположность традиционализму как

тормозу всяческого культурного развития, в который он превращался на закате любой культуры, в том числе и византийской (уже в поствизантийский период).

Не развивая своих идей о традиции применительно к изобразительному искусству, Никифор приводит интересное замечание относительно утверждаемых преданием нарушений грамматических правил, которые представляются ему предельно стабильными и абсолютными. И тем не менее, подчеркивает он, даже «грамматики, если случится, что слово в тексте отклоняется от господствующего правила и пишется иначе, согласно установившемуся обычаю, ссылаются на предание, считая его правилом правил» (Ibid. III. 8,388C). Если мы обратимся к византийской живописи, то заметим, что там этот принцип получает дальнейшее развитие. «Правилом правил» становится в ней утвердившаяся в процессе многовековой художественной практики (или по художественному преданию) каноническая иконография, закрепившая целую систему отклонений от принципов античной живописи (своего рода «писаного закона») и утвердившая ее в качестве нового, пока «неписаного», «художественного законодательства».

От VIII—IX вв. сохранилось не так много описаний произведений искусства, но в числе сохранившихся можно указать на экфрасисы патриарха Фотия, содержащие интересный для историка эстетики материал. В своем описании церкви Богоматери Фаросской²⁹, которое по существу является анализом процесса восприятия этого храма посетителем, Фотий обращает внимание на некую значимую противоречивость между динамикой взгляда и мысли зрителя и какой-то его «застылостью» в изумлении и восхищении красотой ансамбля. Уже в преддверии храма, пишет Фотий, прекрасное зрелище фасада, облицованного белым сверкающим мрамором, овладевает взором, оно приковывает взгляд, влечет его к себе, возбуждает воображение и не позволяет зрителю вступать в собственно храм. По аналогии с известной легендой о лире Орфея, звуки которой приводили в движение неодушевленные предметы, Фотию представляется возможным сказать обратное, что зрелище в атриуме чудесным образом превращает людей в неподвижные деревья (Photii Homil. X. 4).

Наконец, продолжает он, преодолев «деревенелость», посетитель входит в сам храм. Наслаждение, трепет и изумление охватывают его там, как будто он взошел на небо, сияющее многообразной красотой. Золото, {432} серебро, многоцветные сверкающие мозаики полов, стен и купола совершенно очаровывают его, и он опять цепенеет. «В одном лишь отношении, я полагаю,— пишет Фотий,— ошибся мастер, именно в том, что собрал в одно место все виды красоты; он не позволяет зрителю насладиться зрелищем в его чистоте, поскольку его тянет от одной вещи к другой и нет возможности насытиться зрелищем так, как ему хотелось бы» (Ibid. X. 5).

У зрителя возникает, как писал О. Вульф, «острая антитеза между внешним оцепенением и внутренней подвижностью»³⁰. Это вызывает интересный художественный эффект. Зрителю начинает казаться, подчеркивает Фотий, «что все находящееся здесь приходит в возбуждение и само святилище начинает поворачиваться». Фотий стремится осмыслить и объяснить этот эффект с психологической, как сказали бы мы теперь, точки зрения: «Ибо свои разнообразные повороты и непрерывное движение, в котором зритель воспринимает пестрое многообразие зрелища, заставляют его свое собственное состояние перенести с помощью воображения на созерцаемый предмет» (Ibid.). Как отмечал О. Вульф, здесь Фотий от простого переживания законов организации архитектурного произведения приходит к их пониманию, в частности к осмыслению процесса «вчувствования»³¹, одного из важнейших компонентов эстетического восприятия искусства.

Обращаясь к описанию мозаик храма, Фотий подчеркивает с восхищением, что художник только «с помощью формы и цвета» передал внутренние состояния изображенных персонажей — «заботу» Пантократора о делах и судьбах мира, «заступничество» Богоматери за людей и т. п. (Ibid. X. 6).

В описании изображения «Богоматери с младенцем» из апсиды св. Софии Фотий, продолжая традиции ранневизантийского толковательного экфрасиса, усматривает «в едином облике Марии одновременно два состояния: и девы, и матери». Он и называет ее Παρθένος-

²⁹ См.: Photii Homil. X. 4—6.

³⁰ Wulff O. Das Raumerlebnis des Naos im Spiegel der Ekphrasis//BZ. 1930. Bd. 30. S. 539.

³¹ Ibid.

Μήτηρ, подчеркивая, что живописцу удалось художественными средствами выразить в образе Марии эти противоположные состояния. Как мать она с нежностью смотрит на своего младенца, а «по причине бесстрастного и сверхъестественного рождества сохраняет невозмутимое и спокойное состояние души, отчасти выражая его во взгляде». Даже будучи безмолвной, она как бы отвечает на вопрос: как же она осталась девственной, родив младенца? «Так живо написаны красками уста ее; они сжаты и умолкли, как от [неизречаемой] тайны, однако нет в них и неподвижного молчания». Усматривая в живописи такие богатые выразительные возможности, Фотий восхищается «прекрасным зрелищем», созданным художником, и замечает: «Видимо, искусство живописца вдохновлено было свыше: так верно подражает оно природе» (Ibid. XVII. 2).

Традиционную для того времени концепцию религиозного миметического изображения Фотий дополняет идеей *высшего вдохновения* (ε; πῦλονα), которая в этот период была уже достаточно глубоко укоренена в сознании византийских живописцев и укрепляла их морально во время {433} иконоборческих гонений. Наряду с принципом каноничности идея «высшего вдохновения» составляла основу творческого метода византийских мастеров.

Итак, период VIII—IX вв. является одним из главных в истории византийской эстетики и особо значимым для развития эстетических идей и самого искусства в ряде стран восточно-христианского региона, включая Балканские страны, Грузию, Древнюю Русь. Иконоборчество, развернувшее в этот период мощное наступление на культовые изображения, само не выдвинуло каких-либо значимых в эстетическом плане идей. Оно лишь абсолютизировало и догматизировало традиционную для христианства идею духовной красоты, а ее выражение допускало, как и ислам, только в декоративно-прикладном и в нерелигиозном (как правило, исключая изображение человека) изобразительном искусстве.

Главное значение иконоборчества для истории эстетики состоит в том, что оно активизировало теоретическую мысль своих противников — иконопочитателей, из среды которых выдвинулись такие крупные мыслители, как Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриарх Никифор. Их усилиями были разработаны уникальная в своем роде, подробная теория образа, послужившая фундаментом всему средневековому восточнохристианскому искусству, а также ряд общих проблем эстетики, типа соотношения образа и архетипа, «отношения изображения», значения символических и миметических изображений и т. п., которые составили яркую страницу в истории эстетики. Начавшийся с Фотия новый этап ее развития продлился до конца XII в.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА IX—XII в.

Для византийской эстетики второй половины IX—XII вв. характерно некоторое перераспределение акцентов между ее основными направлениями: официальным церковно-патристическим, монастырским (эстетикой аскетизма) и антикизирующим³². Между этими направлениями не существовало жестких границ; нередко они достаточно тесно соприкасались друг с другом, и их теоретиками часто выступали одни и те же лица. Более того, все три направления, несмотря на существенные различия в понимании их теоретиками ряда основных эстетических проблем, внутренне опирались на единую мировоззренческую систему, являлись вполне законным порождением византийской культуры и составляли внутри нее некоторую органичную целостность, основанную на диалектическом единстве противоположностей. Различать эти направления имеет смысл только в их главных тенденциях и исключительно в исследовательских целях. Сама художественная культура Византии складывалась из течений, ориентирующихся на то или иное из указанных направлений, что может служить дополнительным стимулом для их изучения.

С победой иконопочитания в IX в. практически завершилось активное формирование основного направления византийской эстетики — церковно-патристического, ставшего

Файл byz435g.jpg

³² Подробнее об основных направлениях византийской эстетики см.: Бычков В. В. К методологии изучения средневековой эстетики // Методологические и мировоззренческие проблемы истории античной и средневековой философии. М., 1986. Ч. 1. С. 21—24.

*Христос Пантократор.
Мозаика в центральной апсиде.
Ок. 1180—1194. Монреале.
Кафедральный собор. {435}*

своего рода нормой для последующих веков византийской культуры. Идеальный эстетический объект был усмотрен в духовной сфере, которая заняла верхние разряды в иерархии ценностей, сформированной в соответствии с новыми социально-политическими и философско-религиозными идеалами. Однако путь к этому эстетическому объекту проходил через мир чувственно воспринимаемых вещей и явлений, что потребовало разработки эстетических проблем и этого мира, естественно, в аспекте ориентации на эстетический абсолют. Отсюда — «сублимизация» — возрастание степени возвышенности всех эстетических категорий, и прежде всего понятия прекрасного с рядом его новых модификаций (свет, цвет); детальная разработка в эстетическом плане таких глобальных проблем духовной культуры, как знак, символ, образ, икона; осмысление новых функций искусства (в частности, анагогической), новых задач, стоящих перед ним, новых принципов его формирования (традиционализма и каноничности прежде всего)³³.

Основные положения и характерные черты этого главного направления византийской эстетики практически полностью сформировались к середине IX в. и в дальнейшем существенно не менялись, хотя и варьировались под влиянием конкретного развития художественной культуры и двух других направлений эстетики.

Со второй половины IX в. в интеллектуальной среде византийской знати начинает набирать силы эстетика, ориентирующаяся на греко-римскую языческую античность. В художественной культуре возрождаются мотивы античной мифологии, но уже не в их культово-религиозной значимости, а как явления сугубо художественно-эстетического порядка. Возрастает интерес ко всем явлениям духовной культуры античности. В литературе появляются многочисленные парафразы и подражания античным авторам. Соответственно обретают новую силу и многие античные эстетические принципы и концепции, порицавшиеся представителями патристического направления предшествующих периодов. Возникают многочисленные произведения искусства (светского прежде всего, но также нередко и религиозного), ориентирующиеся на эти принципы. Антикизирующее направление в византийской эстетике занимает с этого времени свое достаточно заметное место и сохраняет его до последних дней существования империи.

В качестве определенной реакции на это направление и его антитезы продолжает активно существовать и даже получает новые импульсы монастырская эстетика аскетизма. Принципиальное и в какой-то мере демонстративное противостояние антикизирующего и монастырского направлений — характерная черта эстетической культуры Византии рассматриваемого периода. Каждое из этих направлений получило свое воплощение в искусстве того времени, но в целом художественная культура Византии X—XII вв. развивалась по пути поиска некоторых компромиссных решений между крайностями аскетического и антикизирующего направлений. Выявление и анализ этих крайностей позволяют яснее понять общую картину развития эстетики и художественной культуры в этот период. {436}

В церковно-патристическом направлении эстетики X—XII вв., среди представителей которого встречаются теперь и лица, не облеченные духовным саном, наблюдается заметное усиление интереса к красоте предметов и явлений материального мира, к конкретным произведениям искусства как делу рук человеческих. Конечно, было бы неверно утверждать, что этот интерес отсутствовал в классической патристике. Однако там он был полностью подчинен духовным, а часто и узкоцерковным интересам.

В XI в. образованный византийский отшельник Филипп Монотроп пишет большое сочинение под названием «Диоптра дел христианских (PG. Т. 127. Col. 702—878), построенное в традиционной форме диалога. Примечательно, что в диалоге Души и Тела первая выступала ученицей, а вторая — учителем. Мудрая рабыня Тело обучает свою легкомысленную госпожу

³³ «Новизна» здесь имеется в виду, конечно, не абсолютная, но относительная, связанная, прежде всего, с новыми аспектами византийской культуры — социального и мировоззренческого характера.

Душу всем премудростям христианской доктрины, оснащенной, особенно в ее антропологической части, достижениями античной науки — учением Аристотеля, Гиппократов, Галена и других авторов.

Характерным для философско-эстетических тенденций эпохи в этом трактате является стремление возвысить тело и показать его чуть ли не главенствующее положение в человеке. Душа, конечно, госпожа над телом, но она не стоит и ломаного гроша без тела и вообще не может без него существовать, утверждает Филипп. Душа возникла вместе с телом и только благодаря ему обладает силой и может выразить себя и осуществить свои цели. Только с помощью телесных членов и органов чувств и центрального органа — головного мозга — душа дееспособна. При повреждении какого-либо телесного органа терпит ущерб и душа, а при нарушении работы мозга она утрачивает практически все свои силы и способности (Ibid. Col. 753—769).

В диалектике души и тела, осмысленной еще классической патристикой, теперь делается акцент на теле и утверждается мысль, что без тела, вне тела или в увечном и ослабленном неумеренной аскезой теле не может осуществляться и нормальная духовная жизнь. Это возвышение телесного начала в человеке (при традиционном признании главенства души, естественно) имело важное методологическое и идеологическое значение для оправдания обращения византийцев того времени к античному культурно-эстетическому наследию в рамках христианского миропонимания.

В эстетическом плане интересны представления Филиппа об идеальном человеческом облике, в котором он был создан и обретет который по воскресении. Это некий абсолютный и достаточно абстрактный образ. Он лишен каких-либо изъянов, присущих в этой жизни человеческому телу (излишняя высота или полнота, отсутствие или повреждение каких-либо членов и т. п.), и даже таких индивидуальных черт, как цвет волос, их курчавость или гладкость, особенности речи, возраст, половые признаки и т. п. Каков точно этот идеальный облик, Филипп не знает, но убежден, что значительно более божественный, святой и прекрасный, чем можно себе представить. И главное назначение этого облика человека — доставлять радость, веселие и наслаждение душе, т. е. одна из функций эстетического идеала.

Проблема идеальной чувственно-воспринимаемой (видимой) красоты занимает видное место в эстетическом сознании византийцев этого времени. С ней мы сталкиваемся в текстах самого разного характера. Как правило, она связана с христианской идеей творения мира богом. Результат художественной деятельности творца, в частности весь видимый мир природы, воспринимается византийцами как образец и идеал красоты.

Так, известный византийский автор стихотворной «Хроники» Константин Манасси, повествуя о сотворении мира, с явным удовольствием и очень подробно описывает красоту возникающей природы:

*Тогда земля нарядами впервые заблестала
Пышней, чем дева нежная, обещанная мужу,
Сверкающая золотом, одеждой с жемчугами.
Фиалка благовонная сияла, рядом роза;
Цвета разнообразные фиалок отовсюду
Смеялись, темно-синий был, пурпурный, желтоватый.
Одетым тогой пурпурной из роз все здесь казалось,
А там молочно-белое отсвечивало тонко.
.....
Прекрасно, влажно от росы, горит все светом ярким,
И запахи чудесные всю землю наполняют.
Трава стелилась мягкая, быков, коней кормила
И зеленела по лугам, росой слегка омыта.
Такое вот убранство многоцветное носила
Земля, прекрасно сотканный надев цветистый пеплос.
.....
Плоды прекрасные несет здесь все, все совершенно,
Не уродилось ничего нелепым, безобразным.*

(PG. T. 127. Col. 222—223. Пер. О. В. Бычкова)

Не меньшую красоту видит Константин и в только что созданном небе:

*Возникло небо, звездами прекрасно увенчанно.
Тогда красою звездною расцветилося небо,
Как пеплос, шитый жемчугом, как плащ золототканый
Или как ткань, горящая каменьев красотой.*

(Ibid. Col. 224)

Неутилитарное любование красотой природного мира, возведенной в идеал, приводит Константина к убеждению, что одни ее творения созданы «к прокормлению и пользе твари разной», а другие — «лишь для удовольствия и глаза наслажденья» (Ibid. Col. 222).

Для церковно-патристического направления эстетики X—XII вв. характерно наряду с утверждением основных идей предшествующего периода стремление глубже и активнее использовать искусство в целях пропаганды христианского учения. Особое внимание в этом плане уделялось изобразительному искусству, процветавшему в тот период по всей империи. Новые тенденции в отношении к искусству хорошо отражены в развернутом экфрасисе церкви св. Апостолов в Константинополе Николая Месарита, написанном, по мнению издателя трактата, между 1199—1203 гг.³⁴ В подробном описании архитектуры и особенно живописи храма как бы подводятся итоги понимания искусства за весь рассматриваемый период. {438}

Экфрасис Месарита представляет собой развернутый энкомий искусству, написанный по законам энкомиастического жанра, с присущими ему гиперболизацией, приукрашениями и риторской изощренностью; т. е. по сути своей перед нами художественное произведение, посвященное прославлению и одновременно осмыслению и истолкованию искусства, в первую очередь изобразительного, но, кроме того, и архитектурного.

Храм воспринимается Николаем, как некое целостное произведение архитектурно-живописного искусства, созданное по законам красоты. «Этот храм, о зрители,— пишет он, приглашая читателей как бы его глазами взглянуть на описываемый объект,— величайший по величине и наипрекраснейший по красоте, как вы видите, украшен многими и разнообразными искусствами; сооружение удивительной немислимой красоты, прекрасное искусство рук человеческих, превосходящее человеческий разум; видимое глазом, но непостижимое умом. Он не меньше услаждает чувства, чем изумляет ум: ибо радует глаз красотой цвета и золотым блеском мозаик, ум же поражает превосходством величины и искусства» (*Nic. Mes.* 13).

Храм восхваляется Месаритом, прежде всего, как творение рук человеческих, созданное по специальным художественным законам, близким к тем, которые позже в Европе будут называть законами «изящных искусств». У Месарита они обозначены термином *καλλιτέχνημα*. Красота составляет сущность этого искусства. Она создается усилиями разных искусств, доставляет необычное наслаждение зрителю, но не может быть постигнута разумом, который лишь изумляется силе искусства.

Восхищаясь красотой природных материалов, использованных мастерами храма для облицовки его стен, Месарит не забывает подчеркнуть удивительное искусство художника, не уступающего природе: «Камень излучает такое нежное сияние, что им побеждается прелесть всех [садовых и полевых] цветов; столь удивительно и [как бы] сверхъестественно благородство камня; но еще более [удивительно] усердие художника, который соперничал с природой в деле создания красоты» (Ibid. 37).

Воздав должное эстетической значимости всего памятника, Месарит переходит к описанию его живописи. При этом он сразу же в традициях средневековой эстетики подчеркивает ее глубинный содержательный уровень. Художник представляется Николаю мудрецом, который хорошо «взвесил в уме» замысел и затем «в соответствии со своим мудрым разумением сделал изображение с помощью искусства отнюдь не для поверхностного зрителя» (Ibid. 14). Поэтому в своем трактате Месарит уделяет основное внимание не внешнему описанию мозаик, но выявлению их скрытого от неискушенного зрителя смысла.

В религиозных картинах, украшающих стены храма, Николай видит два уровня: изобразительный, «феноменальный», и смысловой, «ноуменальный». Он хорошо поясняет это, описывая «Воскрешение Лазаря»:

«Правая рука (Иисуса — *В. Б.*) простерта, с одной стороны, к феномену — к гробу, держащему тело Лазаря, с другой — к ноумену — к аду, вот уже четвертый день как погло-

³⁴ *Heisenberg A. Grabeskirche und Apostelkirche. T. 2: Die Apostelkirche in Konstantinopel. Leipzig, 1908. S. 8.*

тившему его душу» (Ibid. 26). «Феномен» (гроб) все видят написанным на стене храма, а «ноумен» (ад) остается «за» изображением, он может быть лишь представлен в уме подготовленным зрителем. {439}

Для образованного византийца XII в. «феноменальный» уровень живописи представлял интерес лишь постольку, поскольку он содержал и выражал скрытый, лишь умом постигаемый смысл. Всегда предполагаемое наличие этого смысла позволяло средневековому художнику создавать «феноменальный» уровень, или образительно-выразительный ряд, по самым высоким художественно-эстетическим меркам, а зрителю — открыто наслаждаться красотой храмовой живописи. Теперь и в глазах христианских идеологов она не противоречила, как это казалось многим ранневизантийским отцам церкви, духу официальной религии, но, напротив, активно служила ему, выражая в художественно-эстетической форме основы средневекового мировоззрения.

Любой, даже незначительный, казалось бы, элемент феноменального уровня изображения для думающего византийского зрителя был наделен глубоким значением, представлялся знаком или символом какого-то положения религиозной доктрины. Так, например, голубой, а не золотистый цвет одежд Пантократора, по мнению Месарита, «призывает всех рукой художника» не носить роскошных одежд из дорогих многоцветных тканей, а следовать апостолу Павлу, призывавшему собратьев по вере скромно одеваться (Ibid. 14).

Пантократор, по Месариту, изображен таким образом, что по-разному воспринимается различными группами зрителей. Его взгляд направлен на всех сразу и на каждого в отдельности. Он смотрит «благосклонно и дружелюбно на имеющих чистую совесть и вливает сладость смирения в души чистых сердцем и нищих духом», а для того, кто творит зло, глаза Вседержителя «сверкают гневно, отчужденно и неприязненно; тот видит лик [его] разгневанным, страшным и полным угрозы». Правая рука его благословляет идущих верным путем и предупреждает свернувших с него, удерживает их от несправедливого образа жизни (Ibid. 14). Требования к культовой живописи, как мы видим, в XII в. повысились даже по сравнению с требованиями борцов за иконопочитание IX в. Средневековым теоретикам византийского искусства она представляется действенным выразителем современной им идеологии. Именно выразителем, а не простым иллюстратором, ибо византийцы этого времени уже хорошо ощущали специфические особенности художественного языка живописи. Не случайно, Месарит убежден, что ей под силу в одном образе передать противоположные состояния внутреннего мира персонажа, ориентированные на различных зрителей. Детерминированность семантики образа субъектом восприятия, разработанная Максимом Исповедником для литургического образа, прикладывается теперь Месаритом к живописному изображению. Это важное достижение византийской эстетики.

Одним из характерных для Месарита приемов восприятия живописи заключается в пристальном всматривании в изображенные фигуры и лица с целью постижения через внешние признаки внутренних состояний персонажей, а также в стремлении передать читателям информацию о представленных событиях путем описания отражения их в восприятии изображенных персонажей. Так, чтобы экспрессивнее выразить ослепительное сияние, исходившее от Христа на Фаворе, Месарит подробно описывает позы и состояния испуганных Фаворским светом учеников. «Иаков с усилием опирается на колено и поддерживает тяжелую голову левой рукой; в то же время большей частью тела он еще прикован к {440} земле». Правую руку он подносит к глазам наподобие того, как если бы кто-то, пробудившись в полуденный час от глубокого сна на природе, захотел бы взглянуть на солнце и при этом защищал бы глаза тенью от ладони, чтобы светило не повредило их. Иоанн вообще не желает ничего видеть и лежит как спящий (Ibid. 16). И только подготовив таким косвенным образом читателя, Месарит обращает свой взгляд на причину, приведшую в поверженное состояние учеников: в пространстве парит облако света и «несет в своем центре Иисуса, сверкающего ярче солнца, как некий иной свет, рожденный из света Отца и соединенный, как с облаком, с человеческой природой» (Ibid.).

С описания внутренних состояний Иисуса и сестер Лазаря Марфы и Марии начинается рассказ о «Воскрешении Лазаря». Приникшие к ногам Христа сестры обливаются слезами, поднятое кверху лицо одной из них, ее глаза и разлитые по всему лицу печаль и боль без слов прекрасно передают ее просьбу Спасителю, который изображен с выражением кроткой печали на лице, но вся осанка его полна царского величия и властного достоинства» (Ibid.

26). Подробно описывает Месарит чувства и переживания, написанные на лицах жемчужниц, приближающихся к гробу Христа. Здесь и печаль, и страх перед стражниками, и глубокая любовь к погребенному, а затем — удивление необычному видению (Ibid. 28). С подобным приемом мы встречаемся и при описании ряда других сцен.

Ясно, что автор экфрасиса многое домысливает за художника, но также ясно, что сам созерцаемый образ дает ход его мысли, указывает направление сотворчества в акте восприятия живописи. Более того, хорошо виден идеал, к которому должны стремиться, по мнению Месарита, живописцы, украшающие стены христианских храмов — это реалистическое или даже экспрессивно-реалистическое изображение человеческих (чисто человеческих!) чувств и переживаний, с помощью которых можно хорошо передать смысл изображаемых событий. Автор экфрасиса как бы стремится показать, что глубинное, «ноуменальное» содержание не поддается «прямому» изображению средствами живописи, но оно достаточно ясно может быть выражено с помощью экспрессивно-реалистической передачи комплекса чувств и переживаний участников «священного» события на «феноменальном» уровне.

Однако не только ради «ноуменального» содержания поддерживает Месарит реалистические черты в культовой живописи. В период, когда византийская культура как бы заново открыла для себя многие культурные ценности античности, когда духовные лица самого высокого ранга коллекционировали, изучали и описывали памятники языческой литературы и искусства, когда возродился такой, казалось бы, нехристианский жанр, как любовный роман, — в этот период образованный византиец мог себе позволить увлечься реалистическими тенденциями в живописи и самими по себе, без их какой бы то ни было семиотической функции, что мы и наблюдаем нередко у Николая Месарита. Любуясь изобразительными возможностями живописи, описывает он, например, сцену проповеди Евангелия сарацинам и персам апостолом Симоном: «Сарацин и персов видишь ты вокруг Симона одетых в персидские одежды, с сильно растрепанными бородами, с приподнятыми бровями, с взъерошенными волосами на головах и свирепо глядящими на него; в разноцветных уборах, украшающих их головы — небесно-голубых, багряных и белых. Они, по-видимому, [бурно] оспаривают учение апостола; ибо каждый из них отталкивает, как можно видеть, соседа и стремится занять место напротив Симона, чтобы опровергнуть его взгляды» (Ibid. 20). При чтении такого описания перед нашим внутренним взором невольно возникает яркое изображение, но отнюдь не византийского типа. Мы видим картину, написанную в лучших традициях ренессансного искусства, и даже не итальянского, а скорее северного (немецкого или нидерландского) типа. В православном регионе нечто близкое мы наблюдаем лишь в русской монументальной живописи XVII в. От византийского искусства VI—XII вв. не сохранилось ничего подобного и, судя по реконструированной истории этого искусства, не должно было сохраниться как несуществовавшее.

Чем же объяснить странное и настойчивое желание византийского автора видеть в культовой живописи то, чего там вроде бы не было? Только ли это обычный риторический прием и ностальгия по легендарному эллинистическому искусству? Или Николай стремится убедить своих читателей, что существует искусство, отвечающее эстетическим идеалам иконопочитателей VIII—IX вв., которые сохраняли актуальность и в его время? Как бы то ни было, но византийскому автору XII в. доставляет явное удовольствие рассматривать (реально или в своем воображении) и описывать изображения с яркими реалистическими чертами.

Приведем еще один характерный образец такого описания. Месарит приглашает нас рассмотреть изображение бури на Генисаретском озере: «Смотри на это ревущее море, смотри на волны, как одни из них громоздятся, как горы, и несутся в открытом море, другие же скользят, накатываясь на берег ... [Смотри] как темен воздух над морем, как он полон тумана и пыли, как все покрыто облаками, как безжалостно швыряют корабль туда и сюда бесконечные удары волн, ибо эвклидон, или арктический борей, обрушился на него. Наблюдай за людьми на корабле, как они снуют взад и вперед, как каждый из них советует другому, как можно скорее схватить ближайшую к нему снасть, чтобы корабль не выбросило на скалы и находящиеся на нем люди не погибли» (Ibid. 25). Этот выразительный фрагмент византийской художественной прозы интересен не только сам по себе или как косвенное указание на породивший его живописный оригинал, но в еще большей мере — как выражение идеальных представлений византийцев того времени об изобразительном искусстве, требований, предъявлявшихся эстетическим сознанием к живописи.

Реалистические элементы рассматриваются Месаритом в качестве важных выразительных средств живописи. В композиции «Воскрешение Лазаря» он обращает внимание, например, на юношей, зажимающих носы. При этом указывает на хорошо выраженную их позы и жестами борьбу противоположных стремлений в них. Юноши желают полнее удовлетворить любопытство, своими глазами увидев воскресшего Лазаря: они устремляются к гробу, но вынуждены зажать носы и отпрянуть назад из-за невыносимого зловония, исходящего оттуда; губами своими хотели бы они восславить совершившего чудо, но вынуждены плащами своими закрыть рты; они охотно убежали бы, но чудесное событие прочно удерживает их на месте (Ibid. 26). {442}

Приученный всем ходом развития византийской культуры к пристальному взгляду в каждый элемент бытия, природный или рукотворный, средневековый византиец внимательно рассматривает все детали изображения. В картине, как и в библейском тексте, для него нет незначительных элементов и деталей. Если художник написал их, значит он сделал это для чего-то, наделил их каким-то смыслом, и зритель (как и читатель священных текстов) обязан понять его, если и не во всей полноте, то хотя бы осознать его наличие. Религиозный утилитаризм и дух глобального символизма, характерные для средневековой эстетики, не позволяли ни мастеру, ни зрителю того времени допускать наличие случайных (пусть даже самых незначительных) элементов в изображении.

Явно увлекаясь описанием реалистических элементов изображения, Месарит, тем не менее, не забывает о «ноуменальном» уровне, на выражение которого, по его глубокому убеждению, и ориентирована вся изобразительная система живописи. Реалистические элементы, хотя и радуют его сами по себе, все-таки не представляются ему самоценными. Они значимы для него, прежде всего, как выразители некоторого иного смысла. Экспрессивные позы учеников в «Преображении» подчеркивают, в его понимании, необычность события; о чудесном воскрешении Лазаря или о хождении Христа по водам он сообщает не только прямым текстом, но и описывая реакцию на эти явления окружающих персонажей: эпизод с отсечением Петром уха у раба Мальха при взятии Христа и последующим чудом исцеления раба Иисусом Месарит не забывает осмыслить, как исцеление раба от духовной слепоты и т. п. Чтобы подчеркнуть неординарность изображенных событий, Месарит прибегает иногда к традиционным для византийской культуры парадоксам. Продолжая, например, библейскую традицию, он предлагает своим читателям увидеть голос, сходящий с неба в «Преображении». Над головой изображенных фигур, пишет он, «непосредственно на небе не видно ничего другого, кроме того голоса, которым Бог-Отец подтвердил истинность сыновства» на Иордане. «Смотри, как голос из вершины купола, как с неба, ниспадает наподобие животворного дождя на еще сухие и неплодоносящие души юношей, чтобы во время зноя и жажды, то есть сомнений в страстях и воскрешении, они не оказались в опасности неожиданной беды» (Ibid. 16). Оставим искусствоведам решать проблему, пытался ли мастер церкви св. Апостолов изобразить как-либо этот голос. Для нас важно, что образованный византиец XII в. желал видеть этот голос и отнюдь не только физическим зрением (что весьма проблематично), но, прежде всего, взором ума. О последнем Месарит помнит на протяжении всего описания мозаик.

Главную задачу своего трактата он усматривает в доведении до мысленного взора читателя «ноуменального» уровня живописи. На ее эффективное решение ориентированы и художественные особенности экфрасиса Месарита. Прежде всего строго продумана композиция описания. Николай описывает далеко не все сцены, но выбирает наиболее значимые, на его взгляд, с содержательной точки зрения. Последовательность их описания он также основывает на определенной смысловой логике, не совпадающей с архитектурно-топографической логикой, хотя и отталкивающейся от нее. Общая схема его описания такова (речь идет только о {443} живописном цикле): 1. «Пантократор» в центральном куполе; 2. «Евхаристия» в восточной апсиде; 3. «Преображение» и «Распятие»; 4. Ряд второстепенных сцен, проповедь Евангелия апостолами; 5. «Благовещение», «Рождество», «Крещение», «Хождение по водам», «Воскрешение Лазаря», «Взятие Христа»; 6. «Жены-мироносицы у гроба», «Явление Иисуса женщинам» и ряд сцен, связанных с явлением Христа ученикам.

Не вдаваясь здесь в подробный анализ этой последовательности, отметим, что ее логика не лишена смысловой значимости и в целом ориентирована на выявление существенных основ христианской доктрины. Так, поместив между мистериальной картиной «Евхаристии» и

сугубо земными сценами повседневного дела христианских проповедников два важнейших события из «земной жизни Христа», одно из которых демонстрирует его высочайшее прославление, а другое, напротив,— глубочайшее унижение, Месарит при переходе от одного к другому указывает на их глубинную смысловую связь. По его мнению, именно о кресте шла речь у Христа с пророками на Фаворе (Ibid. 17). И если в «Преображении» можно было воочию видеть блеск славы Христа, то по существу-то он «прославился на кресте, хотя и не имел ни вида, ни красоты, как [всякий] смертный человек, висящий на кресте» (Ibid.). Подобные смысловые связки мы наблюдаем и в ряде других случаев.

Особым и постоянно повторяющимся художественным приемом у Месарита является приглашение читателя вместе с ним всмотреться в описываемую мозаику, которое по сути дела является приглашением к созерцанию, особым риторским приемом активизации восприятия читателя, возбуждения его духовного зрения. Трактат Николая пестрит призывами к читателю (!): «Смотри», «наблюдай», «обрати внимание», «посмотри», «видишь».

Многие искусные художественные приемы в трактате Месарита, как собственно и само обращение к подробному описанию мозаик, имеют отнюдь не только и не столько эстетические цели, сколько богословские. Для Николая само собой разумеющейся является мысль о том, что и его риторский дар, и талант строителей и художников храма должны быть направлены на выполнение важнейшей для культуры того времени функции — проповеди христианских духовных ценностей. Сам экфрасис под его пером превращается в гомилию на одну из евангельских тем; описываемые же композиции часто служат ему лишь отправным моментом для рассуждений на религиозные темы.

В византийской культуре XII в. экфрасис трансформируется, с одной стороны, в развернутое толкование изображений, с сильной гомилетической тенденцией, а с другой — становится как бы наставлением художнику, перед которым ставится задача не просто проиллюстрировать события священной истории, но и с помощью художественных средств выразить «ноуменальное» содержание этих событий. Читая описание Месарита и сравнивая его с дошедшими до нас образцами византийской живописи и современной ему, и VI в., которую он якобы описывает, мы видим, что он, увлекшись решением богословских и риторических задач, часто выдает должное за действительное. Его описания не так уже много могут дать современному искусствоведу, но ценны для историка эстетики и духовной культуры Византии. Они наглядно подтверждают, что искусство в основном направлении зрелой византийской эстетики рас- {444} сматривалось как важный фактор в деле пропаганды, разъяснения и внедрения религиозных идей в сознание средневекового человека.

Чтобы снять недоумение читателя, более знакомого с византийским искусством рассматриваемого периода, чем с его искусствоведческой и эстетической мыслью, здесь имеет смысл указать на один из значимых парадоксов византийского эстетического сознания, объяснение которого еще ждет своего часа. Среди теоретиков искусства, как мы убедились, и в ранневизантийский период, и во времена иконоборчества, и в период расцвета византийского искусства X—XII вв. существовала достаточно распространенная (если не ведущая) тенденция, берущая начало в культуре эллинизма, к усмотрению и поощрению в изобразительном искусстве экспрессивно-натуралистических и реалистических черт и приемов изображения. Главное же направление византийского искусства, достигшее своей зрелости именно в X—XII вв., основывалось совсем на иных принципах. Не натуралистичность, психологизм, экспрессивность и динамизм, но, напротив, *обобщенность, условность, символизм, статика, самоуглубленность, этикетность и каноничность* характерны для него в первую очередь. Мозаики Софии Константинопольской (XI в.), монастырей Дафни под Афинами и св. Луки в Фокиде (XI в.), соборов св. Марка в Венеции, в Торчелло, в Чезалу, в Монреале (XII в.), в Палатинской капелле в Палермо, многочисленные иконы и книжная миниатюра этого периода служат ярким подтверждением сказанного.

Остановимся несколько подробнее на *художественно-эстетической* специфике этого искусства, на тех его особенностях, которые составили основу так называемого «византийского стиля» в искусстве и были унаследованы в средние века искусством многих стран православного региона.

В связи с тем, что человек стоял в центре внимания христианского мировоззрения — его «очищение», «преображение» и «спасение» составляли главную цель церкви как духовного института, — то в процессе исторического развития искусства человеческая фигура заняла смысловую и формальный центры практически любой композиции. Искусство, выполняя свою традиционную функцию, давало конкретно-чувственное выражение духовного идеала культуры. Человеческая фигура выступала поэтому в византийской живописи носителем основных художественных идей. Наиболее значимые фигуры композиции (Христос, Богородица, святые) изображались обычно во фронтальном положении. Окружающие их фигуры располагались в более свободных позах (чаще всего в трехчетвертном развороте), чем подчеркивалась особая значимость, иератичность центральных фигур. В отдельных случаях, чаще всего в росписях храмов, византийские мастера увеличивали масштаб фигур — Пантократора в куполе. Богородица в апсиде и т. п. В профиль изображались, как правило, отрицательные (Иуда, сатана), а изредка и второстепенные персонажи и животные.

Композиции в византийской живописи, особенно регулярно в иконах, строились по принципу максимальной статичности и устойчивости, что выражало непреходящую значимость изображаемых событий, их вневременность. Композиционным центром многих изображений выступала обычно голова (или нимб) главной фигуры независимо от ее размеров. {445} Часто круг нимба помещался в вершине равностороннего треугольника со стороной, равной ширине композиции, т. е. в точке максимальной устойчивости. При этом сама фигура далеко не всегда изображалась в статичной позе (см. многие иконы с изображением «Сошествия во ад»), что не нарушало статики основного конструктивного треугольника композиции. Круг нимба был важным структурообразующим элементом византийской живописи. Не узкая полоса позы, а система нимбов определяла часто центр гравитации иконы. Поэтому в ней фигуры, как правило, не стоят на земле, а как бы парят над ней, что создает иллюзию их нематериальности.

С помощью ряда канонизированных приемов в византийском изображении создавалось особое художественное пространство, которое активно ощущалось зрителем в процессе восприятия этого искусства. Понимание пространства и времени в искусстве неразрывно связано с системой мировосприятия соответствующей культуры. По христианской традиции изображение — особый мир образов, отображающий чувственно невоспринимаемый духовный мир сверхбытия, вневременный и внепространственный. Поэтому и художественное пространство (в широком смысле включая и время) должно быть по-своему вневременно и внепространственно, или — всевременно и всепространственно.

Этого эффекта византийские мастера добивались с помощью достаточно простых приемов; прежде всего, путем объединения в одной, целостной композиции разнопространственных, разновременных и одновременных событий. Византийцы не пользовались для этого перспективой, как некоторой системой технических приемов организации художественного пространства. Для них оно определялось самим изображаемым явлением, а не выступало предметом специального изображения, как в ренессансной европейской живописи. Все свое внимание византийский художник уделял воссоздаваемому явлению, а пространство складывалось как нечто вторичное на основе композиционного единства всех изображенных предметов. При этом, так как каждый предмет был значим для средневекового художника и сам по себе, то он стремился изобразить его с максимальной полнотой, часто совмещая в одном изображении его виды с различных сторон. Получались причудливые развертки предметов, изображенных как бы в «обратной перспективе». Совмещение в одной композиции всех таких изображений (увиденных с разных точек зрения, показанных как бы в прямой, параллельной и обратной «перспективах») привело к созданию своеобразного художественного пространства в византийском искусстве.

Важную роль в его организации играли условно изображенные элементы архитектуры и пейзажа. Занимая большую часть поверхности изображения, архитектура и «пейзаж» могут вторить или противоречить духу, настроению, пластическому звучанию основных фигур. Обычно горный пейзаж в византийской живописи, особенно в иконе, — это некоторая вогнутая, дробная поверхность, воспринимаемая почти как вертикальная стена. Вогнутая стена горок выдвигает основное действие на первый план, замыкает его в себе как нечто очень важное и самодовлеющее, обособленное и выделенное из всего окружающего мира. Своей цветовой

нагрузкой, ритмикой масс и линий, системой сдвигов поверхностных слоев горки тесно связаны со всей остальной художественной {446} тканью произведения и играют важную роль в организации эстетического эффекта.

Следует отметить еще один интересный канонический прием. В византийском искусстве действие практически никогда не изображается происходящим в интерьере, что связано с обостренным ощущением средневековым живописцем вневременности и внепространственности изображаемого явления. Отсюда архитектура фона иногда, когда это известно из литературного источника, может восприниматься как намек на то помещение, где происходит действие, например изображения «Вселенских соборов» на фоне храмовой архитектуры. Созданию эффекта вневременности и внепространственности в византийской живописи способствовал и особый характер передачи действий, совершаемых персонажами. Под кистью иконописца они часто замедляют свой темп, а то и совсем приостанавливаются, превращаясь на иконе из изображения действия в его знаки.

К специфическим эстетически значимым особенностям языка византийского искусства следует отнести *деформации* фигур и предметов. Они, как правило, направлены на усиление выразительности изображения и играют большую роль в создании художественного образа. В византийском искусстве можно различить два вида деформаций: корректирующие и экспрессивные. Первые имели место только в системе храмовых мозаик и росписей: их целью была необходимость корректировки оптических искажений основных размеров фигур, связанная с различными расстояниями и «углами зрения», под которыми зрителю приходилось рассматривать отдельные композиции росписи (в куполах, барабанах, нишах, на уровне глаз, на плоских и кривых поверхностях и т. п.). Для этого верхние фигуры изображались в большем масштабе, чем нижние, использовалось несколько шкал пропорций для различных композиций в зависимости от их местоположения в храме (верх, низ, плоская стена или кривая поверхность). Например, фигуры, помещенные в центре апсиды, изображались более узкими, чем фигуры по бокам, просматриваемые под более острым углом зрения. Последние делались значительно шире центральных, или же у них были более широкие жесты, расстояние между ними также было большим, нежели между центральными фигурами. Этот прием использовался для того, чтобы все фигуры композиции воспринимались в соответствии с общей пропорциональной системой. Помимо деформаций этого типа, на отдельных этапах истории византийского искусства большую роль играли те или иные специальные, художественно значимые деформации фигур, выступавшие как активные элементы художественной лексики. К ним следует отнести прежде всего такие стилистические черты, как удлинённые фигуры, широко раскрытые глаза, «перекручивания» человеческих фигур на 90—180°. Все подобного типа деформации были ориентированы (далеко не всегда осознаваемо, а скорее всего, на уровне художественной интуиции) на создание определенной художественной выразительности. К деформациям этого типа относятся и изображения фигур и предметов без каких-либо их важных элементов (например, ног или нижних частей у человеческих фигур, стен у зданий и т. п.).

Значительно большим деформациям, чем человеческие фигуры, подвергались в византийской живописи неодушевленные предметы — горы, {447} деревья, архитектура, предметы интерьера. Этот художественный прием органически вытекал из всей системы христианского миропонимания и был закреплен в *иконографическом каноне*. Византийский художник не работал с натуры, его мало интересовал внешний вид предметов реального мира, вернее, он не видел большого смысла в фиксировании этого внешнего вида. Любой предмет изображался им не ради него самого, не ради красоты или уникальности его формы, но чаще всего как носитель определенного значения. Поэтому набор таких предметов, к тому же написанных стереотипно, был в византийской живописи очень ограниченным. Пейзаж здесь, как правило, представляли условно изображенные горки, несколько деревьев или кустиков, река (в «Крещении»), архитектурные кулисы, соединяющий их веллум. Из предметов обихода византийские мастера чаще всего использовали трон, стол, ложе, подножие, книгу, свиток, чашу. Остальные предметы встречаются редко, и их появление всегда обосновано знаковой функцией. В целом все условно изображенные предметы материального мира служили в византийском искусстве для создания особого художественного пространственно-временного континуума. Высокая степень их деформации, особенно горок и архитектуры, повышающая динамизм живописного образа, была основана на идеях христианской космологии и антропологии.

В восточнохристианской живописи фигура человека (такого изменчивого и непостоянного в жизни), в противоположность западноевропейскому искусству, выступала в качестве носителя и выразителя вечных (надэмоциональных) идей. Для передачи преходящих настроений, переживаний, эмоциональных состояний, соответствующих изображаемому событию или отношению к нему художника, в этом искусстве часто использовали неодушевленные предметы (в представлении современного зрителя значительно более статичные и неизменные по своей природе, чем человек). Статике, в себя углубленности и в себе замкнутости человеческих фигур византийский мастер противопоставлял экспрессивные сдвиги, смещения, затейливые изгибы и искривления, наклоны, перекрученность, всплески и взлеты каменных палат и горок.

Здесь в художественной форме воплощались представления христиан о высоком духовном назначении человека (образа бога) и о неустойчивости и призрачности всего материального. Многие деформированные элементы в византийской живописи переходят из одной композиции в другую, превратившись в некий изобразительный знак, инвариант. Для византийского искусства вообще характерен принцип инвариантности художественного мышления, т. е. стремление набирать произведение (живописное, словесное, музыкальное) из стереотипных элементов.

Высокая степень философско-религиозного символизма и строгая каноничность византийского искусства, с одной стороны, и чисто художническое стремление средневековых мастеров сделать свои произведения предельно понятными и доступными восприятию всех членов христианской общины, — с другой, привели к тому, что почти все изображения в этом искусстве «набирались» из небольшого ряда ясных цветовых и пластических символов и метафор или стереотипных изобразительно-выразительных единиц, обладающих достаточно устойчивыми для всего православного региона художественными значениями. Каждый из этих пластических символов обладал целым спектром значений, среди которых были {448} как узкие, понятные только средневековым зрителям, так и широкие — общечеловеческие³⁵.

Особое внимание византийской эстетики со времен Псевдо-Дионисия Ареопагита к свету и цвету, как важнейшим средствам художественно-символического выражения с особой полнотой воплотилось в византийской живописи. Она вся пронизана светом, сияет и сверкает, поражая своей светоносностью даже привыкших ничему не удивляться, все повидавших людей XX в. В ней нет какого-либо определенного светового источника, но существует несколько систем носителей света.

Первой среди них должна быть названа система золотых фонов, нимбов и ассиста. Равномерное золотое сияние, окутывающее фигуры и пронизывающее всю сцену (см., в частности, мозаики монастыря Дафни под Афинами XI в.), переносило в восприятии средневекового зрителя изображенное событие в некое иное, далекое от земного мира, измерение, в сферу духовных сущностей, реально являя собой эту сферу. Золотое сияние, окутывая представляемое событие облаком ирреального света, удаляло его от зрителя, возвышало над эмпирией суетной жизни. В художественной структуре мозаики и иконы золото фонов и нимбов выступало важным гармонизирующим фактором, подчиняющим себе весь цветовой строй изображения.

Вторая светоносная система возникала в византийской живописи на основе особых приемов высветления ликов и наложения пробелов. Темные пятна и движки, светов часто располагаются на лицевом рельефе таким образом, что создают иллюзию излучения света самим ликом.

Третьим носителем света в византийских мозаиках и иконах были краски. Яркие цвета, включаясь в сложные художественные взаимосвязи, как со светом золотых фонов и нимбов, так и с «внутренним» светом ликов, создают богатую светоцветовую симфонию, вызывающую глубокий эстетический отклик у зрителей.

Цвет играл в византийской эстетике особую роль. Наряду со словом он выступал важным выразителем духовных сущностей, обладая глубокой художественно-религиозной символикой³⁶. Остановимся кратко на значимости основных цветов палитры византийского мастера.

³⁵ Подробнее о них см. специальную статью: *Бычков В. В.* К проблеме эстетической значимости искусства византийского региона // Зограф. Београд. 1983. № 14.

³⁶ См.: *Бычков В. В.* Эстетическое значение цвета в восточнохристианском искусстве // Вопросы истории и теории эстетики. М., 1975. Вып. 9. С. 129—145; *Он же.* Византийская эстетика. С. 102—107.

Пурпурный цвет — важнейший в византийской культуре: цвет божественного и императорского достоинства. Только василевс подписывался пурпурными чернилами, восседал на пурпурном троне, носил пурпурные сапоги; только алтарное евангелие было пурпурного цвета; только богоматерь в знак особого почтения изображали в пурпурных одеждах.

Красный — цвет пламенности, огня, как карающего, так и очищающего, это цвет «животворного тепла», а следовательно, символ жизни. Но он же — и цвет крови, прежде всего крови Христа, а значит, по богословской аргументации, знак истинности его воплощения и грядущего спасения рода человеческого.

Белый часто противопоставляется красному, как символ божественного света. Одежды Христа в эпизоде «Преображения» «стали белыми, как свет» {449} (Мф. 17.2) — такими они и изображались иконописцами. Со времен античности белый цвет имел значение чистоты и святости, отрешенности от мирского (цветного), устремленности к духовной простоте и возвышенности. Эту символику он сохранил и в византийском эстетическом сознании. На иконах и росписях многие святые и праведники изображены в белом; как правило, белыми пеленами овито тело новорожденного Христа в композиции «Рождества Христова», души праведников — «Лоне Авраамовом», душа Марии — в «Успении». Как символ чистоты и отрешенности от всего земного воспринимался белый цвет льняных тканей, овивающих тело Христа в «Положении во гроб», и как знак божественного родства — белый цвет коня (осла) у яслей с младенцем в «Рождестве Христовом».

Черный цвет в противоположность белому воспринимался как знак конца, смерти. В иконописи только глубины пещеры — символа могилы, ада — закрашивались черной краской. Оппозиция «белое — черное» с достаточно устойчивым для многих культур значением «жизнь — смерть» вошла в иконопись в виде четкой иконографической формулы: белая спеленатая фигура на фоне черной пещеры (младенец Христос в «Рождестве», воскресенный Лазарь).

Зеленый цвет символизировал юность, цветение. Это — типично земной цвет; он противопоставляется в изображениях небесным и «царственным» цветам — пурпурному, золотому, голубому.

Синий и *голубой* воспринимались в византийском мире как символы трансцендентного мира.

Эстетическое сознание византийцев X—XII вв. развивалось по самым разным, часто противоположным, направлениям. При этом эстетическая теория и художественная практика нередко, как мы видим, занимали полярные места в его многообразной картине. Особо наглядно противостояние оппозиционных тенденций в эстетике проявилось именно в рассматриваемый период, о чем хорошо свидетельствует и активное развитие в эти века таких противоположных направлений, как *эстетика аскетизма* и *антиквизирующая эстетика*.

Духовно-ригористические традиции в эстетике X—XII вв. продолжают развивать в своих сочинениях авторы агиографий и византийские подвижники, среди которых особый интерес для эстетики представляет фигура Симеона Нового Богослова.

Авторы агиографий этого времени продолжают традицию утверждения идеала духовной красоты и грядущего вечного блаженства и, соответственно, проповедуют в качестве норм земной жизни нестяжательность, бесстрастие, отказ от земных благ, аскезу и, как высший подвиг (если представится случай), — мученичество за духовные идеалы. Вознаграждение же, духовное по своей сущности, описывается агиографами часто в эстетической терминологии и в образах, доступных пониманию самых широких, необразованных народных масс.

Подвижник, ведущий праведную жизнь, т. е. устремленный к духовной красоте, по свидетельству агиографов, часто до глубокой старости сохраняет красоту внешнего облика: «...хотя Филарет был уже глубоким старцем — он дожил до девяноста лет — ни зубов его, ни лица, ни десен не тронуло время: он был свеж, цветущ и светел ликом, как яблоко или роза» (Виз. лег. С. 111). Более того, лица таких выдающихся подвижников, как Николай или Алексей, излучали, согласно агиографам, «пресветлое сияние» (Там же. С. 154, 160). Многие из них, особенно после смерти, источали благоухание, а их мощи — благовонное миро (Там же. С. 111, 154, 161).

Место вечного блаженства, или рай, изображается в житийной литературе, как идеальный прекрасный сад, благоухающий ароматами бесчисленных цветов и услаждающий глаз обилием зрелых плодов, т. е. как некий идеал природной красоты, который на земле никто «не

мог узреть. Ибо росло там множество деревьев разнообразных, прекрасных, высоких и не похожих на обычные. Все они были покрыты плодами изобильнее, чем листьями, а плоды имели такие благоцветные, большие и душистые, каких не зрели смертные. Под этими деревьями текли обильные студеные и чистые воды, и поднимались там всякого рода душистые травы, и оттуда струило всевозможными ароматами, так что стоявшему чудилось, будто он вдруг попал в покой, где готовят благовония» (Там же. С. 181). В другом описании рай также предстает прекрасным садом, одновременно цветущим и плодоносящим и «насыщающим благовонием всю землю ту». Растут там диковинные растения, но среди них можно увидеть и «всякое дерево, какое растет и в наших садах, но краше и выше, и все они струили благоухание ароматов, и выходящие вокруг деревьев прекрасные виноградные лозы, покрытые тяжелыми гроздьями, и финиковые пальмы, и все, что украшает людскую трапезу» (Там же. С. 112).

Интересно отметить, что в этом идеальном пейзаже господствуют визуально воспринимаемая красота и благоухание. Эстетика запаха занимает здесь, пожалуй, едва ли не первое место — черта, характерная для византийской культуры, хотя и не оригинальная, берущая начало в древних культурах Востока. На византийской почве обонятельная эстетика наполнилась новым духовным содержанием.

Все эти слишком красивые и даже чувственные элементы в суровой в целом эстетике аскетизма, свидетельствующие о проникновении в монастырскую культуру каких-то глубинных начал народной культуры, фольклорного сознания, скорее роднят ее с антикизирующим направлением, чем отделяют от него. Основные же положения этой эстетики, как и в предшествующие периоды, формулировались самими подвижниками, а не популяризаторами их жизни и деятельности — агиографами.

В рассматриваемый период главным представителем эстетики аскетизма был Симеон Новый Богослов. Он, как и его предшественники, развивает идеи бегства от «прелестей мира сего», борьбы с тремя главными пороками, поражающими души людей, — «сластолюбием, сребролюбием и славолубием», проповедует нестяжательность, аскетический и добродетельный образ жизни, любовь к людям. Разрабатывая в целом традиционный для подвижнической жизни путь к «царству блаженства», Симеон акцентирует особое внимание на ряде эмоционально-психологических состояний человека, занимавших важное место в духовном мире большей части византийцев, определявших важные аспекты эстетики аскетизма и нашедших отражение в художественной культуре Византии того времени, так или иначе связанной с монастырями.

Истинный подвижник, по мнению Симеона, должен отличаться богатством и глубиной эмоциональной жизни определенной направленности, именно — повышенной чувствительностью к скорбям, горестям, беспомощности и быстротечности человеческой жизни. Сам Симеон, по свидетельству его ученика и агиографа Никиты Стифата, активно развивал в себе эту повышенную чувствительность, размышляя о смерти, молясь на кладбище, находясь «постоянно в состоянии сокрушенного умиления» (*Симеон Нов. Бог. I. С. 5—6*).

Считая смирение «началом и основанием» подвижнической жизни, Симеон на второе место после него ставил плач, усматривая в нем непостижимое чудо — *катарсис* души с помощью вроде бы чисто физических процессов: «Чудо неизъяснимое! Текут слезы вещественные из очей вещественных и омывают душу невещественную от скверн греховных» (Там же. 3). Плач приносит человеку утешение и рождает в нем радость (Там же. 19, 3). Эмоциональное состояние печали и сокрушения, достигаемое с помощью физического процесса плача и особой настроенностью души, по убеждению Симеона, переходит (и в этом пафос и смысл эстетики аскетизма) в свою противоположность — состояние духовной радости, высшего наслаждения, узрения «божественного света».

Другим важнейшим элементом эмоционально-духовной жизни подвижника, тесно связанным с плачем, является молитва, способствующая установлению контакта между душой и абсолютным. Свидетельством эффективности молитвы опять же являются «божественный свет» и духовное наслаждение, наполняющие душу молящегося (Там же. 8, 2). Даже чтение текстов Писания мало что дает человеку без молитвы. По мнению Симеона, читающий без молитвы «ничего как должно не понимает из читаемого, не чувствует сладости от того и никакой не получает пользы» (Там же). Симеон неоднократно подчеркивает, что, помимо истины и пользы, тексты Писания должны доставлять читателю и наслаждение, которое возникает только в слу-

чае соединения чтения с молитвой. Ибо молитва, являясь средством связи человека с Богом (Там же. 8, 3), открывает возможность к просвещению души, после чего она только и может правильно понять текст и насладиться прочитанным.

И плач, и молитва у Симеона суть эмоционально-душевные пути к высшему духовному наслаждению, которое может в идеале испытать любой, усердный подвижник еще в этой жизни. Однако оно неосуществимо без осияния души божественным светом. С Симеона, пожалуй, впервые в истории византийской духовной культуры свет становится центральной проблемой эстетики, хотя, как известно, он занимал видное место уже и в эстетике Псевдо-Ареопагита.

Симеон различает два вида «света» и два их источника: для видения предметов материального мира требуется «чувственный» свет солнца, а для узрения «мысленных вещей» необходим «свет умный», источником которого является Иисус Христос, «подающий свет умным очам душевным, чтобы они мысленно видели мысленное и невидимое» (Там же. 24,3). Повторяя известную евангельскую мысль о том, что бог сам есть свет, Симеон уверен, что он уделяет от «светлости своей» всем, кто соединяется с ним «по мере очищения» (Там же, 25, 2). Именно этот «умный свет» помогает читающему постигать смысл читаемого, «ибо сей сокровенный свет божественного ведения есть некая мысленная сила, которая окружает и собирает подвижный ум, отбегающий обычно туда и сюда» во время чтения (Там же. 9, 2). Однако человеку, получившему его, уже собственно и нет надобности ничего читать, ибо световая стихия, в которую он погружается всей своей сущностью, и есть цель всех устремлений подвижника.

Файл byz453g.jpg

Камя. Христос.

X—XI вв. Париж. Кабинет медалей.

Здесь высшее знание нераздельно с высшим наслаждением; ум человека становится светом и сливается, хотя и постоянно осознавая себя, с высшим светом и источником всякого света. Ум «весь освещается,— пишет Симеон,— и становится, как свет, хотя не может понять и изречь то, что видит. Ибо сам ум тогда есть свет и видит свет всяческих, то есть Бога, и свет сей, который он видит, есть жизнь, и дает жизнь тому, кто его видит. Ум видит себя совершенно объединенным с этим светом и трезвенно бодрствует». Он ясно сознает, что свет этот «внутри души его и изумляется»; изумляясь же, он видит его уже как бы пребывающим вдали, а придя в себя, «опять находит свет этот внутри» и не хватает ему ни слов, ни мыслей, чтобы подумать или сказать что-либо о нем (Там же. 19,1). Воссияв в человеке, свет этот изгоняет все помыслы и страсти душевные, исцеляет телесные немощи; душа видит в нем, как в зеркале, все свои прегрешения, приходит в полное смирение и одновременно наполняется радостью и весельем, изумляясь увиденному чуду. Человек весь изменяется к лучшему и познает абсолютную истину (Там же. 19, 2).

Высшая ступень познания осмысливается Симеоном как слияние световых сущностей объекта и субъекта познания, которое происходит вроде бы в душе субъекта, но таким образом, что душа как бы сама покидает этот мир, прорывается в иные измерения и там объединяется с божественной сущностью. Она, пишет Симеон, «некоторым образом выходит из тела своего и из этого мира и восходит на небеса небес, воспаряя туда на крыльях божественной любви и успокаиваясь там от подвигов своих в некоем божественном и беспредельном свете» (Там же. 21, 2). И все это, по глубокому убеждению Симеона, происходит еще при жизни подвижника, что делало его световую мистику и эстетику особенно привлекательной в средние века.

Сходя на человека, невидимый свет настолько сильно преображает всю его не только духовную, но и телесную структуру, что его тело начинает излучать видимое сияние, на что постоянно указывают агиографы.

Световая эстетика Симеона — один из ярких образцов и примеров *aesthetica interior*, т. е. эстетики, имеющей свой объект во внутреннем мире самого субъекта восприятия. Утратившая во многом свою актуальность в новое время, она процветала в средние века. Ее следы мы обнаруживаем сейчас не только в трактатах древних подвижников, но и во многих явлениях средневековой, византийской, прежде всего художественной культуры. Золотые фоны и нимбы мозаик и икон, лучи и звезды золотого ассиста на византийских изображениях,

блеск мозаичной смальты, отражающей свет лампад и свечей, яркие светонесущие краски икон и мозаик, система пробелов, пронизывающая у многих византийских мастеров их изображения (см. росписи Феофана Грека), обилие света, светильников, сверкающих предметов в храме, создающих особую световую атмосферу,— все это конкретная реализация в искусстве той эстетики света, которую разработали на практике и попытались как-то описать в своих трактатах византийские подвижники. Вклад Симеона в нее особенно значителен. В последующие века, пожалуй, только Григории Палама сделал существенные дополнения к этой эстетике.

Не рассматривая здесь подробно всех аспектов эстетики Симеона и его последователей по подвижнической жизни, остановимся лишь еще на одной важной проблеме, хорошо освещенной им. Речь идет об образно-символическом понимании праздника, которое, во-первых, ясно показывает, как функционировала византийская теория образа и символа в конкретных случаях, и, во-вторых, выявляет характер эстетической значимости религиозного праздника для византийцев. Симеон призывает своих собратьев не увлекаться внешним блеском и красотой праздников, обилием украшений, света, благовоний, яств и напитков. Все это лишь видимость настоящего праздника, «только тень и образ празднества» (Там же. 41, 2; 3). Истинный же праздник состоит в том, на что образно и символически указывает чувственно-воспринимаемое праздничное действие. Он и доставляет тем, кто это понимает, настоящую и непреходящую радость.

Горящие во множестве на празднике «лампады символически указывают на мысленный свет» (Там же. 41, 3). Они должны напомнить человеку, что дом его души должен быть также весь наполнен духовным светом, как и церковь — светом лампад. В нем должны сиять добродетели и не оставлять неосвещенным ни одного уголка его души. Множество «свечей означает светлые помыслы», которые должны светить в человеке, не оставляя место для мрачных и темных размышлений. Многочисленные компоненты, составляющие праздничные благовония, знаменуют собой разнообразие духовных даров, которые надлежит стяжать человеку. Фимиам, исходящий от кадил, указывает, по Симеону, на духовную благодать.

Интересно отметить, что основное внимание во внешнем (или эстетическом) оформлении праздника Симеон уделяет свету и ароматической атмосфере, которые наделяются им большой символической значимостью. Так, гармония ароматических компонентов, «благоуханием своим услаждающая чувства», символизирует гармонию духовных начал в человеке, а также знаменует благоухание древа жизни. Благовоние выступало во всей византийской традиции устойчивым символом св. духа, отсюда и особое внимание византийцев к эстетике запахов.

По Симеону, настоящий праздник имеет только тот, кто, участвуя в реально совершаемом празднестве, воспринимает его как праздник духовный.

Симеон, таким образом, подводит некоторого рода итог византийской символической эстетике. Он показывает, что вся образно-символическая {454} система культового праздника, а за ней стоит или к ней сводится в принципе вся система образов, символов и знаков христианства, направлена на возведение человека «от видимого к невидимому» и погружение его в состояние бесконечного неопишуемого духовного наслаждения. В этом — смысл и главное содержание византийской религиозной эстетики как в ее умеренном, церковно-патристическом направлении, так и в крайне ригористическом — эстетике аскетизма; в этом же и ее культурно-историческая ограниченность. Увлечение эстетикой аскетизма практически приводило к изъятию личности (часто весьма одаренной) из активной социальной деятельности, отрывало ее от реальной действительности, далеко отстоявшей от идеалов этой эстетики.

*

Вместе с тем в византийской культуре второй половины IX—XII в. активно развивалась и нерелигиозная эстетика, ориентированная в целом на античные, дохристианские традиции. В общей картине эстетики этого времени она занимала видное место. Опять приобретают актуальность многие положения и феномены античной эстетики, однако в структуре новой средневековой культуры они, как правило, на уровне их восприятия наполняются новым содержанием, которого не могли иметь в античности. Поэтому антиквизирующее направление — это не искусственное перенесение античных идей в средние века, не консервация музейного

экспоната, но вполне жизненное, действенное и сугубо средневековое явление, возникшее из потребностей византийской духовной культуры послеиконоборческого времени и ставшее ее неотъемлемой частью. Без него византийская эстетика X—XV вв. так же немислима, как и без церковного или монастырско-аскетического компонентов.

Две главные проблемы стоят в центре внимания представителей антикизирующего направления, традиционные и для всей античной эстетики — *красоты и искусства*. Выше всего почитая разнообразные виды нравственной и духовной красоты, византийская эстетика в этом своем направлении обращается к низшей в системе христианских ценностей ступени красоты — к визуально воспринимаемой красоте материального мира, которую, как мы помним, не отрицали и даже высоко ценили и представители ранней патристики, делая главный акцент на том, что она — результат деятельности верховного художника. В рассматриваемом же направлении, прежде всего у светских авторов X—XII вв., на первое место выдвигается гедонистический аспект красоты. Чувственно воспринимаемая красота в первую очередь доставляет наслаждение — эта общая для всего древнего мира мысль не была чужда и византийцам, и далеко не все из них считали это наслаждение греховным. В общей для всего средневековья системе символически-аллегорического восприятия мира наслаждение материальной красотой осмысливалось часто как символ более высокого духовного наслаждения. Тем не менее византийцы X—XII вв., даже и не прикрываясь этой символикой, много внимания уделяли материальной красоте и как объекту непосредственного наслаждения, свидетельства чему мы находим у многих писателей того времени. Тысячелетний период борьбы христианства за полное господство духа над чувственными наслаждениями, преобладавшими в культуре поздней античности, привел к новому нарушению гармонии духовных и чувственных компонентов культуры теперь уже в пользу духовности. Реакцией на него и явился рост нового интереса к античности, и прежде всего к античной влюбленности в чувственно воспринимаемую красоту.

Византийцы X—XII вв. с упоением читают языческих писателей и активно используют античные реминисценции в своем творчестве. В структуре средневековой культуры многие классические образы и формулы приобретают новую окраску, новое звучание.

Авторы византийских романов, используя античные стереотипы, с наслаждением описывают красоту природного пейзажа или садов. Гедонистический аспект красоты сада подчеркивает, например, Евматий Макремволит (XII в.), создавая тем самым атмосферу, благоприятную для зарождения и развития любовных переживаний его юных героев: «Сад этот преисполнен был прелестей и услады, зеленью изобилував, весь в цветах: ряды кипарисов, кровли из тенистых миртов, виноград в курчавых локонах лоз, фиалки глядят из листьев и, кроме благоухания, услаждают взор; <...> Лилии украшают сад, радуют обоняние, манят взоры, с розами соперничают (Виз. люб. проза. С. 47).

Начиная с Фотия, с новой силой вспыхивает в Византии интерес к описаниям произведений архитектуры, в которых главное место занимает любование и восхищение красотой архитектуры. В византийском эпосе «Дигенис Акрит» дом (скорее дворец) Дигениса предстает как уникальное сооружение, сотканное из камня и доставляющее наслаждение глазу:

*И так создание свое сумел украсить мастер,
Что взорам, словно сотканной, постройка представала,
Из образов тех каменных, дававших людям радость.*

(Диг. Акр. С. 53—55)

Михаил Пселл с присущим ему риторским блеском приводит описание красоты церкви великомученика Георгия, сооруженной Константином IX. При этом красоту огромного храма Михаил не отделяет от красоты всего ансамбля, включающего в себя и ряд других зданий с галереями, и «луга, цветами покрытые, одни по кругу, а другие посредине разбитые», и бассейны с водой, и «рощи дерев, высоких и долу клонящихся» (Мих. Пс. С. 186). Главное достоинство храма Михаил видит в его красоте: «Всякий, кто бранит храм за размеры, замолкает, ослепленный его красотой, а ее-то уж хватает на все части этой громады, так что хочется соорудить его еще обширнее, чтобы придать очарование и остальному» (Там же). Пселл мало интересуется собственно архитектурно-строительными деталями. Свою задачу он видит в том, чтобы показать эффект чисто эстетического воздействия архитектуры и окружающей ее специально созданной среды на зрителя. Особое внимание он обращает на эстетическую значимость

целого и частей в прекрасном архитектурном ансамбле. «Глаз нельзя оторвать,— пишет он,— не только от несказанной красоты целого, из прекрасных частей сплетенного, но и от каждой части в отдельности, и хотя прелестями храма можно наслаждаться сколько угодно, ни одной из них не удастся налюбоваться вдоволь, ибо взоры к себе приковывает каждая, и что замечательно: если даже любишь ты в храме самым красивым, то взор твой начинают манить своей новизной другие вещи, пусть и не столь прекрасные, и тут уже {456} нельзя разобрать, что по красоте первое, что второе, что третье. Раз все части храма столь прекрасны, то даже наименее красивая способна доставить высшее наслаждение» (Там же. С. 187). Известную из античности мысль о красоте целого, сплетающейся из прекрасных и не столь прекрасных частей, Михаил дополняет новым наблюдением. Красота целого, которая по античной традиции ценилась выше красоты любой составляющей его части, по Пселлу, переходит в восприятии зрителя на любую, даже наименее прекрасную часть этого целого, и она доставляет ему в составе всего ансамбля «высшее наслаждение».

Попавший в эту предельно эстетизированную среду человек как бы извлекался из мира реальной действительности, и ему «казалось, что движение остановилось и в мире нет ничего, кроме представшего перед его глазами зрелища» (Там же).

Много внимания уделялось в послеиконоборческой Византии физической красоте человека. Несмотря на бесчисленные призывы духовенства и отцов-подвижников к отказу от телесной красоты и даже к ее умалению, византийцы не разучились ее ценить. Прославлению и восхвалению этой красоты посвящены были византийские романы: у византийских историков, риториков и поэтов находим мы многочисленные описания красоты человеческого тела. Свое восхищение красотой человека они воплощали в образах, хотя, как правило, и набравшихся из античных стереотипных элементов³⁷, но не лишенных обаяния и непосредственности нового, уже в рамках средневековья, упоения чувственной красотой.

Византийские историки обращают внимание даже на красоту младенцев, особенно царственных. Михаил Пселл восхищается красотой младенца Константина, сына императора Михаила Дуки, давая своеобразный идеал детской красоты: «Я не знаю подобной земной красоты! Его лицо выточено в форме совершенного круга, глаза огромные, лазоревые и полные спокойствия, брови вытянуты в прямую линию, прерывающуюся у переносицы и слегка загнутую у висков, нос с большими ноздрями, наверху слегка выдается вперед, а внизу напоминает орлиный; золотистые, как солнце, волосы пышно растут на голове» (*Мих. Пс.* С. 12). Гедонистический аспект детской красоты подчеркивает Анна Комнина: «Многочисленные прелести мальчика доставляли смотрящим на него великую усладу, его красота казалась не земной, а небесной, и всякий, кто бы ни взглянул на него, мог сказать, что он таков, каким рисуют Эрота» (*Анна Комн.* С. 117).

Идеал мужской красоты в Византии основывался на сочетании внешней формальной красоты тела с выражением в ней таких необходимых мужчине (правителю, воину) черт характера, как мужество, героизм, властность, ум. Именно в этом направлении развивалась идеализация (конечно, на основе реальных черт) портретов императоров и полководцев в византийской историографии. По описанию Пселла, у Василия II глаза были «светло-голубые и блестящие, брови не нависшие и не грозные, но и не вытянутые в прямую линию, как у женщины, а изогнутые, выдающие гордый нрав мужа. Его глаза, не утопленные, как у людей коварных и хитрых, но и не выпуклые, как у распущенных, сияли мужественным блеском. Все его лицо было выточено, как идеальный, проведенный из центра круг, и соединялось с плечами шеей крепкой и не чересчур длинной». Все члены тела его отличались соразмерностью, а «сидя на коне, он представлял собой ни с чем не сравнимое зрелище: его чеканная фигура возвышалась в седле, будто статуя» (*Мих. Пс.* С. 35—36).

Соразмерность, гармонию, меру, ритм в качестве основных признаков красоты человека ценят практически все византийские писатели светского направления³⁸. Однако их оказывается недостаточно для полного описания красоты идеального мужчины средневекового мира.

³⁷ Ср.: *Алексидзе А. Д.* Византийский роман XII в. и любовная повесть Никиты Евгениана // *Ник. Евг.* С. 143.

³⁸ На примере Пселла это хорошо показал Я. Н. Любарский (*Любарский Я. Н.* Внешний облик героев Михаила Пселла: (К пониманию художественных возможностей византийской историографии) // *Византийская литература.* М., 1974. С. 251—253.

Есть в ней, по мнению Анны Комниной, такие черты, которые не поддаются живописному изображению и даже противоречат античным канонам красоты. С присущей ее кругу любовью к риторике Анна пишет, что живописец не сумел бы изобразить ее родителей Алексея и Ирину; «если бы он даже смотрел на этот прообраз красоты, скульптор не привел бы в такую гармонию неодушевленную природу, а знаменитый канон Поликлета показался бы вовсе противоречащим принципам искусства тому, кто сравнил бы с творениями Поликлета эти изваяния природы» (*Анна Комн.* С. 120—121). Специфические императорские черты в облике Алексея были несовместимы с поликлетовским каноном, но вполне отвечали византийскому идеалу красоты: «...когда он (Алексей — *В. Б.*), грозно сверкая глазами, сидел на императорском троне, то был подобен молнии: такое всепобеждающее сияние исходило от его лица и от всего тела. Дугой изгибались его черные брови, из-под которых глаза глядели грозно и вместе с тем кротко. Блеск его глаз, сияние лица, благородная линия щек, на которые набегал румянец, одновременно пугали и ободряли людей. Широкие плечи, крепкие руки, выпуклая грудь — весь его героический облик вселял в большинство людей восторг и изумление. В этом муже сочетались красота, изящество, достоинство и непревзойденное величие». Он был одинаково «великолепен и необорим» как в бою, так и на поприще красноречия (Там же).

Интересно отметить, что канон Поликлета (непревзойденный для античного пластического мышления идеал красоты) в глазах византийской писательницы подходит только для описания «варварской» красоты. Тело предводителя варваров Боэмунда «обладало совершенными пропорциями и, можно сказать, было изваяно по канону Поликлета. У него были могучие руки, твердая походка, крепкие шея и спина». Он был подобен ромеям молочно-белой кожей с румянцем на щеках и голубыми глазами, выражавшими волю и достоинство: однако что-то «варварское» проглядывало для византийца сквозь традиционный стереотип красоты. «В этом муже было что-то приятное, но оно перебивалось общим впечатлением чего-то страшного. Весь облик Боэмунда (несмотря на «канон Поликлета!» — *В. Б.*) был суров и звероподобен — таким он казался благодаря своей величине и взору, и, думается мне, его смех был для других рычанием зверя» (Там же. С. 362—363).

Высоко оценивая телесную красоту человека и в этом активно про-^{458}должая эллинские традиции, светское направление византийской эстетики, однако, уже не может ограничиться только античными канонами. Его представители стремятся усмотреть во внешнем облике человека знаки характерных черт его внутреннего мира, т. е. в целом и это направление движется в русле средневековой эстетики, не отходя далеко от других направлений. Искренне восхищаясь физической красотой человека, византийские писатели не забывают о ее бренности и неизбежном превращении в свою противоположность.

Эта специфика ощущается и в византийском идеале женской красоты, хотя здесь античные традиции оказались наиболее жизненными и устойчивыми. Характерные византийские черты в описании женской красоты встречаются, прежде всего, у историографов того времени. Наиболее рельефно они выступают на первый план при описании царственных особ.

Императрица Ирина предстает в описании ее дочери Анны «одухотворенной статуей красоты, живым изваянием гармонии». «Она была подобна стройному, вечноцветущему побегу, части и члены ее тела гармонировали друг с другом, расширяясь и сужаясь где нужно. Приятно было смотреть на Ирину и слушать ее речи, и поистине нельзя было насытить слух звучанием ее голоса, а взор ее видом» (Там же. С. 121). Анне Комниной императрица Ирина представляется Афиной, явившейся в человеческом облике, воспетой поэтами, т. е. носителем не эротической, но мудрой и девственной красоты. «Лицо ее излучало лунный свет; оно не было совершенно круглым, как у ассирийских женщин, не имело удлиненной формы, как у скифянок, а лишь немного отступало от идеальной формы круга. По щекам ее расстилался луг, и даже тем, кто смотрел на нее издали, он казался усеянным розами. Голубые глаза Ирины смотрели с приятностью и вместе с тем грозно, приятностью и красотой они привлекали взоры смотрящих, а таившаяся в них угроза заставляла закрывать глаза, и тот, кто взирал на Ирину, не мог ни отвернуться, ни продолжать смотреть на нее» (Там же. С. 121).

Из этого описания хорошо видно, что византийский идеал женской красоты возникает из сплава эстетических идеалов греко-римского и ближневосточного миров. Традиционные для греко-римского мира атрибуты красоты — гармония членов и приятный цвет — сочетаются здесь с восходящими к библейской эстетике признаками прекрасного: сиянием, звучанием,

возвышенностью красоты до такой степени, что на нее и смотреть-то уже невыносимо³⁹. Именно эти черты и сама Анна, как мы видели, противопоставляла «канону Поликлета».

Важным художественно-риторическим приемом выражения женской красоты в антикизирующем направлении византийской эстетики являлось регулярное подчеркивание невыразимости этой красоты. Ощущая семантическую ограниченность традиционного набора элементов, используемого для описания женской красоты, византийцы дополняют его постоянными указаниями на неопишуемость этой красоты и изображениями эффекта ее воздействия на зрителя. В качестве характерного примера можно привести описание Анной Комниной красоты императрицы {459} Марии. «Как говорят, голова Горгоны превращала всех смотрящих на нее в камни, всякий же, кто случайно видел или неожиданно встречал императрицу, открывал от изумления рот, в безмолвии оставался стоять на месте, терял способность мыслить и чувствовать. Такой соразмерности членов и частей тела, такого соответствия целого частям, а частей целому никто никогда не видел в человеке. Это была одухотворенная статуя, милая взору людей, любящих прекрасное, или же сама Любовь, облеченная плотью и сошедшая в этот земной мир» (Там же. С. 119). Мы привели это длинное описание, ибо оно характерно для византийской эстетики всего послеиконоборческого периода. В нем в художественно-риторической форме практически выражена вся сложная и противоречивая философия прекрасного, характерная для «гуманистического» направления византийской культуры.

Внутренней основой и целью красоты является любовь. Красота материализуется в человеческом теле в системе гармонических и соразмерных частей и совершенных форм, наделенных приятной окраской. Традиционные цвета прекрасного тела: белый (для кожи), розовый (румянец), голубой (глаза), золотистый (волосы). Описание телесной красоты, таким образом, восходит к античным стереотипам⁴⁰, но наделяется такой степенью совершенства, которая в рамках христианской традиции приписывалась только духовной или божественной красоте. Эта ассоциация усиливается обязательным для византийцев атрибутом красоты — сиянием, блеском. Им же, как мы помним, агиографическая традиция наделяла тела подвижников, мало соответствовавшие, как правило, античным канонам телесной красоты. В них-то сияла красота добродетелей и высокой духовности. Этот аспект уже собственно душевной или духовной красоты неразрывно соединяется византийскими писателями и с красотой телесной. Если мы вспомним, что у Климента Александрийского само божество обозначалось как «духовная статуя», а в структуре христианского миропонимания любое произведение природы или человека воспринималось как образ или символ духовных реальностей, то нам придется усмотреть и в назывании на античный манер прекрасного женского образа статуей, и в окаменелости зрителей перед ней нечто большее, чем традиционные фигуры красноречия.

Появление в XII в. византийского романа, продолжавшего традиции позднеантичного романа, интересно не только с точки зрения истории литературного жанра, но и свидетельствует о возрождении в Византии, казалось бы, совершенно неуместной в системе средневекового миропонимания эстетики эротизма. Византийский роман, хотя и повторял сюжетную линию и основные принципы построения античного романа, имел как мы уже видели (гл. V) свою специфику. В частности, новую окраску приобрела и возродившаяся в нем эстетизация земной любви. Если в античном романе наряду с обилием приключений на первое место выдвигается открытый, иногда даже грубый и вульгарный эротизм, родственные эротизму мимических представлений, то у византийских писателей XII в., воспитанных в уже устоявшихся традициях христианской нравственности, триумф земной любви облачается в более тонкие и возвышенные формы. Не показ самого любовного акта, так привлекавший поздне- {460} античных писателей и устроителей зрелищных представлений, а любование красотой юности, описание и выражение лирических переживаний героев, эстетизация самого любовного влечения и любовной игры стоят в центре внимания византийских писателей.

Любовь двух юных существ, их верность друг другу, пронесенная через вереницу тяжелых испытаний и опасностей, их целомудрие, сохраненное в борьбе с постоянными посягательствами на него, прекрасны и достойны восхищения — вот лейтмотив византийских лю-

³⁹ О некоторых особенностях ближневосточной эстетики см. в работе: *Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского // ВДИ. 1975. № 3. С. 61—63.*

⁴⁰ Ср. на материале Пселла: *Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 248.*

бовных романов. Искрой, возжигающей огонь любви и не позволяющей ему угаснуть, служит красота юности. И византийский роман в значительно большей степени, чем античный, пронизан сиянием этой красоты, мгновенно покоряющей себе всех, подверженных любовному горению («Пред красотой и мечи беспомощны». — *Ник. Евг.* V. 442).

В большом греческом романе Ахилла Татия «Левкиппа и Клитопонт», послужившем одним из прообразов византийским романистам, красоте Левкиппы уделено всего несколько строк: «И вдруг словно молния ослепила мои глаза... искрометный взор, золотые кудри, непроглядно черные брови, белые щеки, розовеющие подобным пурпуру румянцем, ...уста как бутон розы, только начинающий распускаться» (*Левк.* 1. 4. С. 26). Эта формула девичьей красоты, традиционная в целом для античной поэтики любовных жанров, сохранилась и на византийской почве, получив ряд дополнений и разработок отдельных нюансов.

Уже в VI в. в чрезвычайно развернутом виде она встречается у автора «Любовных писем» Аристенета в описании красоты возлюбленной Лаиды, «прекраснейшего творения природы, славы женщин, живого подобия Афродиты» (*Виз. люб. проза.* С. 7). Здесь к традиционным элементам красоты настойчиво добавляется новая характеристика — нежность τρυφή). У Лаиды нежные губы, нос, румянец, шея и вообще все члены ее «соразмерны и нежны».

Этот же стереотип лежит и в основе красоты Исмины в повести Евматия Макремволита (XII в.), а новая разработка нюансов придает ему своеобразное художественно-эстетическое звучание. Лицо Исмины «исполнено света, исполнено прелести, исполнено услады. Брови черные, чернота непроглядная, изгиб их, как радуга или лунный серп; глаза тоже черные, оживленные, ясностью просветленные; постепенно они сужаются, так что подобны скорее овалу, чем кругу. Ресницы, окружающие веки, черным-черны, глаза девы — воистину отображение Эрота ... Рот чуть приоткрыт, губы, не плотно сомкнутые, — розовы. Взглянув на них, ты сказал бы, что дева прижала к устам розовые лепестки. Ослепителен ряд зубов — зубы один в один и подходят к губам, словно девы, стерегут их. Лицо — совершенный круг, нос отмечает его середину» (*Там же.* С. 58). Здесь на первый план выдвигается гедонистический элемент девичьей красоты, услаждающей глаз возлюбленного и манящей его к еще большим наслаждениям в будущем.

Автор «Повести об Исминии и Исмине» с явным удовольствием эстетизирует сцены любовных игр своих юных героев, происходящих во снах Исминии и наяву, в процессе которых они испытывают все многообразие тех наслаждений, которые еще не ведут к нарушению их девственности. Сочинители византийских романов возрождают культ чувственной красоты и любовного наслаждения, но уже в рамках новой средневековой {461} нравственности. Прекрасно любовное наслаждение, но оно должно быть сопряжено с целомудрием. Поэтому в центре византийского романа стоит не только триумф любви, но и триумф целомудрия. На прославление его ориентирована и сюжетная линия романов.

Красота героев постоянно возбуждает чувственное влечение к каждому из них целого ряда персонажей, в руках которых они оказываются по воле судьбы. Сохранить свое целомудрие и верность друг другу в самых неблагоприятных для этого условиях и составляет главную задачу, стоящую перед героями византийских романов. Они с честью выдерживают все испытания, тяжесть которых служит во славу целомудрия и, одновременно, порицанием Эрота. Всесильный бог любви, воспламенив в юных сердцах прекрасный огонь взаимного влечения, воздвиг на их пути множество почти непреодолимых препятствий — не столько физического, сколько нравственного порядка, подвергая испытанию их целомудрие. При этом тяжесть испытаний падает как на самих героев, так часто и на персонажей, посягающих на их девственность, ибо они тоже оказываются жертвами Эрота. Поэтому бог любви в византийском романе рисуется и желанным гостем, сулящим неопишуемые наслаждения, и врагом рода человеческого, несущего людям страдания и беды.

В романе Евгениана Эрота величают «звериным отродьем» (*Ник. Евг.* С. 19), «лютым богом», «исчадием леса» (*Там же.* С. 81), «пиявкой болотной» (*Там же.* С. 54), гадюкой, «отродьем змеевидным» (*Там же.* С. 23), свирепым, беспощадным и коварным чудовищем, которое вливается в сердца своих жертв, грызет их, рвет на части; неугасимым огнем, жгущим, палющим, сжигающим свои жертвы. Столь «лестными» эпитетами наделяют бога любви люди, пораженные его стрелами, готовые принести себя целиком, без остатка на его алтарь. Но эта же терминология часто встречается и у авторов агиографической литературы. Их герои подоб-

ной лексикой дефинируют чувственную любовь или плотские вожделения, с которыми они вступают в тяжелую бескомпромиссную борьбу.

Византийская культура, опираясь на факты реальной жизни своего времени, породила два противоположных решения проблемы земной любви, которые нашли свое отражение в литературе того времени. Признавая силу Эрота реальной, но сатанинской, герои агиографий вступают с ней в тяжкую борьбу и побеждают. Героям византийских романов бог любви предстает роковой, непобедимой силой, бороться с которой бесполезно и остается только, подчинившись ей, всячески способствовать тому, чтобы она снизошла и на объект любви, став взаимной. На это и направляют свои усилия основные персонажи романов, одновременно восхваляя и проклиная Эрота.

У византийских писателей X—XII вв., и прежде всего у авторов любовных романов, намечается интересная попытка сгармонизировать отношения средневекового человека к земной любви и человеческой красоте. Крайностям эстетики аскетизма они противопоставляют эстетику эротизма, но не в ее позднеантичных, доходящих до вульгарности формах, а сублимированную, остающуюся в рамках христианской нравственности. Осознав любовь мужчины и женщины неотъемлемым и прекрасным свойством человеческой природы, авторы византийских романов стремятся показать, что она достойна всяческого восхваления, но лишь под покровом целомудрия. Любовь и красота должны привести в конечном счете к созданию добропорядочной семьи, что вполне соответствовало нормам средневековой этики.

Файл byz463g.jpg

*Ларец из Вероли (крышка). Слоновая кость. X в.
Лондон. Музей Виктории и Альберта.*

Возвращаясь к идеалу красоты в романе, отметим, что и здесь, как и во всей византийской эстетике, он формировался не только на основе греко-римских стереотипов, но и под сильным влиянием библейской эстетики. В описаниях красоты возлюбленной авторы романов нередко прибегают к метафорике «Песни песней». У Никиты Евгениана возлюбленная представляется лозой или деревом (я буду деревом, ты поднимись ко мне // и слаще меда спелый плод сорви себе...), ее объятия — ветвями, груди — яблоками или гроздьями, сосцы — ягодами, поцелуй — сладким медом и т. п. (*Ник. Евг.* С. 46, 51).

При всех своих, казалось бы, крайне смелых попытках вернуться к чистой греко-римской эстетической традиции образованные византийцы остаются людьми своего времени, продолжателями и творцами своей, средневековой культуры, которая отнюдь не сводилась только к одной христианской идеологии, но плодотворно развивалась под ее знаменами. Чисто по-человечески наслаждаясь созерцанием телесной красоты, они не забывают и о более высоких эстетических ценностях. Доставляя наслаждение сама по себе, материальная красота и в антикизирующем направлении выступала знаком и символом духовной красоты. Этот вторичный, знаково-символический аспект материальной красоты давал возможность византийцам оправдать и идеологически обосновать свою увлеченность этой красотой. «Пусть никто не обвиняет меня и не считает, что я позорю философию, если решаюсь восхищаться красотой тела,— писал Михаил Пселл.— ... Если Священное писание и не ценит телесную красоту, то оно не отвергает природу самое по себе, но лишь ради того, {463} чтобы, восхищаясь ею, мы не чуждались высшего. Если смотреть на материальный мир нематериальным взором и испытывать к нему пристрастие, лишённое страсти, то это не только не предосудительно, но и чрезвычайно похвально» (*Mich. Ps. Scr. min I. P.* 149)⁴¹.

Именно «нематериальным взором» смотрели многие византийцы, воспитанные в традициях символично-аллегорического понимания и мира, и любого текста, на чувственную красоту и эротические романы как античные, так и свои собственные. От XII в. наряду с любовными романами сохранилось и интересное назидательно-аллегорическое толкование известного позднеантичного романа Гелиодора «Эфиопика», относимого многими византийцами к разряду безнравственных писаний. В «Толковании целомудренной Хариклии из уст Филиппа Философа» продолжена патристическая традиция духовного осмысления эротической образности

⁴¹ Цит. по: *Любарский Я. Н.* Указ. соч. С. 245.

и терминологии «Песни песней»⁴². В русле этой традиции Филипп стремится найти возвышенный смысл и в любовном романе Гелиодора. «Книга эта, друзья,— пишет он,— подобна питью Кирки — непосвященных она превращает по неупотреблению в свиней, рассуждающих мудро по примеру Одиссея посвящает в высшие таинства. Ведь книга эта назидательна, она наставница в нравственной философии, так как к воде повествования примешала вино умозрения» (Виз. ром. С. 45). Главную героиню романа Хариклию Филипп осмысливает как «символ души и украшающего ее разума. Ведь слава и прелесть — это и есть разум, сопряженный с душой» (Там же. С. 46); чувственную любовь он понимает как символ стремления души к «высшему познанию», старца Каласирида, ведущего Хариклию к жениху, Филипп предлагает понимать как наставника в таинствах богопознания и т. п. (Там же. С. 47).

Период второй половины IX—XII в. отмечен небывалым расцветом всех видов византийского искусства. Архитектура, храмовая живопись, книжная миниатюра, иконопись, прикладные искусства, поэзия, литература, музыка, искусство красноречия получают в македонский и комниновский периоды новые творческие импульсы, создается много высокохудожественных произведений, составивших богатый фонд византийской художественной культуры. Расцвет искусств, активное развитие коллекционирования произведений античной культуры порождают интерес и к осмыслению искусств. В этот период возникает византийская филология, художественная критика, процветают риторика и жанр описания произведений изобразительного искусства и архитектуры; высказывается много общих идей об искусстве, представляющих интерес для историков эстетики.

На уровень настоящего искусства был возведен в Византии придворный церемониал. Наделенный еще с римских времен сакрально-литургическими чертами, он, как и церковное богослужение, представлял собой сложное художественно-символическое действо.

Анна Комнина рассматривала само умение управлять государством как «некую высшую философию, как искусство искусств и науку наук», а своего отца Алексея как «знатока искусства управлять государством» она именует «ученым и зодчим» (*Анна Комн.* С. 123). {464}

Процветавшее в Византии искусство садов как особого, замкнутого предельно эстетизированного пространства, отделенного от окружающего мира, нашло отражение и в литературе. Подробное описание сада Сосфена в повести Евматия Макремволита дает полное представление о высоком уровне этого синтетического искусства, органично сочетавшего искусство организации растительной среды с садовой скульптурой, созданием фонтанов и искусственных водоемов. «Зрелище было необычайно и исполнено прелести: разноцветный камень водоема, птицы, извергающие воду, фессалийская чаша, позлащенный орел с водяной струей в клюве». Видя все это, да еще на фоне пышной, многоцветной, благоухающей растительности сада, герой повести Евматия был «всцело поглощен зрелищем и едва не онемел» (Виз. люб. проза. С. 47—48).

Садовые ансамбли выполняли в первую очередь эстетические функции, и это подчеркивают сами византийские писатели: «На следующий день мы опять в саду, насыщаем взоры его прелестями, вбираем усладу в наши души. Ведь сад этот — блаженное место, край богов, весь он прелесть и услада, отрада для глаз, для сердца — утешение, успокоение для души, стопам отдохновение, покой всему телу. Таков сад» (Там же. С. 50).

В период X—XII вв. не разрабатывали новых теорий изобразительного искусства. Концепция изображения, сложившаяся к концу иконоборчества, вполне отражала все аспекты понимания византийцем скульптуры и живописи, как религиозной, в связи с которой она возникла, так и светской. Представители антикизирующего направления византийской эстетики значительно выше, чем их античные предшественники, ценили живопись и ее возможности.

Большое значение имел для них дидактически-познавательный уровень изображения. В «Книге философа Синтипы» повествуется о том, что Синтипа выучил царевича всем наукам за шесть месяцев с помощью росписей, которыми он украсил его дом. «И познал таким образом юноша,— заключает автор,— то, чего никто другой постигнуть не может» (Памятники. С. 262).

⁴² Подробнее см.: *Riedel W.* Die Auslegung des Hohenliedes in der jüdischen Gemeinde und der griechischen Kirche. Leipzig, 1898.

Византийцы и этого периода высоко ценят живопись, с иллюзорной точностью передающую внешний облик предметов, но ее познавательную функцию они связывают отнюдь не только с внешним, так сказать, изоморфным уровнем изображения. Они хорошо сознают, что и внутренний мир человека вполне доступен кисти живописца. Об этом прекрасно написал Христорфор Митиленский (1000—1050):

*Ты хочешь облик Михаила выписать?
Возьмись за охру! Хочешь кроме облика
Живописать души его достоинства?
Возьми все краски сразу, оживи его —
И одухотворится добродетелью
Доска под добродетельною кистью*⁴³.

Высоко ценится в этот период и воображение живописца. Почти в традициях Флавия Филострата (Vit. Arol. VI. 19) отзываясь о воображении герой романа Евматия Макремволита: «Что за удивительная вещь искусство живописца! Он — чудотворец более великий, чем природа, он в воображении творит свои замыслы и воображаемое претворяет в краски... искусство живописца претворило вымысел в подлинную жизнь» (Виз. люб. проза. С. 53). Иными словами, живописное произведение представляется средневековому человеку некоей новой реальностью, созданной воображением и руками художника. Поэтому в этой «реальности» он одинаково высоко ценит и техническое мастерство живописца, которое сводится в его понимании к иллюзорному изображению людей и предметов, и содержательную сторону картины — результат деятельности «воображения» художника.

В своем описании аллегорического изображения двенадцати месяцев Евматий с нескрываемым восхищением мастерством художника подробно рассказывает о буквальном содержании картин. На одной из них представлен «человек, который недавно вымылся. Он стоит у дверей бани, куском ткани прикрывая срам, остальное тело — голое. Оно мокрым-мокро от пота. Глядя на него, ты бы сказал, что искупавшийся задыхается и совсем обессилил от жары: так искусно живописец сумел передать это красками» (Там же. С. 63). По-античному восхищаясь жизнеподобием изображения, византийский мастер отнюдь не в нем видит цель живописи. Она — в скрытом смысле этих жизнеподобных картин⁴⁴. В еще большей степени, чем полной иллюзии жизни в картине, радуется византиец, когда ему удастся проникнуть в ее аллегорически-символический смысл — истинное содержание изображения, ради которого, по его глубокому убеждению, оно и было создано. «Разгадал я твою загадку, мастер! — с неподдельной радостью восклицает герой Евматия,— постиг твой рассказ, окунулся в самые твои мысли; и если ты Сфинкс, Эдип — я, если, словно с жертвенника и треножника Пифии, ты вещаешь темные слова, я — твой прислужник и толкователь твоих загадок» (Виз. люб. проза. С. 53).

В этом ключе описанное выше изображение задыхающегося от жары мужа воспринималось средневековым человеком как аллегория месяца августа. Таким же аллегорическим способом представлены в описании Евматия и другие месяцы. Сентябрь написан в виде человека «в хитоне, поднятом до бедер, с голыми ногами... Волосы у него красиво откинута на затылок. Левая рука уподоблена виноградной лозе, с пальцев, как с веток, свисают грозди; правая снимает виноград, бросая ягоды в рот, как в точило, где зубы, наподобие ног виноградарей, давят ягоды. Ведь изображенный на картине человек — это и виноградная лоза, и виноградарь, и точило, и источник вина» (Там же. С. 63). В подобном аллегорическом духе истолковывается в романе Евматия и подробно описанное изображение «Триумфа Эрота». Дух символизма, присущий всей средневековой культуре, у представителей антикизирующей эстетики воплотился в знаково-аллегорическое понимание искусства, в то время как в русле церковной эстетики он выражался, прежде всего, в символически-анагогическом восприятии живописных образов.

Принцип аллегорезы в средневековой Византии выступал одной из главных форм мышления вообще. Он хорошо выражал дух своего време-^{466}ни и, косвенно, служил при-

⁴³ Цит. по: Фрейберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. М., 1978. С. 88 (Пер. М. Л. Гаспарова).

⁴⁴ Ср.: Полякова С. В. Из истории византийской любовной прозы//Виз. люб. проза.

знаком высокой образованности. Аллегии употребляли в своих сочинениях и устных речах практически все светские и духовные лица Византии того времени.

Аллегория являлась одним из главных принципов художественного мышления и в литературе (как мы видели на примере «Толкования... Филиппа Философа»), и в живописи. Причем, это касалось прежде всего светского искусства. Для оправдания религиозного изображения достаточным был уже сам факт изоморфизма — визуального подобия образа своему историческому прототипу. Нерелигиозное изображение, основанное, как правило, на вымысле художника, могло быть узаконено средневековым сознанием только при наличии в нем некоего переносного смысла, «двойного дна». В понимании византийцев иконе достаточно было быть просто копией. Ее сакральная символика (глубинная связь с архетипом) заключалась уже в самом подобии, повторении черт архетипа. Значимость светской картины проявлялась лишь в «умозрении» — усмотрении умом ее глубинного смысла, для которого внешнее подобие практически не играло никакой роли. Техническое мастерство светского живописца было необходимо лишь для того, чтобы привлечь внимание зрителя к картине совершенством форм и образов, вовлечь его в изображенный мир, заставить не только созерцать его, но и размышлять об увиденном. В мастерстве же иконописца для средневекового зрителя заключалась гарантия адекватности изображения, максимального сохранения «подобия», в котором византийцы и усматривали сакральную силу религиозного образа. При общем образно-символическом подходе к изобразительному искусству в Византии эстетика светского изображения существенно отличалась от эстетики иконы.

Высоко ценились в Византии X—XII вв. и другие виды искусства. Многие писатели и историки того времени с неподдельным восторгом описывают современную архитектуру, восхищаясь ее красотой, величием, духовной значимостью. На эстетическую сторону архитектуры, как уже можно было убедиться, с неизменным постоянством указывал Михаил Пселл. Так, о сооружении храма Бесребренников Михаилом IV он писал: «Глубину церкви он (император — В. Б.) сделал соразмерной с ее высотой, сообщил неопишемую красоту гармонии здания, в стены и пол вделал самые ценные камни, озарил весь храм сиянием золотых мозаик и искусством художников и, где только было можно, украсил святилище одухотворенными ликами» (*Мих. Пс.* С. 31).

В этот благотворный для художественной культуры Византии период получает реабилитацию даже античная трагедия, до того момента активно порицавшаяся ранневизантийскими мыслителями, а затем запрещенная и преданная забвению. Но вот в Византии XI—XII вв. опять проявляется живой интерес к этому античному жанру, ведутся дискуссии по его поводу, появляются специальные сочинения: Иоанна Цеца «О трагедии», перекликающийся с ним одноименный трактат из Cod. Oхon. Barocci 131 (fol. 415)⁴⁵; епископ Солунский Евстафий (XII в.) пишет трактат «Об ипокризе», прозвучавший апологией античному драматическому искусству. В частности, он высоко оценивает нравственное звучание классической трагедии: «Ведь было время, когда в театрах процветали актеры для собственной славы, приукрашавшие мудрость, какую мастерски живописали творцы трагедий: эти последние прибегали к давним событиям истории, пригодным для серьезного воспитания, устанавливали в соответствии с ними действующих лиц, выводили их напоказ с помощью людей, по-актерски облакавшихся в личину древних героев, чему служила и убедительность построений их речей, и зеркальная точность воспроизведения их наружности, слов и страстей; этим они склоняли зрителей и слушателей к красоте добродетели... а кстати вызывали к жизни особый род сочинений — дидаскалии»⁴⁶.

Итак, период второй половины IX—XII в. можно по праву считать временем расцвета эстетического сознания в Византии. Достигшее своего высшего развития в предшествующие периоды (сначала у автора «Ареопагитик», а затем у иконопочитателей VIII—IX вв.) церковно-патристическое направление в рассматриваемые века ограничивается на теоретическом уровне лишь рассмотрением отдельных частных вопросов, как правило, связанных с культовым искусством. Собственно христианские идеи начинают более активно сопереживать в нем с эллини-

⁴⁵ *Browning R. A Byzantine Treatise on Tragedy//Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica. Pr., 1963. Vol. 1. P. 67 ff.*

⁴⁶ Цит. по: *Фрейберг Л. А., Попова Т. В.* Указ. соч. С. 122 (Пер. Л. А. Фрейберг).

стическими эстетическими представлениями. Принципы, сформулированные в этом направлении, получают свое наиболее полное и совершенное выражение в искусстве именно этого времени. В частности, полностью складывается специфически византийский художественный язык изобразительного искусства, определивший на многие века своеобразие этого искусства. Особое внимание многим тонкостям эмоционально-духовной жизни человека, проблемам света, эстетическим аспектам праздника уделяет эстетика аскетизма.

Наивысшего развития достигает в это время антикизирующее направление в эстетике, сильно потеснившее остальные направления. На первом месте в нем стоят проблемы прекрасного и искусства. Для эстетического сознания основных представителей этого направления характерны своего рода реабилитация гедонистического аспекта красоты в природе и в искусстве, осознание прекрасного в качестве важного средства возбуждения соответствующих эмоциональных состояний у субъекта восприятия (читателя, зрителя), осмысление возможности единства природной и художественной красоты, их взаимодополняемости в ансамбле, значительно большее внимание к физической красоте человека, и особенно к женской красоте, с которой практически снимается клеймо проклятия, наложенное христианскими ригористами и аскетами; в самом идеале женской красоты соединяются античное и ближневосточное понимание прекрасного.

Завершается формирование и осмысление церемониальной эстетики, которая понимается в качестве неотъемлемой части византийской государственности, осознаются эстетические функции садово-паркового искусства. На теоретическом уровне высоко оценивается светская иллюзионистическая живопись эллинистического типа, наделенная аллегорическим значением. В художнике особо ценится дар воображения и умение создавать аллегории, а в зрителе — способность толковать их. Эстетика светской живописи существенно расходится с эстетикой иконы, сформированной в предшествующий период. Высокого развития, наконец, достигает теория словесных искусств, в которой особое внимание уделяется эстетике слова и не только в поэзии или в красноречии, но и в агиографии и историографии.

Таким образом, к концу XII в. в Византии полностью сформировались основные направления в эстетике — церковно-патристическое, аскетическое, антикизирующее, а также тесно примыкающие к ним, но имеющие свою специфику — литургическое и искусствоведческое. Более того, каждое из них к этому времени или уже прошло свой апогей (как патристическое), или находилось в стадии расцвета, так что в целом можно с уверенностью сказать, что византийская эстетика достигла к началу XIII столетия своей наибольшей полноты и завершенности, хотя отдельные эстетические вопросы ставились и получали определенное решение и в последние века существования Византии. {469}

14

Изобразительное искусство

Художественное творчество в Византии второй половины IX—XII в. развивалось в условиях непрерывных идейных поисков, отражавших многообразные социальные и духовные процессы. Это время явилось заметным рубежом и в истории искусства, идейная насыщенность которого соответствует характерным особенностям художественной жизни в первой и во второй половинах изучаемого периода.

Искусство Византии второй половины IX—X в. свидетельствует, что при представителях Македонской династии (807—1056) наступил новый его расцвет. Василий I (867—886) в борьбе за упрочение престолонаследия использовал возобновившееся после поражения иконоборчества воспроизведение изображений святых. Это способствовало появлению целого ряда композиций монументальной живописи, основная идея которых — прочный союз христианской церкви и государства. Теперь монументальная живопись была призвана укреплять власть императора, если даже он и не получил ее по наследству, подобно основателю новой династии Василию I. Ведь именно императору церковь предназначала самую высокую миссию — быть посредником между богом и своими подданными.

Решение Никейского собора 787 г. о церковном контроле в области искусства оставалось в силе. Однако в послеиконоборческий период возросла роль заказчика как в определении иконографического репертуара предназначенных для изображения тем, так и художественных принципов исполнения. Заказчик, конечно, не диктовал художнику стиль или манеру исполнения, но он мог выбирать мастеров разных школ. Монументальная живопись стала шире и глубже входить в жизнь общества не только придворного или клерикального. Освобожденная от иконоборческих запретов, она обретает особое спокойствие композиций, роскошь орнаментов, великолепия колорита. Чувство собственного достоинства пронизывает образы торжественно стоящих святых. Во всех произведениях искусства — как в реставрируемых сразу же после 843 г. иконах, так и в созданных несколько позже мозаиках и фресках — все пронизано идеей только что одержанной победы.

Став патриархом в 858 г., Фотий приказал покрыть мозаиками с изображением святых золотой зал дворца, Палатинскую (дворцовую) часовню, а также начать мозаичные работы в соборе св. Софии, объявив во всеуслышание об особой важности искусства. {470}

В храме св. Софии, в котором все фигуративные композиции были уничтожены иконоборцами, их пришлось создавать заново. Прежде всего началось оформление самой ответственной части храма — апсиды. Сохранившиеся здесь фрагменты надписи с именами Михаила III и еще не свергнутого его с престола соправителя Василия I дают основание для точной датировки создания мозаики — 867 г. Композиция ее включала изображение сидящей с младенцем на коленях Богородицы и стоящих по сторонам от нее двух архангелов. Очевидно, сам выбор темы для оформления апсиды был сделан Фотием. Заданный сюжет одаренный мастер¹ исполнил вдохновенно. Неземная одухотворенность пронизывает лицо Богородицы. Печален взгляд ее глаз, устремленных на зрителя. Тонкая свето-теневая моделировка, в которой ошутимы отголоски эллинистической живописи, подчеркивает мягкие черты Марии, ее сочные губы, округлость лица. Все это придает лицу античную чувственность, усиливающуюся от сочетания с божественной одухотворенностью.

На западной стене храма тогда же было помещено мозаичное изображение Богородицы, Петра и Павла, которое погибло во время землетрясения 989 г. О нем известно из краткого упоминания в «Жизнеописании Василия I» (*Vita Bas.* § 79. P. 322).

Однако наиболее яркое воплощение идея союза императора и церкви нашла в более поздней мозаике, созданной над входом в храм св. Софии. В этой сцене император Лев Мудрый (886—912) представлен коленапреклоненным перед Иисусом Христом. Так падал он ниц всякий раз во время торжественной церемонии своего входа в собор. Ритуальный характер сцены выражен в ее идее — передать связь императора с богом. Только перед Христом преклоняется император, и только император достоин этого акта. Центральную ось симметрично построенной композиции составляет фигура Христа, неподвижно стоящего на троне. Христос, благословляющий правой рукой, а левой — держащий раскрытым кодекс, мощной своей фигурой напоминает Зевса-громовержца. По сторонам головы Христа — два медальона, в которых заключены погрудные изображения Богородицы и архангела Михаила — покровителя императоров-воинов. Оба круга, призванные в композиции подчеркнуть значение головы Иисуса, повторяют окружность его нимба. В чертах лица императора можно найти портретное сходство с Львом VI. Фигуре императора, помещенной справа, не соответствует никакой другой персонаж. Однако строгая уравновешенность композиции достигнута за счет широкой полосы внизу, на фоне которой и помещена фигура, не составляющая, таким образом, самостоятельного композиционного «пятна». Эта широкая полоса способствует утяжелению нижней части изображения, его прочному построению.

Мозаика поражает не только ясной композиционной логикой. Влияние восточного искусства на творчество столичных мастеров, характерное для первых лет после восстановления иконопочитания, проявилось в плоскостности, богатой орнаментальности и несколько приземистых пропорциях фигур. Однако в этой сцене, несомненно, чувствуется воздействие традиций античного искусства. Иногда его реминисценции приходят в памятники периода Македонской династии через ранневизантийские образцы. Именно из произведений, созданных в

¹ Имя его неизвестно. Русский путешественник из Новгорода в XII в. Антоний приписал мозаику художнику Лазарю, однако бесспорных подтверждений этому сведению еще нет.

первые века существования империи, черпают художники IX—X вв. черты древнего искусства. Поэтому длинноволосый Христос мозаики св. Софии напоминает изображения Юстиниана на его монетах. Но более всего античное влияние ощущается в спокойном величии образов, которое подчеркивается строгим построением композиции.

Особое чувство собственного достоинства отличает образ Иоанна Златоуста в другой мозаичной композиции собора св. Софии, созданной в начале X в. Здесь также широкая орнаментальная полоса утяжеляет нижнюю часть изображения, создавая ощущение уравновешенности. Центральную вертикальную ось композиции образует фигура святого, фронтально обращенного к зрителю. Надписи по бокам головы с указанием его имени призваны усилить значение образа.

В эти годы, после победы иконопочитания, в византийском искусстве происходят показательные для его дальнейшего развития явления. Они связаны с началом сложения иконографического канона — строгих правил, узаконенных церковью, которым должны были следовать художники. Иконографический канон определял типы некоторых основных святых. Например, Иоанна Златоуста полагалось изображать старцем с округлой лысиной, с недлинной, остроколючей бородой. Таким, с аскетически изнуренным лицом, в одеждах священника он представлен на мозаике храма св. Софии. Это первое известное нам сейчас изображение знаменитого проповедника. Однако, несмотря на то что с этого времени византийские художники в своем творчестве все более подчиняются строгим правилам, их произведения нельзя назвать стереотипными. Так, канонический образ Иоанна Златоуста в каждом произведении византийского искусства отличается особым настроением, разной степенью одухотворенности, большей или меньшей долей аскетизма.

Для византийской живописи этого периода характерно обращение к ретроспективным темам. На мозаике, заново исполненной над южными дверями в храме св. Софии, перед сидящей на троне Богородице с младенцем стоят Константин и Юстиниан. Время создания сцены относится к периоду правления Василия II (976—1025).

Оба императора представлены подносящими Марии то, что они создали и посвятили ей: Юстиниан держит в руках модель храма св. Софии, Константин — модель города Константинополя. В этой композиции возрождается тема подношения даров божеству, которая возникла в ранневизантийский период и которая напоминает об аналогичных сценах в церкви св. Виталия в Равенне. Античной чувственностью, не византийским, а далеким от христианства языческим сенсуализмом проникнуто лицо Богородицы.

Вероятно, приехавшие из столицы художники выполнили вскоре после 843 г. изображение Богородицы с младенцем в апсиде храма Успения в Никее. Оно заменило мозаичный крест, который был здесь представлен во времена иконоборчества. В подписи рядом с фигурой встречается имя некоего Навкратия, может быть ученика Феодора Студита. По его заказу была выполнена мозаика, а так как он умер в 848 г., то ее можно датировать временем до этого года. Надпись гласила, что изображение {472} Богородицы повторяет ее фигуру, существовавшую здесь с VI в., вплоть до ее уничтожения иконоборцами. Эта надпись важна как свидетельство того, что духовенство стремилось восстановить в храмах то, что было до иконоборчества.

Файл byz473g.jpg

Крещение. Вторая половина XI в.

Церковь Успения Богородицы.

Дафни. Мозаика на парусе.

Если константинопольские мозаичисты опирались в своем творчестве на античные традиции, то совершенно иным был художественный язык провинциальных мастеров. Их работы относятся к тому направлению в {473} византийском искусстве, для которого более важным было искусство Востока с его экспрессивностью, внутренней напряженностью образов, резкостью колорита и богатством декора. Жесткую линейность, приземистые пропорции фигур, яркие цвета, плоскостность эти провинциальные художники (которым после победы иконопочитания пришлось создавать фигуративные, а не орнаментальные композиции) восприняли в какой-то степени от фрескистов, работавших в IX в. в пещерных храмах Каппадокии. Там, вдали от столицы, еще в начале века можно было не подчиняться требованиям иконоборцев.

Мастера, писавшие фрески часовни св. Стефана около Кемил с изображением сцены Евхаристии, смело отходили от иконоборческих запретов.

Об искусстве византийских провинций могут дать представление мозаики храма св. Софии в Фессалонике, созданные около 885 г. В расположении сюжетов на стенах собора художники уже начинали подчиняться правилам иконографического канона: абсида была посвящена Богородице, купол — Иисусу Христу.

Сцена Вознесения в куполе салоникинского храма словно скомпонована из отдельных частей. Фигуры апостолов, изображенных между деревьями в сложных ракурсах, как бы застыли на золотом фоне. Христос же в центре сцены представлен в резком движении. Его фигура сильно укорочена, а фигуры апостолов, ангелов и Марии, наоборот, вытянуты. Цвет, окрашивающий их ложится ровным слоем между широкими линиями контура. Колорит построен на контрастном сочетании цветов.

Значительное влияние античного наследия проявилось не только в монументальном творчестве, но и в миниатюре². В поисках создания новых изобразительных средств византийские художники, и в первую очередь миниатюристы, обратились к античному наследию. Возрождение древней традиции проявляется в классических пропорциях фигур, в почти скульптурной передаче объема, в той легкости, с которой изображается их движение, в характере и рисунке одеяний. Такие персонажи отвечают своим внешним видом всем требованиям физически прекрасного идеала античности. Рядом с неподвижными фронтальными фигурами, подчиненными законам византийского иконографического канона, мы видим некоторые персонажи, изображенные в сложном движении, которое характерно для античных статуй, а не взято византийскими миниатюристами с натуры. Естественно, что дух древнего языческого искусства чаще выступает в фигурах второстепенных персонажей и редко замечен в образах Христа и Марии.

Копирование памятников древней живописи ощущается и в том, как в миниатюрах передаются формы архитектуры и пейзажа, которые занимают значительное место, соседствуя с золотым фоном. Воздействие древних фресок заметно также в колорите с его разнообразными и весьма тонкими сочетаниями цветов. Надо признать, однако, что в византийских композициях отсутствует характерное для античности стремление к иллюзионистической передаче пространства.

Влияние античного наследия проявилось и в некоторых темах и отдельных персонажах, например в фигурах персонификаций. Фигуры, оли- {474} цетворяющие собой какой-ни-

Файл byz475_1g.jpg

Пророк Соломон.

Вторая половина XI в.

Церковь Успения Богородицы.

Дафни. Мозаика в куполе.

Файл byz475_2g.jpg

Пророк Исайя.

Вторая половина XI в.

Церковь Успения Богородицы.

Дафни. Мозаика в куполе. {475}

будь город, реку, время дня, выражающие любое качество и чувство персонажа, появляются в композициях, выполненных на библейские темы так же свободно, как много столетий до того они входили в античные мифологические сюжеты. Например, на миниатюре-фронтисписе Парижской Псалтири (Национальная библиотека, граес. 139) Давид представлен между двумя женскими фигурами. Согласно надписям над их головами, это Премудрость и Пророчество. Использование античных образцов здесь ясно выступает и в технике исполнения. Художник, копируя образ Пророчества с большой античной скульптуры, не сразу рассчитал масштаб и выполнил правую руку и верхнюю часть фигуры в гораздо меньшем размере, чем нижнюю часть ее. Фигура «Премудрости» также скопирована художником с античного изваяния. Заимствуя у античной модели жест руки, поддерживающей край плаща, он поместил ей под мышку книгу, которой, конечно, не было у древней скульптуры. Это придало движению неестественный характер.

Файл byz476g.jpg

Богородица из Распятия.

Вторая половина XI в.

² Weitzmann K. Studies in classical and byzantine manuscripts illumination. L., 1971. P. 176—223.

*Церковь Успения Богоматери в Дафни.
Мозаика в северной оконечности креста.*

Однако чаще всего искусственными воспринимаются на миниатюре архитектурные детали, заимствованные из античных памятников. В иллюстрации той же рукописи с изображением играющего на арфе Давида вверху слева на золотом фоне находится фрагмент загородной виллы, окрашенной в голубой цвет. Справа в той же сцене — колонна, перевязанная лентой и завершенная вазой, — мотив, заимствованный из помпейской живописи. Рядом с ней — стоящая из кубических объемов скала — элемент пейзажа, характерный только для средневекового искусства. Такой негармоничный пейзажный фон свидетельствует об использовании разных античных и византийских образцов.

Среди многих фигур персонификаций Парижской Псалтири необходимо выделить «Ночь» (в миниатюре «Молитва Исая»). Чтобы показать, что пророк молится на заре, художник вводит покидающую место действия фигуру «Ночи» и появляющегося маленького Эроса — утреннюю зарю. «Ночь» изображена в виде задумчиво остановившейся на мгновение женщины с опущенным факелом в руке. Монохромная окраска ее одежды в синий цвет разных оттенков придает фигуре сходство со {476} статуей эллинистического периода. Другая миниатю-

Файл byz477g.jpg

Молитва Исая. Середина X в.

Миниатюра

из Константинопольской псалтири.

Париж. Национальная библиотека, гр. 139.

ра, посвященная знаменитой битве Давида и Голиафа, состоит из двух сцен. Вверху — начало битвы: Голиаф, за спиной которого фигура, олицетворяющая «Хвастовство», нападет на Давида, которого поддерживает женщина — персонификация «Силы». Внизу — Давид отрубает голову Голиафу. Обе сцены объединены единой рамой и даны на нейтральном золотом фоне. Любые, самые незначительные детали архитектуры и пейзажа в композиции от {477}сутствуют. Персонажи изображены друг над другом, но они твердо стоят, опираясь на всю ступню, а не на носки, как обычно в византийской живописи. Пропорции фигур отличаются классической красотой, а движения — выразительностью.

Парижская Псалтирь, в состав которой входят эти миниатюры, представляет собой центральный памятник рукописной книги периода «Македонского Возрождения». Рукопись украшена четырнадцатью миниатюрами, помещенными на отдельных листах и относящимися к иному типу, чем иллюстрации Хлудовской Псалтири — произведения иконоборческого периода. Как известно, в Псалтирях типа Хлудовской миниатюры располагались рядом с текстом на полях и не были заключены в рамы. Напротив, в Парижской Псалтири миниатюры отделены от текста и ограничены широкими, характерными для этого периода рамами. Фон миниатюр золотой, что сближает их с произведениями станкового искусства. Отличается Парижская Псалтирь от Хлудовской и темами своих иллюстраций, посвященных эпизодам из жизни Давида. Христологический цикл в них отсутствует. Эту рукопись переписывали неоднократно — известны довольно точные ее копии. Их, очевидно, выполняли художники Императорской мастерской, в которой была создана Парижская Псалтирь и в которой она хранилась в последующие века.

Миниатюры Парижской Псалтири, которые принято определять рубежом IX—X вв., близки к точно датируемой рукописи сочинений Григория Назианзина (Парижская Национальная библиотека, граес. 510), которая относится к 879—883 гг. Возможно, иконография ее миниатюр была выработана не без участия патриарха Фотия. Одна из основных идей, проводимых в иллюстрациях этого кодекса, — прославление императорской власти. Помещенные на отдельных листах, заключенные в широкие рамы, миниатюры этой рукописи также пронизаны античными реминисценциями. В них много фигур персонификаций. Но особенно поразительно обилие и разнообразие архитектурных и пейзажных мотивов, заимствованных из древних образцов. Примечательно, что персонажи здесь изображены более легкими, как бы бестелесными. Твердая постановка фигур, характерная для миниатюр Парижской Псалтири, отсутствует. Построение каждой композиции отличается ясностью. Здания изображены с соблюдением правил прямой перспективы, их объем подчеркнут. Конкретность сооружений и их объемность

переданы с помощью красочной моделировки, которая становится здесь основным средством. Светлые краски положены художником широкими мазками. Спокойные лица персонажей полны чувства собственного достоинства и античного величия.

На трех первых листах рукописи помещены миниатюры, которые дают основание для ее датировки. Кодекс открывает изображение Василия I с семьей. Его портрет еще раз повторен на обороте третьего листа. Здесь справа от него в таком же, как и он, роскошном одеянии представлен архангел Гавриил, возлагающий на голову императора золотую диадему с навершием в виде креста. Справа от императора — его покровитель пророк Илия, который протягивает ему войсковое знамя. В надписи рядом сказано, что Илия гарантирует императору постоянную победу, а Гавриил венчает его как защитника мира. На втором листе рукописи изображены императрица Евдокия и два ее сына — Лев и Алек-^{478}сандр. Так как на миниатюре отсутствует старший сын Константин, кодекс был выполнен, видимо, после его смерти в 879 г., но еще в тот период, когда жива была Евдокия, умершая в 883 г.

Близость к миниатюрам Парижской Псалтири сильно чувствуется и в оформлении рукописи с текстом истории Иисуса Навина. Эта рукопись получила совершенно необычную для IX—X вв. форму свитка. Обращение к свитку в то время, как уже с IV в. безраздельно господствовала форма кодекса, служит еще одним примером использования античных образцов. Текст в свитке расположен столбцами, идущими поперек длины подобно тому, как помещался, он в античных рукописях. Над текстом — бесконечный фриз переходящих одна в другую и не отделенных рамами сцен. Такой принцип композиции в виде ленты заимствован из рельефов римских триумфальных колонн. Рисунки в этом свитке слегка подкрашены тонкими сочетаниями коричневого, голубого, белого и пурпурного цветов. Архитектура и пейзаж активно введены в построение композиций для определения места действия. Фигуры твердо стоят на ногах, даже если линия почвы не изображена. Возможно, эта рукопись была создана в Императорском скриптории для Константина VII Багрянородного (913—959), который славился и как писатель и как покровитель искусства и литературы. Он пробовал свои силы и в качестве художника.

К самому концу IX — началу X в. относятся также фрагменты Евангелия в Публичной библиотеке в Ленинграде (греч. 21). Сохранилось 10 листов этой роскошно оформленной рукописи. Ее миниатюры представляют собой иллюстрации евангельского цикла, к которому художники обратились впервые после перерыва в несколько столетий. Теперь, выбирая главные события из евангельского рассказа, миниатюристы в своих основных композиционных принципах строго подчинялись иконографическому канону.

Миниатюры названного Евангелия были созданы, очевидно, несколькими художниками, каждый из которых обладал своей творческой манерой. Одни следовали константинопольским образцам, другие были ближе к памятникам Малой Азии. Так, композиция «Брака в Кане Галилейской», разделенная на две части, своим повествовательным характером напоминает современные ей фрески церкви Токаль в Каппадокии. Миниатюра «Сошествие св. Духа на апостолов» была создана под влиянием мозаики купола какого-то храма. Художник, перенося купольную композицию на плоскость листа, расположил рисунок в полукруге. Однако движения тел и наклоны голов персонажей такие же, что и у фигур круглого купола. Влияние монументального искусства можно усмотреть и в четко построенных, спокойных и величественных композициях этой рукописи. Колорит же, основанный на тонких сочетаниях тонов с преобладанием оттенков голубого, сиреневого, розового, выделяющихся на фоне приглушенного золота, характерен для миниатюр IX—X вв.

В эти годы на смену образу стоящего подобно античным ораторам евангелиста окончательно приходит его изображение в виде сидящего перед пюпитром писца. На столике перед ним, как показано и в миниатюрах Евангелия Публичной библиотеки, и в рукописи этого же времени монастыря Ставро-Никиты на Афоне № 43, разложены письменные принадлежности.^{479}

IX—X вв. в искусстве оформления византийской рукописи характеризуются дальнейшими поисками в области структуры кодекса. Стремясь выделить наиболее важные части текста, обозначить начало главы или нового абзаца, художники впервые вводят заставку и инициал, которых до сих пор в рукописях не было. Инициалы служат теперь, кроме своего прямого назначения, важнейшим средством декора листа. На листе может быть несколько заглавных

букв, вынесенных на поля. Обычно они состоят из орнаментов растительного характера. Иногда благословляющая рука вводится в качестве горизонтальной перекладки буквы «Е». Две свернувшиеся рыбы создают оба полукруга в букве «Ф». Но полосы, очерчивающие буквы, еще довольно широки, членения орнамента крупные, зооморфические мотивы соединяются с растительными еще не вполне гармонично.

Начало главы в рукописях с этого времени отмечает заставка квадратной или прямоугольной формы. Она заполняется коврового типа орнаментом, а на оставленном в центре свободном месте помещается название главы. Интересна заставка из архитектурных мотивов на листе одной из выполненных в Императорской мастерской рукописей, хранящейся в Публичной библиотеке в Ленинграде (греч. 53). Она открывает Евангелие от Матфея и представляет собой рисунок римской триумфальной арки, которую венчает купол. Эта рукопись вообще оформлена с роскошью: текст ее написан золотом на листах, окрашенных редким по своему тону синим, почти черным, пурпуром. Чтобы выделить расположенные на полях манускрипта комментарии, художник пишет их серебром.

В X в. на орнаментацию византийских книг оказывают влияние произведения армянских миниатюристов, отличавшиеся чрезвычайно богатым и разнообразным декором. Изображения птиц, лягушек, листьев граната, кустиков земляники, помещенные обычно над арками, под которыми располагаются календарные таблицы, или над заставками, напоминают о кодексах Армении.

Итак, IX—X века — время блестящего расцвета византийского искусства. В тесной связи с вырабатывающимися теперь христианскими канонами идет заимствование образцов из античного творчества или из ранневизантийских произведений, в которых сильны были античные черты. Более свободными от иконографического канона были произведения миниатюры. Именно в них влияние памятников древнего искусства проявлялось с особой силой. Дело было не только в копировании художниками Византии отдельных пейзажных, скульптурных и архитектурных форм или в заимствовании тем и персонажей из художественного наследия древних греков. Обращение к античному искусству дало новый толчок для расцвета всей византийской культуры. Интенсивность художественной жизни, отличавшая этот период, явилась результатом возрождения интереса к античному искусству, которое для Византии всегда было своим и традиции которого никогда не прерывались.

Величие и монументальность образов, спокойствие композиций, благородство колорита, которые отличают византийское искусство того времени, объяснимы во многом стремлением открыть тайну красоты древних образцов, захвативших с особой силой художников IX—X столетий. Однако интенсивное обращение к творчеству древних эллинов происходило в {480} Византии одновременно с усилением контроля императора, и особенно церкви, над духовной ориентацией художников. Правда, иконоборчество было побеждено, чтобы никогда впредь не повториться вновь. Но церковный контроль в области живописи сопровождался выработкой строгих иконографических законов, определивших многие принципы изображения. Как никогда раньше, искусство IX—X вв. использовалось для укрепления власти императора, победившего иконоборческие ереси. Христианизация и возрастание значимости искусства происходили одновременно и согласованно. Однако воздействие античного искусства было более плодотворным, решающим и именно оно определило основные стилистические особенности византийской живописи и прикладного искусства того периода. Немалую роль в этом сыграло и то обстоятельство, что для греческого населения империи античное искусство составляло часть полученного от предков духовного наследия.

Одной из основных особенностей византийского искусства X—XII вв. следует считать усилившиеся художественные контакты Византии с другими странами. Это во многом определило характер искусства рассматриваемого периода. В те годы роль византийского художественного творчества для западного, русского и грузинского искусства была особенно велика. Константинопольских художников приглашают оформлять мозаиками храмы Венеции и Сицилии. На Русь, после принятия князем Владимиром (978—1015) христианства (в 988 г.), приезжают архитекторы, фрескисты, мозаичисты из разных городов империи, в том числе и из столицы. В Киевское, а затем и во Владимиро-Суздальское княжества привозят иконы и рукописи из Византии. Византийская живопись, как и ранее, более близка грузинским художникам, которые посещают Константинополь и работают в его книгописных мастерских.

Отмеченный период характеризуется сильным воздействием богослужения на изобразительное искусство, произведения которого, прежде всего монументальная живопись, призваны были раскрыть и дополнить основные принципы богослужебного обряда.

Но, покрывая стены церквей росписью с многочисленными эпизодами священной истории, живописцы обязаны были неукоснительно следовать окончательно сложившимся к тому времени жестким правилам, которые составляли иконографический канон. Каноническое расположение сюжетов на стенах храма определялось тем, что, согласно христианским представлениям, храм был символом неба и земли, рая и ада. Средневековый человек в силу своего спиритуалистического мировоззрения особенно остро ощущал весь огромный мир, в котором он жил. Верующий человек всегда ожидал, что когда-нибудь с востока придет второй раз Иисус Христос, чтобы судить людей. Все христианские церкви имеют алтарь в восточной части. Таким образом, они обращены туда, где по христианскому представлению расположен центр земли — Иерусалим с горой Голгофой, на которой был распят Иисус Христос. С противоположной стороны от алтаря, на западе, у входа в храм часто находилась крещальня, как символ прихода в христианство.

По сакральным воззрениям человек представлял собой микрокосмос: верхняя часть его тела связана со всем возвышенным, а нижняя — с земным. Архитектура церкви мыслилась византийцами схожей со строением тела человека. Подобно человеку, церковное здание имеет голову, шею {481} (или барабан), плечи, подошву. Представление о церкви как о своего рода космосе было основой принципа, определившего каноническое расположение сюжетов в ее интерьере: чем значительнее в вероучении смысл изображения, тем выше оно должно быть помещено в церковном здании. С этим первым, исходным обстоятельством связано второе — так называемая топографическая причина. Строение церкви задумывалось как образ тех стран, которые связаны с земной историей Иисуса Христа. Каждая часть храма напоминала о каком-нибудь месте в Палестине, где произошло то или иное событие из его жизни. Таким образом христианин, придя в церковь, как бы совершал путешествие по святой земле.

Кроме космического и топографического факторов, обусловивших расположение сюжетов в храме, существенную роль играло и представление о временной последовательности, связанное с богослужебным календарем, литургией. В христианском вероучении прошлое и будущее были объединены. Любое событие священной истории не есть нечто однажды совершившееся, но явление вечного порядка вещей. Каждый день церковного календаря являл собой не простое воспоминание о давно прошедших событиях христианской истории, но их символическое не столько повторение, сколько как бы совершение вновь. Поэтому сюжеты на стенах храма должны были быть расположены в порядке, соответствовавшем церковной хронологии.

В архитектуре византийского крестово-купольного храма господствуют циркулярный ритм, движение, идущее вокруг одного, ясно подчеркнутого центра, каким служит подкупольное пространство храма. В связи с этим в организации интерьера церкви отражено представление о цикличности времени, а не о развитии его от начала и до конца, как в романской и готической сакральной архитектуре.

В крестово-купольном храме церковный канон выделил три зоны, по которым распределялись сюжетные композиции. В верхней части здания (купол, барабан, конха абсиды) изображались только те сцены, которые мыслились происходившими на небе или в которых небо обязательно должно быть показано. Здесь же художники должны были помещать персонажи, стоявшие на верхней ступени христианской иерархической лестницы (Христос, Богоматерь, ангелы). Обычно в куполе храма находилось изображение Христа Пантократора, реже — «Вознесение» или «Сошествие св. Духа на апостолов». В церковной абсиде, символизирующей собой место рождения Христа (Вифлеемскую пещеру), изображали Богоматерь.

Вторую зону представляли верхние части стен храма. Здесь художники разворачивали эпизоды из жизни Иисуса Христа. Это был своего рода монументальный календарь, в который обязательно включались изображения двенадцати праздников. Иногда в больших соборах, если позволяло место, художники усиливали повествовательные тенденции и вводили события из жизни Христа, происходящие между основными эпизодами Евангелия.

В третьей зоне, самой нижней, менее всего значительной, обычно представлены отдельно стоящие фигуры святых, апостолов, святителей, пророков. Их располагали в хронологическом порядке, т. е. соответственно дням памяти каждого персонажа. В самом важном мес-

те, недалеко от центральной абсиды, живописцы помещали святителей и патриархов. {482} Ближе к западу на стенах полагалось изображать второстепенные персонажи — мучеников и, наконец, монахов. Святым, которым был посвящен храм, и патронам заказчиков отводилось наиболее почетное место — ближе к алтарю.

Файл byz483g.jpg

Иоанн Богослов из Распятия.

Вторая половина XI в.

Церковь Успения Богоматери

в Дафни. Мозаика

в северной оконечности креста.

Византийский духовный канон организовывал внутреннее пространство культового строения главным образом с помощью живописи. Роспись храма была подчинена задаче создания гармоничного ансамбля. Расположение сюжетов на стенах зависело не только от иконографического канона, но и от особенностей архитектуры здания, которое оформляла живопись. В XI—XII вв. мозаикам и фрескам отводились только неровные поверхности внутренних стен. Мозаичной живописью, как в силу технических (взаимное уравнивание давления кубиков смальты), так и эстетических (блеск смальты разных оттенков, прежде всего золотой) причин, украшали своды, купола и ниши. Прямые части стены облицовывались разноцветными мраморными плитами, благодаря чему замкнутые обрамления создавали восприятие мозаик как самостоятельных композиций. Однако византийские художники никогда не стремились «уничтожить» стену, напротив, старались подчеркнуть ее плоскость. Подчиняясь требованиям иконографического канона, византийские живописцы всегда умели создать впечатление пространства храма как нераздельного целого. Это единство решения церковного декора определялось и тем, что он был посвящен одной теме — отражению сакрального мира.

Из больших циклов монументальной живописи начала XI в. лучше всего сохранились мозаичные и фресковые композиции в главном храме монастыря Хосиос Лукас в Фокиде. В этих мозаиках наряду с повествовательным христологическим циклом представлены отдельно изображенные фигуры святых. Яркие, чистые цвета, локально окрашивающие поверхность, выразительные лики с неестественно увеличенными глазами, их подчеркнуто восточный тип, фронтальные позы, которым отдавали предпочтение художники, не всегда правильные пропорции фигур, скованность движений явились результатом того, что авторы этих мозаик работали далеко от столицы и были воспитаны на образцах искусства {483} восточных провинций империи. Эти художники часто стремились подчеркнуть жесты персонажей. Например, в сцене «Омовение ног» апостол Петр выразительно поднимает руку высоко вверх. Пропорции фигур здесь часто зависят от общих принципов построения композиции. Так, в «Распятии», стремясь подчеркнуть горизонтальную линию вверху сцены, художник неестественно удлиняет руки Христа. Фронтальность и застылость тел персонажей иногда контрастируют с движением складок их одежд, с развивающимися драпировками плащей. Работавшие в храме художники часто применяли широкие полосы, подчеркивающие архитектурные членения стен и сводов или отделяющие сцены. В композиции вводятся состоящие из крупных, отдельно начертанных букв надписи, которые воспринимаются как часть общей системы декора.

Под главным храмом монастыря Хосиос Лукас расположена крипта св. Варвары, на стенах которой помещены многочисленные фресковые композиции. Некоторые из них по своей линейности поражают близостью к мозаикам, а потому можно предполагать, что они были созданы одновременно с ними. Медальоны же с изображениями святых, обильно размещенные на стенах и сводах крипты, были выполнены, очевидно, несколько позднее, чем сцены повествовательного характера. Одна из самых замечательных композиций на стене крипты — «Снятие с креста». Сцена подчеркнуто драматична. Позы Иосифа, Иоанна, Марии, их жесты, лики выражают глубокую скорбь. Темный тяжелый крест ясно выделяется на голубом фоне.

В храме основанного Константином IX Мономахом (1042—1055) монастыря Неа Мони на Хиосе число мозаичных композиций довольно ограничено. В куполе был помещен Христос Пантократор, фигура которого не сохранилась. В абсиде — Богоматерь-Оранта. Ее руки подняты в молении к небу и открыты ладонями к зрителю, за которого она молится. В верхней части стен размещен повествовательный цикл из четырнадцати сцен от «Благовещения» до

«Сошествия св. Духа». Композиции эти более величественные, чем в фокидском храме, палитра более яркая. Работавшие на Хиосе художники обращают большое внимание на передачу движения персонажей, которые изображены в решительных поворотах, стремительно обращенными друг к другу. Складки одежд святых резко ломаются, создавая острые углы. Экспрессивность лиц достигается тем, что вокруг глаз положены тени, от чего взгляд кажется особенно глубоким. Широкий черный контур очерчивает несколько тяжелые в своих чертах лица и придает особую весомость одеждам.

В XI в. к прежним композициям, помещенным на стенах св. Софии в Константинополе, прибавились новые изображения. Одним из первых было выполнено мозаичное панно ктиторского характера: императрица Зоя и ее супруг Константин IX Мономах, известный как покровитель искусств, стоят по сторонам от Иисуса Христа, предлагая ему свои дары. Фигуры императора и императрицы облачены в орнаментированные широкие одеяния. Оба царственных персонажа слегка повернуты в сторону неподвижного, фронтально обращенного к зрителю Христа, которому Константин подносит мешочек с золотыми монетами, предназначенными на содержание храма, а Зоя — свиток с текстом Священного писания, верность которому императорская чета подтверждает своей деятельностью. Константин Мономах был третьим мужем Зои, занявшим трон {484} благодаря женитьбе на ней. Как можно судить по тщательному исследованию технических особенностей мозаики, изначально композиция включала, очевидно, фигуру второго мужа Зои, императора Михаила IV (1034—1041). После восшествия на престол Константина мозаичисты исправили надпись с именем императора, с трудом втиснув на месте старого новое имя³. Тогда же было изменено и лицо монарха. Последнее обстоятельство — важный факт для понимания принципов византийского искусства, несомненно стремившегося передать индивидуальные портретные черты, а не абстрактный образ императора.

Изучаемая композиция свидетельствует об изменениях художественных средств, применявшихся столичными мастерами. Кубики мозаики стали меньше по размеру, чем раньше. Теперь они располагаются лентами, которые создают контур лица, следуют строению шеи, соответствуют рисунку складок одежд. Поражает, между тем, разница между линейной трактовкой лица Христа, одежд всех персонажей и тонкой живописной моделировкой их ликов. Лицо Мономаха отражает его безвольную натуру. Зоя представлена женственной и нежной. Золото фона, кобальт гиматия Христа и яркая, подобная перегородчатым эмалям, раскраска орнаментов императорских одежд подчеркивают особое значение этой ритуальной сцены.

Тот же композиционный принцип и та же тема были повторены в мозаике, созданной в храме св. Софии несколько позднее и помещенной недалеко от первой. Она представляет императора Иоанна II Комнина (1118—1143) и его супругу Ирину, подносящих такие же дары Богородице. Портрет Иоанна отличается величественностью и выразительностью, отражая характер этого значительного политического деятеля. Лицо императрицы бесстрастно, так как, согласно моде того времени, оно изображено покрытым толстым слоем косметики. Широкий овал лица ясно выдает негреческое происхождение Ирины — она была венгерской принцессой, славившейся своей красотой. Спустя несколько лет сын императора Алексей был объявлен соправителем, и тогда рядом с Ириной появился его портрет. Наследник изображен вполне правдиво: мозаичист передал налет обреченности на лице этого рано умершего мальчика. В художественном решении композиции явно чувствуется усиление графического начала, сухость трактовки, отличающие живопись XII в. от произведений предшествующего времени. Масштаб фигур стал меньше, лица их более безразличны, хотя цветовая палитра также интенсивна, как и в панно с фигурами Зои и Константина. Можно только предполагать, что провинциальные мастера, работавшие в бедных местностях империи, восприняли некоторые черты художественного языка и технологических приемов творческой мысли столицы.

В конце XI в. в маленький храм Дафни под Афинами пришли мозаичисты из Константинополя. Им недоставало экспрессивности художников Неа Мони и Хосиос Лукас, но аристократическая элегантность, присущая всей столичной культуре того времени, отличает их творчество. В композициях, украсивших церковь Дафни, появляется стремление к передаче свободного пространства. Они как бы наполнены воздухом, что создается не только паузами между персонажами, но и особым, как бы {485} музыкальным ритмом, который, пожалуй, может

³ Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986. Т. 1. С. 75.

считаться основной особенностью композиционного построения. В удлинённых и грандиозных пропорциях фигур легко угадываются реминисценции эллинистического искусства. Персонажи изображаются в свободном движении, редко фронтально. Спокойные, мягко ломающиеся складки одежд подчеркивают жесты. Светотеневая моделировка выявляет объём ликов, черты которых прорисованы тонкой линией. Позы персонажей выразительны и естественны. Палитра отличается удивительным богатством тонов и особенно полутонов. Если считать, что в Неа Мони было 12 оттенков разных цветов, то в Дафни их было введено до 30. Несколько отличны мозаики, расположенные на стенах нартекса церкви Дафни, которые были выполнены иной группой мастеров, чем та, которая работала в самом храме. В композициях нартекса сильнее подчеркнут повествовательный характер, язык художников более многословен. Его отличает любовь к аксессуарам.

Художественные вкусы столичной школы, располагавшей огромными материальными средствами для утонченной аристократической интерпретации строгого иконографического канона, оказывали воздействие на искусство византийских провинций. Иногда влияния передавались прямо. Так, в XI—XII вв. константинопольские художники работают не только на территории самой империи. Популярность их настолько велика, что их приглашают для оформления храмов в другие страны. И уже в XI в., после двухсотлетнего перерыва, вызванного последствиями иконоборчества, византийское искусство вновь начинает оказывать влияние на западноевропейское. На этот раз произведения искусства, созданные в империи, ценятся на Западе не за их близость к античным образцам, как это имело место прежде. Им подражают, их коллекционируют именно потому, что они возникли в Византии, а все византийское уже рассматривается как образец для копирования. Иконография западной романской живописи создается в этот период не только благодаря раннехристианским миниатюрам, но прежде всего под влиянием памятников византийского рукописного и прикладного искусства, которые в большом числе попадают на Запад. Так, иллюстрированные греческие Лекционари занимают первое по своему воздействию место, оказывая влияние, например, на сюжеты французской монументальной живописи и скульптуры. Византийское влияние в это время шло на Запад в основном через Италию, которая была связана с художественными кругами столицы.

В XI в. произошел экономический подъем Венеции и только что созданного королевства Сицилии. Только мозаика могла удовлетворить стремления королей норманской династии и венецианских дожей к блеску и пышности, долженствовавших отвечать их могуществу. Но мозаика была в те годы в Европе исключительно византийской монополией: только в Византии могли создавать кубики смальты, особенно золотой, только в Византии были мастера, искусные в сложении больших и многофигурных композиций. Первоначально византийские интеллектуалы сами несли на Запад свои художественные представления. Так, собор св. Марка в Венеции (придворная церковь венецианских дожей) был построен византийскими архитекторами по образцу константинопольского храма св. Апостолов, возведенного еще в VI в. Поэтому собор св. Марка в плане представляет удлинённой формы крест, перекрытый пятью куполами. {486}

Украшение собора мозаиками происходило в течение нескольких столетий, что породило явления эклектики. Многочисленные артели мастеров, приглашенных из разных художественных центров империи, творили здесь, даже не пытаясь связать свою работу, хотя бы по композиции, с той, которая была выполнена их предшественниками. Особые сложности возникли при создании пяти куполов собора св. Марка. В византийской иконографии существовало лишь три темы для размещения в куполе: «Христос Пантократор», «Вознесение Христа» и «Сошествие св. Духа на апостолов». Поэтому в Венеции художниками были введены две новые сцены для куполов: «Сотворение мира» и «История св. Марка». Другие сложности были связаны с тем, что византийские мозаичисты привыкли работать в храмах, размер которых был гораздо меньше. Отсюда — отсутствие единой строгой системы в расположении мозаик в Сан Марко.

Своими художественными принципами руководствовалась группа мозаичистов из Константинополя, приглашенных к XII в. исполнить композицию в храме в Торчелло (окрестности Венеции). Здесь на фоне огромного, насыщенного сиянием золота пространства абсиды одиноко стоит Богоматерь-Одигитрия, на руках которой — благословляющий младенец Христос. Ее тонкая, с маленькой головой трепетная фигура напоминает мерцающее пламя свечи. Фигуры

святителей, неподвижно стоящих в ряд в нижней части абсиды, образуют своего рода фундамент композиции, ограничивая ее внизу, в то время как верхние композиционные углы отмечают две фигуры — Богородица (справа) и направляющийся к ней архангел Гавриил (слева). Западную стену храма занимает огромная, необычайная по своей многофигурности сцена «Страшного суда», выполненная мастерами иного художественного направления. Для свободного фона здесь почти не остается места. Все насыщено движением персонажей, представленных в мелком масштабе, причем особенно подробно даны сцены адских мучений.

Если мозаики соборов Венеции и Торчелло характеризуются разнообразным смешением стилей и композиционных приемов, то мозаики, выполненные византийскими художниками в Сицилии, несут на себе отпечаток четко сложившегося вкуса заказчиков — королей норманнской династии, отвоевавших у арабов в 1077 г. столицу Сицилии Палермо. К тому же храмы, которые пришлось здесь декорировать византийским мастерам, имели базиликальный план и были перекрыты полуциркульными сводами. Поэтому мозаичисты, приспособив к ним византийскую схему расположения мозаик в крестово-купольных зданиях, были вынуждены помещать фигуру Пантократора в конце абсиды, соответственно спустив ниже и расположив под ней изображение Богородицы.

Из сицилийских мозаик наиболее ранними можно считать те, которые украсили собор в Чефалу, построенный Рожером II (1130—1154) в качестве усыпальницы, о чем гласит надпись над входом. От мозаик, современных постройке, сохранились те, которые оформляют абсиду. Верхнюю ее часть занимает поясное изображение Христа. Его образ господствует во всем пространстве огромного храма. В левой руке он держит Евангелие, а правой благословляет зрителя. Его широко раскрытые руки, как бы обнимающие зрителя, своим движением соответствуют полукругию абсиды. Лицо Иисуса нельзя назвать грозным. При всем величии {487} образа в нем проявляется душевная доброта, легкая грусть, задумчивая красота. Некоторая линейность и сухость трактовки выдают руку константинопольских художников XII в. Синий цвет гиматия Христа светлее, но вместе с тем полнее по насыщению, чем в других сицилийских мозаиках. Ниже помещена Богородица Оранта, окруженная архангелами со сферами в руках. Под ней двумя рядами расположены апостолы, в свободных позах стоящие рядом.

Примерно в то же время, около 1151 г., были созданы мозаики церкви Санта Мария дель Аммиралио в Палермо, известной теперь под названием Мартораны. Это маленькое купольное сооружение, поэтому приезжие мозаичисты и помогавшие им местные мастера могли следовать здесь византийскому типу размещения сюжетов. В медальоне купола они поместили сидящего на троне Христа Пантократора. Вокруг него в позах поклонения расположились архангелы, в барабане — пророки, на парусах — евангелисты. Когда-то на фасаде помещались перенесенные теперь в нартекс композиции с изображением адмирала Георгия Антиохийца, строителя Мартораны, перед Богородицей и коронуемого Христом Рожера II.

Всем произведениям, украшающим храм, недостает благородной красоты и классической простоты мозаик Чефалу. Мозаики Мартораны выполнены, надо признать, в довольно сухой, линейной манере. Лица святых иногда равнодушно однообразны. Однако стилю исполнения нельзя отказать в известной интимности, создаваемой мелким масштабом композиций, их повествовательным характером, любовью к деталям и орнаментам. Яркие цвета, обилие золота, пышность декора создают ощущение несколько приподнятой нарядности.

Грандиозный собор Успения в Монреале (конец XII в.) был украшен византийскими художниками, которые привлекли значительные, уже обученные ими местные силы в качестве помощников. Мозаики выполнены при Вильгельме II (1166—1189), который и был здесь похоронен. В конхе абсиды, как и в Чефалу, помещен благословляющий зрителя Христос Пантократор. Так же, как и там, его руки, воспроизводящие как бы обнимающий жест, соотношены в их движении с полукруглой формой абсиды. Но жест этот стал еще более широким, а образ Христа приобрел теперь грозную величественность (которой не было в мозаиках Чефалу), он стал холоднее и неприступнее. Трактовка фигуры получила большую сухость. Колорит же стал несколько вялым, хотя блеск золота, наполняющий собой пространство величественного храма, поражает еще больше, чем в Чефалу. На стенах монреальского храма были помещены две вотивные сцены: поднесение Вильгельмом II модели построенного им собора Богородице и коронование его Христом. Здесь же разместились регистры многочисленных (их число дости-

гает 130) повествовательных сцен Ветхого и Нового заветов, деяния апостолов Петра и Павла, которым посвящены боковые абсиды.

Сицилийские короли, подражавшие византийским императорам даже в мельчайших деталях костюма, хотели, чтобы мозаики их храмов создавали ту же атмосферу блеска, которая была присуща придворной жизни Константинополя. Они украсили мозаиками жилые комнаты дворца и маленькую, так называемую Палатинскую, капеллу. Но в следовании византийскому декору они преуспели только частично, потому что в {488} перегруженных пышных деталях мозаик Палермо и Монреале подчас уже нет строгого чувства меры.

Файл byz489g.jpg

Монреале. Кафедральный собор.

1180—1194. Интерьер. Общий вид.

Но не только в Италию едут в XI—XII вв. византийские художники. Из Константинополя в Македонию, в монастырь Нерези прибыла небольшая артель мастеров, чтобы покрыть фресками стены храма св. Пантелеймона. Монастырь расположен рядом с городом Скопле, являвшимся в XI—XII вв. крупным культурным центром. Как сообщает надпись в притворе, над входом в храм, церковь монастыря Нерези воздвигнута в 1164 г. Алексеем Ангелом, внуком императора Алексея I Комнина. Фрески сильно пострадали от землетрясения XVI в. О творческом темпераменте и силе мастерства их авторов можно судить в первую очередь по таким сценам, как «Оплакивание» и «Снятие с креста». Первая композиция строится горизонтальными линиями, создаваемыми лежащим телом Христа, склонившимися над ним фигурами Богоматери и Иоанна, движения которых повторяют линии гор, служащих фоном для места действия. Суровые лица Марии и Иоанна наполнены чувством скорби. Спокоен и величаво прекрасен лик Христа. Построенный на сочетании белого, лазоревого, изумрудно-зеленого и яркой охры колорит несет на себе печать особого благородства, характерного для константинопольской школы.

В XI—XII вв. укрепляются культурные и художественные связи Византии с Русью. Стремясь усилить свой авторитет, князья приглашают в Киев, а затем и во Владимир византийских архитекторов и художников. Как сообщает под 1037 годом «Повесть временных лет», князь Ярослав Мудрый (1019—1054) построил в Киеве собор св. Софии. Это тринадцатиглавое крестово-купольное здание было создано византийскими архитекторами, использовавшими традиции русского деревянного зодчества. В создании мозаик и фресок этого храма наряду с византийскими художниками приняли участие и местные мастера, прошедшие выучку у своих византийских братьев. В киевском соборе, как примерно в те же годы в Хосиос Лукас в Фокиде, мозаиками были выделены основные части храма: алтарь и купол, причем фрески занимают по сравнению с мозаиками гораздо больше места — они расположены и в основных частях храма, и во второстепенных. Мозаики, покрывающие стену абсиды в храме св. Софии, составляют единую и цельную композицию. Вверху, в конхе расположена одиноко стоящая фигура Богоматери в типе Оранты. Под ней — сцена «Евхаристии» (Причащения апостолов), в которой фигуры Христа и одетого в дьяконское платье ангела повторены два раза. Внизу — святительский чин. Все три регистра построены по принципу центрических композиций, которые объединяет между собой единая ось. Строго под фигурой Богоматери, образующей верхнюю часть этой оси, расположен престол с киворием, составляющий центр композиции «Евхаристии», а еще ниже — окно, по сторонам которого стоят отцы церкви. Композиции двух нижних регистров построены на контрасте друг к другу. В сцене «Евхаристии» апостолы, разделенные на две группы по шесть человек каждая, движутся к Христу, а внизу в одинаковых позах неподвижно стоят на равном расстоянии друг от друга святители.

Мозаики собора св. Софии создавали художники, прибывавшие ко двору Ярослава Мудрого не из Константинополя, а из какого-то провинциального центра империи. Это особенно ясно ощущается, если посмотреть на застывшие позы апостолов в сцене «Евхаристии», на их однообразные лица. Лучшие художники артели участвовали в создании святительского чина. Эти мастера, стремясь к индивидуализации ликов отцов церкви, передали даже психологические оттенки. Василий Великий представлен как мужественный и решительный человек, в облике же Иоанна Златоуста, старца с остроконечной бородкой и круглой лысиной, мозаичист передал облик одухотворенного интеллектуала.

Среди фресок собора св. Софии в Киеве особенно показательны светские сюжеты. Так, на стенах лестничной башни, подобно живописному ковру, свободно разбросаны фигурки музыкантов и скomoroxов, сцены охоты, состязаний, происходивших на константинопольском ипподроме. Создавая портрет княгини Ирины с дочерьми (помещенный на южной стене центрального нефа, на уровне хор), художник стремился к индивидуальной характеристике, к точному изображению костюма и его аксессуаров.

Около 1112 г. в Киев опять были приглашены византийские мозаичисты. На этот раз они прибыли из Константинополя и украсили своими живописными мозаиками собор Архангела Михаила⁴. В сцене «Евхаристии», в отличие от композиции на ту же тему в Киевской Софии, эти более искусные мастера стремились разнообразить позы апостолов и изменить ритм постановки фигур: чем ближе к краям, тем плотнее стоят друг к другу ученики Христа. Их движения разнообразны и легки. Удлиненные фигуры с маленькими головами (без нимбов!) особенно элегантны. Св. Димитрий (ныне мозаика в Третьяковской галерее) изображен как воин, покровитель русских князей, торжественно держащий перед собой свои регалии — щит и меч.

В 90-е годы XII в. во Владимире при росписи Дмитриевского собора⁵ константинопольские фрескисты работают уже на равных основаниях с местными. Русские мастера выполняют ответственные части композиции, фигуры апостолов южного свода центрального нефа были созданы византийскими мастерами, тогда как изображения на северном склоне того же нефа исполнены русскими. Русские художники близки византийским, несомненно, они находились под их влиянием. Однако местным мастерам свойственна более интимная и лирическая трактовка образов святых.

Мозаики и фрески XI—XII вв., выполненные как константинопольскими, так и провинциальными мастерами на территории самой империи, в Сицилии, Киеве, Владимире, в Македонии, отличаются определенным единством стиля. Тесная связь монументальной живописи и архитектуры, ритм композиций, благородство колорита, величие образов святых, спокойно глядящих на зрителя со стен храмов, в одинаковой степени присущи всем произведениям данного периода. В искусстве этого времени начинает господствовать тип лица святого с восточными чертами. Если лица и руки персонажей художники изображают, передавая их объем с помощью легкой светотени, то трактовка одежд, покрытых геометрическими орнаментами, отличается плоскостностью. Элементы пейзажа и архитектуры сведены к минимуму. От них чаще всего вообще стараются отказаться, предпочитая подчеркивать особое значение сцены с помощью золотого или голубого фона. Все эти черты свойственны не только монументальной живописи, но и иконам.

Иконописцы византийской столицы создали ряд первоклассных произведений живописи. К константинопольским иконам конца XI в. можно отнести «Лестницу» из собрания монастыря св. Екатерины на Синае. На ней представлены монахи, поднимающиеся по тридцати ступеням, символизирующим их нравственные подвиги, о которых идет речь в сочинении «Лестница». Сам ее автор Иоанн изображен на иконе уже достигшим неба. О создании иконы в Константинополе можно судить по особенностям ее смелой композиции с лестницей, пересекающей по диагонали всю плоскость доски, по пропорциям фигур, в которых ясно видны отголоски античных моделей, по колориту с преобладанием кобальта, ярко выделяющегося на золотом фоне, и по ликам монахов с индивидуальными чертами. Очевидно, икона предназначалась специально для Синайского монастыря, ибо на ней изображен его тогдашний игумен архиепископ Антоний, который поднимается по лестнице вслед за Иоанном.

К той же школе начала XII в. относится икона «Владимирская Богоматерь»⁶, находящаяся ныне в Третьяковской галерее. Эта икона вошла {491} в историю русского искусства. Образ матери, ласкающей младенца, его глубокая человечность оказались особенно близки русской живописи с ее лиризмом и интимностью. Головы матери и сына прижались друг к другу: это тип Умиления. Мария знает, что сын ее пойдет на страдания ради людей. В ее огромных глазах глубокая скорбь. Среди всех византийских икон «Владимирская Богоматерь»

⁴ Лазарев В. В. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973. С. 131—146.

⁵ Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 1. С. 94, 95.

⁶ Банк А. В., Бессонова М. А. Искусство Византии в собраниях СССР: Каталог выставки. М., 1977. № 468.

отличается особенно повышенной эмоциональностью, даже психологизмом образов, что вообще не свойственно средневековому искусству. Удлиненные пропорции фигур, благородные лики, построенный на сочетании кобальта и золота, колорит — все свидетельствует о том, что автором иконы был один из лучших константинопольских живописцев.

По своей эмоциональной насыщенности приближается к «Владимирской Богоматери» Григорий Чудотворец на иконе Эрмитажа, датируемой второй половиной XII в. Лицо святого наполнено чувством страдания за людей, скорбью проникнут его взгляд, обращенный на зрителя. Глубокий старец, он прошел долгий и тяжелый жизненный путь. Вместе с тем образ Григория проникнут чувством собственного достоинства и одухотворенной красоты.

По-видимому, иконописцы на Афоне в конце XI — начале XII в. создали икону «Феодор, Филипп, Димитрий» (ныне находится в собрании Эрмитажа). Святые фронтально и почти в одинаковых позах стоят под аркадой, колонки которой отделяют одну фигуру от другой, подчеркивая равное значение каждого из них.

К XII в. относятся две иконы, происходящие, очевидно, из одного храма и имеющие редкий для Византии ярко-красный фон. На нем четко выступают очерченные широкой линией фигуры святых. Это «Преображение» в коллекции Эрмитажа и «Воскрешение Лазаря» частного собрания в Афинах. Обе они созданы в каком-то провинциальном центре империи и отличаются среди всех византийских икон повышенным чувством декоративности.

Для определения особенностей стиля XI—XII вв., условно называемого «комниновским», более всего материала дает книжная миниатюра. В этом виде искусства имеется довольно много датированных памятников. Для искусства оформления рукописей второй половины XI в. характерны определенные черты, остающиеся почти неизменными вплоть до начала XII в.

Подобно тому как в монументальной живописи к этому времени сложились основные принципы размещения композиций на стенах храма, так в искусстве рукописной книги окончательно оформились все особенности ее декора. Они были обусловлены прежде всего представлениями византийских художников о том, что рукопись — единый организм, в котором все соединено между собой. Миниатюра тесно связана с текстом. Книжный, или литургический, минускул, изящный и вместе с тем четкий почерк, которым написаны рукописи этого времени, соответствует характеру инициалов, дробных в деталях и сложных по силуэту. Заставки коврового орнамента, пышные рамки фронтисписов делают декор рукописей роскошным. Особое значение приобретает цвет. Теплый желтоватый тон пергамента, железистые чернила, золото, богато введенное в декор, служат созданию единого впечатления. Палитра византийских художников этого времени отличается особым разнообразием. Они любят {492} работать полутонами, внимательно и осторожно моделируя форму, широко используя при этом такие минеральные пигменты, как киноварь, малахит, охра, ляпис-лазурь, азурит, свинцовые белила, сурик. В качестве связующего материала они брали камеди, яичный белок или желток. Краски накладывали на полированный пергамен.

Как мозаики Дафни отличаются от живописи Хосиос Лукас, так и миниатюры Константинополя выполнены в иной манере, чем рукописи, вышедшие из провинциальных центров. Миниатюры большинства столичных рукописей привлекают гармоничными композициями, в построении которых ритму отводится основная роль. В палитре преобладает сочетание золота с кобальтом при минимальном введении кармина и зелени. Пропорции фигур характеризуются античной красотой, движения и позы персонажей подчеркнута легкие и неприужденные. Орнамент заставок и инициалов, совершенный по форме и легкости перовой линии, всегда очень тщательно нарисован. Любовь к историзованным инициалам, состоящим из фигур святых или императоров, — особая черта столичных рукописей. Только художники Константинополя могли создавать столь тщательно выписанные маленькие фигуры, которые своими движениями и жестами образуют ясную по форме литеру. Здесь в отличие от провинциальных центров заметно проявляется обостренное чувство соотношения миниатюры и текста. Изображения не всегда расположены на отдельных листах, но чаще помещены рядом со строками или между ними.

Константинопольская школа миниатюры в течение XI—XII вв. не оставалась неизменной, ее художественные принципы менялись. В конце XI в. тенденции к дематериализации фигур, которые наметились в предшествующие годы, усиливаются. Архитектурные кулисы в

тех редких случаях, когда они существуют, приобретают особую невесомость. В позах персонажей появляется некоторая нервность, а иногда они неестественно вычурны. Чем ближе к концу века, тем суше и графичнее становится манера исполнения, тем неустойчивее стоят фигуры, тем резче складки их одежды. Уже к началу XII в. художники изменяют масштаб фигур в композициях, делая их более крупными и часто отказываясь от той многофигурности, которая была свойственна более ранним произведениям. После 1100 г. константинопольские рукописи становятся более декоративными. Усложняются рамки заставок, над ними в изобилии появляются павлины и фонтаны. Шире, чем раньше, миниатюристы применяют архитектурные оформления, часто утяжеляя их форму пятикупольными завершениями. Не так ясно читаются уже историзованные инициалы. Меняется почерк кодексов. В нем наблюдается ряд новых по форме литер.

В самой константинопольской школе XI—XII вв. выделяются два основных направления. Одно из них возглавлял Императорский скрипторий, второе — мастерская Студийского монастыря. Рукописи, созданные в Императорской мастерской, отличались особой белизной пергамента, широкими полями, тонкой разлиновкой листа, красотой почерка, особой тщательностью декора. Часто, но не всегда, для них характерен большой размер, типичны особая роскошь оформления, многочисленность миниатюр. В них много золота, иногда применяется пурпурная окраска листов, щедро вводится ковровый орнамент. Многие из кодексов этого скриптория содержат портреты императоров. Таковы изображения Никифора {493} Вотаниата в рукописи «Слов» Иоанна Златоуста Парижской Национальной библиотеки Coislin 79, Михаила Дуки в Деяниях и Посланиях апостолов собрания Московского университета № 2280, в Псалтири Публичной библиотеки (греч. 214), а также во многих других рукописях. Кодексы Императорского скриптория, отличающиеся изысканной красотой, не стали предметом для широкого подражания, так как они были доступны только узкому кругу читателей. Эти рукописи обычно в течение многих веков оставались в мастерской, в которой они были созданы, переходя от одного поколения императорской фамилии к другому.

Иной была судьба кодексов, созданных в Студийском монастыре, миниатюры которых отвечали самым разнообразным запросам и вкусам. Лучшие студийские рукописи того времени хранятся в Британском музее, в Парижской Национальной библиотеке. Отметим свиток с Литургией Иоанна Златоуста и Василия Великого (Собрание БАН СССР, № 1).

Художественное влияние создателей миниатюр студийских кодексов XI в. получило широкое распространение. Оно проявлялось и позднее. Например, в XIV в. в подмосковном Троице-Сергиевом монастыре была создана Псалтирь по образцу Студийской XI в. То же обращение к Студийским образцам характерно и для болгарских писцов и миниатюристов XIV столетия. В столице Болгарии Тырново, ставшем значительным художественным и культурным центром, был переписан для царя Ивана Александра текст Евангелия. Миниатюрист, оформляя эту рукопись, использовал миниатюры Евангелия, созданного в XI в. в студийском монастыре.

Для всех рукописей Студийского монастыря, так же как и для испытавших их влияние поздних произведений, характерно объединение в единое целое всех элементов декора и текста. Строки текста, образованные мелкими буквами минускула, нередко украшенные растительными побегими, в студийских кодексах всегда тесно связаны с миниатюрами. Композиции располагаются иногда на отдельных листах и заключены в обрамления, но чаще всего они разбросаны без рамок на полях или среди строк. Четок не только почерк, но и орнамент заставок и рамок. Совершенны по принципам своего построения композиции. Легкие и изящные фигурки, богатая оттенками палитра, тонкая манера письма отличают миниатюры этих рукописей.

Главной особенностью всех изображений в студийских рукописях следует считать усиление спиритуалистического начала. Этому способствовали удлиненные пропорции фигур, поставленных на носки, их подчеркнутая невесомость и нередко отсутствие в композиции линии почвы под ногами персонажей. Идеи монашеского аскетизма, центром распространения которых в XI в. явился Студийский монастырь, нашли ясное выражение в стиле оформленных здесь кодексов. Не столько стиль, сколько иконография отличает миниатюры монастырской мастерской. В студийских рукописных книгах всегда особое место отводится сценам истории Иоанна Предтечи — патрона монастыря. Естественно, что сцены, относящиеся к истории обители, к эпохе иконоборчества, времени, когда монастырь возглавлял борьбу за правоверие, на-

ходят отражение в его миниатюрах даже в XI в. В них часто можно увидеть изображение св. Феодора, игумена монастыря, выступившего с особой решительностью против императоров иконоборцев. {494}

Рукописи студийского скриптория, свидетельствующие о высоком, изысканном искусстве книги в Константинополе, всегда ценились и в самой Византии, и в других странах, где они служили образцами для подражания и где их неоднократно копировали.

Созданные в провинциальных мастерских рукописи значительно отличаются от столичных. Провинциальные мастера могли легко отойти от иконографического канона, вставить в свои изображения фигуры нетрадиционных персонажей и их необычные аксессуары. Для их композиций характерна гораздо большая повествовательность, любовь к замедленному рассказу, к подробному описанию места действия. Миниатюра часто занимает в рукописях провинциальных скрипториев не весь лист, а только его часть. Ее ограничивает простая, лишенная декора рама. Колорит определяется малым введением золота или его полным отсутствием. Иллюстрации распределяются среди листов текста неравномерно. Часто их подбор невелик. Повидимому, применение художественных средств иногда было ограничено материальными ресурсами мастерских и экономическими возможностями заказчиков.

Среди провинциальных скрипториев надлежит выделить мастерскую Афона. Известен созданный здесь кодекс Канона покаяния (хранится в Бухаресте: Библиотека Академии наук. Cod. 1294). В его миниатюрах, заключенных в рамки и расположенных рядом с текстом, художник особенно акцентировал жесты персонажей, стремясь показать диалог между монахами, которых он изображал сидящими то в келье, то у стены монастыря или за его пределами, на фоне гор, повторяющих своими очертаниями позы фигур. Византийские рукописи XI—XII вв., созданные в столице или провинции, отличались особой тонкой красотой. В их изяществе было что-то мимолетное, какая-то особенная утонченность, которая была свойственна только им и которая ускользала при подражании.

XI—XII вв. можно считать классической эпохой византийского искусства, когда принципы художественного стиля наилучшим образом отвечали строгим правилам иконографического канона. Многочисленные и самые разнообразные произведения создавались по всей стране. Искусство Византии вышло далеко за пределы империи. Оно оказывало плодотворное влияние на развитие культуры других стран.

Художники того времени выработали законченный стиль, который в течение двух столетий приобрел известную устойчивость. Художественный язык произведений отличался торжественностью и возвышенностью, наилучшим образом отвечавшими требованиям христианской религии. Особое значение в живописи получил золотой фон, при этом отсутствовали или сводились к минимуму архитектурные и пейзажные детали. Легкие, вытянутых пропорций фигуры святых, помещенные на этом фоне, воспринимались как бесплотные. Тела их изображались подчеркнуто плоскими, для ликов же была характерна тонкая светотеневая моделировка, намечающая их объемность. Движения святых подчинялись строгому регламенту. Любовь к переливчатым тонам сообщала колориту ирреальность. Стиль византийского искусства XI—XII вв. получил в нашей науке название спиритуалистического.

В тот период в духовной жизни империи еще более возросла роль Константинополя — центра, в котором возникали произведения, выполнявшие роль образцов как в провинции, так и в других странах. {495}

15

Архитектура

В зодчестве стран византийского круга — в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Закавказье — в VI в. ясно обозначился новый период, характерной чертой которого явилось развитие купольной архитектуры, определившей всю дальнейшую историю византийского зодчест-

ва¹. Распространение купольной композиции сопровождалось не только большими техническими и конструктивными, но и художественными достижениями; в основе их лежали новые идейные принципы, активно вводимые в зодчество усиливавшейся церковью. Новая идейная концепция получила исчерпывающее выражение в церковном строительстве. Христианская мысль видела в храме воплощение мироздания и ассоциировала свои идеи с купольным сводом, под которым совершалось богослужение. Храм стали трактовать как вселенную, как космос: купол, созданный еще в античную эпоху, считался теперь воплощением небесного свода. Этот центр храма как бы возносился над богомольцами и возбуждал у средневекового человека ощущение чуда, чего-то непостижимого. Порождая преклонение, купол, несомненно подавлял вошедшего в храм и тем самым укреплял веру в его божественное предназначение. Это был мир христианских символов, которыми должен был мыслить человек. Новые явления были вызваны теми требованиями, которые стало предъявлять строителям само богослужение, сложившееся к VI в.: центр его — литургическое действо — переместился под купол.

Становление купольной архитектуры было, однако, длительным и сложным процессом, отличаясь своеобразием в разных регионах обширной византийской империи. В более ранних храмах купол еще примыкал к апсиде в восточной части храма (в конце удлиненного нефа). Однако в дальнейшем его переместили в центр, к этому средоточию церковного здания обратили и боковые пространственные объемы, где размещались молящиеся. Таким путем, в силу новых идейных сдвигов и соответственно новых требований церкви, формировалась центрическая концепция монументального купольного здания. Процесс ее развития в VII—VIII вв. привел к созданию вполне сложившейся центрально-купольной системы, ставшей единственно принятой, преимущественно в виде крестово-купольной композиции. Базиликальная тема в последующее время была окончательно забыта. {496}

О том, как складывалась крестово-купольная композиция, свидетельствуют некоторые сохранившиеся памятники: храм Успения в Никее, по-видимому, начала VIII в. (уничтожен в 1920 г.) и близкий ему по композиции, но значительно больший по размеру и более архитектурно развитый храм Софии в Фессалонике первой половины того же VIII в., больше всего связанные с константинопольской архитектурной школой. (К этим двум монументальным храмам следует присоединить и приблизительно одновременную им церковь Климента в Анкаре.

Все эти храмы почти квадратные в плане. От базиликальной протяженности здесь уже ничего не осталось. Подкупольный объем их относительно расширился и стал действительно центральной частью здания, с трех сторон охваченной широким обходом — двухъярусной галереей с хорами. Пространство под куполом ограничено четырьмя массивными столбами, погашающими его распор. Но в фессалоникской Софии огромная масса этих столбов осложнена: они расчленены и образуют группу устоев, между которыми образовались промежуточные проходы, напоминающие пространственные зоны в столичной Софии. Важно подчеркнуть особенность, порожденную в названных храмах мощными столбами, а именно — возведение «за счет толщины подкупольных столбов — четырех подкупольных арок одинаковой глубины и столь широких, что их правильнее назвать цилиндрическими сводами»². Здания благодаря этому приобрели крестово-купольность. В дальнейшем такая особенность получила все более отчетливое выражение.

Следует отметить, что фасады и общий внешний облик церквей VIII в. по-прежнему оставался почти не разработанным и не выражающим композиционного и декоративного богатства интерьера: основные принципы раннесредневекового зодчества Византии оставались тогда без изменений. И это понятно: в ту напряженную эпоху развитие художественной культуры, включая и зодчество, явно затормозилось.

Та же картина наблюдается в другой византийской области — в юго-восточных районах Малой Азии. Купол на массивных устоях в монументальных храмах эпохи VII—VIII вв. также оставался строго в центре храма. Остальные его массы группировали около подкупольного объема. Вся композиция здания благодаря этому стала укорачиваться, приближаясь к кубу. Апсидальные выступы начали широко выдвигать за пределы основных объемов храма.

¹ *Комеч А. И.* Архитектура // Культура Византии. IV—первая половина VII в. М., 1984. С. 586—595.

² *Брунов Н. И.* Архитектура Византии//Всеобщая история архитектуры. М.; Л., 1966. Т. 3: Архитектура восточной Европы. Средние века. С. 69.

Тут нельзя не вспомнить о храме монастыря Николая в Мире (в Ликии в Малой Азии), возведенном в VIII в., с более сложной, но в основе еще старой композицией³. Купол здесь также находится в самом центре здания. Но широкая и массивная трехгранная снаружи апсида уже выступает вне храма. Короткие боковые нефы заканчиваются с восточной стороны капеллами; южная боковая галерея увенчана глухими куполами. Для всех рассмотренных храмов характерна приземистость; из общей композиции массы здания купол на низком барабане выделяется не столь значительно. В этом отношении они еще близки к архитектуре раннего средневековья. {497}

Все названные симметричные по своей композиции храмы, образующие взаимосвязанную группу, отличаются тенденцией к крестово-купольной композиции. Выработка такого плана завершилась, вероятно, в IX в., когда короткие, продольно ориентированные своды боковых нефов окончательно заменились поперечно ориентированными, т. е. обращенными к куполу — идейному и композиционному центру храма. В зданиях VIII в. это только намечалось.

К тому же кругу памятников относится громадная трехнефная купольная базилика в Дерре-Аси на побережье Ликии, датируемая IX в.⁴ Особенностью храма является то, что к широкому куполу (диам. 7—8 м) с восточной стороны примыкает как бы двойная вима (храм, таким образом, принадлежит к «сложному» типу), благодаря чему здание приобрело базиликальную протяженность. У входящего в него создавалось ощущение далекой перспективы. Боковые нефы заканчиваются капеллами с широкими нишами, как в византийской архитектуре X—XI вв. Трехгранные снаружи апсиды выдвинуты вперед. Хоры, занимающие верхний ярус боковых нефов, покоятся на крестовых сводах. К нартексу примыкают две лестничные башни. Стены здания, что важно отметить, сложены в столбчатой технике в виде чередования слоев колотого камня и кирпича, своды — целиком из кирпича. Не только по строительной технике, но и по трактовке фасадов, резко расчлененных сильно выступающими лопатками, храм в Дерре-Аси уже далеко отошел от своих малоазийских предшественников — во всем его облике сказывается наступление следующего периода развития средневековой архитектуры, когда в ней сложилось новое направление.

В IX—X вв. зодчие формировали новую композиционную структуру, в основе которой лежит крестово-купольная система со свойственной ей центричностью. Все храмы, следовавшие этому архитектурному стилю, воспроизводили «простой» вариант крестово-купольного здания в виде вписанного креста с равными ветвями. Купол опирался на четыре устоя, соединенные со смежными стенами, образуя внутри крестообразное пространство. Но крестово-купольная система — это лишь та общая архитектурная канва, на основе которой в дальнейшем развивались новые особенности архитектуры. Так, стены внутри здания, выделявшие угловые помещения храма, и тем самым расчленявшие его, были уничтожены, благодаря чему эти части слились с наосом. В этом проявилось стремление к созданию объединенного и целостного внутреннего пространства.

Менялось и социальное содержание культовой архитектуры. Это сказалось в сокращении масштабов церковных зданий, которые в эту эпоху большей частью создавались для какого-либо определенного круга общества: для прихожан того или иного городского квартала, в привилегированном и замкнутом монастыре, в феодальном поместье, в небольшом городке или в селе. Уменьшение площади храмов все отчетливее и резче сопровождалось устремлением ввысь их пропорций, усилением их вертикальной оси с целью выделить храмы среди окружающей застройки. Тенденция эта прогрессировала: вертикаль в композиции масс церковного здания с течением времени становилась преобладающей. Устремленность ввысь силуэта храма придавала новое эмоциональное выражение архи- {498} тектуре, рассчитанной на восприятие

Файл byz499g.jpg

Константинополь.

Храм Романа Лакапина (Будрум-джами).

Ок. 930 г. Южный фасад.

³ Rott H. Kleinasiatische Denkmäler. Leipzig, 1908. S. 324—341; Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. L., 1965. P. 202—204. Fig. 80. Pl. 113.

⁴ Брунов В. И. Архитектура... С. 122.

не только изнутри храма, но и снаружи, что дало новый толчок интенсивному развитию купольной архитектуры, специфичной в каждой области империи. Экстерьер с течением времени всюду и везде приобрел все большее значение, что изменило весь облик архитектурного произведения. Его художественные качества стали полнее и отчетливее выражаться во взаимосвязи интерьера и фасадов. Фасад здания стал в большей мере соответствовать его композиции и сам, благодаря усилению пластичности, приобрел большее, чем в раннее средневековье, значение. Траптовка фасада стала одним из наиболее показательных проявлений нового архитектурного стиля.

С архитектурным фасадом неразрывно был связан и внешний декор, который был призван усилить его художественную выразительность. В руках зодчего это было средством так или иначе трактовать фасад и придавать ему различный смысл и звучание. Вместе с тем декор должен был акцентировать отдельные элементы фасада соответственно общей архитектурно-художественной концепции зодчего. Роль декора с течением {499} времени повышалась; он становился все более активным элементом в архитектуре, нередко приобретая самостоятельное, самодовлеющее значение, но большей частью был подчинен ей.

Таковы некоторые аспекты художественного содержания византийской архитектуры IX—X и последующих столетий, которые разрабатывали зодчие. Все эти проблемы были свойственны архитектурам всех стран византийского круга — столичной школы, Греции и примыкающих к ней Македонии и южно-славянских государств. В целом названные проблемы и определяют новый архитектурный стиль средневековья, формировавшийся на протяжении IX—X вв. и вполне сложившийся в XI в. Достигшая высшего развития в XI—XII вв. византийская архитектура продолжала оставаться одним из ведущих направлений зодчества во всем тогдашнем мире, включая романский Запад. Византийские архитектурные концепции были исходными в зодчестве южнославянских стран — Болгарии и Сербии. Именно Византии было обязано первыми своими достижениями древнерусское каменное зодчество. Однако всюду и везде ясно сказывались и локальные особенности архитектуры, и чем дальше, тем сильнее.

Обратимся к самим памятникам. На раннем этапе (IX—X вв.) столичная монументальная архитектура следовала еще, в сущности, раннесредневековой традиции, о чем свидетельствуют два памятника. Первый из них — храм Петра и Марка (?) (Аттик-Мустафа-джами), построенный приблизительно в середине IX в.⁵ Он воспроизводит крестово-купольную систему в виде вписанного креста, причем западная ветвь креста несколько удлинена.

Другой крестово-купольный храм столицы, датируемый серединой или второй половиной IX в., также в виде вписанного креста — это церковь Христа Акаталепта (?) (Календерджами)⁶, но он несколько больше храма Петра и Марка и сложнее его. В нем яснее выражена центричность и план его «сложного» типа (к восточной ветви креста примыкает вима). Храм имел хоры, с трех сторон его окружала галерея, на что указывают тройные аркады на колоннах, которыми заканчиваются южная и северная ветви креста, соединяющие храм с галереями. К Календерджами композиционно в принципе близок константинопольский храм Феодосия (?) (Гюльджами) с четырьмя массивными устоями, образующими внутри, как в Календерджами, крестообразное пространство с равными ветвями и почти изолированными угловыми частями⁷. Здание это в XI или XII вв. было, по-видимому, основательно перестроено, на что указывает техника кирпичной кладки (с утопленными рядами кирпича) в субструкциях храма, и характер его апсидальной части, обработанной нишами, подобно апсиде церкви Пантократора (Зейрек-джами), возведенной в 1150 г., и южной церкви Фенари-иса 1282—1304 гг. {500}

В качестве промежуточных звеньев можно назвать два крестово-купольных памятника из Причерноморья: один — на островке близ Амастриды в Пафлагонии (на северном побережье Малой Азии), построенный в начале VIII в., и аналогичное здание в Херсоне в Крыму, стоявшее на акрополе города и относящееся, вероятно, к IX в.⁸

⁵ Millingen A. van. *Byzantine Churches in Constantinople*. L., 1912. P. 191—195; Ebersolt J., Thiers A. *Les églises de Constantinople (texte et atlas)*. P., 1913. P. 131—136. Pl. XXX—XXXI; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 208; Брунов Н. И. *Архитектура...* С. 87—90.

⁶ Millingen A. van. *Op. cit.* P. 183—190; Ebersolt J., Thiers A. *Op. cit.* P. 93—100. Pl. XXII—XXVI; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 205—206. Pl. 115, 117; Брунов Н. И. *Архитектура...* С. 90—91.

⁷ Millingen A. van. *Op. cit.* P. 164—178; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 205—206, 351. Note 17.

⁸ Якобсон А. Л. *Раннесредневековый Херсонес//МИА*. 1959. № 63. С. 215 и рис. 109.

У всех перечисленных зданий пространство лишено единства: угловые помещения обособлены и замкнуты, что резко сокращает площадь сооружения. Судя по храму Петра и Марка, сравнительно полнее сохранившемуся, пропорции таких церквей были приземистые, барабан почти отсутствует, что еще больше принижает здание; наружного декора нет; широкие грани апсид не расчленены и монолитны.

Но уже в начале X в. заметны резкие сдвиги, о чем позволяет говорить северный храм в монастыре Константина Липса, построенный в 908 г.⁹ Размеры его немногим больше размеров храма Петра и Марка (мечеть Атик-Мустафа) (длина соответственно 21 и 18 м), но его плановая и пространственная композиция значительно выработаннее и стройнее. Храм относится к «сложному» типу: за короткой восточной ветвью креста следует удлиненная вима, углубляющая восточную часть здания и создающая пространственную перспективу перед входящим в храм (низкая предалтарная преграда не заслоняла эту перспективу). Сравнительно тонкие устои в виде колонн соединены со смежными стенами высоко поднятыми арками; поэтому угловые части здания здесь не изолированы, они объединены с подкупольным объемом в единое пространство. Лишь по сторонам вимы выделены триконхиальные в плане изолированные помещения — жертвенник и дяконник; их второй этаж, выходящий на хоры, служил, вероятно, маленькими молельнями для ктиторов и их ближайшего окружения. Но эти помещения как бы вынесены за пределы основной архитектурной композиции.

Объединенному внутреннему пространству созвучны и вытянутые вверх пропорции здания, ощущение которых усиливают примыкающие к храму пониженный нартекс и вытянутые апсиды с удлиненными окнами. Купол, надо полагать, был поставлен на барабан, также, вероятно, возведенный несколько выше — соответственно пропорциям всего подкупольного объема. Объединенность внутреннего пространства достигла в храме монастыря Липса высокой степени развития.

Стилистически единообразен двухэтажный храм Мирелайон — надгробная церковь императора Романа Лакапина (920—944) (мечеть Будрум), возведенная около 930 г.¹⁰ Верхняя часть здания (собственно храм) поставлена на платформу. Мирелайон несколько меньше храма Липса (длина соответственно 17 и 21 м), но в основном плановая и пространственная композиция того и другого очень близки. Однако Мирелайон не был простым повторением храма Липса: общие пропорции были {501} еще более вытянуты вверх, резче выделены ветви креста, благодаря чему крестово-купольность получила более ясное выражение. Устремленность вверх масс здания (ветвей креста) подчеркнута на фасадах сильно выступающими полуколонками. Мирелайон имел и другие отличия: в нем не было хор и приделов по сторонам апсид и нартекса; устоями в верхней части здания служили не колонны, а столбы; цилиндрические своды ветвей креста и угловых частей заменены крестовыми. Но все это не изменило близости архитектурной концепции обоих храмов: крестово-купольная композиция в византийской столице в первой половине X в. была, как видно, уже вполне выработана.

На этом развитие византийской архитектуры, конечно, не остановилось. Но вся дальнейшая ее история следовала, в сущности, тем же идеям и принципам. Однако формы, в которых они выражались, с течением времени совершенствовались, становились утонченнее и выразительнее. Этот процесс можно проследить по некоторым выдающимся памятникам Константинополя и Фессалоники.

Первый из них — храм Спаса Всевидящего (мечеть Эски-Имарет), построенный во второй половине XI в., но не позднее 1087 г.¹¹ По своей архитектурной композиции он полностью повторяет храм монастыря Липса (хотя длина его всего 17 м). Здесь также имеются хоры, причем более обширные, и световой купол. Они открываются в храм широкой тройной аркой, разделенной тонкими столбиками, и занимают почти всю стену западной ветви креста. Подкупольные столбы здесь опять-таки заменены колоннами, а угловые компартименты перекрыты

⁹ Millingen A. van. Op. cit. P. 122—137; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit. P. 212—214. Pl. XLIX—LII; Krautheimer R. Op. cit. P. 261—263. Pl. 139, 141; Брунов Н. И. Архитектура... С. 92—95; Он же. К вопросу о средневизантийской архитектуре Константинополя // ВВ. 1968. Т. 28. С. 159 и след.

¹⁰ Millingen A. van. Op. cit. P. 196—200; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit. P. 139—146. Pl. XXXII—XXXIII; Krautheimer R. Op. cit. P. 261—263. Pl. 137—138; Брунов В. И. Архитектура... С. 96—97.

¹¹ Millingen A. van. Op. cit. P. 212—219; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit. P. 171—182. Pl. XXXIX—XLI; Krautheimer R. Op. cit. P. 263. Pl. 142; Брунов Н. И. Архитектура... С. 97—102 (автор датирует храм первой половиной XI в.).

крестовыми сводами. Своеобразно устройство на хорах миниатюрных угловых помещений-молелен. Вертикаль в интерьере храма выражена еще сильнее (нижняя часть храма, до верха устоев, составляет меньше трети высоты всего подкупольного объема), как и ажурность стен с их широкими проемами и нишами.

Второй храм был создан во второй половине того же XI столетия — церковь Феодоры (Молла-Гюрани или Килисса-джами)¹². Храм воспроизводит ту же архитектурную композицию, но уже в более развитом виде. Здесь колонны еще тоньше, благодаря чему достигнуто большее пространственное единство и центричность. Тому же способствует легкий и стройный световой барабан с его множеством вертикальных членений. Вытянутые вверх пропорции интерьера здесь почти те же, что и в храме Спаса Всевидящего. К храму с северной и южной сторон, судя по старым чертежам, примыкали галереи, открывавшиеся широким и высоким стройным проемом в самый храм, а с западной стороны соединявшиеся с нартексом.

Монуументальная церковная архитектура византийской столицы в XII в. не содержала принципиальных новшеств. В этом убеждают храмы монастыря Пантократора (Зейрек-джами) — северная его церковь, построенная, возможно, в первой половине XII в. (между 1118 и {502}

Файл byz503g.jpg

*Константинополь. Храм Феодоры
(Молла-гюрани или Килиссе-джами).
Вторая половина XI в. Общий вид.*

1143 г.) и южная, возведенная приблизительно в середине столетия, но не позднее 1180 г. Оба храма — самые большие среди зданий аналогичной композиции. Возможно, обширные размеры северного храма послужили причиной возвращения к устоям в виде столбов, хотя и относительно тонким. В северной церкви вима сравнительно короткая, апсида уплощена, а угловые восточные компартименты уже не изолированы (как в северной церкви монастыря Липса), но соединены широкими проходами с боковыми частями храма. С трех сторон его окружали хоры, с боков примыкали открытые снаружи галереи.

Южная церковь монастыря Пантократора немного больше северной (длины соответственно 26,8 м и 29,8 м). Она отличается менее стройными пропорциями (здание как бы раздалось вширь) и большей расчлененностью слабо выступающей многогранной апсиды с тройным окном. Но хоры здесь более развиты; западная часть их увенчана куполом на высоком барабане. Храм также, вероятно, имел боковые галереи, о чем {503} свидетельствуют выступы нартекса за пределы южной и северной сторон. Храм имел и эксонартекс¹³.

Следует также назвать удлиненную двухкупольную усыпальницу, построенную для себя императором Мануилом Комнином (1143—1180). Ее композиция¹⁴ отличается чертами, промежуточными между архитектурными схемами обоих храмов монастыря Пантократора.

Все рассмотренные здания, создававшиеся на протяжении почти трех столетий, с начала X и до конца XII в., наиболее значительные в византийской столице того времени, составляют в композиционном отношении единую группу. В этих сооружениях крестово-купольная система в ее «сложном» варианте с максимально объединенным внутренним пространством достигла своей зрелости. Четыре ветви креста, примыкающие к средокрестью (подкупольному объему), четко и контрастно выступают в общей композиции здания — как внутри, так и снаружи.

Эта особенность созданной византийскими зодчими архитектурной системы породила и другую отличительную черту всех столичных храмов того времени — их контрастно выраженную центричность, что сказывается в резком, как никогда ранее, повышении и господстве подкупольного пространства относительно всех остальных объемов здания. Красота храма явно ассоциировалась с его высотой, с его устремленностью ввысь, к небесам, ибо символом неба и являлся купол. Этот эстетический принцип проходит красной нитью через всю историю

¹² Millingen A. van. Op. cit. P. 243—251; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit. P. 150—156. Pl. XXXIV—XXXVII; Krautheimer R. Op. cit. P. 263; Брунов Н. И. Архитектура... С. 102—104.

¹³ Аналогичная по планировке, но несколько меньшая по размеру крестово-купольная церковь открыта в ходе раскопок в Изнике (древней Никее). Здание это также имело боковые галереи, фасад его был глубоко расчленен.

¹⁴ Millingen A. van. Op. cit. P. 219—242; Ebersolt J., Thiers A. Op. cit. P. 183—189. Pl. XLII—XLVIII; Krautheimer R. Op. cit. P. 265. Pl. 140, 144; Брунов Н. И. Архитектура... С. 106—109.

византийской архитектуры, но теперь он рельефно выступил не только в интерьере, но и во внешнем оформлении. Новое соотношение объемов храма, в котором доминировал купол на относительно высоком барабане, создавало до некоторой степени уступчатость масс здания, их пирамидальный ритм и определенную градацию. С течением времени эти новые качества архитектуры проявлялись все более отчетливо.

Их выражению способствовали преобладание на фасадах зданий вертикальных членений, удлиненность окон, нередко тройных, разделенных тонкими столбиками, и тройные арки проемов внутри храмов с такими же столбиками. Той же цели служило и умножение граней барабана купола и апсид; грани становятся узкими и соответственно вытянутыми. Эта особенность нарастала и усиливалась. Таковы были основные черты нового архитектурного стиля.

В прямой зависимости от основных принципов собственно архитектурной композиции находятся и те изменения, которые претерпело понимание архитектурной плоскости — фасадов здания, которые формировали облик произведения зодчества. Суть этих изменений сводится к выработке системы каркаса здания в виде столбов, при которой стены лишь заполняют промежутки между устоями. Следствием этого явились перемены двоякого рода — конструктивные и художественные. С одной стороны, усилилась роль основных устоев каркаса, выступающих на фасадах в виде лопаток или даже полуколоннок (в Мирелайоне), с другой — {504} утоньшились стены, соединяющие столбы-устои. С течением времени эти изменения неизбежно прогрессировали: количество оконных проемов стремились умножить, их расширили и стали делать тройными, вернее, трехчастными, что, возможно, не лишено было символического значения. Стены благодаря этому приобретали ажурность. Вместе с тем профиль устоев и обрамление проемов (оконных и входных) все более усложнялись, они стали уступчатыми; стены как бы отодвинулись на второй план; создавалось впечатление перспективы, которая сводила на нет цельность и монолитность фасадов, усиливала их светотеневые контрасты. Это было одним из наиболее ярких проявлений новой мысли в византийском зодчестве, нового архитектурного стиля, развивавшегося на протяжении всего средневизантийского времени, начиная с X в.

Рассмотренные памятники Константинополя ясно показывают направление этого процесса. В раннем средневековье, до VIII в., еще господствовал монолитный сплошной фасад, прорезанный лишь немногими окнами и только в некоторых зданиях слабо расчлененный. Он словно скрывал внутреннюю, нередко очень сложную структуру; богатейший интерьер резко контрастировал с глухим и аскетичным наружным обликом здания.

Эту традицию продолжала и крестово-купольная архитектура VIII—IX вв., как показывают столичные храмы, — Феодосия (Гюль-джами?) конца VIII — середины IX в., Христа Акаталепта (Календер-джами), Петра и Марка (Аттик-Мустафа-джами) и храм св. Софии в Фессалонике первой половины VIII в. И только в конце IX или начале X в. новая архитектурная композиция повлекла за собой и новую трактовку фасада.

Уже в храме Липса монолитность восточного фасада нарушена: все три грани средней апсиды на большую часть ее высоты и почти на всю ее ширину занимает тройное окно, разделенное сравнительно тонкими столбиками. Ощущение сплошного фасада исчезает, он словно облегчен и становится ажурным. Южный фасад храма, судя по его верхней части (нижняя закрыта более поздним южным храмом), также утратил монолитность благодаря глубоким полукруглым нишам, чередующимся с широкими и удлиненными окнами. Нижняя часть южной стороны храма имела те же проемы, но более чем вдвое увеличенных вверх пропорций. Однако эта сторона здания не была, вероятно, внешним фасадом храма, а выходила в южную его галерею. То же относится и к северной стороне с теми же членениями и проемами и также с некогда существовавшей галереей.

Таким образом, галереи в храме Липса были отделены от наоса стенами, которые, однако, можно назвать так лишь условно, ибо они состояли из сплошных вытянутых проемов (аркад и окон), почти не оставляющих места для архитектурной плоскости. Зодчие явно избегали ее, стремясь слить пространство самого храма с его окружением. Эти ажурные стены в храме Липса принадлежали еще интерьеру. Но вскоре их как бы перенесли наружу. Они стали архитектурным фасадом.

В этом отношении показательна надгробная церковь Романа Лакапина — Мирелайон. Все три ее фасада резко и контрастно членятся сильно выступающими полуколоннами, соот-

ветственно внутренней структуре здания (а на барабане им вторят треугольные выступы между окнами). Полуколонны дают глубокую светотень и как бы отодвигают стену {505} вглубь, на задний план. Но и сами стены между полуколоннами прорезаны столь многочисленными широкими проемами, что архитектурная плоскость как бы растворилась и утратила свою монолитность. Характерно и распределение этих проемов, образующих пирамидальную композицию, завершенную куполом на ажурном барабане.

Труднее судить о фасадах храма Спаса Всевидящего (Эски-Имарет-джами), сильно искаженных. И здесь они сильно расчленены, но не полуколоннами, а сильно выступающими трехступчатыми в плане лопатками. Среднее звено фасадов занято, как и в храме Липса, тройной вытянутой аркадой и сплошь заполнено проемами.

В зодчестве другого крупного византийского центра — Фессалоники — наблюдается тот же процесс развития, что и в Константинополе. В сущности архитектура обоих городов — это одна архитектура, хотя в Фессалонике меньше памятников. Здесь представлены как бы начальный и конечный этапы развития крестово-купольной системы. Раннему этапу принадлежит храм Давида (Кераментим-джами) в виде вписанного «простого» варианта¹⁵. А зрелый этап представлен выдающимся произведением византийского зодчества XI в. — храмом Панагии Халкеон (Казанджиляр-джами), освященном в 1028 г.¹⁶ По своей композиции — плановой и пространственной — здание очень близко столичным храмам X—XII вв. и также воспроизводит «сложный» вариант крестово-купольной системы с четырьмя устоями в виде колонн. Все сооружение членится на два почти равных по высоте яруса, разделенных карнизом, соответствующим карнизу внутри здания. Как и в Константинополе, угловые части перекрыты крестовыми сводами, а ветви креста, обращенные к подкупольному объему, — полуциркульными. Центральный купол поставлен на высокий восьмигранный барабан с двумя ярусами окон. Церковь имеет три апсиды, из них средняя — трехгранная, боковые — полукруглые. Над нартексом устроены хоры, освещенные двумя куполами на восьмигранных световых барабанах, поставленных над северным и южным концами нартекса. В Константинополе до XIV в. хоры освещались проемами только одного купола. Храм Панагии Халкеон имеет и более существенные отличительные особенности. Таково соотношение подкупольного пространства и прилегающих к нему объемов: купол с его высоким барабаном составляет целую треть всей высоты здания. Таких пропорций мы не знаем даже в архитектуре Константинополя того времени. Ярко выраженная устремленность ввысь центрального объема отчетливо выступает и снаружи, что подчеркивают острые фронтоны северной и южной ветвей здания. Тенденция к усилению вертикали в фессалоникском храме выражена сильнее, чем в столичных церквях.

Другая, не менее примечательная особенность Панагии Халкеон — пластичность и богатство всех его фасадов, причем выступающая в более развитом виде, чем в византийской столичной архитектуре того времени. Эту пластичность создает глубокая расчлененность фасадов сильно вы- {506} ступающими уступчатыми в профиле лопатками, которые делят стены

Файл byz507g.jpg

Фессалоники. Храм Панагии Халкеон.

Освящен в 1028 г.

Общий вид с южной стороны.

соответственно внутренней структуре храма на четыре звена (три части крестово-купольного храма и нартекс). Особенно глубоко и энергично расчленен второй ярус храма с его вертикально ориентированными массами (нижний ярус выглядит как массивное основание здания). В западной части здания вертикальные членения дополнены полуколонками, как в столичном Мирелайоне. Стена во всех ее звеньях была трактована как заполнение основного каркаса сооружения. Но и само это заполнение было не менее глубоко расчленено также трехступчатыми в профиле «перспективными» обрамлениями окон, усложняя фасады целым каскадом тяг. Они повторены и на барабанах — центральном, двухъярусном и одноярусных боковых.

¹⁵ *Комеч А. И.* Указ. соч. С. 593.

¹⁶ *Кондаков Н. П.* Македония: Археологическое путешествие. СПб., 1909. С. 112—115; *Diehl Ch., Le Tourneau M., Saladin H.* Les monuments chrétiens de Salonique (teste et atlas). P., 1918. P. 153—163. Pl. L—LIII; *Брунов Н. И.* Архитектура... С. 138; *Ευ;’αγγελίδης Δ. Ε.* ‘Η παναγία τω;ν Χαλκεω;ν. Θεσσαλονίκη, 1954. Храм реставрирован в 1934 г.

Это был второй план членений. Двухплановость членений храма Панагии, обрамляющих и тем самым выделяющих множество глубоко вдающихся в толщу стены проемов,— не только обогащает наружные формы здания, но как бы объединяет его интерьер с внешним миром. Прежние замкнутость и отрешенность храма отходили {507} в прошлое. Если в храме Липса интерьер был слит с галереями, то теперь эту связь и слитность стремились выразить и на фасадах. Храм теперь следовало созерцать не только внутри, но и снаружи. Разработка фасадов церкви Панагии Халкеон была созвучна всей его архитектурной идее. Это был, несомненно, большой шаг вперед в самом понимании архитектуры и в развитии византийского зодчества.

Это, конечно, не столько прием кладки; здесь сказались и желание зодчих использовать контрастное по цвету чередование слоев темно-красного кирпича и светлого желтоватого камня с целью достичь определенного декоративного эффекта. Строчки того и другого здесь также выделены толстым слоем раствора. Но в храме Феодоры, кроме того, применен новый вариант кирпичной кладки — с «утопленным» рядом кирпичей, при которой каждый второй ряд положен, несколько отступая от поверхности стены, вследствие чего он не выступает наружу и прикрыт раствором. На стене благодаря этому резко увеличиваются интервалы между рядами кирпича и образуются широкие более светлые полосы раствора. Появление такого приема, вероятно, порождено стремлением создать живописный эффект.

Таким образом, уже в XI в. ясно наметилось декоративное использование кладки. В дальнейшем эта тенденция усилилась. Применение цвета в византийской архитектуре сказались и в узорчатой кладке, становившейся все более популярной. Узор из кирпича возник в византийской архитектуре уже в X в.: известны декоративные круги из радиально положенных кирпичей на боковых апсидах северного храма монастыря Липса. Позднее кирпичная орнаментика усложнилась: на фасадах храма Спаса Всевидящего (Эски-Имарет), второй половины XI в., помимо таких же кругов, из кирпича выложены орнаментальные фризы в виде меандра и свастики, а в нишах — зигзаги; кроме того использована инкрустация мрамора.

В южном храме монастыря Пантократора ниши также выложены кирпичными зигзагами. Используются здесь и ряды поребрика (выступающие углом кирпичи), венчающие фасады. Аналогичные кирпичные узоры (круг с крестом, зигзаги в нише) известны в то время и в светской архитектуре Константинополя. В средневизантийское время начал приобретать определенное значение архитектурный декор, к которому прежде всего следует отнести вполне выработанные, широко применявшиеся и архитектурно оправданные многоуступчатые (в профиле) тяги, подчеркивающие основные линии — преимущественно вертикальные членения — и закомары, завершающие фасады. Такие тяги обрамляют аркады и окна, четко и резко выделяя их на фасадах. Весьма распространенными стали различные полуколонки и декоративные столбики, нередко украшенные резьбой, делившие оконные проемы.

Но появились и новые декоративные средства, значение которых все более возрастало: речь идет об использовании цвета и кирпичного узорочья, являющегося по своей природе одной из форм цветного декора. Цветной декор выражался прежде всего в использовании цветных эффектов самой кладки. Византийская архитектура IX—X вв. следовала еще кладке ранневизантийской, сочетавшей ряды кирпича и ряды небольших каменных квадров (лишь арки и своды возводились целиком из кирпича). Но такая кладка постепенно вырождалась: камень в ней мельчал, {508} число рядов кирпича было нерегулярным, как, например, в храме Христа Акаталепта (Календер-джами) середины IX в. При сооружении монастыря Липса 908 г. кирпич, по-видимому, преобладал, хотя включены были и блоки не крупного камня. Здесь, как и раньше, тонкие кирпичи-плинфы положены на более толстом, чем сам кирпич, слое раствора. А храм Мирелайон (Будрум-джами), вернее его надземная часть, возведен целиком из кирпича, но это было скорее исключение.

В постройках последующего времени (храм Феодоры второй половины XI в. и храм Пантократора XII в.) кирпич также доминирует, но через каждые несколько рядов кирпичей проложен только один ряд камня. В XII же столетии кирпичное узорочье получает широкое распространение в Греции, в южнославянских странах (Болгарии, Сербии); в это же время кирпичная орнаментика появляется и в зодчестве Киевской Руси.

Новый стиль в архитектуре к началу XIII в. выступает в уже сложившемся виде, а его дальнейшие судьбы связаны с возрождением Византии после падения латинского владычества. Необходимо, однако, подчеркнуть, что значение нового архитектурного стиля заключается и в

том, что он был свойствен не только самой Византии. Аналогичный по существу своему процесс наблюдается и в зодчестве других стран, как соседних с Византией, так и отдаленных. В этом проявилась общность художественных и технологических приемов в средневековой архитектуре.

Необходимо сначала рассмотреть зодчество Греции — византийской провинции. В средневизантийскую эпоху оно развивалось в том же направлении, что и в столице империи, но чем дальше, тем специфические и своеобразные качества его сказывались все сильнее и определеннее. Вместе с тем зодчество Греции того времени отнюдь не было однородным. Напротив, многочисленные памятники рисуют картину сложную и нередко противоречивую. Архитектуру Греции той эпохи отличает и еще одна черта — огромная сила традиции, благодаря которой старые, чуть ли не раннесредневековые формы, вновь возрожденные, удерживаются в течение многих столетий.

Для раннего этапа характерна церковь Успения и Скрипу (в Беотии) 873—874 гг.¹⁷, крестово-купольная в основе, но с ясно выраженной базиликальной протяженностью, подчеркнутой продольными стенами, членящими здание на три нефа. Вместе с тем в плановой и пространственной композиции четко выделен крестообразный массив, сильно возвышающийся над угловыми частями здания и напоминающий трансепт раннесредневековых базилик. Таким образом, в здании как бы сочетаются две различные композиционные темы, хотя крестово-купольная система доминирует. Фасады почти полностью лишены членений, они монолитны, что также отражает еще раннесредневековую традицию.

Хронологически последующая архитектура Греции дает уже развитую композицию крестово-купольного здания «сложного» варианта с устоями в виде колонн, крестовыми сводами в углах, одним куполом и тремя {509} трехгранными апсидами, т. е. композицию, вполне выработанную в столичной архитектуре к началу X в. На почве Греции эта композиция представлена рядом памятников, начиная с северного храма в монастыре Луки в Фокиде, построенного, вероятно, во второй половине X в.¹⁸

Формы здания явно следуют архитектурной концепции, господствовавшей в столице в X—XI вв. Благодаря тонким подкупольным колоннам и здесь ясно ощущаются пространственное единство и слитность интерьера. Но крестово-купольность наружных масс еще не столь подчеркнута, как позднее, фасады еще массивны и лишены многочисленных проемов, однако формы двойных и тройных вытянутых окон более развиты, чем в храме Липса. Наиболее же существенная особенность северного храма монастыря Луки — это отсутствие галереи-обхода, типичной для столичной архитектуры, что, возможно, объясняется некоторой упрощенностью богослужения в Греции. Эта особенность сохранялась и во всей последующей греческой монументальной архитектуре.

Северной церкви монастыря Луки близки и некоторые другие храмы Греции XI—XII вв., представляющие собой столь же развитые образцы крестово-купольной системы в ее «сложном» варианте и также без галерей-обходов. Таковы храм в монастыре Петраки в Афинах еще X в. и церковь XI в. в монастыре Касариани в Аттике, формы которой выступают в уже вполне сложившемся виде. Эту композицию без существенных изменений повторяют и другие сооружения XI в. — в монастыре Астериу в Аттике, два храма в Афинах (Екатерины и Капникареа) и другие. Три совершенно аналогичные церкви XII в., одинаковые и по размеру (8,5×16 м) находятся в Арголиде — в Хонике, в Мербака и в монастыре в Арейя (Навплий)¹⁹. Все они отмечены общими чертами — слабо расчлененными массами (ветви креста снаружи почти не выступают), триконхальной восточной частью, восьмигранным низким барабаном.

Архитектурное решение всех этих крестово-купольных храмов «сложного» типа, выработанное в Константинополе, было перенесено в Грецию в готовом виде и лишь несколько упрощено, что сказалось в отсечении галерей-обходов и в плоскости фасадов. Зато на основе той

¹⁷ Шмут Ф. И. Что такое византийское искусство // Вестник Европы. 1912. Октябрь, С. 55; Millet G. L'école grecque dans l'architecture byzantine. P., 1916. P. 84—85, 89, 92, 180, 223; Krautheimer R. Op. cit. P. 223—224. Pl. 123, 125; Брунов Н. И. Архитектура... С. 125—126.

¹⁸ Schultz R. W., Barnsley S. H. The Monastery of S. Luke of Stiris in Phocis. L., 1901. P. 20—26, 36—38; Millet G. L'école grecque... P. 106—118; Krautheimer R. Op. cit. P. 247, Pl. 152, 153, 157; Брунов Н. И. Архитектура... С. 128.

¹⁹ Struck A. Vier byzantinische Kirchen der Argolis // Athenische Mitteilungen 1909. Bd. 34. S. 196; Millet G. L'école grecque... P. 168, 272, 142, 143, 257.

же архитектурной системы уже в XI столетии в Греции были созданы совершенно новые очень своеобразные композиции. Они выступают перед нами во вполне законченном виде, причем присущи только зодчеству Греции. Речь идет о большой группе монументальных храмов с обширным куполом, охватившим весь наос. Купол покоится на восьмиграннике и опирается соответственно на восемь устоев; переходом к барабану служат тромпы²⁰. Новая композиция представлена двумя выдающимися творениями зодчих Греции XI в. — в монастырях Луки (в Фокиде) и Дафни (близ Афин). {510}

Файл byz511g.jpg

Греция (Фокида). Монастырь Луки. Южный храм, сер. XI в. Южный фасад.

Первое из них — католикон монастыря Луки²¹ — возведен не позднее середины XI в. К центральному пространству, перекрытому куполом, на невысоком светлом барабане, обращены три глубокие апсиды, с западной стороны — галерея с крестовыми сводами, над ними — хоры, с трех сторон окружающие наос. К галерее примыкает нартекс. Тромпы очень широки — они равновелики с арками ветвей креста, что придает равновесие и гармоничность интерьеру. Основное качество его — объединенность внутреннего пространства и ярко выраженная центричность его. Мощные пилоны, на которых покоятся барабан и купол, на высоте хор переходят в стены, тем самым умножая грани интерьера. Широкие и высокие тройные аркады, поддерживающие хоры и повторенные вверху (на самых хорах), как и двойные аркады перед боковыми восточными помещениями и аркады восточного окна — все эти членения создают поток вертикальных тяг, усиливающих ощущение вертикали всей композиции здания, устремленности его ввысь. Это то самое знаменательное идейно-художественное явление, которое мы наблюдали в Константинополе, и именно в то же самое время, хотя и выраженное в других архитектурных формах (октогональная композиция интерьера, характерная для католикона Луки, там не встречается), отнюдь не заимствованных в византийской столице.

По ясности и выразительности композиции, по новизне архитектурной концепции и по совершенству ее претворения католикон монастыря Луки следует расценить как новое и выдающееся явление в средневековой архитектуре. Неудивительно, что этот тип церковного здания с теми или иными вариантами, в том или ином масштабе воспроизводили вплоть до самого конца XIII столетия. Таковы упомянутый католикон монастыря Дафни конца XI в., повторяющий в упрощенном виде католикон Луки и лишенный хор, церкви Панагии Ликодиму в Афинах (середины XI в., с хорами), в Христиану (в Мессении, на Пелопоннесе)²². Уменьшенные варианты той же композиции мы встречаем в двухэтажной церкви-усыпальнице Николая близ оз. Копаис (в Беотии) (середины XII в.) и некоторые церкви XIII в. (Софии в Монемиасии и Феодоры в Мистре, последняя еще более упрощенная).

Зато на островах Хиос и Крит современники зодчих монастырей Луки и Дафни в том же XI в. создали не только упрощенный, но вполне оригинальный и художественно законченный вариант этих прославленных архитектурных произведений. Отметим особо небольшую церковь Нового монастыря (Неа Мони) на о-ве Хиос, построенную по велению императора Константина IX Мономаха²³. Относительно широкий купол, перекрывающий весь наос, также покоится на восьми устоях, но они включены в стены храма, выступая наружу в виде двухступенчатых лопаток, глубоко расчленяющих фасады. Интерьер храма — двухъярусный: внизу — неглубокие ниши, вверху — восемь конх, причем угловые выполняют роль тромпов. С запад-

²⁰ Millet G. *L'école grecque...* P. 105—118; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 243—245, 275—278; Брунов Н. И. *Архитектура...* С. 128—132.

²¹ Schultz R. W., Barnsley S. H. *Op. cit.* P. 17—20, 23—33; Wulff O. K. *Das Katholikon von Hosios Lukas und verwandte byzantinische Kirchenbauten.* В., 1905; Kreidl-Papadopoulou K. *Hosios Lukas/Reallexicon für byzantinische Kunst.* 1978. Bd. 3. Col. 270 f.

²² О Дафни см.: Millet G. *Le monastère de Daphni.* P., 1899. P. 183; Millet G. *L'école grecque...* s. v.; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 243—244, 278, 294, Pl. 155, 158, 160; Alpago-Novello A. *Grecia bizantina.* Milano, 1969. P. 58—60; О Панагии Ликодиму см.: Millet G. *L'école grecque...* s. v. Fig. 7, 211; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 287, 349, 353; Alpago-Novello A. *Op. cit.* P. 29, 53, 59, 61. О церкви в Христиану см.: Millet G. *L'école grecque...* P. 109—111; Брунов Н. И. *Архитектура...* С. 133.

²³ Millet G. *L'école grecque...* P. 114—115; Orlandos A. *Monuments byzantins de Chios.* Athens, 1930. T. 2. P. 9—15; Krautheimer R. *Op. cit.* P. 243, 264. Pl. 143; Брунов Н. И. *Архитектура...* С. 136; Alpago-Novello A. *Op. cit.* P. 29, 54, 55.

ной стороны к храму примыкает нартекс и экзонартекс, фланкируемый с коротких сторон экседрами. В архитектуре этого небольшого здания ясно проявились основные черты нового стиля — центричность с его подчеркнутой вертикалью и глубоко расчлененными фасадами. Это тот же этап архитектурного развития, который уже имелся в Константинополе, но выраженный здесь в иных формах. Действительно, прямых, хотя бы приблизительных аналогий композиции церкви Неа Мони в тогдашнем Константинополе мы не находим. Зато родственную композицию — с таким же широким куполом на тропях и с аналогичными экседрами в нижнем ярусе можно найти в Болгарии: церковь в Винице близ Преславы, относящаяся, вероятно, к XI в.

Интенсивное развитие нового архитектурного стиля в Греции сопровождалось образованием нескольких локальных школ. К одной из них относились храмы многих греческих островов. Другая, не менее своеобразная, традиция возникла на Афоне, в монастырской среде. Речь идет о {512} специфической композиции, исходящей, как и архитектура католикона Лу-

Файл byz513g.jpg

Византийские каменные рельефы X—XII вв.

1—2 — мраморные плиты от алтарных преград (Афины, Византийский музей);

3—4 — рельефы западного фасафа Малой Митрополии в Афинах {513}

Файл byz514g.jpg

1 — плита с инкрустированной фигурой утки, происходящая из Фенари-Исса (Стамбул, Археологический музей);

2 — фрагмент скульптуры с крылом павлина из Фенари-Исса (Стамбул, Археологический музей);

3 — фрагмент алтарной преграды из Севастии во Фригии;

4 — рельеф с изображением сенмурва (Стамбул, Археологический музей) (файл byz515g.jpg).

Архитектурный декор византийских церквей X—XI вв.

ки, из принципов крестово-купольной системы. Зодчие создали здесь монастырские храмы с широким подкупольным объемом, к которому с боковых (северной и южной) сторон примыкают полукружия, завершенные конхами; благодаря им афонские храмы приобретают триконхальную форму, составляющую их особенность. Эти боковые апсиды служили не столько дополнительным помещением для монахов, сколько для размещения хора (их так в XI в. и называли *χοροί*, а в аналогичных болгарских храмах — певницами).

Первый из афонских монастырей возник в 962 г., но наиболее древний сохранившийся здесь храм построен в первые годы XI в.²⁴ По пла-{514}нировке католикон довольно архаичен: он представляет собой крестово-купольное здание в виде вписанного креста «простого»

Файл byz515g.jpg

типа с расширенным подкупольным пространством, с большими полукружиями для хора и обширным экзонартексом. Купол на относительно высоком барабане значительно возвышался над всем комплексом, утверждая центричность храма, являющуюся основным его свойством. Более развита архитектура комплекса Ивирского монастыря (XI—XII вв.), католикон которого воспроизводит уже «сложный» вариант. Аналогичная картина в монастыре Ватопеда (начало XI в.) и Хиландарском монастыре (1293 г.). Таким образом, и в локальной архитектуре Афона ясно прослеживается движение, подчиненное общему прогрессу архитектурной мысли — от еще архаичного католикона Великой Лавры до католикона Хиландара, пронизанного новым художественным пониманием архитектуры.

Конечно, формирование нового стиля в зодчестве Греции было сложным и противоречивым процессом; на пути его стояли давние строительные традиции и более скромные мате-

²⁴ Об афонских монастырях см.: *Кондаков Н. П.* Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902; *Alprago-Novello A.* Op. cit. P. 86—103. О католиконе Великой Лавры см.: *Millet G.* L'école grecque... P. 128—130; *Krautheimer R.* Op. cit. P. 250, 272. Pl. 149; *Брунов Н. И.* Архитектура... С. 137—138; *Alprago-Novello A.* Op. cit. P. 100—103.

риальные возможности ктиторов — сельских и городских общин, возводивших храмы. В этом убеждает наиболее массовый материал — многочисленные церкви, строившиеся начиная с конца IX в., но преимущественно в XI и последующих столетиях. Они представляют собой упрощенные крестово-купольные церкви «простого» варианта (без вимы) со столбами или, чаще, с колоннами в качестве устоев, с тремя (иногда — с одной) трехгранными апсидами (в более ранних церквях — полукруглыми) с двойными и тройными окнами. В более ранних церквях восточная и западная пара устоев соединена с междуалтарными и западными стенами, придавая внутренней структуре базиликальность и тем самым архаичность: в других церквях только восточные устои соединены с междуалтарными стенами; в более позднее время (с XII в.) все четыре устоя делались изолированными, что вело к объединению внутреннего пространства.

Небольшие общинные церкви (особенно второго и третьего вариантов), рассчитанные на ограниченный контингент прихожан, в своей архитектуре неотступно следовали сложившемуся типу, который держался веками без изменений. Традиционность этих многочисленных церквей нередко порождала упрощенность их облика. Ктитору большинства подобных рядовых построек не были в состоянии оплатить создание изысканных форм, которые вырабатывали выдающиеся мастера в придворных храмах и дворцах, в богатых монастырях и во владениях богатых ктиторов. В силу экономического неравенства архитектура общинных построек и скромных провинциальных церквей оставалась по большей части отсталой. Архитектурные характеристики этих храмов резко противоречат тем художественным явлениям, которые воплощены в рассмотренных выше лучших произведениях греческого зодчества. Но это было противоречием самой жизни. {515}

Файл byz516g.jpg

*Монреале. Кафедральный собор. 1180—1194.
Монастырский дворик.*

Интенсивное развитие нового архитектурного стиля в Греции, ясно прослеживаемое начиная с X в., не было, как говорилось, повторением того, что создавалось в Константинополе. Ведущие формы возникли там и здесь независимо, хотя тенденции и идейные устремления зодчих были тождественны. Это, конечно, не мешало заимствованию отдельных форм из столицы, что было вполне естественно для Греции, являвшейся ближайшей провинцией Византии. Важнее отметить черты различия в архитектуре столицы и Греции. В этом отношении показательна трактовка фасада здания.

В Греции архитектурной плоскости придавали большее значение, чем в столице. Особенно отчетливо это ощущается в постройках X—XII вв., хотя и не всегда ощущается достаточно резко. Так, католикон монастыря Луки сильно отличается от стоящего рядом северного храма, в облике которого господствует гладь стены, стены же католикона прорезаны множеством двойных окон, а на южном его фасаде среднее звено и торец нартекса освещались широким тройным окном, разделенным тонкими колонками. Фасады обоих храмов столь же контрастно различаются, как и их пространственная композиция.

И все же стремление к ажурности фасада, столь ясное в столичной архитектуре, в Греции было значительно сдержаннее, да и расчлененность его сказывалась в меньшей степени. В этом убеждает серия памятников октогональной композиции, начиная с храма Дафни, у которого более явно выражена архитектурная плоскость. Сравнение этого {516} здания со

Файл byz517g.jpg

*Монреале. Кафедральный собор, 1180—1194.
Фонтан в монастырском дворике, окруженном колоннадой.
{517}*

столичным храмом Липса ясно указывает на значительное расхождение между зодчими столицы и Греции в самом понимании архитектурного фасада. Зодчие храмов Панагии Ликодиму в Афринах (середина XI в.), Николая в Беотии (середина XII в.). Спасителя в Амфисе (в Фокиде, XII в.)²⁵ акцентировали лишь средние звенья южного и среднего фасадов. На остальной плос-

²⁵ *Wulff O.* Op. cit. S. 13. Abb. 10; *Millet G.* École grecque... P. 211; *Struck A.* Op. cit. S. 227; BCH. 1961. T. 85. P. 750—751.

кости фасадов лишь редко расставлены двойные окна. Скромны фасады и других храмов XI в., у которых также выделено лишь среднее звено.

Архитектура Греции XII в., таким образом, не внесла в этом отношении чего-либо нового. По-прежнему гладь стены доминировала на фасадах, разработка которых оставалась довольно лаконичной. Характерные образцы дают памятники Арголиды, Беотии, Элиды, Аттики²⁶. В стремлении сохранить архитектурную плоскость и в отказе от глубокого расчленения фасадов можно усмотреть силу традиции и известную архаичность. Но, так или иначе, то были явления, свойственные именно зодчеству Греции X—XII вв., рельефно отличающие его от одновременной столичной византийской архитектуры.

Наконец, фасад в монументальной архитектуре Греции отличает еще одна черта, свойственная, правда, и архитектуре Константинополя, но получившая у эллинских зодчих неизмеримо большую популярность и значение — кирпичное узорочье. Оно с лихвой восполнило и относительно слабую расчлененность фасадов и связанное с этим некоторое однообразие архитектурной плоскости. Благодаря узорочью фасады заиграли новыми красками и стали в полном смысле слова живописными. Цветной орнамент в качестве важного, нередко и основного элемента наружного декора стал новым аспектом архитектурного стиля. Кирпичное узорочье достигло в Греции в XI—XII вв. высокой степени разнообразия, изощренности и виртуозности.

Выразительным художественным средством стала кладка здания с декоративным чередованием тонких рядов светлого камня и контрастно сочетающихся с ними рядов кирпича. Тогда же появляются и поребрики, разделяющие ряды кладки, и «перегородчатая» кладка (каждый камень со всех сторон обрамлен кирпичами, что придает кладке декоративную четкость). Затем кирпичный узор кладки усложнили, появился собственно кирпичный узор — плоскостный, но красочный. В него одно время (в XI в.) включали и куфический орнамент (на кирпичях католикона монастыря Луки). Таким образом, на протяжении X—XII вв. прослеживается несомненное усиление живописности фасадов средствами одной лишь кладки.

Еще больше этому способствовало кирпичное узорочье, которое вплетали в кладку, органически сливая с ней. Уже XII столетие дает очень развитые формы такого узорочья.

На первых порах оно заключалось в вырезании орнамента на кирпичах, которые вставляли между блоками камня. Примеры подобного рода дают католикон Луки, храмы Апостолов и Панагии Ликодиму в Афинах и некоторые церкви XII в.: в Хоника, Амфисе, Мербака. Но такая орнаментика была слишком мелка, а потому не могла надолго удержаться. Поэтому в XI и особенно в XII столетиях получил всеобщее распространение другой принцип кирпичного узорочья — орнамент стали выкладывать из самих кирпичей, что давало большой декоративный эффект. Это было еще одним новым и ярким проявлением вполне сложившегося живописного архитектурного стиля. Наиболее ранние образцы такого декора в виде кирпичных наличников в храмах XI в. еще просты (в Панагии, Капникареа и Феодора в Афинах); аналогичны и наличники XII в. (например в Арголиде).

Но наряду с такими кирпичными наличниками появляется и более сложный кирпичный узор в виде фриза, состоящего из П-образного орнамента. Впервые он встречается в конце XI в. в Дафни, а в XII в. он становится весьма популярным. На первых порах и эти орнаментальные фризы были еще очень скромны. Но уже в XII в. наблюдаются и широкие фризы кирпичного узорочья; они нередко следовали один за другим, заполняя фасады сплошным ярко-красным узором на белом фоне раствора. Это был вполне выработанный и законченный прием живописной разработки архитектурной плоскости, обязанный своим происхождением, несомненно, орнаментике народного искусства, перенесенной из интерьера и переведенный с языка вышивки на язык выкладки из кирпича. Прием этот существенно отличается от системы глубокого расчленения фасадов в аристократической архитектуре византийской столицы и ее периферии. Но сокровенный смысл разработки фасадов посредством полихромного кирпичного узорочья был тот же, что и там: этот прием декора преодолевал однородность архитектурной плоскости и порождал своего рода пластичность фасада.

Другим примером полихромного декора в архитектуре Греции было включение в фасад ярких фризов из глазурованных плиток и даже глазурованных (поливных) блюд и рельефных

²⁶ *Siruck A.* Op. cit. Taf. VI—IX: *Megaw A. N. S.* The Chronology of some Middle-Byzantine Churches // BSA. 1931—1932. Vol. 32. Pl. 28 (3, 4), 29.

крестов. Образцы такого декора дают памятники XII в.— церкви в Беотии (Лукизия), в Элиде (Гастуни), а Арголиде (Мербака).

Все рассмотренные аспекты нового архитектурного стиля Греции — и собственно композиция, и разработка фасадов, и декор — отмечены чертами вполне самобытными. Но все они следовали тем же художественным концепциям, принципам и тенденциям, что и столичная школа. В этом заключается их общность, в которой, несмотря на различия форм, проявилась закономерность развития средневекового монументального искусства.

Такова византийская архитектура в столице и тяготевавших к ней областях империи, как и в Греции и примыкающих к ней районах. Однако византийское зодчество проявило себя не только в этих обширных областях; оно оказало несомненное воздействие на складывание архитектуры молодых южнославянских государств — Болгарии и Сербии, как и Древней Руси, а с другой стороны, как известно, на формирование западноевропейского романского зодчества. Но эта большая тема выходит за рамки данного очерка. {519}

16

Прикладное искусство

Второй «золотой век» византийского искусства при императорах Македонской и Комниновской династий ознаменован развитием его «малых форм», которые принято называть прикладными: ювелирного дела, резьбы по кости и камню, стеклоделия, керамического ремесла и производства тканей. По числу памятников, их техническому и художественному совершенству этот период не имеет себе равных.

Произведения прикладного искусства — самостоятельный и полноценный источник, помогающий воссоздать стиль жизни византийского общества, ориентацию его культуры и принятую им иерархию ценностей. Малые формы искусства так же, как книжную миниатюру, в Византии не противопоставляли «высокому» искусству — архитектуре, монументальной живописи, скульптуре. Их объединяла общность сюжетов, композиционных принципов, эстетических критериев — возникала взаимозависимость разных видов искусств. Формы, родившиеся в одном виде искусства, легко становились достоянием другого, ибо все художественное творчество как отражение духовного мира средневекового человека пронизывала единая религиозно-философская мысль. Органичный синтез зодчества, живописи, прикладного искусства был направлен на создание эффекта ирреальности, сверхъестественности, чудом сотворенного «неба на земле», будь то во храме как «доме божьем» или во дворце императора — живого заместителя Христа. Задачей искусства считали духовное преображение человека на пути к «абсолютной вечной красоте» — божественной Идее. Великолепие внутреннего убранства, даря эстетическое наслаждение, служило ритуальным целям: верующий оказывался в возвышенной атмосфере духовности, отрекаясь от всего преходящего, земного и устремляясь к небесной благодати как «высшей реальности».

Структура византийского мировоззрения определяла сложность восприятия самих произведений прикладного искусства. Если, по воззрениям эпохи, все сотворенное богом прекрасно, то доказательством божественности вещи являлась ее красота. Отсюда стремление к высокому художественному уровню ремесленных изделий. Так возникал шедевр как доведенное до высшей степени артистизма ремесло.

Поскольку образы искусства византийцы рассматривали как материализованные чувственные отражения духовных архетипов, то и сами вещи наделяли «истинным» тайным смыслом. Наряду с практически-прикладной функцией они выполняли функцию знаковую, символическую. Многозначные толкования распространялись как на культовую утварь, так и {520} на предметы светского церемониального обихода, например императорские регалии. Так, блюдо-дискос с частицами просфоры на нем в первой части литургии выступало образом небесной и земной церкви. Одновременно оно изображало «вифлеемский вертеп». При «великом входе» дискос, стоящий на голове дьякона, означал распятого Христа, а снятие дискаса с головы символизировало снятие с креста тела Иисуса.

Церковная утварь, облачения священнослужителей играли важную знаковую роль в ходе литургического действия как синтеза искусств, где все становилось средством «богопознания»: на молящихся как бы нисходила божественная энергия. Согласно популярной теории Псевдо-Дионисия Ареопагита, каждый предмет как бесконечно значительный символ выполнял три функции: выявлял в материальных вещах спиритуалистические сущности; возводил к ним человека; «реально являл» мир сверхбытия на уровне бытия.

Разработанная византийской мыслью теория иерархической «лестницы» охватывала все сферы существования. По степени своего духовного достоинства рукотворные вещи подчинялись своеобразной иерархии. Так, к самой низшей относили кухонную посуду, далее — столовую (бытовую и праздничную). На высшей ступени стояла храмовая утварь, включенная в ритуальную практику: священные ковши, блюда, кропильницы, кадила, крестильные купели; наконец, ковчеги для Святых Даров, мощей: святочитимые дарохранительницы, диски, потиры. Особый ореол окружал реликвии, связываемые с евангельскими событиями. Русский паломник Добрыня Ядрейкович (впоследствии Антоний, архиепископ новгородский) посетил Царьград около 1200 г. В храме св. Софии среди прочих культовых святынь он отметил «блюдо мало мраморно, на нем же Христос вечерял со ученики своими в великий четверток, и пелены Христовы, и дароносивыя сосуды златы иже привошаху с дары волсви»¹.

Расцвет декоративно-прикладного искусства был связан и с характерной для византийцев эстетикой церемониала, парадности, исполненной почти магического очарования. Византиец — любитель праздничной роскоши и разработанного до мелочей этикета, он великий искусник по части церемониала, поражавшего своим величием приезжих иностранцев и возбуждавшего священный трепет. Блеск и элегантность дворцовой жизни, пышные процессии, торжественная культовая обрядность требовали огромного количества предметов роскоши. Самые дорогие изделия исполняли по заказам государей, крупных сановников, высшего духовенства, проникнутых сознанием изначальности и необходимости празднично-мистических зрелищ. Об огромном эмоциональном воздействии этого искусства с его культовым «благолепием» свидетельствуют многочисленные источники. Хронист четвертого крестового похода, пикардийский рыцарь Робер де Клари писал об убранстве св. Софии: «...вокруг престола были серебряные столпы, которые поддерживали терем над престолом, сделанный как колокольня и весь из литого серебра; и был он таким богатым, что нельзя и подсчитать, сколько он стоил... Потом по всему монастырю сверху донизу спускалась добрая сотня люстр, и не было ни одной, кото- {521} рая ни висела бы на толстой серебряной цепи толщиной в человеческую руку...» (Робер де Клари. С. 61).

Константинополь. На всем протяжении византийской истории столица империи сохраняла ведущую, наставническую роль во всех областях культуры и интеллектуальной жизни. Произведения мастеров города на Босфоре служили эталоном прекрасного.

Покровительство мастерам со стороны светской и духовной власти, прилив богатств из стран Средиземноморья, Балканского полуострова, Ближнего и Среднего Востока создавали благоприятные условия для процветания художественного ремесла. Столичные ремесленники находились в привилегированном положении еще и потому, что могли работать по образцам, привезенным со всех концов средневекового мира.

Константинополь, подобно магниту, притягивал лучшие художественные силы империи. Не случайно для его синкретичного искусства характерно сосуществование различных школ и направлений. Деятельность многочисленных константинопольских мастерских — императорских, патриарших, монастырских — была исключительно плодотворной. Из них выходили наиболее совершенные произведения, которые отличаются рафинированностью вкуса и безукоризненным техническим мастерством. Они декорировали интерьеры храмов, украшали дворцы и особняки знати. Столичным изделиям подражали не только в провинциальных центрах империи, но и далеко за ее границами.

Славились ремесленники другого крупнейшего торгового центра Византии — Фессалоники.

¹ Срезневский И. И. Св. София Царьградская по описанию русского паломника конца XII века//Труды III Археологического съезда. Киев, 1878. Т. 1. С. 100.

Художественный металл. Устойчивое покровительство знатных заказчиков повышало социальный статус мастеров. У прошедших школу наследственного ученичества профессиональных ювелиров высшей квалификации за плечами стояла многовековая традиция. Наиболее искусные мастера обслуживали колоссальные потребности царского двора, высшего чиновничества и клира, другие работали на более широкий рынок. Эргастии (мастерские) ювелиров сосредоточивались в константинопольском квартале Аргиропратий.

Неотделимые от понятия «сокровище» изделия из драгоценных металлов хранились в ризницах крупных монастырей и храмов, в казне императоров и знатных лиц. Разные причины побуждали византийцев накапливать и беречь сокровища: престижные соображения (материальные ценности как воплощение богатства и власти), культ реликвий, ритуальные функции ковчегов для мощей и литургических сосудов, красота вещей, неотъемлемая от их возвышенной сакральной сущности. Из рук светских ремесленников придворного ведомства (часть мастерских находилась в пределах Большого дворца) выходили шедевры металлопластики, музыкальные инструменты, украшения. О масштабах деятельности металлодельцев красноречиво свидетельствуют очевидцы. Константин VII Багрянородный в сочинении «О церемониях византийского двора» скрупулезно описал убранство тронного зала-хрисотриклиния по случаю парадного приема сарацинских послов. Чтобы ошеломить иноверцев богатством василевса, утварь собирали из разных мест. По словам венценосного автора, в восьми нишах хрисотриклиния развешаны были венцы, взятые из храма Пресвятой Матери Божией Фарской и других церквей дворца, различные произведения из эмали, взятые из сокровищ-

Файл byz523g.jpg

Триптих. Бронза, позолота. XII в.

Лондон. Музей Виктории и Альберта.

ператоров и императриц. Шестьдесят два больших серебряных подсвечника, взятые из Новой церкви Василия Македонянина, были размещены во всем здании с зажженными свечами или лампадами. Наконец, венец света — паникадило блистало посреди купола против золотого трона. Когда все было так приготовлено, отворяли серебряные двери, поднимали занавеси, и тогда можно было видеть в глубине императора, восседавшего на своем золотом троне, облаченного с головы до ног в золото и драгоценные камни (De ser. С. 580—588). На первом плане — «светозарность», блеск убранства. Синонимы «свет» и «красота» означали мистическое откровение бога миру и человеку. Отсюда любовь византийцев к драгоценным металлам и камням, сверкающей утвари и златотканым одеяниям — символическим источникам божественного сияния. {523}

Церемониал придворной жизни и церковных служб с его благолепием, торжественностью и утонченностью этикета, раздача наград приближенным, дары храмам и монастырям, дипломатическая практика подкупа послов и правителей соседних стран, снабжение культовой утварью церквей в недавно христианизированных государствах (например, в Киевской Руси конца X в.) — все способствовало всестороннему развитию художественного ремесла. В истории средневекового искусства его влияние выходит далеко за пределы собственно византийского ареала. Так, начиная с эпохи Каролингов и Оттонов, импорт византийских изделий из золота и серебра оказывал постоянное воздействие на искусство Западной Европы.

Способы обработки металла, известные уже в древности, на протяжении византийской истории почти не изменялись. Но в X—XI вв. техническая изощренность, вкус к декоративному достигли предельных высот. При низком уровне разделения труда мастер в совершенстве владел разнообразными операциями. Зная все тонкости литейного дела, чеканки, гравировки, он зачастую изготавливал вещь целиком. Широкое распространение получило сочетание золота или позолоченного серебра с жемчугом и драгоценными камнями: бриллиантами, бирюзой, рубинами, изумрудами. Матовый переливчатый жемчуг и красочные пятна самоцветов чудесно гармонировали с яркими звучными тонами эмалей. Живописное смешение разных материалов и комбинированная техника создавали удивительные колористические эффекты, порождая впечатление неземной красоты, фантастической иллюзорности образов. Завитки филигранных (сканных) узоров из гладкой или скрученной проволоки заполняли фоны и бордюры композиций, обрамляли кабошоны — вставки из полусферических шлифованных драгоценных и полудрагоценных камней.

Уже в конце IX в. искусные художники по металлу выполняли монументальные статуарные работы. В жизнеописании Василия I сообщается о чашах-фонтанах в атриуме Новой церкви Большого дворца: «А на венце, сверху чашу обегаящем, из меди мастером выкованы петухи, козлы и бараны, водяные струи испускающие...»²

Среди работ по металлу особое место занимают церковные врата второй половины XI в., сохранившиеся в разных городах Италии. Они монтировались из бронзовых клейм на деревянных створках. Двери делались в Константинополе по заказам богатых итальянских купцов, например представителей семейства Пантелеоне, надолго приехавших в византийскую столицу по торговым делам. Один из них, Пантелеоне I, заказал врата для собора своего родного города Амальфи. Изображения в клеймах врат выполнены инкрустацией: в углубленные желобки, которыми очерчены и детализированы фигуры, вбиты тонкие пластинки серебра. Врата как бы отделяли горний мир (церковь) от дольного (земного пространства), находясь на пограничье двух зон Вселенной. Отсюда особое внимание к их убранству и его семантическая сложность.

Избегавшие объемной скульптуры литейщики отливали массивные бронзовые рельефы-складни с образами святых. В музее Виктории и Альберта в Лондоне хранится редкий триптих XII в. из бронзы с позолотой. {524} В центральной створке величавая Богоматерь

Файл byz525g.jpg

Реликварий. Явление ангела женам-мироносицам.

Серебро, чеканка, позолота, гравировка. XII в. Париж, Лувр.

{525}

Одигитрия. Царица небесная восседает на царском пышно разукрашенном троне. Обеими руками она придерживает младенца, сидящего у нее на коленях. Правом рукой младенец благословляет, в левой держит свиток Евангелия. На боковых створках — Григории Назианзин и Иоанн Злотоуст. Центричная композиция построена по единой оси. Фронтальная постановка фигур не оставляет места для их движений и импульсивных жестов — преобладает безличная иератическая торжественность. Подобные портативные иконы-складни брали с собой в далекие путешествия и военные походы.

Чеканщики выигрышно использовали свойства серебра — его ковкость, способность даже в тонком листе «держат форму». Ударами молоточком по чеканам — стальным пруткам с различными концами, — по оборотной стороне серебряной пластины выбивали многоплановые рельефы большей или меньшей высоты. Чтобы избежать повреждений, лист серебра помещали на эластичную массу, вероятно смолу. Затем приступали к проработке чеканками и резцами (штихелями) лицевой части: чеканке и гравировке мелких деталей, заполнению фона. Лучшие произведения византийской чеканки отличает мягкая моделировка форм с постепенными переходами одной плоскости в другую. Рельеф и углубленные части по-разному отражали свет, дробя и преломляя его. Сочетание серебра с позолотой (покрытие позолотой предохраняло от окисления) рождало светоносный эффект нарядной бликующей поверхности, подчеркивая своеобразие каждого металла.

Для художественного серебра комниновского периода характерна крышка серебряного позолоченного реликвария с композицией «Явление ангела женам-мироносицам» (Париж, Лувр). Реликварий хранился в ризнице Сен-Шапель и, возможно, привезен с Востока Людовиком Святым. Плоскостные фигуры обрисованы плавными, гибкими линиями. Удлиненные пропорции подчеркивают их одухотворенную красоту. Хрупкие, почти бестелесные, они ступают на носки и движутся с воздушной легкостью, не касаясь волнистой линии позы. Жесты скупы и спокойны, но многозначительны. Только легкое склонение головы, мягкий изгиб корпуса или протянутая рука связывают действующих лиц единством переживаний. Изящество силуэта и задумчивая грация образов придают им тонкую проникновенность. Драматический сюжет, полный возвышенной сосредоточенности, заимствован из Евангелия: жены-мироносицы приходят к гробнице Христа, чтобы умастить его тело миррой, но застают гробницу пустой. Явившийся им ангел сообщает о воскресении Иисуса. Сидя возле пещеры, он

² Цит. по: Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42. С. 174, 175.

указывает Марии Магдалине и Марии Иаковлеву на оставленные погребальные пелены. Последовательно соблюден принцип композиционного и масштабного выделения наиболее значимых персонажей: ангел в центре сцены осеняет святых жен огромным крылом. Напротив, стражники на переднем плане выглядят крошечными и жалкими. Греческие пояснительные надписи одновременно несли дидактическую и символическую нагрузку. Они не только проливали свет на содержание события, но и утверждали его внеэмпирическую сущность. Жест ангела сопровождают слова Евангелия от Матфея (Мф. 28. 6): «Его здесь нет — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь...» К Мариям, готовым обратиться в бегство, относится текст Евангелия от Марка (Мк. 16.8): «И, выйдя, побежали от гроба; их объял {526} трепет и ужас...» Над поверженными солдатами парафраза из Евангелия от Матфея (Мф. 28. 4): «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Длинная надпись на рамке комментирует всю сцену.

Файл byz527g.jpg

Патена. Распятие.

Серебро. Чеканка, позолота, гравировка. XI в.

Хальберштадт. Сокровищница собора.

Композицию «Распятие» помещали на патенах, связанных с таинством причащения. На них клали евхаристический «хлеб живой, сошедший с небес», претворявшийся в «тело господне». Патена из ризницы церкви Либфрауенкирхе в Хальберштадте в ГДР (XI в.) — шедевр константино- {527} польского искусства чеканки. Горельефные фигуры отличает пластическая лепка формы, благородная сдержанность жестов, красота драпировок. Распятому Христу предостоят Богоматерь и Иоанн Богослов, вверху по сторонам креста — полуфигуры ангелов. Вокруг композиции ритуальная формула: «Берите и вкушайте, се тело мое...» На приподнятом бортике патены медальоны с погрудными изображениями святых выступают на фоне плавно закругляющихся растительных побегов с крупными цветами-пальметтами. В декоре патены доминирует форма круга, излюбленная в византийской иконографии. Круг символизировал трансцендентные идеи мирового единства, бесконечности, законченности, высшего совершенства.

Внешний вид храмовидных однокупольных реликвариев XI—XII вв. идеально отвечал их назначению как хранилищ почитаемых мощей. Прототипами могли служить реальные архитектурные сооружения. Так, форма ковчега св. Димитрия 1059—1061 г. (Гос. Оружейная палата Московского Кремля) восходила к восьмигранной сени над его погребением в Фессалонике.

Оклады икон и богослужебных книг украшали свободным и сочным цветочно-лиственным орнаментом чисто византийского стиля. Он выполнен ручным тиснением на тонких листах серебра, которые накладывали на медные литые матрицы с рельефным узором. Стилизованные пальметты, равномерно вписанные в изгибы виноградной лозы, родственны роскошным ковровым узорам заставок и канонов иллюминированных рукописей. Как и на Хальберштадтской патене, пальметточный декор перемежался медальонами с образами святых.

Замечательные памятники искусства подверглись варварскому истреблению после взятия Константинополя участниками IV крестового похода в 1204 г. Для «удобства» раздела громадной добычи крестonosцы превратили в слитки множество художественных произведений. Часть богослужебной утвари латиняне вывезли на Запад. Огромные богатства захватили венецианцы, которые издавна испытывали к грекам смешанное чувство зависти и недоверия. Благодаря награбленным сокровищам ризница венецианского собора Сан Марко превратилась в уникальный музей ювелирного искусства византийской столицы.

Украшения. Личный убор придворных дам и горожанок из зажиточных семей включал разнообразные золотые и серебряные украшения. Число дошедших до нас вещей невелико. Одни из них обнаружены на периферии империи, место находки других с точностью не установлено. Придворные дамы носили серьги в виде полумесяца; к головному убору прикрепляли большие круглые подвески-колты. Из Константинополя (?) происходит серебряный тисненый колт XII—XIII вв. (галерея Уолтерс в Балтиморе). Тожественный экземпляр хранится в Национальной галерее Будапешта. На щитках украшений симметричные птицы с переплетенными шеями — символ благополучия и семейного согласия. О широком распространении колтов

свидетельствует портрет Десиславы, жены севастократора Калояна, в росписях Боянской церкви под Софией (1259 г.). Окаймленные крупными шариками, они прикреплены под висками поверх головного покрывала Десиславы и напоминают русские колты из кладов XII — первой трети XIII в. {528}

Пару золотых браслетов из клада в Фессалонике по сопровождающим их монетам датируют XII в. Они украшены чеканными птицами по сторонам «древа жизни». Фигуры зверей на пластинчатых серебряных браслетах того же времени находят аналогии в произведениях византийских серебряников. На створке браслета из галереи Уолтерс в Балтиморе шествует вереница фантастических монстров и птиц с человеческими головами. На трех браслетах того же типа (Париж, Лувр) чередуются всадники, птицы и сказочные звери в кругах. Бордюры из черневых спиралей отражают влияние мусульманских серебряных изделий, особенно заметное в предметах светского обихода. Возможно, форма древнерусских широких браслетов-обручей восходит к византийским.

Кроме высокохудожественных произведений, мастера по металлу поставляли массовую продукцию из меди и бронзы, рассчитанную на самый широкий рынок. В своих эргастриях они отливали иконки, крестики, энколпионы, амулеты-змеевики. Эти вещи личного пользования носили на груди как талисманы. Их продавали в церквах и монастырях, посещаемых паломниками из дальних стран. Произведения мелкой пластики из бронзы, переносимые пилигримами, способствовали широкому распространению византийских иконографических типов. Производство на продажу многочисленных однотипных вещей снижало их художественный уровень. Кресты и образки в технике литья, чеканки, штамповки нередко имитировали в дешевом материале драгоценные прототипы из золота и серебра. Огрубленные предметы массового спроса подражали декору ювелирных изделий: «изображали» вставки из самоцветов или жемчужные обнизы. Бронзу «маскировали» позолотой. При изготовлении удешевленных копий дорогих образцов тонкие штампованные пластинки из бронзы укрепляли на деревянной или железной основе. Иногда иконография мелких изделий из металла восходила к почитаемым храмовым иконам.

Перегородчатые эмали. Перегородчатые эмали на золоте — яркое проявление византийского художественного гения. Они позволяют «совершить паломничество» в мир искусства одного из самых цивилизованных государств средневековья. Византийцы тонко учитывали эмоциональный эффект цветовой структуры произведений. Не превзойденные по ювелирной технике и художественным достоинствам, эмали наглядно демонстрируют эстетические принципы искусства Византии с его любовью к утонченной линейной стилизации, полихромии, блестящим золотым фонам. Чистота и глубина локальных цветов, чарующее благородство колористических сочетаний, обильное введение золота, выявление мельчайших деталей рисунка придают им сходство с миниатюрами греческих манускриптов. Условность в передаче золотых перегородок и цветowych плоскостей, незамутненные интенсивные краски как бы передавали сияние преображенной материи. Разделка складок одеяний тонкой золотой сетью, отсутствие линии под ногами персонажей усиливали впечатление их невесомости, ирреальности. Фигуры воспринимаются выключенными из реального пространства и «парящими» на золотом фоне — в некоем иррациональном космосе, недоступном для смертных. Эта фантастическая среда лежит позади плоскости изображения, «выталкивая» его вперед. {529}

В орбите византийского культурного круга первые образцы перегородчатой эмали известны с VIII—IX вв. В X в. искусные эмальеры усложняют технику, разнообразят хроматическую гамму, гармонизируя цветовые соотношения. Тона стали насыщеннее, обогатилась палитра. К зеленым, синим, лиловым, красным и коричневым цветам, которые доминировали ранее, добавляют небесно-голубой и бирюзовый, фиолетовый, желтый. Тончайшие золотые перегородки образуют мягкие черты рисунка в отличие от разделки драпировок резко ломающимися геометризованными линиями (с XII в.).

Цветовому канону эмалей присуща ассоциативная философско-религиозная символика. Основу канона составляли различные оттенки синего (голубого), зеленый, красный, желтый (златовидный), белый. Лазурный цвет — цвет небосвода (в нимбах, одеждах святых) напоминал о вечности, о трансцендентных непостижимых тайнах. Обилие лазури придает фигурам особую трепетную воздушность. Красным цветом окаймляли нимбы, а в сценах Распятия — крест, так как кроваво-красный — символ мученичества. Алым окрашены плащи святых вои-

нов-страстотерпцев. В эмалевой иконе «Святой Феодор Драконоборец» XIII в. (Гос. Эрмитаж) «пейзажный» зеленый фон заполнен растительным орнаментом. У священных книг желтые (эквивалент золоту) переплеты. В идеале определенным предметам должны соответствовать постоянные цвета. Вместе с тем в средневековом сознании цвет — чрезвычайно гибкая, подвижная и многозначная категория. В зависимости от содержательного контекста одинаковые цветообозначения воплощали разные понятия. Так, зеленый как символ надежды символизировал не только цветение и земное изобилие, но и райские сады (зеленые нимбы святых — знак их избранности).

Золото фонов и складок облачений словно отрывало образы от греховной земли, знаменовало стихию вечного света, т. е. божественного духа. Золотой цвет — образ господней энергии, славы и истины, знак совершенства и чистоты. «Магия золота» оказывала чувственно-гипнотизирующее воздействие на верующих. Для средневекового человека золотое сияние — высокий символ торжествующей веры, «свет неприступный» и одновременно — вполне земное воплощение богатства и власти.

В перегородчатых эмалях, как и в мозаиках, фресковой живописи, иконописи, подчеркивали метафизическую сущность изображений. Святость зримо проявлялась в традиционной фронтальности фигур, ориентированных на зрителя, их вытянутых пропорциях, четкой силуэтности и плоскостности, в застывших позах и ритуальных жестах. Предельно спиритуализированные образы подчинены идее о высоком духовном назначении человека, гармонии его нравственного мира: самодовлеющий дух побеждает плоть, очищенную от страстей и мирских побуждений. Печать возвышенной духовности, самоуглубленности лежит на строгих окруженных нимбами ликах. Экстатический взгляд широко раскрытых глаз воспринимали как мистическое истечение (эманацию) созидательной и благодетельной энергии святого. Радостная игра красок отнюдь не противоречила аскетическим идеалам.

Ценность и прочность перегородчатых эмалей способствовали тому, что, несмотря на огромные утраты, они достаточно полно представлены в музеях, церковных ризницах и частных собраниях. Эмалями декорировали {530}ли металлические иконы и кресты, короны и литургические сосуды, книжные переплеты и реликварии. Ими украшали алтарные покровы, церемониальные костюмы, парадное оружие и конскую сбрую. В лучших произведениях эмалевые пластинки (круглые, прямоугольные, киотцы с округлым или килевидным верхом) входили в целостный ансамбль, где мастера блестяще объединяли разные виды техники — чеканку, филигрань, обработку драгоценных камней.

Лимбургская ставроетка (реликварий для хранения частиц Истинного креста) — замечательное произведение константинопольских эмальеров (хранится в ризнице собора Лимбурга-на-Лане, ФРГ). По-видимому, ставроетку похитили крестоносцы при разгроме Константинополя в 1204 г. Реликварии этого типа помещали в храмах на престоле. Во время походов препозит нес ставроетку впереди войска. Согласно надписи на обороте, раку исполнили по инициативе Константина VII Багрянородного и его сына Романа II (между 948 и 959 гг.). Верхняя часть ларца с выдвигающей крышкой сделана в 964—965 гг. на средства проэдра (главы синклита) Василия, который, как гласит надпись, «честно украсил ковчег Древа». Побочный сын Романа I Лакапина, Василий, был паракимоменом (спальничным) при Константине VII. После нескольких лет опалы в правление Романа II он стал во главе правящей клики при Никифоре II Фоке, которому помог захватить власть в 963 г. Корыстолюбивый честолюбец, страстный любитель предметов роскоши, возможно, подарил ковчег Никифору в знак благодарности своему царственному покровителю.

Крестообразное углубление, где лежала драгоценная реликвия, охраняют ангельские силы, возвещающие воскресение Спасителя. «Воинство небесное» составляют архангелы, «пламенеющие» шестикрылые серафимы, приближенные к престолу бога, и четырехкрылые ангелоподобные стражи — херувимы. Перья их крыльев с разноцветными глазками напоминают об «огневидной» природе ангельских чинов. Маленькие вместилища под эмалевыми пластинками с ангелами содержали реликвии, собранные из императорской сокровищницы и храмов Константинополя. Как следует из надписей, почетное место среди них занимали атрибуты Страстей Христовых: шипы тернового венца, губка, кусочки погребальных покровов и плащаницы Иисуса. Здесь хранились обрывки мафория и пояса Марии, волосы Иоанна Крестителя.

Бордюр центрального панно крышки украшен филигранью, кабошонами (гранатами, изумрудами, рубинами), жемчугом и эмалевыми пластинами с образами святых, почитаемых в Константинополе: Иоанна Златоуста, Феодора Стратилата и Феодора Тирона, Василия Великого, Димитрия Солунского, Григория Назианзина, Николая и Георгия. Погрудная фигура св. Василия помещена непосредственно над именем донатора в надписи. В среднике крышки развернутая композиция Деисуса, молитвенного обращения к Господу, является одной из самых ранних в византийском прикладном искусстве. Христос-Пантократор восседает на престоле в образе великого архиерея с предстоящими Богородицей, Иоанном Предтечей и архангелами. В верхнем и нижнем регистрах — двенадцать апостолов. Строгая композиционная симметрия отвечает стремлению к повторению канонических фигур, пронизанных единым ритмом. Изысканный рисунок, благородство колорита, где желтые тона бросают {531} свои отблески на голубые и лиловые, спокойное достоинство образов святых отличают Лимбургскую ставротечку.

На ее оборотной стороне чеканкой по серебру исполнен большой шестиконечный крест на ступенчатом основании (так называемый голгофский). Его контуры соответствуют крестообразному углублению внутри реликвария. От подножия креста отходят пышные листья аканфа. Процветший крест — животворящее «древо благословленное», символ воскресения и бессмертия — восходит к древней космологии мирового древа, объединявшего земную твердь и небеса (звезды по сторонам верхней ветви). Представление о кресте как о древе (надпись проэдра Василия) соотносило его с мифологемой древа жизни и смерти. Чеканные виноградные листья на боковых стенках раки могли символизировать райские кущи и духовные плоды христианского учения.

Ставротечка из ризницы кафедрального собора в Эстергоме (Венгрия) показательна для эмальерного искусства XI в. (чеканный бордюр со сложной вязью плетенки исполнен в конце XIII в.). В центральном панно позолоченного серебра вокруг крестовидной полости для частиц св. Креста расположены сюжетные композиции в технике перегородчатой эмали. Одежды персонажей «затканы» паутиной частых золотых складок. Вверху парят скорбящие ангелы. Кресту предстоят Константин и Елена. Согласно легенде, царица Елена, мать Константина Великого, во время путешествия в Иерусалим в 326 г. обнаружила крест, на котором распяли Христа. Основой для композиции «Константин и Елена» стал праздник Обретения креста (21 мая). Ее осмыслили и как «историческую» сцену обнаружения креста господнего и символически — как его прославление.

У подножия крестовидного углубления представлено шествие Христа на Голгофу и его снятие с креста. Появление черт повествовательности, патетики в драматических эпизодах придали искусству эпохи Комнинов более человеческий оттенок. Так, при восхождении на Голгофу иудей указывает Спасителю на крест, к которому его подводит солдат. В «Снятии с креста» Богородица прижимается щекой к щеке Сына, Иоанн вытирает слезы, а коленопреклоненный Никодим вырывает клещами гвозди из ступней Иисуса. Константин и Елена изображены в лорчатых императорских одеяниях XI в. На Елене подвешенный к поясу форакий — нашивное полотнище в виде миндалевидного щита с шестиконечным крестом.

Примечателен двусторонний золотой ковчежец (8,7×7,2 см) из церкви Богородицы в Маастрихте (Нидерланды). На лицевой стороне Богородица обращена в молитве к Христу в сегменте неба. Параллельные складки мафория (накидки, покрывающей спину, плечи и голову), ломающиеся под острыми углами, характерны для эмалей XII в. Здесь Богородица воплощает идею заступничества перед богом, посредничества между владельцем реликвария и грозными небесными силами. Дева Мария — наиболее интимный и поэтический образ византийского искусства.

В Византии священные книги окружала особая атмосфера благоговения. Напрестольные евангелия использовали при богослужениях, помещали на трон (Евангелие-Христос), выносили во время торжественных выходов, прежде всего в пасхальные дни. Книги в драгоценных окладах выставляли во дворце на парадных приемах иноземных посланников. Некоторые оклады Священного писания — непревзойденные шедевры золотых дел мастеров. К их

Файл byz533g.jpg

Ставротечка из сокровищницы собора в Эстергоме.

*Серебро с позолотой, перегородчатая эмаль. XI в.
(Чеканный бордюр конца XIII в.). {533}*

числу принадлежит оклад XI—XII вв. с рельефной фигурой архангела Михаила в рост (ризница Сан Марко в Венеции). По предположению исследователей, это воинская патрональная икона императоров. Архангел Михаил, «архистратиг воинства небесного, божественный посланец во имя праведных душ и антагонист сатаны», изображен крылатым воином в доспехах. Молитва этого безупречного воителя бога, посредника между ним и людьми, приводила душу в царствие небесное. Как предводителя ангельских ратей архангела Михаила почитали защитником и покровителем императоров-военачальников и их армий.

С воинской тематикой связаны и остальные образы на иконе. В овальных эмалевых медальонах боковых полей — четыре пары святых воинов: оба Феодора, Прокопий и Георгий, Димитрий Солунский и Нестор, Евстафий и Меркурий. Заступники царского войска на поле брани, они стоят в полном вооружении как бдительные и вездесущие стражи. Строгая фронтальность фигур способствовала установлению их прямого контакта с молящимися. Иератичен и монументален образ архангела, чеканный из золота в горельефе (обнаженный меч и царская держава более поздней итальянской работы). Юношеское лицо покрыто эмалью телесного тона. Панцирь декорирован красными крестиками и изумрудными розетками в чешуйках. Темно-голубой фон усыпан мелкими кружочками (звездами?). Ниже изумрудные побеги с красными и белыми цветами (райские кущи?). Архангел словно охраняет арки врат небесного Иерусалима. Как «ангел предстояния» и милосердия он приближен к божьему трону. Медальон с поясной фигурой Пантократора расположен прямо над архистратигом. По правую руку Спасителя — апостол Петр.

На втором окладе (или иконе) начала XI в. из Сан Марко погрудная фигура архангела Михаила анфас чеканена по листовому золоту. Фон заполнен сложными завитками филиграни. Перья крыльев архангела сияют синим, пурпурным, прозрачно-изумрудным и пепельно-голубым цветами. Оплечье-маниакий, лор, отвороты рукавов его костюма украшены жемчужными обнизями, изумрудами, рубинами и гранатами. Крупными самоцветами орнаментированы диадема и навершие жезла. На полях иконы — эмалевые медальоны и пластины с погрудными фигурами архангелов Гавриила и Уриила, Богоматери и святых воинов-мучеников: Георгия, Димитрия, Феодора, Меркурия и Евстратия в боевых доспехах — небесных патронов византийского воинства. Обе великолепные иконы из Венеции сочетают высокие искусства златоваяния, перегородчатой эмали по рельефу и обработки самоцветов. Их отличает совершенство отдельных деталей, мастерски смонтированных в гармоничный ансамбль.

В знаменитом запрестольном образе «Пала д'Оро» в соборе Сан Марко ювелирное искусство православного Востока объединилось с искусством латинского Запада. Огромных размеров алтарь (3,15×2,1 м) усыпан жемчугом, алмазами, изумрудами, рубинами, топазами. Он состоит из 83 крупных эмалевых пластин, не считая множества мелких медальонов, вставленных в готическую раму позолоченного серебра. Эмали разного времени и происхождения образуют стройную композиционную и идеологическую систему, своеобразный иконостас. По свидетельству хроник, первый алтарный образ заказал константинопольским мастерам дож {534}

Файл byz535g.jpg

*Икона или оклад Евангелия. Архангел Михаил.
Золото, чеканка, перегородчатая эмаль. XI в.
Венеция, сокровищница собора Сан Марко. {535}*

Пьетро II Орсеоло, после того как в 976 г. сгорела ранняя базилика Сан Марко.

При перестройке главного собора Венеции во второй половине XI в. (освящен в 1094 г.) дож Орделафо Фальеро заказал ювелирам Константинополя новый «Пала д'Оро» (1105), достойный величественного храма, где покоились выкраденные из Александрии мощи св. Марка — патрона Венеции. В 1209 г. к верхней части алтаря добавили шесть пластин с композициями праздников от «Входа в Иерусалим» до «Успения Богоматери». Их похитили в 1204 г. то ли из св. Софии, то ли из монастыря Пантократора, основанного Комнинами. Возможно, пластины относились к эпистилию (архитраву) алтарной преграды. В 1345 г. при доже

Андрее Дандоло алтарь заново реконструировали, заключив в серебряное обрамление готического стиля.

К заказу Фальеро относится центральное панно. Его композиция сродни системе убранства куполов храмов: Христос-Пантократор на троне окружен медальонами с четырьмя евангелистами. Над ним Этимасия — Престол уготованный. Христа прославляют процессии архангелов, его окружают апостолы и пророки. Внизу Богоматерь Оранта. По правую руку от нее был изображен Алексей I Комнин (1081—1118), который правил в тот период, когда алтарь исполнили в императорских мастерских. По другую сторону Оранты — портрет Ирины, супруги Алексея. Во время поновления Пала в 1209 г. портрет Алексея заменили портретом Орделафо Фальеро. Пластины с эпизодами жития св. Марка — венецианская работа эмальеров XIII в. В целом эмалевый «иконостас» выражал идею торжества вселенской церкви и покровительства небесных сил Венецианской республике. Созерцая «Пала д'Оро», зритель попадал в необыкновенно торжественный и праздничный мир, где все вещественное как бы растворялось в мерном ритме текучих линий и чистых красках. Золото фона уводило взгляд далеко за пределы реального пространства алтаря.

Ризница Сан Марко обладает богатой коллекцией литургических сосудов — главным образом потиров X—XII вв., выточенных из яшмы, агата, оникса, малахита, серпентина, алебастра, горного хрусталя (всего 32 экземпляра). Потир имеет форму чаш с полусферическим туловом. Просвечивающие стенки с разноцветными вкраплениями сообщают им лучезарную красоту. У некоторых сосудов S-видные ручки. Конические ножки, обручи венчиков и вертикальные полосы из золота или серебра с позолотой убраны низкими жемчуга, самоцветными камнями, эмалевыми медальонами с погрудными фигурами святых. На пояске бортика помещали образы Спасителя, Богоматери, Иоанна Предтечи с апостолами или круговые литургические надписи, на ножке находили место для евангелистов и святителей. В Венеции итальянские ювелиры украшали часть оправ тончайшими филигранными узорами.

Византийские автократы не скупались на дорогие подарки союзным государям. Памятники перегородчатой эмали блестяще представляли искусство Византии в других странах. Две прославленные диадемы XI в. работы царских золотых дел мастеров оказались во владении венгерских правителей. Нередко связанные с династическими браками подобные регалии знаменовали высокое покровительство василевса союзникам, но вместе с тем их вассальную зависимость. Коллективные портреты императора, членов его семьи и дружественных государей на диадемах означали процветание и далеко простирающуюся власть автократора. В сочетании с образами святых подобные композиции утверждали сакральное происхождение и сакральную сущность власти монарха.

Файл byz537g.jpg

*Потир. Оникс,
перегородчатая эмаль,
жемчуг. XI в. Венеция.
Сокровищница собора Сан Марко.*

Поскольку эстетика изображения человека в Византии была основана на выявлении незыблемых, иерархически-ценностных признаков, трактовка исторических лиц здесь далека от современного понятия портретности. В облике реального персонажа, представленного на эмали, отмечали наиболее характерные черты, свойственные определенному социальному и художественному типу. Деконкретизация и типизация здесь сродни искусству религиозному. Обобщенные идеализированные образы царей и цариц — воплощение державного величия. Фигуры замерли в репрезентативных фронтальных позах. Царские атрибуты и нарядные лоратные облачения из шелка и парчи, украшенные жемчугом и драгоценными камнями, — знаки их высокого сана. Только благодаря надписям, узнаем конкретное лицо в этих церемониальных «портретах-иконах». В императорской иконографии, в частности на коронах, получила распространение композиция с тремя фигурами владетельных особ, связанных родственными узами.

Первая диадема (Будапешт, Национальный музей) случайно найдена крестьянином в 1860 г. в Nyitra Ivanka (Венгрия). Она состоит из семи золотых с перегородчатой эмалью створок, закругленных сверху. В центре — Константин IX Мономах между своей женой императрицей Зоей и ее сестрой Феодорой. Император застыл в церемониальной позе, стоя на поду-

шечке, которую подкладывали под ноги самодержцу во время его торжественных выходов. К постоянным регалиям василевса относятся венец с жемчужными подвесными цепочками, лабарум, красные сапожки. Зоя в зубчатой короне держит длинный красный жезл-скипетр. Это собирательный образ византийской красавицы с большими глазами, дугообразно очерченными бровями, тонким прямым носом и крохотным ртом. {537} Аналогичен портрет Феодоры. По сторонам царствующих персон — две девушки, танцующие с шарфами, и аллегорические женские фигуры — персонификации Правосудия и Смирения. Правосудие указывает перстом на свои уста, у Смирения руки сложены крестообразно на груди — жесты символические. Фон на всех створках заполнен вьющимися растениями с птицами на ветвях.

Идейный смысл всей композиции исходит из византийской концепции императорской власти. Христоролюбивого и победоносного государя, наделенного христианскими добродетелями, прославляют в ритуальном танце, как «второго Давида» — победителя Голиафа. В I Книге Царств (I Царств. 18.6) женщины израильских городов встречали юного героя, несущего голову гиганта, «с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами». Сравнения василевса с богобоязненными и мудрыми библейскими царями — Давидом и Соломоном распространены и в византийской литературе. Вероятно, диадему Константина Мономаха преподнесли ко дню коронации венгерскому королю Эндре I (1047—1061), супругу Анастасии — дочери Ярослава Мудрого и сестры Всеволода Ярославича, женатого на дочери Константина IX.

Тридцатью годами позже Михаил VII Дука Парасинак (1071—1078) послал другую диадему жене венгерского короля Гезы I (1074—1077) — византийской принцессе Синадине, племяннице будущего императора Никифора III Вотаниата. Во второй половине XII в. при Беле III диадему переделали в корону с полусферическим верхом. Согласно легендарной традиции, этот венец был пожалован папой Сильвестром II основателю Венгерского государства Стефану I (коронован в 1000 г.). Над нижним золотым обручем «короны святого Стефана» с противоположных сторон помещены две крупные эмалевые пластины. Образу Христа-Пантократора как высшего суверена соответствует портрет Михаила VII — властелина мира земного. На обруче большие кабошоны времени Беле III чередуются с восемью прямоугольными пластинами. Христос находится между архангелами Михаилом и Гавриилом, святыми воинами Георгием и Димитрием — защитниками правителей на поле брани. По сторонам Михаила VII Дуки — его сын и номинальный соправитель юный Константин и Гейза I, святые целители Косьма и Дамиан, дарующие здоровье самодержцам. Семантика иконографической программы ясна: византийский император как представитель бога на земле выступает сюзереном короля Венгрии.

Из Византии перегородчатые эмали расходились по всему христианскому миру. Их включали в состав западноевропейских, русских, грузинских памятников. В Грузии увлечение византийскими образцами возросло в XI в. Знаменитый Хахульский триптих (Государственный музей искусств Грузинской ССР) украшен эмалями разного времени и стиля. Они размещены в гнездах с жемчужными обнизями на фоне коврового растительного орнамента, чеканного по червонному золоту и позолоченному электруму. В замечательном произведении грузинской чеканки эмали местной работы соседствуют с эмалями византийского происхождения. На прямоугольной пластине в замковой части киота центральной створки иконы-складня представлена императорская чета, коронуемая Христом: Михаил VII Дука и его супруга, грузинская царица Мария.

Пластина исполнена в придворной константинопольской мастерской {538} для какого-

Файл byz539g.jpg

Корона св. Стефана. Детали.

Золото, перегородчатая эмаль, самоцветы, жемчуг. XI в.

Будапешт, Национальный музей. {539}

то не дошедшего до нас памятника. Возможно, она попала в Грузию в 1072 г. вместе с императрицей Марией, которая ездила прощаться с умирающим отцом — царем Багратом IV. Михаил VII и Мария запечатлены в парадных лоратных одеждах. У Михаила широкая полоса, шитая жемчугом и драгоценными камнями, спускается вертикально от оплечья-маниака и опоясывает фигуру наискось. У Марии на лоре — миндалевидная нашивка-форакий. Корона

Михаила снабжена свисающими от висков жемчужными цепочками-препендулиями, обязательной принадлежностью царских корон. Отличительная особенность венцов императриц — треугольные зубцы. У Михаила в правой руке лабарум, в левой — белый свиток. Мария держит жезл, увенчанный крестом.

Византийские эмали попадали в руки ювелиров Южной Италии, Франции и немецких монастырей. Портативные алтари и реликварии из аббатства Конк в Лангедоке, несмотря на различия в технике, демонстрируют знакомство с греческими образцами. Зависимость от византийской иконографии заметна в выемчатых эмалях Лиможа и Рейнской области (XII в.). Греческие мастера стали первыми учителями киевских эмальеров. Творчески переработав византийские традиции, русские златокузнецы в XI—XII вв. создали локальные школы эмальерного дела.

Резная кость. В искусстве X—XII вв. мелкая пластика по кости заняла важное место, утраченное монументальной скульптурой. Она отразила разнообразие направлений в византийском художественном ремесле, активно взаимодействуя с книжной миниатюрой и ювелирным делом. По своим сюжетам, техническим и стилистическим признакам резьба по кости обнаруживает сходство с обработкой дерева и камня.

Мастера употребляли различные сорта кости и рога. Высоко ценили кость слоновых бивней за ее белизну и плотность фактуры, позволявшей достигать непревзойденной тонкости резьбы. Некоторые произведения, например охотничьи рога-олифанты, сохраняли форму бивня, но чаще его распиливали на куски. Из них вырезали прямоугольные пластины либо, гораздо реже, статуэтки. Размеры бивней позволяли изготавливать массивные пластины для одночастных иконок, диптихов, триптихов, для переплетов книг и эпистилий темплов (архитравов алтарных преград). Детали изображений выделяли позолотой.

К эпохе «Македонского Возрождения» относится большая группа памятников «неоклассического» стиля. В византийском обществе происходила неизбежная переоценка и переосмысление античных сюжетов. Их подвергали переработке в духе средневековой эстетики и дидактического аллегоризма. Позднеантичные реминисценции видоизменялись в условиях господствующей христианской культуры.

Антикизирующее направление в светском искусстве X—XI вв. представлено «ларцами с розетками», названными по орнаментальным бордюрам из розеток в кругах. Ларцы с накладками слоновой кости имеют плоские выдвигаемые или откидные усеченно-пирамидальные крышки. На некоторых уцелели следы раскраски и позолоты. В этих шкатулках хранили драгоценности и благовония, их заказывали как свадебные подарки. Распространенность «розеточных ларцов» объясняется популярностью древнегреческой мифологии и эпоса в кругах светской образованной элиты. {540}

Самые изящные вещи вышли из императорских мастерских, в том числе ларец конца X в. (из Вероли близ Рима, ныне — Лондон, Музей Виктории и Альберта). На крышке видим похищение Европы, экстатически-страстные танцы менад с участием музицирующих кентавров. На длинных боковых сторонах шкатулки показаны Беллерофонт с Пегасом, пьющим из источника (возле ключа Пирены, дочери речного бога, Беллерофонт поймал своего крылатого коня), принесение в жертву Ифигении (сюжет трагедии Еврипида), игры пухлых проказливых путти — с орлом, змеей, оленем, собакой и львицей (один из озорников сосет ее молоко) и, наконец, снова Европа на быке рядом с Афродитой и Аресом. На коротких стенках изображены триумф Диониса (бога плодоносящих сил везут на повозке пантеры) и nereида на морском коне-гиппокампе.

На крышке ларца музея Клюни (Париж) батальные сцены с колесницами заимствованы из книжных иллюстраций к «Илиаде». На длинных сторонах, кроме воинов-«гладиаторов», — Геракл со шкурой немейского льва, привязанной к его дубине, коварный кентавр Несс и молодая жена Геракла Деянира, Хирон с маленьким Ахиллом на спине, Актеон, разрываемый собственной собакой, и похищение Ганимеда орлом.

Главным источником для резчиков служили иллюминированные рукописи античных произведений. Лучшие мастера получали доступ к книгохранилищам, вдохновлялись иллюстрациями к мифологическим сочинениям и энциклопедиям, трагедиям Еврипида и к буколической поэзии. Копии более древних манускриптов служили образцами для придворных косторезов. Не ставя перед собой задач связного повествования, они располагали сюжеты довольно

произвольно. На крышке ларца из Вероли рядом с Европой на быке помещена бессмысленная в данном контексте группа мужчин, бросающих камни. Оригиналом послужила миниатюра ватиканской рукописи книги Иисуса Навина X в. (Vat. Palat. gr. 431) со сценой побития камнями Ахана. На той же крышке рядом с кентаврами и путти псалмопевец Давид играет на арфе. В декоре шкатулок античные мифологические сюжеты сосуществуют с ветхозаветными, например историей Адама, Евы и их потомства.

Рельефы, расположенные горизонтальными поясами на олифантах X в., тематически сродни консульским диптихам VI в.: те же состязания квадриг на ипподроме и цирковые рисания.

Косторезы X—XI вв. сохраняли стилистику эллинистических и римских прообразов, а также подражаний им в прикладном искусстве VI—VII вв. (так называемом византийском антике). На ларцах не утрачено позднеантичное понимание пластики человеческих фигур. Выполненные в объемной манере, они обращены друг к другу в живом экспрессивном движении и резких ракурсах. Усвоение норм позднеантичной эстетики связано с волной увлечения классическим наследием. Антикизирующая линия в искусстве отражала мировоззренческие установки сравнительно узких кружков интеллектуалов, которые группировались вокруг константинопольского двора и крупных сановников церкви.

С XII в. в рельефах ларцов средневековые коррективы стали заметнее: нарастает схематизация, плоскостность и декоративность трактовки фигур, шире распространяются образы реальных и фантастических животных. Слоны, собако-птицы (сенмурвы), сцены терзания хищниками травоядных и «звериного гона» появляются под влиянием декоративно-прикладного искусства Востока. В синкретическом убранстве ларцов происходит взаимопроникновение позднеантичных, христианских и мусульманских мотивов, причем на поздней стадии первые отступают на второй план.

Шкатулки с костяными накладками выходили и из провинциальных мастерских. От столичных оригиналов они разнятся удешевленным материалом (кость крупных домашних животных, а не слоновою), более низким художественным уровнем, специфическими мотивами декора. В связи с увеличением спроса резчики ограничиваются повторением знакомых образцов. Пластинкам от ларцов из раскопок в Херсонесе свойственно разнообразие форм (кроме прямоугольных, — треугольные, трапециевидные, круглые), преобладание изображений одиноких животных и птиц — орлов, барсов, львов, грифонов, ланей, кабанов, зайцев.

Византийские ларцы, вывозимые за пределы империи, воздействовали на творчество местных мастеров. В условиях иных художественных систем иноземные образцы подвергались радикальной переработке. Мастерская золотых дел мастера Николая Верденского, знаменитая на Рейне и Маасе в последней четверти XII в., черпала орнаментальные мотивы из разных источников. Декоративные пластины «Реликвария Трех волхвов» (1180—1220 гг.) из собора в Кельне украшены медальонами с выразительными мужскими головами. Образцом послужили бордюры византийского ларца, где розетки чередовались с лицами в профиль — имитацией античных монет. В конце XII в. один из таких ларцов находился в рейнской, предположительно кельнской, мастерской и был доступен для копирования.

Изысканно аристократичен облик столичных памятников с сюжетами триумфального императорского цикла. В нем доминировали следующие темы: военные победы василевса; его охотничьи подвиги; состязания на ипподроме; приключения героев эпоса, античной и библейской мифологии как прообразы деяний автократора.

Ларец рубежа X—XI вв. из ризницы собора в Труа (Шампань) помогает воссоздать тематику уничтоженных настенных росписей императорских дворцов. Судя по следам пурпурной краски (пурпур означал царскую собственность), его исполнили для самого василевса. На крышке дважды изображен царь-триумфатор, увенчанный короной-стеммой. Он представлен в облике тяжеловооруженного конного воина-копейщика в пластинчатой броне и развеваемом плаще. Между всадниками — покоренная цитадель. В раскрытых воротах зубчатой стены стоит маленькая женская фигурка — олицетворение города. Как символический дар она выносит корону — знак подчинения завоеванной крепости. Возможно, резчик имел в виду императора Василия II (976—1025), победоносная завоевательная политика которого способствовала его популярности.

На длинных боковых стенках ларца охотничьи сцены, полные стремительного движения, переданы, с редким мастерством. Стилистически они напоминают миниатюры Менология Василия II начала XI в. (Vat. gr. 1613). Спереди два всадника в панцирях и шлемах добивают льва, пронзенного стрелами. Один из них вооружен луком, другой — мечом. Как на сасанидских блюдах, показана героическая царская охота. Доспехи, стилизованные под античность, соответствуют образам византийско-армянского красноречия, уподоблявшего самодержца имени-

Файл byz543g.jpg

Диптих. Роман II и Евдокия.

Слоновая кость. X в. Париж.

Национальная библиотека. {543}

тым героям языческой древности. Поза лучника, обернувшегося в седле, и реалистическая передача раненого хищника восходят к иранским мотивам охоты повелителя, излюбленным и в мусульманский период. На противоположной стороне воин закалывает копьем кабана, затравленного собаками. Эти сюжеты на ларце из Труа прокламируют всевластие, неустранимость и неодолимую силу правителя. На коротких боковых гранях вырезаны сказочные китайские птицы счастья — фениксы — любопытнейшее подтверждение знакомства мастеров с дальневосточными шелками и металлической утварью, которые достигали Византии по Великому шелковому пути.

Культ священной особы императора как земного наместника бога отразился в иконографическом типе коронования василевса Христом. В нем воплощена ведущая идея византийской государственности: автократор получает полномочия от самого небесного царя. Композиция утверждала ортодоксальность веры богоизбранного суверена, сакральность происхождения его абсолютной власти, окруженной священным ореолом, союз светских и духовных владык. Эти официальные церковно-государственные представления продемонстрированы в произведениях резной кости работы императорских мастеров. Преисполнена торжественности сцена коронации Константина VII на пластинке из Эрмитажа. Смирная подчиненность высшим силам и одновременно царственное достоинство подчеркнуты в образе императора. Возвышенная одухотворенность отличает его суверена — Христа. Иератическая неподвижность поз, многозначительность скупых символических жестов, балдахин, подобный триумфальной арке, указывают на трансцендентный, глубинный смысл таинства.

Влияние придворного этикета (Христос вместо патриарха) на создание иконографических стереотипов заметно на створке диптиха с сюжетом коронования Спасителем Романа II (959—963) и его супруги Евдокии (Париж, Национальная библиотека). Благородство пропорций, красота драпировок присущи фигуре Христа. Согласно с принципом иерархичности он стоит на тройном подножии намного выше земных владык. В дворцовых ритуалах такие пьедесталы предназначались для августейших особ или патриарха. Традиционный «сценарий» мистерии разработан до мелочей. Император занимает место с более почетной стороны — по правую руку Христа, императрица — слева. Предстоящие протягивают ладони к Иисусу в жесте моления. Уравновешенностью композиции, фронтальностью застывших фигур художник акцентирует внимание на репрезентативности, строгой этикетности обряда. Он детально прорабатывает орнамент парчовых лоратных облачений, шитых жемчугом и драгоценными камнями.

Иконографические программы триптихов «группы императора Романа» — портативных составных икон для индивидуальной молитвы, на которые смотрят с близкого расстояния, — вызваны к жизни развитием в Византии культа святых. Деисус наверху центральной створки окружен святыми, чьим покровительством самодержцы желали заручиться. Немаловажную роль среди них играют воины. В послеиконоборческий период их стали почитать как патронов василевса и его непосредственного окружения. Это связано с возрастанием значения воинского сословия в византийском обществе, с появлением плеяды талантливых императоров-полководцев. Победоносные походы совершали Никифор II Фока (963—969), Иоанн I Цимисхий (969—976), Василий II Болгаробойца — впоследствии представители династии Комнинов, особенно рыцарственный Мануил I (1143—1180). В обстановке подъема ратного духа из числа святых воинов-великомучеников выделяется своего рода элита: Феодор Тирон («новобранец») и Феодор Стратилат («военачальник»), Димитрий Солунский («мироточец») и

Прокопий. Георгий-победоносец, патрон самого императора, выступает их «вождем». В художественном ремесле святые воины, дарующие победы ромеям, предстают как непоколебимые ратоборцы.

Арбавильский триптих середины X в. (Париж, Лувр) является патрональной иконой императора. Центральная створка складня посвящена теме апофеоза Христа. Вверху трехфигурный Деисус — благословляющий Спаситель на троне с предстоящими Богородицею и Иоанном Крестителем, ниже — пять апостолов. На боковых створках — восемь святых воинов. Четверо с крестами в руках изображены в иконографическом типе мучеников, остальные — в экипировке катафрактосов. На них пластинчатые доспехи, за плечами полководческие хламиды, к поясу подвешены мечи. Вооружение дополняют короткие метательные копья. Георгий опирается на длинное копьё всадника. Рыцарственно-благородна осанка святых защитников. Во времена войн и нашествий в них видели могучих заступников на поле брани. Верили, что эти неуспянные стражи обеспечивали владельцу «переносного алтаря» помощь в борьбе с врагами.

Снаружи центральную створку занимает четырехконечный крест с розетками в перекрестии и на концах ветвей. В христианской иконографии роза символизировала милосердие, божественное всепрощение, небесное блаженство и гармонию мироздания. Этот цветок означал мученичество и конечное торжество над смертью: его цвет уподобляли крови Христа, а колючки ассоциировались с шипами тернового венца. Кипарисы по сторонам креста знаменуют бессмертие, а виноградная лоза, обвивающая их, — евхаристию и самого Христа (Евангелие от Иоанна. 15.1). Колосья у подножия креста — символ вечного обновления жизни. Значение креста как целостного образа вселенной подчеркнуто звездным фоном. В качестве орудия спасения людей посредством искупительной жертвы крест служил могучим апотропеем, средством против демонических козней.

Арбавильскому складню близки триптихи из Палаццо Венеция в Риме и Христианского музея в Ватикане. В их упорядоченной развернутой иконографической программе заметно влияние богослужения. Выбор определенных святых продиктован порядком литургии, когда произносили молитвы за благополучие василевса, испрашивая покровительство у Христа и святых, расположенных на складнях с точным соблюдением небесной иерархии. Многофигурные ансамбли триптихов служили буквальным переложением текста молитв, читавшихся в честь императора. Триптихи X в. характеризует утонченная эlegantность, внутренняя значительность образов. Типы лиц иконографически индивидуализированы. Мягко падающие, тщательно проработанные складки одежд прекрасно выявляют форму фигур. {545}

Влияние литургии сказалось в расширении иконографического репертуара триптихов XI—XII вв. Теперь эти походные и домашние переносные «иконостасы» включают евангельский цикл двенадцати праздников. Резная кость отвечала общим тенденциям искусства того времени: при украшении храмов мозаиками и фресками основное место отводили праздничным сюжетам, которые брали на себя нагрузку описательного религиозного текста. С XI в. в Византии начинает складываться композиция иконостаса. Как и на триптихах, его центральную часть составляли иконы деисусного чина, объединенные идеей молитвенного предстояния Господу, образ космической литургии, в которой участвуют ангельские воинства, Богородица и святые, предстательствующие за людей. На средней створке триптихов стали помещать также образы Христа или Богородицы, почитание которой усиливается в XI—XII вв.

Мастера мелкой пластики работали в русле иконографических канонов, созданных в монументальной живописи, иконописи, книжной миниатюре. Намеренное использование «изобразительных цитат» воспринимали как признак преемственности, сознательной верности единой выбранной традиции. Вместе с тем резчики вносили от себя неканоничные детали, усиливая эмоциональную окраску повествования. Так, на пластине с композицией «Вход в Иерусалим» (Берлин, Государственные музеи) под ослом, на котором едет Христос, сидит человек, вынимающий из ноги занозу. Античный по происхождению мотив символизирует идолопоклонство, попираемое Христом-триумфатором.

Статуеты. Наряду с резной костью в Византии получила развитие мелкая пластика из камня. Произведения камнерезного искусства, такие, как иконки с образами святых заступников, сопутствовали человеку во всех его делах. Их заключали в оправу и носили на груди. Иконы сравнительно крупных размеров использовали в церквях либо в домашних алтарчиках. Миниатюрность рельефов не исключала глубокой смысловой насыщенности композиций. Ли-

цевые изображения на иконках наделяли сверхъестественной энергией, присущей их божественным прототипам. При посредстве предметных образов происходил мистический контакт, диалогическое «общение» с божеством. В сознании византийцев рукотворные иконы служили защитой городов и армий, с ними связывали надежды на личное заступничество и помощь. Подобно языческим амулетам, они охраняли своих владельцев от напастей и дурного глаза, исцеляли недуги. В типично средневековой форме мелкая пластика отражала и этические представления человека той эпохи.

Выработанные профессиональные приемы обработки камней мягких пород способствовали созданию высокохудожественных каменных миниатюр. Их отличает пристальное внимание к деталям, ювелирная тщательность исполнения. Широкое распространение получили иконки из стеатита — плотного агрегата талька серовато-зеленого, розовато-серого или белого цвета. Классический период стеатитов — XI—XII вв. При дешевизне и доступности материала стеатитовые иконки тем не менее были дорогими индивидуальными изделиями, которые заказывали состоятельные люди. Мастера Константинополя и Фессалоники, в совершенстве владевшие резцом, обогащали христианскую иконографию. Иконы из стеатита выполнены в манере невысокого плавного рельефа, детализированного тонким резным рисунком. Начинали с обозначения рамки и контуров фигур, гладкую поверхность фона постепенно углубляли. Нимбы, царственные регалии, части обрядовых облачений, архитектурные обрамления украшали позолотой. Византийские стеатиты, попадавшие за пределы империи, служили образцами для местных ремесленников.

Файл byz547g.jpg

Икона. Архангел Гавриил.

Стеатит. XII в. Фьезоле.

Музей Бандини.

В верхнем ярусе константинопольской иконы XI в. (Париж, Лувр) представлена Этимасия. Престол уготованный охраняют Михаил и Гавриил в придворных типах архангелов: в лорчатных одеждах, с лабарумами и сферами — атрибутами верховной власти. В нижнем ряду святые воины в хитонах и гиматиях, застегнутых на плече, с мученическими крестами в руках. Как поясняет надпись, эти доблестные вожди символизируют области империи. Возможно, они олицетворяли и времена года, на которые приходились их праздники. Почитание Димитрия Солунского у царей Македонской династии было обусловлено ее происхождением (из-под Адрианополя) и связями с Фессалоникой. Культ Димитрия распространился в Фессалонике и Македонии; поклонение Георгию утвердилось в Сирии; Феодора Стратилата почитали в области Понта (судя по прическе из мелких прядей, на иконке изображен именно он). Икона из Лувра знаменовала покровительство небесного воинства основным регионам Ромейской державы.

Как и в резной кости, воинская тематика занимала важное место на стеатитах. Святые воины в панцирях и скрепленных фибулами воинских плащах стоят во весь рост. Они вооружены мечами, копьями и миноидскими щитами. Иногда ратоборцев награждает мученическими венцами сам Христос. В другом иконографическом изводе воины молятся Христу, благословляющему их оружие. В связи с возросшим значением конных армий в военных кампаниях придворное искусство предпочитало образ Георгия как юного воина-триумфатора, гордо гарцующего на боевом коне. Согласно общераспространенным верованиям, святые Димитрий и оба Феодора выступали не только защитниками «христоролюбивого воинства», но и демоноборцами. Георгия Победоносца почитали охранителем на охоте и в пути. По представлениям византийцев, он прогонял от человека 12 болезней (число сакральное); к нему относили мифологический мотив драконоборчества.

Избранным слугой Господа, стражем народов и царств, являющим миру надежду и спасение, считали архангела Гавриила. Стеатитовая икона XII в. (музей Бандини, Фьезоле) отличается изяществом резьбы, особенно в орнаментации верхней парадной одежды — далматик. Нимб, крылья, пальметты на лоре Гавриила, арка на колонках с капителями в виде птиц покрыты позолотой. В левой руке архангел держит лабарум, в правой — зеркало с полуфигурой Спаса Эммануила. Медальон с отроком Христом — это «необоримый щит», знак грядущих военных побед. Посредник между небом и землей выставляет миру образ Спасителя — вопло-

шение торжества жизни над смертью. Как и Михаил, Гавриил предстает покровителем ратников, главой помпезной церемонии моления о даровании василевсу лавров победителя.

На стеатитовых иконках, предметах личного поклонения, преобладали образы святых помощников, врачей, охранителей от демонических козней, мора и стихийных бедствий, военных и дорожных опасностей. Их носили воины и купцы, отправлявшиеся в дальний путь. Нередко изображали патрональных святых, соименных заказчику или членам его семьи. На выбор святого влияли местные культы, например почитание Димитрия в Фессалонике.

Образ Николая Чудотворца подвергся сильной фольклорной мифологизации. Его распространение в мелкой пластике напоминает о высоком предназначении заботливого и пронзительного «печальника» о людях, заступника за всех «страждущих, недугующих и путешествующих». Николай Мирликийский сражается с бесами и охраняет мореплавателей. В Греции его считали патроном моряков и школяров. В житии святителя Николая привлекала тема самоотверженного, бескорыстного служения людям (спасение утопающих, предотвращение казни неправедно осужденных и вызволение пленников, чудесная помощь беднякам). В рамках религиозного искусства мастера выражали свое понимание духовной красоты человека, его жизненных задач.

Обычные на стеатитовых иконах композиции Деисуса воплощали идею моления о благополучии и прощении грехов человеческих перед высшим судьей. В литургических текстах Предтече и Богоматери отводили главную роль небесных предстателей за страждущих и обездоленных.

Известны стеатиты с сюжетами страстного цикла. На иконе XII в. «Распятие. Положение во гроб» (Гос. Эрмитаж) при помощи типичного приема показаны различные пространственные слои. Так, второстепенные фигуры святых жен помещены позади пейзажных гор, выдвигающих основное действие на первый план.

Для создания особой пространственно-временной среды и указания на метафизическую сущность явлений в византийском искусстве использовали набор традиционных предмето-символов. На стеатитовой иконе XII в. «Благовещение» (Херсонесский музей) архангел Гавриил — носитель радостного благовестия и истолкователь высших откровений — возвещает Пресвятой Деве скорое рождение Спасителя. Обстановка изобилует постоянными символическими атрибутами. Балдахин-киворий над Богоматерью подчеркивает ее царственное достоинство и отъединенность {548} от внешнего мира. Мария держит прялку и пряжу: согласно апокрифическому повествованию, явление архангела застало ее за работой над пурпурной тканью для Иерусалимского храма. Пурпурная пряжа — символ зарождающейся плоти Христа, которая «ткется» во чреве матери из ее крови. Стилизованное деревце в кадке, возможно, означает райский сад, эдем: акт послушания Марии, низводя бога в мир, предвосхищал будущее спасение людей. Лилия на конце жезла вестника — символ чистоты, непорочности Девы. Из сегмента неба на ее нимб падает луч света, что знаменует явление Святого Духа. Для выражения значительного и отвлеченного содержания каждый предмет, независимый от конкретного восприятия, несет внеиндивидуальную знаковую функцию. При этом даже в одном контексте предметная символика бывает многозначна.

Глиптика. Византия унаследовала древнейшее искусство миниатюрной резьбы по твердым драгоценным и полудрагоценным камням. При искусной отделке изделия из самоцветов, «побеждавшие столетия», чаровали своей необыкновенной красотой. Недаром их наделяли чудодейственной магической силой. Геммы и камеи привлекали взгляд совершенством резьбы, редкостными цветовыми и световыми эффектами. Мастера глиптики умело использовали первозданные свойства камней. Сочетания разноцветных слоев и вкрапления в минералах играли не только декоративную роль. Так, гелиотроп (темно-зеленый халцедон или яшма с красными или желтыми пятнами) особенно ценили, когда цвет вкраплений, отвечая содержанию, являлся значимым, например в сценах распятия Христа.

Резьба по цветным минералам, твердостью превосходящим сталь, заставляла преодолевать значительные технические трудности. Кроме металлических резцов, могли употреблять обсидиановые и алмазные острия, которыми завершали резьбу. Для полировки использовали толченые раковины. Прекраснейшие изделия из яшмы и самоцветов, несущие отпечаток высокой культуры, выходили из мастерских Константинополя. Для лучших образцов столичной

глиптики характерна резьба, богатая пластическими нюансами. Высокий округлый рельеф сочетается со скрупулезной графической проработкой ликов и одежд.

В византийской глиптике X—XII вв. преобладали камеи. Ими украшали нагрудные иконки в мужском и женском ожерелье, панагии для духовных лиц, церковную утварь: вставляли в потиры, диски. В Западной и Восточной Европе византийскими камнями декорировали короны, кубки, подвески, оклады чудотворных икон и священных книг, ковчеги-мошевики. Эти миниатюрные овальные образки высотой от 2 до 6 см, а также прямоугольные с закругленным верхом оправляли в золото и серебро. Красота камей в драгоценных оправках удовлетворяла самому изысканному вкусу. Поистине неуничтожимые шедевры мелкой пластики преодолевали огромные пространства, их судьбы необычайны и увлекательны. Издавна ставшие предметом страстного коллекционирования, византийские камеи рассеяны по музеям и частным собраниям Европы и Америки. Их удешевленные подражания — литики из стекловидной массы изготавливали как в собственно византийских, так и в венецианских мастерских.

Камеи вырезали из полосатого агата, оникса, сардоникса с чередующимися белыми и бурными полосами. Во времена расцвета византийской {549} глиптики ониксы, состоящие из слоев различного цвета, служили излюбленным материалом: колористические возможности многослойных камней позволяли художнику создавать образцы «живописи в камне», используя плавные переходы и контрасты цветов. Для изготовления камей употребляли и различные разновидности кварца: «камень счастья» — сердолик, кровавую яшму (а также другие яшмы), просвечивающий халцедон, фиолетовый аметист, прозрачный горный хрусталь. Ни один камень не мог сравниться по богатству палитры с яшмой, словно вобравшей весь спектр солнечных лучей. Бесконечные сочетания разнообразных оттенков красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, коричневого, фиолетового, легкость полировки сделали яшму распространенным поделочным камнем. В средневековой Европе признавали кровоостанавливающее действие яшмы, ее считали средством от эпилепсии и лихорадки. Высоко ценили светлый или темный зеленый нефрит. Прочность камня позволяла вытачивать из него тонкие и сложные по форме изделия, выявляя красивый узор жилок, складок и пятен. Верили, что нефрит врачует недуги, служит залогом верности. Ярко-синий или фиолетово-синий лазурит (ляпис-лазурь) сравнивали с темным южным небом, усыпанным золотыми звездами.

Неизъяснимое обаяние таили «умиротворяющие» темно-синие прозрачные сапфиры и огненно-красные «пылкие» рубины (разновидности благородного корунда). Издавна сочно-зеленый изумруд почитали могущественным целебным для зрения талисманом, предохранявшим и от укусов ядовитых животных. Несказанной прелестью обладали красные разных оттенков гранаты, особенно фиолетово-красные алмадины. Верили, что они защищали от несчастных случаев во время путешествий, излечивали лихорадку и желтуху. Эти ювелирные камни обрабатывали огранкой либо придавали им форму кабошонов — круглых, овальных или квадратных выпуклых камней без граней. Для создания блестящей поверхности их тщательно шлифовали и полировали. В ювелирных изделиях кабошоны звучали мажорными цветовыми аккордами, контрастирующими с золотом оправ.

Высокохудожественные столичные камеи отличаются соразмерностью пропорций фигур, идеальной красотой образов, строгим благородством ликов. Одежды искусно моделированы мягкими складками. Резчики запечатлели на камнях наиболее чтимых святых христианского пантеона, заступников и целителей, якобы предохранявших от злых чар, «порчи», дававших счастье, здоровье, богатство. Распространены погрудные или в рост изображения Спасителя. Богоматерь наделяли чертами милосердной покровительницы смертных, предстательницы за них перед богом. Апотропеические (охранительные) функции приписывали архангелу Михаилу с мечом на плече (на камее из Кабинета медалей в Париже он назван «Хранителем»), святым воинам Георгию, Димитрию и Феодору Стратилату, а также Иоанну Крестителю и Николаю. Вместе с Петром изображения Иоанна Богослова занимали видное место среди апостолов (камея X в. в сокровищнице собора Бамберга, ФРГ). С именем этого аскета-прозорливца связаны таинственные, мистические мотивы.

В композиции «Даниил во рву львином» усматривали убедительное проявление охранительной силы божества. История о набожном пророке-мудреце, чудесно уцелевшем в яме со львами (Дан. 6.16—23), служила {550} символом жизни вечной и префигурацией воскресения Христа. В мелкой пластике этот сюжет почитали оберегом, побеждающим смерть. Семь спя-

ших отроков эфесских на амулетах-змеевиках (например, на византийском змеевике из зеленой с красными прожилками яшмы, который хранился в ризнице Рождественского собора Суздаля, ныне в Государственном Историческом музее) якобы ограждали от демонических сил преисподней, поражающих человека во сне, даровали ему сон мирный и животворящий. Семь отроков эфесских символизировали и будущее воскресение из мертвых.

В глиптике изображения двенадцатых праздников по сравнению с «единоличными» образами святых довольно редки. Известно лишь около десятка византийских камней с праздничными сюжетами. Ввиду миниатюрных размеров резных камней мастера вносили коррективы в иконографию, выделяя главное и жертвуя второстепенным. Среди камней с праздниками видим «Благовещение», «Преображение», «Распятие с предстоящими», «Сошествие во ад», «Успение Богоматери».

Поливная керамика. Византийское декоративно-прикладное искусство развивалось на нескольких уровнях, отражавших различные интеллектуальные позиции. Каждому виду искусства теологического, ученого, придворного соответствовал его «низовой» аналог. Оживление городской жизни, производство ремесленной продукции на широкий рынок сбыта вели к расцвету художественного творчества, духовно ориентированного на фольклор и обладавшего собственной эстетикой. Вдохновляясь образцами «высокого стиля», народные умельцы по своему переосмысливали и радикально перерабатывали их. Так, искусство городских гончаров, демократичное по самой своей природе, отражало влияние дорогих произведений торевтики, что не исключало и обратного воздействия.

Народное направление в искусстве представлено яркой и красочной поливной (глазурованной) керамикой, связанной с повседневной практической жизнью. В декоре поливных блюд, чаш, ваз, мисок, в узорах облицовочных плиток на фасадах зданий отражались вкусовые предпочтения широких торгово-ремесленных слоев городского населения. Декор поливных сосудов IX—XIII вв. из раскопок в Константинополе, Афинах, Коринфе, Херсонесе свидетельствует о популярности в среде горожан эпических сказаний, героических и любовных лирических песен, сказочных образов зверей и птиц как помощников человека. На поливных блюдах сцены единоборства Дигениса Акрита со львом и драконом, его любовные приключения, птицы по сторонам древа жизни, орлы, барсы, грифоны, сирены и кентавры трактованы в духе народно-поэтической символики. Вероятно, изображения на посуде сохраняли апотропеическое назначение (предохранительная магия). Напротив, в аристократической культуре образы сильных и свирепых хищников постепенно становились геральдическими эмблемами знати, знаками ее сословного отличия. На поливной керамике как массовой продукции с постоянным ассортиментом изделий многократно варьировали устойчивые орнаментальные формулы и зооморфные мотивы. Число возможных комбинаций традиционных простейших мотивов могло быть бесконечно большим.

Белоглиняная посуда IX—XI вв. с рельефным штампованным орнаментом покрыта монокромной зеленой или желто-коричневой поливой. Ее изготавливали в нескольких главных центрах, откуда развозили по византийским городам Восточного Средиземноморья и Причерноморья. Из района Константинополя происходят декоративные поливные блюда с узором в виде розеток и изображением павлинов — символов воскресения и бессмертия.

В XI в. в центральных областях Византии в декоре поливной керамики возобладала техника «граффито»: резной по ангобу рисунок наносили до обжига сосуда. Линии гравировки на красноглиняных монокромных блюдах и чашах постепенно утолщаются. Таковы большие блюда XII в. со святыми воинами — победителями дракона или со сценами борьбы фантастических существ. Для создания рельефности композиций фон выскабливали. В XII—XIII столетиях возникли локальные школы художественной керамики. В орнамент пиршественных блюд и чаш вводят многоцветье. Они стали полихромными с яркой контрастной окраской графического рисунка.

Стекло. Византийские изделия из стекла³ рубежа I и II тыс. н. э. известны скорее благодаря находкам на Кавказе и в степях Северного Причерноморья, в Прибалтике и Прикамье, даже в Японии и Китае, чем по находкам на территории, входившей в состав Византийской империи. Эти изделия X—XII вв. обычно вписывают в историю стеклоделия стран, где они

³ Раздел о стеклоделии написан Ю. Л. Щаповой.

обнаружены, будь то Болгария, Сербия, Русь, Грузия или феодальные государства Средней Азии. Главный критерий для такой атрибуции — география находок и их частота — вытекает из обманчивой предпосылки: где найдено, там и изготовлено. По отношению к изделиям из стекла подобный подход можно использовать лишь ограниченно. В поисках объективных признаков, с помощью которых можно было бы отличать византийские вещи от сделанных по их образцу, исследователи привлекают новые данные для сравнения: кроме анализа форм и художественного стиля вещей, их картографирования, они применяют естественнонаучные методы при изучении истории стекла. Химический состав — наиболее важный критерий для различения внешне сходных изделий разного происхождения. Именно химический состав, а затем уже форма и другие показатели, позволяет отделить от византийской древнегрузинскую и древнерусскую посуду. В результате понятие «школа в стеклоделии» получило конкретное содержание. Школа объединяет вещи, изготовленные по родственным техническим нормам.

Состав стекла и технология отличают стеклянные бусы византийской работы: желтые «лимонки», сделанные в подражание сирийским; синие, сдвоенные, строенные и одинарные; синие с белыми ромбами; прозрачные зеленоватые, по форме напоминающие ежевику; непрозрачные многоцветные в виде эллипсоидов и, наконец, бусы из прозрачного стекла с золотой прокладкой — бочковидные, биконические и цилиндрические. Византийские бусы известны в Прибалтике в Прикамье в IX—X вв., в конце X в. они проникают в среду военной аристократии Руси, а в XI в. золоченые бусы всех форм стали обычными для погребального инвентаря кривичей Смоленщины и Верхней Волги.

Византийцы создали новый для средневековья вид украшений — стеклянные браслеты: темные непрозрачные, прозрачные разноцветные и бесцветные, круглые и плоские, граненые, гладкие и крученые с росписью {552} в один или несколько цветов эмалями, а нередко и золотом. Византийские мастера ввели в моду и стеклянные перстни: темные, синие, зеленые, украшенные росписью, щитком или накладными деталями, контрастными по цвету. Стеклянные браслеты и перстни носили принадлежавшие к «средним слоям» горожане Крыма, Кавказского побережья, Хазарии, Руси. Изредка такие украшения попадали в Венгрию, Польшу, Волжскую Булгарию. Византийские украшения из стекла вызвали подражания в Грузии, Болгарии, Польше и на Руси, а в Прибалтике, следуя византийским формам, вырезали бусы из янтаря.

К кругу византийских относятся смальты, из которых созданы мозаичные композиции некоторых храмов Руси и Грузии.

Посуда из стекла, которая в римское время проникла во все сферы жизни, в Византии стала в основном парадной и ритуальной. Вплоть до начала XI в. здесь преобладали неорнаментированные лампы и лампы, рюмки, плоские блюда для причастия, кувшины для вина.

Параллельно формировалось производство роскошной стеклянной посуды. Формы кубков, стаканов, графинов IX—X вв. просты и лаконичны, их главное достоинство — сложный декор, выполненный в технике глубокой резьбы. Византийская резная посуда известна на севере Европы, на Балканах, в Закавказье, Средней Азии и на Ближнем Востоке. Византийские образцы пытались повторять в мастерских Халифата. Резные ближневосточные сосуды отличаются от византийских прежде всего составом стекла и значительно меньше — сюжетами и техникой резьбы (кубок с рельефными фигурами льва и грифона, найденный в древнерусском Новогрудке в слоях второй половины XII в.).

Византийскую стеклянную посуду XI—XII вв. отличала богатая полихромия: насыщенный синий основной тон в сочетании с золотом росписи составлял изысканный фон для изображений; иссиня-фиолетовый и светлый пурпур служил фоном для тонкого, почти графического, светлого узора; ярко звучали ничем не приглушаемые темно-оливковые и изумрудно-зеленые тона. Эта тонкая, легкая и звонкая посуда вытеснила резную, толстостенную.

При несомненном византийском влиянии стеклоделие локальных школ дополнялось собственными поисками и открытиями. Распространение технических знаний среди местных мастеров привело в конце концов к самостоятельности многих школ стеклоделия, в основе которых лежал византийский опыт.

*Шелковые ткани*⁴. В эпоху раннего средневековья шелк считали ценнейшим текстильным сырьем: необыкновенно тонкое и мягкое шелковое волокно отличалось большой прочно-

⁴ Раздел о тканях написан М. В. Фехнер.

стью и легко окрашивалось растительными красителями в различные цвета. Шелководство и шелкоткачество были широко развиты в странах Востока и Средиземноморья, где в силу климатических условий возможно разведение тутового шелкопряда.

В Византии шелкоткачество в VIII—XII вв. достигло совершенства. Крупнейшим центром текстильного производства того времени и мировым рынком восточноевропейской торговли шелком являлся Константинополь. Здесь в императорских мастерских-гинекеях вырабатывали дорогие сорта тканей, распространенные только среди верхушки общества: {553} они шли на изготовление императорских и придворно-церемониальных одежд, на облачения высшего духовенства и занимали большое место в декоративном убранстве дворцов и храмов. Продукция гинекеев состояла из плотных, тяжелых и вместе с тем эластичных шелков с изображениями геральдических птиц и зверей, размещенных в кругах с растительным и геометрическим орнаментом, с поясными изображениями святых в овальных клеймах, расположенных рядами, с узором в виде розеток, звезд, крестов.

Рисунок на византийских тканях нередко бывает очень крупного размера. Так, на ткани со слонами (X—XII вв.) шириной 156 см высота раппорта (повторяющейся части рисунка) из двух медальонов равняется 78—80 см. На пурпурной ткани начала XI в. вытканное изображение грифона — мотива, широко распространенного в оформлении зал императорского дворца, — равняется 75 см. Крупномасштабен также рисунок в виде парных львов по сторонам древа жизни на шелковой материи IX—X вв., хранящейся в музее Ватикана.

Эти многоцветные ткани отличаются удивительно гармоничным сочетанием красок. На многих из них выдержанный в желтых тонах орнамент расположен на темно-зеленом фоне, а узоры желтовато-белого и сине-черных тонов — на пурпурном поле. Облачения из шелка, окрашенного в пурпур, долгое время считали прерогативой императора.

Производство этих изысканных тканей являлось государственной монополией, и продажа их иностранным купцам была в VIII—X вв. запрещена. В XI—XII вв., когда государственная шелковая монополия переживала острый кризис, экспорт подобных тканей сильно ограничивали.

Современные западноевропейские исследователи древнего текстиля для обозначения полихромных узорных тканей Византии употребляют термин «самит» (лат. «samita», «samitum», «exsamitum»). Под шелками типа самит понимают ткани сложного двухосновного саржевого переплетения с узорами, образованными утками различных цветов, в то время как основы создавали только структуру материй и скрывали неработающие утки. Плотность ткацкого изделия создавалась за счет нитей утков, и на 1 кв. см приходилось от 60 до 120 уточных нитей и только 26—45 основных. Большое количество густо расположенных нитей утков придавало тканям гладкую блестящую поверхность. Характерной чертой византийских материй является применение для основ тонкой, сильно крученой пряжи, а для утков — более толстой без крутки.

Важно отметить, что парчовые ткани, имевшие в переплетении металлические нити, в империи не вырабатывали. Серебряные позолоченные нити использовали только для изготовления узкой декоративной тесьмы и широко применяли для вышивок. Последние для большего декоративного эффекта дополняли отдельные элементы вытканного узора. Нередко золотное шитье покрывало всю поверхность ткани, как это видно на одеянии папы Льва III в Ватикане.

Роскошные византийские многоцветные материи, благодаря высокому качеству тканей и виртуозно выполненному рисунку, являются шедеврами ткацкого искусства. Они сохранились в небольшом числе в зарубежных музеях и ризницах католических соборов. В Западную Европу эти ткани попадали, вероятно, в качестве даров византийского василевса. Карл Лысый — король Франкского государства (840—877) охотно обла- {554} чался в шелковые, расшитые золотом одежды византийских императоров. Среди даров, посланных в 1081 г. Алексеем Комнином германскому императору Генриху IV, находились 100 кусков тканей пурпурного шелка. В ризницах соборов Хальберштадта и Бамберга хранятся великолепные шелка византийского производства (XII в.). Шелковые ткани типа самит проникали и в Восточную Европу. Полихромные материи с крупным узором воспроизведены на фресках Киевской Софии с изображением семьи Ярослава Мудрого, на миниатюре «Изборника Святослава» (1073 г.) с групповым портретом княжеской семьи, на фреске церкви Спаса Нередицы (1199 г.), где представлен новгородский князь Ярослав Владимирович в плаще из тяжелого шелка, обшитого золототканой

тесью. Многоцветный шелк с узором в виде гладких полос разной ширины со сгруппированными по четыре розетками найден в великокняжеской гробнице во Владимире на Клязьме. Фрагменты дорогих узорных шелков обнаружены и в захоронениях кочевнической знати южнорусских степей.

Византийский шелковый экспорт складывался в основном из продукции шелкоткацких мастерских Константинополя и Фессалоники, в которых вырабатывали двухцветные с несложным узором ткани, но преимущественно одноцветные, гладкие полотняного, саржевого и двухосновного сложносаржевого строения, менее плотные, чем материи, созданные в гинекеях. Среди них преобладали ткани, окрашенные корнями марены и лепестками сафлора (сафлор красильный — трава семейства сложноцветных) в красный цвет различных оттенков, — от чисто-красного до розовато-вишневого и коричневатого-красного тона, а также в синий цвет — красителем индигоносных растений. Эти ткани являются несколько упрощенным видом многоцветных шелков и значительно дешевле последних, так как работа с уточными нитями одного цвета значительно проще работы с утками различных цветов. Они получили широкое распространение на внешних рынках империи. Так, шелковые византийские безузорные ткани принадлежат к числу массовых находок на территории русских княжеств. Нередко гладкие ткани украшали золотной вышивкой. Под полом храма у селения Верхняя Теберда Ставропольского края при женском погребении XII в. найдены фрагменты византийского шелка с вышивкой золотными нитями парных орлиноголовых грифонов, стоящих на задних лапах, лисицы с большим пушистым хвостом и водоплавающей птицы. В XI—XII вв. крупными центрами шелкоткачества становятся Фивы, славившиеся производством пурпурных тканей, Коринф и Спарта, продукцию которых высоко ценили на всем Пелопоннесе.

В синтетическую художественную культуру Византии декоративно-прикладное искусство внесло огромный вклад. Обилие драгоценностей византийцы считали благом. Редкостно обработанное золото, серебро, слоновая кость, драгоценные камни оказывали гипнотическое воздействие на сознание людей, обладавших утонченной культурой зрения. В своем стремлении «избежать ночи» они тянулись к ярким контрастным цветам и все поглощающему свету. В произведениях лучших мастеров перед византийцами открывался возвышенный дематериализованный мир духовно прекрасных образов, внушавших любовь или трепетную надежду. Средневековые люди видели в вещах, этих немых и одновременно «говорящих» соучастниках жизни, источник помощи и утешения. С их сохранностью связывали как личное благополучие, так и благосостояние целых городов и областей. Даже люди Запада, которых возмущало богатство схизматиков-греков, обладателей самых почитаемых реликвий, не могли не поддаться очарованию этого искусства.

Византийское искусство, связанное с групповыми ритуальными действиями, было ориентировано на универсализм. Оно едино по коренным типовым признакам, так как отражало духовно-религиозную цельность средневековой культуры. Его сложно организованная иерархическая система представляла собой совокупность наиболее устойчивых образов — знаков смысловой коммуникации в рамках данной культуры.

Вместе с тем византийскому искусству присуща диалектика устойчивости и изменчивости, в нем сосуществовали нормативно-типологические и индивидуально-неповторимые тенденции. В русле коллективной традиции происходило органичное соединение сакраментальных тематических и стилевых установок с творческими новациями. «...Именно потому, что духовная стереотипность и замкнутость были заранее, как нечто само собой разумеющееся, заданы церковью средневековому человеку, тот был в гораздо большей степени человеком фантазии, чем гражданин индивидуалистической эпохи, и мог в каждом частном случае куда беззаботнее и увереннее дать волю личному воображению»⁵. В пределах одного сюжета существовало огромное разнообразие художественных мотивов.

В прикладном искусстве Византии гораздо нагляднее, чем в монументальном, выступают множественность традиций в ее культуре, неканонические, но равноправные с канонизированными формы, противоположные по нормативным принципам, наконец, подвижная открытость этой культуры. Утонченный христианский спиритуализм и аскетизм, санкционированный церковью авторитарный культ императоров, реминисценции античной мифологии и

⁵ Манн Т. Доктор Фаустус//Собр. соч. М., 1960. Т. 5. С. 477.

мотивы средневекового героического эпоса, магизм, издревле свойственный «низовой» культуре, но отнюдь не чуждый и верхам общества,— все это, вместе взятое, составляло нерасторжимое единство. Между разными направлениями не существовало жестких, неподвижных границ, они находились в постоянном взаимодействии многократных взаимных притяжений и отталкиваний. Даже в Константинополе, где создавали те общие эталоны, которые распространялись по огромной территории византийской империи и в зонах ее влияния, прикладное искусство представляло собой сложное, многослойное и богатое нюансами явление. Его широкий поток расходился по нескольким руслам. Еще в большей степени это применимо к провинциальным школам, изучение которых только начато. Различие течений зависело и от социальной неоднородности византийской культуры: в памятниках отражались вкусы и идейные позиции различных общественных группировок, поскольку мастера отражали взгляды той среды, в которой они работали.

Прикладное искусство помогает осветить некоторые формы общественного сознания и общественной психологии византийцев, многосторонне воссоздать духовный универсум, внутри которого они жили, ту сокровенную область религиозно-мифологических представлений о мире, о которых письменные источники нередко умалчивают. Это блестящее проявление византийского художественного гения невозможно понять и оценить вне целостного культурно-исторического контекста эпохи. {556}

17

Развитие музыкальной культуры

Особенности исторического развития византийского общества в IV—VI вв. привели к тому, что в музыкальном искусстве одновременно сосуществовали две противоборствующие и внешние как будто никак не связанные области. С одной стороны,— религиозная музыка, получившая широкое и чуть ли не общегосударственное распространение. Она звучала не только при богослужениях в многочисленных церквях и монастырях, но и проникала в самые различные сферы общественной жизни, начиная от официальных церемоний и кончая сферой домашнего музицирования. Основная причина столь широкого распространения религиозной музыки — громадное значение религии и церкви в жизни византийского общества. С другой стороны, несмотря на всяческие гонения и преследования, продолжала существовать народная музыка, истоки которой уходят в глубь веков. Она звучала там, где народные массы могли хотя бы ненадолго вырваться из тесных и канонизированных рамок церковного обихода, из-под опеки строгих блюстителей ортодоксальной религиозной нравственности: на народных гуляниях, во время древних свадебных обрядов и сохранившихся еще кое-где языческих праздников.

Церковь усердно и постоянно следила за музыкально-художественными вкусами верующих и делала все возможное, чтобы оградить их от влияния народной музыки, так как вместе с ней в среду прихожан проникал дух язычества. Но, несмотря на громадную работу, проделанную в этом направлении такими выдающимися деятелями церкви, как Климент Александрийский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Григорий Назианзин и другие, народная музыка продолжала оставаться тем притягательным источником, к которому тянулись. Не случайно несколько постановлений Шестого Константинопольского собора (680—681) были направлены на то, чтобы поставить новые преграды на пути распространения народной музыки.

Однако вопреки всем запретам и соборным установлениям народная музыка продолжала звучать. Скилица пишет о «непристойных шутовских и неудержимо крикливых лигисмах», о «сатанинских плясках и бессмысленных криках», о «песнях, собранных на перекрестках и в притонах» (Scyl. P. 243—244). Все эти бранные эпитеты относятся к жанрам народной музыки. О лигисмах упоминал еще Григорий Назианзин, призывая верующих обратиться к гимнам вместо тимпанов, к псалмодии «вместо безобразных лигисм» (PG. T. 35. Col. 709 B). Четыре столетия спустя 21-й канон Никейского собора (787) вновь вынужден напомнить о «сатанинских песнях, кифарах и развратных лигисмах». {557}

Лигисма — это женская песня. Предположительно возможны две этимологии самого термина «лигисма». Он может происходить от прилагательного *λιγύς* — голосистый, звучный, указывая на звонкость женских голосов. Вместе с тем, термин «лигисма» мог быть связан и с глаголом *λιγίζω* — изгибаю, закручиваю. Такое предположение подтверждает и анонимная схолия к вышеприведенному фрагменту Григория Назианзина, сообщающая, что лигисма — это «женоподобная песнь, сопровождаемая жеманством, изображающая разврат черни: вертеться, искусно танцуя и ломаясь, надрывая мелодии и голос... Называется эта песня от слова „лигос“. Лигос же, имеющее ударение на предпоследнем слоге,— ремнеобразное растение... Лигосом называется и страстное пение» (PG. T. 36. Col. 1255*). Согласно схолиасту, лигисма в представлении современников олицетворяла «страстное пение» не только из-за особенностей танцевальных движений, но и благодаря характеру вокального интонирования — извилистой, «закрученной» мелодической линии.

«Неясные крики», упомянутые Скилицей,— не что иное, как народные песни, исполняемые либо вообще без слов, либо сочиненные так, что слова в них не играли существенной роли, а служили неким «текстовым фоном» для свободного развития мелодии. Поэтому в сообщениях церковных деятелей, рассматривавших музыку лишь как помощницу для популяризации религиозных догматов и, следовательно, не признававших песен без слов, такие произведения именуются как «неясные» в отличие от «ясных», в которых текст был важным смысловым компонентом. Судя по сохранившимся отрывочным свидетельствам, существовало много разновидностей жанра «неясных» песен, когда певцы, не скованные рамками определенного текста, могли свободно проявлять свое мастерство импровизаторов. Особое распространение получили так называемые теретисмы, сохранившиеся еще с языческих времен. Эти песни, зародившись как подражание пению цикады, развились в сложные и многообразные формы вокальных импровизаций, где все зависело от вкуса и мастерства исполнителя.

Однако жанры народной музыки были посвящены не только образам веселья. В сохранившихся источниках, авторы которых были связаны с церковью, акцентируется внимание только на этой стороне народных песен, чтобы убедить верующих в их вредности и пагубности для нравственности. Но среди них существовали произведения с глубоким, порой трагическим содержанием. Например, Феофилакт Симокатта описывает песни куртизанки Родопы так: вместо того, чтобы возбуждать приятность, они несут печаль и похожи на песни трагедии, их мелодии «не прельщают, а учат целомудрию»¹.

Многочисленные жанры народной музыки были приняты в самых различных слоях византийского общества и, естественно, постоянно находились «на слуху», оказывая влияние на музыкальные вкусы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что прихожане, посещая церковь, использовали интонации народных песен в музыке богослужений. 75-й канон Шестого Вселенского собора категорически запрещает какие бы то ни было проявления такого песнетворчества в церкви: «Мы желаем, чтобы присутствующие в церкви не применяли бессмысленных воплей, не при-{558} нуждали [свое] естество к крикам, не добавляли не подобающих и не свойственных церкви [звучаний], а с великим вниманием и благочестием возносили псалмодии...»

Файл byz559g.jpg

Чаша, найденная в с. Вильгорт (Приуралье).

Серебро, чеканка, позолота, гравировка,

чернь. XII в. Ленинград, Гос. Эрмитаж (Деталь).

Необходимость в таком постановлении могла возникнуть только, когда в церковную музыку активно проникали чуждые ей элементы. Даже церковные певчие продолжительное время не могли освободиться от народных традиций. Это проявлялось и в непосредственных музыкальных заимствованиях из фольклора, и даже в самой форме выступлений псалмов. Известно, что 16-й канон Карфагенского собора запретил певчим кланяться после исполнения песнопений. Значит, еще на рубеже V—VI вв. церковные певчие чувствовали себя подлинными актерами и по традиции поклонами благодарили слушателей-прихожан за внимание.

¹ Epistolographi Graeci/Rec. B. Hercher. P., 1873. P. 769.

Все это говорит о том, что религиозная музыка не была каким-то совершенно обособленным феноменом, а постоянно находилась под влиянием народной музыки, которая, в свою очередь, также не могла не испытывать воздействия церковной музыки. Ведь они представляли собой две стороны единой византийской музыкальной культуры. Их взаимовлияние естественно и предопределено всем ходом развития византийского общества.

Еретические и иконоборческие движения также не могли не коснуться музыкального искусства. «Еретические традиции» в музыкальном искусстве не были полностью искоренены даже к концу VII в. Продолжали звучать песни, создание которых приписывалось Арию и другим еретикам. К сожалению, не сохранилось никаких свидетельств о музыке этих песен, получивших столь широкую популярность. Но нетрудно предположить, что по своим музыкальным свойствам они приближались к таким народным песенным жанрам, как «лигисма» и «теретисма». Связь между еретической и мирской музыкой отмечают и историки церковной музыки². Р. Шлёттерер считал, что Арий сочинял песни «в манере» произведений, звучавших в среде моряков, мельников и путешественников³. Значит, для византийской музыкальной культуры было обычным, когда одни и те же мелодии «подстраивались» под различные тексты (и, наоборот, одни и те же тексты нередко пелись на различные мелодии). Такая особенность византийской музыки с успехом использовалась для популяризации различных общественно-политических и религиозных идей. Благодаря этому многие народные мелодии играли немаловажную роль не только в художественной, но и в политической жизни, а некоторые из них, пережив эпоху еретических и иконоборческих движений, продолжали звучать, правда, уже с новыми текстами.

Обаяние народных мелодий, их подвижность, удивительная приспособляемость и популярность не могли не беспокоить церковь, так как, несмотря на все преграды и строгие соборные постановления, народные мелодии проникали даже в литургию. Оградить ее от столь сильного влияния можно было только радикальными мерами: созданием специального музыкально-поэтического церковного искусства, которое своими выдающимися художественными достоинствами способствовало бы ослаблению влияния фольклорной музыки; еще большей изоляцией музыкальных основ богослужения от внешних воздействий.

Первая половина задачи была осуществлена целой плеядой талантливых авторов нескольких столетий — второй половины VII—X в. Церковная традиция причисляет к ним Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Косьму Маюмского, деятелей Студийского монастыря — Феодора, Иосифа, Анатолия, Климента, Феоктиста, Петра, Симеона, подвижников монастыря св. Саввы — Стефана, Феодора, Феофана, монахинь — Кассию и Феклу, монаха Иерусалимского Сергия, Митрофана Смирнского, Иоанна Метафраста, Иоанна Камениата, аббата Павла, доместика Георгия, патриархов Константинопольских — Германа, Тарасия, Никифора I, Мефодия I, Фотия, Игнатия, императоров — Феофила, Василия I, Льва VI Мудрого, Константина VII Багрянородного, патриарха Иерусалимского Михаила и многих других. Однако вопрос об авторстве музыки гимнов, приписывающихся им, до сих пор остается открытым, так как его решение связано со многими трудностями.

Традиционная византийская терминология, применявшаяся для определения авторов текста и авторов музыки, дает основание для неоднозначных выводов. Принято считать, что термин «гимпод», подобно определениям «мелод» и «мелопий», обозначал создателя поэтического текста и музыки в первый период развития византийской культуры. С VII в. часто стал применяться термин «гимнограф», подразумевавший творца текста, соединившего его с мелосом давно существовавших песнопений. Трудно считать такого автора музыкантом, если его задача состояла только в том, чтобы «подогнать» текст под известную мелодию. Конечно, автор текста мог быть одновременно и творцом музыки, но не был им обязательно. В поздневизантийских и поствизантийских музыкальных рукописях, откуда мы черпаем основные сведения, существует путаница в применении терминов «гимнограф», «мелод», «гимпод», «асматограф», «мелург», «мусикос», что затрудняет выяснение истины. Эта проблема должна решаться индивидуально для каждого автора.

² Παπαγιωτοπούλου Δ. Γ. Θεωρι,`α και,` πρα,`ξις τη,`ς βυζαντινη,`ς ε,`κκλησιαστικη,`ς μουσικη,`ς. `Αθη,`ναι, 1982. Σ. 29.

³ Schlötterer R. Die kirchenmusikalische Terminologie der griechischen Kirchenväter. Diss. München. 1953. S. 66.

Так, есть серьезные основания полагать, что в большинстве случаев Иоанн Дамаскин не имел отношения к музыке, звучавшей с его текстами. Источники, близкие ко времени жизни Иоанна Дамаскина, ни словом не указывают на него как на автора музыки. Лишь словарь «Суда» впервые упоминает о нем как об «одареннейшем муже, дышащем прекрасной музыкой» (Suid. P. 649 (N 467)), а Георгий Кедрин — уже как о {560} «мелоде» (PG. T. 121. Col. 877). Вполне возможно, что укреплявшийся со временем авторитет Иоанна Дамаскина и его деятельность по упорядочению литургии способствовали тому, что ему стала приписываться и музыка песнопений, текст которых он создал. В связи с этим обращает на себя внимание, что многие песнопения, написанные Иоанном Монахом, по традиции также считаются созданиями Иоанна Дамаскина⁴. Не исключено, что Иоанн Монах был одним из многочисленных музыкантов, сочинявших музыку к текстам Иоанна Дамаскина. Но впоследствии свет яркого ореола, сиявший вокруг его личности и имени, вытеснил их. В подтверждение этого можно указать, что система нотации и музыкально-теоретические трактаты, приписывающиеся некоторыми источниками Иоанну Дамаскину, признаны более поздними интерполяциями⁵.

В отношении музыкального творчества других известных авторов, также многое остается неясным. Например, в связи с Косьмой Маюмским существует достаточно аргументированная версия о двух лицах, носивших имя Косьмы и живших в одно и то же время в Иерусалиме⁶. Не является ли один из них поэтом, а другой музыкантом? Здесь многое еще предстоит выяснить.

В музыкальных рукописях часто вместо имени автора музыки стоят обозначения: α,ῥχαῖον α,ῥσμα (древнее песнопение), μέλος α,ῥχαῖον, μέλος παλαιόν (древний мелос), παρ' α,ῥωνύμου τινός (какого-то неизвестного) или просто α,ῥχαῖον либо παλαιόν (древнее). Так обозначается наиболее древний пласт произведений, создававшихся до последней четверти XII в., т. е. до введения так называемой средневизантийской нотации. Скорее всего, это творчество неизвестных церковных и монастырских музыкантов — доместиков и протопсалтов, имена которых либо просто забылись, либо оказались закрытыми тенью, падавшей от прославленных имен знаменитых стихотворцев.

Но вне зависимости от того, создавалась ли музыка этих песнопений известными авторами, запечатленными в церковной традиции, или безвестными музыкантами, — многие из них, благодаря своим выдающимся художественным достоинствам, надолго вошли в репертуар богослужений. Их введение в церковный обиход сопровождалось вытеснением мелосов, признанных «мирскими» и отныне запрещенных в церкви.

Однако это была лишь одна сторона церковной музыкальной реформы. Другая же связана с канонизацией ладотональной системы — октоихом (ο,ῥκτώηχος, букв. восьмизвучие, традиционный русский перевод — восьмигласие), которая также способствовала изоляции церковных песнопений от всего «музыкального окружения».

Подробности канонизации октоиха утрачены и, как видно, навсегда. Сейчас можно делать по этому поводу только более или менее правдоподобные предположения, так как немногие сохранившиеся сведения не дают оснований для достаточно обоснованных выводов. Известно лишь, что уже во времена патриарха Севера (512—519) в церковной практике Антиохии использовался принцип октоиха, т. е. исполнение религиозных {561} песнопений было распределено между восьмью последовательными воскресениями. Как считается, термин «ихос» в этом смысле впервые встречается в рукописных памятниках в VI в. Так, патриарх Константинополя Иоанн IV (582—595) писал о «тропаре во втором ихосе» (PG. T. 88. Col. 1889 A). Исследования показали, что практика подразделений песнопений между восьмью воскресениями связана с особенностями древнейших восточных языческих богослужений⁷, откуда они были заимствованы некоторыми восточными христианскими общинами, а через них — византийской церковью. Таким образом, первоначальное значение термина «октоих» заключалось толь-

⁴ Stöhr M. Johannes Damascenos//MGG. Bd. 7. Col. 88.

⁵ Tillyard H. I. W. The Stenographic Theory of Byzantine Music//BZ. 1925. Bd. 25. P. 333.

⁶ Sade F. Cosma // New Catholic Encyclopaedia. 1967. Vol. 4. P. 360; Marzi G. Cosma il Melodo: Canone per il Natal//Vichiana. 1967. Vol. 4. P. 27—49.

⁷ Wachsmann K. Untersuchungen zum vorgregorianischen Gesang. Regensburg, 1935. S. 95; Werner E. The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First Millenium. L.; N. Y., 1959. P. 382, 396—397.

ко в указании на восемь различных групп песнопений, но впоследствии он стал применяться и для обозначения ладотональной системы.

Названия восьми ихосов в музыке такие: первый (ихос) — дорийский, второй — лидийский, третий — фригийский, четвертый — миксолидийский, плагальный первого (ихоса) — иподорийский, плагальный второго — иполидийский, плагальный третьего — низкий, или ипофригийский, плагальный четвертого — ипомиксолидийский. Среди них — четыре основных и четыре плагальных. Основные — первый, второй, третий и четвертый (ихосы). Плагальные же — плагальный первого (ихоса), плагальный второго, плагальный третьего, или низкий, и плагальный четвертого.

Каждый из ихосов представлял собой не какую-то совершенно обособленную ладотональную плоскость, а единицу всего «сообщества ихосов». Конечно, как и всякая ладотональная организация, ихосы были достаточно автономны. Но все они рассматривались византийскими теоретиками музыки как активно взаимодействующие между собой. Это проявлялось не только в том, что каждый основной ихос имел «свой» плагальный, но и в других взаимоотношениях внутри системы. В Cod. Gr. Laura 610 сообщается о «срединных ихосах», «потому что они находятся посередине между основными и плагальными [ихосами]. Так, для первого [ихоса] срединным является низкий. Он лежит посередине между первым [ихосом] и его плагальным. Для второго срединным [является] плагальный четвертого. Ибо он обнаруживается посередине между вторым [ихосом] и плагальным второго. Для третьего [срединным является] плагальный первого, потому что он находится посередине между третьим и низким. Четвертый же имеет срединным [ихосом] плагальный второго, так как он находится посередине между четвертым и плагальным четвертого». Раньше считалось, что срединные ихосы являются лишь теоретическими построениями, не имеющими ничего общего с практикой искусства. Но, когда в византийских музыкальных рукописях были обнаружены специальные указания на такие ихосы, взгляды ученых изменились, и сейчас они рассматриваются не только как теоретические формы, но и как явление художественной практики.

В настоящее время трудно дать окончательный и полный ответ на вопрос о сути системы ихосов. Самое распространенное мнение утверждает, что ихосы представляли собой не звукорядные последовательности, {562} а своеобразные мелодические формулы⁸. Эта точка зрения аргументируется по-разному, но наиболее убедительный довод основывается на том, что по звукоряду невозможно определить ихос. Например, общность звукорядов иподорийского и миксолидийского ихосов расценивается как одно из важнейших доказательств того, что звукоряд не мог являться отличительной чертой лада⁹. В качестве такого же серьезного аргумента указывается на тождественность звукорядов, из которых состоят формулы различных ихосов¹⁰. Однако всегда в таких случаях подразумевается тот звукоряд, который получается после транскрипции византийских невм на современный нотеносец. Материалы же музыкально-теоретических памятников дают основание считать, что система ихосов не исключала звукорядного понимания.

Византийская традиция приписывает создание системы ихосов Иоанну Дамаскину. Он принимал самое активное участие в реформе церковной службы: заимствовал из сирийской церкви основной репертуар песнопений, систематизировал его и приспособил для нужд византийских церквей и монастырей¹¹. Поэтому нетрудно понять, почему византийская традиция приписала ему и создание системы ихосов: упорядочение песнопений церковной службы и систематизация ладотональных форм рассматривались в русле одной и той же реформы литургии. Однако исследователи с полным основанием относят создание октоиха ко времени, предшествовавшему жизни Иоанна Дамаскина.

Было бы неверно рассматривать канонизацию системы ихосов только как барьер на пути проникновения народной музыки в церковь. Конечно, введение строго установленных ихосов в музыкальную практику богослужений было сильным средством для искоренения явных

⁸ *Velimirović M.* Byzantine elements in early Slavic chant: The Hirmologion. Copenhagen 1960 P 61—67; *Thodberg Ch.* Der byzantinische Alleluiazzyklus. Kopenhagen, 1966. S. 157.

⁹ *Reese G.* Music in the Middle Ages. N. Y., 1940. P. 156.

¹⁰ *Ibid.* P. 163.

¹¹ *Wellesz E.* A History of Byzantine Music and Hymnography. Oiford, 1961. P. 139.

мирских влияний на церковную музыку. Ведь система октоиха закрепила теоретически новые тенденции в ладотональном мышлении эпохи. В основе же народных песен, как правило, лежали древние принципы звуковысотной организации. Именно поэтому октоих стал тем фильтром, который мог отделить древнее языческое и связанное с ним мирское музыкальное творчество от нового, рассматривавшегося как подлинно христианское.

Здесь не должно смущать то обстоятельство, что в новой музыкально-теоретической концепции октоиха присутствовали иногда архаичные термины, использовавшиеся еще в древнегреческом музыкознании («дорийский», «фригийский», «лидийский» и т. д.). Во-первых, любой новый шаг в музыкальной теории основывается на достижениях прошлого. Во-вторых, «языческие» термины были в данном случае лишь средством для популяризации новых положений, которые могли успешнее и быстрее распространяться в среде музыкантов, когда они сопоставлялись со старыми, хорошо известными. Значит, октоих стал теоретическим выражением новых, отличных от античных, форм ладотонального мышления. Следовательно, канонизация системы ихосов была величайшим достижением византийской науки о музыке. Именно в Византии впервые были теоретически сформулированы и введены в художественную практику те {563} принципы звуковысотной организации музыкального материала, которые были позаимствованы Западной Европой и просуществовали в европейском теоретическом музыкознании вплоть до эпохи Возрождения.

Упорядочение богослужения способствовало закреплению в церковной музыкальной практике определенных жанров, как сложившихся еще на заре христианства, так и возникших в процессе развития византийской музыки. Из старых, освященных традицией жанров особенно активно продолжали культивироваться псалом и антифон. Но псалмы исполнялись уже не в своем первоначальном простом виде, а с краткими фразами, вставляемыми между псалмовыми стихами, что называлось «гипопсалма». Сам же псалтырь был разделен на 20 разделов, именованных «кафисмами». Каждая кафисма, в свою очередь, подразделялась на три «стасиса» (στάσις — расстановка, позиция), содержавших приблизительно по три псалма. Все это результат продолжавшейся регламентации художественного материала, который использовался при богослужении.

Начиная с середины VII в. самым популярным жанром становится канон — музыкально-поэтическая композиция, исполнявшаяся во время утренней службы. Канон содержал девять разделов, называвшихся «одами». Каждая ода представляла собой поэтический пересказ девяти библейских песен из Нового и Ветхого заветов: обычно ода состояла из четырех, а иногда и более, строф-ирмосов.

Такова формальная структура канона. Среди существующих предположений о причинах введения канона в музыкальную практику наиболее достоверным представляется то, которое связывает его распространение с музыкальными особенностями этого жанра. В отличие от своего предшественника, кондака со строфами, певшимися на одну и ту же мелодию (исключая вступление), в каноне каждая ода исполнялась либо на совершенно, либо на относительно новую мелодию. Это способствовало разнообразию музыкального материала, более сильному эмоциональному воздействию на слушателей и в конечном счете больше соответствовало задачам музыкального оформления богослужения. В результате канону удалось сравнительно быстро вытеснить кондак и получить широкое распространение. Каноны стали создаваться в бесчисленных количествах, буквально для каждого праздника. К XI в. их накопилось так много, что церковь сочла необходимым запретить дальнейшее введение канонов в литургию.

Другим популярным жанром этого периода стал тропарь. Первоначально он представлял собой краткую молитву, следовавшую за стихом какого-либо псалма. Можно предполагать, что сам термин «тропарь» произошел от греческого ο; τρόπος, который в античной музыке обозначал тональность. Первое упоминание о тропаре относится к началу VI в. (PG. T. 86. Col. 17). По всей видимости, вначале этим термином называли мелодическое построение, связанное с определенной тональностью, либо комплекс интонаций, завершавших произведение, его заключительную «каденцию», где наиболее полно проявляются черты данной тональности, а текст уже не играет никакой роли. Правда, позднее, когда постепенно забывались детали становления и начального развития жанра тропаря, его наименование стали возводить к глаголу τρέπω (поворачиваю, направляю). Однако и при такой этимологии связь с ладотональной сутью произведения не прерывалась. {564}

Тропари получили весьма широкое распространение. Их сочиняли ко всем праздникам, ко всем торжественным событиям и к дням поминовения святых. Тропарь становился чуть ли не основной ячейкой византийской гимнографии. Его значение особенно возросло после периода иконоборчества, когда упорядочивалось богослужение. Но тропарь не был самостоятельным произведением, а служил частью более крупной музыкально-поэтической композиции. Поэтому тропари имели несколько разновидностей, зависящих от их функции в большом художественном построении. Например, композиция, основанная на пении псалмовых стихов (особенно из псалмов 116, 129 и 141) с вставленными между ними тропарями, называлась «стихирой» (от «стих» — термина, применявшегося чаще всего к стихам Ветхого и Нового заветов). Тропарь, введенный в определенные каноны (чаще всего после третьей оды), назывался «ипакои».

Каждый музыкальный жанр имел свое место в богослужении. В конкретные церковные праздники пелись строго установленные песнопения, причем в заданном ихосе. Более того, была строго регламентирована последовательность молитв и пения. Хоровые произведения исполнялись либо правым хором, либо левым (встречающиеся иногда в древних «Типиконах» упоминания трех хоров, как видно, предполагают два хора певчих и хор «народа», т. е. прихожан). Хоры участвовали в литургии то порознь, то одновременно. Они не только пели, но и нередко двигались: в установленные моменты богослужения правый и левый хоры могли меняться местами. Песнопения исполнялись не только хорами, но и солистами-псалтами, что также было оговорено в литургических установлениях. Нередко одновременно пели два или три псалта. Среди псалтов были певцы с выдающимися вокальными данными.

Сложность и многоплановость музыкального оформления богослужений требовали умелого организационного и художественного руководства всей массой певчих. Организация хора постоянно менялась и была различной в церковных, монастырских и дворцовых хорах. Музыкальные и организационные функции переходили от одной должности к другой. Кроме того, во многих источниках одна и та же должность зачастую именуется по-разному. Естественно, это затрудняет изучение организационной структуры византийского хора и ее развития.

Термин «канонарх» впервые упоминается на рубеже V—VI вв.: им называли монаха, который ударами палки призывал братию к пению (*κανων—αρχεῖν*). Три столетия спустя в ямбах Феодора Студита глаголом *κανωναρχεῖν* определяется то, что по-современному может быть обозначено как «суфлирование» (PG. T. 99. Col. 1784 B). В связи с этим возникает предположение, что в монастырских хорах первоначально обязанностью канонарха было незаметно подсказывать певчим основной тон ихоса и текст. В монастырском хоре была должность и эклесиарха. Но в различных источниках сведения о ней противоречивы.

Самую важную должность в церковных хорах выполняли доместики. Они были наиболее профессионально подготовленными музыкантами и осуществляли художественное обучение хоров (судя по источникам, они имели и другие, немusикальные, обязанности). Доместики выучивали с певчими весь комплекс песнопений, необходимых для богослужений. Именно доместик осуществлял хирономию — своеобразную жестикуляцию, посредством которой можно было напоминать певчим движение ме-⁵⁶⁵лодической линии и держать хор в едином ритме. Доместик должен был обладать хорошим голосом, так как в основном он исполнял сольные номера и фрагменты. В обязанности доместика входило также соблюдение установленной последовательности песнопений во время богослужений. Каждый из двух церковных хоров имел своего доместика.

Согласно Псевдо-Кодину, дворцовый хор в отличие от церковного имел четырехступенную иерархию, протопсалт, доместик, лампадарий и магистр (*Ps. Cod. P. 214*) (вместе с тем имеются свидетельства, что доместик левого церковного хора иногда назывался «протопсалтом»). Протопсалта нередко именовали регент и запевала. Протопсалту надлежало «обучать гимнодии, наблюдать за певцами и мелодиями, за ритмом и порядком установленных песнопений».

Должность лампадария вначале была связана только с обязанностью нести свечу во время богослужения. Затем ее нес певчий, имевший хороший голос и исполнявший отдельные сольные построения. До XI—XII вв. учителем певчих был «магистр» (впоследствии, однако, этим термином именовали самых выдающихся творцов церковной музыки). Судя по уставу

Студийского монастыря, функции domestikов в монастырских хорах некоторое время исполняли таксиархи (PG. T. 99. Col. 1709).

Большая роль музыки в церковной, монастырской и государственной жизни вынуждала заботиться о подготовке певчих, способных правильно и на высоком художественном уровне исполнять всю музыкальную часть богослужений. Такие певчие воспитывались с детства при церквях и монастырях. Они с самого раннего детства приобщались к религиозной музыке, участвуя вместе со взрослыми во всех богослужениях. Особенно активно подготовка певчих осуществлялась в монастырях. Здесь сам уклад жизни, насыщенной песнопениями, способствовал музыкально-религиозному воспитанию и обучению. Буквально на каждый день монастырской жизни полагались свои песнопения. За нарушение установленного порядка песнопений предписывались определенные наказания. Например, предполагалось 100 поклонов за непропетый канон (Ibid. Col. 1748) и за опоздание к псалмопению (Ibid. Col. 1753). Но это была лишь одна сторона воспитания будущих певчих. Другая же связана с приобщением к выдающимся образцам византийской церковной музыки и с овладением всеми теми навыками, которыми должен был обладать певчий.

Каждый из них был обязан не только хорошо владеть вокальным искусством, но и держать в памяти текст и музыку абсолютного большинства песнопений, использовавшихся при богослужениях. До введения в церковный обиход нотации это было основное и единственное средство для изучения певчими всего музыкального наследия. Необходимо было осваивать новые произведения, сохраняя в памяти уже изученные. Впоследствии многие из певчих становились domestikами, лампадариями, протопсалтами, что также требовало соответствующей подготовки: умения руководить хором, выучивать с ним весь обширный репертуар песнопений; владения искусством хиромнии; блестящего знания всех деталей богослужений и, самое главное, способности к сочинению новых произведений. Поэтому приобщение к навыкам композиторского творчества также должно было входить в систему подготовки певчих. В «Житии» Феодора Студита говорится, что из монахов выходили «церковные певчие, создатели кондакарей и песнопений» (Ibid. Col. 273). После того {566} как «курс» был пройден, проводился торжественный акт посвящения в певчие, сопровождавшийся определенным ритуалом.

Активное развитие византийского музыкального искусства, естественно, привело к созданию нотации. Существование самой ранней византийской нотации — палеовизантийской — в настоящее время относят к X—XII вв. В распоряжении науки сейчас имеется пять рукописей с вариантами палеовизантийских форм нотного письма, в большей или меньшей степени отличающихся друг от друга. Раньше ученые склонны были считать наиболее архаичной разновидностью нотацию, использовавшую в ипостасах¹² букву «тету» (θ). Поэтому она условно именовалась «нотация теты»¹³. Второе место после нее отводилось «эсфигменской нотации», получившей свое название от рукописи Эсфигменского монастыря на Афоне. Затем рассматривалась «шартрская нотация» (по фрагменту рукописи из муниципальной библиотеки города Шартра, шифр 1754). Потом следовала так называемая «андреевская нотация» (по Cod. 18. Fol. 14 из скита св. Андрея на Афоне). Завершала обзор палеовизантийских нотаций самая поздняя из них — «коаленская» (по Cod. Coislin 222 Парижской национальной библиотеки). Таким прежде представлялось историческое развитие палеовизантийского нотного письма. Однако Оливер Странк показал, что все эти разновидности могут быть сведены к двум основным — шартрской и коаленской, использовавшихся в различных областях¹⁴. Он считал, что обе нотации выросли из более ранней, применявшейся в Палестине, и представляли собой ее дальнейшее развитие, а все остальные палеовизантийские нотационные формы были их вариантами¹⁵.

Так как знаки палеовизантийской нотации не указывали точный интервал между звуками, а лишь определяли направленность мелодического движения (вверх или вниз), ученые

¹² «Ипостасы», или «большие ипостасы», — позднее вспомогательные знаки, посредством которых обозначались ритмические формы или различные исполнительские приемы, а в палеовизантийской нотации под ними нередко подразумевались небольшие мелодические обороты.

¹³ Raasted J. A Primitive Palaeobyzantine Musical Notation // *Classica et Mediaevalia*. 1962. Vol. 23. P. 302—310.

¹⁴ Strunk O. The Notation of the Chartres Fragment // *Annales Musicologiques*. 1955. T. 3. P. 34—37.

¹⁵ Strunk O. *Specimina notationum antiquorum*. Copenhagen. 1965. P. 15.

пришли к выводу, что основное назначение нотации заключалось в том, чтобы дать возможность певцу только восстановить в памяти основные мелодические контуры старого известного сочинения¹⁶. Ознакомиться с новым произведением по рукописи было невозможно. Но, несмотря на все свои более чем скромные возможности, эта нотация все же была подспорьем в музыкальной практике.

Обширность и разнообразие музыкального репертуара вынуждали не только искать метод записи песнопений, но и приводили к созданию «литургических книг» — рукописных сборников, в которых фиксировались песнопения: либо только текст, либо текст с нотацией. Считается, что древнейшей такой литургической книгой, появившейся в VIII в., {567} был «Стихирарий» — собрание стихир¹⁷. Первоначально это была небольшая по размерам рукописная книга. Предположительно такие сборники впервые возникли в Константинополе и содержали музыкальный репертуар, исполнявшийся в церкви св. Софии и в Студийском монастыре¹⁸. В «Стихирарий» входили стихиры, «имеющие собственный мелос», — строфы для праздников церковного года с собственной мелодией. Постепенно небольшие сборники увеличивались в объеме и к XI—XII вв. превратились в солидные кодексы, ставшие громоздкими и неудобными для применения. Поэтому в XI в. начинается процесс дробления «Стихирария», и материал, связанный с отдельными праздниками, формируется в особые сборники. Одновременно использовались сокращенные варианты «Стихирария», организуемые в каждой области по местным соображениям: из сборника удалялись те стихиры, которые по тем или иным причинам перестали исполняться в данной церкви или монастыре.

Другим ранним собранием был «Ирмолог», содержащий в порядке ихосов ирмосы канонов церковных праздников. Такие сборники получила большое распространение.

Общественная жизнь византийского государства также не обходилась без музыки. Исследуя известное сочинение императора Константина VII Багрянородного «О церемониях византийского двора», Ж. Гандшин выявил сообщения почти о 400 песнопениях, исполнявшихся по различным поводам¹⁹. Здесь и песня-шествие, и песня, сопровождавшая конную процессию, и хоровод, и пение при императорском застолье, «аккламации», и специальные гимны, звучавшие во время обрядов посвящения в патрикии и назначения епарха, и т. д.

Важное место отводилось музыке в жизни византийской армии, которая заимствовала многое из военной музыки римлян. Насколько можно судить по различным источникам, наиболее распространенным инструментом в византийской армии была букцина. В некоторых свидетельствах как синоним названия «букцины» используется термин *ταυραία* (PG. T. 107. Col. 741). Такое название (от греч. *ταῦρος* — бык) говорит о характере звучания инструмента. Существовало несколько разновидностей букцины, разница между которыми еще не изучена. Маленькую букцину называли иногда «тубой» (Ibid.). В источниках упоминается и другая разновидность букцины — скиталий. Во время сражения букцинист занимал место рядом с страстигом и по его указанию подавал различные сигналы, служившие понятными для войск приказами. Например, особыми фанфарами букцины подавались сигналы к движению и остановке кавалерии. В каждом значительном воинском подразделении был свой букцинист. Активно использовались также труба²⁰ и ручной барабан, звучавшие, когда нужно было дать сигнал к началу сражения (*Leon. Diac.* I. 7—8; II. 6: III. 1). Звуки трубы возвещали и окончание сражения (*De velitat. bellica.* 17).

Музыкальные инструменты использовали и при осуществлении военных «тактических хитростей». Например, в трактате «Тактика», который {568} приписывается императору Льву VI Мудрому, дается такой совет будущему стратегу: «Когда ты наступаешь с большим войском, звучи одной или двумя букцинами, чтобы неприятель подумал о маленьком отряде. Если же ты имеешь маленькое войско, звучи многими букцинами, [как] бывает когда наступает мно-

¹⁶ *Palikarova-Verdeil R.* La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (du IX^e au XIV^e siècles). Copenhague, 1953. P. 115—123; *Floros K.* Die Entzifferungen der Kondakariennotation//Musik des Ostens. 1965. Bd. 3. S. 7—71; 1967. Bd. 4. S. 12-44.

¹⁷ *Lazarević St.* Στιχηράριον//Bs. 1968. T. 2. P. 288.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ *Handschin J.* Das Zeremoniewerk Kaiser Konstantins und die sangbare Dichtung. Basel, 1942. Passim.

²⁰ Не исключено, что в некоторых случаях «тубой» называли «букцину».

го [войска]» (ГЛ. XVII. 28). В византийской армии при богослужениях было принято исполнять все установленные в таких случаях песнопения (Ibid. XI. 21; XII. 115).

Со второй половины IX в., начинает проявляться интерес к античной музыкальной культуре. Он был связан со стремлением византийцев понять духовные достижения древности и осознать себя как ее наследников. Противоборство между языческой и христианской музыкой в конце концов завершилось победой последней. Поэтому на новом этапе развития частичное внимание к музыкальной культуре античности никак не могло остановить победного шествия христианской музыки, проникшей во все уголки византийской жизни и прочно укрепившейся в быту и сознании людей. К тому же подлинно древняя музыка уже перестала существовать как живое искусство, так как в корне изменилась музыкальная практика и навсегда ушли в прошлое нормы художественного мышления, лежавшие в ее основе.

От древней музыки сохранились лишь теоретические памятники, повествующие о ее звуковой системе и особенностях музицирования. Поэтому наиболее культурную часть византийского общества начинают привлекать сочинения древнегреческих музыкальных теоретиков. Их собирают, переписывают и изучают. Так, по приказу императора Константина VII Багрянородного создается собрание выдержек из трудов древнегреческих теоретиков музыки. Благодаря деятельности ученика патриарха Фотия, неутомимого собирателя древнегреческих рукописей архиепископа Кесарии Каппадокийской Арефы (850—932) был сохранен такой ценный памятник античной культуры, как «Ономастикон» Поллукса (Юлий Полидевк — автор II в. н. э.). В этом сочинении много материалов, связанных с древней музыкой, особенно о музыкальных инструментах и музыкантах-инструменталистах. Созданный в X в. знаменитый словарь Суда также содержит большое число статей по античной музыке. Начинают упоминаться древнегреческие мифы о музыке и музыкантах (PG. T. 133. Col. 1263).

Знания о древней музыке становятся характерной приметой культурного человека. Когда Арефа подвергает критике своего идейного врага — Льва Хирсфакта (также знатока и поклонника античности), то в памфлете «Хирсфакт, или Ненавистник чародейства» он представляет самого Хирсфакта и его приверженцев в пародийном духе, уподобляя их «музыкальному хору», участники которого не знают ни науки верной гармонии, ни учения о звуках, а также не имеют никакого представления об интервалах, родах, системах, тональностях, модуляциях²¹, — т. е. всего того, что составляет содержание древнегреческой теории музыки. Незнание основ античной науки о музыке расценивается как невежество.

Внимание к античной музыке в самых образованных слоях византийского общества подтверждается и некоторыми сочинениями XI в. Одно {569} из них — раздел трактата, посвященного четырем «математическим наукам» (арифметике, музыке, геометрии и астрономии), «Обстоятельный обзор музыки», другое — сочинение Михаила Пселла «На возникновение души у Платона». В них довольно подробно излагаются основные положения древнегреческого музыкознания: определение музыкального звука и интервала, описание «совершенной системы», математические выражения интервалов, рода и т. д., что убедительно доказывает активизацию внимания к древнегреческой музыке. Сохранилось также несколько писем Михаила Пселла, содержание которых посвящено вопросам музыки и музыкальной эстетики²². Здесь платоновское влияние безгранично. Пселл следует за великим древнегреческим философом во всем: начиная от толкования «музыкальных соразмерностей» мира и кончая пониманием основной цели музыки, заключающейся, по его мнению, в «исправлении нравов и лечении страстей».

Все это были серьезные симптомы «музыкального ренессанса», который в полной мере заявит о себе в XIII в. {570}

²¹ Шангин М. А. Византийские политические деятели первой половины X в. // Византийский сборник. М.; Л., 1945. С. 237.

²² Abert H. Ein ungedruckter Brief des Michael Psellus über die Musik // Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft. 1900—1901. Bd. 2. S. 333—341.

Быт и нравы

Среди серьезных перемен, переживаемых Византийской империей с середины VII в., важное место занимали перемены этнического характера. Наиболее ощутимо они сказались на Балканском полуострове, куда в большом числе устремились славяне, авары, болгары. Сильно затронутой этническими переменами оказалась и Малая Азия, где осело множество арабов, персов, грузин, армян. После ряда успешных военных кампаний, проведенных византийцами, начиная с правления Никифора II Фоки, в отвоеванные области Малой Азии (особенно Месопотамию) переселяется масса сирийцев-яковитов и армян, которые существенным образом изменяют и этническую, и культурно-религиозную ситуацию и данном регионе¹. Вместе с тем здесь, особенно в деревнях, остается немало мусульманского населения, упорно придерживавшегося своих старых традиций.

С середины XI в. начинается приток на территорию Византии турок, заметно усилившийся после битвы при Манцикерте. В том же веке в империи оказалось немало англосаксов, которые служили в византийской армии. Закончив службу, они оставались в Византии, смешиваясь здесь с автохтонным населением². С приходом к власти Алексея I Комнина в Константинополь и другие города империи переселяется немало итальянцев.

Тесно связанным с этническими переменами оказалось значительное увеличение удельного веса сельского населения империи и — соответственно — сельских поселений в сравнении с городскими. Деревни, в которых обитала теперь большая часть подданных империи, были обычно невелики, насчитывая в среднем от 10 до 30 дворов³. Дома строили из камня или камыша; земляной утрамбованный пол обмазывался глиной, крыши покрывали черепицей, тростником или соломой. В западной части Малой Азии стены домов делали из ивняка, обмазанного глиной. Жилища бедняков на Керкире походили на шалаши сторожей: на крышах были щели, через которые в помещение попадал дождь и проникал холод.

К крестьянскому дому обычно примыкали сад и огород, которые ограждали частоколом (Зем. зак. С. 116, 118, 120). Здесь выращивались огурцы, капуста, всякого рода зелень, различные сорта винограда. {571}

Жители деревень, крестьяне-общинники, сообща пользовались лугами, пастбищами, лесами; сообща нанимали пастуха и сторожей полей. Сообща решали дела, касающиеся строительства мельницы, устройства водоемов, разрешали различного рода споры. Сообща они устраивали праздники и крестные ходы, сообща хоронили.

Но нравы в общине не были столь идиллическими, как это может показаться на первый взгляд. На основании того же Земледельческого закона можно заключить, что селяне подчас воровали друг у друга лопаты, мотыги, топоры, плуги, зерно и т. д. (Там же. С. 105, 118—119, 121), обрезали колокольчики у чужого скота (Там же. С. 108), крали волов и ослов (Там же. С. 112), убивали сторожевых собак (Там же. С. 117), жгли чужие сараи (Там же. С. 120) и даже разбирали чужую изгородь для постройки своего дома. (Там же. С. 120).

К концу IX в. община внутренне ослабевает, часть общинников оказывается в кабале у богатых соседей, многие переходят на положение зависимых крестьян. Под власть динатов попадают целые деревни. Формируется крупное землевладение, феодальное по своей сути. Основным его центром становится Малая Азия. Облик нового поместья можно представить, исходя из данных «Геопоник» и других исторических источников того периода. Оно могло быть разных размеров — от обширного имения с господским домом в качестве его центра до относительно небольшого владения типа хутора.

В одном из документов XI в. сохранилось описание имения, подаренного императором Михаилом VII Дукой двоюродному брату Андронику Дуке. Оно состояло из нескольких земельных участков, содержащих в себе в целом 7300 модиев (более 700 га) пахотной земли. Сам магнат жил в усадьбе, называвшейся Варис, в большом господском доме, со всех сторон окруженном террасой. Полы в доме и на террасе были выложены мрамором. Возле дома находи-

¹ *Dagron G.* Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient byzantin à la fin du X^e et au XI^e siècles. L'immigration syrienne//TM. 1976. Т. 6. P. 186—198.

² *Walter G.* La vie quotidienne à Byzance au siècle des Comnènes. P., 1966. P. 153.

³ *Литаврин Г. Г.* Как жили византийцы. М., 1974. С. 5.

лись просторные бани, местами также облицованные мрамором. В пределах усадьбы располагались и различного рода хозяйственные постройки: амбар, состоящий из двух отделений — подвала, где хранились скоропортящиеся продукты, и верхнего помещения, куда складывался хлеб; отдельные строения предназначались для ссыпки зерна, соломы и мякины. Имелись при усадьбе также конюшни, хлевы для скота (ММ. V. 6. P. 5—7).

К господскому дому обычно примыкал сад, где росли яблони, груши, вишни, сливы, персики, финиковые пальмы, лимонные деревья, айва, гранаты, смоковницы, фисташковые и миндальные деревья, каштаны, орехи (Геопоники. С. 172—203). Все пространство между деревьями было занято цветами — розами, лилиями, фиалками, шафраном (Там же. С. 27). Особенно любили розы, считая, что в их природе «есть что-то божественное» (Там же. С. 210. Гл. 18). Разведение цветов преследовало не только эстетические цели. Их использовали как средство борьбы с болезнями. Считалось, что с помощью плюща излечивается больная селезенка (Там же. С. 213. Гл. 30), нарцисс «хорошо охлаждает» (Там же. С. 212. Гл. 25), а розы «помогают больным глазам» (Там же. С. 210. Гл. 18). Помимо того, из роз делали ароматические смеси (Там же. С. 27). Особое место в имениях занимали виноградники, где выращивались многие сорта винограда, различавшиеся между собой цветом, размером и формой гроздьев, а также сроками созревания. (Там же. С. 108). {572}

В опозитизированном виде предстает перед нами усадьба Дигениса Акрита, где среди чудесного сада, в котором «лозы чудные свисали винограда... и розы цветом пурпура окрашивали землю», возвышался большой прямоугольный дом, построенный из тесаного камня. Крыша дома и его полы были покрыты мрамором. Внутри здания были помещения с тремя высокими сводами. «Покои крестовидные, причудливые спальни» сверкали разноцветным мрамором. Полы в покоях были облицованы ониксом, отполированным так, что всякому казалось: «Замерзли капельки воды и льдинки пол покрыли». По бокам здания находились триклинии с золотыми сводами. Их стены были украшены мозаичными сценами, изображавшими подвиги героев Илиады, Самсона и Давида, чудеса Моисея и т. д. (Диг. Акр. С. 108—111). Характерно это причудливое смешение сюжетов античных и библейских.

Центром господского дома в реальном имении того периода обычно являлся просторный зал — столовая. В поместье Филарета Милостивого в таком зале стоял большой круглый стол слоновой кости, отделанный золотом. За ним одновременно могли сидеть тридцать шесть человек (Виз. лег. С. 106). Господский дом в упоминавшейся выше усадьбе Варис располагал большим помещением с куполообразным потолком, опиравшимся на четыре колонны (ММ. VI. P. 6). Важная роль в ансамбле поместья отводилась церкви. Без нее усадьба была просто немислима. В Варисе была большая церковь, с куполом, покоившимся на восьми колоннах, с хорами и мраморным полом (Ibid. P. 5).

Городские дома знати мало чем отличались от сельских, но сами города претерпели существенные изменения. Многие из них пришли в запустение, другие сильно сократились в размерах. Афины, например, стали занимать территорию всего лишь в 16 га, в то время как античный город располагался на территории в 125 га⁴. Меняется и общий вид города. Строгой планировки больше не существует. Улочки становятся путанными и кривыми. Большая часть зданий — небольшие скромные дома, нередко состоящие из одной лишь комнаты площадью 5 м², в центре которой находился полукруглый каменный очаг⁵.

Монументальные центры в городах прекращают свое существование. В Коринфе, после того как в IX—X вв. он вновь начал оживать, прежняя агора стала застраиваться церквями, мастерскими, лавками. Прямо в середине площади, на том месте, где некогда выступали ораторы, была воздвигнута часовня. Агора продолжала оставаться центром, но уже не всего города, а лишь одного из его кварталов. В XII в. коринфскую агору продолжали застраивать. В западной ее части был воздвигнут монастырь св. Иоанна, а на руинах нижней агоры был построен другой монастырь⁶.

⁴ Bon A. Le Peloponnèse byzantin jusqu'en 1204. P., 1951. P. 63; *Каждан А. П.* Византийская культура. М., 1968. С. 16.

⁵ Foss C. Byzantine and Turkish Sardis. L.; Harvard, 1976. P. 76.

⁶ Scranton R. L. Medieval Architecture in the Central Area of Corinth. Princeton, 1957. P. 16.

Аналогичные изменения произошли и в Афинах, где агора также была застроена церквями и жилыми домами. Происходит так называемая городская дезинтеграция. В Сардах, например, на месте компактного города поздней античности возникает несколько практически изолированных друг от друга поселков с собственными цистернами для воды и часовнями⁷. Вместо некогда одного городского центра появляется, таким образом, несколько центров, вместо одного храма создается множество. В Герасе было построено 12 церквей, в Афинах около 14⁸. Словом, теперь в городах нет ничего единственного, но все повторяется.

По воле завещателя в церковь или мавзолей обращались жилые дома. Таким образом, даже внешний облик культового здания не всегда отличался от обычного жилого помещения. Сама структура города сильно изменилась: церкви, монастыри, мавзолеи возводились не в каком-то определенном порядке, а строились на «святом» или памятном месте, а то и на месте фамильной усыпальницы⁹.

Других общественных зданий в провинциальных городах вообще не строили. Это касается, в частности, бань, которые в ранневизантийский период играли весьма важную роль в архитектурном ансамбле города и являлись нормальным элементом городского быта¹⁰. В VII — начале IX в. бани функционируют главным образом в частных усадьбах, и поскольку таковые, как только что упоминалось, нередко превращались в культовые здания, то городские бани теперь чаще существуют именно при церквях, домах епископов и монастырях¹¹. Более того, и отношение к баням заметно изменилось. Если раньше регулярное посещение городских бань было общепринятой нормой поведения, то в данную эпоху это зачастую вызывало осуждение, особенно со стороны аскетов, идеалом которых было умываться не иначе, как слезами. Строительство общественных бань возрождается лишь с начала IX в., но в провинциальных городах они все же остаются редкостью, и возведение их всецело зависело от воли епископа, местного феодала или богатого монастыря¹².

Резкий контраст с этими скромными городскими поселениями являли немногие сохранившиеся крупные города империи, такие, как Фессалоника и, конечно же, столица Византии — Константинополь, который настолько отличался от других, захиревших, городов, что и само слово «город» стало относиться в первую очередь именно к нему и нередко служило синонимом к слову «Константинополь». Центральная улица города — Меса, масса церквей и монастырей, дворцы — особняки знати, наконец, Большой императорский дворец, заново отстроенный при Комнинах, — все это было отделано мрамором и украшено мозаикой, изделиями из золота, серебра, драгоценных камней. Подчас и двери зданий представляли собой подлинные произведения искусства (у дверей одной из церквей Большого дворца даже петли и задвижки были сделаны из серебра (*Робер де Кларк*. С. 59)).

Наряду с великолепными императорскими дворцами и особняками знати в столице было немало убогих жилищ, где ютилась городская беднота и где очагом служила часто всего лишь простенькая жаровня, наполняемая углями¹³. Большинство улиц города были узкими и тесно застроенными, а их мостовые покрыты отбросами, источавшими зловоние. По некоторым из них было даже небезопасно продвигаться. В житии царицы Феофано (жены Льва VI) говорится, например, как в переулке Вона, настолько темном, что он постоянно озарялся лампами-фонарями, на проезжавшего всадника набросилась полупомешанная нищая, живущая здесь в одной из грязных каморок¹⁴.

В византийских городах произошло еще одно важное изменение, которое коснулось и Константинополя; более того, здесь это новшество сказалось даже раньше, нежели в других городах империи. Речь идет о появлении отдельных захоронений и целых кладбищ в черте города. В Константинополе это явление возникло еще в ранневизантийский период и было са-

⁷ Foss C. Op. cit. P. 70—76.

⁸ Dagron G. Le christianisme dans la ville byzantine // DOP. 1977. N 31. P. 6.

⁹ Ibid. P. 6.

¹⁰ Mango C. Daily Life in Byzantium // JÖB. 1981. Bd. 31. P. 338—341.

¹¹ Berger A. Das Bad in der byzantinischen Zeit. München, 1982. P. 156; Magdalino P. Rez. von: Berger A. Op. cit. // BS. 1985. T. 46. P. 198.

¹² Magdalino P. Op. cit. P. 198—199.

¹³ Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917. С. 134.

¹⁴ Записки Императорской Академии наук. VIII сер. 1898. Т. 3, вып. 2. С. 17.

мым непосредственным образом связано с демографическим взрывом, когда в ходе невиданного притока населения в новую столицу была значительно расширена ее территория и старые некрополи таким образом оказались в черте нового города¹⁵.

С демографическими изменениями, но уже иного порядка, исследователи связывают появление захоронений в границах других городов империи. Здесь оно было вызвано варварскими вторжениями, упадком городов и резким сокращением численности их населения¹⁶. В Коринфе, например, кладбища в черте города восходят к VII—VIII вв., т. е. к тому периоду, когда сам город практически перестал существовать¹⁷. Аналогичное явление наблюдается и в Афинах, где кладбище возникло прямо на бывшей агоре вблизи от уже имевшихся культовых сооружений¹⁸. Множество разрозненных захоронений в городских кварталах появилось и в Сардах, после того как они были разрушены персами¹⁹.

Если в классической древности захоронения горожан были сосредоточены в одном месте — некрополе (и эта практика продолжала существовать в ранневизантийский период), то начиная с VII в. в городах появляется масса индивидуальных могил. «Мир мертвых» потерял свое единство²⁰. Более того, при захоронении соблюдается резкая дифференциация в зависимости от богатства, знатности, «святости» и даже характера смерти умершего. Так, преступников и самоубийц, боясь мести их неприкаянных душ, хоронили отдельно. В специально отведенном для этого месте хоронили бедняков и чужеземцев. Богатый же человек мог для {575} своей фамильной усыпальницы основать монастырь или же купить место в уже действующем монастыре²¹. В церкви и возле нее хоронили особо достойных, тех, кто «не умирал и после смерти»: василевсов, высших сановников, патриархов, епископов и т. д. Это были отнюдь не кладбища, а отдельные захоронения²².

Иерархичности захоронений соответствовали эсхатологические воззрения византийцев: на смену идеи общности в смерти и коллективному воскресению постепенно приходит идея единичности и воздаяния *post mortem* каждому в соответствии с его жизнью²³.

Наряду с индивидуальными могилами в городах стихийно появляются и целые кладбища, которые чаще всего возникают на месте заброшенного монастыря или разрушенной церкви. Так случилось с монастырем св. Мины, который задумал возродить Симеон Новый Богослов²⁴. Появление могил в жилых кварталах города существенно отличало его от города более ранней поры.

Скромному внешнему облику городов и их построек соответствовало и внутреннее убранство зданий. В жилищах бедняков зачастую было лишь убогое, покрытое лохмотьями ложе²⁵, но и в домах знати мебель заметно изменилась. В ней ощущается теперь значительное упрощение форм. На книжных миниатюрах того времени мы видим примитивно оформленную мебель для сидения, кровати, сундуки и столы. Иногда эти простые по своим конструктивным формам изделия дополнялись выточенными из дерева опорами и спинками, миниатюрными колоннадами и аркадами²⁶.

¹⁵ *Dagron G. Le christianisme...* P. 15—17. Первоначально в черте города оказался некрополь древнего Византия. Он был упразднен еще Константином, засыпан землей и застроен. Новый некрополь был создан вне города, за стенами Константина, но после возведения стен Феодосия и он вошел в черту города. Однако правила захоронений в ранневизантийский период в столице соблюдались весьма строго и в пределах Константиновых стен захоронений, как правило, не делали, лишь в последующее время и в этой части города появились кладбища (*Mango C. Le développement urbain de Constantinople (IV^e—VII^e siècles)*. P., 1985. P. 15, 47, 57—58).

¹⁶ *Dagron G. Le christianisme...* P. 17.

¹⁷ *Scranton R. L. Op. cit* P. 29—30.

¹⁸ *Thompson H. E., Wycherley R. E. The Athenian Agora, XIV: The Agora of Athens*. Princeton, 1972. P. 208—219.

¹⁹ *Foss C. Op. cit*. P. 47—48, 70, 73—75.

²⁰ *Dagron G. Le christianisme...* P. 18.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* P. 18—19.

²³ *Ibid.* P. 18.

²⁴ *Ibid.* P. 19.

²⁵ *Рудаков А. П. Указ. соч.* С. 115.

²⁶ *Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1979.* С. 60.

Распространены были табуреты и сундуки, крышки которых использовались для сидения; имелись и складные стулья. Римский обычай возлежать во время трапезы и беседы безвозвратно ушел в прошлое²⁷.

Спали на кроватях, застилаемых матрасами, набитыми чаще всего сеном. В богатых домах их покрывали дорогими яркими (красными, желтыми и т. д.) тканями и коврами. Для предметов домашнего обихода использовались грубо сколоченные сундуки.

У состоятельных людей мебель была вычурно украшена, отделана золотом, разноцветной эмалью, росписью и драгоценными камнями. В орнаментике нашли применение христианские мотивы: монограмма Христа, голубь, рыба, барашек, павлин; из растений — гроздь винограда, колос пшеницы, лавровый венок, оливковая ветвь и пальмовый лист. Из греческих мотивов были заимствованы и стилизованы лист аканта и пальметта. В мебели сказалось также и влияние германской (лангобардской и кельтской) орнаментики — вьющиеся растения и фриз из ленточного сплетения, а также «звериные» мотивы²⁸. {576}

Файл byz577g.jpg

Чаша, найденная в с. Вильгорт (Приуралье).

*Серебро, чеканка, позолота, гравировка, чернь. XII в.
Ленинград, Гос. Эрмитаж.*

Домашняя утварь была металлическая, стеклянная, но основная масса населения пользовалась глиняной посудой. Ели руками (Тим. С. 41), хотя в быт знати постепенно входила двузубая вилка²⁹.

Что касается самой пищи, то первое впечатление, которое возникает при чтении византийских источников того времени, — это ее богатство и разнообразие. Здесь и дичь (куропатки, утки), и домашняя птица (куры, гуси), различным образом приготовленное мясо и рыба, икра, молоко, сыр, масло, фрукты, овощи, всякого рода зелень, грибы, вино, сладости. Одним из наиболее доступных и излюбленных продуктов питания являлась рыба — морская, речная, озерная. Более шестидесяти видов рыб перечислено в «Геопониках» (С. 294—297, 348—349). Рыбу жарили, варили, коптили, вялили, сушили, мариновали, консервировали, готовили черную и красную икру³⁰. В Константинополе рыбу нередко жарили прямо на рынке³¹. Деликатесом считалось густое пюре из трески, а также вареная рыба³². Большим спросом пользовались лиманда и осетрина, а вот к макрели и икре относились весьма равнодушно³³. Пищей простых людей являлись тунец, скумбрия, селедка. Эти сорта рыбы продавали по несколько штук за обол (Тим. С. 44). {577}

Речная и озерная рыба ценилась дешевле, но и среди нее встречалась такая, которая относилась к числу деликатесов. Христофор Митиленский в одной из своих эпиграмм, специально посвященной речной рыбе, называвшейся в простонародье „υ;΄; σκα“, риторически восклицает: «А что может быть слаще υ;΄; σκας (Epig. 135). Видимо, эта самая υ;΄; σκα считалась деликатесом и встречающаяся в письмах Михаила Пселла *λωτάμιος υ;΄; ζ* относится именно к ней³⁴. Наряду с прочими, собственно византийскими рыбами, попадались на рынках и иноземные, например рыба крымского происхождения, так называемая берзитика. Именно ее получил однажды в подарок Иоанн Цец³⁵.

Немало говорится в источниках и о мясе (говядине, свинине, баранине) и торговле ими. Весьма обстоятельно рисует мясную торговлю в столице империи «Книга эпарха», сообщая, в частности, как крестьяне пригоняют стада скота в город, как мясники покупают их через особых посредников под надзором чиновников ведомства эпарха города (для предотвращения

²⁷ Этот обычай продолжал сохраняться лишь в императорском дворце во время пиршеств в Зале девятнадцати лож (Mango C. *Daily Life in Byzantium* P. 352).

²⁸ Там же. С. 60—62.

²⁹ Литаврин Г. Р. Указ. соч. С. 16.

³⁰ Karpozelos A. *Realita in Byzantine Epistolography X—XII c.//BZ*. 1984. Bd. 77. P. 23—25.

³¹ Рудаков А. П. Указ. соч. С. 124.

³² Walter G. *Op. cit.* P. 181.

³³ Ibidem.

³⁴ Karpozelos A. *Op. cit.* P. 123—124.

³⁵ Ibid. P. 24.

спекуляции), как мясные туши распродают по частям, причем ноги, голова и внутренности животных остаются в пользу мясников (Кн. Эп. С. 64—65). Особые сроки ограничивали торговлю мясом по сезонам. Например, баранину в Константинополе продавали только с пасхи до пятидесятницы (Там же. С. 65).

Высоко ценили византийцы пернатую дичь и нередко посылали ее в подарок³⁶. Деликатесом считалось мясо журавля, а также павлинье и воробьиное (Трактат. С. 263). Сохранились упоминания о мелкой дичи, которую ловили с помощью приманки на тростник, покрытый птичьим клеем³⁷.

Среди сыров более других отличали пафлагонский³⁸. Высоко ценился сыр горных овцеводов (влахов) из Болгарии. Валахский сыр сбывали и за границу. Он был предметом оживленной торговли в Дубровнике и назывался *branza* (отсюда — «брынза»). (Там же. С. 216—217).

Вино также было различных сортов. В зависимости от сорта винограда вино было золотистое, черное или белое, сладкое или кислое, легкое или крепкое, долго хранящееся или легко портящееся (Геопоники. С. 108). Из черного винограда вино получалось более крепкое, из белого — среднее, из красного — несколько слаще, чем из черного (Там же. С. 135). Помимо винограда, вино изготавливали из яблок, груш, кизила, граната, меда, полыни и т. д. (Там же. С. 150—151, 149, 153, 146). Нередко его настаивали на копытнике, лавровых ягодах, укропе, дикой петрушке, сельдерее и других растениях (Там же. С. 150—152). Известен напиток, при изготовлении которого смешивали яблочный сок, воду и мед, а также напиток, приготовленный из меда и роз (Там же. С. 153).

Вместе с «варварами» в Византию пришло и получило известное распространение вино из хлебного зерна и ячменя; делали также напитки из полбы, овса и проса (Там же. С. 146). Существовало вино, в состав которого как обязательный компонент входила смола³⁹. Его изготавляли {578} на заселенных «варварами» Балканах, и не всем византийцам оно приходилось по вкусу. Хулят его и Никифор Василак⁴⁰, и Григорий Антиох⁴¹, и Михаил Хониат⁴². Михаил Хониат, в частности, писал из Афин что он никогда не притрагивался к этому вину и завидовал своему адресату (Димитрию Дриму), жившему в Константинополе, что тот имеет возможность вкушать вино, доставленное с Эвбеи, Хиоса и Родоса⁴³.

Женщины разбавляли вино водой (Там же. С. 146), а мужчины нередко добавляли в него пряности (Там же. С. 147). Вином утоляли жажду, запивали пищу и использовали его в лечебных целях. Так, вино, настоенное на укропе, пили для возбуждения аппетита, укрепления желудка и как мочегонное средство (Там же. С. 150). Вино, настоенное на дикой петрушке, наряду с другими качествами обладало хорошим снотворным действием (Там же). В свою очередь, напиток, настоенный на руте, использовали как противоядие при отравлениях и укусах пресмыкающихся (Там же). А вино из роз, аниса, шафрана и меда помогало страдающим желудком и болезнью легких (Там же. С. 149). При изготовлении целебных вин не добавляли никаких лекарственных снадобий, а использовали лишь «самые простые растения» (Там же).

О качестве вина говорили, спорили, утверждали, что оно «веселит душу» (*Mic. Ps.* Ер. 52), однако чрезмерное его употребление служило предметом осуждения: понимали, что оно «отшибает память» (Геопоники. С. 76).

Из сладостей известны торты, изготавлявшиеся из муки и меда, муки и вареного мусса,— десерт, известный ныне в Греции как *μουσταλευρία*⁴⁴. Маленькие пирожные, выпеченные из пшеничной муки высокого качества и имеющие форму колец, также являлись лакомством и

³⁶ Ibid. P. 25.

³⁷ Ibid. P. 25, 30.

³⁸ Ibid. P. 26.

³⁹ Ibid. P. 26.

⁴⁰ *Garzya A.* Quattro epistole di Niceforo Basilace//BZ. 1963. Bd. 56. P. 233.

⁴¹ Darrouzès J. Deux lettres de Grégoire Antiochos écrites de Bulgarie vers 1173//BS. 1963. T. 24. P. 65.

⁴² *Karpozelos A.* Op. cit. P. 26.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Κουκουλε;`ς Φ. Βυζαντινω;`ν βίος και;` πολιτισμός. Αθη;`ναι, 1954. Τ. 5. Σ. 114

даже как-то раз были посланы в подарок императором Константином VII митрополиту Кизика Феодору⁴⁵.

Немало в источниках разных жанров содержится упоминаний о фруктах, которые, по выражению склонного, как и многие другие византийцы того времени, к аллегориям и поиску символов Михаила Пселла, напоминали человеку об эфемерности бытия (*Mic. Ps.* Ep. 52). Писали о фруктах и посылали их в подарок довольно часто. Разновидностей их было немало: яблоки, груши, дыни, гранаты, фиги и другие. К числу весьма недорогих и широко распространенных относились дыни. По свидетельству современников, за две драхмы можно было купить десять полных корзин дынь (*Ibid.* Ep. 237).

Одним из основных видов фруктов, выращиваемых на территории Византийской империи, был виноград, сортов которого было множество (Геопоники. С. 109—110). Наряду с распространенными сортами белого, красного и черного винограда существовал, например, виноград сероватого, дымчатого оттенка, который в простонародье называли *κουκούβα*, вероятно, потому, что он напоминал по своему цвету сову (*cucuba* = {579} *γλαύξ*⁴⁶). Известен виноград, который называли *κρίσταλλίνοι* по той причине, что его ели зимой⁴⁷. Хранили такой виноград в амбарах, подвешивая наверху у балок⁴⁸.

Ели фрукты свежими, сушеными, вареными. Из овощей византийцы употребляли в пищу капусту, огурцы, зелень, в том числе и дикорастущую, которую использовали для салатов⁴⁹. Весьма распространены были маслины, обычно маринованные⁵⁰.

Но главным продуктом питания, без которого не обходилась ни одна трапеза, оставался хлеб, олицетворявший, по словам того же Михаила Пселла, «хлеб жизни» (*Mic. Ps.* Ep. 52). Он выпекался из пшеничной и ячменной муки. Пшеничным хлебом питались главным образом в Малой Азии, но и здесь его порой не хватало. На Балканах употребляли в пищу просо, там же ели хлеб из ячменя. Рожь и овес, распространенные на западе Европы, встречались на территории Византийской империи лишь sporadически⁵¹.

Византийские императоры имели обыкновение посылать хлеб, который, как хорошо было известно каждому византийцу, придавал организму нужную силу, как особый дар клирикам, стратигам, сановникам⁵².

При всем разнообразии существовавших в Византии продуктов питания рацион отдельного человека, а также отдельных социальных групп был далеко не одинаков. Пирь знати бывали обильными. Тут и куры, и гуси, и журавли, и куропатки, и зайцы, и отборная рыба⁵³. Во время обеда у Филарета Милостивого императорским посланникам были предложены «достойные знатных гостей кушанья», на приготовление которых пошли бараны, ягнята, куры, голуби и другая снедь. Все это громоздилось на большом столе рядом с хлебом и старым вином (Виз. лег. С. 106). У Исаака II Ангела во время трапезы можно было видеть, по образному выражению Никиты Хониата, «холмы хлеба, леса зверей, проливы рыбы и моря вин» (*Nic. Chop.* P. 441). К числу деликатесов императорской кухни относилась курица, начиненная миндалем⁵⁴.

Любитель изысканного стола и сибаритских пиршеств Феодор из Смирны (известный софист и врач при Алексее I Комнине) просит Тимариона прислать ему свои любимые кушанья: «пятимесячного ягненка, жирных трехгодовалых кур, у которых корм толстым слоем откладывается на ножках, молочного поросенка не старше месяца и вымя молодой свиньи, как можно более жирное и сочное» (Тим. С. 70).

⁴⁵ *Karpozelos A.* Op. cit. P. 27.

⁴⁶ *Κουκούβε;`ς Φ.* Op. cit. P. 209.

⁴⁷ *Ibid.* P. 106, 288.

⁴⁸ *Karpozelos A.* Op. cit. P. 22.

⁴⁹ *Ibid.* P. 21—22.

⁵⁰ *Walter G.* Op. cit. P. 181.

⁵¹ *Καждан А. П.* Сколько ели византийцы? //ВИ. 1970. № 9. С. 217.

⁵² *Darrouzès J.* Epistoliers byzantins du X^e siècle. P., 1960. P. 157—160.

⁵³ *Browning R.* Unpublished Correspondence between Michael Italicus, Archbishop of Philippopolis and Theodoros Prodromos // Bb. 1962. T. 1. P. 285.

⁵⁴ *Karpozelos A.* Op. cit. P. 30—31.

Блюда, как правило, были жирными и острыми, с большим количеством перца, соли, чеснока, горчицы. Непременным компонентом мясных блюд являлись всевозможные соусы и приправы. «Раб желудка» и «искусный кулинар» Константин VIII, пишет Михаил Пселл, «добавлял к {580} блюдам приправы для цвета и запаха, возбуждая тем самым природу к чревоугодию» (*Мих. Пс.* С. 20). Для приготовления соусов и приправ использовали, помимо соли и перца, корицу, цикорий, тмин, уксус, сельдерей, кресс-салат, шпинат, репу, свеклу, баклажаны, капусту, миндаль, гранаты, яблоки, орехи, изюм, чечевицу, нут. В состав соусов могли входить и индийские благовония (Трактат. С. 263—264)⁵⁵.

Файл byz581g.jpg

*Чаша, найденная в с. Вильгорт (Приуралье).
Серебро, чеканка, позолота,
гравировка, чернь. XII в.
Ленинград, Гос. Эрмитаж (Деталь).*

Лакомыми блюдами считались мясо в густом пряном соусе, а также соленая свинина с фригийской капустой, плавающие в жиру (Тим. С. 41). Любили и мясо в рассоле⁵⁶.

Рыбу приправляли корицей, гвоздикой, индийскими благовониями, грибами, уксусом, медом, виноградным соком, сельдереем, дикой мятой, укропом и т. д. Запивать рыбу полагалось неразбавленным вином, терпким и благовонным (Трактат. С. 263)⁵⁷.

При всем том, однако, большинство византийцев питалось весьма скромно. Согласно Димитрию Хоматиану, во время поста благочестивый человек ограничивал себя самым необходимым. К числу этих необходимых продуктов он относит хлеб, сушеные фиги или финики, капусту⁵⁸. Во время своего путешествия в Никею Николай Месарит ел в дороге, как он сам о том пишет, хлеб из проса, вино, орехи, фиги и сушеную рыбу (*Nik. Mes. Reise.* P. 44). По его же словам, в придорожной харчевне рацион был несколько разнообразнее. Здесь путникам предлагали вино, мясо, сушеную рыбу (*Ibid.* P. 40). Весьма распространенным продуктом питания был сыр (Кн. Эп. С. 216). Житие Андрея Юродивого знакомит с дневным бюджетом и меню одного из бедняков столицы империи: на один имеющийся у него обол он купил овощей, на другой — горячее — *θέρμα*, вероятно, рыбу⁵⁹.

По завещанию Михаила Атталиата (1077 г.) основанный им странноприимный дом должен был кормить по воскресеньям шесть бедняков. Им выдавали хлеб, бобы, овощи, рыбу (ММ. V. P. 306). Хлеб здесь на первом месте. Он, как и дешевое вино и овощи, и являлся основной, если не главной, пищей бедноты⁶⁰. Ели один или два раза в день. Пер-*{581}*вая трапеза — завтрак (аристон), вторая — обед (дипнон). Аристократы завтракали, по всей видимости, довольно поздно. Император Иоанн II Комнин сначала отправлялся на охоту, а потом принимался за аристон. Ремесленники же и крестьяне ели, как только вставали, — до начала рабочего дня. Сосед Феодора Продрома — сапожник — до того, как приняться за свой нелегкий труд, ел поутру требуху и сыр, запивая их водой (Памятники. С. 100). С рассветом завтракал и сопровождавший в поездке Николая Месарита погонщик мулов (*Nik. Mes. Reise.* P. 41).

В монастырях, несмотря на их заповедь воздержания, ели немало. Идеологи монашества (в частности, Феодор Студит) придавали большое внимание питанию в монастырях, во-первых, потому, что, по их убеждению, монахи должны были трудиться и значит быть достаточно крепкими, а, во-вторых, потому, что рассматривали питание как важный компонент духовного совершенствования монахов⁶¹.

Согласно Феодору Студиту, питание в монастырях находилось в тесном соответствии с днями литургического года. В период от пасхи до дня «всех святых» ели два раза в день: днем

⁵⁵ *Walter G.* Op. cit. P. 180.

⁵⁶ *Ibid.* P. 181.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Karpozelos A.* Op. cit. P. 26.

⁵⁹ *Рудаков А. П.* Указ. соч. С. 124.

⁶⁰ *Teall J. L.* The Grain Supply of Byzantine Empire, 330—1025//DOP. 1959. N 13. P. 98—100; *Каждан А. П.* Сколько ели византийцы? С. 216—217.

⁶¹ *Dembinska M.* Diet: A Comparison of Food Consumption between Some Eastern and Western Monasteries in the 4th—12th Centuries//Byz. 1985. T. 55. P. 445—448.

и вечером. Днем подавали хлеб, вареные овощи, тушеные бобы с оливковым маслом или густой рыбный суп, сыр, яйца. Запивали пищу тремя кружками разбавленного теплой водой вина. На вечернюю трапезу полагался хлеб со свежими овощами, фрукты, вино ⁶².

Во время поста ели один раз в день — в три часа дня. В первый и четвертый дни недели трапеза состояла из чечевичной похлебки, соленой рыбы без масла и пяти сушеных фиг. Во второй, третий, пятый и шестой дни недели ели вареную соленую рыбу и измельченные орехи. Фиги и другие фрукты в эти дни были запрещены. Вино пили анисовое, с добавлением тмина и перца. В канун религиозных праздников ели также один раз в день. Пища состояла из двух блюд: овощей и бобов без масла. Рыба, сыр, яйца в эти дни не полагались. Вино пили настоенное на травах ⁶³. По большим праздникам монахам давали немного мяса.

В последующие века пища монахов изменилась мало. Она также строго распределялась по дням литургического года и состояла главным образом из рыбы, раков, сыра, яиц, бобов, овощей, оливкового масла и хлеба, которого в монастырях XI—XII вв. потребляли по 600—1000 граммов на человека в день ⁶⁴.

Монастырская верхушка и приезжающие гости обычно питались лучше, нежели основная монастырская братия, но все же пища монахов была более обильной и калорийной, чем у людей, находившихся в странноприимных домах и больницах, существовавших при тех же самых монастырях. Однако, в сравнении с монахами западноевропейских монастырей, византийские монахи ели и менее калорийно и меньше по объему — примерно на одну треть, если не больше. Исследователи объясняют этот факт различиями в климате, аскетических правилах, а также уменьшением сельского мужского населения в Византии ⁶⁵. В целом {582} можно заключить, что питание в Византии было ближе к распространенному на мусульманском востоке, отличаясь лишь большим употреблением вина и меньшим количеством сладостей.

Все большее влияние Востока сказывалось и в одежде, которой жители империи, особенно высшие слои, придавали огромное значение. Мужчин она интересовала, пожалуй, даже больше, чем женщин, ибо одежда четко определяла ранг и общественное положение ее обладателя. Константин VII Багрянородный в наставлении своему легкомысленному и жадному до удовольствий сыну Роману всячески стремится внушить ему мысль о том, как следует василевсу «говорить, ходить, держаться, улыбаться, садиться, одеваться» (De ser. P. 4). Тщательно, входя во все детали, Константин VII описывает костюмы императора и придворных тринадцатипяти степеней, придавая немалое значение цветовой гамме нарядов и их отделке.

Все учреждения как гражданской, так и военной службы, все военные отряды отличались друг от друга костюмом. Мало того, одежду меняли в зависимости от праздника и церемонии, а нередко и в ходе нее. Детали костюма играли весьма важную роль в придворных торжествах.

Основной верхней одеждой продолжала оставаться римская туника-далматика, претерпевшая, однако, заметные изменения, в которых сказалось длительное соседство византийцев с иными народами в пределах империи и на ее границах. Появились различные виды туники-далматики, отличавшиеся друг от друга покроем или материей и предназначавшиеся для разных целей, надевавшиеся в разных случаях и называвшиеся разными именами. В книге «О церемониях византийского двора» мы находим несколько видов туники-далматики: дивитисий, коловий, иматий, стихарь и др.

Исключительно парадной одеждой был дивитисий. Именно в него облачился Никифор II Фока по своему триумфальному въезде в Константинополь (De ser. P. 97). Дивитисий представлял собой длинную, сравнительно узкую в подоле тунику с широкими рукавами. Позднее она стала называться саккос и под таким названием вошла в облачение русских патриархов.

В дивитисии василевсов венчали на царство, в этом же наряде он подлежал обряду бракосочетания, принимал чужеземных послов, слушал литургию в храме св. Софии, являлся на-

⁶² Ibid. P. 446.

⁶³ Ibid. P. 446—447.

⁶⁴ Ibid. P. 452.

⁶⁵ *Dembinska M.* Op. cit. P. 452. Последнее обстоятельство оспаривается А. П. Кажданом. См.: *Kazhdan A.* Two Notes on Byzantine Demography of the Eleventh and Twelfth Centuries//BF. 1982. Bd. 8. P. 120—121.

роду на ипподроме. В дивитисий облачали императора и тогда, когда отправляли, уже скончавшегося, в последний путь⁶⁶. Шили эту одежду из наиболее дорогих тканей. Для выходов к дивитисию полагался плащ-хламида, а в исключительно торжественных случаях цицакий или лор. Цицакий появился в парадном гардеробе византийцев со времени женитьбы Константина Копронима на хазарке. Он считался одним из самых великолепных и торжественных облачений и надевался главным образом только в день коронации, в пасхальную неделю и в некоторых других, особо торжественных случаях (Ibid. P. 38). Его отличие от хламиды не вполне ясно, но, по всей {583} вероятности, он изготовлялся из материи, затканной цветами (в турецком языке «чичак» означает цветок)⁶⁷.

В первый день пасхи василевс одевал поверх дивитисия лор, который восходит к трабее римских консулов. Это верхняя накидка или перевязь, идущая от подола спереди на правое плечо, спускающаяся отсюда под правую руку и, пройдя по груди на левое плечо, спускающаяся затем по спине к правому боку, а от него по животу проходящая на левую руку, с которой она свешивается длинным концом. Постепенно трабея из длинного расширяющегося на одном конце полотнища сделалась полотнищем одинаковой ширины и стала называться лором (λω;̄ρος, λογῆ — ремень, пояс), но надевалась по-прежнему. Дальнейшие изменения лора связаны с тем, что из-за увеличения украшений на нем он делался все тяжелее и толще, обвивать его несколько раз вокруг шеи и груди стало очень затруднительно. Поэтому для удобства надевания лор стал расчленяться на части, которые надевали отдельно. Та часть лора, которая обвивала шею и перекрещивалась на груди, получила форму широкого воротника или оплечья, из-под которого выходила или к которому пристегивалась передняя вертикальная часть лора. Эта последняя часть иногда просто нашивалась на платье. Часть лора, шедшая поперек тела и спускавшаяся через левую руку, мало-помалу сокращается в размерах и в более позднее время превращается в поперечную нашивку, так что самостоятельной частью остается только оплечье. В такой форме, т. е. в виде оплечья, лор перешел в орнат русских царей вместе с царским титулом и введением коронационного обряда⁶⁸.

Как уже говорилось, лор был частью самого торжественного, самого парадного одеяния василевсов. Первоначально в Византии его надевали лишь в дни празднества консульства, которое обычно имело место первого января. В период иконоборчества празднование консульства и соответственно облачение в консульское одеяние передвинулось на пасху. Постепенно в результате этого облачение на пасху василевса и высших сановников в консульские одеяния стало традиционным, обычным, даже и тогда, когда василевсы перестали отмечать консульства, от которых остался лишь этот обряд⁶⁹. Облачение василевса и высших сановников в лоры в дошедших до нас описаниях пасхальных обрядов является уже прочно установившимся обычаем и, составляя неотъемлемую принадлежность пасхальных церемоний, получает особый христианский смысл, тесно связанный с важнейшим религиозным праздником.

В менее торжественных случаях (для ежедневных вечерних приемов во дворце, других церемоний и езды верхом) одевался коловий. Это — туника-далматика с короткими, не достигающими до локтей рукавами или вовсе без рукавов. Обычно коловий отделывался жемчугом, драгоценными камнями, золотой каймой и нашивками (De ser. P. 80, 188).

Весьма ходовой одеждой у придворных был скарамангий. В книге «О церемониях византийского двора» слово, обозначающее эту одежду, встречается чуть ли не на каждой странице. В свое время это была кафтанобразная одежда азиатских всадников-кочевников. От них она пере-{584}шла к персам, а затем в ходе длительных византийско-иранских войн с VII в.

Файл byz585g.jpg

*Архангел Гавриил.
Конец XII в. Капелла Богородицы
в монастыре Иоанна Богослова на Патмосе.
Фреска на восточной стороне.*

⁶⁶ Беляев Д. Ф. Byzantina. Кн. II: Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии. СПб., 1913. С. 50—57.

⁶⁷ Там же. С. 199.

⁶⁸ Там же. С. 212—215.

⁶⁹ Там же. С. 218.

была позаимствована византийцами ⁷⁰. Сначала скарамангий носили кавалеристы, но постепенно он стал придворной одеждой и получил широкое распространение. Это кафтан, т. е. распашная одежда разного покроя и разного рисунка, но непременно имеющая спереди полы.

Цвета скарамангиев отличались яркостью и разнообразием: зеленый, розовый, красный, фиолетовый, персиковый, лимонный, голубой, желтый, белый и т. д. Костюм мог делаться из одного куска ткани или из разных, верх из одного, низ — из другого, причем нередко из тканей разной окраски. Сочетали, например, зеленый и фиолетовый цвета или красный и зеленый, как это было у скарамангиев протоспафариев ⁷¹. Как мы видим, сочетание красок отличалось большой смелостью. В том месте (у талии), где куски ткани сшивались, надевали пояс, по временам очень широкий, закрывающий значительную часть живота. Имели скарамангии и воротники ⁷².

Скарамангий настолько пришелся византийцам по вкусу, что из кавалерийской одежды превратился в костюм высших сановников и самого василевса, который надевал его почти всякий раз, когда выходил или выезжал из дворца. В скарамангии ездили верхом, на лодке и вообще употребляли для выходов. Кроме того, придворные одевали его для ежедневных утренних приемов во дворце. По утрам в скарамангий облачался и василевс.

Вполне понятно, что, став придворной одеждой, скарамангий претерпел существенные изменения. Он удлинился, стал отделяться жемчугом, драгоценными камнями, золотыми нашивками, каймами. Он считался несколько более парадной одеждой, чем коловий ⁷³.

Скарамангии могли одеваться самостоятельно, но в более торжественных случаях на них полагалось надевать хламиду или сагион — военный плащ. В подобном плаще изображен Василий II Болгаробойца на известной миниатюре (Marc. gr. 17). Хотя сагион оставался преимущественно военной одеждой и военачальники надевали его даже в самых торжественных случаях, когда равные им гражданские сановники облачались в более парадные плащи — хламиды, он в то же время сделался повседневным плащом василевса и придворных (De ser. P. 47, 242).

В зависимости от случая придворную одежду различным образом украшали и отделывали. В пасхальную неделю, например, василевс выезжал в золотистом скарамангии. Золото, золотые бордюры, нашивки вышивки, золотое тканье составляли постоянное украшение и существенный признак византийских парадных одеяний. Этот восточный обычай делал костюм более тугим и гладким, более узким и лишенным многочисленных складок, нежели в античную эпоху.

Парадная одежда византийцев была очень дорогой. Известно, например, одеяние стоимостью более 10 номисм. Правда, подобное платье не подлежало продаже и носить его имели право исключительно василевс и придворные (Кн. Эп. С. 151). Дорогой роскошной одеждой украшали {586} парадные залы дворцов (De ser. P. 571), дополняли ею внутреннее убранство церквей (Кн. Эп. С. 191), а также как знак особой милости посылали в дар чужеземцам. Роман Лакапин, например, послал одному из итальянских королей комплект скарамангиев для его двора: желтых, розовых, голубых, белых (De ser. P. 661).

Посылали предметы туалета и в подарок друг другу. Так, Иоанн Апокавк обещал подарить одному из своих адресатов кожаное платье (σκύτινον περιβόλαιον) (Ep. 73a). По какой-то причине он не смог этого сделать и послал ему свое платье, написав при этом, что оно большое и довольно длинное, и посоветовал приладить его по себе. В свою очередь, он получил в подарок меховую одежду из лисьих шкур (Ep. 76). А патриарх Николай Мистик в качестве благодарности за посланного ему в подарок коня отправил своему адресату головной убор — καλλυτήριον (Ep. 108).

Домашняя одежда византийцев даже очень высокого ранга существенным образом отличалась от парадной и была значительно скромнее. Неприязательной она была и у большинства населения вообще. Мать Михаила Пселла, например, предпочитала носить темную одежду и не пользовалась никакими украшениями. Также поступали и многие другие женщины.

⁷⁰ Kondakov N. P. Les costumes orientaux à la cour byzantine//Byz. 1924. Т. 1.

⁷¹ Ibid. P. 12, 15, 34.

⁷² Ibid. P. 40.

⁷³ Беляев Д. Ф. Указ. соч. С. 26.

Надо сказать, что женский костюм на протяжении веков менялся мало. Обычно это была длинная туника с длинными до запястья рукавами. Непременным добавлением к этой тунике, особенно когда женщина выходила из дому, был плащ-покрывало, который надевался наискось⁷⁴.

Почти не претерпевала изменений одежда основных труженников империи — крестьян и ремесленников. Это все та же рубаха-хитон из грубой ткани, подвязанная вместо пояса простой веревкой, такие же штаны, короткий, перекинутый через плечо плащ, перевязанные крест-накрест ремешком сапоги⁷⁵.

Одежда изготовлялась из льняных, шелковых и шерстяных тканей. Чисто шелковые ткани ценились на вес золота (Кн. Эп. С. 149). Особенно ценными считались пурпуровые ткани различных оттенков. Были ткани, в которых на каждые две нити пурпурово-шелковых приходилась одна золотая (Там же. С. 151). Нередко они имитировали иранские (постсасанидские) и мусульманские ткани, в X—XI вв. их украшали орнаментами или фигурами птиц и животных: орлов, павлинов, львов, слонов⁷⁶. По временам они содержали также персонификации городов и изображения императора на коне, что свидетельствует и о сохранении позднеантичной традиции⁷⁷. Из таких тканей не только изготовляли одежду, но ими украшали во время торжественных церемоний дома на улицах города и внутренние залы дворцов (De ser. P. 12). Большее распространение имели ткани, в которых шелковая нить чередовалась с шерстяной. Чем больше шерстяных нитей, тем дешевле ткань (Кн. Эп. С. 184). {587}

Льняные ткани также были различного качества, а некоторые настолько тонкие и легкие, что ценились дороже шерстяных (Там же. С. 191). По свидетельству Иоанна Камениата, арабы после захвата Фессалоники, набрав горы тончайших, как паутина, льняных материй, не захотели брать шерстяных (Иоанн Кам. С. 196).

И среди мужчин, и среди женщин, правда, главным образом знатных, привычным было носить ювелирные украшения — ожерелья, диадемы, серьги, кольца, браслеты. Все эти предметы роскоши заметно отличаются от украшений, которые носили византийки ранней эпохи. Они стали более яркими и многоцветными. Эта любовь к полихромии возникла и получила широкое распространение в VII — начале IX в.⁷⁸, а к середине X в. подобный тип украшений выступает как вполне сложившийся. Большое место в оформлении ювелирных изделий X—XII вв. занимает перегородчатая эмаль, широко привлекавшаяся при отделке перстней, браслетов и прочих предметов роскоши. Изделия эмальеров были хорошо известны Константину Багрянородному, по словам которого ими украшались даже конские сбруи (De ser. P. 99, 572).

Широко пользовались византийские аристократы благовонными маслами и ароматическими смесями, благовония для которых доставлялись с Востока, большей частью из Индии и Аравии (Кн. Эп. С. 203). Известно ароматическое средство Ἀσσυρίαν φρουγάδα⁷⁹. Для изготовления определенных косметических снадобий требовалось знание секретов сложных по составу смесей. «Миро» (душистое масло) варили из смеси оливкового масла с различными душистыми веществами (Там же. С. 202).

Изготовлением ароматов и косметических средств страстно увлекалась императрица Зоя. Из далеких Индии и Эфиопии по особым заказам императрицы привозились все новые и новые ароматические средства, и ее покои, где круглый год горели жаровни для приготовления различных хитроумных притираний и необычных ароматов, походили на настоящую лабораторию. (Mux. Пс. С. 87—88).

Благовония использовались не только в косметических целях, но и при богослужении (в кадилницах), при совершении таинства миропомазания (Кн. Эп. С. 202). Их нередко дарили при обряде благословения. Так поступил, например, патриарх Николай Мистик, который послал одному из стратиггов сотню флаконов благовоний⁸⁰. Признаком хорошего тона считалось

⁷⁴ Walter G. Op. cit. P. 183.

⁷⁵ Лутаеврин Г. Г. Указ. соч. С. 15.

⁷⁶ Grabar A. L'art profane à Byzance//XIV^e Congrès international des études byzantines: Rapports. T. 3. Bucarest, 1971. P. 31; Beckwith I. G. Byzantine tissues // Ibid. P. 36—44.

⁷⁷ Grabar A. Op. cit. P. 31.

⁷⁸ Банк А. В. Прикладное искусство Византии IX—XII вв. М., 1978. С. 27—28.

⁷⁹ Karpozelos A. Op. cit. P. 30.

⁸⁰ Ibid. P. 29.

преподнести василевсу в качестве подарка ладан, который, как считали, несмотря на его тяжелый запах, облегчает душу (Геопоники. С.209).

Наряду с усилением восточных влияний на всем укладе жизни византийцев того времени (одежде, питании, психологии, системе ценностей и т. д.) самым серьезным образом сказывалась сложная военно-политическая ситуация в империи, те постоянные войны, которые она вела на всем протяжении своих сухопутных и морских границ. Военная сила и слава империи дорого обходились ее населению.

Средний возраст византийцев в этот период времени был весьма не-~~588~~велик. Половина населения империи не доживала до 35 лет⁸¹. Как показывают демографические исследования, дольше всего жили императоры, интеллектуалы и отшельники. Средний возраст представителей Македонской династии достигал 59 лет, Комнинов (если не принимать в расчет Алексея II, умершего в возрасте 14 лет) — 61 года, в то время как, например, у их современников — представитель Саксонской династии в Германии — лишь сорока с половиной лет⁸².

Относительную длительность жизни василевсов исследователи объясняют хорошим питанием и лучшей по тем временам медицинской помощью. Но нельзя не отметить вместе с тем, что жизнь императоров была подвержена и большим опасностям. Многие из них являлись полководцами и во время войны возглавляли войско. И Никифор Фока, и Иоанн Цимисхий, и Алексей Комнин, и Мануил Комнин и др. сами участвовали в сражениях, увлекая за собой солдат. Нередко василевсы принимали участие и в весьма рискованных светских развлечениях. Так, Василий I умер после охоты, во время которой олень поднял его на рога. Немало василевсов гибло в результате заговоров. Ужасную, отталкивающую своим натурализмом и жестокостью сцену убийства Никифора II Фоки нарисовал Лев Диакон (*Leon. Diac. V. 7—8*).

Примерно на десять лет больше продолжительности жизни василевсов IX—XII вв. оканчивается средний возраст известных нам византийских интеллектуалов. По подсчетам специалистов, в эпоху Комнинов ученые в среднем жили до 71 года⁸³. Дольше же всего жили отшельники, некоторые из них, судя по сохранившимся свидетельствам, доживали до 80, а порой и до 90 лет⁸⁴. Но само удивление и даже восхищение, которыми отмечены в источниках эти факты биографии «святых», говорят об исключительности подобных случаев.

Старый человек, таким образом, стал явлением весьма редким, и, вероятно, уже в силу этого на старость стали смотреть по-особому⁸⁵. Старость воспринималась теперь не как слабость и дряхлость, а, в первую очередь, как мудрость, как умение понимать — «Мудрость приходит с годами и понимание наступает после долгих прожитых лет» (Иов. 12, 12). Это восточное отношение к старости стало господствующим в Византии. Седые волосы прославлялись как «корона славы, как свидетельство праведной жизни»⁸⁶.

Справедливости ради следует отметить, что не все византийцы воспринимали старость именно так. Для представителя интеллектуальной элиты XI в. Михаила Пселла в старческом возрасте прекрасно лишь то, что напоминает о молодости⁸⁷. Описывая императрицу Зою, он, например, говорит: «Достигнув семидесяти лет, она сохранила лицо без еди-~~589~~ной морщины и цвела юной красотой» (Мих. Пс. С. 118). У Никиты Хониата отношение к старости более сложное и меняется по мере того, как он сам становился старше. Когда он был молодым, старость отталкивала его; с возрастом, однако, она открывала ему свои достоинства (*Nic. Chon. P. 50—51, 275—276, 439, 550—551 etc.*)⁸⁸.

Столь же различными были интересы и идеалы различных слоев византийского общества. Житель столицы и придворный Михаил Пселл больше всего интересуется жизнью двора и дворцовыми интригами, которые он описывает самым тщательным образом. Едва несколькими строчками упоминает он о внешних войнах. Читая его «Хронографию», нельзя предста-

⁸¹ Talbot A. M. M. Old Age in Byzantium //BZ. 1984. Bd. 77. P. 268—269.

⁸² Kazhdan A. Two Notes on Byzantine Demography... P. 116—117; Talbot A. M. M. Op. cit. P. 269.

⁸³ Talbot A. M. M. Op. cit. P. 269; Kazhdan A. Two Notes on Byzantine Demography... P. 117.

⁸⁴ Talbot A. M. M. Op. cit. P. 269.

⁸⁵ Старость, по мнению византийцев, наступала между 50 и 60 годами (Kazhdan A. P., Constable P. People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies. Wash., 1982. P. 52—53).

⁸⁶ Talbot A. M. M. Op. cit. P. 271.

⁸⁷ Любарский Я. Н. Михаил Пселл: Личность и творчество. М. 1978. С. 242.

⁸⁸ Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973. С. 87—89.

вить себе, что вторая половина XI в.— труднейшее для Византийской империи время, время печенежских набегов, восстаний сербов и болгар, разгрома Византии в Малой Азии турками-сельджуками.

Напротив, совершенно иную жизнь вели магнаты-акриты, охраняющие границы и ведущие вечную борьбу с мусульманами и апелатами-разбойниками в обстановке всяческих трудностей и неожиданностей, военных подвигов и приключений. Их жизнь деятельная, энергичная, грубая, непохожая на жизнь изнеженного придворного мира Константинополя. Их быт и нравы представляют собой смешение варварства и утонченности, а характеры исполнены диких страстей и нежной чуткости (Диг. Акр. С. 7—126).

В среде провинциальных магнатов, особенно с середины XI—XII в., прежде всего ценилась физическая сила, выносливость, отличное владение мечом, копьем, луком, палицей, искусство верховой езды. Наиболее распространенным развлечением знати была охота. Ее страстными любителями были Роман II, Константин IX Мономах, Алексей I Комнин, Андроник I и др. Роман II, например, начинал свой день с верховой езды, затем после завтрака играл с придворными в конную игру в мяч, после чего отправлялся допоздна охотиться в окрестности Константинополя (*Theoph. Cont.* Р. 472). Рассказывая о правлении Исаака II Ангела, Никита Хониат пишет, что очарование Мраморного моря, прелесть дворцов и удовольствия от охоты и верховой езды являлись теми сладостными цепями, которые удерживали императоров от дальних походов (*Nic. Chon.* Р. 399). Охота, воинские упражнения, а также конная игра в мяч (*Анна Комн.* С. 383) считались наиболее достойными аристократа занятиями, необходимыми, в частности, для воспитания императора, который сам в ту пору нередко являлся полководцем. Именно охотой, воинскими упражнениями и игрой в мяч советует заняться Алексею Комнину (правнуку Алексея I) Феодор Продром (Там же. С. 478. Примеч. 305). Обучались военные аристократы и основам стратегии и тактики, умению ладить с подчиненными и поддерживать дисциплину в войске ⁸⁹.

Постоянные войны, внутренняя нестабильность приводили к тому, что никто в империи не чувствовал себя уверенно: ни василевс, нередко незаконно пришедший к власти, ни представители знати, которые тоже {590} могли в один прекрасный день лишиться и положе-

Файл byz591g.jpg

*Чаша, найденная вблизи Березова в Зауралье.
Серебро, чеканка, позолота, гравировка. XII в.
Ленинград, Гос. Эрмитаж.*

ния, и богатства, ни все остальные слои населения. В постоянном ожидании беды живет автор «Стратегикона» Кекавмен. По его словам, нельзя забывать, что радость не бывает постоянной; грядущий день, может принести нежданное несчастье: сегодня ты доволен и надменно третируешь подчиненного, а завтра судьба заставит тебя просить, чтобы он протянул тебе руку; утром ты тиран, а вечером сирийский слепец. Поэтому, заключает Кекавмен, нужно быть постоянно настороже, так как неостерегающийся как раз и попадает в беду, и лучше, живя в благополучии, хмурить брови, чтобы не познать истинной печали (*Кекавм.* С. 103).

Вторжения врагов, произвол, мятежи и репрессии делали иллюзорным благополучие и простых смертных, и видных магнатов. Всеобщая подозрительность и недоверие стали привычной атмосферой и во дворце императора, и в провинциальном претории, и на улице, и в кругу друзей, порой даже в лоне семьи (Там же. С. 11). Тайный сыск процветал. Если верить Михаилу Пселлу, императоры и их временщики имели «многоглазую силу», от которой невозможно было укрыться. Сохранилась любопытная книжная миниатюра, на которой изображены служители сыска в тот момент, когда они, спрятавшись за занавесями в частном доме, записывают происходивший рядом разговор. {591}

Видимо, именно поэтому Кекавмен советовал своему сыну вести себя с большой осторожностью. «Не поминай вообще имени василевса и царицы, не ходи на пирушку, где можешь попасть в дурную компанию и быть обвиненным в заговоре, не рассуждай в присутствии важного лица, молчи, пока не спрашивают, не порицай поступков начальников, не то тотчас скажут, что ты „возмутитель народа“» (*Кекавм.* С. 123—125).

⁸⁹ *Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 141—142.*

Доносы и клевета стали обычными явлениями в обществе (Там же. С. 69). В этой атмосфере эгоизм как прямое выражение чувства самосохранения стал нормой, крайняя осторожность — естественной формой самозащиты, порождая неискренность, лживость, сервиллизм, готовность к компромиссу. Наиболее ярким примером этого являлся талантливый и образованный Михаил Пселл, так презиравший монархов, которым служил, и так пресмыкавшийся перед ними.

Извращенный характер приобрело и отношение к дружбе. «В малом горе еще отыщется друг, а если угрожает большое несчастье, да не введет тебя никто в заблуждение — не окажется друга», — так утверждает Кекавмен (Там же. С. 243). В другом месте он пишет еще более откровенно: «Если у тебя есть друг, живущий в другом месте, и если он проезжает через город, в котором ты живешь, не помещай его в своем доме. Пусть он разместится в другом месте, а ты пошли ему все необходимое, и он будет относиться к тебе лучше». В противном случае «он опорочит твою прислугу, стол, порядки, будет расспрашивать о твоём имуществе, имеешь ли ты то или это. Да что много говорить? Если найдет возможность, то будет подавать любовные знаки твоей жене, посмотрит на нее распутными глазами, а если сможет, то и соблазнит ее. А если и нет, то, удалясь, будет хвастать, чем не должно» (Там же. С. 203).

Крайне настороженное отношение к дружбе и у Симеона Богослова. По его мнению, ее не существует, есть только тяга к болтовне и совместной жратве⁹⁰. Более того, само слово φίλος приобрело в Византии этого времени совершенно иной смысл, нежели в давно ушедшие времена. Теперь дружба для византийцев — это, в первую очередь, система личных связей, которые играли немалую роль в общественной и даже государственной жизни Византии (Там же. С. 101)⁹¹. «Дружба» объединяла людей в своего рода кланы, принадлежность к которым облегчала им продвижение по службе и помогала в достижении различных целей. Вполне понятно, что подобная «дружба» не была бескорыстна и нуждалась в постоянном поддержании и стимулировании, лучшим средством для чего служил обмен письмами и дарами. Но прежде всего она предполагала взаимное исполнение услуг разного рода. Такого рода дружба всемогуща — так определил ее Михаил Пселл, добавив при этом: «...если она связывает людей разумных и деятельных» (*Mic. Ps. Ep. 75*).

Ходатайство за друга, исполнение его просьб — основное кредо «дружбы». Друг любит друзей своего друга: другу достаточно сказать о третьем лице «это мой друг», чтобы он сделал для того все возможное⁹². {592} «Дружба» и справедливость рассматривались византийцами как равноценные мотивы для поведения в том или ином случае. «Велика и могущественна сила дружбы, она придает большой вес чаше правосудия. Сама по себе она не может склонить весы в свою сторону, но в соединении со справедливостью сразу же перетянет и во сто крат больший вес», — так писал Михаил Пселл (*Ibid.* 166). На практике же он вообще был склонен решать все в пользу «дружбы»: «Ты не допускай злоупотреблений, глядя на них, а просто не замечай их, ты должен смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать» (*Ibid.* 252). Личные связи и обусловленные ими услуги значили для византийцев, чьи воззрения так прекрасно выразил Михаил Пселл, больше, нежели строгое исполнение долга⁹³.

Существовала и иного рода дружба, но и ее нельзя определить понятием «друзья познаются в несчастье». Это утонченная интеллектуальная дружба, которая связывала людей с общими литературными и научными интересами. Именно такая дружба связывала Михаила Пселла с Иоанном Мавроподом, Иоанном Ксифилиным, Константином Лихудом.

Правда, нельзя сказать, что в Византии вообще не существовало искренней дружбы. Ее существования не отрицает тот же Кекавмен (*Кекавм.* С. 101). Но, по всей видимости, она была распространена в большей степени у людей более скромного достатка и положения. В житии Филарета Милостивого один бедняк говорит другому: «Ведь так уж заведено — людям в несчастье плакаться своим друзьям и от этого получать некоторое утешение, а в счастье радоваться с ними, ликовать и от всего сердца выказывать свою любовь...» (*Виз. лег.* С. 101).

⁹⁰ Каждан А. П. Византийская культура. С. 141.

⁹¹ Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 119—121. Как подобие феодальной верности, вассалитета понимается «дружба» в «Истории» Никиты Хониата (*Каждан А. П. Книга... С. 106*).

⁹² Любарский Я. Н. Указ. соч. С. 120.

⁹³ Там же. С. 121.

Неустойчивость сословных связей и отношений «дружбы» обусловили весьма значительную роль родственных отношений, в первую очередь семейных. Нередко семья для византийца оказывалась единственной опорой в жизни. Семейные связи крепили. Со страниц «Советов и рассказов» Кекавмена семья предстает как подлинная крепость, замкнутый мир сугубо интимных и частных отношений; семья здесь — отгороженный от посторонних мирок, в недоверии и подозрительности ощетинившийся перед всем светом (*Кекавм.* С. 99—100).

И в высшей, и в низшей социальной среде семья представляла собой в большинстве случаев не индивидуальную малую, а большую семью, включавшую в себя несколько индивидуальных семей. Поскольку браки заключались рано, случалось так, что в одном доме вместе с родителями и дедами жили женатые внуки⁹⁴.

Семья направлялась твердой рукой ее главы. Послушание отцу, по Кекавмену, первая заповедь, почтение к матери — первейший долг (Там же. С. 99—100). И это были не просто слова. Известно, с каким почтением и любовью относились к своим матерям Феодор Студит и Михаил Пселл. Герой поэмы «Дигенис Акрит» никогда не садился за стол прежде своей матери. Взаимно теплое отношение было и к детям. Они малы и глупы, пишет Кекавмен, но их нельзя оскорблять, а нужно уважать их, чтобы и они научились чтить отца (Там же. С. 99, 213). «Своих сыновей и дочерей бей не палкой, а словом и добрым советом», — продолжает он (Там же. С. 99, 247). {593}

Не всегда, однако, семейные отношения были столь идиллически прекрасны. В семье василевса родственные отношения нередко приобретали уродливый облик. Императрица Ирина в борьбе за престол в 797 г. ослепила родного сына (Константина VI). Вдова Константина X Дуки Евдокия втайне от своих детей обвенчалась с Романом Диогеном, который в конце концов стал обращаться с ней как с пленницей, и, по словам Михаила Пселла, «его хватило бы даже на то, чтобы выгнать ее из дворца» (*Мух. Пс.* С. 181). Роман II по настоянию своей жены Феофано отправил в монастырь пятерых сестер, несмотря на их слезы и мольбы матери Елены, которая через несколько месяцев в тоске умерла. Та же самая Феофано оказалась в центре заговора против второго ее мужа — императора-полководца Никифора II Фоки, зверски убитого людьми своего родного племянника Иоанна Цимисхия, являвшегося ее любовником. Судьба оплатила Феофано: взойдя на престол, Цимисхий тут же отправил свою бывшую возлюбленную в отдаленный монастырь (*Leon. Diac.* VI. 4).

Всю жизнь не доверял своей жене Ирине Алексей I Комнин. Боязнь заговоров с ее стороны побуждала его брать ее с собой в военные походы. И даже в предсмертный час Алексея супруги не могли прийти к соглашению; Ирина вместо того, чтобы облегчить мужу страдания, осыпает его резкими упреками. «О муж, — говорила она с глубоким вздохом, — и живой ты отличался коварством, речь твоя была двусмысленной и исполненной хитрости, и вот теперь, прощаясь с жизнью, ты держишься своих старых привычек» (*Nic. Chon.* P. 8).

Разлады, конечно же, случались и в семьях других слоев населения. Колоритную сцену супружеской ссоры нарисовал подражатель Феодора Продрома. Жена поэта упрекает его за то, что он за двенадцать лет супружеской жизни не подарил ей ни кольца, ни браслета, ни какого-либо другого украшения, что вынуждена она ходить в обносках, даже хитон ей приходится шить самой, не в чем выйти на улицу, стыдно сходить в бани — столь бедны ее одежды... и у мужа она, как прислуга на побегушках, а он — нищий побродяжка, одетый в старье; спал он некогда на соломе, а она — на перине; он и ныне живет на ее подачки, кормит его она — благо есть приданое, а он сидит, как курица, и ждет обеда. Не можешь содержать семью, заключает потерявшая терпение женщина, не надо было жениться, а женился, так помалкивай и слушайся (Памятники. С. 217—219).

При всей банальности этой ссоры, она интересна тем, что тяготы семейной жизни (в той, по крайней мере, семье) лежали исключительно на женщине. Она является материальной опорой семьи. Именно на ее приданое живут и муж, и четверо родившихся у них детей. Жена и обслуживает семью: она и сукновальщица, и портниха, и пряха, и ткачиха, кроит и шьет плащи и штаны и никогда не ест досыта.

По свидетельству источников, и во многих других семьях (особенно низших слоев населения) прядение, ткачество и изготовление одежды являлось обычным занятием женщин. За-

⁹⁴ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 122.

частую они не только обслуживали нужды своей семьи, но и шили одежду на продажу. Нередко женщины торговали в лавках, в первую очередь тех, которые получали в качестве приданого. В других случаях они вкладывали деньги, полученные в приданое, в мастерские и лавки, обычно пекарни или лавки по продаже ово-щ⁹⁴ей, фруктов, напитков и других продуктов питания. Большую часть мелких рыночных торговцев также составляли женщины⁹⁵.

В богатых семьях женщины занимались управлением хозяйством. Велика была роль жены-хозяйки в поместьях знатных вельмож, особенно полководцев и сановников, служивших в отдаленных провинциях⁹⁶. Об умении женщин управлять имением красноречиво свидетельствует типик монастыря Кехаритомене, основанного женой Алексея I Комнина Ириной Дукиней. В типике Ирина подробно остановилась на всех деталях управления монастырем, тщательно вникая во все имущественные и финансовые дела (PG. T. 127. Cap. 4. 79). В ее монастыре, как и во всех других женских монастырях, типики которых сохранились, управление находилось в руках женщин, эконо⁹⁷м же, который в большинстве случаев был мужчиной, являлся лишь исполнителем. Обычно игуменья монастыря сама занималась его имущественными и хозяйственными делами, принимая решения и следя за их выполнением⁹⁷.

В византийском обществе, отмеченном в том, что касается женщины, столькими восточными чертами (она всегда получала домашнее воспитание, на нее смотрели, прежде всего как на продолжательницу рода человеческого⁹⁸, в высших и средних слоях населения женщины обыкновенно бывали затворницами в гинекеях, а в редких случаях, когда они выходили на улицу, надевали на голову покрывало), во многих семьях женщины фактически являлись главой семьи, ядром, вокруг которого сплачивались остальные ее члены. Таковой была мать Феодора Студита Феоктиста. При всей своей набожности она была прекрасной хозяйкой дома, находила время заниматься всеми хозяйственными делами, обо всем заботилась, за всем наблюдала, ко всему прикладывала руку и, несомненно, играла в доме гораздо большую роль, чем ее муж (Ibid. T. 99. Col. 884—891). Такой была и мать Михаила Пселла Феодота, и мать Алексея I Комнина Анна Далассина, имевшая огромное влияние на своих детей, которые, в свою очередь, испытывали к ней глубокую благодарность и уважение. Когда в августе 1081 г. Алексею I пришлось покинуть Константинополь, чтобы отправиться в Иллирию сражаться с норманнами Роберта Гвискара, он торжественным хрисовулом предоставил матери абсолютную власть на время своего отсутствия, полагаясь на ее природный ум, преданность сыну-императору и «многоопытность в житейских делах» (*Анна Комн.* С. 127). И надо отдать должное Анне Далассине: правила она умело, вникая во все и вся и следя за подробностями мельчайших дел. Анна Комнина оставила подробное описание того, как проходил день ее бабушки. Утро было посвящено приему государственных чиновников и разбору всякого рода просьб, далее она присутствовала на богослужении, а затем до вечера вновь занималась государственными делами. Ею руководила лишь одна забота — как бы упрочить славу правления своего сына (Там же. С. 128—129). {595}

По воле Алексея Анна Далассина двадцать лет была его соправительницей. Когда же она поняла, что ее чрезмерная опека раздражает сына, она ушла в монастырь, где тихо скончалась, оставшись в памяти людей женщиной выдающейся, а в памяти сыновей — прекрасной матерью. Именно в семье, упрочении ее положения видела свою цель эта незаурядная, сильная и умная женщина.

И именно эти качества — преданность семье, заботливость, всепоглощающая любовь к детям ценились в женщине больше всего. «Никто не может сравниться с добросердечной и чадолубивой матерью, и нет защиты надежней ее, когда предвидится опасность или грозят какие-либо иные бедствия. Если она советует, совет ее надежен, если она молится, ее молитвы становятся для детей опорой и неборимыми стражами» — так писал в упомянутом хрисовуле Алексей I Комнин (*Анна Комн.* С. 127).

⁹⁵ *Laiou A. E. The Role of Women in Byzantine Society//JÖB. 1981. Bd. 31. P. 243—246.*

⁹⁶ *Литаврин Г. Г. Указ. соч. С. 127.*

⁹⁷ *Laiou A. E. Op. cit. P. 242.*

⁹⁸ Применительно к женщинам законодательство рассматривало в первую очередь вопросы семейного права: женитьбы (как средства продолжения рода), развода и имущественных прав супругов (Ibid. P. 234).

Но при выборе невесты заботились не только о том, чтобы она была благонравна и богата, но и о том, чтобы была она красива. Женскую красоту ставили очень высоко, о ней никогда не забывали упомянуть, более того, в этом уже глубоко христианизированном обществе ее воспевали. Описывая свою мать в то время, когда она была еще совсем юной, Михаил Пселл подчеркивает, что она являлась прелестной девушкой и, хотя средства не позволяли ей носить великолепные туалеты, грацией своей фигуры, красотой волос, прекрасным цветом лица, ясным взором прелестных глаз она восхищала всех, видевших ее. Она, заключает Пселл, была подобна розе, не нуждающейся ни в каких прикрасах (МВ. V. P. 6).

О внешности византийские женщины много заботились, о чем свидетельствуют дошедшие до нас разнообразные косметические рецепты по уходу за кожей лица, волосами и т. д. (Трактат. С. 260—261, 264). Некрасивость воспринималась византийцами как трагедия. Племянница Василия II Болгаробойцы Евдокия, переболев оспой, еще подростком ушла в монастырь. Полумонашескую жизнь вела и ее некрасивая сестра Феодора, так и не вышедшая замуж. Зато красавица Зоя, средняя из сестер, сделала из своей внешности подобие культа и до глубокой старости заботилась о ней.

Красота играла решающую роль при выборе невесты василевса. В VIII—IX вв. устраивали специальные смотрины, на которые отбирали самых красивых девушек империи. Этот обычай весьма подробно описан в житии Филарета Милостивого. Когда императрица Ирина захотела женить своего сына Константина VI, она разослала по всей империи гонцов с тем, чтобы они разыскали и привезли в Константинополь самых красивых девушек в государстве. Ирина определила возраст и рост будущей снохи, а также размер ее головы и длину стопы. Посланцы отправились в путь, и через некоторое время в столицу были доставлены первые красавицы Византии. Затем состоялись смотрины, на которых была названа будущая жена Константина. Ею оказалась девушка из Пафлагонии, дочка обедневшего землевладельца Филарета (Виз. лег. С. 105—108).

В результате смотрин была выбрана и жена для сына Василия I Льва. Житие Феофано, оказавшейся победительницей, рисует красочную бытовую сценку: 12 девушек, участвующих в смотринах, сидят босыми и ждут прихода жениха; та, которая обуется первой, та и будет победительницей. Затем мать Льва уводит троих, больше всего понравившихся девушек в свои покои, и там они принимают ванну — тогда и совершается окончательный выбор⁹⁹.

В смотре невест для василевса принимала участие и поэтесса Касия, которую прочили в жены императору Феофилу (см. выше). Постепенно обычай отбирать невесту для императора с помощью смотрин ушел в прошлое, но и впоследствии василевсы нередко женились по любви к красивой женщине. Именно красота возвела на трон дочь трактирщика Феофано, в которую безумно влюбился сын Константина VII Багрянородного Роман.

С приходом к власти Комнинов к заключению брака в знатной семье начинают относиться как к важной политической акции, укреплявшей положение всего родственного клана. Начинает утверждаться западный обычай: у василевса испрашивают разрешение на брак¹⁰⁰. Но о женской красоте не забывали. Сам Алексей I Комнин, женившийся на Ирине по политическому расчету, настолько увлекся Марией Аланской, что был период, когда он серьезно подумывал о разводе с женой, и лишь боязнь, что это повлечет за собой враждебные действия со стороны могущественных Дук, из рода которых была Ирина, заставила его отказаться от своего намерения (*Анна Комн.* С. 116—120; *Zonar.* P. 237).

Браки заключались рано. Брачный возраст для юноши был 14—15 лет, для девушки — 13—14. Браку предшествовала помолвка, которой придавали большое, почти религиозное значение. Разрыв помолвки осуждался и обществом, и церковью: виновная сторона наказывалась штрафом. Помолвки заключались между маленькими детьми. Родители решали вопрос о браке и заключали письменный контракт¹⁰¹. В семьях бедняков для заключения брака обычно требовалось лишь благословение священника либо устно высказанное в присутствии нескольких свидетелей взаимное согласие. Но к началу X в. подобную практику заключения брака без

⁹⁹ Записки Императорской Академии наук. VIII сер. 1898. Т. 3, вып. 2. С. 5—6.

¹⁰⁰ *Литаврин Г. Г.* Указ. соч. С. 133.

¹⁰¹ *Talbot Rice T.* *Everyday life in Byzantium.* N. Y., 1967. P. 159.

формальностей стали рассматривать как юридически несостоятельную. Отныне оформление брака через официальный публичный обряд венчания в церкви считалось обязательным.

В состоятельных семьях, после того как был назначен день свадьбы, рассылались приглашения родственникам и друзьям. Накануне свадьбы брачные покои украшались дорогими тканями, ценной мебелью, а также другими предметами роскоши. Все это сопровождалось мелодичным пением. В день свадьбы собирались гости, одетые в белое. В сопровождении музыкантов являлся жених. Невеста ждала его, тщательно одетая в платье из парчи и в расшитом плаще. Голова и лицо были закрыты вуалью. Когда жених приближался к ней, она открывала свое лицо. Случалось и так, что жених видел лицо невесты в первый раз, хотя нередки помолвленные дети росли и воспитывались в одном доме. Затем в окружении родителей, друзей, гостей, факельщиков, певцов, музыкантов жених и невеста отправлялись в церковь. Они шли по улицам, где люди, стоя на балконах, осыпали их фиалками и розами. В церкви крестные родители стояли позади них, держа над их головами свадебные венцы. {597} Жених и невеста обменивались кольцами, а с XI в. договор, составлявшийся до свадьбы, подписывался здесь же в присутствии свидетелей. После церемонии в церкви устраивали свадебное пиршество. Выставлялась лучшая посуда, разнообразные кушанья. Мужчины и женщины сидели за разными столами. С наступлением ночи гости провожали новобрачных до их спальни, а утром будили их песнями¹⁰².

С VII в. вошло в обычай, чтобы новобрачный дарил своей жене кольцо и пояс. Впрочем, пояс преподносили в дар лишь богатые мужчины. Что касается кольца, то это было не то кольцо, которое жених вручал невесте во время церемонии бракосочетания, а новое — то, которое дарилось в тот момент, когда новобрачные впервые вместе входили в свои покои. Кольца изготавливались из золота, серебра и бронзы. Обычно они были плоскими или восьмигранной формы. В последнем случае на семи лицевых частях кольца изображались библейские сцены, в то время как центральная часть украшалась изображением сцены бракосочетания: чаще всего это Христос, находящийся между женихом и невестой и соединяющий их руки. Распространенной была и более символическая сцена: крест, а по обе стороны молодожены. Иногда наверху делали надпись: ο; μὀνοια (согласие). Исследователи предполагают, что появление этого кольца восходит к обычаю, существовавшему в ранней Византии, когда императоры выпускали специальные монеты по случаю своего бракосочетания. Сохранилась, в частности, монета, изображающая Феодосия II, стоящего между Евдоксией и Валентинианом III, которые сочетались браком в Константинополе в 437 г., а также монеты с изображением Христа между Маркианом и Пульхерией и Анастасием и Ариадной¹⁰³.

Повторные браки не одобрялись, но они не были запрещены. Третий брак осуждался церковью, а брак в четвертый раз мог повлечь за собой разлучение супругов. Известно, какой скандал вызвал четвертый брак Льва VI Мудрого с Зоей Карвонопсиной, хотя целью василевса было обзавестись наследником. И, видимо, не случайно то, что, хотя всякий ребенок, родившийся в момент, когда его отец занимал престол, считался порфирородным (багрянородным), только к имени Константина VII, родившегося от четвертого брака Льва VI, этот эпитет прилагался особенно последовательно. По всей вероятности, так лишний раз хотели подчеркнуть легитимность и рождения ребенка, и самого брака.

Отношения стремились поддерживать и с родственниками самых разных степеней. «Помни о родственниках,— завещает своему сыну Кекавмен,— не исключено, что именно для этого господь даровал тебе успех» (*Кекавм.* С. 209, 225, 100). Поддерживали отношения с родственниками и друзьями чаще всего с помощью переписки, которая начиная с X в. становится самым обычным, заурядным явлением. Более двух тысяч писем дошло до нас от той эпохи¹⁰⁴. И хотя многие из них еще посвящены абстрактным сюжетам и написаны высоким риторическим стилем, напоминая собой небольшие трактаты на ту или иную тему, немало сохранилось и вполне будничных писем, свидетельствующих о бессознательном стремлении порвать

¹⁰² Ibid. P. 160.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ *Karpozelos A.* Op. cit. P. 20.

со сложившейся традицией¹⁰⁵. Сюжеты их самые прозаические. Иоанн Цец, например, в одном из писем просит прислать ему лошадь, поскольку ливень затопил улицы Константинополя (Ер. 29). В письмах нередко содержалась просьба прислать в лечебных целях ту или иную траву, каперсовый куст или желуди. Последние считались хорошим средством против тошноты¹⁰⁶.

Обычно же письма просто сопровождали подарки. Дарили самые разнообразные вещи — благовония, предметы прикладного искусства, одежду, кухонную утварь, гребни, матрасы из шерсти, покрывала, продукты питания, вино¹⁰⁷. Такие подарки часто бывали недорогими, что, по всей видимости, свидетельствует о весьма скромном достатке большинства византийцев. Книги дарились чрезвычайно редко, видимо, потому, что были дороги. Обычно их одалживали друг другу на время. Немало сохранилось писем, в которых автор просит адресата вернуть одолженную книгу¹⁰⁸.

Но, вне всякого сомнения, самое главное, что отличает быт и нравы византийцев той эпохи, — это повышенная религиозность и глубокое проникновение христианства во все сферы быта. «Поклоняться богу, любить исключительно его» считалось главной добродетелью человека. «Пренебрегай оскорблениями, касающимися тебя, но не пренебрегай ими, если они касаются святых икон и христианских святынь. Насмерть борись за благочестие», — требует от сына Кекавмен (*Кекавм.* С. 209).

Во все радостные и печальные события жизни византийцы привычно обращались к богу. В трудные для империи времена (будь то землетрясение, засуха или нападение врага) в городах и селах совершались крестные ходы. В столице их возглавляли сам василевс и патриарх. Все важные политические акты и предприятия отмечались торжественными богослужениями. Отправлялся ли император в поход или возвращался с триумфом из похода, всякий раз совершались молебствия, «Благодарственным богу молебствием» отметил император Никифор II Фока взятие Антиохии (*Leon. Diac.* V. 5). Иоанн Цимисхий после завершения успешного похода в Болгарию, когда ему был устроен великолепный триумф, отказался взойти на специально приготовленную для него колесницу, пышно украшенную золотом, пурпуровыми одеждами и коронами болгарских царей, но поставил на нее икону богородицы, а сам последовал сзади (*Leon. Diac.* IX. 12), тем самым стремясь подчеркнуть, что победой византийцы обязаны не военному искусству, а исключительно божьей милости.

Сама коронация василевсов, которая в ранневизантийский период имела исключительно светский, военный характер, приобрела ярко выраженную религиозную окраску. Церковное венчание на царство, первоначально служившее лишь дополнением к светской коронации, стало теперь не только важнейшим, но и единственным коронационным актом¹⁰⁹. {599}

Главным символом эпохи стал крест, с которым связано представление об искупительной жертве Христа. Он входил в императорские инсигнии, его чеканили на монетах, изображали на самых различных предметах быта (блюдцах, сосудах, ларцах, дверях, украшениях и т. д.)¹¹⁰, ставили на деловых контрактах и частных письмах. В каждом византийском доме были иконы либо распятие. В храмах и монастырях поклонялись не только им, но и различного рода «священным реликвиям»: мощам и предметам, якобы принадлежавшим Христу, деве Марии, апостолам и мученикам. Искренне верили, что они обладают чудодейственной силой, способной защитить несчастного, излечить больного и даже воскресить убитого (Виз. лег. С. 204—205).

Особенно чтили богородицу, культ которой был чрезвычайно развит в Византии. Богородица византийцам (в отличие от жителей Запада) представлялась более зрелой, более отмеченной печатью материнства и вместе с тем более человеческой, более близкой простым смертным, нежели ее грозный сын — Пантократор¹¹¹. Именно богородицу византийцы считали сво-

¹⁰⁵ Mullet M. The Classical Tradition in Byzantine Letter // *Byzantium and the Classical Tradition*. Birmingham, 1981. P. 87; Karpozelos A. Op. cit. P. 20.

¹⁰⁶ Westerink L. G. Some Unpublished Letters of Blemmydes // BS. 1951. T. 12. P. 55.

¹⁰⁷ Karpozelos A. Op. cit. P. 20—37.

¹⁰⁸ Ibid. P. 21.

¹⁰⁹ Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда коронования // *Византия. Южные славяне. Древняя Русь. Западная Европа. Искусство в культуре*: Сб. ст. в честь В. Н. Лазарева. М., 1973. С. 35—36.

¹¹⁰ Банк А. В. Указ. соч. С. 28, 164.

¹¹¹ Walter G. Op. cit. P. 210—211.

ей защитницей, призванной управлять их судьбами, и не только скромные обыватели, но и императоры относились к ней с особым почтением. К богородице взывал лишенный всякой помощи Никифор II Фока, когда заговорщики со свирепой жестокостью умерщвляли его (*Leon. Diac. V. 8*).

Согласно Михаилу Пселлу, ромейские цари обычно брали с собой в походы икону божьей матери как «предводительницу и хранительницу всего войска» (*Мих. Пс. С. 26*). В другой раз тот же Пселл рассказывает, как Василий II устремился на мятежника Фоку, «держа в одной руке меч, а в другой образ богоматери, в которой видел оплот против неукротимого натиска врага» (Там же. С. 10). И Робер де Клари свидетельствует о том, что византийские императоры «питали такую великую веру в эту икону, что были уверены, будто ни один человек, который берет ее с собой в бой, не может потерпеть поражение» (*Робер де Клари. С. 48*). Этот обычай настолько вошел в употребление, что вместо того, чтобы сказать «икона божьей матери», говорили просто «икона», и всем было ясно, о чем идет речь (Там же).

Молитва стала постоянным спутником византийцев. Молились по несколько раз в день и обязательно утром и вечером. Цикл молитв был тщательно разработан для разного времени дня и по разному поводу. По вечерам молились до поздней ночи, читали Священное писание, пели псалмы. Человек, который, подобно Никифору Фоке, «целую смену ночной стражи воссылал к богу моления и размышлял о Священном писании» (*Leon. Diac. V. 6*), при всех прочих его личных качествах считался добродетельным. Характеризуя того же Никифора II Фоку, Лев Диакон как положительное качество отмечает, что этот василевс был «неутомим в молитвах и всеночных бдениях, сохранял твердость духа в священных песнопениях и к суетности совершенно не способен» (*Ibid. V. 8*).

Строго соблюдались посты. В своем завещании Евстафий Воила наставляет своих дочерей соблюдать три поста (великий, петровский и рож-600; дественский) и, кроме того, поститься по средам и пятницам¹¹². Нельзя не отметить, однако, что в глазах византийцев пост был не только проявлением благочестия, но и средством борьбы с болезнью. «Если постигнет тебя болезнь, постись и лечись без лекарства», — пишет Кекавмен (*Кекавм. С. 225*).

Брак объявлялся святыней, но все же идеалом считалось безбрачие или, во всяком случае, основанный на духовном общении союз, в котором супруги избегали физической близости. Так, Феофан Сигрианский, например, убедил невесту соблюдать целомудрие и готовиться к вечной жизни¹¹³.

Идеал святости требовал не только безбрачия, но и разрыва с родными, и агиограф Никита Стефанит прославляет ученика Симеона Богослова Арсения, который отказывается выйти к матери, хотя та неотступно стоит несколько дней у ворот монастыря¹¹⁴. А из жития Феодоры Солунской мы узнаем, что ее огромная любовь к дочери считалась наущением дьявола, поэтому, несмотря на то, что Феодора жила вместе с дочерью в одном монастыре, игуменья запретила им всякое общение, и хотя они спали в одной келье и ели за одним столом, в течение 15 лет мать и дочь не проронили друг с другом ни слова. Когда же Феодора тяжело занемогла и игуменья сняла с них запрет, они уже утратили необходимость в общении и, к восхищению агиографа, почувствовали себя свободными от семейных уз¹¹⁵.

Добродетелью считались у византийцев смирение, ощущение собственной греховности, а также милосердие, понимаемое прежде всего как готовность подать милостыню убогому, впавшему в несчастье, и как сострадание к увечному. «Если кто попросит тебя дать ему милостыню, подай ее с готовностью и не медля...если это был незнакомец, считай, что это был Христос, и благодари», — наставляет сына Кекавмен (*Кекавм. С. 213*).

Особой добродетелью считалось ухаживать за престарелыми и больными, в том числе страдавшими проказой и эпилепсией. Лев Диакон ставит в заслугу Иоанну Цимисхию то, что он — человек «нежный и разборчивый», не гнушался «врачевать изнуренные и покрытые яз-

¹¹² Бенешевич В. Завещание византийского боярина XI в. // ЖМНП. 1907. Вып. 9. Май. С. 228.

¹¹³ Каждан А. П. Византийская культура. С. 141.

¹¹⁴ Kazhdan A. P. Hagiological Notes // Byz. 1984. Т. 54. Р. 188.

¹¹⁵ *Ibid.* Р. 192. Вместе с тем, порой даже у монахов сохранялась тяга к семейной жизни, и они отправлялись в монастырь либо с кем-то из родственников, либо целыми семьями (*Ibid.* Р. 189, 191—192). Нередко и отношения в монастыре устанавливались подобно семейным: место отца занимал духовный отец, который вскармливал послушника «молоком добродетели и возвращал его на животворном хлебе знания» (*Ibid.* Р. 191).

вами» тела больных (*Leon. Diac.* VI. 5). По всей видимости, таким образом Иоанн Цимисхий, получивший трон посредством убийства своего дяди, стремился приобрести популярность у населения, идеалом которого в те времена был аскет, «святой», мученик, юродивый. Необычайная распространенность житийной литературы, живописующей аскетические «подвиги» своих героев, проходивших через целый сонм мучений, страданий и лишений, скорее всего, объясняется тем, что она отвечала вкусам большей части византийцев. {601}

Правда, с течением времени идеалы византийцев несколько меняются: на смену мученику, чье тело изувечено веригами, приходит «святой», одетый в воинские доспехи. Аскет уступает место воину. На предметах быта эта эволюция прослеживается с середины XI в.¹¹⁶, но еще в X в. Лев Диакон рассказывал о «чуде», когда некий «мученик» Феодот, отважный воин, помогал ромеям во время битвы с росами (*Leon. Diac.* IX. 9).

А в чудеса византийцы верили с почти детской наивностью. Именно поэтому священнослужителям было так легко убедить свою паству в том или ином чуде. Верили, что засов, на который запирали храм св. Софии, если зажать его между зубами, способен избавить человека от яда¹¹⁷. Верили, что «чудо» поможет обнаружить преступника. Так, чтобы выявить вора, священник клал в рот подозреваемым лицам кусок «священного» хлеба. Тот, кому не удавалось проглотить его, считался полностью избалованным в содеянном. Этот типично средневековый способ установления виновности имел почти такую же силу, что и процедура расследования, разработанная римским правом¹¹⁸.

Особенно много чудес связывали с иконами богородицы. Анна Комнина без какой бы то ни было тени сомнения рассказывает, как Алексей I Комнин перед своим вторым походом против норманнов опасался, что богородица во Влахернах не явит своего «обычного чуда». Поэтому он задержался с выступлением в поход на четыре дня и отправился на запад против врагов не ранее того, как «обычное чудо» во Влахернах совершилось, когда император «после захода солнца... скрытно войдя вместе с немногими спутниками в святой храм Богородицы, исполнил там обычные песнопения и усердно сотворил молитву» (*Анна Комн.* С. 340). «Чудо» же заключалось в том, что каждую пятницу после захода солнца «само собой» поднималось покрывало иконы богородицы¹¹⁹.

Способность творить чудеса приписывали не только предметам культа. Немало было и так называемых «светских чудес». Говорили, например, что статуи шестнадцати метельщиков, водруженные на форуме Константина при Льве Мудром, по ночам покидают свои постаменты и метут улицы Константинополя, а к утру вновь возвращаются на прежние места¹²⁰.

Другой характерной чертой византийцев было неодолимое стремление узнать будущее — не то далекое будущее, которое ожидало их после смерти, а то, которое уготовано им здесь, на земле. Примитивная схема, которую предлагало христианство и которая рисовала лишь будущее в загробной жизни, оказывалась для них недостаточной. Они желали узнать близкое будущее, ожидавшее их в реальной, земной жизни. И его, по их разумению, могли открыть им всякого рода предзнаменования и видения — надо лишь только обладать умением увидеть ту сверхъестественную сущность явлений, которая спрятана под маской обычного. В это верили не только скромные обыватели, но и такие образованные люди, как Анна Комнина. По одному ее сообщению, на- {602} пример, нападению кельтов (латинян) предшествовало появление са-

Файл byz603g.jpg

Икона. Стеатит. XI в. Париж, Лувр. {603}

ранчи, которая не тронула пшеницу, но страшно опустошила виноградники. «Как объясняли тогда толкователи знамений,— пишет Анна,— это означало, что кельтское войско, вторгшись к нам, воздержится от вмешательства в дела христиан, но грозно обрушится на варваров-исмаилитов, рабов пьянства, вина и Диониса» (*Анна. Комн.* С. 276). И продолжая свой рассказ,

¹¹⁶ Банк А. В. Указ. соч. С. 94.

¹¹⁷ Walter G. Op. cit. P. 210.

¹¹⁸ Ibid. P. 219.

¹¹⁹ Grumel V. Le miracle habituel de N-D des Blachernes à Conslantinople// EO. 1931. Avril — juin.

¹²⁰ Walter G. Op. cit. P. 218.

Анна Комнина еще раз упоминает об умных людях, способных по знамениям предвидеть будущее (Там же. С. 276).

Предсказателей было множество, начиная от скромного торговца амулетами на рынке и кончая ученым-астрологом, к которому в интимной обстановке внутренних покоев великолепных дворцов обращались за советом царственные особы. Вопросы, с которыми обращались к астрологам, дают некоторое представление о том, какие проблемы волновали византийцев, и несколько приоткрывают завесу над тем духовным миром, в котором они жили. Вот эти проблемы: длительность жизни, богатство и наследство, отношения между членами одной и той же семьи, смерть, поиски спрятанных сокровищ, счастье, успех, дети, болезни, потеря денег, преследования со стороны властей, брак, старость, позорная смерть, отношения с друзьями, слава, отличия, благие надежды, страдания, опасности, различного рода беды¹²¹. Но главным вопросом, с которым обращались к астрологам, был вопрос о длительности жизни. Рассказывали, что император Мануил Комнин, находясь на смертном одре, призвал к себе астролога и спросил, сколько ему осталось жить. «Четырнадцать лет», — ответил тот. Император умер через несколько дней (*Nic. Chon.* P. 220).

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, астрологи составляли гороскопы (*Анна Комн.* С. 186), некоторые из которых дошли до наших дней. Сохранился, в частности, уникальный гороскоп, составленный по случаю рождения Константина VII Багрянородного 3 сентября 905 г.¹²² Он определял срок жизни будущего василевса, его внешность, характер, склонности, количество жен и детей, говорил о его путешествиях, военной деятельности и т. д. Астролог предсказывал Константину богатство, царскую власть, два удачных брака, троих детей и утверждал, что он будет высокообразован и счастлив в друзьях. В гороскопе сказалось стремление его составителя польстить родителям Константина VII — Льву VI Мудрому и Зое Карвонопсине: астролог, в частности, утверждал, что Константин будет иметь брата и двух сестер; между тем, обвенчавшись после рождения сына 6 сентября 905 г., Лев и Зоя не имели больше детей.

Немало оказалось в этом гороскопе и других ошибок. Так, смерть Константина Багрянородного, исходя из данных астрологии, предсказана на 8 ноября 964 г. (гл. IV), в действительности же он умер в ноябре 959 г. Астролог предсказал Константину первую женитьбу в возрасте 17 лет (гл. XIII, 3) и утверждал, что его жена умрет раньше него (гл. XIII, 4). Между тем он женился на Елене 4 мая 919 г. в возрасте 13 лет, и эта его единственная жена пережила и его, {604} и их сына Романа. Не смог угадать астролог и количество детей Константина: он предсказал ему троих детей, в действительности их оказалось пятеро — упомянутый выше Роман II, первый муж Феодора, Феодора, вышедшая впоследствии замуж за Иоанна Цимисхия, и еще трое. Но, впрочем, гороскоп, возможно, сыграл положительную роль в жизни Константина VII, поскольку, вероятно, именно он внушил ему мысль о научных занятиях¹²³.

Сохранились гороскопы, составленные по случаю коронаций императора Алексея I Комнина 1 апреля 1081 г. и Мануила I Комнина 31 марта 1143 г.

По всей видимости, именно невозможность, неосуществимость получить ответ от христианской религии в том, что касается близкого будущего, которое так заботило византийцев, обусловила необычайный успех астрологии в Византии во времена Македонской династии и Комнинов.

Процветала и магия, т. е. вера в то, что различные предметы, а также животные и птицы обладают скрытыми силами, которые могут влиять на судьбу человека. Полагали, что можно убить врага, проткнув изображавшую его восковую фигуру, изготовленную магом. Именно такую фигуру, пронзенную гвоздем и с ногами в кандалах, нашли спрятанной в изображении черепахи у некоего Аарона Исаака, обвиненного в «волшебстве» (*Nic. Chon.* P. 146). Гадали на лопатке ягненка, считая, что по тому, как она зажалась, можно судить о жизни и смерти, о войне и мире. Тайну будущего пытались раскрыть и по птицам: по направлению их полета, по числу издаваемых ими криков (четное число криков считалось счастливым, нечетное — несущим неудачу), по месту, откуда слышались крики (крик спереди предвещал несчастье, крик

¹²¹ Ibid. P. 222.

¹²² *Pingree D.* The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus // *DOP.* 1973. N 27. P. 217—231.

¹²³ Хотя, впрочем, немаловажно и то обстоятельство, что Роман I Лакапин отстранил его от дел.

сбоку, напротив, считался добрым предзнаменованием), или по тому, как упала жертвенная птица (если слева, то ждали беды)¹²⁴.

Верили также в демонов, которых дух зла якобы предоставлял в помощь магам. Никита Хониат рассказывает, как обруганный в банях маг Сикидик, оказавшись в предбаннике, призвал на помощь демонов, которые, явившись через кран с горячей водой, пинками вытолкали из помещения всех, кто там находился, не дав им времени одеться. Об этой истории ходило много разговоров, и ни у кого не возникло сомнения в существовании вызванного магом «легиона» демонов. Сикидик был признан виновным и лишен зрения (Ibid. P. 149).

Боялись и верили византийцы в порчу, чары, колдовство. Философ Сиф Склир, влюбившись в девушку, стал добиваться ее благосклонности. Когда же ему это удалось, родственники девушки заявили, что он опутал ее чарами, послав персик, из-за которого она воспылала любовной страстью. Сиф Склир был признан виновным и ослеплен раскаленным железом (Ibid. P. 148).

Немало существовало у византийцев и других суеверий. Бытовал, например, обычай, который требовал вешать амулеты и талисманы в спальнях и под колыбелями новорожденных, надевать их им на шеи, {605} а также произносить над детьми магические заклинания. Это должно было уберечь их от зла. Амулеты носили и взрослые, причем вполне образованные люди. Так, Михаил Италик послал одному из своих адресатов, врачу, номисму с изображением Константина Великого и его матери Елены как якобы предохраняющую от чумы¹²⁵.

Верили в сны и прибегали к ним в качестве доказательства. Когда в семье, где рос Михаил Пселл, стал решаться вопрос, куда определить мальчика, и когда родные и друзья стали говорить, что лучше обучить его какому-нибудь ремеслу, ибо наукой не прокормишься, мать Михаила, Феодота, страстно желавшая дать сыну образование, рассказала на семейном совете свои сновидения. В первом явился ей муж, похожий на Иоанна Златоуста, и сказал: «Женщина, не смущайся, смело посвяти своего сына науке. Я буду его наставником и учителем» (МВ. V. P. 12—13). В другой раз явилась ей во сне богородица и также советовала обучать сына наукам. Эти сны и решили участь мальчика.

Надо сказать, что и сам Михаил Пселл, при всей широте своего интеллекта, не веривший в астрологию и совершенно не допускавший, «что судьбой нашей руководит движение светил», беспощадно издевавшийся над людьми, воображавшими, что они могут предсказывать будущее, верил снам и силе их откровения¹²⁶.

Его современники тем более не сомневались в пророческом значении снов. Вероятно, именно поэтому в византийской литературе так много говорится о снах, так часто повторяется, что они сбываются. Когда Василий I стал императором, тотчас вспомнили, что его матери когда-то приснилось, что из груди ее выросло золотое дерево, осенившее своей листвой целый мир, и что настоятель монастыря св. Диомида видел во сне, будто человек, спавший у дверей его церкви, будущий василевс (Vita Bas. P. 222—223).

Существовали и другие предрассудки. Верили, например, что змеи не будут беспокоить голубятню, если в четырех ее углах написать слово «Адам» — акростих из греческих слов: α;`νατολή (восток), δύσις (запад), α;` ; ρκτος (север) и μεσεμβρία (юг) (Геопоники. С. 17). Считали, что для того, чтобы прогнать мышей, надо взять лист бумаги и написать на нем: «Заклинаю вас, мыши, здесь находящиеся: не причиняйте мне вреда сами и не позволяйте другим. Я отвожу вам такое-то поле. Если же я еще раз захвачу вас здесь, клянусь матерью богов, что разорву вас на семь частей» (Геопоники. С. 18). А для того, чтобы получить обильный урожай, следовало во время пахоты и сева написать на плуге слово φρήλ (Геопоники. С. 66).

Тенденции, которые, несомненно, имели место в повседневной жизни византийцев на протяжении VII—XII вв.: все более глубокая христианизация быта, усиление восточных и вообще местных традиций — заметным образом сказывались не только в буднях населения страны, но и в дни празднеств. В ранневизантийский период древние языческие праздники, отмечавшиеся в силу глубоко укоренившейся традиции, уничто- {606} жить которую оказалось не

¹²⁴ Walter G. Op. cit. P. 224—225.

¹²⁵ Karpozelos A. Op. cit. P. 28.

¹²⁶ Разделял Михаил Пселл и другие предрассудки своего времени. См.: Безобразов П. В. Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890. Ч. 1. С. 193—194.

под силу христианству, были отделены от празднований церковных и государственных. Теперь же эти праздники либо христианизуются, либо как составная часть входят в праздники государственные. Однако этот процесс трансформации языческих праздников был длительным и завершился лишь к X в. В VII— IX вв. в Византии, особенно в провинции, по-прежнему широко отмечались многие языческие праздники (календы, воты, брумалии, всенародный праздник первого дня марта) с их невозддержанным весельем. Во время этих празднеств устраивали пляски, ходили ряженые в масках трагических, сатирических и комических, мужчины наряжались женщинами, женщины — мужчинами. Во время выжимания винограда, как встарь, зывали к Дионису, что особенно вызывало возмущение церкви ¹²⁷.

Важным компонентом традиционных языческих празднеств издавна являлся театр в его самых разных проявлениях. И в период VII— IX вв. представления мимов пользовались большой популярностью. Не только миряне, но, как свидетельствуют 24-й и 71-й каноны Трулльского собора, священники и монахи с увлечением смотрели сценки этого легкомысленного жанра. В VII в. в Газе продолжала существовать школа, поставлявшая мимов в столицу и другие города империи ¹²⁸.

Сценки-клоунады, по свидетельству источников, продолжали разыгрываться на ипподроме и в IX в. В Patria сохранился весьма любопытный рассказ о представлении подобного рода, имевшем место в правление императора Феофила (829—842). Один из самых высоких чиновников империи, препожит священной спальни Никифор, отнял у некоей вдовы корабль, оснащенный тремя парусами. В полном отчаянии вдова обратилась к мимам, которые в присутствии императора разыграли на ипподроме следующую сценку: два мима вытащили на арену легкую повозку, на которую взгромоздили жалкое суденышко. Один из мимов во всеуслышание предлагает другому проглотить судно. Тот всячески пытается это сделать, что ему, конечно, никак не удастся. Тогда первый мим с упреком произносит: «Препожит с легкостью проглотил корабль с тремя парусами, а ты не можешь справиться с жалким суденышком». Заинтригованный Феофил приказал расследовать дело, и виновный препожит был сожжен на костре на том же ипподроме ¹²⁹.

Отношение церкви к театру в начале этого периода продолжало оставаться враждебным. Кульминацией этой вражды явился Трулльский собор (692 г.), который резко высказался против сценических представлений. Более того, впервые на церковном соборе не исполнялись акты-песнопения, поскольку церковь видела в них дань языческому искусству ¹³⁰.

С VIII в. отношение к театру начинает меняться. Императоры-иконоборцы открыто прокровительствовали театру, видя в нем действенное {607} орудие против своих врагов — иконопочитателей. Сценки, высмеивающие жизнь монахов и монахинь, пользовались тогда особой популярностью.

Элементы театра все больше проникают и в церковь. Церковная служба все больше театрализуется. Процесс этот начался еще в ранневизантийский период, когда в литургию были допущены диалоги на евангельские темы и антифонные песнопения, мелодий которых были заимствованы из народной музыки. Уже тогда во время службы священники использовали сценические приемы (жесты, манеру говорить). В VIII— IX вв. проповедь все более драматизируется. Церковная служба вбирает в себя и элементы пантомима. В конце иконоборческого периода стали поощряться театрализованные панигии во время больших религиозных праздников. Император Феофил, например, во время яркой панигии в храме св. Софии сам принимал участие в пении музыкальных произведений, сочиненных им на новый лад ¹³¹.

Победа иконопочитания ничего не изменила в отношении к театру. Иконопочитатели не возобновили постановления прежних соборов, направленные против него. Не отменили они и акты-песнопения, вновь введенные иконоборцами (Mansi. XIII. Col. 352—353). Театр переживает новый расцвет, но расцвет этот тесно связан с тем, что элементы театра все больше

¹²⁷ Лутиниц Е. Э. Очерки византийского общества и культуры, VIII — первая половина IX в. М.; Л., 1961. С 412; Wango C. Daily Life in Byzantium. P. 349.

¹²⁸ Cottas V. Le théâtre à Byzance. P., 1931. P. 46.

¹²⁹ Guillard R. Etudes sur l'Hippodrome de Byzance. VI: Les spectacles de l'Hippodrome//BS. 19G6. T. 27. P. 293.

¹³⁰ Cottas V. Op. cit. P. 52—53.

¹³¹ Ibid. P. 53—54.

проникают в церковь. С точки зрения ревнителей «истинного благочестия» это было делом настолько заметным и неприемлемым, что один из них, патриарх Фотий, рассматривал нападение русских на Константинополь в 860 г. как «божью кару» за принятие церковью сцены (PG. T. 107. Col. 293).

Но слияние театра и церковной службы продолжалось. Лев VI (886—912) увеличил число панигирий, для которых он сам сочинял гомилии, исполнявшиеся весьма красочно и эффектно. При Константине VII Багрянородном после торжественного введения сценической оркестры в храм св. Софии проникновение театрально-зрелищных моментов переходит на качественно новую ступень: панигирии трансформируются в литургическую драму — мистерию.

Проникновение театра в церковь завершилось. Однако это был уже иной театр, нежели тот, который существовал в античные времена. Приняв театр в свое лоно, церковь существенно изменила его, сделав более величавым и торжественным. Сама атмосфера богослужений тоже немало способствовала этому: храм освещался свечами, воскурялись благовония. Изменилось и содержание театрализованных представлений, оно стало исключительно религиозным. Перестав бороться с театром, церковь использовала его приемы для популяризации церковных догматов, которые, учитывая неугасившую привязанность народа к театрально-драматическим представлениям, преподносились теперь во впечатляющей, образной и общепонятной форме.

Пользуясь покровительством церкви и государственной власти, церковный театр почти полностью оттеснил на задний план все другие виды сценических представлений, хотя они и продолжали существовать. Мистерии обычно разыгрывали во время больших религиозных праздников. Так, на пасху показывали явление Христа ученикам, нисхождение св. Духа, воскресение Христа (De ser. P. 637, 638). Сходную сцену {608} явления Христа разыгрывали во

Файл byz608r.jpg (на вклейке).

*Хахульский триптих (деталь). Михаил VII Дука и императрица Мария.
Золото, перегородчатая эмаль, чеканка, самоцветы XI в.
Тбилиси. Гос. музей искусств Грузинской ССР*

Файл byz609r.jpg (на вклейке)

*Танцовщицы.
Настенная роспись
из дворца Джаусак в Самарре IX в.
(Реконструкция Е. Херцфельда)*

время праздника Преображения и в ходе продолжительной панигирии, имевшей место при праздновании Успения (Ibid. P. 591). В день Епифании диаконы изображали ангелов в специальном представлении, после которого в той же одежде ангелов они принимали участие в пиршестве в императорском дворце (Ibid. P. 754). В день св. Ильи в храме св. Софии показывали мистерию «Взятие пророка Ильи на небо». Эту мистерию довелось увидеть епископу Лиутпранду, который был поражен «сценическими представлениями легкомысленных греков» (Liut. S. 191—192).

В неделю «святых праотцев» или «святых отец» изображали «Пещное действо», которое затем проникло и на Русь и ставилось здесь вплоть до середины XVII в., когда оно было запрещено как представление, место которому «не в церковном амвоне перед алтарем, а на театральных подмостках»¹³².

Но, вероятно, одной из самых впечатляющих и красочных мистерий была мистерия «Воскрешение св. Лазаря», сценарий которой дошел до нас в рукописи XIII в. Эта рукопись замечательна тем, что в ней сохранились режиссерские пометки, касающиеся мизансцены, например: «Поставь Христа с учениками перед гробницей Лазаря на некотором удалении от нее, Марфу же и Марию, сестер Лазаря, и некоторых иудеев размести возле гробницы, а того, кто исполняет роль Лазаря,— на гробнице, затынутым погребальными пеленами и прикрытым покрывалом»¹³³.

Мистерии, как мы уже говорили, ставились только по праздникам и органично вписывались в них наряду со службой и торжественными ходами. Празднование религиозных, как

¹³² Дмитриевский А. Чин пещного действия // ВВ. 1894. Т. 1. С. 553—600.

¹³³ Vogt A. Etudes sur le théâtre byzantin // Byz. 1931. Т. 6. P. 50; Cottas V. Op. cit. P. 97. Ср.: Каждан А. П. Книга... С. 126.

некогда и языческих праздников, начинали накануне, поздним вечером, но, естественно, уже не языческими ритуалами, а всенощной службой в храме, главной частью которой было пение. Во время праздника св. Димитрия в Фессалонике «три ночи кряду... при свечах и факелах сонм священников и монахов, образуя два полухория, возносил песнопения» (Тим. С. 30).

Для того чтобы привлечь к себе верующих, церковь, еще со времен Ария (который впервые включил пение в службу), использовала для литургии музыку светскую, а то и просто популярные в народе мелодии. Мелодия церковных песнопений, таким образом, не отличалась от светской, и при высоком качестве исполнения она вызывала у византийцев, чья привязанность к музыке и пению была неизменно велика, чувство радостного восторга. Вот как описывает Тимарион свое восхищение службой в Фессалонике: «Когда затем с особой торжественностью... были исполнены все подобающие этому дню обряды, зазвучало истинно ангельское пение, благодаря ритму своему, тону и полной совершенства смене оттенков становившееся все более сладостным. Песнопения исполняли не только мужчины, но и женщины, стоя в левом крыле храма и разделенные на два полухория» (Там же. С. 34).

Чтобы послушать всенощную, накануне праздника в церковь и около нее собиралась масса народа, и те, кто по старости или болезни не могли {609} стоять, приносили с собой матрасы и слушали пение полулежа¹³⁴. А в сочетании с соразмерностью движений и коленопреклонений гармоническое звучание голосов производило еще более сильный эффект. Так, искусно воспользовавшись любовью народа к пению и изяществу движений, церковь вобрала эти элементы в свое священнодействие и поставила на службу религии. Мелодия и жесты, благодаря словам, приобретали религиозный смысл.

Христианизации подверглись и другие языческие обряды, которые, будучи освящены церковью, также приобретали религиозный смысл. К ним можно отнести, например, празднества в честь сбора винограда, описанные Константином VII Багрянородным (De ser. P. 374—375).

Празднование этого события еще во многом походило на древние вакханалии, и сам танец, который имитировал сбор и выжимание винограда, ничем не отличался от дионисий. Однако важнейшей частью торжеств стало благословение винограда. В столице василевс в сопровождении патриарха и придворных отправлялся на азиатский берег Босфора или во Влахерны. В беседке, расположенной в тени виноградника, на мраморном столе уже стояли корзины винограда. Патриарх совершал над фруктами «благословенную» молитву и затем, взяв виноградную гроздь, вручал ее василевсу. А василевс, в свою очередь, вручал гроздь патриарху. Затем виноград предлагали всем участникам церемонии. Между тем два хора (голубых и зеленых) пели гимн винограду, благословленному патриархом (Ibid. P. 373—375).

Со временем было забыто, что виноградная кисть являлась самым что ни на есть языческим символом вакханалий. Отныне она стала символом праздника Успения, который был приурочен к этому дню, и именно эта ее христианизированная часть (благословение винограда) сохранилась в Греции до наших дней¹³⁵.

Церковь пыталась христианизировать и другой, восходивший к античным временам праздник — календы. В ранневизантийскую эпоху календы отмечались, как и у римлян, — с 1 по 5 января. Постепенно, с ростом христианизации, они были приурочены к одному из важнейших христианских праздников — рождеству (25 декабря), — стали двенадцатидневными. Но праздновали их еще во многом на языческий лад. Устраивали шумные пиршества, много пели и плясали, наряжались в костюмы, изображавшие диких животных, сатиров, монахов. Женщины легкого поведения наряжались в одежды клириков, веселые группы людей ходили из дома в дом, требуя подарков, и никто в них не отказывал¹³⁶.

В Большом императорском дворце по этому случаю устраивали так называемые готские игры. Император приглашал на ужин 12 «друзей» (по числу апостолов) — восемь высших сановников и по два представителя от факций голубых и зеленых. Во время пиршества исполнялся «готский танец» — далекий отзвук времен, когда готы потрясали империю. Четыре танцора (по два от каждой факции), переодетые «готами», в гротескных, устрашающих масках,

¹³⁴ Cottas V. Op. cit. P. 119—120.

¹³⁵ Ibid. P. 24.

¹³⁶ Walter G. Op. cit. P. 263.

держа в руках щиты, по которым {610} отбивали такт палочками, танцевали вокруг императорского стола. В это время «готы» пели особые песни, имевшие когда-то ритуальный характер, но затверженные теперь на столь неузнаваемо испорченной латыни, что смысла их никто не понимал. Тогда же хоры голубых и зеленых исполняли лучшие фрагменты своего репертуара. Завершалось пиршество под музыку и пение (De ser. P. 381—384).

Языческие обычаи впитал в себя и важнейший христианский праздник — пасха, которая превращалась в подлинно всенародное торжество. Все принимали в нем участие, много пели, танцевали, а хор голубых и зеленых принимал участие в происходивших в церквах богослужениях, где наряду с религиозными восклицаниями и песнопениями исполнялись и праздничные аккламации, обычно произносившиеся на ипподроме¹³⁷. Зрелищные элементы ипподрома были перенесены в церковь.

А на ипподроме в один из дней пасхи устраивали празднество, называемое «Золотым», в ходе которого проходили состязания колесниц, певцы и зрители пели, танцоры танцевали (Ibid. P. 284—293). Пляска на пасху являлась не чем иным, как пиррихой древних, военной пляской дорического происхождения. Участники танца в символической форме изображали военный совет, действия двух армий (своей и противника), преодоление препятствий, смотр войска главнокомандующим и т. д.¹³⁸

Пасхальные торжества на ипподроме по существу мало чем отличались от празднования возвращения весны, которое отмечали через несколько дней после них. Представление на ипподроме носило на этот раз название μακελλαρικόν (мясное)¹³⁹, поскольку военную пляску, по всей видимости танцевали исключительно мясники, которые одни имели право носить длинные ножи. Ими они и манипулировали во время танца, который надолго пережил Византию, и еще в XVIII в. его исполняли на том же самом константинопольском ипподроме представители корпорации македонских мясников¹⁴⁰.

Праздник μακελλαρικόν откровенно признавался языческим (παγανόν), но и во время него при исполнении гимна весне не забывали славить христианского бога, дарующего василевсу ромеев радость, здоровье и победу над врагами (De ser. P. 367). Пасха и языческий в своей основе праздник возвращения весны, разделенные небольшим временным интервалом, так и не слились друг с другом. А вот день летнего солнцестояния, тоже языческий праздник, подобно празднику сбора винограда, превратившемуся в праздник Успения, стали называть христианским, приурочив к этому дню праздник св. Иоанна. Но по сути своей праздник оставался языческим, поскольку главное, что делали в этот день, — вопрошали судьбу.

В городах и деревнях его отмечали по-разному. В городах друзья собирались с семьями в одном из домов, где среди детей обязательно имелась маленькая девочка, которой в этот день суждено было стать {611} оракулом. Праздник начинали с обильного пиршества, после чего веселились в танцах до полного захода солнца. Затем все собирались вокруг девочки-оракула, одетой как замужняя женщина. В руках у девочки была ваза с узким горлышком, в которую гости бросали различные предметы, надписав на них свои пожелания: удачный брак, богатое наследство, рождение ребенка, удача в делах и т. д. Затем все по очереди подходили к девочке, и спрашивали, что их ждет. В ответ девочка трясла вазу, опрокидывала ее, и ей на руку падал какой-нибудь предмет, который она и вручала просителю. Поскольку все писали только добрые пожелания, ответы девочки-оракула доставляли присутствующим только радость¹⁴¹.

В деревнях в это время разжигали костры и прыгали через огонь. Если человеку удавалось перепрыгнуть через костер, не задев пламени, он мог надеяться на то, что зло не коснется его в течение ближайших двенадцати месяцев. Если же нет — ждать беды. Но и в этом случае находили средство избежать злой судьбы. На следующий день неудачник в сопровождении друзей под звуки бубна отправлялся к берегу реки или озера и под песнопения, предназначав-

¹³⁷ Cottas V. Op. cit. P. 68.

¹³⁸ Ibid. P. 6, 7.

¹³⁹ По мнению К. Манго, праздник имел место в начале февраля. См.: Mango C. Daily life in Byzantium. P. 347.

¹⁴⁰ Cottas V. Op. cit. P. 7.

¹⁴¹ Walter G. Op. cit. P. 261—262.

шиеся для этого случая, черпал воду, которой потом опрыскивал свое жилье, чтобы оно стало недоступным для злых сил¹⁴².

В этом празднестве, по названию уже христианском, нельзя не видеть остаток древних языческих верований, связанных с поклонением огню, которым теперь стремились придать христианский смысл.

Наряду с религиозными отмечали и праздники государственные — день основания Константинополя, день рождения императора, его коронацию, свадьбу, рождение наследника и т. д. В эти дни славословили василевса, несли дары ему и его детям, на ипподроме устраивались зрелища, на площадях выставлялось на длинных столах даровое угощение, народу раздавались медные деньги. Пели песни и гимны, водили хороводы.

Одним из самых ярких и веселых праздников были торжества в честь дня рождения Константинополя, который отмечался ежегодно 11 мая. Праздник начинали в канун этого дня представлением на ипподроме, которое называлось «овощным» (*λαχανικόν*). В этот день арена была украшена крестами, сплетенными из роз. Здесь же в изобилии находились овощи, сладости, тележки, наполненные рыбой.

Лошадей, которые участвовали в ристаниях, украшали попонами с золотой каймой и сбруей, отделанной драгоценными камнями. Каждый заезд прерывался аккламациями партий венетов и прасинов, переходившими в пение и танцы, завершаясь общим пиршеством (De ser. P. 340—348). Эти пиршества среди зелени и цветов очень походили на празднества Майюмы ранней Византии, которые в свою очередь восходили к оргиям в честь Диониса и праздника роз.

Основным местом проведения светских праздников и зрелищ продолжал оставаться ипподром. Бега колесниц по-прежнему увлекали многих византийцев. Рассказывая о Константине VIII, Михаил Пселл пишет: «Особенно самозабвенно любил он зрелища и ристания, всерьез занимал-ся ими, менял и по-разному сочетал коней в упряжки, думал о заездах» (*Мих. Пс.* С. 20).

Файл byz613g.jpg

*Пластиники короны Константина Мономаха.
Золото, перегородчатая эмаль. XI в.
Будапешт, Национальный музей.*

Нельзя не отметить, однако, что любовь к бегу колесниц постепенно отходила на второй план. Сократилось само число заездов, их стало, самое большее, восемь¹⁴³. Ристания все более уступали место собственно сценическим представлениям, песням, танцам, которые исполнялись между заездами, и даже пиршествам, происходившим тут же, на ипподроме. Особенно много пели. Уже само появление василевса в кафисме перед началом представлений приветствовалось пением. Звучал орган, хор голубых и зеленых исполнял мелодию, толпа подхватывала припев. Это всеобщее пение под звуки органа представляло собой необычайно красивое и торжественное зрелище. Победа возниц также сопровождалась пением, в котором принимали участие и церковные певчие. Гимны исполнялись в честь троицы, бога, девы Марии, Христа, креста. Кантаты и аккламации адресовались императору, императрице, их порфирородным детям, сенату, армии и т. д.¹⁴⁴ {613}

Ритм пения мог быть то быстрым, то медленным, то в такт марша, то в такт танца. Пение и танцы сопровождалось не только звучанием органа, но и других музыкальных инструментов: пандури, флейты, цитры¹⁴⁵.

Музыкой, пением и танцами сопровождалось почти всякое торжество. Во время празднования брумалий во дворце приглашенные сановники исполняли танец со свечами, а затем

¹⁴² Ibid. P. 262.

¹⁴³ Mango C. Daily life in Byzantium. P. 347. В ранневизантийский период их было обыкновенно двадцать четыре (*Чекалова А. А.* Быт и нравы византийского общества // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984. С. 666—667).

¹⁴⁴ Guiland R. Op. cit. P. 295.

¹⁴⁵ Ibid. P. 296.

пели. Песнопения исполняли хоры голубых и зеленых, но и гостям полагалось петь. Их пением дирижировали церковные певчие, отбивавшие музыкальный такт¹⁴⁶.

И религиозные, и светские праздники этого периода во многом напоминали древние Олимпийские игры, где пению, танцам, музыкальным состязаниям, пиршествам и ночным представлениям отводилась не меньшая роль, нежели спортивным состязаниям. Но теперь все происходило более чинно, более пышно и торжественно, с тщательным соблюдением церемониала, что являлось одним из существенных признаков данной эпохи.

Торжественные церемонии, сопровождавшиеся выходами в храмы, стали важнейшим компонентом всякого большого праздника. Их ритуал начинает возрождаться со второй половины IX в. С этого времени в империи развивается и совершенствуется чисто византийская обрядность.

В своих основных чертах церемониал восходит к эпохе Юстиниана, однако с тех пор он заметно изменился. Число церемоний возросло, они удлинились и приобрели ярко выраженную религиозную окраску.

Церемониал настолько усложнился, что Константин VII Багрянородный счел необходимым детально описать его в своей книге «О церемониях византийского двора». В книге подробно описано, как коронуют василевсов, как празднуют они свои свадьбы, дни своего рождения и бракосочетания, крестят детей, производят в должности и звания, ездят в загородные дворцы, отправляются ревизовать общественные пекарни, как смотрят ристания на ипподроме, слушают славословия партий, раздают награды победившим наездникам, бросают деньги народу и т. д., как происходят императорские обеды, совершаются ежедневные приемы и поздравления, производятся торжественные приемы и праздничные процессии.

Книга является наглядным свидетельством того, что каждый шаг императора обставлялся целой цепью обрядов и церемоний, отправлялся ли он на войну, возвращался ли из похода, шел ли на ипподром, совершал ли внутренние выходы в обширные и великолепные, покрытые мрамором и блестящими мозаиками парадные залы своего дворца или внешние выходы в храм св. Софии и другие церкви. Все происходило в соответствии с тщательно разработанным придворным этикетом. В глазах византийцев эти сложности этикета отнюдь не являлись мелочами, лишеными серьезного значения. Все, что современному читателю может показаться пустой формальностью, театральной бутафорией, имело для них глубокий смысл. Константин VII видит в церемониале «внешнее проявление внутренней гармонии» и высказывает убеждение, {614} что ритуал помогает возвеличиванию императорского достоинства (De ser. P. 3—5). Действительно, церемонии имели свой смысл и свое место в политическом строе государства, поскольку именно таким образом подчеркивалась пропасть между властелином империи и остальным человечеством.

По всей видимости, именно стремлением возвеличить василевса с помощью усложненного этикета объясняется тот факт, что первенствующую роль в церемониях стал играть чиновник, наиболее близкий к персоне василевса — тот, что ведал его спальней (*praepositus sacri cubiculi*), в то время как в ранневизантийскую эпоху эту функцию выполнял магистр оффиций.

Наиболее пышные и торжественные церемонии совершались по случаю коронации василевса, его бракосочетания и похорон, по поводу военных триумфов и религиозных праздников — рождества, пасхи, троицы и т. д., а также в день рождения Константинополя, в дни памяти отдельных императоров и т. д.

Главной составной частью праздничной церемонии был торжественный выход василевса с сановниками в храм св. Софии. О том, как чинно происходили эти выходы и как тщательно к ним готовились, можно судить хотя бы по следующим деталям. Накануне того дня, когда должна была происходить церемония, церемониарий в соответствии с требованиями придворного этикета торжественно напоминал препозиту, что наступает большой праздник и что нужно испросить распоряжение василевса относительно праздничного выхода. Препозит, выслушав доклад, входил во время ежедневного приема в зал, называемый хрисотриклином, и, доложив василевсу о предстоящем празднике, спрашивал у него, угодно ли ему на следующий день совершить торжественный выход или не угодно. Василевс благосклонно и важно давал свое согласие. Далее все разворачивалось в том же чинном порядке.

¹⁴⁶ Ibid. P. 299. N. 71.

По случаю торжественного шествия улицы посыпались опилками, дома украшались плющом, лавром, розмарином, зелеными ветвями, а также дорогими тканями и коврами. Для простой публики, которая участвовала в церемонии лишь в качестве зрителей, ставили деревянные помосты.

Во время церемонии придворные группировались в зависимости от цвета и рисунка одежды (De ser. P. 576—577). В ходе торжества василевс и сановники по несколько раз переодевались в специально отведенных для этого помещениях (Ibid. P. 187—191). Церемонии сопровождались величавыми песнопениями. Процессия неоднократно останавливалась в заранее определенных местах, и в эти моменты хор голубых и зеленых произносил переходящие в песнопения аккламации в честь василевса, августы, троицы, Христа, богоматери и т. д.

В ходе церемоний, которые продолжались весьма длительное время, василевс мог заниматься государственными делами, выслушивать доклады чиновников и подписывать указы. Иногда, как это видно из рассказа Лиутпранда, во время выходов василевс принимал чужеземных послов (Liut. S. 6—15). Во время больших праздничных, а также воскресных выходов совершалось производство в чины и звания (De ser. P. 23. 26. 43 etc.). Церемонии происходили не только по праздникам и воскресеньям, они стали неотъемлемой частью повседневной жизни двора. Приемы василевсом сановников происходили дважды в день, утром и вечером, и состояли из церемониальных встреч и приветствий, строго сообразованных с саном и рангом должностей (Ibid. P. 518, 522, 440 etc.). На утренний прием сановники собирались задолго до того, как отпирались ворота дворца. Не явиться на прием можно было лишь по болезни.

Разумеется, сводить жизнь двора исключительно к церемониям было бы ошибкой. Этикет не мешал императорам жить каждому на свой лад. У Никифора II Фоки, Василия II, Алексея I Комнина на первом плане были государственные дела и войны с врагами, а Константин IX Мономах использовал свое положение исключительно для исполнения своих прихотей и фантастических желаний. При Алексее I Комнине, когда делами управляла Анна Далассина, порядок при дворе был суровым и строгим, а при ее внучке, Мануиле Комнине, любившем роскошь и удовольствия, часто проводились помпезные приемы, празднества и турниры, постоянно звучала музыка и пение, а интриги и любовь занимали первое место в жизни двора.

И все же, при всем различии придворных нравов в то или иное правление, приверженность к сложному этикету и утонченность церемониала всегда присутствовали при императорском дворе. Придворный этикет, выражавший коллективный опыт и разум правящего класса, не позволял императору освободить себя от обязанности исполнять положенные обряды и нарушить традиционные формы жизни.

Характерно, что крестonosцев, появившихся на Босфоре, удивила не столько роскошь столицы Византии (хотя их восторгам по этому поводу отведено немало места в их сочинениях), сколько именно пышность церемониала, окружавшего особу императора, и почести, воздаваемые ему таким театральным образом.

В этом коренилось существенное различие между Востоком и Западом, поскольку в церемониях, как и в других сферах жизни византийцев, восточное лицо Византии проявилось особенно четко. {616}

Файл byz616r.jpg (на вклейке)

*Медальоны Джуматской иконы
архангела Гавриила (Грузия).
Золото, перегородчатая эмаль. XI в.
Нью-Йорк, Метрополитен Музей*

Файл byz616_2r.jpg (на вклейке)

*Мечеть Скалы в Иерусалиме
691 г.*

Файл byz616_3r.jpg (на вклейке)

*Ангел.
Конец XII в.
Русский музей.
Ленинград. Икона*

Файл byz617r.jpg (на вклейке)

*Пантократор.
Ок. 1190—1194.
Монреале, кафедральный собор.
Мозаика в конце абсиды*

Заключение. Особенности развития культуры Византии во второй половине VII—XII в.

Определяющей чертой духовной жизни империи к середине VII столетия стало безраздельное господство христианского мировоззрения. Глубокую религиозность стимулировали теперь не столько догматические споры, сколько наступление ислама, которое вели арабы, вдохновляясь «священной войной» и борьбой с язычниками — славянами и протоболгарами. Еще более возросла роль церкви. Нестабильность жизненных устоев, хозяйственная и бытовая неустроенность масс населения, нищета и постоянная опасность со стороны внешнего врага обострили религиозное чувство подданных империи: утверждались дух смирения перед превратностями «мира сего», безропотного подчинения «духовным пастырям», безграничная вера в чудеса и знамения, в спасение через самоотречение и молитву. Стремительно увеличивалось сословие монахов, множилось число монастырей. Как никогда ранее, расцвел культ святых, в особенности поклонение известным лишь в данной местности, округе, городе; на них как на «собственных» небесных заступников возлагались все надежды.

Широкое распространение суеверий помогало церкви властвовать над умами прихожан, умножать свои богатства и упрочивать свое положение. Этому способствовало и снижение уровня грамотности населения, крайнее сужение светского знания.

Однако торжество теологии, утверждение ее господства с помощью насилия таили серьезную опасность — богословие могло оказаться бессильным перед критикой иноверцев и еретиков. Монофиситство и монофелитство не сошли с арены. Подвластная императору христианская ойкумена сокращалась на юге и на востоке: Антиохийское, Иерусалимское и Александрийское патриаршества оказались в плену у иноверцев. Влияние ислама все глубже проникало в провинции империи на востоке. Учения отцов церкви IV—VI вв. уже было недостаточно в новых условиях. Как всякая идеологическая система, христианство нуждалось в развитии. Необходимость этого осознавалась в узком кругу церковной элиты, сохранившей традиции высокой религиозной и светской образованности. Систематизация богословия становилась первой задачей, а для этого предстояло снова прибегнуть к духовным сокровищам античности — без ее идеалистических теорий и формальной логики новые цели теологов были невыполнимы.

Поиски оригинальных философских и богословских решений предпринимались уже во второй половине VII в., хотя наиболее выдающиеся труды в этой сфере были созданы только в следующем столетии. {617}

Характерен в данной связи тот факт, что на общем фоне упадка культуры в середине VII в., в сущности, лишь теология испытывала определенный подъем: этого требовали насущные интересы правящей элиты, выдаваемые за острую потребность самых широких слоев общества. Независимо от того, что Максима Исповедника подверг гонениям сам император Константин II, теоретические искания этого теолога отвечали потребностям господствующего класса; без них, кстати говоря, было бы невозможно появление и «Источника знания» Дамаскина.

Основу богословских построений Максима составляет идея воссоединения человека с богом (через преодоление пропасти между духовным и плотским) как воссоединение первопричины всего сущего, целого с его частью. В восхождении к духовному активную роль Максим отводил самому человеку, его свободной воле.

Иоанн Дамаскин поставил перед собой и выполнил две основные задачи: он подверг острой критике врагов правоверия (несториан, манихеев, иконоборцев) и систематизировал

богословие как мирозерцание, как особую систему идей о боге, сотворении мира и человеке, определив его место в посюстороннем и потустороннем мире. Компиляция (в соответствии с девизом Дамаскина «Не люблю ничего своего») на основе аристотелевской логики представляла основной метод его работы. Теолог использовал и естественнонаучные представления древних, но тщательно отобрал из них, как и из догматов своих предшественников-богословов, лишь то, что ни в коей мере не противоречило канонам вселенских соборов.

В сущности, творчество Дамаскина было даже по средневековым меркам лишено оригинальности. Его труды сыграли крупную роль в идейной борьбе с иконоборчеством, но не потому, что содержали новые доводы в защиту традиционных представлений и религиозных обрядов, а благодаря устранению из церковных догматов противоречий, приведению их в стройную систему.

Значительный шаг вперед в развитии богословской науки, в разработке новых идей, касающихся проблем соотношения духа и материи, выражения мысли и ее восприятия, отношения бога и человека, был сделан во время ожесточенных споров между иконоборцами и иконопочитателями. Но в целом вплоть до середины IX в. философы и богословы оставались в кругу традиционных идей позднеантичного христианства.

Идейная борьба эпохи иконоборчества, принявшая острую политическую форму, распространение павликианской ереси сделали совершенно очевидной необходимость дальнейшего повышения уровня образованности духовенства и представителей высших слоев общества. В обстановке общего подъема духовной культуры новое направление в научной и философской мысли Византии обозначилось в творчестве патриарха Фотия, сделавшего больше, чем кто-либо иной до него, для возрождения и развития наук в империи. Фотий произвел новую оценку и отбор научных и литературных трудов предшествующей эпохи и современности, основываясь при этом не только на церковном вероучении, но и на соображениях рационализма и практической пользы и стараясь посредством естественнонаучных знаний объяснить причины природных явлений. Известный подъем рационалистической мысли в эпоху Фотия, {618} сопровождавшийся новым нарастанием интереса к античности, стал еще более ощутимым в XI—XII вв. Примечательно, однако, что одновременно с этой тенденцией, как это весьма часто бывало в Византии, разрабатывались и углублялись сугубо мистические богословские теории. Одной из таких теорий, созданной на рубеже X—XI вв. и не получившей широкого признания в XI—XII вв., была определена крупная идейная и политическая роль в последующем: она легла в основу могущественного течения в православной церкви в XIV—XVI вв. — исихазма. Речь идет о мистике Симеона Нового Богослова, развившего тезис о возможности для человека реального единения с божеством, соединения чувственного и умственного (духовного) мира путем мистического самозерцания, глубокого смирения и «умной молитвы».

Еще во времена Фотия ясно обнаружилось противоречие в интерпретации идеалистических концепций античности между приверженцами Аристотеля и Платона. После эпохи длительного предпочтения, отдававшегося византийскими теологами учению Аристотеля, с XI в. в развитии философской мысли наметился поворот к платонизму и неоплатонизму. Ярким представителем именно этого направления был Михаил Пселл. При всем своем преклонении перед античными мыслителями и при всей своей зависимости от цитируемых им положений классиков древности Пселл оставался тем не менее весьма самобытным («артистическим») философом, умея, как никто другой, соединять и примирять тезисы античной философии и христианского спиритуализма, подчинять ортодоксальной догматике даже таинственные прорицания оккультных наук.

Однако, сколь ни осторожны и искусны были попытки интеллектуальной византийской элиты уберечь и культивировать рационалистические элементы античной науки, острое столкновение с догматическим богословием на этой почве оказалось неизбежным: пример тому — отлучение от церкви и осуждение ученика Михаила Пселла философа Иоанна Итала. Идеи Платона были загнаны в жесткие рамки теологии. Рационалистические тенденции в византийской философии воскреснут теперь не скоро, лишь в обстановке нарастающего кризиса XIII—XV вв., в особенности в условиях ожесточенной борьбы с мистиками-исихастами.

Несмотря на кажущуюся застылость политической официальной теории в империи, уцелевшей как государство в тяжких невзгодах VII—VIII вв. и не изменившей главному традиционному идеалу: единый всемогущий бог на небе — единственный полновластный госу-

дарь на земле, развитие и борьба идей все-таки не прекращались и в этой сфере духовной жизни общества в течение всего рассматриваемого в данной книге периода. Основной путь развития политической мысли Византии в эту эпоху пролегал через контroversы вокруг проблемы верховной власти, ее высшего назначения, функций, пределов ее полномочий, места в обществе, соотношения с духовной властью и, наконец, путей ее преемственности.

В отличие от новых элементов в философских течениях эпохи перемены в политической доктрине империи в целом легче объясняются возникновением и влиянием новых явлений в социальной и общественной жизни страны. Однако так же, как и в сфере философии, не попытавшей в то время кардинальной смены идей, трудно вскрыть глубинные причины исключительной живучести важнейших постулатов византийской политической теории. Исподволь рвались нити, генетически связывавшие представления об императоре с позднеантичным образом верховного повелителя — слуги отечества: уполномоченного сената, народа, войска и церкви. Менялись критерии оценок идеального государя, представления о его главных добродетелях и основных функциях. Но принцип единовластия в целом не подвергался сомнению.

Постепенно накапливавшиеся новые элементы политической доктрины трансформировали шаг за шагом статус божественного, ничем не ограниченного в своем волеизъявлении (кроме уз христианской морали) повелителя всех подданных, независимо от их социального положения, но лишённого признанного права передавать свою власть собственным потомкам. Василевс обретал прерогативы феодального монарха, персонифицировавшего интересы и коллективную волю своего класса, все более становившегося первым среди равных, но зато со все большим успехом утверждалось право наследственности его власти. Вертикальная социальная подвижность в верхах общества в VII — первой половине IX в. обеспечивала верховному правителю условия для безграничного деспотизма, но взамен этого предоставляла возможности правящим кругам высшей бюрократии менять и самого правителя и правящую династию. Становление классов феодального общества, оформление сословий (особенно в эпоху правления Комнинов) лишали «вертикальную подвижность» былых масштабов и былой социально-политической роли в жизни общества, но обеспечивали монарху и его родственной группе более широкие связи и более прочную опору в своем социальном кругу.

Но, как и сама государственная система империи, ее официальная политическая доктрина не поспевала в целом на каждом этапе за переменами в области социально-экономического развития — она страдала неизбывным традиционализмом, запаздывала, слабо отражая реалии современной ей действительности. Не случайно острой и основательной критике политические устои имперской власти были подвергнуты лишь в эпоху самого крушения византийской государственности на рубеже XII—XIII вв. (Никита Хониат).

Гораздо большим динамизмом отличалось в рассматриваемую эпоху развитие исторической мысли. Ее начало было ознаменовано в этой области упрочением классически средневековых принципов исторического повествования, представлявшего слабо расчлененную цепь крупных событий, частных казусов и стихийных природных явлений как проявлений божественной воли. В отличие от бурно развивавшегося агиографического жанра, где в центре повествования часто находилась хотя и не значительная исторически, но наделяемая автором чертами героя личность, персонаж как субъект истории почти исчез со страниц хроник. Исключение составляла в сущности лишь фигура императора как главного исторического героя. К середине IX в. в византийской литературе сформировался образ идеального государя, воплощаемый в облике «равноапостольного» Константина Великого. Образы других, правивших в VII—IX вв., государей проступали только сквозь призму их соответствия или несоответствия идеалу. Облик «нечестивых» правителей-иконоборцев воссоздавался в трудах приверженцев победившего иконопочитания не в сопоставлении с идеалом, а в противопоставлении ему. {620}

Существенный поворот в развитии исторической мысли произошел в конце X в. В центре повествования теперь оказались исторические герои — современники автора, наделяемые личностными характеристиками. Историк из бесстрастного регистратора фактов превращается в их истолкователя, отнюдь не всегда при объяснении причинных связей ссылаясь на волю божью, но осмеливаясь на собственное, сугубо индивидуальное суждение. В ряду первых историографов такого рода оказался Лев Диякон. Сходными чертами характеризовалось творчество Михаила Атталиата, Никифора Вриенния, Иоанна Киннама. Сам историк становился в ходе

историописания активным и заинтересованным действующим лицом. Богатством красок, остротой психологических характеристик, сложными поворотами занимательной интриги отличается историческое полотно эпохи, воссозданное в подлинном шедевре византийской хронографии — в сочинении Михаила Пселла. На каждой странице здесь неизменно отражена индивидуальность автора, его личная позиция. В разной форме и в разной мере такие же особенности характерны для исторических описаний Анны Комнины, Евстафия Солунского, Никиты Хониата.

В соответствии с этими крупными переменами в развитии исторического жанра претерпели изменения и прочие принципы изложения событий истории и самой манеры повествования о них: от их погодной фиксации историка все чаще переходят к страстному, эмоциональному рассказу, вскрывая внутренние, зачастую скрытые и тайные, пружины крупных политических акций, причины взлетов и падений видных исторических деятелей.

Создание исторических произведений подобного рода отвечало новым эстетическим вкусам эпохи, соответствовало обретшим права гражданства новым художественным принципам литературного творчества в целом. Историческая хроника под пером таких авторов, как Михаил Пселл, Анна Комнина, Никита Хониат, обрела черты исторического романа. Характерной чертой византийской историографии X—XII вв. стало распространение стихотворных хроник (Константин Манасси), исторических поэм (Феодосий Диакон), многочисленных стихотворений на историческую тему (Феодор Продром).

Повысилась роль исторических сочинений в общественной и политической жизни — труды историков использовались в кругах знати как средство борьбы за власть. В связи с этим в составе историографов оказываются теперь и царственные особы и их родственники (Константин Багрянородный, Анна Комнина, Никифор Вриенний), придворные вельможи (Михаил Пселл, Иоанн Зонара, Михаил Глика, Никита Хониат), получившие прекрасное образование и вращавшиеся в центре политической жизни империи. К историческому жанру обратились и появившиеся в эпоху Комнинов профессиональные литераторы (Продром, Глика).

На XII столетие приходится также пик интереса к античности. Широко заимствуемые античные топики, стилистика, образность, лексика используются для повествования об актуальных событиях современности и выражения глубоко личных их оценок.

Основные категории византийского историзма, генетически связанные с принятыми в эпоху эллинизма и ранней Византии, обретали теперь новое содержание, соответствующее общественному строю и идейным критериям новой эпохи. В фокусе внимания историка этого времени находится не идеализированный герой, обладатель высших добродетелей или носитель отчужденной от мира иррациональной идеи, а живая, реальная личность, борющаяся и сомневающаяся, терпящая поражение и торжествующая. Гуманизация — важнейшая черта развития исторической мысли XI—XII вв.

Общий упадок творческой активности в «темные века» с особой силой отразился на состоянии византийской литературы. Вульгаризация, отсутствие литературного вкуса, «темный» стиль, шаблонные характеристики и ситуации — все это утвердилось надолго как господствующие черты произведений литературы, созданных во второй половине VII — первой половине IX столетия. Подражание античным образцам уже не находило отзвука в обществе. Главным заказчиком и ценителем литературного труда стало черное духовенство. Монахи были сплошь и рядом и авторами житий. Агиография и литургическая поэзия вышли на передний план. Проповедь аскетизма, смирения, надежд на чудо и потустороннее воздаяние, воспевание религиозного подвига — главное идейное содержание литературы этого рода.

Особых высот византийская агиография достигла в IX столетии. В середине X в. около полутора сот наиболее популярных житий были обработаны и переписаны видным хронистом Симеоном Метафрастом (Логофетом). Упадок жанра обозначился в следующем, XI в.: вместо наивных, но живых описаний стали господствовать сухая схема, шаблонные образы, трафаретные сцены жизни святых.

Вместе с тем житийный жанр, неизменно пользовавшийся широчайшей популярностью среди народных масс, оказывал заметное влияние на развитие византийской литературы и в X и в XI вв. Вульгаризация нередко сочеталась здесь с яркой образностью, реалистичностью описаний, жизненностью деталей, динамизмом сюжета. Среди героев житий нередко оказывались неимущие и обиженные, которые, совершая мученический подвиг во славу бога, смело

вступали в борьбу с сильными и богатыми, с несправедливостью, неправдой и злом. Нота гуманизма и милосердия — неотъемлемый элемент множества византийских житий.

Религиозная тематика доминировала в эту эпоху и в поэтических произведениях. Часть их непосредственно относилась к литургической поэзии (церковные песнопения, гимны), часть посвящалась, как и агиография, прославлению религиозного подвига. Так, Феодор Студит стремился опозитизировать монашеские идеалы и самый распорядок монастырской жизни.

Подобные мотивы не были чужды и творчеству известной византийской поэтессы первой половины IX в., принявшей монашескую схиму, — Касии. Однако нередко в ее стихах сквозит отнюдь не смирение, а гордое сознание своей образованности и одаренности, столь контрастирующих с окружающим ее невежеством и бездарностью. В своих эпиграммах, полных острого сарказма, она бичевала глупость, спесь, скупость, не щадя при этом самых высокопоставленных особ.

Возобновление интереса к античности и рационалистические тенденции в философии и естественнонаучных изысканиях, проявившиеся в середине IX в., сказались и на развитии литературы. Даже в области {622} литургической поэзии появились новые тона, новые краски, тонкое понимание природы, глубокое проникновение в сложный мир человеческих чувств (гимнография Симеона Нового Богослова).

Возрождение литературной традиции, заключавшейся в ориентации на шедевры античности и в их переосмыслении, особенно заметным стало в XI—XII вв., что сказалось в выборе и сюжетов, и жанров, и художественных форм. Как во времена античности, эпистолография, изобиловавшая реминисценциями из древней греко-римской мифологии, стала средством ярко эмоционального повествования, самовыражения автора, поднимаясь до уровня изысканной художественной прозы. Смело заимствуются в этот период сюжеты и формы и восточной и западной литературы. Осуществляются переводы и переработки с арабского и латыни. Появляются опыты поэтических сочинений на народном, разговорном языке. Впервые за всю историю Византии начиная с IV в. оформился и стал постепенно расширяться с XII в. цикл народноязычной литературы. Обогащение идейного и художественного содержания литературы за счет усиления народной фольклорной традиции, героического эпоса наиболее наглядно предстает в эпической поэме о Дигенисе Акрите, созданной на основе цикла народных песен в X—XI вв. Фольклорные мотивы проникают и в возродившийся в ту пору эллинистический любовно-приключенческий роман.

Жизнь вторгалась на страницы художественных произведений. Бытовые детали, семейные будни и свары, уличные сценки — все это теперь отнюдь не запретные сюжеты даже для поэзии, в которой повседневность изображается то в мрачных красках, то с юмором, то в сатирическом тоне (Иоанн Кириот, Христофор Митиленский, Иоанн Цец, Феодор Продром). Характерно, что объектом сатиры в то время — и в поэзии и в прозе — все чаще выступают представители духовенства, в особенности монашества.

Различные литературные жанры обнаруживают в тот период тенденцию к взаимопроникновению. Историческое повествование обретает, как упоминалось, черты увлекательного романа (у Михаила Пселла), жития — черты хроники (жития патриарха Евфимия), панегирик — форму памфлета, мемуары — вид сочинения по современной автору истории.

Древний жанр дидактических сочинений — зеркал, наставлений для близких или для правящих особ — обогатился новыми чертами и по содержанию и по форме. В исполненном сурового, приземленного реализма поучении Кекавмена жанры зеркала и мемуаров слились в нерасторжимое целое. Историческую эпопею, мемуары, автобиографию, политический памфлет, собрание художественных новелл одновременно представляет собой и «История» Никиты Хониата, проникнутая мотивами гуманизма. Видимо, тяготение к свободному от трафарета творческому поиску было общим у наиболее одаренных представителей литературных кругов той эпохи. Недаром идея самостоятельности и самобытности творчества столь ярко проявилась у Пселла как писателя, к какому бы жанру он ни обращался.

Есть, однако, основания для разграничения византийской литературы рассматриваемой эпохи на два периода: докомниновский и комниновский. В первый период мистические настроения, обобщенно-спиритуали- {623} стический метод их выражения соседствовали в литературе с произведениями, отражавшими прогрессивные рационалистические тенденции, и не мешали распространению этих тенденций во всем многообразии их жанровых воплощений. С

конца же XI в. развитие упомянутых течений в византийской литературе стало подвергаться, хотя и существенно слабее, чем в философии, все более заметному стеснению, обусловленному попытками правящего клана Комнинов утвердить в общественной атмосфере нетерпимость ко всяким отклонениям от официальной имперской идеологии (при Алексее Комнине был осужден Иоанн Итал, при Мануиле Комнине брошен в темницу Михаил Глика). Реакция не успела, однако, восторжествовать до начала XIII в., а после падения империи под ударами крестоносцев в развитии византийской литературы наступил принципиально новый этап: до этой поры культурные центры империи (Константинополь, Фессалоника, Афины), при всех их отличиях, находились все-таки в относительно едином русле; после же 1204 г. литературное течение распавшейся на части империи разделилось на несколько изолированных потоков.

Общественный переворот VII—IX вв. вызвал особую активность в той области культуры Византии, которая стояла ближе всего к фундаментальным устоям жизни империи, к ее экономике, формам социальных связей, административной структуре и была призвана — в силу настоящей жизненной необходимости — наиболее быстро и точно отражать происшедшие изменения в общественном строе государства. Речь идет о византийском праве и законодательстве. Впрочем, в этой сфере, имевшей особенно глубокие позднеантичные традиции, соответствие юридических норм жизненным реалиям всегда оставалось весьма приблизительным. Дело не только в том, что юридическое оформление новых форм имущественных и социальных отношений крайне запаздывало и не было адекватным, но эти отношения к тому же сплошь и рядом подгонялись под классические привычные нормы, требовали особых пояснений, причем трактовались порой как частные случаи давно отживших форм социальной жизни. Так, даже статус столь широко распространенной фигуры в византийской феодально-зависимой деревне X—XII вв., как парик, не нашел четкого определения в официальном праве: на этот счет существовали лишь частные объяснения юристов Косьмы (X в.) и Евстафия Ромея (XI в.). В целом же отношения хозяина земли и париков регулировались старыми нормами, трактующими вопросы об арендных договорах.

Обработка и приспособление к повседневным нуждам законодательства эпохи Юстиниана начались в конце VII в. Было сведено в единый корпус церковное каноническое право, а затем создано несколько сборников — кратких выборок из существующих законов (Эклога, Эклогадий, Частная распространенная Эклога и др.). В качестве дополнений к Эклоге действовали составленные также в VIII в. такие законодательные своды, как Земледельческий закон и Морской закон.

Эклога способствовала упрочению принципа частной собственности, укреплению семьи и усилению центральной государственной власти, а Земледельческий закон был призван регулировать отношения в свободной деревне-общине, ставшей в ту эпоху основной социальной формой организации сельского населения. {624}

Время наиболее существенных законодательных реформ приходится на правление императоров Македонской династии (867—1056). Византийское право стало окончательно грекоязычным. Появились такие кодификации, как Василики (последний крупный официальный свод), Прохирон, Исагога, многочисленные новеллы, наиболее быстро отражавшие новые явления в жизни деревни и направленные на сохранение старых устоев деревни-общины свободных налогоплательщиков и ополченцев государства. В дальнейшем упомянутые своды лишь подвергались обработке, использовались юристами-практиками в качестве справочников; правовая наука пошла по пути систематизации, глоссирования, эпитомации уже существующих сборников законов.

Подобно тому как юридическая наука служила насущным нуждам государства внутри его границ, тем же его нуждам вне границ удовлетворяло дипломатическое искусство. Оно оформлялось в Византии как особая наука, опиравшаяся на многовековой опыт, длительное и внимательное изучение этнических особенностей, хозяйства, языка, нравов тех народов, с которыми империя вступала в дипломатический контакт. Византийские дипломаты, сфера деятельности которых в рассматриваемую эпоху распространялась буквально на весь известный тогда мир, выработали множество изощренных приемов с неизменной целью извлечь максимальные выгоды для империи из общения с иноземцами. Византийский двор руководствовался при этом политической доктриной исключительности прав империи на неоспоримое превос-

ходство над другими государствами и народами. Благо империи, согласно этой теории, оправдывало любое средство, которое могло быть использовано для его достижения.

Разнообразные, гибкие, тщательно разработанные методы византийской дипломатии обеспечили империи не меньше побед, чем на поле брани. Одним из наиболее действенных приемов внешней политики Византии была в IX—XI вв. христианизация соседних языческих народов, в частности населения славянских государств (Болгарии, сербских княжеств, Древней Руси).

Византийские юристы, политические и культурные деятели постепенно, в течение многих столетий разработали сложную и стройную систему дипломатической службы (дипломатия была основной функцией специального правительственного учреждения — ведомства *дромы*), порядок приема и содержания иностранных послов, отправки собственных, ритуал переговоров, типы и формы дипломатических документов, четкие рамки этикета и т. п. Многое из того, что было принято в византийской дипломатической практике, сохраняется и ныне в правилах международного общения (верительные грамоты, нормы оформления дипломатических документов). Узким местом византийской дипломатии были застылость исходных принципов, консерватизм, дипломатическая надменность, запаздывание с учетом перемен на международной арене.

Непосредственно с насущными практическими нуждами государства была связана и военная наука. Искусство стратегии и тактики, военно-теоретические представления обычно наиболее адекватно отражают общий уровень развития общества, состояние его хозяйства, политической системы и культуры. Активизация в IX—X вв., после длительного перерыва, военно-теоретической мысли в Византии была обусловлена не {625} только обострением внешней опасности на ее восточных и северных границах, но и глубокими общественными сдвигами, диктовавшими необходимость в новых принципах организации и оснащения воинских сил, в постановке новых стратегических задач, разработке новой тактики, в изменении самой идейно-пропагандистской работы в войске.

Военная теория приводилась в соответствие с новыми условиями набора, комплектования, вооружения и порядка службы воинов. Тщательно учитывалось при этом и имущественное положение разных категорий ополченцев и военных моряков. Именно в эту эпоху были созданы такой известный памятник военно-теоретической мысли, как «Тактика» Льва и ряд других оригинальных трактатов. Военная теория развивалась в двух основных направлениях: по пути выработки конкретных рекомендаций для ведения военных действий и по пути разработки реформ византийской армии, которые обеспечили бы повышение ее боеспособности. Теоретики X, поистине «золотого века» византийской военной литературы рассматривали не только вопросы, связанные с ведением боевых действий, но и проблемы человеческих взаимоотношений в войске, морального облика воинов, идейного обоснования наступательных действий, особенно инициативы в военном конфликте с соседними государствами. Однако и в военно-теоретических трактатах той поры нередко проявлялась неистребимая верность традиции старых стратегиконов, преобладала тенденция к канонизации античного наследия, опыт древних стратегов воспринимался как более ценный, чем опыт современников и собственная воинская практика. Все эти черты ярко проявились, например, в «Тактике» Льва, «кабинетного стратега», никогда не видевшего поля боя и щедро оснащавшего свой труд положениями ранневизантийских воинских трактатов.

Реакция христианской церкви в VI—VII вв. и последовавшие невзгоды, обусловившие общий культурный упадок, сравнительно меньше затронули естественнонаучные знания — потребность в их практических результатах отнюдь не уменьшилась. Пример этому — изобретение в VII в. «греческого огня». Однако занятия наукой были делом весьма узкого круга лиц. Меньше внимания уделялось математике, больше — химии, физике, механике, астрономии, агрономии, хотя и здесь приоритет отдавался не самостоятельным изысканиям, а изучению античных и ранневизантийских авторов (особенно «Физики» Аристотеля и его комментаторов). Со второй половины IX в. число рукописей, содержащих естественнонаучные трактаты древних, резко возрастает.

Разумеется, усваиваемые знания византийцы стремились согласовать с основными догматами христианства. Из множества теорий об устройстве Вселенной и закономерностях реального мира выбиралось лишь то, что не противоречило учению отцов церкви. Важнейшие

идеи древних греков о божестве, природе, человеке подвергались пересмотру. Главным было теперь постижение «потустороннего», а не «посюстороннего» мира, который трактовался лишь как отражение первого.

Впрочем, появлялись и в этой сфере в рассматриваемую эпоху элементы рационализма и проблески научного прозрения. Михаил Пселл не усматривал в природе лишь аллегорическо-дидактическое отражение религиозной идеи. Признавая бога творцом природы, он, однако, отделяет ее от создателя как существующую и развивающуюся независимо от него, в соответствии с законами, хотя и полученными при сотворении, {626} но вполне доступными для познания человека. Византийцам удалось сделать немало открытий в области науки и техники, накопить множество положительных знаний, без которых был невозможен тот прогресс, который в VII—XII вв. исподволь совершался во всех сферах жизни общества.

Особенно велика была заслуга деятелей византийской культуры в рассматриваемый период в сохранении и развитии высших достижений древнегреческой науки и в передаче их последующим поколениям.

В VII—XII вв. произошли важные изменения в развитии византийской географии и космографии. Ранее вопросы «землеустроения» решались в основном патристикой с ее «Шестодневными» — описаниями этапов сотворения мира его создателем. В VIII—XII вв. географическая наука стала менее зависимой от «Гексамеронов». Возникают крупные космографические трактаты как памятники светской мысли: из сферы описания акта божественного творения космография робко вступила на путь объяснения явлений, реально происходящих на Земле и на небе. В это время окончательно утверждается геоцентрическая концепция мироздания. Плоскостная теория Севериана из Габалы и Косьмы Индикоплова была оттеснена на периферию византийской науки и потеряла приверженцев среди светских, а также духовных мыслителей.

Ускорилось развитие конкретной, практической географии, различных жанров географической литературы (нотий, итинерариев пилигримов). Лучшие сочинения географической мысли этой эпохи представлены трактатами Константина Багрянородного, Псевдо-Кодина, комментариями к Псевдо-Дионисию Периегету Евстафия Солунского (Фессалоникского). Продолжали создаваться карты и глобусы. Географическая мысль Византии достигла своего расцвета, как и многие другие сферы культуры в эпоху «македонского» и «комниновского возрождения».

Поскольку в основе образованности в Византии продолжали оставаться сохранившиеся от античности знания, постольку тип и программа обучения, восходившие к поздней античности, оставались неизменными и в VII—XII вв. Курс обучения слагался из дисциплин тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и квадриума (арифметика, геометрия, музыка, или гармония, астрономия) и физики. Изучение квадриума было уделом единиц. Освоив эти дисциплины, учащиеся знакомились с метафизикой (так называемым чистым знанием) и завершали курс богословием («первой философией»).

Образование включало три ступени, как и прежде: подготовительную (ее постигали дети в школе грамматиста, обучаясь чтению, письму и счету), среднюю (ее проходили в школе грамматика) и высшую (в школе ритора и философа). Начальные школы имелись всюду, даже в маленьких городках и крупных селениях. Их могли посещать и дети простых людей, способных платить за учебу. Выпускники пополняли ряды носителей высоких чинов и должностей.

Содержание элементарного образования изменилось: центр внимания с произведений Гомера был перенесен на Священное писание, прежде всего на псалтырь, а также на жития и труды отцов церкви. Школы грамматиков имелись в ряде провинциальных центров, школы же риторов и философов — только в столице. Обучение в них было платным, здесь учились дети светской и духовной знати. Уровень образования существенно повысился в середине IX в. Росло число школ разного направления, получаемые в них знания определялись уровнем квалификации учителей. В XI в. открылись школы при некоторых церквях, где преподавались и светские дисциплины. Помимо частных, в Константинополе функционировали правительственные высшие школы, которым покровительствовал император. Обучали здесь бесплатно. Учиться могли все, кто хотел, но прием обуславливался высоким образовательным цензом, который приобрести — за плату — было возможно лишь в частных школах первой и средней ступеней. Число даже знатных студентов в этих «университетах» было невелико. В конце XI в.

Алексей I Комнин открыл высшую духовную школу при патриархии. Теология была здесь основным предметом изучения, хотя не были оставлены совсем в стороне и светские науки. Профессорами «Патриаршей академии» были авторы известных трудов, крупнейшие деятели византийской культуры.

На рассмотренный в книге период приходится и расцвет византийской эстетики. Развитие эстетической мысли в VIII—IX вв. было стимулировано борьбой вокруг культовых изображений. Иконопочитателям пришлось подытожить главные христианские концепции образа и на их основе разработать теорию соотношения образа и архетипа, прежде всего применительно к изобразительному искусству. Были изучены функции образа в духовной культуре прошлого, осуществлен сравнительный анализ образов символических и миметических (подражательных), — по-новому осмыслено отношение образа к слову, поставлена проблема приоритета живописи над другими видами искусства в религиозной культуре.

В X—XII вв. теория прекрасного в византийской эстетике продолжала разрабатываться в ее церковно-патристическом варианте, но усилилось внимание к психологическим аспектам воздействия искусств на эмоциональный мир человека, в частности к эстетике света. Однако особый интерес мыслители того времени проявили к искусствоведческой эстетике. Появились специальные трактаты с описанием и анализом конкретных произведений живописи и архитектуры. Усиленно разрабатывались также вопросы эстетики слова.

Наиболее полное развитие получило в ту эпоху антикизирующее направление эстетики, ориентированное на античные критерии прекрасного. Возрождались интерес к физической (телесной) красоте человека; получала новую жизнь порицавшаяся религиозными ригористами эстетика эротизма; вновь пользовалось особым вниманием светское искусство. Новые импульсы обрела также теория символизма, особенно концепция аллегии; стало цениться садово-парковое искусство; возрождение коснулось и драматического искусства, осмыслению которого посвящались специальные труды.

В целом эстетическая мысль в Византии в VIII—XII вв. достигла, пожалуй, высшей точки своего развития, оказывая сильное влияние на художественную практику ряда других стран Европы и Азии.

Кризисные явления переходной эпохи в византийской культуре были особенно затяжными в сфере изобразительного искусства VII—IX вв., на судьбах которого сильнее, чем в других отраслях, сказалось иконоборчество. Развитие наиболее массовых, религиозных видов изобразительного искусства (иконописи и фресковой церковной живописи) возобновилось {628} лишь после 843 г., т. е. после победы иконопочитания. Особенность нового этапа состояла в том, что, с одной стороны, заметно возросло воздействие античной традиции, а с другой — все более жесткие рамки приобретал выработанный в ту эпоху иконографический канон с его устойчивыми нормами, касавшимися выбора сюжета, соотношения фигур, самых их поз, подбора красок, распределения светотеней и т. п. Этому канону в последующем будут строго следовать византийские художники. Создание живописного трафарета сопровождалось усилением стилизации, призванной служить целям передачи через зрительный образ не столько человеческого лица, сколько заключенной в этом образе религиозной идеи.

Достигает в тот период нового расцвета искусство цветного мозаичного изображения. В IX—XI вв. реставрировались и старые памятники. Возобновлялись мозаики и в храме св. Софии. Появились новые сюжеты, в которых находила отражение идея союза церкви с государством.

В IX—X вв. существенно обогатился и усложнился декор рукописей, богаче и разнообразнее стали книжные миниатюры и орнамент. Однако подлинно новый период в развитии книжной миниатюры в Византии приходится на XI—XII вв., когда переживала расцвет константинопольская школа мастеров в этой области искусства. В ту эпоху вообще ведущую роль в живописи в целом (в иконописи, миниатюре, фреске) приобрели столичные школы, отмеченные печатью особого совершенства вкуса и техники. В школах Константинополя был выработан и законченный стиль (канон), который характеризуется как спиритуалистический. В тот же период упрочились культурные связи Византии со странами ортодоксального, византийского христианства, в том числе с Древней Русью, на развитие изобразительных искусств которой более всего оказала влияние константинопольская школа живописи.

В VII—VIII вв. в храмовом строительстве Византии и стран византийского культурного круга господствовала та же крестово-купольная композиция, которая возникла в VI в. и характеризовалась слабо выраженным внешним декоративным оформлением. Большое значение декор фасада приобрел в IX—X вв., когда возник и получил распространение новый архитектурный стиль. Появление нового стиля было связано с расцветом городов, усилением общественной роли церкви, изменением социального содержания самой концепции сакральной архитектуры в целом и храмового строительства в частности (храм как образ мира).

Возводилось множество новых храмов, строилось большое число монастырей, хотя они были, как правило, невелики по размеру.

Помимо изменений в декоративном оформлении зданий, менялись и архитектурные формы, сама композиция строений. Увеличивалось значение вертикальных линий и членений фасада, что изменило и силуэт храма. Строители все чаще прибегали к использованию узорной кирпичной кладки. Черты нового архитектурного стиля проявились и в ряде локальных школ. Например, для Греции X—XII вв. свойственно сохранение некоторой архаичности архитектурных форм (не расчлененность плоскости фасада, традиционные формы небольших храмов),— но в то же время — с дальнейшим развитием и ростом влияния нового стиля — здесь также все шире использовались узорный кирпичный декор и полихромная пластика. {629}

Неканонические формы византийской культуры, все разнообразие ее направлений, взаимодействовавших друг с другом и не имевших меж собой четких границ, наиболее ясно проявились в декоративно-прикладном искусстве. Художественные ремесла обслуживали те формы общественного сознания и общественной психологии, которые не находили достаточного отражения в памятниках письменности и в живописи. Для византийцев имели значение не только мастерство владения материалом, совершенство формы и виртуозность техники, но и духовное, нравственное начало, заложенное в произведении искусства, его «сверхземная» красота, равнозначная «божественно» прекрасному. Отсюда — стремление к высокому художественному уровню, редкостный дар обработки каждой вещи, каждой ее детали.

Символические толкования распространялись не только на церковную утварь, но и на предметы светского церемониального обихода, на изображения на украшениях и керамике. Христианский спиритуализм, культ императора, санкционированный церковью, отзвуки античной мифологии и мотивы средневекового героического эпоса, магические представления, присущие «низовой» культуре, но не чуждые и верхам общества,— все эти разнородные элементы, объединенные в русле единой культурной традиции, находили воплощение в произведениях прикладных искусств.

В VIII—XII вв. оформилось специальное музыкально-поэтическое церковное искусство. Благодаря его высоким художественным достоинствам, ослабело влияние на церковную музыку музыки фольклорной, мелодии которой ранее проникали даже в литургию. В целях еще большей изоляции музыкальных основ богослужения от внешних воздействий была проведена канонизация ладотональной системы — «октоиха» (восьмигласия). Ихосы представляли собой некие мелодические формулы. Однако музыкально-теоретические памятники позволяют заключить, что система ихосов не исключала звукорядного понимания. Наиболее популярными жанрами церковной музыки стали канон (музыкально-поэтическая композиция во время утренней службы) и тропарь (едва ли не основная ячейка византийской гимнографии). Тропари сочинялись ко всем праздникам, всем торжественным событиям и памятным датам.

Прогресс музыкального искусства привел к созданию нотации (нотного письма), а также литургических рукописных сборников, в которых фиксировались песнопения (либо только текст, либо текст с нотацией).

Общественная жизнь также не обходилась без музыки. В книге «О церемониях византийского двора» сообщается почти о 400 песнопениях. Это и песни-шестивия, и песни во время конных процессий, и песни при императорском застолье, и песни-аккламации, и т. п.

С IX в. в кругах интеллектуальной элиты нарастал интерес к античной музыкальной культуре, хотя этот интерес и имел по преимуществу теоретический характер: внимание привлекала не столько сама музыка, сколько сочинения древнегреческих музыкальных теоретиков.

Наконец, коротко о такой области массовой, всеобъемлющей культуры, как о быте и нравах византийского общества в VII—XII вв. Развитие совершалось здесь особенно противоречиво: в некоторых сторонах быта, зависимых от смены жизненных устоев или подтвержден-

ных «капризам моды», стремительно, в других — почти незаметно: отступление от испокон существующих, традиционных форм и норм приравнивалось порой {630} к святотатству. И все-таки исподволь, но неуклонно менялось многое: и зримые проявления жизни, и ее распорядок, и нормы поведения людей.

Иным стал внешний облик самих поселений: резко, неизмеримо возрос удельный вес деревень. Даже возрождающиеся в IX—X вв. и воздвигаемые заново города сплошь и рядом мало отличались от крупных деревень: они нередко не имели стен, и обычно в них уже не было былой четкости планировки, свойственной ранневизантийским городам. Церкви, часовни, монастыри строили теперь на удобном или памятном месте, независимо от помыслов об архитектурных ансамблях. Других общественных зданий в провинциальных городах вообще не возводили. В черте города располагали теперь и кладбища, и множество индивидуальных захоронений.

Скромному внешнему виду городских построек соответствовало их внутреннее убранство: мебель даже в домах знати приобрела значительно более упрощенные формы. Питание по своему составу и способам приготовления было в ту пору весьма близко к распространенному на мусульманском востоке. Отличие состояло в большем употреблении вина и в меньшем — сладостей. Растущее влияние Востока сказывалось и на одежде византийцев, на украшениях, косметических средствах.

На всем быте, укладе жизни того времени, включая психологию, поведение, представления о системе ценностей, серьезно отражались, кроме того, превратности судеб империи в целом, сложная внутренняя и опасная внешнеполитическая ситуация (по существу состояние «перманентной войны»). Средний срок жизни византийца был невелик: половина населения империи не доживала до 35 лет. Дольше всех жили императоры, интеллектуалы, архиереи, отшельники. В связи с этим широкое распространение получило восточное отношение к старости — в первую очередь как к мудрости, а не к слабости. Заметно упрочились семья и родственные связи.

Самое же главное заключалось в том, что быт и нравы византийского общества в рассматриваемую эпоху отличала глубокая религиозность, пронизывавшая весь жизненный распорядок, весь путь человека от его рождения до могилы. Именно в этот период подверглись христианизации многие светские праздники. Церковная служба все более театрализовалась. Принятый в свое лоно церковью театр воплотился в литургическую драму — мистерию, величавую и торжественную, оттеснившую далеко на задний план другие виды уцелевших сценических представлений (спортивные игры, выступления комедиантов).

И для церковных, и для светских празднеств той поры характерно возрождение собственно греческих традиций. Праздники во многом напоминали Олимпийские игры, где танцам, пению, музыкальным состязаниям, пиршествам и ночным представлениям отводилась не меньшая роль, чем самим спортивным выступлениям. Однако все это совершалось теперь иначе — более чинно и пышно, с тщательным соблюдением церемониала. Довольно четко и здесь проглядывал восточный лик Византии.

В заключение необходимо вернуться к проблеме типологии византийской культуры, упомянутой во Введении. В целом, как и по вопросу о периодизации, здесь трудно решиться даже на предварительные суждения. Время для широких выводов и определения наиболее общих типичных черт культуры Византии в целом, по-видимому, еще не наступило.

И в общественном развитии, и в эволюции культуры Византии очевидны противоречивые тенденции, обусловленные ее срединным положением между Востоком и Западом. Казалось бы, с ходом времени и особенно отчетливо как раз в IX—XII вв. различия основополагающих черт феодального строя империи и стран Запада постепенно сглаживались, тогда как, напротив, по формам общественной жизни Византия все более отдалялась от социально-политических систем ближневосточных народов (арабов, турок-сельджуков). Более четко, чем до середины VII в., от иноверного, мусульманского Востока Византию отделяло и христианство, которое также должно было служить мощным фактором ее сближения с Западом.

И тем не менее, вопреки названным факторам, культурные узы, связывавшие Византию с Востоком, не были порваны. В отдельных сферах они даже еще более укрепились в рассматриваемую эпоху, несмотря на идейно-политические, вероисповедные различия, как это показано во многих главах данной книги. В культурном взаимодействии с Западом Византия облада-

ла по крайней мере двумя неоспоримыми преимуществами: во-первых, до конца XI в. она значительно превосходила Запад по уровню культуры; во-вторых, культура Византии в целом представляла собой сравнительно более гомогенную систему, чем западная. Разнородные по происхождению элементы византийской культуры все более синтезировались в ходе многовекового интеграционного процесса, развивавшегося в рамках единой империи. Западная культура с ходом времени, напротив, все заметнее разделялась на самобытные течения в результате этнополитического членения западного мира и стабилизации государственных границ. Культурное влияние Византии в VII—XII вв. на запад было всегда более глубоким, чем обратное, которое заметно проявилось только в конце XI—XII столетия и отразилось по преимуществу лишь на элитарных этажах.

Что же касается сближения в X—XII вв. общественно-экономических структур Византийской империи и стран Запада как фактора, потенциально способного содействовать культурной интеграции, то дело обстояло здесь, по всей вероятности, чрезвычайно сложно. Воздействие этого фактора проявилось, несомненно, в христианизации именно в эпоху становления феодализма множества славянских и иных народов в Центральной, Юго-Восточной, Восточной и Северной Европе.

Понятие «культура» не сводится к религии, и принятие христианства в качестве наиболее общего идеологического синтеза общественного строя не искоренило ни старинных местных культурных традиций, ни источников их дальнейшего развития, хотя и в преобразованных формах. Возможное влияние на культуру сходных черт феодальных институтов в Византии и на Западе нельзя, видимо, переоценивать: гораздо более близкие формы феодализма в разных западноевропейских странах не исключили великого многообразия культурного облика этих стран в средние века. Да и византийское христианство всегда сохраняло на себе печать места своего рождения — оно оставалось восточным христианством, что ясно сознавалось самыми широкими слоями населения империи. В критических ситуациях, особенно во времена конфликтов с Западом, простые подданные проявляли гораздо большую терпимость к приверженцам иноверия, мусульманам, чем к носителям «ущербного» единоверия — латинянам.

Остановимся все-таки коротко на ряде наиболее типических, гипотетически устанавливаемых общих особенностях культуры Византии. Одна из таких особенностей сравнительно с культурой стран «католической» зоны была, в сущности, уже упомянута. Это относительная гомогенность, типологическая однородность византийской культуры, несмотря на все многообразие ее конкретных проявлений и вполне различные штрихи региональных отличий. Указанное сравнительное единство было обусловлено многовековым непрерывным воздействием таких факторов, как общность государственной (имперской) власти, ведущей ролью греческого языка в многоплеменной империи, в том числе языка культуры, безраздельным господством окончательно консолидировавшегося к X столетию православия как особой, восточной ветви христианства, имевшей ряд существенных отличий от западной, католической, начиная с важнейших догматов и принципов организации церкви и кончая ритуалом богослужения и морально-этическими нормами поведения верующих.

Глубокий спиритуализм, общепризнанный и санкционированный церковью канон в гораздо большей степени ощущались в культуре и искусстве именно восточноправославного, чем западнокатолического ареала. Фанатическая верность православию стала высшей добродетелью византийца. Отнюдь не случайно все попытки унии восточной и западной церквей, предпринимавшиеся впоследствии, в XIII—XV вв., не приводили к успеху: она решительно отвергалась народом и лишь временно — из сугубо политических соображений — находила поддержку у части господствующего класса и интеллектуальной элиты империи. Отнюдь не случайно и то, что христианский Восток не знал ни в XIV—XV вв., ни в последующем того религиозно-церковного — в рамках христианства — плюрализма, который приобрел столь серьезное общественно-политическое значение в жизни народов Центральной и Западной Европы. Священная цель сохранения чистоты православия пронизывала все сферы культуры православного мира, рассматривалась как одна из его главных идейных ценностей.

Отличительной чертой византийской культуры являлся также ее четко выраженный восточный колорит, наследие длительных и тесных связей с древними и современными Византии рассматриваемого периода цивилизациями Ближнего Востока. В этом вопросе следует, по всей вероятности, подходить к разным областям византийской культуры дифференцированно:

в тех ее сферах, которые были более тесно связаны с идейно-религиозными представлениями, противостояние с исламом обусловило еще больший ригоризм и приверженность традиционным православным культурным ценностям. И напротив, в таких областях культуры, как эпос, прикладное искусство, музыка, нормы быта и нравственности, влияние восточной культуры не только не прекратилось, но еще более усилилось в IX—XII вв. Лишь с конца XI в. в этой сфере стало прослеживаться также и западное культурное влияние, которое, однако, как упоминалось, захватило в эпоху правления Комнинов по преимуществу верхи византийского общества.

Одной из особенностей культуры Византии, именно для рассматриваемой в этой книге эпохи, можно, по-видимому, считать также никогда не {633} исчезающее в империи светское направление в искусстве. Причины этого коренились, видимо, не только в античных традициях и влиянии иконоборчества (лишь материальный мир, но не божество выразимо средствами человеческого искусства), но и в широко распространенном в византийском обществе культе императорской власти, который — в русле светского направления — усиленно утверждался в VIII—XII вв. и с помощью искусства.

Наконец, греко-римские, античные традиции никогда не прерывались полностью в империи, хотя именно в жесточайшей борьбе с ними в V—IX вв. утверждалось господство христианского мирозерцания, разрабатывалось и систематизировалось богословие и осуществлялось подчинение культуры в целом систематическому церковному руководству. Победа христианства над идеологией античности сопровождалась в Византии гораздо более широким, чем на Западе, усвоением и переработкой античных форм и методов художественного восприятия и отображения действительности.

Как уже было сказано, интерес к античности в Византии никогда не исчезал полностью даже в VII—VIII вв., однако он резко возрос во второй половине IX в. и приобрел особенно широкие масштабы в XI—XII вв. Интерес этот, впрочем, не означал ни в коей мере подлинного возрождения духовных и художественных ценностей античности за счет христианских или наравне с христианскими: античное культурное наследие переосмысливалось и приспособлялось (причем по-разному на разных этапах рассматриваемого периода) под неослабным контролем церкви применительно к целям и интересам самого православия. Поэтому предренесансные явления в культуре Византии XI—XII вв. следует, по всей вероятности, связывать не столько с углублением собственно интереса к античному культурному наследию, сколько с появлением ростков свободомыслия, рационализма, идей социального протеста, сомнения в незыблемости ряда религиозных догматов, критики монашеских идеалов аскетизма и смирения.

Существенную роль в закреплении представлений о традиционном византийском комплексе культурных ценностей, противопоставляемых западноевропейским, сыграли, вероятно, упоминавшаяся во Введении схизма 1054 г. (официальный разрыв церквей) и в особенности последовавшие за ней военные столкновения с Западом. Ведь фактом является то, что к концу XII в. в средневековой христианской Европе сложились две обширные, четко разграниченные религиозно-культурные зоны, определяемые нередко в литературе как *Pax Orthodoxa* и *Pax Romana*.

В «латинской» («католической») зоне культурная монополия церкви была гораздо более полной, чем в «православной». Намного более сплоченная и богатая, западная церковь сумела утвердить существенно более строгий контроль над духовной жизнью общества. Целенаправленная идейная политика папства, значительно большая централизация церковной системы Запада не могли не сыграть своей роли в судьбах культуры: дидактическая нота в духовном творчестве западноевропейских культурных деятелей, в изобразительном искусстве, архитектуре, литургической музыке звучала гораздо громче.

Сравнительно более бедная, больше зависимая от светской власти, менее централизованная восточнокатолическая церковь обладала меньшими возможностями систематического организованного руководства всеми сферами культуры. Духовные пастыри возлагали здесь больше надежд на индивидуальное рвение и личное благочестие прихожан. Средние и особенно низшие, наиболее многочисленные слои белого духовенства и монашества были в Византии намного ближе к простому крестьянству и рядовым горожанам, в том числе по социальным пристрастиям, психологии и душевным склонностям.

Христианин-византиец смотрел на мир все-таки несколько иными глазами, чем христианин-«латинянин». Различия в духовной позиции и идейно-эстетическом осмыслении явлений действительности того и другого определялись в конечном счете вполне реальными факторами прошлого и настоящего. Однако жители восточнохристианского мира, менее, чем на Западе, защищенные корпоративными и сословными связями, более зависимые от произвола деспотов и их служителей, были больше подвержены отрицательным эмоциям, более остро нуждались в утешении, снисхождении и милосердии. Допустимо поэтому высказать предположение, что отблески этих душевных состояний в той или иной степени просматриваются в различных сферах византийской культуры в качестве еще одной из ее наиболее общих особенностей. {635}

Библиография

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Маркс К. Греческое восстание // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 10. С. 129—131.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Там же. Т. 13. С. 5—9.

Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма // Там же. Т. 22. С. 11—22.

Энгельс Ф. Диалектика природы. Статьи и главы // Там же. Т. 20. С. 345—363.

ОБЩИЕ РАБОТЫ

Банк А. В. Прикладное искусство Византии IX—XII вв. М., 1978. *Безобразов П. В.* Очерки византийской культуры. Пг., 1919.

Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические проблемы. М., 1977. Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.

Добротворский А. П. Преподобный Феодор, исповедник и игумен Студийский. Одесса, 1913—1914. Ч. 1—2.

Искусство Византии в собраниях СССР. Л., 1975.

История Византии. М., 1967. Т. 2. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985—1986. Т. 1—2.

Каждан А. П. Византийская культура. М., 1968.

Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1973.

Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.

Курбатов Г. Л. История Византии: (Историография). Л., 1975.

Курбатов Г. Л. История Византии (от античности к феодализму). М., 1984.

Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: Античность, Византия и Древняя Русь. Л., 1988.

Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978.

Лазарев В. Н. История византийской живописи. 1-е изд. 1947; 2-е изд. М., 1986.

Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X и XI веках: (От конца иконоборческих споров 842 г. до начала крестовых походов—1096 г.). М., 1902.

Литвиц Е. Э. Законодательство и юриспруденция в Византии в IX—XI вв.: Историко-юридические этюды. Л., 1981.

Литвиц Е. Э. Очерки истории византийского общества и культуры (VIII — первая половина IX в.). М.; Л., 1961.

Литвиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. Л., 1976.

Литаврин Г. Г. Болгария и Византия в XI—XII вв. М., 1960.

Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X—XI вв.: Проблемы истории одного столетия, 976—1081 гг. М., 1977.

Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1974.

Лихачева В. Д. Византийская миниатюра. Памятники византийской миниатюры X—XV веков в собраниях Советского Союза. М., 1977.

Лихачева В. Д. Искусство Византии IV—XV веков. М., 1986.

Любарский Н. Михаил Пселл. Личность и творчество: К истории византийского предгуманизма. М., 1978.

Пападимитриу С. Феодор Продром: Историко-литературное исследование. Одесса, 1905.

Полякова С. В. Из истории византийского романа. М., 1979.

Помяловский И. В. Житие иже во святых отца нашего Феодора, архиепископа Эдесского. СПб., 1892.

Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985.

Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917.

Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI веке. СПб., 1884.

Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. {636}

- Удалцова З. В. Некоторые нерешенные проблемы истории Византийской культуры//ВВ. 1980. Т. 41.
- Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891.
- Фрейберг Л. А., Попова Т. В. Византийская литература эпохи расцвета IX—XV вв. М., 1978.
- Чичуров И. С. Место «Хронографии» Феофана в ранневизантийской историографической традиции (IV—начало IX в.) //Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1981 год. М., 1983.
- Чичуров И. С. «Хронография» Феофана (IX в.) и ранневизантийская историографическая традиция (IV—VIII вв.). М., 1976.
- Ahrweiler H. Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance au VII—XV siècles. P., 1966.
- Ahrweiler H. L'idéologie politique de l'Empire byzantin. P., 1975.
- Angold M. The Byzantine Empire 1025—1204. L.; N. Y., 1984.
- Beck H. G. Byzantinische Lesebuch. München, 1982.
- Beck H. G. Das Byzantinische Jahrtausend. München, 1978.
- Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971.
- Beck H. G. Geschichte der orthodoxen Kirche im Byzantinischen Reich. Göttingen, 1980.
- Beck H. G. Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. München, 1959; 2. Aufl. München, 1977.
- Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.—11. Jh./Hrsg. von V. Vavřínek. Pr., 1978.
- Brand C. Byzantium Confronts the West, 1180—1204. Cambridge, 1968.
- Bréhier L. Le monde byzantin. P., 1947—1950. T. 1—3.
- Browning R. Studies on Byzantine History, Literature and Education. L., 1977.
- Browning R. The Byzantine Empire. N. Y., 1980.
- Bury J. B. A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the accession of Basil I., A. D. 802—867. L., 1912.
- Byzanz im 7. Jahrhundert. B., 1978.
- Der byzantinische Bilderstreit. Sozialökonomische Voraussetzungen — ideologische Grundlagen — geschichtliche Wirkungen/Hrsg. von J. Irmscher. Leipzig, 1980.
- Cahen Cl. Orient et Occident au temps des Croisades. P., 1983.
- Cahen Cl. Turcobyzantina et Oriens christianus. L., 1974.
- The Cambridge Medieval History. Vol. 4: The Byzantine Empire. Cambridge, 1966—1967. Pt 1, 2.
- Chalandon F. Les Comnène. P., 1900—1912, T. 1—2.
- Darrouzès J. Recherches sur les ὀφφίκια de l'Église byzantine. P., 1970.
- Dölger F. Byzanz und die europäische Staatenwelt. Darmstadt, 1964.
- Dölger F., Karayannopoulos J. Byzantinische Urkundenlehre. München, 1968.
- Dölger F. Ἡ ἱστορία τῆς βυζαντινῆς αυτοκρατορίας. Πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπριτζ. Ἀθήνα, 1979. Τ. 2.
- Ducellier A. Byzance et le Monde Orthodoxe. P., 1986.
- Elze R. Päpste-Kaiser-Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik. L., 1982.
- Fliche A., Martin V. Histoire de l'Église. P., 1939.
- Geanakoplos D. J. Byzantine East and Latin West: two worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance. Oxford, 1966.
- Geanakoplos D. J. Byzantium. Church, Society and Civilization seen through Contemporary Eyes. Chicago, 1984.
- Grabar A. L'empereur dans l'art byzantin: recherches sur l'art officiel de l'empire d'Orient. P., 1936.
- Guiland R. Recherches sur l'administration byzantine. P., 1964. T. 1—2.
- Guillou A. La civilisation byzantine. P., 1974.
- Haussig H. W. A History of Byzantine Civilization. L., 1971.
- Haussig H. W. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttgart, 1959.
- Hohlweg A. Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des Oströmischen Reiches unter den Komnenen. München, 1965.
- Hunger H. Byzantinische Geisteswelt von Konstantin dem Grossen bis zum Fall Konstantinopels. Baden-Baden, 1958.
- Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1—2.
- Hunger H. Reich der Neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz; Wien; Köln, 1965.
- Iconoclasm/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977.
- Janin R. Les Eglises et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros, Galésios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique). P., 1975.
- Janin R. Constantinople Byzantine. P., 1964. {637}
- Jenkins R. The Imperial Centuries, A. D. 610—1071. L., 1966.
- Karayannopoulos J. Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung. München, 1959. Καραγιαννοπου;λου Ἰ. Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους. Θεσσαλονίκη, 1981. Τ.Β'.
- Kazhdan A., Constable G. People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies. Wash., 1982.
- Krumbacher K. Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des

- Oströmischen Reiches (527— 1453). 2. Aufl. München, 1897.
- Lemerle P.* Cinq études sur le XI^e siècle byzantin. P., 1977.
- Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. P., 1971.
- Mango C.* Byzantium and its Image: History and Culture of the Byzantine Empire and its Heritage. L., 1984.
- Mango C.* Byzantium: The Empire of New Rome. L., 1980.
- Mango C.* The Art of the Byzantine Empire, 312—1453. New Jersey, 1972.
- Meyendorff J.* Byzantine Theology. N. Y., 1974.
- Moravcsik Gy.* Byzantinoturcica. B., 1958. Bd. 1—2.
- Moravcsik Gy.* Einführung in die Byzantinologie. Budapest, 1976.
- Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500—1453. L., 1974; 2-e ed. L., 1982.
- Ohnsorge W.* Abendland und Byzanz. Darmstadt, 1979.
- Ostrogorsky G.* Geschichte des Byzantinischen Staates. München, 1963.
- Ostrogorsky G.* Die byzantinische Staatenhierarchie // SK. 1936. T. 8. S. 41—61.
- Ostrogorsky G.* Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites. Breslau, 1929; 2. Aufl. Amsterdam, 1964.
- Ostrogorsky G.* Zur byzantinischen Geschichte. Ausgewählte kleine Schriften. Darmstadt, 1973.
- Patlagean E.* Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance, IV^e—IX^e siècles. L., 1981.
- Prédication et propagande au Moyen Âge. Islam, Byzance, Occident. P., 1983.
- Runciman S.* A History of the Crusades. L., 1954. Vol. 1—2.
- Runciman S.* Kunst und Kultur in Byzanz. München, 1978.
- Runciman S.* The Byzantine Theocracy. L.; N. Y.; Melbourne, 1977.
- Stein D.* Der Beginn des Byzantinischen Bilderstreits und seine Entwicklung bis in die 40en Jahre des 8. Jahrhunderts. München, 1980.
- Stratos A.* Byzantium in the Seventh Century. Athens, 1966.
- Studien zum 8. und 9. Jh. in Byzanz/Hrsg. von H. Köpstein. F. Winkelmann. B., 1983.
- Schreiner P.* Byzanz. München, 1986.
- Tatakis B.* La philosophie byzantine. P., 1949.
- The 17th International Byzantine Congress. Major Papers. N. Y., 1986.
- Tinnefeld F. H.* Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Nicetas Choniates. München, 1971.
- Toynbee A.* Constantine Porphyrogenitus and his World. L., 1973.
- Vasiliev A. A.* Byzance et les Arabes. Bruxelles, 1935—1950. T. 1—2.
- Vryonis Sp.* Byzantium: its Internal History and Relations with the Muslim World. L., 1971.
- Vryonis Sp.* The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the XIth through the XVth Century. Berkeley; Los Angeles, 1971.
- Weiss G.* Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos. München, 1973.
- Wessel K.* Die Kultur von Byzanz. Frankfurt a. Main, 1970.
- Winkelmann F.* Byzantinische Rang- und Ämterstruktur im 8. und 9. Jahrhundert: Faktoren und Tendenzen ihrer Entwicklung. B., 1985.
- Zakythinos D. A.* Byzantinische Geschichte, 325—1071. Wien; Köln; Graz, 1979.

1

- Ангелов Д.* Образуване на българската народност. С., 1981.
- Иванова О. В., Литаврин Г. Г.* Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985.
- Каждан А. П.* Деревня и город в Византии, IX—X вв.: Очерки по истории византийского феодализма. М., 1960.
- Каждан А. П.* Социальный состав господствующего класса Византии, XI—XII вв. М., 1974.
- Корсунский А. Р., Гюнтер Р.* Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств М., 1984.
- Курбатов Г. Л.* К проблеме перехода от античности к феодализму // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Л., 1980.
- Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е.* Византия: проблема перехода от античности к феодализму. Л., 1984. {638}
- Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е.* Город и государство в Византии в эпоху перехода от античности к феодализму // Становление и развитие раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986.
- Литаврин Г. Г.* Еще раз о симпатиях и класмах налоговых уставов X—XI вв. // Вб. 1978. Т. 5.
- Литаврин Г. Г.* ΟΠΙΣΘΟΤΕΛΕΙΑ: К вопросу о наделении крестьян в Византии землей в X—XI вв. // ВВ. 1978. Т. 39.
- Литаврин Г. Г.* Относительные размеры и состав имущества провинциальной византийской аристократии во 2-й половине XI в. (по материалам завещаний) // ВО. М., 1971.
- Литаврин Г. Г.* Проблема государственной собственности в Византии в X—XI вв. // ВВ. 1975. Т. 35.
- Осинова К. А.* Аллиленгий в Византии в X в. // ВВ. 1960. Т. 17.
- Осинова К. А.* К проблеме присельничества в Византии (X—XII вв.) // ВО. М., 1977.
- Осинова К. А.* Система класм в Византии в X—XI вв. // ВО. М., 1961.

- Острогорский Г. А.* К истории иммунитета в Византии // ВВ. 1958. Т. 13.
- Сюзюмов М. Я.* Некоторые проблемы исторического развития Византии и Запада. // ВВ. 1974. Т. 35.
- Сюзюмов М. Я.* Основные источники по истории Византии конца VII — середины IX в. // История Византии. М., 1967. Т. 2.
- Сюзюмов М. Я.* Основные направления историографии истории Византии иконоборческого периода // ВВ. 1963. Т. 22.
- Тъпкова-Заимова В.* Нашествия и этнические промени на Балканите. С., 1966.
- Удальцова З. В.* Византия и Западная Европа: типологические наблюдения // ВО. М., 1977.
- Удальцова З. В., Осипова К. А.* Отличительные черты феодальных отношений в Византии // ВВ. 1974. Т. 36.
- Удальцова З. В., Осипова К. А.* Формирование феодального крестьянства в Византии // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1.
- Хвостова К. В.* Византийское крестьянство в XII—XV вв. // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. Т. 2.
- Ahrweiler H.* Les ports byzantins (7^e—9^e siècles) // La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo. Spoleto, 1978.
- Ahrweiler H.* Recherches sur la société byzantine du XI^e siècle: nouvelle hiérarchie et nouvelle solidarité // TM. 1976. Т. 6.
- Brandes W.* Unter Mitarb. Mileta Ch., Ridet S. Der sozial-ökonomische Hintergrund des byzantinischen Bilderstreites: Fragen und Probleme // Der Byzantinische Bilderstreit. Leipzig, 1980.
- Charanis P.* Studies on the Demography of the Byzantine Empire. L., 1973.
- Charanis P.* The Role of the People in the Political Life of the Byzantine Empire: the Period of the Comneni and the Palaeologi // EB. 1978. Vol. 5.
- Cheyne J. C.* Manzikert: un désastre militaire? // Byz. 1980. Т. 50.
- Chrysos E. K.* The Title ΒΑΣΙΛΕΥΣ: in Early Byzantine International Relations // DOP. 1978. N 32.
- Ditten H.* Zur Bedeutung der Einwanderung der Slawen // Byzanz im 7. Jh. B., 1978.
- Gorecki D. M.* A Farmer Community of the Byzantine Middle Ages: Historiography and Legal Analysis of Sources // EB. 1982. Т. 9.
- Γρηγορίου-Ίωαννίδου Μ.* Παρακμη;` και;` πτώση τοῦ θεματικοῦ θεσμοῦ. Θεσσαλονίκη, 1985.
- Guilland R.* Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. L'Éparque de la Ville // BS. 1979. Т. 41 (2).
- Guilland R.* Titres et fonctions de l'Empire byzantine. L., 1976.
- Guillou A.* Transformation des structures socio-économiques dans le monde byzantin du VI^e au VIII^e siècle // ZRVI. 1980. Т. 18.
- Haldon J. F.* On the Structuralist Approach to the Social History of Byzantium // BS. 1982. Т. 42 (2).
- Haldon J. F.* Recruitment and Conscription in the Byzantine Army (circa 550—850): A Study on the Origins of the Stratiotika Ktemata. Wien, 1979.
- Jacoby D.* La population byzantine // Byz. 1961. Т. 31.
- Kaplan M.* Les villageois aux premier siècles byzantins (6^e—10^e s.): une société homogène? // BS. 1983. Т. 43 (2).
- Kaplan M.* Remarques sur la place de l'exploitation paysanne dans l'économie rurale byzantine // JÖB. 1982. Bd. 32 (2).
- Köpstein H.* Agrarverhältnisse Ende des 6. Jahrhunderts, besonders nach den Kaisernovellen // Byzanz im 7. Jahrhundert. B., 1978.
- Köpstein H.* Stratioten und Stratiotengüter im Rahmen der Dorfgemeinde. Einige Bemerkungen // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.—11. Jh. P., 1978.
- Köpstein H.* Zur Erhebung des Themas // Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. B., 1983. {639}
- Köpstein H.* Zur Veränderung der Agrarverhältnisse in Byzanz vom 6. zum 8. Jh. // Ethnographisch-archäologische Zeitschrift. 1979. 2. Jg. H. 3.
- Lemerle P.* The agrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth century. Galway, 1979.
- Lilie R. J.* Die zweihundertjährigen Reform. Zu den Anfängen der Themenorganisation im 7. und 8. Jh. // BS. 1984. Т. 45 (1, 2).
- Litavrin G. G.* Das XI. Jh. in der Geschichte des byzantinischen Reiches: Faktoren des Fortschrittes und des Niedergangs // Berichte: Fortschritte und Stagnationserscheinungen im entwickelten Feudalismus. B., 1982. Bd. 23.
- Litavrin G.* Zur Lage der byzantinischen Bauernschaft im 10.—11. Jh. // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9.—11. Jh. Pr., 1978.
- Loos M.* Quelques remarques sur les communautés rurales et la grande propriété terrienne à Byzance (VII^e—XI^e siècles) // BS. 1978. Т. 39 (1).
- Malich B.* Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein — ein Grundsatz des byzantinischen Wirtschaftsleben im 8.—9. Jh. // Studien zum 8. und 9. Jh. in Byzanz. B., 1983.
- Malingoudis Ph.* Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. Bd. 1: Slavische Flurnamen aus der messinischen Mani. Wiesbaden, 1981.
- Matschke K. P.* Sozialschichten und Geisteshaltungen // XVI. Internationaler Byzantinistenkongress: Akten I/1. Wien, 1981.

- Oikonomidès N.* Les listes de préséance byzantines des IX^e et X^e siècles. P., 1972.
- Ostrogorsky G.* Byzantine Cities in the Early Middle Ages // DOP. 1959. Vol. 13.
- Ostrogorsky G.* Die Entstehung der Themenverfassung: Korreferat zu A. Pertusi // Akten des XI Inter. Byzantinisten Kongresses. München, 1958.
- Patlagean E.* Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4^e—7^e siècles. P., 1977.
- Patlagean E.* Structure sociale, famille, chrétienté à Byzance. 4^e—9^e siècles. L., 1981.
- Shahid J.* Heraclius $\pi\sigma\tau\omicron\varsigma\ \epsilon\prime\upsilon\ \chi\rho\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$; βασιλεύς//DOP. 1980—1981. N 34.
- Shahid J.* On the Titulature of the Emperor Heraclius//Byz. 1981. T. 41.
- Speck P.* Waren die Byzantiner mittelalterliche Altgriechen oder glaubten sie es nur? // Rechtshistorisches Journal. 1983. Bd. 2.
- Svoronos N.* Remarques sur les structures économiques de l'empire byzantin au XI^e siècle // TM. 1976. T. 6.
- Tûma, O.* The Dating of Alexius's Chrysobull to the Venetians, 1082, 1084 or 1092?//BS. 1981. T. 42 (2).
- Weiss G.* Antike und Byzanz. Die Kontinuität der Gesellschaftsstruktur // Historische Zeitschrift. 1977. Bd. 224.
- Weiss G.* Die Entscheidung des Kosmas Magistros über das Parökenrecht // Byz. 1978. T. 48.
- Weiss G.* Vermögenbildung der Byzantiner in Privathand. Methodische Fragen einer quantitativen Analyse // BYZANTINA. 1982. T. 11.
- Weithmann M. W.* Strukturkontinuität und Diskontinuität auf der griechischen Halbinsel im Gefolge der slavischen Lands name // Münchener Zeitschrift für Balkankunde. 1979. Bd. 2.
- Winkelmann F.* Die östlichen Kirchen in der Epoche der christologischen Auseinandersetzungen. B., 1980.
- Winkelmann F.* Kirche und Gesellschaft in Byzanz vom Ende des 6. bis zum Beginn des 8. Jh. // Klio. 1979. Bd. 59.
- Winkelmann F.* Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert. B., 1987.
- 2**
- Аверинцев С. С.* Порядок космоса и порядок истории в мирозерцании раннего средневековья: общие замечания // Античность и Византия. М., 1975.
- Аверинцев С. С.* Эволюция философской мысли // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.
- Безобразов П. В.* Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890.
- Болотов В. В.* Лекции по истории древней церкви. Пг., 1918. Т. 4.
- Вальденберг В.* Философские взгляды Михаила Пселла//Византийский сборник. М.; Л., 1945.
- Каждан А. П.* Богословие//История Византии. М., 1967. Т. 2.
- Попов И. В.* Идея обожения в древневосточной церкви // Вопросы философии и психологии. 1906. Т. 97.
- Россейкин Ф. М.* Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. Сергиев Посад, 1915.
- Benakis L.* Michael Psellos' Kritik an Aristoteles und seine eigene Lehre zur «Physis»- und «Materie-Form» Problematik// BZ. 1963. Bd. 56.
- Benakis L.* Studien zu den Aristoteles-Kommentaren des Michael Psellos. T. 1: Ein unedierter Kommentar zur «Physis» des Aristoteles / Archiv für Geschichte {640} der Philosophie. 1961. Bd. 43; T. 2: Die aristotelischen Begriffe Physis, Materie, Form nach Michael Psellos//Ibid. 1962. Bd. 44.
- Bidez J.* Aréthas de Césarée éditeur et scholiaste//Byz. 1934. T. 9.
- Bidez J.* Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. Bruxelles, 1928. T. VI.
- Bidez J.* Psellus et le commentaire du Timée de Proclus // Revue philologique. 1905. T. 29.
- Biedermann H. M.* Symeon der Neue Theologe. Gedanken zu einer Mönchkatechese // Unser ganzes Leben Christus unserm Gott überantworten: Studien zu ostkirchlichen Spiritualität. Göttingen, 1982.
- Browning R.* Enlightenment and Repression in Byzantium in the Eleventh and Twelfth Centuries // Past and Present. 1975. Vol. 69.
- Darrouzès J.* Notes sur les homélies du Pseudo-Macaire // Le Muséon. 1954. T. 67.
- $\Delta\eta\mu\eta\tau\rho\alpha\kappa\omicron\upsilon\lambda\omicron\varsigma\ \text{A.}$ Ἐκκλησιαστικὴ Βιβλιοθήκη. Λειψ., 1886.
- Dornseiff J.* Isaak Sebastokrator. Zehn Aporien über die Vorsehung. Meisenheim a. Glan, 1966.
- Dräseke J.* Nikolaos von Methone // BZ. 1892. Bd. 1.
- Dujcev J.* L'umanesimo di Giovanni Italo//Studi Bizantini e Neoellenici. 1939. Vol. 5.
- Dvornik F.* Le Schisme de Photius: Histoire et légende. P., 1950.
- Dvornik F.* The Photian Schism. Cambridge, 1948.
- Florovsky G.* Origen, Eusebius and the Iconoclast Controversy // Church History. 1950. Vol. 19.
- Garzya A.* On Michael Psellus' Admission of Faith//EEBS. 1966/1967. T. 35. Σ. 41—46.
- Hergenröther J.* Photius, Patriarch von Konstantinopel: sein Leben, seine Schriften und das griechische Schisma. Regensburg, 1867—1869. Bd. 1—3.
- Holl K.* Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum: Eine Studie zu Symeon dem Neuen Theologen. Leipzig, 1898.

- Joannou P.* Christliche Metaphysik in Byzanz. Bd. 1: Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Johannes Italos. Ettal, 1950.
- Karahalios G.* The philosophical trilogy of Michael Psellos. God-Cosmos-Man: Diss. Heidelberg, 1970.
- Krivocheine B.* Dans la lumière du Christ. S. Syméon le Nouveau Théologien. Chevetogne, 1980.
- Krivochéine B.* The most enthusiastic zealot//Ostkirchliche Studien. 1955. Bd. 4.
- Losky V.* The Mystical Theology of the Eastern Church. L., 1957.
- Lot-Borodine M.* La déification de l'Homme. P., 1959.
- Merill J. E.* The Tractate of John Damascus on Islam//The Muslim World. 1951. Vol. 41.
- Pachali H.* Soterichos Panteugenēs und Nikolaos von Methone // Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. 1907. Jg. 50. H. 3.
- Podskalsky G.* Nicolaos von Methone und die Proklosrenaissance in Byzanz (11.— 12. Jh.) // OChP. 1976. Vol. 42.
- Praechter K.* Michael von Ephesos und Psellos // BZ. 1931. Bd. 31.
- Richter G.* Die Dialektik des Johannes von Damaskos. Ettal, 1964.
- Rizzo J. J.* Isaak Sebastokrator's Περὶ τῆς τῶν κακῶν ὑποστάσεως (De malorum subsistentia). Meisenheim a. Glan, 1971.
- Sadnik L.* Des hl. Johannes von Damaskus Ἐκθῆσις ἀκριβῆς τῆς οὐρθοῦς πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Wiesbaden, 1967.
- Shumaker W.* The Occult Sciences in the Renaissance. Berkeley, 1972.
- Stathopoulos D. L.* Die Gottesliebe (θεῖος ἐρως) bei Symeon, dem neuen Theologen. Bonn, 1964.
- Stephanou P. E.* Jean Italos, philosophe et humaniste // Orientalia christiana analecta. Rome, 1949. Vol. 134.
- Studer B.* Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskos. Ettal, 1956.
- Svoboda K.* La démonologie de Michel Psellos. Brno, 1927.
- Töpfer H.* Das kommende Reich des Friedens: zur Entwicklung chiliastischer Zukunftshoffungen im Hochmittelalter. B., 1964.
- Van Rossum J.* The ecclesiological Problem in St. Symeon the New Theologian. N. Y., 1976.
- Völker W.* Praxis und Theoria bei Symeon dem Neuen Theologen: Ein Beitrag zur byzantinischen Mystik. Wiesbaden, 1974.
- Westerink L. G.* Proclus, Procopius, Psellos//Mnemosyne 1942. Vol 3, N 10.
- Wind E.* Pagan Mysteries in the Renaissance. Oxford, 1980.
- Wolska-Conus W.* La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustes. Théologie et science en VI^e siècle. P., 1962.
- Zervos Ch.* Un philosophe néoplatonicien du XI^e siècle: Michel Psellos. P., 1920.

3

- Вернадский Г. В.* Византийские учения о власти царя и патриарха // Recueil d'études dédiées à la mémoire de N. P. Kondakov. Pr., 1926. {641}
- Досталова Р.* Византийская историография (характер и формы) // ВВ. 1982. Т. 43.
- Иванов И.* Български старини из Македония. С., 1970.
- Курбатов Г. Л.* Политическая теория в Византии. Идеология императорской власти и аристократическая оппозиция // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.
- Кучма В. В.* Методы морально-политического воздействия на византийское войско по «Тактике» Льва//АДСВ. 1965. Вып. 3.
- Литаврин Г. Г.* Идея верховной государственной власти в Византии и Древней Руси домонгольского периода // Славянские культуры и Балканы. С., 1978. Т. 1: IX—XVII вв.
- Лихачева В. Д., Любарский Я. Н.* Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42.
- Острогорский Г.* Автократор и самодержац: Прилог за историју владалачке титулатуре у Византији и у јужних Словена//Глас Српске краљевске академије наука. 1935. Т. 164.
- Острогорский Г.* Эволюция византийского обряда коронавания // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.
- Удальцова З. В., Котельникова Л. А.* Власть и авторитет в средние века// ВВ. 1986. Т. 47.
- Чичуров И. С.* Теория и практика византийской императорской пропаганды: поучение Василия I и эпитафия Льва VI // ВВ. 1988. Т. 49.
- Чичуров И. С.* Традиция и новаторство в политической мысли Византии конца IX в. (место «Поучительных глав» Василия I в истории жанра) // ВВ. 1986. Т. 47.
- Шангин М. А.* Письма Арефы — новый источник о политических событиях в Византии 931—934 гг.//ВВ. 1947. Т. 1.
- Ahrweiler H.* Un discours inédit de Constantin VII Porphyrogénète//TM. 1967. Т. 2.
- Diehl Ch.* Le Sénat et le peuple byzantin aux VII^e siècle//Byz. 1924. Т. I.
- Every G.* The Byzantine Patriarchate, 451—1204. L., 1962.
- Goshev J.* Zur Frage der Krönungszeremonien und die Zeremonielle Gewandung der byzantinischen und der bulgarischen Herrscher im Mittelalter // Bb. 1966. Т. 2.
- Harkianakis St.* Die Stellung des Kaisers in der byzantinischen Geistigkeit, dogmatisch gesehen // BYZANTINA. 1971. Т. 3.

- Hussey J. M.* The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford, 1986.
- Καραγιαννόπουλος Γ. Ἡ πολιτικὴ θεωρία τῶν βυζαντινῶν // Βυζαντινά. 1970. Τ. 2.
- Μισίου Δ. Ἡ πολιτικὴ σημασία τῆς οὐνοκρατορίας τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων // Βυζαντικά. 1983. Τ. 3.
- Olster D.* Priest and Emperor in the Seventh Century // The 17th International Byzantine Congress. 1986. Abstracts of short Papers. Wash., 1986.
- Petridakis J. M.* Interventions dynamiques de l'empereur de Byzance dans les affaires ecclésiastiques // BYZANTINA. 1971. Τ. 3.
- Podskalsky D.* Byzantinische Reichsideologie: Die Periodisierung der Weltgeschichte in den vier Grossreichen und dem Tausendjährigen Friedensreiche. Eine motivgeschichtliche Untersuchung. München, 1972.
- Rösch G.* ONOMA ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. Studien zur offiziellen Gebrauch der Kaisertitel im spätantiker und frühbyzantinischer Zeit. Wien, 1978.
- Runciman S.* The Emperor Romanus Lecapenus. Cambridge, 1929.
- Runciman S.* The Eastern Schism. Oxford, 1955.
- Spech P.* Kaiser Konstantin VI: Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft. München, 1978.
- Thomas C.* Private religious foundations. Wash., 1988.
- Trojanos Sp.* Die Sonderstellung des Kaisers im früh- und mittelbyzantinischen kirchlichen Prozess // BYZANTINA. 1971. Τ. 3.
- Tsirpanlis C. N.* Byzantine Reactions to the Coronation of Charlemagne (780—813) // Byz. 1974. Τ. 6.
- Τσολάκη Ευ. Θ. Ἡ Συνέχεια τῆς χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτη. Θεσσαλονίκη, 1968.
- Vogt A., Hausherr J.* Oraison funebre de Basil I par son fils Léon VI le Sage // OC. 1932. Τ. 26 (1).
- Winkelmann F.* Staat und Ideologie beim Übergang von der Spätantike zum byzantinischen Feudalismus // Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten/Hrsg. H. Köpstein. B., 1983.
- 4**
- Досталова Р.* Византийская историография: характер и формы // ВВ. 1982. Т. 43. {642}
- Иванов С. А.* Полемика направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ. 1982. Т. 43.
- Каждан А. П.* Византийский публицист XII в. Евстафий Солунский // ВВ. 1967. Т. 28; 1968. Т. 29.
- Каждан А. П.* Из истории византийской хронографии X в. // ВВ. 1961—1962. Т. 19—21.
- Каждан А. П.* Социальные воззрения Михаила Атталиата // ЗРВИ. 1976. Кн. 17.
- Каждан А. П.* Хроника Симеона Логофета // ВВ. 1959. Т. 15.
- Каждан А. П.* Цвет в художественной системе Никиты Хониата // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.
- Любарский Я. Н.* Феофан Исповедник и источники его «Хронографии»: к вопросу о методах их освоения // ВВ. 1984. Т. 45.
- Пиотровская Е. К.* Краткий археографический обзор рукописей, в состав которых входит текст «Летописца вскоре» константинопольского патриарха Никифора // ВВ. 1976. Т. 37.
- Самодурова З. Г.* Хроника Петра Александрийского // ВВ. 1961. Т. 18.
- Сюзюмов М. Я.* Об источниках Льва Дьякона и Скилицы // Византийское обозрение. Юрьев, 1916. Вып. 2, № 1.
- Удальцова З. В.* Развитие исторической мысли // Культура Византии IV — первая половина VII в. М., 1984.
- Чичуров И. С.* Византийские исторические сочинения («Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора). М., 1980.
- Anastasi R.* Studi sulla «Chronographia» di Michele Psellos. Catania, 1969.
- Beck M. G.* Zur byzantinischen «Mönchschronik» // Speculum historiale. Freiburg; München, 1965.
- Browning R.* Notes on the «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Byz. 1965. Т. 35.
- Bury J. B.* The Treatise De administrando imperio // BZ. 1906. Bd. 15.
- Gadolin A.* A Theory of History and Society with Special Reference to the «Chronographia» of Michael Psellos. Stockholm; Göteborg; Uppsala, 1970.
- Gerland E.* Die Grundlagen der byzantinischen Geschichtsschreibung // Byz. 1933. Т. 8.
- Grégoire H.* Un nouveau fragment du «Scriptor incertus de Leone Armenio» // Byz. 1936. Т. 11.
- Jenkins R.* The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867—913 // DOP. 1965. N 19.
- Jenkins R.* The Classical Background of the Scriptor post Theophanem // DOP. 1954. N 8.
- Katsaros V.* A Contribution to the Exact Dating of the Death of the Byzantine Historian Nicetas Choniates // JÖB. 1982. Bd. 32/2.
- Kazhdan A. P.* Some questions adressed to the scholars who believe in the authenticity of Kaminiates' «Capture of Thessalonica» // BZ. 1978. Bd. 71, fasc. 2.
- Kresten O.* Phantomgestalten in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1976. Bd. 25.
- Λαμπρίδης Ὁ. Δημοσιεύματα περὶ τῆς Χρονικῆς τῆς Σύνοψιν Κωνσταντίνου τοῦ Μανασση. Ἀθήναι, 1980.

- Ljubarskij J. N.* Theophanes Continuatus und Genesios: Das Problem einer gemeinsamen Quelle//BS. 1987. T. 48.
- Marcopoulos A.* Συμβολή στή χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ//Σύμμεικτα. 1985. T. 6.
- Marcopoulos A.* Théodore Daphnopatès et la Continuation de Théophane // JÖB. 1985. Bd. 35.
- Neumann C.* Griechische Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jh. Leipzig, 1888.
- Schreiner P.* Das Herrscherbild in der byzantinischen Literatur des 9. bis 11. Jh. // Saeculum. 1984. Bd. 35.
- Schreiner P.* Die byzantinischen Kleinchroniken. Wien, 1975—1979. Bd. 1—3.
- Sorlin I.* La diffusion et la transmission de la littérature chronographique byzantine en Russie pré-mongole du XI^e au XIII^e siècle // TM. 1973. T. 5.
- Sreznevskij V. I.* Slavjanskij perevod chroniki Simeona Logofeta/Intr. by G. Ostrogorsky, pref. by I. Dujčev. L., 1971.
- Σκούτρης Ἰ. Λέοντος τοῦ Διακόνου α,΄ νέκδοτον ε,΄γκώμιον ει,΄ς Βασίλειον το,΄ν Β΄//ΕΕΒΣ. 1933. T. 10.
- Tāpkova-Zaimova V.* Die byzantinische Chronographie. Wesen und Tendenzen // Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus. 1984. Bd. 8.
- Treadgold W. T.* The Chronological Accuracy of the Chronicle of Symeon the Logothete for the Years 813—845//DOP. 1979. N 33.
- Τσολάκης Ἐ. Θ. Ἡ συνέχεια Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σκυλίτση. Θεσσαλονίκη, 1968.
- Turtledove H.* The Date of Composition of the Historia Syntomos of the Patriarch Nikephoros // Byzantine Studies in Honour of Milton V. Anastos (Byzantina kai Metabyzantina. T. 4). Malibu (California), 1985. {643}
- 5**
- Angelide Ch.* Ὁ βίος τοῦ ο,΄σίου Βασιλείου τοῦ Νέου. Ioannina. 1980.
- Baldwin B.* A Talent to Abuse: Some Aspects of Byzantine Satire // BF. 1982. Bd. 8.
- Baldwin B.* Photius and Poetry//BMGS. 1978. Vol. 4.
- Baldwin B.* The Date and Purpose of the Philopatris//Yale Classical Studies. 1982. Vol. 27.
- Belfiore G.* Il «Platone» di Giorgio Monaco // Sileno. 1978. Vol. 4.
- Bompaire J.* Photius et la seconde sophistique d'après la Bibliothèque//TM. 1981. T. 8.
- Crisuolo U.* Aspetti letterari e stilistici del poema Ἄλωσις τη,΄ς Κρήτης di Teodosio Diacono // Atti dell'Accademia Pontaniana. N. S. 1979. Vol. 28.
- Frazer Ch.* St. Theodoros of Studios and Ninth Century//Studi Monastici. 1981. Vol. 23.
- Gouillard J.* La femme de qualité dans les lettres de Théodore Stoudite//JÖB. 1982. Bd. 32/2.
- Huxley G. L.* On the Erudition of George the Synkellos // Proceedings of the Royal Irish Academy. Dublin, 1981. C. N 6.
- Kazhdan A.* Der Mensch in der byzantinischen Literaturgeschichte // JÖB. 1979. Bd. 28.
- Maisano R.* Uno scolio di Giovanni Geometra a Giovanni Damasceno // Studi Salernitani in memoriam R. Cantarella/1-e ed. Gallo; Salerno, 1981.
- Markopoulos A.* La critique des textes au X^e siècle. Le témoignage du «Professeur anonyme» // JÖB. 1982. Bd. 32/4.
- Milovanović C.* Jedan primer vizantijske književne kritike. Areta iz Cezaroje: pismo Nikiti Sholastiku // Zbornik Filoz. fak. Beograd. 1980. 14/1.
- Patlagean E.* L'histoire de la femme déduisè en moine et l'évolution de la sainteté feminine à Byzance // Studi medievali. S. III. 1976. Vol. 17.
- Patlagean E.* Discours écrit, discours parlé. Niveaux de culture à Byzance aux VIII^e—XI^e siècles//Annales. 1979. T. 34.
- Patlagean E.* Sainteté et pouvoir//The Byzantine Saint. L., 1981.
- Rouan M. F.* Une lecture «iconoclaste» de la Vie d'Etienne le Jeune//TM. 1981. T. 8.
- Ryden L.* «...der werde ein Narr, auf daß er möge weise sein»: Über heilige Torheit in byzantinischer Tradition // Religion och Bibel. 1980. Vol. 39.
- Speck P.* Ikonoklasmus und die Anfänge der makedonischen Renaissance // Πουκίλα Βυζαντινά. Bonn, 1984. Bd. 4.
- Ševčenko I.* Hagiography of the iconoclast Period // Iconoclasm/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977.
- Ševčenko I.* Storia letteraria // La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Bari, 1977.
- Tartaglia L.* Livelli stilistici in Constantino Porfirogenito // JÖB. 1982. Bd. 32.
- Three Byzantine sacred Poets: Studies of St. Romanos Melodos, St. John of Damascus, St. Symeon the New Theologian / Ed. by M. Vaporis. Brookline (Mass.), 1979.
- 6**
- Алексидзе А. Д.* Византийский роман XII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тб., 1965.
- Алексидзе А. Д.* Византийский роман XII в. и любовная повесть Никиты Евгениана // Никита Евгениан. Повесть о Дросилле и Харикле. М., 1969.
- Алексидзе А. Д.* Литературные параллели и взаимосвязи Восток — Запад (на материале романической литературы) // The 17th International Byzantine Congress. Major Papers. N. Y., 1986.
- Алексидзе А. Д.* Мир греческого рыцарского романа (XIII—XIV вв.). Тбилиси, 1979.

- Дестунис Г.* Разыскания о греческих богатырских былинах средневекового периода. СПб., 1883.
- Мелетинский Е. М.* Средневековый роман: происхождение и классические формы. М., 1983.
- Мелетинский Е. М.* Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.
- Миллер Т. А.* Михаил Пселл и Дионисий Галикарнасский // Античность и Византия. М., 1975.
- Полякова С. В.* Из истории византийского романа. М., 1979.
- Попова Т. В.* Византийская народная литература. М., 1985.
- Соколова Т. М.* Византийская сатира (Три византийских «путешествия в загробное царство»)/Византийская литература. М., 1974.
- Сыркин А. Я.* Поэма о Дигенисе Акрите. М., 1964.
- Шестаков Д. П.* Три поэта византийского Ренессанса // Учен. зап. Казанского императорского университета. 1906. Кн. 7—8. (Год 73).
- Beck H. G.* Die griechische Volkstümliche Literatur des 14. Jahrhunderts // Actes du XIV^e Congrès international des Études byzantines. Bucarest, 6—12 septembre 1971. București, 1974. T. 1.
- Beck H. G.* Das litterarische Schaffen der Byzantiner: Wege zu seinem Verständnis // Sitzungsberichte der Öst. Ak. Der Wiss. Phil.-hist. Kl. Wien, 1974. Bd. 294/4.
- Beck H. G.* Marginalia on the Byzantine Novel//Erotica Antiqua. Acts of the International Conference on the Ancient Novel. Bangor, 1977.
- Beck H. G.* Byzantinisches Erotikon. München, 1984.
- Browning R.* Courants intellectuels et organisation scolaire à Byzance au XI s.//TM. 1976. T. 6.
- Browning R.* The language of byzantine Literature // Byzantina kai metabyzantina. 1978. Vol. 1.
- Cupane C.* Un caso di Dio nel romanzo di Teodore Prodromo//RSBN. 1973—1974. Vol. 11—12.
- Dieterich K.* Byzantinische Charakterköpfe. Leipzig, 1919.
- Demaras K.* Histoire de la littérature néohellénique des origines à nos jours. Athènes, 1965.
- Dölger F.* 'Η βυζαντινή; γραμματεία//Η ι;στορία τη;ς βυζαντινή;ς αυ;τοκρατορίας. Πανεπιστήμιο τοῦ Καίμπριτζ; 'Αθήνα, 1979. T. II.
- Duby G.* Le chevalier, la femme et le prêtre. P., 1981.
- Eideneier H.* and N. Zum Fünfzehnsilber der Ptochoprodromika// 'Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη. Θεσσ., 1979.
- Garzya A.* Literarische und rhetorische Polemiken in der Komnenenzeit//BS. 1973. T. 34.
- Garzya A.* Topik und Tendenz in der byzantinischen Literatur // Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Öst. Akademie der Wissenschaft. 1977. Jg. 133 (1976), N 15.
- Gautier P.* La curieuse ascendance de Jean Tzetzes//REB. 1970. T. 28.
- Gigante M.* Le romanzo di Eustathios Macrembolites//Akten des XI. Internationales Byzantinistenkongress. München, 1960.
- Grégoire H.* Le tombeau et la date de Digenis Akritas (Samosate, vers 940 après J. C.)/Byz. 1931. T. 6.
- Grosdidier de Matons J.* Courants archaisants et populaires dans la langue et la littérature // XV Congrès International d'études byzantines. Athènes, 1976.
- Guiland R.* La religion des philosophes// TM. 1976. T. 6.
- Guillou A.* Le poids des conditions matérielles, sociales et économiques sur la production culturelle à Byzance de 1071 à 1261 // XV Congrès international d'études byzantines. Athènes, 1976.
- Heisenberg A.* Das Problem der Renaissance in Byzanz // Historische Zeitschrift. 1926. Bd. 133. H. I.
- Horandner W.* La poésie profane au XI^e s. et la connaissance des auteurs anciens // TM. 1976. T. 6.
- Hörandner W.* Theodoros Prodromos. Historische Gedichte. Wien, 1974.
- Hörandner W.* Traditionelle und populäre Züge in der Profandichtung der Komnenenzeit // XV Congrès International d'études byzantines. Athènes, 1976.
- Hörandner W.* Zur Frage der Metrik früher volkssprachlicher Texte. Kann Theodoros Prodromos der Verfasser volkssprachlicher Gedichte sein?//XVI Internationaler Byzantinistenkongress. Akten II (3). Wien, 1982.
- Hunger H.* Allegorisch-Mythendeutung in der Antike und bei Johannes Tzetzes// JÖBG. 1954. Bd. 3.
- Hunger H.* Byzantinische Katz-Mäuse-Krieg. Wien, 1968.
- Hunger H.* Die byzantinische Literatur der Komnenenzeit: Versuch einer Neubewertung // Anzeiger der phil.-hist. Kl. der Öst. Ak. der Wiss. 1968. Bd. 105.
- Hunger H.* On the Imitation (Μίμησις) of Antiquity in byzantine Literature // DOP. 1969—1970. N 23—24.
- Hunger H.* Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz // Sitzungsberichte der Österr. Ak. der Wiss. Phil.-hist. Kl. Wien. 1972. Bd. 277 (3).
- Hunger H.* Antiker und byzantinischer Roman. Heidelberg, 1980.
- Hussey J. M.* The Writings of John Mauropus//BZ. 1951. Bd. 44.
- Irigoin I.* Les conditions matérielles de la production du livre à Byzance de 1071 à 1261 // XV Congrès int. d'études byzantines. Athènes, 1976.

- Jeffreys E. M.* The Comnenian Background to the Romans d'antiquité // Byz. 1980. T. 50. Fasc. 2.
- Jeffreys E. M., Jeffreys M. J.* Popular Literature in late Byzantium. L., 1983.
- Knös B.* L'histoire de la littérature néogrecque. Uppsala, 1962.
- Krumbacher K.* Eine neue Handschrift des Digenis Akritas // Sitzungsberichte der philos.-philolog. und der hist. Klasse der Bayer. Akademie der Wissenschaften. 1904. H. 2.
- Kurtz E.* Einleitung: Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios. Leipzig, 1908.
- Lemerle P.* Le testament d'Eustathios Boilas // P. Lemerle. Cinq études sur le XI^e s. byzantin. P., 1977.
- Λαμπάκης Σ. Οι καταβάσεις στον κάτω κόσμο στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή λογοτεχνία. Ἀθήνα, 1983.
- Maas P.* Die Musen des Kaisers Alexios I // BZ. 1913. Bd. 22. {645}
- Mango C.* Byzantine literature as a distorting mirror. Oxford, 1975.
- Manoussakas M.* Les romans byzantins de chevalerie et l'état présent des études les concernant//REB. 1952. T. 10.
- Mazal O.* Der Roman des Konstantinos Manasses. Wien, 1967.
- Πολίτης Ν. Ἀκρυτικά; ἄ; ἴματα. Ὁ θάνατος τοῦ Διγενή; // Λαογραφία. 1909. T. 1.
- Ševčenko I.* Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes//DOP. 1969—1970. N 23—24.
- 7**
- Кучма В. В.* Νόμος Στρατιωτικός//BB. 1971. T. 32.
- Медведев И. П.* По поводу нового издания так называемого Моисеева закона//BB. 1982. T. 43.
- Медведев И. П.* Правовое образование в Византии как компонент городской культуры // Городская культура: Средневековье и начало нового времени. Л., 1986.
- Медведев И. П.* Предварительные заметки о рукописной традиции Земледельческого закона//BB. 1980/1981. T. 41/42.
- Сюзюмов М. Я.* Василики как источник для внутренней истории Византии// BB. 1958. T. 14.
- Сюзюмов М. Я.* Морской закон // АДСВ. 1969. T. 6.
- Сюзюмов М. Я.* Экономические воззрения Льва VI // BB. 1958. T. 14.
- Щапов Я. Н.* Византийское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М., 1978.
- Beck H. G.* Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz. Wien, 1981.
- Beck H. G.* Res Publica Romana: Vom Staatsdenken der Byzantiner//Das byzantinische Herrscherbild. Darmstadt, 1975.
- Burdara K. A.* Καθολίσις και; τυραννίς. Ἀθήναι, 1981.
- Goria F.* Tradizione romana e innovazioni bizantine nel diritto privato dell'Ecloga privata aucta: diritto matrimoniale. Frankfurt a. Main, 1980.
- Matsis N. P.* Ζητήματα βυζαντινοῦ δικαίου. Ἀθήναι, 1976. Ἐκδ. Β'.
- Michaelidès-Nouaros G.* Les idées philosophiques de Léon le Sage et son attitude envers les coutumes // Mnemosynon. P. Bizoukides. Athènes, 1960.
- Michaelides-Nouaros G.* Quelques remarques sur le pluralisme juridique en Byzanz//BYZANTINA. 1977. T. 9.
- Pantazopoulos N. J.* Peculiar institutions of byzantine law in the Georgikos Nomos // RESEE. 1971. T. 9.
- Papastathes Ch. K.* Το νομοθετικόν ε; ἴργον τη;ς κυριλλομεθοδιανη;ς ἱεραποστολῆς ε;ν Μεγάλῃ Μοράβια. Θεσσ., 1978.
- Pertusi A.* Il pensiero politico e sociale bizantino dalla fine del secolo VI al secolo XIII // Storia delle idee politiche, economiche e sociali/Diretta da L. Firpo. Torino, 1983.
- Pieler P. E.* Byzantinische Rechtsliteratur // H. Hunger. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 2.
- Pieler P. E.* Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen in Byzanz // Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen/Hrsg. von W. Fikentscher, H. Franke, O. Köhler. München, 1980.
- Scharf J.* Photius und Epanagoge // BZ. 1956. Bd. 49.
- Schminck A.* Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern. Frankfurt a. Main, 1986.
- Schwartz E.* Die Kanonessammlungen der alten Reichskirche // E. Schwartz. Gesammelte Schriften. B., 1960. Bd. 4.
- Simon D.* Princeps legibus solitus: die Stellung des byzantinischen Kaisers zur Gesetz // Gedachtnisschrift für Wolfgang Kunkel. Frankfurt a. Main, 1984.
- Sinogowitz B.* Studien zum Strafrecht der Ecloga. Athenis, 1956.
- Svoronos N.* Storia del diritto e delle istituzioni // La civiltà bizantina dal IV al IX secolo. Bari, 1977. P. 175—231; La civiltà bizantina dal IX al XI secolo. Bari, 1978. P. 163—172.
- Svoronos V. G.* La Synopsis Major des Basiliques et ses Appendices. P. 1964.
- Troianos S.* Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga // Ἀφιέρωμα στον Νίκο Σβόρωμο. Ῥεθύμνο, 1986. T. 1.
- Troianos S. N.* Ἡ διαμόρφωση τοῦ ποινικοῦ δικαίου στη μεταβατική περίοδο μετά ξύ Ἰσαυροῦ; και Μακεδωνοῦ; // Βυζαντιακά. 1982. T. 2.
- Troianos S. N.* Ὁ «Ποινάλιος» τοῦ Ἐκλογαδίου. Frankfurt a. Main, 1980.

Troianos S. N. Οι πηγές τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου: εἰσαγωγικό βοήθημα. Ἀθήνα, 1986.

Τροϊανός Σ. Ν. Τα περι τῆς ἑθνησκείαν εἰς κλήματα εἰς τὰ νομοθετικά, κείμενα τῶν μεσῶν βυζαντινῶν χρόνων//*Δίπτυχα*. 1979. Τ. 1.

Wal van der N. Der Basilikentext und die griechische Kommentare des VI. Jahrhunderts // *Synteleia: Vincenzo Arangio-Ruiz/A cura di A. Guarino, L. Labruna. Napoli, 1964.*

Weiss G. Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos. München, 1973. {646}

Wenger L. Die Quellen des römischen Rechts. Wien, 1953.

Wolska-Conus W. L'école de droit et l'enseignement du droit à Byzance au XI^e siècle: Xiphilin et Psellos//*TM*. 1979. Τ. 7.

Wolska-Conus W. Les termes nomè et paidodiscalos nomikos du «Livres de l'Éparchie»//*TM*. 1981. Τ. 8.

8

Алматов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. М., 1973.

Ангелов П. Българската средновековна дипломатия. С., 1988.

Ариньон Ж. П. Международные отношения Киевской Руси в середине X в. и крещение княгини Ольги//*ВВ*. 1980. Т. 41.

Васильев А. А. Византия и арабы. СПб., 1900—1902. Т. 1—2.

Василевский В. Г. Византия и печенеги (1048—1094)//*В. Г. Василевский. Труды. СПб., 1909. Т. 1.*

Заборов М. А. Крестonosцы на Востоке. М., 1980.

Каждан А. П. Загадка Комнинов: опыт историографии//*ВВ*. 1964. Т. 25.

Капитанов С. М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X в. // Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972.

Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956.

Литаврин Г. Г. Введение христианства в Болгарию//Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Древней Руси. М., 1988.

Литаврин Г. Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования, 1985 год. М., 1986.

Литаврин Г. Г., Наумов Е. П. Межэтнические связи и межгосударственные отношения на Балканах в VI—XII вв. // Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985.

Литаврин Г. Г., Каждан А. П., Удальцова З. В. Отношения Древней Руси и Византии в XI —

первой половине XIII в.//*Proceedings of the XIIIth Intern. Congress of Byzantine Studies. L., 1967.*

Литаврин Г. Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: проблема источников//*ВВ*. 1981. Т. 42.

Литаврин Г. Г. Русско-византийские связи в середине X в.//*ВИ*. 1986. № 6.

Литаврин Г. Г. Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары» императора//*ВО*. М., 1982.

Литаврин Г. Г. Формирование и развитие Болгарского раннефеодального государства (конец VII — начало XI в.) // Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985.

Лордкипанидзе М. Д. Из истории византийско-грузинских взаимоотношений (70-е годы XI в.)//*ВВ*. 1979. Т. 40.

Любарский Я. Н., Фрейденберг М. М. Девольский договор 1108 г. между Алексеем Комнином и Бозмундом // *ВВ*. 1962. Т. 21.

Наумов Е. П. Становление и развитие сербской раннефеодальной государственности // Раннефеодальные государства на Балканах в VI—XII вв. М., 1985.

Оболенский Д. К вопросу о путешествии русской княгини Ольги в Константинополь в 957 г. // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.

Острогорский Г. Византия и киевская княгиня Ольга // *To Honor Roman Jakobson. The Hague; P., 1967. Vol. 2.*

Пауто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968.

Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980.

Сахаров А. Н. Дипломатия княгини Ольги//*ВИ*. 1979. № 10.

Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982.

Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX—XI вв. М., 1988.

Arrignon J. P. Les relations diplomatiques entre Byzance et la Russie de 860 à 1043//*Revue des études slaves*. 1983. N 55.

Arrignon J. P. Les relations internationales de la Russie Kievienne au milieu du X siècle et le baptême de la princesse Olga // *Occident et Orient au X siècle*. Dijon, 1979.

Browning R. Byzantium and Bulgaria. L., 1975.

Canard M. Byzance et les musulmans du Proche Orient. L., 1973.

Duičev I. Religiosi come ambasciatori nell' Alto Medioevo: Contributo allo studio della spiritualità bizantino-slava // *Bisanzio e l'Italia: Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi*. Milano, 1982.

Eickhoff E. Macht und Sendung: Byzantinische Weltpolitik. Stuttgart, 1981.

- Falkenhausen V.* Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jh. Wiesbaden, 1967. {647}
- Felix W.* Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. Jh. Wien, 1981.
- Fugagnollo U.* Bisanzio e l'Oriente a Venezia. Trieste, 1974.
- Hecht W.* Die byzantinische Aussenpolitik zur Zeit der letzten Komnenenkaiser (1180—1185). Würzburg, 1967.
- Kedar B. Z.* Crusade and mission: European approaches towards the Muslims. Princeton, 1984.
- Lamma P.* Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'Occidente nel sec. XII. Roma, 1955—1957. Vol. 1—2.
- Laurent J.* L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête arabe jusqu'en 886. Lisbonne, 1980.
- Lilie R. J.* Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten: Studien zur Politik des byzantinischen Reiches gegenüber den Staaten der Kreuzfahrer in Syrien und Palästina bis zum vierten Kreuzzug (1096—1204). München, 1981.
- Loungis T. C.* Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états barbares jusqu'aux Croisades (407—1096). Athènes, 1980.
- Makk F.* Relations hungaro-byzantines entre 1156 et 1162//Homonoia. 1983. T. 5.
- Moravčsik Gy.* Byzantium and the Magyars. Budapest, 1970.
- Müller L.* Die Taufe Russlands. München, 1987.
- Musset L.* Les invasions: Le second assaut contre l'Europe chrétienne (VII—XI siècles). P. 1965.
- Niederau K.* Veneto-byzantinische Analecten zum byzantinisch-normannischen Krieg 1147—1158. Aachen, 1982.
- Obolensky D.* The Baptism of Princesse Olga of Kiev: the Problem of the Sources // Philadelphie et autres études (Byzantina sorbonensia, 4)/Ed. H. Ahrweiler. P., 1984.
- Obolensky D.* Byzantine Frontier Zones and Cultural Exchanges // XIV^e Congrès international des études byzantines: Rapports. Bucarest. 1971. T. 2.
- Obolensky D.* Byzantium and the Slavs: collected Studies L., 1971.
- Obolensky D.* The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy//Actes du XII^e Congrès International d'Études byzantines. Beograd, 1963. T. 1.
- Ostrogorsky G.* The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order//Slavonic and East European Review. 1956. Vol. 35. N 84.
- Richard J.* Orient et Occident au Moyen âge: Contacts et relations (XII^e—XV^e s.). L., 1976.
- Rowe J. G.* Paschal II, Bohemund of Antioch and the Byzantine Empire // Bulletin of the John Ryland's Library. 1966. Vol. 49.
- Runciman S.* The first Crusade. Cambridge, 1980.
- Savvidis A. G. C.* Byzantium in the Near East: its Relations with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mongols. Thessaloniki, 1981.
- Shepard J.* Some Problems of Russo-Byzantine Relations, C. 860—1050.//The Slavonic and East European Review. 1974. Vol. 52, N 126.
- Vodoff V.* Naissance de la chrétienté russe. Condé-sur-l'Escaut, 1988.
- Zakythinos D.* Byzance et les peuples de l'Europe du sud-est//Actes du I Congr. Intern. des études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, 1966. V. 3.

9

- Атанасов Щ., Христов Д., Чолпанов В.* Българското военно изкуство през капитализма. С., 1959.
- Дельбрюк Г.* История военного искусства в рамках политической истории. М., 1937—1938. Т. 1—3.
- Кулаковский Ю. А.* Лев Мудрый или Лев Исавр был автором «Тактики»?//ВВ. 1898. Т. 5. Вып. 3.
- Кулаковский Ю. А.* Новоизданный византийский трактат по военному делу// ВВ. 1900. Т. 7. вып. 4.
- Кулаковский Ю. А.* Византийский лагерь конца X в.//ВВ. 1903. Т. 10, вып. 1—2.
- Кучма В. В.* Византийские военные трактаты VI—X вв. как исторический источник // ВВ. 1979. Т. 40.
- Кучма В. В.* Военно-экономические проблемы византийской истории на рубеже IX—X вв. по «Тактике Льва»//АДСВ. 1973. Т. 9.
- Кучма В. В.* Из истории византийского военного искусства на рубеже IX—X вв.: Подготовка и проведение боя// ВВ. 1977. Т. 38.
- Кучма В. В.* Методы морально-политического воздействия на византийское войско по «Тактике Льва» // АДСВ. 1965. Т. 3.
- Кучма В. В.* Νόμος στρατιωτικός//ВВ. 1971. Т. 32.
- Кучма В. В.* Славяне как вероятный противник Византийской империи по данным двух военных трактатов // Хозяйство и общество на Балканах в средние века. Калинин, 1978.
- Кучма В. В.* «Тактика Льва» в исторической литературе: (Историографический обзор) //ВВ. 1969. Т. 30.
- Кучма В. В.* «Тактика Льва» как исторический источник//ВВ. 1972. Т. 33. {648}
- Успенский Ф. И.* Военное устройство Византийской империи // ИРАИК. С., 1900—1901. Т. 6. Вып. 1—3.
- Dain A.* La «Tactique» de Nicéphore Ouranos. P., 1937.
- Dain A.* Sylloge Tacticorum quae olim «Inedita Leonis Tactica» dicebatur. P., 1938.
- Dain A.* «L'Extrait Tactique» tiré de Léon VI le Sage. P., 1942.

- Dain A.* Inventaire raisonné des cent manuscrits des «Constitutions Tactiques» de Léon VI le Sage // Scriptorium. Bruxelles, 1946—1947. Т. 1, fasc. 1.
- Dain A.* «Touldos» et «Touldon» dans les traités militaires//Mélanges H. Grégoire. Bruxelles, 1950. Т. II.
- Dain A.* «L'Extrait nautique» tiré de Léon VI // Eranos. Upsaliae, 1956. Т. 54, fasc. 1—4.
- Dain A.* Les stratégestes byzantins//TM. 1967. Т. 2.
- Darko E.* Die Glaubwürdigkeit der Taktik des Leo Philosophus // Ungarische Rundschau. 1916. Т. 5.
- Darko E.* Die militärischen Reformen des Kaisers Heracleios//Bulletin de l'Institut Archéologique Bulgare. Sofia, 1935. Т. 9.
- Darko E.* Le role des peuples nomades cavaliers dans la transformation de l'Empire Romain aux premiers siècles du Moyen Âge // Byz. 1948. Т. 18.
- Eikhoff E.* Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und arabischer Hegemonie (650—1040). B., 1966.
- Grosse R.* Das römisch-byzantinische Marschlager vom 4.—10. Jahrhundert//BZ. 1913. Bd. 22.
- Honigmann E.* Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, nach griechischen, arabischen, syrischen und armenischen Quellen. Bruxelles, 1935.
- Jähns M.* Geschichte der Kriegswissenschaften. München; Leipzig, 1889. Abt. 1.
- Kolias T. G.* The *Tactica* of Leo VI the Wise and the Arabs//Greco-Arabica. 1984. Vol. 3.
- Moravcsik Gy.* La tactique de Léon le Sage comme source historique hongroise //AHASH. 1951—1952. Т. 1, fasc. 2.
- Vari R.* Zur Überlieferung mittelgriechischen Tactiher//BZ. 1906. Bd. 15.
- Vari R.* Die sogenannte «Inedita *Tactica Leonis*» // BZ. 1927. Bd. 27.
- Vari R.* Die «*Praecepta Nicephori*» // BZ. 1929—1930. Bd. 30.
- Vari R.* Desiderata der byzantinischen Philologie auf dem Gebiete der mittelgriechischen kriegswissenschaftlichen Literatur//BNgJb. Athen, 1913. Bd. 8. H. 3—4.
- Vari R.* Sylloge *Tacticorum Graecorum* // Byz. 1931. Т. 6.
- Vernadsky G.* «The *Tactics*» of Leo the Wise and the Epanagoge//Byz. 1931. Т. 6, fasc. 1.
- Vieillefond J. R.* Les pratiques religieuses dans l'armée byzantine d'après les traités militaires//REA. P., 1935. Т. 27, fasc. 3.
- Zachariae von Lingenthal K. E.* Wissenschaft und Recht für das Heer vom 6. bis zum Anfang des 10. Jahrhunderts //BZ. 1894. Bd. 3.
- Zástěrová B.* Les Avars et les Slaves dans la *Tactique de Maurice*. Pr., 1971.
- Zenghelis C.* La Feu Grégeois et les armes à feu des Byzantins//Byz. 1932. Т. 7, fasc. 1.
- Zilliacus H.* Zum Kampf der Weltsprachen in Oströmischen Reich. Helsingfors, 1935.

10

Гаврюшин Н. К. Византийская космология в XI веке // Историко-астрономические исследования. М., 1983. Вып. 16.

Гайденко П. П. Эволюция понятия науки: становление и развитие первых научных программ. М., 1980.

Гранстрем Е. Э. Наука//История Византии. М., 1967. Т. 2.

Гукова С. Н. Космографический трактат Евстратия Никейского//ВВ. 1986. Т. 47.

Гукова С. Н. Космография в системе византийской науки и образования в XI—XII вв. // Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 1986.

Гукова С. Н. Развитие космографических идей в Византии: Проблемы источниковедения: Дис. ... канд. ист. наук. Л., 1985.

Зубов В. П. Аристотель. М., 1963. История биологии с древнейших времен до начала XX века./Под ред. С. Р. Микулинского. М., 1972.

История математики с древнейших времен до начала XIX столетия/Под ред. А. П. Юшкевича. М., 1970. Т. 1.

Каждан А. П. Литература//История Византии. М., 1967. Т. 2.

Книга античности и Возрождения о временах года и здоровье/Вступ. ст. В. Н. Терновского и Ю. Ф. Шульца. Сост. и коммент. Ю. Ф. Шульца. М., 1971.

Литвишц Е. Э. Византийский ученый Лев Математик: Из истории византийской культуры в IX в.//ВВ. 1949. Т. 2.

Литаврин Г. Г. Византийский медицинский трактат XI—XIV вв. (по рукописи {649} Cod. Plut. VII. 19 Библиотеки Лоренцо Медичи во Флоренции) // ВВ. 1971. Т. 31.

Миллер Т. А. Михаил Пселл//Памятники византийской литературы IX—XIV вв. М., 1969.

Самодурова З. Г. Естественнонаучные знания // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.

Скабаланович Н. Византийская наука и школа в XI в. // Христианское чтение. 1884. № 3, 4.

Удальцова З. В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топография» // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.

Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891.

Фрейберг Л. А. Византийская литература второй половины IX—XII вв.//Памятники византийской литературы IX—XIV вв. М., 1969.

Фрейберг Л. А. Михаил Глика//Там же.

Шангин М. А. О роли греческих астрологических рукописей в истории знаний // Известия АН СССР. Отдел гуманитарных наук. 1930. VII серия, № 5.

- Шангин М. А.* Ямбическая поэма Иоанна Каматира «О круге Зодиака» по академической рукописи // Известия АН СССР. 1927. 6 сер. Т. 21.
- Benakis L.* Studien zu den Aristoteles Kommentaren des Michael Psellos//Archiv für Geschichte der Philosophie. 1961. Bd. 43; 1962. Bd. 44.
- Boll F., Bezold F., Gundel W.* Stern Glaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie. Stuttgart, 1966.
- Brunet M.* Siméon Seth, médecin de l'empereur Michel Doukas. Sa vie — son oeuvre. Bordeaux, 1939.
- Cohn L.* Bemerkungen zu den Konstantinischen Sammelwerken // BZ. 1900. Bd. 9.
- Crombie A.* Medieval and early modern science // Science in the Middle Ages (V—XIII centuries). Cambridge, 1959. Vol. 1.
- Dain A.* Métrologie byzantine. Calcul de la superficie des terres // Mémorial L. Petit. Bucarest, 1948.
- Delatte A.* Un manuel byzantin de cosmologie et de géographie // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Bruxelles, 1932. 5 serie. T. 18.
- Diels H. A.* Die Handschriften der antiken Ärzte. B., 1905—1907. T. 1—3.
- Diller A.* The Byzantine Quadrivium//Isis. 1946. Vol. 36, pt. 2, N 104.
- Dräseke J.* Zu Eustratios von Nicäa // BZ. 1896. Bd. 5, H. 2.
- Eicken H.* Geschichte und System mittelalterlichen Weltanschauung. Stuttgart. B., 1913.
- Fuchs F.* Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig; B., 1926.
- Gautier P.* Monodies inédites de Michel Psellus // REB. 1978. T. 36.
- Giannelli C.* Codices Vaticani graeci. Codices 1485—1683. Vatican, 1950.
- Greppin J. A. C.* The Armenians and the Greek «Geoponica»//Byz. 1987. T. 57, fasc. 1.
- Grosdidier de Matons J.* Psellos et le monde de l'irrational//TM. 1976. T. 6.
- Gramel V.* La profession médicale à Byzance à l'époque des Comnènes // REB. 1949. T. 7.
- Harig G.* Von den arabischen Quellen des Symeon Seth//Medizinhistorical Journal. 1967. Bd. 2.
- Neugebauer O.* Studies in Byzantine Astronomical Terminology // Transactions of the American Philosophical Society. 1960. Vol. 50, N 2.
- Schilbach E.* Byzantinische Metrologie. München, 1970.
- Schmid M.* Eine Galen-Kontroverse des Simeon Seth // Communications au XVII Congrès International d'Histoire de la Médecine. Athen, 1960. Vol. 1.
- Stephanides M.* Les savants byzantins et la science moderne: Renaissance et Byzance // Archeion. 1932. Vol. 14, N 1.
- Tannery P.* Les chiffres arabes dans les manuscrits grecs // Mémoires scientifiques. 1920. T. 4.
- Tannery P.* Psellus sur Diophante // Ibid.
- Tannery P.* Psellus sur la grande année // Ibid.
- Tannery P.* Psellus sur les nombres // Ibid. *Tannery P.* Théodore Prodrome sur le grand et le petit (à Italicos)//Ibid.
- Temkin O.* Byzantine Medicine: Tradition and Empiricism // DOP. 1962. N 16.
- Théodorides J.* La science byzantine // Histoire générale des sciences. Vol. 1: La science antique et médiévale. P., 1966.
- Thorndike L.* The True Place of Astrology in the History of Science // Isis. 1955. Vol. 46. P. 3.
- Tihon A.* Eastronomie byzantine (du V^e au XV siècle)// Byz. 1981. T. 51, fasc. 2.
- Vogel K.* Byzantine science // The Cambridge medieval History Vol. 4: The Byzantine Empire, part 2: Government, Church and Civilisation/Ed. J. M. Hussey. Cambridge, 1967.
- Wilson N. G.* Scholars of Byzantium. Baltimore, 1983.
- Wirth P.* Zur Kenntnis heliosatellitischer {650} Planetentheorien im griechischen Mittelalter // Historische Zeitschrift. 1971. Bd. 212, H. 2.

11

- Бородин О. П.* Развитие географической мысли // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.
- Гаврюшин Н. К.* Византийская космология в XI в. // Историко-астрономические исследования. М., 1983. Вып. 16.
- Гукова С. Н.* Карта мира Козьмы Индикоплова//ВИД. 1986. Т. 17.
- Гукова С. Н.* Космографический трактат Евстратия Никейского//ВВ. 1986. Т. 47.
- Гукова С. Н.* Космография в системе византийской науки и образования в XI—XIII вв. // Городская культура: Средние века и новое время. Л., 1986.
- Гукова С. Н.* Ленинградский фрагмент неизвестной астрологической рукописи//ВВ. 1986. Т. 46.
- Гукова С. Н.* Развитие космографических идей в Византии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1985.
- Кочев Н.* Шестодневът на Йоан Екзарх Български // Проблеми на културата. 1980. Т. 1.
- Крачковский И. Ю.* Арабская географическая литература // И. Ю. Крачковский. Избр. соч. М., 1957. Т. 4.
- Кристанов Ц., Дуйчев И.* Естествознанието в средновековна България. С., 1974.
- Райнов Т.* Наука в России XI—XVII вв. М.; Л., 1940.
- Редин Е. К.* Христианская топография Косьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916. Ч. 1.
- Bagrow L.* History of Cartography. Cambridge; Harvard, 1966.

- Beazley C. R.* The Dawn of Modern Geography. N. Y., 1949. Vol. 2.
- Benakis L.* Studien zu den Aristoteleskommentaren des M. Psellos // Archiv für Geschichte der Philosophie. 1961. Bd. 43, H. 3.
- Capelle W.* Zur Geschichte der meteorologischen Literatur//Hermes. 1913. Bd. 48.
- Crone G. R.* Maps and their Makers: an Introduction to the History of Cartography. Folkestone, 1978.
- Delatte A.* Un manuel byzantin de cosmologie et géographie // Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Bruxelles, 1932. 5 série. T. 18.
- Diller A.* The Textual Tradition of Strabo's Geography. Amsterdam, 1975.
- Diller A.* Excerpta from Strabo and Stephanus in Byzantine Chronicles//Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1950. Vol. 81.
- Diller A.* The Scholia on Strabo // Traditio. 1954. T. 10.
- Fiorini M.* Erd- und Himmelsgloben, ihre Geschichte und Konstruktion. Leipzig, 1895.
- Gautier P.* Monodies inédites de Michel Psellos/BEG. 1978. T. 36.
- Gregory T.* La nouvelle idée de nature et de savoir scientifique au XII siècle // The cultural Context of Medieval Learning/Ed. J. F. Murdoch, E. D. Sylla. Boston, 1975.
- Grmek M.* Les sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen âge//Conférence faite au Palais de la Découverte. Université de Paris, 1959.
- Heiberg I. L.* Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im Altertum. München, 1925.
- Hönigsmann E.* Die sieben Klimata und die πόλεις ἐπίσημοι. Heidelberg, 1929.
- Hönigsmann E.* Le Synecdemos d'Hiéroclès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre. Bruxelles, 1939.
- Hönigsmann E.* Un itinéraire à travers l'Empire Byzantin//Byz. 1939. T. 14.
- Huxley G.* A Porphyrogenitan Portulan//Greek, Roman and Byzantine Studies. 1976. Vol. 17. Autumn, N 3.
- Kitzinger E.* Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor Mosaics // DOP. 1951. N 6.
- Kletler P.* Die Gestaltung des geographischen Weltbildes unter dem Einfluss der Kreuzzüge // Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Graz; Köln, 1962. Bd. 70, H. 3—4.
- Lackner W.* Die aristotelische Meteorologie in Byzanz//Actes du XVI Congrès international des Études byzantines. 1976. T. 3.
- Kiessling M.* Ῥίπατα ο;'; ῥη // RE. 1920. Bd. 1.
- Laurent V.* L'oeuvre géographique du moine sicilien Nil Doxapatris//Echos d'Orient. P., 1937. T. 36.
- Mango C.* Byzantium and its Image. L., 1984.
- Mzik H. von.* Ptolemaeus und die Karten der arabischen Geografien // Mitteilungen der Königl. Geographischen Gesellschaft in Wien. Wien, 1915. Bd. 58.
- Oehler K.* Aristotel in Byzantium //Greek, Roman and Byzantine Studies. 1964. Vol. 5.
- Polaschek E.* Ptolemaios als Geograph//RE. Stuttgart, 1965. Suppl. X.
- Polesso-Schiavon P.* Un trattato inedito di meteorologia di Eustrazio di Nicea // BSBN. 1965—1966. Vol. 2, 3. {651}
- Preger Th.* Beiträge zur Textgeschichte der Πάτρια Κωνσταντινοπόλεως. München 1895.
- Pritchard J. P.* Fragments of the Geography of Strabo in the Commentaries of Eustathius // Classical Philology. 1934. Vol. 29.
- Sarton G.* Introduction to the History of Science. Baltimor, 1927. T. 1.
- Sbordone F.* Excerpta ed epitomi della Geografia di Strabone//Atti dello VII Congresso internazionale di studi bizantini. Roma, 1953. T. 1.
- Schneider A. M.* Das Itinerarium des Epiphanius Hagiopolita // Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Leipzig, 1940. Bd. 63, H. I, 2.
- Stewenson E. L.* Terrestrial and Celestial Globes. Their History and Construction, including a Consideration of their Value as Aids in the Study of Geography and Astronomy. New Haven, 1921. Vol. 1.
- Wolska W.* La Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès. Théologie et science au XI^e siècle. P., 1962.

12

- Гранстрем Е. Э.* Наука и образование // История Византии. М., 1967. Т. 2.
- Куриц Э.* Евстафия Фессалоникийского и Константина Манасси монодии на кончину Никифора Комнина//ВВ. 1910. Т. 17.
- Липшиц Е. Э.* Византийский ученый Лев Математик: Из истории византийской культуры в IX в. // ВВ. 1949. Т. 2.
- Медведев И. П.* Правовое образование в Византии как компонент городской культуры//Городская культура. Средневековье и начало нового времени. Л., 1986.
- Самодурова З. Г.* Школы и образование // Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.
- Скабаланович Н.* Византийская наука и школы в XI в. // Христианское чтение. 1884. № 3, 4.
- Успенский Ф. И.* Делопроизводство по обвинению Иоанна Итала в ереси// ИРАИК. 1897. Т. 2.
- Чичуров И. С.* Новые рукописные сведения о византийском образовании // ВВ. 1971. Т. 31.
- Ahrweiler H.* Sur la carrière de Photius avant son patriarcat // BZ. 1965. Bd. 58, H. 2.

- Alexander P. J.* The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire. Oxford, 1958.
- Beck H. G.* Bildung und Theologie im frühmittelalterlichen Byzanz // Polychronion. Festschrift Fr. Dölger zum 75. Geburtstag/Hrsg. P. Wirth. Heidelberg, 1966.
- Bréhier L.* La femme dans la famille à Byzance // Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves. 1949. T. 9.
- Bréhier L.* Les populations rurales au IX^e siècle d'après l'hagiographie byzantine // Byz. 1924. T. 1.
- Bréhier L.* Notes sur l'histoire de l'enseignement supérieur à Constantinople // Byz. 1927. T. 3. 1929. T. 4.
- Browning R.* Byzantine Scholarship//Past and Present. 1964. N 28.
- Browning R.* Courants intellectuels et organisation scolaire à Byzance au XI^e siècle // TM. 1976. T. 6.
- Browning R.* Enlightenment and repression in Byzantium in the eleventh and twelfth centuries // Past and Present. 1975. Vol. 69.
- Browning R.* Byzantinische Schulen und Schulmeister//Das Altertum. 1963. Bd. 9, H. 2.
- Browning R.* The correspondence of a tenth-century byzantine scholar // Byz. 1956. T. 24.
- Browning R.* The Patriarchal school at Constantinople in the twelfth century// Byz. 1962. T. 32; 1963. T. 33.
- Buckler G.* Byzantine Education // Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization/Ed. N. H. Baynes, H. St. Moss. Oxford, 1948.
- Da Costa-Louillet G.* Saints de Constantinople aux XIII^e, IX^e, X^e siècles//Byz. 1955—1956. T. 24, fasc. 1—2.
- Delehaye H.* Vita Sancti Nicephori episcopi Milesii saeculo X//AB. 189.5. T. 14.
- Dvornik F.* La carrière universitaire de Constantin le Philosophe // BS. 1931. T. 3.
- Dvornik F.* La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les slaves Macédoniens au IX^e siècle. P., 1926.
- Dvornik F.* Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. P., 1933.
- Dvornik F.* Photius et la réorganisation de l'Académie patriarcale // AB. 1950. T. 68.
- Fuchs F.* Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig; B., 1926.
- Gamillscheg E.* Zur handschriftlichen Überlieferung byzantinischen schulbücher // JÖB. 1977. Bd. 26.
- Gautier P.* L'édit d'Aléxis I-er Comnène sur la réforme du clergé//REB. 1973. T. 31.
- Gautier P.* Précisions historiques sur le monastère de Ta Narsou//REB. 1976. T. 34. {652}
- Guilland R.* La vie scolaire à Byzance // Bulletin de l'association G. Budé. 1953. 3 sér., N 1 (Mars).
- Halkin F.* La vie de saint Nicéphore, fondateur de Médikion en Bithynie // AB. 1960. T. 78.
- Halkin F.* Une victime inconnue de Léon l'Arménien? Saint Nicéphore de Sébazè//AB. 1954. T. 23.
- Hesseling D.-C., Pernot H.* Poèmes prodromiques en grec vulgaire. Amsterdam, 1910.
- Hassey J. M.* Church and Learning in the Byzantine Empire 867—1185. Oxford; L., 1937.
- Joannou, P.* Psellos et la monastère Τα,` Ναρσοῦ //BZ.1951. Bd. 44.
- Kyriakis M. J.* The University: Origin and early phases in Constantinople//Byz. 1971. T. 41.
- Leib B.* Quelques aspects de l'éducation à Byzance au XI^e siècle (D'après l'Alexiade d'Anne Comnène)//BS. 1960. T. 21 (1).
- Lemerle P.* Byzance et la tradition des lettres helléniques//Académie serbe des sciences et des artes. Conf. II. Classe des sciences sociales. Beograd, 1962. N 2.
- Lemerle P.* Élèves et professeurs à Constantinople au X^e siècle. P., 1969.
- Markopoulos A.* Quelques remarques sur la famille des Genesioi aux IX^e—X^e siècles // ZRVI. 1986. T. 24—25.
- Miller E., Legrand E.* Trois poèmes vulgaires de Théodore Prodrome, P., 1875.
- Moffatt A.* Schooling in the iconoclast centuries//Iconoclasm/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977.
- Schirò G.* La schedografia a Bisanzio nei secoli XI—XII. La scuola dei SS XL Martiri//Bollettino della Badia greca di Grottaferrata. 1949. NS. T. 3.
- Speck P.* Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel. Präzisierungen zur Frage des höheren Schulwesens in Byzanz im 9. und 10. Jh. München, 1974.
- Stiernon D.* La vie et l'oeuvre de S. Joseph Hymnographe//REB. 1973. T. 31.
- Treu M.* Ein byzantinisches Schulgespräch//BZ. 1893. Bd. 2.
- Van den Ven P.* La vie grecque de S. Jean le Psichaité, confesseur sous le règne de Léon l'Arménien (813—820) // Le Muséon. NS. Vol. III. 1902.
- Vasiliev A.* The life of St. Theodore of Edessa//Byz. 1942/1943. T. 16.
- Wolska-Conus W.* Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX Monomaque//TM. 1976. T. 6.

13

- Бичков В.* Византийски страници от историята на изкуството // Изкуство. София, 1986. № 10.
- Бичков В. В.* При изворите на средновековната теория на изкуствата // Литературна мисъл. С., 1983. № 8.
- Бычков В. В.* Византия // История эстетической мысли. М., 1985. Т. 1.
- Бычков В. В.* Из истории византийской эстетики // ВВ. 1976. Т. 37.

- Бычков В. В. К методологии изучения средневековой эстетики // Методологические и мировоззренческие проблемы истории античной и средневековой философии. М., 1986. Ч. I.
- Бычков В. В. К проблеме эстетической значимости искусства византийского региона // Зограф. Београд, 1983. № 14.
- Бычков В. В. Теория образа в византийской культуре VIII—IX веков // Старобългарска литература. София, 1986. Кн. 19.
- Бычков В. В. Эстетические представления в «Шестоднев» Иоанна Экзарха // Старобългарска литература. София, 1987. Кн. 21.
- Живов В. М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа // Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Любарский Я. Н. Внешний облик героев Михаила Пселла (К пониманию художественных возможностей византийской историографии) // Византийская литература. М., 1974.
- Полякова С. В. Из истории византийской любовной прозы // Византийская любовная проза. М.; Л., 1965.
- Alexander P. J. The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) and its Definition // DOP. 1953. N 7.
- Alexander P. J. The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Oxford, 1958.
- Browning R. A Byzantine Treatise on Tragedy // Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Pr., 1963. Vol. 1.
- Byčkov V. Die Ästhetik als ein aktuelles Problem der gegenwärtigen Byzantinistik // XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten. I. Teil. Hauptreferate. Beiheft. Wien, 1981.
- Byčkov V. Die philosophisch-aesthetischen Aspekte des byzantinischen Bilderstreites // ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Αθήναι 1978—1979. Τ. 8—9.
- Demas O. Byzantine Mosaic Decoration. L., 1947.
- Dostálová R. Zur Entwicklung der Literaturästhetik in Byzanz von Gregorios von Nazianz zu Eustathios // Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9—11. Jahrhundert/Herausgeg. von V. Vavřínek. Praha, 1978.
- Gardner A. Theodore of Studium. L., 1905.
- Grabar A. L'Iconoclasm byzantin//Dossier archéologique. P., 1957.
- Martin E. J. A History of the Iconoclastic Controversy. L., 1930.
- Mathew G. Byzantine Aesthetics. L., 1963.
- Michelis P. A. An Aesthetic Approach to Byzantine Art. L., 1955.
- Schwarzlose K. Der Bilderstreit, ein Kampf der griechischen Kirche um ihre Eigenart und um ihre Freiheit. Gotha, 1890.
- Thümmel H. G. Positionen im Bilderstreit // Studia Byzantina. B., 1973.
- Walff O. Das Raumerlebnis des Naos im Spiegel der Ekphrasis//BZ. 1930. Bd. 30.
- Банк А. В., Бессонова М. Я. Искусство Византии в собраниях СССР: Каталог выставки. М., 1977.
- Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973.
- Лазарев В. Н. Мозаика Софии Киевской. М., 1960.
- Лазарев В. Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи X—XII веков и их истоки. М., 1960.
- Лухачева В. Д. Искусство книги. Константинополь, XI век. М., 1976.
- Cormack R. Painting after Iconoclasm // Iconoclasm/Ed. A. Bryer, J. Herrin. Birmingham, 1977.
- Demus O. Byzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium. L., 1948.
- Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. L., 1950.
- Demus O. Byzantine art and the West. N. Y., 1970.
- Demus O. Romanesque mural painting. L., 1970 (N. Y., 1970).
- Der Nersessian S. The illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A study of the connections between text and images // DOP. 1962. N 16.
- Der Nersessian S. L'illustration des psautiers grecs du moyen âge/Pref. par A. Grabar. P., 1970.
- Diez E., Demus O. Byzantine mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni. Cambridge, 1931.
- Ebersolt J. La miniature byzantine. P.; Bruxelles, 1926.
- Grabar A. L'art byzantin. P., 1938.
- Grabar A. La peinture byzantine: Étude historique et critique. Genève, 1953.
- Grabar A. L'Iconoclasm byzantine: dossier archéologique. P., 1957.
- Kitzinger E. The Mosaics of Monreale. Palermo, 1960.
- Mango C. The mosaics of St. Sophia at Istanbul//DOS. 1962. Vol. 8.
- Omout H. A. Évangiles avec peintures byzantines du XI^e siècle. P., 1908.
- Spatharakis I. The portraits and the date of the codex Par. gr. 510//Cahiers archéologiques. Fin de l'Antiquité et Moyen âge. 1974. T. 23.
- Spatharakis I. The portrait in Byzantine illuminated manuscripts. Leiden, 1976.
- Weitzmann K. Aus den Bibliotheken des Athos. Illustrierte Handschriften aus mittel- und spätbyzantinischer Zeit. Hamburg, 1963.
- Weitzmann K. Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts. B., 1935.
- Weitzmann K. Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Renaissance. Köln, 1963.
- Weitzmann K., Chatzidakis M., Miatev K., Radojčić S. Icôns: Sinaï, Grèce, Bulgarie, Yougoslavie. P., 1966.
- Weitzmann K. Studies in classical and byzantine manuscripts illumination. L., 1971.

Weitzmann K. The Joshua roll, a work of the Macedonian renaissance. Princeton, 1948.

15

Брунов Н. И. Архитектура Константинополя IX—XII вв. // ВВ. 1949. Т. 2.

Брунов Н. И. К вопросу о средневизантийской архитектуре Константинополя // ВВ. 1968. Т. 28.

Брунов Н. И. Архитектура Византии // Всеобщая история архитектуры. М.; Л., 1966. Т. 3: Архитектура восточной Европы. Средние века.

Комеч А. И. Архитектура/Культура Византии. IV — первая половина VII в. М., 1984.

Комеч А. И. Храм на четырех колоннах и его значение в истории византийской архитектуры // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Сб. статей в честь В. Н. Лазарева. М., 1973.

Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902.

Якобсон А. Л. Раннесредневековый Херсонес // МИА. 1959. № 63.

Alprago — Novello A. Grecia bizantina. Milano, 1969.

Delvoye C. L'architecture byzantin au XI siècle // Proceeding of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies. L., 1967. {654}

Diehl Ch., Le Tourneau M., Saladin H. Les monuments chrétiens de Salonique (texte et atlas). P., 1918.

Ebersolt J., Thiers A. Les églises de Constantinople (texte et atlas). P., 1913.

Ευ; ἀγγελίδης Δ. Ε. Ἡ Παναγία τῶν Χαλκεῶν, ἡ Θεσσαλονίκη, 1954.

Jerphanion G. de. Mélanges d'archéologie anatolienne//Mélanges de l'Université St. Joseph de Beyrouth. 1928. Т. 13.

Kalliga M. Die Hagia Sophia von Thessaloniki. Würzburg, 1935.

Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. L., 1965.

Mango C. Byzantine architecture. N. Y., 1976.

Mango C. Les monuments de l'architecture du XI siècle et leur signification historique et social //ТМ. 1976. Т. 6.

Megaw A. N. S. Glazed Bowls in byzantine Churches // Δελτίον τῆς χριστιανικῆς Ἐραρχειολογικῆς Ἐταιρείας. Αθη;ναί, 1964. Т. 4.

Megaw A. N. S. The Chronology of some Middle-Byzantine Churches//BSA. 1931—1932. Vol. 32.

Millet G. L'école grecque dans l'architecture byzantine. P., 1916.

Millet G. Le monastère de Daphni. P., 1899.

Millingen A. van. Byzantine Churches in Constantinople. L., 1912.

Reusch E. Polichromes Sichtmauerwerk byzantinischer und Byzanz beeinfluster Bauten Südosteuropas. Köln, 1971.

Rott H. Kleinasiatische Denkmäler. Leipzig, 1908.

Schmit F. I. Die Koimesis — Kirche von Nicäa. Das Bauwerk und die Mosaiken. B., 1927.

Schultz R. W., Barnsley S. H. The Monastery of S. Luke of Stiris of in Phocis. L., 1901.

Struck A. Vier byzantinische Kirchen der Argolis//Athenische Mitteilungen. 1909. Bd. 34.

Wulff O. K. Das Katholikon von Hosios Lukas und verwandte Byzantinische Kirchenbauten. B., 1905.

Wulff O. K. Die Koimesiskirche in Nicäa und ihre Mosaiken. Strassburg, 1903.

16

Амиранашвили Ш. Я. Хахульский триптих. Тб., 1972.

Банк А. В. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.; М., 1966.

Даркевич В. П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе, X—XIII вв. М., 1975.

Искусство Византии в собраниях СССР: Каталог выставки. М., 1977. Т. 1—3.

Кондаков Н. П. История и памятники византийской эмали: Собрание А. В. Звенигородского. СПб., 1892.

Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константи́на Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42.

Срезневский И. И. Св. София Царьградская по описанию русского паломника конца XII века // Труды III Археологического съезда. Киев, 1878. Т. I.

Якобсон А. Л. Средневековая поливная керамика как историческое явление // ВВ. 1978. Т. 39.

Beckwith J. The art of Constantinople. L, 1961.

Bréhier L. La sculpture et les arts mineurs byzantins. P., 1936.

Coche de la Ferté E. L'antiquité chrétienne au Musée du Louvre. P., 1958.

Dalton O. M. Byzantine art and archaeology, Oxford, 1911.

Deér J. Die Heilige Krone Ungarns. Graz, Wien; Köln, 1966.

Diehl Ch. Manuel d'art byzantin. P., 1925—1926. Т. 1—2.

Ebersolt J. Les arts somptuaires de Byzance. P., 1923.

Grabar A. Byzance. L'art byzantin du Moyen age. P., 1963.

Delvoye Ch. L'art byzantin. P., 1967.

Falke O. Kunstgeschichte der Seidenweberei. B., 1936.

Goldschmidt A., Weitzmann K. Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X—XIII Jahrhunderts. B., 1930—1934. Bd. 1—2.

Matthiae G. Le porte bronzée byzantine in Italia. Rome, 1971.

- Morgan Ch. H.* The Byzantine pottery. Corinth. Results of Excavations. Cambridge, 1942. Vol. 11.
- Peirce H., Tyler R.* L'art byzantin. P., 1932, 1934. T. 1—2.
- Talbot Rice D.* Byzantine glazed pottery. Oxford, 1930.
- Talbot Rice D.* The art of Byzantium. Album. L., 1959.
- Talbot Rice D.* Art of the Byzantine era. L., 1963.
- Il Tesoro di San Marco. La Pala d'Oro. Firenze, 1965.
- Il Tesoro di San Marco. Il Tesoro e il Museo. Firenze, 1971.
- Stern H.* L'art byzantin. P., 1966.
- Volbach W. F.* Early decorative textiles. L.; N. Y.; Sydney; Toronto, 1969.
- Volbach W. F., Salles G., Duthuit G.* Art Byzantin. Cent planches, reproduisant un grand nombre de pièces choisies parmi {655} les plus représentatives des diverses tendances. P., 1933.
- Weitzmann K.* Greek mythology in Byzantine art. Princeton, 1951.
- Weitzmann K.* Ivoires and steatites: Catalogue of the Dumbarton Oaks Collection. Washington, 1972. Vol. 3.
- 17**
- Abert H.* Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905.
- Abert H.* Ein ungedruckter Brief des Michael Psellus über die Musik//Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft. 1900—1901. Bd. 2.
- Christ W.* Beiträge zur kirchlichen Literatur der Byzantiner. München, 1870.
- Floros K.* Die Entzifferung der Kondakariennotation/Musik des Ostens. 1965. Bd. 3; 1967. Bd. 4.
- Follieri E.* John Damascene//The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 1980. Vol. 9.
- Gastoue A.* Über die acht Tönen, die authentischen und die plagalen // Kirchenmusikalisches Jahrbuch. 1930. Bd. 25.
- Gevaert F.* Les origines du chant liturgique de l'église latine. Gent, 1890.
- Goar J.* Ευ;χολόγιον sive Rituale Graecorum. Lutetiae Parisiorum, 1647.
- Handschin J.* Das Zeremonienwerk Kaiser Konstantins und die sangbare Dichtung. Basel, 1942.
- Lazarević St.* Στιχηράριον //BS. 1968. T. 2.
- Levy K.* A Hymn for Thursday in Holy Week // Journal of the American Musicological Society. 1963. Vol. 16.
- Marzi G.* Cosma il Melodo: Canone per il Natal//Vichiana. 1967. Vol. 4.
- Mateos I.* Le Typicon de la Grande Eglise. Typicon I. Roma, 1962; Typicon II. Roma, 1963.
- Παναγιωτοπούλου Δ. Γ. Θεωρι;α και;` πρα;ξις τη;ς βυζαντινη;ς ε;κκλησιαστικη;ς μουσικη;ς. Ἀθη;ναι, 1982.
- Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Α. Ἀναλέκ τα Ἱεροσολυμιτικη;ς στιχολογίας. Ἐν Πετρούπολει, 1894, T. 2.
- Παπαδοπούλος Γ. Συμβολαί ει;ς τη;ν ι;στορίαν τη;ς παρ' η;μῖν ε;κκλησιαστικη;ς μουσικη;ς. Ἀθη;ναι, 1890.
- Palikarova-Verdeil R.* La musique byzantine chez les Bulgares et les Russes (du IX^e au XIV^e siècle). Copenhagen, 1953.
- Ράλλης Κ., Πότλης Μ. Σύνταγμα τω;ν θει;ων και;` ι;ερω;ν κανόνων. Ἀθη;ναι, 1852. T. 2.
- Raasted J.* Intonation Formulas and modal Signatures in Byzantine Musical Manuscripts. Copenhagen, 1966.
- Raasted J.* A Primitive Palaeobyzantine Musical Notation//Classica et Mediaevalia. 1962. Vol. 23.
- Reese G.* Music in the Middle Ages. N. Y., 1940.
- Richter L.* Antike Überlieferungen in der byzantinischen Musiktheorie // Deutsche Jahrbuch der Musikwissenschaft für 1961. Leipzig, 1962. Jg. 6.
- Richter L.* «Psellus» Treatise on Music in Mizler's Bibliothek//Studies in Eastern Chant. L., 1971. Bd. 2.
- Riemann H.* Studien zur Geschichte der notenschrift. Leipzig, 1878.
- Schlötterer R.* Die kirchenmusikalische Terminologie der griechischen Kirchenväter. Diss. München, 1953.
- Στάθης Γ. Οι;` α;ναγραμματισμοί; και;` τα;` μαθήματα τη;ς Βυζαντινη;ς Μουσικη;ς. Ἀθη;ναι, 1979.
- Stöhr M.* Johannes Damascenos // MGG. Bd. 7.
- Strunk O.* The Byzantine Office at Hagia Sophia // DOP. 1856. N 10.
- Strunk O.* The Notation of the Chartres Fragment // Annales Musicologiques. 1955. T. 3.
- Strunk O.* Specimina notationum antiquorum. Copenhagen, 1956.
- Tardo L.* L'antica melurgia bizantina. Grottaferrata, 1938.
- Thibaut P.* Traités de musique byzantine // Revue de l'Orient Chrétien. 1901. T. 6.
- Thodberg Ch.* Der byzantinische Alleluiazzyklus. Kopenhagen, 1966.
- Tillyard H. J. W.* Byzantine Music about A. D. 1100//Musical Quarterly. 1953. Vol. 39.
- Tillyard H. J. W.* Byzantine Neumes: The Coislin Notation//BZ. 1937. Bd. 37.
- Tillyard H. J. W.* The Problem of Byzantine Neumes//JHS. 1921. Vol. 41.
- Tillyard H. J. W.* The Stages of the Early Byzantine Musical Notation//BZ. 1952. Bd. 45.
- Tillyard H. J. W.* The Stenographic Theory of Byzantine Music // BZ. 1925. Bd. 25.
- Velimirović M.* Byzantine Elements in Early Slavic Chant: The Hirmologion. Copenhagen, 1960.

Velimirović M. The Byzantine Heirmos and Heirmologion//Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen. Gedenkschrift Leo Schrade. Bern; München, 1973. Bd. 1.

Vincent A. J. H. Notices sur divers manuscrits grecs relatifs à la musique. P., 1847.

Wachsmann K. Untersuchungen zum vorgregorianischen Gesang. Regensburg, 1935.

Wellesz E. Eastern elements in Western chant. Studies in the early history of {656} ecclesiastical music. Oxford; Boston, 1947.

Wellesz E. A. History of Byzantine Music and Hymnography. Oxford, 1961.

Wellesz E. Hymnen des Sticherariums für September. Kopenhagen, 1936.

Wellesz E. Kontakion and Kanon//Congresso internazionale di musica sacra. Roma, 1950; Tournai, 1952.

Wellesz E. Die Struktur des Serbischen Oktoechos // Zeitschrift für Musikwissenschaft. 1919/20. Bd. II.

Werner E. The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First Millennium. L.; N. Y., 1959.

Wille G. Musica romana. Die Bedeutung der Musik im Leben der Römer. Amsterdam, 1967.

18

Беляев Д. Ф. Byzantina. Кн. II. Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии. СПб., 1913.

Джанполадян Р. М. Новые материалы по истории византийского стеклоделия // ВВ. 1967. Т. 27.

Диль Ш. Византийские портреты. М., 1914. Вып. 1. Харьков, 1911. Ч. II.

Каждан А. П. Сколько ели византийцы? // ВИ. 1970. № 9.

Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1979.

Лутаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1974.

Arvites J. A. Irene. Woman emperor of Constantinople, her life and time. Mississippi University, 1980.

Ashtor S. Essai sur l'alimentation des diverses classes sociales dans l'orient medieval//Annales. 1968. T. 23, N 5.

Bensamner E. L'imperatrice à Byzance de VIII^e au XII^e siècle. P., 1972.

Beckwith J. C. Byzantine tissues//XIV^e Congrès international des études byzantines: Rapports. T. 3. Bucarest, 1971.

Berger A. Das Bad in der byzantinischen Zeit. München, 1982.

Beyle L. de. L'habitation byzantine P., 1903.

Bon A. Le Peloponnèse byzantin jusqu'en 1204. P., 1951.

Browning R. Unpublished Correspondence between Michael Italicus, Archbishop of Philippopolis and Theodoros Prodromos//Bb. 1962. T. 1.

Buckler G. Anna Comnena. Oxford, 1968.

Cahen C. La première pénétration turque en Asie Mineure (seconde moitié du XI^e siècle) //Byz. 1946—1948. T. 18.

Cottas V. Le théâtre à Byzance. P., 1931.

Dagron G. Constantinople imaginaire. P., 1984.

Dagron G. Le christianisme dans la ville byzantine//DOP. 1977. Vol. 31.

Dagron G. Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient byzantin à la fin du X^e et au XI^e siècles. L'immigration syrienne // TM. 1976. T. 6.

Dagron G. La romanité chrétienne en Orient. Héritages et mutation. L., 1984.

Dalven R. Anna Comnena. N. Y., 1972.

Darrouzès J. Deux lettres de Grégoire Antiochos écrites de Bulgarie vers 1173//BS. 1963. T. 24.

Dembinska M. Diet: A comparison of Food Consumption between Some Eastern and Western Monasteries in the 4th — 12th Centuries // Byz. 1985. T. 55.

Deroko A. Quelques réflexions sur l'aspect de l'habitation byzantine. Istanbul, 1955.

Diehl Ch. Les palais et la cour de Byzance. P., 1914.

Foss C. Byzantine and Turkish Sardis. L.; Harvard, 1976.

Foss C. Ephesus after Antiquity: A late antique, Byzantine and Turkish City. Cambridge, 1979.

Franz A. The Middle Ages in the Athenian Agora. Excavation of the Athenian Agora. Princeton, 1961.

Garzya A. Quattro epistole di Niceforo Basilace//BZ. 1963. Bd. 56.

Gerland E. Das Wohnhaus der Byzantiner. B., 1915.

Grabar A. L'art profane a Byzance//XIV^e Congrès international des études byzantines: Rapports. T. 3. Bucarest, 1971.

Grégoire H. La cour byzantine. Haye, 1904.

Grumel V. Le miracle habituel de N.-D. des Blachernes à Constantinople//EO. Avril — juin. 1931.

Guilland R. Études sur l'Hippodrome de Byzance. VI. Les spectacles de l'Hippodrome//BS. 1966. T. 27(2).

Houston M. G. Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. L., 1977.

Hunger H. Zum Badenwesen in byzantinischen Klöstern. Klösterliche Sachkultur des spätmittelalters // Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.- hist. Klasse Wien, 1980.

Images of women in Antiquity. L., 1983.

Kamer St. A. Emperors and Aristocrats in Byzantium, 976—1081. Harvard, 1983.

Kaplan M. Les monastères et le siècle à Byzance: Les investissements des laïques au XI^e siècle // Cahiers de civilisation médiévale. Poitiers, 1984. A. 27, N 1—2.

- Karpozelos A.* Realita in Byzantine Epistolography X—XII c. // BZ. 1984. Bd. 77. {657}
- Kazhdan A.* Two Notes on Byzantine Demography of the Eleventh and Twelfth Centuries // BF. 1982. Bd. 8.
- Kazhdan A.* Hagiographical Notes // Byz. 1984. T. 54.
- Kondakov N. P.* Les costumes orientaux à la cour byzantine // Byz. 1924. T. 1.
- Κουκούλε;`ς Φ. Βυζαντινω;~ν βίος καί πολιτισμός. ἸΑθη;~νηαι, 1954. T. 5.
- Kraeling.* Gerasa. City of Decapolis. New Haven; Conn., 1938.
- Laiou A. E.* The Role of Women in Byzantine Society // JÖB 1981. Bd. 31.
- Mango C.* Daily life in Byzantium // JÖB. 1981. Bd. 31.
- Mango C.* Le développement urbain de Constantinople (IV^e—VII^e siècle). P., 1985.
- Moravcsik Gy.* Sagen und Legenden über Kaiser Basileios // DOP. 1961. Vol. 15.
- Mullet M.* The Classical Tradition in Byzantine Letter // Byzantium and the Classical Tradition. Birmingham, 1981.
- Ostrogorsky G.* Löhne und Preise in Byzance // BZ. 1932. Bd. 32.
- Patlagean E.* L'enfant et son avenir dans la famille byzantine (IV^e—XII^e siècles // Annales de démographie historique. 1973.
- Patlagean E.* Structures sociales, famille, chrétienté à Byzance. L., 1981.
- Philippe J.* Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie. Bologna, 1970.
- Pingree D.* The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus // DOP. 1973. Vol. 27.
- Rambaud A. N.* L'empire grec au X^e siècle. Constantin Porphyrogénète. P. 1870.
- Rydén.* The bride-shows at the Byzantine court. History or fiction? // Eranos. 1985. Vol. 83.
- Schissel O.* Der byzantinische Garten. Wien. 1942.
- Schlumberger G.* Un empereur byzantin. P., 1890.
- Scranton R. L.* Medieval Architecture in the Central Area of Corinth. Princeton, 1957.
- Talbot A. M. M.* Old Age in Byzantium // BZ. 1984. Bd. 77.
- Talbot Rice T.* Everyday life in Byzantium. N. Y., 1967.
- Teall J. L.* Grain Supply of Byzantine Empire. 330—1025 // DOP. 1959. Vol. 13.
- Thompson H. E., Wycherley R. E.* The Athenian Agora. XIV: The Agora of Athens. Princeton, 1972.
- Toynbee A.* Constantine Porphyrogentus and his Age. L.; Oxford, 1973.
- Trilling J.* Myth and Metaphor at the byzantine court // Byz. 1978. T. 48.
- Vogt A.* Études sur le théâtre byzantin // Byz. 1936. T. 6.
- Walter G.* La vie quotidienne à Byzance au siècle des Comnènes. P., 1966.
- Westerink L. G.* Some Unpublished letters of Blemmides // BS. 1951. T. 12. {658}

Список сокращений

1. ИСТОЧНИКИ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Анна Комн. — *Анна Комнина.* Алексиада/Вступ. ст., пер., коммент. Я. Н. Любарского. М., 1965. Виз. лег. — Византийские легенды/Изд. подгот. С. В. Полякова. М., 1972. Виз. лит. — Византийская литература. М., 1974.
- Виз. люб. проза. — Византийская любовная проза: Аристенет. Любовные письма; Евматий Макремовлит. Повесть об Исминии и Исмине/Пер. с греч., статьи и примеч. С. В. Поляковой. М.; Л., 1965.
- Виз. ром. — *Полякова С. В.* Из истории византийского романа: Опыт интерпретации «Повести об Исмине и Исминии» Евматия Макремовлита. М., 1979.
- Геопоники — Геопоники, Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. / Введ., пер. с греч. и коммент. Е. Э. Липшиц. М.; Л., 1960.
- Диг. Акр.* — *Дигенис Акрит/Пер.*, статьи и коммент. А. Я. Сыркина. М., 1960.
- Евстаф.* — *Васильевский В. Г.* Материалы для внутренней истории византийского государства/ЖМНП. 1879. Ч. 202 (апр. IV).
- Зем. зак. — Византийский Земледельческий закон / Текст исслед., коммент. подгот. Е. Э. Липшиц, И. П. Медведев, Е. К. Пиотровская/Под ред. И. П. Медведева. Л., 1984.
- Иоанн Дам.* — *Иоанн Дамаскин.* Точное изложение православной веры. Творение св. Иоанна Дамаскина/С греч. пер. и снабдил перевод предисл., примеч. и указателями А. Бронзов. СПб., 1894.
- Иоанн Кам.* — *Иоанн Камениата.* Взятие Фессалоники/ Предисл. Р. А. Наследовой, пер. С. В. Поляковой, И. В. Феленковской, коммент. Р. А. Наследовой // Две византийские хроники X века. М., 1959.
- Кекавм.* — *Советы и рассказы Кекавмена.* Сочинение византийского полководца VI века/Подгот. текста, введ., пер. и коммент. Г. Г. Литаврина. М., 1972.

- Кн. Эл.* — Византийская книга Эпарха/Вступ. ст., пер., коммент. М. Я. Сюзюмова. М., 1962.
- Конст. Багр.* — *Константин Багрянородный. Об управлении империей* / Пер. Г. Г. Литаврина // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
- Лев Диак.* — *Лев Диакон. История* / Пер. М. М. Копыленко, статья М. Я. Сюзюмова, коммент. М. Я. Сюзюмова, С. А. Иванова. М., 1988.
- Левк.* — *Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт; Лонг. Дафнис и Хлоя; Петроний. Сатириконт; Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. М.*, 1969. {659}
- Мих. Пс.* Слово — *Ипертима Пселла* слово, составленное для вестарха Пофоса, просившего написать о богословском стиле / Пер. Т. А. Миллер // Античность и Византия. М., 1975.
- Мих. Пс.* — *Михаил Пселл. Хронография*/Пер., ст. и примеч. Я. Н. Любарского. М., 1978.
- Ник. Евг.* — *Никита Евгениан. Повесть о Дросилле и Харикле*/Пер. Ф. А. Петровского. М., 1969.
- Ник. Хон.* — *Никиты Хониата* история со времени царствования Иоанна Комнина. Т. I—II // Византийские историки, переведенные с греческого при С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1860—1862. Т. 4, 8.
- Нил.* Творения — Творения Нила Синайского. М., 1859. Ч. III.
- Памятники IV—IX вв. — Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968.
- Памятники — Памятники византийской литературы IX—XIV веков. М., 1969.
- Псамаф. хр.* — Псамафийская хроника/Предисл., перев., коммент. А. П. Каждана // Две византийские хроники X века. М., 1959.
- Робер де Клари* — *Робер де Клари. Завоевание Константинополя*/Пер., ст. и коммент. М. А. Заборова. М., 1986.
- Симеон Нов. Бог.* — Слова преподобного Симеона нового богослова/Пер. на рус. яз. еписк. Феофана. М., 1890. Вып. 1—2.
- Тим.* — Тимарион // Византийский сатирический диалог/Изд. подгот. С. В. Полякова, И. В. Феленковская. Л., 1986.
- Трактат* — Византийский медицинский трактат XI—XIV вв. (по рукописи Cod. Plut. VII, 19 Библиотеки Лоренцо Медичи во Флоренции) / Изд. Г. Г. Литаврин // ВВ. 1971. Т. 31.
- Филопат* — *Филопат. Патриот, или Поучаемый* // Византийский сатирический диалог / Изд. подгот. С. В. Полякова, И. В. Феленковская. Л., 1986.
- Христоф.* — *Шестаков Д. П.* Три поэта византийского Ренессанса // УЗ Казанского императорского университета. 1906. Кн. 7—8 (Год 73).
- Э — Эклога. Византийский законодательный свод VIII века/Вступ. ст., пер., коммент. Е. Э. Липшиц. М., 1965.
- Acta andreae* — *Acta Andreae*/Ed. M. Bonnet. P., 1895.
- Agath.* — *Agathiae Myrinaei. Historiarum libri quinque*/ Rec. R. Keydell.
- Ann. Comn.* — *Anne Comnène. Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène (1081—1118))*/Ed. B. Leib. P., 1937—1945. Т. 1—3.
- Ἀνάπτ. — Ἀνάπτυγῆς τῆς θεολογικῆς στοιχείωσεως Πρόκλου/Ed. J. Th. Vömel. Frankfurt a. Main, 1825.
- AP — *Anthologia Palatina*/ Ed. H. Stadtmuller. Leipzig, 1894—1906. Bd. 1—3.
- Ap. E.— *Appendix Eclogae*/ Hrsg. von L. Burgmann und Sp. Troianos // FM. 1979. Vol. III.
- Areth.* Scr. min. — *Arethae archiepiscopi Caesariensis Scripta minora*/Rec. L. G. Westerink. Lipsiae, 1968
- Att.* — *Michaelis Attaliothae Historia*/Rec. I. Bekker. Bonnae, 1853.
- August.* Ep. — *Sancti Aurelii Augustini Opera omnia. Epistolae* // PG. Parisiis, 1849. Т. 33(2).
- Bas.* — *Basilicorum libri LX, series A (Textus)*/Ed. H. J. Scheltema, N. van der Wal. Vol. I—VIII. Groningen. 1955—1984. Series B (Scholia) // Ed. H. J. Scheltema, {660} D. Holwerda. Vol. I—VII. Groningen, 1953—1981.
- Bry.* — *Nicephore Bryenios Histoire/Intrud., texte, trad et notes par P. Gautier. Bruxelles*, 1975.
- C.* — *Codex Iustinianus* // *Corpus Iuris Civilis. Berolini*, 1959. Vol. II/ Ed. P. Kruger. 1877.
- CCAG — *Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum. Bruxelles*, 1898—1953. Vol. I—XII.
- Cedr.* — *Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae Compendium historiarum/ Ope ab I. Bekkero. Bonnae*, 1838. Vol. I.
- Cinn.* — *Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis*/Rec. A. Meineke. Bonnae, 1836.
- Cod. Ex.* — *Georgii Codini Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis* / Rec. I. Bekker. Bonnae, 1843.
- DAI — *Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio/Greek text edited by G. Moravcsik. English Translation by*

- R. Jenkins. Budapest, 1949; *Constantinus Porphyrogenitus*. De Administrando imperio/Ed. R. Jenkins. L., 1962. T. 2.
- De cer. — *Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae byzantinae libri duo graece et latine*/E rec. I. I. Reiskii. Bonnae, 1830. Vol. 2. (CSHB. N 7).
- Delatte*. Anecd. — *Delatte A.* Anecdota Atheniensia. II. Textes grecs relatifs à l'histoire des sciences // Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège. Liège; P., 1939. Fasc. 88.
- De velitat. bellica — De velitatione bellica / Ed. B. Nibuhrii. Bonnae, 1828.
- E — Ecloga: Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos' V/Hrsg. von L. Burgmann. Frankfurt a. Main, 1983.
- Eclogad. — Eclogadion und Ecloga privata aucta/Hrsg. von D. Simon, Sp. Troianos//FM. 1977. Vol. II.
- Eis. — Epanagoge (corrigendum: Eisagoge!) Basilii, Leonis et Alexandri//Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. Jus Graeco-Romanum Lipsiae, 1862. Vol. III.
- EPA — Ecloga privata aucta // Jus graeco-romanum/ Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1865. Vol. IV.
- Ep. Byz. — Epistoliers byzantines du X siècle/Ed. J. Darrouzès. P., 1960.
- Eust.* Comm. — *Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis* Commentarii ad Homeri Odysseam et Iliadem. Lipsiae, 1823—1827. Vol. 1—3.
- East.* Esp. — *Eustazio di Tessalonica*. La espugnazione di Tessalonica/Ed. S. Kyriakidis. Palermo, 1961.
- Eust.* Opusc. — *Eustathii Thessalonicensis* Opuscula/Ed. F. Tafel. Amsterdam, 1964 (Francof. ad Moenum, 1832).
- Genes.* — *Genesisius*/Ex rec. C. Lachmanni. Bonnae, 1834.
- Genes.* 1978. — *Josephi Genesisii* rerum libri quattuor/Rec. A. Lesmüller-Werner, I. Thurn. Berolini; Novi Eboraci, 1978.
- Georg.* Mon. — *Georgii Monachi* Vitae imperatorum recentiorum // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus/Ex rec. I. Bekkeri. Bonnae. 1838. P. 761—924.
- Georg.* *Pisid.* Exp. Pers. — *Giorgio di Pisidia*. Poemi/Ed. critica, trad. e comm. a cura di A. Pertusi. Ettal. 1960. {661}
- Glyc.* — *Michaelis Glycae* Annales/Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1836.
- Creg. I.* Reg. Ep — *Gregorii I Papae* Registrum epistolarum // MGH. Epistolarum tomi 1. Pars 1. B., 1893; T. 2. Pars 2. B., 1895.
- I. Cam.* — *Ioannis Caminiatae*. De expugnatione Thessalonicae/Rec. G. Bohlig. B.; Novi Eboraci, 1973.
- Joannou* — *Joannou P.* Discipline générale antique. Grottaferrata, 1962—1964. T. 1—2.
- Jo. Dam.* Schriften — Die Schriften des Johannes von Damaskos/ Hrsg. vom Byzantinischen Institut der Abtei Scheyern. Besorgt von P. B., Kötter O. S. B. B., 1969—1975. Bd. 1—3.
- Joh. Kam.* — *Johannes Kamateros*. Εις σαγωγή, ἁστρονομία, ἁστρολογία Ein Kompendium griechischer Astronomie und Astrologie. Meteorologie und Ethnographie in politischen Versen/Ed. Weigl. Leipzig; B., 1908.
- Jus — Jus Graeco-Romanum/ Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1856—1862. Vol. I—III.
- Leon Diac.* — *Leonis Diaconi* Caloënsis historiae libri decem // Rec. C. B. Hasii. Bonnae, 1828.
- Leon.* *Gramm.* — *Leonis Grammatici* Chronographia / Rec. I. Bekker. Bonnae, 1842.
- Liut.* — *Liutprandus von Cremona*. Die Werke/Hrsg. von I. Becker. Hannover; Leipzig, 1915.
- Manass.* — *Constantini Manassis* Breviarium historiae metricum. Bonnae, 1837.
- Mansi — Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio/Ed. J. D. Mansi. P., 1905. T. 12—13 (repr.: Graz, 1960).
- MB — Bibliotheca graeca medii aevi/Ed. C. N. Sathas. Venetia; P., 1874, 1876. Vol. 4—5.
- Mich. Ps.* — *Michel Psellos*. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976—1077)/Texte et. ét trad. par. E. Renauld. P., 1926—1928. T. 1—2.
- Mich. Ps.* De omn. doc. — *Psellos M.* De omnifaria doctrina/Ed. by L. G. Westerink. Nijmegen, 1948.
- Mich. Ps.* De oper. daem. — *Michael Psellus*. De operatione daemonum / Curante J. F. Boissonade. Norimbergae, 1838 (repr.: Amsterdam. 1964).
- Mic. Ps.* Ep. — *Micaele Psello*. Epistola a Giovanni Xiphilino / A cura di U. Criscuolo. Napoli, 1973.
- Mich. Ps.* Épître. — *Michel Psellos*. Épître sur la Chrysopée/Ed. J. Bidez. Catalogue des manuscrits alchimiques grecs. Bruxelles, 1928. T. 6.
- Mich. Ps.* Scr. min. — *Michaelis Pselli* Scripta minora magnam partem adhuc inedita/ Ed. E. Kurtz, F. Drexl. Milano, 1936—1941. Vol. I—II.

- MM — Acta et diplomata graeca medii aevi / Ed. F. Miklosich, J. Müller. Vindobonae, 1887—1890. T. 5—6.
- Nic. Chon. — *Nicetae Choniatae* Historia / Rec. I. A. van Diäten. B., Novi Eboraci, 1975. Pars 1—2.
- Niceph. Brev. — *Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani* Opuscula historica/Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880.
- Nic. Mes. — *Heisenberg A.* Grabeskirche und Apostelkirche. II. Teil. Die Apostelkirche in Konstantinopel. Leipzig, 1908. S. 9—96.
- Nik. Mes. Reise — *Nikolaos Mesarites.* Reiseberichte an die Mönche des Euergetiskloster in Konstantinopel/Ed. A. Heisenberg // Neue Quellen zur Geschichte des lateinische Kaisertums und der Kirchenunion. Sitzb. der Bayer. Akad. der Wiss. Philos.-Philolog. und hist. Klasse. 1922. Bd. 5.
- N. M. — Nomos Mosaikos/Hrsg. von L. Burgmann und S. Troianos//FM. 1979. V. 3.
- N.v. — *Ashburner W.* The Rhodian Sea Law. Oxford, 1909.
- Nov. Const. — Novella Constitutio saec. XI medii qual est de schola iuris Constantinopoli constituenda et legum custode creando/Ed. A. Salač. Pr., 1954.
- Odo de Diogilo — *Odo de Diogilo.* De profectioe Ludovici VII in Orientem/Ed. by V. G. Berry. N. Y., 1948.
- Or. Chald. — Oracles Chaldaïques avec un choix de commentaires anciens/Texte établi et traduit par E. des Places. P., 1971.
- Peira — Peira // Jus graeco-romanum/Ed. C. E. Zachariae a Lingenthal. Lipsiae, 1856. Vol. I.
- PG — Patrologiae cursus completus. Series graeca/Rec. J. P. Migne. Parisiis.
- Phlp. De aetern. mundi — *Ioannes Philoponus.* De aeternitate mundi contra Proclum / Ed. H. Rabe. Lipsiae, 1899.
- Photii Bibl. — *Photius.* Bibliothèque/ Texte établi et traduit par R. Henry. P., 1959—1974. T. 1—7.
- Photii ep. et amph. — *Photii* Epistulae et amphilochia/Rec. B. Laourdas, L. G. Westerink. Leipzig, 1983. Vol. 1.
- Photii Homil. — The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople/Engl. transl. C. Mango. Cambridge; Mass. 1958.
- Phys. et med. — Physici et medici graeci minores/Con J. L. Ideler. Bd. I—II. Leipzig, 1841—1842.
- Porph. Vita Plot. — Vita di Plotino ed ordine dei suoi libri. Napoli, 1946.
- Procop. B. P. — *Procopii Caesariensis* De Bello Persico // Procopii Caesariensis Opera omnia/Rec. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1962. Vol. 1.
- Ps.-Cod. — *Pseudo-Kodinos.* Traité des offices/Ed. J. Verpeaux. P., 1966.
- Pseudo-Sym. — *Pseudo-Symeon.* Chronographia // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus/Ex rec. I. Bekkeri. Bonnae, 1838. P. 603—760.
- Scrip. incert. — Scriptor incertus. Syngraphē chronographiu Ed. I. Bekker. Bonnae, 1842.
- Scyl. — *Ioannis Scylitzae* Synopsis historiarum/Rec. I. Thura. B.; N. Y., 1973.
- Suid. — *Suidae* Lexicon/Ed. A. Adler. Stutgardiae, 1967. P. II (Lexicographi Graeci. Vol. 1. Sammlung wissenschaftlicher Commentare).
- Sym. Mag. — *Symeonis Magistri* Annales // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus/Ex rec. I. Bekkeri. Bonnae, 1838. P. 601—760.
- Sym. Cat. — *Syméon le Nouveau Théologien.* Catéchèses /Introd., texte critique et notes par B. Krivochéine, traduction par J. Paramelle. P., 1963—1965. T. 1—3.
- Sym. Ep. — *Symeon der Neue Theologe* Epistola I (λόγος περὶ ἐξομολογήσεως) / Hrsg. K. Holl. Leipzig, 1898.
- Sym. Ethica. — *Syméon le Nouveau Théologien.* Traités {663} Théologiques et Éthiques/Ed. A. A. Darrouzès. P., 1966—1967. T. 1—2.
- Sym. Hymnen — *Symeon Neos Theologos.* Hymnen/Prolegomena, kritischer Text, Indices besorgt von A. Kambylis. B.; N. Y, 1976 (Supplementa byzantina, 3).
- Sym. Hymnes. — *Syméon le Nouveau Théologien.* Hymnes/ Ed. J. Koder. P., 1969—1973. Vol. 1—3.
- Theoph. — *Theophanus* Chronographia / Ex rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883—1885. Vol. I—II.
- Theoph. Cont. — *Theophanes Continuatus.* Chronographia // Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus / Ex rec. I. Bekkeri, Bonnae, 1838. P. 1—481.
- Theoph. Sim. — *Theophylacti Simocatae* Historiae/Ed. C. de Boor, corr. v. P. Wirth. Stuttgart, 1972.
- TL — *Leonis imperatoris* Tactica sive de re militari liber//PG. 1863. T. 107. Col. 669—1120.
- Vie de Sym. — Un grand mystique byzantin. Vie de Syméon le Nouveau Théologien par Nicéas Stéthatos/ Ed. par I. Hausherr, G. Horn. Rome, 1928.

Vita Bas. — *Historia de Vita et rebus Gestis Basillii inclyti imperatoris // Theophanes Continuatus, Iohannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus/Ex*

rec. I. Bekkeri Bonnae, 1838. P. 211—353.

Zonar. — *Ioannis Zonarae Epitome Historiarum/Ed. L. Dindorf. Lipsiae, 1868—1875. Vol. 1—6.*

2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

АДСВ — Античная древность и средние века.
ВВ — Византийский временник.
ВИ — Вопросы истории.
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины.
ВО — Византийские очерки.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ЗРВИ (ZRVI) — Сборник радова Византологического института.
ИРАИК — Известия русского археологического института в Константинополе.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
ППС — Православный палестинский сборник.
АВ — *Analecta Bollandiana*.
АНASH — *Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae*.
Bb — *Byzantinobulgarica*.
ВСН — *Bulletin de correspondance hellénique*.
BF — *Byzantinische Forschungen*.
BNgJb — *Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher*.
BS — *Byzantinoslavica*.
BSA — *Annual of the British School at Athens*.
Byz. — *Byzantion*.
BZ — *Byzantinische Zeitschrift*.
CFHB — *Corpus Fontium Historiae Byzantinae*.

CSHB — *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*.
DOP — *Dumbarton Oaks Papers*.
DOS — *Dumbarton Oaks Studies*.
EB — *Byzantine Studies/Etudes byzantines*. {664}
ΕΕΒΣ — Ἐπετηρίδις Ἑταιρείας βυζαντινῶν Σπουδῶν.
EO — *Echo d'Orient*.
ΕΦ — Ἐκκλησιαστικὸς Φῶρος.
FM — *Fontes minores/Hrsg. von D. Simon. Frankfurt a. Main.*
JHS — *The Journal of Hellenic Studies*.
JÖB — *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik*.
JÖBG — *Jahrbuch der Österreichischen byzantinischen Gesellschaft*.
MGG — *Musik in Geschichte und Gegenwart*.
MGH — *Monumenta Germaniae Historica*.
OC (OChP) — *Orientalia Christiana (Periodica)*.
RE — *Pauly-Wissowa - Kroll. Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart.*
REA — *Revue des Etudes armeniennes*.
REG — *Revue des Etudes grecs*.
RESEE — *Revue des Etudes Sud-Est Européennes*.
RSBN — *Rivista di studi bizantini e neoellenici*.
SK — *Seminarium Kondakovianum*.
TM — *Travaux et Mémoires*. {665}

Указатель имен

АВТОРЫ И ДЕЯТЕЛИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Аарон Исаак 605.
Абеляр П. 50, 58.
Абу-аль-Мелик, эмир Манцикерта 254.
Абу Хафс, эмир Мелитины 158.
Август 93.
Августин 46, 48, 49, 416.
Агата, дочь Константина VII Багрянородного 378.
Агафархид Книдский 319.
Агафий Миринейский 89, 101, 103, 131, 133, 135, 151.
Агиофеодорит 229.
Агнесса 253.
Агриппа Неттесгеймский 53, 55.
Алдуин 123.
Александр Афродисийский 339.
Александр из Тралл 328.
Александр, император 76.

Александр Македонский 139, 145, 158.
Александр, митрополит Никеи 395.
Александр, сын Василия I 371.
Алексей I Комнин 29, 31, 58, 82, 84—87, 109—113, 115—118, 124, 184, 201, 213, 253, 268—271, 306, 308, 312, 322, 323, 361, 368, 374, 378, 379, 393, 399, 458, 464, 489, 555, 571, 580, 589, 590, 594—597, 602, 605, 616, 624, 628.
Алексей II Комнин 32, 122, 253, 485, 589.
Алексей III Ангел 32, 251, 309, 489.
Алексей V Мурчүфл 125.
Алексей Аристин 191.
Алексей Комнин, правнук Алексея I 590.
Алкман 193.
Аль-Масуди 362.
Аль-Мюттаваккиль, халиф 257.
Аль-Хорезми Мухаммад ибн Муса 362.
Амфилохий Кизический 379.
Анакреонт 208.

- Анаксагор 197.
 Анастасий I 97, 598.
 Анастасий Библиотекарь 131.
 Анастасия, дочь Ярослава Мудрого 538.
 Анатолий, монах Студийского монастыря 560.
 Анатолий, правовед 228.
 Ангелы 124.
 Андрей Критский 133, 134, 386, 560.
 Андрей Юродивый 327, 378, 581.
 Андроник I Комнин 32, 86, 115, 122, 124—127, 374, 590.
 Андроник Дука 347, 572.
 Андроник Комнин, брат Мануила I 118, 188.
 Андроник, младший сын Иоанна II 191.
 Анна Далассина 595, 596, 616.
 Анна Комнина 32, 87, 88, 110, 112—114, 116, 117, 123, 128, 184, 187, 191, 197, 253, 270, 306, 309, 312, 318, 322, 323, 367—369, 373, 374, 378, 384—386, 393, 397, 457—459, 464, 595, 602, 604, 621.
 Анна, сестра Василия II, жена князя Владимира 244, 252.
 Антоний, архиепископ, игумен Синайского монастыря 491.
 Антоний, архиепископ Новгородский 471, 521.
 Антоний, domestик, византийский посол 254.
 Антоний Кавлей 387.
 Антоний I Кассимат, патриарх 147, 378, 388.
 Анфим, поэт 183.
 Апион 214.
 Аполлоний 147, 299.
 Арат, поэт, астроном 363.
 Арат из Сол 321.
 Аргир 248.
 Арефа Кесарийский 44, 49, 131, 144, 146, 151, 299, 345, 379, 569.
 Ариадна, жена императора Анастасия I 598.
 Арий 559, 609.
 Аристарх Самосский 307.
 Аристенет 461.
 Аристид 172.
 Аристин 392.
 Аристотель 43—45, 50, 51, 56, 58, 115, 150, 192, 303—306, 312—316, 318, 319, 334, 338—340, 342—344, 365, 374, 383, 385, 392, 397, 398, 405, 429, 437, 619, 626.
 Аристофан 120, 135, 204, 211.
 Аристофан Византийский 319.
 Арриан 277, 346, 359.
 Артаксеркс 74.
 Арсений, ученик Симеона Нового Богослова 601.
 Архилох 393.
 Архимед 298, 299.
 Аршакиды 74, 117.
 Асень, вождь восстания 35.
 Асклепий 196.
 Астерий Амасийский 410, 416.
 Афанасий Александрийский 557.
 Афанасий Афонский (Авраамий) 385, 387, 390, 391. {666}
 Афанасий, правовед 228.
 Афанасия Эгинская 378, 385—387.
 Афинея 214.
 Аффоний 390.
 Ахемениды 74.
 Ахилл Татий 169, 172, 204, 206, 357, 461.
 Ашот I 250, 251.
 Ашот II Багратуни 250.
 Аэций 328.
 Баграт IV 540.
 Багратуни 250.
 Бар-Кефа 362.
 Бела (Алексей), венгерский принц 274, 538.
 Беме Я. 46.
 Беренгарий 258.
 Берга (Евдокия), дочь Гуго Арльского 252.
 Берга Зульцбахская 253, 271.
 Борис (Михаил), болгарский хан 248.
 Боэмунд, князь Антиохии 251, 253.
 Боэмунд Тарентский 113, 269, 270, 271, 318, 458.
 Брут 197.
 Вакхий 299.
 Валентиниан III 598.
 Варда, кесарь 94, 227, 235, 310, 371, 394, 395.
 Варис 192.
 Варрон 321.
 Василий I Македонянин 72—74, 77, 94, 99—101, 117, 118, 134, 138, 141, 145, 146, 232, 233, 251, 252, 310, 367, 371, 390, 470, 471, 478, 524, 560, 589, 596, 606.
 Василий II Болгаробойца 28, 79, 80 87, 101, 102, 104, 109, 117, 146, 174-176, 178, 244, 295, 372, 373, 391, 457, 472, 542, 545, 586, 596, 600, 616.
 Василий Великий (Кесарийский) 41, 169, 170, 172, 319, 328, 335, 342, 344, 364 365, 401, 406, 407, 490, 494, 557.
 Василий из Ялимбаны 350, 351.
 Василий Каппадокийский 187.
 Василий Кекавмен, поэт 183.
 Василий Малеси 377.
 Василий Новый 138, 146.
 Василий Ноф 79.
 Василий, проэдр 531.
 Василий, эпарх 308.
 Велизарий 289.
 Вениамин Тудельский 322.
 Виет Ф. 300.
 Вильгельм II 274, 488.
 Винданий Анатолий 321.
 Владимир, князь 244, 252, 481.
 Владимир Ярославич, князь 245.
 Вольтер Ф. М. 50.
 Вриеннии 110, 111.
 Всеволод Ярославич 538.
 Гагик I Арцруни 250.

- Гален 324, 328, 329, 437.
Гарида 229.
Гарун аль-Рашид 254.
Гауденций 299.
Гвидо де Базош 353.
Геза I, венгерский король 251, 538.
Гелиодор 169, 204—206, 464.
Генесий 345, 395.
Генрих IV, германский император 555.
Генрих Фландрский 124.
Георгий Амартол (Монах) 64, 92—95, 110, 132, 133, 136, 139, 140, 144, 345, 398.
Георгий Амастридский 385.
Георгий Антиохиец 488.
Георгий Войтех 35.
Георгий II, грузинский царь 251.
Георгий, домашний 560.
Георгий Кедрин 109, 110, 560.
Георгий Кипрский 350, 351.
Георгий Кодин 353.
Георгий Маниак 184, 395.
Георгий Монах 317.
Георгий Пахимер 353.
Георгий Писида 131, 140—142, 169, 171, 172, 179.
Георгий, протоасикрит 254.
Георгий Синкелл 89, 90, 109, 132, 136.
Георгий Хировоск 390.
Герман Константинопольский 424.
Герман, патриарх 138, 398, 424, 560.
Гермий 50.
Гермоген 50.
Гермоген из Тарса 390.
Геродор, грамматик 214.
Геродот 214.
Герон Александрийский 299, 302.
Гесиод 161, 212.
Гесихий Милетский 353.
Гефестион Фиванский 310.
Гийом II, король 33.
Гийом де Лоррис 206.
Гийом Коншский 338.
Гиппархия 385.
Гиппократ 196, 323—325, 328, 437.
Годфруа Лангрский 256, 272.
Гомер 135, 142, 146, 158, 211, 213, 214, 347, 381, 386, 387, 394, 627.
Григорий, агиограф 146.
Григорий Антиох 579.
Григорий Асвеста Сиракузский 379.
Григорий, дидакал 390, 395.
Григорий Богослов 37, 53, 169—172, 387, 391, 396.
Григорий Декаполит 386.
Григорий Доксопатр 229.
Григорий Каппадокиец 119.
Григорий Назианзин 38, 133, 134, 151, 160, 171, 172, 183, 203, 215, 478, 526, 557, 558.
Григорий Нисский 36, 37, 45, 169, 170, 172, 328, 342, 364, 401, 557. {667}
Григорий Палама 454.
Григорий I, папа 39.
Григорий, священник, член свиты княгини Ольги 264.
Гуго Арльский 252.
Давид Комнин 122.
Давид Митиленский 386.
Дамаский 36.
Дандоло Андреа, дож 536.
Дарий 372
Декарт Р. 300.
Демад 391.
Демокрит из Абдеры 333.
Демосфен 112, 172, 231, 391.
Десислава 528.
Джелаль-Эд-Дин Руми 45.
Дигенис Акрит 82, 155—159, 186, 209, 456, 551, 573, 593, 623.
Димитрий Дрим 579.
Димитрий Хоматиан 581.
Димо 214.
Диоген 197.
Диоген, турмарх Анатолика 158.
Диодор 319, 335.
Дионисий Перизетт 120.
Дион Кассий 96.
Диоклетиан 89.
Дионисий Ареопагит 405, 407.
Дионисий Галикарнасский 170, 171.
Дионисий Фракийский 390.
Диоскорид 320, 321.
Диофант 299—301.
Добрыня Ядрейкович, паломник (см. Антоний, архиепископ Новгородский).
Дорофей, игумен 254.
Дуки 94, 111, 158, 373, 374, 597.
Дуода 164.
Евагрий 132.
Еварист Студит 385.
Евдокия, дочь императора Алексея III Ангела 251.
Евдокия, дочь императора Ираклия 251.
Евдокия, жена императора Василия I 479.
Евдокия, жена императора Феодосия II 135.
Евдокия, жена императора Константина X Дуки 378, 594.
Евдокия, жена императора Романа II 543, 544.
Евдокия, племянница императора Василия II 596.
Евдокс Книдский 363.
Евдоксия 598.
Евклид 298, 301, 389.
Евматий Макремволит 204, 205, 207, 456, 461, 465, 466.
Евнапий 96.
Еврипид 135, 169, 172, 203, 206, 381, 541.
Евсевий Кесарийский 65.
Евсевий Памфил 402.
Евстратий Воила 155, 600.

- Евстафий Ромей 82, 229, 624.
Евстафий Солунский (Фессалоникийский) 120—124, 128, 187, 192, 212—215, 319, 347, 359, 374, 376, 379, 399, 467, 621, 627.
Евстратий Никейский 58, 306, 307, 313—315, 323, 339, 341—343, 364, 368, 393, 397.
Евфимий Ивир 130.
Евфимий Новый 380.
Евфимий, патриарх 74, 138, 623.
Евфросина, мать императора Феофила 95.
Елена, мать императора Константина I 356, 358, 532, 606.
Елена, мать императора Романа II 594.
Елена, жена императора Константина VII Багрянородного 265, 604.
Ельпидий Схоластик 363.
Епифаний Агиополит 355, 356, 358.
Епифаний, монах 142.
Ефрем Сирин 314.
Захарий Халкидонский 379.
Зоя, императрица 63, 175, 178—180, 263, 267, 308, 324, 484, 485, 537, 588, 589, 596.
Зоя Карвонопсина 598, 604.
Иван Александр, болгарский царь 494.
Игнатий, патриарх 138, 560.
Игнатий, агиограф 143, 144, 146, 298, 366, 380.
Игнатий Диакон 151.
Иерофей, монах 386.
Иерофил, врач 185, 325.
Илья Новый 138.
Игорь, князь 262.
Иоанн I Цимисхий 79, 80, 82, 101—103, 116, 252, 268, 295, 361, 545, 589, 594, 599, 601, 605.
Иоанн II Комнин 32, 83, 110—112, 116, 124, 188, 191, 210, 253, 327, 485, 582.
Иоанн Агиополит 377.
Иоанн Апокавк 397, 587.
Иоанн, византийский посол 254.
Иоанн Геометр 131, 146, 150, 151, 372, 381.
Иоанн Грамматик 298, 370, 388.
Иоанн Дамаскин 38—43, 45, 68, 69, 129—134, 192, 296, 297, 303, 305, 312, 314, 335, 336, 342, 344, 345, 404—408, 414, 426, 434, 560, 561, 563, 618.
Иоанн Дука, кесарь 97.
Иоанн Дука, полководец 269.
Иоанн Дука, сын великого друнгария Андроника Дуки 347.
Иоанн, епископ 93.
Иоанн Златоуст 169, 170, 172, 344, 472, 494, 526, 557, 606. {668}
Иоанн Зонара 84, 86, 87, 109, 116—118, 364, 384, 397, 621.
Иоанн Итал 56—58, 153, 171, 184, 197, 306, 339, 372, 377, 393, 397, 398, 619, 624.
Иоанн X Каматир, патриарх 310, 311, 389, 390.
Иоанн Каминиат 119, 120, 331, 560, 588.
Иоанн Киннам 87, 114—116, 122—125, 272, 621.
Иоанн Кириот 623.
Иоанн Контостефан 362.
Иоанн VIII Ксифилин, патриарх 52, 54, 105, 236—240, 368, 372, 373, 376, 377, 379, 388, 391, 392, 396, 593.
Иоанн Лествичник 491.
Иоанн Лид 310, 353.
Иоанн, логофет 380.
Иоанн Мавропод 48, 49, 105, 169, 182, 183, 238, 368, 369, 373, 377, 381, 383, 387, 389, 391, 392, 395, 593.
Иоанн Малала 93, 131, 211.
Иоанн Метафраст 560.
Иоанн Монах 561.
Иоанн Номофилак 229.
Иоанн IV, патриарх 562.
Иоанн Скилица 98, 104, 108—111, 116—118, 262, 318, 369, 557, 558.
Иоанн Толстый 126.
Иоанн Филопон 314.
Иоанн Фока 185, 356—358.
Иоанн Цец 120, 185, 210—212, 319, 345, 374, 377, 384, 467, 578, 599, 623.
Иоанн Экзарх Болгарский 344.
Иоанникий Великий 380.
Иоахим Флорский 48.
Иосиф 560.
Иосиф Вринга 100, 103.
Иосиф Генесий 100, 101.
Иосиф Ракендит 50, 324.
Иерокл 131, 348, 350, 359.
Иосиф Солунский 132.
Иосиф Флавий 357.
Ипатия 385.
Ираклий 19, 21, 60—62, 92, 141, 251, 333, 350, 399.
Ираклон 62.
Ирина Венгерская 253.
Ирина Дукиня (Дукена), жена императора Алексея I Комнина 110—113, 117, 368, 374, 378, 458, 459, 594—595, 597.
Ирина, жена Андроника, младшего сына Иоанна II 191.
Ирина, жена императора Иоанна II Комнина 254, 324, 327, 485.
Ирина, жена императора Льва IV 594, 596.
Ирина, жена императора Мануила I 210.
Ирина, княгиня 490.
Ирина, севастократорисса, жена Андроника Комнина, брата Мануила I 188, 185, 210, 374.
Ириней Лионский 401.
Исаак I Комнин 104, 106, 109, 111, 213, 322, 323, 373, 396.
Исаак II Ангел 32, 126, 251, 580, 590.
Исаак Комнин, севастократор 58, 184, 210.
Исаврийская династия 227.
Исократ 154, 391.
Иштван IV, венгерский король 274.
Каллиник 282, 332.

- Каллист, комит схол 376.
Калокир Секст 229.
Калоян, севастократор 528.
Каматиры 210.
Карвеас 158.
Карл Великий 69, 70, 350, 252, 254, 352.
Карл Лысый 554.
Каролинги 8, 250.
Касия 95, 131, 132, 134, 147—149, 368, 369, 597, 622.
Кассиан Басс 321.
Кассий 197.
Кассия, монахиня 560.
Катон 321.
Квинт Смирнский 211.
Квириин 147.
Кекавмен 81, 161—168, 179, 201, 309 323, 324, 367, 377, 380, 591—593, 598, 599, 601, 623.
Киприан 135.
Кирилл Иерусалимский 424.
Кириин 317.
Клеонид 299.
Климент 560.
Климент Александрийский 41, 401, 405, 429, 460, 557.
Козьма, автор церковных канонов 192.
Колумелла 321.
Комитас 394.
Комнины 28, 31, 32, 35, 60, 83—85, 87, 110, 111, 118, 124, 125, 153, 184, 185, 193, 201, 253, 268, 270, 274, 322, 374, 545, 574, 589, 597, 605, 620, 633.
Конрад III Гогенштауфен 253, 271, 273, 274.
Констант II 62, 63, 64, 618.
Константин I Великий 60, 61, 65 79 82, 88, 91, 139, 140, 201, 318, 356, 358, 369, 472, 532, 606, 620.
Константин IV Погонат 63, 64, 282, 329, 332.
Константин V Копроним 67, 71, 141, 251, 298, 388, 403, 583.
Константин VI 137, 254, 594, 596.
Константин VII Багрянородный 28, 76— 81, 88, 95—101, 110, 129, 131, 136, 138—140, 144, 146, 150, 188, 228, 235, 246, 249—252, 258, 261—265, 267, 279, 298, 302, 317, 319, 320, 328, 329, 331, 333, 345, 347—349, 354, 355, 359, 367, 369, 371, 372, 376, 378, 392, 395, 479, 522, 531, 544, 560, 568, 569, 579, 583, 588, {669} 597, 598, 604, 605, 608, 610, 614, 621, 627.
Константин VIII 82, 104, 117, 175, 176, 372, 580, 612.
Константин IX Мономах 63, 105, 173, 174, 176, 178, 179, 237, 238, 245, 251, 263, 298, 302, 308, 319, 320, 323, 368, 373, 377, 380, 392, 395—397, 456, 484, 485, 512, 537, 538, 590, 613.
Константин X Дука 82, 97, 104, 111, 174, 178, 373, 378, 396.
Константин Кефала 151, 390.
Константин (Кирилл) 385, 387, 389.
Константин Кортедзис 210.
Константин Лихуд, патриарх 105, 171, 236, 368, 373, 377, 379, 380, 387, 593
Константин Манасси 109, 117, 118, 185, 187, 209, 311, 317, 438, 621.
Константин Никейский 229.
Константин, протоспафарий 395.
Константин Родосский 150, 151,
Константин, сакелларий 254.
Константин Сицилийский 381.
Константин, сын и соправитель Михаила VII Дуки 457, 538.
Константин, хартофилакс св. Софии, византийский посол 254.
Констанция 402.
Корипп 130.
Кортедзисы 210.
Косьма Индикоплов 42, 131, 303, 341, 344, 359, 360, 364, 365, 627.
Косьма Маюмский 560, 561.
Косьма, юрист 624.
Кретьен де Труа 209.
Крум, хан 141.
Ксенофонт 143, 204, 346, 381.
Куркуасы 94.
Кутузов М. И. 289.
Кылич-Арслан I, султан 269, 270.
Кылич-Арслан II 273.
Лазарь, митрополит Филиппополя 169.
Лазарь художник 471.
Лапард, полководец 122.
Лев I Исавр 97, 398.
Лев III 23, 64, 66, 67, 141, 144, 216, 226, 251, 370.
Лев V 91, 100.
Лев VI Мудрый 28, 29, 73—76, 94 100, 129, 131, 138, 139, 141, 145, 146, 150, 188, 193, 227, 232—234, 277—291, 293, 348, 367, 371, 471, 560, 569, 596— 598, 602, 604, 626.
Лев Армянин 94.
Лев, врач 328.
Лев Грамматик 140.
Лев Диакон 98, 101—104, 139, 144—146, 268, 282, 284, 589, 600—602, 621.
Лев, маистр 393.
Лев Математик 147, 296—300, 302, 303, 309, 310, 317, 318, 370, 371, 376, 377, 381, 389, 394.
Лев, митрополит 369.
Лев III, папа 554.
Лев Торник 395.
Лев Философ 131, 145, 317, 318.
Лев Хиросфакт 49, 150, 254, 569.
Лев, чиновник по делам прошений 377.
Лейбниц 50.
Леон, поэт 179.
Леонтий 363.
Леонтий Византийский 38.
Леонтий, эпарх 93.

- Ливаний 133.
Ликофрон 203, 212.
Лисии 172, 391.
Лиутпранд Кремонский 78, 79, 258—262, 264, 266, 317, 609, 615.
Логофет 118.
Лонг 204.
Лотарь I 252.
Лука Стилит 138.
Лука Хрисоверг, патриарх 236.
Лукиан 135, 192, 196, 197, 206, 395.
Людовик II 252.
Людовик VII, французский король 255, 256, 271—273.
Людовик IX Святой 526
Людовик Немецкий 248, 252.
Маврикий 223, 277, 278, 281, 286, 287, 289, 291.
Македонская династия 24, 28, 32, 71, 72, 84, 86, 94, 99, 104, 140, 227, 228, 234, 470, 589, 605, 625.
Максим Исповедник 36—38, 46, 378, 424, 425, 440, 618.
Максим Олово 187.
Мануил I Комнин 86—88, 111, 112, 114—116, 118, 120, 122—125, 127, 158, 198, 201, 206, 210, 253, 255, 271—274, 302, 303, 307, 309, 310, 347, 356, 357, 367, 374, 389, 545, 589, 604, 605, 616, 624.
Малх 96.
Мануил Ставrorоман 183.
Марин Тирский 362, 364.
Мамун 362.
Мария Аланская 252, 341, 538, 540, 597.
Мария Антиохийская 253.
Мария, жена императора Никифора III Вотаниата 69.
Мария (Ирина), внучка Романа I 251.
Мария Новая 146.
Маркелл 317.
Маркиан, император 140, 598.
Маркион, сектант 300.
Махитарий, друнгарий виглы 384.
Мелес 197, 248.
Мелетий 328.
Менандр Протиктор 96.
Мефодий, патриарх 138, 376, 379, 388, 560, {670}
Митрофан Смирнский 560.
Михаил I 70, 89, 141.
Михаил II Травл 99, 100, 318, 370.
Михаил III 94, 99, 101, 118, 248, 310, 371, 394, 471.
Михаил IV Пафлагон 81, 106, 117, 178, 180, 372, 467, 485.
Михаил V 105, 106, 177, 308.
Михаил VI Стратиотик 396.
Михаил VII Дука 81, 104, 162, 174, 235, 252, 308, 329, 341, 373, 374, 383, 384, 396, 397, 457, 494, 538, 540, 572.
Михаил Айотеодорит 185.
Михаил III Анхиальский, патриарх 212, 398.
Михаил Аплухир 203, 204.
Михаил Атталиат 80—82, 107—109, 111, 116, 117, 235, 236, 238, 309, 319, 377, 395, 396, 581, 621.
Михаил Глика 109, 110, 117—119, 187, 198—201, 203, 309, 319, 364, 367, 621, 624.
Михаил, евнух 322.
Михаил, иерусалимский патриарх 560.
Михаил Италик 154, 192, 307, 324, 374, 399, 606.
Михаил I Кируларий, патриарх 54, 82, 169, 302, 334, 367, 384.
Михаил, маистр, 390.
Михаил Пантехни 322.
Михаил Пселл 49—56, 58, 79, 81, 104—109, 111, 113, 114, 116—118, 120, 124, 127, 128, 168—179, 182—184, 197, 214, 235—238, 297, 298, 300—305, 309, 311, 312, 314—316, 320, 322—324, 329, 334, 337—339, 341—343, 345, 346, 363, 365, 367—369, 372—374, 376—379, 383—387, 391—393, 395—398, 456—458, 460, 463, 467, 570, 578—580, 587, 589—596, 600, 606, 614, 619, 621, 623, 626.
Михаил Синкелл 385, 386.
Михаил Хониат 123—124, 187, 325, 374, 379, 396, 579.
Михаил Эфесский 319, 339, 374.
Музалон, ритор 393.
Навкратий 472.
Немесий Эмесский 335, 426.
Неофит Кавсокаливит 46.
Неофит, митрополит 212.
Никандр из Колофона 320, 393.
Никита Амнийский 132.
Никита Давид 142.
Никита Евгениан 187, 192, 207—209, 462, 463.
Никита Мидикийский 387.
Никита, монах 380.
Никита Стефанит 601.
Никита Стифат 160, 399, 452.
Никита, учитель школы св. Петра 393.
Никита Хониат 86—88, 113, 115, 122—128, 302, 309, 353, 374, 375, 397, 580, 590, 605, 620, 621, 623.
Никифор I 68, 224.
Никифор II Фока 30, 78—80, 94, 98, 100—103, 116, 139, 141, 145, 146, 151, 260—261, 290, 291, 293, 295, 531, 545, 571, 583, 589, 594, 599, 600, 616.
Никифор III Вотаниат 81, 82, 107, 252, 493, 538.
Никифор Василак 399, 579.
Никифор Вриенний 32, 110—112, 116, 117, 125, 184, 368, 621.
Никифор Григора 58.
Никифор, епископ Милета 376, 379, 387.
Никифор Каллист 356.
Никифор I, патриарх 64, 67, 90—93, 131, 133, 136, 138, 143, 144, 298, 312, 366, 369, 376,

- 377, 379, 385, 388, 399, 416-424, 429, 431, 434, 560.
- Никифор, патрикий 395.
Никифор, полководец 368.
Никифор, препозит священной спальни 607.
Никифор Уран 293, 294.
Никифор Хумн 58.
Николай Верденский 542.
Николай III Грамматик 393, 398.
Николай, игумен 388.
Николай Калликл 195, 222, 324, 325.
Николай, медик 324.
Николай Месарит 438—444, 581, 582.
Николай I Мистик, патриарх 73, 76, 142, 146, 371, 390, 587, 588.
Николай Мефонский 57.
Николай Скир 378.
Николай Студит 385, 386.
Никомах 298, 300.
Нил Доксапатр 351, 352.
Нил, еретик 369.
Нонн Панополитанский 134.
- Одо Дейльский** 255, 256, 271, 272.
Олег, князь 266.
Олимпиодор 304, 314, 338, 339, 399.
Ольга, княгиня 262—267, 317.
Омейяды 38.
Онасандр 277.
Опшиан 118.
Оривасий 328.
Ориген 36, 46, 401.
Орсеоло Пьетро II, дож 536.
Оттон I 78, 252, 258—262, 317.
Оттон II 78, 252.
- Павел**, аббат 560.
Павел, автор «Астрологии» 147.
Павел Александрийский 310.
Павел Латрийский 44.
Павел Силенциарий 151, 208, 353.
Павел Эгинский 328.
Палеологи 347.
Паллад 134. {671}
Пантелеоне I 524.
Пантехна, великий эконом 212.
Папп Александрийский 298, 300.
Парменид 197.
Пахис, евнух 369.
Перикл 171.
Петр, монах Студийского монастыря 560.
Петр, асикрит 390.
Петр, болгарский царь 251.
Петр, вождь восстания 35.
Петр Грамматик 392.
Петр Делян 35.
Петр, магистр, логофет дрома 254.
Петр Патрикий 96.
Петр I, российский император 288, 289.
Патцис, судья 229.
Пико делла Мирандола 55.
- Пиндар 120, 347, 393.
Пипин Короткий 254, 352.
Пиррон 150.
Пифагор 54, 197.
Платон 38, 43, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 136, 150, 181, 182, 184, 301, 305, 306, 383, 385, 392, 396, 397, 408, 570, 619.
Платон Студит 388.
Плифон 57, 58.
Плотин 39, 50, 300, 411, 416.
Плутарх 48, 182, 196, 210.
Полидевк, Юлий 569.
Поликлет 458, 459.
Полладий 321.
Порфирий 39, 41, 50, 145, 310, 392 397.
Приск 96.
Продолжатель Скилицы 109, 373.
Продолжатель Феофана 100, 101, 140, 144, 298, 317, 345, 371—372, 377, 389, 394.
Прокл 36, 38, 40, 50, 51, 58, 145, 147, 184, 298—300, 304, 305, 314, 392, 397.
Прокопий Кесарийский 89, 131, 133, 135, 136, 353.
Псевдо-Арриан 346, 354, 359.
Псевдо-Демокрит 334.
Псевдо-Дионисий Ареопагит 36, 37, 39, 46, 48, 411, 425, 449, 452, 521.
Псевдо-Дионисий Периегет 347, 359, 627.
Псевдо-Кодин 359, 566, 627.
Псевдо-Плутарх 337.
Псевдо-Симеон 94, 100, 110, 317, 345.
Птолемей 298, 303, 304, 306, 307, 310, 337, 345, 346, 359, 362, 364.
Пульхерия, жена императора Маркиана 598.
- Риторий** 310.
Роберт Гвискар 113, 268—270, 595.
Робер де Клари 521, 522, 574, 600.
Рожер II 273, 351, 352, 487, 488.
Роман I Лакапин 73, 94, 100, 250, 251, 369, 371, 390, 391, 501, 531, 587, 605.
Роман II 77, 97, 100—102, 246, 252, 265, 348, 368, 531, 543, 544, 583, 590, 597, 605.
Роман III Аргир 80, 81, 109, 176, 180, 252, 372, 381.
Роман IV Диоген 112, 184, 197, 368, 377, 594.
Роман, асикрит, судья Селевкии 298, 378.
Роман Сладкопеев 134.
Руставели Шота 209.
- Сапфо 148, 385.
Святослав, князь 103, 267, 268.
Севериан Габальский 335, 344, 364, 365, 627.
Сергий, монах 560
Сергий, протоспафарий и консул 364.
Сикидик 605.
Сикидит 302.
Сильвестр I, папа 139.
Сильвестр II, папа 538.
Симеон, монах Студийского монастыря 560.
Симеон, сын болгарского князя Бориса 248.

- Симеон Благоговейный 44—46.
Симеон, болгарский царь 76, 142, 244, 290.
Симеон Магистр 147.
Симеон Метафраст (Логофет?) 94, 95, 98, 146, 169, 185, 322, 364, 377, 622.
Симеон Новый Богослов 45, 46, 48, 58, 160-161, 164, 165, 168, 187, 380, 450—454, 576, 592, 601, 619, 623.
Симеон, сектант 300.
Симеон Сиф 302—303, 305, 306, 313, 315, 329, 339—343, 364.
Симеон Солунский 424.
Симпликий 50.
Синадина, жена венгерского короля Гезы I 251, 538.
Синесий Киренский 183.
Сиф Склир 605.
Склирина 174, 178, 179.
Смбат I 250.
Созомен 132.
Сократ 58, 150, 172, 184.
Сократ Схоластик 132.
Сотирих Пантевген 57, 58.
Софокл 381.
Спиноза Б. 50.
Ставракий 68, 254.
Стесихор 193.
Стефан Айохристорит 122.
Стефан, диакон храма Св. Софии 380.
Стефан Византийский 214, 348, 359.
Стефан Мелес, логофет 191.
Стефан Неманя 251, 273.
Стефан Никомидийский 46.
Стефан Новый 380, 386, 387, 399. {672}
Стефан Первовенчаный 251.
Стефан I 538.
Стефан, подвижник монастыря св. Саввы 560.
Стефан Скилица 191.
Стефан Сурожецкий 379, 384.
Стефан, сын Василия I 371.
Стилиан 393.
Стилиана, дочь Михаила Пселла 385.
Страбон 214, 242, 345—348, 359, 363.
Сулейман I 142.
Сципион 141.
Танкред 113.
Тарасий, патриарх 138, 366, 370, 377, 379, 380, 388, 560.
Телериг, болгарский хан 248.
Тиберий, император 93.
Тимофей Газский 319.
Траян Патрикий 91.
Фалалей, правовед 228.
Фалес 197.
Фальеро Орделафо, дож 536.
Феано 385.
Фекла, монахиня 560.
Феогност 390.
Феодегий 298, 302, 394.
Феодор I Ласкарь 124.
Феодор Вальсамон 84, 380.
Феодор, правовед 228
Феодор Дафнопат 100.
Феодор, игумен Студийского монастыря 141.
Феодор Ириник 398.
Феодор Китонит 183.
Феодор Метохит 58.
Феодор, митрополит Кизика 579.
Феодор, митрополит Никей 81.
Феодор Пафлагонский 150.
Феодор, подвижник монастыря св. Саввы 560.
Феодор, помощник Льва Математика 298, 394.
Феодор Продром 148, 158, 185, 187, 188—195, 203, 206—208, 214, 311, 322, 323, 325, 374, 376, 377, 582, 590, 594, 621, 623.
Феодор Смирнский 398, 580.
Феодор Стипиот 118, 191.
Феодор Студит 23, 68—70, 89, 131, 132 134, 136—138, 366, 370, 379, 380, 384 386—388, 411—416, 423, 426—430, 434 472, 560, 565, 566, 582, 593, 595, 622.
Феодор Эдесский 379.
Феодора, жена императора Ионна I Цимисхия 605.
Феодора, жена императора Феофила 99.
Феодора, императрица 396, 596.
Феодора Солунская 378, 385, 387.
Феодорит Кирский 336.
Феодосий I 139, 140,
Феодосий II 135, 598.
Феодосий, математик 298.
Феодосий Александрийский 390.
Феодосий, врач 322.
Феодосий Диакон 141, 142, 621.
Феодота, мать Михаила Пселла 379, 595, 606.
Феокрит 208.
Феоктист 227, 371, 560.
Феоктист, логофет 387, 389.
Феоктиста, мать Феодора Студита 378, 595.
Феон 147, 298, 303, 316.
Феофан Грек 425, 454.
Феофан Исповедник 64, 67, 68, 70, 89—94, 98—100, 103, 108—110, 131—133, 136—141, 145, 282, 370, 399.
Феофан Нонн 328, 329.
Феофан, подвижник монастыря св. Саввы 560.
Феофан Сиргианский 601.
Феофано, жена императора Льва VI 102, 252, 259, 575, 596.
Феофано, жена императора Романа II 594, 597, 605.
Феофраст 321.
Феофил, император 74, 95, 100, 147, 149, 196, 243, 252, 317, 318, 328, 368, 370, 371, 380, 389, 560, 607, 608.
Феофил, медик, протоспафарий 399.
Феофилакт Болгарский 87.
Феофилакт Никомидийский 327.
Феофилакт Охридский 179, 183, 398.

Феофилакт Симокатта 61, 89, 92, 131, 135, 136, 141, 558.
Феофраст 319.
Ферма П. 300.
Филарет Милостивый 132, 138, 380, 573, 580, 593, 594.
Филарет, священник, мастр 390.
Филипп, император 324.
Филипп Монотроп 437.
Филипп Отшельник 183.
Филипп Философ 464, 467.
Филон 41, 405.
Филопон 42, 339, 342.
Филосторгий 319.
Филофей 347.
Флавий Филострат 465.
Фока 18, 92, 600.
Фоки 94, 98, 100.
Фома Аквинский 46.
Фома Славянин 20, 23, 70, 98, 318.
Фотий, патриарх 43, 44, 49, 52, 58, 64, 71, 72, 74, 110, 129, 131, 134-136, 143—146, 172, 227, 230—233, 235, 303, 312, 314, 319, 323, 346, 353, 365, 370, 371, 379, 383, 384, 394, 432-434, 456, 470, 471, 478, 560, 569, 608, 618, 619.
Фридрих Барбаросса 274.
Фридрих II, прусский король 288.
Фукидид 103, 172. {673}
Харитон 204.
Хорикий Газский 406.
Хрисохир 158.
Христодул Патмосский 385—387.
Христофор Митиленский 179—184, 214, 237, 380, 381, 392, 393, 465, 578, 623.
Цезарь, Гай Юлий 93, 197, 201.
Чакан (Чаха), эмир Смирны 269.
Шекспир В. 50.
Эзоп 387.
Элиан 201, 277.
Элий Дионисий 214.
Эмпедокл 306.
Энантиофан 228.
Эндре (Андрей) I, венгерский король 251, 538.
Эпикур 145, 150.
Эпихарм 393.
Эратосфен 345.
Эриугена, Иоанн Скот 37.
Эсхил 172, 173, 203, 381.
Юлиан Отступник 133.
Юлий Гонорий 364.
Юстин I 97, 182.
Юстиниан I 36, 59, 61, 63, 97, 131, 216—218, 220—222, 224, 225, 227—229, 240, 241, 333, 350, 472, 614, 624.
Юстиниан II 63, 64, 318.
Ямвлих 38, 39, 50, 54, 301, 392, 397

Ярослав Владимирович, новгородский князь 555.
Ярослав Мудрый 490, 538, 555.

АВТОРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Аверинцев С. С. 38, 48, 133, 134, 136, 140, 149, 150, 372.
Айналов Д. 361.
Алексидзе А. Д. 147, 153, 186, 204, 205, 209, 457.
Алпатов М. А. 264.
Ангелов П. 243, 244.
Арвейлер Э. 60, 61, 66, 78.
Ариньон Ж. П. 263, 264.
Асмус В. Ф. 56.
Банк А. В. 491, 588, 600, 602.
Безобразов П. В. 49, 50, 59, 60, 606.
Бек Г. 154, 186, 398.
Беляев Д. Ф. 583, 586.
Бенешевич В. 601.
Бессмертный Ю. Л. 164.
Бессонова М. А. 491.
Болл Ф. 310.
Бологов В. В. 39.
Бородин О. Р. 335, 361, 363, 397.
Бриллиантов А. 37.
Брунов Н. И. 497, 498—502, 506, 509, 510, 512, 514.
Бычков В. В. 403—405, 419, 424, 430, 434, 449, 459.
Бычков О. В. 438.
Вальденберг В. 49, 50.
Васильев А. А. 244.
Васильевский В. Г. 161, 269, 355, 379, 384.
Вернадский Г. В. 75.
Водов В. 262.
Вульф О. 433.
Гаврюшин Н. К. 303, 305, 306, 310, 339, 341.
Гандшин Ж. 568.
Гарпия А. 153, 154.
Гаспаров М. Л. 141, 465.
Гегель Г. Ф. В. 46.
Гийу А. 185.
Гранстрем Е. Э. 297, 312, 314, 327, 331, 366, 398.
Грегуар А. 158.
Гукова С. Н. 307, 308, 313, 314, 334, 335, 337, 341, 359, 397.
Гюнтер Р. 14.
Делатт А. 302, 306.
Дельбрюк Г. 284, 293.
Дестунис Г. 158.
Дженкинс Р. 348, 349.
Дмитриевский А. 609.
Досталова Р. 65, 67, 125.
Достоевский Ф. М. 50.
Дэн А. 293, 294.

- Ернштедт В. К. 161.
Живов В. М. 425.
Заборов М. А. 270, 273.
Збордоне Ф. 345.
Иванов Й. 80.
Иванов С. А. 102, 151.
Иванова О. В. 14.
Иенс В. М. 288.
Истрин В. М. 94.
Каждан А. П. 14, 16, 26, 32, 57, 75, 94, 108, 109, 123, 126, 130, 146, 160, 212, 244, 253, 297, 298, 313, 323, 327, 332, 333, 370, 372, 380, 400, 573, 580—583, 590, 592, 601, 609.
Каштанов С. М. 256.
Кес Д. 576.
Комеч А. И. 496, 506.
Кондаков Н. П. 506, 514.
Корсунский А. Р. 14.
Котельникова Л. А. 59.
Крумбахер К. 159, 362. {674}
Курбатов Г. Л. 12, 16, 27, 30, 65, 244.
Курц Э. 179, 385.
Кучма В. В. 75, 223, 278, 288, 293.
Кьркегор С. 46.
Лазарев В. Н. 402, 403, 485, 490, 491.
Лампакис С. 197.
Лампрос С. 354.
Лебедева Г. Е. 12, 16, 27.
Лебедева И. Н. 130.
Левченко М. В. 266.
Легран Э. 150.
Лемерль П. 163, 239, 303, 380, 398.
Липшиц Е. Э. 15, 22—24, 148, 220, 226, 229, 234, 296, 298, 310, 312, 318, 332, 366, 368—370, 377, 388, 389, 394, 607.
Литаврин Г. Г. 8, 14, 15, 25, 26, 27, 29-31, 35, 68, 75, 79, 161, 162, 243, 244, 248, 262, 264, 266, 268, 296, 318, 324, 327, 330—332, 366, 368—370, 378, 379, 381, 388, 571, 577, 587, 590, 593, 595, 697.
Лихачева В. Д. 77, 524.
Лопарев Х. 383, 385.
Лоран В. 351.
Лордкипанидзе М. Д. 251.
Лосев А. Ф. 57.
Любарский Я. Н. 30, 49—52, 54, 77, 89, 104, 142, 171, 182, 271, 297, 334, 367, 369, 370, 374, 378, 381, 383, 392, 397, 458, 460, 464, 524, 589, 591.
Маас А. 184.
Манго К. 611.
Манн Т. 556.
Маркс К. 296.
Медведев И. П. 223, 235, 396.
Мелетинский Е. М. 186, 205, 209.
Миллер Т. А. 171.
Минто В. 56.
Монтекуколи Р. 288.
Моравчик Д. 287, 349.
Мэтью Дж. 429.
Мюллер Л. 262.
Наследова Р. А. 331.
Наумов Е. П. 268.
Оболенский Д. 8, 263, 267.
Осипова К. А. 15, 16.
Острогорский Г. 62, 74, 264, 599, 246.
Пападимитриу С. 384.
Пашуто В. Т. 244, 256, 264, 267.
Петровский Ф. А. 145.
Пиотровская Е. К. 92.
Полякова С. В. 204, 206, 466.
Помяловский И. В. 385
Попов И. В. 37.
Попова Т. В. 141, 151, 465, 468.
Прехтер К. 55.
Райнов Т. 345.
Редин Е. К. 359.
Россейкин Ф. М. 43.
Рудаков А. П. 312, 322, 324, 327, 375—380, 385—387, 576, 577, 581.
Самодурова З. Г. 308, 310, 311, 313, 366, 378.
Сахаров А. М. 250, 256, 263, 265—268
Сафа К. 50.
Скабаланович Н. 302, 307, 372.
Соколова И. В. 27, 243.
Соловьев В. 37.
Срезневский И. И. 521.
Странк О. 567.
Сыркин А. Я. 157, 158.
Сюзюмов М. Я. 22, 27, 67, 70, 222, 234, 331, 332.
Таннери П. 304.
Татакис П. 52.
Толстой А. К. 134.
Троянос Сп. 221.
Тьпкиова-Заимова В. 12.
Тюилер А. 202.
Удальцова З. В. 7, 12, 15, 16, 59, 90, 244, 303.
Успенский Ф. И. 57, 302, 305, 393, 398.
Федоров Н. Ф. 37.
Фехнер М. В. 553.
Фихман И. Ф. 15.
Фонкич Б. Л. 162.
Фрейберг Л. А. 141, 151, 465, 468.
Фрейденберг М. М. 271.
Фролов Э. Д. 244.
Фроянов И. Я. 244.
Хвостова К. В. 26.
Хенигманн Э. 354.
Хунгер Х. 51, 154, 210, 213.
Шангин М. А. 73, 310, 569.
Шарден Т. де 37.
Шевченко И. 137.
Шлёттерер Р. 559.

- Шмит Ф. И. 509.
Шпек П. 389, 398.
- Щапова** Ю. Л. 552.
- Чекалова** А. А. 613.
Чичуров И. С. 65, 68, 72, 74, 75, 89, 131, 133, 139, 141, 399.
- Энгельс Ф. 296.
- Юзбашян** К. Н. 242.
- Якобсон** А. Л. 501. {675}
- Abert** H. 570.
Ahrweiler H. 10, 14, 26, 27, 30, 31, 60, 61, 67, 75, 78, 83.
Alexander P. J. 385, 402, 429.
Alpago-Novello A. 512, 514.
Angelov D. 9.
Angold M. 274.
Arrignon J. P. 266, 267.
- Bagrow** L. 362.
Banhégyi G. 114.
Barnsley S. H. 510, 511.
Beazley C. R. 361.
Beck H. G. 92, 115, 130, 145, 147, 155, 157, 159, 186, 188, 190, 200, 204, 216, 232, 379, 385—387, 399.
Beckwith J. C. 587.
Benakis L. 51, 316, 338.
Berger A. 574.
Bidez J. 49, 50, 54.
Biedermann H. M. 45.
Bon A. 573.
Božilov I. 9.
Brand Ch. 274.
Brandes W. 22.
Bréhier L. 378.
Browning R. 57, 94, 187, 268, 298, 300, 366, 375, 377, 379, 381, 386, 388, 389, 390, 392, 400, 467, 580.
Brunet M. 33.
Buckler G. 371.
Bury J. B. 98.
Busse A. 41.
Byčkov V. 429.
- Cahen** Cl. 269, 271.
Canard M. 244.
Capelle W. 339.
Chalandon F. 114, 270.
Charanis P. 27.
Cheynet J. C. 31.
Chrysos E. K. 21.
Čičurov I. 139.
Cohn L. 329.
Constable P. 589.
Cormack R. 402.
Cottas V. 607, 609—611.
Crone G. R. 362.
- Cupane C. 204.
- Da Costa-Louillet** G. 367.
Dagron G. 70, 571, 574, 575.
Dain A. 277, 291, 293, 294, 302.
Darrouzès J. 46, 399, 579, 580.
Delatte A. 302, 303, 307, 314, 315, 323, 341.
Delehaye H. 376, 387.
Dembinska M. 582.
Demus O. 424.
Δημητρακόπουλος? A 58.
Diehl Ch. 62, 506.
Diels H. A. 328.
Dieterich K. 196.
Diller A. 346, 347.
Ditten H. 12.
Dölger F. 185, 256, 274.
Dornseiff J. 58.
Dräseke J. 58, 306.
Duby G. 178.
Ducellier A. 243, 256.
Dujčev I. 56, 247.
Dvomik F. 43, 367, 377, 385, 389.
- Ebersolt** J. 500—502, 504.
Eickhoff E. 274.
Eideneier H. 190.
Eideneier N. 190.
Elze R. 246.
Epstein A. W. 402.
Erbssoler M. 270.
Ευ; ἀγγελίδης Δ. E. 506
- Falkenhausen** V. von 245.
Felix W. 269.
Fiorini M. 363.
Floros K. 567.
Florovsky G. 39.
Forsyth J. H. 269.
Foss C. 573—575.
Franklin S. 9.
Fuchs F. 324, 366, 371, 396—399.
Fugagnollo U. 245.
- Garzya** A. 55, 153, 186, 579.
Gautier P. 210, 311, 312, 338.
Geanakoplos D. J. 249.
Gehrhardt O. 360.
Gero S. 403.
Giannelli C. 303.
Gorecki D. M. 14.
Goria F. 226.
Goshev I. 62.
Gouillou A. 185.
Grabar A. 587.
Grégoire H. 94, 158.
Γρηγορίου-Ἰωαννίδης M. 31.
Gregory T. 338.
Grosdidier de Matons J. 188, 190.
Grumel V. 602.
Guilland R. 19, 21, 30, 252, 369, 378, 386, 390, 607.

- Guillou A. 12, 241, 248, 252, 253.
- Haldon** J. F. 15, 19.
Handschin J. 568.
Harig G. 329.
Hausherr J. 74.
Haussig H. W. 249.
Hecht W. 274.
Heiberg I. L. 339.
Heisenberg A. 438.
Hergenröther J. 43.
Hesseling D. C. 376.
Hörandner W. 183, 188, 190, 192. {676}
Hohlweg A. 270.
Holl K. 45.
Honigmann E. 341, 350, 354, 364.
Hunger H. 31, 51, 56—58, 68, 100, 101, 108, 123, 132, 133, 135, 150, 151, 154, 194, 203, 204, 210, 211, 213, 297, 299, 300, 302, 303, 306, 309—311, 319—321, 325, 326, 328, 329, 330, 333, 334, 366, 379, 384, 386, 387.
Hussey J. 316, 366, 370, 371, 374, 376, 379, 381, 396, 397.
- Irigoin** I. 155.
- Jähns** M. 285, 288.
Jeffreys E. M. 188, 209.
Jeffreys M. J. 188, 190.
Jenkins R. 30, 101.
Joannou P. 49, 50, 386.
Jorga N. 114.
- Kaplan** M. 15, 25.
Karahalios G. 49.
Karayannopoulos J. 19, 25, 62, 256.
Karpozelos A. 577—581, 588, 598, 599, 606.
Kazhdan A. P. 120, 130, 132, 137, 138, 142, 145, 583, 589, 601.
Kedar B. Z. 273.
Kiessling N. 359.
Kitzinger E. 361.
Kletler P. 353.
Köpstein H. 15, 19, 23.
Kolias T. G. 286.
Kondakov N. P. 586.
Κόρ; ρ; ς Φ. K. 282.
Κουγέας Σ. B. 157.
Κουκουλε; ς Φ. 579, 580.
Krautheimer R. 497—502, 504, 509, 510, 512, 514.
Kreidl-Papadopoulos K. 511.
Kresten O. 94.
Krivocheine B. 45, 46, 48.
Krumbacher K. 159, 179, 362.
Kurtz E. 179.
- Lackner** W. 339.
Laiou A. E. 595.
Lamma P. 274
Λαμπάκης Σ. 196, 197.
Lasser F. 363.
Laurent J. 250, 351.
Lazarević St. 568.
- Le Tourneau** M. 506
Lemerle P. 10, 32, 35, 155, 239, 296, 299, 300, 303, 308, 310, 317, 318, 321, 329, 366, 367, 370, 373, 375, 376, 379—381, 384—389, 391—399.
Lilie R. 19, 271.
Litavrine G. 25, 35.
Loos M. 15.
Lot-Borodine M. 37.
Lounghis T. C. 246, 250, 252, 254.
- Maas** P. 184.
Magdalino P. 574.
Makk F. 273.
Malich B. 27.
Malingoudis Ph. 12.
Mango C. 353, 375, 385, 386, 391, 395, 398, 400, 406, 574—576, 607, 611, 613.
Mathew G. 429.
Matschke K. P. 26, 30.
Mazal O. 209.
Megaw A. N. S. 518.
Merill J. E. 38.
Michaelidès-Nouaros G. 234.
Michelis P. A. 407.
Miljkovic-Pepok P. 9.
Millet G. 509, 510, 512, 514, 518.
Millingen A. van 500—502, 504.
Μισίου Δ. 62.
Moffatt A. 377, 379, 380, 385, 386.
Moravcsik Gy. 94, 273, 287.
Mullet M. 599.
Mzik H. von 362.
Müller L. 262.
Musset L. 244.
- Nafis Ahmad** 362.
Neumann C. 114.
Niederau K. 245.
Nordengraaf C. 354.
Nordlin A. 360.
- Obolensky** D. 8, 69, 71, 241, 244, 247, 267, 268.
Oehler 339.
Ohnsorge W. 274.
Oikonomidès N. 29, 30.
Olster D. 61.
Oriandos A. 512.
Ostrogorsky G. 19, 26, 31, 61, 246, 249, 402, 403.
- Pachali** H. 57.
Palikarova—Verdeil R. 567.
Παναγιωτόπουλος Δ. Γ. 559.
Pantazopoulos N. J. 224.
Papademetriou J. Th. 195.
Patlagean E. 15.
Pernot H. 376.
Pertusi A. 231.
Petritakis J. M. 62.
Pieler P. 218, 222, 227, 229.
Pingree D. 604.
Pococke R. 350.

- Podskalsky D. 58, 83.
 Polaschek E. 346.
 Polesso-Schiavon P. 341.
 Πολίτης N. 559.
 Praechter K. 55.
 Preger Th. 353.
 Pritchard J. P. 347. {677}
- R**aasted J. 567.
 Reese G. 563.
 Richard J. 271, 274.
 Richter G. 38.
 Riedel W. 464.
 Rizzo J. J. 58.
 Rösch G. 61.
 Rott H. 497.
 Rowe J. G. 270.
 Runciman S. 270.
- S**ade F. 561.
 Sadnik L. 40.
 Saladin H. 506.
 Sarton G. 339.
 Savvidis A. G. C. 244.
 Sbordone F. 345.
 Schirò G. 389.
 Schepard J. 266.
 Schilbach E. 302.
 Schlötterer R. 559
 Schmid M. 330.
 Schminck A. 230, 232.
 Schneider A. M. 355.
 Schreiner P. 130, 241.
 Schultz R. W. 510, 511.
 Schwartz E. 216.
 Scranton R. L. 573, 575.
 Ševčenko I. 136—138, 143, 144, 146, 193.
 Shahid J. 21.
 Shumaker W. 54.
 Sorlin I. 95.
 Speck P. 143, 235, 375, 387, 389—391, 395, 399.
 Sreznevskij V. I. 95.
 Stathopoulos D. L. 45.
 Stephanou P. E. 56.
 Stewenson E. L. 363.
 Stöhr M. 561.
 Struck A. 510, 518.
 Strunk O. 567.
 Studer B. 38, 41.
 Συκουτρής I. 102
 Svoboda K. 49.
 Svoronos N. 30, 35, 220.
- T**albot A. M. M. 589.
 Talbot Rice T. 597.
 Tannery P. 301, 305.
 Tatakis B. 52, 52, 57, 340.
- Teall J. L. 581.
 Thiers A. 500—502, 504.
 Thodberg Ch. 563.
 Thompson H. E. 575.
 Thümmel H. G. 402.
 Tillyard H. J. W. 561.
 Tinnefeld F. 30, 64, 66.
 Töpfer H. 48.
 Toynbee A. 348.
 Treadgold W. T. 135, 145.
 Treu M. 366.
 Trojanos Sp. 62, 218, 221, 224, 226.
 Tsirpanlis C. N. 69
 Τσολάκης Ευ;? 83.
 Tûma O. 31
- U**dal'cova Z. V. 9.
- V**an de Vorst Ch. 137, 385.
 Van Rossum J. 46.
 Vari R. 277.
 Veh O. 136.
 Velimirović M. 563.
 Vodoff Vl. 244, 262.
 Völker W. 45.
 Vogel K. 299, 302, 303, 313, 315, 319, 320, 323, 324, 327, 329, 332—334.
 Vogt A. 609.
 Vryonis Sp. 273.
- W**achsmann K. 562.
 Wal van der N. 228.
 Walter G. 571, 577, 580, 581, 587, 600, 602, 605, 610, 612.
 Warren F. N. 206.
 Weiss G. 12, 25, 26, 30, 236.
 Weithmann M. W.
 Weitzmann K. 474.
 Wellwsz E. 563.
 Werner E. 562.
 Westerink L. G. 50, 599.
 Wind E. 54.
 Winkelmann F. 18, 22, 29.
 Wirth P. 307.
 Wolska-Conus W. 42, 235, 236, 240.
 Wulff O. 433, 511, 518.
 Wycherley R. E. 575.
- Z**akythinos D. A. 35, 61, 268.
 Zaras G. Th. 147.
 Zastèrová B. 276.
 Zenghelis C. 282.
 Zepos J. 108.
 Zepos P. 108.
 Zervos Ch. 49, 50.
 {678}